

Чарльз Диккенс

Жизнь и приключения Николаса Никльби

Чарльз Диккенс

ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИКОЛАСА НИКЛЬБИ

Предисловие автора

Эта повесть была начата через несколько месяцев после выхода отдельным изданием «Записок Пиквикского клуба». Тогда было очень много дешевых йоркширских школ. Теперь их очень мало.

Частные школы долгое время являлись знаменательным примером того, сколь чудовищно пренебрегают в Англии воспитанием и как небрежно относится к воспитанию государство, — к выращиванию добрых или плохих граждан, несчастных или счастливых людей. Любой человек, доказавший свою непригодность к какой-либо другой профессии, имел право без экзамена и без проверки знаний открыть школу в любом месте, тогда как к врачу предъявлялись требования пройти необходимую подготовку, чтобы оказывать помощь ребенку при появлении на свет или способствовать уходу его из этого мира; подобные требования предъявлялись к аптекарю, к адвокату, к мяснику, булочнику, свечному мастеру — к представителям всех профессий и ремесел, за исключением школьных учителей, а школьные учителя, как правило, были болванами и мошенниками, которые, натурально, должны были множиться и процветать при таких обстоятельствах, причем йоркширские учителя занимали самую низшую и самую гнилую перекладину лестницы. Люди, промышлявшие скупостью, равнодушием или тупостью родителей и беспомощностью детей, люди невежественные, корыстные, жестокие, которым вряд ли хоть один рассудительный человек поручил бы уход за лошадью или собакой, эти люди послужили достойным краеугольным камнем сооружения, которое при всей существующей нелепице и великолепном высокомерном *laissez-aller*¹ вряд ли имело себе подобное в мире.

Нам приходится слышать о судебных исках, предъявляемых к какому-нибудь несведущему врачу, который искалечил сломанную руку или ногу, когда пытался вылечить ее. Но что можно сказать о сотнях тысяч душ, навеки искалеченных бездарными пройдохами, которые притязали на их воспитание?

Я упоминаю о породе йоркширских учителей в прошедшем времени. Они еще не окончательно исчезли, но с каждым днем их становится все меньше и меньше. Небу известно, что нам предстоит немало поработать в области воспитания, но за последние годы были достигнуты большие успехи и предоставлены средства для усовершенствования в этой области.

Сейчас я не могу припомнить, каким образом дошли до меня слухи об йоркширских школах в ту пору, когда я был довольно болезненным ребенком, проводил время в уединенных уголках близ Рочестерского замка и голова у меня была забита Партриджем, Стрэпом, Томом Пайпсом² и Санчо Пансой. Но я помню, что именно в то время составилось первое мое представление о них и что оно было как-то связано с гноящимся нарывом, с которым вернулся домой какой-то мальчик, потому что его йоркширский наставник, философ и друг вскрыл нарыв перочинным ножом, запачканным чернилами. Как бы ни

создалось это представление, оно не покидало меня никогда. Я иногда интересовался йоркширскими школами, впоследствии много раз получал о них новые сведения и, наконец, приобретя читателей, решил написать о них.

С этим намерением, прежде чем начать эту книгу, я поехал в Йоркшир, в очень суровую зимнюю пору, которая довольно точно здесь описана. Так как я хотел повидать двух-трех школьных учителей, а меня предупредили, что они, по скромности своей, могут испугаться визита автора «Записок Пиквикского клуба», я посоветовался с одним приятелем³, у которого были знакомые в Йоркшире, и с его помощью пошел на обман с благою целью. Он дал мне несколько рекомендательных писем, но не на мое имя, а на имя одного из моих дорожных спутников. В них упоминалось о некоем несуществующем мальчике, оставшемся у матери-вдовы, которая не знает, что с ним делать. Бедная леди, воззвав к запоздалому состраданию родни, решила послать его в йоркширскую школу. Я — друг бедной леди, путешествую в этих краях, и если адресат может сообщить мне сведения о какойлибо школе в окрестностях, пишущий эти строки будет ему весьма признателен...

Я побывал в различных местах этой части страны, где по сведениям, мною полученным, было множество школ, но ни разу мне не представлялся случай передать письмо, пока я не приехал в один город, которого я не назову. Того, кому оно было адресовано, не оказалось дома, но вечером, в снегопад, он пришел в гостиницу, где я остановился. Мы пообедали, и долгих уговоров не потребовалось, чтобы он сел в теплый уголок у камина и отведал вина, стоявшего на столе.

Боюсь, что его уже нет в живых. Помню, это был веселый, румяный, широколицый человек; помню, что мы с ним быстро сошлись и беседовали о всевозможных предметах, но только не о школе — этой темы он старательно избегал. «Есть здесь поблизости большая школа?» — спросил я его, возвращаясь к письму. «Да, — сказал он, школа есть довольно большая». — «И хорошая?» — осведомился я. «Ну, как сказать! — ответил он. — Не хуже всякой другой. Как на чей вкус». И стал смотреть на огонь, обводить глазами комнату и потихоньку насвистывать. Когда я вернулся к теме, которую мы обсуждали раньше, он сразу оживился, но сколько я ни пытался, мне так и не удалось поговорить о школе: даже если он перед этим хохотал, я замечал, что лицо у него мгновенно вытягивалось и ему становилось не по себе. После того как мы очень мило провели часа два вместе, он вдруг схватился за шляпу, перегнулся через стол и, глядя мне прямо в лицо, тихо сказал: «Послушайте, мистер, мы с вами хорошо побеседовали, и теперь я вам скажу, что у меня на уме. Пусть эта вдова не отдает своего мальчика нашим школьным учителям, пока еще есть в Лондоне лошадь, за которой нужно присмотреть, и канава, где можно лечь и выспаться. Я не хочу злословить о моих соседях и говорю вам по секрету. Но будь я проклят, если мне удастся заснуть, не предупредив через вас эту вдову, чтобы она не отдавала мальчика таким негодяям, пока есть в Лондоне лошадь, за которой нужно присмотреть, и канава, где можно выспаться!» Повторив эти слова с большой энергией и с такой торжественностью, что его веселая физиономия показалась вдвое шире, чем раньше, он пожал мне руку и удалился. Больше я его не видел, но иногда мне кажется, что в лице Джона Брауди я дал его туманный образ.

Что касается этих школьных учителей, я хотел бы привести несколько слов из первого предисловия⁴ к этой книге:

«Автора весьма позабавил и доставил ему удовлетворение тот факт, что не один йоркширский школьный учитель притязает быть прототипом мистера Сквирса, о чем уведомили автора его друзья в провинции и всевозможные нелепые заметки в провинциальных газетах. У автора есть основания полагать, что один достойный джентльмен советовался с людьми, сведущими в юриспруденции, имеется ли у него основание возбудить дело о клевете. Другой джентльмен подумывал предпринять поездку в Лондон с единственной целью поймать клеветника и нанести ему оскорбление действием. Третий

прекрасно помнит, что в январе прошлого года к нему явились с визитом два джентльмена, из коих один завязал с ним разговор, в то время как другой писал его портрет; и хотя у мистера Сквирса только один глаз, а у него два и появившийся в печати набросок не имеет ни малейшего сходства с ним (кто бы он там ни был), тем не менее сей джентльмен и все его друзья и соседи сразу признали, что это он, столь велико сходство между ним и персонажем этого романа.

Хотя автор отнюдь не может оставаться нечувствительным к великой хвале, таким путем до него дошедшей, однако он осмеливается намекнуть, что причина распрей такова: мистер Сквирс является представителем своего сословия, а не отдельным индивидом. Там, где плутни, невежество, животная алчность являются основным свойством маленькой группы людей и один из них изображен с этими характерными чертами, все его ближние признают, что кое-что свойственно им самим, и у каждого мелькнет опасение, не с него ли писан портрет.

Цель автора — привлечь внимание общества к системе воспитания — была бы отнюдь не достигнута, если бы он не заявил сейчас энергичски, что мистер Сквирс и его школа являются лишь слабым отражением существующего порядка, умышленно смягченного в книге и затушеванного, чтобы он не показался невероятным. Имеются отчеты о судебных процессах, в которых истцы требовали возмещения убытков как жалкого вознаграждения за длительные пытки и калечение детей, отданных в руки школьному учителю в здешних местах, отчеты, содержащие подробное описание гнусного обращения, жестокостей и болезней, которое ни один романист не посмел бы измыслить. И, с тех пор как автор приступил к «Приключениям Николаса Никльби», он получил от людей, стоящих вне подозрения и заслуживающих полного доверия, сведения о жестоком обращении с заброшенными или отвергнутыми детьми, в котором повинны были школы и которое превосходило все изложенное на этих страницах».

Вот все, что я хотел сказать по этому вопросу. Но в случае необходимости я решил перепечатать из старых газет кое-какие данные судебных протоколов.

Еще одна цитата из первого протокола сообщает о факте, который может заинтересовать моих читателей:

«Если обратиться к теме более приятной, то надлежит сказать, что два героя этой книги списаны с натуры. Не мешает отметить, что так называемое общество, весьма доверчиво относящееся ко всему, что претендует называться действительностью, чрезвычайно недоверчиво относится к тому, что именуется вымыслом; и хотя в повседневной жизни общество признает за одним человеком отсутствие всяких пороков, а за другими — отсутствие всяких добродетелей, оно редко допускает появление в романе человека с резко выраженными качествами, хорошими или плохими, остающегося притом правдоподобным. Но читатели, интересующиеся этой повестью, рады будут узнать, что братья Чирибл в самом деле живут на свете и их милосердие, их чистосердечие, их благородная натура и безграничное доброжелательство не являются плодом фантазии автора, но повседневно (и большей частью втайне) содействуют тому, чтобы люди совершали благородные и великодушные поступки в этом городе, гордостью и украшением которого служат братья».

Если бы я попытался подвести итог тысячам писем от всевозможных людей, живущих во всевозможных широтах, — а письма посыпались на меня после этого злополучного сообщения, — я бы погряз в арифметических вычислениях, из которых нелегко было бы выбраться. Достаточно будет сказать, что ходатайства о займах, пособиях и теплых местечках, которые предлагалось мне передать прототипам братьев Чирибл (с ними я за всю свою жизнь не обменялся ни единым словом), истощили бы запас должностей, находящихся в распоряжении всех лорд-канцлеров со времени восшествия на престол Брауншвейгского дома и разорили бы Английский банк.

Братьев нет теперь в живых.

Только по одному пункту хотелось бы мне кое-что добавить. Если Николас не всегда бывает безупречен или симпатичен, то он и не всегда должен казаться таковым. Это молодой

человек, наделенный бурным темпераментом и весьма неопытный или даже вовсе не опытный, и я не вижу оснований, почему этого героя нужно возносить превыше человеческой природы.

Глава I,

служит введением ко всем остальным

Жил некогда в уединенном уголке графства Девоншир некий мистер Годфри Никльби, достойный джентльмен, который довольно поздно задумал вступить в брак и, не будучи достаточно молод или богат, чтобы домогаться руки богатой леди, женился исключительно по любви на предмете давнишней своей привязанности, а эта особа вышла за него замуж по той же причине. Точно так же двое людей, которые не могут позволить себе играть в карты на деньги, садятся иной раз за мирную партию ради удовольствия.

Иные ворчуны, подтрунивающие над супружеской жизнью, быть может, заметят, что славную чету следовало бы сравнить с двумя боксерами, которые, когда дело идет плохо и никто их не подзадоривает, рыцарственно принимают за работу ради одного удовольствия подраться, и в одном отношении это сравнение действительно применимо, ибо, подобно тому как отважная пара с Файвс-Корт⁵ со шляпой обходит зрителей и полагается на их щедрость в расчете получить средства, необходимые для хорошей пирушки, так точно по истечении медового месяца мистер Годфри Никльби и его партнерша озабоченно выглянули в мир, надеясь в значительной степени на счастливый случай для увеличения своих средств к существованию. Доходы мистера Никльби в пору его женитьбы колебались между шестьюдесятью и восемьюдесятью фунтами per annum⁶.

Небу известно, что на свете вполне достаточно людей, и даже в Лондоне (где проживал в те дни мистер Никльби) лишь немногие жалуются на малочисленность населения. Трудно поверить, как долго может человек высматривать и не находить в этой толпе лицо какого-нибудь друга, но тем не менее это правда. Мистер Никльби смотрел и высматривал, пока глаза у него не заболели, как и сердце, но ни один друг не явился; когда же, устав от поисков, обратил он взор на свой домашний очаг, очень мало нашел он там облегчения для утомленных глаз. Художник, слишком долго созерцавший яркую краску, дает отдых своим глазам, переводя их на более темные и тусклые тона; но все, что попадало в поле зрения мистера Никльби, отличалось столь черной и мрачной окраской, что в силу контраста ему доставило бы неопишное успокоение видеть совсем иные цвета.

Наконец, через пять лет, когда миссис Никльби подарила своему супругу двух сыновей и этот обремененный заботами джентльмен, подавленный необходимостью как-либо обеспечить семью, всерьез обдумывал небольшую коммерческую спекуляцию, заключавшуюся в том чтобы застраховать в следующий квартальный день⁷ свою жизнь, а затем случайно свалиться с верхушки Монумента⁸, получено было однажды утром по почте письмо с черной каймой, извещавшее о том, что его дядя, мистер Ральф Никльби, скончался и оставил ему все свое маленькое состояние — пять тысяч фунтов стерлингов.

Поскольку усопший не обращал при жизни ни малейшего внимания на племянника, а только прислал старшему его сыну (названному при крещении Ральфом, из соображений, вызванных отчаянием) серебряную ложку в сафьяновом футляре, которая — ибо ею мало было что есть — могла показаться как бы насмешкой над тем, что он родился без этой

5

6

7

8

полезной серебряной вещицы во рту⁹, мистер Годфри Никльби сначала едва мог поверить полученному известию. Однако при расследовании оно оказалось вполне точным. Симпатичный старый джентльмен намеревался, по-видимому, оставить все имущество Королевскому человеколюбивому обществу и даже составил завещание в таком духе, но за несколько месяцев до его смерти это учреждение имело несчастье спасти жизнь бедному родственнику Ральфа Никльби, которому он выдавал еженедельное пособие в три шиллинга шесть пенсов, и потому в припадке вполне естественного раздражения он отменил дар, сделав приписку к завещанию, и оставил все состояние мистеру Годфри Никльби; особо он упомянул о своем негодовании не только против общества, спасшего жизнь его бедному родственнику, но и против своего бедного родственника, позволившего себе быть спасенным.

Часть этих денег мистер Годфри Никльби израсходовал на покупку маленькой фермы близ Даулиша в Девоншире, куда и удалился с женой и двумя детьми, чтобы жить на самые высокие проценты, какие мог получить с оставшегося капитала, и на скромные доходы, какие мог извлечь из своей земли. Он так преуспел вместе с женой, что, умирая, — лет через пятнадцать после этих событий и лет через пять после смерти жены, — он оставил старшему сыну, Ральфу, три тысячи фунтов наличными, а младшему сыну, Николасу, одну тысячу и ферму, которая была самым маленьким поместьем, какое только можно себе представить.

Эти два брата воспитывались вместе в школе и Эксетере и, приезжая обычно раз в неделю домой, часто слышали из уст матери длинное повествование о страданиях их отца в дни бедности и о влиятельности их покойного родственника в дни его процветания. Рассказы эти произвели весьма несходное впечатление на двух братьев. В то время как младший, отличавшийся нравом робким и скромным, почерпнул из них один лишь совет сторониться большого света и не изменять мирным привычкам сельской жизни, Ральф, старший, извлек из часто повторяемой повести два великих нравоучения: что богатство является единственным истинным источником счастья и власти и что законно и справедливо домогаться обладания им всеми способами, за исключением преступных. «И если деньги моего дяди никакого добра не принесли при его жизни, — рассуждал сам с собой Ральф, — зато целиком добро принесли они после его смерти, раз их поручил теперь мой отец и копил их для меня, что является весьма похвальным. В сущности, они принесли добро также и старому джентльмену, ибо он имел удовольствие думать о них всю жизнь и вдобавок стать предметом зависти и почитания всей родни». И Ральф неизменно заканчивал эти мысленные монологи выводом, что нет ничего равного деньгам.

Не довольствуясь теорией и не давая своим способностям прозябать без дела даже в таком юном возрасте, от чисто абстрактных размышлений этот многообещающий юнец перешел еще в школе к карьере ростовщика в ограниченном масштабе, пустив в оборот под хорошие проценты маленький капитал из грифелей и мраморных шариков¹⁰ и постепенно развертывая свои операции, пока они не распространились на медную монету сего государства, которую он отдавал в рост с немалой для себя выгодой. Своих должников он не утруждал абстрактными вычислениями и ссылками на расчетные таблицы: его правило простых процентов, заключавшееся целиком в одной золотой сентенции: «Два пенса за каждое полпенни», чрезвычайно упрощало расчеты, усваивалось и запоминалось легче, чем любое из арифметических правил, и потому может быть рекомендовано вниманию капиталистов, как крупных, так и мелких, в особенности же вниманию биржевых маклеров и дисконтеров. Впрочем, нужно воздать должное этим джентльменам: и по сей день многие из них частенько применяют его с поразительным успехом.

Подобным же образом избежал юный Ральф Никльби всех тех мелких и запутанных подсчетов добавочных дней, какие каждый, кто занимался начислением простых процентов, находил неизменно весьма затруднительными, избежал, установив единое общее правило:

вся сумма целиком — основной капитал и проценты — должна быть уплачена в день выдачи карманных денег, иными словами — в субботу; и будет ли заем сделан в понедельник или в пятницу, процентное начисление остается одним и тем же в обоих случаях. Обнаруживая великую рассудительность, он доказывал, что скорее следовало бы начислить больше за один, чем за пять, ибо в первом случае имеются веские основания заключить о крайне затруднительном положении должника, иначе он не стал бы занимать на столь невыгодных условиях. Этот факт примечателен потому, что он иллюстрирует тайную связь и симпатию, каковая всегда налицо между великими умами. Хотя мистер Ральф Никльби не ведал об этом в ту пору, но джентльмены вышеупомянутой категории руководствуются именно этим принципом при всех своих сделках.

Исходя из сказанного об этом юном джентльмене, а также из понятного восхищения, каким читатель незамедлительно к нему преисполнится, можно вывести заключение, что ему предстоит стать героем повествования, к которому мы сейчас приступаем. Чтобы раз навсегда с этим покончить, мы спешим вывести читателей из заблуждения и перейти к началу повествования.

После смерти отца Ральф Никльби, которого незадолго до того устроили на службу в торговую фирму в Лондоне, со страстью предался прежней погоне за деньгами, быстро увлекшей и поглотившей его до такой степени, что он на много лет совсем забыл о брате; если по временам воспоминание о былом товарище детских игр и прорывалось сквозь туман, в котором он жил, — ибо золото создает вокруг человека дымку, разрушающую все прежние его привязанности и убаюкивающую его чувства сильнее, чем угар, — воспоминание это влекло за собой опасение, что, будь они близки, брат попытался бы занять у него денег. И мистер Ральф Никльби пожимал плечами и говорил, что пусть лучше будет так, как оно есть.

Что касается до Николаса, то он жил холостяком на доход с унаследованного поместья, пока ему не надоело жить одному, а тогда он женился на дочери соседа-джентльмена, получив приданое в тысячу фунтов. Эта добрая леди родила ему двух детей, сына и дочь, и когда сыну было лет девятнадцать, а дочери, если мы не ошибаемся, четырнадцать — до нового парламентского закона точные сведения о возрасте молодых леди не сохранялись ни в каких официальных списках сей страны, — мистер Никльби стал подумывать о способах пополнить свой капитал, жестоко пострадавший от увеличения семейства и расходов на воспитание.

— Спекулируй, — сказала миссис Никльби.

— Спе-ку-ли-ровать, моя дорогая? — сказал мистер Никльби как бы в сомнении.

— А почему бы нет? — спросила миссис Никльби.

— Потому, дорогая моя, что, если мы потеряем капитал, — ответил мистер Никльби, который имел обыкновение говорить медленно и раздумчиво, — если мы его потеряем, нам не на что будет жить, дорогая моя.

— Вздор! — сказала миссис Никльби.

— Я в этом не совсем уверен, моя дорогая, — сказал мистер Никльби.

— У нас есть Николас, — продолжала леди. — Он уже взрослый — пора становиться ему на ноги, да и у Кэт, бедной девочки, нет ни единого пенни. Подумай о твоём брате! Разве был бы он тем, чем стал, если бы не спекулировал?

— Это верно, — отозвался мистер Никльби. — Прекрасно, дорогая моя. Прекрасно! Я буду спекулировать, дорогая моя!

Спекуляция — круговая игра: в самом начале игроки почти или вовсе не видят своих карт, выигрыши могут быть велики, и таковыми же могут быть проигрыши. Счастье отвернулось от мистера Никльби. Возобладала страсть, мыльный пузырь лопнул, на виллах во Флоренции поселились четыре биржевых маклера, разорились четыреста человек, ничем не примечательных, в том числе мистер Никльби.

— Даже дом, в котором я живу, могут отнять у меня завтра, — вздыхал бедный джентльмен. — Ничего не останется из моей старой мебели, все будет продано чужим людям!

Это последнее соображение так сильно его огорчило, что он немедленно слег, по-видимому решив во всяком случае сохранить кровать.

— Побольше бодрости, сэр! — сказал лекарь.

— Не следует отчаиваться и падать духом, сэр, — скачала сиделка.

— Такие вещи случаются ежедневно, — заметил адвокат.

— И очень грешно восставать против них, — прошептал священник.

— И ни один семьянин не должен этого делать, — присовокупили соседи.

Мистер Никльби покачал головой и, жестом удалив их из комнаты, обнял жену и детей, прижал их по очереди к своему слабо бившемуся сердцу и, обессиленный, опустился на подушку. Они с тревогой убедились, что вслед за этим сознание его помутилось, так как он долго бормотал что-то о великодушии и доброте своего брата и о добром старом времени, когда они вместе учились в школе. Наконец, перестав бредить, он торжественно поручил их тому, кто никогда не покидает вдов и сирот, и, ласково им улыбнувшись, отвернулся. и сказал, что, кажется, не прочь заснуть.

Глава II,

О мистере Ральфе Никльби, о его конторе, о его предприятиях и о великой акционерной компании, имеющей огромное значение для всей нации

Мистер Ральф Никльби не был, строго говоря, тем, кого мы называем купцом, не был он также ни банкиром, ни ходатаем по делам, ни адвокатом¹¹, ни нотариусом. Он, разумеется, не был торговцем и с еще меньшим правом мог называть себя джентльменом, имеющим профессию, ибо нелегко было назвать какую бы то ни было получившую признание профессию, к которой бы он принадлежал. Но он жил на Гольдн-сквере, в просторном доме, имевшем, в добавление к медной табличке на парадной двери, другую медную табличку, в два с половиной раза меньше, на левом косяке, которая находилась над медным изображением младенческого кулака, сжимавшего обломок вертела, и где красовалось слово «контора», и из этого явствовало, что мистер Ральф Никльби ведет или притворяется, будто ведет какие-то дела. И этот факт — если он требовал дальнейших обстоятельных доказательств — сугубо подтверждался ежедневным присутствием между половиной десятого и пятью часами желтолицего человека в порывшемся коричневом костюме, сидевшего на необычайно твердом табурете в комнате, похожей на буфетную, и в ответ на звонок появлявшегося с пером за ухом.

Хотя вокруг Гольдн-сквера и живет кое-кто из представителей уважаемых профессий, Гольдн-сквер в сущности не лежит на пути никому, никуда и ниоткуда. Это одна из существовавших некогда площадей, район города, отнюдь не преуспевший и начавший сдавать квартиры. Многие вторые и третьи этажи сдаются с мебелью одиноким джентльменам, и здесь принимают также на пансион. Это излюбленное пристанище иностранцев. Смуглые люди, которые носят большие кольца, тяжелые цепочки от часов и густые бакенбарды и собираются у колоннады Оперы и у билетной кассы от четырех до пяти пополудни, когда выдаются контрамарки, — все они живут на Гольднсквере или на ближайших улицах. Две-три скрипки и духовые инструменты из оперного оркестра обитают по соседству. Дома-пансионы музыкальны, и звуки фортепьяно и арф плывут в вечернюю пору над головой унылой статуи — гения-хранителя маленькой заросли кустов в центре площади. В летнюю ночь окна открыты настежь, и прохожий может наблюдать группы смуглолицых усатых мужчин, развалившихся на подоконниках и с ожесточением курящих. Хриплые голоса, предающиеся вокальным упражнениям, вторгаются в вечернюю тишину, а дым отменного табака насыщает воздух ароматом. Здесь нюхательный табак и сигары,

немецкие трубки и флейты, скрипки и виолончели делят между собою власть. Это страна песни и табачного дыма. Уличные оркестры усердствуют на Гольдн-сквере, и у бродячих певцов голос вибрирует помимо их воли, когда они поют на этой площади.

Казалось бы, это место мало приспособлено для деловых операций; однако мистер Ральф Никльби жил здесь много лет и никогда не жаловался. Никого из соседей он не знал, и его никто не знал, хотя он и слыл чудовищно богатым. Торговцы утверждали, что он нечто вроде юриста, а другие соседи высказывали мнение, будто он какой-то агент; обе эти догадки столь же правильны и точны, сколь обычно бывают или должны быть догадки о делах наших ближних.

Однажды утром мистер Ральф Никльби сидел в своем кабинете уже одетый, чтобы выйти из дому. На нем был бутылочного цвета спенсер¹² поверх синего фрака, белый жилет, сероватые панталоны и натянутые на них веллингтоновские сапоги¹³. Уголок жабо с мелкими складками, словно настойчиво желая показать себя, пробивался между подбородком и верхней пуговицей спенсера, а это последнее одеяние было настолько коротко, что не скрывало длинной золотой цепочки от часов, которая состояла из ряда колец и брала начало у золотых часов с репетицией¹⁴ в кармане мистера Никльби и заканчивалась двумя маленькими ключами: один был от самих часов, а другой — от какого-то патентованного висячего замка. Мистер Никльби посыпал голову пудрой, как бы желая придать себе благодушный вид; но, если такова была его цель, пожалуй следовало бы ему попудрить также и физиономию, ибо даже в морщинах его и в холодных беспокойных глазах было что-то, помимо его воли говорившее о лукавстве. Как бы там ни было, здесь сидел мистер Никльби, а так как он находился в полном одиночестве, то ни пудра, ни морщины, ни глаза ни на кого не производили в тот момент ни малейшего впечатления — ни хорошего, ни дурного, и, следовательно, сейчас нам нет до них дела.

Мистер Никльби закрыл счетную книгу, лежавшую у него на конторке, и, откинувшись на спинку стула, посмотрел с рассеянным видом в грязное окно. Позади некоторых лондонских домов встречается меланхолический маленький участок земли, обычно обнесенный четырьмя высокими выбеленными стенами, на который хмуро взирает ряд дымовых труб; здесь из года в год чахнет искривленное деренце, которое притворяется, будто хочет произнести на свет несколько листиков поздней осенью, когда другие деревья теряют свою листву, и, ослабев от усилий, прозябает, все потрескавшееся и прокопченное, вплоть до будущей осени, когда повторяет то же самое и, если погода особенно благоприятствует, соблазняет даже какого-нибудь ревматического воробья почирикать в его ветвях. Иногда эти темные дворы называют «садами». Не следует предполагать, что когда-то их посадили: вернее, это участки неводеланной земли с чахлой растительностью, уцелевшей от бывшего здесь раньше поля при кирпичном заводе. Никому не приходит и голову заглянуть в это заброшенное место или извлечь из него какую-нибудь пользу. Несколько корзин, с полдюжины разбитых бутылок и тому подобный хлам выбрасывают сюда, когда въезжает новый жилец, но и только; и здесь этот хлам остается, пока жилец не выезжает; сырая солома гниет ровно столько времени, сколько считает нужным, рядом с убогим буксом, малорослыми, вечно бурыми растениями и разбитыми цветочными горшками, которые уныло валяются вокруг, покрываясь сажей и грязью.

Вот такое-то местечко и созерцал мистер Ральф Никльби, когда, заложив руки в карманы, сидел и смотрел в окно. Он устремил взгляд на искаленную елку, посаженную каким-то бывшим жильцом в кадку, которая когда-то была зеленой, и уже давно обреченную на постепенное гниение. Не было ничего особенно привлекательного в этом предмете, но мистер Никльби был погружен в глубокую задумчивость и смотрел на него гораздо внимательнее, чем удостоил бы взирать на редчайшее экзотическое растение, если бы

12

13

14

пребывал в менее сосредоточенном расположении духа. Наконец он перевел глаза на маленькое грязное окошко слева, в котором смутно виднелось лило клерка. Так как этот достойный муж случайно поднял голову, он жестом приказал клерку явиться.

Повинуясь призыву, клерк слез с высокого табурета (которому он придал замечательный блеск, без конца влезая на него и снова слезая) и предстал перед мистером Никльби. Это был высокий пожилой человек с выпученными глазами, из коих один был неподвижен, с красным носом и с землистого цвета лицом, одетый в пару (если разрешается употреблять это выражение, хотя костюм был ему совсем не под пару), сильно поношенную, слишком короткую и узкую и столь скудно снабженную пуговицами, что чудом казалось, как он ухитряется удерживать ее на себе.

— Сейчас половина первого, Ногс? — спросил мистер Никльби резким, скрипучим голосом.

— Всего только двадцать пять минут по... — Ногс хотел сказать «по трактирным часам», но, опомнившись, закончил: — ...по верному времени.

— У меня часы остановились, — сказал мистер Никльби, — не знаю почему.

— Не заведены, — сказал Ногс.

— Нет, заведены, — возразил мистер Никльби.

— Значит, перекручена пружина, — сказал Ногс.

— Вряд ли это может быть, — заметил мистер Яикльби.

— Вряд ли, — сказал Ногс.

— Ладно, — сказал мистер Никльби, пряча в карман часы с репетицией. Ногс как-то по-особому хрюкнул, что имел обыкновение делать по окончании всех споров со своим хозяином. тем самым давая понять, что он, Ногс, восторжествовал, и (так как он редко с кем говорил, если с ним кто-нибудь не заговаривал), погрузившись в мрачное молчание, начал медленно потирать руки, треща суставами и на все лады выкручивая пальцы. Это привычное занятие, которому он предавался при каждом удобном случае, и застывшее напряженное выражение, какое он сообщал здоровому глазу, чтобы установить единообразие между обоими глазами и лишить кого бы то ни было возможности определить, куда или на что он смотрит, — таковы были две из многочисленных странностей Ногса, с первого взгляда поражавшие неискущенного наблюдателя.

— Я иду сегодня в «Лондонскую таверну»¹⁵, — сказал мистер Никльби.

— Собрание? — осведомился Ногс. Мистер Никльби кивнул головой.

— Я жду письма от поверенного¹⁶ относительно закладной Редя. Если оно придет, его доставят сюда с двухчасовой почтой. К этому времени я уйду из Сити и пойду по левой стороне улицы к Чаринг-Кроссу. Если будут какие-нибудь письма, захватите их с собой и идите мне навстречу.

Ногс кивнул, и в этот момент в конторе зазвонил колокольчик. Хозяин оторвал взгляд от бумаг, а клерк не двинулся с места.

— Колокольчик, — сказал Ногс в виде пояснения. — Дома?

— Да.

— Для всех?

— Да.

— Для сборщика налогов?

— Нет! Пусть зайдет еще раз. Ногс издал привычное хрюканье, как бы говоря: «Я так и знал!» — и, когда снова зазвонил колокольчик, пошел к двери и, вскоре вернувшись, ввел бледного, чрезвычайно торопившегося джентльмена, по имени мистер Бонни. Волосы у него на голове были взъерошены и стояли дыбом, а очень узкий белый галстук был небрежно повязан вокруг шеи. Вид у него был такой, будто его разбудили среди ночи и с тех пор он не успел привести себя в порядок.

15

16

— Дорогой Никльби, — сказал джентльмен, снимая белую шляпу, столь плотно набитую бумагами, что она едва держалась у него на голове, — нельзя терять ни секунды! Кэб у двери. Сэр Мэтью Попкер председательствует, и три члена парламента придут безусловно. Я видел, что двое из них благополучно поднялись с постели. Третий, который провел всю ночь у Крокфорда¹⁷, только что отправился домой надеть чистую рубашку и выпить бутылки две содовой воды и несомненно присоединится к нам вовремя, чтобы обратиться с речью к собранию. У него, правда, не совсем улеглось возбуждение прошлой ночи, но не беда: благодаря этому он всегда говорит еще выразительнее.

— Дело как будто налаживается неплохо, — сказал мистер Ральф Никльби, чьи спокойные манеры являли резкий контраст живости другого дельца.

— Неплохо! — повторил мистер Бонни. — Это превосходнейшая из всех идей, когда-либо возникавших! «Объединенная столичная компания по улучшению выпечки горячих булочек и пышек и аккуратной их доставке. Капитал — пять миллионов в пятистах тысячах акций, по десять фунтов каждая». И десяти дней не пройдет, как акции поднимутся выше номинальной стоимости благодаря одному только названию.

— А когда они поднимутся выше номинальной стоимости? — с улыбкой сказал мистер Ральф Никльби.

— Когда они поднимутся, вы не хуже всякого другого знаете, что с ними делать и как выйти потихоньку из игры в надлежащий момент, — сказал мистер Бонни, фамильярно похлопывая капиталиста по плечу. — Между прочим, какой удивительный человек этот ваш клерк!

— О да, бедняга! — отозвался Ральф, натягивая перчатки. — А ведь было время, когда Ньюмен Ногс держал своих лошадей и охотничьих собак.

— Вот как! — небрежно бросил мистер Бонни.

— Да, — продолжал Ральф, — и даже не так много лет назад. Но он промотал свои деньги, вложил их куда-то, занимал под проценты и, короче говоря, сначала был круглым дураком, а потом стал нищим. Он запил, был у него легкий удар, и затем он явился сюда запятым один фунт, так как в более счастливые для него дни я...

— Вы вели с ним дела, — с многозначительной миной сказал мистер Бонни.

— Совершенно верно, — подтвердил Ральф. — Я, знаете ли, не мог дать взаймы.

— О, разумеется!

— Но мне как раз нужен был клерк открывать дверь, а также и для других услуг, вот я и взял его из милости, и с тех пор он у меня. Мне кажется, он немножко не в себе, — продолжал мистер Никльби, принимая сострадательный вид, но кое-какую пользу он, бедняга, приносит, кое-какую пользу приносит.

Мягкосердечный джентльмен не счел нужным добавить, что Ньюмен Ногс, находясь в крайней нищете, служит ему за плату более низкую, чем обычное жалование тринадцатилетнего мальчика, а также не отметил в этом сжатом отчете, что благодаря своей странной молчаливости Ногс был исключительно ценной особой в таком месте, где много вершилось дел, о которых желательно было не заикаться за пределами конторы. Впрочем, другому джентльмену явно не терпелось уйти, и так как немедленно вслед за этим они поспешили сесть в наемный кабриолет, то, быть может, мистер Никльби забыл упомянуть о столь маловажных обстоятельствах.

Великая суeta была на Бишопсет-стрит, когда они туда прибыли, и (погода стояла ветреная) человек шесть, переходя улицу, лавировали под тяжестью плакатов, возвещавших гигантскими буквами о том, что ровно в час дня состоится собрание для обсуждения вопроса об уместности обращения в парламент с петицией в интересах «Объединенной столичной компании по улучшению выпечки горячих булочек и пышек и аккуратной их доставке». Капитал — пять миллионов в пятистах тысячах акций, по десять фунтов каждая, каковые суммы должным образом были изображены жирными черными цифрами внушительных

размеров. Мистер Бонни проворно проложил себе путь наверх, принимая на ходу низкие поклоны многочисленных лакеев, которые стояли на площадках лестницы, чтобы показывать дорогу, и в сопровождении мистера Никльби вторгся в анфиладу комнат за большим залом; во второй комнате находился стол, деловой на вид, и люди, деловые на вид.

— Внимание! — крикнул джентльмен с двойным подбородком, когда появился мистер Бонни. — На председательское место, джентльмены, на председательское место!

Вновь прибывшие были встречены всеобщим одобрением, и мистер Бонни суетливо занял место во главе стола, снял шляпу, пробежал пальцами по волосам и постучал по столу молоточком, как стучат извозчики, после чего несколько джентльменов крикнули «внимание!» и закивали друг другу, как бы желая отметить воодушевление, с каким он действует. В этот самый момент лакей, охваченный лихорадочным возбуждением, ворвался в комнату и, с треском распахнув дверь настежь, крикнул:

— Сэр Мэтью Попкер!

Комитет встал и от радости захлопал в ладоши, а пока он хлопал, вошел Мэтью Попкер в сопровождении двух живых членов парламента — одного ирландского и одного шотландского; они улыбались, раскланивались и имели такой приятный вид, что было бы поистине чудом, если бы кто-нибудь осмелился голосовать против них. В особенности у сэра Мэтью Попкера, с маленькой круглой головой и светло-желтым париком на макушке, начался такой пароксизм поклонов, что парик у ежесекундно грозила опасность слететь. Когда эти симптомы до известной степени перестали быть угрожающими, джентльмены, которые могли заговорить с сэром Мэтью Попкером или с двумя другими членами парламента, образовали вокруг них три маленькие группы; а возле них джентльмены, которые не могли вести разговор с сэром Мэтью Попкером или двумя другими членами парламента, топтались и улыбались, и потирали руки, тщетно надеясь, не подвернется ли что-нибудь такое, что привлечет к ним внимание. Все это время сэр Мэтью Попкер и два других члена парламента рассказывали каждый своему кружку, каковы намерения правительства касательно проведения билля, давали полный отчет о том, что сказало шепотом правительство, когда они в последний раз с ним обедали и как при этом оно подмигнуло, из каковых предпосылок они без труда вывели заключение, что если правительство и принимает что-нибудь близко к сердцу, то именно благополучие и успех «Объединенной столичной компании по улучшению выпечки горячих булочек и пышек и аккуратной их доставке».

Пока шли приготовления к собранию и устанавливалась очередность выступлений ораторов, публика в большом зале созерцала то пустующую эстраду, то леди на галерее для оркестра. Этим занятием большинство присутствующих развлекалось уже часа два, а так как самые приятные увеселения приедаются при чрезмерном злоупотреблении ими, то наиболее суровые натуры стали топать ногами и выражать свое неудовольствие всевозможными возгласами и гиканьем. Этим вокальным упражнениям, виновниками коих были люди пришедшие раньше, естественно предавались те, кто сидел ближе всех к эстраде и дальше всех от дежурных полисменов, которые не имели особого желания пробивать себе дорогу сквозь толпу, но тем не менее руководствуясь похвальным намерением прекратить беспорядок, немедленно принялись тащить за фалды и за шиворот всех смирных людей, находившихся неподалеку от двери; при этом они ловко наносили гулкие удары дубинками на манер остроумного актера, мистера Панча¹⁸, блестящему примеру которого эта ветвь исполнителей власти нередко подражает и при выборе оружия и при пользовании им.

Стычки были очень оживленные, как вдруг громкий крик привлек внимание даже воюющих сторон, а затем из боковой двери вышла на эстраду длинная вереница джентльменов с непокрытыми головами; все они оглядывались и выпускали многоголосые приветственные вопли, причина коих объяснилась в достаточной мере, когда среди оглушительных возгласов выступили вперед сэр Мэтью Попкер и два других подлинных

члена парламента и при помощи пантомимы уведомили друг друга, что никогда на протяжении всей своей общественной карьеры они не видавали такого славного зрелища.

Наконец-то собрание перестало вопить, но, когда сэр Мэтью Попкер был избран председателем, оно вновь разразилось криками, не смолкшими пять минут. Когда и с этим было покончено, сэр Мэтью Попкер начал говорить, каковы его чувства по случаю этого великого события, и каково это событие в глазах всего мира, и каков ум его сограждан, находящихся перед ним, и каковы богатство и респектабельность его почтенных друзей, стоявших позади него, и, наконец, каково значение для обогащения, счастья, благополучия, свободы, даже для самого существования свободного и великого народа — каково значение такого учреждения, как «Объединенная столичная компания по улучшению выпечки горячих булочек и пышек и аккуратной их доставке».

Затем выступил мистер Бонни, чтобы предложить первую резолюцию. Пригладив правой рукой волосы и непринужденно подбоченившись левой, он поручил свою шляпу заботам джентльмена с двойным подбородком (который при всех ораторах играл роль как бы секунданта на ринге) и заявил, что зачитает первую резолюцию

— «Настоящее собрание взирает со страхом и трепетом на существующее положение торговли булочками и столице и в окрестностях; оно полагает, что объединение мальчишек — продавцов булочек в таком виде, в каком оно ныне существует, совершенно не заслуживает доверия общества; и оно почитает всю систему торговли булочками пагубной как для здоровья, так и для нравов населения и губительной для интересов коммерции и торговли». — Почтенный джентльмен произнес речь, вызвавшую слезы у леди и пробудившую живейший интерес у всех присутствующих. Он посещал дома бедняков в различных округах Лондона и не обнаружил ни малейших признаков булочек, вследствие чего слишком много оснований предположить, что кое-кто из неимущего населения не отведывал их из года в год. Он открыл, что среди торговцев булочками имеют место пьянство, разгул и распутство, каковые он приписывает унизительной природе их профессии в том виде, в каком она ныне существует. Те же пороки он обнаружил среди беднейших классов населения, которым бы надлежало быть потребителями булочек, и это он приписал отчаянию, порожденному их положением, не дающим возможности воспользоваться этим питательным продуктом, что и побудило их искать замены в опьяняющих напитках. Он брался доказать перед комитетом палаты общин существование союза, имеющего целью вздуть цены на булочки, и предоставить монополию торговцам с колокольчиками; он докажет это, притянув торговцев с колокольчиками, орудующих в баре сей палаты, и докажет также, что эти люди поддерживают между собой общение с помощью тайных знаков и слов, вроде «проныра», «враль», «Фергюсон», «Здоров ли Мерфи»¹⁹ и многих других. Именно такое печальное положение вещей Компания и предлагает изменить, во-первых, путем запрещения, под угрозой суровых кар, всех видов частной торговли булочками, во-вторых, принятием на себя обязательства снабжать население в целом и бедняков у них на дому первосортными булочками по пониженным ценам. С этой целью председатель, патриот пэр Мэтью Попкер, внес в парламент билль. Именно для поддержания этого билля они и собрались. Неувядаемую славу и блеск доставят Англии сторонники этого билля, именуемые «Объединенная столичная компания по улучшению выпечки горячих булочек и пышек и аккуратной их доставке», с капиталом, должен он добавить, в пять миллионов в пятистах тысячах акций, по десять фунтов каждая.

Мистер Ральф Никльби поддержал резолюцию, и после того, как другой джентльмен внес поправку: вставить слова «и пышки» после слова «булочки», когда бы оно ни встречалось, резолюция была торжественно принята. Только один человек в толпе крикнул «нет», но его быстро арестовали и тотчас увели.

Вторая резолюция, признававшая необходимость немедленного устранения «всех продавцов булочек (или пышек), всех промышляющих торговлей булочками (или пышками)

любого сорта, как мужчин, так и женщин, как мальчиков, так и взрослых, звонящих в колокольчик или не звонящих», была предложена мрачным джентльменом полуклерикального вида, который сразу взял такой патетический тон, что в одну секунду оставил первого оратора далеко позади.

Можно было услышать падение булавки — что там булавки, перышка! — когда он описывал жестокое обращение хозяев с мальчишками — продавцами булочек, а это, как очень мудро доказывал он, уже само по себе являлось достаточным основанием для учреждения сей неоценимой Компании. Оказывается, несчастных юнцов выгоняли по вечерам на мокрые улицы, в самую суровую пору года, заставляя их бродить долгие часы в темноте и под дождем — даже под градом или снегом, — лишенных крова, пищи, тепла; и пусть не забывают еще одного обстоятельства: в то время как булочки снабжены теплыми покрывками и одеялами, мальчики решительно ничем не снабжены и предоставлены своим собственным жалким ресурсам. (Позор!) Почтенный джентльмен поведал о случае с одним мальчиком — продавцом булочек, который, будучи жертвой этой бесчеловечной и варварской системы на протяжении по крайней мере пяти лет, схватил, наконец, насморк, после чего начал хиреть, пока не пропотел и не выздоровел. За это джентльмен мог поручиться, опираясь на свой авторитет, но он слышал (и не имел никаких оснований подвергать сомнению этот факт) о еще более душераздирающем и устрашающем случае. Он слышал о мальчике-сиротке, продававшем булочки, который, попав под колеса наемного кэба, был доставлен в больницу, подвергся ампутации ноги ниже колена и даже теперь, на костылях, продолжает заниматься своим ремеслом! О дух справедливости, неужели так будет и впредь?

Такова была тема, захватившая собрание, и такова была манера оратора, завоевавшая симпатию слушателей. Мужчины кричали, леди рыдали в носовые платки, пока те не промокли, и махали ими, пока те не просохли. Возбуждение было безгранично, и мистер Никльби шепнул своему другу, что теперь акции поднимутся на двадцать пять процентов выше номинальной стоимости.

Резолюция была, разумеется, принята при шумном одобрении: каждый поднимал за нее обе руки и в порыве энтузиазма поднимал бы также и обе ноги, если бы удобно было это сделать. Затем был зачитан без сокращений текст предлагаемой петиции, и в этой петиции, как и во всех петициях, говорилось о том, что подающие петиции весьма смиренны, а принимающие петицию весьма почтенны и цель петиции весьма добродетельна; посему (сказано было в петиции) надлежит немедленно превратить билль в закон ради неувядаемой чести и славы почтенных и славных английских общин, представленных в парламенте.

Затем джентльмен, который провел всю ночь у Крокфорда, что несколько повлияло на его глаза, выступил вперед и поведал своим согражданам, какую речь намерен он произнести в защиту этой петиции, когда она будет представлена на рассмотрение, и с какой жестокой иронией он намерен поносить парламент, если билль будет отвергнут, а также уведомил их о том, как он сожалеет, что его почтенные друзья не включили статьи, принуждающей все классы общества покупать булочки и пышки, каковую статью он, противник всяческих полумер и сторонник мер крайних, обязывается поставить на обсуждение в комитете. Возвестив о таком решении, почтенный джентльмен перешел на шутливый тон; а так как лакированные ботинки, лимонно-желтые лайковые перчатки и меховой воротник пальто придают шутке особый эффект, раздался неистовый хохот и ликующие возгласы, и вдобавок леди устроили такую ослепительную выставку носовых платков, что мрачный джентльмен был оттеснен на второй план.

Когда же петиция была прочтена и ее готовились принять, выступил ирландский член парламента (это был молодой джентльмен пылкого темперамента) с такою речью, какую может произнести только ирландский член парламента, — с речью, преисполненной истинного духа поэзии и прозвучавшей так пламенно, что при одном взгляде на ирландского члена парламента человек согревался. В своей речи он сообщил о том, что потребует этого великого благодеяния и для своей родной страны, Что будет настаивать на уравнивании ее прав

перед законом о булочках, как и перед всеми другими законами, и что он надеется еще дожить до того дня, когда пышки будут поджариваться в бедных хижинах его страны, а колокольчики продавцов булочек зазвонят в ее тучных зеленых долинах.

А после него выступил шотландский член парламента со всевозможными приятными намеками на ожидаемые барыши, что укрепило доброе расположение духа, вызванное поэзией. И все речи, вместе взятые, повлияли так, как надлежало им повлиять, и внушили слушателям уверенность, что нет предприятия более выгодного и в то же время более достойного, чем «Объединенная столичная компания по улучшению выпечки горячих булочек и пышек и аккуратной их доставке».

Итак, петиция в пользу проведения билля была принята, собрание закрылось при одобрительных возгласах, и мистер Никльби и другие директора отправились завтракать в контору, как делали они ежедневно в половине второго, а в возмещение за хлопоты они брали за каждое свое посещение только по три гинеи на человека (ибо компания едва вступила в младенческий возраст).

Глава III,

Мистер Ральф Никльби получает вести о своем брате, но мужественно переносит доставленное ему сообщение. Читатель узнает о том, какое расположение почувствовал он к Николасу, который в этой главе появляется, и с какою добротой предложил немедленно позаботиться о его благополучии.

Приняв ревностное участие в уничтожении завтрака со всею быстротой и энергией, каковые суть наиважнейшие качества, которыми могут обладать деловые люди, мистер Ральф Никльби сердечно распрощался со своими соратниками и в непривычно хорошем расположении духа направил стопы на запад. Проходя мимо собора св. Павла, он свернул в подъезд, чтобы проверить часы, и, держа руку на ключике, а взор устремив на циферблат соборных часов, был погружен в это занятие, как вдруг перед ним остановился какой-то человек. Это был Ньюмен Ногс.

— А, Ньюмен! — сказал мистер Никльби, смотря вверх и занимаясь своим делом. — Письмо касательно закладной получено, не правда ли? Я так и думал.

— Ошибаетесь, — отозвался Ньюмен.

— Как? И никто не приходил по этому делу? — прервав свое занятие, осведомился мистер Никльби.

Ногс покачал головой.

— Так кто же приходил? — спросил мистер Никльби.

— Я пришел, — сказал Ньюмен.

— Что еще? — сурово спросил хозяин.

— Вот это. — сказал Ньюмен, медленно вытаскивая из кармана запечатанное письмо. — Почтовый штемпель — Стрэнд, черный сургуч, черная кайма, женский почерк, в углу — К. Н.

— Черный сургуч? — переспросил мистер Никльби, взглянув на письмо. — И почерк мне как будто знаком, Ньюмен, я не удивлюсь, если мой брат умер.

— Не думаю, чтобы вы удивились, — спокойно сказал Ньюмен.

— А почему, сэр? — пожелал узнать мистер Никльби.

— Вы никогда не удивляетесь, — ответил Ньюмен, вот и все.

Мистер Никльби вырвал письмо у своего помощника и, бросив на последнего холодный взгляд, распечатал письмо, прочел его, сунул в карман и, успев к тому времени поставить часы с точностью до одной секунды, начал их заводить.

— Именно то, что я предполагал, Ньюмен, — сказал мистер Никльби, не отрываясь от своего занятия. — Он умер. Ах, боже мой! Да, это неожиданность. Право же, мне это не

приходило в голову.

Выразив столь трогательно свое горе, мистер Никльби снова опустил часы в карман, старательно натянул перчатки, повернулся и, заложив руки за спину, медленно зашагал на запад.

— Дети остались? — поравнявшись с ним, осведомился Ногс.

— В том-то и дело, — ответил мистер Никльби, словно ими и были заняты его мысли в эту минуту. — Двое.

— Двое! — тихо повторил Ньюмен Ногс.

— Да вдобавок еще вдова, — добавил мистер Никльби. — И все трое в Лондоне, будь они прокляты! Все трое здесь, Ньюмен.

Ньюмен немного отстал от своего хозяина, и лицо его как-то странно исказилось, словно сведенное судорогой, но был ли то паралич, или горе, или подавленный смех — этого никто, кроме него, не мог бы определить. Выражение лица человека обычно помогает его мыслям или заменяет нужные слова в его речи, но физиономия Ньюмена Ногса, когда он бывал в обычном расположения духа, являлась проблемой, которую не мог бы разрешить самый изобретательный ум.

— Ступайте домой! — сказал мистер Никльби, пройдя несколько шагов, и взглянул на клерка так, словно тот был его собакой.

Не успел он произнести эти слова, как Ньюмен перебежал через дорогу, нырнул в толпу и мгновенно исчез.

— Разумно, что и говорить! — бормотал себе под нос мистер Никльби, продолжая путь. — Очень разумно! Мой брат никогда ничего для меня не делал, и я никогда на него не рассчитывал, и вот, не успел он испустить дух, как обращаются ко мне, чтобы я оказал поддержку здоровой сильной женщине и взрослому сыну и дочери. Что они мне? Я их никогда и в глаза не видел.

Предаваясь этим и другим подобным размышлениям, мистер Никльби шагал по направлению к Стрэнду и, бросив взгляд на письмо, словно для того, чтобы справиться, какой номер дома ему нужен, остановился у подъезда, пройдя примерно половину этой людной улицы.

Здесь жил какой-то художник-миниатюрист, ибо над парадной двери была привинчена большая позолоченная рама, в которой на фоне черного бархата красовались две фигуры в морских мундирах с выглядывающими из них лицами и приделанными к ним подзорными трубами; был тут еще молодой джентльмен в ярко-красном мундире, размахивающий саблей, и джентльмен ученого вида, с высоким лбом, пером и чернилами, шестью книгами и занавеской. Помимо сего, здесь было трогательное изображение юной леди, читающей какую-то рукопись в дремучем лесу, и очаровательный, во весь рост, портрет большеголового мальчика, сидящего на табурете и свесившего ноги, укороченные до размеров ложечки для соли. Не считая этих произведений искусства, было здесь великое множество голов старых леди и джентльменов, ухмыляющихся друг другу с голубых и коричневых небес, и написанная изящным почерком карточка с указанием цен, обведенная рельефным бордюром.

Мистер Никльби бросил весьма презрительный взгляд на все эти фривольные вещи и постучал двойным ударом. Этот удар был повторен три раза и вызвал служанку с необычайно грязным лицом.

— Миссис Никльби дома? — резко спросил Ральф.

— Ее фамилия не Никльби, — ответила девушка. — Вы хотите сказать — Ла-Криви?

Мистер Никльби после такой поправки с негодованием посмотрел на служанку и сурово спросил, о чем она толкует. Та собралась ответить, но тут женский голос с площадки крутой лестницы в конце коридора осведомился, кого нужно.

— Миссис Никльби, — сказал Ральф.

— Третий этаж, Ханна, — произнес тот же голос. — Ну и глупы же вы! Третий этаж у себя?

— Кто-то только что ушел, но, кажется, что из мансарды, там сейчас уборка, — ответила девушка.

— А вы бы посмотрели, — сказала невидимая женщина. — Покажите джентльмену, где здесь колокольчик, и скажите, чтобы он не стучал двойным ударом, вызывая третий этаж. Я не разрешаю стучать, разве что колокольчик испорчен, а в таком случае достаточно двух коротких раздельных ударов.

— Послушайте, — сказал Ральф, входя без дальнейших разговоров, — прошу прощения, кто здесь миссис Ла... как ее там зовут?

— Криви... Ла-Криви, — отозвался голос, и желтый головной убор закачался над перилами.

— С вашего разрешения, сударыня, я бы сказал вам два-три слова, промолвил Ральф.

Голос предложил джентльмену подняться наверх, но тот уже успел подняться и, очутившись во втором этаже, был встречен обладательницей желтого головного убора, облаченной в такого же цвета платье и отличавшейся соответствующим цветом лица. Мисс Ла-Криви была жеманной молодой леди пятидесяти лет, и квартира мисс Ла-Криви была подобием позолоченной рамы внизу в увеличенном масштабе и слегка погрязнее.

— Кхе! — сказала мисс Ла-Криви, деликатно кашлянув и прикрыв рот черной шелковой митенкой. — Полагаю, вам нужна миниатюра? У вас весьма подходящие для этого черты лица, сэр. Вы когда-нибудь позировали?

— Вижу, вы заблуждаетесь относительно моих намерений, сударыня, отозвался мистер Никльби со свойственной ему прямоотой. — Нет у меня таких денег, чтобы я их тратил на миниатюры, сударыня, а если бы и были, то (слава богу) мне некому делать подарки. Когда я увидел вас на лестнице, мне захотелось задать вам вопрос, касающийся кое-кого из ваших жильцов.

Мисс Ла-Криви снова кашлянула, на сей раз чтобы скрыть разочарование, и промолвила:

— А, вот как!

— Из того, что вы сказали вашей служанке, я заключаю, что верхний этаж сдаете вы, сударыня? — спросил мистер Никльби.

Да, так оно и есть, ответила мисс Ла-Криви. Верхняя половина дома принадлежит ей, и так как третий этаж ей не нужен, то она и имеет обыкновение сдавать его. Действительно, в настоящее время там живет некая леди из провинции и ее двое детей.

— Вдова, сударыня? — осведомился Ральф.

— Да, вдова, — ответила леди.

— Бедная вдова, сударыня, — сказал Ральф, делая энергическое ударение на этом прилагательном, столь много выражающем.

— Да, боюсь, что она бедна, — отозвалась мисс ЛаКриви.

— Случайно мне известно, что она бедна, сударыня, — сказал Ральф. — А что делать бедной вдове в таком доме, как этот?

— Совершенно верно, — ответила мисс Ла-Криви, польщенная таким комплиментом ее жилищу. — В высшей степени верно!

— Мне точно известно ее положение, сударыня, продолжал Ральф. Собственно говоря, я прихожусь им родственником, и я бы вам посоветовал, сударыня, не держать их здесь.

— Смею надеяться, что в случае невозможности выполнить денежные обязательства, — сказала мисс ЛаКриви, снова кашлянув, — родственники этой леди не преминули бы...

— Нет, они бы этого не сделали, сударыня! — быстро перебил Ральф. — Не помышляйте об этом!

— Если я приду к такому выводу, дело примет совсем иной оборот, сказала мисс Ла-Криви.

— Можете прийти к нему, сударыня, — сказал Ральф, — и поступить соответственно. Я родственник, сударыня, во всяком случае полагаю, что я единственный их родственник, и

считаю нужным уведомить вас, что я не могу их поддерживать при таких непомерных расходах. На какой срок они сняли помещение?

— Оплата понедельная, — ответила мисс Ла-Криви. — Миссис Никльби заплатила вперед за первую неделю.

— В таком случае вы бы выпроводили их в конце этой недели, — сказал Ральф. — Лучше всего им вернуться в провинцию, сударыня; здесь они для всех помеха.

— Разумеется, — сказала мисс Ла-Криви, — если миссис Никльби сняла помещение, не имея средств платить за него, это весьма неподобающий поступок для леди.

— Конечно, сударыня, — подтвердил Ральф. — И, натурально, — продолжала мисс Ла-Криви, — будучи в данный момент... гм... женщиной беззащитной, я не могу терпеть убыток.

— Конечно, не можете, сударыня, — ответил Ральф.

— Хотя в то же время, — добавила мисс Ла-Криви, еще колебавшаяся между побуждениями своего доброго сердца и собственными интересами, — я решительно ничего не могу сказать против этой леди. Она очень приветлива и любезна, хотя, кажется, бедняжка, чрезвычайно удручена; а также я ничего не могу сказать против ее детей, потому что нельзя встретить более приятных и лучше воспитанных юноши и девицы.

— Прекрасно, сударыня, — сказал Ральф, поворачиваясь к двери, ибо его привели в раздражение эти похвалы беднякам. — Я исполнил свой долг и, быть может, сделал больше, чем полагается. Конечно, никто не поблагодарит меня за сделанное.

— По крайней мере я очень признательна вам, сэр, — приветливо сказала мисс Ла-Криви. — Не будете ли вы так любезны взглянуть на несколько портретов — произведение моей кисти?

— Вы очень добры, сударыня, — сказал мистер Никльби, поспешно удаляясь, — но я должен побывать с визитом в верхнем этаже, а время для меня дорого. Право же, не могу.

— Как-нибудь в другой раз, когда вы будете проходить мимо. Я буду очень рада, — сказала мисс Ла-Криви. — Быть может, вы не откажетесь взять мой прејскурант? Благодарю вас, до свиданья.

— До свиданья, сударыня, — сказал Ральф, резко захлопывая за собой дверь, чтобы предотвратить дальнейшие разговоры. — А теперь — к моей невестке! Тьфу!

Вскарабкавшись по второй, винтовой, лестнице, состоящей благодаря технической изобретательности из одних угольных ступенек, мистер Ральф Никльби остановился на площадке отдышаться, и здесь его догнала горничная, которую прислала учтивая мисс Ла-Криви, чтобы доложить о его приходе; со времени первой их встречи девушка сделала, очевидно, ряд безуспешных попыток вытереть грязное лицо еще более грязным передником.

— Как фамилия? — спросила девушка.

— Никльби, — ответил Ральф.

— О! Миссис Никльби, — сказала девушка, распахнув настежь дверь, — пришел мистер Никльби.

При входе мистера Ральфа Никльби леди в глубоком трауре привстала, но, по-видимому, не в силах была пойти ему навстречу и оперлась на руку худенькой, по очень красивой девушки лет семнадцати, сидевшей рядом с ней. Юноша, казавшийся года на два старше, выступил вперед и приветствовал своего дядю Ральфа.

— О! — проворчал Ральф, сердито насупившись. — Полагаю, вы Николас.

— Да, сэр, — ответил юноша.

— Возьмите мою шляпу, — повелительным тоном сказал Ральф. — Ну-с, как поживаете, сударыня? Вы должны побороть свою скорбь, сударыня. Я всегда так делаю.

— Утрату мою не назовешь обычной! — сказала миссис Никльби, прикладывая к глазам носовой платок.

— Ее не назовешь необычной, сударыня, — возразил Ральф, спокойно расстегивая свой спенсер. — Мужья умирают каждый день, сударыня, равно как и жены.

— А также и братья, сэр, — с негодующим видом сказал Николас. — Да, сэр, и щенята

и моськи, — ответил дядя, садясь в кресло. — Вы, сударыня, не упомянули в письме, чем страдал мой брат.

— Доктора не могли назвать какой-либо определенный недуг, — сказала миссис Никльби, проливая слезы. У нас слишком много оснований опасаться, что он умер от разбитого сердца.

— Ха! — сказал Ральф. — Такой штуки не бывает. Я понимаю, можно умереть, сломав себе шею, сломав руку, проломив голову, сломав ногу или проломив нос, но умереть от разбитого сердца... Чепуха! Это нынешние модные словечки! Если человек не может заплатить свои долги, он умирает от разбитого сердца, а его вдова — мученица.

— Мне кажется, у иных людей вообще нет сердца и нечему разбиться, спокойно заметил Николас.

— Бог мой, да сколько же лет этому мальчику? — осведомился Ральф, отодвигаясь вместе с креслом и с величайшим презрением осматривая племянника с головы до пят.

— Николасу скоро исполнится девятнадцать, — ответила вдова. — Девятнадцать? Э! — сказал Ральф. — А как вы намерены зарабатывать себе на хлеб, сэр?

— Я не намерен жить на средства матери, — с нарастающим гневом сказал Николас.

— А если бы и намеревались, вам мало было бы на что жить, — возразил дядя, глядя на него презрительно.

— Сколько бы там ни было, — вспыхнув от негодования, сказал Николас, — к вам я не обращаюсь, чтобы получить больше.

— Николас, дорогой мой, опомнись! — вмешалась миссис Никльби.

— Прошу тебя, дорогой Николас, — взмолилась юная леди.

— Придержите язык, сэр! — сказал Ральф. — Клянусь честью, это прекрасное начало, миссис Никльби, прекрасное начало!

Миссис Никльби ничего не ответила и только жестом просила Николаса молчать. В течение нескольких секунд дядя и племянник смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Лицо у старика было суровое, грубое, жестокое и отталкивающее, у молодого человека — открытое, красивое и честное; у старика глаза были острые, говорящие о скупости и лукавстве, у молодого человека — горящие умом и воодушевлением. Он был худощав, но мужествен и хорошо сложен; помимо юношеской грации и привлекательности, взгляд его и осанка свидетельствовали о горячем юном сердце. Сравнение было не в пользу старика. Сколь ни разителен подобный контраст для наблюдателя, но никто не чувствует его так остро и резко, как тот, чью низость он подчеркивает, проникая в его душу. Это уязвило сердце Ральфа, и с той минуты он возненавидел Николаса.

Такое созерцание друг друга привело, наконец к тому, что Ральф с подчеркнутым презрением отвел глаза и прошептал:

— Мальчишка!

Этим словом как упреком часто пользуются пожилые джентльмены в обращении с младшими, — быть может, с целью ввести общество в заблуждение, внушая ему уверенность, что они не пожелали бы снова стать молодыми, имея они такую возможность.

— Итак, сударыня, — нетерпеливо сказал Ральф, — вы мне сообщили, что кредиторы удовлетворены, а у вас не осталось ничего?

— Ничего, — подтвердила миссис Никльби.

— А то немного, что у вас было, вы истратили на поездку в Лондон, желая узнать, что я могу для вас сделать?

— Я надеялась, что у вас есть возможность сделать что-нибудь для детей вашего брата, — запинаясь, промолвила миссис Никльби. — Перед смертью он выразил желание, чтобы в их интересах я обратилась за помощью к вам.

— Не понимаю, почему это так случается, — пробормотал Ральф, шагая взад и вперед по комнате, — но всегда, когда человек умирает, не оставляя после себя никакого имущества, он как будто почитает себя вправе распоряжаться имуществом других людей. Для какой работы пригодна ваша дочь, сударыня?

— Кэт получила хорошее образование, — всхлипывая, ответила миссис Никльби. — Дорогая моя, расскажи дяде, каковы твои успехи во французском языке и в изящных искусствах.

Бедная девушка собиралась прошептать что-то, но дядя весьма бесцеремонно остановил ее.

— Попробуем отдать вас куда-нибудь в ученье, сказал Ральф. — Надеюсь, вы для этого не слишком изнежены?

— О нет, дядя! — со слезами ответила девушка. — Я готова делать все, только бы иметь пристанище и кусок хлеба.

— Ладно, ладно, — сказал Ральф, которого слегка смягчила либо красота племянницы, либо ее отчаяние (сделайте ударение на последнем). — Вы должны попытаться, и, если жизнь слишком тяжела, быть может, шитье или вышивание на пяльцах покажутся легче. А вы когда-нибудь что-нибудь делали, сэр? — обратился он к племяннику.

— Нет! — резко ответил Николас.

— Нет? Я так и знал! — сказал Ральф. — Вот как воспитал своих детей мой брат, сударыня.

— Николас не так давно закончил образование, какое мог дать ему его бедный отец, — возразила миссис Никльби, — а он думал...

— ...думал со временем что-нибудь из него сделать, — сказал Ральф. Старая история: всегда думать и никогда не делать. Будь мой брат человеком энергическим и благоразумным, он оставил бы вас богатой женщиной, сударыня. А если бы он предоставил своему сыну пробивать самостоятельно дорогу в жизни, как поступил со мной мой отец, когда я был на полтора года моложе этого юнца, Николас имел бы возможность помогать вам, вместо того чтобы быть для вас бременем и усугублять нашу скорбь. Мой брат был легкомысленный, неосмотрительный человек, миссис Никльби, и я уверен, что у вас больше, чем у кого бы то ни было, оснований это чувствовать.

Такое обращение заставило вдову подумать о том, что, пожалуй, она могла бы более удачно пристроить свою единственную тысячу, а затем она стала размышлять, сколь утешительно было бы иметь такую сумму именно теперь. От этих горестных мыслей слезы у нее заструились быстрее, и в порыве скорби она (будучи женщиной неплохой, но слабой) принялась сначала оплакивать свою жестокую судьбу, а затем, всхлипывая, толковать о том, что, разумеется, она была рабой бедного Николаса и часто говорила ему: она-де могла бы сделать лучшую партию (и в самом деле, она это говорила очень часто), и что при жизни его она никогда не знала, куда уходят деньги. Что если бы он имел доверие к ней, все они пользовались бы теперь большим достатком; к этому она присовокупила другие горькие воспоминания, общие для большинства замужних леди либо в пору их супружеской жизни, либо в пору вдовства, либо и в том и, в другом их положении. В заключение миссис Никльби посетовала на то, что дорогой усопший никогда, за исключением одного раза, не удостоивал следовать ее советам, что было поистине правдивым заявлением, ибо лишь однажды поступил он по ее совету и в результате разорился.

Мистер Ральф Никльби слушал все это с полуулыбкой и, когда вдова замолчала, продолжал разговор с того места, на котором его прервал взрыв ее чувств.

— Намерены вы работать, сэр? — нахмурившись, спросил он племянника.

— Конечно, намерен, — высокомерно ответил Николас.

— В таком случае, взгляните, сэр, — продолжал дядя, — вот что привлекло мое внимание сегодня утром, и за это будьте благодарны своей звезде.

После такого вступления мистер Ральф Никльби достал из кармана газету, развернул ее и, быстро просмотрев объявления, прочел следующее:

— «Образование. В Академии мистера Уэкфорда Сквирса, Дотбойс-Холл, в очаровательной деревне Дотбойс, близ Грета-Бридж в Йоркшире, мальчиков принимают на пансион, обеспечивают одеждой, книгами, карманными деньгами, снабжают всем необходимым, обучают всем языкам, живым и мертвым, математике, орфографии, геометрии,

астрономии, тригонометрии, обращению с глобусом, алгебре, фехтованию (по желанию), письму, арифметике, фортификации и всем другим отраслям классической литературы. Условия — двадцать гиней в год. Никакого дополнительного вознаграждения, никаких вакаций и питание, не имеющее себе равного. Мистер Сквирс находится в Лондоне и принимает ежедневно от часу до четырех в „Голове Сарацина“, Сноу-Хилл²⁰. Требуется способный помощник-преподаватель. Жалованье пять фунтов в год. Предпочтение будет отдано магистру искусств».

— Вот! — сказал Ральф, снова складывая газету. — Пусть он поступит на это место, и его карьера обеспечена.

— Но он не магистр искусств, — сказала миссис Никльби.

— Я думаю, это можно уладить, — ответил Ральф.

— Но жалованье такое маленькое, и, это так далеко отсюда, дядя, пролепетала Кэт.

— Тише, Кэт, дорогая моя, — вмешалась миссис Никльби. — Твой дядя лучше знает, что делать.

— Я повторяю, — резко сказал Ральф, — пусть он поступит на это место, и его карьера обеспечена! Если ему это не по вкусу, пусть он сам себе ее делает. Не имея ни друзей, ни денег, ни рекомендаций, ни малейшего понятия о каких бы то ни было делах, пусть он получит порядочное место в Лондоне, чтобы заработать себе хотя бы на башмаки, и я ему дам тысячу фунтов. Во всяком случае, — спохватился мистер Ральф Никльби, — я бы ее дал, если бы она у меня была.

— Бедняжка! — сказала юная леди. — Ах, дядя, неужели мы должны так скоро разлучиться?

— Милочка, не докучай дяде вопросами, когда он думает только о нашем благе, — сказала миссис Никльби. — Николас, дорогой мой, мне бы хотелось, чтобы ты что-нибудь сказал.

— О да! Конечно, мама! — отозвался Николас, который до сей поры оставался молчаливым и задумчивым. — Если мне посчастливится, сэр, получить это назначение, для которого у меня нет надлежащей подготовки, что будет с теми, кого я покидаю?

— В этом случае (и только в этом случае), сэр, — ответил Ральф, — я позабочусь о вашей матери и сестре и создам для них такие условия, чтобы они могли жить, ни от кого не завися. Это будет первой моей заботой. Не пройдет и недели после вашего отъезда, как их положение изменится, я за это ручаюсь. — А если так, — сказал Николас, весело вскочив и пожимая дядину руку, — то я готов на все, чего бы вы от меня ни потребовали. Сейчас же испытаем нашу судьбу у мистера Сквирса. Он может отказать, но и только.

— Он не откажет, — возразил Ральф. — Он с радостью примет вас по моей рекомендации. Постарайтесь быть ему полезным, и в скором времени вы будете компаньоном в его предприятии. Бог мой, вы только подумайте: если он умрет, ваша карьера обеспечена.

— Да, конечно, все это я понимаю! — воскликнул бедный Николас, восхищенный тысячами фантастических видений, вызванных его воодушевлением и неопытностью. — А вдруг какой-нибудь молодой аристократ, обучаясь в Холле, почувствует ко мне расположение и по выходе оттуда добьется, чтобы его отец пригласил меня в качестве наставника, сопровождающего его в путешествиях, а по возвращении с континента обеспечит мне какое-нибудь выгодное место? А, дядя?

— Да, разумеется! — усмехнулся Ральф.

— И кто знает, если он навестит меня, когда я обоснуюсь на месте (а он, конечно, меня навестит), он, быть может, влюбится в Кэт, которая будет вести мое хозяйство, и... и... женится на ней. А, дядя? Кто знает?

— Да, в самом деле, кто? — буркнул Ральф.

— Как бы мы были счастливы! — с энтузиазмом воскликнул Николас. — Боль разлуки

ничто по сравнению с радостью свидания. Кэт вырастет красавицей. Как я буду гордиться, слыша это, и как счастлива будет моя мать, снова соединившись с нами, и эти печальные времена будут забыты, и... — Перспектива была слишком ослепительна, чтобы можно было ее созерцать, и Николас, совершенно ею потрясенный, слабо улыбнулся и зарыдал.

Эти простодушные люди, родившиеся и выросшие в глуши и совершенно незнакомые с так называемым светом — условное словечко, которое, будучи разъяснено, частенько обозначает проживающих в этом свете негодяев, — смешали свои слезы при мысли о предстоящей разлуке. И, когда первое волнение улеглось, они принялись беседовать со всем пылом надежды, никогда еще не подвергавшейся испытаниям, о блестящем будущем, перед ними открывавшемся, как вдруг мистер Ральф Никльби заметил, что, если они будут терять время, какой-нибудь более счастливый кандидат может обогнать Николаса на пути к фортуне, которую предвещало объявление, и таким образом разрушит все их воздушные замки. Это своевременное напоминание положило конец беседе.

Николас старательно записал адрес мистера Сквирса, после чего дядя и племянник отправились вдвоем на поиски этого превосходного джентльмена. Николас энергически убеждал себя в том, что отнесся весьма несправедливо к своему родственнику, невзлюбив его с первого взгляда, а миссис Никльби не без труда внушала дочери свою уверенность, что он гораздо более расположен к ним, чем кажется, на что мисс Никльби покорно отвечала: да, это весьма возможно.

Сказать по правде, на добрую леди немало повлияло обращение деверя к ее здравому смыслу и лестный намек на ее превосходные качества, и, хотя она горячо любила мужа и по-прежнему была без ума от своих детей, он с таким успехом задел одну из этих маленьких диссонирующих струн в человеческом сердце (Ральф хорошо знал наихудшие его слабости и вовсе не знал наилучших). что она не на шутку начала почитать себя симпатичной и несчастной жертвой неосмотрительности своего покойного супруга.

Глава IV,

Николас и его дядя (с целью воспользоваться без промедления счастливым случаем) наносят визит мистеру Уэкфорду, владельцу школы в Йоркшире.

Сноу-Хилл! Что это за место Сноу-Хилл? — могут задать себе вопрос мирные горожане, видя эти слова, ясно начертанные золотыми буквами по темному фону на северных почтовых каретах. Люди имеют какое-то неопределенное и туманное представление о месте, название которого нередко мелькает у них перед глазами или частенько звучит в ушах. Какое великое множество догадок вечно кружит около этого Сноу-Хилла! Название такое хорошее! Сноу-Хилл — да еще Сноу-Хилл в компании с «Головой Сарацина» — рисует нам благодаря такому сочетанию идей нечто строгое и суровое! Холодная пустынная местность, открытая пронизывающим ветрам и жестоким зимним метелям, темные, холодные, мрачные вересковые пустоши, днем они безлюдны, а ночью честные люди стараются не думать о них; место, которого избегают одинокие путники и где собираются отчаянные головорезы, — таково или примерно таково должно быть представление о Сноу-Хилле в этих отдаленных девственных краях, где, подобно мрачному призраку, проносится ежедневно и еженощно «Голова Сарацина» с таинственной и загробной пунктуальностью, продолжая свой стремительный и неудержимый полет в любую непогоду и словно бросая вызов самим стихиям.

Реальность не совсем такова, но презирать ее отнюдь не следует. Здесь, в сердце Лондона, в самом деловом и оживленном его центре, в вихре шума и движения, словно преграждая путь гигантскому потоку жизни, который неустанно катится из различных

кварталов и развивается у его стен, здесь стоит Ньюгет²¹, и на этой людной улице, на которую Ньюгет взирает так хмуро, в нескольких футах от грязных, ветхих домишек, на том самом месте, где продавцы супа, рыбы и гниющих плодов занимаются своей торговлей, десятки людей среди грохота, с которым не сравнится даже гул большого города, четверо, шестеро или восемь сильных мужчин одновременно, бывают насильственно и стремительно вырваны из мира; сцена эта среди бурных проявлений жизни кажется устрашающей, когда любопытные глазают из окон, с крыш, со стен и колонн, и несчастный умирающий, охватывая отчаянным взором все, не встречает среди бледных, обращенных вверх лиц, ни одного лица — ни одного! — которое выражало бы жалость или сострадание.

Неподалеку от тюрьмы и, стало быть, неподалеку от Смитфилда и городского шума и сутолоки, как раз в той части Сноу-Хилла, где лошади, запряженные в омнибус, устремляясь на восток, серьезно подумывают о том, чтобы нарочно упасть, а лошади наемных кэбов, устремляясь на запад, нередко падают случайно, находится каретный двор при гостинице «Голова Сарацина». Портал охраняется двумя бюстами сарацинов; когда-то гордостью и славой умников сей столицы было сбрасывать их ночью, но за последнее время ничто не нарушало их покоя, быть может потому, что такого рода шутки ныне ограничиваются приходом Сент Джеймс, где предпочтение отдается дверным молоткам, как более портативным, и проволоке от дверных колокольчиков, которая почитается удобным материалом для зубочисток. Во всяком случае, сарацины пребывают здесь, хмуро взирая на вас по обе стороны ворот. Сама гостиница, украшенная еще одной головой сарацина, хмурится из глубины двора, а с задней дверцы всех красных карет, стоящих во дворе, смотрит голова маленького сарацина с таким же точно выражением, как головы больших сарацинов у ворот, и, стало быть, гостиница отличается явно сарацинским стилем.

Войдя в этот двор, вы увидите слева билетную кассу, справа — тянущуюся и небу башню церкви Сент Сепелькр, а по обе стороны — галереи, куда выходят спальни. Впереди вы заметите длинное окно, над которым разборчиво написано слово «кофейня», а заглянув в это окно, вы увидите вдобавок, если пришли вовремя, мистера Уэкфорда Сквирса, заложившего руки в карманы.

Наружность мистера Сквирса не располагала в его пользу. У него был только один глаз, а в результате обычного предрассудка предпочтение отдается двум. Глаз его был бесспорно полезен, по решительно некрасив — окрашенный в зеленовато-серый цвет и напоминающий своим разрезом веерообразное оконце над парадной дверью. Лицо со стороны, лишенной глаза, было в морщинах и складках, что придавало мистеру Скиирсу очень мрачный вид. В особенности, когда он улыбался, ибо в таких случаях у него появлялось выражение чуть ли не злодейское. Волосы у него были прямые и лоснящиеся, зачесаны наверх над низким выпуклым лбом, прекрасно гармонировавшим с его грубым голосом и резкими манерами. Ему могло быть пятьдесят два — пятьдесят три года, и он был немного ниже среднего роста; он носил белый галстук с длинными концами и черный костюм, приличествующий учителю, но так как рукава фрака были слишком длинны, а брюки слишком коротки, то, казалось, ему было не по себе в этом наряде, и он как будто пребывал в непрестанном изумлении от столь respectable своего вида.

Мистер Сквирс стоял у камина в кофейне, перегородженной на отделения; там находился такого вида стол, какие обычно бывают в кофейнях, и еще два стола необычной формы и размеров, благодаря чему они могли поместиться в углах, у перегородки. На скамейке стоял очень маленький деревянный сундучок, обвязанный тонкой веревкой, а на сундучке, как на насесте, сидел крохотный мальчик; его зашнурованные полусапожки и штанишки из вельвета болтались в воздухе; втянув голову в плечи и положив руки на колени, он время от времени робко, с явным страхом и недоверием поглядывал на владельца школы.

— Половина четвертого, — пробормотал мистер Сквирс, отвернувшись от окна и

мрачно взглянув на часы в кофейне. — Сегодня никто не придет.

Крайне раздосадованный этой мыслью, мистер Сквирс бросил взгляд па мальчика, желая убедиться, не делает ли он чего-нибудь такого, за что его можно приколотить. Так как тот ровно ничего не делал, то мистер Сквирс дал ему пощечину и запретил впредь ничего не делать.

— Двадцать четвертого июня, — забормотал мистер Сквирс, вновь принимаясь за сетования, — я увез десять мальчишек. Десятью двадцать равняется двумстам фунтам. Завтра в восемь часов утра я уезжаю домой, а у меня только трое мальчишек; трижды ноль — ноль, трижды два — шесть, шестьдесят фунтов. Что случилось с мальчишками? Что вбили себе в голову их родители? Что все это значит?

Тут мальчуган на сундуке отчаянно чихнул.

— Эй, сэр! — оглянувшись, проворчал владелец школы. — Это что такое?

— Ничего, простите, сэр, — вымолвил мальчуган.

— Ничего, сэр? — воскликнул мистер Сквирс.

— Простите, сэр, я чихнул, — ответил мальчуган, задрожав так, что сундучок под ним закачался.

— А-а, так ты чихнул? — произнес мистер Сквирс. — В таком случае, почему же вы сказали «ничего», сэр?

Не находя ответ на вопрос, мальчуган стал ввинчивать себе в глаза суставы пальцев и расплакался, после чего мистер Сквирс свалил его с сундука ударом по одной щеке и снова водрузил на сундук ударом по другой.

— Подождите, молодой джентльмен, пока я вас доставлю в Йоркшир, а тогда уж получите от меня остальное, — сказал мистер Сквирс. — Вы прекратите этот шум, сэр?

— Д-д-да, — всхлипывая, ответил мальчуган, энергически вытирая лицо «Мольбой нищего»²² на носовом платке из набивного коленкора.

— В таком случае прекратите немедленно, сэр, — сказал Сквирс. — Слышите?

Так как это увещание сопровождалось угрожающим жестом и было произнесено со свирепой миной, то мальчуган еще более энергически принялся тереть себе лицо, словно с целью загнать обратно слезы, и больше ничем не проявлял своих чувств, если не считать сопенья и приглушенных всхлипываний, раздававшихся попеременно.

— Мистер Сквирс, вас спрашивает какой-то джентльмен в баре, — доложил лакей, заглянувший в эту минуту.

— Проводите джентльмена сюда, Ричард, — мягко огозвался мистер Сквирс. — Эй, ты, маленький негодяй, спрячь носовой платок в карман, не то я тебя убью, когда уйдет этот джентльмен!

Не успел владелец школы произнести грозным шепотом эти слова, как вошел незнакомый джентльмен. Мистер Сквирс притворился, будто его не замечает, сосредоточенно чинил перо и давал благосклонные советы своему юному питомцу.

— Милое мое дитя, — сказал мистер Сквирс. — у всех людей бывают испытания. Это испытание, постигшее тебя в юном возрасте и заставляющее твое сердечко надрываться, а глаза наливаться слезами, что представляет оно собой? Ничто. Меньше чем ничто! Ты покидаешь своих друзей, дорогой мой, но во мне ты обрешь отца, а в миссис Сквирс — мать. В очаровательной деревне Дотбойс, близ Грета-Бридж в Норкшире, где мальчиков принимают на пансион, обеспечивают одеждой, книгами, умывают, снабжают карманными деньгами и всем необходимым...

— Это и *есть* тот самый джентльмен, — заметил незнакомец, прерывая владельца школы, декламировавшего свое газетное объявление. — Мистер Сквирс, сэр?

— Он самый, сэр, — ответил мистер Сквирс с видом крайнего изумления.

— Джентльмен, который дал объявление в газете «Таймс»? — продолжал незнакомец.

— В «Морнинг Пост», «Кроникл», «Геральд» и «Адвертайзер»²³ касательно академии, называемой Дотбойс-Холл, в очаровательной деревне Дотбойс, близ Грета-Бридж в Йоркшире, — присовокупил мистер Сквирс. — Вы пришли по делу, сэр. Об этом я заключаю, видя моих юных друзей. Как поживаете, мои юные джентльмены? И как поживаете *вы*, сэр?

Произнеся такое приветствие, мистер Сквирс погладил по головке двух щуплых мальчиков с ввалившимися глазами, которых привел с собой незнакомец, и стал ждать дальнейших сообщений.

— Я состою в фирме, торгующей масляными красками. Моя фамилия Снаули, сэр, — сказал незнакомец.

Сквирс наклонил голову, как бы желая сказать: «Прекрасная фамилия!»

Незнакомец продолжал: — Я подумываю о том, чтобы поместить моих двух мальчиков в вашу школу, мистер Сквирс.

— Не мне это говорить, сэр, — отозвался мистер Сквирс, — но полагаю, что лучше вам ничего не найти.

— Гм! — сказал тот. — Кажется, двадцать фунтов и год, — мистер Сквирс?

— Гиней, — с вкрадчивой улыбкой возразил владелец школы.

— За двоих — фунты, полагаю я, мистер Сквирс. — с важностью сказал мистер Снаули.

— Вряд ли это возможно, сэр, — ответил Сквирс, словно никогда не задумывался над таким предложением. — Позвольте-ка: четырежды пять — двадцать: удвойте эту сумму и вычтите... ну что ж, одним фунтом больше или меньше — это не мешает нам договориться. Вы меня порекомендуете вашим родственникам, сэр и это послужит возмещением.

— Мальчики не очень много едят. — сказал мистер Снаули.

— О, это не имеет ровно никакого значения! — отозвался Сквирс. — Мы в нашем заведении не обращаем внимания на аппетит мальчуганов.

Это была сушая правда: на аппетит внимания не обращали.

— Все полезное для здоровья, что только может дать Йоркшир, сэр, продолжал Сквирс, — все прекрасные нравственные правила, какие может внушить миссис Сквирс, все... короче говоря, все домашние удобства, какие только может пожелать мальчуган, все будет им предоставлено, мистер Снаули.

— Мне бы хотелось, чтобы сугубое внимание было уделено их нравственности, — сказал мистер Снаули.

— Я рад этому, сэр, — приосанившись, отозвался владелец школы. — Они попадут как раз в надлежащее место для усвоения нравственных правил, сэр.

— Вы сами человек высоконравственный, — сказал мистер Снаули.

— Надеюсь, сэр, — ответил Сквирс.

— Я имею удонольствие знать, что это так, сэр, — сказал мистер Снаули. Я справлялся у одного из тех, кто вас рекомендовал, и он сказал, что вы благочестивы.

— Надеюсь, сэр, я имею к этому некоторую склонность, — ответил Сквирс.

— Надеюсь, что и я имею, — отозвался мистер Снаули. — Мне бы хотелось сказать вам несколько слов в соседнем отделении за перегородкой.

— Разумеется, — осклабился Сквирс. — Милые мои, поболтайте минутку-другую с вашим новым товарищем по играм. Это один из моих воспитанников, сэр. Фамилия его Беллинг; он из Таунтона, сэр.

— Вот как? — отозвался мистер Снаули, воззрившись на бедного мальчугана, словно тот был какой-то диковинкой.

— Он едет со мной завтра, сэр, — сказал Сквирс. — А сейчас он сидит на своих пожитках. Каждому мальчику, сэр, полагается захватить с собой два костюма, шесть рубашек, шесть пар носков, два ночных колпака. два носовых платка, две пары башмаков,

две шляпы и бритву.

— Бритву! — воскликнул мистер Спаули, когда они перешли в соседнее отделение. — Зачем?

— Чтобы бриться, — ответил Сквирс, медленно и раздельно.

Ничего особенного не было в этих двух слонах, но тон, каким они были произнесены, должен был привлечь внимание, так как владелец школы и его собеседник пристально смотрели друг на друга в течение нескольких секунд, а затем обменялись весьма многозначительной улыбкой. Снаули был человек елейного вида, с приплюснутым носом, одетый в темный костюм, а на ногах его были длинные черные гетры; физиономия его выражала величайшее смирение и святость; тем более примечательна была его улыбка без всякой явной причины.

— А до каких лет мальчики могут оставаться у вас в школе? — спросил он наконец.

— До тех пор, пока их друзья будут вносить плату каждые три месяца моему агенту в столице или до той поры, пока они не сбегут, — ответил Сквирс. — Давайте говорить начистоту; я вижу, что мы друг друга поймем. Что это за мальчики? Незаконнорожденные дети?

— Нет, — возразил Снаули, встретив взгляд единственного глаза владельца школы. — Вы ошибаетесь.

— Я думал, что незаконнорожденные, — хладнокровно сказал Сквирс. — У нас таких очень много. Вон и тот мальчик.

— Тот, что в соседнем отделении? — спросил Снаули.

Сквирс утвердительно кивнул головой; его собеседник еще раз взглянул на мальчугана, сидящего на сундуке, и, отвернувшись с таким видом, словно был крайне разочарован его сходством с другими мальчиками, заявил, что ему бы это и в голову не пришло.

— Однако это так! — воскликнул Сквирс. — Но вернемся к вашим мальчикам. Вы хотели поговорить со мной?

— Да, — ответил Снаули. — Дело в том, что я им не отец, мистер Сквирс: я всего-навсего отчим.

— Ах, вот оно что! — воскликнул владелец школы. — Теперь сразу все объяснилось. Я удивлялся, какого черта вы хотите отправить их в Йоркшир. Ха-ха! О, теперь я понимаю!

— Я, видите ли, женился на их матери, — продолжал Снаули. — Держать мальчиков дома стоит дорого, а так как у нее есть маленькое состояние, находящееся в ее распоряжении, то я опасюсь (женщины так неразумны, мистер Сквирс), как бы она не растратила деньги на них, что было бы, знаете ли, губительно для этих детей.

— Понимаю, — отозвался Сквирс, откидываясь на спинку стула и помахивая рукой.

— И это побудило меня, — заключил Снаули, — поместить их в какой-нибудь пансион, подальше, где не бывает никаких каникул — никаких нелепых приездов домой дважды в год, которые так нарушают равновесие детей, — и где они могли бы немножко закалиться, понимаете?

— Плата вносится вовремя, и никаких вопросов не будет, — сказал Сквирс, кивая головой.

— Совершенно верно, — подхватил тот. — Однако серьезное ли внимание уделяется нравственности?

— Серьезное, — сказал Сквирс.

— Полагаю, домой разрешается писать не слишком часто? — не без колебания спросил отчим.

— Вообще не разрешается, если не считать рождественского письма, в котором они сообщают, что никогда еще не были так счастливы, и выражают надежду, что за ними никогда не пришлют, — ответил Сквирс.

— Лучшего и пожелать нельзя, — потирая руки, сказал отчим.

— Теперь, когда мы друг друга поняли, — сказал Сквирс, — разрешите мне вас спросить, почитаете ли вы меня человеком добродетельным, примерным и порядочным в

частной жизни и питаете ли глубочайшее доверие к моей неукоснительной честности, прямоте, религиозным принципам и дарованиям, поскольку я являюсь лицом, чей долг — брать на себя заботу о молодежи?

— Несомненно! — сказал отчим, отвечая на усмешку владельца школы.

— Может быть, вы не откажетесь это удостоверить, если я обращусь к вам за рекомендацией.

— Разумеется не откажусь.

— Вот что значит дело делать! Это мне по вкусу, — сказал Сквирс, беря перо.

Записав адрес мистера Снаули, владелец школы приступил к еще более приятному занятию — написал расписку в получении вперед платы за первые три месяца, — и едва успел он с этим покончить, как раздался голос, осведомляющийся, здесь ли мистер Сквирс.

— Здесь, — отозвался владелец школы. — Что нужно?

— Поговорить по делу, сэр, — сказал, входя в комнату, Ральф Никльби, за которым шел по пятам Николас. — Сегодня утром было помещено в газетах ваше объявление?

— Совершенно верно, сэр. Пожалуйста, пройдите сюда, — сказал Сквирс, который к тому времени вернулся в отделение кофейни, где был камин. — Не угодно ли присесть?

— Да, пожалуй, — ответил Ральф, согласуя слово с делом и кладя шляпу на стоявший перед ним стол. — Это мой племянник, сэр, мистер Николас Никльби.

— Как поживаете, сэр? — спросил Сквирс.

Николас поклонился, сказал, что поживает очень хорошо, и, казалось, был весьма поражен наружностью владельца Дотбойс-Холла: так оно и было.

— Вероятно, ны меня узнаете? — сказал Ральф, пристально глядя на владельца школы.

— Кажется, сэр, вы в течение нескольких лет уплачивали мне небольшую сумму каждые полгода, когда я приезжал в город, — ответил Сквирс.

— Уплачивал, — отозвался Ральф.

— Вместо родителей мальчика, по фамилии Доркер, который, к несчастью...

— ...к несчастью, умер в Дотбойс-Холле, — закончил фразу Ральф.

— Я это прекрасно помню, сэр, — подхватил Сквирс. — Ах, сэр, миссис Сквирс была привязана к мальчику, как к родному сыну! Сколько внимания уделяли этому мальчугану во время его болезни! Ежедневно, утром и вечером, ему предлагали гренки и теплый чай, когда он уже ничего не мог проглотить, свечу поставили в спальне в ту самую ночь, когда он умер, лучший лексикон принесли, чтобы подложить ему под голову. Впрочем, я об этом не жалею. Утешительно думать, что долг по отношению к нему исполнен.

Ральф улыбнулся так, словно вовсе не хотел улыбаться, и окинул взглядом находившиеся здесь незнакомые лица.

— Это мои воспитанники, — сказал Уэкфорд (Сквирс, указывая на мальчугана, сидящего на сундуке, и двух мальчиков, сидящих на полу, которые молча таращили глаза друг на друга и на все лады вертелись, по обычаю всех мальчуганов, только что завязавших знакомство. — Этот джентльмен, сэр, родитель, оказавший мне любезность похвалить систему воспитания, принятую в Дотбойс-Холле, который находится, сэр, в очаровательной деревне Дотбойс, близ Грета-Бридж в Йоркшире, где мальчиков принимают на пансион, обеспечивают одеждой, книгами, умывают, снабжают карманными деньгами...

— Все это нам известно, сэр, — с раздражением перебил Ральф, — об этом говорится в объявлении.

— Вы совершенно правы, сэр, об этом говорится в объявлении, — подтвердил Сквирс.

— И это верно, — вмешался мистер Снаули. — Я считаю своим долгом заверить вас, сэр, и горжусь возможностью вас заверить, что мистера Сквирса я почитаю джентльменом весьма добродетельным, примерным, порядочным и...

— Я в этом не сомневаюсь, сэр, — перебил Ральф, обрывая поток рекомендаций, — отнюдь не сомневаюсь. Не приступить ли нам к делу?

— От всей души согласен, сэр, — ответил Сквирс. «Никогда не уклоняйтесь от дела!» — вот первое правило, которое мы внушаем нашим ученикам, изучающим коммерцию.

Беллинг, дорогой мой, помните о нем всегда. Слышите?

— Да, сэр, — ответил Беллинг.

— Запомнил ли он? — осведомился Ральф.

— Повторите правило джентльмену, — произнес Сквирс.

— Никогда не... — начал юный Беллинг.

— Очень хорошо, — сказал Сквирс, — продолжайте.

— Никогда не... — повторил юный Беллинг.

— Прекрасно! — сказал Сквирс.

— У... — добродушно подсказал Николас.

— Увлекайтесь... делом! — сказал юный Беллинг. Никогда... не увлекайтесь... делом!

— Очень хорошо, сэр! — сказал Сквирс, бросив уничижающий взгляд на провинившегося. — В ближайшее время мы с вами увлечемся одним делом, нас лично касающимся.

— А сейчас, — сказал Ральф, — не лучше ли приступить к нашему делу?

— Как вам будет угодно, — сказал Сквирс.

— Видите ли, — продолжал Ральф, — дело несложное; изложить его недолго и покончить с ним, надеюсь, легко. Вы напечатали в объявлении, что вам нужен способный помощник, сэр?

— Совершенно верно, — сказал Сквирс.

— И вам он действительно нужен?

— Разумеется, — ответил Сквирс.

— Вот он налицо! — сказал Ральф. — Мой племянник Николас только что со школьной скамьи, голова забита всем, чему его обучали, в карманах пусто — самый подходящий для вас человек.

— Боюсь, — сказал Сквирс, смущенный подобным предложением, исходившим от юноши с такою внешностью, как у Николаса, — боюсь, что этот молодой человек мне не подойдет.

— Нет, подойдет, — сказал Ральф. — Мне лучше знать. Не падайте духом, сэр: не пройдет и недели, как у вас в Дотбойс-Холле будут обучаться все молодые аристократы. разве что этот джентльмен окажется более упрямым, чем я полагаю.

— Боюсь, сэр. — сказал Николас, обращаясь к мистеру Сквирсу, — что для вас препятствием служит моя молодость и то обстоятельство, что я не магистр искусств?

— Отсутствие ученого звания действительно является препятствием, ответил Сквирс, постаравшийся напустить на себя важность и приведенный в замешательство контрастом между простодушием племянника и развязностью дяди, а также непонятым упоминанием о молодых аристократах, находящихся на его попечении.

— Послушайте, сэр, — сказал Ральф, — я вам в две секунды представлю это дело в истинном его свете.

— Будьте любезны, — отозвался Сквирс.

— Перед вами мальчик, или юноша, или подросток, или молодой человек, или недоросль, которому лет восемнадцать — девятнадцать. — сказал Ральф.

— Это я вижу, — заметил владелец школы.

— И я вижу, — сказал мистер Снаули, почитая своим долгом оказывать время от времени поддержку новообретенному другу.

— Отец его умер. Он ни малейшего понятия не имеет о жизни, средств у него нет никаких, и он хочет найти хоть какую-нибудь работу, — сказал Ральф. — Я его рекомендую в ваше превосходное заведение, что открывает ему возможность завоевать себе положение, если он эту возможность использует. Понимаете?

— Как не понять! — воскликнул Сквирс, пытаясь воспроизвести ту усмешку, с какою старый джентльмен смотрел на своего ничего не подозревающего родственника.

— Что до меня, то, конечно, я понимаю, — с жаром сказал Николас.

— Вот видите, он, конечно, понимает, — тем же сухим, жестким тоном сказал

Ральф. — Если по капризу ему вздумается отказаться от этой блестящей возможности, прежде чем он хорошенько ею воспользуется, я почитаю себя освобожденным от обязанности оказывать какую бы то ни было поддержку его матери и сестре. Посмотрите на него и подумайте о том, что он может быть вам очень полезен! А теперь возникает вопрос: но послужит ли он вашим целям, во всяком случае на ближайшее время, лучше, чем двадцать человек, которых вы могли бы заполучить при обычных обстоятельствах. Разве подобный вопрос не заслуживает размышлений?

— Заслуживает, — сказал Сквирс, отвечая кивком на кивок Ральфа.

— Прекрасно! — отозвался Ральф. — Разрешите мне сказать вам два слова.

Эти два слова были сказаны наедине. Минуты через две мистер Уэкфорд Сквирс объявил, что мистер Николас Никльби, начиная с этой минуты, окончательно назначен и принят на место первого помощника учителя в Дотбойс-Холле.

— Этим вы обязаны рекомендации вашего дяди, мистер Никльби, — сказал Уэкфорд Сквирс.

Николас, восхищенный удачей, крепко пожал руку дяде и готов был тут же вознести до небес Сквирса.

«Вид у него странный, — думал Николас. — Ну так что же! Станным на вид был Порсон, а также доктор Джонсон²⁴. Таковы все книжные черви».

— Мистер Никльби, — сказал Сквирс, — завтра в восемь часов утра отъезжает пассажирская карета. Вы должны явиться сюда на четверть часа раньше, так как мы берем с собой этих мальчуганов.

— Разумеется, сэр, — сказал Николас.

— А за ваш проезд я заплатил, — проворчал Ральф. — Стало быть, вам нужно позаботиться только о том, чтобы одеться потеплее!

Еще один пример великодушия дяди! Николас столь глубоко почувствовал неожиданную его доброту, что с трудом нашел слова благодарности; в сущности, он и половины их еще не нашел, когда они распрощались с владельцем школы и вышли из ворот гостиницы «Голова Сарацина».

— Я буду здесь завтра утром, чтобы отправить вас в путь, — сказал Ральф. — Не вздумайте пойти на попятный!

— Благодарю вас, сэр, — ответил Николас. — Я никогда не забуду вашей доброты.

— Постарайтесь не забыть, — ответил дядя. — А сейчас ступайте-ка домой и уложите те вещи, какие у вас имеются. Как вы думаете, вы найдете дорогу к Гольдн-скверу?

— Разумеется, — сказал Николас. — Мне ничего не стоит расспросить.

— В таком случае передайте эти бумаги моему клерку, — сказал Ральф, извлекая из кармана маленький сверток, — и скажите ему, чтобы он ждал моего возвращения.

Николас охотно согласился передать сверток и, любезно пожелав всего наилучшего своему достойному дяде, на что добросердечный старый джентльмен ответил ворчанием, отправился в путь выполнять поручение.

Не мешкая, он добрался до Гольдн-сквера. Мистер Ногс, заглянувший на одну-две минуты в трактир, отпирал дверь американским ключом, когда Николас поднялся по ступеням.

— Что это такое? — осведомился Ногс, указывая на сверток.

— Бумаги от моего дяди, — ответил Николас. — А вы будьте так добры подождать, пока он не вернется домой.

— От дяди? — воскликнул Ногс.

— От мистера Никльби, — пояснил Николас.

— Войдите, — сказал Ньюмен.

Не прибавив больше ни слова, он ввел Николаса в коридор, а оттуда в контору-чулан в конце коридора, где подтолкнул его к столу и, взобравшись на свой высокий табурет, уселся,

свесив руки по обеим сторонам и глядя пристально на Николаса как бы с наблюдательной вышки.

— Никакого ответа не нужно, — сказал Николас, положив сверток подле него на стол.

Ньюмен ничего не сказал и, сложив руки и вытянув шею, словно желая лучше разглядеть лицо Николаса, продолжал все так же пристально изучать его черты.

— Никакого ответа, — очень громко повторил Николас, полагая, что Ньюмен Ногс глух.

Ньюмен положил руки на колени и, не произнося ни звука, все так же внимательно всматривался в лицо своего собеседника.

Такое поведение совершенно незнакомого человека было столь странно, а наружность его столь своеобразна, что Николас, довольно быстро подмечавший смешные стороны, не мог удержаться от улыбки, когда осведомился, нет ли у мистера Ногса каких-нибудь поручений для него.

Ногс покачал головой и вздохнул, после чего Николас поднялся и, сказав, что не нуждается в отдыхе, пожелал ему всего хорошего.

Со стороны Ньюмена Ногса потребовалось огромное усилие, и никто по сей день не знает, как удалось ему заставить себя задать вопрос, раз он имел дело с человеком совершенно незнакомым; как бы там ни было, по он перевел дух и сказал — сказал громко, ни разу не запнувшись, что, если молодой джентльмен не возражает, ему хотелось бы знать, что намерен для него сделать его дядя.

У Николаса не было решительно никаких возражений — напротив, он как будто обрадовался случаю поговорить на тему, занимавшую его мысли. Итак, он снова уселся и (пылкое его воображение разгоралось, по мере того как он говорил) приступил к пламенному и ослепительному описанию всех тех почестей и преимуществ, какие даст ему назначение в эту ученую обитель Дотбойс-Холл.

— Но что с вами? Вы больны? — воскликнул Николас, внезапно обрывая рассказ, так как его собеседник, принимая разнообразные неуклюжие позы, засунул руки под табурет и затрещал суставами пальцев, как будто ломал себе все кости.

Ньюмен Ногс ничего не ответил и продолжал пожимать плечами и трещать суставами пальцев, все время улыбаясь ужасной улыбкой, и, вытаращив глаза, пристально глядел в пространство самым устрашающим образом.

Сначала Николасу пришло в голову, что с загадочным человеком припадок, но, поразмыслив, он решил, что тот под хмельком, и при таких обстоятельствах счел разумным удалиться немедленно. Распахнув дверь на улицу, он оглянулся. Ньюмен Ногс все еще проделывал те же странные телодвижения, и пальцы трещали громче, чем когда бы то ни было.

Глава V,

Николас отправляется в Йоркшир. О его отъезде и попутчиках и о том, что постигло их в дороге

Если бы слезы, упавшие в чемодан, предохраняли его владельца от печали и злключения, Николас Никльби начал бы свое путешествие при самых благоприятных предзнаменованиях. Столько нужно было сделать и так мало было времени для этого, столько ласковых слов нужно было сказать, а в сердцах, где они зарождались, столько было горечи, мешавшей говорить, что маленькие приготовления к его отъезду прошли очень грустно. Сколько вещей, которые тревожная заботливость матери и сестры почитала необходимыми для его удобств, Николас уговорил их оставить! Ведь впоследствии они могут пригодиться, или же в случае необходимости их удастся обратить в деньги. Сколько беззлых разногласий по этому поводу возникало в печальный вечер накануне его отъезда!

А так как после каждого незлобивого спора они все приближались к концу несложных приготовлений, то Кэт суежилась все больше и больше и плакала все тише.

Дорожный сундучок был, наконец, уложен, и тогда уселись за ужин, к которому прибавили по этому случаю кое-какие вкусные вещи, а чтобы покрыть расход, Кэт и ее мать притворились, будто пообедали, пока Николаса не было дома. Бедный юноша чуть не подавился, пытаясь принять участие в ужине, и едва не задохнулся, стараясь шутить и заставляя себя невесело смеяться. Так томились они, хотя давно уже надо было идти спать, а потом они обнаружили, что могли бы и раньше дать исход подлинным своим чувствам, ибо при всем желании не в силах были их подавить. И тогда они позволили чувствам одержать верх, и даже в этом было какое-то облегчение.

Николас крепко спал до шести часов утра; ему снился родной дом или то, что прежде было родным домом, это неважно, ибо, благодарение богу, вещи, изменившиеся или исчезнувшие, возвращаются к нам во сне такими, какими когда-то были; он проснулся свежим и бодрым, написал карандашом несколько слов на прощанье, так как боялся произнести их вслух, и, положив записку и половину своих скудных сбережений у двери сестры, взвалил на плечи дорожный сундучок и бесшумно спустился вниз.

— Это вы, Ханна? — раздался голос из гостиной мисс Ла-Криви, где виднелся слабый свет свечи.

— Это я, мисс Ла-Криви, — сказал Николас, поставив сундучок и заглядывая в комнату.

— Ах, боже мой! — воскликнула мисс Ла-Криви, вздрогнув и схватившись рукой за свои папилютки. — Вы очень рано встали, мистер Никльби.

— Так же, как и вы, — ответил Николас.

— Изящные искусства поднимают меня с постели, мистер Никльби, — заявила леди. — Я жду света, чтобы осуществить один замысел.

Мисс Ла-Криви встала рано, чтобы нарисовать фантастический нос на миниатюре безобразного мальчугана, предназначенной для посылки в провинцию его бабушке, которая, как надеялись, завещает ему свое состояние, если обнаружит фамильное сходство.

— Чтобы осуществить один замысел, — повторила мисс Ла-Криви. — И вот почему очень удобно жить на такой оживленной улице, как Стрэнд. Если мне нужен нос или глаза для какой-нибудь модели, я просто-напросто выглядываю из окна и жду, пока они мне не попадутся.

— А много нужно времени, чтобы попался нос? — улыбаясь, осведомился Николас.

— Видите ли, это зависит главным образом от формы, — ответила мисс Ла-Криви. — В курносых и римских недостатка нет, а также в приплюснутых всех видов и размеров — когда бывает собрание в Экстер-Холле²⁵; но безупречно орлиные, должна, к сожалению, сказать, встречаются редко, и мы обычно пользуемся ими для военных и для общественных деятелей.

— Вот как! — сказал Николас. — Если я встречу такие носы во время моего путешествия, я постараюсь зарисовать их для вас.

— Неужели вы хотите сказать, что и в самом деле отправляетесь в такой дальний путь, в Йоркшир, в холодную зимнюю пору, мистер Никльби? — спросила мисс Ла-Криви. — Я что-то об этом слыхала вчера вечером.

— Совершенно верно, — ответил Николас. — Приходится, знаете ли, ехать, когда кто-то гонит. Меня гонит нужда, а нужда тоже бывает извозчиком.

— Я очень огорчена, — вот все, что я могу сказать, — поведала мисс Ла-Криви. — Огорчена так же из-за вашей матери и сестры, как и из-за вас. Ваша сестра очень хорошенькая молодая леди, мистер Никльби, и это еще одна причина, почему при ней должен быть человек, который бы ее охранял. Я уговорила ее попозировать мне раза два для витрины у парадной двери. Ах, какая прелестная получится миниатюра!

С этими словами мисс Ла-Криви взяла портрет на слоновой кости, весьма отчетливо

пересеченной небесноголубыми жилками, и посмотрела на него с таким самодовольством, что Николас не на шутку ей позавидовал.

— Если вам когда-нибудь представится случай оказать внимание Кэт, сказал Николас, протягивая ей руку, — я думаю, вы это сделаете.

— Можете на меня положиться, — отозвалась добросердечная миниатюристка. — Да благословит вас бог, мистер Никльби, а я желаю вам всего хорошего.

Николас очень мало знал свет, но, догадываясь о его обычаях, подумал, что, если он разок поцелует мисс Ла-Криви, она, быть может, будет не менее дружески расположена к тем, кого он покидал. Поэтому он с шутливой галантностью поцеловал ее раза три-четыре, а мисс Ла-Криви не обнаружила серьезных признаков неудовольствия и, поправив свой желтый тюрбан, заявила только, что никогда не слыхивала о таких вещах и ни за что бы этому не поверила.

Положив столь удовлетворительным образом конец неожиданному свиданию, Николас поспешно вышел из дому. Когда он отыскал человека, который взялся нести его сундучок, было только семь часов, поэтому он шел медленно, слегка опередив носильщика, и, по всей вероятности, далеко не с таким легким сердцем, как носильщик, хотя у того оно не было прикрыто жилетом и, судя по виду других принадлежностей костюма, он несомненно переночевал в конюшне, а позавтракал у водокачки.

Наблюдая с большим любопытством и интересом деятельные приготовления к наступающему дню, которые заметны были на каждой улице и чуть ли не в каждом доме, и раздумывая не без горечи о том, что столько людей всяких сословий и званий могут зарабатывать себе на жизнь в Лондоне, а он в поисках заработка принужден ехать так далеко, — Николас вскоре добрался до «Головы Сарацина», в Сноу-Хилле. Отпустив носильщика и позаботившись о том, чтобы сундучок был благополучно доставлен в контору пассажирских карет, он заглянул в кофейню, отыскивая мистера Сквирса.

Сего ученого джентльмена он застал за завтраком, а на скамейке против него сидели в ряд три маленьких мальчика, упомянутых раньше, и еще два, которые, по счастливой случайности, появились уже после свидания, состоявшегося накануне. Перед мистером Сквирсом стояла маленькая чашка кофе, Гарелка с горячими гренками и холодный ростбиф, но в настоящую минуту он был занят приготовлением завтрака для мальчиков.

— Здесь молока на два пенса, не так ли, любезный? — спросил мистер Сквирс, заглядывая в большую синюю кружку и осторожно наклоняя ее, чтобы хорошенько определить количество жидкости, содержащейся в ней.

— На два пенса, сэр, — ответил лакей.

— Да, что и говорить, в Лондоне молоко — редкость! — со вздохом сказал мистер Сквирс. — Уильям, долейте-ка эту кружку теплой водой!

— Доверху, сэр? — осведомился лакей. — Да ведь молло утонет в ней!

— Неважно, — отозвался мистер Сквирс. — Поделом ему, раз оно так дорого стоит. Вы заказали хлеба и масла на троих?

— Сейчас будет подано, сэр.

— Спешить незачем, — сказал Сквирс, — времени сколько угодно. Обуздывайте свои страсти, мальчики, и не волнуйтесь при виде еды.

Произнеся это нравоучение, мистер Сквирс отрезал большой кусок ростбифа и взглянул на Николаса.

— Присаживайтесь, мистер Никльби, — сказал Сквирс. — А мы, как видите, завтракаем.

Николас не видел, чтобы кто-нибудь завтракал, кроме мистера Сквирса; однако он поклонился с надлежащей почтительностью и постарался казаться бодрым.

— О, молоко с водой, не так ли, Уильям? — сказал Сквирс. — Прекрасно. А теперь не забудьте о хлебе и масле.

При этом новом упоминании о хлебе и масле пять мальчиков пришли в волнение и проводили глазами слугу; тем временем мистер Сквирс отведал молока с водой.

— А! — причмокивая, сказал этот джентльмен. — Как вкусно! Мальчики, подумайте о многочисленных нищих и сиротах на улицах, как бы они этому обрадовались. Ужасная штука — голод, не так ли, мистер Никльби?

— Ужасная, сэр, — отозвался Николас.

— Когда я скажу: «Номер первый», — продолжал мистер Сквирс, поставив кружку перед детьми, — мальчик слева, ближайший к окну, может пить; а когда я скажу: «Номер второй», пить будет мальчик, сидящий рядом с ним, и так далее, пока мы не дойдем до номера пятого — до последнего мальчика. Вы готовы?

— Да, сэр! — с жаром воскликнули все мальчики.

— Прекрасно! — сказал Сквирс, спокойно продолжая завтракать. Готовьтесь и ждите, пока я вам не скажу: «Начинайте». Подавляйте свой аппетит, мои милые, и вы преодолеете человеческую природу. Вот как мы воспитываем силу духа, мистер Никльби, — обратился владелец школы к Николасу, говоря с полным ртом, набитым ростбифом и гренками.

Николас пробормотал что-то в ответ — он и сам не знал что, а мальчики, разделяя свое внимание между кружкой, хлебом с маслом (к тому времени появившимся) и каждым куском, который мистер Сквирс отправлял себе в рот, сидели с выпученными глазами в муках ожидания.

— Возблагодарим бога за сытный завтрак! — сказал Сквирс, покончив с едой. — Номер первый может пить!

Номер первый с жадностью схватил кружку и выпил ровно столько, чтобы у него появилось желание выпить еще, но мистер Сквирс дал сигнал номеру второму, который в такой же животрепещущий момент должен был уступить кружку номеру третьему, и эта процедура продолжалась, пока номер пятый не покончил с молоком и водой.

— А теперь, — сказал владелец школы, разделяя три порции хлеба и масла на столько частей, сколько было мальчиков, — советую вам поторопиться с завтраком, потому что минуты через две прозвучит рожок и тогда все отправятся в путь.

Получив разрешение наброситься на еду, мальчики принялись есть жадно и поспешно, а владелец школы (который после завтрака находился в превосходнейшем расположении духа) ковырял вилкой в зубах и, улыбаясь, смотрел на них. Очень скоро раздался звук рожка.

— Я так и думал, что он не заставит себя ждать, — сказал Сквирс, вскакивая и доставая из-под скамейки небольшую корзинку. — Положите сюда то, что вы не успели доесть, мальчики! Вам это пригодится в дороге.

Николас был крайне изумлен такими экономическими порядками, но ему некогда было о них раздумывать, ибо маленьких мальчиков надлежало посадить на верх кареты, а сундучки их надлежало вынести и уложить, а что до багажа мистера Сквирса — надлежало позаботиться о том, чтобы его осторожно поместили в ящик под козлами, и все это входило в круг его обязанностей. Разгоряченный, впопыхах он заканчивал эти операции, когда его окликнул дядя, мистер Ральф Никльби.

— О, вот вы где, сэр! — сказал Ральф. — Вот ваши мать и сестра, сэр.

— Где? — воскликнул Николас, быстро оглядываясь.

— Здесь! — ответил дядя. — Располагая большими деньгами и не зная, что с ними делать, они расплачивались за наемную карсту, когда я сюда пришел.

— Мы боялись, что опоздаем и не увидим его перед разлукой, — сказала миссис Никльби, обнимая сына и не обращая никакого внимания на посторонних людей во дворе.

— Прекрасно, сударыня! — отозвался Ральф. — Разумеется, вам судить. Я сказал только, что вы расплачивались за наемную карету. Я никогда не плачу за наемную карету, сударыня, я никогда ее не нанимаю. Я не сидел в карете, мною нанятой, тридцать лет и, надеюсь, еще тридцать лет не буду сидеть, если столько проживу.

— Я бы никогда себе не простила, если бы не повидалась с ним, — сказала миссис Никльби. — Бедный дорогой мальчик!.. Ушел, даже не позавтракав, потому что боялся нас расстроить!

— Превосходно! — с величайшим раздражением воскликнул Ральф. — Когда я

впервые поступил на работу, сударыня, отправляясь каждое утро в Сити²⁶, я брал на завтрак хлеба на полпенни и полпинты молока. Что вы на это скажете, сударыня? Завтрак! Ба!

— Никльби, — сказал Сквирс, появляясь в этот момент и застегивая пальто, — мне кажется, вам следовало бы взобраться наверх, на заднее место. Я боюсь, как бы кто-нибудь из мальчиков не свалился, а тогда — пропали двадцать фунтов в год.

— Дорогой Николас, — прошептала Кэт, коснувшись руки брата, — кто этот грубый человек?

— Э! — проворчал Ральф, чуткий слух которого уловил эти слова. — Вы желаете, чтобы вас представили мистеру Сквирсу, моя милая?

— Так это владелец школы? Нет, дядя. О нет! — отшатнувшись, ответила Кэт.

— А я уверен, что не ослышался и что вы такое желание выразили, моя милая, — возразил Ральф свойственным ему холодным, саркастическим тоном. Мистер Сквирс, вот моя племянница, сестра Николаса.

— Очень рад познакомиться с вами, мисс, — сказал Сквирс, приподнимая шляпу дюйма на два. — Хотел бы я, чтобы миссис Сквирс принимала девочек, и тогда вы были бы у нас учительницей. А впрочем, может она приревновала бы, если бы вы у нас жили. Ха-ха-ха!

Если бы в тот момент владелец Дотбойс-Холла мог читать в душе своего помощника, он не без удивления обнаружил бы, что ни разу в жизни не был так близок к тому, чтобы его здорово поколотили. Кэт Никльби, быстрее угадав чувства брата, потихоньку увлекла его в сторону и таким образом помешала мистеру Сквирсу установить этот факт весьма неприятным для него манером.

— Милый Николас, — спросила молодая леди, — кто этот человек? Что это за место, куда ты отправляешься?

— Я сам почти ничего не знаю, Кэт, — ответил Николас. — Мне кажется, жители Йоркшира довольно грубы и неотесанны, вот и все.

— А этот человек? — настаивала Кэт.

— Мой наниматель, или хозяин, или как там полагается его называть, быстро ответил Николас, — а я осел, что истолковал в дурную сторону его грубость. Они смотрят на нас, и мне пора быть на своем месте. Господь с тобой, дорогая, прощай! Мама, думайте о том дне, когда мы снова встретимся! Дядя, до свиданья! Горячо благодарю вас за все, что вы сделали и намерены сделать. Я готов, сэр!

Торопливо бросив на прощание эти слова, Николас ловко взобрался на свое место и так нежно замахал рукой, словно отдавал свое сердце.

В тот момент, когда кучер и кондуктор в последний раз перед отправлением: в путь проверяли список пассажиров, когда носильщики вымогали последние шестипенсовики, отдаваемые с великим трудом, газетчики в последний раз предлагали утреннюю газету, а лошади в последний раз нетерпеливо звякали сбруей, Николас почувствовал, как кто-то тихонько дергает его за ногу. Он посмотрел вниз; внизу стоял Ньюмен Ногс, который совал ему в руку грязное письмо.

— Что это? — осведомился Николас.

— Тише! — прошептал Ногс, указывая на мистера Ральфа Никльби, который в нескольких шагах от них с жаром говорил о чем-то со Сквирсом. — Возьмите. Прочтите. Никто не знает. Вот и все.

— Подождите! — воскликнул Николас.

— Нет, — ответил Ногс.

Николас крикнул еще раз:

— Подождите!

Но Ньюмен Ногс уже скрылся.

Суэта, продолжавшаяся с минуту, стук захлопнувшихся дверей кареты, экипаж,

накренившийся набок, когда грузный кучер и еще более грузный кондуктор вскарабкались на свои места, возглас «готово!», звуки рожка, торопливый взгляд, брошенный на два печальных лица внизу и на суровые черты мистера Ральфа Никльби, и карета уже скрылась из виду и загромыхла по булыжникам Смитфилда.

У мальчиков, сидевших на скамье, ноги были слишком коротки, чтобы на что-нибудь опереться, и в результате им грозила неминуемая опасность слететь с крыши кареты, а потому у Николаса было достаточно забот поддерживать мальчиков, пока ехали по мостовой. Не переставая работать руками, охваченный беспокойством, сопутствовавшим этой работе, он почувствовал немалое облегчение, когда карета остановилась у «Павлина» в Излингтоне²⁷. Еще большее облегчение почувствовал он, когда плотный джентльмен с очень добродушным и очень румяным лицом вскарабкался сзади наверх и вызвался занять место на другом конце скамьи.

— Если мы посадим посредине кого-нибудь из этих малышей, — сказал вновь прибывший, — им будет грозить меньшая опасность, в случае если они заснут, а?

— Если уж вы так добры, сэр, — отозвался Сквирс, — это было бы чудесно. Мистер Никльби, пусть три мальчика сядут между вами и этим джентльменом. Беллинг и младший Снаули могут сидеть между мною и кондуктором. Трое детей, — пояснил незнакомцу Сквирс, — считаются за двоих.

— Право, я отнюдь не возражаю, — сказал джентльмен с румяным лицом. — У меня есть брат, который, конечно, не стал бы возражать, если бы его шестерых ребят считали за двоих у любого мясника или булочника в нашем королевстве. Отнюдь не стал бы!

— Шестеро ребят, сэр?! — воскликнул Сквирс.

— Да, и все мальчики, — ответил незнакомец.

— Мистер Никльби, — засуетившись, сказал Сквирс, подержите эту корзинку. Разрешите вручить вам, сэр, проспект заведения, где эти шесть мальчиков могут получить широкое образование в высоконравственном духе, будьте уверены в этом! Двадцать гиней в год за каждого, двадцать гиней, сэр! — или же я приму всех мальчиков вместе со скидкой и назначу сто фунтов в год за шестерых.

— О! — сказал джентльмен, взглянув на проспект. — Полагаю, вы и есть упомянутый здесь мистер Сквирс?

— Да, это я, — ответил достойный педагог. — Мое имя мистер Уэкфорд Сквирс, и я его нимало не стыжусь. Эти мальчуганы — из числа моих воспитанников, сэр; это один из моих помощников, сэр, — мистер Никльби, сын джентльмена, весьма сведущ в математике, классиках и коммерции. У нас в нашей лавочке кое-как дело не делается! Мои воспитанники обучаются всевозможным наукам, сэр. Перед расходами мы никогда не останавливаемся, и с мальчуганами обращаются и умывают их, как в отчем доме.

— Честное слово, вот это удобства так удобства! — сказал джентльмен, посмотрев на Николаса с чуть заметной улыбкой и весьма заметным удивлением.

— Можете в этом не сомневаться, сэр! — подхватил Сквирс, засовывая руки в карманы пальто. — Я требую и получаю самые солидные гарантии. Я бы не принял ни одного мальчика, не получив гарантии, что мне будут платить пять фунтов пять шиллингов за квартал, да, не принял бы, даже если бы вы упали на колени и умоляли меня, обливаясь слезами!

— В высшей степени благоразумно, — заметил пассажир.

— Быть благоразумным — основное мое намерение и цель, сэр, — отозвался Сквирс. — Снаули-младший, если ты не перестанешь щелкать зубами и дрожать от холода, я сию же минуту согрею тебя здоровой трепкой.

— Держитесь крепче, джентльмены! — сказал кондуктор, взобравшись наверх.

— Там сзади все в порядке, Дик? — крикнул кучер.

— Все в порядке, — последовал ответ. — Покатили!

И карета покатила под оглушительные звуки кондукторского рожка и при безмолвном одобрении всех собравшихся у «Павлина» знатоков карет и лошадей, в особенности — при одобрении конюхов, которые стояли, перебросив через руку попоны, и следили за каретой, пока она не скрылась из виду, а затем, восхищенные, поплелись к конюшням, в грубоватых выражениях восхваляя на все лады великолепное отбытие.

Кондуктор (это был дюжий старый йоркширец) трубил, пока не задохся, после чего положил рог в маленький плетеный футляр, прикрепленный для этой цели к стенке кареты, и, осыпав градом ударов свою грудь и плечи, заметил, что день на редкость холодный; затем он допросил всех по очереди, едут ли они до конечной станции, а если нет, то куда они едут. Получив удовлетворительные ответы на эти вопросы, он высказал предположение, что после вчерашнего ливня дорога довольно тяжелая, и дерзнул осведомиться, нет ли у кого из джентльменов табакерки с нюхательным табаком. Когда выяснилось, что ни у кого ее нет, он с таинственным видом заметил, что слышал, как один джентльмен-медик, который ехал на прошлой неделе в Гренте, говорил, будто нюхательный табак вреден для глаз, но что до него, то он никогда этого не замечал, и, по его мнению, каждый должен судить по себе. Когда никто не попытался опровергнуть это положение, он вынул из своей шляпы маленький сверток в оберточной бумаге и, надев очки в роговой оправе, прочел раз шесть адрес (почерк был неразборчивый); покончив с этим, он опять спрятал сверток в шляпу, снял очки и пристально посмотрел на всех поочередно. После этого он снова в виде развлечения затрубил в рог, и так как все обычные темы разговора были истощены, скрестил руки, насколько это ему позволяли многочисленные его плащи, и, погрузившись в глубокомысленное молчание, стал равнодушно созерцать знакомые предметы, попадавшиеся по обеим сторонам дороги по мере продвижения кареты; единственное, что как будто его интересовало, были лошади и стада коров, которые он рассматривал с критической миной, когда они проходили по дороге.

Холод был пронизывающий, лютый; время от времени начинался сильный снегопад, а ветер был нестерпимо резкий. Мистер Сквирс выходил чуть ли не на каждой остановке — по его словам, для того чтобы размять ноги, и так как после этих экскурсий он всегда возвращался с очень красным носом и немедленно располагался спать, то были основания предположить, что из этой процедуры он извлекал великую пользу. Маленькие ученики, подкрепившись остатками завтрака, а затем почерпнув новые силы благодаря нескольким чашечкам своеобразного бодрящего напитка, который находился у мистера Сквирса и по вкусу очень напоминал воду, настоянную на сухарях и по ошибке налитую в бутылку из-под бренди, — ученики засыпали, просыпались, дрожали и плакали, повинувшись своим наклонностям. Николас и добродушный пассажир нашли много тем для разговора; они вели беседу, развлекали мальчиков, и время для них пролетело так быстро, как только это было возможно при столь неблагоприятных обстоятельствах.

Так прошел день. В Итон-Слокоме для пассажиров был готов сытный обед, который разделили сидевшие на козлах, а также четыре наружных передних пассажира, один сидевший внутри, Николас, добродушный человек и мистер Сквирс, в то время как пятерым мальчуганам предоставили оттаивать у очага и угощаться сэндвичами²⁸. Через одну-две остановки зажгли фонари, и много было суеты, когда у придорожной гостиницы заняла место в карете брюзгливая леди с великим множеством разнообразных плащей и свертков, которая громко сетовала на неприбытие ее собственного экипажа (доводя об этом до сведения наружных пассажиров) и вынудила у кондуктора торжественное обещание останавливать каждую встречную зеленую карету, им замеченную. Сие должностное лицо взялось исполнить поручение, дав в том пламенные заверения, хотя ночь была темная, а лицо сидело повернувшись в другую сторону. Наконец капризная леди, обнаружив, что в карете находится только один джентльмен, заставила зажечь фонарик, находившийся у нее в ридикюле, и когда после многих хлопот дверцу за ней захлопнули, лошади пустились резвым

галопом, и снова карета быстро помчалась вперед.

Ночь и снегопад начались одновременно, и принесли они уныние. Не слышно было ни звука, кроме завывания ветра, ибо стук колес и топот лошадей заглушал толстый покров снега, окутавший землю и нараставший с каждой секундой. Улицы Стэмфорда были безлюдны, когда они проезжали через город, а над побелевшей землей вздымались старые его церкви, хмурые и темные. Еще через двадцать миль двое передних наружных пассажиров разумно воспользовались прибытием в одну из лучших гостиниц Англии и остановились переночевать у «Джорджа» в Грентеме. Остальные плотнее закутались в свои пальто и плащи и, распрощавшись с огнями и теплом города, прислонились к багажу, как к подушкам, и с приглушенными стонами приготовились вновь встретить пронизывающий ветер, пронесившийся над открытой равниной.

Они только что миновали одну станцию за Грентемом или же находились примерно на полпути между нею и Ньюарком, когда Николас, который на минуту заснул, внезапно встрепенулся от резкого толчка, едва не сбросившего его со скамьи. Ухватившись за перила, он обнаружил, что карета сильно накренилась набок, хотя лошади продолжали тащить ее вперед; испуганный нырявшими в снег лошадьми и громкими воплями леди, сидевшей в карете, он секунду колебался, прыгать ему или не прыгать, как вдруг карета преспокойно опрокинулась и, избавляя от всех дальнейших сомнений, выбросила его на дорогу.

Глава VI,

в которой происшествие, упомянутое в предшествующей главе, дает возможность двум джентльменам состязаться друг с другом, рассказывая истории

— Уо-хо! — крикнул кондуктор, через минуту очутившийся на ногах и бросившийся к передним лошадям. Есть здесь хоть один джентльмен, который может мне пособить? Да стойте же смирно, будь вы прокляты! Уо-хо!

— В чем дело? — спросил Николас, озираясь спросонья.

— Дело? Дела хватит на целую ночь, — отозвался кондуктор. — Будь проклят гнедой с бельмом на глазу! Он, видно, взбесился, а карета и опрокинулась. Эй, послушайте, не поможете ли вы мне? Черт подери, я бы помог, даже если бы у меня все кости были переломаны.

— Иду! — крикнул Николас, с трудом поднимаясь на ноги. — Я готов! Меня только слегка оглушило, вот и все.

— Держите их крепко, пока я перережу построжки! — крикнул кондуктор. Уж как-нибудь придержите их! Здорово, приятель. Готово! А теперь отпустите! Они, проклятые, быстро добегут до дому.

И в самом деле, как только лошади получили свободу, они преспокойно пустились рысью назад, к конюшням, только что ими покинутым и находившимся на расстоянии не более мили.

— Можете вы затрубить в рог? — спросил кондуктор, снимая один из фонарей кареты.

— Думаю, что могу, — ответил Николас.

— Потрубите-ка вон в тот, что лежит на земле, да так, чтобы мертвые проснулись, — продолжал кондуктор, — а я постараюсь унять этот визг в карете. Иду, иду! Незачем поднимать такой шум, сударыня!

С этими словами он принялся открывать дверцу кареты, очутившуюся сверху, а Николас, схватив рог, разбудил далеко вокруг эхо, исполнив на этом инструменте одну из самых удивительных мелодий, когда-либо слышанных смертными. И она возымела действие, не только заставив очнуться тех пассажиров, которые, оглушенные падением, еще не пришли в себя, но и призвав помощь со стороны: вдали замелькали огни и фигуры людей.

Какой-то человек верхом на лошади прискакал галопом, прежде чем пассажиров

собрали всех вместе, а когда приступили к тщательному расследованию, то обнаружилось, что леди в карете разбила свой фонарик, а джентльмен — голову; что два передних наружных пассажира отделались синяками под глазом, джентльмен рядом с кучером — расквашенным носом, кучер — ссадиной на виске, мистер Сквирс — ушибленной чемоданом спиной, а остальные пассажиры не получили ровно никаких повреждений благодаря мягкому снежному сугробу, в который они опрокинулись. Когда эти факты были окончательно установлены, леди рядом симптомов указала на приближение обморока, но, услышав предостережение, что в таком случае кому-нибудь из джентльменов придется тащить ее на спине до ближайшего трактира, она благоразумно изменила свое решение и пешком пошла назад вместе остальными.

Добравшись до трактира, они обнаружили, что этот уединенный дом не очень удобен для размещения в нем, — в этом отношении все его ресурсы заключались в одной общей комнате, с полом, усыпанным песком, и в двух-трех стульях. Но после того как в очаг бросили большую охапку хвороста и немалый запас угля, положение не замедлило улучшиться, а к тому времени, когда пассажиры смыли все поддающиеся уничтожению следы недавнего происшествия, в комнате уже было тепло и светло, что являлось большим благодеянием после холода и сумрака снаружи.

— Вы поступили прекрасно, мистер Никльби, удержав лошадей, — сказал Сквирс, прокрадываясь в самый теплый уголок. — Я бы и сам это сделал, если бы подоспел вовремя, но я очень рад, что вы это сделали. Вы это сделали очень хорошо, очень хорошо.

— Так хорошо, — сказал джентльмен с веселым лицом, казалось, не очень одобрявший покровительственный тон, усвоенный Сквирсом, — так хорошо, что если бы их не удержали на месте твердой рукой, у вас, по всей вероятности, не осталось бы мозгов для преподавания.

Это замечание послужило поводом к беседе касательно расторопности, обнаруженной Николасом, и его осыпали поздравлениями и похвалами.

— Конечно, я очень рад, что спасся, — заявил Сквирс, — всякий рад, когда, спасается от опасности, но если бы хоть один из моих питомцев получил повреждения, если бы я не имел возможности вернуть кого-нибудь из этих мальчуганов его родителям целым и невредимым, каким я его получил, — что бы я тогда почувствовал? О, было бы лучше, если бы колесо прокатилось по моей голове!

— Все они братья, сэр? — осведомилась леди, обладавшая лампой Дэви²⁹, иными словами — безопасной лампой.

— В известном смысле это так, сударыня, — ответил Сквирс, опуская руку в карман за проспектами. — Все они равно пользуются родительским любовным уходом. Миссис Сквирс и я заменяем каждому из них мать и отца. Мистер Никльби, передайте леди этот проспект, а вот этот предложите джентльмену. Быть может, они знают родителей, которые рады были бы обратиться в наше заведение.

Высказавшись в таком смысле, мистер Сквирс, никогда не упускавший случая воспользоваться даровой рекламой, положил руки на колени и посмотрел на своих учеников с такой благосклонностью, какую только мог изобразить на лице, а Николас, краснея от стыда, вручал, как было ему поручено, проспекты.

— Надеюсь, вы не испытали никаких потрясений при падении, сударыня? — спросил джентльмен с веселым лицом, обращаясь к брюзгливой леди, словно он по доброте своей хотел переменить тему беседы.

— Никаких телесных потрясений, — ответила леди.

— Надеюсь, и никаких душевных потрясений?

— Этот разговор очень болезненно действует на мои чувства, сэр, — в сильном волнении ответила леди, — и я прошу вас, как джентльмена, оставить его.

— Ах, боже мой! — воскликнул джентльмен с веселым лицом, принимая еще более веселый вид. — Я хотел только осведомиться...

— Надеюсь, больше ни о чем осведомляться не будут, — сказала леди, иначе я вынуждена буду прибегнуть к защите других джентльменов. Хозяин, пожалуйста, прикажите какому-нибудь мальчику сторожить снаружи у двери и, если мимо проедет по направлению к Грентему зеленая карета, немедленно ее остановить.

Обитатели дома были явно ошеломлены этой просьбой, а когда леди наказала мальчику запомнить для опознания ожидаемой зеленой кареты, что на козлах будет сидеть кучер в обшитой золотым галуном шляпе, а на запятках стоять лакей, по всей вероятности в шелковых чулках, любезность славной хозяйки гостиницы удвоилась. Даже пассажир с козел заразился этим и, став на редкость почтительным, осведомился, есть ли в здешних краях хорошее общество, на что леди ответила: «Да, есть!» — тоном, явно показывавшим, что она занимает место на самой его вершине.

— Кондуктор поехал верхом в Грентем за другой каретой, — сказал благодушный джентльмен, после того как они некоторое время провели молча у очага, — и вернется он не раньше чем через два часа, а потому я предлагаю распить чашу горячего пунша. Что скажете, сэр?

Этот вопрос был задан внутреннему пассажиру с разбитой головой, который оказался человеком очень благородной наружности, носившим траур. Он был еще не стар, но с седыми волосами; по-видимому, они поседели преждевременно от забот или горя. Он охотно принял предложение, и, казалось, ему пришлось по вкусу искреннее добродушие человека, от которого оно исходило.

Этот последний взял на себя обязанности виночерпия, когда пунш был готов, и, разлив всем по кругу, завел речь о древностях Йорка, которые, по-видимому, были хорошо знакомы и ему и седому джентльмену. Когда эта тема исчерпалась, он с улыбкой повернулся к седому джентльмену и спросил, умеет ли тот петь.

— Право же, не умею, — ответил джентльмен, улыбаясь в свою очередь.

— Как жаль! — сказал обладатель добродушной физиономии. — Нет ли здесь кого-нибудь, кто бы мог спеть песню, чтобы скоротать время?

Пассажиры в один голос заявили, что не умеют, что сожалеют об этом, что они не могут припомнить без книги слова какой-нибудь песни, и так далее.

— Быть может, леди не будет возражать, — сказал председательствующий почтительно и с веселой искоркой в глазах. — Я уверен, что какая-нибудь итальянская песенка из последней оперы, шедшей в столице, будет самой подходящей.

Так как леди не снизошла до ответа, а лишь тряхнула презрительно головой и вновь выразила шепотом изумление по поводу отсутствия зеленой кареты, раздались один-два голоса, настаивавшие, что самому председателю подобает сделать первую попытку во имя общего блага.

— Я бы это сделал, если бы мог, — сказал джентльмен с добродушным лицом, — так как я считаю, что в данном случае, как и во всех других, когда люди, друг с другом незнакомые, неожиданно оказываются в одной компании, им нужно быть как можно любезнее для общей пользы.

— Хотел бы я, чтобы при всех случаях жизни почаще следовали этому правилу, — сказал седовласый джентльмен.

— Рад это слышать, — отозвался тот. — А может быть, раз вы не умеете петь, вы нам расскажете какую-нибудь историю?

— Нет. Я бы попросил вас..

— После вас расскажу с удовольствием.

— Вот как! — улыбаясь, сказал седовласый джентльмен. — Ну что ж, будь по-вашему! Боюсь, что направление моих мыслей не рассчитано на то, чтобы развлечь вас на те часы, какие предстоит вам здесь провести. Но вы это сами на себя навлекли, так будьте же справедливыми судьями! Мы только что беседовали об Йоркском соборе. Моя повесть имеет к нему некоторое отношение. Назовем ее «Пять сестер из Йорка».

Когда замер одобрительный шепот других пассажиров, а брюзгливая леди выпила

украдкой стакан пунша, седовласый джентльмен начал так:

«Много-много лет назад — ибо пятнадцатому веку едва минуло в ту пору два года и король Генрих Четвертый восседал на престоле Англии — жили в древнем городе Йорке пять девушек-сестер, пять героинь моего рассказа.

Все эти пять сестер отличались редкой красотой. Старшей пошел двадцать третий год, вторая была на год моложе, третья — на год моложе второй, а четвертая — на год моложе третьей. Они были высокие, статные, с темными пламенными глазами и волосами цвета черного янтаря; достоинства и грации исполнено было каждое их движение, и слух о несравненной их красоте распространился широко по всей стране.

Но если красивы были четыре старшие сестры, то как прекрасна была младшая, прелестное шестнадцатилетнее создание! Румяные тона свежего плода и нежная окраска цветка были не более совершенны, чем розы и лилеи ее кроткого лица и глубокая синева ее глаз. Виноградная лоза во всем ее изящном великолепии была не более восхитительна, чем пышные каштановые кудри, развевавшиеся вокруг ее чела.

Если бы у всех у нас было такое же сердце, какое так весело бьется в груди юных и прекрасных, небом стала бы эта земля! Если бы в то время, как наши тела стареют и увядают, сердца наши могли сохранить юность и свежесть, какое значение имели бы наши горести и страдания! Но слабое воспоминание об Эдеме, в пору нашего детства запечатленное в сердцах, тускнеет в суровой борьбе с миром и вскоре стирается, сберегая часто только одни печальные останки.

Сердце этой прелестной девушки трепетало от радости и счастья. Преданность сестрам и горячая любовь ко всему прекрасному в природе — таковы были чистые ее чувства. Ее веселый голос и ликующий смех звучали сладчайшей музыкой в их доме. Она была его светом и жизнью. Самые яркие цветы в саду были выращены ею; птицы в клетках пели, слышав ее голос, и чахли, когда не слышали его. Элис, милая Элис! Какое живое существо, находившееся в сфере ее нежного очарования, могло не полюбить ее!

Тщетно будете вы искать теперь то место, где обитали эти сестры, ибо даже их имена канули в небытие, и запыленные антикварии вещают о них, как о мифе. Но они жили в старом деревянном доме — старом даже в те времена — с нависающими фронтонами и балконами из дуба с грубой резьбой, в доме, стоявшем в чудесном фруктовом саду и обнесенном простой каменной стеною, откуда хороший стрелок мог пустить свою стрелу в аббатство Сент Мэри. В ту пору старое аббатство процветало, и пять сестер, живя в прекрасных его владениях, платили ежегодно подать черным монахам святого Бенедикта, братству которого принадлежала эта земля.

Ослепительным солнечным утром, в приятную летнюю пору, один из этих черных монахов покинул портал аббатства и направил свои стопы к дому прекрасных сестер. Синее было небо вверху, и зелена земля внизу; как бриллиантовая тропа, сверкала река на солнце; птицы распевали песни в ветвях тенистых деревьев; жаворонок взмыл высоко над волнующимися нивами, и густое гудение насекомых звучало в воздухе. Все словно радовалось и улыбалось, но мрачно ступал святой муж, устремив взоры долу. Красота земли — лишь дуновение, и человек — лишь тень. Мог ли питать к ним какое-то сочувствие святой проповедник?

И вот, не отрывая глаз от земли или подымая их чуть-чуть только для того, чтобы не наткнуться на какое-нибудь препятствие на пути, благочестивый муж медленно шествовал вперед, пока не достиг маленькой калитки в стене, окружавшей фруктовый сад сестер; в нее он вошел, закрыв ее за собою. Не успел он сделать несколько шагов, нежные голоса, ведущие беседу, и веселый смех коснулись его слуха, и он, подняв взоры выше, чем повелевало смирение, узрел четырех сестер, сидевших неподалеку на траве, и в кругу их — Элис. Все были заняты привычной своей работой — вышиванием.

— Да благословит вас бог, прекрасные дочери! — сказал монах.

И поистине они были прекрасны. Даже монах мог возлюбить их, как совершенные

создания, вышедшие из рук творца.

Сестры приветствовали святого мужа с подобающим почтением, и старшая предложила ему сесть на замшелую скамью рядом с ними. Но добрый монах покачал головой и плюхнулся на очень жесткий камень, чем несомненно доставил удовлетворение ангелам.

— Вы веселились, дочери, — сказал монах.

— Вы знаете, как беззаботна милая Элис, — ответила старшая сестра, перебирая пальцами косы улыбающейся девушки.

— И какая радость и счастье пробуждаются в нас, когда природа сияет в лучах солнца, отец! — добавила Элис, краснея под суровым взглядом затворника.

Монах ничего не ответил, он только с важностью склонил голову, а сестры молча продолжали вышивать.

— По-прежнему расточаете драгоценное время, — сказал, наконец, монах, обращаясь к старшей сестре, — по-прежнему расточаете драгоценное время на суетные мелочи. Увы, увy! Возможно ли столь легкомысленно растрчивать немногие пузырьки на поверхности вечности — все, что по воле неба дано нам видеть в этом темном, глубоком потоке!

— Отец, — возразила девушка, отрываясь, как и другие сестры, от своей работы, — после утрени мы прочитали наши молитвы, ежедневная наша милостыня роздана у ворот, больным крестьянам оказана помощь, — все наши утренние обязанности исполнены. Надеюсь, наше занятие не заслуживает порицания?

— Взгляните, — сказал монах, беря у нее из рук пяльцы, — на это сложное сочетание ярких красок без цели и смысла, разве что когда-нибудь оно будет предназначено служить суетным украшением в утеху гордыни вашего слабого и ветреного пола. Дни за днями уходили на эту бессмысленную работу, и, однако, она не готова даже наполовину. Тень каждого минувшего дня падает на нашу могилу, и при виде ее ликует червь, зная, что мы устремляемся к ней. Дочери, неужели нет лучшего способа проводить быстролетные часы?

Четыре старшие сестры потупили очи, словно пристыженные упреком святого мужа, но Элис подняла глаза и кротко посмотрела на монаха.

— Наша дорогая матушка, — сказала девушка, — да упокоит небо ее душу...

— Аминь! — глухо отозвался монах.

— ...наша дорогая матушка, — запинаясь, продолжала прекрасная Элис, была еще жива, когда мы начали эту большую работу, и просила нас, когда ее не будет в живых, заниматься рукоделием со всем спокойствием и беззаботностью в часы досуга. Она говорила, что, если в невинном веселье и девических занятиях мы проведем эти часы вместе, они окажутся самыми счастливыми и безмятежными в нашей жизни, и если в будущем мы уйдем в мир и познаем его заботы и искушения, если, прельщенные его соблазнами и ослепленные его блеском, мы когда-нибудь забудем о той любви и том долге, какие должны связывать святыми узами детей любимой матери, взгляд на старое рукоделие вместе проведенных девических лет пробудит добрые мысли о минувших днях и смягчит наши сердца, исполнив их нежности и любви.

— Элис говорит правду, отец, — не без гордости сказала старшая сестра.

И с этими словами она, как и другие, вернулась к своей работе.

Большой образчик вышивки находился перед каждой сестрой; узор был сложный и запутанный, рисунок и цвета были одинаковые у всех пятерых. Сестры грациозно склонились над работой; подперев подбородок руками, монах молча переводил взгляд с одной на другую.

— Насколько было бы лучше, — сказал он, наконец, — бежать от всех таких мыслей и в мирном приюте церкви посвятить жизнь небу! Младенчество, детство, расцвет жизни и старость вянут так же быстро, как и сменяют друг друга. Подумайте о том, как стремится к могиле прах человеческий, и, обратив лицо к этой цели, избегайте того облака, которое рождается среди мирских развлечений и обманывает чувства их приверженцев. Примите пострижение, дочери, примите пострижение.

— Никогда, сестры! — воскликнула Элис. — Не меняйте свет и воздух небес, и

свежесть земли, и все прекрасное, что на ней дышит, на холодный монастырь и келью! Дары Природы — истинное благо жизни, и мы можем безгрешно делить его вместе. Смерть — наш тяжкий удел, но умрем, окруженные жизнью! Когда перестанут биться наши похолодевшие сердца, пусть горячие сердца бьются рядом. Пусть последний наш взгляд упадет на пределы, какими ограничил бог свой яркий небосвод, а не на каменные стены и железные решетки! Дорогие сестры, послушайте меня, будем жить и умрем в этом зеленом саду, но бегите от мрака и скорби монастыря, и мы будем счастливы!

Слезы брызнули из глаз девушки, когда она произнесла свою страстную мольбу и спрятала лицо на груди сестры.

— Утешься, Элис! — сказала старшая, целуя ее чистый лоб. — Покрывало монахини никогда не бросит тени на твое юное чело. Что скажете вы, сестры? Говорите не об Элис и не обо мне, а только о себе.

Сестры единодушно воскликнули, что жребий у них общий и что обители мира и добродетели могут быть и за пределами монастырских стен.

— Отец, — сказала старшая, с достоинством вставая, — вы слышали наше окончательное решение. Та благочестивая забота, которая обогатила аббатство Сент Мэри и поручила нас, сирот, святым его попечениям, предписала, чтобы ничем не стесняли наших склонностей, но чтобы нам дана была свобода жить по своей воле. Мы просим вас, не говорите нам больше об этом. Сестры, близок полдень. Укроемся в доме до вечера!

Поклонившись монаху, она встала и направилась к дому, ведя за руку Элис; остальные сестры шли за ними.

Святой муж, часто и настойчиво поднимавший этот вопрос, но никогда еще не встречавший такого прямого отпора, шел немного позади, опустив глаза долу и шевеля губами, словно читая молитву. Когда сестры приблизились к крыльцу, он ускорил шаги и крикнул, чтобы они остановились.

— Стойте! — воскликнул монах, поднимая правую руку и переводя гневный взгляд с Элис на старшую сестру. — Стойте и выслушайте, каковы эти воспоминания, которые вы хотели бы ценить превыше вечности и пробуждать — если, по счастью, они дремлют — с помощью пустых игрушек. Память о земном обременена в последующей жизни горькими разочарованиями, печалью, смертью и изнуряющей скорбью. Настанет день, когда взгляд на бессмысленные безделушки раскроет глубокие раны в сердцах ваших и пронзит вас до самых глубин души. Когда придет этот час — и помните, он пробьет, — уйдете из мира, к которому влечетесь, в прибежище, вами отвергнутое! Найдите келью, которая была бы холоднее, чем огонь смертных, притушенный бедами и испытаниями, и там оплакивайте мечты юности. Такова воля неба, не моя, — сказал монах, понизив голос и окинув взглядом отпрянувших девушек. — Благословение девы да пребудет с вами, дочери!

С этими словами он скрылся за калиткой, а сестры поспешили в дом и в тот день больше не показывались.

Но природа продолжает улыбаться, хотя бы священники и хмурились, и на следующий день солнце светило ярко, и так было на следующий и еще на следующий день. И в сиянии утра и в кротком покое вечера пять сестер по-прежнему гуляли, работали или коротали часы в беззаботной беседе в своем тихом фруктовом саду.

Быстро протекало время, как течет рассказ, даже быстрее, чем многие рассказы, к числу которых, боюсь, можно отнести и этот. Дом пяти сестер стоял на старом месте, и те же деревья бросали приятную тень на траву в саду. И сестры были здесь, такие же прелестные, как и раньше, но перемены посетили их жилище. Иногда здесь слышалось бряцание доспехов, и лунные отблески падали на стальные шлемы; а иной раз измученные кони останавливались у ворот, и быстро скользила женская фигура, словно торопясь услышать весть, привезенную усталым посланцем. Однажды заночевала в стенах аббатства большая компания кавалеров и дам, а на завтра они уехали, и с ними две из прекрасных сестер. Потом всадники стали появляться реже и, казалось, привозили недобрые вести; наконец они совсем перестали приезжать, и после захода солнца к воротам пробирались крестьяне с

израненными ногами и передавали то, что было им поручено. Однажды в мертвый час ночи гонец прибыл в аббатство, и, когда настало утро, плач и стенания раздались в доме сестер, а потом спустилось на него унылое молчание, и больше не видно было здесь ни рыцарей, ни дам, ни коней, ни доспехов.

Хмурая мгла была в небе, и солнце закатилось во гневе, окрасив тусклые облака последними отблесками своей ярости, когда ярдах в ста от аббатства медленно проходил, скрестив руки, все тот же черный монах. Губительный туман пал на деревья и кусты, и время от времени ветер, нарушив, наконец, неестественную тишину, царившую весь день, вздыхал тяжело, словно предвещая с тоской те опустошения, какие принесет надвигающаяся буря. Летучая мышь в фантастическом полете скользила в тяжелом воздухе, а на земле кишели пресмыкающиеся твари, которых инстинкт привел питаться и жиреть под дождем.

Не были теперь устремлены долу взоры монаха; они блуждали вокруг и переходили с предмета на предмет, словно сумрак и запустение этих мест находили живой отклик в его душе. Снова приблизился он к дому сестер и снова вошел в калитку.

Но слуха, его не коснулся смех, и взгляд его не остановился на прекрасном облике пяти сестер. Вокруг было тихо и безлюдно. Ветви деревьев погнулись или сломались, выросла высокая сорная трава. Легкие стопы не приминали ее много-много дней.

Равнодушно или рассеянно, как человек, привычный к переменам, монах проскользнул в дом и вошел в низкую, темную комнату. Четыре сестры сидели здесь. От черной одежды их бледные лица казались еще блее, а время и скорбь оставили на них глубокие следы. Они все еще были величавы, но румянец и горделивая красота исчезли.

А Элис, где была она? На небесах.

Монах — даже монах — мог терпеливо отнестись к их печали; ибо давно не виделись эти сестры, и никогда не могли бы одни только годы провести эти борозды на их побледневших лицах. Он молча сел и знаком предложил не прерывать беседы.

— Они здесь, сестры, — дрожащим голосом сказала старшая. — У меня никогда не хватало духу посмотреть на них с тех пор, а теперь я браню себя за слабость. Разве может быть в памяти о ней что-то, чего бы мы боялись? Как радостно будет воскресить былые дни!

При этих словах она бросила взгляд на монаха и, открыв шкаф, достала пяльцы с давно законченным вышиваньем. Поступь ее была твердой, но рука дрожала, когда она брала последние, пятые пяльцы. И, когда при виде их нашли себе исход чувства других сестер, у нее полились долго сдерживаемые слезы, и, рыдая, она сказала:

— Да благословит ее бог!

Монах встал и приблизился к ним.

— Это едва ли не последняя вещь, которой она касалась до болезни, сказал он тихим голосом.

— Да! — горько плача, воскликнула старшая сестра.

Монах повернулся ко второй сестре.

— Доблестный юноша, который смотрел в твои глаза и упивался твоим дыханием, когда впервые увидел тебя увлеченной этой забавой, погребен на равнине, где трава обогрета кровью. Ржавые обломки доспехов, некогда отполированных до блеска, крошатся, лежа на земле, и признать в них его доспехи так же трудно, как признать те кости, что тлеют в могиле!

Леди застонала и начала ломать руки.

— Придворные интриги, — продолжал он, обращаясь к двум другим сестрам, увлекли вас из вашего мирного дома в царство разгула и роскоши. Те же интриги и неугомонное честолюбие надменных и воинственных людей отослали вас обратно, овдовевших дев и униженных изгнанниц. Правду ли говорю я?

Рыдания обеих сестер были единственным их ответом.

— Нет нужды, — многозначительно сказал монах, тратить время на мишуру, которая воскресит бледные призраки былых надежд. Похороните их, обрушьте на их головы

эпитимию и умерщвление плоти, сокрушите их, и да будет монастырь их могилой!

Сестры попросили три дня на размышления и поняли в ту ночь, что монашеское покрывало будет поистине достойным саваном для их отошедших радостей. Но вот снова настало утро, и, хотя ветви деревьев поникли и подметали землю, это был все тот же фруктовый сад. Трава стала жесткой и высокой, но было здесь место, где так часто сживали они вместе, когда перемены и скорбь были лишь пустым звуком. Были здесь все аллеи и уголки, какие наполняли веселием Элис, а в нефе собора лежала каменная плита, под которой покоилась она в мире.

И разве могли бы они, помня о том, как содрогалось ее юное сердце при мысли о монастырских стенах, смотреть на ее могилу, облаченные в одеяние, от которого зябко стало бы даже праху ее? Разве могли бы они склоняться в молитве и, хотя бы все силы небесные внимали им, омрачить тенью печали лицо ангела? Нет!

Они послали в чужие края за художниками, в те времена прославленными, и, получив разрешение церкви на благочестивое свое дело, поручили сделать на пяти больших стеклах точную копию старой их вышивки. Эти стекла были вставлены в большое окно, лишенное до сей поры украшений, и, когда солнце сияло ярко, что доставляло ей когда-то такую радость, знакомые узоры загорались красками и, проливая поток ослепительного света на плиты, согревали имя «Элис».

Ежедневно в течение многих часов сестры медленно прохаживались взад и вперед по нефу или преклоняли колени у широкой каменной плиты. Спустя много лет только трех сестер можно было увидеть в привычном месте, потом только двух, а по прошествии долгого времени — только одну одинокую женщину, согбенную годами. Наконец и она перестала приходить, а на каменной плите были начертаны пять простых имен.

Плита стерлась и была заменена другою, и много поколений сменилось с тех пор. Время смягчило краски, но по-прежнему поток света льется на забытую могилу, от которой не осталось ни следа, и по сей день приезжему показывают в Йоркском соборе старинный витраж, называемый «Пять сестер».

— Это печальная повесть, — сказал джентльмен с веселым лицом, осушая стакан.

— Это повесть о жизни, а жизнь соткана из таких печалей, — сказал рассказчик вежливо, но тоном серьезным и грустным.

— Есть тени на всех прекрасных картинах, но есть также и свет, если мы пожелаем его видеть, — возразил джентльмен с веселым лицом. — Младшая сестра в вашем рассказе была всегда весела.

— И умерла рано, — мягко сказал другой.

— Быть может, она умерла бы раньше, будь она менее счастлива, — с чувством возразил первый. — Неужели вы думаете, что сестры, так горячо ее любившие, меньше бы тосковали, если бы ее жизнь была сумрачной и печальной? Если что и может утишить первую острую боль тяжелой утраты, то, на мой взгляд, только мысль, что те, кого я оплакиваю, будучи безгрешно счастливы здесь и любимы всеми их окружающими, были готовы перейти в более чистый и счастливый мир. Будьте уверены, солнце озаряет эту прекрасную землю не для того, чтобы видеть хмурые глаза!

— Мне кажется, вы правы, — сказал джентльмен, поведавший эту историю.

— Кажется! — воскликнул другой. — Да кто же может в этом сомневаться? Возьмите любой предмет горестных сожалений и посмотрите, сколько связано с ним приятного. Воспоминание о былых радостях может причинить боль...

— И причиняет, — перебил другой.

— Да, причиняет! Память о счастье, которое нельзя вернуть, есть боль, но боль смягченная. К сожалению, с нашими воспоминаниями связано многое, что мы оплакиваем, и многие поступки, в которых мы горько каемся. Однако я твердо верю: сколь ни изменчива жизнь, но в ней есть столько солнечных лучей, на которые можно оглянуться, что ни один смертный (разве что он оттолкнул от себя всякую надежду) не захочет осушить

хладнокровно кубок, наполненный водою Леты³⁰, будь он у него под рукой!

— Возможно, что ваша уверенность вас не обманывает, — сказал седой джентльмен после недолгого раздумья. — Я склоняюсь к тому, что это так.

— А в таком случае, — отозвался тот, — хорошее в этой стадии существования перевешивает дурное, что бы ни говорили нам лжефилософы. Если наша любовь и подвергается испытаниям, она же приносит нам утешение и успокоение, и воспоминания, как бы ни были они печальны, служат самым прекрасным и чистым связующим звеном между этим миром и лучшим. Но позвольте-ка! Я вам расскажу историю в другом роде.

И после короткого молчания джентльмен с веселым лицом пустил пунш вкруговую и, бросив лукавый взгляд на брюзгливую леди, которая, по-видимому, весьма опасалась, как бы он не вздумал рассказать что-нибудь непристойное, начал:

«Барон из Грогзвига»

Барон фон Кельдветаут из Грогзвига в Германии был таким отменным молодым бароном, что лучше и не найти. Мне незачем говорить, что он жил в замке, ибо это само собой разумеется; незачем мне также говорить, что он жил в старом замке, ибо какой немецкий барон жил когда-нибудь в новом? Много было странных обстоятельств, связанных с этим почтенным строением, а среди них отнюдь не наименее поразительными и таинственными были следующие: когда дул ветер, он ревел в дымоходах и даже завывал среди деревьев в соседнем лесу, а когда светила луна, она проникала в маленькие отверстия в стене и ярко освещала некоторые уголки в больших залах и галереях, оставляя, однако, другие в мрачной тени. Кажется, один из предков барона, испытывая нужду в деньгах, воткнул кинжал в джентльмена, который, заблудившись, заехал однажды ночью осведомиться о дороге, и этому приписывалось происхождение сих чудесных явлений. Однако же я сомневаюсь, могло ли это быть, ибо предок барона, который был человеком любезным, впоследствии очень сожалел о своем опрометчивом поступке и, силою завладев немалым количеством камня и строевого леса, принадлежавшими более слабому барону, построил в виде искупления часовню и таким образом получил от небес расписку на всю сумму сполна.

Кстати, о предке барона. Я вспоминаю о великих правах барона на уважение к его родословной. Право же, я не смею сказать, сколько предков было у барона, но знаю, что их было у него куда больше, чем у всякого другого человека тех времен, и могу только пожелать, чтобы он жил в наши более поздние времена, когда бы их было еще больше. Тяжело приходилось великим людям прошлых веков — тяжело потому, что они рано явились на свет, ибо неразумно предполагать, что человеку, родившемуся триста или четыреста лет назад, предшествовало столько же родичей, сколько человеку, родившемуся сейчас. У последнего человека, кто бы он там ни был, — а он может оказаться башмачником или каким-нибудь другим жалким простолюдином, — будет более длинная родословная, чем у самого знатного дворянина наших дней; и я утверждаю, что это несправедливо.

Но вернемся к барону фон Кельдветауту из Грогзвига. Это был красивый смуглый молодец с темными волосами и длинными усами, который выезжал на охоту в костюме из ярко-зеленой линкольнской ткани, в рыжих сапогах и с охотничьим рогом, повешенным через плечо, как у кондуктора почтовой кареты. Когда он трубил в этот рог, немедленно являлись двадцать четыре других джентльмена, рангом пониже, в костюмах из ярко-зеленой линкольнской ткани поглубже и в рыжих сапогах с подошвами потолще, и галопом мчались они все, держа в руках пики, похожие на лакированные колья изгороди, чтобы травить кабанов или схватиться один на один с медведем; в последнем случае барон сначала убивал

его, а затем мазал медвежьим жиром свои усы.

Весело жил барон из Грогзвига и еще веселее — приближенные барона, которые каждый вечер пили рейнское вино, пока не падали под стол, а тогда они ставили бутылки на пол и требовали трубку. Не бывало еще на свете таких славных, буйных, лихих, разгульных ребят, как развеселая ватага из Грогзвига.

Но забавы за столом и забавы под столом требуют некоторого разнообразия, в особенности когда все те же двадцать пять человек садятся все за тот же стол, чтобы толковать все о том же и рассказывать все те же истории. Барон заскучал и нуждался в развлечении. Он начал ссориться со своими джентльменами и ежедневно после обеда лягался, стараясь сбить с ног двоих или троих.

Сначала это показалось приятной переменой, но примерно через неделю приелось, и барон совсем расклеился и в отчаянии придумывал какое-нибудь новое увеселение.

Однажды вечером после охоты, на которой он превзошел Нимрода³¹ и убил и с торжеством привез домой «еще одного славного медведя», барон фон Кельдветаут мрачно сидел во главе стола, с недовольным видом созерцая закопченный потолок зала. Он осушал один за другим большие кубки вина, но чем больше он пил, тем сильнее хмурился. Джентльмены, удостоенные опасной чести сидеть по правую и по левую его руку, подражали ему на диво, осушая кубки и хмуро взирая друг на друга.

— Я это сделаю! — внезапно крикнул барон, хлопнув по столу правой рукой, а левой закручивая ус. — Пейте за здоровье госпожи Грогзвига!

У двадцати четырех ярко-зеленых молодцов побледнели лица, но двадцать четыре носа не изменили окраски.

— Я говорю — за здоровье госпожи Грогзвига! — повторил барон, окидывая взглядом сотрапезников.

— За здоровье госпожи Грогзвига! — гаркнули яркозеленые, и в двадцать четыре глотки влились двадцать четыре английские пинты такого превосходного старого рейнвейна, что они причмокнули сорока восемью губами и вдобавок подмигнули.

— За прекрасную дочь барона фон Свилленхаузена! — воскликнул Кельдветаут, снизойдя до объяснения. Завтра еще до захода солнца мы будем просить ее отца отдать нам ее в жены. Если на наше сватовство он ответит отказом, мы отрежем ему нос!

Присутствующие ответили гулом. Каждый с устрашающей выразительностью прикоснулся сначала к рукоятке меча, а затем к кончику носа.

Сколь приятно видеть дочернюю преданность! Если бы дочь барона фон Свилленхаузена сослалась на то, что сердце ее занято другим, или упала к ногам отца и посолонила их слезами, или просто лишилась чувств, или угостила старого джентльмена безумными воплями, сто шансов против одного, что замок Свилленхаузен вылетел бы в трубу, или, вернее, барон вылетел бы из окна, а замок был бы разрушен. Однако девица сохранила спокойствие, когда ранним утром посланец привез весть о сватовстве фон Кельдветаута, и скромно удалилась в свою комнату, из окна которой увидела прибытие жениха и его свиты. Удостоверившись в том, что ее нареченный — всадник с длинными усами, она поспешила предстать пред своим отцом и выразила готовность пожертвовать собою, дабы обеспечить ему покой. Почтенный барон заключил свое детище в объятия и смахнул слезинку радости.

В тот день было торжественное пиршество в замке. Двадцать четыре ярко-зеленых молодца фон Кельдветаута обменялись клятвами в вечной дружбе с двенадцатью ярко-зелеными фон Свилленхаузена и обещали старому барону пить его вино, «пока все не посинеет», разумея, должно быть, под этим, что их физиономии приобретут такую же окраску, как и носы. Все хлопали друг друга по спине, когда пришло время расстаться, и барон фон Кельдветаут со своими приближенными весело отправился домой.

В течение шести скучнейших недель у медведей и кабанов были каникулы. Дома

Кельдветаута и Свилленхаузуна соединились; копыя ржавели, а охотничий рог барона охрип от безделья.

Это были счастливые времена для двадцати четырех, но — увы! — дни славы и благоденствия уже натянули сапоги и удалялись быстрыми шагами.

— Дорогой мой! — сказала баронесса.

— Любовь моя! — сказал барон.

— Эти грубые крикливые люди...

— Какие, сударыня? — встрепенувшись, спросил барон.

Из окна, у которого они стояли, баронесса указала вниз во двор, где ничего не ведающие ярко-зеленые распивали солидных размеров прощальный кубок, прежде чем выехать на охоту и затравить одного-двух кабанов.

— Это моя охотничья свита, сударыня, — сказал барон.

— Распустите ее, мой милый, — прошептала баронесса.

— Распустить ее?! — в изумлении вскричал барон.

— Чтобы доставить мне удовольствие, мой милый, пояснила баронесса.

— Удовольствие черту, сударыня! — ответил барон.

Тут баронесса испустила громкий вопль и упала в обморок к ногам барона.

Что было делать барону? Он кликнул служанку этой леди и заревел, чтобы позвали лекаря, а затем, выбежав во двор, лягнул двух ярко-зеленых, которые были к этому особенно привычны, и, прокляв всех остальных, предложил им убраться к... Но неважно, куда. Я не знаю этого слова по-немецки, иначе я бы выразился деликатно на этом языке.

Не мне говорить, какими путями и способами ухитряются иные жены забрать в руки иных мужей, хотя, быть может, у меня и есть свое мнение об этом предмете, и, может быть, ни одному члену парламента не следовало бы жениться, ибо из каждых четырех женатых членов трое должны голосовать не по своей совести, но по совести своих жен (если есть на свете таковая). Мне же достаточно сейчас сказать, что баронесса фон Кельдветаут приобрела тем или иным путем большую власть над бароном фон Кельдветаутом, и мало-помалу, потихоньку да полегоньку, день за днем и год за годом барон начал уступать в спорных вопросах, и его лукаво лишали привычных развлечений, а к тому времени, когда он стал добродушным толстяком лет сорока восьми, покончено было для него с пирушками, разгулом, охотничьей свитой и всякой охотой — короче говоря, со всем, что было ему по вкусу и к чему он привык. И, хотя был он свиреп, как лев, и бесстыж, его окончательно унизила и укротила его собственная супруга в его собственном замке Грогзвиг.

Однако были у барона и другие невзгоды. Примерно через год после свадьбы появился па свет жизнерадостный юный барон, в честь которого сожгли бог весть сколько фейерверков и распили бог весть сколько дюжин бутылок; а на следующий год появилась юная баронесса, а через год еще один юный барон, и так ежегодно либо барон, либо баронесса (а однажды-оба сразу), пока барон не увидел себя отцом маленького семейства из двенадцати человек. В каждую из этих годовщин почтенная баронесса фон Свилленхаузен с нервической чувствительностью тревожилась о здоровье своего дитяти, баронессы фон Кельдветаут; и, хотя не было замечено, чтобы добрая леди оказала какую-нибудь существенную помощь, способствующую выздоровлению ее дитяти, однако она считала долгом быть по мере сил нервической в замке Грогзвиг и делить время между высоконравственными замечаниями касательно домашнего хозяйства барона и оплакиванием тяжелой участи несчастной своей дочери. А если барон из Грогзвига, слегка задетый и раздраженный этим, собирался с духом и осмеливался намекнуть, что его жене живется во всяком случае не хуже, чем другим женам баронов, баронесса фон Свилленхаузен просила всех присутствующих обратить внимание на то, что никто, кроме нее, не сочувствует страданиям любезной ее дочери, после чего ее родственники и друзья заявляли, что, разумеется, она плачет гораздо больше, чем ее зять, и не бывало еще на свете такого жестокосердного человека, как барон из Грогзвига.

Бедный барон терпел все это, пока хватало сил, а когда сил перестало хватать, лишился

аппетита и жизнерадостности и предался печали и унынию. Но его подстерегали еще новые заботы, и, когда они пришли, меланхолия его и грусть усугубились. Настали новые времена. Он погряз в долгах. Иссякли сундуки Грогзвига, хотя род Свилленхаузенев почитал их бездонными, и как раз в ту пору, когда баронесса собиралась прибавить тринадцатого отпрыска к семейной родословной, фон Кельдветаут обнаружил, что не имеет никакой возможности пополнить эти сундуки.

— Не знаю, что делать, — сказал барон. — Не покончить ли мне с собой?

Это была блестящая идея. Барон достал из стоявшего поблизости буфета старый охотничий нож и, наточив его о свой сапог, «покусился», как говорят мальчишки, на собственное горло.

— Гм! — внезапно замешкавшись, сказал барон. — Быть может, он недостаточно остер.

Барон снова наточил его и снова «покусился», но вдруг рука его замерла, ибо он услышал громкий визг юных баронов и баронесс, помещавшихся в детской, в верхнем этаже башни, где окно было загорожено снаружи железной решеткой, чтобы они не упали в ров.

— Будь я холостяком, — вздохнув, сказал барон, я б уже раз пятьдесят мог это сделать, и никто бы мне не помешал. Эй! Отнесите в маленькую сводчатую комнату позади зала флягу с вином и самую большую трубку!

Один из слуг весьма любезно исполнил приказание барона этак через полчаса, и фон Кельдветаут, будучи об этом уведомлен, отправился в сводчатую комнату, стены которой, из темного полированного дерева, блестели при свете пылающих поленьев, сложенных в очаге. Бутылка и трубка были приготовлены, и, в общем, местечко казалось очень уютным.

— Оставь лампу, — сказал барон.

— Что вам еще угодно, милорд? — осведомился слуга.

— И убирайся отсюда, — ответил барон.

Слуга повиновался, и барон запер дверь.

— Выкурю последнюю трубку, — сказал барон, — а затем — до свиданья!

Положив до поры до времени нож на стол и осушив добрую чарку вина, владелец Грогзвига откинулся на спинку стула, протянул ноги к огню и задымил трубкой.

Он думал о многом: о нынешних своих заботах, и о прошедших днях холостяцкой жизни, и о ярко-зеленых, рассеявшихся неведомо где, по всей стране, за исключением тех двух, что, по несчастью, были обезглавлены, и четверых, которые умерли от пьянства. Его мысли обращались к медведям и кабанам, как вдруг, осушая чарку, он поднял глаза и заметил, в первый раз и с беспредельным изумлением, что он здесь не один.

Да, он был не один: по другую сторону очага сидело, скрестив руки, сморщенное отвратительное существо, с глубоко запавшими, налитыми кровью глазами и непомерно узким, землистого цвета лицом, на которое падали растрепанные, включенные пряди жестких черных волос. На нем было надето нечто вроде туники серовато-синего цвета, которая, как заметил барон, посмотрев на нее внимательно, была застегнута или украшена спереди ручками от гробов. Ноги его были обложены металлическими гробовыми табличками, словно заключены в латы, а на левом плече висел короткий темный плащ, казалось сшитый из остатков нагробного покрова. На барона он не обращал ни малейшего внимания и пристально смотрел в огонь.

— Эй! — сказал барон, топнув ногой, чтобы привлечь внимание.

— Эй! — отозвался незнакомец, переводя глаза на барона, но не поворачиваясь к нему ни лицом, ни туловищем. — В чем дело?

— В чем дело! — повторил барон, ничуть не уstraшенный его глухим голосом и тусклыми глазами. — Об этом я должен вас спросить. Как вы сюда вошли?

— В дверь, — ответило привидение.

— Кто вы такой? — спросил барон.

— Человек, — ответило привидение.

— Я этому не верю, — говорит барон.

— Ну и не верьте, — говорит привидение.

— И не верю, — заявил барон.

Сначала привидение смотрело некоторое время на храброго барона из Грогзвига, а затем фамильярно сказала:

— Вижу, что вас не проведешь. Я не человек!

— Так что же вы такое? — спросил барон.

— Дух, — ответствовало привидение.

— Не очень-то вы на него похожи, — презрительно возразил барон.

— Я Дух Отчаяния и Самоубийства, — сказала привидение. — Теперь вы меня знаете.

С этими словами привидение повернулось к барону, как бы приготовляясь завести разговор; и, что весьма примечательно, оно, откинув свой плащ и обнаружив кол, которым было проткнуто его туловище, выдернуло его резким рывком и преспокойно положило на стол, словно тросточку.

— Ну, как? — сказала привидение, бросив взгляд на охотничий нож. Готовы вы для меня?

— Не совсем, — возразил барон. — Сначала я должен докурить эту трубку.

— Ну так поторапливайтесь, — сказала привидение.

— Вы как будто спешите? — заметил барон.

— Признаться, да, — ответило привидение. — Как раз теперь в Англии и во Франции идет нешуточная работа по моей части, и времени у меня в обрез.

— Вы пьете? — осведомился барон, прикоснувшись к бутылке чашечкой своей трубки.

— Девять раз из десяти и всегда помногу, — сухо ответило привидение.

— А в меру — никогда? — спросил барон.

— Никогда! — с содроганием ответило привидение. — Когда пьешь в меру, становится весело.

Барон бросил еще один взгляд на своего нового приятеля, который казался ему весьма странным субъектом, и пожелал узнать, принимает ли он активное участие в такого рода маленькой операции, какую замыслил сам барон.

— Нет, но я всегда присутствую, — уклончиво отозвалось привидение.

— Полагаю, для того, чтобы игру вели по всем правилам? — сказал барон.

— Вот именно! — ответило привидение, играя колом и рассматривая его острие. — И не угодно ли вам поторопиться, потому что, как мне известно, меня поджидает сейчас один молодой джентльмен, обремененный избытком денежных средств и досуга.

— Хочет покончить с собой, потому что у него слишком много денег! — вскричал барон, развеселившись. — Ха-ха! Вот здорово! (Впервые за много дней барон захохотал.)

— Послушайте, — с весьма испуганным видом взмолилось привидение, — вы этого больше не делайте!

— Почему? — осведомился барон.

— Потому что мне от этого очень плохо, — ответило привидение. — Вдыхайте сколько угодно, от этого мне хорошо.

При этих словах барон машинально вздохнул. Привидение, снова просияв, протянуло ему с самой обольстительной учтивостью охотничий нож.

— Идея не так уж плоха, — заметил барон, проводя пальцем по острию ножа, — человек убивает себя, потому что у него слишком много денег.

— Вздор! — с раздражением сказала привидение. — Это не лучше, чем если человек убивает себя, потому что у него слишком мало денег или совсем их нет.

Неумышленно ли подвел самого себя дух, или почитал решение барона окончательным, а стало быть, никакого значения не придавал тому, что он говорит, — мне неизвестно. Знаю только, что рука барона внезапно замерла в воздухе и он широко раскрыл глаза, словно его внезапно озарила новая мысль.

— Да, разумеется, — сказал фон Кельдветаут, — нет ничего, что нельзя было бы исправить.

- Кроме положения дел с пустыми сундуками! — вскричал дух.
— Да, но, быть может, они когда-нибудь снова наполнятся! — сказал барон.
— А сварливые жены? — огрызнулся дух.
— О, их можно утихомирить! — сказал барон.
— Тринадцать человек детей! — гаркнул дух.
— Не могут же все они сбиться с прямого пути, — сказал барон.

Дух явно терял терпение с бароном, вздумавшим вдруг защищать такую точку зрения, но он постарался обернуть все в шутку и заявил, что будет признателен, если тот перестанет зубоскалить.

— Но я не зубоскалю! Никогда еще я не был так далек от этого, — возразил барон.

— Что ж, рад это слышать, — с очень мрачным видом заявил дух, — ибо, отнюдь не фигурально, зубоскальство для меня смерть. Ну-ка, покиньте немедленно этот мрачный мир!

— Не знаю, — сказал барон, играя ножом. — Разумеется, мир этот мрачен, но вряд ли ваш намного лучше, ибо нельзя сказать, чтобы у вас был довольный вид. И это наводит меня на мысль: какие у меня в конце концов гарантии, что мне будет лучше, если я уйду из этого мира? — воскликнул он, вскочив. — Я об этом и не подумал.

— Кончайте скорее! — скрежеща зубами, крикнул дух. — Отстаньте! — сказал барон. — Больше я не буду размышлять о невзгодах, но встречу их лицом к лицу и постараюсь снова обратиться к свежему воздуху и медведям. А если это не подействует, я серьезно поговорю в баронессой и расправлюсь с фон Свилленхаузенами.

С этими словами барон упал в кресло и разразился таким громким и неудержимым хохотом, что в комнате все зазвенело.

Привидение отступило шага на два, с беспредельным ужасом взирая на барона, а когда тот перестал хохотать, оно схватило кол, вонзило его себе в тело, испустило устрашающий вой и исчезло.

Фон Кельдветаут больше никогда его не видел. Решив незамедлительно приступить к делу, он вскоре образумил баронессу и фон Свилленхаузену и умер много лет спустя человеком не богатым — это мне известно, но счастливым, оставив после себя многочисленное семейство, старательно обученное, под личным его надзором, охоте на медведей и кабанов.

И мой совет всем людям: если случится им впасть в уныние и меланхолию от сходных причин (что постигает очень многих), пусть изучат они обе стороны вопроса, рассматривая наилучшую в увеличительное стекло, и, если когда-нибудь встанет перед ними соблазн уйти в отпуск без разрешения, пусть выкурят они сначала большую трубку и выпьют полную бутылку, а затем воспользуются похвальным примером барона из Грогзвига».

— Пожалуйста, леди и джентльмены, карета подана, — сказал новый кучер, заглядывая в комнату.

Это сообщение заставило покончить второпях с пуншем и помешало рассуждениям касательно последнего рассказа. Было замечено, как мистер Сквирс отвел в сторону седого джентльмена и с явным любопытством задал ему какой-то вопрос; вопрос этот имел отношение к пяти сестрам из Йорка и заключался в том, не может ли седовласый джентльмен сказать ему, сколько в те времена брали в год со своих пансионеров йоркширские монастыри.

Затем снова отправились в путь. Под утро Николас заснул, а проснувшись, обнаружил с большим сожалением, что и барон из Грогзвига и седовласый джентльмен покинули карету. День прошел довольно скверно. Часов в шесть вечера он, мистер Сквирс, мальчики и весь багаж были выгружены все вместе у гостиницы «Джордж» в Грета-Бридж.

Глава VII,

Благополучно высадившись, мистер Сквирс оставил Николаса и мальчиков стоять у багажа посреди дороги и развлекаться созерцанием кареты, в которую впрягли свежих лошадей, а сам побежал в таверну и проделал процедуру разминания ног у буфетной стойки. Спустя несколько минут он вернулся с превосходно размятыми ногами, если мерилom могли служить цвет его носа и легкая икота; в то же время со двора выехала ветхая коляска, запряженная пони, и повозка с двумя работниками.

— Мальчиков и сундучки сложите в повозку, — сказал Сквирс, потирая руки, — а этот молодой человек поедет со мной в коляске. Влезайте, Никльби.

Николас повиновался. Мистер Сквирс не без труда добился повиновения также и от пони, после чего они тронулись, предоставив повозке, нагруженной детскими горестями, не спеша следовать за ними.

— Вам холодно, Никльби? — осведомился Сквирс, когда они молча проехали часть пути.

— Признаюсь, довольно холодно, сэр.

— Что ж, я не спорю, — сказал Сквирс. — Путешествие длинное для такой погоды.

— Далеко ли еще до Дотбойс-Холла, сэр? — спросил Николай.

— Отсюда около трех миль, — ответил Сквирс. — Но здесь вам незачем называть его холлом.

Николас кашлянул, словно не прочь был узнать причину.

— Дело в том, что это не холл, — сухо заметил Сквирс.

— Вот как! — сказал Николай, пораженный этим известием.

— Да, — отозвался Сквирс. — Там, в Лондоне, мы его называем холлом, потому что так лучше звучит, но в здешних краях его под этим названием не знают. Холл — помещичий дом. Человек может, если пожелает, назвать свой дом даже островом. Полагаю, это не запрещено никаким парламентским актом?

— Полагаю, что так, сэр! — ответил Николай.

По окончании этого короткого диалога Сквирс лукаво посмотрел на своего спутника и, видя, что тот призадумался и, очевидно, отнюдь не расположен делать какие-либо замечания, удовольствовался тем, что нахлестывал пони, пока они не достигли цели путешествия.

— Вылезайте, — сказал Сквирс. — Эй, вы, там! Выходите да присмотрите за лошадью. Пошевеливайтесь!

Пока школьный учитель испускал нетерпеливые возгласы, Николай успел разглядеть, что школьное здание было длинным одноэтажным, холодным на вид домом, с разбросанными позади надворными строениями и примыкающими к ним амбаром и конюшней. Минуты через две они услышали, что кто-то отпирает ворота, и тотчас появился высокий тощий мальчик с фонарем в руке.

— Это ты, Смайк? — крикнул Сквирс.

— Да, сэр, — ответил мальчик.

— Так почему же, черт подери, ты не вышел раньше?

— Простите, сэр, я заснул у огня, — смиренно ответил Смайк.

— У огня? У какого огня? Где развели огонь? — грубо спросил школьный учитель.

— Только в кухне, сэр, — сказал мальчик. — Хозяйка сказала, что я могу побыть в тепле, раз мне нельзя ложиться спать.

— Твоя хозяйка-дура! — заявил Сквирс. — Готов поручиться, что тебе, черт подери, меньше хотелось бы спать на холоду.

К этому времени мистер Сквирс вылез из экипажа. Приказав мальчику присмотреть за пони и позаботиться о том, чтобы сегодня вечером ему не задавали больше овса, он велел Николасу подождать минутку у входной двери, пока он обойдет кругом и впустит его.

Дурные предчувствия, осаждавшие Николаса в течение всего путешествия, овладели

им с удвоенной силой, когда он остался один. Большое расстояние, отделявшее его от родного дома, и невозможность добраться туда иначе, чем пешком, буде когда-нибудь им овладеет нетерпеливое желание вернуться, явились источником весьма горестных размышлений; а когда он окинул взглядом мрачный дом, и темные окна, и пустынную местность вокруг, погребенную в снегу, он почувствовал такое уныние и упадок духа, каких никогда еще не знал.

— Ну, вот и все! — крикнул Сквирс, просовывая голову в парадную дверь. — Где вы, Никльби?

— Здесь, сэр, — ответил Николас.

— Входите! — сказал Сквирс. — Ветер дует в эту дверь так, что может с ног сшибить человека.

Николас вздохнул и поспешил войти. Заложив болт, чтобы дверь не распахнулась, мистер Сквирс ввел его в маленькую гостиную с жалкой обстановкой, состоявшей из нескольких стульев, желтой географической карты на стене и двух столов: на одном из них были заметны кое-какие приготовления к ужину, тогда как на другом красовались в живописном беспорядке «Справочник учителя», грамматика Мэррея, с полдюжины проспектов и замызганное письмо, адресованное Уэкфорду Сквирсу, эсквайру.

Они и двух минут здесь не пробыли, как в комнату ворвалась особа женского пола и, обхватив мистера Сквирса за шею, вlepила ему два звонких поцелуя — один немедленно вслед за другим, словно почтальон дважды стукнул в дверь. Леди, рослая и костлявая, была примерно на полголовы выше мистера Сквирса и одета в бумажную ночную кофточку, а волосы ее накручены были на папильотки. На ней был грязный ночной чепец, украшенный желтым бумажным платком, завязанным под подбородком.

— Ну, как, Сквирс? — осведомилась эта леди игриво и очень хриплым голосом.

— Прекрасно, моя милочка, — отозвался Сквирс. А как коровы?

— Все до единой здоровы, — ответила леди.

— А свиньи? — спросил Сквирс.

— Не хуже, чем когда ты уехал.

— Вот, это отрадно! — сказал Сквирс, снимая пальто. — И мальчишки, полагаю, тоже в порядке?

— Здоровехоньки! — резко ответила миссис Сквирс. У Питчера была лихорадка.

— Да что ты! — воскликнул Сквирс. — Черт побери этого мальчишку! Всегда с ним что-нибудь случается.

— Я убеждена, что второго такого мальчишки никогда не бывало на свете, — сказала миссис Сквирс. — И чем бы он ни болел, это всегда заразительно. По-моему, это упрямство, и никто меня не разубедит. Я это из него выколочу, я тебе говорила еще полгода назад.

— Говорила, милочка, — согласился Сквирс. — Попробуем что-нибудь сделать.

Пока длился этот нежный разговор, Николас довольно неуклюже стоял посреди комнаты, хорошенько не зная, следует ли ему выйти в коридор, или остаться здесь. Его сомнения разрешил мистер Сквирс.

— Это новый молодой человек, дорогая моя. — сказал сей джентльмен.

— О! — отозвалась миссис Сквирс, кивнув Николасу и холодно разглядывая его с головы до пят.

— Сегодня вечером он поужинает с нами, — сказал Сквирс, — а утром пойдет к мальчишкам. Ты можешь принести ему сюда соломенный тюфяк на ночь?

— Уж придется что-нибудь придумать, — отозвалась леди. — Полагаю, сэр, вам все равно, на чем вы будете спать?

— Да, конечно, — отозвался Николас. — Я не привередлив.

— Вот это счастье! — сказала миссис Сквирс. А так как юмор этой леди должен был проявляться главным образом в находчивых репликах, мистер Сквирс от души засмеялся и, казалось, ждал того же и от Николаса.

После дальнейших переговоров между хозяином и хозяйкой об успешном путешествии

мистера Сквирса, и о тех, кто уплатил, и о тех, кто задержал уплату, молоденькая служанка принесла йоркширский пирог и кусок холодной говядины, каковые были поданы на стол, а мальчик Смайк появился с кувшином эля.

Мистер Сквирс освобождал карманы пальто от писем различным ученикам и от других бумаг, которые тоже привез в карманах. Мальчик взглянул с тревожным и робким выражением лица на эти бумаги, словно с тоскливой надеждой, что какая-нибудь из них может иметь отношение к нему. Взгляд его был страдальческий и сразу тронул сердце Николаса, ибо повествовал о чем-то очень печальном.

Это побудило его внимательнее присмотреться к мальчику, и он с изумлением отметил необычайное смешение предметов одежды, составлявших его костюм. Хотя ему не могло быть меньше восемнадцати — девятнадцати лет и для этих лет он был высокого роста, на нем был костюмчик, какой обычно носят маленькие мальчики; но и этот костюм с нелепо короткими рукавами и штанишками был достаточно широк для его изможденного тела. Дабы нижняя часть его ног находилась в полном соответствии с этим странным одеянием, он был обут в очень большие сапоги, некогда украшенные отворотами; быть может, прежде носил их какой-нибудь дюжий фермер, но теперь они были слишком рваны и слишком заплатаны даже для нищего. Бог весть сколько времени провел он здесь, но на нем было то самое белье, какое он сюда привез: на шее виднелся рваный детский сборчатый воротник, лишь наполовину скрытый грубым мужским шейным платком. Он хромал; делая вид, будто прибирает на столе, он смотрел на письма взглядом таким зорким и в то же время таким унылым и безнадежным, что Николасу тяжело было это видеть.

— Что ты тут вертишься, Смайк? — крикнула миссис Сквирс. — Оставь эти вещи в покое, слышишь?

— Что? — сказал Сквирс, поднимая голову. — А, это ты?

— Да, сэр! — ответил юноша, сжимая руки, словно для того, чтобы силою удержать дергающиеся от волнения пальцы. — Есть ли...

— Ну! — сказал Сквирс.

— Нет ли у вас... кто-нибудь... обо мне никто не спрашивал?

— Черта с два! — раздраженно ответил Сквирс.

Мальчик отвел глаза и, поднеся руку к лицу, пошел к двери.

— Никто! — продолжал Сквирс. — И никто не спросит. Нечего сказать, хорошенькое дело: оставили тебя здесь на столько лет и после первых шести — никаких денег не платят, вестей о себе не подают и неведомо, чей же ты. Хорошенькое дело! Я должен кормить такого здорового парня, и нет никакой надежды получить за это хоть пенни!

Мальчик прижал руку ко лбу, как будто делал усилие что-то вспомнить, а затем, тупо посмотрев на говорившего, медленно растянул лицо в улыбку и, прихрамывая, вышел.

— Вот что я тебе скажу, Сквирс, — заметила его супруга, когда дверь закрылась, — я думаю, этот мальчишка становится слабоумным.

— Надеюсь, что нет, — сказал школьный учитель. — Он ловкий малый для работы во дворе и во всяком случае стоит того, что съест и выпьет. Да если бы и так, я полагаю, что для нас он и в таком виде годен. Но давайте-ка ужинать, я проголодался, устал и хочу спать.

Это напоминание повлекло за собой появление бифштекса исключительно для мистера Сквирса, который быстро принялся оказывать ему должное внимание. Николас придвинул свой стул, но аппетит у него пропал.

— Как бифштекс, Сквирс? — спросила миссис Сквирс.

— Нежный, как ягненок, — ответил Сквирс. — Возьми немножко.

— Не могу проглотить ни куска, — возразила жена. — Дорогой мой, что будет есть молодой человек?

— Все, что пожелает из того, что подано на стол, — заявил Сквирс в порыве совершенно необычного великодушия.

— Что скажете, мистер Накльбой? — осведомилась миссис Сквирс.

— Если разрешите, я бы съел кусочек пирога, ответил Николас. — Совсем маленький,

потому что я не голоден.

— Ну, раз вы не голодны, жалко разрезать этот пирог, верно? — сказала миссис Сквирс. — Не хотите ли кусок говядины?

— Все, что вам угодно, — рассеянно отозвался Николас, — мне все равно.

Получив такой ответ, миссис Сквирс приняла весьма благосклонный вид, кивнула Сквирсу, выражая радость по поводу того, что молодой человек понимает свое положение, и своими собственными прекрасными ручками отрезала Николасу кусок мяса.

— Элю, Сквири? — осведомилась леди, подмигивая и тем самым давая понять, что спрашивает о том, давать ли эль Николасу, а не о том, будет ли его пить он, Сквирс.

— Разумеется, — сказал Сквирс, телеграфируя тем же способом. — Полный стакан.

Итак, Николас получил полный стакан и, занятый своими мыслями, выпил его в счастливом неведении о предшествовавшей сцене.

— На редкость сочный бифштекс, — сказал Сквирс, положив нож и вилку, после того как некоторое время трудился над ним в молчании.

— Это первосортное мясо, — сообщила его супруга. — Я сама выбрала славный большой кусок для...

— Для чего? — быстро воскликнул Сквирс. — Неужели для...

— Нет, нет, не для них! — перебила миссис Сквирс. — Для тебя, к твоему возвращению. Бог мой! Уж не подумал ли ты, что я могу сделать такой промах?

— Честное слово, дорогая моя, я не знал, что ты хотела сказать, ответил побледневший Сквирс.

— Тебе нечего беспокоиться, — заметила его жена, от души рассмеявшись. Придет же в голову, что я могу быть такой дурочкой! Ну-ну!

Эта часть диалога была, пожалуй, неудобопопятна, но в округе ходила молва, что мистер Сквирс, будучи, по мягкосердечию, противником жестокого обращения с животными, нередко покупал для кормления своих питомцев туши рогатого скота, умершего естественной смертью; быть может, он испугался, что неумышленно проглотил какой-нибудь лакомый кусок, предназначенный для юных джентльменов.

Когда поужинали и маленькая служанка с голодными глазами убрала со стола, миссис Сквирс удалилась, чтобы запереть в шкафу остатки ужина, а также спрятать в надежное место одежду пяти питомцев, которые только что приехали и находились на середине тяжелого подъема по ступеням, ведущим к воротам смерти вследствие пребывания на холоду. Их угостили легким ужином — кашей — и уложили бок о бок на маленькой кровати, чтобы они согревали друг друга и грезили о сытной еде с чем-нибудь горячительным после нее, если фантазия их была направлена в эту сторону. Весьма вероятно, что так оно и было.

Мистер Сквирс угостился стаканом крепкого бренди с водой, смешанных половина на половину, чтобы растворился сахар, а его любезная спутница жизни приготовила Николасу крохотную рюмочку той же смеси. Когда с этим было покончено, мистер и миссис Сквирс пересели поближе к камину и, положив ноги на решетку, завели шепотом душевный разговор, а Николас, взяв «Спутник учителя», читал интересные легенды на самые разнообразные темы и все цифры в придачу, нимало об этом не думая и не сознавая, что делает, словно пребывал в магнетическом сне.

Наконец мистер Сквирс устрашающе зевнул и высказал мнение, что давно пора спать; после такого намека миссис Сквирс и девушка притащили небольшой соломенный матрац и два одеяла и приготовили ложе для Николаса.

— Завтра мы вас поместим в настоящую спальню, Никльби, — сказал Сквирс. — Позвольте-ка! Кто спит в постели Брукса, дорогая моя?

— В постели Брукса? — призадумавшись, повторила миссис Сквирс. — Там Дженнигс, маленький Болдер. Греймарш и еще один... как его зовут...

— Совершенно верно, — подтвердил, Сквирс. — Да! У Брукса полно.

«Полно! — подумал Николас. — Пожалуй, что так».

— Где-то есть местечко, я знаю, — сказал Сквирс, — но в данную минуту я никак не

могу припомнить, где именно. Как бы там ни было, завтра мы это уладим. Спокойной ночи, Никльби. Не забудьте — в семь часов утра.

— Я буду готов, сэр, — ответил Николас. — Спокойной ночи.

— Я сам приду и покажу вам, где колодец, — сказал Сквирс. — В кухне на окне вы всегда найдете кусочек мыла. Это для вас.

Николас раскрыл глаза, но не рот, а Сквирс двинулся к двери, но снова вернулся.

— Право, не знаю, — сказал он, — какое полотенце вам дать, но завтра утром вы как-нибудь обойдетесь без него, а в течение дня миссис Сквирс этим займется. Дорогая моя, не забудь!

— Постараюсь, — ответила миссис Сквирс, — а вы, молодой человек, позаботьтесь о том, чтобы умыться первым. Так полагается учителю, но они, когда только могут, обгоняют его.

Затем мистер Сквирс подтолкнул локтем миссис Сквирс, чтобы та унесла бутылку бренди, иначе Николас может угоститься ночью, и когда леди с величайшей поспешностью схватила ее, они вместе удалились.

Оставшись один, Николас, очень взволнованный и возбужденный, несколько раз прошелся взад и вперед по комнате и, постепенно успокоившись, присел на стул и мысленно решил: будь что будет, а он попытается некоторое время нести все тяготы, какие, быть может, его ждут, и, помня о беспомощности матери и сестры, не даст дяде ни малейшего повода покинуть их в нужде. Добрые решения почти неизменно оказывают доброе воздействие на дух, их породивший. Он почувствовал себя не таким угнетенным и — юность жизнерадостна и полна надежд — стал даже надеяться, что дела в Дотбойс-Холле, пожалуй, обернутся лучше, чем можно было предполагать.

Приободрившись, он собирался лечь спать, как вдруг у него из кармана выпало запечатанное письмо. Уезжая из Лондона, в спешке, он не обратил на него внимания и с тех пор не вспоминал о нем, но теперь оно сразу воскресило в его памяти таинственное поведение Ньюмена Ногса.

— Боже мой! — сказал Николас. — Какой удивительный почерк!

Оно было адресовано ему, написано на очень грязной бумаге и таким неровным и уродливым почерком, что его едва можно было разобрать. С великим трудом и недоумением ему удалось прочесть следующее:

«Мой милый юноша!

Я знаю свет. Ваш отец не знал, иначе он не оказал бы мне доброй услуги, не надеясь, получить что-нибудь взамен. И вы не знаете, иначе вы не отправились бы в такое путешествие.

Если вам когда-нибудь понадобится пристанище в Лондоне (не сердитесь, было время — я сам думал, что оно мне никогда не понадобится), — в трактире под вывеской «Корона» на Силвер-стрит, Гольдн-сквер, знают, где я живу. Он находится на углу Силвер-стрит и Джеймс-стрит, двери выходят на обе улицы. Можете прийти ночью. Было время, никто не стыдился... но это неважно. С этим покончено.

Простите за ошибки. Я мог бы забыть, как носят новый костюм. Я забыл все старые мои привычки. Может быть, позабыл и правила орфографии.

Ньюмен Ногс.

P.S. Если будете неподалеку от Барнард-Касл, в трактире «Голова Короля» есть славный эль. Скажите, что знакомы со мной, и, я уверен, с вас за него ничего не возьмут. Там вы можете сказать мистер Ногс, потому что тогда я был джентльменом. Да, был».

Быть может, об этом не стоит упоминать, но, когда Николас Никльби сложил письмо и спрятал в бумажник, глаза его были подернуты влагой, которую можно было принять за слезы.

Глава VIII,

Внутренний распорядок в Дотбойс-Холле

Поездка в двести с лишним миль, в стужу, является одним из лучших средств сделать жесткую постель мягкой, какое только может измыслить изобретательный ум. Пожалуй, оно даже придает сладость сновидениям, ибо те, что витали над твердым ложем Николаса и нашептывали ему на ухо веселые пустяки, были приятны и радостны. Он очень быстро наживал состояние, когда тусклое мерцание угасающей свечи засияло у него перед глазами и голос, в котором он без труда признал неотъемлемую принадлежность мистера Сквирса, напомнил ему, что пора вставать.

— Восьмой час, Никльби, — сказал мистер Сквирс.

— Неужели уже утро? — спросил Николас, садясь в постели.

— Да, утро, — ответил Сквирс, — к тому же еще морозное. Ну-ка, Никльби, живее! Поднимайтесь!

Николас не нуждался в дальнейших увещаниях: он сразу поднялся и начал одеваться при свете тоненькой свечки, которую держал в руке мистер Сквирс.

— Хорошенькое дело! — сказал этот джентльмен. — Насос замерз.

— Вот как? — отозвался Николас, не очень заинтересованный этим известием.

— Да, — сказал Сквирс. — Сегодня утром вам не придется умываться.

— Не умываться! — воскликнул Николас.

— Об этом нечего и думать, — резко заявил Сквирс. — Стало быть, вы пока оботретесь чем-нибудь сухим, а мы пробьем лед в колодце и достанем воды для мальчишек. Нечего стоять и таращить на меня глаза, пошевеливайтесь!

Без лишних слов Николас торопливо оделся. Тем временем Сквирс открыл ставни и задул свечу, а тогда в коридоре послышался голос его любезной супруги, желавшей войти.

— Входи, милочка, — сказал Сквирс.

Миссис Сквирс вошла, по-прежнему одетая в ночную кофту, обрисовывавшую накануне вечером ее симметрическую фигуру, и вдобавок украсила себя весьма поношенной касторовой шляпой, которую надела с большим удобством поверх ночного чепца, о коем упоминалось раньше.

— Черт побери! — сказала леди, открывая буфет. — Нигде не могу найти школьную ложку.

— Не волнуйся, дорогая моя, — успокоительным тоном заметил Сквирс, — это не имеет никакого значения.

— Никакого значения! Что ты такое говоришь? — резко возразила миссис Сквирс. — Да разве сегодня не утро серы?

— А я и забыл, дорогая моя! — отозвался Сквирс. — Да, совершенно верно. Время от времени мы очищаем мальчишкам кровь, Никльби.

— Глупости! Что мы там очищаем! — сказала его половина. — Не думайте, молодой человек, что мы тратим деньги на лучшую серу и патоку, чтобы очищать им кровь! Если вы думаете, что мы ведем дела на такой манер, то скоро убедитесь в своей ошибке, говорю вам это напрямик.

— Дорогая моя! — нахмурившись, сказал Сквирс. — Гм!

— А, вздор! — возразила миссис Сквирс. — Если молодой человек поступил сюда учителем, то пусть сразу поймет, что никаких глупостей с мальчишками мы допускать не намерены. Серу и патоку они получают отчасти потому, что, если не давать что-нибудь вроде лекарства, они всегда будут болеть, и хлопот с ними не оберешься, а еще потому, что это портит им аппетит и обходится дешевле, чем завтрак и обед. Стало быть, это идет на пользу им и на пользу нам, и, значит, все в порядке.

Дав такое объяснение, миссис Сквирс засунула руку в шкаф и еще усерднее принялась

искать ложку, и в поисках принял участие мистер Сквирс. Занимаясь этим делом, они обменялись несколькими словами, но так как буфет отчасти заглушал их голоса, то Николас расслышал только, как мистер Сквирс сказал, что миссис Сквирс говорит неразумно, а миссис Сквирс сказала, что мистер Сквирс несет чепуху.

Затем поиски продолжались, а когда все оказалось бесплодным, был призван Смайк и получил толчок от миссис Сквирс и затрещину от мистера Сквирса; такой метод воздействия, просветлив его мозги, дал ему возможность предположить, не находится ли ложка в кармане у миссис Сквирс, что и подтвердилось. Но так как миссис Сквирс перед этим выразила полную свою уверенность в том, что ложки у нее нет, Смайк получил еще одну затрещину, ибо осмелился противоречить своей хозяйке; вдобавок ему посулили хорошую трепку, если он не будет более почтителен: таким образом, оказанная услуга принесла ему мало пользы.

— Цены нет этой женщине, Никльби, — сказал Сквирс, когда его супруга стремительно вышла, толкая в спину своего раба.

— Несомненно, сэр! — заметил Николас.

— Я не знаю ей равной, — продолжал Сквирс, — не знаю ей равной! Эта женщина, Никльби, всегда такова — всегда она остается все тем же суетливым, живым, деятельным, бережливым созданием, каким вы ее видите сейчас.

Николас невольно вздохнул при мысли о приятной перспективе, перед ним открывшейся, но, по счастью, Сквирс был слишком занят своими размышлениями, чтобы это заметить.

— Бывая в Лондоне, — сказал Сквирс, — я имею обыкновение говорить, что этим мальчикам она заменяет мать. Но она для них больше чем мать, в десять раз больше. Она такие вещи делает для мальчиков, Никльби, каких, я думаю, добрая половина матерей не сделает для родного сына.

— Полагаю, что не сделает, сэр, — ответил Николас.

Было очевидно, что и мистер и миссис Сквирс смотрели на мальчиков, как на своих истонных и природных врагов, или, иными словами, были твердо уверены, что их дело и профессия заключаются в том, чтобы от каждого мальчика получить ровно столько, сколько можно из него выжать. По этому вопросу они оба пришли к соглашению и, следовательно, действовали сообща. Разница между ними заключалась лишь в том, что миссис Сквирс вела войну с врагом открыто и бесстрашно, а Сквирс даже у себя дома прикрывал свою подлость привычной ложью, словно у него и в самом деле мелькала мысль, что рано или поздно он сам себя обманет и убедит в том, будто он очень добрый человек.

— Но позвольте-ка, — сказал Сквирс, прерывая поток мыслей, возникших по этому поводу в уме его помощника, — пойдете в класс, и помогите мне надеть мой школьный сюртук.

Николас помог своему начальнику натянуть старую бумазейную охотничью куртку, которую тот снял с гвоздя в коридоре, и Сквирс, вооружившись тростью, повел его через двор к двери в задней половине дома.

— Ну вот, — сказал владелец школы, когда они вместе вошли, — вот наша лавочка, Никльби!

Здесь была такая теснота и столько предметов, привлекавших внимание, что сначала Николас Только озирался, ничего в сущности не видя. Но мало-помалу обнаружилась убогая и грязная комната с двумя окнами, застекленными на одну десятую, а остальное пространство было заткнуто старыми тетрадями и бумагой. Было здесь два длинных старых, расшатанных стола, изрезанных, искромсанных, испачканных чернилами, две-три скамьи, кафедра для Сквирса и другая — для его помощника. Потолок, как в амбаре, поддерживали перекрещивающиеся балки и стропила, а стены были такие грязные и бесцветные, что трудно сказать, были ли они когда-нибудь покрашены или побелены.

А ученики, юные джентльмены! Последние неясные проблески надежды, самые слабые упования принести хоть какую-то пользу в этом логове угасли у Николаса, когда он в отчаянии осмотрелся вокруг! Бледные и изможденные лица, тощие и костлявые фигуры,

дети со старческими физиономиями, мальчики малорослые и другие, у которых длинные, худые ноги едва выдерживали тяжесть их сгорбленных тел, — все это сразу бросалось в глаза. Были здесь слезящиеся глаза, заячьи губы, кривые ноги, безобразие и уродство, свидетельствовавшие о противоестественном отвращении родителей к своим отпрыскам, о юных созданиях, которые с самого младенчества являлись несчастными жертвами жестокости и пренебрежения. Были здесь личики, быть может и обещавшие стать миловидными, но искаженные гримасой хмурого, упорного страдания; было здесь детство с угасшими глазами, с увядшей красотой, сохранившее только свою беспомощность; были здесь мальчики с порочными физиономиями, мрачные, с тупым взором, похожие на преступников, заключенных в тюрьму, и были здесь юные создания, на которых обрушились грехи их слабых предков и которые оплакивали даже продажных нянек, каких когда-то знали, и теперь чувствовали себя еще более одинокими. Всякое сочувствие и привязанность увяли в зародыше, все молодые и здоровые чувства придушены кнутом и голодом, все мстительные страсти, какие могут зародиться в сердцах, прокладывают в тишине недобрый свой путь в самую глубь. О, какие зарождающиеся адские силы вскармливались здесь!

И, однако, это зрелище, как ни было оно мучительно, имело свои комические черты, которые у наблюдателя, менее заинтересованного, чем Николас, могли вызвать улыбку. Перед одной из кафедр стояла миссис Сквирс, возвышаясь над огромной миской с серой и патокой, каковую восхитительную смесь она выдавала большими порциями каждому мальчику по очереди, пользуясь для этой цели простой деревянной ложкой, которая, вероятно, была первоначально сделана для какого-нибудь гигантского рта и сильно растягивала рот каждому молодому джентльмену: все они были обязаны, под угрозой сурового телесного наказания, проглотить залпом содержимое ложки. В другом углу, сбившись в кучку, стояли мальчики, приехавшие накануне вечером; трое из них — в очень широких кожаных коротких штанах, а двое — в старых панталонах, обтягивавших ту же, чем обычные кальсоны. Неподалеку от них сидел юный сын и наследник мистера Сквирса — вылитый портрет отца, — весьма энергически лягавшийся под руками Смайка, который натягивал ему новенькие башмаки, имевшие чрезвычайно подозрительное сходство с теми, какие были на одном из мальчиков во время путешествия сюда, что, казалось, думал и сам мальчик, ибо взирал на это присвоение с видом крайне горестным и удивленным. Кроме них, здесь была длинная шеренга мальчиков, физиономии которых отнюдь не выражали предвкушения чего-то приятного, и другая вереница мальчиков, только что претерпевших беду и корчивших всевозможные гримасы, свидетельствующие о чем угодно, кроме удовольствия. Все были одеты, в такие шутовские, нелепые, удивительные костюмы, что могли бы вызвать неудержимый смех, если бы не отвратительное впечатление от неразрывно с ними связанной грязи, неряшливости и болезней.

— Ну-с, — сказал Сквирс, резко ударив тростью по столу, отчего многие мальчики чуть не выскочили из своих башмаков, — с лекарством покончено?

— Готово! — ответила миссис Сквирс, второпях едва не удушив последнего мальчика и хлопнув его деревянной ложкой по макушке для восстановления сил. — Эй! Смайк! Унеси это. Да пошевеливайся!

Смайк, волоча ноги, вышел с миской, а миссис Сквирс, подозревая мальчугана с кудрявой головой и вытерев об нее руки, поспешила вслед за Смайком в помещение вроде прачечной, где стоял большой котел на маленьком огне, а на столе выстроилось много деревянных плошек.

В эти плошки миссис Сквирс с помощью голодной служанки налила бурю смесь, которая имела вид растворившихся подушечек для булавок и называлась кашей. Крохотный ломтик хлеба из непросеянной муки был положен в каждую плошку, и, когда мальчики съели кашу, извлекая ее с помощью хлеба, они съели затем и хлеб и покончили с завтраком, после чего мистер Сквирс торжественно возгласил: «За полученное нами да преисполнит нас бог истинной благодарностью!» — и в свою очередь пошел завтракать.

Николас проглотил миску каши по той же причине, какая побуждает иных дикарей

пожирать землю: чтобы не чувствовать голода, когда нечего есть. Съев затем кусок хлеба с маслом, предоставленный ему ввиду занимаемой им должности, он уселся в ожидании начала занятий. Он не мог не заметить, какими тихими и печальными казались все мальчики. Не слышно было шума и криков, обычных в классной комнате, ни буйных игр, ни веселого смеха. Дети сидели скорчившись и дрожа, как будто у них не хватало духу двигаться. Единственным учеником, проявившим какую-то склонность к движению, был младший Сквирс, а так как он главным образом развлекался тем, что наступал своими новыми башмаками на пальцы других мальчиков, то его жизнерадостность была не очень приятна.

Примерно через полчаса вновь появился мистер Сквирс, и мальчики заняли свои места и взялись за книги; их приходилось в среднем по одной на восемь учеников. По прошествии нескольких минут, в течение которых мистер Сквирс имел весьма глубокомысленный вид, словно он в совершенстве постиг содержание всех книг и — стоит ему только потрудиться — мог бы на память повторить каждое слово, этот джентльмен вызвал первый класс.

Повинуясь призыву, перед кафедрой учителя выстроилось с полдюжины вороньих пугал в одеяниях, продранных на локтях и коленках, и один из учеников положил растрепанную и засаленную книгу перед его ученым оком.

— Это первый класс английского правописания и философии, Никльби, сказал Сквирс, знаком предлагая Николасу стать рядом с ним. — Мы учредим латинский класс и поручим его вам. Ну, а где же первый ученик?

— Простите, сэр, он протирает окно в задней гостиной, — ответил временный глава философического класса.

— Совершенно верно! — сказал Сквирс. — Мы применяем практический метод обучения, Никльби, — правильная система воспитания. Пре-ти-рать — протирать, глагол, залог действительный, делать чистым, прочищать. О-к — о-к-н-о — окно, оконница. Когда мальчик познает сие из книги, он идет и делает это. Тот же принцип, что и при использовании глобуса. Где второй ученик?

— Простите, сэр, он работает в саду, — отозвался тонкий голосок.

— Совершенно верно, — произнес Сквирс, отнюдь не смущаясь. — Правильно! Б-о-т — бот-а-н-и-к-а — аника — ботаника, имя существительное, знание растений. Когда он выучил, что ботаника означает знание растений, он идет и узнает их. Такова наша система, Никльби. Что вы о ней думаете?

— Во всяком случае, она очень полезна, — ответил Николас.

— Вы правы, — подхватил Сквирс, не заметив выразительного тона своего помощника. — Третий ученик, что такое лошадь?

— Скотина, сэр, — ответил мальчик.

— Правильно! — сказал Сквирс. — Не правда ли, Никльби?

— Думаю, что сомневаться в этом не приходится, сэр, — ответил Николас.

— Конечно, не приходится, — сказал Сквирс. — Лошадь есть квадрупед, а квадрупед по-латыни означает — скотина, что известно всякому, кто изучил грамматику, иначе какая была бы польза от грамматики?

— Да, в самом деле, какая? — рассеянно отозвался Николас.

— Раз ты в этом усовершенствовался, — продолжал Сквирс, обращаясь к мальчику, — ступай и присмотри за моей лошадью и хорошенько ее вычисти, а то я тебя вычищу. Остальные ученики этого класса пусть накачивают воду, пока их не остановят, потому что завтра день стирки и котлы должны быть наполнены.

С этими словами он отпустил первый класс заниматься экспериментами в области практической философии и бросил на Николаса взгляд и лукавый и недоверчивый, как будто был не совсем уверен в том, какое мнение мог Николас составить о нем.

— Вот как мы ведем дело, Никльби, — сказал он, помолчав.

Николас чуть заметно пожал плечами и сказал, что он это видит.

— И это очень хороший метод, — заметил Сквирс. — А теперь возьмите-ка этих четырнадцать мальчишек и послушайте, как они читают, потому что вам, знаете ли, пора

приносить пользу. Бездельничать здесь не годится.

Мистер Сквирс произнес эти слова так, будто ему внезапно пришло в голову, что он не должен разговаривать слишком много со своим помощником или что его помощник сказал слишком мало в похвалу учреждению. Дети расположились полукругом перед новым учителем, и вскоре он уже слушал их монотонное, тягучее, неуверенное чтение тех захватывающе интересных рассказов, какие можно найти в наиболее древних букварях.

В таких увлекательных занятиях медленно проходило утро. В час дня мальчики, которым предварительно отбили аппетит кашей и картофелем, получили в кухне жесткую солонину, а Николасу было весьма милостиво разрешено отнести его порцию к его собственной кафедре и там съесть ее с миром. После этого еще час дрожали в классе от холода, а затем снова приступили к учению.

После каждой поездки в столицу, совершаемой раз в полугодие, мистер Сквирс имел обыкновение собирать всех питомцев и делать своего рода отчет касательно родственников и друзей, им виденных, новостей, им слышанных, писем, им привезенных, векселей, по которым было уплачено, счетов, которые остались неоплаченными, и так далее. Эта торжественная процедура всегда происходила в середине следующего дня после его приезда — быть может, потому, что мальчики после напряженного утреннего ожидания обретали, наконец, силу духа, а быть может, потому, что сам мистер Сквирс черпал силу и непреклонность из горячительных напитков, которыми обычно услаждался после своего раннего обеда. Как бы там ни было, учеников отозвали от окна, из сада, конюшни и коровника, и они оказались в полном составе, когда мистер Сквирс с небольшой пачкой бумаг в руке и с двумя палками вошел в комнату и потребовал тишину, а вслед за ним вошла миссис Сквирс.

— Пусть только какой-нибудь мальчишка скажет слово без разрешения, кротко заметил мистер Сквирс, — и я шкуру с него спущу.

Это предупреждение произвело желаемое действие, и немедленно воцарилось мертвое молчание, после чего мистер Сквирс продолжал:

— Мальчики, я побывал в Лондоне и вернулся к своему семейству и к вам таким же сильным и здоровым, каким был всегда.

Следуя обычаю, ученики при этом обнадеживающем известии выкрикнули слабыми голосами три раза «Ура». Какие там «Ура»! Это были вздохи.

— Я видел родителей некоторых учеников, — сообщил Сквирс, перебирая свои бумаги, — и они так обрадовались, услышав о том, как преуспевают их сыновья, что отнюдь не предвидится, чтобы эти последние отсюда уехали, о чем, конечно, весьма приятно поразмыслить всем заинтересованным лицам.

Две-три руки поднялись к двум-трем парам глаз, когда Сквирс произнес эти слова, но большинство молодых джентльменов, не имея никаких родственников, о которых стоило бы говорить, остались совершенно равнодушными.

— Мне пришлось испытать и разочарования, — с очень мрачным видом продолжал Сквирс. — Отец Болдера не доплатил двух фунтов десяти шиллингов. Где Болдер?

— Вот он, сэр! — отозвалось двадцать угодливых голосов. Право же, мальчики очень похожи на взрослых.

— Подойди, Болдер, — сказал Сквирс.

Болезненный на вид мальчик, у которого руки были сплошь усеяны бородавками, покинул свое место, чтобы подойти к кафедре учителями устремил умоляющий взгляд на лицо Сквирса; а его лицо совсем побелело от сильного сердцебиения.

— Болдер, — начал Сквирс очень медленно, ибо он обдумывал, на чем его подцепить. — Болдер, если твой отец полагает, что потому... Позвольте, что это такое, сэр?

С этими словами Сквирс приподнял руку питомца, схватив за обшлаг рукава, и окинул ее многозначительным взглядом, выражавшим ужас и отвращение.

— Как вы это назовете, сэр? — спросил владелец школы, награждая Болдера ударом трости, чтобы ускорить ответ.

— Я, право же, ничего не могу поделать, сэр, плача, ответил мальчик. Они сами собой выскакивают. Я думаю, это от грязной работы, сэр... Я не знаю, что это такое, сэр, но я не виноват.

— Болдер, — сказал Сквирс, засучив рукава и поплевав на ладонь правой руки, чтобы хорошенько сжать трость, — ты — неисправимый негодяй! Последняя порка не принесла тебе никакой пользы, и мы должны узнать, поможет ли еще одна выбить это из тебя!

С такими словами и ни малейшего внимания не обращая на жалобный вопль о пощаде, мистер Сквирс набросился на мальчика и отколотил его тростью, прекратив это занятие лишь тогда, когда рука у него устала.

— Вот так-то! — сказал Сквирс, покончив с этим делом. — Три сколько хочешь, не скоро сотрешь. О! Ты не можешь не реветь? Не можешь? Выкинь его за дверь, Смайк.

На долгом опыте слуга убедился в том, что нужно повиноваться, а не мешкать; поэтому он вытолкнул жертву в боковую дверь, и мистер Сквирс снова водрузился на свой табурет при поддержке миссис Сквирс, которая занимала другой табурет, рядом с ним.

— Ну-с, теперь посмотрим! — сказал Сквирс. — Письмо Кобби. Встань, Кобби!

Мальчик встал и очень пристально воззрился на письмо, пока Сквирс мысленно делал кз него извлечения.

— О! — сказал Сквирс. — Бабушка Кобби умерла, а его дядя Джон запил — вот и все новости, какие посылает ему его сестра, если не считать восемнадцати пенсов, которые как раз пойдут на уплату да разбитое оконное стекло. Миссис Сквирс, дорогая моя, не возьмешь ли ты деньги?

Достойная леди с весьма деловым видом сунула в карман восемнадцать пенсов, и Сквирс с великим хладнокровием обратился к следующему мальчику.

— Следующий — Греймарш, — сказал Сквирс. — Встань, Греймарш!

Мальчик встал, и школьный учитель, как и в первый раз, просмотрел письмо.

— Тетка Греймарша с материнской стороны, — сказал Сквирс, усвоив его содержание, — очень рада слышать, что ему так хорошо и счастливо живется, и посылает почтительный привет миссис Сквирс и считает, что она — ангел. Равным образом она считает, что мистер Сквирс слишком добродетелен для этого мира, но, впрочем, надеется, что ему будет дарована долгая жизнь, дабы он продолжал свое дело. Хотела бы послать две пары носков, о которых просили, но испытывает недостаток в деньгах и потому посылает вместо них религиозную брошюру и надеется, что Греймарш возложит свои упования на провидение. И прежде всего надеется, что он будет стараться во всем угождать мистеру и миссис Сквирс и смотреть на них как на единственных своих друзей; и что он будет любить Сквирса-младшего и не сетовать, если на одной кровати спят пятеро, на что не посетует ни один христианин. Ах, — сказал Сквирс, складывая бумагу, — какое восхитительное письмо! И какое трогательное!

Оно было трогательно в том смысле, что ближайшие друзья тетки Греймарша с материнской стороны имели веские основания видеть в ней не кого иного, как его родительницу. Однако Сквирс, не касаясь этих деталей истории (о чем было бы безнравственно упоминать перед питомцами), продолжал свое дело, вызвав Мобса, после чего встал другой мальчик, а Греймарш вернулся на свое место.

— Мачеха Мобса, — сказал Сквирс, — слегла в постель, услышав о том, что он не желает есть сало, и с тех пор очень больна. Она хочет узнать с ближайшей почтой, к чему же он придет, если привередничает, брезгая пищей, и как смеет он воротить нос от бульона из коровьей печени, после того как его добрый наставник призвал на этот бульон благословение божие. Об этом ей стало известно из лондонских газет — не от мистера Сквирса, ибо он слишком снисходителен и добр, чтобы восстанавливать кого бы то ни было против других людей, и Мобс даже представить себе не может, как она была огорчена! К своему сожалению, она отмечает его недовольство, каковое является греховным и отвратительным, и надеется, что мистер Сквирс его высечет, чтобы привести в лучшее расположение духа. С этой целью она приостанавливает также выдачу ему его карманных

денег — полпенни в неделю — и отдает миссионерам ножик с двумя лезвиями и пробочником, купленный ею специально для него.

— Угрюмость никуда не годится! — сказал Сквирс после зловещей паузы, в течение которой он снова послонявил ладонь правой руки. — Надлежит поддерживать в себе веселое и бодрое расположение духа. Мобс, подойди ко мне!

Мобс медленно двинулся к кафедре, вытирая глаза в предвкушении веских для того оснований; и вскоре он вышел в боковую дверь после таких веских оснований, какие только могут выпасть на долю ученика.

Мистер Сквирс продолжал вскрывать пеструю коллекцию писем. В иные были вложены деньги, о которых «брала на себя заботу» миссис Сквирс, а в других упоминалось о мелких принадлежностях туалета вроде шапок и т.д., о которых та же леди утверждала, что они либо слишком велики, либо слишком малы и рассчитаны только на юного Сквирса, который как будто и в самом деле был наделен весьма удобным телосложением, ибо все, что поступало в школу, приходилось ему впору. В особенности голова его отличалась изумительной эластичностью: шапки и шляпы любых размеров были как раз по нем.

По окончании этой операции было дано кое-как еще несколько уроков, и Сквирс удалился к своему очагу, предоставив Николасу надзирать за учениками в классной комнате, где было очень холодно и куда с наступлением темноты подали ужин, состоявший из хлеба и сыра.

В углу этой комнаты, ближайшем к кафедре учителя, была маленькая печурка, и перед нею уселся Николас, такой угнетенный и униженный сознанием своего положения, что, если бы в то время настигла его смерть, он был бы чуть ли не счастлив встретить ее. Жестокость, невольным свидетелем которой он был, грубое и отвратительное поведение Сквирса даже тогда, когда тот был в наилучшем расположении духа, грязное помещение, все, что Николас видел и слышал, — все это было причиной его тяжелого душевного состояния. Когда же он вспомнил, что, служа здесь помощником, он и в самом деле является — неважно, какое несчастливое стечение обстоятельств довело его до этого критического положения, является пособником и сторонником системы, преисполнявшей его благородным негодованием и отвращением, он устыдился самого себя и в тот момент почувствовал, что одно лишь воспоминание о настоящем его положении должно помешать ему и в будущем держать высоко голову.

Но теперь жребий был брошен, и решение, принятое им прошлой ночью, осталось нерушимым. Он написал матери и сестре, извещая о благополучном окончании путешествия и сообщая как можно меньше о Дотбойс-Холле, но даже это немного сообщая как можно бодрее. Он надеялся, что, оставаясь здесь, сможет принести хоть какую-нибудь пользу; во всяком случае, его близкие слишком зависели от благосклонности дяди, чтобы он позволил себе возбудить сейчас его гнев.

Одна мысль тревожила его куда больше, — чем какие бы то ни было эгоистические размышления, вызванные его собственным положением. Это была мысль о судьбе его сестры Кэт. Дядя обманул его; а что если он и ее устроил на какое-нибудь жалкое место, где ее юность и красота окажутся значительно большим проклятием, чем уродство и дряхлость? Для человека, заключенного в клетку, связанного по рукам и ногам, такое предположение было ужасно. «Нет! — подумал он. — Там при ней мать и эта художница-портретистка — довольно простодушная, но все же знающая свет и от него получающая средства к жизни». Ему хотелось думать, что Ральф Никльби испытывает неприязнь лично к нему. Теперь у него были веские основания отвечать тем же, а потому он без особого труда пришел к такому заключению и постарался убедить себя, что это чувство Ральфа направлено только против него.

Погруженный в такие размышления, он вдруг увидел обращенное к нему лицо Смайка, который стоял на коленях перед печкой, подбирая выпавшие угольки и бросая их в огонь. Он замешкался, чтобы украдкой взглянуть на Николаса, а когда заметил, что за ним следят, отпрянул, съездившись, словно в ожидании удара.

— Меня не нужно бояться, — ласково сказал Николас. — Вам холодно?

— Н-н-нет.

— Вы дрожите.

— Мне не холодно, — быстро, ответил Смайк. Я привык.

Столько было в звуке его голоса нескрываемой боязни рассердить кого-нибудь, и был он таким робким, запуганным созданием, что Николас невольно воскликнул:

— Бедняга!

Если бы он ударил несчастного раба, тот скрылся бы, не говоря ни слова. Но тут он расплакался.

— Ах, боже мой, боже мой! — воскликнул он, закрывая лицо потрескавшимися, мозолистыми руками. — Сердце у меня разорвется... Да, разорвется!

— Тише, — сказал Николас, положив руку ему на плечо. — Будьте мужчиной. Ведь по годам вы уже почти взрослый мужчина.

— По годам! — вскричал Смайк. — О боже, боже, сколько их прошло! Сколько их прошло с тех пор, как я был ребенком — моложе любого из тех, кто сейчас здесь! Где они все?

— О ком вы говорите? — осведомился Николас, желая пробудить разум в бедном полупомешанном создании. — Скажите мне.

— Мои друзья, — ответил он, — я сам... мои... О! Как я страдал!

— Всегда остается надежда, — сказал Николас. Он не знал, что сказать.

— Нет! — возразил тот. — Нет! Для меня — никакой. Помните того мальчика, который умер здесь?

— Вы знаете, меня здесь не было, — мягко ответил Николас. — Но что вы хотите сказать о нем?

— Да как же! — продолжал юноша, придвигаясь ближе к тому, кто его спрашивал. — Я был ночью около него, и, когда все стихло, он перестал кричать, чтобы его друзья пришли и посидели с ним, но ему стали мерещиться лица вокруг его постели, явившиеся из родного дома. Он говорил — они улыбаются и беседуют с ним, и он умер, когда приподнимал голову, чтобы поцеловать их. Вы слышите?

— Да, да! — отозвался Николас.

— Какие лица улыбнутся мне, когда я буду умирать? — содрогаясь, воскликнул его собеседник. — Кто будет говорить со мной в эти долгие ночи? Они не могут прийти из родного дома. Они испугали бы меня, если бы пришли, потому что я не знаю, что такое родной дом, и не узнал бы их. Как больно и страшно! Никакой надежды, никакой надежды!

Зазвонил колокол, призывавший ко сну, и мальчик, впад при этом звуке в свое обычное безучастное состояние, ускользнул, словно боялся, что его кто-то заметит. Вскоре после этого Николас с тяжелым сердцем уединился — нет, не уединился, не было там никакого уединения, — отправился в грязный и битком набитый дортуар.

Глава IX,

О мисс Сквирс, миссис Сквирс, юном Сквирсе и мистере Сквирсе и о различных материях и людях, имеющих не меньшее отношение к Сквирсам, чем к Николасу Никльби

Покинув в тот вечер класс, мистер Сквирс, как было замечено выше, удалился к своему очагу, который помещался не в той комнате, где Николас ужинал в вечер своего прибытия, а в меньшей, в задней половине дома, где его супруга, любезный сын и высокообразованная дочь наслаждались обществом друг друга: миссис Сквирс была погружена в работу, подобающую матроне, штопку чулок, а юные леди и джентльмен заняты были улаживанием юношеских разногласий посредством кулачной расправы через стол, каковая расправа при приближении почтенного родителя уступила место бесшумным пинкам ногами под столом.

В этом месте, пожалуй, не мешает уведомить читателя, что мисс Фанни Сквирс было двадцать три года. Если именно с этим возрастом связана неразрывно какая-то грация или миловидность, то, думается, ими обладала и мисс Сквирс, ибо нет никаких оснований предполагать, что она являлась единственным исключением из правила. Ростом она была не в мать, весьма высокую, а в малорослого отца; от первой она унаследовала грубый голос, от второго — странное выражение правого глаза, которого как будто и вовсе не было.

Мисс Сквирс провела несколько дней по соседству у подруги и только что вернулась под родительский кров. — Этому обстоятельству можно приписать то, что она ничего не слыхала о Николасе, пока сам мистер Сквирс не заговорил о нем.

— Ну-с, дорогая моя, — сказал Сквирс, придвигая свой стул, — что ты о нем теперь думаешь?

— Про чего думаю? — осведомилась миссис Сквирс, которая, слава богу (как она частенько замечала), не была знатоком грамматики.

— Об этом молодом человеке... Новом учителе... О ком еще мне говорить?

— О! Об этом Накльбое, — с досадой сказала миссис Сквирс. — Я его ненавижу.

— За что ты его ненавидишь, дорогая моя? — спросил Сквирс.

— А тебе какое дело? — ответствовала миссис Сквирс. — Ненавижу — и хватит!

— Для него хватит, моя милая, и даже с избытком, да он-то этого не знает, — миролюбивым тоном ответил мистер Сквирс. — Я только так спросил, дорогая моя.

— А, в таком случае, если желаешь знать, я тебе скажу, — ответила миссис Сквирс. — Ненавижу потому, что он гордый, надменный, напыщенный павлин и нос задирает!

Миссис Сквирс, приходя в возбуждение, имела привычку прибегать к резким выражениям и вдобавок пользоваться множеством характеристик, вроде слова «павлин», а также намек на нос Николаса, каковой намек надлежало понимать не в буквальном смысле, но придавать ему любое значение, в зависимости от фантазии слушателей.

И эти намеки имели не большее отношение друг к другу, чем к предмету, на который они указывали, что обнаруживается и в данном случае: павлин, который задирает нос, явился бы новинкой в орнитологии и существом, доселе не часто виданным.

— Гм! — сказал Сквирс, как бы кротко порицая такую вспышку. — Он дешево стоит, дорогая моя. Молодой человек очень дешево стоит.

— Ничуть не бывало! — возразила миссис Сквиро.

— Пять фунтов в год, — сказал Сквирс.

— Ну, так что ж? Это дорого, если он тебе не нужен, верно? — отозвалась его жена.

— Но он нам *нужен*, — настаивал Сквирс.

— Не понимаю, почему он нам нужен больше, чем какой-нибудь покойник, сказала миссис Сквирс. — Не перечь мне! Ты можешь напечатать на визитных карточках и в объявлениях: «Образованием ведают Уэкфорд Сквирс и талантливые помощники», — не имея никаких помощников, не правда ли? Разве не так поступают все учителя в округе? Ты выводил меня из терпения.

— Да неужели? — сурово произнес Сквирс. — Ну, так я вам вот что скажу, миссис Сквирс. Что касается учителя, то я, с вашего позволения, поступлю по-своему. Надсмотрщику в Вест-Индии разрешено иметь подчиненного, чтобы тот, следил, как бы чернокожие не сбежали или не подняли мятежа; и я хочу иметь подчиненного, чтобы он поступал точно также, как с *нашими* чернокожими до той поры, пока маленький Уэкфорд не будет в силах взять на себя заведение школой.

— А я буду заведовать школой, когда стану взрослым, папа? — спросил Уэкфорд-младший, воздержавшись в порыве восторга от злобных пинков, которыми наделял свою сестру.

— Да, сын мой! — прочувствованным тоном отозвался мистер Сквирс.

— Ах, бог ты мой, ну и задам же я мальчишкам! — воскликнул занятный ребенок, схватив трость отца. — Ох, папа, как они у меня завизжат!

То был торжественный момент в жизни мистера Сквирса, когда он воочию увидел

взрыв восторга в душе своего юного отпрыска и узрел в нем будущее его величие. Он сунул ему в руку пенни и дал исход своим чувствам (равно как и его примерная супруга) в раскатах одобрительного смеха. Оный отпрыск пробудил в их сердцах одинаковые чувства, что сразу вернуло беседе беззаботность, а всей компании мир и покой.

— Это противная, спесивая обезьяна! Вот как я на него смотрю, — сказала миссис Сквирс, возвращаясь к Николасу.

— Допустим, — сказал Сквирс, — но спесь с него можно сбить в нашей классной комнате не хуже, чем в другом месте, не правда ли? Тем более что классная комната ему не нравится.

— Пожалуй, — заметила миссис Сквирс, — в этом есть доля истины. Надеюсь, спеси у него поубавится, и не моя будет вина, если этого не случится.

В йоркширских школах спесивый помощник учителя был такой необычайной и неслыханной штукой (любой помощник учителя был новинкой, но спесивый — существом, которого не могло бы нарисовать себе самое пылкое воображение), что мисс Сквирс, редко интересовавшаяся школьными делами, осведомилась с большим любопытством, кто такой этот Накльбой, напускающий на себя такую важность.

— Никльби! — сказал Сквирс, произнося фамилию по буквам, согласно каким-то эксцентрическим правилам произношения, запавшим ему в голову. — Твоя мать всегда неправильно называет людей и вещи.

— Не беда! — сказала миссис Сквирс. — Я их правильно вижу, и этого с меня хватит. Я за ним следила, когда ты сегодня колотил маленького Болдера. Все время он был мрачный, как туча, а один раз вскочил, словно уже совсем готов был броситься на тебя. Я это видела, а он думал, что я не вижу.

— Нечего толковать об этом, отец, — сказала мисс Сквирс, когда глава семейства собрался отвечать. — Что это за человек?

— Твой отец вбил себе в голову дурацкую мысль, будто он сын бедного джентльмена, недавно умершего, — сказала миссис Сквирс.

— Сын джентльмена?

— Да, но я ни единому слову не верю. Если он и сын джентльмена, то он находка, вот мое мнение.

Миссис Сквирс хотела сказать «найденный», но, как частенько замечала она, делая подобные ошибки, через сто лет это не будет иметь никакого значения, — такую философическою истиной она даже имела обыкновение утешать мальчиков, особенно пострадавших от дурного обращения.

— Ничуть не бывало! — возразил Сквирс в ответ на приведенное выше замечание. — Его отец женился на его матери задолго до его рождения, и она еще жива. Да хотя бы и так — нас это не касается: мы приобрели доброго приятеля, взяв его сюда, и если ему нравится учить чему-нибудь мальчишек, а не только присматривать за ними, то, право же, я не возражаю.

— А я повторяю, что ненавижу его, как чуму! — с жаром заявила миссис Сквирс.

— Если он тебе не нравится, моя милая, — отозвался Сквирс, — я не знаю никого, кто бы лучше тебя мог выразить свою неприязнь, и, разумеется, имея дело с ним, нет никакой причины ее скрывать.

— Я и не намерена скрывать, не беспокойся, — вставила миссис Сквирс.

— Правильно! — сказал Сквирс. — А если есть у него капелька гордости — а, по-моему, она есть, — то я не думаю, чтобы нашлась во всей Англии другая женщина, которая быстрее, чем ты, могла бы сбить спесь с человека, моя милочка.

Миссис Сквирс вдосталь похихикала в ответ на эти лестные комплименты и выразила надежду, что в свое время она укротила двух-трех гордецов. Воздавая лишь должное ее характеру, надлежит сказать, что в союзе со своим уважаемым супругом она сломила дух многих и многих.

Мисс Фанни Сквирс старательно запоминала и этот и дальнейший разговор о том же

предмете, пока не ушла спать, а затем расспросила голодную служанку обо всех мелочах, касающихся наружности и поведения Николаса; на эти вопросы девушка дала такие восторженные ответы, присовокупив к ним столько хвалебных отзывов о его прекрасных темных глазах, нежной улыбке и стройных ногах, особенно напирала она на это последнее качество, так как в Дотбойс-Холле преобладали кривые ноги, — что мисс Сквирс не замедлила узреть в учителе весьма примечательную особу, или, как выразительно высказалась она сама, «нечто из ряда вон выходящее». И мисс Сквирс приняла решение на следующий же день самолично увидеть Николаса.

Осуществляя свое намерение, молодая леди улучила минутку, когда ее мать была занята, а отец отсутствовал, и как бы случайно зашла в классную комнату очинить перо. Не увидев никого, кроме Николаса, надзиравшего за мальчиками, она густо покраснела и проявила великое смущение.

— Прошу прощения, — пролепетала мисс Сквирс. — Я думала, мой отец здесь... мог быть здесь... Ах, боже мой, как неловко!

— Мистер Сквирс ушел, — сказал Николас, нимало не потрясенный этим появлением, сколь ни было оно неожиданно.

— Вы не знаете, когда он придет, сэр? — спросила мисс Сквирс застенчиво и нерешительно.

— Он сказал, что примерно через час, — ответил Николас учтиво, но отнюдь не показывая, что находится во власти чар мисс Сквирс.

— Никогда еще не случилось со мной такой неприятности! — воскликнула молодая леди. — Очень вам благодарна. Право же, мне так жаль, что я сюда ворвалась. Если бы я не думала, что отец здесь, я бы ни за что на свете... это так неприятно... может показаться таким странным, — пролепетала мисс Сквирс, снова покраснев и переводя взор с пера в руке на Николаса и обратно.

— Если это все, что вам нужно, — сказал Николас, указывая на перо и невольно улыбаясь при виде притворного замешательства дочери владельца школы, — быть может, я могу его заменить.

Мисс Сквирс глянула на дверь, как бы сомневаясь, уместно ли подойти ближе к совершенно незнакомому человеку, затем окинула взором классную комнату, словно отчасти успокоенная присутствием сорока мальчиков, наконец пододвинулась к Николасу и вручила ему перо с соблазнительной и вместе с тем снисходительной гримасой.

— Острые сделать твердым или мягким? — осведомился Николас, улыбаясь, чтобы не расхохотаться громко.

«У него и в самом деле прелестная улыбка», — подумала мисс Сквирс.

— Как вы сказали? — спросил Николас.

— Ах, боже мой, уверяю вас, я в эту минуту думала о чем-то совсем другом, — ответила мисс Сквирс. — О, пожалуйста, как можно мягче!

С этими словами мисс Сквирс вздохнула. Быть может, для того, чтобы дать понять Николасу, что ее сердце мягко и перо должно быть ему под стать.

Следуя этим инструкциям, Николас очинил перо; когда он подал его мисс Сквирс, мисс Сквирс его уронила, а когда он наклонился, чтобы поднять его, мисс Сквирс тоже наклонилась, и они стукнулись лбами; при этом двадцать пять мальчиков громко рассмеялись — решительно в первый и единственный раз за это полугодие.

— Какой я неловкий! — сказал Николас, распахивая дверь перед молодой леди.

— Ничуть не бывало, сэр — отозвалась мисс Сквирс. — Это моя вина! Всею виной моя глупая... ээ... Прощайте!

— До свидания, — сказал Николас. — Надеюсь, второе перо я вам очиню получше. Осторожнее! Вы сейчас грызете острие!

— И в самом деле! — сказала мисс... Смирс. — Такое затруднительное, положение, что я, право, не знаю... Простите, что причинила вам столько хлопот.

— Отнюдь никаких хлопот. — ответил Николас, закрывая за ней дверь классной

комнаты...

«За всю свою жизнь не видывала таких ног!» — уходя, сказала себе мисс Сквирс.

Дело в том, что мисс Сквирс влюбилась в Николаса Никльби.

Чтобы объяснить, ту стремительность, с какою эта молодая леди воспылала страстью к Николсу, необходимо, быть может, разъяснить, что та подруга, от которой она недавно вернулась, была дочерью мельника, которая, только-только достигнув восемнадцати лет, обручилась с сыном мелкого торговца зерном, проживавшего в ближайшем городе. Года два назад, следуя обычаю, принятому молодыми леди, мисс Сквирс и дочка мельника, будучи близкими подругами, заключили договор, что та, кто первая обручится, немедленно поверит великую тайну сердцу другой, прежде чем поведать о ней кому бы то ни было, и нимало не медля позовет ее себе в подружки. Во исполнение этого договора дочь мельника, когда состоялось ее обручение, прибыла в одиннадцать часов вечера, так как сын торговца зерном предложил ей руку и сердце и двадцать пять минут одиннадцатого по голландским часам в кухне, и ворвалась в спальню мисс Сквирс с приятною вестью.

С той поры мисс Сквирс, будучи на пять лет старше и перешагнув за второй десяток (что также имеет немалое значение), не на шутку беспокоилась, когда она доверит подруге такую же тайну, но либо потому, что она убедилась, как трудно, чтобы кто-нибудь ей понравился, либо потому, что ей еще труднее было прийти к кому-нибудь по вкусу, у нее не было тайн, которые она могла бы поверить. Однако тотчас после короткого свидания с Николасом, которое было описано выше, мисс Сквирс, надев шляпку, отправилась с большой поспешностью к своей подруге и после торжественного повторения всевозможных старых клятв хранить тайну, — поведала о том, что она... не то чтобы обручена, но собирается обручиться... с сыном джентльмена (не какой-нибудь там торговец зерном, а сын джентльмена благородного происхождения)... который занял место учителя в Дотбойс-Холле при обстоятельствах, в высшей степени таинственных и замечательных. В самом деле, наметнула мисс Сквирс, у нее были веские основания полагать, что привлеченный слухами о многих ее чарах, он прибыл, чтобы за ней ухаживать, помогать ее и жениться.

— Ну, не удивительное ли это дело? — спросила мисс Сквирс, делая сильное ударение на прилагательном.

— В высшей степени удивительное, — ответила подруга. — А что он тебе сказал?

— Не спрашивай, дорогая моя, что он мне сказал, — отозвалась мисс Сквирс. Если бы ты только видела, как он смотрел и улыбался! Никогда в жизни я не была так потрясена.

— А вот этак он смотрел? — осведомилась дочь мельника, изображая, по мере своих способностей, излюбленное подмигиванье торговца зерном.

— Очень похоже на это... только более благородно, — ответила мисс Сквирс.

— Ах, так! — сказала подруга. — Значит, будь уверена, у него что-то серьезное на уме.

Мисс Сквирс, не совсем уверенная на этот счет, была отнюдь не огорчена, получив поддержку авторитетного лица, а когда в дальнейшей беседе и при сравнении воспоминаний обнаружились многие черты поведения, сходные у Николаса с торговцем зерном, она стала столь доверчивой, что сообщила своей подруге многое, чего Николас ей не говорил, — и все это было весьма лестно и убедительно. Затем она распространилась о том, что беда иметь отца и мать, резко восстающих против ее нареченного; об этом печальном обстоятельстве она говорила очень долго, потому что отец и мать ее подруги не чинили никаких препятствий к замужеству дочери и вследствие этого все ухаживание прошло так гладко, как только можно себе представить.

— Как бы мне хотелось его увидеть! — воскликнула подруга.

— Да ты и увидишь, Тильда! — ответила мисс Сквирс. — Я бы себя почитала самым неблагодарным созданием, если бы отказала тебе в этом. Кажется, мать едет на два дня за какими-то учениками, а когда она уедет, я приглашу тебя и Джона и устрою так, чтобы вы с ним встретились.

Это была чудесная затея, и, хорошенько обсудив ее, подруги расстались.

Случилось так, что недалекое путешествие миссис Сквирс за тремя новыми питомцами и для сведения неотложных счетов на небольшую сумму за двух прежних было назначено на послезавтра днем; и послезавтра миссис Сквирс отбыла, заняв верхнее место в карете, остановившейся переменить лошадей в Грета-Бридж; она захватила с собой сверточек, содержащий нечто в бутылке и несколько сандвичей, и вдобавок взяла широкое белое пальто, чтобы надеть его ночью; с этим багажом она и отправилась в путь.

В таких случаях Сквирс имел обыкновение уезжать каждый вечер под предлогом неотложных дел в город и просиживать часов до десяти-одиннадцати в излюбленной таверне. Итак, вечеринка ему ничуть не мешала и даже предоставляла возможность пойти с мисс Сквирс на компромисс, а потому он с готовностью дал полное согласие и охотно сообщил Николасу, что вечером, в пять часов, его ждут к чаю в гостинной.

Разумеется, с приближением назначенного часа мисс Сквирс пришла в ужасное волнение, и, разумеется, она нарядилась удивительно к лицу: волосы — явно рыжие, которые она подстригала, — были завиты круто в пять рядов до самой макушки и искусно убраны над сомнительным глазом; стоит ли говорить о голубом поясе, концы которого развевались, о вышитом передничке, о длинных перчатках и о зеленом газовом шарфе, наброшенном на одно плечо и продетом под другую руку, стоит ли говорить об иных многочисленных уловках, долженствовавших стать столь же многочисленными стрелами для сердца Николаса. Она едва успела закончить эти приготовления, к полному своему удовольствию, как появилась подруга с плоским, треугольным свертком в коричневой бумаге, содержащим всевозможные мелкие украшения, которые надлежало надеть в комнате наверху и которые подруга и надела, болтая без умолку. Когда мисс Сквирс «поправила» прическу подруги, подруга «поправила» прическу мисс Сквирс, сделав поразительные улучшения, касавшиеся завитков на шее, а затем обе были разряжены к полному своему удовлетворению и спустились вниз во всем параде, в длинных перчатках, совсем готовые к приему гостей.

— Тильда, где же Джон? — осведомилась мисс Сквирс.

— Он пошел домой приодеться, — ответила подруга. — Будет здесь к чаю.

— Я вся трепещу, — заявила мисс Сквирс.

— Ах, я понимаю! — отозвалась подруга.

— Знаешь, Тильда, я к этому не привыкла, — сказала мисс Сквирс, прикладывая руку к поясу с левой стороны.

— Ты скоро с этим справишься, дорогая, — ответила подруга.

Пока они беседовали, голодная служанка подала чайный прибор, а вскоре после этого кто-то постучал в дверь.

— Это он! — воскликнула мисс Сквирс. — О Тильда!

— Тише! — сказала Тильда. — Гм! Скажи: «Войдите».

— Войдите, — пролепетала мисс Сквирс.

И вошел Николас.

— Добрый вечер, — сказал молодой джентльмен, нимало не ведая о своей победе. — Я узнал от мистера Сквирса, что...

— О да! Совершенно верно! — перебила мисс Сквирс. — Отец не будет пить чай с нами, но вы, я думаю, ничего не имеете против его отсутствия. (Это было сказано лукаво.)

Тут Николас широко раскрыл глаза, но очень хладнокровно решил над этим вопросом не задумываться, в сущности ровно ничем в тот момент не интересуясь, и проделал церемонию знакомства с дочерью мельника с такой грацией, что эта юная леди пришла в восхищение.

— Мы ждем еще одного джентльмена, — сказала мисс Сквирс, снимая крышку с чайника и заглядывая в него, чтобы удостовериться, настоялся ли чай.

Николасу было все равно, ждут ли они одного или двадцать джентльменов, а посему он выслушал это сообщение с полным безразличием; он был в дурном расположении духа и, не видя никаких веских оснований быть особенно любезным, посмотрел в окно и невольно

вздохнул.

Судьбе угодно было, чтобы подруга мисс Сквирс отличалась игривым нравом, и при вздохе Николаса подруге взбрело в голову посмеяться над унынием влюбленных.

— Если причина вашей грусти — мое присутствие, — сказала молодая леди, не обращайтесь на меня ни малейшего внимания, потому что и мне не легче, чем вам. Можете держать себя точь-в-точь так, как если бы меня здесь не было.

— Тильда, — сказала мисс Сквирс, краснея до верхнего ряда завитушек, мне стыдно за тебя.

И тут обе подруги принялись хихикать на все лады и время от времени поглядывали поверх носовых платков на Николаса, который от неподдельного изумления постепенно перешел к неудержимому смеху, отчасти вызванному мыслью, что его считают влюбленным в мисс Сквирс, а отчасти — нелепым видом и поведением обеих девиц. Все это показалось ему столь нелепым и смешным, что, несмотря на свое печальное положение, он хохотал до полного изнеможения.

«Ладно, — подумал Николай, — раз уж я здесь и от меня. почему-то ожидают любезностей, что толку иметь дурацкий вид. Уж лучше я как-нибудь приспособлюсь к обществу».

Мы с краской на лице упоминаем об этом; но стоило юношеской бодрости и живости на время одержать верх над грустными мыслями, как он, едва успев принять решение, уже с превеликой галантностью приветствовал мисс Сквирс и ее подругу и, придвинув стул к чайному столу, устроился с большим удобством: так, должно быть, не устраивался ни один помощник учителя в доме своего хозяина с той поры, как были впервые изобретены помощники учителей.

Леди были в полном восторге от столь изменившегося поведения мистера Никльби, а в это время явился парень, которого поджидали, с волосами, еще совсем влажными от недавнего мытья, и в чистой рубашке, воротничок коей мог бы принадлежать какому-нибудь гиганту-предку, составляя вместе с белым жилетом не меньших размеров главное украшение его особы.

— Ну, Джон, — сказала мисс Матильда Прайс. (Так, кстати сказать, звали дочь мельника.)

— Ну! — сказал Джон, ухмыляясь так, что даже воротничок не мог этого скрыть.

— Простите, — вмешалась мисс Сквирс, спеша познакомить гостей, — мистер Никльби — мистер Джон Брауди.

— Ваш покорный слуга, сэр, — сказал Джон, который был ростом повыше шести футов, а лицо и фигуру имел, пожалуй, более чем соответствующие своему росту.

— К вашим услугам, сэр, — ответил Николай, энергически опустошая тарелки с бутербродами.

Мистер Брауди не был джентльменом, особо наделенным даром вести беседу, поэтому он ухмыльнулся еще два раза и, удостоив таким образом своим привычным знаком внимания каждого из присутствующих, ухмыльнулся всем вообще и приступил к еде.

— Старуха уехала? — спросил мистер Брауди, набив себе рот.

Мисс Сквирс кивнула головой.

Мистер Брауди ухмыльнулся особенно широко, словно подумал, что над этим и в самом деле стоит посмеяться, и с сугубым рвением принялся уплетать хлеб с маслом. Стоило посмотреть, как он и Николай вдвоем очистили тарелку.

— Экий вы, вероятно, вам не каждый вечер приходится есть хлеб с маслом, — сказал мистер Брауди, после того как долго таращил глаза на Николаса поверх пустой тарелки.

Николай прикусил губу и покраснел, но притворился, будто не слышит этого замечания.

— Ей-богу, — продолжал мистер Брауди, хохоча во все горло, — не очень-то дают им жрать! Если вы здесь подольше поживете, от вас останутся кожа да кости. Хо-хо-хо!

— Вы шутник, сэр! — презрительно сказал Николай.

— Да ну? — ответил мистер Брауди. — А вот от прежнего учителя остались кожа да кости, потому что он был ученый.

Воспоминание о худобе прежнего учителя, казалось, привело мистера Брауди в величайшее восхищение, ибо он хохотал, пока не почел нужным вытереть глаза обшлагами.

— Не знаю, хватит ли у вас ума, мистер Брауди, понять, что ваши слова оскорбительны, — воскликнул Николас с нарастающим гневом, — но если хватит, то будьте так добры...

— Если вы скажете еще хоть слово, Джон, — взвизгнула мисс Прайс, зажимая рот своему обожателю, когда тот собрался перебить Никльби, — еще хоть полсловечка, то я вас никогда не прощу и разговаривать с вами не буду!

— Ну, ладно, моя девочка, что мне за дело! — сказал торговец зерном, вlepив звонкий поцелуй мисс Матильде. — Пусть все идет по-прежнему, пусть все идет по-прежнему!

Теперь пришел черед мисс Сквирс вступить за Николаса, что она и сделала, притворяясь испуганной и встревоженной; в результате двойного вмешательства Николас и Джон Брауди очень торжественно подали друг Другу руку через стол, и столь внушительной была эта церемония, что мисс Сквирс взволновалась и пролила слезы.

— Что с тобой, Фанни? — осведомилась мисс Прайс.

— Ничего, Тильда, — всхлипывая, отозвалась мисс Сквирс.

— Ведь никакой опасности не было, — сказала мисс Прайс. — Не правда ли, мистер Никльби?

— Решительно никакой! — ответил Николас. — Чепуха!

— Очень хорошо! — шепнула мисс Прайс. — Скажите ей что-нибудь ласковое, и она скоро придет в себя. Послушайте, не выйти ли нам с Джоном на кухню, а потом мы вернемся?

— Ни за что на свете! — возразил Николас, очень встревоженный таким предложением. — Чего ради вам это делать?

— Эх! — сказала мисс Прайс, поманив его в сторону и говоря с некоторой долей презрения. — Хороший же вы кавалер.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил Николас. — Я совсем не кавалер — во всяком случае, не здесь. Ничего не понимаю.

— Да и я ничего не понимаю! — подхватила мисс Прайс. — Но мужчины — изменники, всегда такими были и всегда такими будут — вот это мне очень легко понять!

— Изменники! — воскликнул Николас. — Да что у вас на уме? Уж не хотите ли вы сказать, что вы думаете...

— Ах, нет, я ровно ничего не думаю! — с раздражением перебила мисс Прайс. — Вы поглядите на нее: как разодета и какой прелестный у нее вид, право же, почти красавица. Мне стыдно за вас!

— Милая моя, какое мне дело до того, что она разодета и что у нее прелестный вид? — осведомился Николас.

— Ну-ну, не называйте меня «милой», — сказала мисс Прайс, впрочем, слегка улыбаясь, потому что была миловидна и к тому же немного кокетлива, а Николас был красив и она считала его собственностью другой особы, а это и являлось причиной, почему ей лестно было думать, что она произвела на него впечатление, — не то Фанни скажет, что это моя вина. Давайте-ка сыграем в карты.

Громко произнеся эти последние слова, она упорхнула и присоединилась к грузному йоркширцу.

Все это было совершенно непонятно Николасу, который в тот момент усвоил лишь то, что мисс Сквирс — девица, отличающаяся заурядной наружностью, а ее подруга, мисс Прайс, — хорошенькая девушка. Но у него не было времени поразмыслить об этом, так как у очага уже подмели, со свечи сняли нагар, и они уселись играть в «спекуляцию».

— Нас только четверо, Тильда, — сказала мисс Сквирс, бросая лукавый взгляд на Николаса. — Пожалуй, лучше нам взять себе партнеров — двое против двух.

— Что вы на это скажете, мистер Никльби? — осведомилась мисс Прайс.

— С величайшим удовольствием, — ответил Николас.

И с этими словами, совершенно не ведая о наносимой им чудовищной обиде, он смешал в одну кучу карточки с проспектами Дотбойс-Холла, которые заменяли ему фишки, с теми, какие получила мисс Прайс.

— Мистер Брауди, — взвизгнула мисс Сквирс, — будем держать против них банк?

Йоркширец согласился, по-видимому совершенно ошеломленный дерзостью нового учителя, а мисс Сквирс бросила злобный взгляд на подругу и истерически захохотала.

На долю Николаса выпало сдавать, и ему повезло. — Мы собираемся выиграть все, — сказал он. — Тильда уже выиграла кое-что, на это, я думаю, она не надеялась, не правда ли, милая? — сердито сказала мисс Сквирс.

— Только дюжину и восемь, милочка, — ответила мисс Прайс, делая вид, будто понимает вопрос в буквальном смысле.

— Какая ты сегодня скучная! — огрызнулась мисс Сквирс.

— Да, право же, нет! — отозвалась мисс Прайс. — Я в превосходном расположении духа. Мне казалось, что ты как будто расстроена.

— Я! — вскричала мисс Сквирс, кусая губы и дрожа от ревности. — О нет!

— Ну, вот и прекрасно! — заметила мисс Прайс. — У тебя кудряшки растрепались, милочка.

— Не обращай на меня внимания, — захихикала мисс Сквирс, — ты бы лучше смотрела за своим партнером.

— Благодарю вас, что вы ей напомнили, — сказал Николас. — И в самом деле, это было бы лучше.

Йоркширец раза два приплюснул себе нос сжатым кулаком, словно хотел удержать свою руку, пока ему не представится случай поупражнять ее на физиономии какого-нибудь другого джентльмена, а мисс Сквирс с таким негодованием тряхнула головой, что ветер, поднятый пришедшими в движение многочисленными кудряшками, едва не задул свечу.

— Право же, мне никогда так не везло! — кокетливо воскликнула мисс Прайс после одной-двух партий. Я думаю, это все благодаря вам, мистер Никльби. Хотелось бы мне всегда иметь вас своим партнером.

— И я бы этого хотел.

— Но у вас будет плохая жена, если вы всегда выигрываете в карты, сказала мисс Прайс.

— Нет, не плохая, если ваше-желание исполнится, — ответил Николас. — Я уверен, что в таком случае жена у меня будет хорошая.

Нужно было видеть, как тряхнула головой мисс Сквирс, пока шла эта беседа, и как приплюснул себе нос торговец, зерном! Стоило платить небольшую ежегодную ренту, чтобы только узреть это, увидеть, с какой радостью мисс Прайс возбуждала их ревность, тогда как Николас Никльби не подозревал что он причиняет кому-то неприятность.

— Но мы, кажется, только одни и разговариваем, — сказал Николас, добродушно окинув взглядом стол и беря карты для новой сдачи.

— Вы так хорошо это делаете, что жалко было бы перебивать, — захихикала мисс Сквирс. — Не правда ли, мистер Брауди? Хи-хи-хи!

— Мы это делаем потому, что больше не с кем говорить, — сказал Николас.

— Поверьте, мы будем разговаривать с вами, если вы нам что-нибудь скажете, — заметила мисс Прайс.

— Благодарю тебя, милая Тильда, — величественно отозвалась мисс Сквирс.

— Вы можете говорить друг с другом, если вам не хочется разговаривать с нами, — продолжала мисс Прайс, подшучивая над своей любимой подругой. — Джон, почему вы ничего не говорите?

— Ничего не говорю? — повторил йоркширец.

— Да, лучше говорить, чем сидеть вот так молча и дуться.

— Ну, будь по-вашему! — вскричал йоркширец, тяжело ударив кулаком по столу. — Вот что я скажу: пусть черт заберет мои кости и тело, если я буду дольше это терпеть! Ступайте вместе со мною домой, а этому молодому шептуну скажите, чтобы он поостерегся, как бы ему не остаться с проломанной башкой, когда он в следующий раз попадется мне под руку.

— Боже милостивый, что это значит? — с притворным изумлением воскликнула мисс Прайс.

— Ступайте домой, говорю вам, ступайте домой! — сердито крикнул йоркширец.

А когда он произнес эти слова, мисс Сквирс залилась потоком слез, вызванных отчасти нестерпимым раздражением, а отчасти тщетным желанием расцарапать кому-нибудь физиономию своими прекрасными ноготками.

Такое положение дел создалось по многим причинам. Оно создалось потому, что мисс Сквирс стремилась к высокой чести выйти замуж, не имея для того достаточного основания. Оно создалось потому, что мисс Прайс уступила трем побуждениям: во-первых, желанию наказать подругу, притязавшую на соперничество с ней без всяких на то прав; во-вторых, собственному тщеславию, побудившему ее принимать ухаживание изящного молодого человека; и, в-третьих, стремлению доказать торговцу зерном, какой великой опасности он себя подвергает, откладывая празднование их бракосочетания. А Николас вызвал его тем, что на полчаса предался веселью и беззаботности и очень искренне хотел избежать обвинений в равнодушии к мисс Сквирс. Поэтому и примененные средства и достигнутые результаты были самыми естественными, ибо молодые леди до скончания веков, как делали они это испокон веков, будут стремиться к замужеству, оттеснять друг друга во время бега к алтарю и пользоваться каждым удобным случаем, чтобы в наивыгоднейшем свете показать свои преимущества.

— Смотри-ка! А теперь Фанни расплакалась! — воскликнула мисс Прайс, как будто снова изумившись. — Что же это случилось?

— О, вы не знаете, мисс, конечно, вы не знаете. Прошу вас, не трудитесь расспрашивать, — сказала мисс Сквирс и изменилась в лице — «состроила гримасу», как говорят дети.

— Ну уж, скажу я вам! — воскликнула мисс Прайс.

— А кому какое дело, что вы, сударыня, скажете или чего не скажете? — ответила мисс Сквирс, делая новую гримасу.

— Вы чудовищно вежливы, сударыня, — сказала мисс Прайс.

— К вам, сударыня, я не приду брать уроки в этом искусстве, — отрезала мисс Сквирс.

— А все-таки незачем вам трудиться и делать себя еще некрасивее, чем вы есть, сударыня, потому что это совершенно лишнее, — подхватила мисс Прайс.

В ответ мисс Сквирс очень покраснела и возблагодарила бога за то, что у нее не такое дерзкое лицо, как у иных особ. В свою очередь мисс Прайс поздравила себя с тем, что не наделена такими завистливыми чувствами, как иные люди, после чего мисс Сквирс сделала общее замечание касательно знакомства с особами низкого происхождения, с которым мисс Прайс вполне согласилась, заявив, что это и в самом деле совершенно верно и она давно уже так думала.

— Тильда! — с большим доетоинством воскликнула мисс Сквирс. — Я вас ненавижу!

— Ах, я тоже вас ненавижу, — заявила мисс Прайс, судорожно завязывая ленты шляпки. — Вы себе глаза выплачете, когда я уйду. Вы сами это знаете.

— Я презираю ваши слова, вертушка! — воскликнула мисс Сквирс.

— Вы мне говорите очень лестный комплимент, — ответила дочь мельника, низко приседая. — Желаю вам спокойной ночи, сударыня, и приятных сновидений!

Послав на прощание это благословение, мисс Прайс вылетела из комнаты, сопровождаемая дюжим йоркширцем, который обменялся с Николасом тем особенно выразительным грозным взглядом, каким графы-забияки в мелодрамах уведомляют друг друга, что они еще встретятся.

Не успели они уйти, как мисс Сквирс исполнила предсказание своей бывшей подруги, дав волю обильнейшим слезам, горько жалуясь и что-то бессвязно бормоча. Несколько секунд Николас стоял и смотрел, хорошенько не зная, что делать; но, не уверенный в том, окончится ли этот припадок поцелуем или царапаньем, и почитая ту и другую беду равно приятной, он потихоньку удалился, пока мисс Сквирс хныкала в свой носовой платок.

«Вот следствие, — подумал Николас, когда ощупью пробирался в темную спальню, — вот следствие моей проклятой готовности приравниваться к любому обществу, с каким сведет меня случай. Если бы я сидел немой и неподвижный, а я мог так сделать, — ничего бы этого не произошло!»

Несколько минут он прислушивался, но все было тихо.

— Я обрадовался, — бормотал он, — и ухватился за возможность отвлечься от мыслей об этом отвратительном доме и о его гнусном хозяине. Я поссорил этих людей и нажил себе двух новых врагов там, где, небу известно, мне ни одного не нужно. Это справедливое наказание за то, что я забыл хотя бы на час, что меня теперь окружает!

С этими словами он пробрался среди множества измученных спящих и лег на свою жалкую постель.

Глава X,

Как обеспечил мистер Ральф Никльби свою племянницу и невестку

На следующее утро после отъезда Николаса в Йоркшир Кэт Никльби сидела в очень вылинявшем кресле, воздвигнутом на очень пыльный пьедестал, в комнате мисс Ла-Криви, позируя этой леди для портрета, на что Кэт дала согласие; для полного совершенства портрета мисс Ла-Криви принесла наверх застекленный ящик, висевший на парадной двери, чтобы легче было придать цвету лица мисс Никльби на портрете яркий желто-розовый телесный оттенок, на который мисс Ла-Криви впервые напала, когда писала миниатюрный портрет молодого офицера, содержащийся в этом ящике; яркий желто-розовый телесный цвет почитался ближайшими друзьями и покровителями мисс Ла-Криви подлинной новинкой в искусстве. Впрочем, так оно и было.

— Кажется, я его сейчас уловила! — сказала мисс Ла-Криви. — Тот самый оттенок! Конечно, это будет самый прелестный портрет, какой мне приходилось писать.

— Если это верно, то я убеждена, что таким сделает его ваш талант, улыбаясь, отозвалась Кэт.

— Нет, с этим я не соглашусь, дорогая моя, — возразила мисс Ла-Криви. Модель очень мила, право же, модель очень мила, хотя, конечно, кое-что зависит от манеры изображения.

— И зависит немало, — заметила Кэт.

— Да, дорогая моя, в этом вы правы, — сказала мисс Ла-Криви. — В основном вы правы, хотя в данном случае я не согласна, что это имеет такое большое значение. Ах, дорогая моя! Велики трудности, связанные с искусством!

— Не сомневаюсь, что это так, — сказала Кэт, желая угодить своей добродушной маленькой приятельнице.

— Они так велики, что вы даже не можете составить об этом ни малейшего представления, — отозвалась мисс Ла-Криви. — Изо всех сил выставить на вид глаза, по мере сил не выставить напоказ нос, увеличивать голову и совсем убирать зубы! Вам и не вообразить, сколько хлопот с одной крошечной миниатюрой.

— Вряд ли оплата вознаграждает вас за труды, — сказала Кэт.

— Не вознаграждает, сушая правда, — ответила мисс Ла-Криви. — Да к тому же люди так привередливы и неразумны, что в девяти случаях из десяти нет никакого удовольствия их писать. Иной раз они говорят: «Ох, каким вы меня сделали серьезным, мисс Ла-Криви!», а другой раз: «Ах, какой я вышел смешливый!» — когда самая суть хорошего портрета в том,

что он должен быть либо серьезным, либо смешливым, иначе это будет вовсе не портрет.

— Вот как? — смеясь, сказала Кэт.

— Разумеется, дорогая, потому что модель всегда бывает либо тем, либо другим, — отозвалась мисс Ла-Криви. — Посмотрите на Королевскую академию³²! Серьезны, знаете ли, все эти прекрасные глянцевиные портреты джентльменов в черных бархатных жилетах — джентльменов, опирающихся сжатым кулаком на круглый столик или мраморную плиту. И смеются все леди, играющие маленькими зонтиками, или с маленькими собачками, или с маленькими детьми, — правило в искусстве одно и то же, меняются только детали. Собственно говоря, — сказала мисс Ла-Криви, понизив голос до шепота, — есть только два стиля портретной живописи — серьезный и смешливый, и мы всегда прибегаем к серьезному для особ, занимающих положение в обществе (иногда, впрочем, делаем исключение для актеров), и к смешливому для леди и джентльменов, которые не очень заботятся о том, чтобы казаться умными.

Эти сведения, казалось, очень позабавили Кэт, а мисс Ла-Криви продолжала работать и болтать с невозмутимым благодушием.

— Какое множество военных вы пишете! — сказала Кэт, пользуясь перерывом и окидывая взором комнату.

— Множество кого, дитя? — осведомилась мисс Ла-Криви, отрывая глаза от работы. — О да! Портреты типические. Но, знаете ли... это не настоящие военные.

— Как!

— Конечно! Это только клерки. Они, знаете ли, берут напрокат мундир, чтобы их изобразили в нем, и присылают его сюда в саквояже. Иные художники, — сказала мисс Ла-Криви, — держат у себя красный мундир и берут лишних семь шиллингов шесть пенсов за прокат и за кармин, но я этого не делаю, так как считаю это незаконным.

Приосанившись, словно она очень гордилась тем, что не прибегает к таким приманкам для поимки клиентов, мисс Ла-Криви еще более рьяно принялась за работу, лишь изредка приподнимая голову, чтобы с невыразимым удовлетворением посмотреть на сделанный мазок, и время от времени сообщая мисс Никльби, над какими чертами лица она в этот момент работает.

— Не для того, чтобы вы приготовились, дорогая моя, — сказала она в пояснение, — но такой у нас обычай: иной раз говорить позирующему, что мы отделяваем, и, если он хочет увидеть на портрете какое-либо особое выражение, у него есть время принять желаемый вид...

— А когда, — продолжала мисс Ла-Криви после долгого молчания, а именно через добрых полторы минуты, — когда рассчитываете вы увидеть снова вашего дядю?

— Право, не знаю. Я рассчитывала увидеть его раньше, — сказала Кэт. Надеюсь, скоро, потому что нет ничего хуже, чем это состояние неуверенности.

— Вероятно, у него есть деньги, не правда ли? — осведомилась мисс Ла-Криви.

— Я слыхала, что он очень богат, — ответила Кэт. — Не знаю, так ли это, но думаю, что так.

— Ах, можете не сомневаться в том, что это правда, иначе он не был бы таким угрюмым! — заметила мисс Ла-Криви, которая представляла собою своеобразное соединение проницательности с простодушием. — Если человек — медведь, он обычно обладает независимым состоянием.

— Обращение у него грубое, — сказала Кэт.

— Грубое! — воскликнула мисс Ла-Криви. — По сравнению с ним дикобраз — пуховое ложе! Я никогда еще не встречалась с таким строптивым старым дикарем.

— Я думаю, это только обращение у него такое, — робко отозвалась Кэт. — Я слыхала, что в молодости его постигло какое-то разочарование или нрав его стал угрюмым после какой-то беды. Мне бы не хотелось плохо о нем думать, пока я не уверена, что он этого

заслуживает.

— О, это очень хорошо, — заметила миниатюристка, — и боже сохрани, чтобы я вам препятствовала! Но послушайте, не мог бы он без всякого ущерба для себя назначить вам и вашей матушке приличную маленькую пенсию, которая обеспечила бы вас обеих, пока вы не выйдете замуж, а для нее явилась бы впоследствии маленьким состоянием? Что для него, скажем, какая-нибудь сотня в год?

— Не знаю, что для него, — решительно сказала Кэт, — но я скорее бы умерла, чем приняла.

— Да ну! — вскричала мисс Ла-Криви.

— Зависимость от него отравила бы мне всю жизнь, — продолжала Кэт. Просить милостыню казалось бы мне гораздо меньшим унижением.

— Вот как! — воскликнула мисс Ла-Криви. — Признаюсь, милочка, это звучит довольно странно, когда вы говорите так о родственнике, о котором не позволяете постороннему человеку отзываться плохо.

— Да, пожалуй, — ответила Кэт более мягким тоном. — Да, конечно, это так. Я... я... хотела только сказать, что, помня о лучших временах, я не в силах жить, пользуясь чьей-то щедростью — не только его, но кого бы то ни было.

Мисс Ла-Криви лукаво посмотрела на свою собеседницу, словно подозревая, не является ли именно Ральф объектом неприязни, но, видя, что ее юная приятельница расстроена, ничего не сказала.

— Я прошу его только об одном, — продолжала Кэт, у которой слезы брызнули, пока она говорила, — пусть он ради меня лишь настолько поступится своими привычками, чтобы дать мне возможность с помощью его рекомендации — только одной рекомендации — зарабатывать буквально на хлеб и оставаться с моей матерью. Изведаем ли мы когда-нибудь снова счастье, зависит от судьбы моего дорогого брата, но если дядя даст рекомендацию, а Николас скажет нам, что он счастлив и доволен, я буду удовлетворена.

Когда она замолчала, за ширмой, стоявшей между нею и дверью, послышался шорох, и кто-то постучал в деревянную обшивку.

— Кто там? Войдите! — крикнула мисс Ла-Криви.

Пришедший повиновался, немедленно шагнул вперед, и перед собеседницами предстал не кто иной, как сам мистер Ральф Никльби.

— Приветствую вас, леди, — сказал Ральф, зорко глянув на обеих по очереди. — Вы так громко беседовали, что я не мог достучаться.

Когда этот делец таил в сердце особенно злое чувство, у него была манера на мгновение почти совсем скрывать глаза под густыми нависшими бровями, а потом раскрывать их, обнаруживая всю их пронизательность. Он проделал это и теперь, попытался скрыть улыбку, раздвинувшую тонкие сжатые губы и образовавшую недобрые складки вокруг рта. И обе они почувствовали уверенность, что если не весь их недавний разговор, то часть его была подслушана.

— Я зашел сюда по дороге наверх, почти не сомневаясь, что застаю вас здесь, — продолжал Ральф, обращаясь к племяннице и бросая презрительный взгляд на портрет. — Это портрет моей племянницы, сударыня?

— Да, мистер Никльби, — с очень веселым видом ответила мисс Ла-Криви, говоря между нами и в четырех стенах, портрет выйдет премиленький, хотя это и говорю я, его написавшая!

— Не трудитесь показывать мне его, сударыня! — воскликнул Ральф, отходя в сторону. — Я в портретах ничего не смыслю. Он почти закончен?

— Да, пожалуй, — ответила мисс Ла-Криви, соображая и держа конец кисти во рту. — Еще два сеанса, и...

— Пусть они состоятся немедленно, сударыня, — сказал Ральф, — послезавтра ей некогда будет заниматься пустяками. Работа, сударыня, работа, все мы должны работать! Вы уже сдали вашу квартиру, сударыня?

— Я еще не вывесила объявления, сэр.

— Вывесьте его немедленно, сударыня. На будущей неделе комнаты им не понадобятся, а если и понадобятся, им нечем будет за них платить. А теперь, моя милая, если вы готовы, не будем больше терять время.

С притворной ласковостью, которая еще меньше была ему к лицу, чем обычное его обращение, мистер Ральф Никльби жестом предложил молодой леди идти вперед и, важно поклонившись мисс Ла-Криви, закрыл дверь и поднялся наверх, где миссис Никльби приняла его со всевозможными знаками внимания. Довольно резко положив им конец, Ральф нетерпеливо махнул рукой и приступил к цели своего посещения.

— Я нашел место для вашей дочери, сударыня, — сказал Ральф.

— Что ж! — отозвалась миссис Никльби. — Должна сказать, что меньшего я от вас и не ждала. «Можешь быть уверена, — сказала я Кэт не дальше как вчера утром, за завтраком, — что теперь, когда твой дядя с такой готовностью позаботился о Николасе, он не покинет нас, пока не сделает для тебя по меньшей мере того же». Это были буквально мои слова, насколько я могу припомнить. Кэт, дорогая моя, что же ты не благодарить твоего...

— Дайте мне договорить, сударыня, прошу вас, — сказал Ральф, перебивая свою невестку в самый разгар ее красноречия.

— Кэт, милочка, дай дяде договорить, — сказала миссис Никльби.

— Мне больше всего этого хочется, мама, — заметила Кэт.

— Но, дорогая моя, если тебе больше всего этого хочется, ты бы лучше дала твоему дяде высказать то, что он имеет сказать, и не перебивала его, сказала миссис Никльби, покачивая головой и хмурясь. — Время твоего дяди драгоценно, дорогая моя, и как бы велико ни было твое желание — оно естественно, и я уверена, его почувствовали бы все любящие родственники, которые бы видели твоего дядю так мало, как видели его мы, — желание удержать его среди нас, однако мы не должны быть эгоистами и должны принять во внимание серьезный характер его занятий в Сити.

— Я вам весьма признателен, сударыня, — сказал Ральф с едва уловимой насмешкой. — Отсутствие деловых навыков в этом семействе приводит, по-видимому, к слишком большой трате слов, прежде чем дойдут до дела, если о нем вообще когда-нибудь думают.

— Боюсь, что это действительно так, — со вздохом отозвалась миссис Никльби. — Ваш бедный брат...

— Мой бедный брат, сударыня, — с раздражением перебил Ральф, — понятия не имел о том, что такое дело. Он был незнаком, я твердо верю, с самым значением этого слова.

— Боюсь, что да, — сказала миссис Никльби, поднося платок к глазам. — Не будь меня, не знаю, что бы с ним случилось.

Странные мы создания! Пустячная приманка, столь искусно заброшенная Ральфом во время первого их свидания, еще болталась на крючке. При каждом маленьком лишении или неудобстве, какие обнаруживались на протяжении суток, живо напоминая о стесненных и изменившихся обстоятельствах, в памяти миссис Никльби всплывала досадливая мысль о ее приданом в тысячу фунтов, пока, наконец, она не убедила себя в том, что из всех кредиторов ее покойного мужа ни с кем не поступили хуже и никто не достоин большей жалости, чем она. А ведь много лет она горячо его любила и была наделена эгоизмом не больше, чем обычно наделены им смертные. Такую раздражительность вызывает внезапная бедность. Приличная ежегодная рента немедленно вернула бы ее к прежнему образу мыслей.

— Сетовать бесполезно, сударыня, — сказал Ральф. — Из всех бесплодных занятий плакать о вчерашнем дне — самое бесплодное.

— Это верно, — всхлипывая, сказала миссис Никльби. — Это верно.

— Раз вы так болезненно испытываете на самой себе и своем кармане последствия пренебрежения делами, сударыня, — сказал Ральф, — то, я уверен, вы внушите своим детям сознание необходимости с ранних лет заняться делом.

— Конечно, я должна позаботиться об этом, — подхватила миссис Никльби. Печальный

опыт, знаете ли, деверь... Кэт, дорогая моя, сообщи об этом Николасу в следующем письме или напости мне это сделать, если я буду писать.

Ральф помолчал несколько секунд и, видя, что теперь может быть вполне уверен в матери, если дочь вздумает возражать против его предложения, снова заговорил:

— Место, которое я постарался ей обеспечить, сударыня, это... короче — это место у модистки и портнихи.

— У модистки?! — воскликнула миссис Никльби.

— У модистки и портнихи, сударыня! — повторил Ральф. — Мне незачем напоминать вам, сударыня, что в Лондоне модистки, столь хорошо знакомые с требованиями повседневной жизни, зарабатывают большие деньги, имеют свой выезд и становятся особами очень богатыми.

Первая мысль, возникшая в уме миссис Никльби при словах «модистка и портниха», имела отношение к неким плетеным корзинкам, обшитым черной клеенкой, и ей припомнилось, что она видела, как их носили по улицам, но, по мере того как говорил Ральф, эти видения исчезали и уступали место большим домам в Вест-Энде³³, изящным собственным экипажам и чековой книжке. Все эти образы сменяли друг друга с такой быстротой, что не успел он договорить, как она уже кивнула головой и сказала: «Весьма справедливо!» — с видом полного удовлетворения.

— Кэт, дорогая моя, то, что говорит твой дядя, весьма справедливо, сказала миссис Никльби. — Когда твой бедный папа и я приехали после свадьбы в город, я, знаешь ли, припоминаю, что одна молодая леди доставила мне на дом капор из соломки с белой и зеленой отделкой и на зеленой персидской подкладке, подъехав к двери галопом в собственном экипаже. Правда, я не совсем уверена, собственный это был экипаж или наемный, но я очень хорошо помню, что, поворачивая назад, лошадь пала, а бедный папа сказал, что она недели две не получала овса.

Этот рассказ, столь разительно иллюстрирующий благосостояние модисток, не был встречен особым взрывом чувств, так как, пока шло повествование, Кэт сидела понурившись, а Ральф проявлял весьма недвусмысленные признаки крайнего нетерпения.

— Эту леди зовут Мантанини, — быстро сказал Ральф, мадам Мантанини. Я ее знаю. Она живет около Кэвэндит-сквера. Если ваша дочь согласна занять это место, я немедленно отведу ее туда.

— Разве тебе нечего сказать твоему дяде, милочка? — осведомилась миссис Никльби.

— Очень много, — ответила Кэт, — но не сейчас. Я бы хотела поговорить с ним, когда мы будем одни: он сбережет время, если я поблагодарю его и по пути скажу то, что хочу ему сказать.

С этими словами Кэт поспешила выйти, чтобы скрыть следы волнения, вызвавшего у нее слезы, и приготовиться к уходу, между тем как миссис Никльби развлекала своего деверя и, всхлипывая, давала ему отчет о размерах кабинетного рояля розового дерева, которым они владели в дни своего благополучия, а также сделала подробное описание восьми стульев в гостиной, стульев с выгнутыми ножками и ситцевыми зелеными подушками под цвет занавесок; каждый стоил два фунта пятнадцать шиллингов, а с молотка они пошли почти даром.

Эти воспоминания были, наконец, прерваны возвращением Кэт, одевшейся перед выходом, после чего Ральф, пребывавший в раздражении все время, пока она отсутствовала, не стал мешкать и без лишних церемоний вышел на улицу.

— А теперь, — сказал он, беря ее под руку, — идите как можно быстрее, и это и будет тот шаг, каким вам придется ходить каждое утро на работу.

С этими словами он увлек Кэт с немалой скоростью по направлению к Кэвэндиш-скверу.

— Я очень признательна вам, дядя, — сказала юная леди, после того как они быстро

прошли некоторое расстояние молча, — очень признательна.

— Рад это слышать, — сказал Ральф. — Надеюсь, вы исполните свой долг.

— Я постараюсь угодить, дядя, — ответила Кэт, право же, я...

— Не начинайте плакать, — проворчал Ральф. — Терпеть не могу слез!

— Я знаю, дядя, это очень глупо... — начала бедная Кэт.

— Да, глупо, — резко перебил ее Ральф, — и к тому же одно притворство! Чтоб я больше этого не видел!

Быть может, это не было наилучшим способом осушить слезы молодой и чувствительной женщины, готовившейся впервые выступить на совершенно для нее новой арене жизни, среди холодных и равнодушных людей, но тем не менее способ этот возымел свое действие. Кэт густо покраснела, несколько секунд дышала прерывисто, а затем пошла дальше более твердой и решительной поступью.

Можно было наблюдать любопытный контраст; робкая провинциальная девушка, съезжившись, пробирается в уличном людском потоке, уступая дорогу напиранию на нее и прижимаясь к Ральфу, словно она боится потерять его в толпе; а суровый делец с грубыми чертами лица упрямо идет вперед, расталкивая пешеходов и изредка обмениваясь хмурым приветствием со знакомыми, которые с изумленным видом поглядывают на его хорошенькую спутницу и как будто удивляются этой неудачно подобранной паре. Но еще более странным был бы контраст, если бы можно было читать в сердцах, бившихся бок о бок, если бы можно было обнажить кроткую невинность одного и неумолимую злобу другого, если бы можно было узнать безгрешные мысли милой девушки и подивиться тому, что среди хитрых замыслов и расчетов старика нет и намека на мысль о смерти или могиле. Но так оно было, а еще более странно, хотя это дело повседневное, что горячее молодое сердце трепетало от тысячи забот и опасений, тогда как сердце искушенного, старика ржавело в своей клетке, работая, как искусный механизм, и ни единому живому существу не уделяя ни одного биения, вызванного надеждой, страхом, любовью или беспокойством.

— Дядя, — сказала Кэт, когда, по ее мнению, они были почти у цели, — я должна задать вам один вопрос. Буду ли я жить дома?

— Дома? — повторил Ральф. — Как это?

— Я хочу сказать — с матерью... вдовой, — выразительно пояснила Кэт.

— Собственно говоря, вы будете жить здесь, — ответил Ральф, — потому что здесь вы будете обедать и здесь будете находиться с утра до вечера, иногда, быть может, и до следующего утра.

— А по вечерам? — проговорила Кэт. — Я не могу покинуть ее, дядя. Я должна иметь какое-то место, которое могу называть своим домом. Вы знаете, он там, где она, и может быть очень скромным.

— Может быть! — воскликнул Ральф, ускоряя шаг от досады, вызванной этим замечанием. — Должен быть, хотите вы сказать! Может быть скромным! С ума, что ли, сошла эта девушка?

— Слово сорвалось у меня нечаянно, право же я этого не думала, возразила Кэт.

— Надеюсь, — сказал Ральф.

— Дядя, а мой вопрос — вы на него не ответили.

— Нечто в этом роде я предвидел, — сказал Ральф, и, хотя я, заметьте, решительно не согласен, тем не менее я об этом позаботился. Я говорил о вас как о приходящей работнице, стало быть каждый вечер вы будете возвращаться в свой дом, который может быть скромным.

Это было утешительно. Кэт излила свою благодарность, которую Ральф принял так, словно целиком ее заслужил за проявленное внимание, и они без дальнейших разговоров подошли к дверям модистки, к которым вела изящная лестница и где красовались на большой табличке фамилия и название профессии мадам Манталини. При доме был магазин, но его сдавали торговцу импортным розовым маслом. Салон мадам Манталини помещался во втором этаже — факт, о котором извещали аристократических покупателей выставленные

в окнах с красивыми гардинами две-три элегантные шляпки самого модного фасона и несколько дорогих платьев безупречнейшего вкуса.

Дверь открыл ливрейный лакей и в ответ на вопрос Ральфа, дома ли мадам Манталини, повел их через красивый холл и дальше по широкой лестнице в салон мадам, состоявший из двух просторных комнат, где были выставлены в бесконечном разнообразии великолепные платья и ткани: одни надеты на манекены, другие небрежно брошены на диваны, а иные разбросаны на ковре, повешены на трюмо или расположены как-нибудь иначе, на богатой мебели всевозможных стилей, которая здесь была расставлена в избытке.

Они ждали гораздо дольше, чем хотелось бы мистеру Ральфу Никльби, который без всякого интереса взирал на окружавшую его мишуру и собирался уже позвонить, когда какой-то джентльмен внезапно просунул голову в комнату и, увидев, что тут кто-то есть, так же внезапно убрал ее обратно.

— Эй, послушайте! — крикнул Ральф. — Кто там?

При звуке голоса Ральфа голова появилась снова, а рот с очень длинным рядом очень белых зубов жеманно произнес слова:

— Черт возьми! Как! Это Никльби! Ах, черт возьми!

Издав эти восклицания, джентльмен приблизился и с большой горячностью пожал руку Ральфу.

На нем был ярко расцвеченный халат, жилет и турецкие шаровары того же рисунка, розовый шелковый шейный платок и ярко-зеленые туфли, а вокруг талии обвита очень длинная часовая цепочка. Вдобавок у него были бакенбарды и усы, выкрашенные черной краской и элегантно завитые.

— Черт возьми, уж не хотите ли вы сказать, что я вам нужен? А, черт возьми? — сказал этот джентльмен, хлопая по плечу Ральфа.

— Еще нет, — саркастически отозвался Ральф.

— Ха-ха! Черт возьми! — воскликнул джентльмен и, повернувшись на каблуках, чтобы посмеяться с большой грацией, очутился лицом к лицу с Кэт Никльби, стоявшей тут же.

— Моя племянница, — сказал Ральф.

— Вспоминаю! — сказал джентльмен; стукнув себя по носу согнутым пальцем, словно в наказание за свою забывчивость. — Черт возьми, вспоминаю, зачем вы пришли. Пройдите сюда, Никльби. Дорогая моя, не угодно ли вам следовать за мной? Ха-ха! Все они следуют за мной, Никльби. Всегда следовали, черт возьми, всегда!

Дав таким образом волю своему игривому воображению, джентльмен повел их на третий этаж в гостиную, меблированную, пожалуй, с не меньшей элегантностью, чем апартаменты внизу; наличие серебряного кофейника, яичной скорлупы и неубранного, фарфорового прибора на одну персону, казалось, возвещало о том, что джентльмен только что позавтракал.

— Садитесь, дорогая моя, — сказал джентльмен, сначала смутив мисс Никльби пристальным взглядом, а затем ослабившись в восторге от такого успеха. — Задохнешься, пока поднимешься в эту проклятую комнату наверху. Эти дьявольские гостиные под самой крышей... Боюсь, что придется переехать, Никльби.

— Я бы непременно переехал, — сказал Ральф, хмуро осматриваясь вокруг.

— Какой вы чертовски странный человек, Никльби! — сказал джентльмен. Самый чертовский, самый лукавый, самый чудаковатый старый чеканщик золота и серебра, какого мне приходилось видеть, черт возьми!

Сделав такой комплимент Ральфу, джентльмен позвонил и стал таращить глаза на мисс Никльби, пока не явился слуга, после чего он отвел взгляд и приказал, чтобы слуга попросил свою хозяйку прийти немедленно; затем он принялся за прежнее и не отводил глаз, пока не явилась мадам Манталини.

Портниха была полной особой, нарядно одетой и довольно миловидной, но значительно старше, чем джентльмен в шароварах, за которого она вышла замуж с полгода назад. Первоначально фамилия джентльмена была Мантль, но с помощью легкого изменения

ее превратили в Манталини: леди справедливо полагала, что английское наименование нанесет серьезный ущерб делу. Женился он благодаря своим бакенбардам. На этот капитал он до сей поры жил благородным образом не один год и недавно его увеличил терпеливым отрачиванием усов, которые сулили ему в будущем приятную независимость. В настоящее время его участие в фирме выражалось в трате денег, а когда таковых не хватало, то в поездках к мистеру Ральфу Никльби, чтобы добиться учета — за проценты — векселей заказчиков.

— Жизнь моя, — сказал мистер Манталини, — как дьявольски долго ты не приходила!

— Любовь моя, я даже не знала, что мистер Никльби здесь, — сказала мадам Манталини.

— В таком случае, душа моя, каким же вдвойне дьявольским негодяем должен быть этот лакей, — заметил мистер Манталини.

— Дорогой мой, — сказала мадам, — это целиком твоя вина.

— Моя вина, радость моего сердца?

— Разумеется, милый мой, — заявила леди. — Чего же можно ждать, раз ты не исправляешь этого человека?

— Не исправляю этого человека, восторг души моей?!

— Да! Я уверена, что ему необходимо сделать внушение, — сказала мадам, надувая губки.

— В таком случае, не огорчайся, — сказал мистер Манталини, — его будут стегать хлыстом, пока он не начнет чертовски вопить.

Дав такое обещание, мистер Манталини поцеловал мадам Манталини, а по окончании этой сцены мадам Манталини шутливо дернула за ухо мистера Манталини, после чего они приступили к делу.

— Итак, сударыня, — начал Ральф, который взирал на все это с таким презрением, какое мало кто может выразить взглядом, — вот моя племянница.

— Вот как, мистер Никльби! — отозвалась мадам Манталини, обозревая Кэт с головы до ног и с ног до головы. — Вы умеете говорить по-французски, дитя?

— Да, мадам, — отвечала Кэт, не смея поднять глаза, ибо она чувствовала, что на нее устремлен взгляд противного челевека в халате.

— Как француженка? — спросил супруг.

Мисс Никльби ничего не ответила на этот вопрос и повернулась спиной к вопрошавшему, как бы готовясь отвечать на то, о чем пожелает осведомиться его жена.

— Мы постоянно держим в нашем заведении двадцать молодых женщин, сказала мадам.

— В самом деле, сударыня? — робко отозвалась Кэт.

— Да, и есть среди них чертовски красивые, — сказал хозяин.

— Манталини! — грозно воскликнула его жена.

— Идол души моей! — сказал Манталини.

— Ты хочешь разбить мне сердце?

— Не хочу, даже за двадцать тысяч полушарий, населенных... населенных... населенных маленькими балеринами, — в поэтическом стиле ответил Манталини.

— Но ты разобьешь, если и впредь будешь говорить в таком духе, — сказала его жена. — Что подумает мистер Никльби, слушая тебя?

— О, ничего, сударыня, ничего! — отозвался Ральф. — Я знаю и его любезную натуру и вашу... Пустые словечки, придающие особый вкус вашему повседневному общению... ссоры влюбленных, увеличивающие сладость тех семейных радостей, какие обещают столь долго длиться... Вот и все, вот и все. — Если бы железная дверь могла поссориться со своими петлями и приняла твердое решение открываться с медлительным упорством и стереть их в порошок, она издала бы более приятный звук, чем грубый и язвительный голос Ральфа, когда он произнес эти слова. Даже мистер Манталини ощутил его воздействие и, испуганно оглянувшись, воскликнул:

— Какое дьявольски ужасное карканье!

— Будьте добры не обращать внимание на то, что говорит мистер Манталини, — заметила его жена, повернувшись к Кэт.

— Я и не обращаю, сударыня, — спокойно и презрительно сказала Кэт.

— Мистер Манталини ровно ничего не знает об этих молодых женщинах, продолжала мадам, глядя на своего супруга, но говоря с Кэт. — Если он и видел кого-нибудь из них, то, должно быть, встретил их на улице, когда они шли на работу или с работы, но не здесь. Он даже никогда не бывал в той комнате. Я этого не разрешаю. Сколько часов в день привыкли вы работать?

— Я еще совсем не привыкла к работе, сударыня, — тихим голосом ответила Кэт.

— Тем лучше будет она работать теперь, — сказал Ральф, вставляя слово, дабы это признание не повредило переговорам.

— Надеюсь, — отозвалась мадам Манталини. — У нас рабочие часы с девяти до девяти, а когда заказов очень много, то еще дополнительная работа, за которую я назначаю особую плату.

Кэт поклонилась, давая понять, что она слышала и удовлетворена.

— Что касается еды, — продолжала мадам Манталини, — то есть обеда и чая, то вы будете получать их здесь. Я бы сказала, что жалованья вам будет назначено от пяти до семи шиллингов в неделю, но я не могу дать никаких обязательств, пока не увижу, что вы умеете делать.

Кэт снова поклонилась.

— Если вы согласны, — сказала мадам Манталини, — то лучше начинайте в понедельник, ровно в девять часов утра, а старшая мастерица мисс Нэг получит к тому времени указания испытать вас сначала на какой-нибудь легкой работе. Еще что-нибудь, мистер Никльби?

— Больше ничего, сударыня, — ответил Ральф, вставая.

— В таком случае, полагаю, мы кончили, — сказала леди.

Придя к этому выводу, она бросила взгляд на дверь, словно желая уйти, но тем не менее колебалась, как будто ей не хотелось предоставить одному мистеру Манталини честь проводить их вниз. Ральф вывел ее из затруднения, немедленно распрошавшись. Мадам Манталини много раз любезно осведомилась, почему он их никогда не навещает, а мистер Манталини с великим красноречием предавал анафеме лестницу, следуя за ними вниз в надежде заставить Кэт оглянуться, однако надежде этой суждено было остаться несбывшейся.

— Ну вот! — сказал Ральф, когда они вышли на улицу. — Теперь вы пристроены.

Кэт хотела опять благодарить его, но он оборвал ее.

— У меня была мысль устроить вашу мать в каком-нибудь красивом уголке в деревне, — сказал он (он имел право выдвигать кандидатов для помещения в некоторые богадельни на границе Корнуэлла и не раз им пользовался), — но раз вы хотите жить вместе, я должен придумать для нее что-нибудь другое. Есть у нее какие-нибудь деньги?

— Очень мало, — ответила Кэт.

— И малого хватит надолго, если быть бережливым, — сказал Ральф. — Пусть подумает, сколько времени ей удастся жить на них, имея бесплатное помещение. Вы съезжаете с вашей квартиры в субботу?

— Да, вы так приказали нам, дядя.

— Совершенно верно. Пустует дом, принадлежащий мне, куда я могу вас поместить, пока он не сдан внаем, а потом, если больше ничего не подвернется, у меня, может быть, будет другой дом. Там вы будете жить.

— Это далеко отсюда, сэр? — осведомилась Кэт.

— Довольно далеко, — ответил Ральф, — в другом конце города — в Ист-Энде, но в субботу, в пять часов, я пришлю за вами моего клерка, чтобы он вас доставил туда. До свидания. Дорогу вы знаете? Все время прямо.

Холодно пожав руку племяннице, Ральф расстался с ней в начале Риджент-стрит и, сосредоточенно размышляя о способах наживать деньги, свернул в оживленную улицу. Кэт грустно пошла домой, в их квартиру на Стрэнде.

Глава XI,

Ньюмен Ногс водворяет миссис и мисс Никльби в новое их жилище в Сити

У мисс Никльби, возвращавшейся домой, мысли были унылые, что в достаточной мере объяснялось событиями этого дня. Поведение ее дяди вряд ли способствовало тому, чтобы рассеять те опасения и страхи, какие могли у нее возникнуть с самого начала, да и впечатление, произведенное на нее заведением мадам Мантанини, отнюдь не вселяло бодрости. Вот почему много было у нее мрачных предчувствий и забот, когда она с тяжелым сердцем смотрела в будущее, думая о предстоящей работе.

Если утешения матери могли привести ее в более приятное и радостное расположение духа, то для произведения такого эффекта их было предостаточно. К тому времени, как Кэт вернулась домой, славная леди воскресила в памяти два достоверных случая, когда модистки имели значительное состояние, но было ли оно целиком приобретено их трудами, или они обладали капиталом для начала, или же им посчастливилось, и они удачно вышли замуж, она не могла хорошенько припомнить. Впрочем, как она весьма логически заметила, должна же была существовать какая-нибудь молодая особа, которая, не имея ничего на первых порах, все-таки разбогатела, а если признать этот факт, то почему не может достигнуть того же и Кэт? Мисс Ла-Криви, которая была членом маленького совета, отважилась выразить некоторые сомнения относительно возможности для мисс Никльби добиться этого счастливого результата на протяжении обычной человеческой жизни, но славная леди совершенно отвела это возражение, сообщив, что у нее бывают предчувствия — нечто вроде ясновидения, с помощью которого она имела обыкновение разрешать всякий спор с покойным мистером Никльби; чаще чем в девяти случаях из десяти она оставалась неправой.

— Боюсь, что это занятие вредно для здоровья, — сказала мисс Ла-Криви. Помню, мне позировали три молоденькие модистки, когда я только что начала заниматься живописью, и я припоминаю, что все они были очень бледные и хилые.

— О, это отнюдь не общее правило, — заметила миссис Никльби. — Я помню так, как будто это было вчера, что я наняла модистку, которую мне особо рекомендовали, сшить пунцовый плащ — в те времена, когда пунцовые плащи были в моде, и у нее было очень красное лицо, да, очень красное лицо.

— Может быть, она выпивала? — предположила мисс Ла-Криви.

— Вряд ли это могло быть, — возразила миссис Никльби, — но я знаю, — что у нее было очень красное лицо, стало быть ваш довод ничего не стоит.

Таким-то образом и такими вескими доводами отражала достойная матрона малейшее возражение, какое выдвигалось против нового плана, принятого утром. Счастливица миссис Никльби! Достаточно, чтобы проект был новым, и он уже представлялся ее мысленному взору ослепительно ярким и позолоченным, как блестящая игрушка.

Когда с этим вопросом было покончено, Кэт сообщила о предложении дяди относительно пустующего дома, на которое миссис Никльби с такою же готовностью согласилась, сделав характерное для нее замечание, что в погожий вечер приятно будет прогуляться в Вест-Энд и вернуться с дочерью домой; при этом она проявила столь же характерную забывчивость, ибо дождливые вечера и плохая погода бывают чуть ли не каждую неделю в году.

— Мне грустно, право же грустно расставаться с вами, мой добрый друг, сказала Кэт, на которую произвело глубокое впечатление сочувствие бедной миниатюристкой.

— Как бы там ни было, но вы от меня не отделаетесь, — ответила мисс Ла-Криви с

таким оживлением, на какое только была способна. — Я буду очень часто вас навещать, приходить и узнавать, как вам живется; и если во всем Лондоне или во всем мире нет другого сердца, которое было бы заинтересовано в вашем благополучии, то всегда останется у вас одна маленькая одинокая женщина, которая будет молиться о нем днем и ночью.

С этими словами добрая леди, у которой было такое большое сердце, что его хватило бы на Гога, гения-хранителя Лондона, да и на Магога в придачу³⁴, — добрая леди, скроив сначала множество изумительных гримас, которые обеспечили бы ей солидное состояние, если бы она могла перенести их на слоновую кость или холст, уселась в уголок и, как она выражалась, «хорошенько всплакнула».

Но ни слезы, ни разговоры, ни надежды, ни опасения не могли отдалить страшной субботы и Ньюмена Ногса, который точно в назначенный час приковылял к двери идохнул в замочную скважину парами джина как раз в тот момент, когда часы на соседних церквях договорились между собой относительно времени и пробили пять. Ньюмен дождался последнего удара и затем постучал.

— От мистера Ральфа Никльби, — поднявшись наверх, сказал Ньюмен Ногс, с возможною краткостью возвещая о данном ему поручении.

— Сейчас мы будем готовы, — сказала Кэт. — Вещей у нас мало, но все-таки я боюсь, что придется взять карету.

— Я найму, — сказал Ньюмен.

— Нет, вы не должны утруждать себя, — сказала миссис Никльби.

— Найму, — сказал Ньюмен.

— Я не могу допустить, чтобы у вас даже мелькнула такая мысль, — сказала миссис Никльби.

— Не от вас зависит, — сказал Ньюмен.

— Не от меня?

— Да. Я об этом думал, когда шел сюда, но не стал нанимать, думая, что вы еще не собрались. Я много о чем думаю. Никто не может этому помешать.

— Да, я вас понимаю, мистер Ногс, — сказала миссис Никльби. — Разумеется, наши мысли свободны. Ясно, что мысли каждого человека — его собственность.

— Они не были бы ею, если бы иные люди могли сделать по-своему, пробормотал Ньюмен.

— Совершенно верно, мистер Ногс, — подхватила миссис Никльби. — Иные люди и в самом деле такие... Как поживает ваш хозяин?

Ньюмен бросил многозначительный взгляд на Кэт и ответил с сильным ударением на предпоследнем слове, что мистер Ральф Никльби здоров и шлет свой сердечный привет.

— Право же, мы ему очень обязаны, — заметила миссис Никльби.

— Очень, — сказал Ньюмен. — Я так и передам ему.

Не очень-то легко было, раз увидев Ньюмена Ногса, не узнать его, и, когда Кэт, обратив внимание на его странное обхождение (в котором на сей раз было, однако, что-то почтительное и деликатное, несмотря на отрывистую речь), посмотрела на него пристальнее, она припомнила, что уже мельком заметила раньше это оригинальное существо.

— Простите мое любопытство, — сказала Кэт, — но не видела ли я вас на почтовом дворе в то утро, когда мой брат уехал в Йоркшир?

Ньюмен задумчиво посмотрел на миссис Никльби и сказал «нет», даже не покраснев.

— Нет? — воскликнула Кэт. — А я была бы готова поручиться!

— И были бы неправы, — возразил Ньюмен. — Я вышел сегодня в первый раз за три недели. У меня был приступ подагры.

Ньюмен был вовсе не похож на подагрического субъекта, и Кэт невольно призадумалась; но беседу прервала миссис Никльби, которая настаивала, чтобы закрыли дверь, иначе мистер Ногс схватит простуду, и послали за каретой служанку — из страха, как

бы он не навлек на себя новый приступ болезни. На оба условия Ньюмен принужден был согласиться. Вскоре появилась карета; и после многочисленных горестных прощальных слов и долгой беготни мисс Ла-Криви взад и вперед по тротуару, вследствие чего желтый тюрбан пришел в резкое столкновение с различными пешеходами, она (то есть карета, а не мисс Ла-Криви) отъехала с двумя леди и их пожитками внутри и Ньюменом на козлах, рядом с кучером, — несмотря на все уверения миссис Никльби, что это грозит ему смертью.

Они въехали в Сити, свернув к реке, и после долгой и медленной езды, так как в этот час улицы были запружены всевозможными экипажами, остановились перед большим старым, хмурым домом на Темз-стрит, дверь и окна которого были такие грязные, словно он много лет стоял необитаемым.

Дверь этого заброшенного жилища Ньюмен отпер ключом, который достал из шляпы, — кстати сказать, в ней, вследствие ветхости своих карманов, он прятал все и, по всей вероятности, носил бы в ней и деньги, будь у него таковые, — и когда карету отпустил, он повел их в дом.

Да, старым, мрачным и черным был он, и угрюмы и темны были комнаты, в которых некогда кипела жизнь. Позади дома была пристань на берегу Темзы. Пустая конура, кости животных, обломки железных обручей и старые бочарные доски, но никаких признаков жизни. Это было зрелище холодного, немого разрушения.

— Этот дом угнетает и приводит в уныние, — сказала Кэт, — и кажется, будто на нем лежит какое-то проклятье. Будь я суеверна, я бы могла подумать, что в этих старых стенах было совершено какое-то ужасное преступление и с той поры этот дом никому не приносил счастья. Каким он кажется хмурым и темным!

— Ах, боже мой, дорогая моя! — воскликнула миссис Никльби. — Не говори так, ты меня испугаешь на смерть!

— Это только мое глупое воображение, мама, — сказала Кэт, стараясь улыбнуться.

— В таком случае, милочка, я хочу, чтобы ты держала при себе твое глупое воображение и не пробуждала моего глупого воображения, чтобы составить ему компанию, — заявила миссис Никльби. — Почему ты не подумала обо всем этом раньше? Ты так беспечна... Мы могли бы попросить мисс Ла-Криви составить нам компанию, или взяли бы собаку, или сделали бы тысячу других вещей... Но так бывало всегда, и точь-в-точь так же было с твоим бедным дорогим отцом. Если я сама обо всем не подумаю...

Так обычно начинались сетования миссис Никльби, состоявшие примерно из дюжины запутанных фраз, ни к кому в частности не обращенных, которые она и принялась сейчас перебирать, пока хватило дыхания.

Ньюмен как будто не слышал этих замечаний и проводил обеих леди в две комнаты во втором этаже, из которых кое-как постарались сделать нечто пригодное для жилья. В одной комнате было несколько стульев, стол, старый коврик перед камином и какая-то вылинявшая дорожка, а в камине был уже разведен огонь. В другой комнате стояла старая складная кровать и кое-какие убогие предметы обстановки, необходимые для спальни.

— Смотри, дорогая моя, — сказала миссис Никльби, стараясь быть довольной, — разве это не заботливость и внимание со стороны твоего дяди? Да ведь если бы не его предусмотрительность, у нас не было бы ничего, кроме кровати, которую мы вчера купили!

— Да, это очень любезно, — отозвалась Кэт, осматриваясь вокруг.

Ньюмен Ногс промолчал о том, что он выудил старую мебель, которую они здесь видели, с чердака и из подвала, и о том, что он купил к чаю на полпенни молока, стоявшего на полке, налил воды в ржавый чайник на каменной подставке, набрал щепок на пристани и где-то выпросил угля. Но догадка, будто Ральф Никльби отдал распоряжение это сделать, столь раздражающе подействовала на его воображение, что он не мог удержаться, чтобы не затрещать всеми десятью пальцами по очереди. Сначала миссис Никльби была слегка испугана таким упражнением, но, предположив, что оно каким-то отдаленным образом связано с подагрой, не стала об этом говорить.

— Я думаю, нам больше незачем вас задерживать, — сказала Кэт.

— Мне больше нечего здесь делать? — спросил Ньюмен.
— Да, нечего. Благодарю вас, — отвечала мисс Никльби.
— Милая моя, может быть, мистер Ногс не прочь выпить за наше здоровье, — сказала миссис Никльби, роясь в ридикюле в поисках какой-нибудь мелкой монеты.
— Я думаю, мама, — нерешительно сказала Кэт, заметив, что Ньюмен отвернулся, — вы задели бы его чувства, если бы предложили ему денег...

Ньюмен Ногс, поклонившись молодой леди скорее как джентльмен, чем как злополучный бедняк, каким он казался, прижал руку к груди и, секунду помедлив с видом человека, который пытается заговорить, но хорошенько не знает, что сказать, вышел из комнаты.

Когда тяжелая дверь внизу со скрежетом захлопнулась на щеколду и эхо мрачно разнеслось по дому, Кэт почувствовала искушение вернуть его и попросить, чтобы он остался хоть ненадолго, но ей было стыдно признаться, в своих страхах, и Ньюмен Ногс отправился в обратный путь.

Глава XII,

с помощью которой читатель получит возможность проследить дальнейшее развитие любви мисс Фанни Сквирс и удостовериться, гладко ли она протекала

Счастливым обстоятельством для мисс Фанни Сквирс было то, что ее достойный папа, вернувшись домой в день маленькой вечеринки, «слишком много в себя опрокинул», как говорят посвященные, чтобы подметить многочисленные признаки крайнего возмущения духа, ясно отражавшиеся на ее физиономии. А так как, подвыпив, он бывал довольно буен и сварлив, то не исключена возможность, что он поспорил бы с ней по тому или другому поводу воображаемому поводу, если бы молодая леди с предусмотрительностью и осторожностью, весьма похвальными, не заставила бодрствовать одного из учеников, чтобы он принял на себя первый взрыв бешенства славного джентльмена, каковое, найдя исход в пинках и колотушках, постепенно улеглось настолько, что джентльмена уговорили лечь в постель, что он и сделал, не снимая сапог и с зонтом под мышкой.

Согласно обычаю, голодная служанка последовала за мисс Сквирс в ее комнату, чтобы завить ей волосы, оказать другие мелкие услуги при совершении туалета и преподнести столько лести, сколько могла придумать применительно к обстоятельствам, ибо мисс Сквирс была в достаточной степени ленива (а также тщеславна и легкомысленна), чтобы быть настоящей леди, и только отсутствие звания и положения неодолимо препятствовали ей быть таковой.

— Как чудесно вьются у вас сегодня волосы, мисс! — сказала горничная. — Ну просто жалость и стыд их расчесывать!

— Придержи язык! — гневно ответила мисс Сквирс.

Солидный опыт помешал девушке удивиться вспышке дурного расположения духа мисс Сквирс. Отчасти догадываясь о том, что произошло в течении вечера, она изменила свою манеру угождать и пошла окольным путем.

Но я не могу не сказать, хотя бы вы меня за это убили, — продолжала служанка, — что ни у кого еще не замечала такого простоватого вида, как сегодня вечером и мисс Прайс.

Мисс Сквирс вздохнула и приготовилась слушать.

— Я знаю, что очень нехорошо так говорить, мисс, — не умолкала служанка, в восторге от произведенного впечатления, — мисс Прайс ваша подруга и все такое, но, право, она так наряжается и так себя держит, чтобы ее заметили, что... ах, если б только люди могли себя видеть!

— Что ты хочешь сказать, Фиб? — спросила мисс Сквирс, смотря в свое зеркальце, где, как и большинство из нас, она видела не себя, но отражение какого-то приятного образа,

созданного ее воображением. — О чем это ты болтаешь?

— Болтаю, мисс! Кот и тот заболтает по-французски, чтобы только посмотреть, как она трясет головой, — отозвалась горничная.

— Она и в самом деле трясет головой, — с рассеянным видом заметила мисс Сквирс.

— Такая пустая и такая... некрасивая, — сказала девушка.

Бедная Тильда! — сочувственно вздохнула мисс Сквирс.

— И всегда выставляет себя напоказ, чтобы ею восхищались, — продолжала служанка. Ах, боже мой! Это просто нескромно!

— Фиб, я тебе запрещаю так говорить! — сказала мисс Сквирс. — Друзья Тильды — люди низкого происхождения и, если она не умеет себя держать, это их вина а не ее.

— Но знаете ли, мисс, — сказала Феба, которую покровительственно называли сокращенным именем «Фиб», — если бы она только брала пример с подруги... О! Если бы только она знала свои недостатки и, глядя на вас, старалась исправиться, какою славной молодой женщиной могла бы она стать со временем!

— Фиб! — с достоинством вымолвила мисс Сквирс. — Мне не подобает слушать такие сравнения: они превращают Тильду в особу грубую и невоспитанную, и прислушиваться к ним было бы не по-дружески. Я бы хотела чтобы ты перестала говорить об этом, Фиб; в тоже время я должна сказать, что если бы Тильда Прайс брала пример с кого-нибудь... не обязательно с меня...

— О нет, с вас, мисс! — вставила Фиб.

— Ну хорошо, с меня, Фиб, если уж тебе так хочется, — согласилась мисс Сквирс. — Должна сказать, что поступай она так, ей бы это пошло на пользу.

— Так думает еще кто-то, или я очень ошибаюсь, — таинственно объявила девушка.

Что ты хочешь этим сказать? — осведомилась мисс Сквирс.

— Ничего, мисс, — ответила девушка. — Уж кто-кто, а я кое-что знаю!

— Фиб! — сказала мисс Сквирс драматическим тоном. — Я настаиваю на том, чтобы ты объяснилась. Что это за мрачная тайна? Говори!

— Ну, уж если вы хотите знать, мисс, так вот что, — отозвалась служанка, — мистер Джон Брауди думает так же, как вы, и, если бы он не зашел слишком далеко, чтобы честно отступить, он был бы очень рад кончить с мисс Прайс и начать с мисс Сквирс!

— Боже милостивый! — воскликнула мисс Сквирс, с большим достоинством сложив руки. — Что же это такое?

— Правда, сударыня, сушая правда, — ответила хитрая Фиб.

— Ну и положение! — воскликнула мисс Сквирс. — Помимо своей воли я чуть было не погубила покой и счастье моей дорогой Тильды! Почему это мужчины в меня влюбляются, хочу я этого или не хочу, и покидают ради меня своих нареченных?

— Потому что они ничего не могут поделать, мисс, — ответила девушка, причина простая.

(Если причиной была мисс Сквирс, она и в самом деле была проста.)

— Чтобы я больше никогда об этом не слышала, — заявила мисс Сквирс. Никогда! Понимаешь? У Тильды Прайс есть недостатки... много недостатков... но я хочу ей добра и прежде всего хочу, чтобы она вышла замуж; я считаю весьма желательным... в высшей степени желательным, если принять во внимание самую природу ее дурных качеств, чтобы она как можно скорее вышла замуж. Нет, Фиб! Пусть она берет мистера Брауди. Я могу пожалеть его, беднягу, но я очень хорошо отношусь к Тильде и надеюсь только, что она будет лучшей женой, чем я предполагаю.

После такого излияния чувств мисс Сквирс легла спать.

Злоба — короткое слово, но оно выражает странное смятение чувств и душевный разлад, не хуже чем слова многосложные. В глубине души мисс Сквирс прекрасно знала, что замечания жалкой служанки были пустой, грубой, неприкрытой лестью, как знала это и сама служанка; тем не менее одна лишь возможность дать исход недоброжелательному чувству к обидчице, мисс Прайс, и притвориться сокрушающейся о ее слабостях и недостатках, хотя

бы в присутствии одной служанки, доставила чуть ли не такое же облегчение ее раздражительности, как если бы слова Фиб были святой истиной.

Этого мало: мы обладаем такой изумительной силой внушения, когда она направлена на нас самих, что мисс Сквирс чувствовала себя прямо-таки высоконравственной и великодушной после своего благородного отречения от руки Джона Брауди и смотрела на свою соперницу сверху вниз с каким-то благодетельным спокойствием и безмятежностью, что в большой мере способствовало умиротворению ее взбудораженных чувств.

Такое счастливое состояние духа возымело некоторое влияние, приведя к примирению с обидчицей: когда на следующий день раздался стук в дверь и доложили о приходе мельниковой дочки, мисс Сквирс отправилась в гостиную в христианском расположении духа, которое было поистине радостно наблюдать.

— Вот видишь, — сказала мельникова дочь, — я к тебе пришла, Фанни, хотя у нас и была размолвка вчера вечером.

— Я сожалею о твоих дурных страхах. Тильда, — отвечала мисс Сквирс, — но недобрых чувств я не питаю. Я выше этого.

— Не злись, Фанни, — сказала мисс Прайс. — Я пришла кое-что рассказать тебе и знаю, что тебе это понравится.

— Что бы это могло быть. Тильда? — осведомилась мисс Сквирс, поджимая губы и принимая такой вид, как будто ничто на земле, в воздухе, в огне или в воде не могло доставить ей ни тени удовольствия.

— А вот послушай! — ответила мисс Прайс. — Вчера, когда мы отсюда ушли, мы с Джоном ужасно поссорились. — Мне это не нравится, — сказала мисс Сквирс, расплываясь, однако, в улыбку.

— Ах, боже мой, я была бы о тебе очень плохого мнения, если бы могла это предположить, — заметила приятельница. — Не в том дело.

— О! — сказала мисс Сквирс, снова впадая в меланхолию. — Говори!

— После долгих споров и уверений, что больше мы друг друга не увидим, продолжала мисс Прайс, — мы помирились, и сегодня утром Джон хотел записать наши имена, и в первый раз их огласят в будущее воскресенье, так что через три недели мы поженимся, а я пришла предупредить, чтобы ты шила себе платье.

Желчь и мед были смешаны в этом известии. Перспектива столь близкого замужества подруги была желчью, а уверенность, что та не имеет серьезных видов на Николаса, была медом. В общем, сладкое значительно перевешивало горькое, а потому мисс Сквирс сказала, что платье она сошьет и что она надеется — Тильда будет счастлива, хотя в то же время она в этом не уверена и не хотела бы, чтобы та возлагала на брак слишком большие надежды, ибо мужчины — существа странные, и многие и многие замужние женщины были очень несчастны и желали бы от всей души быть по-прежнему девицами. К этим соболезнующим замечаниям мисс Сквирс присовокупила другие, также рассчитанные на то, чтобы развеселить и приободрить подругу.

— Послушай, Фанни, — продолжала мисс Прайс, — я хочу потолковать с тобой о молодом мистере Николасе...

— Он для меня ничто! — перебила мисс Сквирс, проявляя все симптомы истерики. — Я его слишком презираю!

— О, конечно, ты так не думаешь, — возразила подруга. — Признайся, Фанни: разве он тебе теперь не нравится?

Не давая прямого ответа, мисс Сквирс внезапно разрыдалась от злости и воскликнула, что она несчастное, покинутое, жалкое, отверженное создание.

— Я ненавижу всех! — сказала мисс Сквирс. — И я хочу, чтобы все умерли, — да, хочу!

— Боже, боже, — сказала мисс Прайс, потрясенная этим признанием в мизантропических чувствах. — Я уверена, что ты это не всерьез.

— Всерьез! — возразила мисс Сквирс, затягивая тугие узлы на своем носовом платке и

стискивая зубы. — И я хочу, чтобы и я *тоже* умерла! Вот!

— О, через каких-нибудь пять минут ты будешь думать совсем иначе, сказала Матильда. — Насколько было бы лучше вернуть ему свое расположение, чем мучить себя таким манером! Ведь правда, было бы куда приятнее привязать его к себе по-хорошему, чтобы он любезно составил тебе компанию и ухаживал за тобой.

— Я не знаю, как бы это было, — всхлипывала мисс Сквирс. — О Тильда, как могла ты поступить так низко и бесчестно! Скажи мне это кто-нибудь про тебя, я бы не поверила.

— Ах, пустяки! — хихикая, воскликнула мисс Прайс. — Можно подумать, что я по меньшей мере кого-то убила!

— Это почти одно и то же! — с жаром ответила мисс Сквирс.

— И все это только потому, что я достаточно миловидна для того, чтобы со мной были любезны! — вскричала мисс Прайс. — Человек не сам себе лицо делает, и не моя вина, если у меня лицо приятное, так же как другие не виноваты, если у них лицо некрасивое.

— Придержи язык, — взвизгнула мисс Сквирс самым пронзительным голосом, иначе ты меня доведешь до того, что я ударю тебя, Тильда, а потом буду жалеть об этом!

Вполне очевидно, что тон беседы несколько повлиял на спокойствие духа обеих леди, и в результате пререкания приняли оскорбительный оттенок. Ссора, начавшись с пустяка, разгорелась не на шутку и имела угрожающий характер, когда обе стороны, залившись неудержимыми слезами, воскликнули одновременно, что никогда они не думали, чтобы с ними стали так говорить, а это восклицание, вызвав взаимные протесты, постепенно привело к объяснению, и дело кончилось тем, что они упали друг другу в объятия и поклялись в вечной дружбе. Эта трогательная церемония повторялась пятьдесят два раза в год.

Когда полное дружелюбие было таким образом восстановлено, естественно зашла речь о количестве и качестве нарядов, которые были нужны мисс Прайс для вступления в священный супружеский союз, и мисс Сквирс ясно доказала, что требуется значительно больше того, что может или хочет предоставить мельник, и все они совершенно необходимы и без них нельзя обойтись. Затем молодая леди незаметно перевела разговор на свой собственный гардероб и, подробно перечислив основные его достопримечательности, повела подругу вверх произвести осмотр. Когда сокровища двух комодов и шкафа были извлечены и все более мелкие принадлежности туалета примерены, пора было мисс Прайс идти домой, а так как она пришла в восторг от всех платьев и совершенно онемела от восхищения при виде нового розового шарфа, то мисс Сквирс в превосходнейшем расположении духа заявила, что хочет проводить ее часть пути ради удовольствия побыть в ее обществе, и они отправились вместе. Дорогой мисс Сквирс распространялась о достоинствах своего отца и преувеличивала его доходы в десять раз, чтобы дать подруге хоть слабое представление о важности и превосходстве своей семьи.

Случилось так, что как раз в это время, включавшее короткий перерыв между так называемым обедом учеников мистера Сквирса и их возвращением к приобретению полезных знаний, Николас имел обыкновение выходить на прогулку и, уныло бродя по деревне, предаваться мрачным размышлениям о своей печальной участи. Мисс Сквирс знала это, прекрасно знала, но, быть может, забыла, ибо, увидев молодого джентльмена, шедшего им навстречу, она проявила все признаки изумления и ужаса и объявила подруге, что «готова провалиться сквозь землю».

— Не вернуться ли нам обратно или не забежать ли в какой-нибудь коттедж? — спросила мисс Прайс. — Он нас еще не видел.

— Нет, Тильда! — возразила мисс Сквирс. — Мой долг — дойти до конца, и я дойду!

Так как мисс Сквирс произнесла эти слова тоном человека, принявшего высоконравственное решение, и вдобавок раза два всхлипнула и перевела дух, что указывало на угнетенное состояние чувств, ее подруга не сделала больше никаких замечаний, и они двинулись прямо навстречу Николасу, который шел, опустив глаза, и не ведал об их приближении, пока они с ним не поравнялись; иначе он, пожалуй, постарался бы укрыться.

— Доброе утро! — сказал Николас, кланяясь и проходя мимо.

— Он уходит! — прошептала мисс Сквирс. — Тильда, я задохнусь!

— Вернитесь, мистер Никльби, вернитесь! — закричала мисс Прайс, якобы встревоженная угрозой своей подруги, но в сущности пробуждаемая лукавым желанием послушать, что скажет Николас. — Вернитесь, мистер Никльби!

Мистер Никльби вернулся и казался крайне смущенным, когда осведомлялся, имеют ли леди какое-нибудь поручение для него.

— Не теряйте времени на разговоры, — заспешила мисс Прайс, — лучше поддержите-ка ее с другой стороны. Ну, как ты сейчас себя чувствуешь, дорогая?

— Лучше, — прошептала мисс Сквирс, опуская на плечо мистера Никльби красновато-коричневую кастановую шляпу с прикрепленной к ней зеленой вуалью. — Какая глупая слабость!

— Не называй ее глупой, дорогая, — сказала мисс Прайс, блестящие глаза которой еще сильнее засверкали при виде замешательства Николаса. — У тебя нет никаких причин стыдиться ее. Стыдно должно быть тем, которые слишком горды, чтобы подойти как ни в чем не бывало.

— Вижу, вы решили во всем обвинить меня, хотя я и говорил вам вчера, что это не моя вина, — улыбаясь, сказал Николас.

— Ну вот, он говорит, что это не его вина, дорогая моя, — заметила недобрая мисс Прайс. — Может быть, ты была слишком ревнива или слишком поторопилась. Он говорит, что это была не его вина. Ты слышишь? Я думаю, больше не нужно извинений?

— Вы не хотите меня понять, — сказал Николас. — Прошу вас, бросьте эти шутки, потому что, право же, сейчас у меня нет ни времени, ни охоты смешить или быть предметом насмешек.

— Что вы хотите этим сказать? — спросила мисс Прайс, притворяясь изумленной.

— Не спрашивай его, Тильда! — вскрикнула мисс Сквирс. — Я его прощаю.

— Ах, боже мой! — сказал Николас, когда коричневая шляпка снова опустилась на его плечо. — Это серьезнее, чем я думал. Будьте так добры, выслушайте меня.

Тут он приподнял коричневую шляпку и, с неподдельным изумлением встретив полный нежной укоризны взгляд мисс Сквирс, попятился на несколько шагов, чтобы избавиться от своей прелестной ноши, и продолжал:

— Я очень сожалею, искренне, от всей души сожалею, что вчера вечером послужил причиной разногласий между вами. Я горько упрекаю себя в том, что имел несчастье вызвать происшедшую размолвку, хотя, уверяю вас, я это сделал по неосмотрительности и без всякого умысла.

— Да, но ведь это не все, что вы имеете сказать! — воскликнула мисс Прайс, когда Николас замолчал.

— Боюсь, что нужно еще что-то добавить, — с легкой улыбкой пробормотал, запинаясь, Николас, глядя на мисс Сквирс. — Об этом очень неловко говорить... но... стоит заикнуться о таком предположении, и прослынешь фатом... и, несмотря на это... смею ли я спросить, не предполагает ли эта леди, что я питаю какие-то... короче говоря, не думает ли она, что я в нее влюблен?

«Восхитительное смущение, — подумала мисс Сквирс. Наконец-то я довела его до этого!»

— Ответь за меня, дорогая, — шепнула она подруге.

— Думает ли она это? — подхватила мисс Прайс. — Конечно, думает!

— Думает? — вскричал Николас с такой энергией, что на секунду это можно было принять за восторг.

— Разумеется, — отвечала мисс Прайс.

— Если мистер Никльби сомневался в этом, Тильда, — нежно сказала зарумянившаяся мисс Сквирс, — он может успокоиться. На его чувства отвечаю...

— Стойте! — поспешил крикнуть Николас. — Пожалуйста, выслушайте меня. Это полнейшее и нелепейшее заблуждение, в какое только можно впасть! Самая грубая и

поразительная ошибка, какую только можно допустить! Эту молодую леди я видел не больше шести раз, но если бы я ее видел шестьдесят раз или если мне суждено ее видеть шестьдесят тысяч раз, все равно было и будет то же самое. Я с ней не связывал ни единой мысли, ни одного желания или надежды, и единственная моя мечта — я говорю это не для того, чтобы оскорбить мисс Сквирс, но выражаю истинные мои чувства, — единственная мечта, дорогая моему сердцу, как сама жизнь, это получить когда-нибудь возможность повернуться спиной к этому проклятому месту. Ногой сюда не ступать и не думать о нем, никогда не вспоминать о нем иначе, как с гадливостью и омерзением!

После этой чрезвычайно прямой и откровенной декларации, произнесенной с тем пылом, какой могли ему внушить его негодование и возмущение, Николас удалился, не дожидаясь ответа.

Бедная мисс Сквирс! Ее гнев, бешенство и досада, быстрая смена горьких и страстных чувств, взбудораживших ей душу, не поддаются описанию. Отвергнута! Отвергнута учителем, подобранным по объявлению за годовое жалованье в пять фунтов, выплачиваемых в неопределенные сроки, и разделяющим стол и жилище с учениками, и вдобавок отвергнута в присутствии этой девчонки, восемнадцатилетней дочки мельника, которая через три недели выйдет замуж за человека, на коленях просившего ее руки! Мисс Сквирс и в самом деле могла задохнуться при мысли о таком оскорблении.

Но одно было ясно ей в этом унижении: она ненавидела и презирала Николаса со всем скудоумием и мелочностью, достойными наследницы дома Сквирсов. И было у нее одно утешение: ежедневно и ежечасно она могла ранить его гордость и раздражать его грубостью, оскорблениями и лишениями, которые не могли не подействовать на самого бесчувственного человека и должны были больно задеть человека, такого чувствительного, как Николас. Под влиянием этих размышлений мисс Сквирс представила дело в наивыгоднейшем для себя свете, заметив, что мистер Никльби такое странное существо и нрав у него такой бешеный, что она опасается, как бы ей не пришлось от него отказаться. На этом она рассталась с другой.

Здесь надлежит отметить, что мисс Сквирс, подарив свою любовь (или то, что за неимением лучшего могло ее заменить) Николасу Никльби, ни разу серьезно не подумала о возможности его несогласия с ней по этому вопросу. Мисс Сквирс рассудила, что она красива и привлекательна, что ее отец — хозяин, а Николас — слуга и что ее отец накопил денег, а у Николаса их нет; все это казалось ей неоспоримыми доводами, почему молодой человек должен почитать для себя великой честью оказанное ему предпочтение. Не преминула она также сообразить, насколько приятнее благодаря ей могло быть его положение, будь она его другом и насколько неприятнее, стань она его врагом; и многие молодые джентльмены, менее совестливые, чем Николас, несомненно пошли бы навстречу ее фантазии хотя бы только по одной этой весьма явной и понятной причине.

Однако он почел уместным поступить иначе, и мисс Сквирс была оскорблена.

— Он у меня поглядит, — сказала себе взбешенная молодая леди, когда возвратилась в свою комнату и облегчила душу, угостив побоями Фиб, поглядит, как я еще больше вооружу против него мать, когда она вернется!

Вряд ли была необходимость это делать, но мисс Сквирс свое слово сдержала, и бедный Николас в добавление к плохой пище, неопрятному помещению и обязанности быть свидетелем неизменной грязной скаредности стал терпеть все унижения, какие могла придумать злоба или самая хищная алчность.

Но это еще не все. Была другая и более тонкая система досаждать, которая надрывала ему сердце и доводила его чуть ли не до бешенства своей несправедливостью и жестокостью.

С того вечера, как Николас ласково поговорил со Смайком в классной комнате, это жалкое создание следовало за ним повсюду, испытывая постоянную потребность услужить или помочь ему, предупреждая те маленькие желания, какие он мог удовлетворить по мере своих слабых сил, и довольствуясь одною возможностью быть около него. Смайк просиживал подле него часами, засматривая ему в глаза, и от одного слова Николаса

измученное лицо Смайка прояснилось и даже появлялся на нем мимолетный отблеск счастья. Он стал другим; у него была теперь цель, и цель эта — оказывать знаки привязанности человеку, — человеку для него чужому, — который относился к нему если не с любовью, то просто как к человеческому существу.

Вот на этого-то беднягу и обрушивалась постоянно та злоба и та раздражительность, какие нельзя было излить на Николаса. Тяжкий труд был бы пустяком — Смайк к нему привык. Побои, нанесенные без причины, также были делом повседневным, потому что и к ним он был привычен, пройдя долгий и трудный путь ученичества, — но едва успели заметить, что он привязался к Николасу, как удары хлыстом и кулаком, кулаком и хлыстом стали выпадать ему на долю утром, днем и вечером. Сквирс ревновал к тому влиянию, которое так быстро приобрел его подчиненный, семья ненавидела его, а Смайк расплачивался за двоих. Николас это видел и скрежетал зубами при каждом новом зверском и подлом избиении.

Он начал давать уроки мальчикам, и однажды вечером, когда он шагал взад и вперед по мрачной классной и сердце у него готово было разорваться при мысли, что его защита и поддержка усиливают страдания бедного существа, странная болезнь которого пробудила в нем жалость, он машинально остановился в темном углу, где сидел тот, о ком он думал.

Бедняга, со следами недавних слез на лице, корпел над растрепанной книгой, тщетно стараясь одолеть урок; с ним легко мог справиться любой девятилетний ребенок, но для поврежденного мозга забитого девятнадцатипллетнего юноши он оставался вечной и безнадежной тайной. Однако Смайк сидел, терпеливо заучивая все ту же страницу, отнюдь не побуждаемый мальчишеским честолюбием, ибо он был вечным посмешищем даже для этих неотесанных юнцов, окружавших его, но одушевленный одним только страстным желанием угодить единственному другу.

Николас положил руку ему на плечо.

— Я не могу, не могу, — поднимая глаза, сказала несчастное существо, у которого каждая черта лица выражала горькое отчаяние. — Не могу.

— Не надо, — отозвался Николас.

Мальчик покачал головой и, со вздохом закрыв книгу, рассеянно осмотрелся вокруг и опустил голову на руку; он плакал.

— Ради бога, не плачьте, — взволнованным голосом сказал Николас. — Я не в силах смотреть на вас!

— Со мной обращаются еще хуже, чем раньше, — рыдая, сказал мальчик.

— Знаю, — ответил Николас, — это правда.

— Не будь вас, я бы умер, — продолжал отверженный. — Они бы меня убили! Да, убили, знаю, что убили!

— Вам будет легче, бедняга, когда я уеду, — отозвался Николас, грустно покачивая головой.

— Уедете! — вскричал тот, пристально всматриваясь в его лицо.

— Тише! — остановил его Николас. — Да.

— Вы уезжаете? — взволнованным шепотом спросил мальчик.

— Не знаю, — ответил Николас. — Я скорее думал вслух, чем говорил с вами.

— О, скажите мне, — взмолился мальчик, — скажите мне, вы в самом деле хотите уехать, хотите уехать?

— Кончится тем, что меня до этого доведут! — воскликнул Николас. — В конце концов передо мной весь мир.

— Скажите мне, — спросил Смайк, — весь мир такой же плохой и печальный, как это место?

— Боже сохрани! — ответил Николас, следуя по течению своих мыслей. Самый тяжелый, самый грубый труд в мире — счастье по сравнению с тем, что царит здесь.

— Встречу ли я вас там когда-нибудь? — продолжал Смайк с несвойственной ему живостью и словоохотливостью.

— Да, — ответил Николас, желая успокоить его.

— Нет! — проговорил тот, схватив его за руку. — Встречу ли я... встречу ли... повторите еще раз! Скажите, что я непременно вас найду!

— Найдете, — ответил Николас из тех же добрых побуждений, — и я вас поддержу и помогу вам и не навлеку на вас нового горя, как сделал это здесь.

Мальчик с жаром схватил обе руки молодого человека и, прижав их к своей груди, произнес несколько бессвязных слов, которые были совершенно непонятны. В эту минуту вошел Сквирс и он снова забился в свой угол.

Глава XIII,

Николас вносит перемену в однообразную жизнь Дотбойс-Холла весьма, энергическим и поразительным поступком, который приводит к последствиям, не лишенным значения.

Холодный хилый рассвет январского утра прокрадывался в окна общей спальни, когда Николас, приподнявшись на локте, посмотрел на распростертые тела, окружавшие его со всех сторон, словно отыскивал какой-то определенный предмет.

Нужен был зоркий глаз, чтобы кого-нибудь узнать среди спящих, беспорядочно сбившихся в кучу. Когда они лежали, тесно прижавшись друг к другу, прикрытые от холода своей заплатанной и разорванной одеждой, мало что можно было разглядеть, кроме резких очертаний бледных лиц, которым хмурый свет придавал одинаковый тусклый серый оттенок; кое-где высывалась тощая рука — не было одеяла, чтобы скрыть ее худобу, и рука была выставлена напоказ, иссохшая и уродливая.

Иные, лежа на спине, закинув голову и сжав кулаки, едва видимые в свинцовом свете, походили скорее на трупы, чем на живые существа, другие скорчились в странных и фантастических позах, какие могли быть вызваны не столько причудами сна, сколько мучительными усилиями на время облегчить боль. Очень немногие — это были самые младшие — спали безмятежным сном, с улыбкой на лице, грезя, быть может, о родном доме. Но то и дело глубокий и тяжелый вздох, врываясь в тишину комнаты, возвещал о том, что еще один спящий проснулся для горестей грядущего дня. И, по мере того как ночь уступала место утру, улыбки постепенно исчезали вместе с ласковой темнотой, породившей их.

Сны — это веселые создания поэм и легенд, резвящиеся на земле в ночную пору и тающие в первых лучах солнца, которое озаряет мрачную заботу и суровую действительность, совершающие ежедневное свое паломничество в мир.

Николас смотрел на спящих сначала так, как смотрит тот, кто созерцает картину, которая хотя и знакома ему, но отнюдь не перестала производить тягостное впечатление, а потом — как человек, который не находит чего-то, что привык встречать его глаз и на чем надеялся отдохнуть. Его все еще занимали эти мысли, и в нетерпеливых поисках он привстал с кровати, когда послышался голос Сквирса, кричавшего с нижней площадки лестницы.

— Эй, вы! — орал этот джентльмен. — Целый день спать собираетесь, что ли, вы там, наверху?..

— Ленивые собаки! — добавила миссис Сквирс, заканчивая фразу и издавая при этом резкий звук, похожий на тот, какой раздается при затягивании корсета.

— Сейчас мы спустимся, сэр, — ответил Николас.

— Сейчас спуститесь! — повторил Сквирс. — Да, лучше бы вы сейчас спустились, а не то я напущусь на кое-кого из вас. Где Смайк?

Николас быстро осмотрелся вокруг, но ничего не ответил.

— Смайк! — заорал Сквирс.

— Хочешь, чтобы тебе еще раз проломили голову, Смайк? — в тон ему осведомилась его любезная супруга.

Снова никакого ответа, и снова Николас стал озираться, так же как и большинство

мальчиков, которые к тому времени проснулись.

— Черт бы побрал этого негодяя! — проворчал Сквирс, нетерпеливо колотя тростью по перилам лестницы. — Никльби!

— Да, сэр?

— Пошлите сюда этого упрямого негодяя! Разве вы не слышите, что я его зову?

— Его здесь нет, сэр, — ответил Николас.

— Врете! — заявил школьный учитель. — Он там.

— Нет его здесь, — сердито возразил Николас. — Сами врете!

— Сейчас мы увидим, — сказал мистер Сквирс, взбегая по лестнице. — Я его найду, предупреждаю вас.

С таким заверением мистер Сквирс ворвался в дортуар и, размахивая в воздухе тростью, готовый нанести удар, бросился в тот угол, где обычно было простерто по ночам тощее тело козла отпущения. Трость опустилась, никому не причинив вреда. Там не было никого.

— Что это значит? — спросил Сквирс, поворачиваясь и сильно побледнев. Куда вы его упрятали?

— Я его не видел со вчерашнего вечера, — ответил Николас.

— Бросьте! — сказал Сквирс, явно испуганный, хотя он и пытался это скрыть. — Этим вы его не спасете. Где он?

— Полагаю, на дне ближайшего пруда, — тихим голосом ответил Николас и в упор посмотрел в лицо учителю.

— Будь вы прокляты! Что вы хотите этим сказать? — в сильном смятении спросил Сквирс.

Не дожидаясь ответа, он осведомился у мальчиков, не знает ли кто-нибудь из них о пропавшем товарище.

Раздался тревожный гул отрицательных ответов, из которого вырвался пронзительный голос, поведавший то, что в сущности думали все:

— Простите, сэр, я думаю, Смайк сбежал, сэр.

— Ха! — воскликнул Сквирс, резко обернувшись. — Кто это сказал?

— Томкинс, сэр, — ответил хор голосов.

Мистер Сквирс нырнул в толпу и сразу поймал очень маленького мальчика. Тот был еще в ночном одеянии, и, когда его вытащили вперед, физиономия у него была недоуменная; она словно говорила, что он пока не уверен, накажут его или наградят за эту догадку.

— Так вы думаете, сэр, что он сбежал? — спросил Сквирс.

— Простите, сэр, да, — ответил мальчик.

— А какие у вас основания, сэр? — продолжал Сквирс, внезапно хватая мальчика за руки и очень ловко задирая ему рубашку, — какие у вас основания полагать, что какой-нибудь мальчишка захочет убежать из этого заведения? А, сэр?

Вместо ответа ребенок испустил отчаянный вопль, а мистер Сквирс, приняв позу, наиболее благоприятную для экзекуции, стал колотить его, пока мальчуган, извиваясь, буквально не выкатился из его рук, после чего мистер Сквирс милостиво позволил ему откатиться как можно дальше.

— Вот так! — сказал Сквирс. — Если еще кто-нибудь из мальчиков думает, что Смайк сбежал, я буду рад потолковать с ним.

Разумеется, последовало глубокое молчание, в течение которого лицо Николаса выражало величайшее отвращение.

— Ну-с, Никльби, — сказал Сквирс, злобно на него глядя, — полагаю, и вы думаете, что он сбежал?

— Считаю это в высшей степени вероятным, — спокойно ответил Николас.

— О, вы считаете! — огрызнулся Сквирс. — Может быть, вам известно, что он сбежал?

— Об этом я ничего не знаю.

— Полагаю, он вам не сказал, что уходит? Нет? — издевался Сквирс.

— Не сказал, — ответил Николас. — Я очень рад, что он не сказал, потому что в таком

случае моим долгом было бы предупредить вас заранее.

— А это, разумеется, вам было бы чертовски досадно делать, поддразнивающим тоном сказал Сквирс.

— Разумеется, досадно, — ответил Николас. — Вы очень правильно истолковали мои чувства.

Миссис Сквирс прислушивалась к этому разговору с нижней площадки лестницы, но теперь, потеряв последнее терпение, она поспешила надеть ночную кофточку и явилась на место действия.

— Что тут происходит? — осведомилась леди, когда мальчики шарахнулись направо и налево, чтобы избавить ее от труда расчищать дорогу мускулистыми руками. — О чем ты тут с ним толкуешь, Сквирс?

— Видишь ли, дорогая моя, — сказал Сквирс, — дело в том, что пропал Смайк.

— Это я знаю, — сказала леди, — но что же тут удивительного? Если ты держишь шайку чванных учителей, которые мутят щенят, можно ли ждать чего-нибудь другого? Ну-с, молодой человек, будьте так добры убраться в классную и забирайте с собой мальчишек и носа оттуда не показывайте, пока не получите разрешения, а не то у нас с вами произойдет размолвка, от которой пострадает ваша красота, — ведь вы считаете себя красавцем, — так что я вас предупреждаю! — Да что вы! — отозвался Николас.

— Да, вот вам и «что вы», мистер нахал! — продолжала возбужденная леди. Будь моя воля, вы бы часу не провели в этом доме!

— И не провел бы, будь моя воля, — ответил Николас. — Идемте, мальчики!

— А! Идемте, мальчики! — сказала миссис Сквирс, передразнивая по мере сил голос и манеру учителя. — Ступайте за своим вожаком, мальчишки, и берите пример со Смайка, если посмеете! Увидите, как ему попадет, когда его приведут назад. И помните: вам попадет не меньше, а вдвое больше, если вы только зайкнетесь о нем.

— Если я его поймаю, — сказал Сквирс, — я разве только что шкуру не сдеру с него. Предупреждаю вас, мальчики.

— Если ты егоймаешь! — презрительно повторила миссис Сквирс. Конечно,ймаешь, не можешь не поймать, если как следует примешься за дело. Ну, проваливайте!

С этими словами миссис Сквирс отпустила учеников и после легкой стычки с шедшими позади, которые напирали, чтобы убраться с дороги, но были на несколько секунд задержаны передними, успешно очистила от них комнату и осталась наедине с супругом.

— Он сбежал, — сказала миссис Сквирс. — Коровник и конюшня заперты, значит там он быть не может... И внизу его нигде нет, служанка искала. Он должен был пойти по направлению к Йорку по проезжей дороге.

— Почему — должен? — осведомился Сквирс.

— Болван! — сердито сказала миссис Сквирс. — Деньги у него были или нет?

— Насколько мне известно, у него никогда в жизни не было ни единого пенни, — ответил Сквирс.

— Разумеется, — подхватила миссис Сквирс, — и ничего съестного с собой не взял, за это я ручаюсь. Ха-ха-ха!

— Ха-ха-ха! — захохотал Сквирс.

— Стало быть, — продолжала миссис Сквирс, — он должен просить милостыню, а просить милостыню он может только на проезжей дороге.

— Верно! — воскликнул Сквирс, захлопав в ладоши. — Верно! Но тебе бы это и в голову не пришло, если бы я не подсказала, — отозвалась жена. Теперь, если ты сядешь в двуколку и поедешь по одной дороге, а я возьму двуколку у Свалоу и поеду по другой и мы будем смотреть в оба и расспрашивать, кто-нибудь из нас непременно его поймает.

План достойной леди был принят и немедленно приведен в исполнение. После завтрака, наспех приготовленного, и после наведения справок в деревне, результаты коих как будто подавали надежду, что он напал на след, Сквирс тронулся в путь в повозке, запряженной пони, думая лишь о поимке и отмщении. Вскоре после этого миссис Сквирс, облаченная в

белое пальто и завернутая в различные шали и платки, отъехала в другой двуколке и в другом направлении, захватив с собой порядочную дубинку, несколько кусков крепкой веревки и дюжего работника. Все это было припасено и взято в дорогу с единственной целью принять участие в поимке злополучного Смайка и, поймав, ни за что уже его не выпустить.

Николас остался дома в сильном волнении, понимая, что чем бы ни кончился побег мальчика, ничего, кроме мучительных и плачевных результатов, последовать не может. Смерть от голода и холода казалась наилучшим исходом, какого можно было ждать после долгих скитаний такого жалкого и беспомощного существа, одинокого, без друзей, по совершенно незнакомым ему местам. Пожалуй, такая судьба была не хуже возвращения к сладким благам йоркширской школы, но бедняга завоевал симпатию и сочувствие Николааса, и сердце у него надрывалось при мысли о тех страданиях, какие предстояло претерпеть Смайку.

Не находя себе места от беспокойства, он томился, рисуя тысячу возможностей, пока на следующий день вечером Сквирс не вернулся один, не добившись успеха.

— Никаких известий о негодяе! — сказал школьный учитель, который за время своего путешествия, видимо, не один раз разминал ноги по старому правилу. — За это я кое от кого получу утешение, Никльби, если миссис Сквирс его не поймает, так что я вас предупреждаю.

— Не в моей власти утешить вас, сэр, — сказал Николаас. — Это не мое дело.

— Не ваше? — угрожающим тоном переспросил Сквирс. — Посмотрим!

— Посмотрим! — отозвался Николаас.

— Мой пони запарился, и мне пришлось нанять верховую лошадь, чтобы вернуться домой; это обойдется в пятнадцать шиллингов, не считая других расходов, — сказал Сквирс. — Отвечайте, кто за это заплатит?

Николас пожал плечами и промолчал.

— Говорю вам, я кой из кого это выколочу, — продолжал Сквирс, переходя от обычного грубого и лукавого обращения к явному запугиванию. — Хватит вам здесь хныкать и задирать нос, мистер щеголь, отправляйтесь-ка в свою конуру, вам давно пора спать. Ступайте! Вон!

Николас закусил губу и невольно сжал кулаки, потому что концы пальцев у него зудили от желания отомстить за оскорбление: но, вспомнив, что тот пьян и ничего, кроме шума и крика, из этого не выйдет, он удовольствовался презрительным взглядом, брошенным на тирана, и отправился наверх с таким достоинством, на какое только был способен, немало, впрочем, задетый тем, что мисс Сквирс, юный Сквирс и служанка любовались этой сценой из укромного уголка. Двое первых сделали множество назидательных замечаний о дерзости бедных выскочек, что вызвало бурное веселье, в котором приняла участие даже самая жалкая из всех жалких служанок; а в это время жестоко оскорбленный Николаас натянул на голову то тряпье, какое у него было, и твердо решил, что сведет счеты с мистером Сквирсом раньше, чем предполагает этот последний. Настал следующий день, и, едва проснувшись, Николаас услышал стук колес подъезжающей к дому двуколки.

Она остановилась. Раздался восторженный голос миссис Скирса, требующей для кого-то стакан виски, а это уже само по себе являлось достаточным показателем того, что случилось нечто из ряда вон выходящее. Николаас не решался выглянуть из окна, но он все-таки выглянул, и первое, на что упал его взгляд, был несчастный Смайк, такой грязный и промокший, такой изможденный, изнемогающий и обезумевший, что если бы не его одежда, какой никогда не видывали ни на одном пугале, Николаас даже теперь мог бы усомниться, он ли это.

— Вытащите его! — сказал Сквирс, после того как буквально упился в молчании лицемерием преступника. — Внесите его в дом, внесите его в дом!

— Осторожнее! — крикнула миссис Сквирс, когда ее супруг вызвался помогать. — Мы стянули ему ноги под фартуком экипажа и привязали их к двуколке, чтобы он опять не улизнул от нас.

Дрожащими от радости руками Сквирс развязал веревку, и Смайк, по всем признакам скорее мертвый, чем живой, был внесен в дом и заботливо заперт в погребе вплоть до того времени, когда мистер Сквирс сочтет целесообразным расправиться с ним в присутствии всей школы.

При поверхностном рассмотрении обстоятельств кое-кому может показаться удивительным, что мистер и миссис Сквирс потратили столько труда, чтобы вновь завладеть обузой, на которую имели обыкновение так громко жаловаться. Но удивление рассеется, если станет известно, что многочисленные услуги раба, буде их оказывал бы кто-нибудь другой, стоили бы заведению десять — двенадцать шиллингов жалования в неделю; к тому же, из политических соображений, всех беглецов заставляли в Дотбойс-Холле служить суровым примером для остальных, ибо, ввиду ограниченного запаса привлекательных сторон, мало что, кроме сильного страха, могло побудить любого ученика там оставаться, если ученик был наделен нормальным количеством ног и способностью ими пользоваться.

Весть, что Смайк пойман и с триумфом водворен в Дотбойс-Холл, разнеслась среди голодного населения со сверхъестественной быстротой, и все утро прошло в напряженном ожидании. Однако ему суждено было длиться до середины дня, когда Сквирс, подкрепившись обедом и набравшись сил благодаря внеочередному возлиянию, появился (в сопровождении своей любезной подруги) с физиономией торжественной и внушительной и со страшным орудием бичевания, крепким, гибким, навощенным и новым — короче говоря, купленным в то утро специально для этой цели.

— Все ли мальчишки здесь? — громовым голосом спросил Сквирс.

Все мальчики были здесь, но все мальчики боялись ответить, — посему, чтобы удостовериться, Сквирс грозным оком окинул ряды, а пока он это делал, все глаза опустились и все головы поникли.

— Все мальчишки по местам! — приказал Сквирс, нанося свой излюбленный удар по кафедре и с мрачным удовлетворением наблюдая всеобщее содрогание, которое он неизменно вызывал. — Никльби! На кафедру, сэр!

Не одним маленьким наблюдателем было замечено, что у помощника учителя выражение лица очень странное и необычное, — но он занял свое место, не разжимая губ для ответа.

С торжеством посмотрев на своего помощника и бросив деспотический взгляд на мальчиков, Сквирс вышел из комнаты и вскоре вернулся, волоча Смайка за воротник, или, вернее, за клоч куртки, который был ближайшим к тому месту, где надлежало быть воротнику, если бы Смайк мог похвастаться таким украшением.

Во всяком другом месте появление несчастного, изнуренного, отчаявшегося существа вызвало бы ропот сострадания и гнева. Даже здесь оно произвело впечатление: зрители беспокойно заерзали на своих местах, а самые храбрые осмелились украдкой обменяться взглядами, выразившими негодование и жалость.

Однако эти взгляды остались незамеченными Сквирсом, который, устремив взор на злосчастного Смайка, осведомился, согласно принятому в таких случаях обычаю, имеет ли тот что-нибудь сказать в свою защиту.

— Должно быть, ничего? — с дьявольской усмешкой сказал Сквирс.

Смайк оглянулся, и на секунду взгляд его остановился на Николасе, словно он ждал, что тот вступится; но глаза Николаса были прикованы к кафедре.

— Имеешь что-нибудь сказать? — снова спросил Сквирс, раза два или три взмахнув правой рукой, чтобы испытать ее силу и гибкость. — Отойдите в сторонку, миссис Сквирс, дорогая моя, мне здесь тесновато.

— Пощадите меня, сэр! — вскричал Смайк.

— О! И это все? — сказал Сквирс. — Хорошо, я изобью тебя до полусмерти и тогда пощажу.

— Ха-ха-ха! — захохотала миссис Сквирс. — Вот так потеха!

— Меня до этого довели, — тихо выговорил Смайк и снова с умоляющим видом

осмотрелся вокруг.

— Тебя до этого довели? — повторил Сквирс. — О, так это была не твоя вина! Должно быть, моя, а?

— Мерзкий, неблагодарный, тупоголовый, грубый, упрямый, подлый пес! — воскликнула миссис Сквирс, зажав у себя под мышкой голову Смайка и при каждом эпитете надевая его пощечиной. — Что он хочет этим сказать?

— Отойди в сторонку, дорогая моя, — отозвался Сквирс. — Мы попытаемся узнать.

Миссис Сквирс, задохнувшись от этих упражнений, подчинилась. Сквирс крепко схватил мальчика. Жестокий удар упал на тело Смайка; он задрожал под хлыстом и вскрикнул от боли; снова был занесен хлыст и снова готов был опуститься, когда Николас Никльби, внезапно вскочив, крикнул: «Стойте!» — таким голосом, что загудели стропила.

— Кто крикнул: «Стойте!» — спросил Сквирс, злобно оглядываясь.

— Я! — сказал Николас, выступив вперед. — Больше этого не должно быть!

— Не должно?! — чуть ли не взвизгнул Сквирс.

— Да! — загремел Николас.

Ошеломленный и потрясенный этим дерзким вмешательством, Сквирс выпустил из рук Смайка и, отступив шага на два, впился в Николаса взглядом поистине устрашающим.

— Я говорю — не должно быть! — повторил Николас, ничуть не испугавшись. И не будет! Я этого не допущу!

Взирающие на него глаза Сквирса едва не выскочили из орбит, от изумления он буквально лишился языка.

— Вы оставили без внимания мое миролюбивое заступничество за этого несчастного юношу, — сказал Николас. — Вы не дали никакого ответа на письмо, в котором я просил простить его и предлагал взять на себя ответственность за то, что он останется здесь и будет вести себя спокойно. Не упрекайте же меня теперь за это вмешательство на людях. В нем повинны вы, а не я!

— На место, подлец! — завопил Сквирс вне себя от бешенства, снова схватывая при этом Смайка.

— Негодяй! — гневно крикнул в ответ Николас. — Посмейте только его тронуть! Я не буду стоять и смотреть! Больше я не могу терпеть, и у меня хватит силы на десятерых таких, как вы. Берегитесь, иначе, клянусь небом, я вас не пощажу, если вы меня до этого доведете!

— Назад! — крикнул Сквирс, размахивая своим оружием.

— Я должен рассчитаться за оскорбления! — кричал Николас, покрасневший от гнева. — Мое негодование все усиливалось при виде подлого, жестокого обращения с беспомощными детьми в этом логове! Берегитесь! Если вы разбудите во мне дьявола, страшные последствия падут на вашу голову!

Не успел он договорить, как Сквирс в порыве неудержимой ярости с криком, напоминающим рев дикого зверя, плюнул на него и ударил его по лицу своим орудием пытки, оставив багровую полосу там, где это орудие опустилось. Почувствовав острую боль от удара и сосредоточив в этом одном мгновении все свое бешенство, гнев и негодование, Николас набросился на Сквирса, вырвал из его рук оружие и, схватив негодя за горло, стал колотить, пока тот не взвыл, прося пощады.

Мальчики, за исключением юного Сквирса, который, явившись на подмогу отцу, беспокоил противника с тыла, и пальцем не шевельнули, но миссис Сквирс, воплями призывая на помощь, повисла на фалдах фрака своего супруга и пыталась оттащить его от взбешенного врага, в то время как мисс Сквирс, которая смотрела в замочную скважину в ожидании совсем другой сцены, ворвалась в комнату в самом начале атаки и, осыпав голову помощника учителя градом чернильниц, принялась его колотить, к полному своему сердечному удовлетворению; при каждом ударе она воодушевлялась воспоминанием о том, как он отверг предложенную ею любовь, что придавало новую силу руке, которая (ибо в этом отношении мисс Фанни пошла в свою мать) всегда была не из слабых.

В пылу неистовой атаки Николас ощущал удары не больше, чем если бы их наносили

перышком, но, устав от шума и гама и к тому же чувствуя, что рука его ослабела, он вложил весь остаток сил в пяток завершающих оплеух и отшвырнул от себя Сквирса с такой энергией, на какую только был способен. Стремительность его падения заставила миссис Сквирс перекувырнуться через ближайшую скамью, а Сквирс, в своем полете ударившись об эту скамью головой, растянулся во весь рост на полу, оглушенный и неподвижный.

Приведя дело к такому счастливому завершению и удостоверившись, к полному своему удовольствию, что Сквирс только оглушен, а не мертв (по этому вопросу у него были сначала кое-какие неприятные сомнения), Николас предоставил семейству возвращать его к жизни и удалился, чтобы рассудить, какую линию поведения надлежит ему избрать. Выходя из комнаты, он с беспокойством озирался в поисках Смайка, но того нигде не было видно.

После недолгих размышлений он уложил в маленький кожаный чемодан свою одежду и, видя, что никто не препятствует ему, смело вышел через парадную дверь и вскоре зашагал по дороге, ведущей в Грета-Бридж.

Когда он достаточно остыл, чтобы обдумать создавшееся положение, оно представилось ему далеко не в розовом свете: в кармане у него было только четыре шиллинга и несколько пенсов, и больше двухсот пятидесяти миль отделяло его от Лондона, куда он решил направить свои стопы, дабы, помимо всего прочего, удостовериться, какой отчет о происшествиях этого дня даст мистер Сквирс его добрейшему дядюшке.

Придя к заключению, что нет никакого способа изменить это прискорбное положение вещей, он поднял глаза и увидел ехавшего ему навстречу всадника, в котором при ближайшем рассмотрении признал, к великому своему огорчению, не кого иного, как мистера Джона Брауди в грубых штанах из вельвета и в кожаных гетрах. Мистер Брауди погонял своего коня толстой ясеновой палкой, по-видимому недавно срезанной с какого-нибудь крепкого молодого деревца.

«Не хочу я больше шума и драк, — подумал Николас, — и, однако, что бы я ни делал, мне придется повздорить с этим честным болваном и, быть может, раза два отвратить его посоха».

Действительно, были основания предполагать, что именно таковы будут последствия встречи, так как Джон Брауди, едва завидев приближающегося Николаса, остановил свою лошадь у тропинки и ждал, пока тот подойдет, глядя очень сурово между ушей лошади на Николаса, подходившего не спеша.

— Ваш покорный слуга, молодой джентльмен, — сказал Джон.

— К вашим услугам, — сказал Николас.

— Ну, вот мы, наконец, и встретились, — заметил Джон, заставив стремя зазвенеть от ловкого удара ясеновой палкой.

— Да, — нерешительно отозвался Николас. — Послушайте, — сказал он откровенно после короткой паузы, — в последний раз мы расстались не в очень-то добрых отношениях. Вероятно, это была моя вина, но у меня не было намерения обидеть вас, и я понятия не имел, что обижаю. Потом я очень об этом сожалел. Хотите — пожмем друг другу руку?

— Пожать руку? — воскликнул добродушный йоркширец. — На это я согласен! — Он наклонился с седла и энергически тряхнул руку Николаса. — Но что у вас с лицом, приятель? Оно как будто разбито.

— Рассечено хлыстом, — ответил Николас, густо краснея. — Удар. Но я его вернул, да вдобавок еще с хорошими процентами.

— Да неужто?! — воскликнул Джон Брауди. — Здорово! Вот за это вы мне нравитесь!

— Дело в том, — начал Николас, не зная хорошенько, как приступить к признанию, — дело в том, что со мной дурно обошлись.

— Ну! — вставил Джон Брауди сочувственным тоном, ибо он был гигант по силе и росту, и Николас казался ему карликом.

— Да, — подтвердил Николас, — со мной дурно обошелся этот Сквирс, и я здорово приколотил его, а теперь ухожу отсюда.

— Что?! — вскричал Джон Брауди, испустив такой восторженный вопль, что лошадь в

испуге шарахнулась в сторону. — Приколотил владельца школы! Хо-хо-хо! Приколотил владельца школы! Ну, слышал ли кто о такой штуке? Еще раз давай руку, приятель! Приколотил владельца школы! Ей-богу, вот молодчина!

Выражая таким образом свой восторг, Джон Брауди хохотал, и хохотал так громко, что эхо по всей округе отзывалось веселыми раскатами смеха, и при этом сердечно пожимал руку Николаса.

Нахохотавшись вдоволь, он осведомился, что думает делать Николас. Когда же тот сообщил ему о своем намерении отправиться прямо в Лондон, он с сомнением покачал головой и спросил, известно ли ему, сколько берут почтовые кареты с пассажиров за такое далекое путешествие.

— Нет, не известно, — ответил Николас, — но для меня это большого значения не имеет, потому что я думаю идти пешком.

— Идти пешком в Лондон? — с изумлением воскликнул Джон.

— Всю дорогу, до последнего шага, — сказал Николас. — За это время я бы уже сделал немало шагов, а потому — прощайте!

— Ну, нет! — возразил честный малый, придерживая нетерпеливую — лошадь. Стой, говорят тебе! А сколько у вас при себе денег?

— Не много, — краснея, ответил Николас, — но я могу устроиться так, чтобы хватило. Стоит, знаете ли, захотеть, и способ найдется.

Джон Брауди не дал никакого словесного ответа на Это замечание, но, сунув руку в карман, вытащил старый, засаленный кожаный кошелек и настоял на том, чтобы Николас занял у него столько, сколько ему может понадобится на неотложные нужды.

— Не стесняйся, приятель, — сказал он, — бери столько, чтобы хватило добраться до дому. Знаю, когда-нибудь ты мне их вернешь.

Однако Николас согласился занять только один соверен, каковою ссудой мистер Брауди поневоле должен был удовлетвориться, хотя долго уговаривал взять больше (заметив, с оттенком йоркширской осмотрительности, что если Николас всего не истратит, то излишек может отложить, пока не представится случай переслать бесплатно).

— Прихвати эту дубинку, приятель, будешь на нее опираться, — добавил Джон, всовывая Николасу свою палку и еще раз стискивая ему руку. — Не падай духом, и господь с тобой! Приколотил владельца школы! Ей-богу, двадцать лет не слышал такой славной штуки!

Говоря это и, с большей деликатностью, чем можно было от него ждать, разражаясь снова оглушительным смехом, чтобы избежать благодарности, которую изливал Николас, Джон Брауди пришпорил свою лошадь и отъехал легким галопом, время от времени оглядываясь на смотревшего ему вслед Николаса и весело махая ему рукой, словно желая его подбодрить. Николас следил за лошады и всадником, пока они не скрылись за гребнем дальнего холма, а затем тронулся в путь.

В тот день он недалеко ушел, потому что уже почти стемнело, а после сильного снегопада не только идти было утомительно, но и отыскивать дорогу стало делом рискованным и трудным для всех, кроме искушенных путников. Эту ночь он провел в коттедже, где за дешевую плату давали постель бедным путешественникам, и, очень рано встав на следующее утро, добрался к ночи до Боробриджа. Проходя по городу в поисках какого-нибудь дешевого пристанища, он случайно наткнулся на пустой амбар ярах в двухстах от дороги; здесь, в теплом уголке, он растянулся усталый и скоро заснул.

Проснувшись на следующее утро и пытаясь вспомнить свои сновидения, которые были связаны с Дотбойс-Холлом, он сел, протер глаза и широко их раскрыл; лицо его выразило при этом отнюдь не безмятежное спокойствие — при виде какого-то неподвижного предмета, казалось, застывшего перед ним на расстоянии нескольких ярдов.

— Странно! — воскликнул Николас. — Неужели этот образ вызван ночными сновидениями, от которых я еще не совсем очнулся? Это не может быть наяву, и, однако... однако, я не сплю. Смайк!

Фигура пошевелинулась, встала, приблизилась и упала на колени у его ног. Это и в

самом деле был Смайк.

— Почему вы опускаетесь передо мной на колени? — воскликнул Николас, поспешно поднимая его.

— Я хочу идти с вами... куда угодно... всюду... на край света... до могилы, — ответил Смайк, цепляясь за его руку. — О, позвольте мне, позвольте мне! Вы мой родной дом, мой добрый друг... Прошу вас, возьмите меня с собой!

— Друг, который мало что может для вас сделать, — ласково сказал Николас. Как вы сюда попали?

Оказывается, он шел за ним следом, всю дорогу не терял его из виду, сторожил, пока Николас спал и когда останавливался закусить, и не решался попадаться ему на глаза из боязни, как бы его не отослали назад. Он и сейчас не хотел показываться, но Николас проснулся внезапно, когда он этого не ожидал, и он не успел спрятаться.

— Бедняга! — сказал Николас. — Ваша печальная судьба оставила вам только одного друга, да и тот почти так же беден и беспомощен, как вы.

— Можно мне... можно мне идти с вами? — робко спросил Смайк. — Я буду вашим верным работающим слугой, обещаю вам. Никакой одежды мне не нужно, добавило жалкое создание, завертываясь в свои лохмотья. — Эта еще годится. Я хочу только быть около вас...

— И будете! — воскликнул Николас. — И мир будет для вас тем же, чем и для меня, пока один из нас или мы оба не покинем его для мира иного. Идем!

С этими словами он взвалил на плечи ношу и, взяв в одну руку палку, другую протянул своему возбужденному от радости спутнику, и они вместе вышли из старого амбара.

Глава XIV,

к сожалению, повествует только о маленьких людях а, натурально, является малоинтересной и незначительной

В той части Лондона, где расположен Гольдн-сквер, находится заброшенная, поблекшая, полуразрушенная улица с двумя неровными рядами высоких тощих домов, которые уже много лет как будто таращат друг на друга глаза. Кажется, даже трубы стали унылыми и меланхолическими, потому что за неимением лучшего занятия им остается только смотреть на трубы через дорогу. Верхушки у них потрескавшиеся, разбитые и почерневшие от дыма, а кое-где ряд труб, более высоких, чем остальные, тяжело склоняясь набок и нависая над крышей, словно замышляет отомстить за полувековое пренебрежение и обрушиться на обитателей чердаков.

Куры, отыскивающие себе корм у желобов, передвигаясь с места на место подпрыгивающей походкой, которая свойственна только городским курам и привела бы в недоумение деревенских, вполне под стать ветхим жилищам своих владельцев. Грязные, со скудным оперением, вялые птицы, посланные, как и множество детей по соседству, добывать пропитание на улицах, они прыгают с камня на камень в отчаянных поисках чего-нибудь съестного, затерявшегося в грязи, и едва в силах подать голос. Единственной птицей, обладающей чем-то напоминающим голос, является старый бантамский петух булочника, да и тот охрип от плохой жизни у последнего из своих хозяев.

Судя по величине домов, их когда-то занимали люди более состоятельные, чем нынешние жильцы, а теперь в них сдают понедельно этажи или комнаты, и на каждой двери чуть ли не столько же табличек и ручек от звонков, сколько комнат внутри. По той же причине окна довольно разнообразны, так как украшены всевозможнейшими шторами и занавесками; а каждая дверь загорожена, и в нее едва можно войти из-за пестрой коллекции детей и портерных кружек всех размеров, начиная с грудного младенца и полупинтовой

кружки и кончая рослой девицей и бидоном вместительностью в полгаллона³⁵.

В окне гостиной одного из этих домов, который был, пожалуй, чуть-чуть погрязнее своих соседей, выставлял напоказ большее количество ручек от звонков, большее количество детей и портерных кружек и первым ловил во всей их свежести клубы густого черного дыма, извергавшегося днем и ночью из большой пивоварни, находившейся поблизости, — висело объявление, что в стенах этого дома сдается внаем еще одна комната. Но в каком этаже могла быть свободная комната, этот вопрос было бы не под силу разрешить мальчику, умеющему решать задачи, если принять во внимание, что по всему фасаду виднелись знаки пребывания многочисленных жильцов, начиная с катка для белья в окне кухни и кончая цветочными горшками на парапете.

Общая лестница в доме была не покрыта ковром и неприглядна; любознательный посетитель, которому предстояло взобраться наверх, мог заметить, что здесь немало признаков, указывающих на прогрессирующую бедность жильцов, хотя комнаты и были заперты. Так, например, жильцы второго этажа, имея избыток мебели, держали снаружи, на площадке лестницы, старый стол красного дерева — настоящего красного дерева, — который вносили лишь в случае необходимости. На третьем этаже лишняя мебель состояла из двух старых сосновых стульев, из коих один, предназначенный для задней комнаты, был без ножки и без сиденья. Верхнему этажу нечем было похвалиться, кроме источенного червем умывальника, а на чердачной площадке красовались такие ценные предметы, как два искалеченных кувшина и несколько разбитых банок из-под ваксы.

Вот на этой-то площадке и остановился пожилой оборванный человек с четырехугольным лицом и резкими чертами, чтобы отпереть дверь передней мансарды, куда, с трудом повернув ржавый ключ в еще более ржавом замке, он вошел с видом законного владельца.

Этот субъект носил парик из коротких жестких рыжих волос, который он снял вместе со шляпой и повесил на гвоздь. Надев вместо него грязный ночной колпак из бумажной материи и пошарив в темноте, пока не нашел огарка, он постучал в перегородку, разделявшую две мансарды, и громким голосом осведомился, горит ли у мистера Ногса свет.

Звуки, донесшиеся до него, были приглушены дранками и штукатуркой, и вдобавок казалось, будто говоривший издавал их из глубины кружки или какого-нибудь другого сосуда для питья, но они были произнесены голосом Ньюмена и выражали утвердительный ответ.

— Скверная погода сегодня, мистер Ногс, — сказал человек в ночном колпаке, входя, чтобы зажечь свою свечу.

— Дождь идет? — осведомился Ньюмен.

— Идет ли дождь? — брюзгливо переспросил тот. — Я промок насквозь.

— Не много нужно, чтобы промочить нас с вами насквозь, мистер Кроуль, сказал Ньюмен, кладя руку на отворот своего изношенного сюртука.

— И потому это еще досаднее, — тем же брюзгливым тоном заметил мистер Кроуль.

Его грубая физиономия выражала все характеристические черты эгоизма; что-то бурча себе под нос, он стал разгребать жалкий огонь, едва не выгребая его из очага, и, осушив стакан, который подвинул к нему Ногс, спросил, где у него уголь.

Ньюмен Ногс указал в глубину кухонного шкафа, а мистер Кроуль, схватив совок, подобрал половину запасов, каковую Ногс преспокойно сбросил обратно, не промолвив при этом ни слова.

— Надеюсь, вы не стали экономным в ваши годы? — сказал Кроуль.

Ньюмен Ногс указал на пустой стакан, словно он был достаточным опровержением этого обвинения, и кратко объявил, что идет вниз ужинать.

— К Кенуигсам? — спросил Кроуль. Ньюмен кивнул утвердительно.

— Подумать только! — вскричал Кроуль. — А я-то был уверен, что вы не пойдете, ведь

вы мне сказали, что не пойдете, и я сказал Кенуигсам, что не приду, и решил провести вечер с вами.

— Я должен пойти, — сказал Ньюмен. — Они настаивали.

— Ну, а что делать мне? — добивался эгоист, который ни о ком другом никогда не думал. — Это все ваша вина! Я вам вот что скажу: я посижу у вашего камелька, пока вы не вернетесь.

Ньюмен бросил скорбный взгляд на скудный запас топлива, но, не имея мужества сказать «нет» (слово, которое за всю свою жизнь он ни разу не сказал вовремя ни себе, ни кому бы то ни было другому), согласился на предложение. Мистер Кроуль немедленно расположился за счет Ногса со всеми удобствами, насколько это позволяли обстоятельства.

Жильцами, коих Кроуль называл «Кенуигсы», были жена и потомство некоего мистера Кенуигса, резчика по слоновой кости, которого считали в доме особой довольно значительной, так как он занимал весь второй этаж, состоявший из двух комнат. Миссис Кенуигс также была по своим манерам настоящей леди и происходила из очень благородной семьи: у нее был дядя — сборщик платы за пользование водопроводом. Помимо этого отличия, ее две старшие дочери посещали дважды в неделю танцкласс в этом квартале, перевязывали голубыми лентами льняные волосы, спускавшиеся по спине роскошными косами, и носили белые панталончики с оборками у лодыжек. По всем этим причинам и другим, не менее основательным, но слишком многочисленным, чтобы о них упоминать, миссис Кенуигс почиталась весьма желательной знакомой и постоянно служила предметом толков по всей улице и даже на расстоянии трех-четырех домов за углом.

Была годовщина того счастливого дня, когда государственная англиканская церковь подарила миссис Кенуигс мистеру Кенуигсу, и в память этого дня миссис Кенуигс пригласила нескольких избранных друзей на ужин с картами, а для их приема надела новое платье. Это платье — цвета пламени и сшитое по фасону для юных девиц — вышло столь удачно, что, по словам мистера Кенуигса, восемь лет супружеской жизни и пять человек детей казались лишь сновидением, а миссис Кенуигс — более молодой и цветущей, чем в то самое первое воскресенье, какое он провел с нею.

Сколь прекрасной ни казалась миссис Кенуигс, когда нарядилась, сколь бы красноречиво величественный ее вид ни убеждал бы вас в том, что у нее есть по крайней мере кухарка и горничная, которыми она командует, — на нее свалилось много хлопот, право же больше, чем она, будучи хрупкого и деликатного сложения, могла вынести, если бы ее не поддерживала гордость домашней хозяйки. Но в конце концов все, что нужно было приготовить, было приготовлено, все, что нужно было прибрать, было прибрано, и сам сборщик платы за водопровод обещал прийти — фортуна на сей раз улыбнулась.

Общество было превосходно подобрано. Присутствовали прежде всего мистер Кенуигс, миссис Кенуигс и четыре отпрыска Кенуигсов, которые не ложились до ужина, — во-первых, потому, что в такой день они по справедливости должны были получить угощение, а во-вторых, потому, что укладывать их спать в присутствии гостей было бы неудобно, чтобы не сказать неприлично.

Далее, была здесь молодая леди, которая шила платье миссис Кенуигс и, живя в задней комнате на третьем этаже, что было в высшей степени удобно, уступила свою постель младенцу и наняла девочку присматривать за ним. Затем, под стать этой молодой леди, присутствовал молодой человек, который знал мистера Кенуигса в бытность его холостяком и был весьма уважаем дамами за свою репутацию повесы. Была здесь еще чета молодоженов, которая бывала у мистера и миссис Кенуигс в пору ухаживания, а также сестра миссис Кенуигс, писаная красавица, и присутствовал еще один молодой человек, питавший, как полагали, честные намерения относительно последней упомянутой леди, и мистер Ногс, которого приглашать считалось приличным, потому что он когда-то был джентльменом. Здесь присутствовала также пожилая леди из задней комнаты первого этажа и другая леди, помоложе, которая после сборщика являлась, пожалуй, главной приманкой праздника, ибо, будучи дочерью театрального пожарного, «представляла» в пантомиме и отличалась

замечательнейшими сценическими способностями, доселе еще невиданными, — пела и декламировала так, что вызывала слезы на глазах миссис Кенуигс. Лишь одно обстоятельство омрачало радость встречи с такими друзьями: леди из задней комнаты первого этажа, очень толстая да к тому же лет шестидесяти, пришла в тонком муслиновом платье с большим декольте и в коротких лайковых перчатках, чем привела в отчаяние миссис Кенуигс; и миссис Кенуигс по секрету уведомила своих гостей, что, если бы в этот самый момент ужин не разогревался на печке в задней комнате первого этажа, она непременно предложила бы владелице комнаты удалиться.

— Дорогая моя, — сказал мистер Кенуигс, — не сыграть ли нам в карты?

— Кенуигс, дорогой мой, — возразила его жена, — ты меня удивляешь. Неужели ты хотел бы начать без моего дяди?

— Я забыл о сборщике, — сказал Кенуигс. — О нет, это никак невозможно!

— Он такой строгий, — сказала миссис Кенуигс, обращаясь к другой замужней леди. — Если бы мы начали без него, я была бы навеки вычеркнута из его завещания.

— Ах, боже мой! — воскликнула замужняя леди.

— Вы понятия не имеете, каков он, — отозвалась миссис Кенуигс, — и все же, это добрейшее создание.

— Добросердечнейший человек, — сказал Кенуигс.

— Должно быть, сердце у него надрывается, когда приходится выключать воду, если люди не платят, — заметил приятель-холостяк, вздумав пошутить.

— Джордж! — торжественно сказал мистер Кенуигс. — Чтобы этого не было, прошу вас!

— Я только пошутил, — сказал пристыженный приятель.

— Джордж, — возразил мистер Кенуигс, — шутка вещь очень хорошая, очень хорошая, но, если эта шутка задевает чувства миссис Кенуигс, я протестую против нее. Человек, занимающий общественный пост, должен быть готов к тому, что его высмеивают: эта вина не его, но высокого его положения. Родственник миссис Кенуигс — лицо общественное, и он это знает, Джордж, и может снести насмешки. Но, оставляя в стороне миссис Кенуигс (если бы в данном случае я мог оставить в стороне миссис Кенуигс), я благодаря моему браку имею честь состоять в родстве со сборщиком, и я не могу допустить такие замечания в моем... — мистер Кенуигс хотел сказать «доме», но закруглил фразу словами «в моей квартире».

По окончании этой речи, которая вызвала сильное волнение у миссис Кенуигс и произвела желаемое действие, внушив компании полное представление о достоинстве сборщика, зазвонил колокольчик.

— Это он! — в смятении прошептал мистер Кенуигс. — Морлина, милая, беги вниз,пусти дядю и поцелуй его, как только откроешь дверь... Гм! Давайте беседовать!

Следуя предложению мистера Кенуигса, гости заговорили очень громко, чтобы иметь вид веселый и непринужденный, и, как только они принялись за это дело, невысокий старый джентльмен в коричневом костюме и гетрах, с лицом, словно вырезанным из железного дерева, был весело введен в комнату мисс Морлиной Кенуигс, о необычном имени которой можно здесь заметить, что оно было придумано миссис Кенуигс перед первыми родами, чтобы особо отличить первенца, если таковой окажется дочерью.

— Ах, дядя, я так рада вас видеть! — сказала миссис Кенуигс, горячо целуя сборщика в обе щеки. — Так рада!

— Желаю тебе, дорогая моя, еще много раз праздновать этот счастливый день, — сказал сборщик, отвечая на приветствие.

Но вот что было интересно: здесь находился сборщик платы за пользование водопроводом, однако он не принес с собой обычной своей книги, пера и чернил, не постучал дважды в дверь, не навел трепет и целовал — да, именно, целовал — приятную особу женского пола, и не распространялся о налогах, вызовах в суд, извещениях, и не говорил, что он заходил и что больше уже не зайдет взимать плату за два квартала. Приятно

было наблюдать, как смотрели на него гости, поглощенные этим зрелищем, и видеть кивки и подмигиванья, которыми они выражали свою радость по поводу того, что нашли столько человечности у сборщика налогов.

— Где вы хотите сесть, дядя? — спросила миссис Кенуигс, вся сияя от семейной гордости, вызванной приходом знатного родственника.

— Где угодно, дорогая моя, — ответил сборщик. — Я непривередлив.

Непривередлив! Какой скромный сборщик! Будь он писателем, знающим свое место, он не мог бы быть более смиренным.

— Мистер Лиливик, — сказал Кенуигс, обращаясь к сборщику, — друзья, присутствующие здесь, сэр, жаждут иметь честь... Благодарю вас... Мистер и миссис Катлер — мистер Лиливик.

— Горжусь знакомством с вами, сэр, — сказал мистер Катлер. — Я очень часто о вас слышал.

Это была не пустая вежливость, ибо мистер Катлер, проживая в приходе мистера Лиливика, и в самом деле слышал о нем очень часто. Аккуратность, с какой тот наносил визиты, была поистине изумительна.

— Джордж, вы, вероятно, знаете мистера Лиливика, — продолжал Кенуигс. Леди из нижнего этажа — мистер Лиливик. Мистер Сньюкс — мистер Лиливик. Мисс Грин — мистер Лиливик. Мистер Лиливик — мисс Питоукер из Королевского театра Друри-Лейн. Очень рад познакомиться двух выдающихся особ. Миссис Кенуигс, дорогая моя, не рассортируете ли вы фишки?

Миссис Кенуигс с помощью Ньюмена Ногса (так как он всегда был ласков с детьми, то все пошли навстречу его требованию не обращать на него внимания и упоминали о нем только шепотом, как об опустившемся джентльмене) исполнила просьбу, и большинство гостей уселось за карты, тогда как сам Ньюмен, миссис Кенуигс и мисс Питоукер из Королевского театра Друри-Лейн стали накрывать стол к ужину.

Пока леди занимались этим делом, мистер Лиливик углубился в игру, а так как всякий улов хорош для сетей сборщика платы за водопровод, то приятный старый джентльмен не совестился присваивать себе имущество соседей; он прикарманивал его при каждом удобном случае, все время улыбаясь добродушно и с такими снисходительными речами обращаясь к владельцам, что последние были в восторге от его любезности и в глубине души считали его достойным занять пост по крайней мере канцлера казначейства.

После длительных хлопот и многочисленных подзатыльников, розданных малюткам Кенуигс, причем две самые непокорные были быстро изгнаны, стол был накрыт с большой элегантностью и поданы две вареные курицы, большой кусок свинины, яблочный пирог, картофель и зелень; при этом зрелище достойный мистер Лиливик изрек множество острот и удивительно приободрился, к безграничному восторгу и удовольствию всех своих поклонников.

Очень мило и очень быстро прошел ужин, не возникало затруднений более серьезных, чем те, какие были вызваны постоянным требованием чистых ножей и вилок, а это обстоятельство заставило бедную миссис Кенуигс не раз пожелать, чтобы в частном доме усвоили порядок, принятый в школе, и предлагали каждому гостю приносить свои собственные нож, вилку и ложку; это несомненно было бы весьма удобно, главным образом для хозяйки и хозяина дома, и в особенности — если бы школьный принцип проводился во всей его полноте и упомянутые принадлежности надлежало из деликатности не уносить потом с собой.

Каждый вкусил от всего, со стола было убрано прямо-таки с устрашающей быстротой и ужасным шумом, и когда крепкие напитки, при виде которых у Ньюмена Ногса заблестели глаза, были выстроены в строгом порядке вместе с водой, горячей и холодной, общество приготовилось их вкушать. Мистера Лиливика усадили в большое кресло у камина, а четырех маленьких Кенуигс поместили на скамеечке перед гостями таким образом, что их льняные косички были обращены к гостям, а их лица — к огню. Как только завершилось такое

размещеуие, миссис Кенуигс ослабела от наплыва материнских чувств и, утопая в слезах, поникла на левое плечо мистера Кенуигса.

— Они так прелестны! — рыдая, сказала миссис Кенуигс.

— Ах, это правда! — подхватили все леди. — Вполне естественно, что вы гордитесь ими, но не поддавайтесь своим чувствам, не поддавайтесь.

— Я ничего... не могу поделать, — всхлипывала миссис Кенуигс. — О, они слишком прелестны, чтобы жить, слишком, слишком прелестны!

Услышав о страшном предчувствии, что они обречены на раннюю смерть в расцвете своего младенчества, все четыре девочки испустили жуткий вопль и, зарывшись одновременно головами в колени матери, начали визжать, пока не задрожали восемь косичек; а миссис Кенуигс по очереди прижимала дочерей к своей груди, принимая позы, выражавшие такое отчаяние, что их могла бы перенять сама мисс Питоукер.

Наконец нежная мать позволила привести себя в более спокойное состояние духа, а маленькие Кенуигсы, также утихомирившиеся, были распределены среди гостей, чтобы воспрепятствовать новому приступу слабости у миссис Кенуигс при виде совместного сияния их красоты.

Когда с этим было покончено, леди и джентльмены принялись предрекать, что малютки проживут много-много лет и что у миссис Кенуигс нет никаких оснований расстраиваться. По правде сказать, их как будто и в самом деле не было, так как очарование детишек отнюдь не оправдывало ее опасений.

— В этот день восемь лет назад... — помолчав, сказал мистер Кенуигс. Боже мой!.. Ах!

На это замечание откликнулись все присутствующие, сказав сначала «ах», а потом «боже мой».

— Я была тогда моложе, — захихикала миссис Кенуигс.

— Нет! — сказал сборщик.

— Конечно, нет! — подхватили все.

— Я как будто вижу мою племянницу, — сказал мистер Лиливик, с важностью обозревая свою аудиторию, — как будто вижу ее в тот самый день, когда она впервые призналась своей матери в склонности к Кенуигсу. «Мама! — сказала она. — Я люблю его».

— Я сказала «обожаю его», дядя, — вмешалась миссис Кенуигс.

— Кажется мне, «люблю его», дорогая моя, — твердо заявил сборщик.

— Может быть, вы правы, дядя, — покорно согласилась миссис Кенуигс. — Я думаю, что сказала «обожаю».

— «Люблю», дорогая моя, — возразил мистер Лиливик. — «Мама! — сказала она. — Я люблю его». — «Что я слышу?» — восклицает ее мать, и тотчас же у нее начинаются сильные конвульсии.

У всех гостей вырвалось изумленное восклицание.

— Сильные конвульсии! — повторил мистер Лиливик, бросая на них суровый взгляд. — Кенуигс извинит меня, если я скажу в присутствии друзей, что против него выдвигались очень серьезные возражения, так как по своему происхождению он стоял ниже нашего семейства и был для нас пятном. Вы помните, Кенуигс?

— Разумеется, — ответил этот джентльмен, отнюдь не огорченный таким напоминанием, раз оно доказывало, вне всяких сомнений, из какой важной семьи происходит миссис Кенуигс.

— Я разделял это чувство, — сказал мистер Лиливик. — Быть может, оно было натурально, а может быть — нет.

Тихий шепот, казалось, дал понять, что со стороны человека, занимающего такое положение, как мистер Лиливик, возражение было не только натуральным, но и весьма похвальным.

— Со временем я изменил свое отношение, — продолжал мистер Лиливик. Когда они поженились и уже ничего нельзя было поделать, я был одним из первых, кто сказал, что на Кенуигса следует обратить внимание. В конце концов по моему настоянию семья обратила

на него внимание, и я должен сказать и говорю с гордостью, что всегда видел в нем честного, благовоспитанного, прямодушного и респектабельного человека. Кенуигс, вашу руку!

— Горжусь этим, сэр, — сказал мистер Кенуигс.

— Я тоже, Кенуигс, — отозвался мистер Лиливик.

— Счастливая была у меня жизнь с вашей племянницей, сэр! — сказал Кенуигс.

— Ваша была бы вина, если бы случилось иначе, сэр, — заметил мистер Лиливик.

— Морлина Кенуигс, — воскликнула в этот торжественный момент ее мать, чрезвычайно растроганная, — поцелуй дядю!

Юная леди исполнила это требование, и три остальные девочки были по очереди подняты к физиономии сборщика и подверглись той же процедуре, каковую затем проделало с ними и большинство присутствующих.

— Ах, миссис Кенуигс, — сказала мисс Питоукер, — пока мистер Ногс готовится пунш, чтобы выпить за счастливую годовщину, пусть Морлина исполнит перед мистером Лиливиком тот самый танец с фигурами.

— Нет, нет, дорогая моя! — возразила миссис Кенуигс. — Это только беспокоит моего дядю.

— Я уверена, что это не может его беспокоить, сказала мисс Питоукер. Ведь вам это доставит большое удовольствие, не правда ли, сэр?

— В этом я не сомневаюсь, — ответил сборщик, следя за приготовлением пунша.

— В таком случае, вот что я вам предложу, — сказала миссис Кенуигс, Морлина исполнит свое па, если дядя уговорит мисс Питоукер продекламировать нам после этого «Похороны вампира».

Тут раздались громкие рукоплескания, виновница которых несколько раз грациозно склонила голову в благодарность за прием.

— Вы знаете, — укоризненно сказала мисс Питоукер, — что я не люблю выступать как артистка на семейных вечерах.

— Но это к нам не относится! — возразила миссис Кенуигс. — Мы все так дружески расположены к вам, что вы словно у себя дома. К тому же такой случай...

— Перед этим я не могу устоять, — перебила мисс Питоукер. — Я с наслаждением сделаю все, что в моих слабых силах.

Миссис Кенуигс и мисс Питоукер заранее составили вдвоем эту маленькую программу увеселений, порядок которых был определен, но они порешили, что на обе стороны нужно оказать некоторое давление, ибо так будет более естественно.

Когда все притихли в ожидании, мисс Питоукер начала напевать мелодию, а Морлина исполнила танец; перед этим ей так тщательно натерли подошвы башмаков мелом, как будто она собиралась ходить по канату. Это был очень красивый танец с фигурами, требовавший немалой работы рук, и его приняли с великим одобрением.

— Если бы мне посчастливилось иметь... иметь дитя, — зардевшись, сказала мисс Питоукер, — дитя с такими гениальными способностями, я бы немедленно отдала его на оперную сцену.

Миссис Кенуигс вздохнула и посмотрела на мистера Кенуигса, который покачал головой и заметил, что он колеблется.

— Кенуигс боится, — сказала миссис Кенуигс.

— Чего? — осведомилась мисс Питоукер. — Неужели ее провала?

— О нет! — ответила миссис Кенуигс. — Но если, став взрослой, она будет такой же, как теперь... подумайте только о молодых герцогах и маркизах!

— Совершенно верно! — сказал сборщик.

— Однако, — почтительно заметила мисс Питоукер, если она, знаете ли, будет держать себя с надлежащим достоинством...

— Это очень справедливое замечание, — заявила миссис Кенуигс, поглядывая на своего супруга.

— Я знаю только, — заикаясь, промолвила мисс Питоукер, — конечно, это может и не

быть общим правилом... но я никогда не сталкивалась с такого рода затруднениями и неприятностями.

Мистер Кенуигс сказал, с подобающей галантностью, что это сразу решает вопрос и что он подвергнет сей предмет серьезному рассмотрению. Когда с этим было покончено, мисс Питоукер уговорили начать «Похороны вампира», для каковой цели молодая леди распустила волосы, стала в другом конце комнаты и, поместив в углу приятеля-холостяка, чтобы тот выбежал при словах «испускаю последний вздох» и подхватил ее в свои объятия, когда она будет умирать в бреду безумия, сыграла свою роль с удивительным одушевлением и к великому ужасу маленьких Кенуигс, с которыми от испуга чуть не сделались судороги.

Восторги, вызванные исполнением, еще не улеглись и Ньюмен (очень, очень давно он не бывал совершенно трезвым в такой поздний час) еще не мог вставить слово и возвестить, что пунш готов, когда послышался торопливый стук в дверь, заставивший взвизгнуть миссис Кенуигс, которая немедленно высказала догадку, что младенец упал с кровати.

— Кто там? — резко спросил мистер Кенуигс.

— Не пугайтесь, это я, — сказал Кроуль, в ночном колпаке заглядывая в комнату. — Младенец чувствует себя прекрасно. Я к нему зашел, спускаясь вниз, и он крепко спал, а также и девочка спала, и я не думаю, чтобы от свечи зажегся полог, разве что в случае сквозняка... Это спрашивают мистера Ногса!

— Меня?! — воскликнул крайне изумленный Ньюмен.

— Да, не правда ли, странно в такой час? — отозвался Кроуль, который был не очень-то доволен перспективой лишиться своего местечка у очага. — И люди очень странные на вид, вымокшие под дождем и все в грязи. Сказать им, чтобы они ушли?

— Нет, — ответил Ньюмен, вставая. — Люди? Сколько их?

— Двое, — сказал Кроуль.

— Спрашивают меня? По фамилии? — осведомился Ньюмен.

— По фамилии, — ответил Кроуль. — Мистера Ньюмена Ногса, буква в букву.

Ньюмен несколько секунд размышлял, а затем поспешно вышел, бормоча, что сейчас вернется. Слово свое он сдержал, ибо через весьма короткое время ворвался в комнату и, схватив без всяких извинений или объяснений горящую свечу и полный стакан горячего пунша, выбежал, как сумасшедший.

— Черт побери, что с ним случилось? — распахнув дверь, воскликнул Кроуль. — Тише! Не слышно ли шума наверху?

Гости в смятении поднялись и, заглядывая друг другу в лицо с большим недоумением и не без страха, вытянули шеи и стали напряженно прислушиваться.

Глава XV,

знакомит читателя с причиной и происхождением помехи, описанной в предшествующей главе, а также с другими событиями, которые знать необходимо

Ньюмен Ногс впопыхах вскарабкался наверх с дымящимся напитком, который он столь бесцеремонно похитил со стола мистера Кенуигса и в сущности из-под самого носа водопроводного сборщика, каковой созерцал содержимое стакана в момент неожиданного его исчезновения с живейшими признаками удовольствия, отражавшимися на физиономии. Ньюмен отнес свою добычу прямо к себе, в заднюю мансарду, где сидели, с израненными ногами и в разваливающихся башмаках, мокрые, грязные, изнуренные, носившие на себе следы утомительного путешествия, Николас и Смайк, его спутник, виновник этого трудного странствия, оба совершенно измученные непривычным для них долгим переходом.

Первое, что сделал Ньюмен, — это принудил Николаса выпить залпом полстакана чуть ли не кипящего пунша, а затем влил оставшееся в горло Смайку, который, ни разу в жизни не отведав ничего более крепкого, чем слабительное, проявлял всевозможные странные

признаки изумления и восторга, пока жидкость проходила в горло, и очень выразительно закатил глаза, когда она вся прошла.

— Вы насквозь промокли, — сказал Ньюмен, торопливо проводя рукой по снятому Николасом сюртуку, — а мне... мне даже нечего дать вам переодеться, добавил он, грустно взглянув на поношенный костюм, который был на нем. — У меня в свертке есть сухое платье или во всяком случае вещи, которыми я прекрасно могу обойтись, — ответил Николас. — Если вы будете смотреть на меня с таким жалобным видом, вы заставите меня еще сильнее пожалеть о том, что я вынужден посягнуть на ваши скудные средства и обратиться с просьбой о помощи и пристанище на одну ночь. Лицо Ньюмена отнюдь не прояснилось от таких речей Николаса, но когда молодой его друг горячо пожал ему руку и заявил, что только полная уверенность в искренности его слов и доброжелательстве побудила его, Николаса, осведомить его о своем прибытии в Лондон, мистер Ногс снова просиял и с превеликим проворством занялся всевозможными приготовлениями, какие были ему по силам, чтобы угодить гостям. Они были довольно просты; средства бедного Ньюмена далеко отстали от его желаний, но как бы ни были ничтожны эти приготовления, они сопровождались чрезвычайной суетой и беготней. Николас столь разумно распорядился своим мизерным запасом денег, что они еще не иссякли, и потому на столе вскоре появился ужин, состоящий из хлеба, сыра и холодной говядины, купленной в съестной лавке; поскольку же этим яствам сопутствовали бутылка горячительного и кувшин портера, не было во всяком случае оснований опасаться голода или жажды. Те приготовления, какие во власти Ньюмена было сделать для устройства гостей на ночь, заняли не очень много времени, и, когда он настоял как на срочной и необходимой мере, чтобы Николас переоделся, а Смайк облекся в единственный сюртук Ньюмена (каковой тот для этой цели снял, не слушая никаких уговоров), путешественники принялись за скромную трапезу с большим удовольствием, чем по крайней мере один из них получал когда-то от лучшего угощения.

Затем они подсели к камину, который Ньюмен растопил так жарко, как только мог после набегов Кроуля на уголь, и Николас, которого до сих пор сдерживали настойчивые просьбы друга подкрепиться после путешествия, принялся осаждать его нетерпеливыми вопросами о матери и сестре.

— Здоровы, — ответил Ньюмен со свойственным ему лаконизмом. — Обе здоровы.

— Они по-прежнему живут в Сити? — осведомился Николас.

— По-прежнему, — сказал Ньюмен.

— А моя сестра, — продолжал Николас, — она попрежнему занимается той работой, о которой писала мне, что, кажется, она придется ей по душе?

Ньюмен раскрыл глаза несколько шире, чем обычно, но ответил только разеваньем рта, каковое разеванье, в зависимости от движения головы, его сопровождавшего, истолковывалось друзьями, как да или нет. В данном случае пантомима заключалась в кивке, а не в покачивании головой, поэтому Николас счел ответ благоприятным.

— Теперь выслушайте меня! — сказал Николас, кладя руку на плечо Ньюмена. — Прежде чем попытаться их увидеть, я решил прийти к вам из боязни, что, удовлетворяя свое эгоистическое желание, я причиню им неприятности, которые никогда не в силах буду устранить. Какие сведения из Йоркшира получил мой дядя?

Ньюмен несколько раз открывал и закрывал рот, как будто изо всех сил старался заговорить и ничего у него не выходило, и, наконец, устремил на Николаса мрачный и зловещий взгляд.

— Какие сведения он получил? — краснея, настаивал Николас. — Вы видите, я готов услышать самое худшее, что могла подсказать злоба. Зачем же вам скрывать это от меня? Рано или поздно я все равно узнаю. К чему хранить таинственный вид в течение нескольких минут, хотя половины этого времени было бы достаточно, чтобы я узнал все, что произошло? Прошу вас, скажите мне сразу.

— Завтра утром, — заявил Ньюмен. — Услышите завтра утром.

— Чего вы этим достигнете? — возразил Николас.

— Вы будете лучше спать, — ответил Ньюмен.

— Я буду хуже спать! — нетерпеливо сказал Николае. — Спать! Как я ни истощен и как ни нуждаюсь в отдыхе, нечего надеяться, чтобы я сомкнул глаза за всю ночь, если вы мне не расскажете всего!

— А если я расскажу вам все? — колеблясь, осведомился Ньюмен.

— Ну что ж, быть может, вы возбудите мое негодование или раните мою гордость, — отозвался Николас, — но сна моего вы не нарушите, потому что, повторись та сцена, я бы не мог поступить иначе. И к каким бы последствиям это не привело меня, я никогда не пожалею о том, что сделал, — никогда, хотя бы умирал с голоду или просил милостыню! Лучше бедность или страданье, но только не позор, порожденный чудовищной и бесчеловечной подлостью! Говорю вам — если бы я смотрел на это спокойно и безучастно, я бы возненавидел себя и заслужил бы презрение всего мира. Гнусный негодяй!

После этого любезного намека на отсутствующего мистера Сквирса Николас подавил нарастающий гнев и, подробно поведав Ньюмену о том, что произошло в Дотбойс-Холле, умолял его рассказать все без дальнейших уговоров. Вняв его мольбе, Ногс достал из старого чемодана лист бумаги, исписанный, казалось, второпях, и, выразив всевозможными изумительными гримасами свою неохоту рассказывать, изрек следующие слова:

— Мой милый юноша, вы не должны поддаваться... Это, знаете ли, не годится... вставать на защиту каждого, с кем плохо обращаются... когда хочешь продвинуться в жизни... Черт возьми! Я с гордостью услышал об этом и поступил бы точно так же!

Ньюмен сопровождал эту весьма несвойственную ему вспышку энергическим ударом по столу, словно, разгорячившись, принял его за грудь или ребра мистера Уэкфорда Сквирса. Таким открытым изъяслением чувств совершенно лишив себя возможности дать совет, исполненный житейской мудрости (а таково было первоначальное его намерение), мистер Ногс приступил прямо к делу.

— Третьего дня, — сказал Ньюмен, — ваш дядя получил это письмо. В его отсутствие я поспешил снять с него копию. Прочесть?

— Прошу вас, — ответил Николас. И Ньюмен Ногс прочел следующее:

«Дотбойс-Холл. Четверг утром.

Сэр!

Мой папаша просит меня написать вам, потому как доктора сумлеваются, будет ли он когда-нибудь снова владеть ногами, что мешает ему держать перо в руке.

Мы находимся в состоянии духа даже нельзя сказать в каком, и мой папаша — одна сплошная маска из синяков синих и зеленых, а также две парты поломаны. Нам пришлось отнести его вниз в кухню, где он теперь лежит. Поэтому вы можете судить, как низко с ним обошлись.

После того как ваш племянник, которого вы рекомендовали в учителя, учинил это моему папаше и прыгнул на его с ногами и выражался так, что мое перо не выдержит, он с ужасным неистовством напал на мою мамашу, швырнул ее на землю и на несколько дюймов вогнал ей в голову задний гребень. Еще бы немножко, и он вошел бы ей в череп. У нас есть медицинское свидетельство, что если бы это случилось, черепаший гребень повредил бы мозги.

После этого я и мой брат стали жертвами его бешенства, от которого мы очень сильно пострадали, что приводит нас к терзающей мысли, что какие-то повреждения нанесены нашему нутру, в особенности раз никаких знаков снаружи не видно. Я испускаю громкие вопли все время, пока пишу, а также и мой брат, а это отвлекает мое внимание и, надеюсь, извиняет мои ошибки.

Утолив свою кровожадность, чудовище убежало, захватив с собой мальчишку, отъявленного негодяя, которого он подстегнул к мятежу, а также кольцо с гранатом, принадлежащее моей мамаше, и так как его не задержали констебли, то, видно, его подобрала какая-нибудь почтовая карета. Мой папаша просит, чтобы кольцо возвратили, если он к вам придет, и чтобы вы отпустили вора

и убийцу, потому как если мы подадим на него в суд, его всего-навсего сошлют, а если он останется на свободе, его непременно скоро повесят, а это избавит нас от хлопот и будет гораздо приятнее. В надежде получить ответ, когда вам будет удобно, остаюсь ваша и пр. и пр.

Фанни Сквирс.

P.S. О его невежестве я сожалею, а его презираю».

По прочтении этого изысканного послания наступила глубокая тишина; складывая письмо, Ньюмен Ногс созерцал с какой-то забавной жалостью упомянутого в нем мальчишку, отъявленного негодяя, который, понимая во всем происходящем лишь то, что он явился злосчастной причиной обрушившихся на Николас неприятностей и клеветы, сидел безмолвный и удрученный, с самым мрачным и унылым видом.

— Мистер Ногс, — сказал Николас после нескольких секунд раздумья, — я должен сейчас же пойти.

— Пойти? — воскликнул Ньюмен.

— Да, — сказал Николас, — на Гольдн-сквер. Те, кто меня знает, не поверят этой истории с кольцом, но, быть может, для достижения цели или утоления ненависти мистеру Ральфу Никльби удобно притвориться, будто он ей верит. Мой долг — не перед ним, но перед собой — заявить об истинном положении вещей. А кроме того, я должен обменяться с ним двумя-тремя словами, и это дело не ждет.

— Подождет, — сказал Ньюмен.

— Нет, не подождет, — решительно возразил Николас, собираясь идти.

— Выслушайте меня! — сказал Ньюмен, загоразивая дорогу своему стремительному молодому другу. — Его там нет. Он уехал из города. Он вернется не раньше чем через три дня. И мне известно, что до своего возвращения он на письмо не ответит.

— Вы в этом уверены? — спросил Николас, волнуясь и быстрыми шагами меряя комнату.

— Совершенно! — ответил Ньюмен. — Он едва успел просмотреть письмо, когда его вызвали. Его содержание никому не известно, кроме него и нас.

— Уверены ли вы? — быстро спросил Николас. — Неизвестно даже моей матери и сестре? Если бы я подумал, что они... Я пойду туда... Я должен их видеть. Куда идти? Где они?

— Послушайтесь моего совета, — сказал Ньюмен, который, разгорячившись, заговорил, как и всякий другой человек, — не пытайтесь увидаться даже с ними, пока он не вернется домой. Я этого человека знаю. Надо, чтобы он не думал, будто вы тайком оказывали давление на кого бы то ни было. Когда он вернется, ступайте прямо к нему и говорите так смело, как только пожелаете. Что касается истинного положения дел, то оно ему известно не хуже, чем вам или мне. В этом можете на него положиться.

— Вы ко мне расположены, а его вы должны знать лучше, чем я, — сказал Николас после недолгого раздумья. — Хорошо, пусть будет так!

Ньюмен, который в течение этого разговора стоял спиной к двери, готовый силой воспрепятствовать — если будет необходимо — любой попытке гостя выйти из комнаты, с большим удовлетворением уселся на прежнее место, а так как вода в чайнике к тому времени закипела, он налил стакан виски с водой Николасу и наполнил треснутую кружку для себя и для Смайка, из которой они и пили вдвоем в полном согласии, тогда как Николас, подперев голову рукой, оставался погруженным в меланхолические размышления.

Тем временем компания внизу внимательно прислушивалась и, не услышав никакого шума, который оправдал бы ее вмешательство ради удовлетворения собственного любопытства, вернулась в комнату Кенуигсов и занялась обсуждением разнообразнейших догадок касательно причины внезапного исчезновения и длительного отсутствия мистера Ногса.

— Ах, я вам вот что скажу! — начала миссис Кенуигс. — Что, если прислали к нему нарочного сообщить, что он снова вступил во владение своим имуществом?

— Боже мой! — сказал мистер Кенуигс. — Это возможно. В таком случае, не послать ли нам к нему наверх спросить, может быть, он хочет еще немного пунша?

— Кенуигс! — громким голосом произнес мистер Лиливик. — Вы меня удивляете.

— Чем же это, сэр? — спросил с подобающей покорностью мистер Кенуигс сборщика платы за пользование водопроводом.

— Тем, что делаете подобное замечание, сэр, — сердито ответил мистер Лиливик. — Он уже получил пунш, не так ли, сэр? Я считаю, что тот способ, каким был перехвачен, если можно так выразиться, этот пунш, крайне невежлив по отношению к нашему обществу. Он возмутителен, просто возмутителен! Может быть, в этом доме принято допускать подобные вещи, но видеть такого рода поведение я не привык, о чем и заявляю вам, Кенуигс! Перед джентльменом стоит стакан пунша, который он уже собирается поднести ко рту, как вдруг приходит другой джентльмен, завладевает этим стаканом пунша, не сказав ни «с вашего разрешения», ни «если вы разрешите», и уносит этот стакан пунша с собой. Может быть, это и хорошие манеры, — полагаю, что так, — но я этого не понимаю, вот и все! Мало того — я не хочу понимать! Такова моя привычка высказывать мое мнение, Кенуигс, а мое мнение таково, и если оно вам не нравится, то час, когда я имею обыкновение ложиться спать, уже прошел, и я могу найти дорогу домой, не засиживаясь дольше.

Это был неприятный казус. Сборщик уже несколько минут сидел пыжась и кипяťясь, оскорбленный в своем достоинстве, и теперь взорвался. Великий человек... богатый родственник... дядя-холостяк, в чьей власти сделать Морлину наследницей и упомянуть в завещании даже о младенце, был обижен. Силы небесные, чем же это может кончиться!

— Я очень сожалею, сэр, — смиренно сказал мистер Кенуигс.

— Нечего мне говорить, что вы сожалеете, — обрезал мистер Лиливик. — В таком случае вы должны были этому помешать.

Общество было совершенно парализовано этой домашней бурей. Обитательница задней комнаты сидела с разинутым ртом, оцепенев от ужаса и тупо глядя на сборщика; остальные гости были вряд ли менее ошеломлены гневом великого человека. Не отличаясь ловкостью в таких делах, мистер Кенуигс только раздул пламя, пытаясь его потушить.

— Право же, я об этом не подумал, сэр, — сказал сей джентльмен. — Мне и в голову не пришло, что такой пустяк, как стакан пунша, может вывести вас из себя.

— Вывести из себя! Черт побери, что вы подразумеваете под этими дерзкими словами, мистер Кенуигс? — воскликнул сборщик. — Морлина, дитя, мою шляпу!

— О, вы не уйдете, мистер Лиливик, сэр! — вмешалась мисс Питоукер с самой обворожительной своей улыбкой.

Но мистер Лиливик, невзирая на сирену, кричал упрямо:

— Морлина, мою шляпу!

После четвертого повторения этого требования миссис Кенуигс упала в кресло с воплями, которые могли растрогать водопроводный кран, не говоря уже о водопроводном сборщике, а четыре маленькие девочки (которых потихоньку подучили) обхватили руками короткие темные штаны своего дяди и на весьма небезупречном английском языке умоляли его остаться.

— Зачем мне здесь оставаться, дорогие мои? — спросил мистер Лиливик. Во мне здесь не нуждаются!

— О дядя, не говорите таких жестоких слов! — рыдая, воскликнула миссис Кенуигс. — Ведь не хотите же вы меня убить!

— Я бы не удивился, если бы кто-нибудь сказал, что хочу, — ответил мистер Лиливик, сердито посмотрев на Кенуигса. — Вывести из себя!

— О, я не могу перенести, когда он так смотрит на моего мужа! — вскричала миссис Кенуигс. — Это так ужасно в кругу семьи! О!

— Мистер Лиливик, — сказал Кенуигс, — надеюсь, — ради вашей племянницы, вы не откажетесь от примирения.

Лицо сборщика разгладилось, когда гости присовокупили свои мольбы к мольбам его

племянника. Он отдал шляпу и протянул руку.

— Согласен, Кенуигс, — ответил мистер Лиливик, — и разрешите в то же время заявить вам, чтобы показать, как я был выведен из себя, что, если бы я ушел, не сказав больше ни слова, это не имело бы отношения к тем двум-трем фунтам, которые я оставляю вашим детям, когда умру.

— Морлина Кенуигс! — под наплывом чувств воскликнула ее мать. — Опустись на колени перед твоим дорогим дядей и проси его любить тебя всю жизнь, потому что он ангел, а не человек, и я всегда это говорила!

Когда, повинувшись этому предписанию, мисс Морлина приблизилась для оказания почестей, мистер Лиливик быстро подхватил ее и поцеловал, а вслед за этим миссис Кенуигс рванулась вперед и поцеловала сборщика, и одобрительный шепот вырвался у гостей, которые были свидетелями его великодушия.

Достойный джентльмен снова стал душой общества, заняв прежний пост светского льва, какового высокого звания лишился было вследствие временного смятения присутствующих. Говорят, четвероногие львы свирепы только тогда, когда голодны; двуногие львы склонны дуться лишь до той поры, пока их страсть к почестям не удовлетворена. Мистер Лиливик вознесся выше, чем когда бы то ни было, ибо проявил власть, намекнув на свое богатство и будущее завещание, стяжал славу за бескорыстие и добродетель, а в добавление ко всему получил стакан пунша, вмещавший гораздо больше, чем тот, с которым столь мошеннически скрылся Ньюмен Ногс.

— Послушайте! Прошу вас простить меня за новое вторжение, — сказал Кроуль, заглядывая в комнату в этот счастливый момент. — Какая странная история, не правда ли? Ногс живет в этом доме вот уже пять лет, и ни один из старейших жильцов не запомнит, чтобы кто-нибудь хоть раз навестил его.

— Конечно, сэр, это необычный час, чтобы вызывать человека, — сказал сборщик, — а поведение самого мистера Ногса по меньшей мере загадочно.

— Вы совершенно правы, — ответил Кроуль, — и я вам вот что еще скажу: мне кажется, эти два привидения откуда-то сбежали.

— Что заставляет вас так думать, сэр? — осведомился сборщик, который, по молчаливому соглашению, казалось, был выдвинут и избран обществом в качестве его представителя. — Надеюсь, у вас нет оснований предполагать, что они откуда-то сбежали, не уплатив следуемых налогов и пошлин?

Мистер Кроуль с видом довольно презрительным собирался заявить общий протест против уплаты налогов и пошлин при любых обстоятельствах, но ему вовремя помешал шепот Кенуигса и хмурые взгляды и подмигиванье миссис Кенуигс, что, по счастью, его удержало.

— Дело вот в чем... — сказал Кроуль, который из всех сил подслушивал под дверью Ньюмена. — Дело вот в чем: они разговаривали так громко, что просто не давали мне покоя в моей комнате, и я не мог не расслышать кое-чего; и услышанное мной как будто указывает на то, что они откуда-то удрали. Я бы не хотел тревожить миссис Кенуигс, но я надеюсь, что они пришли не из тюрьмы или больницы и не занесли сюда лихорадки или еще какой-нибудь неприятной болезни, которой могли бы заразиться дети.

Миссис Кенуигс была столь потрясена этим предположением, что понадобились нежные заботы мисс Питоукер из Королевского театра Друри-Лейн, чтобы привести ее в состояние более или менее спокойное, не говоря уже об усердии мистера Кенуигса, который держал у носа своей супруги большой флакон с нюхательной солью, пока не возникли некоторые сомнения, вызваны ли струившиеся у нее по лицу слезы ее чувствительностью или солью.

Леди, выразив порознь и поочередно свое сочувствие, принялись согласно обычаю повторять хором успокоительные фразы, из коих такие соболезнующие выражения, как: «Бедняжка!», «Будь я на ее месте, я бы чувствовала то же самое!», «Конечно, это тяжелое испытание» и «Никто, кроме матери, не поймет материнских чувств», — занимали первое

место и слышались чаще других. Короче говоря, мнение общества было высказано столь ясно, что мистер Кенуигс уже готов был отправиться в комнату мистера Ногса потребовать объяснения и, с большою непреклонностью и решительностью, даже выпил перед этим стакан пунша, как вдруг внимание присутствующих было отвлечено новым и ужасным происшествием.

Дело было в том, что неожиданно и внезапно понеслись сверху самые душераздирающие и самые пронзительные вопли, быстро следовавшие один за другим, и понеслись, по-видимому, из той самой задней комнаты, на третьем этаже, где покоился в тот момент младенец Кенуигс. Как только они раздались, миссис Кенуигс, высказав догадку, что, пока девочка спала, забралась чужая кошка и задушила малютку, бросилась к двери, ломая руки и отчаянно визжа, к великому ужасу и смятению компании.

— Мистер Кенуигс, узнайте, что случилось! Скорее! — крикнула сестра, энергически хватая миссис Кенуигс и удерживая ее насильно. — О! Не вырывайся так, дорогая моя, я не могу тебя удержать!

— Мое дитя, мое милое, милое, милое дитя! — визжала миссис Кенуигс, выкрикивая каждое следующее «милое» громче, чем предыдущее. — Мой ненаглядный, дорогой, невинный Лиливик... О, пустите меня к нему! Пустите меня-а-а-а!

Пока раздавались эти безумные вопли, и плач, и жалобы четырех маленьких девочек, мистер Кенуигс бросился наверх, в комнату, откуда вырывались звуки. В дверях ее он натолкнулся на Николаса с ребенком на руках, который выбежал так стремительно, что встревоженный отец был сброшен с шести ступеней и рухнул на ближайшую площадку лестницы, прежде чем успел раскрыть рот и спросить, что случилось.

— Не тревожьтесь! — крикнул Николай, сбегая вниз. — Вот он! Все обошлось. Все кончено. Пожалуйста, успокойтесь, никакой беды не случилось!

И с этими словами и с тысячей других успокоительных слов он вручил младенца (которого второпях нес вниз головой) миссис Кенуигс и побежал назад помогать мистеру Кенуигсу, который изо всей силы растирал себе голову и, казалось, не мог опомниться после падения.

Ободренные этим приятным известием, гости до известной степени оправились от страха, который дал о себе знать некоторыми весьма странными примерами полной потери присутствия духа; так, например, приятель-холостяк долгое время поддерживал, заключив в свои объятия, сестру миссис Кенуигс вместо самой миссис Кенуигс, и было замечено, как достойный мистер Лиливик несколько раз поцеловал за дверью мисс Питоукер с таким спокойствием, как будто ничего не происходило.

— Это пустяки, — сказал Николай, возвращаясь к миссис Кенуигс, — девочка, сторожившая ребенка, должно быть, устала и заснула, и у нее загорелись волосы.

— Ах ты злая, негодная девчонка! — воскликнула миссис Кенуигс, выразительно грозя указательным пальцем злополучной девочке лет тринадцати на вид, которая стояла с подпаленными волосами и испуганным лицом.

— Я услышал ее крики, — продолжал Николай, — и прибежал как раз вовремя, чтобы помешать ей поджечь еще что-нибудь. Можете быть уверены, что ребенок невредим: я сам схватил его с кровати и принес сюда, чтобы вы убедились.

После этого краткого объяснения младенец, который, получив при крещении имя сборщика, имел счастье именоваться Лиливиком Кенуигсом, едва не был задушен поцелуями присутствующих, и его так прижимали к материнской груди, что он снова заревел. Затем внимание общества, натурально, обратилось на девочку, которая имела дерзость поджечь себе волосы; получив несколько легких шлепков и толчков от наиболее энергических леди, она была милостиво отправлена домой; девять пенсов, предназначенные ей в награду, были конфискованы в пользу семейства Кенуигс.

— Право же, я не знаю, как и благодарить вас, сэр! — воскликнула миссис Кенуигс, обращаясь к спасителю юного Лиливика.

— Не стоит говорить об этом, — отвечал Николай. — Уверю вас, я не сделал ничего,

что дало бы мне право притязать на вашу благодарность.

— Если бы не вы, он сгорел бы заживо, сэр, — с жеманной улыбкой сказала мисс Питоукер.

— Вряд ли это могло случиться, — ответил Николас. — Здесь множество людей, которые пришли бы на помощь раньше, чем ему стала бы угрожать опасность.

— Во всяком случае, вы нам разрешите выпить за ваше здоровье, сэр! — сказал мистер Кенуигс, показывая жестом на стол.

— В мое отсутствие, пожалуйста, — с улыбкой ответил Николас. — Я совершил очень утомительное путешествие и окажусь весьма неважным собеседником, — скорее помешаю вашему веселью, чем буду ему способствовать, даже если мне удастся не заснуть, в чем я очень сомневаюсь. С вашего разрешения, я вернусь к моему другу мистеру Ногсу, который ушел наверх, когда убедился, что ничего серьезного не случилось. Спокойной ночи!

Принеся таким образом свои извинения за отказ участвовать в торжестве, Николас очень мило попрощался с миссис Кенуигс и другими леди и удалился, произведя наилучшее впечатление на всю компанию.

— Какой очаровательный молодой человек! — воскликнула миссис Кенуигс.

— Право, это самый настоящий джентльмен, — сказал мистер Кенуигс. — Вы согласны, мистер Лиливик?

— Да, — отозвался сборщик, недоверчиво пожимая плечами. — Он джентльмен, настоящий джентльмен, по крайней мере с виду.

— Надеюсь, вы ничего не имеете сказать против него, дядя? — осведомилась миссис Кенуигс.

— Ничего, дорогая моя, — ответил сборщик, — ничего. Думаю, он не окажется... а впрочем, неважно... Мой нежный привет тебе, дорогая моя, и желаю долгой жизни малютке...

— Вашему тезке, — с милой улыбкой сказала миссис Кенуигс.

— И, надеюсь, достойному тезке, — добавил мистер Кенуигс, желая умиловить сборщика. — Надеюсь, малютка никогда не обесчестит своего крестного отца и со временем будет походить на Лиливика, чье имя он носит. Я утверждаю — и миссис Кенуигс разделяет мое чувство — и оно в ней столь же сильно, как и во мне, я утверждаю: то обстоятельство, что он был наречен Лиливиком, является одной из величайших наград и одним из величайших отличий в моей жизни.

— Самой великой наградой, Кенуигс, — прошептала супруга.

— Самой великой наградой, — поправился мистер Кенуигс. — Наградой, которую я надеюсь... в один из ближайших дней заслужить.

Это был политический ход Кенуигсов, ибо таким путем они делали мистера Лиливика великим фундаментом и источником будущего преуспевания младенца. Добрый джентльмен почувствовал деликатность и тонкость этого намека и тотчас предложил выпить за здоровье джентльмена, чье имя неизвестно, но который прославил себя в этот вечер своим хладнокровием и расторопностью.

— Я не прочь отметить, — заявил мистер Лиливик, как бы делая большую уступку, — что он производит впечатление довольно миловидного молодого человека, и характер его, надеюсь, не хуже, чем его манеры.

— Действительно, у него очень приятное лицо и осанка, — сказала миссис Кенуигс.

— Несомненно, — добавила мисс Питоукер. — Есть что-то в его наружности очень... боже мой... боже мой, как это слово?..

— Какое слово? — осведомился мистер Лиливик.

— Да это... ах, боже мой, какая я глупая! — запинаясь, сказала мисс Питоукер. — Как это называется, когда лорды сбивают дверные кольца, дерутся с полисменами, играют на чужие деньги и делают всякие такие вещи?

— По-аристократически? — предположил сборщик.

— Да! Аристократически! — ответила мисс Питоукер. — В нем есть что-то очень

аристократическое, не правда ли?

Джентльмены промолчали и с улыбкой переглянулись, как бы желая сказать: «Ну что ж! О вкусах не спорят!» Но дамы единодушно решили, что у Николаса вид аристократический, а раз никто не оспаривал этого мнения, то оно и восторжествовало.

Так как пунш к тому времени был выпит, а маленькие Кенуигсы (которым в течение некоторого времени удавалось держать глазки открытыми только с помощью указательных пальчиков) начали капризничать и довольно настойчиво требовали, чтобы их уложили спать, сборщик подал сигнал, достав свои часы и уведомив общество, что уже около двух. При этом иные гости были изумлены, а другие потрясены, и из-под столов извлекли мужские и женские шляпы, а затем их владельцы ушли восвояси после многочисленных рукопожатий и заявлений, что никогда не проводили они такого очаровательного вечера, и как они удивлены, что уже так поздно (а ведь они думали, что сейчас, самое позднее — половина одиннадцатого), и как бы им хотелось, чтобы мистер и миссис Кенуигс каждую неделю праздновали день своей свадьбы, и что они недоумевают, каким таинственным способом удалось миссис Кенуигс устроить все так чудесно, и многое еще было сказано в том же духе. В ответ на эти лестные замечания мистер и миссис Кенуигс благодарили всех леди и джентльменов за приятное общество и выражали надежду, что они получили хотя бы половину тех удовольствий, о каких говорили.

Что до Николаса, нимало не подозревавшего о произведенном им впечатлении, то он давно уже заснул, предоставив мистеру Ньюмену и Смайку осушить вдвоем бутылку виски, и эту обязанность они исполнили с такой великой охотой, что Ньюмен никак не мог решить, то ли он сам напился, то ли он никогда не видел джентльмена, так тяжело, глубоко и окончательно опьяневшего, как его новый знакомый.

Глава XVI,

Николас пробует устроиться на новую должность и, потерпев неудачу, принимает место учителя в частном доме

Первой заботой Николаса на следующее утро было подыскать комнату, в которой он мог бы поселиться, не злоупотребляя гостеприимством Ньюмена Ногса, хотя тот с удовольствием спал бы на лестнице, только бы приютить своего друга.

Пустующее помещение, к которому относилось объявление в окне первого этажа, оказалось маленькой задней комнатой на третьем этаже, под плоской свинцовой крышей, откуда открывался вид на покрытые сажей черепицы и дымовые трубы. Вести переговоры о сдаче этой части дома понеделюно на приемлемых условиях предоставлялось жильцу первого этажа; домохозяин поручил ему сдавать комнаты по мере того, как они освобождались, и зорко следить за тем, как бы жильцы не сбежали. Чтобы обеспечить точное исполнение этой последней обязанности, ему было разрешено не платить за квартиру, и, таким образом, он сам никогда не испытывал соблазна сбежать в свою очередь.

В этой комнате поселился Николас, и, взяв напрокат кое-какую простую мебель у соседнего маклера и заплатив за неделю вперед из маленького фонда, образовавшегося после превращения запасной одежды в наличные деньги, он уселся, чтобы подумать о своих видах на будущее, которые, как и вид из окна, были в достаточной мере ограничены и тусклы. Они отнюдь не прояснились от более короткого знакомства с ними, и так как подобное знакомство порождает полную апатию и равнодушие, он решил прогнать эти мысли из своей головы с помощью основательной прогулки. И вот, взяв шляпу и предоставив бедному Смайку без конца приводить в порядок комнату с таким восторгом, словно это был роскошный дворец, он вышел на улицу и смешался с наводнявшей ее толпой.

Хотя человек и может утратить сознание собственной значительности, если является лишь ничтожной пылинкой в деловой толпе, не обращающей на него никакого внимания,

однако отсюда отнюдь не следует, что ему так уж легко избавиться от прочного сознания важности и грандиозности своих забот. Печальное состояние дел было единственной мыслью, занимавшей Николаса, как быстро он ни шагал, а когда он попытался избавиться от нее, принявшись строить догадки об условиях жизни и перспективах людей, его окружавших, то через несколько секунд поймал себя на том, что сравнивает их со своими и почти незаметно возвращается к прежнему ходу мыслей.

Занятый такими размышлениями, он проходил по одной из самых людных улиц Лондона и, случайно подняв глаза, заметил голубую доску, на которой золотыми буквами было начертано: «Контора по найму. Обращаться за справками о местах и должностях всех видов». Это была лавка с кисейными занавесками и дверью, ведущей в задние комнаты, а в окне был вывешен длинный и соблазнительный ряд рукописных объявлений о вакантных должностях всех категорий, от секретаря до мальчишка на побегушках.

Николас инстинктивно остановился перед этим храмом обетованным и пробежал глазами написанные прописными буквами объявления, в изобилии вывешенные и открывающие дверь в жизнь. Окончив обзор, он пошел дальше, затем вернулся, затем снова продолжал путь. Много раз он останавливался в нерешительности перед дверью конторы по найму и, приняв, наконец, решение, вошел.

Он очутился в маленькой комнате с покрытым вошанкой полом и высокой конторкой за перегородкой в углу. За конторкой сидел тощий юноша с хитрыми глазами и выпяченным подбородком, начертавший прописными буквами эти объявления, которые затемняли окно. Перед ним лежала раскрытая толстая книга, и, заложив пальцы правой руки между страницами и устремив взгляд на очень толстую старую леди в домашнем чепце, очевидно владелицу этого заведения, которая обсушивалась у камина, он, казалось, ждал только ее распоряжений, чтобы навести справку в записях, заключенных в книге с заржавленными застешками.

Так как снаружи висело объявление, возвещавшее публике, что с десяти до четырех здесь всегда можно нанять прислугу «за одну», желающую поступить на место, Николас сразу понял, что пять-шесть здоровых молодых женщин — каждая в патенах³⁶ и с зонтом, сидевших в углу на скамье, присутствовали здесь для этой цели, тем более что у бедняжек был озабоченный и усталый вид. Он был не совсем уверен в призвании и профессии двух нарядных молодых леди, которые беседовали с толстой леди до тех пор, пока сам не уселся в угол и не заявил, что подождет, пока будут удовлетворены другие посетители, после чего толстая леди возобновила разговор, прерванный его приходом.

— Кухарка, Том, — сказала толстая леди, продолжая обсушиваться у камина.

— Кухарка, — сказал Том, перелистывая страницы книги. — Нашел!

— Прочтите о двух-трех хороших местах, — сказала толстая леди.

— Пожалуйста, выберите полегче, молодой человек, — вмешалась элегантная особа в клетчатых матерчатых башмаках, которая была, по-видимому, клиенткой.

— «Миссис Маркер, — начал читать Том, — Рассел-плейс, Рассел-сквер. Жалованье восемнадцать гиней, чай и сахар. Семья из двух человек, принимают очень редко. Держат пять служанок. Никакой мужской прислуги. Никаких поклонников».

— Ах, боже мой! — захихикала клиентка. — Это не подойдет. Пожалуйста, другое место, молодой человек.

— «Миссис Раймаг, — продолжал Том, — ПлезентПлейс, Финсбери. Жалованье двенадцать гиней, свой чай и сахар. Солидное семейство...»

— Ах, это незачем читать, — перебила клиентка.

— «Три солидных лакея», — внушительно произнес Том.

— Три? Как вы сказали? — переспросила клиентка, меняя тон.

— «Три солидных лакея, — повторял Том, — кухарка, горничная и няня. По

воскресеньям каждая служанка обязана трижды посещать церковь диссидентов³⁷ в сопровождении солидного лакея. Если кухарка более солидна, чем лакей, она должна заботиться о нравственности лакея, если лакей более солиден, чем кухарка, он должен заботиться о нравственности кухарки».

— Я возьму адрес, — сказала клиентка. — Кто знает, может быть, это место мне как раз подойдет.

— А вот еще одно, — заметил Том, перевертывая страницы: — «Семья мистера Галленбайла, Ч. П.³⁸. Пятнадцать гиней, чай и сахар. Служанкам разрешается принимать кузенов, если они благочестивы. Примечание: по воскресеньям холодный обед в кухне, так как мистер Галленбайл строго соблюдает воскресный день. В этот день никаких кушаний не готовить, кроме обеда для мистера и миссис Галленбайл; приготовление этого обеда, являющееся трудом благочестивым и вызванным необходимостью, составляет исключение. В день отдыха мистер Галленбайл обедает поздно, дабы помешать кухарке заниматься своим туалетом и тем самым впасть в грех».

— Думаю, что это место мне подходит меньше, чем то, — сказала клиентка, пошептавшись со своей подругой. — Будьте любезны, молодой человек, дайте мне тот адрес. Если не подойдет, я приду еще.

По ее просьбе Том написал адрес, и элегантная клиентка, удовлетворив толстую леди небольшой мздой, удалилась вместе с подругой.

Николас уже раскрыл рот, чтобы попросить молодого человека обратиться к букве «С» и сообщить, какие места секретаря свободны, когда в контору вошла посетительница, которой он немедленно уступил свою очередь и чья наружность и удивила и заинтересовала его.

Это была молодая леди никак не старше восемнадцати лет, стройная и худенькая, но прелестно сложенная, которая, робко подойдя к конторке, осведомилась очень тихим голосом о месте гувернантки или компаньонки у какой-нибудь леди. Задавая этот вопрос, она на секунду приподняла вуаль и открыла лицо удивительной красоты, хотя и омраченное облаком печали, что было особенно заметно у такого юного существа. Получив рекомендательную карточку к какой-то особе, обозначенной в книге, она уплатила установленную сумму и выскользнула из комнаты.

Одета она была опрятно, но очень просто — так просто, что ее платье, пожалуй, показалось бы жалким и поношенным, будь оно надето на ком-нибудь другом, наделенном меньшим обаянием. Ее спутница — ибо с ней была спутница, краснолицая, круглоглазая, неопрятная девушка, — судя по загрубевшим голым рукам, выглядывавшим из-под запачканной по краям шали, и по следам сажи и графита, испещрявшим ее физиономию, явно принадлежала к категории прислуг «за одну», сидевших на скамье; с ними она обменялась всевозможными усмешками и подмигиваньем, свидетельствующим о франкмасонстве их профессии³⁹.

Эта девушка последовала за своей хозяйкой, и не успел Николас опомниться от изумления и восторга, как молодая леди скрылась. Вполне возможно, как бы там ни думали иные трезвые люди, что Николас вышел бы вслед за ними, если бы его не удержал разговор, завязавшийся между толстой леди и ее конторщиком.

— Когда она придет еще раз, Том? — спросила толстая леди.

— Завтра утром, — ответил Том, принимаясь чинить перо.

— Куда вы ее направили? — спросила толстая леди.

— К миссис Кларк, — ответил Том.

— Приятная ожидает ее жизнь, если она пойдет туда, — заметила толстая леди, беря понюшку из оловянной табакерки.

37

38

39

Вместо ответа Том подпер языком щеку и концом пера указал в сторону Николаса, каковое напоминание вызвало у толстой леди вопрос:

— Ну-с, чем можем мы служить вам, сэр? — Николай коротко ответил, что хотел бы узнать, не найдется ли место секретаря или переписчика у джентльмена.

— Не найдется ли такое место? — подхватила хозяйка. — Дюжина таких найдется. Не правда ли, Том?

— Еще бы! — ответил молодой джентльмен и с этими словами подмигнул в сторону Николаса не без фамильярности, которую несомненно почитал лестным комплиментом, но которая вызвала у неблагодарного Николаса чувство отвращения.

По наведении справок в книге обнаружилось, что дюжина секретарских мест свелась к одному. Мистер Грегсбери, великий член парламента, проживающий в Манчестер-Билдингс, Вестминстер, нуждался в молодом человеке, который бы содержал в порядке его бумаги и корреспонденцию, а Николай был именно таким молодым человеком, в каком нуждался мистер Грегсбери.

— Я не знаю, каковы условия, так как он сказал, что сам уладит этот вопрос с заинтересованным лицом, но они должны быть очень хороши, потому что он член парламента, — заметила толстая леди.

Несмотря на свою неопытность, Николай не очень поверил в силу этого довода или в справедливость такого заключения, но, не трудясь его оспаривать, взял адрес и решил посетить мистера Грегсбери безотлагательно.

— Не знаю, какой это номер, — сказал Том, — но Манчестер-Билдингс невелик и в худшем случае у вас не много времени отнимет, если вы будете стучать во все двери по обеим сторонам улицы, пока не отыщете его... Послушайте, а ведь прехорошенькая была здесь девушка!

— Какая девушка? — сурово спросил Николай.

— Вот как! Ну, конечно — какая девушка! — зашептал Том, прикрывая один глаз и задирая вверх подбородок. — Да вы что, не видели ее? Послушайте, вам бы не хотелось быть на моем месте, когда она придет завтра утром?

Николай посмотрел на безобразного клерка так, как будто не прочь был отхлестать его толстой книгой по щекам в награду за его восхищение молодой леди; однако он воздержался и с надменным видом вышел из конторы, в негодовании своем бросив вызов древним законам рыцарства, которые полагали пристойным и уместным для всех добрых рыцарей выслушивать хвалу леди, коим рыцари эти были преданы, и даже предписывали им скитаться по свету и разбивать головы всем трезвым и благонамеренным людям, не желавшим восхвалять превыше всего в мире тех дам, которых им никогда не случалось видеть и слышать — словно это могло служить оправданием!

Перестав размышлять о своих неудачах и стараясь угадать, какие неудачи постигли красивую девушку, которую он видел, Николай, несколько раз свернув не в ту сторону, несколько раз справившись о дороге и почти столько же раз получив неверные указания, направил свои стопы к месту, которое ему было указано.

В пределах древнего города Вестминстера⁴⁰ и на расстоянии одной восьмой мили от древнего его святилища находился узкий и грязный район — святилище менее важных членов парламента в наши дни. Он состоит только из одной улицы с мрачными жилыми домами, из окон которых в каникулярную пору хмуро выглядывают длинные меланхолические ряды объявлений, так же ясно возвещающие: «Сдается внаем», «Сдается внаем», — как возвещали это физиономии домовладельцев, сидевших на скамьях правительства и оппозиции во время сессии, ныне отошедшей к праотцам. В более оживленные периоды года объявления исчезают, и дома кишат законодателями. Законодатели — в первом этаже, во втором, в третьем, в четвертом, в мансардах; маленькие помещения пропитаны запахом депутатий и делегатов. В сырую погоду здесь трудно

дышать от испарений, исходящих от влажных парламентских актов и затхлых петиций. Почтальоны чувствуют дурноту, вступая в это зараженное место, а жалкие фигуры, охотясь за надписями о даровой доставке письма, беспокойно снуют туда и сюда, словно потревоженные призраки усопших авторов писем, не имеющих права на их даровую пересылку⁴¹.

Это и есть Манчестер-Билдингс, и здесь в любой час ночи можно услышать скрип ключа в соответствующей замочной скважине и время от времени, когда порыв ветра, проносясь над водой, омывающей подножие Манчестер-Билдингс, гонит звуки ко входу в улицу, — слабый, но пронзительный голос какого-нибудь молодого члена парламента, репетирующего завтрашнюю речь. Весь день напролет скрежещут шарманки, звенят и гремят музыкальные шкатулки, ибо Манчестер-Билдингс (эта верша для ловли угрей, из которой нет выхода, кроме одного неудобного отверстия) — четырехугольная бутылка с коротким и узким горлышком; в этом отношении он отображает судьбу иных своих наиболее предприимчивых обитателей, которые, протиснувшись в парламент ценою великих усилий и судорог, обнаруживают, что для них парламент — тоже не проезжая дорога, и что, подобно Маичестер-Билдингс, он дальше никуда не выводит, и что они поневоле должны выйти оттуда пятась, не став ни более мудрыми, ни более богатыми и ничуть не более знаменитыми, чем были, когда вошли в него.

В Манчестер-Билдингс и свернул Николас, держа в руке адрес великого мистера Грегсбери. Так как поток людей вливался в запущенный дом неподалеку от входа, он подождал, пока они не вошли, а затем, подойдя к слуге, осмелился спросить, не знает ли он, где живет мистер Грегсбери.

Слуга был очень бледным оборванным мальчиком, имевшим такой вид, как будто он с младенчества спал в подвале, что, по всей вероятности, соответствовало действительности.

— Мистер Грегсбери? — переспросил он. — Мистер Грегсбери живет здесь. Входите!

Николас решил войти, раз представляется такая возможность; так он и сделал; а не успел он войти, как мальчик закрыл дверь и удалился.

Это было довольно странно; более затруднительным оказалось то обстоятельство, что вдоль всего коридора и узкой лестницы, заслоня окно и делая темный вход еще темнее, стояла беспорядочная толпа людей, чьи физиономии выражали важность их миссии и которые, по-видимому, ожидали в молчании какого-то надвигающегося события. Время от времени кто-нибудь шептал что-то соседу, а затем шептавшие энергически кивали друг другу или неумолимо качали головой, как будто решили совершить нечто отчаянное и не намерены уступить, что бы ни случилось.

Так как на протяжении нескольких минут не произошло ничего, что бы объяснило сей феномен, и так как Николас находил свое положение в высшей степени неудобным, то он уже готов был обратиться за разъяснениями к стоявшему рядом с ним человеку, как вдруг на лестнице зашевелились и чей-то голос крикнул:

— Ну-с, джентльмены, будьте добры подняться! Вместо того чтобы подняться, джентльмены на лестнице принялись спускаться с большим проворством и умолять с исключительной вежливостью, чтобы джентльмены, находившиеся ближе к улице, вошли первые; джентльмены, находившиеся ближе к улице, возразили с не меньшей учтивостью, что они даже помыслить не могут о такой вещи; однако именно так они поступили, хоть и не помышляли о том, ибо другие джентльмены вытолкнули вперед человек шесть (в том числе Николас) и, сомкнувшись сзади, пропихнули их не только на верхнюю площадку лестницы, но и прямо в гостиную мистера Грегсбери, куда они, таким образом, вошли с весьма непристойной стремительностью и лишенные возможности отступить: толпа, напиравшая сзади, заполнила все помещение.

— Джентльмены, — сказал мистер Грегсбери, — добро пожаловать! Я в восторге, что вижу вас.

Для джентльмена, пришедшего в восторг при виде массы посетителей, мистер Грегсбери имел вид крайне недовольный, но, быть может, это было вызвано сенаторской вежливостью и привычкой государственного деятеля скрывать свои чувства. Это был плотный, массивный, крепкоголовый джентльмен с громким голосом и напыщенным видом, обладавший порядочным запасом фраз, ровно ничего не выражающих, — короче говоря, всем, что необходимо хорошему члену парламента.

— Ну-с, джентльмены, — сказал мистер Грегсбери, бросая большую связку бумаг в стоявшую у его ног плетеную корзинку, откидываясь на спинку кресла и опираясь локтями на его ручки, — я вижу по газетам, что вы не удовлетворены моим поведением.

— Да, мистер Грегсбери, мы не удовлетворены, — с большой горячностью сказал полный старый джентльмен, вырываясь из толпы и останавливаясь перед ним.

— Неужели глаза меня обманывают, — сказал мистер Грегсбери, взглянув на говорившего, — или это и в самом деле мой старый друг Пагстайлс?

— Именно я и никто другой, сэр, — ответил полный старый джентльмен.

— Дайте мне вашу руку, достойный друг, — сказал мистер Грегсбери. Пагстайлс, дорогой друг, мне очень прискорбно видеть вас здесь.

— Мне очень прискорбно находиться здесь, сэр, — сказал мистер Пагстайлс, — но ваше поведение, мистер Грегсбери, вызвало крайнюю необходимость в этой депутации от ваших избирателей.

— Мое поведение, Пагстайлс, — сказал мистер Грегсбери, с милостивым великодушием окидывая взором депутацию, — мое поведение всегда определялось и будет определяться искренним уважением к подлинным и насущным интересам сей великой и счастливой страны. Обращаю ли я взгляд на то, что есть у нас дома или за границей, созерцаю ли я мирные трудолюбивые общины нашего родного острова — реки его, усеянные пароходами, железные его пути с локомотивами, улицы его с кэбами, его небо с воздушными шарами, величие и мощь которых доселе неведомы в истории воздухоплавания как у нашего, так и у любого другого народа, — обращаю ли я взгляд только на то, что есть у нас дома, или, устремляя его вдаль, взираю на безграничную перспективу побед и завоеваний, достигнутых британской настойчивостью и британской доблестью, на перспективу, развернувшуюся передо мной, — я сжимаю руки и, подняв взоры к широкому небосводу, над моей головой, восклицаю: «Хвала небу, я — британец!»

Было время, когда этот взрыв энтузиазма вызвал бы оглушительные приветственные возгласы, но теперь депутация встретила его с обескураживающей холодностью. Общее впечатление было, казалось, таково, что это объяснение политического поведения мистера Грегсбери грешит скудностью деталей, и один джентльмен в задних рядах не постеснялся заметить вслух, что, по его мнению, оно, пожалуй, слишком отзывается «пустозвонством».

— Смысл слова «пустозвонство» мне неизвестен, — сказал мистер Грегсбери. — Если оно означает, что, восхваляя мою родину, я становлюсь чуть-чуть слишком пылким или, пожалуй, впадаю в преувеличение, я вполне признаю справедливость такого замечания. Да, я горжусь этой свободной и счастливой страной. Я становлюсь выше ростом, глаза мои сверкают, грудь моя вздымается, сердце мое ширится, душа моя пылает, когда я помышляю о ее величии и славе.

— Мы хотим, сэр, задать вам несколько вопросов, — спокойно заметил мистер Пагстайлс.

— Прошу вас, джентльмены: мое время в распоряжении вашем и моей родины, да, и моей родины — сказал мистер Грегсбери.

Получив разрешение, мистер Пагстайлс надел очки и обратился к исписанной бумаге, которую извлек из кармана, причем почти все остальные члены депутации в свою очередь достали из карманов исписанные листы, чтобы дополнять мистера Пагстайлса, когда тот будет зачитывать вопросы.

Вслед за этим мистер Пагстайлс приступил к делу:

— Вопрос номер первый. Сэр, не было ли вами взято на себя добровольное

обязательство, предшествовавшее вашему избранию, что в случае, если вы будете избраны, вы немедленно положите конец привычке кашлять и вопить в палате общин? И не подверглись ли вы тому, что при первых же дебатах сессии вас заставили замолчать кашлем и воплями и с тех пор вы не сделали ни малейшего усилия, чтобы провести реформу в этой области? Не было ли также взято вами на себя обязательство изумить правительство и заставить его поджать хвост? Изумили вы его и заставили поджать хвост или нет?

— Перейдите к следующему вопросу, дорогой мой Пагстайлс, — сказал мистер Грегсбери.

— Вы намерены дать какое-нибудь объяснение касательно этого вопроса? — спросил мистер Пагстайлс.

— Конечно, нет, — сказал мистер Грегсбери. Члены депутации свирепо посмотрели друг на друга, а затем на члена парламента. «Дорогой Пагстайлс», очень долго взиравший поверх очков на мистера Грегсбери, вновь обратился к списку вопросов:

— Вопрос номер второй. Сэр, не было ли также взято вами на себя добровольное обязательство поддерживать в любом случае вашего коллегу, и не покинули ли вы его третьего дня вечером, и не голосовали ли против него, потому что жена лидера противной партии пригласила миссис Грегсбери на вечеринку?

— Продолжайте, — сказал мистер Грегсбери.

— На это вы также ничего не имеете ответить, сэр? — спросил представитель депутации.

— Ровно ничего! — ответил мистер Грегсбери. Депутаты, видевшие его только во время избирательной кампании и во время выборов, были ошеломлены таким хладнокровием. Казалось, это был другой человек: тогда он весь был мед и молоко, теперь он весь был желчь и уксус. Но время так меняет людей!

— Вопрос номер третий и последний, — внушительно произнес мистер Пагстайлс. — Сэр, не заявляли ли вы во время избирательной кампании о своем твердом и неуклонном намерении восставать против любого предложения, требовать голосования в палате по каждому вопросу, требовать пересмотра по всякому поводу, ежедневно вносить запросы, — короче, повторяя ваши собственные достопамятные слова, вносить дьявольский беспорядок везде и всюду?

После этого многообъемлющего вопроса мистер Пагстайлс сложил свой список, что сделали и все его сторонники.

Мистер Грегсбери подумал, высморкался, глубже погрузился в кресло, снова выпрямился и, облокотившись поудобнее на стол, составил треугольник из обоих больших и обоих указательных пальцев и, постукивая себя по носу вершиной этого треугольника, произнес (улыбаясь при эти словах):

— Я отрицаю все.

При этом неожиданном ответе нестройный ропот вырвался у депутации. И тот самый джентльмен, который высказал мнение касательно пустозвонства вступительной речи, снова сделал краткое заявление, пробурчав: «В отставку!» А это бурчанье было подхвачено его сторонниками и вылилось в форму общего протеста.

— Мне поручено, сэр, — с холодным поклоном сказал мистер Пагстайлс, выразить надежду, что по получении предписания значительного большинства ваших избирателей вы не откажетесь немедленно сложить с себя обязанности в пользу того кандидата, который, по мнению избирателей, заслуживает большего доверия.

Тогда мистер Грегсбери прочел следующий ответ, каковой он сочинил в форме письма, предвидя подобное требование и заготовив копии, чтобы разослать в газеты:

«Мой дорогой мистер Пагстайлс!

После блага нашего возлюбленного острова — этой великой, свободной и счастливой страны, чьи возможности и ресурсы, по искреннему моему убеждению, безграничны, — я превыше всего ценю ту благородную независимость, каковая является самой дорогой привилегией англичанина и каковую я горячо надеюсь

оставить в наследство моим детям не ущемленной и не утратившей блеска. Движимый отнюдь не личными мотивами, но побуждаемый только высокими и почтенными конституционными соображениями, которые я не буду пытаться объяснить, ибо они поистине недоступны пониманию тех, кто не посвятил себя, подобно мне, сложной и трудной науке политики, я предпочел бы оставить за собой мое место и так и намереваюсь поступить.

Не будете ли вы столь любезны передать мой привет избирателям и познакомить их с этим обстоятельством?

С глубоким уважением, дорогой мистер Пагстайлс, и проч. и проч.».

— Значит, вы ни при каких обстоятельствах не сложите полномочия? — осведомился представитель делегации.

Мистер Грегсбери улыбнулся и покачал головой.

— В таком случае, всего хорошего, сэр! — сердито сказал Пагстайлс.

— Да благословит вас небо! — сказал мистер Грегсбери.

И делегаты, ворча и бросая грозные взгляды, удалились с такой быстротой, с какой позволяла им спускаться узкая лестница.

Когда ушел последний делегат, мистер Грегсбери потер руки и захихикал, как хихикают весельчаки, когда полагают, что откололи какую-нибудь особенно забавную шутку. Он с таким увлечением поздравлял сам себя, что не заметил Николаса, который остался в тени оконной занавески, пока этот молодой джентльмен, опасаясь услышать какой-нибудь монолог, не предназначенный для посторонних ушей, не кашлянул раза два или три с целью привлечь внимание члена парламента.

— Что это? — резко спросил мистер Грегсбери. Николас шагнул вперед и поклонился.

— Что вы здесь делаете, сэр? — спросил мистер Грегсбери. — Шпионите за мной в моей частной жизни! Спрятавшийся избиратель! Вы слышали мой ответ, сэр? Будьте добры последовать за делегацией.

— Я бы так и сделал, если бы входил в нее, но я не вхожу, — сказал Николас.

— В таком случае, как вы сюда попали, сэр? — задал естественный вопрос мистер Грегсбери, член парламента. — И, черт побери, откуда вы взялись, сэр? — был следующий его вопрос.

— Я пришел к вам с этой карточкой из конторы по найму, сэр, — сказал Николас, — желая предложить вам свои услуги в качестве секретаря и зная, что вы в нем нуждаетесь.

— И вы только для этого и пришли сюда? — сказал мистер Грегсбери, подозрительно в него всматриваясь. Николас ответил утвердительно.

— У вас нет никаких связей ни с одной из этих подлых газет? — спросил мистер Грегсбери. — Вы проникли сюда не для того, чтобы подслушать, что здесь происходит, а затем напечатать, а?

— К сожалению, должен признаться, что в настоящее время у меня нет никаких связей ни с кем, — сказал Николас вежливо, но тоном вполне независимым.

— О! — сказал мистер Грегсбери. — В таком случае, как же вы пробрались сюда наверх?

Николас рассказал, как делегация заставила его подняться.

— Так вот как было дело! — сказал мистер Грегсбери. — Садитесь.

Николас сел, а мистер Грегсбери долго его разглядывал, словно желая убедиться, прежде чем задавать новые вопросы, что против внешнего его вида нет никаких возражений.

— Значит, вы хотите быть моим секретарем? — спросил он наконец.

— Я бы хотел занять эту должность, сэр, — ответил Николас.

— Так, — сказал мистер Грегсбери. — Что вы умеете делать?

— Полагаю, — с улыбкой ответил Николас, — полагаю, что могу делать то, что обычно приходится делать другим секретарям.

— Что именно? — осведомился мистер Грегсбери.

— Что именно? — повторил Николас.

— Да, что именно? — сказал член парламента, склонив голову набок и устремив на него проницательный взгляд.

— Пожалуй, обязанности секретаря довольно трудно определить, раздумчиво сказал Николас. — Думаю, сюда входит корреспонденция?

— Верно, — заметил мистер Грегсбери.

— Приведение в порядок бумаг и документов?

— Совершенно верно.

— Иногда, быть может, писание под вашу диктовку и, вероятно, сэр, — с полуулыбкой добавил Николас, — переписка вашей речи для какого-нибудь органа печати, когда вы произносите сугубо важную речь.

— Несомненно, — ответствовал мистер Грегсбери. — Что еще?

— В данный момент, — подумав, сказал Николас, — признаюсь, я не могу назвать другие обязанности секретаря, если не считать его долга быть по мере сил услужливым, а также полезным своему патрону, не жертвуя при этом собственным достоинством и не выходя за пределы тех обязанностей, какие обычно налагает на него его должность.

Некоторое время мистер Грегсбери пристально смотрел на Николаса, а затем, осторожно окинув взглядом комнату, сказал, понизив голос:

— Все это прекрасно, мистер... как вас зовут?

— Никльби.

— Все это прекрасно, мистер Никльби, и вполне правильно постольку поскольку... постольку поскольку, но этого далеко не достаточно. Есть другие обязанности, мистер Никльби, которые секретарь парламентского деятеля никогда не должен упускать из виду. Я желал бы, чтобы меня начинали, сэр.

— Простите, — перебил Николас, сомневаясь, правильно ли он расслышал.

— Начинали, сэр, — повторил мистер Грегсбери.

— Вы меня извините, сэр, если я спрошу, что вы хотите этим сказать? — осведомился Николас.

— Смысл моих слов, сэр, совершенно ясен, — с торжественным видом отозвался мистер Грегсбери. — Мой секретарь должен быть в курсе внешней политики всех стран мира, следя за ней по газетам; просматривать все отчеты о публичных собраниях, все передовые статьи и отчеты о заседаниях различных обществ и отмечать все детали, которые, по его мнению, могут показаться интересными в маленькой речи по вопросу о какой-нибудь поданной петиции или чего-нибудь еще в этом роде. Понимаете?

— Кажется, понимаю, сэр, — ответил Николас.

— Далее, — сказал мистер Грегсбери, — необходимо, чтобы он изо дня в день знакомился с газетными заметками о текущих событиях — ну, например, «Таинственное исчезновение и предполагаемое самоубийство подручного в трактире» или что-нибудь еще в таком роде, на чем я мог бы обосновать запрос, обращенный к министру внутренних дел. Затем он должен переписать запрос и то, что я запомнил из ответа (включив маленький комплимент моему независимому духу и здравому смыслу), и отправить заметку в местную газету, прибавив, быть может, пять-шесть вводных строк, напоминающих, что я всегда нахожусь на своем посту в парламенте, никогда не уклоняюсь от ответственных и тяжелых обязанностей и так далее. Вы понимаете?

Николас ответил поклоном.

— Затем, — продолжал мистер Грегсбери, — я бы хотел, чтобы он время от времени просматривал цифры в напечатанных таблицах и делал некоторые общие выводы; я должен быть хорошо осведомлен, например, по вопросу о государственном доходе от обложения налогом строевого леса, по финансовым вопросам и так далее. И я бы желал, чтобы он подготовил кое-какие доводы против возврата к расплате наличными и обращения звонкой монеты, с указанием на губительные последствия таковых мероприятий, а также коснулся вывоза золотых и серебряных слитков, упомянул о русском императоре, о банкнотах и тому подобных вещах, о которых достаточно будет сказать вскользь, потому что никто в этом

ничего не смыслит. Вы усваиваете мою мысль?

— Как будто понимаю, — сказал Николас.

— Что касается вопросов, не имеющих отношения к политике, разгорячившись, продолжал мистер Грегсбери, — и таких, к каким нельзя требовать ни малейшего внимания, кроме естественной заботы не допускать, чтобы низшие классы пользовались таким же благосостоянием, как и мы, — иначе что стало бы с нашими привилегиями, — я бы хотел, чтобы мой секретарь составил несколько маленьких парадных речей в патриотическом духе. Так, например, если бы внесли какой-нибудь нелепый билль о предоставлении этим жалким сочинителям — авторам — права на их собственность, — я бы хотел сказать, что лично я всегда буду против возведения непреодолимой преграды к распространению литературы в *народе* — понимаете? — я бы сказал, что создания *материальные*, как создания рода человеческого, могут принадлежать отдельному человеку или семье, но создания интеллектуальные, как создания божии, должны, само собой разумеется, принадлежать всему народу. Находясь в приятном расположении духа, я не прочь был бы пошутить на тему о потомстве и сказать, что пишущие для потомства должны довольствоваться такой наградой, как одобрение *потомства*. Это понравилось бы палате, а мне не причинило бы никакого вреда, потому что вряд ли потомство будет знать что-нибудь обо мне и моих шутках? Вы понимаете?

— Понимаю, сэр, — ответил Николас.

— В подобных случаях, когда наши интересы не затронуты, — сказал мистер Грегсбери, — вы всегда должны помнить, что следует энергически упоминать о народе, ибо это производит прекрасное впечатление во время выборной кампании, а над сочинителями можете смеяться сколько угодно, потому что большинство из них, полагаю я, снимает комнаты и не имеет права голоса⁴². Вот в общих чертах беглое описание тех обязанностей, какие вам предстоит исполнять, если не считать того, что каждый вечер вы должны дежурить в кулуарах, на случай если бы я что-нибудь забыл и нуждался в новой начинке, а иногда, во время горячих прений, садиться в первом ряду галереи и говорить окружающим: «Вы видите этого джентльмена, который поднес руку к лицу и обхватил рукой колонну? Это мистер Грегсбери... знаменитый мистер Грегсбери...» И вам надлежит добавить еще несколько хвалебных слов, которые в тот момент придут вам в голову. А что касается жалованья, — сказал мистер Грегсбери, стремительно приводя к концу свою речь, потому что ему не хватило дыхания, — а что касается жалованья, то во избежание всякого недовольства, я готов сразу назвать крупную сумму, хотя это больше, чем я имею обыкновение платить, — пятнадцать шиллингов в неделю, и — покажите, на что вы способны. Все!

Сделав это блестящее предложение, мистер Грегсбери снова откинулся на спинку кресла с видом человека, который проявил совершенно безрассудную щедрость, но тем не менее решил в этом не раскаиваться.

— Пятнадцать шиллингов в неделю — это не много, — мягко заметил Николас.

— Не много? Пятнадагь шиллингов не много, молодой человек? — вскричал мистер Грегсбери. — Пятнадцать шиллингов...

— Пожалуйста, не думайте, сэр, что я возражаю против этой суммы, ответил Николас. — Я не стыжусь признаюсь, что, какова бы ни была она сама по себе, для меня это очень много. Но обязанности и ответственность делают вознаграждение ничтожным, и к тому же они так тяжелы, что я боюсь взять их на себя.

— Вы отказываетесь принять их, сэр? — осведомился мистер Грегсбери, протягивая руку к шнуру колокольчика.

— Я боюсь, сэр, что при всем моем желании они окажется мне не по силам, — ответил Николас.

— Это равносильно тому, что вы предпочитаете не принимать этой должности, а

пятнадцать шиллингов в неделю считаете слишком низкой платой, позвонив, сказал мистер Грегсбери. — Вы отказываетесь, сэр?

— Другого выхода у меня нет, — ответил Николас.

— Проводи, Мэтьюс! — сказал мистер Грегсбери, когда вошел мальчик.

— Я сожалею, что напрасно вас потревожил, сэр, — сказал Николас.

— Я тоже сожалею, — сказал мистер Грегсбери, поворачиваясь к нему спиной. — Проводи, Мэтьюс!

— Всего хорошего, сэр, — сказал Николас. — Проводи, Мэтьюс! — крикнул мистер Грегсбери.

Мальчик поманил Николаса и, лениво спустившись впереди него по лестнице, открыл дверь и выпустил его на улицу.

С печальным и задумчивым видом Николас отправился домой.

Смайк собрал на стол закуску из остатков вчерашнего ужина и нетерпеливо ждал его возвращения. События этого утра не улучшили аппетита Николаса, и к обеду он не прикоснулся. Он сидел в задумчивой позе, перед ним стояла нетронутая тарелка, которую бедный юноша наполнил самыми лакомыми кусочками, и тут в комнату заглянул Ньюмен Ногс.

— Вернулись? — спросил Ньюмен.

— Да, — ответил Николас, — смертельно усталый, и что хуже всего, мог бы с таким же успехом остаться дома.

— Нельзя рассчитывать на то, чтобы много сделать за одно утро, — сказал Ньюмен.

— Быть может, и так, но я всегда полон надежд, и я рассчитывал на успех, а стало быть, разочарован, — отозвался Николас.

Затем он дал Ньюмену отчет о своих похождениях.

— Если бы я мог что-то делать, — сказал Николас, — ну хоть что-нибудь, пока не вернется Ральф Никльби и пока я не почувствую облегчения, встретившись с ним лицом к лицу, мне было бы лучше. Небу известно, что я отнюдь не считаю унижительным работать. Прозябать здесь без дела, словно дикий зверь в клетке, — вот что сводит меня с ума!

— Не знаю, — сказал Ньюмен, — есть в виду кое-какие мелочи... этого бы хватило на плату за помещение и еще кое на что... но вам не понравится. Нет! Вряд ли вы на это пойдете... нет, нет!

— На что именно я вряд ли пойду? — спросил Николае, поднимая глаза. Укажите мне в этой необъятной пустыне, в этом Лондоне, какой-нибудь честный способ зарабатывать еженедельно хотя бы на уплату за эту жалкую комнату, и вы увидите, откажусь ли я прибегнуть к нему. На что я не пойду? Я уже на слишком многое пошел, друг мой, чтобы остаться гордым или привередливым. Я исключаю те случаи, — быстро добавил Николае, помолчав, когда привередливость является простой честностью, а гордость есть не что иное, как самоуважение. Я не вижу большой разницы, служить ли помощником бесчеловечного педагога, или пресмыкаться перед низким и невежественным выскочкой, хотя бы он и был членом парламента.

— Право, не знаю, говорить ли вам о юм, что я слышал сегодня утром, сказал Ньюмен.

— Это имеет отношение к тому, что вы только что сказали? — спросил Николас.

— Имеет.

— В таком случае, ради самого неба, говорите, добрый мой друг! — воскликнул Николас. — Ради бога, подумайте о моем печальном положении и, раз я вам обещал не делать ни шагу, не посоветовавшись с вами, дайте мне по крайней мере право голоса, когда речь идет о моих же собственных интересах.

Вняв этой мольбе, Ньюмен принялся бормотать всевозможные в высшей степени странные и запутанные фразы, из которых выяснилось, что утром миссис Кенуигс долго допрашивала его касательно его знакомства с Николасом и о жизни, приключениях и родословной Николаса, что Ньюмен, пока мог, уклонялся от ответов, но, наконец, под сильным давлением и будучи загнан в угол, вынужден был сообщить, что Николас —

высокообразованный учитель, которого постигли бедствия, о коих Ньюмен не вправе говорить, и который носит фамилию Джонсон. Миссис Кенуигс, уступив чувству благодарности, или честолюбию, или материнской гордости, или материнской любви, или всем четырем побуждениям вместе взятым, имела тайное совещание с мистером Кенуигсом и, наконец, явилась с предложением, чтобы мистер Джонсон обучал четырех мисс Кенуигс французскому языку за еженедельный гонорар в пять шиллингов, то есть по одному шиллингу в неделю за каждую мисс Кенуигс и еще один шиллинг в ожидании того времени, когда младенец окажется способным усваивать грамматику. «Если я не очень ошибаюсь, он не заставит себя ждать, — заметила миссис Кенуигс, делая это предложение, — так как я твердо верю, мистер Ногс, что таких умных детей еще не было на свете».

— Ну, вот и все! — сказал Ньюмен. — Знаю, это недостойно вас, но я подумал, что, быть может, вы согласились бы...

— Соглашусь ли я! — с живостью воскликнул Николае. — Конечно, я согласен! Я не задумываясь принимаю это предложение. Дорогой мой, вы так и скажите, не откладывая, достойной мамаше и передайте, что я готов начать, когда ей будет угодно.

Обрадованный Ньюмен поспешил сообщить миссис Кенуигс о согласии своего друга и вскоре вернулся с ответом, что они будут счастливы видеть его во втором этаже, как только он найдет это для себя удобным; затем он добавил, что миссис Кенуигс тотчас же послала купить подержанную французскую грамматику и учебник — эти книжки давно уже валялись в шестипенсовом ящике в книжном ларьке за углом — и что семейство, весьма взволнованное этой перспективой, подчеркивающей их аристократичность, желает, чтобы первый урок состоялся немедленно.

И здесь можно отметить, что Николас не был высокомерным молодым человеком в обычном смысле этого слова. Он мог отомстить за оскорбление, ему нанесенное, или выступить, чтобы защитить от обиды другого, так же смело и свободно, как и любой рыцарь, когда-либо ломавший копыя; но ему не хватало того своеобразного хладнокровия и величественного эгоизма, которые неизменно отличают джентльменов высокомерных. По правде говоря, мы лично склонны смотреть на таких джентльменов скорее как на обузу в пробивающих себе дорогу семьях, потому что мы знаем многих, чей горделивый дух препятствует им взяться за какую бы то ни было черную работу и проявляет себя лишь в склонности отращивать усы и принимать свирепый вид; но, хотя и усы и свирепость — в своем роде прекрасные вещи и заслуживают всяческих похвал, мы, признаться, предпочитаем, чтобы они выращивались за счет их владельца, а не за счет смиренных людей.

Итак, Николас, не будучи юным гордецом в обычном смысле этого слова и почитая большим унижением занимать деньги на удовлетворение своих нужд у Ньюмена Ногса, чем преподавать французский язык маленьким Кенуигсам за пять шиллингов в неделю, принял предложение немедля, как было описано выше, и с надлежащей поспешностью отправился во второй этаж.

Здесь он был принят миссис Кенуигс с любезной грацией, долженствовавшей заверить его в ее благосклонности и поддержке, и здесь он застал мистера Лиливика и мисс Питоукер, четырех мисс Кенуигс на скамье и младенца в креслице в виде карликового портшеза с сосновой дощечкой между ручками, забавляющегося игрушечной лошадкой без головы; упомянутая лошадь представляла собой маленький деревянный цилиндр, отчасти похожий на итальянский утюг⁴³ на четырех кривых колышках и замысловатой раскраской напоминающий красную вафлю, опущенную в вакуум.

— Как поживаете, мистер Джонсон? — спросила миссис Кенуигс. — Дядя, познакомьтесь — мистер Джонсон.

— Как поживаете, сэр? — осведомился мистер Лиливик довольно резко, ибо накануне он не знал, кто такой Николас, а быть слишком вежливым с учителем являлось, пожалуй, огорчительным обстоятельством для сборщика платы за водопровод.

— Дядя, мистер Джонсон приглашен преподавателем к детям, — сказала миссис Кенуигс.

— Это ты мне только что сообщила, моя милая, — отозвался мистер Лиливик.

— Однако я надеюсь, — сказала миссис Кенуигс, выпрямившись, — что они не возгордятся, но будут благословлять свою счастливую судьбу, благодаря которой они занимают положение более высокое, чем дети простых людей. Ты слышишь, Морлина?

— Да, мама, — ответила мисс Кенуигс.

— И, когда вы будете выходить на улицу или еще куда-нибудь, я желаю, чтобы вы не хвастались этим перед другими детьми, — продолжала миссис Кенуигс, — а если вам придется заговорить об этом, можете сказать только: «У нас есть преподаватель, который приходит обучать нас на дому, но мы не гордимся, потому что мама говорит, что это грешно». Ты слышишь, Морлина?

— Да, мама, — снова ответила мисс Кенуигс.

— В таком случае, запомни это и поступай так, как я говорю, — сказала миссис Кенуигс. — Не начать ли мистеру Джонсону, дядя?

— Я готов слушать, если мистер Джонсон готов начать, моя милая, — сказал сборщик с видом глубокомысленного критика. — Каков, по вашему мнению, французский язык, сэр?

— Что вы хотите этим сказать? — осведомился Николас.

— Считаете ли вы, что это хороший язык, сэр? — спросил сборщик. Красивый язык, разумный язык?

— Конечно, красивый язык, — ответил Николас, — а так как на нем для всего есть названия и он дает возможность вести изящный разговор обо всем, что смею думать, что это разумный язык.

— Не знаю, — недоверчиво сказал мистер Лиливик. Вы находите также, что это веселый язык?

— Да, — ответил Николас, — я бы сказал — да.

— Значит, он очень изменился, в мое время он был не таким, — заявил сборщик, — совсем не таким.

— Разве в ваше время он был печальным? — осведомился Николас, с трудом скрывая улыбку.

— Очень! — с жаром объявил сборщик. — Я говорю о военном времени, когда шла последняя война. Быть может, это и веселый язык. Мне бы не хотелось противоречить кому бы то ни было, но я могу сказать одно: я слышал, как французские пленные, которые были уроженцами Франции и должны знать, как на нем объясняются, говорили так печально, что тяжело было их слушать. Да, я их слышал раз пятьдесят, сэр, раз пятьдесят!

Мистер Лиливик начал приходить в такое раздражение, что миссис Кенуигс нашла своевременным дать знак Николасу, чтобы тот не возражал, и лишь после того как мисс Питоукер ловко вернула несколько льстивых фраз, дабы умиловить превосходного старого джентльмена, этот последний соблаговолил нарушить молчание вопросом:

— Как по-французски вода, сэр?

— L'eau, — ответил Николас.

— Вот как! — сказал мистер Лиливик, горестно покачивая головой. — Я так и думал. Ло? Я невысокого мнения об этом языке, совсем невысокого.

— Мне кажется, дети могут начинать, дядя? — спросила миссис Кенуигс.

— О да, они могут начинать, моя милая, — с неудовольствием ответил сборщик. — Я лично не имею ни малейшего желания препятствовать им.

Когда разрешение было дано, четыре мисс Кенуигс с Морлиной во главе уселись в ряд, а все их косички повернулись в одну сторону, Николас, взяв книгу, приступил к предварительным объяснениям. Мисс Питоукер и миссис Кенуигс пребывали в немом восхищении, которое нарушал только шепот сей последней особы, уверявшей, что Морлина не замедлит выучить все на память, а мистер Лиливик взирал на эту группу хмурым и зорким оком, подстерегая случай, когда можно будет начать новую дискуссию о языке.

Глава XVII,

повествует о судьбе мисс Никльби

С тяжелым сердцем и печальными предчувствиями, которых никакие усилия не могли отогнать, Кэт Никльби в день своего поступления на службу к мадам Манталини вышла из Сити, когда часы показывали без четверти восемь, и побрела одна по шумным и людным улицам к западную часть Лондона.

В этот ранний час много хилых девушек, чья обязанность (так же как и бедного шелковичного червя) — создавать, терпеливо трудясь, наряды, облакающие бездумных и падких до роскоши леди, идут по нашим улицам, направляясь к месту ежедневной своей работы и ловя, как бы украдкой, глоток свежего воздуха и отблеск солнечного света, который скрашивает их однообразное существование в течение длинного ряда часов, составляющих рабочий день. По мере приближения к более фешенебельной части города Кэт замечала много таких девушек, спешивших, как и она, к месту тягостной своей службы, и в их болезненных лицах и в расслабленной походке увидела слишком наглядное доказательство того, что ее опасения не лишены оснований.

Она пришла к мадам Манталини за несколько минут до назначенного часа и, пройдясь взад и вперед, в надежде, что подойдет еще какая-нибудь девушка и избавит ее от неприятной необходимости давать объяснения слуге, робко постучалась в дверь. Немного спустя ей отворил лакей, который надевал свой полосатый жилет, пока поднимался по лестнице, а сейчас был занят тем, что подвязывал фартук.

— Мадам Манталини дома? — запинаясь, спросила Кэт.

— В этот час она редко выходит, мисс, — ответил лакей таким тоном, что слово «мисс» прозвучало почему-то обиднее, чем «моя милая».

— Могу я ее видеть? — спросила Кэт.

— Э? — отозвался слуга, придерживая рукой дверь и удостоив посмотреть на вопрошавшую изумленным взглядом; при этом он улыбнулся во весь рот. — Бог мой, конечно, нет!

— Я пришла потому, что она сама назначила мне прийти, — сказала Кэт. Я... я буду здесь работать.

— О, вы должны были позвонить в колокольчик для работниц, — сказал лакей, коснувшись ручки колокольчика у дверного косяка. — Хотя, позвольте-ка, я забыл — вы мисс Никльби?

— Да, — ответила Кэт.

— В таком случае, будьте добры подняться наверх, — сказал слуга. — Мадам Манталини желает вас видеть. Вот сюда... Осторожнее, не наступите на эти вещи на полу.

Предупредив ее так, чтобы она не налетела на всевозможные, в беспорядке сваленные лампы, подносы, уставленные стаканами и нагроможденные на легкие скамейки, расставленные по всему вестибюлю и явно свидетельствовавшие о поздно затянувшейся пирушке накануне вечером, слуга поднялся на третий этаж и ввел Кэт в комнату, выходящую окнами во двор и сообщающуюся двустворчатой дверью с помещением, где она в первый раз увидела хозяйку этого заведения.

— Подождите здесь минутку, — сказал слуга, — я ей сейчас доложу.

Дав весьма приветливо такое обещание, он удалился и оставил Кэт в одиночестве.

Мало было занимательного в этой комнате, главным украшением коей служил поясной портрет маслом мистера Маиталини, которого художник изобразил небрежно почесывающим голову, благодаря чему мистер Манталини выгодно выставлял напоказ кольцо с бриллиантом — подарок мадам Манталини перед свадьбой. Но вот из соседней комнаты донеслись голоса, ведущие беседу, а так как разговор был громкий, а перегородка

тонкая, Кэт не могла не обнаружить, что голоса принадлежат мистеру и миссис Манталини.

— Если ты будешь так отвратительно, дьявольски возмутительно ревнива, душа моя, — сказал мистер Мантальни, — ты будешь очень несчастна... ужасно несчастна... дьявольски несчастна!

А затем раздался такой звук, словно мистер Мантальни прихлебнул свой кофе.

— Да, я несчастна, — заявила мадам Манталини, явно дуясь.

— Значит, ты чрезмерно требовательная, недостойная, дьявольски неблагодарная маленькая фея, — сказал мистер Манталини.

— Неправда! — всхлипнув, возразила мадам.

— Не приходи в дурное расположение духа, — сказал мистер Манталини, разбивая скорлупу яйца. — У тебя прелестное, очаровательное, дьявольское личико, и ты не должна быть в дурном расположении духа, потому что это повредит его миловидности и сделает его сердитым и мрачным, как у страшного, злого, дьявольского чертенка.

— Меня не всегда можно обойти таким способом, — сердито заявила мадам.

— Можно обойти любым способом, какой покажется наилучшим, а можно и вовсе не обходить, если так больше нравится, — возразил мистер Манталини, засунув в рот ложку.

— Болтать очень легко, — сказала мадам Манталини.

— Не так-то легко, когда ешь дьявольское яйцо, — отозвался мистер Манталини, — потому что яичный желток стекает по жилету, и, черт побери, он не подходит ни к одному жилету, кроме желтого.

— Ты любезничал с ней весь вечер, — сказала мадам Манталини, явно желая перевести разговор на ту тему, от которой он уклонился.

— Нет, нет, жизнь моя.

— Ты любезничал, я все время не спускала с тебя глаз, — сказала мадам.

— Да благословит небо эти маленькие, мигающие, мерцающие глазки! — с каким-то ленивым упоением воскликнул Манталини. — Неужели они все время смотрели на меня? Ах, черт побери!

— И я еще раз повторяю, — продолжала мадам, ты не должен вальсировать ни с кем, кроме своей жены, и я этого не вынесу, Манталини, лучше уж мне сразу принять яд!

— Она не примет яда и не причинит себе ужасной боли, не правда ли? — сказал Манталини, который, судя по изменившемуся голосу, передвинул стул и сел поближе к жене. — Она не примет яда, потому что у нее дьявольски хороший муж, который мог бы жениться на двух графинях и на титулованной вдове...

— На двух графинях? — перебила мадам. — Раньше ты мне говорил об одной!

— На двух! — вскричал Манталини. — На двух дьявольски прекрасных женщинах, настоящих графинях и с огромным состоянием, черт меня побери!

— А почему же ты не женился? — игриво спросила мадам.

— Почему не женился? — отозвался супруг. — А разве я не увидел на утреннем концерте самую дьявольскую маленькую очаровательницу во всем мире? И, пока эта маленькая очаровательница — моя жена, пусть все графини и титулованные вдовы в Англии отправляются...

Мистер Манталини не кончил фразы, а подарил мадам Манталини очень звонкий поцелуй, который мадам Манталини ему вернула, а затем как будто последовали новые поцелуи, сопутствовавшие завтраку.

— А как насчет денег, сокровище моей жизни? — осведомился Манталини, когда эти нежности прекратились. — Сколько у нас наличными?

— Право, очень мало, — ответила мадам.

— Нам нужно побольше! — сказал Манталини. — Мы должны учесть вексель у старого Никльби, чтобы продержаться в тяжелое время, черт меня побери!

— Сейчас тебе больше не понадобится, — вкрадчиво сказала мадам.

— Жизнь и душа моя! — воскликнул супруг. — У Скробса продается лошадь, которую было бы грешно и преступно упустить, — идет просто даром, радость чувств моих!

— Даром! — воскликнула мадам. — Я этому рада.

— Буквально даром, — отозвался Манталини. — Сто гиней наличными — и она наша! Грива и холка, ноги и хвост — все дьявольской красоты! Я буду разъезжать на ней в парке прямо перед каретами отвергнутых графинь. Проклятая старая титулованная вдова упадет в обморок от горя и бешенства, а две другие скажут: «Он женился, он улизнул, это дьявольская штука, все кончено!» Они возненавидят друг друга и пожелают, чтобы вы умерли и были погребены. Ха-ха! Черт побери!

Благоразумие мадам Манталини, если таковое у нее было, не устояло перед этим зрелищем триумфа: позвякав ключами, она заявила, что посмотрит, сколько денег у нее в столе, и, поднявшись для этой цели, распахнула двустворчатую дверь и вошла в комнату, где сидела Кэт.

— Ах, боже мой, дитя мое! — воскликнула мадам Манталини, в изумлении попятившись. — Как вы сюда попали?

— Дитя! — вскричал Манталини, вбегая в комнату. — Как попали... А!.. О!.. Черт побери, как поживаете?

— Я уже давно жду здесь, сударыня, — сказала Кэт, обращаясь к мадам Манталини. — Мне кажется, слуга позабыл доложить вам, что я здесь.

— Право же, вы должны обратить внимание на этого человека, — сказала мадам, повернувшись к своему мужу. — Он все забывает.

— Я отвинчу ему нос с его проклятой физиономии за то, что он оставил такое прелестное создание в одиночестве! — сказал супруг.

— Манталини! — вскричала мадам. — Ты забываешься!

— Я никогда не забываю о тебе, душа моя, и никогда не забуду и не могу забыть, — сказал Манталини, целуя руку жены и корча гримасу в сторону мисс Никльби, которая отвернулась.

Умиротворенная этим комплиментом, деловая леди взяла со своего письменного стола какие-то бумаги, которые передала Манталини, принявшему их с великим восторгом, затем она предложила Кэт следовать за нею, и после нескольких неудачных попыток мистера Манталини привлечь внимание молодой особы они вышли, а этот джентльмен, взяв газету, растянулся на диване и задрал ноги.

Мадам Манталини повела Кэт в нижний этаж и по коридору прошла в большую комнату в задней половине дома, где много молодых женщин занимались шитьем, кройкой, переделкой и различными другими процедурами, известными лишь тем, кто постиг искусство создавать модные наряды. Это была душная комната с верхним светом, такая скучная и унылая, какую только может быть комната.

Мадам Манталини громко позвала мисс Нэг; появилась невысокая суетливая разряженная женщина, преисполненная сознанием собственной важности, а все молодые леди, на секунду оторвавшись от работы, обменялись шепотом всевозможными критическими замечаниями о добротности ткани и покрое платья мисс Никльби, о цвете и чертах ее лица и обо всем ее облике с такою же благовоспитанностью, какую можно наблюдать в наилучшем обществе в переполненном бальном зале.

— Мисс Нэг, — сказала мадам Манталини, — вот та молодая особа, о которой я вам говорила.

Мисс Нэг посмотрела на мадам Манталини с почтительной улыбкой, которую ловко превратила в милостивую, предназначенную для Кэт, и сказала, что, разумеется, хотя и очень много хлопот с молодыми девицами, совершенно не приученными к делу, однако она уверена, молодая особа будет стараться по мере сил; благодаря такой уверенности она, мисс Нэг, уже почувствовала к ней интерес.

— Я думаю, что во всяком случае первое время лучше будет для мисс Никльби вместе с вами примерять в ателье платья заказчицам, — сказала мадам Манталини. — Сейчас она еще не может приносить много пользы, а ее наружность...

— ...будет прекрасно гармонировать с моей, мадам Манталини! — перебила мисс

Нэг. — Совершенно верно, и, конечно, я должна предположить, что вы очень скоро в этом убедитесь: у вас столько вкуса, что, право же, как я часто говорю этим молодым леди, я не знаю, как, когда и где вы могли приобрести все эти знания... гм!.. Мисс Никльби и я — мы как раз под пару, мадам Манталини, только у меня волосы чуть-чуть темнее, чем у мисс Никльби, и... гм!.. мне кажется, у меня нога чуть-чуть меньше. Я уверена, мисс Никльби не обидится на мои слова, когда узнает, что наша семья всегда славилась маленькими ножками с тех пор, как... гм!.. да, я думаю, с тех пор как у нашей семьи вообще появились ноги. Был у меня, мадам Манталини, дядя, который жил в Челтенхеме и имел превосходное дело — табачную лавку... гм!.. у него были очень маленькие ноги, не больше, чем ступни, какие обычно приделывают к деревянным ногам, — самые симметричные ноги, мадам Манталини, какие вы только можете вообразить.

— Вероятно, мисс Нэг, они походили на спеленатые, — сказала мадам.

— Ах, как это на вас похоже! — воскликнула мисс Нэг. — Ха-ха-ха! Спеленатые! О, чудесно! Я часто говорю этим молодым леди: «Должна сказать, и пусть все это знают, что из всех удачных остроумий, какие мне приходилось слышать, а слыхала я очень много, потому что при жизни моего дорогого брата (я вела у него хозяйство, мисс Никльби) у нас ужинали раз в неделю два-три молодых человека, славившихся в те дни своим остроумием, мадам Манталини, из всех удачных остроумий, — говорю я этим молодым леди, — какие мне приходилось слышать, остроумия мадам Манталини — самые замечательные... гм!.. Они такие легкие, такие саркастические и в то же время такие добродушные (как сказала я мисс Симондс не дальше чем сегодня утром), что, когда, как и каким образом она этому научилась, для меня поистине тайна».

Тут мисс Нэг приумолкла, чтобы перевести дыхание; а пока она молчит, не мешает отметить (не тот факт, что она была необычайно разговорчива и необычайно предана мадам Манталини, ибо этот факт не нуждается в комментариях), что она имела привычку то и дело вставлять в поток речи громкое, пронзительное, отчетливое «гм!», значение и смысл коего толковались ее знакомыми различно. Одни утверждали, что мисс Нэг вводила это восклицание, впадая в преувеличения, когда у нее в голове созревала новая выдумка; другие — что, подыскивая нужное слово, она вставляла «гм!», чтобы выиграть время и воспрепятствовать кому-либо другому вмешаться в разговор. Далее можно указать, что мисс Нэг все еще претендовала на юный возраст, хотя оставила его позади много лет назад, и что она была непостоянна и тщеславна и относилась к категории тех особ, к которым прекрасно подходит правило: доверять вы им можете, пока они у вас на глазах, но и только.

— Вы позаботитесь о том, чтобы мисс Никльби ознакомилась с часами работы и со всем прочим, — сказала мадам Манталини. — Итак, я оставляю ее с вами. Вы не забудете моих распоряжений, мисс Нэг?

Разумеется, мисс Нэг ответила, что забыть какое бы то ни было распоряжение мадам Манталини является невозможным с моральной точки зрения, и, пожелав своим помощницам доброго утра, мадам Манталини выплыла из комнаты.

— Какое она очаровательное создание, не правда ли, мисс Никльби? — сказала мисс Нэг, потирая руки.

— Я ее очень мало видела, — сказала Кэт. — Я еще не могу судить.

— Вы видели мистера Манталини? — осведомилась мисс Нэг.

— Да, его я видела два раза.

— Не правда ли, он — очаровательное создание?

— Право же — на меня он совсем не произвел такого впечатления, ответила Кэт.

— Как, дорогая моя! — вскринула мисс Нэг, вздев руки. — Господи боже мой, где же ваш вкус? Такой красивый, рослый, видный джентльмен, с такими бакенбардами, с такими зубами и волосами... и... гм!.. Да вы меня изумляете!

— Должно быть, я очень глупа, — отозвалась Кэт, снимая шляпку, — но так как мое мнение имеет очень мало значения для него и для кого бы то ни было, я не жалею о том, что составила его, и, кажется, не скоро его изменю.

— Разве вы не находите, что он очень красивый мужчина? — спросила одна из молодых леди.

— Он может быть и красив, хотя бы я с этим не соглашалась, — сказала Кэт.

— И у него прекрасные лошади, не правда ли? — осведомилась другая.

— Очень возможно, но я их никогда не видела, — ответила Кэт.

— Никогда не видели? — вмешалась мисс Нэг. — О! Теперь все ясно! Как можете вы высказывать мнение о джентльмене... гм!.. если вы не видели его, когда он выезжает в своем экипаже?

Столько было суетного — как ни мало знала свет провинциальная девушка — в этом суждении старой портнихи, что Кэт, стремившаяся по многим основаниям переменить тему разговора, не произнесла больше ни слова и оставила мисс Нэг победительницей на поле битвы.

После недолгой паузы, в продолжение коей молодые девушки рассматривали Кэт и молча обменивались результатами своих наблюдений, одна из них предложила ей свою помощь, чтобы снять шаль, и, получив согласие, осведомилась, не считает ли она, что очень неприятно носить черное платье.

— Да, конечно, — с горьким вздохом ответила Кэт.

— Так пылится и так жарко в нем, — продолжала та же особа, оправляя на ней платье.

Кэт могла бы сказать, что траур бывает иногда самой холодной одеждой, в какую могут облечься смертные; что он не только леденит грудь тех, кто его носит, но и простирает свое влияние на летних друзей, сковывает льдом источники их доброго расположения и ласки и, губя нерасцветшие обещания, которые они когда-то так щедро расточали, не оставляет ничего, кроме сухих и увядших сердец. Мало найдется людей, которые, потеряв друга или родственника, являвшегося их единственной опорой в жизни, не чувствуют глубоко этого ледящего действия черной одежды. Кэт чувствовала его остро и, почувствовав в тот момент, не смогла удержаться от слез.

— Мне очень жаль, что я вас огорчила своими необдуманными словами, сказала ее собеседница. — Я об этом не подумала. Вы носите траур по какому-нибудь близкому родственнику?

— По отцу, — ответила Кэт.

— По какому родственнику, мисс Симондс? — громко переспросила мисс Нэг.

— По отцу, — тихо отозвалась та.

— По отцу? — сказала мисс Нэг, ничуть не понижая голоса. — А! И долго он болел, мисс Симондс?

— Тише, — отозвалась девушка. — Не знаю.

— Несчастье постигло нас внезапно, — сказала Кэт, отворачиваясь, — иначе я при таких обстоятельствах, как сейчас, быть может перенесла бы его лучше.

У присутствующих в комнате, как всегда при появлении новой «молодой особы», возникло желание узнать, кто такая Кэт и решительно все о ней; но, хотя это желание весьма естественно могло усиливаться благодаря наружности и волнению Кэт, сознания, что расспросы причинят ей боль, оказалось достаточно, чтобы подавить это любопытство. И мисс Нэг, считая в настоящий момент безнадежной всякую попытку извлечь еще какие-нибудь сведения, неохотно призвала к молчанию и предложила приступить к работе.

Все трудились молча до половины второго, а затем на кухне была подана жареная баранья нога с жареным картофелем. Когда обед был кончен и молодые леди в виде дополнительного развлечения вымыли руки, снова началась работа и снова протекала в молчании, пока стук карет, грохотавших по улицам, и громкие двойные удары в двери не возвестили, что более счастливые члены общества в свою очередь приступили к повседневным заветиям.

Один из таких двойных ударов в дверь мадам Манталини дал знать о прибытии экипажа некоей знатной леди — или, вернее, богатой, ибо бывает иногда разница между богатством и знатностью, — которая приехала вместе с дочерью примерить давно

заказанные придворные туалеты; и обслуживать их была послана Кэт в сопровождении мисс Нэг и, разумеется, под командой мадам Манталини.

Роль Кэт в этой церемонии была довольно скромной: ее обязанности ограничивались тем, что она должна была держать различные принадлежности туалета, пока они не понадобятся мисс Нэг для примерки, и изредка завязать тесемку или застегнуть крючок. Она могла не без оснований считать себя защищенной от дерзкого обращения и злобы, но случилось так, что в тот день и леди и дочь ее были в дурном расположении духа, и бедная девушка стала жертвой их оскорблений. Она неуклюжа, руки у нее холодные, грязные, шершавые, она ничего не умеет делать; они удивляются, как может мадам Манталини держать у себя таких людей; требовали, чтобы в следующий раз, когда они приедут, им прислуживала какая-нибудь другая молодая женщина, и так далее.

Этот случай вряд ли заслуживал бы упоминания, если бы не последствия, какие он за собой повлек. Кэт пролила много горьких слез, когда ушли эти леди, и впервые почувствовала унижительность своего труда. Правда, ее пугала перспектива тяжелой и неприятной работы, но она не чувствовала никакого унижения в том, чтобы зарабатывать на хлеб, пока не увидела себя не защищенной от наглости и гордыни. Философия научила бы ее понимать, сколь унизили себя те, которые пали настолько, что давали волю таким свойствам характера по привычке и без причины. Но она была слишком молода, чтобы это служило ей утешением, и ее понятие о честности было оскорблено. Не возникает ли так часто жалоба на то, что простые люди поднимаются выше своего звания, из того факта, что люди «непростые» опускаются ниже своего?

В таких сценках и занятиях тянулось время до девяти часов, когда Кэт, изнуренная и подавленная событиями дня, поспешно выбежала из душной рабочей комнаты, чтобы встретиться с матерью на углу улицы и идти домой. Она еще больше грустила потому, что должна была скрывать свои чувства и притворяться, будто разделяет радужные мечты своей спутницы.

— Ах, боже мой, Кэт! — сказала мисс Никльби. — Я весь день думала о том, как было бы чудесно, если бы мадам Манталини взяла тебя в компаньонки, знаешь ли, это так естественно. Представь, свояченица кузена твоего бедного папы, мисс Браундок, была принята в компаньонки одной леди, у которой была школа в Хэммерсмите, и сколотила себе состояние буквально в две минуты. Кстати, я забыла, та ли это мисс Браундок, которая выиграла десять тысяч фунтов в лотерею, но мне кажется, это та самая. Да, теперь, подумав, я уверена, что это та самая. «Манталини и Никльби» — как бы это чудесно звучало! И если бы Николас хорошо устроился, мы могли бы жить на одной улице с доктором Никльби, ректором Вестминстерской школы!

— Дорогой Николас! — воскликнула мисс Кэт, вынимая из ридикюля письмо брата из Дотбойс-Холла. — При всех наших затруднениях я так счастлива, мама, зная, что ему хорошо живется и он в таком прекрасном расположении духа. Что бы нам ни пришлось перенести, меня утешает мысль, что он доволен и счастлив.

Бедная Кэт! Она и не подозревала, какое слабое это было утешение и как скоро предстояло ей разочароваться.

Глава XVIII,

Мисс Нэг, в течение трех дней обожавшая Кэт Никльби, намеревается возненавидеть ее навеки. Причины, которые побудили мисс Нэг принять это решение

Жизнь многих людей, полная мучений, тягот, страданий, не представляя никакого интереса ни для кого, кроме тех, кто ее ведет, оставлена без внимания людьми, которые не лишены способности мыслить и чувствовать, но скупы на сострадание и нуждаются в сильных возбуждающих средствах, чтобы оно проснулось.

Немало есть служителей милосердия, которые в своем призвании ищут не меньше искусственного возбуждения, чем любители наслаждений в своем; в результате нездоровая симпатия и сострадание повседневно простираются на дальние объекты, хотя постоянно находится на виду у самого ненаблюдательного человека более чем достаточно объектов, по праву требующих применения тех же добродетелей. Короче говоря, милосердию нужна романтика так же, как нужна она писателю-романисту или драматургу. Вор в бумазейной блузе — заурядный тип, вряд ли заслуживающий внимания людей с тонким вкусом; но оденьте его в зеленый бархат, дайте ему шляпу с высокой тульей и перенесите место его деятельности из густонаселенного города на горную дорогу — и вам откроется в нем дух поэзии и приключений. Так обстоит дело и с великой, основной добродетелью, которая при нормальном ее развитии и упражнении приводит ко всем остальным, если не включает их. Она нуждается в своей романтике, и чем меньше в этой романтике подлинной, трудной жизни с повседневной борьбой и работой, тем лучше.

Жизнь, на которую была обречена бедная Кэт Никльби вследствие непредвиденного хода событий, уже упомянутых в этом повествовании, была тяжелой. Но из боязни, как бы однообразие, нездоровые условия и физическая усталость — а ведь в этом и состояла ее жизнь — не сделали ее неинтересной для людей милосердных и сострадательных, я в данный момент предпочел бы удержать на первом плане самое мисс Никльби и для начала не замораживать их интерес подробным и растянутым описанием заведения, возглавляемого мадам Манталини.

— О, право же, мадам Манталини, — сказала мисс Нэг, когда Кэт устало возвращалась домой в первый вечер своего ученичества, — эта мисс Никльби очень достойная молодая особа... да, очень достойная... гм!.. уверяю вас, мадам Манталини. Даже вашему уменью распознавать людей делает честь то обстоятельство, что вы подыскали такую превосходную, такую благовоспитанную, такую... гм!.. такую скромную молодую женщину в помощницы мне при примерке. Я видела, как молодые женщины, когда им выпадал случай покрасоваться перед теми, кто выше их, держали себя так, что... о боже... Да, но вы всегда правы, мадам Манталини, всегда! И я постоянно твержу этим молодым леди: для меня поистине тайна, как вы только ухитряетесь быть всегда правой, когда столько людей так часто ошибаются.

— За исключением того, что мисс Никльби вывела из терпения превосходную заказчицу, ничего особо замечательного она сегодня не сделала, в этом я во всяком случае уверена, — сказала в ответ мадам Манталини.

— Ах, боже мой! — сказала мисс Нэг. — Многое, знаете ли, нужно отнести за счет неопытности.

— И молодости? — осведомилась мадам.

— О, об этом я ничего не говорю, мадам Манталини, — зардевшись, отозвалась мисс Нэг, — потому что, если бы молодость служила оправданием, у вас бы не было...

— ...такой хорошей первой мастерицы, полагаю я, подсказала мадам.

— Никогда не видывала я такого человека, как вы, мадам Манталини! — весьма самодовольно подхватила мисс Нэг. — Вы знаете, что любой человек хочет сказать, когда слово еще не успело сорваться с уст. О, чудесно! Ха-ха-ха!

— Что касается меня, — заметила мадам Манталини, с притворным равнодушием посмотрев на свою помощницу и втихомолку искренне забавляясь, то я считаю мисс Никльби самой неуклюжей девушкой, какую мне случалось видеть.

— Бедняжка! — подхватила мисс Нэг. — Это не ее вина, иначе у нас была бы надежда ее исправить, но раз это ее несчастье, мадам Манталини, то... как сказал кто-то о слепой лошади, мы, знаете ли, должны отнестись к ней с уважением.

— Ее дядя говорил мне, что ее считают хорошенькой, — заметила мадам Манталини. — Я нахожу ее одной из самых заурядных девушек, каких мне случалось встречать.

— Конечно, она заурядна! — вскричала мисс Нэг с просиявшей от радости физиономией. — И неуклюжа! Но я могу только сказать, мадам Манталини, что я

по-настоящему люблю эту бедную девушку, и будь она вдвое более неуклюжей и некрасивой, я была бы еще более искренним ее другом, и это сущая правда.

Действительно, у мисс Нэг зародилось теплое чувство к Кэт Никльби после того, как она была свидетельницей ее провала утром, а этот короткий разговор с хозяйкой усилил ее милостивое расположение самым изумительным образом, что было особенно примечательно, ибо, когда она в первый раз внимательно обозрела лицо и фигуру молодой леди, у нее появилось предчувствие, что они никогда не поладят.

— Но теперь, — продолжала мисс Нэг, посмотрев на себя в зеркало, находившееся неподалеку, — я ее люблю — я ее по-настоящему люблю, я это утверждаю!

Столь высоким бескорыстием отличалась эта преданная дружба и была она настолько выше маленьких слабостей вроде лести и неискренности, что на следующий день добросердечная мисс Нэг откровенно уведомила Кэт Никльби, что, по-видимому, Кэт никогда не освоится с делом, но ей отнюдь незачем беспокоиться по этому поводу: она, мисс Нэг, удвоив со своей стороны усилия, будет, поскольку возможно, отодвигать ее на задний план, а Кэт надлежит только быть совершенно спокойной в присутствии посторонних и стараться по мере сил не привлекать к себе внимания. Этот последний совет столь соответствовал чувствам и желаниям робкой девушки, что она охотно обещала полагаться безоговорочно на указания превосходной старой девы, не расспрашивая и даже ни на секунду не задумываясь о мотивах, которыми они были продиктованы.

— Честное слово, я отношусь к вам с живейшим участием, моя милочка, сказала мисс Нэг, — решительно с сестринским участием. Такого удивительного чувства я никогда еще не испытывала.

Несомненно, удивительно было то, что, если мисс Нэг проявляла живейшее участие к Кэт Никльби, оно не было участием девствующей тетки или бабушки, к каковому заключению, естественно, приводила бы разница в годах. Но платья мисс Нэг были сшиты по фасону для молоденьких, и, быть может, того же фасона были и ее чувства.

— Господь с вами! — сказала мисс Нэг, целуя Кэт по окончании второго дня работы. — Какой неловкой были вы весь день!

— Боюсь, что ваше доброе и искреннее слово, заставившее меня еще сильнее почувствовать мои недостатки, не пошло мне на пользу, — вздохнула Кэт.

— Да, пожалуй, не пошло! — подхватила мисс Нэг с весьма несвойственной ей веселостью. — Но гораздо лучше, что вы узнали об этом с самого начала и, стало быть, могли заниматься своим делом просто и спокойно. Вы в какую сторону идете, милочка?

— В сторону Сити, — ответила Кэт.

— В Сити? — воскликнула мисс Нэг, с великим одобрением разглядывая себя в зеркале и завязывая ленты шляпки. — Ах, боже милостивый, да неужели же вы живете в Сити?

— Разно это так уж удивительно? — с полуулыбкой спросила Кэт.

— Я не считала возможным, чтобы какая-нибудь молодая женщина могла прожить там при любых обстоятельствах хотя бы три дня, — ответила мисс Нэг.

— Люди, находящиеся в стесненном положении, то есть бедные люди, отозвалась Кэт, быстро поправляясь. потому что боялась показаться гордой, должны жить там, где придется.

— Совершенно верно, должны, совершенно правильно! — подхватила мисс Нэг с тем полувздыхом, который в сопровождении двух-трех легких кивков головой служит в обществе разменной монетой жалости. — И это я очень часто говорю моему брату, когда наши служанки заболевают и уходят одна за другой, а он думает, что кухня слишком сырая и что там вредно спать. Эти люди, говорю я ему, рады спать где угодно! Господь приноравливает нашу спину к ноше. Утешительно думать, что это именно так, не правда ли?

— Очень утешительно. — ответила Кэт.

— Я пройду с вами часть пути, моя милая. — сказала мисс Нэг, — потому что вам придется идти чуть ли не мимо нашего дома, и так как сейчас совсем темно, а наша последняя служанка неделю назад легла в больницу — у нее антонов огонь на лице, — я буду рада побыть в вашем обществе.

Кэт охотно отказалась бы от столь лестного предложения, но мисс Нэг, надев, наконец, шляпку вполне, на ее взгляд, изящно, взяла ее под руку с видом, ясно свидетельствующим, сколь глубоко сознает она честь, оказываемую ею Кэт, и они очутились на улице, прежде чем та могла вымолвить слово.

— Боюсь, — нерешительно начала Кэт, — что мама — моя мать, хочу я сказать — ждет меня.

— Вам незачем приносить какие бы то ни было извинения, моя милая, сказала мисс Нэг, сладко при этом улыбаясь, — я не сомневаюсь, что она весьма почтенная старая леди, и я буду очень... гм!.. очень рада познакомиться с ней.

Так как у бедной миссис Никльби на углу улицы заковали ноги, да и все тело, Кэт ничего не оставалось делать, как представить ее мисс Нэг, которая, подражая последней из прибывших в экипаже заказчиц, пошла на новое знакомство со снисходительной вежливостью. Затем они втроем отправились рука об руку — посредине мисс Нэг, в особо милостивом расположении духа.

— Я почувствовала такую симпатию к вашей дочери, миссис Никльби, вы и представить себе не можете, — сказала мисс Нэг, пройдя несколько шагов в молчании, исполненном достоинства.

— Я счастлива это слышать, — отозвалась миссис Никльби, — хотя для меня нет ничего нового в том, что Кэт нравится даже посторонним людям.

— Гм! — сказала мисс Нэг.

— Вы ее еще больше полюбите, когда узнаете, какая она милая, продолжала миссис Никльби. — Великое утешенье для меня в моих несчастьях иметь дочь, которая не знает, что такое гордость и тщеславие, хотя полученное ею воспитание могло бы до известной степени оправдать эти чувства. Вы не знаете, что значит потерять мужа, мисс Нэг!

Так как мисс Нэг до сих пор еще не знала, что значит приобрести мужа, то, пожалуй, вполне естественно было ей не знать, что значит потерять его. Поэтому она сказала с некоторой поспешностью: «Да, конечно, не знаю», — и сказала это тоном, дающим понять, что хотела бы она посмотреть, как бы она сделала такую глупость и вышла замуж. Нет, она не так глупа!

— Я не сомневаюсь, что Кэт оказала успехи даже за такое короткое время, — продолжала миссис Никльби, с гордостью взглянув на дочь.

— О, конечно! — подтвердила мисс Нэг.

— И окажет еще большие успехи, — добавила миссис Никльби.

— Ручаюсь, что окажет, — согласилась мисс Нэг, сжимая руку Кэт, чтобы та поняла шутку.

— Она всегда была очень способной, — просияв, сказала бедная миссис Никльби, — всегда, с колыбели. Я припоминаю, когда ей было всего два с половиной года, один джентльмен, который, бывало, частенько нас навещал, знаешь ли, Кэт, дорогая моя, это мистер Уоткинс, за которого поручился твой бедный папа, а он потом удрал в Соединенные Штаты и прислал нам пару лыж с таким ласковым письмом, что твой бедный дорогой отец целую неделю плакал. Помнишь это письмо? В нем он писал о том, как он сожалеет, что в данное время не может вернуть пятьдесят фунтов, так как его капитал вложен в дело за проценты и он очень занят наживанием денег, но он не забыл о том, что ты его крестница, и будет очень огорчен, если мы не купим тебе коралла в серебряной оправе и не припишем этой суммы к старому счету. Боже мой, конечно, мы так и сделали, дорогая моя, какая ты глупенькая! И он с такой любовью писал о старом портвейне, которого выпивал, бывало, полторы бутылки каждый раз, когда приходил к нам. Ты, конечно, помнишь, Кэт?

— Да, да, мама! Что же вы хотели сказать о нем?

— Так вот этот самый мистер Уоткинс, дорогая моя, — продолжала миссис Никльби медленно, словно делая огромное усилие, чтобы припомнить нечто в высшей степени важное, — этот самый мистер Уоткинс... пусть мисс Нэг не подумает, что он состоял в какомнибудь родстве с Уоткинсом, державшим в деревне трактир «Старый Боров»... кстати,

я не помню, был ли это «Старый Боров» или «Георг Третий», но знаю, что одно из двух, да и разницы особой нет... этот самый мистер Уоткинс сказал, когда тебе было всего два с половиной года, что ты самое изумительное дитя, какое ему случалось видеть. Право же, он так сказал, мисс Нэг, а он совсем не любил детей, и у него не было ни малейших оснований это говорить. Я знаю, что сказал это именно он, потому что помню не хуже, чем если бы это случилось вчера, как он ровно через секунду занял двадцать фунтов у ее бедного дорогого папы.

Приведя это поразительное и совершенно беспристрастное свидетельство в пользу талантности своей дочери, миссис Никльби остановилась передохнуть, а мисс Нэг, видя, что речь зашла о величии семьи, в свою очередь приступила, не мешкая, к воспоминаниям.

— Не говорите, миссис Никльби, о данных займы деньгах, — сказала мисс Нэг, — иначе вы меня с ума сведете, окончательно сведете. Моя мама... гм!.. была самым очаровательным и прекрасным созданием, с самым удивительным и чудесным... гм!.. я полагаю, с самым чудесным носом, какой когда-либо украшал человеческое лицо, миссис Никльби (тут мисс Нэг с чувством потеряла собственный нос). Пожалуй, это была самая прелестная и образованная женщина, какая когда-либо существовала; но был у нее один недостаток — давать деньги займы, и она доходила до того, что давала займы... гм!.. О! тысячи фунтов! Все наше маленькое состояние. И мало того, миссис Никльби: я не думаю, чтобы мы когда-нибудь получили их обратно, хотя бы дожили до... до.. гм!.. до светопреставления. Право же, не думаю!

Закончив без помех эту вымышленную историю, мисс Нэг перешла к другим воспоминаниям, столь же интересным, сколь и правдивым, по течению коих миссис Никльби, после тщетных попыток запрудить поток, поплыла спокойно, добавляя в виде подводных струй свои собственные воспоминания. Итак, обе леди продолжали говорить одновременно с полным удовольствием; единственная разница между ними заключалась в том, что мисс Нэг обращалась к Кэт и говорила очень громко, а миссис Никльби болтала непрерывно и монотонно, вполне удовлетворенная возможностью говорить и очень мало заботясь о том, слушает ли ее кто-нибудь, или нет.

Так весьма дружелюбно продолжали они путь, пока не подошли к дому, где жил брат мисс Нэг, который держал лавку письменных принадлежностей и маленькую читальню в переулке неподалеку от Тотенхем-Корт-роуд и выдавал на день, на неделю, месяц или год новейшие из старых романов, названия каковых были написаны чернилами на листе картона, висевшем у его двери. Так как мисс Нэг дошла в этот момент как раз до середины повествования о двадцать втором предложении, полученном ею от весьма состоятельного джентльмена, она настояла на том, чтобы они зашли поужинать, и они вошли.

— Не уходи, Мортимер, — сказала мисс Нэг, когда они очутились в лавке. Это одна из наших молодых леди и ее мать. Миссис и мисс Никльби.

— О, вот как! — сказал мистер Мортимер Нэг. — А!

Произнеся эти восклицания с весьма глубокомысленным и задумчивым видом, мистер Нэг медленно снял нагар с двух кухонных свечей на прилавке и еще с двух в витрине, а затем понюхал табуку из табакерки, хранившейся в жилетном кармане.

Было что-то очень внушительное в том таинственном виде, с каким он все это проделал. Так как мистер Нэг был высокий, тощий джентльмен с важной физиономией, носивший очки и украшенный гораздо менее пышной шевелюрой, чем та, какою обычно может похвалиться джентльмен на пороге сорока лет, то миссис Никльби шепнула дочери, что, должно быть, он литератор.

— Одиннадцатый час, — сказал мистер Нэг, посмотрев на часы. — Томас, закрывай торговое помещение.

Томас был мальчик ростом примерно с половинку ставня, а торговое помещение было лавкой величиной с три наемных кареты.

— А! — снова сказал мистер Нэг, испуская глубокий вздох и ставя на полку книгу, которую он читал. Так... да... я думаю, ужин готов, сестра.

Еще раз вздохнув, мистер Нэг взял с прилавка кухонные свечи и, уныло шагая, повел леди в заднюю гостиную, где поденщица, нанятая на время отсутствия больной служанки и получавшая восемнадцать пенсов вознаграждения, вычитаемых из жалованья этой последней, накрывала на стол к ужину.

— Миссис Блоксон, — укоризненно сказала мисс Нэг, — сколько раз я вас просила не входить в комнату в шляпе!

— Ничего не могу поделать, мисс Нэг! — сказала поденщица, мгновенно вспыхнув. — Очень уж много уборки было тут в доме, а если вам это не нравится, так потрудитесь поискать кого-нибудь другого, потому что мои труды едва-едва оплачиваются, и это сущая правда, хотя бы меня сию минуту должны были повесить.

— С вашего разрешения, я не желаю слушать никаких замечаний, — сказала мисс Нэг, делая сильное ударение на слове «вашего». — Огонь внизу разведен, чтобы подогреть воду?

— Нет там никакого огня, мисс Нэг, — ответила временная служанка, — и я не стану вас обманывать.

— А почему его нет? — спросила мисс Нэг.

— Потому что угля не осталось, и если бы я могла делать уголь, я бы его сделала, но раз я не могу, то я и не делаю, вот что я осмелюсь вам сказать, сударыня, — ответила миссис Блоксон.

— Попридержите язык, женщина! — сказал мистер Мортимер Нэг, с ожесточением врываясь в беседу.

— Прошу прощения, мистер Нэг, — круто поворачиваясь, отозвалась поденщица, — я буду только очень рада не говорить в этом доме, разве что когда ко мне обратятся, сэр; а что касается до женщины, сэр, то хотела бы я знать, кем вы считаете себя?

— Негодная тварь! — воскликнул мистер Нэг, хлопнув себя по лбу. Негодная тварь!

— Очень рада, что вы называете себя своим настоящим именем, сэр, сказала миссис Блоксон. — А так как третьего дня моим близнецам исполнилось всего семь недель, а в прошлый понедельник мой маленький Чарли упал с лестницы и вывихнул руку в локте, я буду вам благодарна, если вы пришлете мне завтра на дом девять шиллингов за неделю работы, прежде чем пробьет десять часов.

С этими прощальными словами добрая женщина весьма непринужденно покинула комнату, оставив дверь открытой настежь. В ту же минуту мистер Нэг громко застонал и бросился в «торговое помещение».

— Простите, что случилось с джентльменом? — осведомилась миссис Никльби, крайне встревоженная этими звуками.

— Он не болен? — осведомилась Кэт, серьезно обеспокоившись.

— Тише! — отозвалась мисс Нэг. — Это в высшей степени грустная история. Когда-то он был беззаветно предан... гм!.. мадам Манталини.

— Ах, боже мой! — воскликнула миссис Никльби.

— Да, — продолжала мисс Нэг, — и вдобавок встретил серьезное поощрение и втайне надеялся жениться на ней. У него в высшей степени романтическое сердце, миссис Никльби, да, как и... гм!.. как и у всей нашей семьи, и разочарование явилось жестоким ударом. Он на редкость одаренный человек, изумительно одаренный, читает... гм!.. читает все выходящие в свет романы. Я хочу сказать — все романы, в которых... гм!.. в которых, конечно, есть нечто великосветское. Дело в том, что в прочитанных им книгах он нашел столько сходного с его собственными несчастьями и себя нашел во всех отношениях столь похожим на героев — он, знаете ли, сознавал свое собственное превосходство, как и все мы создаем, и это вполне естественно, — что начал презирать все и сделался гением. И я совершенно уверена, что в эту самую минуту он пишет новую книгу.

— Новую книгу? — повторила Кэт, заметив, что пауза сделана для того, чтобы кто-то что-то сказал.

— Да! — подтвердила мисс Нэг, с великим торжеством кивая головой. Новую книгу, в трех томах! Конечно, у него есть большое преимущество: во всех изящных описаниях он

может использовать мой... гм!.. мой опыт, потому что, разумеется, мало кому из авторов, рассказывающих о таких вещах, представлялось столько благоприятных случаев изучить их, сколько мне. Он так поглощен великосветской жизнью, что малейшее упоминание о делах или житейских материях — вот, например, как сейчас с этой женщиной — буквально выводит его из себя. Но я часто ему говорю: его разочарование — счастье для него, потому что, не будь он разочарован, он бы не мог писать о погибших надеждах и тому подобных вещах. И, не случись того, что случилось, я думаю, его гениальность никогда бы не проявилась.

Сколько бы еще могла поведать мисс Нэг при более благоприятных обстоятельствах, угадать невозможно, но так как мрачный субъект находился поблизости, а огонь следовало раздуть, то доверительные ее сообщения на этом оборвались. Судя по всем признакам и по тому, как трудно было подогреть воду, последняя служанка не привыкла иметь дело с каким бы то ни было огнем, кроме антонова, но в конце концов было подано немного бренди с водой, и гости, которых предварительно угостили холодной бараниной, хлебом и сыром, вскоре после этого откланялись.

На обратном пути Кэт забавлялась, припоминая мистера Мортимера Нэга, погрузившегося в глубокомысленные размышления у себя в лавке; а миссис Никльби рассуждала сама с собой, будет ли в конце концов мастерская модных нарядов называться «Манталпини, Нэг и Никльби» или «Манталини, Никльби и Нэг».

На этом высоком уровне оставалось дружеское расположение мисс Нэг в течение целых трех дней, к великому изумлению молдых леди мадам Манталини, которые доселе никогда не наблюдали такого постоянства с ее стороны, но на четвертый день последовал удар, столь же сильный, сколь и неожиданный, а произошло Это следующим образом.

Случилось так, что старый лорд знатного рода, собиравшийся жениться на молодой леди, не имевшей никакой родословной, приехал с этой молодой леди и сестрой молодой леди, чтобы присутствовать при церемонии примерки двух шляпок к свадьбе, заказанных накануне. И когда мадам Манталини пронзительным дискантом возвестила об этом в переговорную трубку, через которую она сообщалась с мастерской, мисс Нэг стремительно помчалась вверх, держа по шляпке в обеих руках, и в ателье явилась охваченная очаровательным трепетом, который должен был свидетельствовать о ее энтузиазме. Как только шляпки были благополучно надеты, мисс Нэг и мадам Манталини пришли в неопикуемый восторг.

— В высшей степени элегантный вид! — сказала мадам Манталини.

— Никогда в жизни не видела ничего столь восхитительного! — сказала мисс Нэг.

Старый лорд, который был очень старым лордом, не сказал ничего, а только забормotal и закудаhtал, пребывая в величайшем восторге как от свадебных шляпок и тех леди, на ком они были надеты, так и от собственной ловкости, с какою он заполучил в жены столь очаровательную женщину, а молодая леди, которая была очень бойкой, увидев старого лорда в таком упоении, загнала старого лорда за трюмо и тут же расцеловала его, а мадам Манталини и другая молодая леди скромно отвернулись.

Но во время этой нежной сцены мисс Нэг, которой не чуждо было любопытство, случайно зашла за трюмо и встретила глазами с бойкой молодой леди как раз в тот момент, когда она целовала старого лорда, после чего молодая леди, надувшись, прошептала что то о «старухе» и «величайшей дерзости» и кончила тем, что метнула недовольный взгляд на мисс Нэг и презрительно улыбнулась.

— Мадам Манталини! — окликнула молодая леди.

— Сударыня? — отозвалась мадам Манталини.

— Пожалуйста, позовите сюда ту хорошенькую молодую особу, которую мы видели вчера.

— О да, позовите! — сказала сестра.

— Больше всего на свете, мадам Манталини, — сказала невеста лорда, томно бросаясь на диван, — больше всего на свете я ненавижу, когда мне прислуживают пугала или старухи.

Пожалуйста, посылайте мне эту молодую особу всякий раз, когда я бываю здесь.

— Непременно! — сказал старый лорд. — Прелестную молодую особу. Непременно!

— О ней все говорят, — тем же небрежным тоном сказала молодая леди, — и милорд, большой поклонник красоты, обязательно должен ее увидеть.

— Да, она вызывает всеобщее восхищение, — ответила мадам Манталини. Мисс Нэг, пошлите сюда мисс Никльби. Вы можете не возвращаться.

— Прошу прощения, мадам Манталини, что вы сказали под конец? — трепеща, спросила мисс Нэг.

— Вы можете не возвращаться, — резко повторила ее хозяйка.

Мисс Нэг скрылась, не прибавив больше ни слова, и в скором времени ее заменила Кэт, которая сняла новые шляпки, надела старые и вся зарделась, заметив, что старый лорд и обе молодые леди смотрят на нее во все глаза.

— Ах, как вы краснеете, дитя! — сказала избранница лорда.

— Она еще не совсем привыкла к делу. Через неделю, через две она привыкнет, — со снисходительной улыбкой вмешалась мадам Манталини.

— Боюсь, что вы бросали на нее ваши убийственные взгляды, милорд, сказала невеста.

— Нет, нет, нет! — ответил старый лорд. — Нет, нет! Я собираюсь жениться и начать новую жизнь! Ха-ха-ха, новую жизнь, новую жизнь! Ха-ха-ха!

Утешительно было слышать, что старый джентльмен собирается начать новую жизнь, так как было совершенно очевидно, что старой ему хватит ненадолго. Усилия, связанные с затянувшимся похотыванием, привели его к устрашающему приступу кашля и одышке; прошло несколько минут, прежде чем он отдышался и заметил, что девушка слишком красива для модистки.

— Надеюсь, вы не считаете, что миловидность вредит нашему заведению, милорд? — с притворной улыбкой осведомилась мадам Манталини.

— Отнюдь не считаю, — ответил старый лорд, — иначе вы бы давно его бросили.

— Ах вы шалун! — воскликнула бойкая молодая леди, ткнув пэра концом своего зонтика. — Не желаю слушать таких речей! Как вы смеете?

Этот шуточный вопрос сопровождался еще и еще одним тычком, а затем старый лорд поймал зонтик и не хотел его отдавать, что побудило другую леди броситься на помощь, и завязалась прелезлая игра.

— Мадам Манталини, вы позаботитесь о том, чтобы эти маленькие переделки были сделаны, — сказала леди. — Э, нет, злодей! Вы непременно должны выйти первым! Я и на полсекунды не оставлю вас с этой хорошенькой девушкой. Я вас слишком хорошо знаю. Джейн, милая, пусть он идет впереди, тогда мы будем в нем вполне уверены.

Явно польщенный таким подозрением, старый лорд забавно подмигнул мимоходом Кэт и, получив удар зонтиком за свое предательство, заковылял вниз по лестнице к двери, где его вертлявое тело было водружено в карету двумя дюжими лакеями.

— Уф! — сказала мадам Манталини. — Не понимаю, как может он садиться в карету, не вспомнив о катафалке! Унесите эти вещи, моя милая, унесите их!

Кэт, которая в продолжение всей этой сцены стояла скромно потупившись, была рада воспользоваться разрешением уйти и весело поспешила вниз, во владения мисс Нэг.

Однако за время ее недолгого отсутствия положение дел в маленьком королевстве резко изменилось. Вместо того чтобы восседать на обычном своем месте, сохраняя все достоинство и величие представительницы мадам Манталини, эта достойная особа, мисс Нэг, покоилась на большом сундуке, омытая слезами, тогда как ухаживающие за ней три-четыре молодые леди, а также появление нашатырного спирта, уксуса и других восстанавливающих силы средств красноречиво свидетельствовали — даже если бы головной ее убор и передний ряд локончиков и не находились в беспорядке — о происшедшем с нею ужасном обмороке.

— Боже мой! — воскликнула Кэт, быстро подходя к ней. — Что случилось?

Этот вопрос вызвал у мисс Нэг бурные симптомы возвращающейся дурноты, а несколько молодых леди, бросая сердитые взгляды на Кэт, снова прибегли к уксусу и

нашатирному спирту и сказали, что это «срам».

— Какой срам? — спросила Кэт. — В чем дело? Что случилось? Скажите мне.

— В чем дело! — вскричала мисс Нэг, внезапно выпрямившись, как стрела, к великому ужасу собравшихся девиц. — В чем дело? Стыдитесь, гнусное создание!

— Ах, боже мой! — воскликнула Кэт, чуть ли не парализованная тем неистовством, с каким этот эпитет вырвался из-за стиснутых зубов мисс Нэг. Неужели это я вас обидела?

— Вы обидели меня! — возразила мисс Нэг. — Вы! Девчонка, ребенок, ничтожная выскочка! Ха-ха!

Так как мисс Нэг засмеялась, то было очевидно, что ей это показалось чрезвычайно забавным, а так как молодые леди подражали мисс Нэг — своей начальнице, — все они тотчас же принялись смеяться и слегка покачивали головой и улыбались саркастически друг другу, словно желая сказать: как это здорово!

— Вот она! — продолжала мисс Нэг, поднимаясь с сундука и весьма церемонно и с низкими реверансами представляя Кэт восхищенному обществу, вот она — все о ней говорят... вот красавица... красotka... Ах вы дерзкая тварь!

В этот критический момент мисс Нэг была не в силах сдержать добродетельную дрожь, которая мгновенно передалась всем молодым леди, после чего мисс Нэг захохотала, а после этого зарыдала.

— Пятнадцать лет! — восклицала мисс Нэг, всхлипывая очень трогательно. — Пятнадцать лет была я достойным украшением этой комнаты и комнаты наверху! Слава богу, — продолжала мисс Нэг, с удивительной энергией топнув сначала правой, а потом левой ногой, — за все это время я еще ни разу не была жертвой интриг, подлых интриг особы, которая позорит всех нас своим поведением и заставляет краснеть порядочных людей! Но я к этому чувствительна, чувствительна, хотя мне это и противно!

Тут мисс Нэг опять ослабела, а молодые леди, вновь принявшись за ней ухаживать, нашептывали, что она должна быть выше таких вещей и что они лично их презирают и считают недостойными внимания, в доказательство чего они воскликнули с еще большей энергией, чем раньше, что это срам и они возмущены и просто не знают, что им делать.

— Неужели я дожила до того, что меня называют пугалом! — воскликнула мисс Нэг, внезапно впадая в конвульсии и делая попытку сорвать накладные волосы.

— О нет, нет! — отозвался хор. — Пожалуйста, не говорите так, не надо!

— Неужели я заслужила, чтобы меня называли старухой! — взвизгнула мисс Нэг, вырываясь из рук статисток.

— Не думайте об этом, дорогая! — ответил хор.

— Я ее ненавижу! — закричала мисс Нэг. — Я ее ненавижу и терпеть не могу! Никогда не позволяйте ей заговаривать со мной! Пусть никто из тех, кто мне друг, не разговаривает с ней! Девчонка, нахалка, бесстыдная, нахальная интриганка!

Обличив в таких выражениях предмет своего гнева, мисс Нэг взвизгнула один раз, икнула три раза, проглотила слюну несколько раз, задремала, вздрогнула, очнувшись, встрепенулась, поправила прическу и объявила, что чувствует себя хорошо.

Сначала бедная Кэт смотрела на эту сцену в полном недоумении. Потом она начала краснеть и бледнеть и два раза пыталась что-то сказать; но, когда обнаружились истинные мотивы этого изменившегося к ней отношения, она отступила на несколько шагов и спокойно наблюдала, не устаивая мисс Нэг ответом. Однако, хотя она гордо вернулась на свое место и села спиной к группе маленьких спутников, собравшихся вокруг своей планеты, она украдкой пролила несколько горьких слезинок, которые до глубины души порадовали бы мисс Нэг, если бы та могла их видеть.

Глава XIX,

описывающая обед у мистера Ральфа Никльби, и повествующая о том, как развлекалось общество до обеда, во время обеда и после обеда

Раздражение и злоба достойной мисс Нэг отнюдь не утихли до конца недели, но скорее усиливались с каждым часом; праведный гнев всех молодых леди возрастал, или как будто возрастал, пропорционально негодованию славной старой девы, а негодование разгоралось каждый раз, когда мисс Никльби звали наверх; легко себе представить, что повседневная жизнь Кэт была далеко не из самых веселых или завидных. Она приветствовала наступление субботнего вечера, как арестант — несколько блаженных часов передышки после томительной и изнуряющей пытки, и почувствовала, что ничтожная плата за первую неделю труда, будь она даже утроена, была бы слишком тяжело доставшимся заработком.

По обыкновению, присоединившись на углу улицы к матери, она немало удивилась, застав ее беседующей с мистером Ральфом Никльби, но вскоре ее еще больше удивили как предмет их беседы, так и мягкое, изменившееся обращение самого мистера Никльби.

— А, милая моя! — сказал Ральф. — Мы как раз говорили о вас.

— В самом деле? — отозвалась Кэт, ежась, сама не зная почему, под холодным сверкающим взглядом своего дяди.

— Да, — ответил Ральф. — Я хотел зайти за вами, чтобы непременно вас повидать, пока вы не ушли, но мы с вашей матерью разговорились о семейных делах, и время пролетело так быстро...

— Не правда ли? — вмешалась миссис Никльби, совершенно не заметив, каким саркастическим тоном были сказаны последние слова Ральфа. — Честное слово, я бы никогда не поверила, что возможна такая... Кэт, дорогая моя, завтра в половине седьмого ты будешь обедать у твоего дяди.

Торжествуя, что первая сообщила эту изумительную новость, миссис Никльби великое множество раз кивнула головой и улыбнулась, чтобы недоумевающая Кэт уяснила, насколько эта новость удивительна; а затем миссис Никльби сделала крутой поворот, перейдя к обсуждению вопроса о подготовке к визиту.

— Дайте подумать, — сказала славная леди. — Твое черное шелковое платье с этим хорошеньким шарфиком будет вполне приличным нарядом, дорогая моя, простая лента в волосах, черные шелковые чулки... Ах, боже мой, боже мой! — воскликнула миссис Никльби, перескакивая к другому предмету. — Если бы только у меня были эти мои несчастные аметисты... ты их помнишь, Кэт, милочка... знаешь, как они, бывало, сверкали... Но твой папа, твой бедный дорогой папа... Ах, какая жестокость была пожертвовать этими драгоценностями!

Обессиленная этой мучительной мыслью, миссис Никльби меланхолично покачала головой и прижала платок к глазам.

— Право же, мама, они мне не нужны, — сказала Кэт. — Збудьте, что они когда-то у вас были.

— Ах, Кэт, дорогая моя, — с досадой возразила миссис Никльби, — ты рассуждаешь, как дитя! Послушайте, деверь: двадцать четыре серебряных чайных ложки, два соусника, четыре солонки, все аметисты — ожерелье, брошки и серьги — все было спущено сразу! А я-то чуть ли не на коленях умоляла этого бедного доброго человека: «Почему ты ничего не предпримешь, Николас? Почему ты как-нибудь не устроишься?» Я уверена, всякий, кто был в то время около нас, отдаст мне должное и признает, что я это говорила не один, а пятьдесят раз в день. Разве я этого не говорила, Кэт, дорогая моя? Разве я хоть раз упустила случай внушить это твоему бедному папе?

— Нет, мама, никогда, — ответила Кэт.

Нужно отдать справедливость миссис Никльби, она никогда не упускала случая (и нужно отдать справедливость всем замужним леди, они редко упускают случай) внедрять подобные золотые правила, единственным недостатком коих являются некоторая неопределенность и туманность, их окутывающие.

— Ах! — с жаром воскликнула миссис Никльби. — Если бы с самого начала

последовали моему совету... Ну что ж, я всегда исполняла свой долг, и в этом есть какое-то утешение.

Придя к такой мысли, миссис Никльби вздохнула, потерла руки, возвела глаза к небу и, наконец, приняла вид спокойный и смиренный, давая этим понять, что ее подвергали гонениям, как святую, но что она не будет утруждать своих слушателей упоминанием об обстоятельствах, которые должны быть известны всем.

— А теперь вернемся к предмету, от которого мы отвлеклись, — сказал Ральф с улыбкой, которая, как и все другие внешние признаки его эмоций, казалось, только пробегала крадучись по лицу, но не играла на нем открыто. Завтра у меня соберется небольшое общество... джентльмены, с которыми в настоящее время я веду дела, и ваша мать обещала, что вы будете исполнять обязанности хозяйки дома. Я не очень-то привык к званым вечерам, но это связано с делами, и иногда такие пустяки имеют существенное значение. Вы не возражаете против того, чтобы оказать мне услугу?

— Возражает? — воскликнула миссис Никльби. — Кэт, дорогая моя, почему...

— Простите! — перебил Ральф, жестом предлагая ей замолчать. — Я обращался к моей племяннице.

— Конечно, я буду очень рада, дядя, — сказала Кэт, — но боюсь, что я покажусь вам неловкой и застенчивой.

— О нет! — сказал Ральф. — Приезжайте, когда хотите, наймите карету, я за нее заплачу. Спокойной ночи... Э... да благословит вас бог!

Казалось, благословение застряло в горле у мистера Ральфа Никльби, как будто эта дорога была ему незнакома и оно не знало, как оттуда выбраться. Но оно все-таки выкарабкалось, хотя и неловко, и, избавившись от него, Ральф пожал руку своим двум родственницам и быстро ушел.

— Какие резкие черты лица у твоего дяди! — сказала миссис Никльби, совершенно потрясенная взглядом, который он бросил на прощанье. — Я не замечаю ни малейшего сходства с его бедным братом.

— Мама! — укоризненно проговорила Кэт. — Как могла вам прийти в голову такая мысль?

— Да, — задумчиво сказала миссис Никльби. — Право же, нет никакого сходства. Но у него очень честное лицо.

Достойная матрона сделала это замечание без колебаний и весьма выразительно, словно в нем заключалось немало тонкости и проницательности. И в самом деле, оно было достойно того, чтобы отнести его к разряду изумительных открытий этого века. Кэт быстро подняла глаза и так же быстро опустила их снова.

— Скажи, ради бога, дорогая моя, что это ты так притихла? — спросила миссис Никльби, после того как они довольно долго шли молча.

— Я просто задумалась, мама, — отозвалась Кэт.

— Задумалась... — повторила миссис Никльби. — Да, в самом деле, есть о чем подумать. Твой дядя почувствовал к тебе сильное расположение, это совершенно ясно, и, если после этого на твою долю не выпадет какая-нибудь изумительная удача, я буду немножко удивлена, вот и все.

Затем она принялась рассказывать всевозможные истории о молодых леди, которым их эксцентрические дяди совали в ридикюль банкноты в тысячу фунтов, и о молодых леди, которые случайно встречали в доме дяди любезных и необычайно богатых джентльменов и после недолгого, но пламенного ухаживания выходили за них замуж. А Кэт, слушавшая сначала равнодушно, а потом начавшая забавляться, почувствовала, пока они шли домой, что и в ее душе постепенно пробуждаются радужные мечты ее матери, и подумала о том, что, быть может, виды на будущее станут светлее и впереди их ждут лучшие дни. Такова надежда, небесный дар страждущим смертным, подобно тончайшему небесному аромату проникающая все, и хорошее и дурное, вездесущая, как смерть, и более заразная, чем болезнь!

Бледное солнце, — а зимнее солнце в Лондоне очень бледно, — могло бы просить, когда, заглянув в тусклые окна большого старого дома, оно стало свидетелем необычной сцены, происходившей в скудно меблированной комнате. В мрачном углу, где в течение многих лет безмолвно громоздилась гора товаров, служа приютом колонии мышей и оставаясь пыльной и неподвижной массой, за исключением тех случаев, когда, отзываясь на грохот тяжелых повозок на улице, она начинала трястись и вздрагивать, а у ее крошечных обитателей блестящие глазки блестели от страха еще ярче, и, внимательно прислушиваясь, с трепещущим сердцем, они замирали, пока не уляжется тревога, — в этом темном углу были разложены с величайшей заботливостью все скромные принадлежности туалета Кэт, предназначавшиеся для этого дня; каждая вещь сохраняла ту неопишемую живость и индивидуальность, какими в глазах, привыкших к красоте обладательницы наряда, отличается еще не надетое платье либо по какой-то ассоциации, либо потому, что оно словно сохраняет ее очарование. На месте тюка с гнилым товаром лежало черное шелковое платье. Туфельки с изящными носками стояли там, где прежде лежала гора железного хлама, а куча жесткой выцветшей кожи, сама того не ведая, уступила место маленьким черным шелковым чулкам, предмету сугубых забот миссис Никльби. Крысы, мыши и прочая мелюзга давно по гибли с голоду или переселились на лучшую квартиру, а вместо них появились перчатки, ленты, шарфы, шпильки и другие замысловатые вещицы, не менее изобретательные в способах терзать человечество, чем крысы и мыши. И среди всех этих вещей скользила Кэт, одно из самых прелестных и необычных украшений этого сурового, старого, мрачного дома.

В час добрый или недобрый, пусть судит сам читатель, — нетерпение миссис Никльби далеко опередило часы в этом конце города, и Кэт оделась и воткнула последнюю шпильку в волосы по крайней мере за полтора часа до того, как нужно было бы только начать об этом думать, — в час добрый или недобрый туалет был закончен. Когда же, наконец, настало время, назначенное для отъезда, разносчик молока пошел к ближайшей стоянке за каретой, и Кэт, много раз попрощавшись с матерью и попросив передать много ласковых приветов мисс Ла-Криви, которую ждали к чаю, уселась в экипаж и торжественно отбыла — если случалось кому-нибудь отбывать торжественно в наемной карете. И карета, и кучер, и лошади помчались с грохотом и тархтели, и щелкали кнутом, и ругались, и бранились, и катили вперед, пока не прибыли на Гольдн-сквер.

Кучер оглушительно постучал двойным ударом в дверь, которая распахнулась задолго до того, как он перестал стучать, с такой быстротой, словно за ней стоял человек с рукой, привязанной к щеколде. Кэт, которая не ждала увидеть что-нибудь более примечательное, чем Ньюмен Ногс в чистой сорочке, очень удивилась, что дверь открыл человек в красивой ливрее и в вестибюле стояли еще два-три лакея. Однако нельзя было предположить, что она попала не в тот дом, так как на двери красовалась фамилия, поэтому она положила руку на обшитый галуном рукав ливреи, подставленный ей, и вошла в дом. Ее повели наверх, в заднюю гостиную, где оставили одну.

Если появление лакея ее удивило, то она была совершенно поражена богатством и роскошью обстановки. Мягкие прекрасные ковры, превосходнейшие картины, самые дорогие зеркала, великолепные безделушки, заставлявшие изумляться той щедрости, с какой они были повсюду расставлены, со всех сторон притягивали к себе ее взгляд. Даже лестница почти до самой наружной двери была заставлена прекрасными и дорогими вещами, словно дом был переполнен сокровищами и достаточно добавить еще какую-нибудь вещицу, чтобы они выплеснулись на улицу.

Вскоре она услышала ряд громких двойных ударов в парадную дверь и после каждого удара — чей-нибудь новый голос в соседней комнате. Сначала легко было отличить голос мистера Ральфа Никльби, но постепенно он потонул в общем гуле, и она могла только установить, что там находится несколько джентльменов с не очень мелодичными голосами, которые беседуют очень громко, смеются очень весело и вставляют ругательства чаще, чем она считала необходимым. Но это было дело вкуса.

Наконец дверь открылась, и появилась хитрая физиономия самого Ральфа, на этот раз

заменившего сапоги черными шелковыми чулками и туфлями.

— Я не мог повидать вас раньше, дорогая моя, — сказал он вполголоса, указывая при этом в сторону соседней комнагы. — Я был занят, принимал их. А теперь повести вас туда?

— Скажите, дядя, — начала Кэт, слегка взволнованная, как нередко волнуются и те, кто гораздо лучше знает свет, если им предстоит выйти к незнакомым людям и у них было время заранее об этом подумать, — там есть какие-нибудь леди?

— Нет, — коротко ответил Ральф. — У меня нет знакомых леди.

— Я должна идти сию минуту? — спросила Кэт, слегка попятившись.

— Как хотите, — пожимая плечами, сказал Ральф. — Все собрались и сейчас доложат, что обед подан.

Кэт хотелось бы просить о нескольких минутах отсрочки, но, подумав, что, быть может, дядя, уплатив за наемную карету, рассчитывает на ее пунктуальность, рассматривая это как некую сделку, она позволила ему взять себя под руку и вывести.

Когда они вошли, семь-восемь джентльменов стояли полукругом перед камином, и так как разговаривали они очень громко, то не заметили их появления, пока мистер Ральф Никльби, тронув одного за рукав, не сказал резким, внушительным голосом, как бы желая привлечь общее внимание:

— Лорд Фредерик Верисофт — моя племянница мисс Никльби.

Группа расступилась, словно в великом изумлении, а джентльмен, к которому были обращены эти слова, повернулся, представив для обозрения превосходнейший костюм, бакенбарды, отличавшиеся таким же качеством, усы, густую шевелюру и молодое лицо.

— А? — сказал джентльмен. — Как... черт!

Издавая эти отрывистые восклицания, он вставил монокль и с великим изумлением воззрился на мисс Никльби.

— Моя племянница, милорд, — сказал Ральф.

— Значит, слух меня не обманул и это не восковая фигура, — сказал его лордство. — Как поживаете? Счастлив познакомиться.

А затем его лордство повернулся к другому превосходному джентльмену, немножко постарше, немножко потолще, с лицом немножко покраснее и немножко дольше вращавшемуся в свете, и сказал громким шепотом, что девушка «чертовски мила».

— Представьте меня, Никльби, — сказал этот второй джентльмен, который стоял спиной к камину, положив оба локтя на каминную доску.

— Сэр Мальбери Хоук, — сказал Ральф.

— Иными словами — лучшая карта в колоде, мисс Никльби, — сказал лорд Фредерик Верисофт.

— Не, пропустите меня, Никльби! — воскликнул джентльмен с резкими чертами лица, который читал газету, сидя на низком стуле с высокой спинкой.

— Мистер, Найк, — сказал Ральф.

— И меня, Никльби! — воскликнул франтоватый джентльмен с раскрасневшимся лицом, стоявший бок о бок с сэром Мальбери Хоуком.

— Мистер Плак, — сказал Ральф.

Затем, повернувшись на каблуках в сторону джентльмена с шеей аиста и ногами, каких нет ни у одного из животных, Ральф представил его как почтенного мистера Сноба, а седовласую особу за столом — как полковника Чоусера. Полковник разговаривал с кем-то, кто, казалось, был приглашен в качестве затычки и потому вовсе не был представлен.

С самого начала два обстоятельства привлекли внимание Кэт, задев ее и вызвав у нее на щеках жгучий румянец: дерзкое презрение, с каким гости несомненно относились к ее дяде, и развязный, наглый тон по отношению к ней самой. Не нужно было слишком острой проницательности, чтобы предугадать, что эта первая особенность в их поведении подчеркнет вторую. И тут мистер Ральф Никльби недооценил своей гостьи. Даже если молодая леди только что приехала из провинции и мало знакома с обычаями света, может случиться, что у нее такое глубокое врожденное понимание приличий и правил жизни, как

будто она провела двенадцать сезонов в Лондоне, — пожалуй, еще более глубокое, ибо известно, что такие чувства притупляются от этой полезной практики.

Закончив церемонию представления, Ральф повел свою зардевшуюся племянницу к креслу. При этом он украдкой посматривал по сторонам, словно желая удостовериться в том, какое впечатление произвел ее внезапный выход.

— Неожиданное удовольствие, Никльби, — сказал лорд Фредерик Верисофт, вынимая монокль из правого глаза, где находился он до сей поры и воздавал должное Кэт, и вставляя в левый, чтобы заставить его обратиться в сторону Ральфа.

— Сюрприз, приготовленный для вас, лорд Фредерик, — сказал мистер Плак.

— Недурная мысль, — сказал его лордство, — она могла бы почти оправдать лишние два с половиной процента.

— Никльби, — сказал сэр Мальбери Хоук, — подловите его на слове и прибавьте эти проценты к двадцати пяти или сколько их там, а половину дайте мне за совет.

Сэр Мальбери приукрасил эту речь хриплым смехом и закончил любезным проклятьем с упоминанием о руках и ногах мистера Никльби, причем мистеры Пайк и Плак неудержимо захохотали.

Джентльмены еще не успели вдоволь посмеяться над этой шуткой, как было положено, что обед подан, а затем они снова пришли в экстаз, ибо сэр Мальбери Хоук, чересчур развеселившийся, ловко прошмыгнул мимо лорда Фредерика Верисофта, собиравшегося вести Кэт вниз, и продел ее руку под свою до самого локтя.

— Черт возьми, Верисофт, — сказал сэр Мальбери, самое главное — это вести игру честно, а мы с мисс Никльби договорились при помощи взглядов десять минут тому назад.

— Ха-ха-ха! — захохотал почтенный мистер Сноб. — Превосходно, превосходно!

Сделавшись еще более остроумным после этой похвалы, сэр Мальбери Хоук весьма игриво подмигнул друзьям и повел Кэт вниз с фамильярным видом, от которого ее кроткое сердце загорелось таким жгучим негодованием, что ей почти немыслимым казалось подавить его. И это чувство отнюдь не ослабело, когда ее поместили во главе стола между сэром Мальбери Хоуком и лордом Фредериком Верисофтом.

— О, вы нашли местечко по соседству с нами, вот как? — сказал сэр Мальбери, когда его лордство уселся.

— Разумеется! — ответил лорд Фредерик, устремляя взгляд на мисс Никльби. — Стоит ли задавать такой вопрос?

— Займитесь-ка обедом, — сказал сэр Мальбери, — и не обращайтесь на мисс Никльби и на меня, потому что мы, полагаю я, окажемся очень рассеянными собеседниками.

— Хотел бы я, чтобы вы вмешались в это дело, Никльби, — сказал лорд Фредерик.

— Что случилось, милорд? — осведомился Ральф с другого конца стола, где его соседями были мистеры Пайк и Плак.

— Этот Хоук присваивает себе исключительные права на вашу племянницу, ответил лорд Фредерик.

— Он получает порядочную долю во всем, на что вы предъявляете свои права, милорд, — с усмешкой сказал Ральф.

— Ей-богу, это верно! — отозвался молодой человек. — Черт меня подери, если я знаю, кто хозяин у меня в доме — он или я!

— Зато я знаю, — пробормотал Ральф.

— Кажется, придется мне от него отделаться, оставив ему по завещанию один шиллинг, — пошутил молодой аристократ.

— Э, нет, будь я проклят! — сказал сэр Мальбери. — Когда вы дойдете до шиллинга — до последнего шиллинга, я от вас быстро отстану, но до той поры я ни за что не покину вас, можете мне поверить.

Эта остроумная реплика (основанная на непреложном факте) была встречена общим смехом, не заглушившим, однако, взрыв хохота мистера Пайка и мистера Плака, которые, очевидно, были присяжными льстецами при сэре Мальбери. Действительно, нетрудно было

заметить, что большинство присутствующих избрали своей жертвой злополучного молодого лорда, который, хотя и был безволен и глуп, казался наименее порочным из всей компании. Сэр Мальбери Хоук отличался умением разорять (самостоятельно и с помощью своих прихлебателей) богатых молодых джентльменов — благородная профессия, среди представителей которой он несомненно занимал первое место. Со всею дерзостью прирожденного гения он изобрел новую систему, совершенно противоположную старому методу: когда он утверждал свою власть над теми, кого забирал в руки, он скорее угнетал их, чем давал им волю, и упражнял над ними свое остроумие открыто и безоговорочно. Таким образом, его жертвы служили ему в двояком смысле: с большим искусством осушая их, как бочку, он в то же время заставлял их гудеть от всевозможных щелчков, ловко наносимых для увеселения общества.

Великолепием и совершенством деталей обед был так же примечателен, как и дом, а гости были примечательны тем, что, не скупясь, воздавали ему должное, в чем особенно отличались мистеры Пайк и Плак. Эти два джентльмена отведали каждое кушанье и пили из каждой бутылки, обнаружив вместимость и прилежание, поистине изумительные. И, несмотря на этот великий труд, они были поразительно бодры, ибо с появлением десерта снова принялись за дело, как будто с самого завтрака ничего существенного в рот не брали.

— Ну-с, — сказал лорд Фредерик, смакуя первую рюмку портвейна, — если этот обед дан по случаю учета векселя, я могу только сказать — черт меня побери! — что хорошо было бы учитывать их ежедневно.

— Придет время, и у вас будет немало подобных поводов, — заметил сэр Мальбери Хоук. — Никльби вам это подтвердит.

— Что скажете, Никльби? — осведомился молодой человек. — Буду ли я хорошим клиентом?

— Все зависит от обстоятельств, милорд, — отвечал Ральф.

— От обстоятельств, в каких будет находиться наше лордство, — вмешался полковник милиции⁴⁴ Чоусер, и от ипподрома.

Доблестный полковник бросил взгляд на мистеров Пайка и Плака, как бы ожидая, что они захохочут, услышав его остроту; но эти джентльмены, нанятые хохотать только для сэра Мальбери Хоука, остались, к вящему разочарованию полковника, серьезными, как два гробовщика. В довершение беды сэр Мальбери, считая подобные попытки нарушением его собственных привилегий, посмотрел на противника в упор сквозь свою рюмку, как бы изумленный его самонадеянностью, и высказал вслух мнение, что это «чертовская вольность»; эти слова послужили сигналом для лорда Фредерика, который в свою очередь поднял рюмку и обозрел предмет, достойный порицания, словно тот был каким-то необыкновенным диким зверем, впервые выставленным напоказ. Само собой разумеется, мистеры Пайк и Плак устали на субъекта, на которого взирал сэр Мальбери Хоук; чтобы скрыть смущение, бедный полковник принужден был поднести свою рюмку портвейна к правому глазу и притвориться, будто с живейшим интересом изучает его цвет.

Кэт все время молчала, поскольку это было возможно, едва осмеливаясь поднять глаза из боязни встретить восхищенный взгляд лорда Фредерика Верисофта или, что было еще неприятнее, дерзкий взор его друга сэра Мальбери. Сей последний джентльмен был столь предупредителен, что привлек к ней всеобщее внимание.

— А мисс Никльби удивляется, — заметил сэр Мальбери, — почему, черт побери, никто за ней не ухаживает.

— О нет! — быстро сказала Кэт, подняв глаза. — Я...и тут она запнулась, чувствуя, что лучше было бы ничего не говорить.

— Я готов с кем угодно биться об заклад на пятьдесят фунтов, что мисс Никльби не посмеет посмотреть мне в глаза и опровергнуть мои слова, — сказал сэр Мальбери.

— Идет! — крикнул аристократический болван. — Срок — десять минут.

— Идет! — ответил сэр Мальбери.

Деньги были предъявлены обеими сторонами, и достопочтенный мистер Сноб взял на себя обязанности счетчика и хранителя ставок.

— Прошу вас, — в великом смущении сказала Кэт, пока шли эти приготовления, — прошу вас, не держите из-за меня никаких пари. Дядя, право же, я не могу...

— Почему, дорогая моя? — отозвался Ральф, чей скрипучий голос звучал, однако, необычно хрипло, словно он говорил против воли и предпочел бы, чтобы такое предложение не было сделано. — Это всего одна секунда, ничего особенного тут нет. Если джентльмены на этом настаивают...

— Я не настаиваю, — с громким смехом сказал сэр Мальбери. — Иными словами, я отнюдь не настаиваю, чтобы мисс Никльби отрицала этот факт, ибо в таком случае я проиграю, но я буду рад увидеть ее ясные глазки, в особенности потому, что она оказывает такое предпочтение этому столу красного дерева.

— Верно, и это слишком пло-о-хо с вашей стороны, мисс Никльби, — сказал знатный молодой человек.

— Прямо-таки жестоко! — сказал мистер Пайк.

— Ужасно жестоко! — сказал мистер Плак.

— Я не боюсь проиграть, — сказал сэр Мальбери, потому что стоит заплатить вдвое больше за то, чтобы заглянуть в глаза мисс Никльби.

— Больше, чем вдвое! — сказал мистер Пайк.

— Гораздо больше! — сказал мистер Плак.

— Что показывают злодейские часы, Сноб? — спросил сэр Мальбери Хоук.

— Прошло четыре минуты.

— Браво!

— Быть может, вы сделаете над собой усилие ради меня, мисс Никльби? — спросил лорд Фредерик после небольшой паузы.

— Не трудитесь задавать такие вопросы, мой милый франт, — сказал сэр Мальбери. — Мисс Никльби и я понимаем друг друга: она принимает мою сторону и этим доказывает, что у нее есть вкус... Вам не везет, старина! Сколько, Сноб?

— Прошло восемь минут.

— Готовьте деньги, — сказал сэр Мальбери, — скоро вы мне их вручите.

— Ха-ха-ха! — захохотал мистер Пайк.

Мистер Плак, всегда запаздывавший, но старавшийся превзойти приятеля, пронзительно засмеялся.

Бедная девушка, от смущения едва ли понимавшая, что делает, решила оставаться совершенно спокойной, но, испугавшись, как бы не подумали, что, поступая таким образом, она одобряет похвалу сэра Мальбери, выраженную очень грубым и пошлым тоном, она подняла глаза и посмотрела ему в лицо. Было что-то столь гнусное, столь наглое, столь отталкивающее во взгляде, встретившем ее взгляд, что, не в силах выговорить ни слова, она встала и выбежала из комнаты. С большим трудом она удерживалась от слез, пока не очутилась одна наверху, и тогда дала им волю.

— Превосходно! — сказал сэр Мальбери Хоук, пряча в карман ставки. — Это девушка с характером, и мы выпьем за ее здоровье.

Незачем говорить, что Пайк и Кь с жаром поддержали его предложение и что тост сопровождался многочисленными намеками от имени фирмы, имевшими отношение к полной победе сэра Мальбери. Пока внимание гостей было сосредоточено на главных участниках предшествующей сцены, Ральф смотрел на них волком и, казалось, вздохнул свободнее, когда ушла его племянница. Графины быстро заходили по кругу. Он откинулся на спинку стула и, по мере того как собеседники разгорячались от вина, смотрел то на одного, то на другого таким взглядом, который словно проникал в их сердца и открывал его нечистому любопытству каждую их суетную мысль.

Между тем Кэт, предоставленная самой себе, несколько успокоилась. Она узнала от

служанки, что дядя хочет повидать ее перед уходом, а также получила приятные сведения, что джентльмены будут пить кофе в столовой. Перспектива больше не встретиться с ними немало способствовала тому, что волнение ее улеглось, и, взяв книгу, она принялась за чтение.

Время от времени она вздрагивала, когда внезапно открывалась дверь столовой, откуда вырывался дикий гул буйной пирушки, и не раз привставала в великой тревоге, если почудившиеся ей шаги на лестнице внушали страх, что кто-то из гостей, отбившись от общества, направляется сюда один. Но поскольку ничего оправдывающего ее опасения не случилось, она постаралась сосредоточить внимание на книге, которой мало-помалу заинтересовалась так, что прочла несколько глав, забыв о времени и месте, как вдруг с ужасом услышала свое имя, произнесенное мужским голосом над самым ее ухом.

Книга выпала у нее из рук. Рядом с ней на диване, совсем близко от нее, развалился сэр Мальбери Хоук, которому явно не пошло на пользу вино: оно никогда не идет на пользу негодяю.

— Какое восхитительное прилежание! — сказал сей превосходный джентльмен. — Оно неподдельно или цель его — показать во всей прелести ресницы?

Кэт, с тревогой бросив взгляд на дверь, ничего не ответила.

— Я созерцал их пять минут, — сказал сэр Мальбери. — Клянусь душой, они безупречны. Ах, зачем я заговорил и испортил такую прелестную картину!

— Будьте любезны замолчать, сэр, — отозвалась Кэт.

— Полно! — сказал сэр Мальбери, подкладывая себе под локоть свой складной цилиндр и еще ближе придвигаясь к молодой леди. — Вы не должны этого говорить такому верному вашему рабу, мисс Никльби... Клянусь душой, это дьявольски жестокое обращение.

— Я бы хотела, чтобы вы поняли, сэр, — сказала Кэт, не в силах подавить дрожь, но говоря с великим возмущением, — ваше поведение оскорбляет меня и вызывает отвращение. Если сохранилась у вас хоть искра благородства, оставьте меня.

— Но почему? — осведомился сэр Мальбери. — Почему вы, нежное мое создание, представляетесь такой суровой? Ну, будьте же более непосредственны... милая моя мисс Никльби, будьте более непосредственны... прошу вас.

Кэт быстро встала, но, когда она поднималась, сэр Мальбери ухватился за ее платье и насильно удержал ее.

— Сейчас же отпустите меня, сэр! — воскликнула она в негодовании. — Вы слышите? Сейчас же! Сию минуту!

— Ну, сядьте же. сядьте, — сказал сэр Мальбери. Я хочу поговорить с вами.

— Сию же минуту отпустите меня, сэр! — вскричала Кэт.

— Ни за что на свете! — откликнулся сэр Мальбери. С этими словами он наклонился, как бы желая снова ее усадить, но молодая леди с силой рванулась, стараясь освободиться, а он потерял равновесие и во весь рост растянулся на полу. Когда Кэт бросилась вон из комнаты, в дверях показался Ральф и очутился лицом к лицу с ней.

— Что это значит? — спросил Ральф.

— Это значит, сэр, — в страшном волнении ответила Кэт, — что в этом доме, где я, беспомощная девушка, дочь вашего покойного брата, могла бы, казалось, найти защиту, мне нанесли такие оскорбления, которые должны заставить вас содрогнуться. Дайте мне уйти!

Ральф содрогнулся, когда девушка устремила на него негодующий взор, однако он не подчинился ее требованию: он повел ее к стоявшему в глубине комнаты креслу, а затем, подойдя к сэру Мальбери Хоуку, который тем временем встал, указал ему рукой на дверь.

— Ступайте, сэр! — сказал Ральф приглушенным голосом, который сделал бы честь любому дьяволу.

— Что вы хотите этим сказать? — свирепо спросил его друг.

На морщинистом лбу Ральфа веревками вздулись вены, и мускулы вокруг рта задергались, словно от нестерпимого волнения. Но он презрительно улыбнулся и снова указал на дверь.

— Да вы что, не знаете меня, сумасшедший старик? — воскликнул сэр Мальбери.

— Знаю, — сказал Ральф.

Элегантный негодяй на секунду струсил под пристальным взглядом более старого грешника и, бормоча что-то, двинулся к двери.

— Вам нужен был лорд? — сказал он, внезапно останавливаясь у порога, как будто его осенила новая мысль, и снова поворачиваясь к Ральфу. — Черт подери, я встал поперек дороги, да?

Ральф снова улыбнулся, но ничего не ответил.

— Кто привел его к вам, — продолжал сэр Мальбери, — как бы вы могли без меня заполучить его в свои сети?

— Сети большие и, пожалуй, полным-полны, — сказал Ральф. — Берегитесь, как бы кто не задохся в петлях.

— За деньги вы готовы отдать свою плоть и кровь и самого себя, если бы не заключили раньше договора с чертом! — возразил тот. — И вы хотите мне внушить, что ваша хорошенькая племянница была доставлена сюда не для того, чтобы служить приманкой для этого пьяного мальчишки там, внизу?

Хотя и тот и другой вели этот диалог негромко, Ральф невольно озирался, желая удостовериться, что Кэт не пересела на другое место, где она могла бы их слышать. Противник его заметил свое преимущество и воспользовался им.

— И вы хотите мне внушить, что это не так? — спросил он снова. — Вы хотите мне сказать, что, проберись он сюда наверх вместо меня, вы бы не были чуточку более слепым, и чуточку более глухим, и чуточку менее наглым, чем сейчас? Ну-ка, Никльби, ответьте мне на Это!

— Я вам вот что скажу, — ответил Ральф, — я привел ее сюда в интересах дела...

— Ах, вот оно то самое слово! — со смехом вставил сэр Мальбери. — Вот сейчас вы опять становитесь самим собой.

— ...в интересах дела, — продолжал Ральф, говоря медленно и твердо, как человек, решивший не говорить лишних слов, — так как думал, что, быть может, она произведет впечатление на глупого юнца, которого вы прибрали к рукам и по мере сил толкаете к гибели. Но я был уверен, — зная его, — что немало времени пройдет, прежде чем он оскорбит ее девические чувства, а если он не оскорбит их из-за фатовства или по легкомыслию, то будет относиться с уважением и к полу и к характеру даже племянницы своего ростовщика. Но, если в мои замыслы входило незаметно завлечь его с помощью этой затеи, я не думал о том, чтобы подвергнуть девушку распутным и наглым выходкам такого человека, как вы. Теперь мы понимаем друг друга.

— Тем более что так вы ничего не выигрываете? — огрызнулся сэр Мальбери.

— Вот именно, — сказал Ральф.

Он отвернулся и, давая этот ответ, бросил взгляд через плечо. В глазах обоих негодяев было такое выражение, как будто каждый понимал, что ему от другого не спрятаться. Сэр Мальбери пожал плечами и медленно вышел из комнаты.

Его друг закрыл дверь и с беспокойством посмотрел в ту сторону, где его племянница все еще сохраняла позу, в которой он ее оставил. Она бросилась на диван и, опустив голову на подушку, закрыв лицо руками, казалось, все еще плакала от мучительного стыда и обиды.

Ральф мог войти в дом нищего должника и указать на него бейлифу⁴⁵, хотя бы этот должник сидел у смертного ложа ребенка; он мог поступить так не задумываясь, потому что считал это делом обычным и повседневным, а должник являлся нарушителем его единственного кодекса морали. Но эта молодая девушка ничего плохого не сделала, кроме того, что родилась на свет, она терпеливо подчинялась всем его желаниям, старалась угодить ему и, что важнее всего, не была должна ему денег, и потому он чувствовал смущение и беспокойство.

Ральф сел на стул поодаль, потом на другой стул, поближе, потом еще чуточку ближе, потом придвинулся еще ближе и, наконец, присел на тот же диван и положил руку на руку Кэт.

— Успокойтесь, дорогая моя, — сказал он, когда она отдернула руку и снова разрыдалась. — Успокойтесь, успокойтесь! Не вспоминайте, не думайте сейчас об этом!

— О, сжальтесь, отпустите меня домой! — вскричала Кэт. — Позвольте мне уйти отсюда и вернуться домой.

— Да, да, — сказал Ральф, — вы поедете домой. Но сначала вы должны осушить слезы и успокоиться. Дайте я приподниму вам голову. Вот так, вот так.

— О дядя! — стиснув руки, воскликнула Кэт. — Что я вам сделала, что я такое сделала? Почему вы так со мной поступаете? Если бы я вас оскорбила мыслью, словом или делом, то и в таком случае ваш поступок был бы жесток по отношению ко мне и к памяти того, кого вы когда-то, должно быть, любили! Но...

— Вы только послушайте меня минутку, — перебил Ральф, не на шутку встревоженный взрывом ее чувств. — Я не думал, что это случится, я никак не мог это предвидеть. Я сделал все, что мог... Давайте пройдемся. Вам стало дурно оттого, что здесь душно и жарко от этих ламп. Сейчас вам будет лучше, если вы только сделаете над собой самое маленькое усилие.

— Я сделаю что угодно, — отозвалась Кэт, — только отпустите меня домой.

— Да, да, отпущу, — сказал Ральф, — но сначала вы должны прийти в себя, потому что в таком виде вы всех напугаете, а об этом никто знать не должен, кроме вас и меня. Ну, давайте еще пройдемся. Вот так. Вот у вас уже и вид стал лучше.

С этими ободряющими словами Ральф Никльби прохаживался взад и вперед с племянницей, опиравшейся на его руку, и буквально трепетал от ее прикосновения.

Так же точно, когда он счел возможным ее отпустить, он поддерживал ее, спускаясь по лестнице, после того как оправил на ней шаль и оказал другие мелкие услуги — по всей вероятности, в первый раз в жизни. Ральф провел ее через вестибюль, затем вниз по ступеням и не отнимал своей руки, пока она не села в карету.

Когда дверца экипажа с силой захлопнулась, гребень с головы Кэт упал к ногам ее дяди; он поднял его и подал ей; лицо ее было освещено фонарем. Вьющаяся прядь волос, упавшая ей на лоб, следы едва высохших слез, покрасневшие щеки, печальный взгляд — все это зажгло какие-то воспоминания, тлеющие в груди старика; и лицо умершего брата словно явилось перед ним, совсем такое, каким оно было однажды, в минуту детского горя, и мельчайшие подробности вспыхнули в его памяти так ярко, как будто это случилось вчера.

Ральф Никльби, который оставался непроницаемым для всех кровных и родственных чувств, который был глух ко всем призывам скорби и отчаяния, пошатнулся, смотря на это лицо, и вернулся в свой дом как человек, узревший привидение.

Глава XX,

Николас встречается, наконец, с дядей, которому он выражает свои чувства с большим откровенностью. Его решение

Ранним утром в понедельник — на следующий день после званого обеда — маленькая мисс Ла-Криви бодро пробиралась по улицам к Вест-Энду, получив важное поручение уведомить мадам Мантанини, что мисс Никльби слишком расхворалась, чтобы выйти сегодня, но завтра, надеется она, будет в силах вновь приняться за исполнение своих обязанностей. А пока мисс Ла-Криви шла, мысленно перебирая разные изящные выражения и элегантные обороты с целью выбрать наилучшие и воспользоваться ими для своего сообщения, она очень много размышляла о причинах недомогания своей юной приятельницы.

«Не знаю, что и думать, — говорила себе мисс ЛаКриви. — Вчера вечером глаза у нее были несомненно красные. Она сказала, что у нее голова болит, но от головной боли глаза не краснеют. Должно быть, она плакала».

Придя к такому заключению, которое она, собственно говоря, вывела, к полному своему удовлетворению, еще накануне вечером, мисс Ла-Криви продолжала гадать, — а занималась она этим почти целую ночь, — какая новая причина грустить могла появиться у ее юной приятельницы.

— Ничего не могу придумать, — сказала маленькая художница. — Решительно ничего, разве что поведение этого старого медведя... Вероятно, был груб с ней. Противное животное!

Она успокоилась, высказав это мнение, хотя оно и было брошено на ветер, и затем бодро продолжала путь к мадам Манталини. Узнав, что верховная власть находится еще в постели, она потребовала свидания с ее представительницей, после чего явилась мисс Нэг.

— Поскольку дело касается меня, — сказала мисс Нэг, когда поручение было передано в цветистых выражениях, — я всегда готова обойтись без мисс Никльби.

— О, вот как, сударыня! — отозвалась мисс Ла-Криви, крайне разобиженная. — Но вы отнюдь не хозяйка этого заведения, и, стало быть, это большого значения не имеет.

— Прекрасно, сударыня, — сказала мисс Нэг. — У вас есть еще какие-нибудь поручения?

— Нет, никаких, сударыня, — заявила мисс ЛаКриви.

— В таком случае, до свиданья, сударыня, — сказала мисс Нэг.

— Да, сударыня, до свиданья, и очень вам признательна за вашу чрезвычайную вежливость и прекрасные манеры, — ответила мисс Ла-Криви.

Закончив таким образом переговоры, на протяжении которых обе леди очень сильно дрожали и были изумительно вежливы — явные показатели, что они находились на дюйм от самой отчаянной ссоры, — мисс Ла-Криви выскочила из комнаты и затем на улицу.

«Интересно, кто это такая? — подумала маленькая чудачка. — Что и говорить, приятная, особа! Хотела бы я написать ее портрет: уж я бы ей воздала должное!»

И вот, вполне удовлетворенная этим язвительным замечанием по адресу мисс Нэг, мисс Ла-Криви от души рассмеялась и в превосходном расположении духа вернулась домой к завтраку.

Таково одно из преимуществ долгой одинокой жизни! Маленькая, суетливая, деятельная, бодрая женщина жила исключительно в самой себе, разговаривала сама с собой, была своей собственной наперсницей, про себя высмеивала по мере сил тех, кто ее обижал, угождала себе и никому не причиняла зла. Если ей нравились сплетни, ничья репутация от этого не страдала, а если ей доставляла удовольствие маленькая месть, ни одной живой душе не было от этого ни на йоту хуже. Одна из многих, для кого Лондон такая же пустыня, как равнины Сирии, — ибо, находясь в стесненных обстоятельствах, эти люди не могут заводить знакомств, которые им желательны, и не склонны бывать в том обществе, какое им доступно, — скромная художница многие годы жила одиноко, но всем довольная. Пока злоключения семейства Никльби не привлекли ее внимания, она не имела друзей, хотя и была преисполнена самыми дружелюбными чувствами ко всему человечеству. Много есть добрых сердец, таких же одиноких, как сердце бедной маленькой мисс Ла-Криви.

Впрочем, в данный момент это к делу не относится. Она отправилась домой завтракать и едва успела отведать чаю, как служанка доложила о приходе какого-то джентльмена, после чего мисс Ла-Криви, тотчас представив себе нового заказчика, восхитившегося витриной у парадной двери, пришла в ужас при виде чайной посуды на столе.

— Ну-ка, унесите ее, бегите с нею в спальню, куда угодно! — воскликнула мисс Ла-Криви. — Боже мой, боже мой! Подумать только, что как раз сегодня я встала поздно, хотя три недели подряд бывала одета в половине девятого и ни один человек не подходил к дому!

— Пожалуйста, не беспокойтесь, — сказал голос, знакомый мисс Ла-Криви. Я сказал

служанке, чтобы она не называла моей фамилии, потому что мне хотелось вас удивить.

— Мистер Николас! — вскричала мисс Ла-Криви, привскочив от изумления.

— Вижу, что вы меня не забыли! — ответил Николас, протягивая руку.

— Мне кажется, что я бы вас узнала, даже если бы встретила на улице, — с улыбкой сказала мисс ЛаКриви. — Ханна, еще одну чашку и блюдце. А теперь вот что я вам скажу, молодой человек: попрошу вас не повторять той дерзкой выходки, какую вы себе позволили в утро вашего отъезда.

— А вы бы не очень рассердились? — спросил Николас.

— Не очень! — воскликнула мисс Ла-Криви. — Я вам одно скажу: попробуйте только!

С подобающей галантностью Николас немедленно поймал на слове мисс Ла-Криви, которая слабо взвизгнула и шлепнула его по щеке, — но, по правде сказать, шлепнула не слишком сильно.

— Никогда еще не видывала такого грубияна! — воскликнула мисс Ла-Криви.

— Вы мне сказали, чтобы я попробовал, — ответил Николас.

— Да, но я говорила иронически, — возразила мисс Ла-Криви.

— О, это другое дело, — заметил Николас. — Вам бы следовало предупредить.

— Ну еще бы! Вы этого не знали! — парировала мисс Ла-Криви. — Но вот теперь я присмотрелась к вам, и вы мне кажетесь худее, чем когда мы в последний раз виделись. И лицо у вас измученное и бледное. Как это случилось, что вы уехали из Йоркшира?

Тут она запнулась. В изменившемся ее тоне и обращении столько было сердечности, что Николас был растроган.

— Не удивительно, что я немного изменился, — сказал он, помолчав. — С тех пор как я уехал из Лондона, я перенес и душевные и телесные страдания. Вдобавок я очень бедствовал и страдал от безденежья.

— Боже милостивый, мистер Николас! — воскликнула мисс Ла-Криви. — Что это вы мне говорите!

— Ничего такого, из-за чего вам стоило бы расстраиваться, — сказал Николас более веселым тоном. — И сюда я пришел не для того, чтобы оплакивать свою долю, но по делу более важному: я хочу встретиться с моим дядей. Об этом я бы хотел сообщить вам прежде всего...

— В таком случае, я могу ответить на это только одно, — перебила мисс Ла-Криви, — я вашему вкусу не завидую. Мне достаточно побыть в одной комнате хотя бы с его сапогами, чтобы это испортило мне расположение духа на две недели.

— Что до этого, — сказал Николас, — то в основном мы с вами, быть может, и не очень расходимся во мнении, но я хочу встретиться с ним, чтобы оправдать себя и бросить ему в лицо обвинения в подлости и коварстве.

— Это совсем другое дело, — заявила мисс ЛаКриви. — Да простит мне небо, но если бы его задушили, я бы себе глаз не выплакала.

— С той целью, о которой я сказал, я зашел к нему сегодня утром, в город он вернулся в субботу, и только вчера поздно вечером я узнал о его приезде.

— И вы его видели? — спросила мисс Ла-Криви.

— Нет, — ответил Николас. — Его не было дома.

— А! — сказала мисс Ла-Криви. — Должно быть, ушел по какому-нибудь доброму, благотворительному делу.

— Я могу предположить, на основании того, что мне сообщил один из моих друзей, которому известны его дела, что он собирался навестить сегодня мою мать и сестру и рассказать им на свой лад обо всем случившемся со мной. Я хочу встретиться с ним там.

— Правильно! — потирая руки, сказала мисс ЛаКриви. — А впрочем, не знаю, — добавила она, — о многом надо подумать... Не надо забывать о других.

— Я не забываю, — ответил Николас, — но раз дело идет о чести и порядочности, меня ничто не остановит.

— Вам виднее, — сказала мисс Ла-Криви.

— В данном случае, надеюсь, что виднее, — ответил Николас. — И единственное, о чем мне хочется вас просить: подготовьте их к моему приходу. Они думают, что я очень далеко отсюда, и я могу их испугать, появившись я совсем неожиданно. Если вы можете улучшить минутку и предупредить их, что вы меня видели и что я у них буду через четверть часа, вы мне окажете большую услугу.

— Хотела бы я оказать вам или любому из вашей семьи услугу посерьезнее, — сказала мисс Ла-Криви. — Но я считаю, что возможность услужить так же редко сочетается с желаньем, как и желанье с возможностью.

Болтая очень быстро и очень много, мисс Ла-Криви поспешила покончить с завтраком, спрятала чайницу, а ключ засунула под каминную решетку, надела шляпку и, взяв под руку Николаса, немедленно отправилась в Сити. Николас оставил ее у двери дома матери и обещал вернуться через полчаса.

Случилось так, что Ральф Никльби, найдя, наконец своевременным и отвечающим собственным его целям сообщить о тех возмутительных поступках, в которых был повинен Николас, отправился (вместо того чтобы пойти сначала в другую часть города по делу, как предполагал Ньюмен Ноге) прямо к своей невестке. Поэтому, когда мисс Ла-Криви, впущенная девушкой, убиравшей в доме, прошла в гостиную, она застала миссис Никльби и Кэт в слезах: Ральф только что закончил рассказ о провинностях племянника. Кэт знаком попросила ее не уходить и мисс Ла-Криви молча села.

«Вы уже здесь, вот как, сэр! — подумала маленькая женщина. — В таком случае он сам о себе доложит, и мы посмотрим, какое это произведет на вас впечатление».

— Прекрасно! — сказал Ральф, складывая письмо мисс Сквирс. — Прекрасно! Я его порекомендовал — вопреки своему убеждению, ибо знал, что никакого толку от него не будет, — порекомендовал его человеку, с которым он, ведя себя прилично, мог бы прожить годы. Каковы же результаты? За такое поведение его могут притянуть к суду Олд-Бейли⁴⁶!

— Никогда я этому не поверю! — с негодованием воскликнула Кэт. Никогда! Это какой-то гнусный заговор и ложь!

— Милая моя, — сказал Ральф, — вы несправедливы к достойному человеку. Это вовсе не выдумки. Человек подвергся нападению, вашего брата не могут найти, мальчик, о котором пишут, ушел вместе с ним. Подумайте-ка об этом.

— Это немыслимо! — сказала Кэт. — Николас-вор! Мама, как можете вы сидеть и слушать такие слова?

Бедная миссис Никльби, которая никогда не отличалась ясностью ума, а теперь, после недавних перемен в денежных делах, пребывала в крайнем замешательстве, не дала никакого ответа на этот серьезный упрек и воскликнула из-за носового платка, что ни за что бы она этому не поверила, тем самым весьма искусно заставив слушателей предполагать, что она этому верит.

— Если бы он встретился мне на пути, мой долг, мой прямой долг — отдать его в руки правосудия, — продолжал Ральф. — Другой линии поведения я как человек, знающий жизнь, и как делец не мог бы избрать. И, однако, — продолжал Ральф очень внушительно, посматривая украдкой, но зорко на Кэт, — однако, я бы этого не сделал. Я бы пощадил чувства его... его сестры... и, разумеется, его матери, — добавил Ральф, как бы спохватившись, но уже не столь выразительно.

Кэт прекрасно поняла, что ей указали на еще одно основание молчать о событиях прошлого вечера. Она невольно посмотрела на Ральфа, когда тот замолчал, но он отвел глаза в сторону и на секунду как будто совсем забыл о ее присутствии.

— Все вкупе, — заговорил Ральф после долгого молчания, нарушаемого только всхлипываниями мисс Никльби, — все вкупе доказывает правдивость этого письма, даже если бы была какая-нибудь возможность его оспаривать. Разве невинный человек бежит с глаз честных людей и бог знает где скрывается, словно находящийся вне закона? Разве

невинный человек сманивает безродных бродяг и рыщет с ними по стране, как грабитель? Нападение, буйство, кража — как вы это назовете?

— Ложью! — раздался голос. Дверь распахнулась, и в комнату вбежал Николас. В первый момент Ральф от удивления и, быть может, от испуга вскочил и попятился на несколько шагов, застигнутый врасплох этим неожиданным появлением. Через секунду он уже стоял неподвижно и невозмутимо, сложив руки и хмуро глядя на племянника, в то время как Кэт и мисс Ла-Криви бросились между ними, чтобы предотвратить драку, чего заставляло опасаться страшное возбуждение Николаса.

— Николас, дорогой! — воскликнула сестра, цепляясь за него. — Успокойся, рассуди!..

— Рассудить, Кэт! — вскричал Николас, в пылу гнева сжимая ей руки с такой силой, что она едва могла вытерпеть боль. — Когда я рассуждаю и думаю обо всем, что произошло, я должен быть железным, чтобы сохранять спокойствие.

— Или бронзовым, — тихо вставил Ральф. — У человека из плоти и крови не хватит для этого наглости и бесстыдства.

— Ах, боже мой, боже мой! — воскликнула миссис Никльби. — Кто бы сказал, что могут произойти такие вещи!

— Кто говорит таким тоном, будто я поступил дурно и навлек позор на семью? — сказал Николас, оглядываясь.

— Ваша мать, сэр! — ответил Ральф, показывая на нее рукой.

— Чей слух был отравлен вами! — воскликнул Николас. — Вами — кто под предлогом заслужить благодарность, которую она вам расточала, обрушил на мою голову всевозможные оскорбления, обиды и унижения! Вами, кто послал меня в логово, где буйствует гнусная жестокость, достойная вас самих, и преждевременно гибнет жалкая, несчастная юность. Где беззаботность детства гаснет под тяжестью лет, где каждая его надежда отравлена и где оно увядает. Призываю небо в свидетели, — воскликнул Николас, с волнением озираясь, — что я все это видел своими глазами и что он обо всем этом знал!

— Опровергни клевету, — сказала Кэт, — и будь терпеливей, чтобы не давать клеветникам никаких преимуществ. Скажи нам, что именно ты сделал, и докажи, что они лгут!

— В чем меня обвиняют? — спросил Николас.

— Прежде всего в том, что вы напали на вашего начальника и были на волосок от того, чтобы вас судили как убийцу, — вмешался Ральф. — Я говорю начистоту, молодой человек! Можете буяннить сколько вам угодно.

— Я вступился за несчастное существо, чтобы спасти его от возмутительной жестокости! При этом я подверг негодяя такому наказанию, какое он не скоро забудет, хотя оно значительно меньше того, что он заслуживает. Если бы та же сцена снова разыгралась сейчас на моих глазах, я принял бы в ней такое же участие, но удары наносил бы более тяжелые и заклеил бы его так, что это клеймо он донес бы до самой могилы, когда бы он туда ни отправился!

— Вы слышите? — сказал Ральф, поворачиваясь к миссис Никльби. — Вот это раскаяние!

— Ах, боже мой! — воскликнула миссис Никльби. — Я не знаю, что думать, право не знаю!

— Помолчите сейчас, мама, умоляю вас, — сказала Кэт. — Дорогой Николас, я тебе говорю это только для того, чтобы ты знал, что может измыслить злоба, но они обвиняют тебя... пропало кольцо, и они осмеливаются утверждать, что...

— Женщина, жена человека, от которого исходят эти обвинения, — гордо сказал Николас, — подбросила, думаю я, ничего не стоящее кольцо в мои вещи рано утром в тот день, когда я покинул дом. Во всяком случае, я знаю, что она была в спальне, где они лежали, и терзала там какого-то несчастного ребенка, а нашел я кольцо, когда развернул мой сверток в дороге. Я немедленно вернул его с почтовой каретой, и теперь кольцо у них.

— Я это знала! — сказала Кэт, бросая взгляд на дядю. — Дорогой мой, а этот мальчик,

с которым, говорят, ты оттуда ушел?

— Мальчик от жестокого обращения и побоев превратился в слабоумное, беспомощное создание, и сейчас со мной, — ответил Николас.

— Вы слышите? — сказал Ральф, снова обращаясь к матери. — Все доказано, даже на основании его собственного признания. Намерены ли вы вернуть этого мальчика, сэр?

— Нет, не намерен, — ответил Николас.

— Не намерены? — злобно усмехнулся Ральф.

— Нет! — повторил Николас. — Во всяком случае, не тому человеку, у которого я его нашел. Хотел бы я знать, кому он обязан своим рождением. Я бы выжал из него каплю стыда, даже если в нем погасли все чувства, свойственные человеку...

— Вот как! — сказал Ральф, — А теперь, сэр, можете вы выслушать два-три слова?

— Говорите, что и сколько вам угодно, — ответил Николае, привлекая к себе сестру. — Мне совершенно безразлично, что вы говорите или чем угрожаете.

— Прекрасно, сэр! Но, быть может, это касается других, которые сочтут не лишним выслушать и обдумать то, что я им скажу. Я буду обращаться к вашей матери, сэр, которая знает свет.

— Ах, как бы хотела я не знать его! — всхлипнув, сказала миссис Никльби.

Право же, славной леди вовсе незачем было так огорчаться именно по этому поводу, так как ее знание света было по меньшей мере весьма сомнительно; по-видимому, так думал и Ральф, ибо он улыбнулся в ответ на ее слова. Затем он посмотрел в упор на нее и на Николаса и произнес такую речь:

— О том, что я сделал или намеревался сделать для вас, сударыня, и для моей племянницы, я не обмолвлюсь ни словом. Я не давал никаких обещаний и предоставляю судить вам самой. Сейчас я не угрожаю ничем, но говорю, что этот мальчишка, упрямый, своевольный и распущенный, не получит ни одного пенни моих денег и ни одной корки моего хлеба, и я пальцем не пошевелю, чтобы спасти его от самой высокой виселицы в Европе. Я не желаю видеть его, где бы он ни был, и не желаю слышать его имя. Я не желаю помогать ни ему, ни тем, кто ему помогает. С присущим ему эгоизмом и ленью, хорошо зная, что он этим на вас навлекает, он вернулся сюда, чтобы еще увеличить вашу нужду и быть обузой для своей сестры, живя на ее скудное жалованье. Мне жаль покидать вас и еще больше жаль ее, но я не намерен поощрять такую низость и жестокость, а так как я не хочу просить вас, чтобы вы отреклись от него, то больше я вас не увижу.

Если бы Ральф не знал и не чувствовал своего умения оскорблять тех, кого ненавидел, его взгляд, устремленный на Николаса, показал бы ему это умение во всей его полноте, когда он произносил приведенную выше речь. Хотя молодой человек был ни в чем не повинен, каждое лукавое обвинение причиняло боль, каждое хорошо обдуманное саркастическое замечание задевало за живое; и, видя его бледное лицо и дрожащие губы, Ральф поздравил себя с тем, как удачно выбирал он свои насмешки, рассчитанные на то, чтобы глубоко ранить юную и пылкую душу.

— Я ничего не могу поделать! — воскликнула миссис Никльби. — Я знаю, вы были очень добры к нам и много хотели сделать для моей дочери. Я в этом совершенно уверена; я знаю, что так было, и вы были очень любезны, пригласив ее к себе, и все такое... И, конечно, это имело бы огромное значение для нее, да и для меня. Но, знаете, деверь, я не могу, не могу отречься от родного сына, даже если он сделал все то, о чем вы говорите. Это немыслимо, я бы не могла на это пойти. И вот, Кэт, дорогая моя, придется нам испытать страдания и нищету. Думаю, что я это вынесу.

Изливая эти сожаления, а также изумительный поток других бессвязных замечаний, которые ни один смертный, кроме миссис Никльби, никогда не мог бы извергнуть, эта леди стала ломать руки, и слезы ее потекли быстрее.

— Почему вы сказали: «Если Николас сделал то, о чем вы говорите?» — с благородным негодованием спросила Кэт. — Вы знаете, что он этого не делал.

— Я не знаю, что думать, дорогая моя, — сказала миссис Никльби. — Николас в таком

гневе, а твой дядя так хладнокровен, что я могу расслышать только его слова, а не то, что говорит Николас. Все равно, не будем больше толковать об этом! Я думаю, мы можем пойти в работный дом, или в богадельню, или в странноприимный дом святой Марии Магдалины, и чем скорее мы туда отправимся, тем лучше.

Перебрав как попало благотворительные учреждения, миссис Никльби снова залилась слезами.

— Стойте! — сказал Николас, когда Ральф повернулся к выходу. — Вам незачем уходить отсюда, потому что через минуту вы будете избавлены от моего присутствия, и не скоро, очень не скоро появлюсь я снова здесь.

— Николас, не говори так! — вскричала Кэт, бросаясь на шею брату. — Ты разобьешь мне сердце, дорогой мой брат! Мама, скажите же ему! Не обращай на нее внимания, Николас: она этого не думает, ты должен был бы знать ее лучше. Дядя, кто-нибудь, ради бога поговорите с ним!

— У меня никогда не было намерения, Кэт, — нежно сказал Николас, остаться с вами; думайте обо мне лучше и не допускайте такой возможности. Я могу уйти из этого города на несколько часов раньше, чем предполагал, — не все ли равно? В разлуке мы друг друга не забудем, и настанут лучшие дни, когда мы больше не расстанемся. Будь женщиной, Кэт, — гордо прошептал он и не делай женщину из меня, когда он на нас смотрит!

— Да, да, не буду! — с жаром отозвалась Кэт. — Но ты нас не покинешь! О, подумай о тех счастливых днях, какие мы провели вместе, прежде чем обрушились на нас эти ужасные несчастья, подумай о благополучии, о счастье родного дома и о тех испытаниях, которые нам приходится теперь переносить, подумай о том, что у нас нет защитника от всех обид и оскорблений, на какие обречена бедность, — и у тебя не хватит сил оставить нас. чтобы мы терпели все это одни, когда никто не протянет нам руку помощи.

— Вам будут помогать, когда меня здесь не будет, — быстро сказал Николас. Я вам не помощник, не защитник; я не принес бы вам ничего, кроме скорби, нужды и страданий. Моя родная мать понимает это, и ее любовь к тебе и страх за тебя указывают путь, какой я должен избрать. Пусть все ангелы хранят тебя, Кэт, пока я не могу дать тебе приют у себя, в своем доме, где мы снова узнаем счастье, в котором сейчас нам отказано, и будем говорить об этих испытаниях как о далеком прошлом. Не удерживай меня здесь, позволь мне уйти немедленно. Вот так. Дорогая моя, дорогая!

Руки, обхватившие его, ослабели, и Кэт лишилась чувств в его объятиях. Несколько секунд Николас стоял, склонившись над нею, потом, осторожно опустив ее в кресло, поручил сестру заботам их верной приятельницы.

— Мне не нужно взывать к вашему сочувствию, — сказал он, пожимая ей руку, потому что я вас знаю. Вы их никогда не покинете.

Он подошел к Ральфу, который стоял в одной и той же позе в течение всего свидания и даже пальцем не пошевелинул.

— Что бы вы ни предприняли, сэр, — сказал он тихо, чтобы их никто не слышал, — я буду вести точный счет всему. По вашему желанию, я оставляю их на ваше попечение. Рано или поздно настанет день расплаты, и этот день будет для вас тяжелым, если вы причините им зло!

Ральф не позволил ни одному мускулу лица дрогнуть, словно он не слышал ни слова из этой прощальной речи. Вряд ли он понял, что она уже окончена, а миссис Никльби еще не приняла решения удержать сына в случае необходимости насильно, как Николас исчез.

Пока он быстро шагал по улицам к своему скромному жилищу, как будто стараясь приноровить шаг к стремительному бегу нахлынувших на него дум, много сомнений и колебаний возникло у него и едва не побудило вернуться. Но что можно было бы благодаря этому выиграть? Если предположить, что ой бросил бы вызов Ральфу Никльби и ему даже посчастливилось бы занять какую-нибудь скромную должность, его пребывание с ними могло лишь ухудшить теперешнее их положение и значительно повредить их видам на будущее, ибо его мать говорила о каком-то новом благоденствии, оказанном Кэт, чего та не

отрицала. «Нет,думал Николас,я поступил правильно».

Но не успевал он пройти и пятисот ярдов, как совсем другое чувство охватывало его, и тогда он замедлял шаги и, надвинув на глаза шляпу, отдавался меланхолическим мыслям, осаждавшим его. Не зная за собой никакой вины и, однако, остаться совсем одиноким в мире, разлучиться с единственными людьми, которых он любил, и быть изгнанным, как преступник, когда лишь полгода назад он жил в полном благополучии и его считали надеждой семьи,это было трудно перенести. И он этого не заслужил. Что ж, последняя мысль являлась утешением, и бедный Николас снова обретал бодрость, чтобы снова впасть в уныние, когда быстро сменявшиеся мысли мелькали перед ним во всем разнообразии света и тени.

Претерпевая эти переходы от надежды к страху, которых не может избежать ни один человек, переносящий повседневные испытания, Николас добрался, наконец, до своей убогой комнаты, где, уже не черпая сил из того возбуждения, которое до сих пор его поддерживало, обессиленный, бросился на кровать и, повернувшись лицом к стене, дал волю чувствам, так долго подавляемым.

Он не слышал, как кто-то вошел в комнату, и не ведал о присутствии Смайка, пока, подняв случайно голову, не увидел, что тот стоит в другом конце комнаты и грустно на него смотрит. Смайк отвел глаза, когда заметил, что за ним наблюдают, и притворился, будто занят какими-то приготовлениями к скудному обеду.

— Ну, Смайк, — сказал Николас, стараясь говорить как можно веселее, послушаем, какие новые знакомства вы завели сегодня утром и какие новые чудеса открыли в пределах этой улицы и соседней.

— Нет, — сказал Смайк, горестно покачивая головой, — сегодня я должен поговорить о другом.

— Говорите о чем угодно, — добродушно отозвался Николас.

— Вот что, — начал Смайк. — Я знаю, что вы несчастны и что, взяв меня оттуда, вы навлекли на себя беду. Я должен был это знать и остаться там, и я бы остался, если бы в то время об этом подумал. Вы... вы небогаты: вам на себя не хватает, и мне нельзя быть здесь. Вы худеете, — продолжал мальчик, робко кладя руку на руку Николаса, — вы худеете с каждым днем, щеки у вас побледнели и глаза ввалились. Право, у меня нет сил видеть вас таким и думать, какая я для вас обуза! Сегодня я пытался уйти, но воспоминание о вашем добром лице заставило меня вернуться. Я не мог оставить вас, не сказав ни слова.

Бедняга больше не мог говорить, потому что глаза его наполнились слезами, а голос прервался.

— Слово, которое разлучит нас, — сказал Николас, дружески беря его за плечо, — никогда не будет сказано мною, потому что вы единственное мое утешение и опора. Ни за какие блага в мире не согласился бы я потерять вас теперь, Смайк. Мысль о вас поддерживала меня во всех моих сегодняшних испытаниях и еще пятьдесят раз поддержит во всяких бедах. Дайте мне вашу руку. Я привязался к вам всем сердцем. Еще до конца недели мы вместе уйдем из этих мест. Я беден — ну так что ж? Вы облегчаете мне бремя бедности, и мы будем нести его вдвоем.

Глава XXI,

Мадам Манталини остается в довольно затруднительном положении, а мисс Никльби остается без всякого положения

Волнение, испытанное Кэт Никльби, три дня не давало ей возможности вновь приступить к работе у портнихи; по истечении этого срока она в обычный час направилась усталыми шагами к храму моды, где правила самодержавно мадам Манталини.

За это время недоброжелательство мисс Нэг отнюдь не потеряло своей силы.

По-прежнему молодые леди добросовестно избегали всякого общения с опороченной товаркой, а эта примерная особа, мисс Нэг, нимало не потрудилась скрыть неудовольствие по поводу возвращения Кэт.

— Честное слово, — сказала она, когда ее поклонницы столпились вокруг, помогая ей снять шляпку и шаль, я думала, что у иных людей должно хватить духу удалиться окончательно, раз они знают, какой помехой является их присутствие для порядочных особ. Но странный у нас мир, ох, какой странный!

Высказав это суждение о мире таким тоном, каким обычно высказывают суждение о мире люди, находящиеся в дурном расположении духа, — то есть так, словно они не имеют к нему никакого отношения, — мисс Нэг испустила глубокий вздох, как бы смиренно сокрушаясь о греховности рода человеческого.

Свита не замедлила повторить этот вздох, и мисс Нэг готовилась одарить ее еще некоторыми моральными поучениями, но тут голос мадам Манталини, дошедший по переговорной трубке, потребовал мисс Никльби наверх привести в порядок выставку моделей — честь, заставившая мисс Нэг так сильно тряхнуть головой и так крепко закусить губы, что способность вести разговор была временно ею утрачена.

— Ну как, мисс Никльби? — спросила мадам Манталини, когда Кэт предстала перед ней. — Вы совсем выздоровели, дитя?

— Мне гораздо лучше, благодарю вас, — ответила Кэт.

— Хотела бы я сказать то же самое о себе, — заметила мадам Манталини, садясь с усталым видом.

— Вы больны? — спросила Кэт. — Меня это очень огорчает.

— Собственно, не больна, дитя, а встревожена... встревожена, — ответила мадам.

— Это меня огорчает еще больше, — кротко сказала Кэт. — Физическую боль гораздо легче выносить, чем душевную.

— Да, а еще легче говорить, чем выносить ту или другую, — заявила мадам с величайшей досадой, потирая себе нос. — Принимайтесь за работу, дитя, и приведите все в порядок.

Пока Кэт размышляла о том, что могут предвещать эти симптомы необычного раздражения, мистер Манталини просунул в полуоткрытую дверь сначала кончики бакенбардов, а затем голову и нежным голосом осведомился:

— Здесь ли моя жизнь и душа?

— Нет, — ответила его жена.

— Можно ли так говорить, если она цветет здесь в салоне, словно маленькая роза в дьявольском цветочном горшке! — настаивал Манталини. — Можно ли ее крошке войти и побеседовать?

— Разумеется, нет, — ответила мадам. — Ты знаешь, что я тебя никогда не пускаю сюда. Уходи!

Однако крошка, ободренный, быть может, более мягким тоном ответа, осмелился взбунтоваться и, прокравшись в комнату, на цыпочках направился к мадам Манталини, посылая ей на ходу воздушный поцелуй.

— Почему она себя мучает и кривит свое личико, превращая его в очаровательного шелкунчика? — спросил Манталини, левой рукой обвивая талию своей жизни и души, а правой притягивая ее к себе.

— О, я тебя не выношу! — ответила жена.

— Не выно... как, не выносить меня? — воскликнул Манталини. — Выдумки, выдумки! Этого быть не может. Нет женщины на свете, которая могла бы сказать такую вещь мне в лицо — в лицо мне!

Говоря это, мистер Манталини погладил свой подбородок и самодовольно посмотрел в зеркало.

— Какая пагубная расточительность! — тихо промолвила жена.

— Все это от радости, что я завоевал такое прелестное создание, такую маленькую

Венеру, такую чертовски очаровательную, обворожительную, обаятельную, пленительную маленькую Венеру, — сказал Манталини.

— Подумай, в какое положение ты меня поставил! — упорствовала мадам.

— Никакой беды не будет, никакой беды не может быть с милочкой, возразил мистер Манталини. — Все прошло, ничего плохого не случится, деньги будут получены, а если они заставят ждать, старому Никльби придется снова приковылять сюда, а не то ему вскроют вены на шее, если он осмелится мучить и обижать маленькую...

— Тише! — перебила мадам. — Разве ты не видишь? Мистер Манталини, который под влиянием горячего желания уладить дело с женой либо не замечал до сих пор, либо притворился, будто не замечает мисс Никльби, понял намек и, приложив палец к губам, понизил голос еще больше. Тогда началось перешептывание, продолжавшееся долгое время, в течение коего мадам Манталини, по-видимому, не раз упоминала о некоторых долгах, сделанных мистером Манталини до того дня, как она очутилась под покровительством мужа, а также о непредвиденных издержках на уплату указанных долгов; и, наконец, о некоторых приятных слабостях этого джентльмена, вроде пристрастия к картам, мотовства, лени и любви к лошадям. Каждый из этих пунктов мистер Манталини опровергал одним или несколькими поцелуями, в зависимости от степени важности. Результатом всего этого было то, что мадам Манталини осталась в восторге от своего супруга, и они отправились наверх завтракать.

Кэт занималась своим делом и молча размещала всевозможные уборы, по мере своих сил самым лучшим образом, как вдруг вздрогнула, услышав в комнате незнакомый голос, и вздрогнула снова, когда, оглянувшись, обнаружила, что некая белая шляпа, красный галстук, широкая круглая физиономия, большая голова и часть зеленого пальто также находятся в комнате.

— Не пугайтесь, мисс, — сказал обладатель вышеописанной наружности. Послушайте, здесь торговля модным товаром?

— Да, — с величайшим изумлением ответила Кэт. — Что вам нужно?

Незнакомец ничего не ответил, но, сначала оглянувшись, словно для того, чтобы поманить кого-то за дверь, преспокойно вошел в комнату, а за ним по пятам следовал маленький человечек в коричневом костюме, чрезвычайно пострадавшем от времени, который принес с собой смешанный запах затхлого табака и свежего лука. Костюм этого джентльмена был весь в пуху, а башмаки, чулки и нижняя половина одеяния, от пяток до пуговиц на спине фрака включительно, были густо разрисованы брызгами грязи, попавшей сюда две недели назад, когда еще не установилась хорошая погода.

У Кэт мелькнула догадка, что эти привлекательные субъекты явились с целью завладеть незаконным образом теми удобоносимыми вещами, какие поразят их воображение. Она не пыталась скрыть свои опасения и сделала шаг к двери.

— Подождите минутку, — сказал человек в зеленом пальто, тихо прикрывая дверь и прислоняясь к ней спиной. — Это дело неприятное. Где ваш главный?

— Мой — кто, как вы сказали? — дрожа, спросила Кэт, ибо ей пришло в голову, что «главный» может означать на воровском жаргоне часы или деньги.

— Мистер Мунтльхيني, — сказал пришедший. — Где он обретается? Он дома?

— Кажется, он наверху, — ответила Кэт, слегка успокоенная этим вопросом. — Он вам нужен?

— Нет, — ответил посетитель. — Он мне, собственно, не нужен. Вы только передайте ему вот эту карточку и скажите, что если он хочет поговорить со мной и избежать хлопот, так я здесь, — вот и все.

С этими словами незнакомец сунул в руку Кэт квадратную карточку из плотной бумаги и, повернувшись к своему приятелю, заметил с развязным видом, что «комнаты здорово высокие», с чем приятель согласился, добавив в виде иллюстрации, что «здесь за глаза хватит места мальчику вырасти в мужчину, не опасаясь, что он когда-нибудь заденет головой потолок».

Позвонив в колокольчик, чтобы вызвать мадам Манталини, Кэт взглянула на карточку и увидела, что на ней красуется фамилия «Скели» и еще какие-то сведения, с которыми она не успела ознакомиться, так как ее внимание было привлечено самим мистером Скели, который, подойдя к одному из трюмо, сильно ткнул его в середину своею тростью с таким хладнокровием, словно оно было сделано из чугуна.

— Хорошее зеркало, Тике, — сказал мистер Скели своему другу.

— Да, — отозвался мистер Тике, оставляя следы четырех пальцев и двойной отпечаток большого пальца на куске небесно-голубого шелка. — И заметьте, сделать эту штуку тоже денег стоило.

С шелка мистер Тике перенес свое восхищение на некоторые элегантные принадлежности туалета, а мистер Скели не спеша поправил галстук перед зеркалом, а затем с помощью того же зеркала приступил к тщательному исследованию прыщика на подбородке. Он еще занимался этим увлекательным делом, когда мадам Манталини, войдя в комнату, испустила изумленный возглас, который привлек его внимание.

— О! Так это хозяйка? — осведомился Скели.

— Это мадам Манталини, — сказала Кэт.

— В таком случае, — сказал мистер Скели, извлекая из кармана какой-то небольшой документ и медленно его разворачивая, — вот приказ о наложении ареста на имущество, и, если вы не уплатите, мы сейчас же обойдем весь дом и составим опись.

Бедная мадам Манталини в горе начала ломать руки и позвонила, призывая мужа; покончив с этим, она упала в кресло и в обморок одновременно. Однако джентльмены отнюдь не были обескуражены этим событием, и мистер Скели, облокотившись на манекен в нарядном платье (плечи мистера Скели были видны над ним, как видны были бы плечи леди, для которой предназначалось платье, если бы она его надела), сдвинул шляпу набекрень и почесал голову с полным равнодушием; его друг, мистер Тике, воспользовавшись случаем обозреть помещение, прежде чем приступить к делу, стоял с инвентарной книгой под мышкой и со шляпой в руке, мысленно определяя цену каждой вещи, находившейся в поле зрения.

Таково было положение дел, когда в комнату вбежал мистер Манталини. А так как сей отменный джентльмен в дни своей холостой жизни поддерживал близкое общение с собратьями мистера Скели и вдобавок отнюдь не был застигнут врасплох только что случившимся волнующим событием, то он только пожал плечами, засунул руки поглубже в карманы, поднял брови, просвистал два-три такта, изрыгнул два-три проклятия и, усевшись верхом на стул, с великим спокойствием и выдержкой постарался наилучшим образом встретить такой оборот дел.

— Сколько всего, черт побери? — был первый заданный им вопрос.

— Тысяча пятьсот двадцать семь фунтов четыре шиллинга девять пенсов и полпенни, — ответил мистер Скели, оставаясь совершенно неподвижным.

— К черту полпенни! — нетерпеливо сказал мистер Манталини.

— Разумеется, если вам угодно, — отозвался мистер Спели, — а также и девять пенсов.

— Нам-то все равно, хотя бы и тысяча пятьсот двадцать семь фунтов отправились туда же, — заметил мистер Тике.

— Нам наплевать, — подтвердил Спели.

— Ну-с, — помолчав, продолжал этот джентльмен, — что нам предпринять? Что это — только маленький крах или полное разорение? Банкротство — вот что это такое. Прекрасно! В таком случае, мистер Том Тикс, эсквайр, вы должны уведомить вашего ангела-жену и любезное семейство, что три ночи не будете ночевать дома и займетесь своим делом здесь. И зачем только леди так терзается? — продолжал мистер Скели. — Вероятно, за добрую половину того, что здесь есть, не уплачено, а это должно послужить ей утешением!

С такими замечаниями, в которых приятная шутовость сочеталась с разумной моральной поддержкой в затруднительных обстоятельствах, мистер Скели приступил к описи имущества, и в этой деликатной работе ему существенно помогли необыкновенный

такт и опытность мистера Тикса, оценщика.

— Усладительная чаша моего счастья! — вымолвил мистер Манталини, с покаянным видом подходя к жене. — Согласна ли ты слушать меня в течение двух минут?

— О, не говори со мной! — рыдая, ответила жена. — Ты меня разорил, и этого достаточно!

Едва услышав эти слова, произнесенные тоном скорбным и суровым, мистер Манталини, который несомненно хорошо обдумал свою роль, отступил на несколько шагов, придал своему лицу выражение беспредельной душевной муки и опрометью выбежал из комнаты, а вскоре после этого слышали, как наверху, в туалетной комнате, с силой захлопнулась дверь.

— Мисс Никльби! — вскричала мадам Манталини, когда этот звук коснулся ее слуха. — Ради бога, скорее! Он покончит с собой! Я говорила с ним сурово, и он этого не перенесет! Альфред, мой ненаглядный Альфред!

С такими возгласами она бросилась наверх, а следом за ней Кэт, которая хотя и не вполне разделяла опасения нежной жены, была тем не менее слегка встревожена. Когда они быстро распахнули дверь туалетной комнаты их взорам предстал мистер Манталини с симметрично отвернутым воротничком сорочки, точивший столовый нож о ремень для правки бритв.

— Ах! — воскликнул мистер Манталини. — Помешали! — И столовый нож мгновенно исчез в кармане халата мистера Манталини, в то время как глаза мистера Манталини дико выкатились, а волосы, развевавшиеся в диком беспорядке, перепутались с бакенбардами.

— Альфред! — вскричала жена, обвивая его руками. — Я не то хотела сказать, не то!

— Разорил! — вскричал мистер Манталини. — Неужели я довел до разорения самое лучшее и чистое создание, какое когда-либо благословляло жизнь проклятого бродяги? Проклятье! Пустите меня!

В порыве безумия мистер Манталини снова полез за столовым ножом, а когда жена удержала его, схватив за руку, он сделал попытку разmozжить себе голову о стену, хорошенько позаботившись о том, чтобы находиться от нее на расстоянии по крайней мере шести футов.

— Успокойся, мой ангел, — сказала мадам. — Никто в этом не виноват, это столько же моя вина, сколько и твоя. Мы еще проживем хорошо. Приди в себя, Альфред, приди в себя!

Мистер Манталини не считал удобным прийти в себя сразу, но, после того как несколько раз потребовал яду и попросил какую-нибудь леди или какого-нибудь джентльмена пустить ему пулю в лоб, более нежные чувства нахлынули на него, и он трогательно расплакался. В таком размягченном состоянии духа он отдал нож — от которого, сказать по правде, пожалуй, рад был избавиться, как от предмета неудобного и опасного для кармана халата, — и в конце концов позволил нежной спутнице жизни увести его.

По прошествии двух или трех часов молодым леди сообщили, что без их услуг будут обходиться вплоть до особого распоряжения, а по истечении двух дней фамилия Манталини появилась в списке банкротов. В то же утро мисс Никльби получила уведомление по почте, что в дальнейшем фирма будет значиться под фамилией мисс Нэг и что в ее помощи больше не нуждаются, известие, которое заставило миссис Никльби заявить, едва эта славная леди о нем узнала, что она все время этого ждала, и привести ряд никому неведомых случаев, когда она предсказывала именно такие последствия.

— И я повторяю, — заявила миссис Никльби (вряд ли нужно упоминать, что раньше она никогда этого не говорила), — я повторяю, Кэт, что ремесло портнихи или модистки-тот род занятий, за который тебе следовало бы браться в самую последнюю очередь. Я тебя не упрекаю, моя милая, но все-таки я должна сказать, что если бы ты посоветовалась с родной матерью...

— Хорошо, мама, хорошо, — кротко сказала Кэт. — А что бы вы мне теперь посоветовали?

— Что бы я посоветовала! — воскликнула миссис Никльби. — Ну, разве не очевидно,

дорогая моя, что из всех занятий для молодой леди и при таких обстоятельствах, в каких находишься ты, быть компаньонкой у какой-нибудь приятной леди — самая подходящая должность, к которой ты прекрасно подготовлена благодаря твоему образованию, манерам, наружности и всему прочему? Разве ты никогда не слыхала, как твой бедный дорогой папа рассказывал об одной молодой леди, которая была дочерью одной старой леди, жившей в том самом пансионе, где жил когда-то он в бытность свою холостяком... Ах, как ее фамилия?.. Начинается на «Б», а кончается на «Г». Не Уотерс ли это, или... нет, тоже не то! Но как бы ее там ни звали, разве ты не знаешь, что эта молодая леди поступила компаньонкой к замужней даме, которая вскоре после этого умерла, а она вышла замуж за ее мужа, и у нее родился прелестный мальчик, — и все это за полтора года?

Кэт прекрасно звала, что этот поток воспоминаний вызвав какими-то перспективами, реальными или воображаемыми, которые открыла ее мать на жизненной стезе компаньонки. Поэтому она очень терпеливо ждала, пока не были исчерпаны все воспоминания и анекдоты, имевшие и не имевшие отношения к делу, и, наконец, осмелилась полюбопытствовать, какое было сделано открытие. И тогда истина обнаружилась.

В то утро миссис Никльби взяла — в трактире, откуда приносили портер, вчерашнюю газету, отличавшуюся величайшей респектабельностью, и в этой вчерашней газете было помещено объявление, изложенное на самом чистом и грамматически безупречном английском языке, возвещавшее, что замужняя леди ищет в компаньонки молодую леди из хорошей семьи и что фамилию и адрес замужней леди можно узнать, обратившись в библиотеку в Вест-Энде, упомянутую в этом объявлении.

— И я скажу, что стоит попробовать! — воскликнула миссис Никльби, с торжеством откладывая газету. — Если у твоего дяди нет возражений.

Кэт была слишком обескуражена жестоким столкновением с жизнью и в сущности в тот момент слишком мало интересовалась тем, какая судьба ей уготована, чтобы приводить какие бы то ни было возражения.

Мистер Ральф Никльби не привел никаких, напротив — весьма одобрил эту мысль. Не выразил он и особого удивления по случаю внезапного банкротства мадам Манталани, да и странно было бы, если бы он его выразил, поскольку банкротство было подготовлено и подстроено главным образом им самим. Итак, не теряя времени, узнали фамилию и адрес, и мисс Никльби в то же утро отправилась со своей матушкой на поиски миссис Уиттерли, Кэдоген-Плейс, Слоун-стрит.

Кэдоген-Плейс служит единственным легким мостиком, соединяющим две великие крайности, — связующим звеном между аристократическими тротуарами Бельгрев-сквера и варварством Челси. Кэдоген-Плейс вливается в Слоун-стрит, но сторонится ее; Обитатели Кэдоген-Плейс смотрят сверху вниз на Слоун-стрит и считают Бромтон вульгарным. Они притворяются людьми великосветскими и делают вид, будто не знают, где находится Нью-роуд. Нельзя сказать, чтобы они притязали быть на равной ноге с аристократами Бельгрев-сквера и Гровенор-Плейс, но по отношению к ним они занимают приблизительно то же положение, что незаконные дети знати, которые довольствуются тем, что хвастают своей родней, хотя она от них отрекается. Подражая по мере сил виду и манерам знатных особ, обитатели Кэдоген-Плейс принадлежат к среднему классу. Кэдоген-Плейс-проводник, передающий электрическую искру гордыни, рожденной происхождением и званием, населению других районов, — искру, ему не принадлежащую, но заимствованную из чужого источника: или же, подобно связке, соединяющей сиамских близнецов⁴⁷, он содержит частицу жизненной сущности обоих тел, но не принадлежит ни тому, ни другому.

В этом сомнительном районе проживала миссис Уиттерли, и в дверь миссис Уиттерли постучала дрожащей рукой Кэт Никльби. Дверь открыл дюжий лакей с головой, посыпанной мукой или мелом, а может быть выкрашенной (похоже на то, что напудренной она не была), и дюжий лакей, взяв визитную карточку, передал ее маленькому пажу —

такому маленькому, что на нем не могли поместиться в должном порядке пуговицы, необходимые для костюма пажа, и поэтому они были пришиты в четыре ряда. Сей юный джентльмен понес карточку на подносе наверх, а в ожидании его возвращения Кэт и ее мать были проведены в столовую, довольно неопрятную и запущенную и так удобно устроенную, что она годилась для любых занятий, кроме принятия пищи.

Как полагается и согласно всем достоверным описаниям светской жизни, которые мы находим в книгах, миссис Уититерли надлежало быть в своем будуаре, но возможно, что в то время в будуаре брился мистер Уититерли. Как бы там ни было, несомненно одно: миссис Уититерли дала аудиенцию в гостиной, где было все, что требуется и что необходимо, включая занавески и обивку розового цвета — дабы придавать мягкий оттенок лицу миссис Уититерли, а также маленькую собачку — чтобы хватать посетителей за ноги для развлечения миссис Уититерли, и упомянутого выше пажа — чтобы подавать шоколад для улаживания миссис Уититерли.

У леди вид был нежный и томный, а лицо отличалось интересной бледностью; было что-то увядшее и в ней, и в мебели, и в самом доме. Она полулежала на диване в такой естественной позе, что ее можно было принять за актрису, совсем готовую для первой сцены в балете и ожидавшую только поднятия занавеса.

— Подайте стулья.

Паж подал.

— Выйдите, Альфонс.

Альфонс вышел; но если у какого-нибудь Альфонса было ясно написано на лице «Билл», то именно таким мальчуганом был этот паж.

— Увидев ваше объявление, я взяла на себя смелость зайти к вам, сударыня, — сказала Кэт после нескольких секунд неловкого молчания.

— Да, — отозвалась миссис Уититерли, — кто-то из моих людей поместил его в газете... Да.

— Я подумала, — скромно продолжала Кэт, — быть может, если вы еще не приняли окончательного решения, вы простите, что я вас потревожила своей просьбой...

— Да-а-а, — снова протянула миссис Уититерли.

— Если вы уже сделали выбор...

— Ах, боже мой, нет! — перебила леди. — Меня не так легко удовлетворить. Право, не знаю, что вам сказать. Вы еще никогда не занимали места компаньонки?

Миссис Никльби, нетерпеливо подстерегавшая удобный случай, ловко вмешалась, прежде чем Кэт успела ответить.

— У чужих людей никогда, сударыня, — сказала славная леди, — но моей компаньонкой она была в течение нескольких лет. Я — ее мать, сударыня.

— О! — сказала миссис Уититерли. — Я вас понимаю.

— Уверяю вас, сударыня, — продолжала миссис Никльби, — было время, когда я и не помышляла о том, что моей дочери придется идти в услужение, так как ее бедный дорогой папа был джентльменом с независимыми средствами и оставался бы им и теперь, если бы он только вовремя внял моим неустанным мольбам и...

— Милая мама, — тихо сказала Кэт.

— Милая моя Кэт, — возразила миссис Никльби, — если ты позволишь мне говорить, я возьму на себя смелость объяснить этой леди...

— Мне кажется, мама, в этом нет необходимости. И несмотря на сдвинутые брови и подмигивания, коими миссис Никльби давала понять, что имеет сообщить нечто, долженствующее немедленно решить дело, Кэт, бросив на нее выразительный взгляд, настояла на своем. И на сей раз миссис Никльби должна была остановиться на пороге торжественной речи.

— Что вы умеете делать? — закрыв глаза, спросила миссис Уититерли.

Кэт, краснея, начала перечислять основные свои таланты, а миссис Никльби отсчитывала их один за другим по пальцам, заранее подведя итог. К счастью, оба

вычисления совпали, так что у миссис Никльби не оказалось повода заговорить.

— У вас хороший характер? — спросила миссис Уититерли, приоткрыв на секунду глаза и снова их закрыв.

— Надеюсь, — ответила Кэт.

— И у вас есть вполне респектабельная рекомендация, подтверждающая все, что вы говорите?

Кэт ответила утвердительно и положила на стол визитную карточку своего дяди.

— Будьте добры, придвиньте свой стул поближе и дайте мне посмотреть на вас, — сказала миссис Уититерли. — Я так близорука, что плохо различаю черты вашего лица.

Кэт, хотя и не без смущения, исполнила эту просьбу, и миссис Уититерли принялась томно рассматривать ее лицо, что продолжалось минуты две или три.

— Ваша наружность мне нравится, — сказала она, позвонив в маленький колокольчик. — Альфонс, попросите сюда вашего хозяина.

Паж вышел исполнить поручение и после короткого промежутка, в течение которого обе стороны не обмолвились ни словом, распахнул двери перед напыщенным джентльменом лет тридцати восьми, с простоватой физиономией и очень скудной растительностью на голове, который на минуту наклонился к миссис Уититерли и заговорил с ней шепотом.

— О! — сказал он, затем обернувшись: — Да! Это чрезвычайно важно. Миссис Уититерли — натура очень чувствительная, очень деликатная, очень хрупкая: оранжерейное растение, экзотическое растение...

— О Генри, дорогой мой! — перебила миссис Уититерли.

— Это так, любовь моя, ты знаешь, что это так. Одно дуновение, — сказал мистер Уититерли, сдувая воображаемую пушинку, — пфу! — и тебя нет.

Леди вздохнула.

— Душа твоя слишком велика для твоего тела, — продолжал мистер Уититерли. Твой ум изнуряет тебя — Это утверждают все медики; как тебе известно, нет ни одного врача, который не гордился бы тем, что его приглашают к тебе. Каково их единодушное заявление? «Дорогой мой доктор, сказал я сэру Тамли Снафиму в этой самой комнате, когда он недавно был здесь, — дорогой мой доктор, каким недугом страдает моя жена? Скажите мне все. Я могу это вынести. Нервы?» — «Дорогой мой, — сказал он, — гордитесь этой женщиной, лелейте ее: для лучшего общества и для вас она служит украшением. Ее недуг — душа. Она растет, расцветает, ширится, кровь закипает, ускоряется пульс, усиливается возбуждение... Фью!»

Тут мистер Уититерли, который, увлекшись своим описанием, размахивал правой рукой на расстоянии меньше одного дюйма от шляпки миссис Никльби, поспешно отдернул руку и высморкался столь энергически, как будто это было сделано какой-нибудь мощной машиной.

— Ты изображаешь меня хуже, чем я на самом деле. Генри, — со слабой улыбкой сказала миссис Уититерли.

— Нет, Джулия, нет! — возразил мистер Уититерли. — Общество, в котором ты вращаешься — вращаешься по необходимости, в силу своего положения, связей и достоинств, — представляет собой водоворот и вихрь, действующий страшно возбуждающе. Силы небесные! Могу ли я когда-нибудь забыть тот вечер, когда ты танцевала с племянником баронета на балу избирателей в Эксетере! Это было потрясающе.

— Я всегда расплачиваюсь за такие триумфы, — сказала миссис Уититерли.

— И по этой-то причине, — отозвался ее супруг, — ты должна иметь компаньонку, которая была бы очень кротка, очень отзывчива, отличалась бы мягкостью характера и полным спокойствием.

Тут и мистер и миссис Уититерли, обращавшиеся скорее к обеим Никльби, чем друг к другу, прервали разговор и посмотрели на своих слушательниц с таким видом, будто хотели сказать: «Что вы обо всем этом думаете?»

— Знакомства с миссис Уититерли, — сказал ее супруг, адресуясь к миссис

Никльби, — ищут и добиваются в высшем свете и в ослепительных кругах. На нее действует возбуждающе опера, драма, изящные искусства и... и... и...

— Аристократическое общество, дорогой мой, — вставила миссис Уититерли.

— Да, вот именно, аристократическое общество, — сказал мистер Уититерли. — И военные. Она составляет и высказывает множество разнообразнейших мнений о множестве разнообразнейших предметов. Если бы некоторые великосветские особы знали подлинное мнение о них миссис Уититерли, пожалуй, они так бы не задирали нос, как задирают сейчас.

— Полно, Генри, — сказала леди, — нехорошо так говорить.

— Я не называю имен, Джулия, — возразил мистер Уититерли, — и никто не будет в обиде. Я упоминаю об этом обстоятельстве лишь с целью показать, что ты — особа незаурядная, что между твоим духом и плотью происходят постоянные столкновения и что тебя нужно покоить и лелеять. А теперь я выслушаю беспристрастно и хладнокровно, какими качествами обладает молодая леди, претендующая на это место.

В результате его просьбы были снова перечислены все достоинства Кэт, причем мистер Уититерли часто перебивал и переспрашивал. В конце концов было решено, что наведут справки и не позже чем через два дня мисс Никльби будет дан окончательный ответ на адрес ее дяди. Когда эти условия были приняты, паж проводил их до окна на лестнице, а дюжий лакей, сменив здесь караул, довел их в целости и сохранности до двери на улицу.

— Очевидно, это люди из лучшего общества, — сказала миссис Никльби, взяв под руку дочь. — Какая выдающаяся особа миссис Уититерли!

— Вы так думаете, мама? — вот все, что ответила Кэт.

— Да разве можно думать иначе, милая моя Кэт? — возразила ее мать. — Она очень бледна и кажется изнуренной. Надеюсь, она не доведет себя до полного истощения, но я этого сильно опасаясь.

Эти мысли привели дальновидную леди к вычислениям, сколько может продлиться жизнь миссис Уититерли и велики ли шансы, что безутешный вдовец предложит свою руку ее дочери. Еще не дойдя до дому, она освободила душу миссис Уититерли от всех телесных уз, с большой помпой выдала замуж Кэт в церкви Сент Джордж на Ганновер-сквере и оставила нерешенным только менее важный вопрос: где поставить предназначавшуюся ей самой великолепную кровать красного дерева, крытую французским лаком, — в задней ли половине дома на Кэдоген-Плейс, во втором этаже, или же в третьем, окнами на улицу. Преимущества каждого из этих помещений она не могла как следует взвесить, а посему покончила с этим вопросом, решив предложить его на рассмотрение своему зятю.

Справки были наведены. Ответ — нельзя сказать, чтобы к большой радости Кэт, — оказался благоприятным, и к концу недели она перебралась со всем своим движимым имуществом и драгоценностями в дом миссис Уититерли, где мы и оставим ее на время.

Глава XXII,

Николас в сопровождении Смайка отправляется на поиски счастья. Он встречает мистера Винсента Крамльса, а кто он такой — здесь объясняется

Весь капитал, находившийся в распоряжении Николаса — на руках, по праву наследования и в перспективе — после уплаты за квартиру и расчета с маклером, у которого он брал напрокат жалкую мебель, превышал не больше чем на несколько полупенсов сумму в двадцать шиллингов. И все-таки Николас с легким сердцем приветствовал рассвет того дня, когда решил покинуть Лондон, и вскочил с постели с тою бодростью, какая, по счастью, является уделом молодежи, а иначе и мире не было бы стариков.

Была ранняя весна — холодное, сухое, туманное утро. Несколько тощих теней сновало по мглистым улицам, и изредка вырисовывались сквозь густой пар грубые очертания какой-нибудь возвращающейся домой наемной кареты, которая, медленно приближаясь,

дребезжала и, проезжая мимо, сбрасывала тонкий слой инея с побелевшей крыши и вскоре снова скрывалась в дымке. Иногда слышались шарканье стоптанных башмаков и зябкий шаг бедного трубочиста, пробиравшегося к месту утренней своей работы, тяжелые шаги ночного сторожа, медленно маршировавшего взад и вперед и проклинавшего томительные часы, которые еще отделяли его ото сна, грохот тяжелых повозок и подвод, стук более легких экипажей, доставлявших на различные рынки покупателей и торговцев, удары в дверь, не доносившиеся до тех кто крепко спал. Все эти звуки время от времени касались слуха, но все казались приглушенными туманом и почти такими же расплывчатыми, каким был каждый предмет для глаза. С наступлением дня ленивая мгла сгущалась, и те, у кого хватило мужества встать, и из-за оконной занавески посмотреть на сумрачную улицу, забирались обратно в постель и свертывались клубочком, чтобы снова заснуть.

Еще до появления в суетливом Лондоне этих предвестников приближающегося утра Николас отправился один в Сити и остановился под окнами дома, где жила его мать. Дом был хмурый и невзрачный, но для него в нем были свет и жизнь, потому что в этих старых стенах билось по крайней мере одно сердце, в котором от оскорблений и унижения закипала та же кровь, какая текла и в его жилах.

Он перешел через дорогу и поднял глаза на окно комнаты, где, как он знал, спала его сестра. Темное окно было закрыто. «Бедная девушка! — подумал Николас. — Она и не подозревает, кто стоит под этим окном».

Снова он поднял глаза и на секунду почувствовал чуть ли не досаду, что нет, здесь Кэт, — чтобы обменяться с ней хоть словом на прощанье. «Боже мой, подумал он, вдруг опомнившись. — Какой я еще мальчик!»

— Так лучше, как сейчас, — сказал Николас, пройдя несколько шагов и вернувшись на прежнее место, — Когда я в первый раз их покинул — и мог бы тысячу раз с ними попрощаться, если бы захотел, — я их избавил от муки расставанья. Почему не поступить так же и теперь?

В эту минуту ему почудилось, будто шевельнулась занавеска; он почти поверил, что Кэт стоит у окна, и под влиянием странных противоречивых чувств, свойственных всем нам, невольно спрятался в каком-то подъезде, чтобы она его не заметила. Затем он улыбнулся своей слабости, сказал: «Да благословит их бог», — и удалился более легкими шагами.

Смайк нетерпеливо поджидал его, когда он вернулся в свое старое жилище; поджидал его и Ньюмен, который истратил дневной заработок на кружку рома и молока, чтобы приготовить их к путешествию. Они связали вещи в узел, Смайк взвалил его на плечо, и они тронулись в путь в сопровождении Ньюмена Ногса, который настоял накануне, что проводит их как можно дальше.

— Куда? — озабоченно спросил Ньюмен.

— Сначала в Кингстон, — ответил Николас.

— А потом куда? — спросил Ньюмен. — Почему вы не хотите мне сказать?

— Потому что вряд ли я и сам знаю, мой друг, — отозвался Николас, кладя руку ему на плечо. — А если бы и знал, то у меня нет еще ни планов, ни проектов, и я могу сто раз перебраться в другое место, прежде чем вы успеете прислать мне весть.

— Боюсь, что у вас какая-то хитрая затея на уме, — недоверчиво сказал Ньюмен.

— Такая хитрая, что даже я ее не понимаю, — ответил его молодой друг. На что бы я ни решился, будьте уверены, что я вам скоро напишу.

— Вы не забудете? — спросил Ньюмен.

— Вряд ли это может случиться, — возразил Николас. — У меня не так много друзей, чтобы я их перепутал и забыл самого лучшего.

Занимаясь такими разговорами, они шли часа два и могли бы идти и два дня, если бы Николас не уселся на придорожный камень и не заявил решительно о своем намерении не трогаться с места, пока Ньюмен Ногс не повернет обратно. После безуспешных попыток добиться позволения пройти еще хоть полмили, еще хоть четверть мили Ньюмен поневоле подчинился и пошел по направлению к Гольдн-скверу, предварительно обменявшись на

прощанье многочисленными сердечными пожеланиями и все оглядываясь, чтобы помахать шляпой двум путникам даже тогда, когда те стали крохотными точками в пространстве.

— Теперь слушайте меня, Смайк, — сказал Николас, когда они скрепя сердце побрели дальше. — Мы идем в Портсмут.

Смайк кивнул головой и улыбнулся, но больше никаких эмоций не выразил, ибо шли они в Портсмут или в Порт-Рояль — было ему безразлично, раз они шли вдвоем.

— В этих делах я мало понимаю, — продолжал Николае, — но Портсмут — морской порт, и если никакого другого места не удастся получить, я думаю, мы можем устроиться на борту какого-нибудь судна. Я молод, энергичен и во многих отношениях могу быть полезен. И вы также.

— Да, надеюсь, — ответил Смайк. — Когда я был... вы знаете, где...

— Да, знаю, — сказал Николас. — Вам незачем называть это место.

— Так вот, когда я был там, — продолжал Смайк, у которого глаза загорелись при мысли о возможности проявить свои способности, — я не хуже всякого другого мог доить корову и ходить за лошадью.

— Гм!.. — сказал Николас. — Боюсь, что не много таких животных держат на борту судна, Смайк, а если у них и есть лошади, то вряд ли там особенно заботятся о том, чтобы их чистить, но вы можете научиться делать что-нибудь другое. Была бы охота, а выход найдется.

— А охоты у меня очень много, — сказал Смайк, снова просияв.

— Богу известно, что это так, — отозвался Николае. — А если ничего у вас не выйдет, нам будет нелегко, но я могу работать за двоих.

— Мы доберемся сегодня до места? — спросил Смайк после недолгого молчания.

— Это было бы слишком суровым испытанием, как бы охотно ни шагали ваши ноги, — с добродушной улыбкой сказал Николас. — Нет. Годэльминг находится в тридцати с чем-то милях от Лондона, — я посмотрел по карте, которую мне дали на время. Там я думаю отдохнуть. Завтра мы должны идти дальше, потому что мы не настолько богаты, чтобы мешкать. Дайте я возьму у вас этот узел, давайте!

— Нет, нет! — возразил Смайк, отступив на несколько шагов. — Не просите меня, я не отдам.

— Почему? — спросил Николас.

— Позвольте мне хоть что-нибудь для вас сделать, — сказал Смайк. — Вы никогда не позволяете мне служить вам так, как нужно. Вы никогда не узнаете, что я день и ночь думаю о том, как бы вам угодить.

— Глупый вы мальчик, если говорите такие вещи, ведь я это прекрасно знаю и вижу, иначе я был бы слепым и бесчувственным животным, — заявил Николас. — Ответьте-ка мне на один вопрос, раз я об этом сейчас подумал и с нами никого нет, — добавил он, пристально глядя ему в лицо, — у вас хорошая память?

— Не знаю, — сказал Смайк, горестно покачивая головой. — Я думаю, когда-то была хорошая, но теперь совсем пропала, совсем пропала.

— Почему вы думаете, что когда-то была хорошая? — спросил Николас, быстро поворачиваясь к нему, словно этот ответ как-то удовлетворил его.

— Потому что я мог припомнить многое, когда был ребенком, — сказал Смайк, — но это было очень-очень давно, или по крайней мере мне так кажется. Всегда у меня голова кружилась и мысли путались в том месте, откуда вы меня взяли, я никогда не помнил, а иногда даже не понимал, что они мне говорили. Я... постойте-ка... постойте!

— Вы не бредите? — сказал Николас, тронув его за руку.

— Нет, — ответил его спутник, дико озираясь. Я только думал о том, как... — При этих словах он невольно задрожал.

— Не думайте больше о том месте, потому что с ним покончено, — сказал Николас, глядя прямо в глаза своему спутнику, на лице которого появилось бессмысленное, тупое выражение, когда-то ему свойственное и все еще временами возвращавшееся. — Вы помните

первый день, когда вы попали в Йоркшир?

— А? — воскликнул юноша.

— Вы знаете, это было до той поры, когда вы начали терять память, спокойно продолжал Николас. — Погода была теплая или холодная?

— Сырая, — ответил Смайк, — очень сырая. Я всегда говорил, когда шел сильный дождь, что так было в вечер моего приезда. А они, бывало, толпились вокруг меня и смеялись, видя, как я плачу, когда льет дождь. Они говорили, что я — как ребенок, и тогда я стал больше об этом думать. Иной раз я весь холодел, потому что видел себя таким, каким был тогда, когда входил в ту самую дверь.

— Каким был тогда, — с притворной небрежностью повторил Николас. — Каким же?

— Таким маленьким, — сказал Смайк, — что, вспомнив об этом, они могли бы сжалиться и пощадить меня.

— Ведь вы же пришли туда не один, — заметил Николас.

— Нет, о нет! — отозвался Смайк.

— Кто был с вами?

— Мужчина, смуглый худой мужчина. Я слышал — так говорили в школе, да и я раньше это помнил. Я рад был расстаться с ним: я его боялся; но их я стал бояться еще больше, и обращались они со мной хуже.

— Посмотрите на меня. — сказал Николас, желая сосредоточить на себе его внимание. — Вот так, не отворачивайтесь. Не помните ли вы женщины, доброй женщины, которая когда-то склонялась над вами, целовала вас и называла своим ребенком?

— Нет, — сказал бедняга, покачав головой, — нет, никогда этого не было.

— И никакого дома не помните, кроме того дома и Йоркшире?

— Нет, — с грустным видом ответил мальчик. — Комнату помню. Я спал в комнате, в большой пустой комнате под самой крышей, и там был люк в потолке. Часто я закрывался с головой, чтобы не видеть его, потому что он меня пугал: маленький ребенок ночью, совсем один. И я себя спрашивал, что может быть по ту сторону люка. Были там еще часы, старые часы в углу. Это я помню. Я никогда не забывал этой комнаты, потому что, когда мне снятся страшные сны, она появляется точь-в-точь такой, как была. Я вижу в ней людей и вещи, которых никогда там не видел, но комната остается точь-в-точь такой, как прежде: она никогда не меняется.

— Теперь вы дадите мне понести узел? — спросил Николас, резко переменив тему.

— Нет, — сказал Смайк, — нет! Ну, пойдемте дальше.

С этими словами он ускорил шаги, находясь, видимо, под впечатлением, будто они стояли неподвижно в продолжение всего предшествующего диалога. Николас внимательно присматривался к нему, и каждое слово, произнесенное во время этой беседы, запечатлелось в его памяти.

Было одиннадцать часов утра, и хотя густая мгла все еще окутывала покинутый ими город, словно дыхание деловых людей нависло над их проектами, связанными с наживой и прибылью, и предпочитало оставаться там, не поднимаясь в спокойные верхние слои атмосферы, — в открытой сельской местности было светло и ясно. Изредка в ложбинах они видели ключья тумана, которых еще не выгнало солнце из их твердыни, но вскоре они их миновали, а когда поднялись на холмы, приятно было смотреть вниз и наблюдать, как тяжелая клубящаяся масса медленно отступала перед благодатным днем. Большое, прекрасное солнце озаряло зеленые пастбища и тронутую рябью воду, напоминая о лете, но не лишая путешественников бодрящей свежести этой ранней поры года. Земля казалась упругой под их стопами, звон овечьих колокольчиков ласкал их слух, как музыка, и, оживленные ходьбой и возбужденные надеждой, они шли вперед, неутомимые, как львы.

День клонился к вечеру, яркие краски угасли и приняли более тусклый оттенок, подобно тому как юные надежды укрощаются временем, а юношеские черты постепенно обретают спокойствие и безмятежность старости. Но в своем медленном угасании они были вряд ли менее прекрасны, чем во всем блеске, ибо каждому часу и каждой поре года природа

дарит свою особую красоту, и от рассвета до заката, так же как с колыбели до могилы, перемены следуют одна за другой столь мягко и легко, что мы едва их замечаем.

Наконец пришли они в Годэльминг. Здесь они заплатили за две скромные постели и крепко заснули. Утром они встали, хотя и не так рано, как солнце, и продолжали путь пешком, если и не со вчерашней бодростью, то все же с надеждой и мужеством, достаточными, чтобы весело идти вперед.

Путешествие оказалось тяжелее, чем накануне, потому что здесь дорога долго и утомительно шла в гору, а в путешествиях, как и в жизни, гораздо легче спускаться, чем подниматься. Однако они шли с неумолимой настойчивостью, а нет еще на свете такого холма, вершины которого настойчивость в конце концов не достигнет.

Они шли по краю Пуншевой Чаши Дьявола, и Смайк с жадным любопытством слушал, как Николас читал надпись на камне, который воздвигнут в этом пустынном месте, вещая об убийстве, совершенном в ночи. Трава, на которой они стояли, была когда-то окрашена кровью, и кровь убитого стекала капля за каплей в пропасть, от которой это место получило свое название. «В Чаше Дьявола, — подумал Николас, наклоняясь над бездной, — никогда не было более подходящего напитка».

С твердой решимостью продолжали они путь и очутились, наконец, среди широко раскинувшихся открытых возвышенностей, зеленеющую поверхность которых разнообразили холмики и ложбины. Здесь вздымалась почти перпендикулярно к небу вершина, такая крутая, что вряд ли она была доступна кому бы то ни было, кроме овец и коз, которые паслись на склонах, а там поднимался зеленый холм, выраставший так незаметно и сливавшийся с равниной так мягко, что едва можно было определить его границы. Холмы, поднимавшиеся один выше другого, волнистые возвышенности, красиво очерченные или бесформенные, приглаженные или суровые, изящные или неуклюжие, брошенные небрежно бок о бок, заслоняли горизонт со всех сторон. Часто с неожиданным шумом взмывала над землей стая ворон, которые, каркая и кружа над ближними холмами, словно ища пути, вдруг скользили вниз, со скоростью света, к открывающейся перед ними вытянутой долине.

Постепенно кругозор расширился с обеих сторон, и если прежде от них были скрыты широкие пространства, то теперь они снова вышли на открытую равнину. Сознание, что они приближаются к цели своего путешествия, придало им новые силы. Но дорога была тяжелая, они замешкались в пути, и Смайк устал. Сумерки уже сгустились, когда они свернули с тропинки к двери придорожной гостиницы, не дойдя двенадцати миль до Портсмута.

— Двенадцать миль, — сказал Николас, опираясь обеими руками на палку и нерешительно глядя на Смайка.

— Двенадцать длинных миль, — повторил хозяин гостиницы.

— Дорога хорошая? — осведомился Николас.

— Очень плохая, — ответил хозяин гостиницы. Конечно, так и должен был он ответить, будучи хозяином.

— Мне нужно идти дальше, — колеблясь, сказал Николас. — Не зная, что делать.

— Не хочу вас уговаривать, — заметил хозяин гостиницы, — но, будь я на вашем месте, я бы не пошел.

— Не пошли бы? — все так же неуверенно переспросил Николас.

— Не пошел бы, если бы знал, где мне будет хорошо, — сказал хозяин.

С этими словами он подвернул передник, засунул руки в карманы и, шагнув за дверь, посмотрел на темную дорогу якобы с величайшим равнодушием.

Взгляд на измученное лицо Смайка положил конец колебаниям Николаса, и без дальнейших размышлений он решил остаться.

Хозяин повел их в кухню и, так как здесь ярко пылал огонь, заметил, что погода очень холодная. Если бы огонь угасал, он сказал бы, что погода очень теплая.

— Что вы нам дадите на ужин? — был естественный вопрос Николаса.

— А чего бы вы хотели? — был не менее естественный вопрос хозяина.

Николас заговорил о холодной говядине, но холодной говядины не было; о вареных

яйцах, но яиц не было; о бараньих котлетах, но бараньих котлет не было и за три мили отсюда, хотя на прошлой неделе их было столько, что не знали, куда их девать, и послезавтра их будет получено чрезвычайно много.

— В таком случае, — сказал Николас, — предоставляю решать вам, что я хотел сделать с самого начала, если бы вы мне позволили.

— Так вот что я вам скажу, — отозвался хозяин, — в гостиной сидит джентльмен, который заказал к девяти часам горячий мясной пудинг и картофель. Приготовлено больше, чем он может съесть, и я почти не сомневаюсь, что, если я попрошу у него разрешения, вы можете поужинать вместе с ним. Я это устрою в одну минуту.

— Нет, — возразил Николас, удерживая его. — Мне бы не хотелось. Я... по крайней мере... э, да почему бы мне не сказать прямо? Так вот, вы видите, что я путешествую очень скромно и сюда пришел пешком. Мне кажется более чем вероятным, что джентльмен не останется доволен такой компанией, и хотя я, как видите, весь в пыли, но я слишком горд, чтобы навязывать ему свою особу.

— Господь с вами! — сказал трактирщик. — Ведь это только мистер Крамльс, уж он-то непривередлив.

— Непривередлив? — переспросил Николас, на которого, по правде сказать, произвело некоторое впечатление упоминание о вкусном пудинге.

— Конечно, нет! — ответил хозяин. — Я знаю, ему понравится ваша манера вести разговор. Но мы скоро все это выясним. Вы только минуту подождите.

Хозяин поспешил в гостиную, не дожидаясь разрешения Николаса, а тот не пытался его задержать, мудро рассудив, что при данных обстоятельствах ужин — дело слишком серьезное, чтобы этим шутить. Очень скоро хозяин вернулся в чрезвычайном возбуждении.

— Готово! — сказал он тихим голосом. — Я знал, что он согласится. Вы там увидите такое, на что стоит посмотреть. Ей-богу, здорово они это проделывают!

Некогда было осведомляться, к чему относилось это замечание, сделанное восторженным тоном, так как он уже распахнул дверь комнаты, куда и направился Николас в сопровождении Смайка с узлом на плече (он таскал его с таким тщанием, словно это был мешок золота).

Николас приготовился увидеть нечто странное, однако же не столь странное, как зрелище, представившееся его глазам. В дальнем конце комнаты два подростка, один весьма рослый, а другой малорослый, оба одетые матросами — или по крайней мере театральными матросами, с поясами, пряжками, косицами и пистолетами, — были погружены в занятие, которое на афишах называется страшным поединком: они орудовали двумя короткими палашами, какими обычно пользуются в наших второстепенных театрах. Малорослый одерживал верх над рослым, который очутился в смертельной опасности, и за обоими наблюдал большой грузный мужчина, примостившийся на углу стола; мужчина энергически заклинал их выбивать побольше искр из палашей, и тогда они на первом же представлении не преминут потрясти весь зал.

— Мистер Винсент Крамльс, — с величайшим почтением сказал хозяин гостиницы, — вот этот молодой джентльмен.

Мистер Винсент Крамльс поздоровался с Николасом легким кивком — это было нечто среднее между приветствием римского императора и кивком собутельника — и предложил хозяину закрыть дверь и удалиться.

— Вот это картина! — сказал мистер Крамльс, жестом предлагая Николаса не приближаться и не портить се. — Маленький его загнал. Если большой не поразит его через три секунды, ему конец! Повторите-ка это, ребята!

Двое сражающихся снова принялись за работу и рубились, пока не высекли из палашей сноп искр, к великому удовольствию мистера Крамльса, который, по-видимому, считал это очень важным достижением. Схватка началась примерно с двухсот ударов палашом, наносимых то малорослым, то рослым матросом без каких-либо решительных результатов, пока малорослый не опустился под ударом на одно колено; но для него это были пустяки,

ибо и на одном колене он продолжал обороняться, пустив в ход левую руку, и дрался отчаянно, пока рослый матрос не выбил у него из рук палаш. Казалось, малорослый, доведенный до крайности, немедленно сдастся и запросит пощады; но вместо этого он внезапно выхватил из-за пояса большущий пистолет и приставил его ко лбу рослого матроса, который был этим так ошарашен (от неожиданности), что дал время малорослому поднять палаш и начать сначала. Битва возобновилась, и обеими сторонами были нанесены всевозможные и невероятные удары, как то — удары левой рукой, и из-под колена, и через правое плечо, и через левое; когда же малорослый матрос энергически полоснул по ногам рослого, — причем ноги были бы начисто сбиты, если бы удар возымел действие, — рослый перепрыгнул через палаш малорослого, а затем, чтобы сравнять шансы и честно вести игру, нанес малорослому матросу такой же удар по ногам, а малорослый перепрыгнул через его палаш. После этого долго занимались ложными выпадами и подтягиванием «невыразимых», — вследствие отсутствия подтяжек, — а затем малорослый (который несомненно был добродетельным персонажем, ибо всегда одерживал верх) начал неистовое наступление и сошелся с рослым грудь с грудью, а рослый после безуспешного сопротивления упал и в страшных мучениях испустил дух, в то время как малорослый поставил ногу ему на грудь и просверлил в нем дыру насквозь.

— Вас будут не один раз вызывать на бис, если вы, ребята, постараетесь, — сказал мистер Крамльс. — А теперь отдышитесь и переоденьтесь.

Обратившись с такими словами к участникам поединка, он приветствовал затем Николаса, который обнаружил, что лицо у мистера Крамльса вполне отвечало размерам его тела, что у него очень толстая нижняя губа, хриплый голос, словно он имел привычку очень много кричать, и очень короткие черные волосы, обритые почти до самой макушки, — для того (как узнал он впоследствии), чтобы легче было надевать характерные парики любой формы и фасона.

— Что вы об этом скажете, сэр? — осведомился мистер Крамльс.

— Очень хорошо, превосходно! — ответил Николас.

— Верно, вы не часто видите таких ребят, как эти, сказал мистер Крамльс.

Николас согласился, добавив, что если бы они были больше под пару...

— Под пару? — воскликнул мистер Крамльс.

— Я хочу сказать — если бы они были приблизительно одного роста, пояснил Николас.

— Одного роста! — повторил мистер Крамльс. — Да ведь вся суть поединка в том, чтобы разница между ними была один-два фута! Как можете вы без надувательства завоевать симпатию зрителей, если малорослый не сражается против верзилы или — еще лучше — если не сражается один против пятерых? Но для этого у нас в нашей труппе не хватает людей!

— Понимаю, — ответил Николас. — Прошу прощения. Признаюсь, мне это не пришло в голову.

— В этом все дело, — сказал мистер Крамльс. — Послезавтра я начинаю выступать в Портсмуте. Если вы направляетесь туда, загляните в театр и посмотрите, как идут дела.

Николас обещал это исполнить в случае возможности и, придвинув стул поближе к очагу, тотчас завязал разговор с директором. Тот был очень разговорчив и общителен, быть может не только по природным наклонностям, но и под влиянием больших глотков виски с водой и больших понюшек табаку, который он доставал из бурого бумажного пакета, находившегося в жилетном кармане. Он без всяких умолчаний поведал о своих делах и пространно сообщил о достоинствах своей труппы и о талантах своей семьи: оба подростка с палашами являлись почтенными членами той и другой. По-видимому, разные леди и джентльмены должны были собраться завтра в Портсмуте, куда направлялись и отец с сыновьями (не на весь сезон, но как бродячая труппа), с величайшим успехом закончив выступления в Гильдфорде.

— Вы держите путь туда же? — спросил директор.

— Д-да, — сказал Николас. — Да. туда же.

— Вы хоть немного знаете город? — осведомился директор, который как будто полагал, что имеет право требовать такого же доверия, какое он сам оказывал.

— Нет, — ответил Николас.

— Никогда не бывали там?

— Никогда.

Мистер Винсент Крамльс отрывисто, сухо кашлянул, как бы желая сказать: «Не хотите говорить откровенно, не говорите», — и взял из бумажного пакетика столько понюшек табаку, одну за другой, что Николас подивился, где они все поместились.

Занимаясь эчим делом, мистер Крамльс время от времени посматривал с величайшим интересом на Смайка, который как будто с первой же минуты произвел на него сильное впечатление. Сейчас Смайк задремал и клевал носом, сидя на стуле.

— Простите, пожалуйста, — сказал директор, наклоняясь к Николасу и понижая голос, — но какое замечательное лицо у вашего друга!

— Бедняга! — слабо улыбнувшись, сказал Николас. — Хотел бы я, чтобы оно было немножко полнее и не такое измученное.

— Полнее?! — с неподдельным ужасом воскликнул директор. — Вы бы его навеки испортили!

— Вы так думаете?

— Думаю ли я так, сэр! — вскричал директор, энергически хлопнув себя по колену. — Да ведь таков, как он есть, без всяких толщинок на теле и разве что с одним мазком краски на лице, он был бы таким актером на роли умирающих с голоду, каких у нас в стране еще не видывали! Наденьте на него костюм аптекаря в «Ромео и Джульетте», положите чуть-чуть красной краски на кончик носа, и его непременно встретят тремя овациями, как только он просунет голову в дверь против суфлерской будки.

— Вы на него смотрите с профессиональной точки зрения, — смеясь, сказал Николас.

— Ну еще бы! — отозвался директор. — С той поры, как я занялся этой профессией, мне не доводилось видеть молодого человека, который бы так подходил для этой роли. А я играл толстых детей, когда мне было полтора года.

Мясной пудинг, появившийся одновременно с младшими Крамльсами, перевел разговор на другие темы и, собственно говоря, совсем прервал его на время. Эти два молодых джентльмена орудовали ножами и вилками едва ли с меньшей ловкостью, чем палашами, и так как у всей компании аппетит оказался не менее острым, чем любой вид оружия, для разговоров не было времени, пока не покончили с ужином.

Не успели младшие Крамльсы проглотить последний оставшийся на столе кусок, как обнаружили приглушенными зевками и потягиваньем явное желание отойти ко сну, каковое желание Смайк проявлял еще более энергически: за ужином он несколько раз засыпал в процессе еды. Поэтому Николас предложил немедленно разойтись, но директор и слышать об этом не хотел, клянясь, что он предвкушал удовольствие предложить своему новому знакомому разделить с ним чашу пунша, и, если тот откажется, он будет это рассматривать как весьма неблагоприятный поступок.

— Пусть они уходят, — сказал мистер Винсент Крамльс, — а мы с вами уютно и приятно посидим вдвоем у камелька.

Николаса не особенно клонило ко сну, — по правде говоря, он был слишком озабочен, — поэтому, помявшись сначала, он принял предложение и обменялся рукопожатием с юными Крамльсами; и когда директор, со своей стороны, отпустил, сердечно благословив, Смайка, Николас уселся против этого джентльмена у камина, чтобы помочь осушить чашу, которая вскоре появилась, дымясь так, что было радостно ее созерцать, и распространила чрезвычайно приятный и соблазнительный аромат.

Но, несмотря на пунш и на директора, который рассказывал разнообразнейшие истории, курил трубку и нюхал табак в невероятном количестве, Николас был рассеян и угнетен. Мысли его вращались вокруг родного дома, а когда они сосредоточивались на теперешнем его положении, неуверенность в завтрашнем дне приводила его в уныние, которое он не мог

побороть, несмотря на все свои усилия. Внимание его было отвлечено: он слышал голос директора, но был глух к тому, что тот говорил. И когда мистер Винсент Крамльс закончил длинный рассказ о каком-то приключении громким смехом и вопросом, что бы при таких обстоятельствах сделал Николае, тот принужден был принести искреннее извинение и признаться в полном своем неведении, о чем шла речь.

— Да, я это заметил, — сказал мистер Крамльс. — У вас есть что-то на душе. В чем дело?

Николас невольно улыбнулся, услышав столь прямой вопрос, но, не считая нужным уклоняться от ответа, признался, что у него есть опасения, достигнет ли он цели, какая привела его в эти края.

— Что это за цель? — спросил директор.

— Получить какую-нибудь работу, которая обеспечила бы мне и моему бедному спутнику самое необходимое для жизни, — ответил Николас. — Вот вам вся правда. Конечно, вы давно уже ее угадали, но все же я могу льстить себе мыслью, что любезно открыл вам ее.

— А что вы можете найти в Портсмуте скорее, чем в другом месте? — осведомился мистер Винсент Крамльс, растапливая в огне свечи сургуч на мундштуке своей трубки и разминая его мизинцем.

— Я думаю, из порта выходит много судов, — ответил Николас. — Я попытаюсь получить место на каком-нибудь корабле. Во всяком случае, там будет что есть и пить.

— Солонина и разбавленный ром, гороховое пюре и сухари из мякины, сказал директор, затянувшись трубкой, чтобы она не потухла, и снова принимаясь украшать ее.

— Бывает и хуже, — сказал Николас. — Думаю, я могу все это перенести так же, как и другие юноши моих лет и в моем положении.

— Придется переносить, если вы попадете на борт судна, — сказал директор. — Но только вы никаким образом не попадете.

— Почему?

— Потому что нет такого шкипера или штурмана, который нашел бы, что вы стоите полагавшейся вам соли, если он может нанять опытного парня вместо вас. А их там столько же, сколько устриц продается на улицах.

— Что вы хотите сказать? — осведомился Николае, встревоженный этим предсказанием и уверенным тоном, которым оно было произнесено. — Люди не рождаются опытными моряками. Я думаю, их нужно обучать?

Мистер Винсент Крамльс кивнул головой.

— Нужно, но не в вашем возрасте и не таких джентльменов, как вы.

Наступило молчание. У Николаса вытянулась физиономия, и он мрачно смотрел на огонь.

— Вам не приходило на ум никакой другой профессии, которой легко мог бы заняться молодой человек с нашей наружностью и манерами, и при этом посмотреть мир с большими удобствами? — осведомился директор.

— Нет, — ответил Николас, покачав головой.

— В таком случае, я вам назову одну, — вытряхивая пепел из трубки в камин, громко сказал мистер Крамльс. — Сцена!

— Сцена?! — воскликнул Николас едва ли не так же громко.

— Театральная профессия! — сказал мистер Винсент Крамльс. — Я сам занимаюсь театральной профессией, моя жена занимается театральной профессией, мои дети занимаются театральной профессией. У меня была собака, которая, вступив на это поприще щенком, жила и умерла на этой работе. Мой пони выступает в «Тимуре Татарине». Я вас выведу в люди, а также и вашего друга. Скажите только слово. Мне нужна новинка.

— Я в этом ничего не понимаю, — ответил Николас, у которого дух захватило от неожиданного предложения. — Ни разу в жизни я не играл на сцене, разве что в школе.

— Есть нечто от благородной комедии в вашей походке и манерах, нечто от

юношеской трагедии в вашем взгляде и нечто от животрепещущего фарса в вашем смехе, — сказал мистер Винсент Крамльс. — Вы будете преуспевать не хуже, чем если бы с первого дня рождения не мечтали ни о чем, кроме рампы.

Николас подумал о скудном запасе мелкой монеты, какой останется у него в кармане после уплаты по трактирному счету, и начал колебаться.

— Вы можете быть нам полезны, — продолжал мистер Крамльс. — Подумайте, какие великолепные афиши на все лады может сочинять человек с вашим образованием.

— С этим делом я, пожалуй, могу справиться. — сказал Николас.

— Конечно, можете, — подтвердил мистер Крамльс. — Подробности в программах — в каждую из них мы можем вместить с полкнижки. А затем пьесы: вы могли бы написать пьесу, когда она понадобится, чтобы показать трупку во всем блеске.

— В этом я не так уверен, — возразил Николас, — но, пожалуй, иногда я бы мог набросать что-нибудь для вас подходящее.

— Мы немедленно поставим новый великолепный спектакль, — сказал директор. — Позвольте-ка припомнить... только в нашем театре... новые превосходные декорации... Вам придется как-нибудь ввести настоящий насос и две лохани для стирки.

— В пьесу? — осведомился Николас.

— Да, — ответил директор. — Я их купил на днях по дешевке с торгов, и они произведут прекрасное впечатление. Это по примеру Лондона. Там достают костюм, обстановку и заказывают пьесу, которая бы подходила к этим вещам. Большинство театров держит для этой цели автора.

— Неужели? — воскликнул Николас.

— Да, да, — подтвердил директор. — Самое обычное дело. Это будет иметь превосходный вид на афишах, отдельными строчками: «Настоящий насос! Великолепные лохани! Замечательный аттракцион!» Быть может, вы немножко художник, а?

— Этого таланта у меня нет, — ответил Николас.

— Ну, в таком случае ничего не поделаешь, — сказал директор. — А то бы мы могли сделать для афиши большую гравюру, изображающую всю сцену в последнем акте, с насосом и лоханями посредине. Но раз вы не художник, значит ничего не поделаешь.

— Сколько я мог бы получать за все это? — спросил Николас, несколько секунд подумав. — На это можно было бы жить?

— Жить! — воскликнул директор. — Как принц! С вашим жалованьем, с жалованьем вашего друга и вашими писаньями вы могли бы зарабатывать... да, вы могли бы зарабатывать фунт в неделю.

— Вы шутите?

— Нисколько. А если у нас будут хорошие сборы, то почти вдвое больше.

Николас пожал плечами; но впереди он видел буквально нищету, и если бы у него даже хватило силы духа переносить величайшие лишения и тяжкий труд, то стоило ли ему спасать своего беспомощного спутника только ради того, чтобы Смайку выпала такая же суровая доля, от какой он его избавил? Легко считать семьдесят миль пустяком, когда ты находишься в одном городе с человеком, столь жестоко с тобою поступившим и пробудившим у него самые горькие мысли, но теперь это расстояние казалось немалым. Что же будет, если он отправится в плаванье, а за это время умрет его мать или Кэт?

Без долгих размышлений он поспешил заявить, что сделка заключена, и скрепил ее, подав руку мистеру Винсенту Крамльсу.

Глава XXIII,

повествует о трупке мистера, Винсента Крамльса и о его делах, домашних и театральных

Так как у мистера Крамльса стояло в конюшне гостиницы странное четвероногое животное, которое он называл пони, и экипаж неведомого образца, каковой он достаивал наименования четырехколесного фэтона, то на следующее утро Николас отправился в путь с большими удобствами, чем ожидал: директор и сам он занимали переднее сиденье, а юные Крамльсы и Смайк ютились в обществе плетеной корзинки, защищенной от сырости прочной клеенкой, в каковой корзинке находились палаши, пистолеты, косички, матросские костюмы и прочие необходимые профессиональные принадлежности упомянутых молодых джентльменов. В дороге пони действовал не спеша и — быть может, вследствие своего театрального воспитания — то и дело обнаруживал явную склонность лечь.

Впрочем, мистер Винсент Крамльс неплохо удерживал его в стоячем положении, дергая вожжами и пуская в ход кнут, а когда эти средства не достигали цели и животное останавливалось, старший сын Крамльса вылезал и давал ему пинка. Благодаря таким поощрениям пони время от времени соглашался двигаться дальше, и они трусили к вящему удовольствию всех заинтересованных сторон (как справедливо заметил мистер Крамльс).

— По существу своему он хороший пони, — сказал мистер Крамльс, повернувшись к Николасу.

Он мог быть таким по существу, но уж никак не по виду, ибо шкура у него была самая грубая и безобразная. Поэтому Николас заметил только, что его это не удивляет.

— Много и много турне совершил этот пони, — сказал мистер Крамльс, ловко хлестнув его по глазу в знак старого знакомства. — Он все равно что один из членов нашей труппы. Его мать выступала на сцене.

— Вот как! — отозвался Николас.

— Свыше четырнадцати лет она ела в цирке яблочный пирог, — сообщил директор, — стреляла из пистолета, ложилась спать в ночном чепце — короче говоря, вела весь водевиль. А отец его был танцором.

— Он как-нибудь отличился?

— Не сказал бы, — ответил директор. — Он был довольно вульгарным пони. Дело в том, что поначалу его брали напрокат подневно, и он так до конца и не отвык от старых привычек. Он был хорош в мелодраме, но слишком груб, слишком груб. Когда умерла мать, он перешел на портвейн.

— На портвейн? — воскликнул Николас.

— Распивал портвейн с клоуном, — пояснил директор. — Но он был жаден и однажды вечером разгрыз стеклянную чашу и подавился; таким образом его вульгарность в конце концов привела его к гибели.

Потомок этого злополучного животного по мере выполнения своей дневной работы требовал удвоенного внимания со стороны мистера Крамльса, а потому у джентльмена оставалось мало времени для разговоров. Таким образом, Николас мог на досуге развлекаться собственными мыслями, пока они не подъехали к подъемному мосту в Портсмуте, где мистер Крамльс остановил пони.

— Мы здесь вылезем, — сказал директор, — а мальчики отведут его в конюшню и принесут багаж к нам на квартиру. Пусть и ваши вещи отнесут пока туда.

Поблагодарив мистера Винсента Крамльса за его любезное предложение, Николас выпрыгнул из экипажа и, подав руку Смайку, отправился в сопровождении директора по Хай-стрит к театру, чувствуя себя немного взволнованным и смущенным перспективой немедленно вступить в столь новый для него мир.

Они прошли мимо великого множества афиш, расклеенных на стенах и выставленных в окнах (на афишах имена мистера Винсента Крамльса, миссис Винсент Крамльс, Крамльса 2-го, Крамльса 3-го и мисс Крамльс были напечатаны очень крупными буквами, а все остальные очень мелкими), и, свернув, наконец, в подъезд, где сильно пахло апельсиновыми корками и лампадным маслом и примешивался запах опилок, ощупью пробрались темным коридором, а затем, спустившись с двух-трех ступенек, вступили в маленький лабиринт холщовых экранов и горшков с краской и очутились на сцене портсмутского театра.

— Вот и пришли, — сказал мистер Крамльс. Было довольно темно, но Николас мог разглядеть, что стоит на грязных подмостках у первой кулисы со стороны будки суфлера, среди голых стен, пыльных декораций, заплесневевших облаков и густо размазанных драпировок. Он осмотрелся вокруг: потолок, партер, ложи, галерея, место для оркестра и всевозможные украшения — все казалось грубым, холодным, мрачным и жалким.

— Неужели это театр? — с изумлением прошептал Смайк. — Я думал — он весь сверкает огнями и роскошью.

— Да, это верно, — ответил Николас, едва ли меньше удивленный, — но не днем, Смайк, не днем.

Голос директора помешал ему более тщательно осмотреть помещение, его отозвали в другой конец авансцены, где за овальным красного дерева столиком на тонких ножках сидела тучная, осанистая женщина, по-видимому в возрасте от сорока до пятидесяти лет, в потускневшем шелковом плаще — шляпка ее болталась на лентах на руке, а волосы (их было очень много) были уложены крупными фестонами на обоих висках.

— Мистер Джонсон, — сказал директор (Николас назвался именем, которым наделил его Ньюмен Ногс в разговоре с миссис Кенуигс), — позвольте вас познакомить с миссис Винсент Крамльс.

— Рада вас видеть, сэр, — замогильным голосом сказала миссис Крамльс. Очень рада вас видеть и еще более счастлива приветствовать вас как многообещающего члена нашей корпорации.

Обращаясь в таких выражениях к Николасу, леди пожала ему руку. Он заметил, что рука большая, но все-таки не ждал такого сильного пожатия, каким она его удостоила.

— А это, — сказала леди, шествуя к Смайку, как шествуют трагические актрисы, исполняя указания режиссера, — а это второй. Приветствую и вас, сэр.

— Мне кажется, он подойдет, моя дорогая? — спросил директор, беря понюшку табаку.

— Он великолепен, — ответила леди. — Просто находка.

Когда миссис Винсент Крамльс прошествовала обратно к столу, на сцену из какого-то таинственного закоулка выпрыгнула девочка в грязной белой юбке в складках, доходящей до колен, в коротких панталончиках, в сандалиях, белой жакетке, розовом газовом чепце, зеленой вуали и папильотках, которая сделала пируэт, два антраша, еще один пируэт, затем, взглянув на противоположные кулисы, взвизгнула, прыгнула вперед, остановившись в шести дюймах от рамп, и упала в красивой позе, выражающей ужас, когда появился, проделав энергическое глиссе, оборванный джентльмен в старых туфлях из буйволовой кожи и, скрежеща зубами, стал свирепо размахивать тростью.

— Они репетируют «Дикаря-индейца и девушку», — сказала миссис Крамльс.

— О! Маленький балет-интермедия, — сказал директор. — Прекрасно, продолжайте. Пожалуйста, подвиньтесь немного, мистер Джонсон. Вот так. Ну-с!

Директор хлопнул в ладоши, давая сигнал приступить, и дикарь, рассвирепев, сделал глиссе в сторону девушки, но девушка ускользнула от него при помощи шести пируэтов и в конце последнего замерла на самых кончиках пальцев. Это как будто произвело некоторое впечатление на дикаря, потому что, побесновавшись еще немного и погнав девушку из угла в угол, он начал смягчаться и несколько раз погладил себя по лицу всеми пятью пальцами правой руки, давая этим понять, что приведен и восторг ее красотой. Действуя под влиянием страсти, он (дикарь) принялся колотить себя кулаком в грудь и об наруживать другие признаки отчаянной влюбленности, но эта процедура, будучи довольно прозаической, по всей вероятности, привела к тому, что девушка заснула. Это ли послужило причиной, или что другое, но она заснула крепко, как сурок, на отлогом склоне насыпи, а дикарь, заметив это, прижал левую ладонь к левому уху и покивал головой, давая понять всем, кого это могло касаться, что она действительно спит, а не притворяется. Предоставленный самому себе, дикарь один-одинешенек исполнил танец. Не успел он кончить, как девушка проснулась, протерла глаза, поднялась с насыпи и тоже исполнила танец одна-одинешенька

— такой танец, что дикарь все время смотрел на нее в экстазе, а по окончании его сорвал с ближайшего дерева какую-то ботаническую диковинку, похожую на маленький кочан кислой капусты, и поднес ее девушке, которая сначала не хотела брать, но при виде проливающего слезы дикаря смягчилась. Потом дикарь подпрыгнул от радости; потом девушка подпрыгнула от восторга, вдыхая сладкий аромат кислой капусты. Потом дикарь и девушка исполнили вдвоем бешеный танец, и, наконец, дикарь упал на одно колено, а девушка стала одной ногой на другое его колено, закончив таким образом балет и оставив зрителей в состоянии приятной неуверенности, выйдет ли она замуж за дикаря, или вернется к своим друзьям.

— Очень хорошо, — сказал Крамльс. — Bravo!

— Bravo! — крикнул Николас, решив видеть все в наилучшем свете. Превосходно!

— Сэр, — сказал мистер Винсент Крамльс, выдвигая вперед девушку, — это дитя-феномен — мисс Нинетта Крамльс.

— Ваша дочь? — осведомился Николас.

— Моя дочь, моя дочь, — подтвердил мистер Винсент Крамльс, — идол всех мест, какие мы посещаем, сэр. Об этой девочке, сэр, мы получили лестные письменные отзывы от знати и дворянства чуть ли не всех городов Англии.

— Меня это не удивляет, — сказал Николас. — Должно быть, она настоящий прирожденный гений.

— Настоящий, э... — Мистер Крамльс запнулся: не было слов, достаточно сильных для изображения дитяти-феномена. — Я вам вот что скажу, сэр, продолжал он. — талант этого ребенка вообразить невысказанно. Ее нужно видеть, сэр, видеть, чтобы хоть в слабой степени оценить. Ну, иди к маме, дорогая моя.

— Могу ли я спросить, сколько ей лет? — осведомился Николас.

— Можете, сэр, — ответил мистер Крамльс, в упор глядя в лицо собеседника, как смотрят иные люди, когда сомневаются, будет ли безоговорочно принято на веру то, что они намерены сказать. — Ей десять лет, сэр.

— Не больше?

— Ни на один день.

— Боже мой! — сказал Николас. — Это поразительно. Да, поразительно, ибо у дитяти-феномена, несмотря на маленький рост, лицо было довольно старообразное. и дитя оставалось все в том же возрасте — если и не на памяти старейших из зрителей, то во всяком случае добрых лет пять. Но девочку заставляли поздно ложиться спать и с младенческих лет отпускали ей в неограниченном количестве джин с водой, чтобы воспрепятствовать росту; быть может, такая система воспитания породила у дитяти-феномена эти добавочные феноменальные явления.

Пока происходил этот короткий диалог, джентльмен, игравший дикаря, подошел, обутый в башмаки и с туфлями в руке, и остановился в нескольких шагах, как бы желая принять участие в разговоре. Найдя момент благоприятным, он вставил слово.

— Вот это талант, сэр! — сказал дикарь, кивая в сторону мисс Крамльс.

Николас с этим согласился.

— Ах! — сказал актер, сжимая зубы и со свистом втягивая воздух. — Ей нельзя оставаться в провинции. Нельзя!

— Что вы хотите этим сказать? — спросил директор.

— Хочу сказать. — с жаром ответил тот, — что она слишком хороша для провинциальной сцены и что она должна быть в одном из больших театров в Лондоне или нигде! И я вам больше скажу, напрямик: если бы не ревность и не зависть со стороны особ, вам известных, она была бы уже там. Может быть, вы меня представите, мистер Крамльс?

— Мистер Фолер, — сказал директор, представляя его Николасу.

— Счастлив познакомиться с вами, сэр. — Мистер Фолер прикоснулся указательным пальцем к полям шляпы, а затем пожал Николасу руку. — Новый коллега, сэр, насколько я понимаю?

— Недостойный этого звания, — ответил Николас.

— Видали вы когда-нибудь такую приманку? — прошептал актер, отводя в сторону Николаса, когда директор отошел от них, чтобы поговорить с женой.

— Какую именно?

Мистер Фолер скорчил забавную гримасу из своей пантомимной коллекции и указал через плечо.

— Неужели вы имеете в виду феноменального ребенка?

— Обман, а не феномен! — заявил мистер Фолер. — Любая приютская девочка с самыми заурядными способностями сыграла бы лучше, чем эта. Она может поблагодарить свою счастливую звезду, что родилась дочерью директора.

— Вы как будто принимаете это близко к сердцу, — с улыбкой заметил Николас.

— Да, клянусь богом! Еще бы не принимать! — сказал мистер Фолер, беря его под руку и прогуливаясь с ним взад и вперед по сцене. — Есть от чего человеку раздражаться, если он видит, как эта неуклюжая девчонка каждый вечер выступает в лучших ролях и буквально лишает театр сборов, потому что ею насильно пичкают пубяку, а других актеров обходят. Не удивительно ли, что проклятое семейное тщеславие ослепляет человека до такой степени, что он жертвует собственными интересами? Мне точно известно, что в прошлом месяце в Саутгемптоне явилось однажды вечером зрителей на пятнадцать шиллингов шесть пенсов, чтобы посмотреть, как я исполняю шотландский танец, а каковы были последствия? С тех пор меня ни разу — ни единого разу! — не выпускали с этим танцем, а дитя-феномен каждый вечер сквозь букеты искусственных цветов ухмылялось пяти взрослым и одному младенцу в партере и двум мальчишкам на галерке:

— Поскольку я могу судить на основании того, что видел, — сказал Николас. — вы являетесь достойным членом труппы.

— О! — отозвался мистер Фолер, похлопывая одной туфлей о другую, чтобы выколотить из них пыль. — Я недурно справляюсь — пожалуй, лучше всех в моем жанре, — но при таком отношении, как здесь, это все равно что подвешивать свинец к подошвам, вместо того чтобы натирать их мелом, и танцевать в кандалах без всякой от того прибыли. Алло, старина, как поживаете?

Джентльмен, к которому относились эти последние слова, был человек со смуглым, почти желтым лицом, с длинными густыми черными волосами и явными намеком (хотя он был гладко выбрит) на такую же темную жесткую бороду и бакенбарды. На вид ему было не больше тридцати лет, хотя в первый момент многие сочли бы его значительно старше, так как лицо у него было очень бледное от постоянного применения грима. На нем была рубашка в клетку, старый зеленый фрак с новыми позолоченными пуговицами, галстук с широкими красными и зелеными полосами и просторные синие брюки; к тому же при нем была простая ясеневая трость, служившая скорее для парада, чем для полезного употребления, так как он размахивал ею, держа рукоятью вниз, за исключением тех случаев, когда поднимал ее на несколько секунд и, став в позицию, делал два-три выпада в кулисы или в какой-нибудь иной предмет, одушевленный или неодушевленный, представлявший в тот момент удобную мишень.

— Ну, Томми, что нового? — сказал этот джентльмен, делая выпад тростью, который его друг ловко парировал туфлей.

— Новое лицо, вот и все, — ответил мистер Фолер, смотря на Николаса.

— Познакомьте же, Томми, познакомьте, — сказал другой джентльмен, укоризненно похлопывая его тростью по тулье шляпы.

— Это мистер Ленвил, наш первый трагик, мистер Джонсон, — сказал пантомимист.

— За исключением тех случаев, когда старому кирпичу приходит в голову самому быть трагиком, могли бы вы добавить, Томми, — заметил мистер Ленвил. — Полагаю, вам известно, сэр, кто такой кирпич?

— Нет, право же, нет, — ответил Николас.

— Так мы называем Крамльса, потому что у него манера игры тяжеловесная и

грузная, — пояснил мистер Ленвил. — А впрочем, мне шутить некогда, у меня тут роль на двенадцати страницах, в которой я должен выступить завтра вечером, а я еще не успел заглянуть в нее. Я чертовски быстро заучиваю — это единственное утешение.

Успокоив себя таким соображением, мистер Ленвил достал из кармана засаленную, измятую рукопись и, сделав еще один выпад в сторону своего друга, начал шагать взад и вперед, зазубривая роль и изредка позволяя себе принимать соответствующие позы, какие ему подсказывало его воображение и текст.

К тому времени собралась почти вся труппа. Кроме мистера Ленвила и его приятеля Томми, здесь присутствовали стройный молодой джентльмен с подслеповатыми глазами, который играл несчастных влюбленных и вел теноровые арии, и рука об руку с ним комический поселянин, человек со вздернутым носом, большим ртом, широкой физиономией и выпученными глазами. С дитятей-феноменом любезничал подвыпивший пожилой джентльмен, оборванный донельзя, который играл умиротворенных и добродетельных старцев, а за миссис Крамльс старательно ухаживал другой пожилой джентльмен, чуточку более respectable вида, который играл вспыльчивых старцев — тех забавных чудаков, чьи племянники служат в армии и которые вечно гоняются за ними с толстыми палками, принуждая их жениться на богатых наследницах. Затем здесь был субъект в мохнатом пальто, походивший на бродягу, который шагал взад и вперед перед рампой, размахивая тросточкой и что-то без умолку бормоча вполголоса для увеселения воображаемой аудитории. Он был уже не так молод, как в прежние времена, и фигура его, пожалуй, изменилась к худшему, но было в нем что-то преувеличенно-щегольское, свойственное герою благородной комедии. Была здесь еще небольшая группа из трех-четырех молодых людей со впалыми щеками и густыми бровями, беседовавших в углу, но они как будто не играли особой роли и смеялись и болтали, не привлекая к себе ни малейшего внимания.

Леди собрались особой стайкой вокруг вышеупомянутого расшатанного стола. Здесь была мисс Сневелличчи — она могла исполнять что угодно, начиная с любого танца и кончая леди Макбет, а в свой бенефис всегда играла какую-нибудь роль в голубых шелковых штанишках до колен. Из глубин своей соломенной шляпки, похожей на ящик для угля, она посматривала на Николаса и делала вид, будто поглощена сообщением занимательной истории своей подруге мисс Ледрук, которая принесла с собой рукоделие и самым натуральным образом мастерила гофрированный воротничок. Здесь была мисс Бельвони, которая редко притязала на роль с текстом и обычно играла пажа в белых шелковых чулках: стояла, согнув одну ногу, и созерцала публику или входила и выходила вслед за мистером Крамльсом в высоких трагедиях; сейчас она поддвигала локончики красавицы мисс Бравасса, чей портрет в одной из ролей, сделанный когда-то учеником гравера, выставлялся на продажу в витрине кондитера и зеленщика, а также в библиотеке и в кассе каждый раз, когда появлялись афиши, возвещавшие о ее ежегодном бенефисе. Здесь была миссис Ленвил в помятой шляпке с вуалью, как раз в том интересном положении, в каком ей, верно, хотелось быть, если она по-настоящему любила мистера Ленвила. Здесь была мисс Гейзинджи в боа из поддельного горноста, небрежно завязанном вокруг шеи, обоими концами которого она шутливо подхлестывала мистера Крамльса-младшего. И, наконец, здесь была миссис Граден в коричневом суконном пальто с пелериной и в касторовой шляпе; она помогала миссис Крамльс по хозяйству, получала деньги у входа, одевала леди, подметала театр, бралась за тетрадь суфлера, когда все прочие были заняты в последней сцене, исполняла в случае необходимости любую роль, никогда ее не разучивая, и появлялась на афишах под любой фамилией, которая, по мнению мистера Крамльса, производила впечатление.

Мистер Фолер, любезно сообщивший эти сведения Николасу, покинул его, чтобы присоединиться к друзьям; церемония взаимного знакомства была завершена мистером Винсентом Крамльсом, который представил нового актера как чудо гениальности и учености.

— Простите, — сказала мисс Сневелличчи, бочком прокрадываясь к Николасу, — вы

никогда не играли в Кентербери?

— Никогда, — ответил Николас.

— Припоминаю, — продолжала мисс Сневелличчи, — в Кентербери я видела джентльмена, — правда, всего несколько секунд, потому что я уходила из труппы, когда он поступал в нее, джентльмена, до такой степени похожего на вас, что я была почти уверена, что вы и он — одно лицо.

— Я вас вижу впервые, — возразил Николас с подобающей галантностью. — Я уверен, что раньше никогда вас не видел: этого я бы не мог забыть.

— О, разумеется, вы мне очень льстите, — с милостивым поклоном ответствовала мисс Сневелличчи. — Теперь, когда я смотрю на вас, я вижу, что у джентльмена в Кентербери глаза были не такие, как у вас... Я вам кажусь очень глупой, потому что обращаю внимание на такие вещи, не правда ли?

— О нет! Могу ли я не быть польщенным вашим вниманием? — ответил Николас.

— Ах, вы, мужчины, такие тщеславные существа! — воскликнула мисс Сневелличчи.

После чего она очаровательно сконфузилась и, вынув носовой платок из выцветшего розового шелкового ридикюля с позолоченной застежкой, окликнула мисс Ледрук.

— Лед, моя милая! — воскликнула мисс Сневелличчи.

— Что случилось? — отозвалась мисс Ледрук.

— Это не тот.

— Кто не тот?

— Тот, из Кентербери... вы знаете, что я хочу сказать. Идите сюда. Я хочу поговорить с вами.

Но мисс Ледрук не захотела подойти к мисс Сневелличчи; поэтому мисс Сневелличчи принуждена была пойти к мисс Ледрук и поспешила к ней вприпрыжку, что было поистине очаровательно, а мисс Ледрук, по-видимому, стала подшучивать, будто Николас произвел неотразимое впечатление на мисс Сневелличчи, так как мисс Сневелличчи, весело пошептавшись с мисс Ледрук, пребольно ударила ее по рукам и отошла в приятном смущении.

— Леди и джентльмены, — сказал мистер Винсент Крамльс, писавший что-то на клочке бумаги, — мы репетируем «Смертельную борьбу» завтра в десять. В процессии участвуют все. Интрига, содержание и взаимоотношения персонажей известны всем, стало быть нам нужна только одна репетиция. Все к десяти, пожалуйста.

— Все к десяти, — повторила миссис Граден, озираясь вокруг.

— В понедельник утром мы будем читать новую пьесу, — объявил мистер Крамльс. — Роли еще не распределены, но у каждого будет хорошая роль. Об этом позаботится мистер Джонсон.

— Как? — встрепenuвшись, вскричал Николас. — Я...

— В понедельник утром, — повторил мистер Крамльс, дабы заглушить возражения злополучного мистера Джонсона. — Вот и все, леди и джентльмены.

Леди и джентльмены не нуждались во вторичном разрешении уйти, и через несколько минут в театре не осталось никого, кроме семейства Крамльсов, Николаса и Смайка.

— Уверю вас, — сказал Николас, отводя в сторону директора, — вряд ли я могу приготовиться к понедельнику.

— Вздор, вздор! — отозвался мистер Крамльс.

— Но, право же, я не могу, — возразил Николас. — Моя фантазия не приучена к таким требованиям, в противном случае я, быть может...

— Фантазия! Черт побери, да какое она имеет к этому отношение? — воскликнул директор.

— Большое, дорогой мой сэръ.

— Ровно никакого, дорогой мой сэръ! — с явным нетерпением отрезал директор. — Вы французский язык знаете?

— Да, в совершенстве.

— Очень хорошо, — сказал директор, доставая из ящика стола свернутые в трубку бумаги и протягивая их Николасу. — Вот! Вы только переведите это на английский и поставьте свою фамилию на титульном листе. Будь я проклят, — сердито продолжал мистер Крамльс, — если не говорил много раз, что не хочу держать у себя в труппе никого, кто не владеет этим языком: тогда бы они могли заучивать с оригинала и играть по-английски, а я был бы избавлен от всех этих хлопот и расходов. Николас улыбнулся и положил в карман пьесу.

— Как вы полагаете устроиться с жильем? — спросил мистер Крамльс.

Николас невольно подумал, что на первую неделю было бы совсем неплохо получить раскладную кровать в партере, но в ответ сказал только, что еще не обращал своих мыслей на сей предмет.

— В таком случае, пойдемте со мной, — сказал мистер Крамльс, — а после обеда мои мальчики отправятся с вами и покажут вам подходящее помещение.

От такого предложения нельзя было отказываться. Николас и мистер Крамльс подали руку миссис Крамльс и вышли на улицу в величественном строю. Смайк, мальчики и феномен пошли домой кратчайшей дорогой, а миссис Граден осталась, чтобы подкрепиться в билетной кассе холодной тушеной бараниной с луком и картофелем и пинтой портера.

Миссис Крамльс шагала по тротуару, как будто шла на казнь, воодушевляемая сознанием своей невинности, и с той героической стойкостью, какую дарует только добродетель. Мистер Крамльс, со своей стороны, напоминал осанкой и поступью бесчувственного тирана, но оба привлекали некоторое внимание многочисленных прохожих, и, когда слышался шепот: «Мистер и миссис Крамльс!» — или какой-нибудь мальчуган забегал вперед посмотреть им в лицо, строгие их физиономии смягчались, ибо они чувствовали, что это — слава.

Мистер Крамльс жил на Сент-Томас-стрит, в доме лоцмана, некоего Бульфа, который мог похвастать корабельного зеленого цвета дверью и того же цвета оконными рамами, а на каминной полке в его гостиной красовался мизинец утопленника рядом с другими диковинками моря п суши. Он мог похвастать также бронзовым дверным кольцом, бронзовой табличкой и бронзовой ручкой звонка, блестящими и сверкающими, а на заднем дворе у него была мачта с флюгером на верхушке.

— Добро пожаловать, — сказала миссис Крамльс, обращаясь к Николасу, когда они вошли в комнату во втором этаже с полукруглыми окнами на улицу.

Николас поклонился в знак признательности и непритворно обрадовался при виде накрытого стола.

— У нас только баранья лопатка с луковым соусом, — сказала миссис Крамльс все тем же загробным голосом, — но каков бы ни был наш обед, мы просим вас откусать с нами.

— Вы очень добры, — ответил Николас, — я воздам ему должное.

— Винсент, — сказала миссис Крамльс, — который час?

— Обеденный час пробил пять минут назад, — отозвался мистер Крамльс.

Миссис Крамльс позвонила в колокольчик.

— Пусть подают баранину и луковый соус. Раба, прислуживавшая жильцам мистера Бульфа, ушла и вскоре вновь появилась с пиршественными яствами. Николас и дитя-феномен сели друг против друга за раскладной стол, а Смаик и юные Крамльсы обедали на диване, служившем кроватью.

— Любят здесь театр? — спросил Николас.

— Нет, — ответил мистер Крамльс. — Отнюдь нет, отнюдь нет.

— Я их жалею, — заметила миссис Крамльс.

— Я тоже, — сказал Николас, — если они не питают никакого пристрастия к театральным увеселениям, устроенным надлежащим образом.

— Не питают ни малейшего, сэр, — отозвался мистер Крамльс. — В прошлом году, в бенефис феномена, когда она сыграла три самые популярные свои роли, а также появилась во вновь созданной ею роли в «Волшебном дикобразе», билетов продали не больше, чем на

четыре фунта двенадцать шиллингов.

— Может ли это быть?! — вскричал Николас.

— Да из них — на два фунта в кредит, папаша, сказал феномен.

— Да из них — два фунта в кредит, — повторил мистер Крамльс. — Самой миссис Крамльс случалось играть перед горсточкой зрителей.

— Но они всегда живо откликаются, Винсент, — сказала жена директора.

— Почти все зрители откликаются, если видят хорошую игру... действительно хорошую игру... настоящую, — внушительно ответил мистер Крамльс.

— Вы даете уроки, сударыня? — осведомился Николае.

— Даю, — сказала миссис Крамльс.

— Но, полагаю, здесь учеников нет?

— Были, — сказала миссис Крамльс. — Я принимала Здесь учеников. Я обучала дочь поставщика судового провианта, но потом обнаружилось, что она была не в своем уме, когда в первый раз пришла ко мне. В высшей степени странно, что она пришла при таких обстоятельствах.

Не будучи в этом столь уверен, Николас счел наилучшим промолчать.

— Позвольте-ка, — сказал директор, предавшись послеобеденным размышлениям, — вы бы не хотели сыграть какую-нибудь маленькую приятную роль, имея своим партнером феномена?

— Вы очень любезны, — поспешил ответить Николас, — но, мне кажется, пожалуй, лучше будет, если я сначала сыграю с кем-нибудь, кто одного роста со мной, чтобы я не показался неловким. Быть может, я бы себя чувствовал более непринужденно.

— Правда, — сказал директор. — Может быть, и так. А со временем вы будете в силах играть с феноменом.

— Несомненно, — ответил Николас, от всей души надеясь, что пройдет очень много времени, прежде чем он удостоится этой чести.

— Теперь я вам скажу, что мы сделаем, — сказал мистер Крамльс. — Вы будете разучивать Ромео, когда кончите ту пьесу, — кстати, не забудьте ввести насос и лохани. Джульеттой будет мисс Сневелличчи, старая Граден — кормилицей. Да, так выйдет прекрасно. Вот еще Пират — вы можете заучить Пирата, раз уж вы займетесь ролями, а также Кассио и Джереми Дидлера⁴⁸. Вы их без труда одолеете: одна роль очень помогает другой. Вот они — и реплики и все прочее.

Торопливо дав эти общие указания, мистер Крамльс сунул в трепещущие руки Николаса несколько маленьких книжек и, приказав старшему сыну проводить его и показать, где можно снять помещение, пожал ему руку и пожелал спокойной ночи.

В Портсмуте нет недостатка в комфортабельно меблированных комнатах, нетрудно найти и такие, которые доступны человеку с весьма скудными средствами; но первые были слишком хороши, а последние слишком плохи, и они обошли столько домов и ушли такими неудовлетворенными, что Николас начал всерьез подумывать, как бы не пришлось ему все-таки просить разрешения провести эту ночь в театре.

Впрочем, в конце концов они наткнулись на две маленькие комнатки в третьем этаже (со второго этажа туда вела наружная лестница) у владельца табачной лавки на Коммон-Хард, грязной улице, идущей к пристани. Их и снял Николас, радуясь, что к нему не обратились с требованием уплатить за неделю вперед.

— Ну вот, кладите здесь наши вещи, Смайк, — сказал он, проводив юного Крамльса вниз. — Странное случилось с нами происшествие, и только небу известно, чем оно кончится. Но я устал от событий этих трех дней и хочу отложить размышления до завтра, если удастся.

Глава XXIV,

*О великолепном спектакле, заказанном для мисс Сневелличчи, и о первом появлении
Николаса на сцене*

На следующее утро Николас встал рано; однако он едва начал одеваться, когда на лестнице послышались шаги, и вскоре его приветствовали голоса мистера Фолера, пантомимиста, и мистера Ленвила, трагика.

— Вы дома? — орал мистер Фолер.

— Эй! Хо! Дома? — восклицал басом мистер Ленвил.

«Черт бы их побрал! — подумал Николас. — Должно быть, они пришли завтракать».

— Подождите минутку, сейчас я открою дверь. — Джентльмены просили его не спешить и, чтобы скоротать время, принялись фехтовать тросточками на крохотной лестничной площадке, к невыразимому смятению всех нижних жильцов.

— Входите! — сказал Николас, закончив свой туалет. — Ради всех чертей, не поднимайте такой шум за дверью.

— Удивительно уютная маленькая ложа, — сказал мистер Ленвил, входя в первую комнату и предварительно сняв шляпу, дабы иметь возможность войти. — Чертовски уютная.

— Для человека хоть сколько-нибудь привередливого она была бы чуточку слишком уютной, — сказал Николас. — Хотя это несомненно большое удобство — доставать, не вставая со стула, все, что угодно, с потолка, с пола и из любого угла комнаты, но такими преимуществами можно пользоваться только в помещении крайне ограниченных размеров.

— Здесь вполне достаточно места для холостяка, — возразил мистер Ленвил. — Кстати, это мне напомнило... моя жена, мистер Джонсон... надеюсь, она получит хорошую роль в этой вашей пьесе.

— Вчера вечером я просмотрел французский текст, — сказал Николас. — Мне кажется, роль очень хороша.

— А для меня что вы думаете сделать, старина? — осведомился мистер Ленвил, потыкав тростью в разгорающийся огонь, а затем вытерев трость полой сюртука. Что-нибудь такое грубое и ворчливое?

— Вы выгоняете из дому жену с ребенком, — сообщил Николас, — и в припадке бешенства и ревности закалываете в кабинете своего старшего сына.

— Да неужели! — воскликнул мистер Ленвил. — Вот это здорово!

— Затем, — сказал Николас, — вас терзают угрызения совести вплоть до последнего акта, и тогда вы решаете покончить с собой. Но как раз в тот момент, когда вы приставляете пистолет к голове, часы бьют... десять...

— Понимаю! — закричал Ленвил. — Очень хорошо!

— Вы замираете, — продолжал Николас. — Вы припоминаете, что еще в младенчестве слышали, как часы били десять. Пистолет падает из вашей руки... Вы обессилены... Вы раздражаетесь рыданиями и становитесь добродетельным и примерным человеком.

— Превосходно! — сказал мистер Ленвил. — Эга картина выигрышная, очень выигрышная. Опустите занавес в такой трогательный момент — и успех будет потрясающий.

— А для меня есть что-нибудь хорошее? — с беспокойством спросил мистер Фолер.

— Позвольте-ка припомнить... — сказал Николас. Вы играете роль верного и преданного слуги, вас выгоняют из дому вместе с вашей хозяйкой и ее ребенком.

— Вечно я в паре с этим проклятым феноменом! — вздохнул мистер Фолер. — И, не правда ли, мы идем в убогое жилище, где я не хочу получать никакого жалованья и говорю чувствительные слова?

— Мм... да, — ответил Николас, — так получается по ходу пьесы.

— Мне, знаете ли, нужен какой-нибудь танец, — сказал мистер Фолер. — Вам все

равно придется ввести танец для феномена, так что лучше вам сделать *pas de deux*⁴⁹ и сберечь время.

— Нет ничего легче, — сказал мистер Ленвил, увидев, что молодой драматург смутился.

— Честное слово, я не знаю, как это сделать, — заявил Николас.

— Да ведь это же ясно! — возразил мистер Ленвил. — Черт подери, разве не ясно, как это сделать! Вы меня изумляете. У вас налицо несчастная леди, маленький ребенок и преданный слуга в убогом жилище, понимаете? Так вот слушайте. Несчастная леди опускается в кресло и прячет лицо в носовой платок. «Почему ты плачешь, мама? — говорит ребенок. — Не плачь, мама, а то я тоже заплачу». — «И я!» — говорит верный слуга, растирая себе глаза рукавом. «Что нам делать, чтобы подбодрить тебя, дорогая мама?» — говорит дитя. «Да, что нам делать?» — говорит верный слуга. «О Пьер! — говорит несчастная леди. — Как бы я хотела избавиться от этих мучительных мыслей!» — «Постарайтесь, сударыня, — говорит верный слуга, — приободритесь, сударыня, отвлекитесь». — «Да, говорит леди, — да, я хочу научиться страдать мужественно. Вы помните тот танец, который в дни более счастливые вы, верный мой друг, исполняли с этим милым ангелом? Он неизменно действовал успокоительно на мою душу. О, дайте мне увидеть его еще раз, пока я жива!» Ну вот, «пока я жива» — сигнал оркестру, и они пускаются в пляс. Это как раз то, что нужно, не правда ли, Томми?

— Совершенно верно. — ответил мистер Фолер. — Несчастная леди падает в обморок по окончании танца, живая картина и занавес.

Извлекая пользу из этих и других уроков, являвшихся результатом личного опыта обоих актеров, Николас охотно угостил их наилучшим завтраком, какой только мог предложить, и, наконец, избавившись от них, приступил к работе, не без удовольствия убедившись, что она значительно легче, чем он предполагал. Он усердно трудился весь день и не покидал своей комнаты до самого вечера, а затем отправился в театр, куда Смайк ушел до него, чтобы «представлять» вместе с другим джентльменом всеобщее восстание.

Здесь все люди так изменились, что он едва мог их узнать. Фальшивые волосы, фальшивый цвет лица, фальшивые икры, фальшивые мускулы — люди превратились в новые существа. Мистер Ленвил был полным сил воином грандиозных размеров; мистер Крамльс, с пышной черной шевелюрой, затеняющей его широкую физиономию, — шотландским изгнанником с величественной осанкой; один из старых джентльменов — тюремщиком, а другой — почтенным патриархом; комический поселянин — доблестным воином, не лишенным искры юмора; оба юных Крамльса-принцами, а несчастный влюбленный — отчаявшимся пленником. Все было уже приготовлено для роскошного банкета в третьем акте, а именно: две картонные вазы, тарелка с сухарями, черная бутылка и бутылочка из-под уксуса; короче говоря, все было готово и поистине великолепно.

Николас стоял спиной к занавесу, то созерцая декорация первой сцены, изображающие готическую арку фута на два ниже мистера Крамльса, который должен был, пройдя под этой аркой, совершить свой первый выход, то прислушиваясь к двум-трем зрителям, которые щелкали орехи на галерке и рассуждали, есть ли еще кто-нибудь, кроме них, и театре, когда к нему запросто обратился сам директор.

— Были сегодня в зале? — спросил мистер Крамльс.

— Нет, — ответил Николас, — еще нет. Но я собираюсь смотреть представление.

— Билеты шли недурно, — сказал мистер Крамльс, — четыре передних места в середине и целая ложа.

— Вот как! — сказал Николас. — Должно быть, для семьи?

— Да, — ответил мистер Крамльс. — Это очень трогательно. Там шестеро детей, и они приходят только в том случае, если играет феномен.

Трудно было кому-нибудь — кто бы он ни был — посетить театр в тот вечер, когда бы

феномен не играл, поскольку он ежевечерне исполнял по меньшей мере одну, а нередко две или три роли; но Николас, щадя отцовские чувства, не стал упоминать об этом пустячном обстоятельстве, и мистер Крамльс продолжал говорить, не встретив возражений.

— Шестеро! — сказал этот джентльмен. — Папа и мама — восемь, тетка — девять, гувернантка — десять, дедушка и бабушка — двенадцать. Потом еще лакей, который стоит за дверью с мешком апельсинов и кувшином воды, настоенной на сухарях⁵⁰, и бесплатно смотрит спектакль через окошечко в двери ложи. И за всех одна гиней — им выгодно брать ложу.

— Удивляюсь, зачем вы пускаете столько народу, — заметил Николас.

— Ничего не поделаешь, — отозвался мистер Крамльс, — так принято в провинции. Если детей шестеро, то приходят шестеро взрослых, чтобы держать их на коленях. В семейной ложе всегда помещается двойное количество. Дайте звонок оркестру, Граден.

Эта незаменимая леди выполнила приказ, и вскоре можно было услышать, как настраивают три скрипки. Эта процедура растянулась на столько времени, на сколько предположительно могло хватить терпения у публики; конец ей положил второй звонок, являвшийся сигналом начинать всерьез, после чего оркестр заиграл всевозможные популярные мелодии с неожиданными вариациями.

Если Николас был поражен переменной к лучшему, происшедшей с джентльменами, то превращения леди оказались еще более изумительными. Когда из уютного уголка директорской ложи он узрел мисс Сневелличчи в ослепительно-белом муслине с золотой каймой, и миссис Крамльс во всем величии жены изгнанника, и мисс Бравасса во всей прелести наперсницы мисс Сневелличчи, и мисс Бельвони в белом шелковом костюме пажа, исполнявшего свой долг всюду и клявшегося жить и умереть на службе у всех и каждого, он едва мог сдержать свой восторг, выразившийся в громких аплодисментах и глубочайшем внимании к происходящему на сцене.

Сюжет пьесы был в высшей степени интересен. Неизвестно было, в каком веке, среди какого народа и в какой стране он разворачивается, и, быть может, благодаря этому он был еще восхитительнее, так как, за неимением предварительных сведений, никто не мог догадаться, что из всего этого получится.

Некий изгнанник что-то и где-то совершил с большим успехом и вернулся домой с триумфом, встреченный приветственными кликами и звуками скрипок, вернулся, дабы приветствовать свою жену — леди с мужским складом ума, очень много говорившую о костях своего отца, которые, по-видимому, остались непогребенными, то ли по своеобразной причуде самого старого джентльмена, то ли вследствие предосудительной небрежности его родственников — это осталось невыясненным. Жена изгнанника находилась в каких-то отношениях с патриархом, жившим очень далеко в замке, а этот патриарх был отцом многих из действующих лиц, но он хорошенько не знал, кого именно, и не был уверен, своих ли детей воспитал у себя в замке, или не своих. Он склонился к последнему и, находясь в замешательстве, развлек себя банкетом, во время коего некто в плаще сказал: «Берегись!» — но ни один человек (кроме зрителей) не знал, что этот некто и был сам изгнанник, который явился сюда по невыясненным причинам, но, может быть, с целью стащить ложки.

Были также приятные маленькие сюрпризы в виде любовных диалогов между удрученным пленником и мисс Сневелличчи и между комическим воином и мисс Бравасса; кроме того, у мистера Ленвила было несколько очень трагических сцен в темноте во время его кровавых экспедиций, потерпевших неудачу благодаря ловкости и смелости комического воина (который подслушивал все, что говорилось на протяжении всей пьесы) и неустрашимости мисс Сневелличчи, которая облачилась в трико и в таком виде отправилась в темницу к своему пленному возлюбленному, неся корзиночку с закусками и потайной фонарь. Наконец обнаружилось, что патриарх и был тем самым человеком, который так неуважительно обошелся с костями тестя изгнанника, и по этой причине жена изгнанника

отправилась в замок патриарха, чтобы убить его, и пробралась в темную комнату, где после долгих блужданий в потемках все сцепились друг с другом и вдобавок принимали одного за другого, что вызвало величайшее смятение, а также пистолетные выстрелы, смертоубийство и появление факелов. После этого вперед выступил патриарх и, заметив с многозначительным видом, что теперь он знает все о своих детях и сообщит им это, когда они вернутся, заявил, что не может быть более благоприятного случая для сочетания браком молодых людей. Затем он соединил их руки, с полного согласия неутомимого пажа, который (будучи, кроме этих троих, единственным оставшимся в живых) указал своей шапочкой на облака, а правой рукой на землю, тем самым призывая благословение и давая знак опускать занавес, что и было сделано при дружных рукоплесканиях.

— Ну, как по-вашему? — осведомился мистер Крамльс, когда Николас снова прошел на сцену.

Мистер Крамльс был очень красен и разгорячен, потому что эти изгнанники — отчаянные люди, когда дело доходит до крика.

— По-моему, великолепно, — ответил Николас. — В особенности мисс Сневелличчи была необычайно хороша.

— Это гений! — сказал мистер Крамльс. — Эта девушка — настоящий гений! Кстати, я подумываю о том, чтобы поставить вашу пьесу в ее заказанный вечер.

— Когда? — переспросил Николас.

— В ее вечер, заранее заказанный. В ее бенефис, когда ее друзья и патроны заказывают спектакль, — пояснил мистер Крамльс.

— А, понимаю, — отозвался Николас.

— Видите ли, — сказал мистер Крамльс, — в такой день пьеса несомненно пройдет, и если даже она не будет пользоваться тем успехом, на какой мы рассчитываем, то, знаете ли, мы ничем не рискуем.

— То есть вы, — поправил Николас.

— Я и сказал — я, — возразил мистер Крамльс. — В понедельник на будущей неделе. Что вы на это скажете? Пьесу вы сделаете задолго до этого и, конечно, успеете разучить роль любовника.

— Не могу сказать, что «задолго до этого», — ответил Николас, — но к тому времени я, пожалуй, берусь приготовиться.

— Прекрасно, — продолжал мистер Крамльс. — Итак, будем считать вопрос решенным. Теперь я хочу просить вас еще кое о чем. В таких случаях проводится маленькая... как бы это выразиться... маленькая кампания по сбору голосов.

— Вероятно, среди патронов? — осведомился Николас.

— Среди патронов. Но у Сневелличчи было столько бенефисов в этом году, что она нуждается в приманке. У нее был бенефис, когда умерла ее свекровь, и еще бенефис, когда умер ее дядя; у миссис Крамльс и у меня были бенефисы в день рождения феномена, в годовщину нашей свадьбы и по случаю других такого же рода событий, так что, собственно говоря, хороший бенефис связан с некоторыми трудностями. Мистер Джонсон, не согласитесь ли вы помочь бедной девушке? — сказал Крамльс, присаживаясь на барабан, взяв большую понюшку табаку и пристально поглядев в лицо своему собеседнику.

— Что вы имеете в виду? — спросил Николас.

— Как вы думаете, не можете ли вы уделить завтра утром полчаса, чтобы зайти вместе с ней к двум-трем патронам? — вкрадчивым голосом прошептал директор.

— Знаете ли... — сказал Николас с видом явно протестующим, — мне бы этого не хотелось!

— Феномен будет ее сопровождать, — сказал мистер Крамльс. — Когда мне это предложили, я тотчас разрешил феномену пойти. Ровно ничего неприличного в этом нет: мисс Сневелличчи — воплощение чести, сэр. Это принесло бы существенную пользу: джентльмен из Лондона... автор новой пьесы... актер, выступающий в новой пьесе... первое появление на подмостках — это дало бы нам великолепный бенефис, мистер Джонсон!

— Мне очень грустно омрачать надежды кого бы то ни было, и в особенности леди, — ответил Николас, — но право же, я бы хотел решительно отказаться от участия в кампании!

— Что сказал мистер Джонсон, Винсент? — раздался голос над самым его ухом.

Оглянувшись, он увидел, что за его спиной стоят миссис Крамльс и сама мисс Сневелличчи.

— У него есть возражения, дорогая моя, — ответил мистер Крамльс, смотря на Николаса.

— Возражения! — воскликнула миссис Крамльс. — Возможно ли это?

— О, надеюсь, что нет! — вскричала мисс Сневелличчи. — Конечно, вы не столь жестоки. О боже мой! О, я... подумать только, сколько надежд я возлагала на вас!

— Мистер Джонсон не станет упорствовать, дорогая моя, — сказала миссис Крамльс. — Будьте о нем лучшего мнения и не думайте этого. Галантность, человечность, все лучшие чувства, свойственные его натуре, должны оказать поддержку этому замечательному начинанию.

— Которое растрогало даже директора, — улыбаясь, сказал мистер Крамльс.

— И жену директора, — добавила миссис Крамльс привычным трагическим тоном. — Полно, полно, вы смягчитесь, знаю, что смягчитесь.

— Не в моей натуре, — сказал Николас, тронутый этими мольбами, противиться каким бы то ни было просьбам, разве что с ними связано что-нибудь дурное; а кроме гордости, я не нахожу ничего, что бы мешало мне это сделать! Я здесь никого не знаю, и меня никто не знает. Пусть будет по-вашему. Я сдаюсь.

Мисс Сневелличчи тотчас залилась румянцем и рассыпалась в выражениях благодарности; на этот последний товар отнюдь не поскупились также и мистер и миссис Крамльс. Было условлено, что Николас зайдет к ней на квартиру завтра в одиннадцать часов утра, и вскоре после этого они расстались: он — чтобы вернуться домой к своим писаниям, мисс Сневелличчи — переодеться для следующей пьесы, а бескорыстный директор и его жена — подсчитать возможный доход от предстоящего бенефиса, так как, согласно торжественному договору, им надлежало получить две трети всей прибыли.

На следующее утро в назначенный час Николас отправился на квартиру мисс Сневелличчи, находившуюся на улице, именуемой Ломберд-стрит, в доме портного. В маленьком коридорчике сильно пахло утюгом, а дочь портного, открывшая дверь, находилась в том возбужденном состоянии духа, в каком так часто пребывают семьи в день стирки белья.

— Кажется, здесь живет мисс Сневелличчи? — спросил Николас, когда дверь открылась.

Дочь портного ответила утвердительно.

— Не будете ли вы так добры уведомить ее, что пришел мистер Джонсон? — сказал Николас.

— О, пожалуйста, поднимитесь наверх, — с улыбкой ответила дочь портного.

Николас последовал за молодой леди, и его ввели в маленькую комнату во втором этаже, сообщавшуюся с задней комнатой, где, как предположил он, судя по приглушенному зову чашек и блюдец, мисс Сневелличчи в тот момент завтракала в постели.

— Вам придется подождать, будьте так добры, — сказала дочь портного после недолгого отсутствия, во время которого звон прекратился и уступил место шепоту. — Она скоро выйдет.

С этими словами она подняла штору и (как думала она) отвлекла таким путем внимание мистера Джонсона от комнаты и привлекла его к улице, после чего схватила какие-то вещи, сушившиеся на каминной решетке и имевшие большое сходство с чулками, и убежала.

Так как за окном было не очень много предметов, представляющих интерес, то Николас осмотрел комнату с большим вниманием, чем уделил бы ей при других обстоятельствах. На диване лежала старая гитара, какие-то скомканные ноты и кучка папилюток вместе с кипой

афиш и парой грязных белых атласных туфель с большими голубыми розетками. На спинке стула висел еще не дошитый муслиновый передник с карманчиками, украшенными красной лентой, — такие передники носят на сцене горничные, и, следовательно, нигде в другом месте их не увидишь. В одном углу стояли миниатюрные сапожки с отворотами; в сапожках мисс Сневелличчи обычно изображала маленького жокея, а тут же на стуле лежал сверток, имевший подозрительное сходство с короткими штанишками под стать сапожкам.

Но, пожалуй, самым интересным предметом был раскрытый альбом газетных вырезок, красовавшийся среди разбросанных по столу театральных либретто в двенадцатую долю листа. В этот альбом были вклеены всевозможные критические отзывы об игре мисс Сневелличчи, извлеченные из различных провинциальных газет, а также дифирамбы в ее честь, начинавшиеся так:

Пой, бог любви, и почему, ответь,
Талантливая Сневелличчи снизошла на землю?
Чтоб нас пленять, играть, а также петь?
Пой, бог любви, и торопись, тебе я жадно внемлю!»

Помимо этого излияния, здесь было множество лестных намеков, также извлеченных из газет, например: «Из объявления, помещенного на другой странице сегодняшнего номера нашей газеты, мы узнаем, что бенефис очаровательной и высокоталантливой мисс Сневелличчи назначен на среду и по этому случаю ею составлена программа, которая может зажечь восторгом даже сердце мизантропа. Пребывая в уверенности, что наши сограждане не утратили той высокой способности ценить как дела общепользные, так и личные достоинства, каковою способностью они издавна одарены столь изумительно, мы предсказываем этой очаровательной актрисе восторженный прием». «Ответы подписчикам. Дж. С. введен в заблуждение, если он полагает, что высокоодаренная и прекрасная мисс Сневелличчи, каждый вечер пленяющая все сердца в нашем изящном и уютном маленьком театре, не является той самой леди, которой недавно сделал честные предложения чрезвычайно богатый молодой джентльмен, проживающий в ста милях от славного города Йорка. У нас есть основания предполагать, что мисс Сневелличчи является той леди, которая играла роль в этой таинственной и романтической истории и чье поведение при таких обстоятельствах делает честь ее уму и сердцу не меньше, чем театральные триумфы ее сверкающему гению». Альбом мисс Сневелличчи был заполнен богатой коллекцией таких заметок, как приведенные выше, и пространными программами бенефисов, кончавшимися призывом, напечатанным крупным шрифтом:

«Приходите заблаговременно».

Николас прочел множество этих вырезок и был поглощен подробным и меланхолическим отчетом о ходе событий, которые привели к тому, что мисс Сневелличчи вывихнула себе лодыжку, поскользнувшись на апельсиновой корке, брошенной на сцену в Винчестере каким-то чудовищем в образе человека (так сообщала газета), когда сама молодая леди в шляпке, напоминавшей ящик для угля, и в полном выходном костюме впорхнула в комнату, принося тысячу извинений, что заставила его ждать так долго после назначенного часа.

— Но уверяю вас, — сказала мисс Сневелличчи, — моя дорогая Лед, которая живет вместе со мной, так разнемоглась ночью, что я боялась, как бы она не испустила дух в моих объятиях.

— Такая судьба почти достойна зависти, — заявил Николас, — но тем не менее мне очень грустно это слышать.

— Как вы умеете льстить! — сказала мисс Сневелличчи, в большом смущении застегивая перчатку.

— Если лестно называть восхищение вашими чарами и талантами, — возразил Николас, кладя руку на альбом вырезок, — то здесь вы имеете лучшие образцы.

— О жестокое создание, как вы могли читать такие вещи! После этого мне стыдно смотреть вам в лицо, право же стыдно! — воскликнула мисс Сневелличчи, хватая книгу и пряча ее в шкаф. — Какая небрежность со стороны Лед! Как могла она поступить так нехорошо!

— Я думал, вы любезно оставили ее здесь, чтобы я почитал, — сказал Николас. Это и в самом деле казалось правдоподобным.

— Ни за что на свете я бы не хотела, чтобы вы ее видели, — возразила мисс Сневелличчи. — Никогда еще я не была так раздосадована, никогда! Но Лед такое небрежное существо, ей нельзя доверять.

Тут разговор был прерван приходом феномена, который до сей поры скромно оставался в спальне, а теперь появился с большой грацией и легкостью, держа в руке очень маленький зеленый зонтик с широкой бахромой и без ручки. Обменявшись несколькими словами, приличествующими случаю, они вышли на улицу.

Феномен оказался довольно докучливым спутником, ибо сначала у него свалилась правая сандалия, а потом левая, а когда эту беду поправили, обнаружилось, что белые панталончики с одной стороны спускаются ниже, чем с другой; помимо этих происшествий, зеленый зонтик провалился сквозь железную решетку и был выужен с большим трудом и после многих усилий. Однако немислимо было бранить ее, так как она была дочкой директора; посему Николас принимал все это с невозмутимым добродушием и шествовал под руку с мисс Сневелличчи, в то время как надоедливое дитя шло с другой стороны.

Первый дом, куда они направили свои стопы, стоял на улице респектабельного вида. В ответ на скромный стук мисс Сневелличчи вышел лакей, который, выслушав ее вопрос, дома ли миссис Кэрдль, очень широко раскрыл глаза, очень широко улыбнулся и сказал, что не знает, но справится. Затем он провел их в приемную, где заставил их ждать, пока там под каким-то предлогом не побывали две служанки, чтобы поглазеть на актеров; поделившись с ними впечатлениями в коридоре и приняв участие в долгом перешептывании и хихиканье, лакей, наконец, отправился наверх доложить о мисс Сневелличчи.

Миссис Кэрдль, по признанию тех, кто был наилучшим образом осведомлен в такого рода делах, обладала поистине лондонским вкусом во всем, имеющем отношение к литературе и театру, а что до мистера Кэрдля, то он написал брошюру в шестьдесят четыре страницы в одну восьмую листа о характере покойного супруга кормилицы в «Ромео и Джульетте», разбивавшую вопрос, был ли он действительно «весельчаком» при жизни, или же только пристрастие любящей вдовы побудило ее отзываться о нем подобным образом. Доказал он также, что если отступить от принятой системы пунктуации, то любую из шекспировских пьес можно переделать наново и совершенно изменить ее смысл. Посему нет надобности говорить, что он был великим критиком и весьма глубоким и в высшей степени оригинальным мыслителем.

— Ну, как вы поживаете, мисс Сневелличчи? — осведомилась миссис Кэрдль, входя в приемную.

Мисс Сневелличчи сделала грациозный реверанс и выразила надежду, что миссис Кэрдль здорова, равно как и мистер Кэрдль, появившийся одновременно. Миссис Кэрдль была в утреннем капоте и маленьком чепчике, сидевшем на макушке. На мистере Кэрдле был широкий халат, а указательный палец правой его руки приложен ко лбу в соответствии с портретами Стерна, с которым, как однажды кто-то заметил, он имел разительное сходство.

— Я осмелилась нанести вам визит, сударыня, с целью спросить, не подпишетесь ли вы на мой бенефис, — сказала мисс Сневелличчи, доставая бумаги.

— О, право, не знаю, что сказать, — отозвалась миссис Кэрдль. — Нельзя утверждать, чтобы сейчас театр находился на высоте величия и славы... Что же вы стоите, мисс Сневелличчи?.. Драма погибла, окончательно погибла.

— Как восхитительное воплощение видений поэта и как материализация человеческой интеллектуальности, золотящая своим сиянием наши грезы и открывающая перед умственным взором новый и волшебный мир, драма погибла, окончательно погибла, —

сказал мистер Кэрдль.

— Где найти человека из живущих ныне, который может изобразить нам все меняющиеся цвета спектра, в какие облечен образ Гамлета! — воскликнула миссис Кэрдль.

— Да, где найти такого человека... на сцене? — сказал мистер Кэрдль, делая маленькую оговорку в свою пользу. — Гамлет! Фу! Смешно! Гамлет погиб, окончательно погиб.

Совершенно подавленные этими горестными соображениями, мистер и миссис Кэрдль вздохнули и некоторое время сидели безгласные. Наконец леди, повернувшись к мисс Сневелличчи, осведомилась, в какой пьесе та намерена выступить.

— В новой, — сказала мисс Сневелличчи, — автором которой является этот джентльмен и в которой он будет играть: это его первое выступление на подмостках. Джентльмена зовут мистер Джонсон.

— Надеюсь, вы сохранили единства, сэр? — спросил мистер Кэрдль.

— Эта пьеса — перевод с французского, — сказал Николас. — В ней много всевозможных происшествий, живых диалогов, ярко очерченных действующих лиц...

— Все это бесполезно без строгого соблюдения единств, сэр, — возразил мистер Кэрдль. — Единства драмы — прежде всего.

— Разрешите вас спросить, — сказал Николас, колеблясь между уважением, которое должен был оказывать хозяину, и желанием позабавиться, — разрешите вас спросить, что такое единства?

Мистер Кэрдль кашлянул и призадумался.

— Единства, сэр, — сказал он, — это завершение... нечто вроде всеобщей взаимосвязи по отношению к месту и времени... своего рода универсальность, если мне разрешат воспользоваться столь сильным выражением. Это я и считаю драматическими единствами, поскольку я имел возможность уделить им внимание, а я много читал об этом предмете и много размышлял. Перебирая в памяти роли, исполняемые этим ребенком, — продолжал мистер Кэрдль, повернувшись к феномену, — я нахожу единство чувства, широту кругозора, свет и тень, теплоту окраски, тон, гармонию, художественное развитие первоначальных замыслов, что я тщетно ищу у взрослых актеров. Не знаю, понятно ли я изъясняюсь.

— Вполне, — ответил Николас.

— Вот именно, — сказал мистер Кэрдль, подтягивая галстук. — Таково мое определение единств драмы.

Миссис Кэрдль сидела и слушала это столь исчерпывающее объяснение с великим самодовольством. По окончании его она осведомилась, что думает мистер Кэрдль по поводу подписки.

— Не знаю, дорогая моя, честное слово, не знаю, — сказал мистер Кэрдль. — Если мы подпишемся, то подлежит ясно дать понять, что мы не гарантируем качества исполнения. Пусть публика знает, что за них мы своим именем не поручимся, но что эту честь мы оказываем только мисс Сневелличчи. Когда это будет ясно установлено, я сочту своим долгом распространить наше покровительство на пришедший в упадок театр хотя бы ради тех ассоциаций, с которыми он для меня связан. У вас найдется два шиллинга шесть пенсов разменять полукрону, мисс Сневелличчи? — сказал мистер Кэрдль, доставая четыре полукроны.

Мисс Сневелличчи обшарила все уголки розового ридикюля, но ни в одном из них ничего не оказалось. Николас пробормотал шутливо, что он автор, и решил вовсе обойтись без формальной процедуры обшаривания своих карманов.

— Позвольте-ка, — сказал мистер Кэрдль, — дважды четыре восемь, — по четыре шиллинга за место в ложе, мисс Сневелличчи, чрезвычайно дорого при теперешнем положении театра; три полукроны — это семь шиллингов шесть пенсов. Полагаю, мы не будем спорить из-за шести пенсов? Шесть пенсов нас не поссорят, мисс Сневелличчи?

Бедная мисс Сневелличчи с улыбками и поклонами взяла три полукроны, а миссис Кэрдль, сделав несколько дополнительных замечаний на тему о том, чтобы места были им

оставлены, с сидений стерта пыль и присланы две афиши, как только они будут выпущены, позвонила в колокольчик, давая сигнал, что совещание кончено.

— Странные люди, — сказал Николас, когда они вышли из дому.

— Уверю вас, — отозвалась мисс Сневелличчи, беря его под руку, — я почитаю себя счастливой, что они недодали шести пенсов... Они могли пока ничего не заплатить. Теперь в случае вашего успеха они дадут понять публике, что всегда вам покровительствовали, а в случае вашего провала — что они были в этом уверены с самого начала.

В следующем доме, какой они посетили, их приняли восторженно, ибо здесь обитали шесть человек детей, которые восхищались публичными выступлениями феномена, и, когда их призвали из детской, чтобы они насладились лицезрением этой юной леди в интимной обстановке, они принялись тыкать пальцами ей в глаза, наступать на ноги и оказывать другие маленькие знаки внимания, свойственные их возрасту.

— Я непременно уговорю мистера Борума взять, отдельную ложу, — сказала хозяйка дома после самой любезной встречи. — Я прихвачу с собой только двух детей, а остальное общество будет состоять из джентльменов — ваших поклонников, мисс Сневелличчи. Огастес, гадкий мальчик, не приставай к девочке!

Это относилось к молодому джентльмену, который щипал девочку-феномена сзади, очевидно с целью установить, настоящая ли она.

— Вероятно, вы очень устали, — сказала мамаша, обращаясь к мисс Сневелличчи. — Я никак не могу отпустить вас, пока вы не выпьете рюмку вина. Фи, Шарлотта, мне стыдно за тебя! Мисс Лейн, милая моя, пожалуйста, присмотрите за детьми.

Мисс Лейн была гувернантка, а эта просьба была вызвана неожиданной выходкой младшей мисс Борум, которая, стащив зеленый зонтик феномена, хотела дерзко его унести, в то время как ошеломленный феномен беспомощно взирал на это.

— Где вы могли научиться так играть, как вы играете? — спросила добродушная миссис Борум, снова обращаясь к мисс Сневелличчи. — Право же, я понять не могу (Эмма, не таращи глаза): в одном месте вы плачете, а в другом смеетесь, и все это так естественно, ах, боже мой!

— Я счастлива слышать столь благоприятное мнение. — сказала мисс Сневелличчи. — Восхитительно думать, что вам нравится моя игра.

— Нравится! — вскричала миссис Борум. — Кому же она может не нравиться? Будь у меня возможность, я бы ходила в театр два раза в неделю: я без ума от него. Только иногда вы бываете слишком трогательны. Вы доводите меня до такого состояния, до таких судорожных рыданий! Господи боже мой, мисс Лейн, почему вы позволяете им так мучить это бедное дитя?

Девочке-феномену и в самом деле грозила опасность быть разорванной на части, так как два здоровых мальчугана, ухватившись каждый за ее руку, тянули в противоположные стороны, пробуя свою силу. Однако мисс Лейн (которая сама была слишком занята созерцанием взрослых актеров, чтобы обращать должное внимание на происходящее) в критический момент спасла злосчастного младенца, который подкрепился рюмкой вина и вскоре был уведен своими друзьями, не потерпев особо серьезных повреждений, если не считать того, что розовый газовый чепчик был приплюснут, а белое платье и панталончики порядочно измяты.

Это было изнурительное утро, потому что пришлось сделать множество визитов и у всех вкусы были разные. Одни хотели трагедий, а другие комедий; одни возражали против танцев, другие только танцев и хотели. Одни считали комического певца решительно вульгарным, а другие надеялись, что у него дела будет больше, чем обычно. Одни не обещали прийти, потому что другие не обещали прийти, а иные вовсе не хотели идти, потому что другие придут. Наконец мало-помалу, в одном месте что-нибудь вычеркивая, а в другом что-нибудь добавляя, мисс Сневелличчи поручилась за программу, которая другими достоинствами, может быть, и не отличалась, но зато была достаточно обширна, (среди прочих безделок она включала четыре пьесы, различные песни, несколько поединков и

много танцев), и они вернулись домой, не на шутку измученные трудами этого дня.

Николас корпел над пьесой, которую быстро начали репетировать, а затем корпел над своей ролью, которую разучивал с большой настойчивостью и исполнил, как заявила вся труппа, безупречно. И, наконец, настал великий день. Утром был послан в обход глашатай, звоном колокольчиков возвещающий на всех людных улицах о представлении; специально выпущенные афиши длиной в три фута и шириной в девять дюймов были рассеяны повсюду, разбросаны по всем подвальным лестницам, подсунуты под все дверные кольца и развешены во всех лавках. Были они также вывешены на всех стенах, хотя и не с полным успехом, ибо по случаю болезни постоянного расклейщика афиш эту обязанность исполняло лицо неграмотное, и часть афиш была развешена косо, а остальные вверх ногами.

В половине шестого в дверь галерки ломились четыре человека; без четверти шесть их было по крайней мере дюжина; в шесть часов колотили ногами в дверь устрашающим образом, а когда старший сынок Крамльса открыл ее, ему пришлось спрятаться за ней, спасая собственную жизнь. В первые же десять минут миссис Граден собрала пятнадцать шиллингов.

За кулисами царило такое же беспримерное возбуждение. Мисс Сневелличчи вспотела так, что румяна едва держались у нее на лице. Миссис Крамльс была так нервна, что с трудом могла припомнить свою роль. Локончики мисс Бравасса развились от жары и волнения; даже сам мистер Крамльс все время смотрел в дырочку в занавесе и то и дело прибегал возвестить, что еще один человек пришел в партер.

Наконец оркестр умолк, и занавес поднялся. Первая сцена, в которой не участвовал никто примечательный, прошла довольно спокойно, но когда во второй появилась мисс Сневелличчи, сопровождаемая феноменом в роли дитяти, какой раздался гром аплодисментов! В ложе Борума все встали, как один человек, размахивая шляпами и носовыми платками и крича: «Браво!». Миссис Борум и гувернантка бросали венки на сцену, из коих некоторые опустились на лампы, а один увенчал чело толстого джентльмена, который, жадно смотря на сцену, остался в неведении об оказанной ему чести; портной и его семейство колотили ногами в переднюю стенку верхней ложи, грозя вывалиться наружу; даже мальчик, разносивший имбирное пиво, застыл на месте посреди зрительного зала; молодой офицер, которого считали влюбленным в мисс Сневелличчи, вставил в глаз монокль, как бы желая скрыть слезу. Снова и снова мисс Сневелличчи приседала все ниже и ниже, и снова и снова аплодисменты раздавались все громче и громче. Наконец, когда феномен взял один из дымящихся венков и косо нахлобучил на самые глаза мисс Сневелличчи, овация достигла своего апогея, и представление продолжалось.

Но когда появился Николас в своей блестящей сцене с миссис Крамльс, какие раздались рукоплескания! Когда миссис Крамльс (которая была его недостойной матерью) насмеялась над ним и назвала его «самонадеянным мальчишкой», а он отказал ей в повиновении, какая была буря аплодисментов! Когда он поссорился с другим джентльменом из-за молодой леди и, достав ящик с пистолетами, сказал, что если его соперник — джентльмен, то он будет драться с ним здесь, в этой гостиной, пока мебель не оросится кровью одного из них, а может быть, и обоих, как слились в едином оглушительном вопле ложи, партер и галерка! Когда он бранил свою мать за то, что она не хотела вернуть достояние молодой леди, а та, смягчившись, побудила и его смягчиться, упасть на одно колено и просить ее благословения, как рыдали леди в зрительном зале! Когда он спрятался в темноте за занавес, а злой родственник тыкал острой шпагой всюду, но только не туда, где ясно видны были его ноги, какой трепет неудержимого страха пробежал по залу! Его осанка, его фигура, его походка, его лицо — все, что он говорил или делал, вызывало похвалу. Аплодисменты раздавались каждый раз, когда он начинал говорить. А когда, наконец, в сцене с насосом и лоханью миссис Граден зажгла бенгальский огонь, а все незанятые члены труппы вышли и разместились повсюду — не потому, что это имело какое-нибудь отношение к пьесе, но для чего, чтобы закончить ее живой картиной, — зрители (которых к тому времени стало значительно больше) испустили такой восторженный крик, какого не

слыхали в этих стенах много и много дней.

Короче — успех и новой пьесы и нового актера был полный, и, когда мисс Сневелличчи вызвали в конце пьесы, ее вел Николас и делил с ней аплодисменты.

Глава XXV,

касающаяся молодой леди из Лондона, которая присоединяется к труппе, и пожилого поклонника, который следует в ее свите; трогательная церемония, последовавшая за их прибытием

Новая пьеса, будучи явной удачей, была анонсирована на все вечерние представления впредь до особого извещения, а по вечерам театр оставался закрытым два раза в неделю вместо трех. И это были не единственные признаки необычайного успеха, ибо в ближайшую субботу Николас получил через посредство неугомимой миссис Граден ни больше ни меньше как тридцать шиллингов; помимо такой существенной награды, он был удостоен немалой чести и славы, получив на адрес театра экземпляр брошюры мистера Кэрдля с автографом этого джентльмена на первой странице (само по себе бесценное сокровище), в сопровождении записки, записка содержала многочисленные похвалы и непростительное заверение в том, что мистер Кэрдль с величайшим удовольствием будет каждое утро читать с ним Шекспира три часа перед завтраком во время его пребывания в этом городе.

— У меня есть еще одна новинка, Джонсон, — весело объявил однажды утром мистер Крамльс.

— Что именно? — спросил Николас. — Пони?

— Нет, к пони мы обращаемся только в тех случаях, когда все остальное провалилось, — сказал мистер Крамльс. — Думаю, что в этом сезоне нам вообще не придется пользоваться им. Нет, нет, не пони.

— Быть может, мальчик-феномен? — предположил Николас.

— Есть только один феномен, сэр, — внушительно ответил мистер Крамльс, и это — девочка.

— Совершенно верно, — сказал Николас. — Прошу прощения. В таком случае я, право же, не знаю, что это может быть.

— Что бы вы сказали по поводу молодой леди из Лондона? — осведомился мистер Крамльс. — Мисс такая-то из Королевского театра Друри-Лейн?

— Сказал бы, что она будет очень хороша на афишах, — отозвался Николас.

— В этом вы правы, — заметил мистер Крамльс, — и если бы вы сказали, что она будет очень хороша также и на сцене, вы бы не ошиблись. Посмотрите-ка, что вы об этом думаете?

Задав такой вопрос, Мистер Крамльс развернул красную афишу, синюю афишу и желтую афишу, вверху которых было начертано гигантскими буквами: «Первое выступление несравненной мисс Питоукер из Королевского театра Друри-Лейн».

— Ах, боже мой, я знаю эту леди! — воскликнул Николас.

— Стало быть, вы знакомы с самым большим талантом, каким когда-либо была наделена молодая особа, — заявил мистер Крамльс, снова свертывая афиши. — Собственно, с талантом особого рода... особого рода. «Кровопийца», — с пророческим вздохом добавил мистер Крамльс, — «Кровопийца» умрет, когда умрет эта девушка; она — единственная из всех сильфид, виденных мною, которая может, стоя на одной ноге, бить бубном о колено другой подобно сильфиде.

— Когда же она приезжает? — спросил Николас.

— Мы ждем ее сегодня, — ответил мистер Крамльс. — Она старая приятельница миссис Крамльс. Миссис Крамльс поняла, на что она способна, — знала это с самого начала. В сущности, она обучила ее почти всему, что та знает. Первой «кровопийцей» была миссис

Крамльс.

— Да неужели?

— Да! Но она принуждена была отказаться от этого.

— Ей пришлось не по нраву? — осведомился Николас.

— Не столько ей, сколько публике, — ответил мистер Крамльс. — Никто не мог выдержать. Это было слишком потрясающе. Вы еще не знаете, какова миссис Крамльс!

Николас осмелился намекнуть, что, кажется, он это знает.

— Нет, нет, не знаете, — возразил мистер Крамльс, — конечно, не знаете! Даже я толком не знаю, и это факт. Не думаю, что страна это узнает, пока она не умрет. Ежегодно у этой изумительной женщины расцветает какой-нибудь новый талант. Посмотрите на нее — мать шестерых детей, из них трое живы, и все на сцене.

— Поразительно! — воскликнул Николас.

— Да, поразительно, — подтвердил мистер Крамльс, — самодовольно беря понюшку табаку и с важностью покачивая головой. — Даю вам мое честное слово актера, я даже не знал, что она умеет танцевать, до последнего ее бенефиса (она тогда играла Джульетту и Элен Мак-Грегор⁵¹, а между пьесами исполнила матросский танец со скакалкой). В первый раз, когда я увидел эту превосходную женщину, Джонсон, — сказал мистер Крамльс придвигаясь ближе и говоря тоном конфиденциальным и дружеским, — она стояла на голове на тупом конце копья, а кругом сверкал фейерверк.

— Вы меня изумляете! — воскликнул Николас.

— Она меня изумила! — заявил мистер Крамльс с очень серьезной миной. Такая грация, соединенная с таким достоинством! С того момента я начал ее обожать.

Появление даровитого объекта этих замечаний резко положило конец панегирику мистера Крамльса. Почти немедленно вслед за этим вошел юный Перси Крамльс с письмом, прибывшим по почте и адресованным его любезной матери; при виде надписи на нем миссис Крамльс воскликнула: «Честное слово, от Генриетты Питоукер!» — и тотчас погрузилась в его содержание.

— Разве она... — нерешительно осведомился мистер Крамльс.

— О нет, все в порядке, — ответила миссис Крамльс, предваряя вопрос. Право, какой это для нее чудесный случай!

— Я думаю, наилучший, о каком я когда-либо слышал, — сказал мистер Крамльс.

А затем мистер Крамльс, миссис Крамльс и юный Перси Крамльс принялись неудержимо смеяться. Николас предоставил им веселиться и отправился к себе, недоумевая, какая тайна, связанная с мисс Питоукер, могла вызвать такое веселье, а еще более задумываясь о том крайнем изумлении, с каким эта леди отнесется к его неожиданному выбору профессии, столь славным и блистательным украшением которой она являлась.

Но в этом последнем пункте он ошибся, ибо — то ли мистер Винсент Крамльс подготовил почву, то ли у мисс Питоукер были особые причины обращаться с ним даже с большею любезностью, чем прежде, — встреча их на следующий день в театре скорее носила характер встречи двух дорогих друзей, не разлучавшихся с детства, чем леди и джентльмена, которые виделись раз пять, да и то случайно. Мало того: мисс Питоукер шепнула, что в разговоре с семьей директора она вовсе не упоминала о Кенуигсах и изобразила дело так, будто встречала мистера Джонсона в самых высших и фешенебельных кругах. Когда же Николас принял это сообщение с не скрываемым удивлением, она добавила, бросив нежный взгляд, что имеет теперь право полагаться на его доброту и, быть может, в скором времени подвергнет ее испытанию.

В тот вечер Николас имел честь играть в маленькой пьеске вместе с мисс Питоукер и не мог не заметить, что теплый прием, ей оказанный, следовало приписать главным образом весьма настойчивому зонту в одной из верхних лож; видел он также, что обворожительная актриса часто бросала нежные взгляды в ту сторону, откуда доносился стук зонта, и что

каждый раз, когда она это делала, зонт снова принимался за работу. Один раз ему показалось, что оригинальной формы шляпа в том же углу зала ему как будто знакома, но, будучи поглощен своей ролью на сцене, он мало внимания обратил на это обстоятельство, и воспоминание о нем улетучилось окончательно к тому времени, как он дошел до дому. Он только что сел ужинать со Смайком, когда один из жильцов дома подошел к его двери и объявил, что какой-то джентльмен внизу желает поговорить с мигтером Джонсоном.

— Ну что ж, если он этого желает, предложите ему подняться, вот все, что я могу сказать, — отозвался Николае. — Должно быть, один из нашей голодной братии, Смайк.

Его сожитель посмотрел на холодную говядину, молча вычисляя, сколько останется к завтрашнему обеду, и положил обратно кусок, отрезанный им для себя, чтобы вторжение посетителя оказалось менее устрашающим по своим результатам.

— Это не из тех, кто бывал здесь раньше, — сказал Николас, — потому что он спотыкается на каждой ступеньке. Входите, входите. Вот чудеса! Мистер Лиливик?

Действительно, это был сборщик платы за водопровод, физиономия его хранила полную неподвижность, и, глядя на Николаса остановившимся взглядом, он пожал ему руку с торжественной важностью и занял место в углу у камина

— Когда же вы сюда приехали? — спросил Николас.

— Сегодня утром, сэр, — ответил мистер Лиливик.

— О, понимаю! Так, значит, сегодня вечером вы были в театре, и это ваш эо...

— Вот этот зонт, — сказал мистер Лиливик, показывая толстый зеленый бумажный зонт с погнутым железным наконечником. — Какого вы мнения об этом спектакле?

— Поскольку я мог судить, находясь на сцене, — ответил Николас, — мне он показался очень милым.

— Милым! — вскричал сборщик. — А я говорю, сэр, что он был восхитителен.

Мистер Лиливик наклонился вперед, чтобы с наибольшим ударением произнести последнее слово, и, справившись с этим, выпрямился, нахмурился и несколько раз кивнул головой.

— Я говорю, что спектакль был восхитительный, — повторил мистер Лиливик. — Ошеломляющий, волшебный, потрясающий!

И снова мистер Лиливик выпрямился, и снова он нахмурился и кивнул головой.

— Вот как! — сказал Николас, слегка удивленный этими проявлениями восторженного одобрения. — Да, она способная девушка.

— Она божественна. — заявил мистер Лиливик, ударив упомянутым зонтом в пол двойным ударом, как это делают сборщики налогов. — Я знавал божественных актрис, сэр, — бывало, я собирал... вернее я *заходил*, и заходил очень часто, чтобы получить за воду, в дом к одной божественной актрисе, которая больше четырех лет жила в моем приходе, — но никогда, никогда, сэр, среди всех божественных созданий, актрис и не актрис, не видывал я создания такого божественного, как Генриетта Питоукер.

Николасу много труда стоило удержаться от смеха; не решаясь заговорить, он только кивал, сообразуясь с кивками мистера Лиливика, и безмолвствовал.

— Разрешите сказать вам два слова конфиденциально, — сказал мистер Лиливик.

Николас добродушно взглянул на Смайку, который, поняв намек, скрылся.

— Холостяк — жалкое существо, сэр, — сказал мистер Лиливик.

— Что вы! — сказал Николас.

— Да, — ответил сборщик. — Вот уже скоро шестьдесят лет, как я живу на свете, и я должен знать, что это такое.

«Разумеется, вы *должны* знать, — подумал Николас, — но знаете вы или нет — это другой вопрос».

— Если холостяку случится отложить немного денег, — сказал мистер Лиливик, — его сестры и братья, племянники и племянницы думают об этих деньгах, а не о нем; даже если, будучи должностным лицом, он является старейшиной рода или, скорее, тем основным стволом, от которого ответвляются все прочие маленькие ветви, они тем не менее все время

желают ему смерти и приходят в уныние всякий раз, когда видят его в добром здравии, потому что хотят вступить во владение его маленьким имуществом. Вы понимаете?

— О да, — ответил Николас. — Несомненно это так.

— Главный довод против женитьбы — расходы, вот что меня удерживало, а иначе — о боже! — сказал мистер Лиливик, щелкнув пальцами, — я мог бы иметь пятьдесят женщин.

— Красивых женщин? — спросил Николас.

— Красивых женщин, сэр! — ответил сборщик. — Конечно, не таких красивых, как Генриетта Питоукер, ибо она — явление необычное, но таких женщин, какие не каждому мужчине встречаются на пути, смею вас заверить. Теперь предположим, что человек может получить богатство не в виде приданого жены, но в ней самой! А?

— Ну, в таком случае это счастливчик, — ответил Николас.

— То же самое и я говорю, — заявил сборщик, благосклонно похлопывая его зонтом по голове, — как раз го же самое. Генриетта Питоукер, талантливая Генриетта Питоукер, в себе самой заключает богатство, и я намерен...

— Сделать ее миссис Лиливик, — подсказал Николас.

— Нет, сэр, не сделать ее миссис Лиливик, — возразил сборщик, — актрисы, сэр, всегда сохраняют свою девичью фамилию, таково правило, но я намерен жениться на ней, и жениться послезавтра.

— Поздравляю вас, сэр, — сказал Николас.

— Благодарю вас, сэр. — отозвался сборщик, застегивая жилет. Разумеется, я буду получать за нее жалованье, и в конце концов я надеюсь, что содержать двоих почти так же дешево, как одного. В этом есть утешение.

— Но, право же, вы не нуждаетесь в утешении в такой момент, — заметил Николас.

— Не нуждаюсь, — сказал мистер Лиливик, нервически покачивая головой, — нет... конечно, не нуждаюсь.

— Но зачем же вы оба приехали сюда, если собираетесь вступить в брак, мистер Лиливик? — спросил Николас.

— Да я для того-то и пришел, чтобы объяснить вам, — ответил сборщик платы за водопровод. — Дело в том, что мы сочли наилучшим сохранить это в тайне от семейства.

— От семейства? — повторил Николас. — Какого семейства?

— Конечно, от Кенуигсов, — сказал мистер Лиливик. — Если бы моя племянница и ее дети услышали об этом хоть словечко до моего отъезда, они валялись бы в судорогах у моих ног и не пришли бы в себя, пока я не поклялся бы ни на ком не жениться. Или они собрали бы комиссию, чтобы признать меня сумасшедшим, или сделали бы еще что-нибудь ужасное, — добавил сборщик, даже задрожав при этих словах.

— Совершенно верно, — сказал Николас, — да, несомненно они бы ревновали.

— Дабы этому воспрепятствовать, — продолжал мистер Лиливик, — Генриетта Питоукер (так мы с ней условились) должна была приехать сюда, к своим друзьям Крамльсам, под предлогом ангажемента, а я должен был выехать накануне в Гильдфорд, чтобы там пересесть к ней в карету. Так я и сделал, и вчера мы вместе приехали из Гильдфорда. Теперь, опасаясь, что вы будете писать мистеру Ногсу и можете сообщить что-нибудь о нас, мы сочли наилучшим посвятить вас в тайну. Сочетаться браком мы отправимся, с квартиры Крамльсов и будем рады видеть вас либо перед церковью, либо за завтраком, как вам угодно. Завтрак, понимаете ли, будет скромный, — сказал сборщик, горя желанием предотвратить всякие недоразумения по этому поводу, всего-навсего булочки и кофе и, понимаете ли, быть может, кровати или что-нибудь в этом роде как закуска.

— Да, да, понимаю, — ответил Николас. — О, я с великой радостью приду, мне это доставит величайшее удовольствие. Где остановилась леди? У миссис Крамльс?

— Нет, — сказал сборщик, — им негде было бы устроить ее на ночь, а потому она поместилась у одной своей знакомой и еще одной молодой леди: обе имеют отношение к театру.

— Вероятно, у мисс Сневелличчи? — спросил Николас.

— Да, так ее зовут.

— И, полагаю, обе будут подружками? — спросил Николас.

— Да, — с кислой миной сказал сборщик, — они хотят четырех подружек. Боюсь, что они это устроят несколько по-театральному.

— О нет, не думаю! — отозвался Николас, делая неловкую попытку превратить смех в кашель. — Кто же могут быть эти четыре? Конечно, мисс Сневелличчи, мисс Ледрук...

— Фе...феномен, — простонал сборщик.

— Ха-ха! — вырвалось у Николаса. — Прошу прощения, не понимаю, почему я засмеялся... Да, это будет очень мило... феномен... Кто еще?

— Еще какая-то молодая женщина, — ответил сборщик, вставая, — еще одна подруга Генриетты Пичоукер. Итак, вы ни слова об этом не скажете, не правда ли?

— Можете всецело на меня положиться, — отозвался Николас. — Не хотите ли закусить или выпить?

— Нет, — сказал сборщик, — у меня нет ни малейшего аппетита. Я думаю, это очень приятная жизнь — жизнь женатого человека?

— Я в этом нисколько не сомневаюсь, — ответил Николас.

— Да, — сказал сборщик, — разумеется. О да! Несомненно. Спокойной ночи.

С этими словами мистер Лиливик, в чьем поведении на протяжении всей этой беседы изумительнейшим образом сочетались стремительность, колебания, доверчивость и сомнения, нежность, опасения, скарёдность и напыщенность, повернулся к двери и оставил Николаса хохотать в одиночестве, если он был к тому расположен.

Не трудясь осведомляться, показался ли Николасу следующий день состоящим из полагающегося ему числа часов надлежащей длительности, можно отметить, что для сторон, непосредственно заинтересованных, этот день пролетел с удивительной быстротой, в результате чего мисс Питоукер, проснувшись утром в спальне мисс Сневелличчи, заявила, что ничто не убедит ее в том, будто это тот самый день, при свете коего должна произойти перемена в ее жизни.

— Я никогда этому не поверю, — сказала мисс Питоукер, — просто не могу поверить. Что бы там ни говорили, я не могу решиться пройти через такое испытание!

Услыхав эти слова, мисс Сневелличчи и мисс Ледрук, очень хорошо знавшие, что вот уже три или четыре года, как их прекрасная подруга приняла решение и в любой момент беззаботно прошла бы через ужасное испытание, если бы только могла найти подходящего джентльмена, не возражавшего против этого рискованного предприятия, — мисс Сневелличчи и мисс Ледрук начали проповедовать спокойствие и мужество и говорить о том, как должна она гордиться своей властью осчастливить на многие годы достойного человека, и о том, сколь необходимо для блага всего человечества, чтобы женщины выказывали в таких случаях стойкость и смирение; хотя сами они видят истинное счастье в одинокой жизни, которой не изменили бы по своей воле, — да, не изменили бы по каким бы то ни было суетным соображениям, но (благодарение небесам!), если бы настало такое время, они надеются, что знают свой долг слишком хорошо, чтобы возроптать, но с кротостью и покорностью подчинятся судьбе, для которой их явно предназначило провидение, дабы утешить и вознаградить их ближних.

— Я понимаю, что это страшный удар, — сказала мисс Сневелличчи, — порвать старые связи и тому подобное, как оно там называется, но я бы этому подчинилась, дорогая моя, право же, подчинилась.

— Я тоже, — сказала мисс Ледрук. — Скорее я бы приветствовала ярмо, чем бежала от него. Мне случалось разбивать сердца, и я очень сожалею об этом. Это ужасно, если подумать!

— Да, конечно, — сказала мисс Сневелличчи. — А теперь, Лед, дорогая моя, мы, право же, должны заняться ею, не то мы опоздаем, непременно опоздаем.

Такие благочестивые соображения, а быть может, боязнь опоздать, поддерживали невесту во время церемонии одевания, после чего крепкий чай и бренди предлагались

попеременно как средства для укрепления ее ослабевших ног и с целью придать большую твердость ее поступи.

— Как вы себя чувствуете сейчас, милочка? — осведомилась мисс Сневелличчи.

— О Лиливик! — воскликнула невеста. — Если б вы знали, что я претерпеваю ради вас!

— Конечно, он знает, милочка, и никогда не забудет, — сказала мисс Ледрук.

— Вы думаете, он не забудет? — воскликнула мисс Питоукер, проявляя и в самом деле недюжинные способности к сценическому искусству. — О, вы думаете, он не забудет? Вы думаете, Лиливик будет помнить всегда... всегда, всегда, всегда?

Неизвестно, чем мог закончиться этот взрыв чувств, если бы мисс Сневелличчи не возвестила в тот момент о прибытии экипажа. Это известие столь поразило невесту, что она избавилась от всевозможных тревожных симптомов, проявлявшихся очень бурно, подбежала к зериалу и, оправив платье, спокойно заявила, что готова принести себя в жертву.

Затем ее почти внесли в карету и там «поддерживали» (как выразилась мисс Сневелличчи), непрестанно давая нюхать ароматические соли, глотать бренди и прибегая к другим легким возбуждающим средствам, пока не подъехали к двери директора, которую уже распахнули оба юных Крамльса, нацепившие белые кокарды и нарядившиеся в наилучшие и ослепительнейшие жилеты из театрального гардероба. Благодаря совместным усилиям этих молодых джентльменов и подружек и с помощью извозчика мисс Питоукер была, наконец, доставлена в состоянии крайнего изнеможения на второй этаж, где, едва успев увидеть молодого жениха, она упала и обморок с величайшей благопристойностью.

— Генриетта Питоукер! — воскликнул сборщик. — Мужайтесь, моя красавица.

Мисс Питоукер схватила сборщика за руку, но волнение лишило ее дара речи.

— Разве вид мой столь ужасен, Генриетта Питоукер? — сказал сборщик.

— О нет, нет, нет! — отозвалась невеста. — Но все мои друзья, милые друзья моей юности, покинуть их всех — это такой удар!

Выразив таким образом свою скорбь, мисс Питоукер принялась перечислять милых друзей своей юности и призывать тех из них, кто здесь присутствовал, чтобы они подошли и поцеловали ее. Покончив с этим, она вспомнила, что миссис Крамльс была для нее больше, чем мать, а затем, что мистер Крамльс был для нее больше, чем отец, а затем, что юные Крамльсы и мисс Нинетта Крамльс были для нее больше, чем братья и сестры. Эти разнообразные воспоминания, из которых каждое сопровождалось объятиями, заняли немало времени, и в церковь они должны были ехать очень быстро, опасаясь, как бы не опоздать.

Процессия состояла из двух одноконных экипажей; в первом ехали мисс Бравасса (четвертая подружка), миссис Крамльс, сборщик и мистер Фолер, которого выбрали шафером сборщика. Во втором ехали невеста, мисс Сневелличчи, мисс Ледрук и феномен. Наряды были великолепны. Подружки были сплошь покрыты искусственными цветами, а феномен оказался почти невидимым благодаря портативной зеленой беседке, в которую был заключен. Мисс Ледрук, отличавшаяся слегка романтическим складом ума, нацепила на грудь миниатюру какого-то неведомого офицера, которую не так давно купила по дешевке. Другие леди выставили напоказ драгоценные украшения из поддельных камней, почти не уступавших настоящим, а миссис Крамльс выступала с суровым и мрачным величием, которое вызвало восторг всех присутствующих.

Но вид мистера Крамльса, пожалуй, еще более соответствовал торжественности церемонии и поражал больше, чем вид других членов компании. Этот джентльмен, представлявший отца невесты, возымел счастливую и оригинальную мысль «приготовиться» к своей роли, и надел парик особого фасона, известный под названием «коричневый Георг»⁵², и вдобавок облачился в табачного цвета костюм прошлого века с серыми шелковыми чулками и башмаками с пряжками. Для наилучшего исполнения роли он решил быть глубоко потрясенным, и в результате, когда они вошли в церковь, рыдания любящего

родителя были столь душераздирающими, что церковный сторож предложил ему удалиться в ризницу и до начала церемонии выпить для успокоения стакан воды.

Шествие по проходу между скамьями было великолепно: невеста и четыре подружки, выступавшие тесной группой, что было заранее обдуманно и прорепетировано; сборщик в сопровождении своего шафера, подражавшего его поступи и жестам, к неописуемому удовольствию театральных друзей на хорах; мистер Крамльс с его немощной и расслабленной походкой; миссис Крамльс, подвигавшаяся театральной поступью (шаг вперед и остановка), — это было самое великолепное зрелище, какое когда-либо случалось наблюдать. С церемонией покончили очень быстро, и, когда присутствующие расписались в метрической книге (для этой цели мистер Крамльс, когда дошла до него очередь, старательно протер и надел огромные очки), все в прекрасном расположении духа вернулись домой завтракать. И здесь они встретили Николаса, дожидавшегося их возвращения.

— Ну-с, завтракать, завтракать! — сказал Крамльс, помогавший миссис Граден, которая занималась приготовлениями, оказавшимися более внушительными, чем могло быть приятно сборщику.

Вторичного приглашения не понадобилось. Гости сбились в кучу, по мере сил протискались к столу и приступили к делу; мисс Питоукер очень краснела, когда кто-нибудь на нее смотрел, и очень много ела, когда на нее никто не смотрел, а мистер Лиливик принялся за работу, как бы преисполнившись холодной решимости: раз уже все равно придется платить за все эти вкусные вещи, то он постарается оставить как можно меньше Крамльсам, которые будут доедать после.

— Очень быстро проделано, сэр, не правда ли? — осведомился мистер Фолер у сборщика, перегнувшись к нему через стол.

— Что быстро проделано, сэр? — спросил мистер Лиливик.

— Завязан узел, прикреплен к человеку жена, — отвечал мистер Фолер. Немного на это времени нужно, правда?

— Да, сэр, — краснея, отозвался мистер Лиливик. — На это не нужно много времени. А дальше что, сэр?

— О, ничего! — сказал актер. — И немного нужно времени человеку, чтобы повеситься, а? Ха-ха!

Мистер Лиливик положил нож и вилку и с негодующим изумлением обвел взглядом сидевших за столом.

— Чтобы повеситься? — повторил мистер Лиливик. Воцарилось глубокое молчание, ибо величественный вид мистера Лиливика был неописуем.

— Повеситься! — снова воскликнул мистер Лиливик. — Сделана ли здесь, в этом обществе, попытка провести параллель между женитьбой и повешеньем?

— Петля, знаете ли, — сказал мистер Фолер, слегка приуныв.

— Петля, сэр! — подхватил мистер Лиливик. — Кто осмеливается говорить мне о петле и одновременно о Генриетте Пи...

— Лиливик, — подсказал мистер Крамльс.

— ...и одновременно о Генриетте Лиливик? — спросил сборщик. — В этом доме, в присутствии мистера и миссис Крамльс, которые воспитали талантливых и добродетельных детей, дабы они были для них благословением и феноменами и мало ли чем еще, мы должны слушать разговоры о петлях?

— Фолер, вы меня изумляете, — сказал мистер Крамльс, считая, что приличие требует быть задетым этим намеком на него и на спутницу его жизни.

— За что вы на меня так накинулись? — спросил злополучный актер. — Что я такое сделал?

— Что сделали, сэр! — вскричал мистер Лиливик. — Нанесли удар, потрясающий основы общества!

— И наилучшие, нежнейшие чувства, — присовокупил Крамльс, снова входя в роль старика.

— И самые святые и почтенные общественные узы, — сказал сборщик. — Петля! Словно человек, вступающий в брак, был пойман, загнан в западню, схвачен за ногу, а не по собственному желанию пошел и не гордится своим поступком!

— Я вовсе не хотел сказать, что вас поймали, и загнали, и схватили за ногу, — ответил актер. — Я очень сожалею; больше я ничего не могу добавить.

— Вы и должны сожалеть, сэр! — заявил мистер Лиливик. — И я рад слышать, что для этого у вас еще хватает чувства.

Так как последней репликой спор, по-видимому, закончился, миссис Лиливик нашла, что это самый подходящий момент (внимание гостей уже не было отвлечено) залиться слезами и прибегнуть к помощи всех четырех подружек, каковая была оказана немедленно; впрочем, это вызвало некоторое смятение, так как комната была маленькая, а скатерть длинная, и при первом же движении целый отряд тарелок был сметен со стола. Однако, невзирая на это обстоятельство, миссис Лиливик отказывалась от утешений, пока воюющие стороны не поклянутся оставить спор без дальнейших последствий, что они и сделали, предварительно проявив в достаточной мере свою неохоту; и начиная с этого времени мистер Фолер сидел погруженный в мрачное молчание, довольствуясь тем, что щипал за ногу Николаса, когда кто-нибудь начинал говорить, и тем выражал свое презрение как к оратору, так и к чувствам, которые тот демонстрировал.

Было произнесено великое множество спичей: несколько спичей Николасом, и Крамльсом, и сборщиком, два — юными Крамльсами, приносившими благодарность за оказанную им честь, и один феноменом — от имени подружек, причем миссис Крамльс пролила слезы. Немало также и пели благодаря мисс Ледрук и мисс Бравасса и, весьма вероятно, пели бы еще больше, если бы кучер экипажа, ждавшего, чтобы отвезти счастливую чету туда, где она предполагала сесть на пароход, отходивший в Райд, не прислал грозного извещения, что, если они не выйдут немедленно, он не преминет потребовать восемнадцать пенсов сверх условленной платы.

Эта ужасная угроза положила конец веселью.

После весьма патетического прощания мистер Лиливик и новобрачная отбыли в Райд, где должны были провести два дня в полном уединении и куда с ними отправлялась девочка-феномен, избранная сопровождающей подружкой по особому настоянию мистера Лиливика, ибо пароходное общество, введенное в заблуждение ее ростом, согласилось взять за нее (в этом он удостоверился заранее) половинную плату.

Так как спектакля в тот вечер не было, мистер Крамльс заявил о своем намерении не отходить от стола, пока не будет покончено со спиртными напитками, но Николас, которому завтра предстояло в первый раз играть Ромео, ухитрился улизнуть благодаря временному замешательству, вызванному поведением миссис Граден, у которой неожиданно обнаружились резкие симптомы опьянения.

К бегству побудило его не только собственное желание, но и беспокойство за Смайка, который, получив роль аптекаря, до сей поры ровно ничего не мог вбить себе в голову, кроме общей идеи, что он очень голоден, каковую — быть может, по старой памяти — он усвоил с удивительной легкостью.

— Не знаю, что делать, Смайк, — сказал Николас, положив книгу. — Боюсь, что вы, бедняжка, не сможете это заучить.

— Боюсь, что так, — отозвался Смайк, покачивая головой. — Я думаю, если бы вы... но это причинит вам столько хлопот...

— Что такое? — спросил Николас. — Обо мне не беспокойтесь.

— Я думаю, — сказал Смайк, — если бы вы повторяли мне роль по маленьким кусочкам снова и снова, я мог бы ее запомнить с вашего голоса.

— Вы так думаете? — воскликнул Николас. — Прекрасная мысль! Ну-ка, посмотрим, кто раньше устанет. Во всяком случае, не я, Смайк, можете мне поверить. Ну-с, начнем. «Кто так громко зовет?»

— «Кто так громко зовет?» — сказал Смайк.

— «Кто так громко зовет?» — повторил Николас.

— «Кто так громко зовет?» — закричал Смайк.

Так продолжали они снова и снова спрашивать друг друга: «Кто так громко зовет?», а когда Смайк заучил это наизусть, Николас перешел к следующей фразе, а потом сразу к двум, а потом к трем, и так далее, пока около полуночи Смайк не обнаружил, к невыразимой радости, что он и в самом деле начинает припоминать кое-что из роли.

Рано утром они снова принялись за работу, и Смайк, обретя уверенность благодаря сделанным им успехам, усваивал быстрее и веселее. Когда он начал неплохо произносить слова, Николас показал ему, как он должен выходить, держась растопыренными пальцами за живот, и потирать его время от времени, согласно обычному приему, следуя которому актеры на сцене всегда дают понять, что им хочется есть. После утренней репетиции они снова принялись за работу, прервав ее только для того, чтобы наскоро пообедать, и трудились до самого вечера, пока не настало время отправляться в театр.

Никогда еще не бывало у учителя более старательного, смиренного, послушного ученика. Никогда еще не бывало у ученика более терпеливого, неугомонного, заботливого, доброжелательного учителя.

Как только они оделись, Николас возобновил свои уроки, продолжая их в перерывах между выходами на сцену. Успех был полный. Ромео заслужил дружные аплодисменты и величайшее одобрение, а Смайк был единодушно провозглашен как зрителями, так и актерами чудом и первым среди аптекарей.

Глава XXVI,

чреватая опасностями, угрожающими спокойствию духа мисс Никльби

Место действия — прекрасные апартаменты на Риджент-стрит; время — три часа пополудни для унылых и корпящих над работой и первый утренний час для веселых и жизнерадостных; действующие лица — лорд Фредерик Верисофт и его друг сэр Мальбери Хоук.

Эти два отменных джентльмена лениво развалились на двух диванах, разделенные столом, на котором был сервирован обильный завтрак, оставшийся, однако, нетронутым. Газеты были разбросаны по комнате, но и они, подобно трапезе, оставались незамеченными и в пренебрежении. Однако отнюдь не беседа мешала искать развлечения в чтении газет, ибо ни единым словом не обменялись эти двое и не произносили ни звука, за исключением тех случаев, когда один из них, начиная метаться в поисках более удобного местечка для раскатывавшейся от боли головы, издавал нетерпеливое восклицание и, казалось, заражал своим беспокойством другого.

Уже одни эти признаки в достаточной мере подтверждали догадку о размерах дебоша прошедшей ночи, даже если бы не было других указаний на то, в каких увеселениях прошла эта ночь. Два грязных бильярдных шара, две продавленные шляпы, бутылка из-под шампанского с обернутой вокруг горлышка запачканной перчаткой, чтобы крепче можно было сжимать ее в руке в качестве наступательного оружия, сломанная трость, картонная коробка без крышки, пустой кошелек, разорванная цепочка от часов, горсть серебра, перемешанного с сигарными окурками, сигарный пепел — все эти и многие другие следы разгула ясно свидетельствовали о том, какой характер носили прошлой ночью проказы джентльменов.

Первым заговорил лорд Верисофт. Спустив ноги в туфлях на пол и протяжно зевнув, он с трудом принял сидячее положение и обратил тусклый, томный взгляд на своего друга, которого окликнул сонным голосом.

— Ну? — отозвался сэр Мальбери, повернувшись.

— Мы весь де-ень будем здесь лежать? — спросил лорд.

— Вряд ли мы годимся на что-нибудь другое, — ответил сэр Мальбери, — во всяком случае, в ближайшее время. Сегодня утром во мне нет ни искры жизни.

— Жизни! — воскликнул лорд Фредерик. — Я чувствую себя так, как будто ничего не может быть уютнее и приятнее смерти.

— Так почему же вы не умираете? — сказал сэр Мальбери.

Задав такой вопрос, он отвернулся и, казалось, сделал попытку заснуть.

Его неунывающий друг и ученик придвинул стул к столу и попробовал поест, но, убедившись, что это невозможно, поплелся к окну, затем начал слоняться по комнате, приложив руку к пылающему лбу, и, наконец, снова бросился на диван и снова разбудил своего друга.

— В чем дело, черт побери? — простонал сэр Мальбери, садясь на свое ложе.

Хотя сэр Мальбери произнес это довольно недоброжелательно, однако он, по-видимому, не считал себя вправе хранить молчание. Несколько раз потянувшись и заявив с содроганием, что «дьявольски холодно», он приступил к эксперименту за столом, накрытым для завтрака; здесь он преуспел больше, чем его менее выносливый ученик, а потому за этим столом и остался.

— А не вернуться ли нам, — протянул сэр Мальбери, помедлив с куском, наткнутым на вилку, — а не вернуться ли нам, к малютке Никльби, а?

— К какой малютке Никльби, — к ростовщику или к девице? — спросил лорд Фредерик.

— Вы меня поняли, я вижу, — отозвался сэр Мальбери. — Разумеется, к девице.

— Вы мне обещали отыскать ее, — сказал лорд Фредерик.

— Совершенно верно, — подтвердил его друг, — но с той поры я передумал. В делах вы мне не доверяете — отыскивайте ее сами.

— Не-ет, — возразил тот.

— А я говорю — да! — заявил друг. — Вы ее отыщете сами. Не думайте, что я хочу сказать — когда вам это удастся! Я не хуже вас знаю, что без меня вам ее в глаза не видать. Да. Я говорю, что вы можете ее отыскать — *можете*, — а я вам укажу путь.

— Ах, будь я проклят, если вы не истинный, дьявольски честный, несравненный друг! — сказал молодой лорд, на которого эта речь произвела весьма живительное действие.

— Я вам скажу — *как*, — продолжал сэр Мальбери. — На том обеде она была приманкой для вас.

— Не может быть! — вскричал молодой лорд. — Какой чер...

— Приманкой для вас, — повторил его друг. — Старый Никльби сам мне это сказал.

— Что за славный малый! — воскликнул лорд Фредерик. — Благородный мошенник!

— Да, — сказал сэр Мальбери, — он знал, что она миленькое создание...

— Миленькое! — перебил молодой лорд. — Клянусь душой, Хоук, она безупречная красавица... э... картинка, статуя... э... клянусь душой, это так!

— Что ж, — отозвался сэр Мальбери, пожимая плечами и подчеркивая свое равнодушие, подлинное или притворное, — это дело вкуса. Если у нас с вами вкусы несходные, тем лучше.

— Проклятье! — воскликнул лорд. — В тот вечер вы от нее не отставали. Я едва мог сказать слово.

— Для одного раза она совсем недурна, совсем недурна, — сказал сэр Мальбери, — но не стоит того, чтобы еще раз стараться ей понравиться. Если вы желаете всерьез приударить за племянницей, скажите дядюшке, что вы хотите знать, где она живет, и как она живет, и с кем, иначе вы отказываетесь быть его клиентом. Он не замедлит вам сообщить.

— Почему же вы мне этого раньше не сказали, вместо того чтобы заставлять меня целую ве-ечность пылать, чахнуть, влачить жалкое существование? — спросил лорд Фредерик.

— Во-первых, я этого не знал, — небрежно ответил сэр Мальбери. — а во-вторых, я не думал, что для вас это так важно.

Истина, однако, заключалась в том, что за время, истекшее со дня обеда у Ральфа Никльби, сэр Мальберп Хоук тайком использовал все имевшиеся в его распоряжении средства, чтобы обнаружить, откуда столь внезапно появилась Кэт и куда она скрылась. Однако без помощи Ральфа, с которым он не поддерживал никаких отношений, после того как они столь недружелюбно расстались тогда, все его усилия были тщетны, а потому он принял решение сообщить молодому лорду о признании, которое выудил у достойного ростовщика. К сему побуждали его различные соображения; среди них отнюдь не последнее место занимало намерение узнать то, что могло стать известно слабохарактерному молодому человеку, а желание встретить снова племянницу ростовщика и прибегнуть к любым хитростям, чтобы сломить ее гордость и отомстить за презрение, преобладало над всеми его помыслами. Это был хитроумный план, который не мог не соответствовать его интересам с любой точки зрения, ибо даже то обстоятельство, что он вырвал у Ральфа Никльби признание, с какой целью тот ввел свою племянницу в такое общество, а также его полная личная незаинтересованность, раз он столь откровенно сообщил об этом своему другу, должны были показать его в самом лучшем свете и чрезвычайно облегчить переход монет (и без того частый и быстрый) из кармана лорда Фредерика Верисофта в карман сэра Мальбери Хоука.

Так рассуждал сэр Мальбери, и, руководствуясь этими соображениями, он и его друг вскоре отправились к Ральфу Никльби, чтобы осуществить план, задуманный сэром Мальбери и якобы благоприятствующий целям его друга, но в действительности способствующий достижению его собственных целей.

Ральфа они застали дома, и одного. Когда он ввел их в гостиную, ему как будто пришла на память сцена, здесь происшедшая, потому что он бросил на сэра Мальбери странный взгляд, на который тот никак не ответил, если не считать небрежной улыбки.

Они приступили к короткому собеседованию о денежных делах, и едва с этими делами было покончено, как одураченный лорд (следуя указаниям своего друга) не без замешательства попросил разрешения поговорить наедине с Ральфом.

— Наедине... вот как!.. — воскликнул сэр Мальбери, притворяясь изумленным. — О, превосходно! Я пойду в соседнюю комнату. Но только не заставляйте меня долго ждать.

С этими словами сэр Мальберн подхватил свою шляпу и, напевая какую-то песенку, скрылся за дверью между двумя гостиными и закрыл ее за собой.

— Ну-с, милорд, в чем дело? — спросил Ральф.

— Никльби, — сказал его клиент, растягиваясь на диване, на котором он сидел, чтобы приблизить свои губы к уху старика, — какое прелестное создание ваша племянница!

— Неужели, милорд? — отозвался Ральф. — Может быть, может быть. Я себе не забиваю головы такими вещами.

— Вы знаете, что она чертовски хорошенькая девушка, — сказал клиент. — Вы это должны знать, Никльби. Полно, не отрицайте!

— Да, ее как будто считают хорошенькой, — ответил Ральф. — Пожалуй, я это и сам знаю, а если бы я и не знал, то вы — знаток в таких вещах, и ваш вкус, милорд... всегда бесспорно хорош.

Никто, кроме молодого человека, к которому были обращены эти слова, не остался бы глух к тому ироническому тону, каким они были произнесены, и не остался бы слеп при виде презрительного взгляда, их сопровождающего. Но лорд Фредерик Верисофт был и глух и слеп и принял их за комплимент.

— Быть может, вы чуточку правы и чуточку не правы — и то и другое, Никльби. Я хочу знать, где живет эта красotka, чтобы еще раз глянуть на нее хоть одним глазком, Никльби.

— В самом деле... — начал обычным своим тоном Ральф.

— Не говорите так громко, — воскликнул лорд, превосходно повторяя преподанный ему урок. — Я не хочу, чтобы Хоук слышал.

— Вы знаете, что он ваш соперник? — спросил Ральф, зорко посмотрев на него.

— Всегда он мой соперник, черт его побери, — сказал клиент, — а сейчас я хочу его обскакать. Ха-ха-ха! Как он взбесится, Никльби, оттого, что мы здесь разговариваем без него! Одно только слово, Никльби: где она живет? Вы только скажите мне, где она живет, Никльби.

«Идет на приманку, — подумал Ральф, — идет на приманку».

— Ну, Никльби, ну! — настаивал клиент. — Где она живет?

— Право же, милорд, — сказал Ральф, медлительно потирая руки, — я должен подумать, прежде чем ответить.

— К чему. Никльби? Вам вовсе не нужно думать. Где?

— Ничего не получится, если вы даже узнаете, — ответил Ральф. — Ее воспитывали добродетельной и порядочной девушкой. Конечно, она хорошенькая, бедная, незащищенная! Бедняжка, бедняжка!

Ральф сделал краткий обзор положения Кэт, как будто эти мысли промелькнули у него в голове и он не имел намерения высказывать их вслух, но проницательный лукавый взгляд, устремленный на собеседника во время этой речи, обличал его в гнусном притворстве.

— Да говорю же вам, что я только увидеть ее хочу! — воскликнул его клиент. — Может же человек смотреть на хорошенькую женщину, не причиняя ей никакого вреда? А? Ну, так где же она живет? Вы заработали на мне состояние, Никльби, и, клянусь душой, никто не затащит меня к кому-нибудь другому, если вы только ответите мне.

— Раз вы мне это обещаете, милорд, — сказал Ральф с притворной неохотой, — и так как я очень хочу оказать вам услугу, а никакого вреда от этого не будет — никакого вреда, — то я вам скажу. Но лучше сохраните это в тайне, милорд, в строжайшей тайне!

При этих словах Ральф указал на смежную комнату и выразительно мотнул головой.

Молодой лорд притворился, будто и сам признает необходимость такой предосторожности, и Ральф сообщил адрес и занятие своей племянницы, заметив, что, судя по слухам, дошедшим до него о семействе, где служит Кэт, оно чрезвычайно дорожит знакомствами со знатными людьми и что лорд несомненно может представиться без всяких затруднений, буде он того пожелает.

— Если единственным вашим намерением является увидеть ее еще раз, сказал Ральф, — вы можете таким путем осуществить его в любое время.

Лорд Фредерик ответил на этот совет, много раз пожав грубую, мозолистую руку Ральфа, и, прошептав, что лучше им сейчас закончить разговор, позвал сэра Мальбери.

— Я думал, вы заснули. — сказал сэр Мальбери, появляясь с недовольным видом.

— Простите, что задержал вас, — ответил простак, — но Никльби был так удивительно за-абавен — ну просто не оторвешься.

— О нет, это не милорд, — сказал Ральф. — Вы знаете, какой остроумный, веселый, элегантный, превосходный человек лорд Фредерик. Осторожнее, милорд, ступенька... Сэр Мальбери, пожалуйста, посторонитесь.

Учтиво разговаривая, низко кланяясь и усмехаясь. Ральф заботливо провожал своих посетителей вниз по лестнице и, если не считать едва заметного подергивания уголков его рта, не давал ровно никакого ответа на восхищенный взгляд, которым сэр Мальбери Хоук поздравлял его с тем, что он такой законченный и ловкий негодяй.

За несколько секунд до этого зазвонил колокольчик. и на звонок вышел Ньюмен Ногс, как раз в тот момент, как они показались в холле. При обычном ходе дел Ньюмен либо впустил бы вновь прибывшего молча, либо предложил постоять в сторонке, пока джентльмены выйдут, но, едва увидев, кто пришел, он, очевидно по каким-то своим соображениям, дерзко отступил от правил, установленных в доме Ральфа для деловых часов, и, взглянув на почтенное трио, к нему приближающееся, провозгласил громким и звучным голосом:

— Миссис Никльби.

— Миссис Никльби? — вскричал сэр Мальбери Хоук. а приятель его повернулся и уставился ему прямо в лицо.

Да, действительно это была та самая благонамеренная леди, которая, получив предложение сдать незанятый дом в Сити — предложение, адресованное к квартирохозяину, — явилась впопыхах, чтобы незамедлительно сообщить о нем мистеру Никльби.

— Эту особу вы не знаете, — сказал Ральф. — Войдите в контору, моя... моя... дорогая. Я сейчас приду к нам.

— Эту особу я не знаю! — вскричал сэр Мальбери Хоук, подходя к изумленной леди. — Да разве это не миссис Никльби... мать мисс Никльби... этого очаровательного создания, которое я имел счастье встретить в этом доме, когда последний раз здесь обедал? А впрочем, нет, сказал сэр Мальбери, запнувшись, — нет, быть того не может! Это те же черты лица, то же неопишное выражение... Но нет! Эта леди слишком моложава.

— Мне кажется, вы можете сказать этому джентльмену, деверь, если ему интересно знать, — промолвила миссис Никльби, отвечая на комплимент грациозным поклоном, — что Кэт Никльби — моя дочь.

— Ее дочь, милорд! — вскричал сэр Мальбери, поворачиваясь к своему другу. — Дочь этой леди, милорд!

«Милорд! — мысленно произнесла миссис Никльби. — Ну, никогда бы я не подумала...»

— Итак, милорд, — сказал сэр Мальбери, — это та самая леди, чьему удачному замужеству мы обязаны таким счастьем. Эта леди — мать прелестной мисс Никльби. Вы замечаете изумительное сходство, милорд? Никльби, представьте нас.

Ральф это исполнил как бы с отчаянием.

— Клянусь моей душой, это превосходнейший случай! — сказал лорд Фредерик, выдвигаясь вперед. — Как вы поживаете?

Миссис Никльби была слишком взбудоражена этими необычайно дружескими приветствиями и собственными сожалениями по поводу того, что не надела другой шляпки, чтобы дать немедленно какой-нибудь ответ; поэтому она только кланялась и улыбалась и казалась очень возбужденной.

— А... а как поживает мисс Никльби? — осведомился лорд Фредерик. Надеюсь, хорошо?

— Очень вам признательна, милорд, она совсем здорова, — ответила миссис Никльби, оправившись. — Совсем здорова. Несколько дней ей нездоровилось, после того как она здесь обедала, и я склонна думать, что она схватила простуду в наемном кэбе, когда возвращалась домой. Наемные кэбы, милорд, такая неприятная штука, что лучше всего ходить пешком, потому что, хотя кучера наемного кэба, по-моему, и следовало бы осуждать на вечную каторгу за разбитое стекло, но все-таки они так неосторожны, что у них почти у всех разбиты стекла. Как-то я полтора месяца ходила с распухшим лицом, милорд, проехавшись в наемном кэбе... кажется, это был наемный кэб, — подумав, сказала миссис Никльби, — хотя я не совсем уверена, не была ли это двухместная карета. Во всяком случае, знаю, что она была темно-зеленая, с очень длинным номером, начинавшимся с нуля и кончавшимся девятью... нет, начинавшимся с девяти и кончавшимся нулем, и, разумеется, в почтовом ведомстве сразу узнали бы, наемный это кэб или двухместная карета, если бы навести там справки... Как бы то ни было, стекло в карете было разбито, а я шесть недель ходила с распухшим лицом. Кажется, у этой кареты, как потом обнаружилось, верх был откинут, а мы бы этого даже никогда и не узнали, если бы с нас не взяли по лишнему шиллингу и час за то, что он откинут. Потому что есть, оказывается, такой закон, или тогда был, и, на мой взгляд, самый возмутительный закон; я в этих делах не понимаю, но я бы сказала, что хлебные законы⁵³ — ничто по сравнению с этим постановлением парламента!

Порядком задохнувшись, миссис Никльби остановилась так же внезапно, как начала, и повторила, что Кэт совсем здорова.

— Право же, — продолжала она, — я думаю, Кэт никогда не чувствовала себя лучше с той поры, как выздоровела после коклюша, скарлатины и кори, всего сразу, и это сущая правда.

— Это письмо мне? — проворчал Ральф, указывая на маленький пакет, который миссис Никльби держала в руке.

— Вам, деверь, — ответила миссис Никльби, — и я шла сюда всю дорогу пешком, чтобы передать его вам.

— Всю дорогу! — воскликнул сэр Мальбери, пользуясь случаем узнать, откуда пришла миссис Никльби. — Как дьявольски далеко! Какое это, на ваш взгляд, расстояние?

— Какое на мой взгляд расстояние? — повторила миссис Никльби. — Дайте прикинуть. От этой двери до Олд-Бейли ровно миля.

— Нет, нет, меньше, — возразил сэр Мальбери.

— О, право же, миля! — сказала миссис Никльби. — Пусть скажет его лордство!

— Я бы решительно сказал, что миля будет, — с торжественным видом заметил лорд Фредерик.

— Несомненно. Ни на ярд меньше, — сказала миссис Никльби. — Пройти всю Ньюгет-стрит, весь Чипсайд, всю Ломберд-стрит, по Грейсчерч-стрит и по Темз-стрит до самой верфи Спигуифин. О, это не меньше мили!

— Да, пожалуй, я бы сказал, что миля будет, — отозвался сэр Мальбери. — Но не намерены же вы и весь обратный путь пройти пешком?

— О нет! — ответила миссис Никльби. — Обратно я поеду в омнибусе. Я не ездила в омнибусах, деверь, когда был жив мой бедный дорогой Николас. Но теперь, знаете ли...

— Да, да, — нетерпеливо перебил Ральф, — и лучше бы вам вернуться засветло.

— Благодарю вас, деверь, я так и сделаю, — ответила миссис Никльби. Пожалуй, я сейчас распрощаюсь.

— Не хотите посидеть... отдохнуть? — спросил Ральф, который редко предлагал угощение, если ему не было от того никакой выгоды.

— Ах, боже мой, нет! — сказала миссис Никльби, бросив взгляд на часы.

— Лорд Фредерик, — заметил сэр Мальбери, — нам по дороге с миссис Никльби. Не усадим ли мы ее в омнибус?

— Разумеется.

— О, право же, я не могу на это согласиться! — сказала миссис Никльби.

Но сэр Мальбери Хоук и лорд Фредерик в учтивости своей были настойчивы и, расставшись с Ральфом, который, казалось, считал, и довольно разумно, что будет не так смешон в качестве простого зрителя, чем в роли участника всего происходящего, они покинули дом, шагая по правую и по левую руку миссис Никльби. Эта добрая леди была в полном восторге как от внимания, оказанного ей двумя титулованными джентльменами, так и от уверенности в том, что теперь Кэт может сделать выбор по крайней мере между двумя солидными состояниями и двумя безукоризненными супругами.

Пока ее уносил неудержимый поток мыслей, связанных с великолепным будущим ее дочери, сэр Мальбери Хоук и его друг переглядывались поверх ее шляпки — той самой шляпки, которая, к столь большому сожалению бедной леди, не осталась дома, — и с великим восторгом, но в то же время с не меньшим почтением, распространялись о многочисленных совершенствах мисс Никльби.

— Какой радостью, каким утешением, каким счастьем должно быть для вас это милое создание, — сказал сэр Мальбери, придавая своему голосу интонации, указывающие на самые теплые чувства.

— Истинная правда, сэр, — отозвалась миссис Никльби. — Она — самое кроткое, самое доброе создание, и как умна!

— Она и выглядит умницей, — сказал лорд Фредерик Верисофт с видом знатока по части ума.

— Уверю вас, она такова и есть, милорд, — заявила миссис Никльби. Когда она

училась в школе в Девоншире, она была, по всеобщему признанию, самой умной девочкой, без всяких исключений, а там было множество очень умных, и это сущая правда — двадцать пять молодых леди, пятьдесят гиней в год, не считая дополнительной платы, а обе мисс Даудльс — в высшей степени образованные, элегантные, очаровательные создания... Ах, боже мой! Никогда не забуду, какое удовольствие доставляла она мне и своему бедному дорогому папе, пока училась в этой школе, никогда... Такое чудесное письмо каждые полгода, сообщавшее нам, что она первая ученица во всем заведении и сделала больше успехов, чем кто-нибудь другой! Я и теперь волнуюсь, когда вспоминаю об этом! Девочки все письма писали сами, — добавила миссис Никльби, — а учитель чистописания подправлял их потом с помощью лупы и серебряного пера; по крайней мере я думаю, что они писали их сами, хотя Кэт никогда не была в этом вполне уверена, так как не могла узнать потом своего почерка, но во всяком случае я знаю, что у них был образец, с которого они все списывали, и, конечно, это было очень утешительно... очень утешительно...

Подобными воспоминаниями миссис Никльби скрашивала однообразный путь, пока они не дошли до остановки омнибуса, откуда величайшая учтивость новых ее друзей не позволила им уйти, пока омнибус не отъехал, после чего они сняли шляпы, «сняли их совсем», — как торжественно уверяла миссис Никльби впоследствии своих слушателей, — и целовали кончики своих пальцев, затянутых в лайковые перчатки соломенного цвета, пока не скрылись из виду.

Миссис Никльби откинулась на спинку сидения в дальнем углу экипажа и, закрыв глаза, предалась приятнейшим размышлениям. Кэт не сказала ни слова о встрече с этими джентльменами. «Это доказывает, — подумала миссис Никльби, что она весьма расположена в пользу одного из них». Тогда возник вопрос, который это мог быть. Лорд был моложе и титул его, разумеется, выше, однако Кэт не такая девушка, чтобы на нее могли повлиять подобные соображения. «Я никогда не буду противиться ее склонностям, — сказала себе миссис Никльби, но, честное слово, мне кажется, что никакого сравнения быть не может между его лордством и сэром Мальбери. Сэр Мальбери такой внимательный джентльмен, такие прекрасные манеры, такая приятная внешность... Многое говорит за него. Я надеюсь, что это сэр Мальбери; мне кажется, это должен быть сэр Мальбери».

И мысли ее обратились к ее давним прорицаниям и к тем временам, когда она столько раз говорила, что Кэт, не имея никакого состояния, сделает лучшую партию, чем дочери других людей, располагающие тысячами. И когда она, со всею живостью материнского воображения, представила себе красоту и грацию бедной девушки, которая так бодро пробивала себе дорогу в этой новой жизни труда и испытаний, сердце ее переполнилось и по лицу заструились слезы.

Тем временем Ральф прохаживался из угла в угол в своем маленьком заднем кабинете, обеспокоенный только что происшедшим. Утверждать, что Ральф любил кого-нибудь или был расположен — в самом обычном смысле этого слова — к кому-нибудь, было бы нелепейшей выдумкой. Однако время от времени к нему каким-то образом подкрадывалась мысль о племяннице, окрашенная сочувствием и жалостью. Прорываясь сквозь густое облако неприязни или равнодушия, чернившее в его глазах мужчин и женщин, появлялся теперь слабый проблеск света — очень бледный и чахлый луч, не больше, но все-таки появлялся, — и бедная девушка предстала перед ним в образе более прекрасном и чистом, чем все человеческие образы, какие он до сих пор видел.

«Лучше бы я этого не делал, — подумал Ральф. — Однако это удержит мальчишку при мне, пока на нем можно нажить. Продать девушку... толкнуть ее на путь соблазна, оскорблений, непристойных речей... Но зато уже сейчас почти две тысячи фунтов прибыли от него. Ба! Матери-свахи проделывают то же самое каждый день».

Он сел и принялся на пальцах подсчитывать шансы за и против.

«Не направь я их сегодня на след, — подумал Ральф, — глупая женщина все равно бы это сделала. Ну что ж? Если ее дочь останется верна себе, — а так и должно быть, судя по тому, что я видел, — то какой от этого может быть ущерб? Немножко досады, немножко

унижения, несколько слезинок».

— Да! — вслух сказал Ральф, запирая свой несгораемый шкаф. — На такую жертву она должна пойти. На такую жертву она должна пойти.

Глава XXVII,

Миссис Никльби знакомится с мистерами Пайком и Плаком, чье расположение и интерес к ней превосходят все границы

Давно не чувствовала себя миссис Никльби такой гордой и важной, чем в те часы, когда, вернувшись, отдалась приятным видениям, которые сопровождали ее на обратном пути. Леди Мальбери Хоук — эта идея преобладала. Леди Мальбери Хоук! В прошлый вторник в церкви Сент Джордж епископ Лендафский сочетал браком сэра Мальбери Хоука из Мальбери-Касл, Норт-Уэльс, с Кэтрин, единственной дочерью покойного Николаса Никльби, эсквайра, из Девоншпра.

— Честное слово, — это звучит очень неплохо! — воскликнула миссис Никльби.

Покончив, к полному своему душевному удовлетворению, с церемонией и сопутствующими ей празднествами, сангвиническая мамаша принялась рисовать в своем воображении длинную вереницу почестей и отличий, которые не преминут сопровождать Кэт в этой новой и блестящей сфере. Конечно, она будет представлена ко двору. В день ее рождения, девятнадцатого июля («ночью, десять минут четвертого, — подумала в скобках миссис Никльби, — помню, я, спросила, который час»), сэр Мальбери устроит пиршество для всех своих арендаторов и подарит им три с половиной процента от их последней полугодовой арендной платы, что будет полностью отражено в газетных столбцах, посвященных фешенебельному обществу, к безграничному удовольствию и восхищению всех читателей. И портрет Кэт появится по меньшей мере в полудюжине альманахов, а на обратной стороне будет напечатано мелким шрифтом: «Стихи, сочиненные при созерцании портрета леди Мальбери Хоук сэром Дингльби Дэбером». Быть может, в одном каком-нибудь ежегоднике, более объемистом, будет помещен даже портрет матери леди Мальбери Хоук и стихи отца сэра Дингльби Дэбера. Случались вещи и более невероятные. Помещались портреты и менее интересные. Когда эта мысль мелькнула в голове славной леди, лицо ее, помимо ее воли, расплылось в глупой улыбке и одновременно стало сонным, каковое выражение, общее всем подобным портретам, быть может, и является единственной причиной, почему они всегда столь очаровательны и приятны.

Такими шедеврами воздушной архитектуры увлекалась миссис Никльби весь вечер после случайного знакомства с титулованными друзьями Ральфа, и сновидения, не менее пророческие и столь же многообещающие, преследовали ее и ту ночь. На следующий день она готовила свой скромный обед, по-прежнему поглощенная все теми же мечтами, — пожалуй, слегка потускневшими после сна и при дневном свете, — когда девушка, которая ей прислуживала, отчасти чтобы составить компанию, а отчасти чтобы помочь в домашних делах, с необычным волнением ворвалась в комнату и доложила, что в коридоре ждут два джентльмена, которые просят разрешения подняться к ней.

— Господи помилуй! — воскликнула миссис Никльби, поспешно приводя в порядок волосную накладку и чепец. — А что, если это... Ах, боже мой, стоят все время в коридоре!.. Почему же вы, глупая, не попросите их подняться?

Пока девушка ходила исполнять поручение, миссис Никльби второпях сунула в буфет все, что напоминало о еде и питье. Едва она с этим покончила и уселась с таким спокойным видом, какой только могла принять, как явились два джентльмена, оба совершенно ей незнакомые.

— Как *поживаете* ? — сказал один джентльмен, делая сильное ударение на последнем слове.

— *Как поживаете?* — сказал другой джентльмен, перемещая ударение, словно бы с целью разнообразить приветствие.

Миссис Никльби сделала реверанс и улыбнулась и снова сделала реверанс и заметила, потирая при этом руки, что, право же, она... не имеет... чести...

— ...знать нас, — закончил первый джентльмен. — Потеряли от этого мы, миссис Никльби. Потеряли от этого мы, не так ли, Пайк?

— Мы, Плак, — ответил второй джентльмен.

— Мне кажется, мы очень часто об этом сожалели, Пайк? — сказал первый джентльмен.

— Очень часто, Плак, — ответил второй.

— Но теперь, — сказал первый джентльмен, — теперь мы вкушаем счастье, по которому вздыхали и томились. Вздыхали и томились мы по этому счастью, Пайк, или нет?

— Вы же знаете, что вздыхали и томились, Плак, — укоризненно сказал Пайк.

— Вы слышите, сударыня? — осведомился мистер Плак, оглядываясь. — Вы слышите неопровержимое свидетельство моего друга Пайка... Кстати, это напомнило мне... формальности, формальности... ими не следует пренебрегать в цивилизованном обществе. Пайк — миссис Никльби.

Мистер Пайк прижал руку к сердцу и низко поклонился.

— Представлюсь ли я с соблюдением таких же формальностей, — сказал мистер Плак, — сам ли я скажу, что моя фамилия Плак, или попрошу моего друга Пайка (который, будучи теперь надлежащим образом представлен, вправе исполнить эту обязанность) объявить за меня, миссис Никльби, что моя фамилия Плак, или я буду добиваться знакомства с вами на том простом основании, что питаю глубокий интерес к вашему благополучию, или же я представлюсь вам как друг сэра Мальбери Хоука — об этих возможностях и соображениях, миссис Никльби, я предлагаю судить вам.

— Для меня друг сэра Мальбери Хоука не нуждается в лучшей рекомендации, — милостиво заявила миссис Никльби.

— Восхитительно слышать от вас эти слова! — сказал мистер Плак, близко придвигая стул к миссис Никльби и усаживаясь. — Утешительно знать, что вы считаете моего превосходного друга сэра Мальбери заслуживающим столь большого уважения. Одно слово по секрету, миссис Никльби: когда сэр Мальбери об этом узнает, он будет счастлив — повторяю, миссис Никльби, счастлив. Пайк, садитесь.

— *Мое* доброе мнение, — сказала миссис Никльби, и бедная леди ликовала при мысли о том, как она удивительно хитра, — мое доброе мнение может иметь очень мало значения для такого джентльмена, как сэр Мальбери.

— Мало значения! — воскликнул мистер Плак. — Пайк, какое значение имеет для нашего друга сэра Мальбери доброе мнение миссис Никльби?

— Какое значение? — повторил Пайк.

— О! — сказал Плак. — Великое значение, не так ли?

— Величайшее значение, — ответил Пайк.

— Миссис Никльби не может не знать, — сказал мистер Плак, — какое огромное впечатление произвела эта прелестная девушка...

— Плак, — сказал его друг, — довольно!

— Пайк прав, — пробормотал после короткой паузы мистер Плак. — Об этом я не должен был упоминать. Пайк совершенно прав. Благодарю вас, Пайк.

«Ну, право же, — подумала миссис Никльби, — такой деликатности я никогда еще не встречала!»

В течение нескольких минут мистер Плак притворялся, будто находится в крайнем замешательстве, после чего возобновил разговор, умоляя миссис Никльби не обращать ни малейшего внимания на его опрометчивые слова — почитать его неосторожным, несдержанным, безрассудным. Единственное, о чем он просит, — чтобы она не сомневалась в наилучших его намерениях.

— Но когда, — сказал мистер Плак, — когда я вижу, с одной стороны, такую прелесть и красоту, а с другой — такую пылкость и преданность, я... Простите, Пайк, у меня не было намерения возвращаться к этой теме. Поговорите о чем-нибудь другом, Пайк.

— Мы обещали сэру Мальбери и лорду Фредерику, — сказал Пайк, — зайти сегодня осведомиться, не простудились ли вы вчера вечером.

— Вчера вечером? Нисколько, сэр, — ответила миссис Никльби. — Передайте мою благодарность его лордству и сэру Мальбери за то, что они оказали мне честь и справляются об этом. Нисколько не простудилась — и это тем более странно, что в сущности я очень подвержена простуде, очень подвержена. Однажды я схватила простуду, — сказала миссис Никльби, — кажется, это было в тысяча восемьсот семнадцатом году... позвольте-ка, четыре и пять — девять... и — да, в тысяча восемьсот семнадцатом! — и я думала, что никогда от нее не избавлюсь. Совершенно серьезно, я думала, что никогда от нее не избавлюсь. В конце концов меня излечило одно средство, о котором, не знаю, приходилось ли вам когда-нибудь слышать, мистер Плак. Нужно взять галлон воды, такой горячей, как только можно вытерпеть, фунт соли и лучших отрубей на шесть пенсов и каждый вечер, перед самым сном, держать двадцать минут в этой воде голову, то есть я хотела сказать не голову, а ноги. Это изумительное средство, изумительное! Помню, в первый раз я прибегла к нему на второй день после рождества, а к середине апреля простуда прошла. Если подумать, это кажется просто чудом, потому что она у меня была с начала сентября.

— Ну, что за напасть! — сказал мистер Пайк.

— Поистине ужасно! — воскликнул мистер Плак.

— Но о ней стоило услышать хотя бы только для того, чтобы узнать, что миссис Никльби выздоровела. Не так ли, Плак? — воскликнул мистер Пайк.

— Именно это обстоятельство и придает делу живейший интерес, — отозвался мистер Плак.

— Но позвольте, миссис Никльби, — сказал Пайк, как бы внезапно вспомнив, — несмотря на эту приятную беседу, мы не должны забывать о нашей миссии. Мы явились с поручением.

— С поручением! — воскликнула эта славная леди, мысленному взору которой тотчас предстало в ярких красках брачное предложение, адресованное Кэт.

— От сэра Мальбери, — ответил Пайк. — Должно быть, вы здесь очень скучаете?

— Признаюсь, бывает скучновато, — сказала миссис Никльби.

— Мы передаем приветы от сэра Мальбери Хоука и тысячу просьб присутствовать сегодня вечером в театре, в отдельной ложе, — сказал мистер Плак.

— Ах, боже мой! — сказала миссис Никльби. — Я никогда не выхожу, никогда.

— Тем больше оснований выйти сегодня, дорогая миссис Никльби, — возразил мистер Плак. — Пайк, умоляйте миссис Никльби.

— О, прошу вас! — сказал Пайк.

— Вы должны! — настаивал Плак.

— Вы очень любезны, — нерешительно сказала миссис Никльби, — но...

— В данном случае не может быть никаких «но», дорогая моя миссис Никльби, — заявил мистер Плак, — нет такого слова в словаре. Ваш деверь будет с нами, лорд Фредерик будет с нами, сэр Мальбери будет с нами, Пайк будет с нами — об отказе не может быть и речи. Сэр Мальбери пришлет за вами карету ровно без двадцати минут семь. Не будете же вы столь жестоки, чтобы огорчить всю компанию, миссис Никльби?

— Вы так настойчивы, что, право же, я не знаю, что сказать, — ответила достойная леди.

— Не говорите ничего. Ни слова, ни слова, сударыня! — убеждал мистер Плак. — Миссис Никльби, — продолжал этот превосходный джентльмен, понизив голос, — в том, что я собираюсь сейчас сказать, есть самое пустячное, самое извинительное нарушение чужой тайны, и, однако, если бы мой друг Пайк это услышал, он поссорился бы со мной еще до обеда — таково утонченное чувство чести у этого человека, миссис Никльби.

Миссис Никльби бросила опасливый взгляд на воинственного Пайка, который отошел к окну, а мистер Плак, сжав ее руку, продолжал:

— Ваша дочь одержала победу — победу, с которой я могу вас поздравить. сэр Мальбери, сударыня, сэр Мальбери — преданный ее раб! Гм!..

— Ах! — воскликнул в этот критический момент мистер Пайк, театральным движением схватив что-то с каминной полки. — Что это? Что я вижу?

— Что вы видите, дружище? — спросил мистер Плак.

— Это то лицо, тот образ, то выражение! — вскричал мистер Пайк, падая с миниатюрой в руке на стул. — Портрет неважный, сходства маловато, но все-таки это то лицо, тот образ, то выражение.

— Я узнаю его отсюда! — воскликнул мистер Плак восторженно. — Не правда ли, сударыня, это слабое подобие...

— Это портрет моей дочери, — с великой гордостью сказала миссис Никльби.

И действительно, это был он. Маленькая мисс Ла-Криви принесла показать его всего два дня назад.

Едва мистер Пайк убедился в правильности своего заключения, как рассыпался в самых неумеренных похвалах божественному оригиналу и в пылу восторга тысячу раз поцеловал портрет, в то время как мистер Плак прижимал к сердцу руку миссис Никльби и поздравлял ее со счастьем иметь такую дочь, проявляя столько жара и чувства, что слезы выступили, или как будто выступили, у него на глазах. Бедная миссис Никльби, которая сначала слушала с завидным самодовольством, была, наконец, совершенно ошеломлена этими знаками внимания и привязанности к ней и ее семейству, и даже служанка, заглянувшая в дверь, осталась пригвожденной к месту от изумления при виде экстаза этих двух столь дружески расположенных посетителей.

Мало-помалу восторги улеглись, и миссис Никльби принялась занимать гостей оплакиванием утраченного богатства и весьма ярким изображением старого своего деревенского дома, подробно описывая различные комнаты (причем не была забыта маленькая кладовая) и вспоминая, сколько ступенек вело в сад, и куда вам следовало повернуть, выйдя из гостиной, и какие замечательные удобства были в кухне. Эти размышления, естественно, привели ее в прачечную, где она наткнулась на всевозможные аппараты для варки пива, среди которых могла бы проблуждать не меньше часа, если бы одно упоминание об этой утвари не напомнило мгновенно, по ассоциации идей, мистеру Пайку, что ему «ужасно хочется пить».

— Вот что я вам скажу, — заявил мистер Пайк, — если вы пошлете за угол в трактир за кувшином портера пополам с элем, я решительно и определенно выпью его.

И решительно и определенно мистер Пайк его выпил, а мистер Плак помогал ему, в то время как миссис Никльби взидала на них, равно восхищаясь снисходительностью обоих и ловкостью, с какой они управлялись с оловянным кувшином. Для объяснения этого якобы чудесного явления можно здесь отметить, что такие джентльмены, как мистеры Пайк и Плак, живущие своим умом (или, пожалуй, не столько своим умом, сколько отсутствием оного у других), иной раз попадают в весьма затруднительное положение и в такие периоды довольствуются самым простым и непритворным угощением.

— Итак, без двадцати минут семь карета будет здесь, — сказал мистер Пайк, вставая. — Еще раз взглянуть, еще разок взглянуть на это прелестное лицо! А, вот оно! Все такое же, не изменилось. (Кстати сказать, это было весьма примечательное обстоятельство, поскольку лица на миниатюрах склонны, как известно, к многочисленным переменам.) О Плак, Плак!

Вместо ответа мистер Плак с большим чувством и жаром поцеловал руку миссис Никльби. Когда мистер Пайк проделал то же самое, оба джентльмена поспешно удалились.

Миссис Никльби имела обыкновение приписывать себе солидную дозу проницательности и тонкости, но никогда еще не была она так довольна своею прозорливостью, как в тот день. Еще накануне вечером она угадала все. Она никогда не

видела сэра Мальбери и Кэт вместе — даже имени сэра Мальбери никогда прежде не слыхала, — и, несмотря на это, разве не сказала она себе с самого начала, что видит, как обстоит дело? И какой это был триумф, ибо теперь ни малейших сомнений не оставалось! Если бы это лестное внимание по отношению к ней не являлось достаточным доказательством, то закадычный друг сэр Мальбери, проговорившись, выдал секрет.

— Я совсем влюбилась в этого милого мистера Плака, право же, совсем влюбилась... — сказала миссис Никльби.

Несмотря на такую удачу, оставалась одна серьезная причина для недовольства, именно — не было поблизости никого, с кем бы она могла поделиться. Раза два она почти решила отправиться прямо к мисс Ла-Криви и рассказать ей все. «Нет, не знаю, — подумала миссис Никльби, — она весьма достойная особа, но, боюсь, по положению своему настолько ниже сэра Мальбери, что мы не можем отныне считать ее своей приятельницей. Бедняжка!» Опираясь на это веское соображение, она отказалась от мысли сделать маленькую портретистку своей наперсницей и удовольствовалась тем, что неясно и таинственно намекнула служанке на повышение жалованья, а служанка выслушала эти туманные намеки о грядущем величии благоговейно и почтительно.

Ровно в назначенный час прибыл обещанный экипаж, который оказался не наемной, а собственной двухместной каретой; на запятках стоял лакей, чьи ноги хотя и были несколько велики для его туловища, но сами по себе могли служить моделью в Королевской академии. Радостно было слышать грохот и треск, с какими он захлопнул дверцу, когда миссис Никльби уселась. А так как эта славная леди пребывала в полном неведении, что он приложил к кончику носа позолоченный набалдашник своей палки и весьма непочтительно передавал таким образом над самой ее головой телеграфические знаки кучеру, то она и восседала с большою чопорностью и достоинством, немало гордясь своим положением.

У входа в театр было еще больше грохота и треска, и были здесь также мистеры Пайк и Плак, поджидавшие ее, чтобы проводить в ложу; и были они так учтивы, что мистер Пайк с проклятьями пригрозил «мордобитием» случайно загородившему ей дорогу дряхлому старику с фонарем, к великому ужасу миссис Никльби, которая, заключив, скорее благодаря возбуждению мистера Пайка, чем благодаря предварительному знакомству с этимологией этого слова, что мордобитие и кровопролитие должны означать одно и то же, чрезвычайно обеспокоилась, как бы чего не случилось. Но, к счастью, мистер Пайк ограничился словесным мордобитием, и они добрались до своей ложи без всяких серьезных помех, если не считать желания, выраженного тем же драчливым джентльменом, «прихлопнуть» капельдинера, указавшего по ошибке не тот номер.

Едва миссис Никльби успела усесться в кресло за драпировкой ложи, как вошли сэр Мальбери и лорд Фредерик Верисофт, одетые в высшей степени элегантно и пышно от макушки до кончиков перчаток и от кончиков перчаток до носков ботинок. Сэр Мальбери говорил более хриплым голосом, чем накануне, а у лорда Фредерика вид был слегка сонный и странный; на основании этих признаков, а также того обстоятельства, что оба не совсем твердо держались на ногах, миссис Никльби справедливо заключила, что они пообедали.

— Мы пили... пили... за здоровье вашей очаровательной дочери, миссис Никльби, — шепнул сэр Мальбери, садясь за ее спиной.

«О! О! — подумала догадливая леди. — Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке».

— Вы очень любезны, сэр Мальбери.

— О нет, клянусь честью! — отозвался сэр Мальбери Хоук. — Эго вы любезны, клянусь честью. Так любезно с вашей стороны, что вы сегодня приехали.

— Так любезно было с вашей стороны пригласить меня, хотите вы сказать, сэр Мальбери, — возразила миссис Никльби, мотнув головой и принимая необыкновенно лукавый вид.

— Я так стремлюсь узнать вас, так стремлюсь заслужить ваше доброе мнение, так хочу, чтобы между нами было очаровательное, гармоническое родственное согласие, — сказал сэр Мальбери, — что вы не должны думать, будто я не заинтересован в том, что делаю. Я

чертовски эгоистичен, да, клянусь честью, это так.

— Я уверена, что вы не можете быть эгоистичны, сэр Мальбери, — заявила миссис Никльби. — Для этого у вас слишком открытое и благородное лицо.

— Как вы изумительно наблюдательны! — сказал сэр Мальбери.

— О нет, право, я не отличаюсь особой проницательностью, сэр Мальбери, — отозвалась миссис Никльби тоном, который давал понять баронету, что она и в самом деле очень проницательна.

— Я просто боюсь вас, — сказал баронет. — Честное слово, — повторил сэр Мальбери, оглянувшись на своих спутников, — я боюсь миссис Никльби. У нее гигантский ум.

Мистеры Пайк и План таинственно покачали головой и заявили в один голос, что они давно уже это обнаружили, после чего миссис Никльби захихикала, а сэр Мальбери засмеялся, а Пайк и Плак захохотали.

— Но где же мой деверь, сэр Мальбери? — осведомилась миссис Никльби. — Я бы не хотела быть здесь без него. Надеюсь, он придет.

— Пайк, — сказал сэр Мальбери, доставая зубочистку и разваливаясь в кресле, словно ему лень было выдумывать ответ на этот вопрос, — где Ральф Никльби?

— Плак, — сказал Пайк, подражая баронету и перепоручая ложь своему другу, — где Ральф Никльби?

Мистер Плак собирался дать какой-нибудь уклончивый ответ, когда шум, вызванный компанией, вошедшей в соседнюю ложу, казалось привлек внимание всех четырех джентльменов, которые многозначительно переглянулись. Когда же вновь прибывшие заговорили, сэр Мальбери внезапно сделал вид, будто очень внимательно прислушивается, и попросил своих друзей затаить дыхание... затаить дыхание.

— Почему? — спросила миссис Никльби. — Что случилось?

— Тише! — отозвался сэр Мальбери, положив свою руку на ее. — Лорд Фредерик, узнаете ли вы этот голос?

— Пусть черт меня поберет, если это не голос мисс Никльби.

— Ах, боже мой, милорд! — воскликнула мамаша мисс Никльби, высовывая голову из-за драпировки. — Да, в самом деле... Кэт, дорогая моя Кэт!

— Вы здесь, мама? Может ли быть!

— Да, дорогая моя, может! Да.

— Но кто... боже мой, кто это с вами, мама? — спросила Кэт при виде человека, который улыбался ей и посылал воздушные поцелуи.

— Как ты думаешь, кто, дорогая моя? — отозвалась миссис Никльби, наклоняясь в сторону миссис Уититерли и слегка повышая голос в назидание этой леди. — Здесь мистер Пайк, мистер Плак, сэр Мальбери Хоук и лорд Фредерик Верисофт.

«Боже милостивый! — быстро мелькнуло в голове Кэт. — Как она попала в такую компанию».

Мысль эта промелькнула так быстро, а удивление было так велико и с такой силой воскресило воспоминание о том, что произошло за восхитительным обедом у Ральсра, что Кэт страшно побледнела и казалась чрезвычайно взволнованной, каковы симптомы, будучи замечены миссис Никльби, были немедленно определены этой прозорливой леди как следствие пламенной любви. Но хотя ее немало порадовало это открытие, которое делало честь ее собственной сообразительности, однако оно не уменьшило материнской тревоги за Кэт, а посему в большом волнении она покинула свою ложу, чтобы поспешить в ложу миссис Уититерли. Миссис Уититерли, живо ощущая, какая эта будет честь иметь среди своих знакомых лорда и баронета, не теряя времени, дала знак мистеру Уититерли открыть дверь, и таким образом не прошло и полминуты, как компания миссис Никльби вторглась в ложу миссис Уититерли, заполнив ее до самой двери, так что для мистеров Пайка и Плака только и осталось места, чтобы просунуть головы и жилеты.

— Дорогая моя Кэт, — сказала миссис Никльби, нежно целуя дочь, — какой у тебя был больной вид минуту тому назад! Уверю тебя, ты меня испугала.

— Вам просто показалось, мама... Это... это, может быть, от освещения, — ответила Кэт, нервно оглядываясь и видя, что не представляется случая шепотом предостеречь ее или как-то объясниться.

— Разве ты не видишь сэра Мальбери Хоука, дорогая моя?

Кэт слегка поклонилась и, закусив губу, повернула голову к сцене.

Но сэр Мальбери Хоука не так-то легко было обескуражить; он приблизился с протянутой рукой, и так как миссис Никльби угодливо сообщила об этом Кэт, та принуждена была в свою очередь протянуть руку. Сэр Мальбери задержал ее в своей, пока рассыпался в комплиментах, которые Кэт, помня, что между ними произошло, справедливо сочла новым оскорблением. Затем последовали приветствия лорда Фредерика Верисофта, а затем поклоны мистера Пайка, а затем поклоны мистера Плака, и наконец, что довершило унижение молодой леди, она должна была, по просьбе миссис Уититерли, проделать церемонию представления этих гнусных людей, которые вызывали у нее чувство величайшего негодования и отвращения.

— Миссис Уититерли восхищена, — сказал мистер Уититерли, потирая руки, уверяю вас, восхищена, милорд, этой возможностью заключить знакомство, которое, надеюсь, милорд, мы будем поддерживать. Джулия, дорогая моя, ты не должна приходить в чрезмерное возбуждение, не должна. Право же, не должна. У миссис Уититерли натура чрезвычайно легко возбудимая, сэр Мальбери. Пламя свечи, огонь лампы, пушок на персике, пыль на крыльях бабочки — одно дуновение, и она исчезнет, милорд, и она исчезнет.

Казалось, сэр Мальбери подумал, что было бы неплохо, если бы эта леди исчезла от одного дуновения. Однако он сказал, что восхищение взаимно, и лорд Фредерик присовокупил, что оно взаимно, после чего слышно было, как мистеры Пайк и Плак пробормотали издали, что, разумеется, оно взаимно.

— Я интересуюсь, милорд, — слабо улыбаясь, сказала миссис Уититерли, — я так интересуюсь театром.

— Да-а, это очень интересно, — ответил лорд Фредерик.

— Я всегда бываю больна после Шекспира, — сказала миссис Уититерли. — На следующий день я чуть живая. Реакция так велика после трагедии, милорд, а Шекспир такое восхитительное создание...

— О да-а! — ответил лорд Фредерик. — Он был способный человек.

— Знаете ли, милорд, — сказала миссис Уититерли после долгого молчания, — я замечаю, что начала особенно интересоваться его пьесами после того, как побывала в этом милом жалком домике, где он родился. Вы бывали там когда-нибудь, милорд?

— Нет, никогда, — ответил милорд.

— В таком случае, вы непременно должны туда поехать, — заявила миссис Уититерли, томно растягивая слова. — Не знаю, почему это так, но, когда вы увидите это место и запишете свою фамилию в небольшой книге, вы почувствуете себя каким-то образом вдохновленным. Это как бы возжигает в вас пламя!

— Ну-у! — ответил лорд Фредерик. — Я непременно там побываю.

— Джулия, жизнь моя, — вмешался мистер Уититерли, — ты вводишь в заблуждение его лордство... неумышленно, милорд, она вводит вас в заблуждение, это твой поэтический темперамент, дорогая моя... твоя эфирная душа... твое пылкое воображение возжигают в тебе огонь гениальности и чувствительности. Ничего особенного там нет в тех местах, дорогая моя... ничего, ровно ничего.

— Я думаю, что-то там должно быть, — сказала миссис Никльби, которая слушала молча, — потому что вскоре после моего замужества я с моим бедным дорогим мистером Никльби поехала в Стрэтфорд в бирмингемской почтовой карете... а впрочем, почтовая ли это была карета? — призадумавшись, сказала миссис Никльби. — Да, должно быть, это была почтовая карета, потому что, помню, я тогда заметила, что у кучера на левый глаз надвинут зеленый козырек... так вот, в почтовой карете из Бирмингема, и после того как мы осмотрели могилу и место рождения Шекспира, мы вернулись в гостиницу, где

переночевали, и, помню, всю ночь напролет мне снился черный джентльмен из гипса, выпрямившийся во весь рост, в отложном воротнике, завязанном шнурком с двумя кисточками, он прислонился к столбу и о чем-то размышлял. А утром, когда я проснулась и описала его мистеру Никльби, он сказал, что это был Шекспир, точь-в-точь такой, как при жизни, и это, конечно, замечательно! Стрэтфорд. ...Стрэтфорд, — задумчиво продолжала миссис Никльби. — Да, в этом я не сомневаюсь, потому что, помню, я была тогда беременна моим сыном Николасом и в то самое утро меня очень испугал итальянский мальчик, продававший статуэтки. Знаете ли это счастье, сударыня, — шепотом добавила миссис Никльби, обращаясь к миссис Уиттерли, — что из моего сына не вышло Шекспира. Как бы это было ужасно!

Когда миссис Никльби довела до конца этот занимательный рассказ, Пайк и Плак, всегда ревностно служившие интересам своего патрона, предложили, чтобы часть общества перешла в соседнюю ложу, и предварительные меры были приняты с такою ловкостью, что Кэт, сколько бы она ни возражала, ничего не оставалось, как позволить сэру Мальбери Хоуку увести ее. Их сопровождали ее мать и мистер Плак, но достойная леди, кичась своим благоразумием, весь вечер старалась даже не смотреть на дочь и делать вид, будто она всецело поглощена остротами и речами мистера Плака, который, будучи назначен специально для этой цели часовым при миссис Никльби, со своей стороны не упускал ни единого случая завладеть ее вниманием.

Лорд Фредерик Верисофт остался в соседней ложе слушать разговор миссис Уиттерли, и мистер Пайк присутствовал там с целью вставлять два-три слова в случае необходимости. Что до мистера Уиттерли, то он был в достаточной мере занят, уведомляя тех своих друзей и знакомых, которые находились в театре, что два джентльмена в ложе наверху, коих они видели беседующими с миссис Уиттерли, были известный лорд Фредерик Верисофт и его закадычный друг весельчак сэр Мальбери Хоук, — сообщение, которое преисполнило нескольких матерей семейства величайшей завистью и бешенством и довело шестнадцать незамужних дочерей до грани отчаяния.

Кончился, наконец, этот вечер, но Кэт еще предстояло сойти вниз в сопровождении ненавистного сэра Мальбери; и столь искусно были проведены маневры мистеров Пайка и Плака, что она и баронет шли последними и даже — как будто без всяких стараний и умысла — немного отстали от остального общества.

— Не спешите, не спешите, — сказал сэр Мальбери, когда Кэт ускорила шаг и попыталась высвободить руку.

Она ничего не ответила и рванулась вперед.

— Ну нет... — хладнокровно заметил сэр Мальбери, заставив ее остановиться.

— Лучше не пытайтесь задерживать меня, сэр, — гневно сказала Кэт.

— А почему? — возразил сэр Мальбери. — Милое мое дитя, почему вы все еще притворяетесь недовольной?

— *Притворяюсь?! — с негодованием повторила Кэт. — Как вы смее заговаривать со мной, сэр, обращаться ко мне, показываться мне на глаза?*

— Вы хорошеете, когда сердитесь, мисс Никльби, — сказал сэр Мальбери Хоук, наклоняясь, чтобы лучше видеть ее лицо.

— Я к вам питаю величайшее отвращение и презрение, сэр! — сказала Кэт. — Если вы находите что-то привлекательное во взглядах, выражающих омерзение, вы... Немедленно отпустите меня к моим друзьям, сэр! Какие бы соображения ни удерживали меня до сих пор, я пренебрегу ими и приму меры, которые будут чувствительны даже для вас, если вы сейчас же не отпустите меня.

Сэр Мальберн улыбнулся и, по-прежнему засматривая ей в лицо и удерживая ее руку, направился к двери.

— Если уважение к моему полу и беспомощному положению не заставит вас прекратить это грубое и подлое преследование, — продолжала Кэт, едва сознавая в порыве гнева, что она говорит, — то у меня есть брат, который когда-нибудь жестоко посчитается с

вами.

— Клянусь, она стала еще прекрасней! — воскликнул сэр Мальбери, как будто мирно разговаривая сам с собой, и при этом обвил рукой ее талию. Такой она мне еще больше нравится, чем тогда, когда глаза ее потуплены и она спокойна.

Кэт не знала, как дошла она до вестибюля, где ее ждали друзья, но через вестибюль она пробежала, даже не взглянув на них, освободилась от своего спутника, вскочила в карету и, забившись в самый темный угол, залилась слезами.

Зная свои роли, мистеры Пайк и Плак тотчас привели в смятение всю компанию, громкими криками вызывая кареты и затеявая бурные ссоры со всевозможными безобидными людьми, стоявшими тут же; в разгар этой суматохи они усадили испуганную миссис Никльби в карету и, благополучно спровадив ее, занялись миссис Уититерли, которую они привели в состояние крайнего изумления и оцепенения, чем совершенно отвлекли ее внимание от молодой леди. Наконец экипаж, в котором она прибыла, также отъехал со своим грузом, и четыре достойных джентльмена, оставшись одни под портиком, от души расхохотались все вместе.

— Ну вот! — сказал сэр Мальбери, повернувшись к своему аристократическому другу. — Не говорил ли я вам вчера вечером, что, если только нам удастся узнать через слугу, подкупленного моим лакеем, куда они едут, а затем устроиться по соседству вместе с мамашей, дом этих людей будет все равно что наш дом? Так и случилось. Дело обделано за одни сутки.

— Да-а, — отозвалась жертва обмана. — Но я весь вечер был припилен к этой старухе.

— Вы только послушайте его! — воскликнул сэр Мальбери, обращаясь к своим двум приятелям. — Послушайте недовольного ворчуна! Разве этого не достаточно, чтобы человек поклялся никогда больше не помогать ему в его интригах и затеях? Разве это не возмутительно?

Пайк спросил Плака, а План спросил Пайка, не возмутительно ли это, но ни тот, ни другой не ответил.

— Но разве это не правда? — возразил Фредерик Верисофт. — Разве не так было дело?

— Разве не так было дело! — повторил сэр Мальберн. — А как бы вы хотели, чтобы оно было? Как могли бы мы получить сразу приглашение — приходите когда хотите, уходите когда хотите, оставайтесь сколько хотите, делайте что хотите, — если бы вы, лорд, не поухаживали за глупой хозяйкой дома? Что мне эта девица, не будь я вашим другом? Ради вас не нашептывал ли я ей похвалы вам и не терпел ли весь вечер ее прелестное раздражение и надутый вид? Из какого вещества я, по-вашему, сделан? Для каждого стал бы я так трудиться? И за это я даже благодарности не заслуживаю!

— Вы чертовски славный малый! — сказал бедный молодой лорд, беря под руку друга. — Клянусь честью, вы чертовски славный малый, Хоук.

— И я поступил правильно, не так ли? — настаивал сэр Мальбери.

— Совершенно пра-авильно.

— Как и подобает такому бедному, добродушному, глупому другу, как я, да?

— Да-а, да-а, как подобает другу, — ответил тот.

— В таком случае, — заявил сэр Мальбери, — я удовлетворен. А теперь пойдем и отомстим немецкому барону и французу, которые так здорово обставили вас вчера.

С этими словами верный друг взял под руку своего спутника и увел его, оглянувшись при этом вполоборота и с презрительной улыбкой подмигнув мистерам Пайку и Плаку, которые, засунув носовой платок в рот в знак молчаливого восхищения происходящим, последовали на небольшом расстоянии за своим патроном и его жертвой.

Глава XXVIII,

Мисс Никльби, доведенная до отчаяния преследованиями сэра Мальбери Хоука и

затруднениями и огорчениями, ее осаждающими, прибегает к последнему средству, взывая о помощи к своему дяде

Утро следующего дня, как бывает всегда, принесло с собой размышления, но весьма различны были мысли, пробужденные им у различных особ, которые столь неожиданно оказались вместе накануне вечером благодаря деятельному участию мистеров Пайка и Плака.

Мысли сэра Мальбери Хоука — если можно применить это слово к планам закоренелого и расчетливого распутника, чьи радости, сожаления, усилия и удовольствия сосредоточены были только на нем самом и который, кажется, из всех интеллектуальных способностей сохранил лишь дар марать себя и, оставаясь человеком лишь по облику, унижать человеческую природу, — мысли сэра Мальбери Хоука были устремлены к Кэт, и сущность их заключалась в том, что она несомненно красива, что ее застенчивость может быть легко побеждена таким ловким и опытным человеком, как он, и что такая победа не преминет доставить ему славу и будет весьма полезной для его репутации в свете. Чтобы это последнее соображение, отнюдь не пустое или второстепенное для сэра Мальбери, не показалось кому-нибудь странным, напомним, что большинство людей живет в своем собственном мире, и только в этом ограниченном кругу жаждет оно отличий и похвал. Мир сэра Мальбери был населен распутниками, и он поступал соответственно.

Повседневно мы сталкиваемся с несправедливостью, угнетением, тиранией и беспредельным ханжеством. Принято трубить о недоумении и изумлении, вызываемом виновниками таких дел, столь дерзко пренебрегающими мнением целого света. Но это грубейшая ошибка: такие дела совершаются именно потому, что виновники их считаются с мнением своего маленького мирка, тогда как великий мир цепенеет от изумления.

Мысли миссис Никльби были по характеру своему чрезвычайно лестные для ее самолюбия; под влиянием своей весьма приятной иллюзии она немедленно уселась сочинять длинное письмо Кэт, в котором выражала полное двое одобрение превосходному выбору, сделанному дочерью, и до небес превозносила сэра Мальбери, утверждая, для наибольшего успокоения чувств своей дочери, что он именно тот человек, которого бы она (миссис Никльби) избрала себе в зятя, хотя бы ей был представлен на выбор весь род человеческий. Далее славная леди, заметив предварительно, что нельзя же предположить, чтобы она, так долго живя в свете, не знала его обычаев, сообщала множество мудрых правил для руководства в период ухаживания и подтверждала их разумность на основании собственного опыта.

Превыше всего советовала она строго блюсти девическую скромность не только как нечто само по себе похвальное, но и как нечто существенное, укрепляющее и разжигающее пыл влюбленного. «И никогда еще, — присовокупила миссис Никльби, — никогда не была я в таком восхищении, как вчера вечером, дорогая моя, видя, что тебе это уже подсказал здравый смысл». Поведав об этом чувстве и много раз упомянув о том, сколь приятно было ей узнать, что дочь счастливо унаследовала ее собственный здравый смысл и рассудительность (можно было надеяться, что со временем и при старании она будет обладать ими в полной мере), миссис Никльби закончила свое длинное и не совсем разумное письмо.

Бедная Кэт едва не лишилась рассудка, получив четыре мелко исписанных вдоль и поперек страницы поздравлений как раз с тем, что всю ночь не давало ей сомкнуть глаза и заставляло плакать и бодрствовать в спальне. Еще тяжелее и еще мучительнее была необходимость угождать миссис Уититерли, которая, находясь в унынии после утомительного вечера, желала, чтобы ее компаньонка (иначе за что бы получала она жалованье и содержание?) была в наилучшем расположении духа. Что касается до мистера Уититерли, то он весь день пребывал в трепетном восторге оттого, что пожимал руку лорда и всерьез пригласил его к себе домой. Сам лорд, не будучи в сколько-нибудь неприятной мере

обременен способностью мыслить, услаждал себя разговором с мистерами Пайком и Плаком, которые оттачивали свое остроумие, щедро пользуясь за его счет разнообразными дорогими возбуждающими напитками.

Было четыре часа дня — то есть вульгарные четыре часа по солнцу и часам, — и миссис Уититерли, по своему обыкновению, полулежала на софе в гостиной, а Кэт читала вслух новый роман в трех томах, озаглавленный «Леди Флабелла», каковой принес в то самое утро из библиотеки псевдо-Альфонс. Это произведение как раз подходило для леди, страдающей недугом миссис Уититерли, ибо в нем от начала до конца не было ни единой строки, которая могла бы вызвать хоть тень волнения у кого бы то ни было из смертных.

Кэт читала:

— «Шеризет, — сказала леди Флабелла, сунув свои маленькие ножки, похожие на мышек, в голубые атласные туфли, которые невзначай вызвали вчера вечером полушутливые-полусердитые пререкания между ней самой и молодым полковником Бефилером в *salon de danse*⁵⁴ герцога Минсфенилла, Шеризет, *ma chere, donnez moi de l'eau-de-Cologne, s'il vous plait, mon enfant*». ⁵⁵

«Мерси, благодарю вас, — сказала леди Флабелла, когда бойкая, но преданная Шеризет щедро окропила душистой смесью *mouchoir*⁵⁶ леди Флабеллы из тончайшего батиста, обшитый драгоценными кружевами и украшенный по четырем уголкам гербом Флабеллы и гордым геральдическим девизом сей благородной семьи. — Мерси, этого достаточно».

В это мгновение, когда леди Флабелла, поднеся к своему очаровательному, но мечтательно выточенному носику *mouchoir*, еще вдыхала восхитительный аромат, дверь будуара (искусно скрытая богатыми портьерами из шелкового Дамаска цвета тальянского неба) распахнулась, и два лакея, одетые в ливреи цвета персика с золотом, вошли бесшумной поступью в комнату в сопровождении пажа в *bas de soie* — шелковых чулках, который, пока они стояли поодаль, отвешивая грациознейшие поклоны, приблизился к ногам своей прелестной госпожи и опустившись на одно колено, подал на великолепном подносе чеканного золота надушенный *billet*⁵⁷.

Леди Флабелла с волнением, которого не могла подавить, разорвала *envelope*⁵⁸ и сломала благоухающую печать. Это письмо было от Бефилера — молодого, стройного, с тихим голосом. — от *ее* Бефилера...»

— О, очаровательно! — прервала Кэт ее покровительница, иногда проявлявшая склонность к литературе. — Настоящая поэзия. Прочтите еще раз это описание, мисс Никльби.

Кэт повиновалась.

— Как мило! — со вздохом сказала миссис Уититерли. — Так сладострастно, не правда ли? Так нежно?

— Да, мне кажется, — тихо отозвалась Кэт. — Очень нежно.

— Закройте книгу, мисс Никльби, — сказала миссис Уититерли. — Больше я не могу сегодня слушать. Я бы не хотела нарушать впечатление, произведенное этим прелестным описанием. Закройте книгу.

Кэт охотно повиновалась; меж тем миссис Уититерли, подняв томной рукой лорнет, заметила, что она бледна.

— Меня испугали эгот... этот шум и суматоха вчера вечером, — сказала Кэт.

— Как странно! — с удивленным видом воскликнула миссис Уититерли.

И действительно, если подумать, было очень странно, что компаньонку может что-нибудь взволновать, — легче вывести из строя паровую машину или другой

54

55

56

57

58

какой-нибудь хитроумный механизм.

— Каким образом вы познакомились с лордом Фредериком и этими другими очаровательными созданиями, дитя мое? — спросила миссис Уититерли, все еще созерцая Кэт в лорнетку.

— Я их встретила у моего дяди, — сказала Кэт, с досадой чувствуя, что густо краснеет, но не в силах удержать потоп крови, приливавшей к ее щекам, когда она думала о том человеке.

— Вы давно их знаете?

— Нет, — ответила Кэт. — Не очень.

— Я очень рада, что эта почтенная особа, ваша мать, дала нам возможность познакомиться с ними, — высокомерным тоном сказала миссис Уититерли. — Это тем более примечательно, что кое-кто из наших друзей как раз собирался нас познакомить.

Это было сказано для того, чтобы мисс Никльби не вздумала чваниться почетным знакомством с четырьмя великими людьми (ибо Пайк и Плак были включены в число очаровательных созданий), с которыми не была знакома миссис Уититерли. Но так как это обстоятельство не произвело ни малейшего впечатления на Кэт, то она и не обратила на ее слова никакого внимания.

— Они просили разрешения зайти с визитом, — продолжала миссис Уититерли. — Конечно, я разрешила.

— Вы ждете их сегодня? — осмелилась спросить Кэт. Ответ миссис Уититерли был заглушен устрашающим стуком в парадную дверь, и не успел он стихнуть, как к дому подъехал изящный кабриолет, из которого выпрыгнули сэр Мальбери Хоук и его друг лорд Фредерик.

— Они уже здесь! — сказала Кэт, вставая и спеша уйти.

— Мисс Никльби! — крикнула миссис Уититерли, придя в ужас от попытки своей компаньонки покинуть комнату, не испросив предварительно ее разрешения. — Прошу вас, и не думайте о том, чтобы уйти.

— Вы очень добры, — ответила Кэт, — но...

— Ради бога, не волнуйте меня и не говорите так много, — очень резко сказала миссис Уититерли. — Ах, боже мой, мисс Никльби, я прошу...

Бессмысленно было Кэт говорить, что она нездорова, так как шаги уже раздавались на лестнице. Она снова заняла свое место и едва успела сесть, как в комнату ворвался псевдо-Альфонс и одним духом доложил о мистере Пайке, и мистере Плаке, и лорде Фредерике Верисофте, и сэре Мальбери Хоуке.

— Удивительнейшая вещь в мире, — сказал мистер Плак, с величайшей любезностью приветствуя обеих леди, — удивительнейшая вещь! Мы с Пайком постучали в тот момент, как лорд Фредерик и сэр Мальбери подъехали к двери.

— В тот самый момент постучали, — сказал Пайк.

— Неважно, как вы пришли, важно, что вы здесь, сказала миссис Уититерли, которая благодаря тому, что три с половиной года пролежала все на той же софе, собрала маленькую коллекцию грациозных поз и теперь приняла самую потрясающую из серии с целью поразить посетителей. — Уверю вас, я в восторге.

— А как поживает мисс Никльби? — тихо спросил сэр Мальбери Хоук, обращаясь к Кэт, впрочем не так тихо, чтобы это не коснулось слуха миссис Уититерли.

— Она жалуется на нездоровье после вчерашнего испуга, — сказала эта леди. — Право же, я не удивляюсь, потому что у меня нервы растерзаны в клочья.

— И, однако, ваш вид, — повернувшись, заметил сэр Мальбери, — и, однако, ваш вид...

— Превосходит все! — сказал мистер Пайк, приходя на помощь своему патрону.

Разумеется, мистер Плак сказал то же самое.

— Боюсь, милорд, что сэр Мальбери льстец, — сказала миссис Уититерли, обращаясь к молодому лорду, который молча сосал набалдашник своей трости и таранил глаза на Кэт.

— О, чертовский! — отозвался милорд. Высказав эту примечательную мысль, он вернулся к прежнему занятию.

— И у мисс Никльби вид несколько не хуже, — сказал сэр Мальбери, устремив на нее наглый взгляд. — Она всегда была красива, но, честное слово, сударыня, вы как будто еще уделили ей частицу своей красоты.

Судя по румянцу, залившему после этих слов лицо бедной девушки, можно было не без оснований предположить, что миссис Уититерли уделила ей частицу того искусственного румянца, который украшал ее собственные щеки. Миссис Уититерли признала, хотя и не очень любезно, что Кэт и в самом деле миловидна. Она подумала также, что сэр Мальбери не такое уж приятное создание, каким она сначала его считала, ибо хотя ловкий льстец и является очаровательнейшим собеседником, если вы можете завладеть им всецело, однако вкус его становится весьма сомнительным, когда он начинает расточать комплименты другим.

— Пайк, — сказал наблюдательный мистер Плак, заметив впечатление, произведенное похвалой по адресу мисс Никльби.

— Что, Плак? — отозвался Пайк.

— Нет ли каких-нибудь особ, вам известных, чей профиль напоминает вам миссис Уититерли? — таинственно спросил мистер Плак.

— Напоминает профиль... — подхватил Пайк. — Конечно, есть.

— Кого вы имеете в виду? — тем же таинственным тоном продолжал Плак. — Герцогиню Б.?

— Графиню Б., — ответил Пайк с легкой усмешкой, скользнувшей по лицу. Из двух сестер красавица — графиня, не герцогиня.

— Правильно, — сказал Плак, — графиня Б. — Сходство изумительное.

— Буквально потрясающее! — сказал мистер Пайк.

Так вот как обстояло дело! Миссис Уититерли была провозглашена на основании свидетельства двух правдивых и компетентных судей точной копией графини! Вот что значило попасть в хорошее общество! Да ведь она могла двадцать лет вращаться среди ничтожных людей и ни разу об этом не услышать! Да и как было ей услышать? Что знали они о графинях?

Определив по той жадности, с какою была проглочена эта маленькая приманка, до какой степени миссис Уититерли жаждет лести, оба джентльмена принялись отпускать этот товар весьма крупными дозами, предоставив таким образом сэру Мальбери Хоуку возможность докучать мисс Никльби вопросами и замечаниями, на которые та поневоле должна была что-то отвечать. Тем временем лорд Фредерик наслаждался без помех приятным вкусом золотого набалдашника, украшавшего его трость, чем и занимался бы до конца свидания, если бы не вернулся домой мистер Уититерли и не перевел разговор на любимую свою тему.

— Милорд, — сказал мистер Уититерли, — я восхищен, почтен, горд! Прошу вас, садитесь, милорд. Да, я горд, весьма горд.

Слова мистера Уититерли вызвали скрытое раздражение у его жены, ибо, хотя она и раздувалась от гордости и высокомерия, ей хотелось дать понять знатым гостям, что их визит является событием самым обыкновенным и что не проходит дня, чтобы их не навешали лорды и баронеты. Но чувства мистера Уититерли подавить было невыносимо.

— Поистине это честь! — сказал мистер Уититерли. — Джулия, душа моя, завтра ты будешь из-за этого страдать.

— Страдать? — воскликнул лорд Фредерик.

— Реакция, милорд, реакция, — сказал мистер Уититерли. — Когда пройдет это чрезвычайное напряжение нервной системы, милорд, что последует? Упадок, депрессия, уныние, усталость, расслабленность. Милорд, если бы сейчас сэр Тамли Снафим увидел это деликатное создание, он не дал бы вот... вот столько за ее жизнь.

В пояснение своих слов мистер Уититерли взял из табакерки понюшку табаку и слегка

подбросил ее, как эмблему бренности.

— Вот столько! — повторил мистер Уититерли, озираясь вокруг с серьезной миной. — Сэр Тамли Снафим вот столько не дал бы за жизнь миссис Уититерли!

Мистер Уититерли произнес это с видом сдержанно-торжествующим, словно иметь жену, находящуюся в столь отчаянном положении, было очень для него почетно, а миссис Уититерли вздохнула и посмотрела так, будто она понимала, какая это честь, но решила держать себя по возможности смиренно.

— Миссис Уититерли, — продолжал ее супруг, — любимая пациентка сэра Тамли Снафима. Мне кажется, я имею право сказать, что миссис Уититерли была первой особой, принявшей новое лекарство, которому приписывают гибель целой семьи в Кенсингтон-Грэвл-Питс. Кажется, она была первой. Джулия, дорогая моя, если я ошибаюсь, поправь меня.

— Кажется, я была первой, — слабым голосом сказала миссис Уититерли.

Видя, что патрон его слегка недоумевает, как ему наилучшим образом вмешаться в этот разговор, неумолимый мистер Пайк бросился напролом и, решив сказать нечто по существу дела, осведомился — имея в виду упомянутое лекарство, — было ли оно приятно на вкус.

— Нет, сэр, не было. Даже этого преимущества оно не имело, — ответил мистер Уититерли.

— Миссис Уититерли — настоящая мученица, — с любезным поклоном заметил Пайк.

— Думаю, что да, — улыбаясь, сказала миссис Уититерли.

— И я так думаю, моя дорогая Джулия, — заметил ее супруг тоном, казалось, говорившим, что он не тщеславен, но тем не менее твердо намерен настаивать на своих привилегиях. — Если кто-нибудь, милорд, — добавил он, поворачиваясь к аристократу, — представит мне более великую мученицу, чем миссис Уититерли, я одно могу сказать: я буду рад увидеть эту мученицу — или мученика, — вот и все, милорд!

Пайк и Плак быстро подхватили, что более справедливого замечания, разумеется, сделать нельзя, и, так как визит к тому времени чрезвычайно затянулся, они повиновались взгляду сэра Мальбери и встали. Это заставило подняться также и самого сэра Мальбери и лорда Фредерика. Обменялись многочисленными заверениями в дружбе и надеждами на будущие удовольствия, которые неизбежно должны последовать за столь счастливым знакомством, и посетители отбыли после новых заявлений, что для дома Уититерли будет честью принять их в любой день и час под своей кровлей.

Они и приходили в любой день и час; сегодня они там обедали, завтра ужинали, послезавтра опять обедали и постоянно то появлялись, то снова исчезали; они отправлялись компанией в общественные места и случайно встречались на прогулке; при каждом случае мисс Никльби подвергалась упорному и неумолимому преследованию сэра Мальбери Хоука, репутация которого (он это почувствовал к тому времени) даже в глазах его двух прихлебателей зависела от успешного укрощения ее гордости, и у нее не было ни отдыха, ни покоя, за исключением тех часов, когда она могла сидеть одна в своей комнате и плакать после перенесенных за день испытаний. Все это являлось последствиями, естественно вытекавшими из хорошо обдуманых планов сэра Мальбери, искусно выполнявшихся его приспешниками Пайком и Плаком.

Так шли дела в течение двух недель. Вряд ли нужно говорить, что только самые слабые и глупые люди могли не заметить на протяжении даже одной встречи, что лорд Фредерик Верисофт, хоть он и был лордом, и сэр Мальбери Хоук, хоть он и был баронетом, не принадлежали к числу завидных собеседников; по привычкам своим, манерам, вкусам и по характеру их разговоров они не были предназначены к тому, чтобы ослепительно сверкать в обществе леди. Но для миссис Уититерли было вполне достаточно двух титулов; грубость превращалась в юмор, вульгарность воспринималась как самая очаровательная эксцентричность, наглость принимала обличье легкой развязности, доступной лишь тем, кто имеет счастье общаться со знатью.

Если хозяйка давала такое толкование поведению своих гостей, то что могла возразить

против них компаньонка? Если они привыкли так мало сдерживать себя перед хозяйкой дома, то каковы же были те вольности, которые они могли себе позволить по отношению к подчиненной, получавшей жалованье! Но это было еще не наихудшее. По мере того как гнусный сэр Мальбери Хоук все более открыто ухаживал за Кэт, миссис Уититерли начала ревновать к превосходящей ее очарованием мисс Никльби. Если бы это чувство повлекло за собой ее изгнание из гостиной, когда там собиралось высокое общество, Кэт была бы только счастлива и радовалась бы тому, что такое чувство возникло; но на свою беду она отличалась той природной грацией, подлинным изяществом и тысячей не имеющих названия достоинств, в которых главным образом и состоит прелесть женского общества. Если повсюду имеют они цену, то в особенности ценны они были там, где хозяйка дома представляла собой одушевленную куклу. В результате Кэт переносила двойное унижение: должна была неизменно присутствовать, когда приходил сэр Мальбери со своими друзьями, и именно по этой причине была не защищена от всех капризов и дурного расположения духа миссис Уититерли, когда гости уходили. Она была глубоко несчастна.

Миссис Уититерли ни разу не сбрасывала маски перед сэром Мальбери и, если бывала более, чем обычно, не в духе, приписывала это обстоятельство — что иногда делают дамы — расстроенным нервам. Но, когда у этой леди зародилась и постепенно утвердилась страшная мысль, что лорд Фредерик Верисофт тоже слегка увлечен Кэт и что она, миссис Уититерли, является всего-навсего лицом второстепенным, миссис Уититерли преисполнилась в высшей степени приличным и весьма добродетельным негодованием и признала своим долгом как замужняя женщина и высоконравственный член общества безотлагательно сообщить об этом обстоятельстве «молодой особе».

В результате на следующее утро миссис Уититерли нарушила молчание во время перерыва в чтении романа.

— Мисс Никльби, — сказала миссис Уититерли, — я хочу поговорить с вами очень серьезно. Я сожалею, что принуждена это сделать, честное слово, очень сожалею, но другого выхода вы мне не оставили, мисс Никльби.

Тут миссис Уититерли тряхнула головой — не гневно, а только добродетельно — и заметила с некоторыми признаками возбуждения, что боится, как бы у нее не возобновилось сердцебиение.

— Ваше поведение, мисс Никльби, — продолжала леди, — мне отнюдь не нравится, отнюдь! Я горячо желаю, чтобы ваши дела шли хорошо, но можете быть уверены, мисс Никльби, что этого не случится, если вы будете вести себя, как теперь.

— Сударыня! — гордо воскликнула Кэт.

— Не волнуйте меня, говоря таким тоном, мисс Никльби, не волнуйте меня! — довольно резко сказала миссис Уититерли. — Иначе вы принудите меня позвонить в колокольчик.

Кэт посмотрела на нее, но ничего не сказала.

— Не воображайте, пожалуйста, мисс Никльби, что, если вы будете так на меня смотреть, это мне мешает сказать вам все, что я намерена сказать, считая это своим священным долгом. Можете не устремлять на меня ваши взгляды, — сказала миссис Уититерли с внезапным взрывом злобы, — я не сэр Мальбери, да и не лорд Фредерик Верисофт, и я не мистер Пайк и не мистер Плак.

Кэт снова посмотрела на нее, но уже не с такой твердостью, и, облокотившись о стол, прикрыла глаза рукою.

— Если бы подобная вещь произошла, когда я была молодой девушкой, сказала миссис Уититерли (кстати, с тех пор прошло немалое время), — не думаю, чтобы кто-нибудь этому поверил.

— Да, я не думаю, что поверил бы, — прошептала Кэт. — Не думаю, что кто-нибудь мог бы поверить, если бы не знал всего, что я обречена переносить.

— Пожалуйста, не говорите мне о том, что вы обречены переносить, мисс Никльби, — сказала миссис Уититерли пронзительным голосом, совершенно неожиданным у столь

великой страдальцы. — Я не желаю, чтобы мне отвечали, мисс Никльби. Я не привыкла, чтобы мне отвечали, и не допущу этого... Вы слышите? — добавила она, с явной непоследовательностью ожидая ответа.

— Я вас слушаю, сударыня, — ответила Кэт, — слушаю с удивлением, с большим удивлением, чем могу выразить.

— Я всегда считала вас весьма благовоспитанной молодой особой, если принять во внимание ваше общественное положение, — продолжала миссис Уититерли, — и так как ваша наружность свидетельствует о здоровье и вы аккуратно одеваетесь, то я заинтересовалась вами и продолжаю интересоваться, считая это в некотором роде моим долгом по отношению к почтенной старухе — вашей матери. По этой причине, мисс Никльби, я должна сказать вам сразу и прошу вас запомнить мои слова: я принуждена настаивать на том, чтобы вы немедленно изменили ваше весьма развязное обращение с джентльменами, посещающими этот дом. Право же, это неприлично, — сказала миссис Уититерли, закрывая при этих словах свои целомудренные глаза. — Это непристойно, просто непристойно!

— О! — вскричала Кэт, подняв глаза и сжимая руки. — Разве это не верх жестокости, разре человек способен слушать это? Разве мало того, что я страдала и днем и ночью, что я почти что пала в своих собственных глазах, от одного только стыда, общаясь вопреки своему желанию с подобными людьми? И на меня еще возводят это несправедливое и ни на чем не основанное обвинение!

— Будьте добры припомнить, мисс Никльби, — сказала миссис Уититерли, что, употребляя такие слова, как «несправедливое» и «неоснованное», вы, значит, упрекаете меня в том, что я говорю неправду.

— Да! — со справедливым негодованием сказала Кэт. — Выдвигаете ли вы это обвинение сами или по наущению других, мне все ясно. Я говорю, что оно подло, грубо, умышленно лживо! Может ли быть, — вскричала Кэт, — чтобы особа моего же пола могла смотреть и не видеть, какие мучения причиняют мне эти люди? Может ли быть, сударыня, чтобы вы были рядом и не замечали оскорбительной вольности, которую выражает каждый их взгляд? Может ли быть, чтобы вы не видели, как эти бесчестные люди, не питая ни малейшего уважения к вам и совершенно пренебрегая правилами поведения, приличествующего джентльменам, и даже пристойностью, преследовали только одну цель, когда явились сюда, и цель эта — осуществить свой замысел, направленный против незащитной девушки, которая и без этого унижительного признания должна была бы надеяться на женское участие и помощь той, кто гораздо старше ее? Я не верю, я не могу этому поверить!

Если бы бедная Кэт хоть сколько-нибудь знала жизнь, она, конечно, не осмелилась бы, даже в том возбужденном состоянии, до которого ее довели, произнести столь неосторожные слова. Действие их мог в точности предвидеть более опытный наблюдатель. Миссис Уититерли встретила атаку на собственную правдивость с примерным спокойствием и выслушала с героической стойкостью отчет о страданиях Кэт. Но ссылка на неуважение к ней джентльменов привела ее в сильнейшее волнение, а когда за этим ударом последовало замечание касательно ее зрелого возраста, она немедленно упала на софу, испуская отчаянные вопли.

— Что случилось? — вскричал мистер Уититерли, врываясь в комнату. — О небо, что я вижу? Джулия, Джулия! Открой глаза, жизнь моя, открой глаза!

Но Джулия упорно не желала открыть глаза и завизжала еще громче. Тогда мистер Уититерли позвонил в колокольчик, заплясал, как сумасшедший, вокруг софы, на которой лежала миссис Уититерли, и истошно завопил, призывая сэра Тамли Снафима и упорно требуя какого-нибудь объяснения происходившей перед ним сцены.

— Беги за сэром Тамли! — закричал мистер Уититерли, обоими кулаками грозя пажу. — Я это предвидел, мисс Никльби, — сказал он, оглядываясь с меланхолическим и торжествующим видом. — Это общество оказалось ей не по силам. Все в ней, знаете ли, одна

душа, все... до последнего кусочка.

После такого заверения мистер Утитерли поднял распростертую брентную оболочку миссис Утитерли и отнес ее на кровать.

Кэт подождала, пока сэр Тамли Снаффим не закончил своего визита и не явился с сообщением, что благодаря специальному вмешательству милосердного провидения (так выразился сэр Тамли) миссис Утитерли заснула. Тогда она быстро оделась, чтобы выйти из дому, и, передав, что вернется часа через два, поспешила к дому своего дяди.

Для Ральфа Никльби день выдался весьма удачный, прямо-таки счастливый день. Когда он шагал взад и вперед по своему маленькому кабинету, заложив руки за спину и мысленно подсчитывая суммы, которые застряли или застрянут в его сети благодаря делам, проведенным с утра, рот его растягивался в жесткую, суровую улыбку, а твердость линий и изгибов, образовавших эту улыбку, и хитрое выражение холодных блестящих глаз как будто говорили, что, если беспощадность или хитрость могут увеличить прибыль, он не преминет прибегнуть к ним для этой цели.

— Прекрасно! — сказал Ральф, несомненно намекая на какую-то операцию этого дня. — Он бросает вызов ростовщику? Хорошо, посмотрим. «Честность — наилучшая политика», вот как? Испробуем и это.

Он остановился, затем снова стал шагать.

— Он рад, — сказал Ральф, растягивая рот и улыбку, — рад противопоставить свою всем известную репутацию и порядочность власти денег. «Презренный металл» — так он их называет. Каким безмозглым идиотом должен быть этот человек! Презренный металл! Как бы не так! Кто там?

— Я, — сказал Ньюмен Ногс. — Ваша племянница.

— Ну, так что с ней? — резко спросил Ральф.

— Она здесь.

— Здесь?

Ньюмен мотнул головой в сторону своей комнатки, давая понять, что она ждет там.

— Что ей нужно? — осведомился Ральф.

— Не знаю, — ответил Ньюмен. — Спросить? — быстро добавил он.

— Нет, — возразил Ральф. — Впустите ее... Пойдите! — Он быстро спрятал стоявшую на столе шкатулку с деньгами, снабженную висющим замком, и на ее место положил пустой кошелек. — Вот теперь она может войти!

Хмуро улыбнувшись этому маневру, Ньюмен дал знак молодой леди войти и, придвинув ей стул, удалился; медленно уходя и прихрамывая, он украдкой поглядывал через плечо на Ральфа.

— Ну-с, — сказал Ральф довольно грубо, но все-таки в тоне его было больше добродушия, чем мог бы он проявить по отношению к кому бы то ни было другому. — Ну-с, моя... дорогая? Что у вас там еще?

Кэт подняла глаза, полные слез, и, сделав усилие, чтобы совладать со своим волнением, попыталась заговорить, но безуспешно. Снова опустив голову, она молчала. Ральфу не видно было ее лица, но он знал, что она плачет.

«Я угадываю причину, — подумал Ральф, некоторое время смотревший на нее молча. — Я угадываю причину. Ну-ну! — подумал Ральф, на секунду совсем растерявшись при виде терзаний своей красивой племянницы. — Велика беда! Всего несколько слезинок, а ей это послужит превосходным уроком, превосходным уроком».

— В чем дело? — спросил Ральф, придвигая стул и сядя против нее.

Его слегка смутила внезапная решимость, с какой Кэт подняла глаза и ответила ему.

— Дело, которое привело меня сюда, сэр, такого свойства, что вам должна кровь броситься в лицо и вам придется гореть от стыда, слушая меня, как горю я, рассказывая! Мне нанесли тяжелую обиду, мои чувства оскорблены, возмущены, ранены смертельно вашими друзьями.

— Друзьями! — нахмурясь, воскликнул Ральф. — Милая моя, у меня нет друзей.

— Значит, людьми, которых я встретила здесь! — воскликнула Кэт. — Если они вам не друзья и вы знали, что они за люди, о, тем стыднее вам, дядя, что вы ввели меня в их среду! Если вы подвергли меня таким испытаниям, потому что были обмануты в своей доверии или недостаточно знали ваших гостей, то и тогда вина ваша велика! Но если вы это сделали, зная их хорошо, — а теперь я думаю, что так оно и было, — то это величайшая подлость и жестокость!

Ральф отпрянул, приведенный в полное изумление этими откровенными словами, и бросил на Кэт самый суровый взгляд. Но она встретила его гордо и непоколебимо, и ее лицо, хотя и очень бледное, казалось сейчас, в минуту волнения, более благородным и прекрасным, чем когда бы то ни было.

— Я вижу, и в вас есть кровь этого мальчишки, сказал Ральф самым жестким своим тоном, когда вспыхнувшие ее глаза напомнили ему Николаю во время последнего их свидания.

— Надеюсь, что да! — ответила Кэт. — Я должна этим гордиться. Я молода, дядя, горести и трудности моего положения заставили меня склонить голову, но дольше я, дочь вашего брата, не хочу переносить эти оскорбления!

— Какие оскорбления, моя милая? — резко спросил Ральф.

— Вспомните, что произошло здесь, и задайте этот вопрос себе! — густо покраснев, ответила Кэт. — Дядя, вы должны — я уверена, что вы это сделаете, — должны избавить меня от общества гнусных и подлых людей, перед которыми я теперь беззащитна. Я не хочу, — сказала Кэт, быстро подойдя к старику и положив руку ему на плечо, — я не хочу быть вспыльчивой, я прошу у вас прощения, если вам показалось, что я вспылила, дорогой дядя, но вы не знаете, конечно вы не знаете, как я страдала. Вы не можете знать сердце молодой девушки — я не имею никакого права ждать этого от вас. Но, когда я говорю вам, что я несчастна, что сердце у меня надывается, я уверена, что вы мне поможете. Я уверена, уверена!

Ральф мгновение смотрел на нее, потом отвернулся и стал нервно постукивать ногой по полу.

— Я терпела день за днем, — сказала Кэт, наклоняясь к нему и робко вкладывая маленькую ручку в его руку, — надеясь, что это преследование прекратится. Я терпела день за днем и должна была притворяться веселой, когда я была так несчастна. У меня не было ни помощника, ни советчика — никого, кто бы меня защитил. Мама думает, что они люди достойные, богатые, благовоспитанные, и как могу я, как могу я раскрыть ей глаза, когда ее так радуют эти маленькие иллюзии, а других радостей у нее нет? Леди, к которой вы меня поместили, не такая особа, чтобы я могла ей довериться в столь деликатном вопросе, и вот, наконец, я пришла к вам, к единственному другу, который здесь, близко, чуть ли не единственному другу, какой есть у меня на свете, — чтобы просить и умолять вас мне помочь!

— Как я могу помочь вам, дитя? — спросил Ральф, вставая со стула, и принялся шагать по комнате, снова заложив руки за спину.

— Я знаю, на одного из этих людей вы имеете влияние, — решительно заявила Кэт. — Разве ваше слово не заставит их тотчас же отказаться от этого недостойного поведения?

— Нет, — ответил Ральф, неожиданно повернувшись. — А если бы и заставило, я не могу сказать его.

— Не можете сказать его?

— Не могу, — повторил Ральф, останавливаясь как вкопанный и крепче сжимая за спиной руки. — Я не могу сказать его.

Кэт отступила шага на два и посмотрела на него, словно сомневаясь, не ослышалась ли она.

— Мы связаны делами, — сказал Ральф, балансируя то на носках, то на каблуках и холодно глядя в лицо племяннице, — делами, и я не могу нанести оскорбление этим людям. В конце концов что за беда? У нас у всех бывают свои испытания, и это одно из ваших. Иные

девушки гордились бы, видя у своих ног таких поклонников.

— Гордились! — вскричала Кэт.

— Я не говорю, что вы не правы, презирая их, — продолжал Ральф, подняв указательный палец. — Нет, в этом вы проявили здравый смысл, как я и предвидел с самого начала. Ну что ж, прекрасно. Во всех других отношениях вы хорошо устроены. С вашим положением не так уж трудно мириться. Если этот молодой лорд ходит за вами по пятам и нашептывает вам на ухо бессмысленный вздор, что за беда? Страсть эта безнравственна? Пусть так: долго она не продлится. В один из ближайших дней появится что-нибудь новенькое, и вы будете свободны. А пока...

— А пока, — перебила Кэт со справедливым чувством гордости и негодования, — я должна быть позором для моего пола и игрушкой для другого, навлекать на себя заслуженное осуждение всех порядочных женщин и презрение всех честных и достойных мужчин, терять уважение к себе и быть униженной в глазах всех, кто на меня смотрит! Нет, этого не будет, хотя бы мне пришлось трудиться, стирая пальцы до кости, хотя бы я должна была взяться за самую грязную и тяжелую работу! Не поймите меня превратно. Я не опорочу вашей рекомендации. Я останусь в этом доме, куда вы меня поместили, пока не буду вправе покинуть его по условиям моего соглашения, но помните: тех людей я больше не увижу! Когда я оттуда уйду, я спрячусь от них и от вас, и, принявшись за тяжелый труд, чтобы содержать мать, я буду по крайней мере жить спокойно и верить, что бог мне поможет!

С этими словами она махнула рукой и вышла из комнаты, оставив Ральфа Никльби застывшим, как статую.

Закрыв дверь, Кэт едва не вскрикнула от удивления, обнаружив Ньюмена Ногса, стоявшего в маленькой нише в стене, словно воронье пугало или Гай Фокс⁵⁹, спрятанный на зиму в чулан. Но у нее хватило присутствия духа сдержать себя, так как Ньюмен приложил палец к губам.

— Не надо, — сказал Ньюмен, выскользнув из своего тайника и провожая ее через холл. — Не плачьте, не плачьте.

А в это время две крупные слезы катились по щекам Ньюмена.

— Я знаю, каково вам! — сказал бедный Ногс, вытаскивая из кармана нечто похожее на старую пыльную тряпку и вытирая ею глаза Кэт с такою нежностью, словно она была малюткой. — Сейчас вы ослабели. Да, да, очень хорошо. Это правильно, мне это нравится. Правильно, что не ослабели перед ним. Да, да. Ха-ха-ха! О да! Бедняжка!

С такими бессвязными восклицаниями Ньюмен вытер и себе глаза упомянутой пыльной тряпкой и, проковыляв к входной двери, открыл ее, чтобы выпустить Кэт.

— Не плачьте больше, — прошептал Ньюмен. — Скоро я вас увижу. Ха-ха-ха! И еще кто-то вас увидит. Да, да. Хо-хо!

— Да благословит вас бог, — сказала Кэт, быстро уходя. — Да благословит вас бог!

— И вас также! — подхватил Ньюмен, снова приоткрыв немного дверь, чтобы сказать эти слова. — Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!

И Ньюмен Ногс еще раз открыл дверь, чтобы весело кивнуть и засмеяться, и закрыл ее, чтобы горестно покачать головой и заплакать.

Ральф оставался в прежней позе, пока не услышал стука захлопнувшейся двери, после чего пожал плечами и, пройдясь несколько раз по комнате, сначала быстро, потом, по мере того как приходил в себя замедляя шаги, — сел к столу.

Вот одна из тех загадок человеческой природы, которые могут быть поставлены, но не разрешены. Хотя в тот момент Ральф несколько не раскаивался в своем поведении по отношению к невинной, чистосердечной девушке, хотя его распутные клиенты поступили именно так, как он рассчитывал — именно так, как он больше всего желал, именно так, как было ему наиболее выгодно, — однако он всей душой ненавидел их за то, что они так поступили.

— Уф! — сказал Ральф, хмурясь и грозя кулаком, когда в его воображении возникли лица двух распутников. — Вы за это заплатите. О, вы за это заплатите!

Ростовщик в поисках утешения обратился к своим книгам и бумагам, а за дверью его делового кабинета шел спектакль, который привел бы его в немалое изумление, если бы он каким-то образом мог взглянуть на него.

Ньюмен Ногс был единственным актером. Он стоял в нескольких шагах от двери, повернувшись к ней лицом, и, засучив рукава, занимался тем, что осыпал по всем правилам искусства самыми энергическими ударами пустое пространство.

На первый взгляд это могло показаться лишь мудрой мерой предосторожности человека, ведущего сидячий образ жизни, — мерой, принимаемой для расширения грудной клетки и развития ручных мышц. Но напряжение и радость на лице Ньюмена Ногса, которое было залито потом, изумительное упорство, с каким он направлял непрерывный поток ударов в сторону дверной филенки, примерно в пяти футах девяти дюймах от пола, и неутомимость, с какой он действовал, — все это в достаточной мере объяснило бы зоркому наблюдателю, что Ньюмен Ногс в воображении своем избивает до полусмерти своего весьма деятельного хозяина, мистера Ральфа Никльби.

Глава XXIX,

О делах Николаса, и о разладе в труппе мистера Винсента Крамльса

Неожиданный успех и благоволение, с которым был принят первый опыт Николаса в Портсмуте, побудили мистера Крамльса затянуть пребывание в этом городе на две недели дольше срока, назначенного им первоначально для своего визита, и за это время Николас сыграл множество разнообразнейших ролей с неизменным успехом и привлек в театр столь многих зрителей, раньше никогда там не бывавших, что бенефис показался директору многообещающей затеей. Так как Николас согласился на предложенные условия, бенефис был назначен, и благодаря ему он выручил ни больше ни меньше как двадцать фунтов.

Оказавшись неожиданным обладателем такого богатства, Николас первым делом отправил по почте славному Джону Брауди сумму, равную его дружеской ссуде; посылку денег он сопровождал изъявлениями благодарности и уважения и сердечными пожеланиями счастья в супружеской жизни. Ньюмену Ногсу он послал половину полученных денег, умоляя его найти случай вручить деньги Кэт потихоньку и передать ей горячие заверения в его любви и привязанности. Он ни словом не упомянул о том, какое нашел себе занятие, только уведомил Ньюмена, что письмо, адресованное ему на вымышленную его фамилию в Портсмут, Почтамт, всегда дойдет до него, и умолял достойного друга написать подробно о положении матери и сестры и дать отчет обо всех великих благодеяниях, какие оказал им Ральф Никльби со времени его отъезда из Лондона.

— Вам не по себе, — сказал Смайк в тот вечер, когда было отправлено письмо.

— Ничуть не бывало, — возразил Николас с напускной веселостью, чтобы не сделать юношу несчастным на весь вечер. — Я думал о моей сестре, Смайк.

— О сестре?

— Да.

— Она похожа на вас? — осведомился Смайк.

— Говорят, что похожа, — смеясь, ответил Николас, — только гораздо красивее.

— Значит, она очень красива, — слазил Смайк, после того как некоторое время молча размышлял, сложив руки и не спуская глаз со своего друга.

— Каждый, кто не знает вас так, как знаю я, сказал бы, что вы — настоящий кавалер, — заявил Николас.

— А я даже не понимаю, что это значит, — покачивая головой, заметил Смайк. — Увижу я когда-нибудь вашу сестру?

— Конечно! — воскликнул Николас. — Скоро мы будем жить все вместе... когда мы разбогатеем, Смайк.

— Как это случилось, что у вас, такого ласкового и доброго ко мне, нет никого, кто был бы добр к вам? — спросил Смайк. — Я не могу понять.

— Ну, это длинная история, — ответил Николас, — и боюсь, что ее вам нелегко будет понять. У меня есть враг — вы знаете, что значит иметь врага?

— О да, это я знаю, — сказал Смайк.

— Так вот, он тому причина, — продолжал Николае. — Он богат, и его не так легко наказать, как вашего старого врага мистера Сквирса. Он мой дядя, но он негодяй и причинил мне зло.

— Это правда? — спросил Смайк, с волнением наклоняясь вперед. — Как его зовут? Скажите мне его имя.

— Ральф, Ральф Никльби.

— Ральф Никльби, — повторил Смайк. — Ральф. Это имя я заучу наизусть.

Он пробормотал его себе под нос раз двадцать, но тут громкий стук в дверь отвлек его от этого занятия. Не успел он ее открыть, как мистер Фолер, пантомимист, просунул голову в комнату.

Голова мистера Фолера обычно была украшена круглой шляпой с необычно высокой тульей и круто загнутыми полями. На этот раз он надел ее совсем набекрень и задом наперед, так как сзади она меньше порыхлела; шею он обмотал огненно-красным шерстяным шарфом, выбившиеся концы которого выглядывали из-под поношенного ньюмаркетского пальто⁶⁰, очень узкого и застегнутого сверху донизу. В руке он держал одну, очень грязную, перчатку и дешевую тросточку со стеклянной ручкой. Короче говоря, вид у него был ослепительный и свидетельствовал о том, что он уделил своему туалету значительно больше внимания, чем обычно.

— Добрый вечер, сэр, — сказал мистер Фолер, снимая шляпу с высокой тульей и расчесывая волосы пальцами. — Я пришел к вам с поручением. Гм!

— От кого и в чем дело? — осведомился Николас. — У вас сегодня необычайно таинственный вид.

— Холодный, быть может, — возразил мистер Фолер, — быть может, холодный. Тому виной мое положение — вина не моя, мистер Джонсон. Этого требует мое положение, сэр, как общего друга.

Мистер Фолер умолк с весьма внушительным видом и, запустив руку в упомянутую шляпу, извлек оттуда кусок бурой бумаги, затейливо сложенный, из коей вынул записку, которая благодаря этой бумаге осталась чистой и, протянув ее Николасу, сказал:

— Будьте добры прочесть это, сэр. Николас с величайшим изумлением взял записку и сломал печать, поглядывая при этом на мистера Фолера, который, с большим достоинством сдвинув брови и поджав губы, сидел и упорно смотрел в потолок.

Она была адресована Джонсону, эсквайру, через посредство Огастеса Фолера, эсквайра, и изумление Николаево отнюдь не уменьшилось, когда он обнаружил, что она составлена в следующих лаконических выражениях:

«Мистер Ленвил свидетельствует свое глубокое уважение мистеру Джонсону и будет признателен, если он уведомит его, в котором часу завтра утром будет ему наиболее удобно встретиться с мистером Л. в театре с тою целью, чтобы мистер Л. дернул его за нос в присутствии труппы.

Мистер Ленвил просит мистера Джонсона не преминуть назначить ему свидание, так как он пригласил двух-трех друзей, актеров, быть свидетелями церемонии и ни в коем случае не может обмануть их ожидания. Портсмут, вторник вечером».

Было что-то столь восхитительно нелепое в этом письменном вызове, что Николас хотя и возмущился подобной наглостью, однако принужден был закусить губу и раза три

перечитать записку, прежде чем ему удалось в достаточной мере вооружиться серьезностью и строгостью, чтобы обратиться к вражескому посланцу, который не отрывал глаз от потолка и совершенно не изменил выражения своей физиономии.

— Вам известно содержание этой записки, сэр? — спросил он наконец.

— Да, — ответил мистер Фолер, на секунду оглядываясь и тотчас же снова вперив взгляд в потолок.

— А как вы осмелились принести ее сюда, сэр? — осведомился Николас, разорвав ее на мельчайшие кусочки и швырнув в лицо посланцу. — Вы не подумали, что вас пинком спустят с лестницы, сэр?

Мистер Фолер повернул к Николасу голову, украшенную сейчас несколькими обрывками записки, и все так же невозмутимо, с достоинством ответил коротко:

— Нет.

— В таком случае, — сказал Николас, взяв шляпу с высокой тульей и швырнув ее к двери, — советую вам последовать за этой принадлежностью вашего туалета, сэр, иначе вы будете весьма неприятно разочарованы, — и не позже, как через десять секунд...

— Послушайте, Джонсон, — запротестовал мистер Фолер, внезапно потеряв все свое достоинство, — этого, знаете ли, не нужно. Никаких шуток с гардеробом джентльмена!

— Убирайтесь вон! — крикнул Николас. — Негодяй! Как хватило у вас дерзости явиться сюда с таким поручением?

— Фу-фу! — сказал мистер Фолер, разматывая шерстяной шарф и постепенно освобождаясь от него. — Ну, довольно!

— Довольно? — вскричал Николас, приближаясь к нему. — Вон, сэр!

— Фу-фу! Говорю же вам, — возразил мистер Фолер, помахивая рукой, чтобы предупредить новую вспышку гнева, — это было не всерьез. Я просто пошутил.

— Вы бы лучше не забавлялись впредь такими шутками! — сказал Николас. — А не то вам придется убедиться, что тот, над кем вы насмехаетесь, первый приведет угрозу в исполнение и дернет вас за нос! Скажите, пожалуйста, это было написано также в шутку?

— Нет! — объявил актер. — Самым серьезнейшим образом, клянусь честью.

Николас не мог не улыбнуться при виде странной фигуры, которая всегда должна была вызывать скорее смех, чем гнев, а в данном случае казалась особенно смешной: мистер Фолер, опустившись на одно колено, начал крутить надетую на руку шляпу, словно его терзали мучительнейшие опасения, как бы ее не лишили ворса — украшения, которым она уже много месяцев не могла похвастать.

— Послушайте, сэр, — сказал Николас, поневоле рассмеявшись, — будьте добры объясниться.

— Я вам изложу, как было дело, — сказал мистер Фолер, с большим хладнокровием усаживаясь на стул. — С тех пор как вы сюда приехали, у Ленвила ничего не осталось, кроме второстепенных ролей, и вместо приема каждый вечер, как бывало раньше, публика к его выходу относится так, словно он — никто.

— Что вы называете приемом? — осведомился Николас.

— О боги! — воскликнул мистер Фолер. — Какой же вы наивный пастушок, Джонсон! Ну, разумеется, аплодисменты публики при первом выходе! И вот он выходил вечер за вечером, не получая ни одного хлопка, тогда как вас приветствовали рукоплесканиями по крайней мере два, а иногда и три раза, так что, наконец, он впал в отчаяние и вчера вечером совсем было уже решил играть Тибальда с настоящей шпагой и проколоть вас — не опасно, а только... чтобы уложить вас месяца на два.

— Очень деликатно с его стороны, — заметил Николас.

— Да, я тоже так думаю, если принять во внимание обстоятельства: на карту была поставлена его репутация актера, — очень серьезно сказал мистер Фолер. — Но мужество ему изменило, и он стал придумывать какой-нибудь другой способ досадить вам и в то же время завоевать себе популярность, ибо в этом суть. Громкая молва! Вот что ему нужно. Ах, боже мой, если бы он вас проколол, — сказал мистер Фолер, приостановившись, чтобы

произвести в уме вычисления, — это бы ему принесло — ах! — это бы ему принесло восемь или десять шиллингов в неделю. Весь город пошел бы смотреть актера, который случайно чуть не убил человека. Я бы не удивился, если бы это доставило ему ангажемент в Лондоне. Однако он принужден был испробовать какое-нибудь другое средство стать популярным, и вот это и пришло ему в голову. Право же, идея недурна! Если бы вы трусили и позволили ему дернуть вас за нос, он постарался бы, чтобы это попало в газету; если бы вы поклялись изувечить его, об этом тоже напечатали бы, и о нем говорили бы столько же, сколько и о вас, понимаете?

— О, разумеется! — отозвался Николас. — А что, если бы я смешал ему все карты и дернул его за нос, что тогда? Принесло бы это ему удачу?

— Ну, не думаю, — ответил мистер Фолер, почесывая голову, — потому что в этом не было бы ничего романтического и такая известность не пошла бы ему на пользу. Но, сказать вам по правде, этого он почти не принимал в расчет: вы всегда так ласковы и любезны и пользуетесь такой любовью наших дам, что мы не допускали мысли о вашем сопротивлении. Впрочем, если бы это и случилось, у него есть средство выпутаться благополучно, будьте уверены.

— Вот как? — отозвался Николас. — Завтра утром мы это проверим. А пока вы можете дать какой вам вздумается отчет о нашем свидании. Спокойной ночи.

Так как мистер Фолер был хорошо известен среди собратьев-актеров как любитель сеять раздор и отнюдь не отличался щепетильностью, Николас нисколько не сомневался в том, что он тайком подстрекнул трагика к такому образу действий. Мало того, он выполнил бы свое поручение чрезвычайно высокомерно, если бы не был сбит с толку весьма неожиданным протестом, который оно вызвало. Однако не имело смысла относиться к нему серьезно, и Николас выпроводил пантомимиста, деликатно намекнув, что в случае нового оскорбления ему грозит опасность остаться с проломанной головой. Мистер Фолер, весьма добродушно выслушав предостережение, удалился, чтобы побеседовать со своим другом и дать о своей миссии такой отчет, какой, по его мнению, наиболее способствовал бы исполнению намеченного плана.

Несомненно, он доложил, что Николас вне себя от страха, ибо на следующее утро, когда сей молодой джентльмен спокойно отправился в обычный час в театр, он застал всю труппу в явном ожидании, а мистер Ленвил, соорудив самую свирепую трагическую мину, величественно восседал на столе и вызывающе посвистывал.

Леди были на стороне Николаса, а джентльмены (будучи ревнивы) оказались на стороне разочарованного трагика; поэтому последние образовали маленькую группу вокруг грозного мистера Ленвила, а первые наблюдали издали не без трепета и волнения. Когда Николас остановился, чтобы поздороваться с ними, мистер Ленвил презрительно захохотал и высказал общие замечания о природе щенят.

— А! — сказал Николас, спокойно оглянувшись. — Вы здесь?

— Раб! — отвечивал мистер Ленвил, помахивая правой рукой и приближаясь к Николасу театральным шагом.

Но почему-то в этот момент он казался слегка удивленным, словно у Николаса был не такой уж испуганный вид, как он ожидал, и вдруг неуклюже остановился, причем собравшиеся леди разразились визгливым смехом.

— Предмет моей злобы и ненависти! — сказал мистер Ленвил. — Я питаю презрение к вам!

Николас рассмеялся, наслаждаясь этим совершенно неожиданным представлением, а леди в виде поощрения засмеялись еще громче, тогда как мистер Ленвил воспользовался самой горькой из своих улыбок и назвал их «фаворитками».

— Но они вас не защитят! — сказал трагик, окидывая Николаса взглядом снизу вверх, начиная с его башмаков и кончая макушкой, а затем сверху вниз, начиная с макушки и кончая башмаками (эти два взгляда, как всем известно, выражают на сцене вызов). — Они вас не защитят, мальчишка!

При этих словах мистер Ленвил скрестил руки и угостил Николаса той миной, с какой в мелодраматических ролях он имел обыкновение взирать на королей-тиранов, когда те говорили: «Бросьте его в самую глубокую темницу под рвом замка», и которая, как известно, производила в свое время при слабом бряцании цепей чрезвычайно сильное впечатление.

То ли из-за отсутствия цепей, то ли по какой-нибудь другой причине, но на противника мистера Ленвила это возымело не очень сильное действие и скорее способствовало веселому расположению духа, отразившемуся на его физиономии. В этой стадии поединка два-три джентльмена, пришедшие специально с целью быть свидетелями, как Николаса дернут за нос, проявили признаки нетерпения, пробормотав, что если уж вообще это делать, то лучше сделать сразу, и что если мистер Ленвил не намерен это делать, то пусть он так и скажет и не заставляет их ждать. Таким образом понукаемый, трагик поправил обшлаг правого рукава для произведения вышеупомянутой операции и величественной поступью направился к Николасу, который дал ему подойти на требуемую дистанцию, а затем, сохраняя полнейшее спокойствие, сбил с ног одним ударом.

Не успел поверженный трагик оторвать голову от пола, как миссис Ленвил (которая, как было упомянуто выше, находилась в интересном положении) выбежала из задней шеренги дам и, испустив пронзительный вопль, упала на его тело.

— Вы это видите, чудовище! Видите вы это? — вскричал мистер Ленвил, садясь и указывая на свою расprostертую леди, которая крепко обхватила его за талию.

— Полно! — сказал Николас, кивая головой. — Принесите извинения за дерзкую записку, которую вы мне вчера прислали, и не тратьте времени на болтовню!

— Никогда! — крикнул мистер Ленвил.

— Извинись, извинись! — застонала его жена. — Ради меня, ради меня, Ленвил, откажись от всех условностей, иначе увидишь меня бездыханным трупом у своих ног!

— Это трогательно! — сказал мистер Ленвил, озираясь и проводя тыльной стороной руки по глазам. — Узы природы сильны. Слабый супруг и отец — будущий отец — смягчается. Я приношу извинения.

— Смиренно и покорно? — спросил Николас.

— Смиренно и покорно, — подтвердил трагик, хмуро поднимая глаза. — Но только чтобы спасти ее, ибо настанет день...

— Прекрасно, — сказал Николас, — надеюсь, для миссис Ленвил он будет счастливым, а когда он настанет и вы будете отцом, вы возьмете назад свои извинения, если у вас хватит храбрости. В следующий раз, сэр, подумайте о том, до чего вас может довести ваша зависть. И подумайте также о том, что нужно удостовериться, каков характер у вашего противника, прежде чем заходить слишком далеко.

С этим прощальным советом Николас поднял ясеневую трость мистера Ленвила, которую тот уронил и, сломав ее пополам, швырнул ему обломки и удалился.

С глубочайшим уважением относились все в тот вечер к Николасу. Те, кому утром не терпелось, чтобы его дернули за нос, ловили случай отвести его в сторонку и поведать, сколь они довольны, что он надлежащим образом проучил Ленвила, несноснейшего человека, которого все они, по замечательному совпадению, намеревались подвергнуть рано или поздно заслуженному наказанию, от чего их удерживали только соображения, продиктованные милосердием. Право же, если судить по неизменному окончанию всех этих рассказов, не бывало еще на свете таких сострадательных и добрых людей, как представители мужского пола в труппе мистера Крамльса.

Николас принял свой триумф так же, как и свой успех в маленьком театральном мире: с величайшей сдержанностью и добродушием. Павший духом мистер Ленвил сделал жалкую попытку отомстить, послав какого-то юнца свистеть на галерку, но тот пал жертвой народного негодования и был быстро изгнан, не получив денег обратно.

— Ну что, Смайк? — спросил Николас, когда была сыграна первая пьеса и он кончал переодеваться, чтобы идти домой. — Нет ли письма?

— Есть, — ответил Смайк. — Вот что я принес с почты.

— От Ньюмена Ногса, — сказал Николас, взглянув на неразборчиво написанный адрес. — Нелегкое дело разобрать его писания. Посмотрим, посмотрим.

После получасового внимательного изучения письма он ухитрился овладеть его содержанием, которое, разумеется, было не таково, чтобы его успокоить. Ньюмен взял на себя ответственность отослать ему обратно десять фунтов, сообщая, что, как он установил, ни миссис Никльби, ни Кэт в настоящее время не испытывают нужды в деньгах и что скоро может настать день, когда они больше понадобятся самому Николасу. Он умолял его не беспокоиться по поводу того, что он пишет ему дальше: никаких дурных новостей нет — они в добром здоровье, — но он полагает, что для Кэт может оказаться совершенно необходимым воспользоваться защитой брата; и буде это случится, писал Ньюмен, он даст ему тотчас же знать.

Николас много раз перечитал это место, и чем больше он о нем думал, тем сильнее начинал опасаться какого-нибудь вероломства со стороны Ральфа. Раза два он почувствовал соблазн поехать на авось в Лондон, не медля ни часа, но недолгие размышления убедили его в том, что в случае необходимости такого шага Ньюмен был бы откровенен и сейчас же написал бы ему об этом.

— Как бы там ни было, я должен предупредить их здесь о возможности моего внезапного отъезда, — сказал Николас. — Нужно это сделать не теряя времени.

Как только эта мысль пришла ему в голову, он взял шляпу и поспешил в фойе для актеров.

— Итак, мистер Джонсон, — сказала миссис Крамльс, которая сидела там в полном королевском уборе, держа в материнских объятиях феномена в костюме девы, — на будущей неделе в Райд, затем в Уинчестер, затем...

— У меня есть основания опасаться, — перебил Николае, — что, прежде чем вы отсюда уедете, моя карьера у вас будет закончена.

— Закончена? — вскричала миссис Крамльс, в изумлении воздев руки.

— Закончена? — вскричала облаченная в трико мисс Сневелличчи, так сильно задрожав, что даже вынуждена была опереться о плечо директрисы.

— Уж не хочет ли он сказать, что уезжает? — воскликнула миссис Граден, приближаясь к миссис Крамльс. — Вздор! Глупости!

Феномен, будучи по природе своей привязчив и вдобавок легко возбудим, издал громкий вопль, а мисс Бельвони и мисс Бравасса по-настоящему прослезились. Даже мужской персонал труппы оборвал беседу и повторил слово «уезжает!», хотя некоторые актеры (а они-то громче всех поздравляли его в тот день) перемигнулись, словно им не жаль было потерять столь удачливого соперника, — мнение, которое честный мистер Фолер, уже переодетый дикарем, откровенно высказал в нескольких словах демону, с коим распивал кружку портера.

Николас коротко сказал, что такие опасения у него есть, хотя говорить с уверенностью он еще не может, и, постаравшись поскорее уйти, отправился домой перечитывать письмо Ньюмена и заново его обдумывать.

Каким ничтожным казалось ему в эту бессонную ночь все, что в течение многих недель занимало его время и мысли, и как упорно и настойчиво представлялось его воображению, что, может быть, в эту самую минуту Кэт, окруженная какими-то опасностями, в отчаянии призывает его — и призывает тщетно!

Глава XXX,

Празднества в честь Николаса, который внезапно покидает мистера Винсента Крамльса и своих театральных приятелей

Едва узнав о том, что Николас публично заявил о возможности выхода из труппы в

ближайшее время, мистер Винсент Крамльс обнаружил все признаки скорби и ужаса и в порыве отчаяния дал даже некоторые туманные обещания повисить незамедлительно не только постоянное его жалование, но и случайное вознаграждение за авторство. Убедившись, что Николас твердо намерен покинуть труппу (ибо теперь он решил, что, даже если не будет больше известий от Ньюмена, он для своего успокоения на всякий случай отправится в Лондон и удостоверится, каково в действительности положение его сестры), мистер Крамльс поневоле должен был довольствоваться подсчитыванием шансов на его возвращение и принятием быстрых и энергических мер для извлечения наибольшей выгоды из него, пока он не уехал.

— Позвольте-ка, — сказал мистер Крамльс, снимая свой парик изгнанника, дабы со свежей головой обдумать создавшуюся ситуацию, — позвольте-ка: сегодня у нас среда, вечер. Утром мы первым делом развесим афиши, объявляющие категорически о вашем последнем выступлении завтра.

— Но, возможно, это будет не последнее мое выступление, — сказал Николас. — Если меня не вызовут, я бы не хотел поставить вас в затруднительное положение, уйдя до конца недели.

— Тем лучше, — сказал мистер Крамльс. — У вас может быть безусловно самое последнее выступление в четверг, ангажемент на один вечер в пятницу и, уступая желанию многочисленных влиятельных патронов, которым не удалось достать места, — в субботу. Это должно дать три весьма приличных сбора.

— Значит, у меня будет три последних выступления? — улыбаясь, спросил Николас.

— Вот именно, — отозвался директор, с огорченным видом почесывая голову. — Трех недостаточно, и по всем правилам полагается устроить еще несколько, но раз ничего нельзя поделать, значит ничего не поделаешь, а стало быть, и говорить об этом не стоит. Что-нибудь новенькое было бы очень желательно. Вы не могли бы спеть комическую песенку верхом на пони?

— Нет, не могу, — ответил Николас.

— Прежде это приносило деньги, — с разочарованным видом сказал мистер Крамльс. — Что вы скажете по поводу ослепительного фейерверка?

— Это обошлось бы довольно дорого, — сухо отозвался Николас.

— Хватило бы восемнадцати пенсов, — сказал мистер Крамльс. — Вы с феноменом на возвышении в две ступени в живой картине: сзади на транспаранте — «Счастливого пути», и девять человек вдоль кулис с петардами в обеих руках — все полторы дюжины взрываются сразу. Это было бы грандиозно! Зрелище устрашающее, просто устрашающее!

Так как Николас как будто вовсе не почувствовал величия предполагаемого зрелища, но, наоборот, принял предложение крайне непочтительно и от души посмеялся над ним, мистер Крамльс отказался от проекта в момент его зарождения и хмуро заметил, что они должны дать наилучшую программу с поединками и матросскими танцами и, таким образом, не отступать от узаконенного порядка.

С целью немедленно привести этот план в исполнение директор тотчас отправился в маленькую соседнюю уборную, где миссис Крамльс занималась переделкой одеяния мелодраматической императрицы в обычное платье матроны девятнадцатого века. И с помощью этой леди и талантливой миссис Граден (которая была подлинным гением по составлению афиш, мастерски разбрасывала восклицательные знаки и благодаря многолетнему опыту знала в точности, где именно надлежит быть самым крупным прописным буквам) он приступил к сочинению афиши.

— Уф! — вздохнул Николас, бросаясь в суфлерское кресло, после того как дал необходимые указания Смайку, который играл в интермедии тощего портного в сюртуке с одной полрой, с маленьким носовым платком, украшенным большой дыркой, в шерстяном ночном колпаке, с красным носом и прочими отличительными признаками, свойственными портным на сцене. — Уф! Хотел бы я, чтобы со всем этим было уже покончено!

— Покончено, мистер Джонсон? — с каким-то жалобным удивлением повторил за его

спиной женский голос.

— Вы правы, это было не галантное восклицание, — сказал Николас, подняв голову, чтобы посмотреть, кто говорит, и узнав мисс Сневелличчи. — Я бы его не обронил, если бы предполагал, что вы можете слышать.

— Какой славный этот мистер Дигби! — сказала мисс Сневелличчи, когда портной по окончании пьесы покинул сцену при громких рукоплесканиях. (Дигби был театральный псевдоним Смайка.)

— Я сейчас же передам ваши слова, чтобы доставить ему удовольствие, заявил Николас.

— Ах, какой вы нехороший! — воскликнула мисс Сневелличчи. — А впрочем, не думаю, чтобы для меня имело значение, если он узнает мое мнение о нем; разумеется, кое с кем другим это могло быть...

Тут мисс Сневелличчи запнулась, словно дожидаясь вопроса, но никаких вопросов не последовало, так как Николас размышлял о более серьезных вещах.

— Как мило с вашей стороны, — продолжала мисс Сневелличчи после недолгого молчания, — сидеть здесь и ждать его вечер за вечером, вечер за вечером, каким бы усталым вы себя ни чувствовали, и столько сил тратить на него, и делать все это с такой радостью и охотой, как будто это вам оплачивается золотой монетой!

— Он всецело заслуживает той доброты, с какой я к нему отношусь, и даже гораздо большего, — сказал Николас. — Он — самое благодарное, чистосердечное, самое любящее существо в мире.

— Но он такой странный, не правда ли? — заметила мисс Сневелличчи.

— Да поможет бог ему и тем, кто сделал его таким! Он и в самом деле странный, — покачивая головой, отозвался Николас.

— Он чертовски скрытный парень, — сказал мистер Фолер, который подошел незадолго до этого и теперь вмешался в разговор. — Из него никто ничего не может вытянуть.

— А что хотели бы из него вытянуть? — спросил Николае, резко повернувшись.

— Черт возьми! Как вы запальчивы, Джонсон! — отозвался мистер Фолер, подтягивая задник своей балетной туфли. — Я говорил только о вполне натуральном любопытстве людей здесь, у нас, которые хотели бы знать, чем он занимался всю свою жизнь.

— Бедняга! Мне кажется, совершенно ясно, что он был неспособен заниматься чем-нибудь, представляющим интерес для кого бы то ни было, сказал Николас.

— Совершенно верно! — подхватил актер, созерцая свое отражение в рефлекторе лампы. — Но, знаете ли, в этом-то весь вопрос и заключается.

— Какой вопрос? — осведомился Николас.

— Ну как же? Кто он и что он такое, и как вы двое, такие разные люди, стали такими близкими друзьями, — ответил мистер Фолер, радуясь случаю сказать что-нибудь неприятное. — Это у всех на языке.

— Вероятно, «у всех» в театре? — презрительно сказал Николас.

— И в театре и не только в театре, — отозвался актер. — Вы знаете, Ленвил говорит...

— Я думал, что заставил его замолчать, — покраснев, перебил Николас.

— Возможно, — подхватил невозмутимый мистер Фолер. — В таком случае он это сказал до того, как его заставили замолчать. Ленвил говорит, что вы настоящий актер и что только тайна, вас окружающая, заставила вас поступить в эту труппу, а Крамльс хранит ее в своих интересах, хотя Ленвил не думает, чтобы тут было что-нибудь серьезное, разве что вы попали в какую-нибудь историю и после какой-то выходки должны были откуда-то бежать.

— О! — сказал Николас, пытаясь улыбнуться.

— Вот часть того, что он говорит, — добавил мистер Фолер. — Я упоминаю об этом как друг обеих сторон и строго конфиденциально. Я лично, знаете ли, с ним не согласен. Он говорил, что считает Дигби скорее мошенником, чем дураком, а старик Флягерс, который, знаете ли, на черной работе у нас, так тот говорит, что, когда он в позапрошлом сезоне был

рассыльным в Ковент-Гардене, там, бывало, вертелся около стоянки кэбов карманный воришка — вылитый Дигби, хотя, как он справедливо замечает, это мог быть и не Дигби, а только его брат или близкий родственник.

— О! — снова воскликнул Николас.

— Вот-вот! — сказал мистер Фолер с невозмутимым спокойствием. — Вот что они говорят. Я решил сообщить вам, потому что, право же, вам следует знать. О, наконец-то и благословенный феномен! Уф, маленькая мошенница, хотелось бы мне... Я готов, моя милочка-притворщица... Дайте звонок, миссис Граден, и пусть любимица публики расшевелит ее!

Произнося громким голосом те из последних замечаний, какие были лестны ничего не подозревающему феномену, и сообщая остальное конфиденциально, «в сторону», Николасу, мистер Фолер следил глазами за поднятием занавеса; он наблюдал с усмешкой прием, оказанный мисс Крамльс в роли девы, затем, отступив шага на два, чтобы появиться с наибольшим эффектом, испустил предварительно вопль и «выступил» в роли дикаря-индейца, щелкая зубами и размахивая жестяным томагавком.

«Так вот какие о нас выдумывают истории и распускают слухи! — подумал Николас. — Если человек задумал непростительно оскорбить общество — пусть добьется успеха! Общество — все равно какое, большое или маленькое, — любое преступление ему простит, только не успех».

— Вы, конечно, не обращаете внимания на то, что говорит это злобное существо, мистер Джонсон? — самым обаятельным своим тоном заметила мисс Сневелличчи.

— О да! — ответил Николас. — Если бы я намерен был здесь остаться, может быть, я бы и нашел нужным затеять ссору, ну, а теперь пусть говорят, пока не охрипнут. Но вот, — прибавил Николас, когда подошел Смайк, — вот идет тот, кому они уделили частицу своего доброго отношения, и мы с ним вместе пожелаем вам, с вашего разрешения, спокойной ночи.

— Нет, ни тому, ни другому я этого не разрешу, — возразила мисс Сневелличчи. — Вы должны пойти ко мне познакомиться с мамой, которая только сегодня приехала в Портсмут и умирает от желания увидеть вас. Лед, дорогая моя, уговорите мистера Джонсона!

— О, я уверена, — отозвалась мисс Ледрук с необычайной живостью, — что если вы не можете его уговорить...

Мисс Ледрук больше ничего не сказала, но с мастерской шутливостью дала понять, что если мисс Сневелличчи не могла убедить его, то никто не сможет.

— Мистер и миссис Лиливик сняли квартиру у нас в доме и временно пользуются нашей гостиной, — сказала мисс Сневелличчи. — Может быть, это побудит вас прийти?

— Уверяю вас, кроме вашего приглашения, никакие побудительные причины мне не нужны, — сказал Николас.

— О, я знаю, что это не так! — воскликнула мисс Сневелличчи.

А мисс Ледрук сказала:

— Вот оно что!

Потом мисс Сневелличчи сказала, что мисс Ледрук — ветреница, а мисс Ледрук сказала, что мисс Сневелличчи незачем так краснеть, а мисс Сневелличчи шлепнула мисс Ледрук, а мисс Ледрук шлепнула мисс Сневелличчи.

— Пойдемте, — сказала мисс Ледрук, — нам давно пора быть там, иначе бедная миссис Сневелличчи подумает, что вы сбежали с ее дочерью, мистер Джонсон, поднимется суматоха.

— Дорогая моя Лед, — запротестовала мисс Сневелличчи, — можно ли так говорить?

Мисс Ледрук не дала никакого ответа, но, взяв под руку Смайка, предоставила своей подруге и Николасу следовать за ними, когда им будет угодно. Им было угодно, — или, вернее, угодно Николасу, который, принимая во внимание обстоятельства, не особенно стремился к *tete-a-tete*⁶¹ — сделать это немедленно.

Не было недостатка в темах для разговора, когда они вышли на улицу. Выяснилось, что мисс Сневелличчи должна отнести домой маленькую корзинку, а мисс Ледрук — маленькую картонку, и в той и в другой находились те мелкие принадлежности театрального туалета, какие обычно приносят и уносят актрисы каждый вечер. Николае настаивал на том, чтобы нести корзинку, а мисс Сневелличчи настаивала на том, чтобы нести ее самой, и это привело к борьбе, в которой Николас завладел корзинкой и картонкой. Затем Николас сказал, что интересно было бы познакомиться с содержимым корзинки, и попытался заглянуть в нее, а мисс Сневелличчи взвизгнула и заявила, что непременно упала бы в обморок, будь она уверена, что он действительно туда заглянул.

За этим заявлением последовало такое же покушение на картонку и такие же протесты со стороны мисс Ледрук, а потом обе леди поклялись не делать ни шагу дальше, пока Николас не даст обещания больше не заглядывать. Наконец Николас дал слово не любопытствовать, и они отправились дальше: обе леди хихикали и говорили, что никогда, за всю свою жизнь, не видели они такого ужасного человека, никогда!

Сокращая путь такими шутками, они и не заметили, как дошли до дома портного, а здесь собралось маленькое общество: присутствовали, кроме мистера Лиливика и миссис Лиливик, не только мамаша мисс Сневелличчи, но также и ее папаша. И на редкость интересным мужчиной был папаша мисс Сневелличчи, с орлиным носом, белым лбом, выющимися черными волосами, выступающими скулами. Словом, лицо у него было красивое, но только слегка прыщеватое, словно от пьянства. Очень широкая грудь была у папаши мисс Сневелличчи, и ее туго обтягивал поношенный синий фрак, застегнутый на позолоченные пуговицы, и как только он увидел входившего в комнату Николаса, то засунул два пальца правой руки между двумя средними пуговицами и, грациозно подбоченившись другой рукой, как будто хотел сказать: «Я здесь, а вы, франт, что имеете мне сообщить?»

В такой позе сидел и таков был папаша мисс Сневелличчи, который занимался своей профессией с той поры, как в десятилетнем возрасте начал играть чертенят в святочных пантомимах; он немножко умел петь, немножко танцевать, немножко фехтовать, немножко играть и делать все понемножку, но только понемножку, и перебивал во всех лондонских театрах — то в балете, то в хоре. Благодаря своей фигуре он всегда получал роли пришедших в гости военных и безмолвствующих аристократов, всегда носил элегантный костюм и появлялся под руку с элегантной леди в короткой юбке и всегда проделывал это с таким видом, что нередко публика в партере кричала «браво», считая его в самом деле важной особой. Таков был папаша мисс Сневелличчи; иные завистники возводили на него обвинение, будто он время от времени поколачивает мамашу мисс Сневелличчи, которая все еще была балериной с изящной фигуркой и кое-какими следами былой миловидности и которая сейчас сидела, так же как и танцевала, — будучи старовата для ослепительных огней рамп, — на заднем плане.

Этим славным людям Николас был представлен с большой торжественностью. После церемонии представления папаша мисс Сневелличчи (от которого пахло ромом) сказал, что радуется знакомству со столь высокоталантливым джентльменом, и далее заметил, что такого успеха еще не бывало — да, не бывало — со времени дебюта его друга мистера Главормелли в Кобурге.

— Вы его видели, сэр? — осведомился папаша мисс Сневелличчи.

— Нет, никогда не видел, — ответил Николас.

— Вы никогда не видели моего друга Главормелли, сэр! — воскликнул папаша мисс Сневелличчи. — Значит, вы никогда еще не видели настоящей игры. Будь он жив...

— Так он умер? — перебил Николас.

— Умер, — сказал мистер Сневелличчи, — но не лежит в Вестминстерском аббатстве, и это позор⁶². Он был... Впрочем, неважно. Он ушел в те края, откуда ни один путник не возвращается. Надеюсь, там его оценят.

С такими словами папаша мисс Сневелличчи потер кончик носа сильно пожелтевшим шелковым носовым платком и дал понять обществу, что эти воспоминания его растрогали.

— Мистер Лиливик, — сказал Николас, — как поживаете?

— Очень хорошо, сэр, — ответил сборщик. — Нет ничего лучше супружеской жизни, сэр, можете быть уверены.

— В самом деле? — смеясь, сказал Николас.

— В самом деле, сэр, — торжественно ответил мистер Лиливик. — Как вы находите... — прошептал сборщик, увлекая его в сторону. — Как вы ее находите сегодня вечером?

— Как всегда, прекрасна, — ответил Николас, взглянув на бывшую мисс Питоукер.

— В ней есть что-то, сэр, чего я никогда ни в ком не замечал, прошептал сборщик. — Посмотрите на нее — вот она сделала движение, чтобы поставить чайник. Вот! Ну, не очаровательно ли это, сэр?

— Вы счастливец, — сказал Николас.

— Ха-ха-ха! — отозвался сборщик. — Нет! А вы и в самом деле так думаете? Быть может, и так, быть может, и так. Послушайте, я бы не мог сделать лучший выбор, даже если бы я был молодым человеком, не так ли? Вы сами не могли бы сделать лучший выбор, не правда ли, а? Не могли бы?

Задавая эти и многие другие подобные вопросы, мистер Лиливик ткнул Николасу локтем в бок и хохотал до тех пор, пока лицо у него не побагровело от старания обуздать радость.

К тому времени соединенными усилиями всех леди накрыли скатертью два стула, составленные вместе; один был высокий и узкий, а другой широкий и низкий. В верхнем конце были устрицы, в нижнем сосиски, в центре щипцы для снятия нагара со свечей, а жареный картофель всюду, куда только можно было наиудобнейшим образом его поместить. Принесли еще два стула из спальни; мисс Сневелличчи села во главе стола, а мистер Лиливик в конце его; Николас удостоился чести не только сидеть рядом с мисс Сневелличчи, но и иметь по правую руку мамашу мисс Сневелличчи, а напротив папашу мисс Сневелличчи. Короче говоря, он был героем праздника; а когда убрали со стола и подали некий горячий напиток, папаша мисс Сневелличчи встал и предложил выпить за здоровье Николаса, произнеся спич, содержащий такие трогательные намеки на близкий его отъезд, что мисс Сневелличчи расплакалась и была принуждена удалиться в спальню.

— Ничего! Не обращайтесь внимания, — сказала мисс Ледрук, выглянув из спальни. — Когда она вернется, скажите ей, что она переутомилась.

Мисс Ледрук сопровождала эти слова столь многочисленными таинственными кивками и мрачными взглядами, прежде чем снова закрыла дверь, что глубокое молчание спустилось на всю компанию, в течение коего папаша мисс Сневелличчи смотрел очень внушительно — как смотрят только на сцене — на всех по очереди, но в особенности на Николаса, и то и дело осушал и снова наполнял свой бокал, пока леди не вернулись стайкой, и среди них мисс Сневелличчи.

— Вам совсем не следует беспокоиться, мистер Сневелличчи, — сказала миссис Лиливик. — Она только немножко слаба и нервна; она чувствовала себя неважно с самого утра.

— О! — сказал мистер Сневелличчи. — И это все, да?

— О да, это все! Не поднимайте из-за этого шума! — хором воскликнули все леди.

Но такого рода ответ не вполне соответствовал достоинству мистера Сневелличчи как мужа и отца, поэтому он приступил к злосчастной миссис Сневелличчи и спросил ее, что, черт возьми, имеет она в виду, говоря с ним таким тоном.

— Ах, боже, милый мой! — сказала миссис Сневелличчи.

— Не называйте меня вашим милым, сударыня, — сказал мистер Сневелличчи, — будьте так любезны.

— Пожалуйста, папа, не надо, — вмешалась мисс Сневелличчи.

— Чего не надо, дитя мое?

— Не надо так говорить.

— А почему? — спросил мистер Сневелличчи. — Надеюсь, ты не думаешь, что кто-нибудь из присутствующих может помешать мне говорить, как я желаю?

— Никто и не хочет, папа, — возразила дочь.

— Никто не может, если бы и захотел, — сказал мистер Сневелличчи. — Мне нечего стыдиться. Меня зовут Сневелличчи. Когда я в Лондоне, меня можно найти в Брод-Корт на Боу-стрит. Если меня нет дома, спросите обо мне любого у двери театра. Черт возьми, полагаю, меня должны знать у двери театра?! Очень многие видели мой портрет в сигарной лавке за углом. Обо мне и раньше упоминали в газетах. Говорить! Я вам вот что скажу: если я замечу, что какой бы то ни было мужчина играет чувствами моей дочери, я говорить не буду — я его удивлю без всяких разговоров, вот я каков!

С этими словами мистер Сневелличчи нанес три сильных удара кулаком по ладони левой руки, дернул большим и указательным пальцами правой руки за воображаемый нос и залпом выпил еще стаканчик.

— Вот я каков! — повторил мистер Сневелличчи. У большинства выдающихся людей есть свои недостатки. Сказать по правде, мистер Сневелличчи был отчасти привержен выпивке, или если уж говорить правду, он вряд ли когда бывал трезв. Во хмелю он знал три стадии опьянения: величественную, сварливую и влюбленную. При исполнении своих профессиональных обязанностей он никогда не выходил из стадии величественной, в дружеском кругу он проходил через все три, переправляясь из одной в другую с быстротой, нередко приводившей в недоумение тех, кто не имел чести его знать.

Посему, не успев мистер Сневелличчи опрокинуть еще стаканчик, как он уже улыбался всем присутствующим, блаженно позабыв о проявленных им симптомах драчливости, и с большою живостью предложил тост: «За дам. Да благословит бог их сердечки!...»

— Я их люблю, — сказал мистер Сневелличчи, обводя взглядом стол, — я их всех люблю.

— Не всех, — кротко возразил мистер Лиливик.

— Всех! — повторил мистер Сневелличчи.

— Это, знаете ли, включило бы и замужних леди, — сказал мистер Лиливик.

— Их я тоже люблю, сэр, — сказал мистер Сневелличчи.

Сборщик с видом глубокого изумления посмотрел на окружающие его лица, словно говоря: «Нечего сказать, хороший человек!» — и, казалось, был слегка удивлен, что миссис Лиливик не обнаружила никаких признаков ужаса и негодования.

— За добро платят добром, — сказал мистер Сневелличчи, — я их люблю, и они меня любят.

И, словно мало было этого признания, выражавшего неуважение и презрение ко всем моральным обязанностям, мистер Сневелличчи подмигнул, подмигнул явно и неприкрыто, подмигнул правым глазом Генриетте Лиливик!

Сборщик в крайнем изумлении откинулся на спинку стула. Если бы кто-нибудь подмигнул Генриетте Питоукер, это было бы в высшей степени непристойно, но миссис Лиливик!.. Пока он размышлял об этом, весь в холодном поту, и задавал себе вопрос, не грезит ли он, мистер Сневелличчи опять подмигнул и, показав знаками, что пьет за здоровье миссис Лиливик, осмелился послать ей воздушный поцелуй! Мистер Лиливик поднялся со стула, направился прямо к другому концу стола и мгновенно повалился на мистера Сневелличчи — буквально повалился на него. Мистер Лиливик был тяжеленек, и в результате, когда он повалился на мистера Сневелличчи, мистер Сневелличчи свалился под стол, мистер Лиливик последовал за ним, а леди завизжали.

— Что такое с ними? С ума они, что ли, сошли? — вскричал Николас, ныряя под стол, силком вытаскивая сборщика и впихивая его в кресло, причем мистер Лиливик сложился вдвое, словно был набит опилками. — Что вы намеревались делать? Чего вы хотите? Что такое с вами?

Пока Николас поднимал сборщика, Смайк оказал такую же услугу мистеру

Сневелличчи, который взирал с пьяным изумлением на своего бывшего противника.

— Смотрите, сэр, — ответил мистер Лиливик, указывая на свою изумленную жену, — вот целомудрие в сочетании с изяществом, чьи чувства были возмущены, оскорблены, сэр!

— Боже, что за чепуху он болтает! — воскликнула миссис Лиливик в ответ на вопросительный взгляд Николаса. — Никто ни слова мне не сказал.

— Не сказал, Генриетта! — вскричал сборщик. — Разве я не видел, как он...

Мистер Лиливик не мог заставить себя произнести это слово, но изобразил подмигиванье одним глазом.

— Ну так что ж? — вскричала миссис Лиливик. — Или вы думаете, что никто не должен смотреть на меня? Нечего сказать, приятно быть замужем, если таков закон! Но он не таков!

— Вы ничего против этого не имели? — воскликнул сборщик.

— Ничего не имела! — презрительно повторила миссис Лиливик. — Вы должны на коленях просить у всех прощенья, вот что вы должны сделать.

— Прощенья, дорогая моя? — переспросил смущенный сборщик.

— Да, и прежде всего у меня, — ответила миссис Лиливик. — Или, по-вашему, не я являюсь наилучшим судьей, что прилично и что неприлично?

— Совершенно верно! — подхватили все леди. — Разве, по-вашему, не мы должны были заговорить первыми, если бы случилось что-нибудь такое, на что следовало обратить внимание?

— Разве, по-вашему, они не знают, сэр? — сказал папаша мисс Сневелличчи, подтягивая воротничок и бормоча что-то о затрещинах и о том, что его удерживает только уважение к старости. При этом папаша мисс Сневелличчи несколько секунд смотрел пристально и сурово на мистера Лиливика, а затем, решительно встав со стула, перецеловал всех леди по кругу, начав с миссис Лиливик.

Злополучный сборщик жалобно взглянул на свою жену, словно присматриваясь, не осталось ли хоть какой-нибудь черты мисс Питоукер в миссис Лиливик, и, увидев слишком ясно, что ничего не осталось, с большим смирением попросил прощения у всей компании и сел на свое место с таким сокрушенным, унылым и разочарованным видом, что, несмотря на свой эгоизм и слабоумие, поистине внушал сострадание.

Папаша мисс Сневелличчи, восхищенный этим триумфом и неопровержимым доказательством своей популярности у прекрасного пола, тотчас же стал очень весел, чтобы не сказать буен. Не дожидаясь просьб, он исполнял чрезвычайно длинные песни, а в промежутках между ними угощал гостей воспоминаниями о разных ослепительных женщинах, которые якобы пылали к нему страстью; за иных из них он провозглашал тост, называя их по именам и в то же время пользуясь случаем заметить, что если бы он чуточку больше внимания уделял своим интересам, то разъезжал бы сейчас в собственном экипаже, запряженном четверкой. По-видимому, эти воспоминания не причиняли чересчур мучительной боли сердцу миссис Сневелличчи, которая была в достаточной мере занята, повествуя Николасу о разнообразных достоинствах и совершенствах своей дочери. Да и сама молодая леди отнюдь не отставала от нее, пуская в ход самые изысканные свои приманки; но они, несмотря на хитрые уловки мисс Ледрук, не возымели никакого действия и не вызвали ухаживанья со стороны Николаса, который, еще храня воспоминание об инциденте с мисс Сквирс, стойко противился всем чарам и вел себя с такой сугубой осторожностью, что, когда он распрощался, леди единогласно признали его бесчувственным чудовищем.

На следующий день в надлежащее время появились афиши всех цветов радуги и буквами, страдающими всеми видами искривления позвоночника, оповестили публику о том, что мистер Джонсон будет иметь честь в последний раз появиться в этот вечер на сцене, и о том, что следует заблаговременно позаботиться о местах ввиду чрезвычайного наплыва зрителей, сопровождающего его выступлениям. В театральной истории факт замечательный, но давно установленный неоспоримо: безнадежна попытка заманить людей в театр, если не внушить сначала уверенности, что им никак не удастся туда попасть.

Явившись в тот вечер в театр, Николас не знал, чем объяснить необычное смятение и возбуждение, отражавшиеся на физиономиях всех актеров, но ему недолго пришлось гадать о причине: не успел он о ней осведомиться, как к нему подошел мистер Крамльс и взволнованным голосом сообщил, что в ложе присутствует лондонский антрепренер.

— Это феномен, будьте уверены, сэр! — сказал Крамльс, увлекая Николаса к маленькой дырочке в занавесе, чтобы он мог поглядеть на лондонского антрепренера. — Я нимало не сомневаюсь, что это слава феномена... Вот он: тот, что в пальто и без воротничка... Она будет получать десять фунтов в месяц, Джонсон, ни на фартинг меньше, иначе она не покажется на лондонских подмостках. И им не удастся подписать с ней ангажемент, если они не ангажируют также и миссис Крамльс — двадцать фунтов в неделю за пару. Или вот что я вам скажу: я дам в придачу самого себя и обоих мальчиков, и тогда они получают всю семью за тридцать. Более справедливых условий я предложить не могу. Они должны будут взять нас всех, если никто из нас не пойдет один. Так поступают иные лондонцы, и это всегда удается. Тридцать фунтов в неделю. Слишком дешево, Джонсон. Чертовски дешево.

Николас отвечал, что это несомненно дешево, и мистер Винсент Крамльс, взяв для успокоения своих чувств несколько основательных понюшек табаку, поспешил к миссис Крамльс сообщить, что он окончательно остановился на единственно приемлемых условиях и решил не уступать ни одного фартинга.

Когда все были облачены в костюмы и занавес поднялся, возбуждение, вызванное присутствием лондонского антрепренера, усилилось в тысячу раз. Каждый каким-то образом узнал, что лондонский антрепренер приехал с единственной целью — посмотреть его (или ее) игру, и все трепетали от беспокойства и ожидания. Иные из тех, кто не участвовал в первой сцене, поспешили к кулисам и там вытягивали шеи, чтобы одним глазком взглянуть на него; другие пробрались в две маленькие ложи над входом на сцену и с этой позиции наблюдали лондонского антрепренера. Видели, как один раз лондонский антрепренер улыбнулся. Он улыбнулся, когда комический поселянин делал вид, будто ловит муху, а в это время миссис Крамльс исполняла свой самый эффектный номер.

— Прекрасно, милейший, — сказал мистер Крамльс, грозя кулаком комическому поселянину, когда тот ушел за кулисы, — в будущую субботу вы покинете труппу.

Равным образом все, кто был на сцене, не видели никого из публики, кроме одного зрителя: все играли для лондонского антрепренера. Когда мистер Ленвил в порыве неудержимого гнева назвал императора злодеем, а затем, кусая перчатку, сказал: «Но я должен лицемерить», — он, вместо того чтобы мрачно смотреть на подмостки и, как полагается в таких случаях, ждать реплики, устремил взгляд на лондонского антрепренера. Когда мисс Бравасса пела песенку своему возлюбленному, который, согласно обычаю, стоял наготове, чтобы пожимать ей руку между куплетами, они смотрели не друг на друга, но на лондонского антрепренера. Мастер Крамльс умер, глядя на него в упор, а когда пришли два стража, чтобы унести тело после крайне мучительной агонии, оно открыло глаза и воззрилось на лондонского антрепренера. Наконец обнаружили, что лондонский антрепренер заснул, и вскоре вслед за этим — что он проснулся и ушел, после чего вся труппа с гневом обрушилась на злополучного комического поселянина, заявив, что всему виной его шутовские выходки, а мистер Крамльс сказал, что он долго с ним мирился, но дольше, право же, не в силах терпеть, а посему был бы признателен, если бы тот искал другой ангажемент.

Все это немало позабавило Николаса, который испытывал лишь искреннее удовлетворение от мысли, что великий человек удалился до его выхода. Он провел свою роль в последних двух пьесах с таким подъемом, на какой только был способен, и, заслужив чрезвычайное одобрение и беспримерные аплодисменты — так оповещали афиши на завтрашний день, отпечатанные часа за два до этого, — взял под руку Смайка и пошел домой спать.

С утренней почтой пришло письмо от Ньюмена Ногса, очень замаранное чернилами,

очень лаконическое, очень грязное, очень маленькое и очень таинственное, предлагавшее Николасу вернуться в Лондон немедленно, не терять ни одной секунды, быть там, если возможно, к вечеру.

— Буду! — сказал Николас. — Небу известно, что я оставался здесь с благими намерениями, и, конечно, против своей воли, но, может быть, я и так уже слишком замешкался. Что могло случиться? Смайк, дружище, вот возьмите мой кошелек. Уложите вещи и заплатите наши маленькие долги... Поторопитесь, и мы еще захватим утреннюю карету. Я только предупрежу, что мы уезжаем, и сейчас же вернусь.

С этими словами он схватил шляпу, бросился к дому мистера Крамльса и с таким усердием принялся стучать дверным кольцом, что разбудил этого джентльмена, который еще пребывал в постели, а лоцман, мистер Бульф, от крайнего изумления чуть не выронил изо рта первую утреннюю трубку.

Когда дверь открылась, Николас без всяких церемоний побежал наверх и, ворвавшись в затемненную гостиную во втором этаже окнами на улицу, увидел, что оба юных Крамльса вскочили с кровати-софы и с большим проворством одеваются, находясь под впечатлением, что сейчас глубокая ночь и в соседнем доме пожар.

Прежде чем он успел их в этом разуверить, спустился мистер Крамльс в ночном колпаке и во фланелевом халате, и ему Николас коротко объяснил, что возникли обстоятельства, требующие его немедленного отъезда в Лондон.

— Итак, до свиданья! — сказал Николас. — До свиданья, до свиданья.

Он уже спустился до половины лестницы, прежде чем мистер Крамльс настолько оправился от изумления, что мог забормотать что-то об афишах.

— Ничего не могу поделать, — ответил Николас. — Возместите убытки тем, что я заработал за эту неделю, а если это не окупит расходов, говорите сразу, сколько нужно. Скорее! Скорее!

— Будем считать, что мы квиты, — заявил Крамльс. — Но не можете ли вы остаться еще на один последний вечер?

— Ни на час, ни на минуту, — нетерпеливо отозвался Николас.

— Не подождете ли вы, чтобы сказать словечко миссис Крамльс? — спросил директор, спускаясь с ним к двери.

— Я не мог бы ждать, даже если бы это продлило мне жизнь на двадцать лет! — воскликнул Николас. — Ну, вот моя рука и примите мою сердечную благодарность... О, зачем я даром убил здесь столько времени!

Произнеся эти слова и нетерпеливо топнув ногой, он прервал директорское рукопожатие и, стрелой помчавшись по улице, мгновенно скрылся из виду.

— Боже мой, боже мой! — сказал мистер Крамльс, задумчиво глядя в ту сторону, где он исчез. — Если бы он и дальше так играл, какие бы деньги он выколачивал! Ему следовало остаться до конца этого турне. Он был бы мне очень полезен. Но он не понимает, что ему выгодно. Порывистый юноша! Молодые люди безрассудны, очень безрассудны.

Предавшись нравоучительным размышлениям, мистер Крамльс, быть может, размышлял бы еще несколько минут, если бы машинально не полез в жилетный карман, где имел обыкновение хранить нюхательный табак. Отсутствие карманов в полагающихся им местах внезапно напомнило ему о том, что на нем вовсе нет жилета, а так как эта мысль побудила его заметить крайнюю небрежность своего костюма, он резко захлопнул дверь и стремительно удалился наверх.

Пока Николас отсутствовал, Смаик действовал с большим проворством, и вскоре все было готово к отъезду. На ходу они слегка закусили, и не прошло и получаса, как уже явились в контору пассажирских карет, едва переводя дыхание — так они спешили, чтобы поспеть вовремя. Оставалось еще несколько минут; поэтому, обеспечив себе места, Николас забежал поблизости в лавку готового платья и купил Смайку пальто. Оно было бы широковато даже дюжему фермеру, но лавочник заверил (и не без основания), что сидит оно поразительно, а Николас в нетерпении своем купил бы его, будь оно даже вдвое шире.

Когда они бежали к карете, которая уже стояла на улице, готовая к отправке, Николас немало удивился, внезапно очутившись в чьих-то тесных и пылких объятиях, которые едва не свалили его с ног; изумление его отнюдь не уменьшилось, когда он услышал восклицания мистера Крамльса:

— Это он — мой друг, мой друг!

— Господи помилуй! — возопил Николас, барахтаясь в руках директора. Что с вами?

Директор не дал никакого ответа, но снова прижал его к своей груди, восклицая:

— Счастливого пути, мой благородный юноша с львиным сердцем!

Дело в том, что мистер Крамльс, никогда не упускавший случая для профессионального выступления, пришел со специальной целью — попрощаться с Николасом на людях. Чтобы сделать эту сцену более внушительной, он принялся теперь, к величайшей досаде молодого джентльмена, награждать его серией быстрых театральных поцелуев, которые, как всем известно, выражаются в том, что целующий или целующая кладет подбородок на плечо предмета своей любви и смотрит через это плечо. Мистер Крамльс проделывал это в высоком стиле мелодрамы, изрекая в то же время все самые заунывные прощальные фразы, какие мог припомнить из репертуара. Но это было еще не все, ибо старший отпрыск мистера Крамльса проделывал такую же церемонию со Смайком, а юный Перси Крамльс, в коротком подержанном плаще, театрально наброшенном на левое плечо, стоял поодаль в позе стражника, ожидающего, чтобы вести обе жертвы на эшафот.

Зрители от души смеялись; раз ничего иного, как примириться с обстоятельствами, не оставалось, Николас тоже засмеялся, когда ему удалось вырваться, и, освободив пораженного Смайка, полез вслед за ним на крышу кареты, а отъезжая, послал воздушный поцелуй отсутствующей миссис Крамльс.

Глава XXXI,

О Ральфе Никльби и Ньюмене Ногсе и о некоторых разумных мерах предосторожности, успех или неудача коих обнаружится в дальнейшем

В блаженном неведении, что племянник его приближается с быстротою четырех добрых коней к сфере его деятельности и что каждая уходящая минута сокращает расстояние между ними, Ральф Никльби занимался в то утро обычными своими делами и, однако, не мог помешать тому, что его мысли время от времени возвращались к свиданию с племянницей, которое имело место накануне. В такие промежутки Ральф, на несколько секунд рассеявшись, досадливо что-то бормотал и с удвоенным рвением принимался за лежавший перед ним грессбук, но снова и снова те же мысли возвращались, несмотря на все его усилия отогнать их, мешая ему в его вычислениях и отвлекая внимание от цифр, над которыми он склонялся. Наконец Ральф положил перо и откинулся на спинку кресла, словно решил позволить потоку размышлений бежать своим руслом, и, чтобы от них избавиться, дал им полный простор.

— Я не из тех, кого может растрогать хорошенькое личико, — сердито пробормотал Ральф. — За ним скрывается оскаленный череп, а такие люди, как я, которые смотрят вглубь, видят череп, а не изящную оболочку. И все-таки я расположен к этой девушке, или был бы расположен, если бы ее не воспитали такой гордой и щепетильной. Если бы мальчишка утонул или его повесили, а мать умерла, этот дом был бы ее домом. От всей души хотел бы я, чтобы это с ними случилось.

Несмотря на смертельную ненависть, какую Ральф питал к Николасу, и на жгучее презрение, с каким высмеивал бедную миссис Никльби, несмотря на ту низость, какую он проявил и теперь проявлял (и, если бы того потребовали его интересы, продолжал бы проявлять впредь) по отношению к самой Кэт, все же, как ни странно может это показаться, в ту минуту в размышлениях его сквозила какая-то человечность и даже мягкость. Он думал о том, каким мог быть его дом, если бы здесь была Кэт; он усаживал ее в кресло, смотрел на

нее, слушал ее речи; он снова ощущал на своей руке нежное прикосновение дрожащей руки; он разбрасывал по своим богато убранным комнатам сотню немых знаков женского присутствия и женской заботы; потом он возвратился к холодному очагу и безмолвной мрачной роскоши, и в это мгновение — возвышенное, хотя и рожденное эгоистическими мыслями, богач осознал, что у него нет ни детей, ни друзей — никого. И золото на миг утратило в его глазах свой блеск, потому что за него нельзя было купить несметные сокровища сердца.

Самое ничтожного обстоятельства было достаточно, чтобы изгнать эти размышления из головы такого человека. Рассеянно глядя через двор в сторону окна другой конторы, он внезапно обнаружил, что находится под пристальным наблюдением Ньюмена Ногса, который, чуть ли не касаясь красным носом стекла, делал вид, будто чинит перо заржавленным обломком ножа, но в действительности во все глаза смотрел на своего хозяина, выражая своей физиономией самое напряженное и страстное внимание.

Ральф оторвался от своих мыслей и принял обычный деловой вид; лицо Ньюмена скрылось, а с ним и вереница мыслей мгновенно обратилась в бегство.

Через несколько минут Ральф позвонил. Ньюмен явился на зов, и Ральф украдкой бросил взгляд на его лицо, словно боялся прочесть на нем, что тот знает его недавние размышления.

Но ни малейшего проблеска мысли не отражалось на лице Ньюмена Ногса. Если возможно представить себе человека, у которого целы оба глаза и оба широко раскрыты, но никуда не смотрят и ничего не видят, то таким человеком казался Ньюмен, когда Ральф Никльби вглядывался в него.

— Что нужно? — проворчал Ральф.

— О! — сказал Ньюмен, тотчас же придав некоторую живость своему взгляду и устремив его на хозяина. — Я думал, вы звонили.

С таким лаконическим замечанием Ньюмен повернулся и заковылял к двери.

— Стойте! — сказал Ральф.

Ньюмен остановился, ничуть не растерявшись.

— Я звонил.

— Я знал, что звонили.

— Так почему же вы собираетесь уйти, если вы это знаете?

— Я думал, вы звонили, чтобы сказать, что вы не звонили, — ответил Ньюмен. — Вы часто так делаете.

— Как вы смеете шпионить, подсматривать, смотреть на меня в упор, сударь? — сурово спросил Ральф.

— Смотреть в упор! — воскликнул Ньюмен. — На вас! Ха-ха!..

Вот и все объяснение, какое удостоил дать Ньюмен.

— Берегитесь, сэр, — сказал Ральф, глядя на него пристально. — Чтобы у меня здесь не было пьяных дурачеств! Видите этот пакет?

— Он достаточно велик, — отозвался Ньюмен.

— Отнесите его в Сити, Кросс, на Брод-стрит, и оставьте там. Живо! Слышите?

Ньюмен кивнул и, выйдя на минутку из комнаты, вернулся со шляпой. После многих неудачных попыток уложить пакет (который был размерами около двух квадратных футов) в тулью упомянутой шляпы Ньюмен взял его под мышку; натянув с величайшей аккуратностью и старательностью свои перчатки без пальцев, все время не спуская глаз с мистера Ральфа Никльби, он водрузил на голову шляпу с такой заботливостью, подлинной или притворной, словно это была новехонькая шляпа самого лучшего качества, и, наконец, отправился исполнять поручение.

Он быстро покончил с ним, только разок заглянув на минуту в трактир, да и то, можно сказать, мимоходом, так как вошел в одну дверь, а вышел в другую; но, повернув домой и дойдя уже до Стрэнда, Ньюмен замедлил шаг с неуверенным видом человека, который окончательно еще не решил, задержаться ему или продолжать путь. После очень короткого

раздумья первое влечение победило, и, направившись к тому пункту, который он все время держал в уме, Ньюмен постучал тихим двойным ударом, или, вернее, одним нервическим, в дверь мисс Ла-Криви.

Ее открыла незнакомая служанка, на которую странная фигура посетителя, по-видимому, не произвела благоприятного впечатления, так как, едва взглянув на него, она почти совсем закрыла дверь и, поместившись в узкой щели, спросила, что ему нужно. Но Ньюмен, произнеся один лишь слог «Ногс», словно это было какое-то кабалистическое слово, при звуке которого все засовы должны падать и двери распахиваться, бойко прошмыгнул и очутился у двери гостиной мисс Ла-Криви, прежде чем изумленная служанка могла оказать сопротивление.

— Войдите, пожалуйста! — сказала мисс Ла-Криви в ответ на стук Ньюмена. И он вошел.

— Господи помилуй! — воскликнула мисс Ла-Криви, вздрогнув, когда ввалился Ньюмен. — Что вам угодно, сэр?

— Вы меня забыли, — сказал Ньюмен, кланяясь. — Меня это удивляет. Что меня не помнит никто из тех, кто знал меня в былые дни, это естественно, но мало кто, увидев один раз, может забыть меня теперь.

Говоря это, он взглянул на свое поношенное платье и парализованную ногу и слегка покачал головой.

— Правда, я вас забыла, — сказала мисс Ла-Криви, поднимаясь, чтобы принять Ньюмена, который шел ей навстречу, — и мне стыдно, потому что вы добрый, хороший человек, мистер Ногс. Садитесь и расскажите мне все о мисс Никльби. Милая бедная девушка! Вот уже несколько недель, как я ее не видела.

— Как так? — спросил Ньюмен.

— Сказать вам правду, мистер Ногс, — ответила мисс Ла-Криви, — я уезжала погостить — в первый раз за пятнадцать лет.

— Это долгий срок, — грустно сказал Ньюмен.

— Совершенно верно, очень долгий срок, если оглянуться на истекшие годы, хотя так или иначе, слава богу, одинокие дни проходят довольно мирно и счастливо, — отозвалась миниатюристка. — У меня есть брат, мистер Ногс, единственный мой родственник, — и за все это время я ни разу его не видела. Не то чтобы мы поссорились, но он учился в провинции и женился там, а когда возникли новые привязанности, он забыл о такой бедной маленькой женщине, как я, и это, знаете ли, вполне понятно. Не подумайте, что я жалуюсь, я всегда себе говорила: «Это очень естественно: бедный дорогой Джон пробивает себе дорогу в жизни, и у него есть жена, которой он поверяет свои работы и печали, и дети играют теперь около него, и да благословит бог его и их и да приведет нам всем встретиться когда-нибудь там, где мы больше не разлучимся». Но подумайте только, мистер Ногс, — продолжала миниатюристка, просияв и захлопав в ладоши, — этот самый брат приезжает, наконец, в Лондон и не успокаивается до тех пор, пока не находит меня. Вы подумайте только! Он приходит сюда и сидит вот на этом самом стуле и плачет, как дитя, потому что он так рад меня видеть; вы подумайте только, он настаивает на том, чтобы увезти меня к себе домой, в провинцию (это прекрасное место, мистер Ногс, большой сад и уж не знаю сколько там земли, и за столом прислуживает человек в ливрее, и коровы, и лошади, и свиньи, и уж не знаю, что там еще), и заставляет меня гостить целый месяц, и уговаривает остаться там на всю жизнь — да, на всю жизнь, — и жена его уговаривает, и дети — а детей четверо, и самую старшую девочку они... они назвали в честь меня... уже восемь лет тому назад... правда, они ее назвали в честь меня! Я никогда еще не была так счастлива, никогда в жизни не была так счастлива!

Достойная женщина закрыла лицо носовым платком и расплакалась, потому что ей впервые представился случай раскрыть свое сердце, и сердце дало себе волю.

— Ах, боже мой! — сказала мисс Ла-Криви после короткой паузы, вытерев глаза и очень проворно сунув платок в карман. — Каким глупым созданием должна я показаться вам,

мистер Ногс! Мне не следовало об этом рассказывать, но я хотела вам объяснить, почему так случилось, что я не видела мисс Никльби.

— А старую леди вы видели? — спросил Ньюмен.

— Вы имеете в виду миссис Никльби? — осведомилась мисс Ла-Криви. — Так вот что я вам скажу, мистер Ногс: если вы хотите быть там в милости, лучше не называйте вы ее старой леди, потому что, боюсь, ей неприятно будет это слышать. Да, я пошла туда третьего дня вечером, но она почему-то очень важничала и была такой неприступной и таинственной, что я ничего не могла понять. И вот, сказать вам по правде, я решила тоже быть неприступной и с достоинством удалилась. Я думала, она зайдет ко мне, но ее здесь не было.

— А мисс Никльби... — начал Ньюмен.

— О, она заходила два раза за время моего отсутствия, — отозвалась мисс Ла-Криви. — Я боялась, что ей, может быть, не понравится, если я навещу ее у этих важных людей... как там называется это место?.. и вот я решила подождать день-другой и написать, если я ее за это время не увижу.

— А! — воскликнул Ньюмен, треща пальцами.

— Но я хочу услышать от вас все новости, — сказала мисс Ла-Криви. — Как поживает это грубое чудовище на Гольдн-сквере? Разумеется, хорошо: таким людям всегда хорошо. Я не спрашиваю, как его здоровье, но что он поделявает, как себя ведет?

— Будь он проклят! Вероломный презренный пес! — вскричал Ньюмен, швыряя на пол свою драгоценную шляпу.

— Боже милостивый! Мистер Ногс, вы меня просто пугаете! — побледнев, воскликнула мисс Ла-Криви.

— Я бы ему вчера разбил физиономию, если бы только мог себе это позволить, — сказал Ньюмен, беспокожно шагая по комнате и грозя кулаком портрету Каннинга⁶³ над камином. — Я был очень близок к этому. Пришлось засунуть руки в карманы и изо всех сил удерживать их там. Когда-нибудь я это сделаю в той задней комнатке, знаю, что сделаю. Я бы давно уже это сделал, если бы не боялся, что выйдет еще хуже. Я еще запрусь с ним в комнате и расправлюсь, прежде чем умереть. В этом я совершенно уверен.

— Я закричу, если вы не успокоитесь, мистер Ногс, — сказала мисс Ла-Криви. — Уверю вас, я не удержусь и закричу.

— Все равно! — заявил Ньюмен, неистово мечась по комнате. — Он приезжает сегодня вечером: я ему написал. А он и не подозревает, что я знаю; он и не подозревает, что меня это касается. Коварный негодяй! Он этого и не подозревает. О нет, о нет! Все равно, я расстрою его планы — я, Ньюмен Ногс! Хо-хо, мерзавец!

Доведя себя до бешенства, Ньюмен Ногс, дергаясь, забежал до комнате, проделывая самые эксцентрические движения, какие когда-либо делал человек: то он метил кулаком в миниатюры на стене, то, как бы для полноты впечатления, неистово колотил себя по голове, пока, наконец, не упал на стул, запыхавшись и в полном изнеможении.

— Ну вот, — продолжал Ньюмен, поднимая шляпу, — мне это доставило облегчение. Теперь мне лучше, и я расскажу вам все.

Понадобилось некоторое время, чтобы успокоить мисс Ла-Криви, которая чуть с ума не сошла от страха при виде такой удивительной демонстрации чувств; но после этого Ньюмен добросовестно передал все, что произошло во время свидания Кэт с ее дядей, предпослав своему рассказу замечание о прежних своих подозрениях и о причинах, по которым они возникли, и закончив сообщением о предпринятом им шаге — о секретном письме Николасу.

Хотя негодование маленькой мисс Ла-Криви и не проявлялось так странно, как негодование Ньюмена, но вряд ли оно уступало ему по силе и напряженности. Случись Ральфу Никльби появиться в этот момент в комнате, возможно, что он встретил бы в мисс Ла-Криви более опасного врага, чем сам Ньюмен Ногс.

— Да простит мне бог эти слова, — сказала мисс Ла-Криви в заключение своих гневных

излияний, — но, право же, я чувствую, что с удовольствием проткнула бы его вот этим. оружие, которое держала в руке мисс Ла-Криви, было не очень грозное — в сущности, это был всего-навсего карандаш, — но, обнаружив свою ошибку, маленькая портретистка заменила его перламутровым ножиком для фруктов, коим в подтверждение своих отчаянных мыслей нанесла при этих словах удар, который вряд ли мог раскрошить мякиш двухфунтовой булки.

— С завтрашнего дня ее не будет там, где она сейчас находится, — сказал Ньюмен. — Это утешительно.

— Не будет! — вскричала мисс Ла-Криви. — Она должна была уйти оттуда еще несколько недель тому назад.

— Если бы мы это знали, — возразил — Ньюмен. — Но мы не знали. Никто не имел права вмешиваться, кроме ее матери и брата. Мать слаба... бедняжка... слаба. Милый юноша будет здесь сегодня вечером.

— Силы небесные! — вскричала мисс Ла-Криви. — Он сделает что-нибудь отчаянное, мистер Ногс, если вы ему сразу все расскажете.

Ньюмен перестал потирать руки и призадумался.

— Можете быть уверены, — очень серьезно продолжала мисс Ла-Криви, — если вы не будете соблюдать величайшую осторожность, открывая ему правду, он совершит какое-нибудь насилие над своим дядей или над одним из этих людей, чем навлечет страшные беды на свою голову, а всех нас погрузит в печаль и скорбь.

— Я об этом и не подумал, — отозвался Ньюмен, чья физиономия вытягивалась все больше и больше. — Я пришел просить вас, чтобы вы приютили его сестру, в случае если он приведет ее сюда, но...

— Но это вопрос гораздо более важный, — перебила мисс Ла-Криви. — В первом вы могли быть уверены и не приходя сюда, но результатов никто не может предвидеть, если вы не будете очень осторожны и осмотрительны.

— Что я могу поделать! — воскликнул Ньюмен, скребя в затылке с видом крайне расстроенным и недоумевающим. — Если бы он заговорил о том, чтобы перестрелять их всех, я бы вынужден был ответить: «Разумеется. Поделом им».

Услыхав это, мисс Ла-Криви невольно взвизгнула и немедленно потребовала от Ньюмена торжественной клятвы, что он приложит все силы, дабы утишить гнев Николаса, и эта клятва после некоторых колебаний была дана. Затем они вместе стали придумывать самый безопасный и надежный способ сообщить ему о тех обстоятельствах, какие делают его присутствие необходимым.

— Ему нужно дать время остыть, прежде чем он получит возможность что-нибудь предпринять, — сказала мисс Ла-Криви. Это крайне важно! Не нужно говорить ему до поздней ночи.

— Но он приедет сегодня между шестью и семью вечера, — ответил Ньюмен. — Я не смогу ничего скрыть, когда он меня спросит.

— Значит, вы должны уйти, мистер Ногс, — сказала мисс Ла-Криви. — Вас легко могут задержать по делу, и вы не должны возвращаться раньше полуночи.

— Тогда он придет прямо сюда, — возразил Ньюмен.

— Я тоже так думаю, — заметила мисс Ла-Криви, — но меня он не застанет дома, потому что, как только вы уйдете, я отправлюсь прямо в Сити улаживать отношения с миссис Никльби и уведу ее в театр, так что ему не удастся даже узнать, где живет его сестра.

После дальнейших обсуждений этот план действий был признан самым разумным и легко осуществимым. Поэтому в конце концов порешили, что так и надо поступить. Выслушав ряд дополнительных советов и просьб, Ньюмен распрощался с мисс Ла-Криви и поплелся к Гольдн-скверу, по дороге размышляя о великом множестве событий, возможных и невозможных, мысли о которых неслись в его голове, возникнув после беседы, только что закончившейся.

Глава XXXII,

повествующая главным образом о примечательном разговоре и примечательных последствиях, из него вытекающих

— Наконец-то Лондон! — воскликнул Николас, сбросив пальто и разбудив заспавшегося Смайка. — Мне казалось, что мы никогда до него не доберемся.

— Однако ехали вы с немалой скоростью, — заметил кучер, не очень-то любезно посмотрев через плечо на Николаса.

— Да, это верно, — последовал ответ, — но мне не терпелось как можно скорее быть у цели, а от этого путь кажется долгим.

— Да, — сказал кучер, — если путь показался долгим с такими лошадьми, какие вас везли, значит вам и в самом деле на редкость не терпелось приехать.

Они с грохотом неслись по шумным, запруженным суетливой толпой лондонским улицам, обрамленным двумя длинными рядами ярких огней, среди которых кое-где мелькали ослепительные фонари аптек, — по улицам, залитым светом, льющим из витрин магазинов, где мелькали груды искрящихся драгоценностей, шелковые и бархатные ткани чудеснейших цветов, самые соблазнительные деликатесы и самые изысканные предметы роскоши. Вперед и вперед текли толпы людей, казавшиеся бесконечными; люди толкали друг друга и как будто едва замечали окружавшее их богатство, а экипажи всех видов и фасонов, сливаясь, подобно текучей воде, в бурный поток, своим непрерывным стуком усиливали шум и грохот.

Когда они мчались мимо быстро сменявшихся картин, любопытно было наблюдать, в каком странном чередовании эти картины проносились перед их глазами. Магазины великолепных платьев, тканей, привезенных из всех частей света; заманчивые лавки, где все возбуждало пресыщенный вкус и заставляло снова мечтать о пиршествах, столь привычных; посуда из сверкающего золота и серебра, принявшего изящную форму вазы, блюда, кубка; ружья, сабли, пистолеты и патентованные орудия разрушения; кандалы для преступников, белье для новорожденных, лекарства для больных, гробы для мертвых, кладбища для усопших — все это, наползая одно на другое и располагаясь рядом, пролетало, казалось, в пестром танце, как фантастические группы старого голландского живописца, преподавая все тот же суровый урок равнодушной неугомонной толпе.

И в самой толпе не было недостатка в фигурах, придающих остроту меняющимся картинам. Лохмотья убогого певца баллад развевались в ярком свете, озаряющем сокровища ювелира; бледные, изможденные лица мелькали у витрин, где были выставлены аппетитные блюда; голодные глаза скользили по изобилию, охраняемому тонким хрупким стеклом — железной стеной для них; полунагие дрожащие люди останавливались поглазеть на китайские шали и золотистые ткани Индии. В доме крупнейшего торговца гробами праздновали крестины, а перестройку аристократического дома приостановило появление погребального герба⁶⁴. Жизнь и смерть шли рука об руку; богатство и бедность стояли бок о бок — пресыщение и голод повергали их в одну могилу.

Но это был Лондон. И провинциальная старая леди, которая миля за две до Кингстона высунула голову из окна кареты и кричала кучеру, что, конечно, он проехал мимо и позабыл ее высадить, была, наконец, удовлетворена.

Николас позаботился о ночлеге для себя и для Смайка в той гостинице, куда прибыла карета, и, не теряя ни секунды, отправился к дому Ньюмена Ногса, потому что тревога его и нетерпение усиливались с каждой минутой и нельзя было их преодолеть.

В мансарде у Ньюмена был затоплен камин и горела свеча; пол был чисто подметен, в комнате аккуратно прибрано насколько это возможно в такой комнате, а на столе

приготовлены мясо и пиво. Все говорило о дружеской заботе и внимании Ньюмена Ногса, но самого Ньюмена не было.

— Вы не знаете, когда он будет дома? — осведомился Николас, постучав соседу Ньюмена в дверь мансарды, выходящей окнами на улицу.

— Мистер Джонсон! — сказал, представ перед ним, Кроуль. — Добро пожаловать, сэръ! Какой у вас прекрасный вид! Никогда бы я не поверил...

— Простите, — перебил Николас. — Я спросил... мне не терпится узнать...

— У него какое-то хлопотливое дело, — ответил Кроуль, — и домой он вернется не раньше двенадцати. Ему очень не хотелось уходить, могу вас уверить, но ничего нельзя было поделать. Впрочем, он просил вам передать, чтобы вы располагались здесь без стеснения, пока он не придет, и чтобы я вас развлекал, что я исполню с большим удовольствием.

В доказательство полной своей готовности потрудиться для всеобщего развлечения мистер Кроуль придвинул при этих словах стул к столу и, щедрой рукой положив себе холодной говядины, пригласил Николаса и Смайку последовать его примеру.

Огорченный и обеспокоенный, Николас не мог притронуться к еде и, удостоверившись, что Смайк удобно устроился за столом, вышел из дому (вопреки многочисленным протестам, которые выражал с набитым ртом мистер Кроуль), поручив Смайку задержать Ньюмена, в случае если тот вернется первый.

Как и предвидела мисс Ла-Криви, Николас отправился прямо к ней. Не застав ее дома, он некоторое время раздумывал, идти ли ему к матери, что могло бы скомпрометировать ее в глазах Ральфа Никльби. Однако, вполне уверенный, что Ньюмен не настаивал бы на его возвращении, если бы не было каких-то веских причин, требующих его присутствия дома, он решил пойти туда и быстро зашагал в восточную часть города.

Миссис Никльби вернется домой в начале первого или еще позднее, сказала служанка. Она полагала, что мисс Никльби здорова, но она не живет теперь дома и приходит домой очень редко. Служанка не знала, где она живет, но во всяком случае не у мадам Манталини. В этом она была уверена.

С сильно бьющимся сердцем, предчувствуя какое-то несчастье, Николас вернулся туда, где оставил Смайку. Ньюмена дома не оказалось. Не было никакой надежды, чтобы он вернулся раньше двенадцати. Нельзя ли послать кого-нибудь за ним, чтобы он вышел хоть на миг, или передать ему короткую записку, на которую он ответил бы устно? Это оказалось совершенно неосуществимым. На Гольдн-сквере его не было, и, должно быть, он был послан куда-нибудь далеко с каким-то поручением.

Николас сделал попытку остаться там, где был, но он чувствовал такое волнение и возбуждение, что не мог сидеть спокойно. Ему чудилось, что он зря теряет время, если не находится в движении. Он знал, что это нелепая фантазия, но был совершенно неспособен противостоять ей. И вот он взял шляпу и снова пошел слоняться.

На этот раз он повернул на запад и быстро зашагал длинными улицами, тревожимый тысячью опасений и дурных предчувствий, которые не мог побороть. Он зашел в Гайд-парк, сейчас немой и безлюдный, и ускорил шаг, словно надеясь оставить позади свои мысли. Но они еще теснее обступили его теперь, когда мелькающие мимо предметы не привлекали его внимания; и все время не оставляла его догадка, не обрушился ли такой жестокий удар судьбы, что все боялся сказать ему. Старый вопрос возникал снова и снова: что могло случиться? Николас бродил, пока не устал, но это ничуть ему не помогло, и в сущности он вышел, наконец, из парка еще более смятенным и взволнованным, чем вошел в него.

С раннего утра он почти ничего не ел и не пил и чувствовал себя измученным и ослабевшим. Устало возвращаясь к тому месту, откуда он пустился в путь, по одной из тех оживленных улиц, какие находятся между Парк-лейн и Бонд-стрит, он поравнялся с великолепной гостиницей, перед которой машинально остановился.

«Должно быть, цены здесь очень высокие, — подумал Николас, — но пинта вина и печенье — не такое уж роскошное пиршество, где бы это ни заказать. А впрочем, я не знаю».

Он сделал несколько шагов, но, задумчиво посмотрев на длинный ряд газовых фонарей,

подумал о том, как долго придется идти до конца этого ряда; будучи в том состоянии духа, когда человек наиболее расположен уступить первому своему импульсу, и чувствуя, что его влекут к этой гостинице отчасти любопытство, а отчасти какие-то странные побуждения, которые он затруднился бы определить, Николас вернулся назад и вошел в кофейню.

Она была очень красиво декорирована. Стены были обиты лучшими французскими обоями, украшены позолоченным карнизом изящного рисунка. Пол был покрыт дорогим ковром, и два превосходных зеркала — одно над камином, другое в противоположном конце комнаты, поднимавшееся от пола до потолка, дополняли убранство залы.

В отделении за перегородкой у камина сидела довольно шумная компания, состоявшая из четырех джентльменов, а кроме них, здесь было только два джентльмена — оба пожилые, сидевшие в одиночестве.

Заметив все это с первого взгляда, каким окидывает человек незнакомое ему место, Николас уселся в отделении рядом с шумной компанией, спиной к ней, и, отложив свой заказ на пинту кларета до той поры, пока официант и один из пожилых джентльменов не обсудят спорного вопроса касательно какой-то цифры в счете, взял газету и стал читать.

Он не прочел и двадцати строк и, по правде сказать, находился в полудремоте, когда его заставило встрепенуться упоминание имени его сестры. «За малютку Кэт Никльби!» — были слова, коснувшиеся его слуха. Он с изумлением поднял голову и, взглянув на отражение в зеркале напротив, увидел, что двое из сидевшей за его спиной компании поднялись и стоят перед камином». «Должно быть, это сказал один из них», — подумал Николас. Он ждал продолжения, негодуя, ибо тон, каким были произнесены эти слова, казался далеко не почтительным, а наружность человека, в котором он заподозрил того, кто говорил, была грубой и фатовской.

Говоривший, — Николас заметил это, взглянув в зеркало, которое помогло ему разглядеть его лицо, — повернулся спиной к камину, беседуя с человеком помоложе, который стоял спиной к остальной компании и, не снимая шляпы, поправлял перед зеркалом воротничок сорочки. Они разговаривали шепотом, то и дело раздражаясь громким смехом, но Николас не мог уловить ничего похожего на слова, какие привлекли его внимание.

Наконец оба вернулись на свои места, и, потребовав еще вина, компания стала веселиться более шумно. Однако не было ни разу упомянуто о лицах, ему знакомых, и Николас начал убеждаться, что эти слова либо почудились его воспаленному воображению, либо он превратил другие звуки в имя, столь занимавшее его мысли.

«Все-таки это странно, — подумал Николас, — будь это „Кэт“ или „Кэт Никльби“, я бы не так удивился, но „малютка Кэт Никльби“...»

Вино, поданное в этот момент, оборвало течение его мыслей. Он залпом выпил рюмку и снова взялся за газету. И в это мгновение...

— За малютку Кэт Никльби! — крикнул голос за его спиной.

— Я был прав, — пробормотал Николас, выронив из рук газету. — Как я и предполагал, это тот самый человек.

— Кто-то возражал против того, чтобы пить за нее из початой бутылки, раздался тот же голос. — Это правильно. Поэтому осушим в ее честь первую рюмку из новой. За малютку Кэт Никльби!

— За малютку Кэт Никльби! — крикнули другие трое.

И рюмки были осушены.

Тон и манера этого легкомысленного и пренебрежительного упоминания имени сестры в общественном месте ошеломили Николаса, он мгновенно вспыхнул, но страшным усилием воли заставил себя сдержаться и даже не повернул головы.

— Дрянная девчонка! — продолжал тот же голос, что и раньше. — Она настоящая Никльби — достойная копия своего дяди Ральфа... Она упирается, чтобы ее усиленно упрасивали, как и он: от Ральфа вы ничего не добьетесь, если не будете к нему приставать, а тогда деньги оказываются сугубо желанными, а условия сделки сугубо жестокими, потому что вы охвачены нетерпением, а он нет. О, это чертовски хитро!

— Чертовски хитро! — повторили два голоса.

Когда два пожилых джентльмена, сидевших поодаль, встали один вслед за другим и направились к выходу, Николас перенес жестокую пытку, опасаясь упустить хоть одно слово. Но беседа прервалась, пока они уходили, и приняла еще более вольный характер, когда они ушли.

— Боюсь, — сказал джентльмен помоложе, — боюсь, как бы старуха не вздумала ре-ев-новать и не посадила ее под замок. Честное слово, на то похоже.

— Если они поссорятся и малютка Никльби вернется домой к матери, тем лучше, — заявил первый. — Со старой леди я все что угодно могу сделать. Она поверит всему, что бы я ей ни сказал.

— Ей-богу, это правда, — отозвался другой голос. — Ха-ха-ха! Черт побери!

Смех был подхвачен двумя голосами, всегда раздававшимися одновременно, и стал всеобщим. Николас почувствовал прилив бешенства, но овладел собой и стал слушать дальше.

То, что он услышал, нет нужды повторять. Скажем только, что пока в соседнем отделении распивали вино, он услышал достаточно, чтобы познакомиться с характерами и намерениями тех, чей разговор подслушивал, получить полное представление о подлости Ральфа и узнать подлинную причину, почему потребовалось его присутствие в Лондоне. Он услышал все это — и больше того. Он услышал, как насмеваются над страданиями его сестры, как жестоко издеваются над ее целомудренным поведением и клеветают на нее; он услышал, как повторяют они ее имя, держат наглые пари и говорят о ней развязно и с непристойными шутками!

Человек, который заговорил первым, руководил беседой и почти целиком завладел ею, лишь время от времени подстрекаемый короткими замечаниями того или другого из своих приятелей. К нему-то и обратился Николас, когда настолько успокоился, что мог предстать перед компанией; он с трудом выдавливал слова из пересохшего и воспаленного горла.

— Позвольте сказать вам два слова, сэр, — выговорил Николас.

— Мне, сэр? — произнес сэр Мальбери Хоук, разглядывая его с презрительным удивлением.

— Я сказал — вам, — ответил Николас, говоря с величайшим трудом, потому что ярость душила его.

— Таинственный незнакомец, клянусь честью! — воскликнул сэр Мальбери, поднеся к губам рюмку и окидывая взглядом своих друзей.

— Согласны вы удалиться со мной на несколько минут или вы отказываетесь? — сердито спросил Николас.

Сэр Мальбери ограничился тем, что перестал пить и предложил ему либо изложить, какое у него дело, либо отойти от стола.

Николас вынул из кармана визитную карточку и швырнул ее перед ним на стол.

— Вот, сэр! — сказал Николас. — Какое у меня дело — вы догадаетесь.

Изумление, не без примеси некоторой растерянности, на секунду отразилось на лице сэра Мальбери, когда он прочел фамилию, но он мгновенно овладел собой и, перебросив карточку лорду Фредерику Верисофту, который сидел против него, взял зубочистку из стоявшего перед ним стакана и не спеша сунул ее в рот.

— Ваша фамилия и адрес? — спросил Николас, бледнея по мере того, как распалялся его гнев.

— Ни фамилии, ни адреса я вам не скажу, — ответил сэр Мальбери.

— Если есть в этой компании джентльмен, — сказал Николас, озираясь и с трудом складывая слова побелевшими губами, — он мне сообщит фамилию и адрес этого человека.

Последовало мертвое молчание.

— Я брат молодой леди, которая послужила предметом разговора, — сказал Николас. — Я заявляю, что этот человек лгун, и обвиняю его в трусости. Если есть у него здесь друг, он спасет его от бесчестной, презренной попытки скрыть свое имя — попытки,

совершенно бесполезной, потому что я до тех пор не выпущу его, пока не узнаю его имя.

Сэр Мальбери посмотрел на него презрительно и, обращаясь к своим приятелям, сказал:

— Пусть болтает! Мне нечего сказать мальчишке, занимающему такое положение, как он. А его хорошенькая сестра избавит его от того, чтобы я проломил ему голову, хотя бы он болтал до полуночи.

— Подлый и трусливый негодяй! — крикнул Николас. — Об этом станет известно всем! Я узнаю, кто вы! Я буду идти за вами следом, хотя бы вы до утра бродили по улицам.

Рука сэра Мальбери непроизвольно сжала горлышко графина, и была секунда, когда он как будто собирался Запустить им в голову того, кто бросил ему вызов. Но он только налил себе рюмку и насмешливо захохотал.

Николас сел, повернувшись лицом к компании, и, подозвав официанта, расплатился.

— Вам известно имя этого субъекта? — громко задал он ему вопрос, указывая на сэра Мальбери.

Сэр Мальбери снова захохотал, и два голоса, которые всегда говорили вместе, подхватили смех, но довольно неуверенно.

— Этого джентльмена, сэр? — отозвался официант, который несомненно знал свою роль и вложил в свой ответ ровно столько — не больше — почтительности и ровно столько — не меньше — наглости, сколько мог себе позволить, ничем не рискуя. — Нет, сэр, неизвестно, сэр.

— Эй вы, сэр! — крикнул сэр Мальбери, когда тот собирался уйти. — Вам известно имя вот этого субъекта?

— Имя, сэр? Нет, сэр. — В таком случае вы найдете его здесь, — сказал сэр Мальбери, бросая ему карточку Николаса, — а когда вы его усвоите, швырните этот кусок картона в камин.

Официант ухмыльнулся и, взглянув с опаской на Николаса, пошел на компромисс, сунув карточку за зеркало над камином. Сделав это, он удалился.

Николас скрестил руки и, закусив губу, сидел совершенно неподвижно, однако явно показывая всем своим видом твердое намерение привести угрозу в исполнение и проследить сэра Мальбери до его дома.

Было ясно по тону, которым младший из этой компании увещевал своего друга, что он возражает прочив такого образа действий и уговаривает его подчиниться требованию Николаса. Однако сэр Мальбери, который был не совсем трезв и проявлял хмурое и настойчивое упорство, вскоре положил конец протестам своего слабохарактерного молодого друга, а затем, словно желая избежать их повторения, потребовал, чтобы его оставили одного. Как бы там ни было, молодой джентльмен и те двое, что всегда говорили вместе, вскоре после этого поднялись и ушли, оставив своего друга с глазу на глаз с Николасом.

Можно без труда предположить, что для человека, находящегося в положении Николаса, минуты тянулись так, словно у них были свинцовые крылья, и их течение не казалось быстрее от монотонного тиканья французских часов или от пронзительного звона маленького колокольчика, который отмечал четверти. Но Николас продолжал сидеть; а у противоположной стены развалился сэр Мальбери Хоук, положив ноги на диванную подушку, небрежно бросив носовой платок на колени и допивая бутылку кларета с величайшим хладнокровием и равнодушием.

Так пребывали они в полном молчании больше часа, — Николасу это молчание показалось бы трехчасовым, если бы маленький колокольчик не прозвенел только четыре раза. Два-три раза он сердито и нетерпеливо оглянулся, но сэр Мальбери оставался все в той же позе, время от времени поднося рюмку к губам и рассеянно глядя на стену, как будто он понятия не имел о присутствии какого бы то ни было живого существа.

Наконец он зевнул, потянулся и встал, спокойно подошел к зеркалу и, обзрев себя в нем, повернулся и удостоил Николаса пристальным и презрительным взглядом. Николас с величайшей охотой ответил ему тем же; сэр Мальбери пожал плечами, слегка улыбнулся,

позвонил и приказал официанту подать пальто.

Человек повиновался и приоткрыл дверь.

— Можете не ждать, — сказал сэр Мальбери.

И снова они остались вдвоем. Сэр Мальбери несколько раз прошелся по комнате, все время небрежно насвистывая, остановился, чтобы допить последнюю рюмку кларета, которую налил несколько минут назад, снова зашагал по комнате, надел шляпу, поправил ее перед зеркалом, натянул перчатки и, наконец, медленно вышел. Николас, который дошел до исступления, сорвался с места и последовал за ним.

Здесь ждал кабриолет; грум откинул фартук и бросился к лошади.

— Скажете вы мне свое имя? — сдавленным голосом спросил Николас.

— Нет! — злобно ответил тот и скрепил отказ проклятьем. — Нет!

— Вы думаете, что вас спасет бег вашей лошади? Ошибаетесь! — сказал Николас. — Я поеду с вами. Клянусь небом, поеду, хотя бы мне пришлось висеть на подножке!

— Если вы это сделаете, вас отстегают хлыстом, — заявил сэр Мальбери.

— Вы мерзавец! — воскликнул Николас.

— Вы, насколько мне известно, мальчишка на посылках! — сказал сэр Мальбери Хоук.

— Я сын провинциального джентльмена, равный вам по рождению и воспитанию и, надеюсь, выше вас во всех остальных отношениях. Повторяю, мисс Никльби — моя сестра. Будете вы держать ответ за ваше гнусное поведение?

— Перед достойным противником — да. Перед вами — нет! — ответил сэр Мальбери, взяв вожжи. — Прочь с дороги, собака! Уильям, пускайте лошадей!

— Не советую! — крикнул Николас, прыгая на подножку, когда сэр Мальбери вскочил в экипаж, и хватая вожжи. — Вы видите, он не может править лошадей! Вы не уедете, клянусь, вы не уедете, пока не скажете мне, кто вы такой!

Грум колебался, так как кобыла — горячая чистокровная лошадь — рвалась вперед с такой силой, что он с трудом мог ее удержать.

— Говорю тебе, пускай! — загремел его хозяин.

Тот повиновался. Лошадь стала на дыбы и ринулась вперед так, словно хотела разбить экипаж на тысячу кусков, но Николас, невзирая на опасность и не сознавая ничего, кроме своей ярости, удержался на подножке и не выпустил вожжей.

— Разожмете вы руку?

— Скажете вы мне, кто вы?

— Нет!

— Нет!

Эти слова прозвучали быстрее, чем могут они в обычное время сорваться с языка, а затем сэр Мальбери злобно стал стегать хлыстом Николаса по голове и плечам. Хлыст сломался, Николас вырвал тяжелую рукоятку и раскрыл ею своему противнику щеку от глаза до рта. Он увидел глубокую рану, понял, что кобыла понесла бешеным галопом, сотни огней заплесали у него перед глазами, и он почувствовал, как его швырнуло на землю.

Он ощущал головокружение и дурноту, но поднялся, шатаясь, на ноги, оглушенный громкими криками людей, которые бежали по улице и кричали тем, кто был впереди, чтобы они освободили дорогу. Он сознавал, что людской поток быстро катится мимо; подняв глаза, он разглядел кабриолет, который с устрашающей быстротой мчался по тротуару, потом он услышал громкий вопль, падение какого-то тяжелого тела и звон разбитого стекла, а потом толпа сомкнулась вдали, и больше он ничего не мог ни видеть, ни слышать.

Общее внимание было всецело сосредоточено на человеке в экипаже, и Николас остался один. Правильно рассудив, что при таких обстоятельствах было бы безумием бежать за экипажем, он свернул в боковую улицу в поисках ближайшей стоянки кэбов, убедился минуты через две, что шатается, как пьяный, и только теперь заметил струйку крови, стекавшую по его лицу и груди.

Глава XXXIII,

в которой мистера Ральфа Никльби очень быстро избавляют от всяких сношений с его родственниками

Смайк и Ньюмен Ногс, который не утерпел и вернулся домой значительно раньше условленного часа, сидели у камина, чутко прислушиваясь, в ожидании Николаса, к шагам на лестнице и к малейшему шороху, раздававшемуся в доме. Время шло, и было уже поздно. Он обещал прийти через час, и его продолжительное отсутствие начало серьезно беспокоить обоих, о чем явно свидетельствовали тревожные взгляды, которыми они время от времени обменивались.

Наконец они услышали, как подъехал кэб, и Ньюмен выбежал посветить Николасу на лестницу. Увидев его в состоянии, описанном в конце предыдущей главы, он оцепенел от изумления и ужаса.

— Не пугайтесь! — сказал Николас, быстро увлекая его в комнату. Никакой беды нет, мне нужен только таз с водой.

— Никакой беды! — вскричал Ньюмен, торопливо проводя руками по спине и плечам Николаса, как бы желая убедиться, что все кости у него целы. — Что вы учинили...

— Я все знаю, — перебил Николас. — Часть я слышал, остальное угадал. Но, прежде чем я смою хоть одно из этих кровавых пятен, я должен услышать от вас все. Вы видите — я спокоен. Решение принято. Теперь, мой добрый друг, говорите! Потому что прошло время смягчать или скрывать, и теперь уже ничто не поможет Ральфу Никльби!

— У вас платье в нескольких местах разорвано, вы хромаете, я уверен, что вам очень больно, — сказал Ньюмен. — Позвольте мне сначала заняться вашими повреждениями.

— У меня нет никаких повреждений, кроме легких ушибов и онемелости, которая скоро пройдет, — возразил Николас, с трудом садясь. — Но допустим даже, у меня были бы переломаны руки и ноги, — и тогда, если бы я не потерял сознания, вы бы мне не сделали перевязки, пока не рассказали бы о том, что я имею право знать. Послушайте, — Николас протянул руку Ньюмену, — вы мне говорили, что и у вас была сестра, которая умерла, прежде чем вас постигла беда. Подумайте сейчас о ней и расскажите мне, Ньюмен.

— Да, да, расскажу, — отозвался Ногс. — Я вам скажу всю правду.

Ньюмен заговорил. Время от времени Николас кивал головой, когда рассказ подтверждал подробности, которые уже были ему известны, но он не сводил глаз с огня и ни разу не оглянулся.

Закончив свое повествование, Ньюмен настоял на том, чтобы его молодой друг снял одежду и позволил заняться нанесенными ему повреждениями. После некоторого сопротивления Николас в конце концов согласился, и, пока ему растирали маслом и уксусом сильные кровоподтеки на руках и плечах и применяли всевозможные целительные снадобья, позаимствованные Ньюменом у разных соседей, он объяснял, каким образом эти кровоподтеки были получены. Рассказ произвел сильное впечатление на пылкое воображение Ньюмена: когда Николас описывал бурную сцену драки, тот тер его с такой энергией, что причинил мучительнейшую боль; однако Николас ни за что на свете не признался бы в этом, так как было совершенно ясно, что в тот момент Ньюмен расправлялся с сэром Мальбери Хоуком и забыл о своем пациенте.

По окончании этой пытки Николас условился с Ньюменом, что на следующее утро, пока он займется другим делом, все будет приготовлено для того, чтобы его мать немедленно выехала из своей теперешней квартиры, и что к ней будет послана мисс Ла-Криви сообщить новости. Затем Николас надел пальто Смэйка и отправился в гостиницу, где им предстояло ночевать; написав несколько строк Ральфу, передать которые должен был на следующий день Ньюмен, он воспользовался тем отдыхом, в котором так нуждался.

Говорят, пьяные могут скатиться в пропасть и, очнувшись, не обнаружить никаких серьезных повреждений. Быть может, это применимо к ушибам, полученным в любом

другом состоянии чрезвычайного возбуждения; несомненно одно: хотя Николас, проснувшись утром, и чувствовал сначала боль, но, когда пробило семь, он почти без всякого труда вскочил с постели и вскоре мог двигаться с такою живостью, как будто ничего не произошло.

Заглянув в комнату Смайка и предупредив его, что скоро за ним зайдет Ньюмен Ногс, Николас вышел на улицу и, подождав наемную карету, велел кучеру ехать к миссис Уититерли, чей адрес дал ему накануне вечером Ньюмен.

Было без четверти восемь, когда они приехали на Кэдоген-Плейс. Николас уже стал опасаться, что никто еще не проснулся в такой ранний час, и с облегчением увидел служанку, скоблившую ступени подъезда. Это должностное лицо направило его к сомнительному пажу, который появился растрепанный и с очень раскрасневшимся и лоснящимся лицом, как и полагается пажу, только что вскочившему с постели.

От этого молодого джентльмена Николас узнал, что мисс Никльби вышла на утреннюю прогулку в сад, разбитый перед домом. Услыхав вопрос, может ли он позвать ее, паж сначала приуныл и выразил сомнение, но, получив в виде поощрения шиллинг, воспрянул духом и решил, что это возможно.

— Передайте мисс Никльби, что здесь ее брат и что он хочет как можно скорей ее увидеть, — сказал Николас.

Позолоченные пуговицы исчезли с быстротой, совершенно им несвойственной, а Николас зашагал по комнате, пребывая в том состоянии лихорадочного возбуждения, когда каждая минута ожидания кажется нестерпимой. Скоро он услышал легкие шаги, хорошо ему знакомые, и не успел он двинуться навстречу Кэт, как та бросилась ему на шею и залилась слезами.

— Милая моя девочка, — сказал Николас, целуя ее, — какая ты бледная.

— Я была так несчастна здесь, дорогой брат! — всхлипывала бедная Кэт. Я очень, очень страдала. Не оставляй меня здесь, дорогой Николас, иначе я умру от горя.

— Нигде я тебя не оставляю, — ответил Николас. — Никогда больше, Кэт! — воскликнул он, глубоко растроганный, прижимая ее к сердцу. — Скажи мне, что я поступал правильно. Скажи мне, что мы расстались лишь потому, что я боялся навлечь на тебя беду, а для меня это было не меньшим испытанием, чем для тебя... О, если я поступил неправильно, то только потому, что не знал жизни и не имел опыта.

— Зачем я буду говорить тебе то, что мы и так хорошо знаем? — успокоительным тоном отозвалась Кэт. — Николас, дорогой Николас, можно ли так падать духом?

— Мне так горько знать, что ты перенесла, — сказал ей брат, — видеть, как ты изменилась и все-таки осталась такой кроткой и терпеливой... О боже! — вскричал Николас, сжав кулак и внезапно изменив тон. — Вся кровь у меня закипает! Ты немедленно должна уехать отсюда со мной. Ты бы не ночевала здесь эту ночь, если бы я не узнал обо всем слишком поздно. С кем я должен поговорить, прежде чем мы уедем?

Вопрос был задан весьма своевременно, так как в эту минуту вошел мистер Уититерли, и ему Кэт представила брата, который сейчас же заявил о своем решении и о невозможности отложить его.

— Предупреждать об уходе надлежит за три месяца, но этот срок не истек и наполовину, — сказал мистер Уититерли с важностью человека, сознающего свою правоту. — Поэтому...

— Поэтому жалованье за три месяца будет потеряно, сэр, — перебил Николас. — Я приношу извинения за эту крайнюю спешку, но обстоятельства требуют, чтобы я немедленно увез сестру, и я не могу терять ни минуты. За теми вещами, какие она сюда привезла, я пришлю, если вы мне разрешите, в течение дня.

Мистер Уититерли поклонился, но не привел никаких возражений против немедленного отъезда Кэт, которым он в сущности был доволен, так как сэр Тамли Снафим высказал мнение, что она не подходит к конституции миссис Уититерли.

— Что касается такой безделки, как недоплаченное жалованье, — сказал мистер

Уититерли, — то я... — тут его прервал отчаянный припадок кашля, — то я останусь должен мисс Никльби.

Надлежит отметить, что мистер Уититерли имел привычку не уплачивать мелких долгов и оставаться должником. У всех есть какие-нибудь маленькие приятные слабости, и это была слабость мистера Уититерли.

— Как вам угодно, — сказал Николас.

И, снова принеся торопливые извинения за столь внезапный отъезд, он поспешил усадить Кэт в экипаж и велел ехать как можно быстрее в Сити.

В Сити они прибыли с той быстротой, на которую способна наемная карета; случилось так, что лошади жили в Уайтчепле и привыкли там завтракать, если вообще им приходилось завтракать, а потому путешествие совершено было быстрее, чем казалось возможным.

Николас послал Кэт наверх на несколько минут раньше, чтобы его неожиданное появление не встревожило мать-, и затем предстал перед нею с величайшей почтительностью и любовью. Ньюмен не провел времени праздно, так как у двери уже стояла двуколка и быстро выносили вещи.

Миссис Никльби была не из тех людей, кому можно второпях что-нибудь сообщить или за короткое время растолковать нечто сугубо деликатное и важное. Поэтому, хотя маленькая мисс Ла-Криви подготавливала славную леди в течение доброго часа и теперь Николас и его сестра втолковывали ей все, что полагалось, весьма вразумительно, она находилась в состоянии странного замешательства и смятения, и никак нельзя было заставить ее понять необходимость столь скоропалительных мер.

— Почему ты не спросишь дядю, дорогой мой Николас, каковы были его намерения? — сказала миссис Никльби.

— Милая мама, — ответил Николас, — время для разговоров прошло. Теперь остается сделать только одно, а именно — отшвырнуть его с тем презрением и негодованием, каких он заслуживает! Ваша честь и ваше доброе имя этого требуют. После того как нам стали известны его подлые поступки, ни одного часа вы не должны быть ему обязанной. Даже ради приюта, который дают эти голые стены!

— Совершенно верно! — сказала, горько плача, миссис Никльби. — Он чудовище, зверь! И стены здесь голые и нуждаются в покраске, а потолок я побелила за восемнадцать пенсов, и это чрезвычайно неприятно... Подумать только! Все эти деньги пошли в карман твоему дяде... Никогда бы я этому не поверила, никогда!

— И я бы не поверил, да и никто не поверит, — сказал Николас.

— Господи помилуй! — воскликнула миссис Никльби. — Подумать только, что сэр Мальбери Хоук оказался таким отъявленным негодяем, как говорит мисс Ла-Криви, дорогой мой Николас! А я-то каждый день поздравляла себя с тем, что он поклонник нашей милой Кэт, и думала: каким было бы счастьем для семьи, если бы он породнился с нами и использовал свое влияние, чтобы доставить тебе какое-нибудь доходное место на государственной службе. Я знаю, при дворе можно получить хорошее место. Вот, например, один наш друг (ты помнишь, милая Кэт, мисс Крепли из Эксетера?) получил такое местечко; главная его обязанность, я это хорошо знаю, носить шелковые чулки и парик с кошельком⁶⁵, похожим на черный кармашек для часов. А что теперь получилось! О, это может каждого убить!

Выразив такими словами свою скорбь, миссис Никльби снова предалась горю и жалобно заплакала.

Ввиду того что Николас и его сестра должны были в это время наблюдать за тем, как выносят немногочисленные предметы обстановки, мисс Ла-Криви посвятила себя делу утешения матроны и очень ласково заметила, что, право же, она должна сделать усилие и приободриться.

— О, разумеется, мисс Ла-Криви, — возразила миссис Никльби с раздражительностью,

довольно естественной в ее печальном положении, — очень легко говорить «приободритесь», но если бы у вас было столько же оснований приободряться, сколько у меня... — Затем, оборвав фразу, она продолжала: — Подумайте о мистере Пайке и мистере Плаке, двух безупречнейших джентльменах когда-либо живших на свете! Что я им скажу, что я могу им сказать? Ведь если бы я сказала им: «Мне сообщили, что ваш друг сэр Мальбери гнусный негодяй», — они посмеялись бы надо мной.

— Ручаюсь, что больше они над нами смеяться не будут, — подходя к ней, сказал Николас. — Идемте, мама, карета у двери; и до понедельника, во всяком случае, мы вернемся на нашу старую квартиру.

— Где все готово и где вдобавок вас ждет радушный прием, — прибавила мисс Ла-Криви. — Позвольте, я спущусь вместе с вами.

Но миссис Никльби не так-то легко было увести, потому что сначала она настояла на том, чтобы подняться наверх посмотреть, не оставили ли там что-нибудь, а затем спуститься вниз посмотреть, все ли оттуда вынесли; а когда ее усадили в карету, ей померещился забытый кофейник на плите в кухне, а после того как захлопнули дверцу, возникло мрачное воспоминание о зеленом зонте за какой-то неведомой дверью. Наконец Николас, доведенный до полного отчаяния, приказал кучеру трогать, и при неожиданном толчке, когда карета покатилась, миссис Никльби уронила шиллинг в соломку, что, по счастью, сосредоточило ее внимание на карете, а потом было уже слишком поздно, чтобы еще о чем-нибудь вспоминать.

Удостоверившись в том, что все благополучно вынесено, отпустив служанку и заперев дверь, Николас вскочил в кабриолет и поехал на одну из боковых улиц близ Гольдн-сквера, где условился встретиться с Ногсом; и так быстро все уладилось, что было только половина десятого, когда он явился на место свидания.

— Вот письмо Ральфу, — сказал Николас, — а вот ключ. Когда вы придете сегодня ко мне, ни слова о вчерашнем вечере. Плохие вести путешествуют быстро, и скоро они все узнают. Вы не слыхали, очень ли он пострадал?

Ньюмен покачал головой.

— Я выясню это сам, не теряя времени, — сказал Николас.

— Вы бы лучше отдохнули, — возразил Ньюмен. — Вас лихорадит, и вы больны.

Николас небрежно покачал головой и, скрывая недомогание, которое действительно чувствовал теперь, когда улеглось возбуждение, поспешно распрощался с Ньюменом Ногсом и ушел.

Ньюмен находился всего в трех минутах ходьбы от Гольдн-сквера, но за эти три минуты он по крайней мере раз двадцать вынимал письмо из шляпы и снова его прятал. Он восхищался лицевой стороной письма, восхищался: им сзади, с боков, восхищался адресом, печатью. Затем он вытянул руку и с упоением обозрел письмо в целом. А затем он потер руки, придя в полный восторг от своего поручения.

Он вошел в контору, повесил, по обыкновению, шляпу на гвоздь, положил письмо и ключ на стол и стал нетерпеливо ждать появления Ральфа. Через несколько минут на лестнице послышался хорошо знакомый скрип сапог, а затем зазвонил колокольчик.

— Была почта?

— Нет.

— Писем никаких нет?

— Одно.

Ньюмен пристально посмотрел на него, положил письмо на стол.

А это что? — спросил Ральф, взяв ключ.

— Оставлено вместе с письмом. Принес мальчик, всего четверть часа назад.

Ральф взглянул на адрес, распечатал письмо и прочел следующее:

«Теперь я знаю, кто вы такой. Одни эти слова должны пробудить в вас чувство стыда в тысячу раз более сильного, чем пробудили бы любые мои упреки!

Вдова вашего брата и ее осиротевшая дочь отказываются искать приюта под

вашей кровлей и сторонятся вас с омерзением и отвращением. Ваши родственники отрекаются от вас, ибо кровные узы, связывающие их с вами, для них позор.

Вы старик, вам недолго ждать могилы! Пусть все воспоминания вашей жизни теснятся в вашем лживом сердце и погружают во мрак ваше смертное ложе!»

Ральф дважды прочел это письмо и, мрачно нахмурившись, глубоко задумался; бумага затрепетала в его руке и упала на пол, но он сжимал пальцы, как будто все еще держал ее.

Вдруг он встал и, сунув смятое письмо в карман, повернулся в ярости к Ньюмену Ногсу, словно спрашивая его, почему он не уходит. Но Ньюмен стоял неподвижно, спиной к нему, и водил грязным огрызком старого пера по цифрам на таблице процентов, приклеенной к стене, и, казалось, ни на что другое не обращал никакого внимания.

Глава XXXIV,

где Ральфа посещают лица, с которыми читатель уже завязал знакомство

— Как вы дьявольски долго заставляете меня звонить в этот проклятый старый, надтреснутый чайник, именуемый колокольчиком, каждое звяканье которого может довести до конвульсий здорового мужчину, клянусь жизнью и душой, черт побери! — сказал Ньюмену Ногсу мистер Манталини, очищая при этом свои сапоги о железную скобу у дома Ральфа Никльби.

— Я всего один раз слышал колокольчик, — отозвался Ньюмен.

— Значит, вы чрезвычайно и возмутительно глухи, — сказал мистер Манталини, — глухи, как проклятый столб.

Мистер Манталини был уже в коридоре и без всяких церемоний направлялся к двери конторы Ральфа, когда Ньюмен загородил ему дорогу и, намекнув, что мистер Никльби не желает, чтобы его беспокоили, осведомился, срочное ли дело у клиента.

— Дьявольски важное! — сказал мистер Манталини. — Нужно расплавить несколько клочков грязной бумаги в ослепительном, сверкающем, звякающем, звенящем, дьявольском соусе из монет!

Ньюмен многозначительно хмыкнул и, взяв протянутую мистером Манталини визитную карточку, заковылял с нею в контору своего хозяина. Просунув голову в дверь, он увидел, что тот снова сидит в задумчивой позе, какую принял, когда прочел письмо своего племянника, и что он как будто опять его перечитывал, так как держал развернутым в руке. Но Ногс кинул только мимолетный взгляд, потому что потревоженный Ральф оглянулся, чтобы узнать причину вторжения.

Пока Ньюмен излагал ее, сама причина с чванным видом ввалилась в комнату и, с необыкновенным жаром дожимая жесткую руку Ральфа, поклялась, что никогда а жизни тот не бывал еще в таком прекрасном виде.

— У вас прямо-таки румянец на вашей проклятой физиономии, — сказал мистер Манталини, усаживаясь без приглашения и приводя в порядок волосы и бакенбарды. — У вас прямо-таки радостный и юношеский вид, черт меня побери!

— Мы здесь одни, — резко сказал Ральф. — Что вам от меня нужно?

— Прекрасно! — воскликнул мистер Манталини, ослабившись. — Что мне от вас нужно! Ха-ха-ха! Великолепно!, Что мне нужно! Ха-ха! Черт побери!

— Что вам от меня нужно, сударь? — проговорил грубо Ральф.

— Учесть проклятые векселя, — ответил мистер Манталини, ухмыляясь и игриво покачивая головой.

— С деньгами туго... — сказал Ральф.

— Дьявольски туго, иначе они не были бы мне нужны, — перебил мистер Манталини.

— Времена настали плохие, и не знаешь, кому доверять, — продолжал Ральф. — В

данный момент я не хочу заниматься делами, собственно говоря, я бы и не стал, но раз вы — друг... Сколько у вас тут векселей?

— Два, — ответил мистер Манталини.

— На какую сумму?

— Какая-то мелочь... Семьдесят пять.

— А сроки платежа?

— Два месяца и четыре.

— Я их учту для вас, — помните, только для вас, мало для кого бы я это сделал, — за двадцать пять фунтов, — спокойно сказал Ральф.

— Черт подери! — вскричал мистер Манталини, чья физиономия сильно вытянулась при таком блестящем предложении.

— Да ведь вам остается пятьдесят, — возразил Ральф. — Сколько бы вы хотели? Дайте мне взглянуть на имена.

— Вы дьявольски прижимисты, Никльби, — запротестовал мистер Манталини.

— Дайте мне взглянуть на имена, — повторил Ральф, нетерпеливо протягивая руку к векселям. — Так. Полной уверенности нет, но они достаточно надежны. Согласны вы на эти условия и берете деньги? Я этого не хочу. Я предпочел бы, чтобы вы не соглашались.

— Черт возьми, Никльби, не можете ли вы... — начал мистер Манталини.

— Нет! — ответил Ральф, перебивая его. — Не могу. Берете деньги? Сейчас, немедленно? Никаких отсрочек. Никаких прогулок в Сити и никаких переговоров с компаньонами, которых нет и никогда не было. Согласны или нет?

С этими словами Ральф отодвинул от себя какие-то бумаги и небрежно, словно случайно, затарахтел своей шкатулкой с наличными деньгами. Этого звука не вынес мистер Манталини. Он согласился, как только звон коснулся его слуха, и Ральф отсчитал нужную сумму и бросил деньги на стол.

Он только что это сделал, а мистер Манталини еще не все собрал, когда раздалось звяканье колокольчика и немедленно вслед за этим Ньюмен ввел ни больше ни меньше как мадам Манталини, при виде которой мистер Манталини обнаружил сильное смущение и с удивительным проворством препроводил деньги в карман. — О, ты здесь! — сказала мадам Манталини, тряхнув головой.

— Да, жизнь моя и душа, я здесь! — отозвался ее супруг, падая на колени и с игривостью котенка бросаясь на упавший со стола соверен. — Я здесь, улада души моей, на земле Тома Тидлера⁶⁶, подбираю проклятое золото и серебро.

— Мне стыдно за тебя! — с величайшим негодованием воскликнула мадам Манталини.

— Стыдно? За меня, моя радость? Моя радость знает, что говорит дьявольски очаровательно, но ужасно сочиняет, — возразил мистер Манталини. Моя радость знает, что ей не стыдно за ее милого котика.

Каковы бы ни были обстоятельства, приведшие к такому результату, но, очевидно, в данном случае милый котик плохо учел душевное состояние своей супруги. Мадам Манталини ответила только презрительным взглядом и, повернувшись к Ральфу, попросила простить ей ее вторжение.

— Которое вызвано, — продолжала мадам, — недостойными поступками и в высшей степени заторным поведением мистера Манталини.

— Моим, мой ананасовый сок?

— Твоим! — подтвердила его жена. — Но я не позволю, я не допущу, чтобы меня разорило чье бы то ни было мотовство и распутство. Я хочу сообщить мистеру Никльби о тех мерах, какие я намерена применить к тебе.

— Пожалуйста, сударыня, не сообщайте мне, — сказал Ральф. — Улаживайте это между собой, улаживайте между собой.

— Да, но я должна почтительно просить вас, — сказала мадам Манталини, чтобы вы

послушали, как я буду предупреждать его о том, что твердо намерена сделать... Твердо намерена, сэр! — повторила мадам Манталини, метнув гневный взгляд на своего супруга.

— Неужели она будет называть меня «сэр»? — вскричал Манталини. — Меня, который обожает ее с дьявольским, пылом! Она, которая оплетает меня своими чарами, как чистая и ангельская гремучая змея! Все будет кончено с моими чувствами! Она повергнет меня в дьявольское уныние.

— Не говорите о чувствах, сэр! — сказала мадам Манталини, садясь и поворачиваясь к нему спиной. — Вы не уважаете моих.

— Я не уважаю ваших, душа моя? — воскликнул мистер Манталини.

— Не уважаете, — ответила его жена.

И, несмотря на всевозможные улещиванья со стороны мистера Манталини, мадам Манталини еще раз сказала: «Не уважаете!» — и сказала с такой решительной и неумолимой злобой, что мистер Манталини явно смутился.

— Его мотовство, мистер Никльби, — продолжала она, обращаясь к Ральфу, который, заложив руки за спину, прислонился к креслу и созерцал очаровательную чету с улыбкой, выражающей величайшее и беспредельное презрение, — его мотовство не знает никаких границ.

— Никогда бы я этого не подумал, — саркастически отозвался Ральф. — Но уверяю вас, мистер Никльби, это правда, — возразила мадам Манталини. — Я так страдаю от этого! Я живу среди вечных опасений и вечных затруднений. Но и это еще не самое худшее, — сказала мадам Манталини, вытирая глаза. — Сегодня утром он взял из моего стола ценные бумаги, не спросив у меня разрешения.

Мистер Манталини тихо застонал и застегнул карман брюк.

— Я принуждена, — продолжала мадам Манталини, — со времени наших последних несчастий очень много платить мисс Нэг за то, что она дала свое имя фирме, и, право же, я не могу поощрять его в мотовстве. Так как я не сомневаюсь, мистер Никльби, что он пришел прямо к вам, чтобы обратить бумаги, о которых я упомянула, в деньги, и так как вы и раньше очень часто нам помогали и очень тесно связаны с нами в такого рода делах, я хочу, чтобы вы знали, к какому решению заставил он меня прийти своим поведением.

Мистер Манталини снова застонал под прикрытием шляпки своей жены и, вставив в один глаз соверен, другим подмигнул Ральфу! Прodelав очень ловко этот фокус, он сунул монету в карман и застонал с сугубым раскаянием.

— Я приняла решение перевести его на пенсию, — сказала мадам Манталини, заметив признаки нетерпения, отразившегося на лице Ральфа.

— Что сделать, радость моя? — осведомился мистер Манталини, который как будто не уловил смысла этих слов.

— Назначить ему, — сказала мадам Манталини, смотря на Ральфа и благоразумно остерегаясь бросить хотя бы мимолетный взгляд на своего супруга из боязни, как бы многочисленные его прелести не заставили ее поколебаться в принятом решении, — назначить ему определенную сумму... И я скажу, что, если он будет иметь сто двадцать фунтов в год на костюмы и мелкие расходы, он может почитать себя очень счастливым человеком.

Мистер Манталини ждал, соблюдая все приличия, в надежде услышать размеры стипендии, но, когда цифра достигла его слуха, он швырнул на под шляпу и трость и, вынув носовой платок, излил свои чувства в горестном стоне.

— Проклятье! — вскричал мистер Манталини, внезапно срываясь со стула и столь же внезапно бросаясь на него снова, к крайнему потрясению нервов своей владычицы. — Но нет! Это дьявольски страшный сон! Это не наяву! Нет!

Утешив себя этим завереньем, мистер Манталини закрыл глаза и стал терпеливо ждать пробуждения.

— Очень разумное соглашение, если ваш супруг будет соблюдать его, сударыня, — с усмешкой заметил Ральф. — И несомненно он будет.

— Проклятье! — воскликнул мистер Манталини, открыв глаза при звуке голоса Ральфа. — Это страшная действительность. Вот она сидит здесь, передо мной! Вот очаровательные контуры ее фигуры! Как можно ее не узнать? Второй такой не найдешь! У двух графинь не было вовсе никакой фигуры, а у вдовы... у той была дьявольская фигура! Почему она так невыносимо прекрасна, что даже сейчас я не могу рассердиться на нее?

— Все это вы сами навлекли на себя, Альфред, — отозвалась мадам Манталини все еще укоризненно, но более мягким тоном.

— Я дьявольский негодяй! — вскричал мистер Манталини, колотя себя по голове. — Я разменяю соверен на полупенни, набью ими карманы и утоплюсь в Темзе. Но на нее я сердиться не буду. По дороге я пошлю ей письмо и напишу, где искать мой труп. Несколько красивых женщин будут рыдать, она будет смеяться!

— Альфред, жестокое, жестокое создание! — всхлипнула мадам Манталини, рисуя себе эту ужасную картину.

— Она называет меня жестоким... Меня! Меня, который ради нее готов стать проклятым, сырым, мокрым, отвратительным трупом! — воскликнул мистер Манталини.

— Ты разбиваешь мне сердце, когда говоришь такие вещи! — сказала мадам Манталини.

— Могу ли я жить, если мне не верят! — возопил мистер Манталини. — Разве я не разрезал свое сердце на чертовски маленькие кусочки и не отдал их, один за другим, этой дьявольской чаровнице? И разве я могу вынести, чтобы она подозревала меня? Не могу, черт побери!

— Спроси мистера Никльби, приличную ли я назвала сумму, — увещевала мадам Манталини.

— Не хочу я никакой суммы! — ответил безутешный супруг. — Мне не понадобится никакая чертова пенсия. Я стану трупом!

При повторении мистером Манталини этой зловещей угрозы мадам Манталини заломила руки и взмолилась о вмешательстве Ральфа Никльби. И после долгих слез, и разговоров, и нескольких попыток со стороны мистера Манталини добаться до двери, чтобы сейчас же вслед за этим наложить на себя руки, сего джентльмена с трудом уговорили дать обещание, что он не станет трупом. Добившись этой важной уступки, мадам Манталини подняла вопрос о пенсии, и мистер Манталини его поднял, пользуясь случаем пояснить, что он может, к полному своему удовольствию, прожить на хлебе и на воде и ходить в лохмотьях, но не может существовать под бременем недоверия той, кто является предметом его самой преданной и бескорыстной любви. Это вызвало новые слезы у мадам Манталини, чьи глаза только-только начали раскрываться на некоторые недостатки мистера Манталини, но легко могли снова закрыться. Результат был тот, что, не совсем отказавшись от мысли о пенсии, мадам Манталини отложила дальнейшее обсуждение вопроса, а Ральф понял достаточно ясно, что мистер Манталини снова завоевал право на привольную жизнь и что унижение его и падение откладываются во всяком случае еще на некоторое время.

«Но этого недолго ждать, — подумал Ральф. — Любовь, — ба, я говорю на языке мальчишек и девчонок! — проходит быстро. Впрочем, любовь, которая зиждется на восхищении усатой физиономией вот этого павиана, может длиться гораздо дольше, поскольку ее породило полное ослепление и питается она тщеславием. Ну что ж, эти дураки льют воду на мою мельницу! Пусть живут, как им хочется, и чем дольше, тем лучше».

Эти приятные мысли мелькали у Ральфа Никльби, в то время как объекты его размышлений обменивались нежными взглядами, полагая, что их не видят.

— Если тебе больше нечего сказать мистеру Никльби, дорогой мой, промолвила мадам Манталини, — мы распрощаемся с ним. Я уверена, что мы и так уже задержали его слишком долго.

Мистер Манталини ответил сначала похлопыванием мадам Манталини по носу, а затем изъяснил словами, что больше он ничего не имеет сказать.

— Черт побери! А впрочем, имею, — добавил он тотчас же, отводя Ральфа в угол. —

Это касается историк с вашим другом сэром Мальбери. Такая чертовски необычайная, из ряда вон выходящая штука, какой никогда еще не случилось!

— Что вы имеете в виду? — спросил Ральф.

— Неужели вы не знаете, черт побери? — осведомился мистер Манталини.

— Я читал в газете, что вчера вечером он выпал из кабриолета, получил серьезные повреждения и жизнь его до известной степени в опасности, — с большим хладнокровием отозвался Ральф, — но ничего особенного я в этом не вижу. Несчастные случаи не чудо, когда человек живет широко и сам правит лошадью после обеда.

— Фью! — протяжно и пронзительно свистнул мистер Манталини. — Значит, вы не знаете, как было дело?

— Нет, если не так, как я предположил, — ответил Ральф, небрежно пожимая плечами, как бы давая понять своему собеседнику, что не любопытствует знать больше.

— Черт побери, вы меня удивляете! — вскричал мистер Манталини.

Ральф снова пожал плечами, словно невелика была хитрость удивить мистера Манталини, и бросил выразительный взгляд на Ньюмена Ногса, несколько раз появлявшегося за стеклянной дверью, ибо Ньюмен был обязан, когда приходили люди незначительные, притворяться, будто ему позвонили, чтобы их проводить: деликатный намек таким посетителям, что пора уходить.

— Вы не знаете, что это был совсем не несчастный случай, но дьявольское, неистовое, человекоубийственное нападение на него, совершенное вашим племянником? — спросил мистер Манталини, взяв Ральфа за пуговицу.

— Что! — зарычал Ральф, сжимая кулаки и страшно бледнея.

— Черт возьми, Никльби! Вы такой же тигр, как и он, — сказал Манталини, испуганный этими симптомами.

— Дальше! — крикнул Ральф. — Говорите, что вы имеете в виду. Что это за история? Кто вам рассказал? Говорите! Слышите вы меня?

— Какой вы чертовски свирепый старый злой дух, Никльби! — сказал мистер Манталини, пятясь к жене. — Вы можете испугать до полусмерти мою очаровательную малютку-жену, мою жизнь и душу, когда вдруг приходите в такое неистовое, неудержимое, безумное бешенство, черт бы меня побрал!

— Вздор! — отозвался Ральф, сиюсь улыбнуться. — Это просто такая манера.

— Дьявольски неприятная манера, позаимствованная из сумасшедшего дома, — сказал мистер Манталини, взяв свою трость.

Ральф постарался улыбнуться и снова спросил, от кого получил мистер Манталини эти сведения.

— От Пайка. И он чертовски приятный и любезный джентльмен, — ответил Манталини. — Дьявольски любезный и настоящий аристократ.

— Что же он сказал? — спросил Ральф, нахмурившись.

— Ваш племянник встретил сэра Мальбери в кофейне, напал на него с самой дьявольской яростью, последовал за ним до его кэба, поклялся, что поедет с ним домой, хотя бы ему пришлось сесть на спину лошади или уцепиться за ее хвост, разбил ему физиономию — чертовски красивую физиономию в натуральном ее виде, испугал лошадь, вышвырнул из кэба сэра Мальбери и самого себя и...

— И разбился насмерть? — сверкнув глазами, перебил Ральф. — Да? Он умер? Манталини покачал головой.

— Уф! — сказал Ральф, отвернувшись. — Значит, дело кончилось ничем. Постойте, — прибавил он, оглядываясь. — Он сломал себе руку или ногу, или вывихнул плечо, или раздробил ключицу, или сломал одно-два ребра? Шея его уцелела для петли, но он получил какие-нибудь мучительные и медленно заживающие повреждения? Не так ли? Уж об этом-то вы во всяком случае должны были слышать.

— Нет, — возразил Манталини, снова покачав головой. — Если он не разбился на такие мелкие кусочки, что они разлетелись по ветру, значит он не пострадал, потому что

ушел он вполне спокойно и такой довольный, как... как... как черт меня побери, — сказал мистер Манталини, не подобрав подходящего сравнения.

— А что... — не без колебания спросил Ральф, — что послужило причиной ссоры?

— Вы дьявольский хитрец, — с восхищением отозвался мистер Манталини, самая лукавая, самая подозрительная, несравненная старая лиса... о, черт побери!.. вы притворяетесь, будто не знаете, что причиной была маленькая племянница с блестящими глазками — нежнейшая, грациознейшая, прелестнейшая...

— Альфред! — вмешалась мадам Манталини.

— Она всегда права, — примирительно ответил мистер Манталини, — и, если она говорит — пора идти, значит пора, и она идет. А когда она пойдет по улице со своим тюльпаном, женщины будут говорить с завистью: «Какой у нее чертовски красивый муж!», а мужчины будут говорить с восторгом: «Какая у него чертовски красивая жена!» И те и другие будут правы, и те и другие не ошибутся, клянусь жизнью и душой, о, черт побери!

В таких и подобных выражениях, не менее разумных и уместных, мистер Манталини попрощался с Ральфом Никльби, поцеловав пальцы своих перчаток, и, продев руку леди под свою, жеманно ее увел.

— Так, так, — пробормотал Ральф, бросаясь в кресло. — Этот дьявол опять сорвался с цепи и становится мне поперек дороги. Для этого он и на свет родился. Однажды он мне заявил, что рано или поздно настанет день расплаты. Я из него сделаю пророка, потому что этот день несомненно настанет.

— Вы дома? — спросил Ньюмен, неожиданно просунув голову.

— Нет! — не менее отрывисто ответил Ральф.

Ньюмен втянул голову, до затем снова ее просунул.

— Вы уверены, что вас нет дома, а? — сказал Ньюмен.

— О чем толкует этот идиот? — резко крикнул Ральф.

— Он ждет с тех пор, как те пришли, и, быть может, слышал ваш голос, вот и все, — сказал Ньюмен, потирая руки.

— Кто ждет? — спросил Ральф, доведенный до крайней степени раздражения только что услышанной новостью и вызывающим хладнокровием своего клерка.

Необходимость дать ответ была утрачена неожиданным появлением человека, о коем шла речь, который, обратив один глаз (ибо у него был только один глаз) на Ральфа Никльби, отвесил множество неуклюжих поклонов и уселся в кресло, положив руки на колени и так высоко подтянув короткие черные штаны, что они едва достигали его веллингтоновских сапог.

— Вот так сюрприз! — сказал Ральф, устремив взгляд на посетителя, внимательно присматриваясь к нему и чуть улыбаясь. — Следовало бы мне сразу узнать ваше лицо, мистер Сквирс.

— Ах, — отозвался этот достойный человек, — вы бы лучше его узнали, если бы не случилось всего, что выпало мне на долю. Снимите-ка этого мальчугана с высокого табурета в задней конторе и скажите ему, чтобы он пришел сюда, слышите, любезный? — сказал Сквирс, обращаясь к Ньюмену. — О, он сам слез Мой сын, сэр, маленький Уэкфорд. Что вы о нем скажете, сэр, каков образец питания в Дотбойс-Холле? Разве на нем не готово лопнуть его платье, расползлись швы и отлететь все пуговицы, такой он толстый? Вот это мягкость так мягкость! — воскликнул Сквирс, поворачивая мальчика и тыча пальцем и кулаком в самые пухлые части его особы, к величайшему неудовольствию своего сына и наследника. — Вот это упругость, вот это плотность! Попробуйте-ка его ущипнуть! Не удастся!

В каком бы превосходном состоянии ни был юный Сквирс, но он несомненно не отличался такой компактностью, ибо, когда указательный и большой пальцы отца сомкнулись для иллюстрации сделанного предположения, он испустил пронзительный крик и самым натуральным образом потер пострадавшее место.

— Тут я его подцепил, — заметил Сквирс, слегка обескураженный, — но это только потому, что сегодня мы рано закусили, а второй раз он еще не завтракал. Но вы его дверью

не прищемите, когда он пообедает. Обратите внимание на эти слезы, сэр! — с торжествующим видом сказал Сквирс, пока юный Уэкфорд утирал глаза обшлагом рукава. — Ведь они маслянистые!

— У него действительно прекрасный вид, — отозвался Ральф, который из каких-то соображений как будто хотел убогатворить школьного учителя. — А как поживает миссис Сквирс и как поживаете вы?

— Миссис Сквирс, сэр, остается такой, как всегда, — ответил владелец Дотбойса, — мать для этих мальчишек и благословение, утешение и радость для всех, кто ее знает. У одного из наших мальчиков, — он обьелся и заболел, такая у них манера, — вскочил на прошлой неделе нарыв. Вы бы посмотрели, как она произвела операцию перочинным ножом! О боже! — сказал Сквирс, испустив вздох и множество раз кивнув головой. — Какое украшение для общества эта женщина!

Мистер Сквирс позволил себе на четверть минутки призадуматься, словно упоминание о превосходных качествах леди, естественно, обратило его мысли к мирной деревне Дотбойс, что неподалеку от Грета-Бридж в Йоркшире, а затем он посмотрел на Ральфа, как бы в ожидании, не скажет ли тот что-нибудь.

— Вы оправились после нападения этого негодяя? — всведомился Ральф.

— Если и оправился, то совсем недавно, — ответил Сквирс. — Я был одним сплошным кровоподтеком, сэр, — сказал Сквирс, притронувшись сначала к корням волос, а затем к носкам сапог, — вот отсюда к досюда. Уксус и оберточная бумага, уксус и оберточная бумага с утра до ночи! Чтобы облепить меня всего, ушло примерно полстопы оберточной бумаги. Когда я лежал, как мешок, у нас в кухне, весь обложенный пластырями, вы бы подумали, что это большой сверток в оберточной бумаге, битком набитый столами. Громко я стонал, Уэкфорд, или я тихо стонал? — спросил мистер Сквирс, обращаясь к сыну.

— Громко, — ответил Уэкфорд.

— А мальчишки горевали, видя меня в таком ужасном состоянии, Уэкфорд, или они радовались? — сентиментальным тоном спросил мистер Сквирс.

— Ра...

— Что? — воскликнул Сквирс, круто повернувшись.

— Горевали, — ответил сын.

— То-то! — сказал Сквирс, угостив его хорошей пощечиной. — В таком случае, вынь руки из карманов и не заикайся, отвечая на вопрос. Не хнычьте, сэр, в конторе джентльмена, а не то я сбегу от моего семейства я никогда к нему не вернусь. А что будет тогда со всеми этими дорогами покинутыми мальчиками, которые вырвутся на волю и потеряют лучшего своего друга?

— Вам пришлось прибегнуть к медицинской помощи? — осведомился Ральф.

— Да, пришлось, — ответил Сквирс, — и недурной счет представил помощник лекаря; впрочем, я заплатил.

Ральф поднял брови с таким видом, который мог выражать либо сочувствие, либо изумление — как угодно было истолковать собеседнику.

— Да, заплатил все до последнего фартинга, — подтвердил Сквирс, по-видимому слишком хорошо звавший человека, с которым имел дело, чтобы предположить, что какие бы то ни было обстоятельства побудят его покрыть часть чужих расходов, — И вдобавок ничего не потратил.

— Ну? — сказал Ральф.

— Ни полпенни, — отозвался Сквирс. — Дело в том, что с наших мальчиков мы берем доплату только на докторов, когда они требуются, да и то, если мы уверены в наших плательщиках, понимаете?

— Понимаю, — сказал Ральф.

— Прекрасно, — продолжал Сквирс. — Так вот, когда вырос мой счет, мы выбрали пять маленьких мальчиков (сыновья торговцев, из тех, кто непременно заплатит), у которых еще не было скарлатины, и одного из них поселили в доме, где были больные скарлатиной, и

он заразился, а потом мы положили четверых остальных спать вместе с ним, они тоже заразились, а тогда пришел доктор и лечил их всех сразу, и мы разложили на них всю сумму моих расходов и прибавили ее к их маленьким счетам, а родители заплатили. Ха-ха-ха!

— Недурно придумано! — сказал Ральфт украдкой присматриваясь к школьному учителю.

— Еще бы! — отозвался Сквирс. — Мы всегда так делаем. Когда миссис Сквирс производила на свет вот этого самого маленького Уэкфорда, мы пропустили через коклюш шестерых мальчиков, и расход на миссис Сквирс, включая месячное жалованье сиделке, разделили между ними. Ха-ха-ха!

Ральф никогда не смеялся, но сейчас он по мере сил воспроизвел нечто, наиболее приближающееся к смеху, и, выждав, пока мистер Сквирс не насладился властью своей профессиональной шуткой, спросил, что привело его в город.

— Хлопотливое судебное дело, — ответил Сквирс, почесывая голову, связанное с тем, что они называют нерадивым отношением к питомцу. Не знаю, что им нужно. Мальчишка был выпущен на самое лучшее пастбище, какое только есть в наших краях.

У Ральфа был такой вид, будто это замечание ему не совсем понятно.

— Ну да, на пастбище, — повысив голос, повторил Сквирс, считая, что если Ральф его не понял, значит он глух. — Если мальчишка становится вялым, ест без аппетита, мы переводим его на другую диету — ежедневно выпускаем его на часок на соседское поле репы, а иногда, если случай деликатный, то на поле репы и на морковные гряды попеременно, и позволяем ему есть, сколько он захочет. Нет лучшей земли в графстве, чем та, на которой пасся этот испорченный мальчишка, а он возьми да и схвати простуду, и несварение желудка, и мало ли что еще, а тогда его друзья возбуждают судебное дело против меня! Вряд ли вы могли бы предположить, что неблагодарность людская заведет их так далеко, не правда ли? — добавил Сквирс, нетерпеливо заерзав на стуле, как человек, несправедливо обиженный.

— Действительно, неприятный случай, — заметил Ральф.

— Вот это вы сущую правду сказали! — подхватил Сквирс. — Думаю, что нет на свете человека, который бы любил молодежь так, как люблю ее я. В настоящее время в Дотбойс-Холле собралось молодежи на сумму восемьсот фунтов в год. Я бы принял и на тысячу шестьсот фунтов, если бы мог найти столько учеников, и к каждым двадцати фунтам относился бы с такой любовью, с какой ничто сравниться не может!

— Вы остановились там, где и в прошлый раз? — спросил Ральф.

— Да, мы у «Сарацина», — ответил Сквирс, — и так как до конца полугодия ждать осталось недолго, мы там задержимся, пока я не соберу деньги и, надеюсь, еще нескольких новых мальчиков. Я привез маленького Уэкфорда нарочно для того, чтобы его показывать родителям и опекунам. На этот раз я думаю поместить его на рекламу. Посмотрите на этого мальчика — ведь он тоже ученик! Ну, не чудо ли упитанности этот мальчик?

— Я бы хотел сказать вам два слова, — заметил Ральф, который некоторое время и говорил и слушал как будто машинально.

— Столько слов, сколько вам угодно, сэр, — отозвался Сквирс. — Уэкфорд, ступай поиграй в задней конторе и поменьше возись, не то похудеешь, а это не годится. Нет ли у вас такой штуки, как два пенса, мистер Никльби? — спросил Сквирс, позвякивая связкой ключей в кармане сюртука и бормоча что-то о том, что у него найдется только серебро.

— Как будто... есть, — очень медленно сказал Ральф и после долгих поисков в ящике конторки извлек пенни, полпенни и два фартинга.

— Благодарю, — сказал Сквирс, отдавая их сыну. — Вот! Пойди купи себе пирожок — клерк мистера Никльби покажет тебе где — и помни, купи жирный. От теста, — добавил Сквирс, закрывая дверь за юным Уэкфордом, — у него кожа лоснится, а родители думают, что это признак здоровья.

Дав такое объяснение и скрепив его особо многозначительным взглядом, мистер Сквирс подвинул стул так, чтобы расположиться против Ральфа на небольшом расстоянии, и,

поместив стул к полному своему удовлетворению, уселся.

— Слушайте меня внимательно, — сказал Ральф, слегка наклоняясь вперед.

Сквирс кивнул.

— Я не думаю, что вы такой болван, — сказал Ральф, — чтобы с готовностью простить или забыть совершенное над вами насилие и огласку?

— Как бы не так, черт побери! — резко сказал Сквирс.

— Или упустить случай уплатить с процентами, если таковой вам представится? — продолжал Ральф.

— Дайте мне его и увидите, — ответил Сквирс.

— Уж не это ли заставило вас зайти ко мне? — спросил Ральф, взглянув на школьного учителя.

— Н-н-нет, этого бы я не сказал, — ответил Сквирс. — Я думал... если у вас есть возможность предложить мне, кроме той пустячной суммы, какую вы прислали, некоторую компенсацию...

— Ах, вот что! — воскликнул, перебивая его, Ральф. — Можете не продолжать.

После длинной паузы, в течение которой Ральф, казалось, был погружен в созерцание, он нарушил молчание вопросом:

— Что это за мальчик, которого он увел с собой?

Сквирс назвал фамилию.

— Маленький он или большой, здоровый или хилый, смирный или буйн! Говорите, — приказал Ральф.

— Ну, он не так уж мал, — ответил Сквирс, — то есть, знаете ли, не так уж мал для мальчика...

— Иными словами он, должно быть, уже не маленький? — перебил Ральф.

— Да, — бойко ответил Сквирс, как будто этот намек доставил ему облегчение, — ему, пожалуй, лет двадцать. Но тем, кто его не знает, он не покажется таким взрослым, потому что у него вот здесь кое-чего не хватает, он хлопнул себя по лбу. — Никого, понимаете ли, нет дома, сколько бы вы ни стучали.

— А вы, разумеется, частенько стучали? — пробормотал Ральф.

— Частенько, — с усмешкой заявил Сквирс.

— Когда вы письменно подтвердили получение этой, как вы выражаетесь, пустячной суммы, вы мне написали, что его друзья давным-давно его покинули и у вас нет никакого ключа, никакой нити, чтобы установить, кто он такой. Правда ли это?

— На мою беду, правда, — ответил Сквирс, становясь все более и более развязным и фамильярным по мере того, как Ральф с меньшей сдержанностью продолжал расспросы. — По записям в моей книге прошло четырнадцать лет с тех пор, как неизвестный человек привел его ко мне осенним вечером и оставил у меня, уплатив вперед пять фунтов пять шиллингов за первую четверть года. Тогда ему могло быть лет пять-шесть, не больше.

— Что вы еще о нем знаете? — спросил Ральф.

— С сожалением должен сказать, что чертовски мало, — ответил Сквирс. Деньги мне платили лет шесть или восемь, а потом перестали. Тот парень дал свой лондонский адрес, но, когда дошло до дела, конечно никто ничего о нем не знал. И вот я оставил мальчишку из... из...

— Из милости? — сухо подсказал Ральф.

— Совершенно верно, из милости, — подтвердил Сквирс, потирая руки. — А когда он только-только начал приносить какую-то пользу, является этот негодяй, молодой Никльби, и похищает его. Но самое досадное и огорчительное во всей этой истории то, — сказал Сквирс, понизив голос и придвигая свой стул ближе к Ральфу, — что именно теперь о нем начали, наконец, наводить справки; не у меня, а окольным путем, в нашей деревне. И вот, как раз тогда, когда я, пожалуй, мог бы получить все, что мне задолжали, а быть может, — кто знает, такие вещи в нашем деле случались, — еще и подарок, если бы спровадил его к какому-нибудь фермеру или отправил в плавание, чтобы он не покрыл позором своих

родителей, если... если допустить, что он незаконнорожденный, как многие из наших мальчиков... черт бы меня побрал, — как раз в это время мерзавец Никльби хватается его средь бела дня и все равно что очищает мой карман!

— Скоро мы оба с ним посчитаемся, — сказал Ральф, положив руку на плечо йоркширского учителя.

— Посчитаемся! — повторил Сквирс. — И я бы охотно дал ему в долг. Пусть вернет, когда сможет. Хотел бы я, чтобы он попался в руки миссис Сквирс! Боже мой! Она бы его убила, мистер Никльби. Для нее это все равно что пообедать.

— Мы об этом еще потолкуем, — сказал Ральф. — Мне нужно время, чтобы это обдумать. Ранить его в его привязанностях и чувствах... Если бы я мог нанести ему удар через этого мальчика...

— Бейте его, как вам угодно, сэр, — перебил Сквирс, — только наносите удар посильнее, вот и все. А затем будьте здоровы!.. Эй! Достаньте-ка с гвоздя шляпу этого мальчика и снимите его с табурета, слышите?

Выкрикнув эти приказания Ньюмену Ногсу, мистер Сквирс отправился в маленькую заднюю контору и с родительской заботливостью надел своему отпрыску шляпу, в то время как Ньюмен с пером за ухом сидел, застывший и неподвижный, на своем табурете, глядя в упор то на отца, то на сына.

— Красивый мальчик, не правда ли? — сказал Сквирс, слегка склонив голову набок и отступив к конторке, чтобы лучше оценить пропорции маленького Уэкфорда.

— Очень, — сказал Ньюмен.

— Неплохо упитан, а? — продолжал Сквирс. — У него жиру хватит на двадцать мальчиков.

— А! — воскликнул Ньюмен, внезапно приблизив свое лицо к лицу Сквирса. У него хватит... жиру на двадцать мальчиков!.. Больше! Он все себе забрал! Да поможет бог остальным! Ха-ха! О боже!

Произнеся эти отрывистые замечания, Ньюмен бросился к своей конторке и начал писать с поразительней быстротой.

— Что такое на уме у этого человека? — покраснев, вскричал Сквирс. — Он пьян?

Ньюмен ничего не ответил.

— Он с ума сошел? — осведомился Сквирс.

Но по-прежнему у Ньюмена был такой вид, как будто он не признавал, что здесь кто-нибудь находится, кроме него; поэтому мистер Сквирс утешился замечанием, что он и пьян и с ума сошел, и с такими прощальными словами увел своего многообещающего сына.

По мере того как Ральф Никльби начинал подмечать у себя зарождающийся интерес к Кэт, ненависть его к Николасу усиливалась. Возможно, что во искупление своей слабости, выражавшейся в приязни к одному человеку, он считал необходимым еще глубже ненавидеть другого; во всяком случае, так развивались его чувства. Знать, что ему бросают вызов, гнушаются им, убеждают Кэт в том, что он гнусен, знать, что ей внушают ненависть и презрение к нему и учат считать прикосновение его отравой, а общение с ним — позором, знать все это и знать, что виновником был тот же бедный юноша-родственник, который стал хулить его при первой же их встрече и с тех пор открыто выступал против него и его не страшился, — все это распалило его скрытую ненависть до таких пределов, что он воспользовался бы любым средством для утоления ее, если бы нашел путь к немедленной расплате.

Но, к счастью для Николаса, Ральф Никльби этого пути не видел; и хотя он размышлял до самого вечера и, несмотря на повседневные дела, не переставал задумываться об этом одном тревожащем его предмете, — однако, когда настала ночь, его преследовала все та же мысль, и он тщетно думал все об одном и том же.

— Когда мой брат был в его возрасте, — говорил себе Ральф, — меня впервые начали сравнивать с братом, и всегда не в мою пользу. Он был прямодушным, смелым, щедрым, веселым, а я — хитрым скрягой с холодной кровью, у которого одна страсть — любовь к

сбережениям, и одно желание — жажда наживы. Я об этом вспомнил, когда в первый раз увидел этого мальчишку. Теперь я припоминаю еще лучше.

Он занимался тем, что разрывал на мельчайшие кусочки письмо Николаса, и при этих словах швырнул их, и они рассыпались дождем.

— Когда я отдаюсь таким воспоминаниям, — с горькой улыбкой продолжал Ральф, — они надвигаются на меня со всех сторон. Если есть люди, притворяющиеся, будто презирают власть денег, я должен показать им, какова она.

И, придя в приятное состояние духа, располагающее ко сну, Ральф Никльби отправился спать.

Глава XXXV,

Смайка представляют миссис Никльби и Кэт. Николас в свою очередь завязывает новое знакомство. Более светлые дни как будто настают для семьи

Устроив мать и сестру в квартире добросердечной миниатюристкой и удостоверившись, что сэру Мальбери Хоуку не грозит опасность распрощаться с жизнью, Николас начал подумывать о бедном Смайке, который, позавтракав с Ньюменом Ногсом, сидел безутешный в комнате этого превосходного человека, ожидая с большой тревогой дальнейших сведений о своем покровителе.

«Так как он будет одним из членов нашего маленького семейного кружка, где бы мы ни жили и что бы судьба нам ни готовила, — думал Николас, — я должен представить беднягу со всеми церемониями. Они будут добры к нему ради него самого, а если и не в такой степени, как мне бы хотелось, то хотя бы ради меня».

Николас сказал «они», но его опасения ограничивались одной особой. Он не сомневался в Кэт, но знал странности своей матери и был не совсем уверен в том, что Смайку удастся снискать расположение миссис Никльби.

«Впрочем, — подумал Николас, отправляясь в путь с такими добрыми намерениями, — она не сможет не привязаться к нему, когда узнает, какое он преданное создание, а так как это открытие она должна сделать очень скоро, то срок его испытания окажется короткими.

— Я боялся, что с вами опять что-нибудь случилось, — сказал Смайк, придя в восторг при виде своего друга. — Время тянулось так медленно, что я испугался, не пропали ли вы.

— Пропал! — весело воскликнул Николас. — Обещаю вам, что вы не так легко от меня отделаетесь. Я еще тысячи раз буду выплывать на поверхность, и чем сильнее меня толкнут, тем быстрее я вынырну, Смайк! Но идемте, я должен отвести вас домой.

— Домой? — пробормотал Смайк, пугливо попятившись.

— Да, — ответил Николас, беря его под руку. — А в чем дело?

— Когда-то я этого ждал, — сказал Смайк, — днем и ночью, днем и ночью, много лет. Я тосковал о доме, пока не измучился и не зачах от горя... Но теперь...

— Что же теперь? — спросил Николас, ласково заглядывая ему в лицо. — Что теперь, дружище?

— Я бы не расстался с вами ни для какого дома на Земле, — ответил Смайк, пожимая ему руку, — кроме одного, кроме одного. Мне не дожить до старости, и если бы ваши руки положили меня в могилу и я знал перед смертью, что иногда вы будете приходить и смотреть на могилу с вашей доброй улыбкой, в летнюю пору, когда вокруг все живет — не мертво, как я, — я мог бы уйти в этот дом почти без слез.

— Зачем вы так говорите, бедный мальчик, если вы счастливы со мной? — сказал Николас.

— Потому что тогда изменился бы я, а не те, кто меня окружает. И, если меня забудут, я этого никогда не узнаю, — ответил Смайк. — На кладбище мы все равны, но здесь никто не похож на меня. Я жалкое существо, и это я хорошо знаю.

— Вы нелепое, глупое существо! — весело отозвался Николас. — Если вы это хотели сказать, я готов с вами согласиться. И с таким унылым видом появиться в обществе леди! Да еще перед моей хорошенькой сестрой, о которой вы меня так часто расспрашивали! Так вот какова ваша йоркширская галантность! Стыдитесь! Стыдитесь!

Смайк повеселел и улыбнулся.

— Когда я говорю о доме, — продолжал Николас, — я говорю о моем доме, который, конечно, также и ваш. Будь он ограничен какими-то определенными четырьмя стенами и крышей, богу известно, я бы затруднился сказать, где он находится. Но не это я имел в виду. Говоря о доме, я говорю о том месте, где, за неимением лучшего, собрались те, кого я люблю; и будь это цыганский шатер или сарай, я все равно называл бы его этим славным именем. Итак, в мой нынешний дом, который, как бы велики ни были ваши опасения, не устрасит вас ни грандиозностью, ни великолепием!

С этими словами Николас взял своего приятеля под руку и, продолжая говорить в том же духе и показывая ему по дороге все, что могло развлечь и заинтересовать его, направился к дому мисс Ла-Криви.

— Кэт, — сказал Николас, входя в комнату, где его сестра сидела одна, вот мой верный друг и преданный спутник; я прошу тебя принять его.

Сначала бедный Смайк робел и смущался, но когда Кэт подошла к нему и ласково, нежным голосом сказала, как хотелось ей увидеть его после рассказов брата и как должна она благодарить его за помощь Николасу во время тяжелых превратностей судьбы, он начал колебаться, заплакать ему или не заплакать, и пришел в еще большее смятение. Однако он ухитрился выговорить прерывающимся голосом, что Николас — единственный его друг и что он готов жизнь отдать, чтобы помочь ему; а Кэт, хотя она и была такой доброй и внимательной, казалось, вовсе не замечала его терзаний и замешательства, так что он почти тотчас же оправился и почувствовал себя дома.

Затем вошла мисс Ла-Криви, и Смайк был представлен также и ей. И мисс Ла-Криви тоже была очень доброй и удивительно много говорила — не со Смайком, потому что это бы его сначала смутило, но с Николасом и его сестрой. Немного спустя она начала изредка обращаться и к Смайку; спрашивала его, может ли он судить о сходстве, и думает ли он, что она, мисс Ла-Криви, похожа на том портрете в углу, и не лучше ли было бы, если бы она изобразила себя на портрете на десять лет моложе, и не думает ли он, что молодые леди и на портрете и в жизни интереснее, чем старые. И много еще она острела и шутила так весело и с таким добродушием, что Смайку она показалась самой любезной леди, какую случалось ему видеть, — любезнее даже, чем миссис Граден из театра мистера Винсента Крамльса, хотя и та была любезной леди и говорила если не больше, то во всяком случае громче, чем мисс Ла-Криви.

Наконец дверь снова отворилась, и вошла леди в трауре, а Николас, нежно поцеловав леди в трауре и назвав мамой, повел ее к стулу, с которого поднялся Смайк, когда она вошла в комнату.

— У вас всегда было доброе сердце и горячее желание помочь тем, кто в том нуждается, дорогая мама, — сказал Николас, — вот почему, я знаю, вы будете расположены к нему.

— Разумеется, дорогой мой Николас, — отвечала миссис Никльби, пристально глядя на своего нового знакомого и кланяясь ему, пожалуй, более величественно, чем того требовали обстоятельства, — разумеется, любой из твоих друзей имеет — и, натурально, так и надлежит быть — все права на радушный прием у меня, и, конечно, я считаю большим удовольствием познакомиться с человеком, в котором ты заинтересован. В этом не может быть никаких сомнений, решительно никаких, ни малейших, — сказала миссис Никльби. Тем не менее я должна сказать, Николас, дорогой мой, как говаривала твоему бедному дорогому папе, когда он приводил джентльменов к обеду, а в доме ничего не было, что если бы твой друг пришел третьего дня — нет, — я имею в виду не третьего дня, пожалуй, мне бы следовало сказать два года назад, мы имели бы возможность принять его лучше.

После таких замечаний миссис Никльби повернулась к дочери и громким шепотом

осведомилась, думает ли джентльмен остаться ночевать.

— Потому что в таком случае, Кэт, дорогая моя, сказала миссис Никльби, я не знаю, где можно уложить его спать, и это сушая правда.

Кэт подошла к матери и без малейших признаков досады или раздражения шепнула ей на ухо несколько слов.

— Ах, Кэт, дорогая моя, — сказала миссис Никльби, отодвигаясь, — как ты меня щекочешь! Конечно, я это и без твоих слов понимаю, моя милочка, и я так и сказала — Николасу, и я очень довольна. Ты мне не говорил, Николас, дорогой мой, — добавила миссис Никльби, оглянувшись уже не с такой чопорностью, какую раньше на себя напустила, — как зовут твоего друга.

— Его фамилия Смайк, мама, — ответил Николас.

Эффект этого сообщения отнюдь нельзя было предвидеть; но как только было произнесено, это имя, миссис Никльби упала в кресло и залилась слезами.

— Что случилось? — воскликнул Николас, бросившись поддержать ее.

— Это так похоже на Пайка! — вскричала миссис Никльби. — Совсем как Пайк! О, не разговаривайте со мной — сейчас мне будет лучше!

Проявив всевозможные симптомы медленного удушья во всех его стадиях и выпив чайную ложку воды из полного стакана и расплескав остальное, миссис Никльби почувствовала себя лучше и со слабой улыбкой заметила, что, конечно, она вела себя очень глупо.

— Это у нас семейное, такая слабость, — сказала миссис Никльби, — так что, разумеется, меня нельзя в этом винить. Твоя бабушка, Кэт, была точь-в-точь такая же. Легкое возбуждение, пустячная неожиданность — и она тотчас падала в обморок. Я частенько слыхала, как она рассказывала, будто еще до замужества своего она однажды свернула за угол на Оксфорд-стрит и вдруг налетела на своего собственного парикмахера, который, повидимому, убежал от медведя⁶⁷. От неожиданности она мгновенно упала в обморок. А впрочем, погодите! — добавила миссис Никльби, приостановившись, чтобы подумать. — Позвольте мне припомнить, не ошибаюсь ли я. Парикмахер ли убежал от медведя, или медведь убежал от парикмахера? Право же, я сейчас не могу вспомнить, но знаю, что парикмахер был очень красивый мужчина и настоящий джентльмен по манерам; словом, это не имеет отношения к рассказу.

С этой минуты миссис Никльби, незаметно предавшись воспоминаниям о прошлом, пришла в более приятное расположение духа и, непринужденно меняя темы разговора, принялась рассказывать различные истории, в такой же мере связанные с данным случаем.

— Мистер Смайк родом из Йоркшира, Николас, дорогой мой? — спросила после обеда миссис Никльби, некоторое время не нарушавшая молчания.

— Совершенно верно, мама, — ответил Николас. Вижу, вы не забыли его печальной истории.

— О боже, нет! — воскликнула миссис Никльби. — Ах, действительно, печальная история! Вам не случалось, мистер Смайк, обедать у Гримбля из Гримбль-Холла, где-то в Норт-Райдинге?⁶⁸ — осведомилась, обращаясь к нему, добрая леди. — Очень гордый человек сэр Томас Гримбль. У него шесть взрослых очаровательных дочерей и прелестнейший парк в графстве.

— Дорогая мама, — вмешался Николас, — неужели вы полагаете, что жалкий пария из йоркширской школы получает пригласительные билеты от окрестной знати и дворянства?

— Право же, дорогой мой, я не понимаю, что в этом такого из ряда вон выходящего, — сказала миссис Никльби. — Помню, когда я была в школе, я всегда ездила по крайней мере дважды в полугодие к Хоукинсам в Тоунтон-Вэл, а они гораздо богаче, чем Гримбли, и породнились с ними благодаря брачным союзам; итак, ты видишь, что в конце концов это не

67

68

так уж невероятно.

Разбив с таким триумфом Николаса, миссис Никльби вдруг забыла фамилию Смайка и обнаружила непреодолимую склонность называть его мистером Сламмонсом, каковое обстоятельство она приписала поразительному сходству в звучании обоих имен — оба начинались с «С» и вдобавок писались через «м». Но если и могли возникнуть какие-нибудь сомнения касательно этого пункта, то не было никаких сомнений, что Смайк оказался превосходнейшим слушателем, что имело большое значение, способствуя наилучшим отношениям между ними и побудив миссис Никльби высказать высокое мнение о его характере и умение держать себя.

Итак, самые дружеские чувства объединили членов маленького кружка; в понедельник утром Николас отлучился на короткое время, чтобы серьезно подумать о положении своих дел и, если удастся, избрать какой-нибудь род деятельности, который дал бы ему возможность поддерживать тех, кто всецело зависел от его трудов.

Не раз приходил ему на ум мистер Крамльс, но, хотя Кэт была знакома со всей историей его отношений с этим джентльменом, мать его ничего не знала, и он предвидел тысячу досадливых возражений с ее стороны, если бы стал искать пропитания на сцене. Были у него и более веские основания не возвращаться к этому образу жизни. Не говоря уже о скудном и случайном заработке и его собственном глубоком убеждении, что у него нет надежды отличиться даже в качестве провинциального актера, может ли он возить сестру из города в город и с места на место и лишить ее общения с людьми, кроме тех, с кем он принужден будет встречаться, почти не делая выбора?

— Это не годится, — покачав головой, сказал Николас. — Нужно испробовать что-нибудь другое.

Легче было принять такое решение, чем привести его в исполнение. О жизни он знал лишь то, что успел узнать за время своих коротких испытаний; он отличался в достаточной мере пылкостью и опрометчивостью (свойствами довольно натуральными в его возрасте), денег у него было очень мало, а друзей еще меньше, — что мог он предпринять?

— Ей-ей, попробую-ка я опять пойти в контору по найму, — сказал Николас.

Быстро отправившись в путь, он улыбнулся, потому что бранил себя мысленно за свою стремительность. Однако насмешки над самим собой не заставили его отказаться от этого намерения, и он шел дальше, рисуя себе по мере приближения к цели различные блестящие перспективы, как возможные, так и несбыточные, и, пожалуй, не без основания почитая большим счастьем, что он наделен таким жизнерадостным и сангвиническим темпераментом.

На вид контора была точь-в-точь такой, как в тот день, когда он в последний раз там был, и даже, за двумя-тремя исключениями, в окне красовались как будто те же самые объявления, какие он видел раньше. Здесь были те же безупречные хозяева, нуждавшиеся в добродетельных слугах, и те же добродетельные слуги, нуждавшиеся в безупречных хозяевах, и те же великолепные поместья для вложения в них капитала, и те же огромные капиталы для вложения в поместья — короче говоря, все те же блестящие возможности для людей, желающих нажить состояние. И самым поразительным доказательством национального благополучия был тот факт, что так долго не являлись люди, чтобы воспользоваться такими благами.

Когда Николас остановился перед окном, случилось, что какой-то старый джентльмен остановился тут же; Николас, скользнув взглядом по оконному стеклу слева направо в поисках объявления, которое подошло бы ему в его положении, обратил внимание на наружность этого старого джентльмена и непроизвольно отвел взгляд от окна, чтобы посмотреть на него внимательнее.

Это был коренастый старик в широкополом синем фраке, просторном, без талии; его толстые ноги были облечены в короткие темные штаны и длинные гетры, а голова защищена широкополой, с низкой тульей шляпой, какую можно увидеть на зажиточном скотоводе. Фрак его был застегнут, а двойной подбородок с ямочкой покоился в складках белого

галстука — не одного из этих ваших туго накрахмаленных апоплексических галстуков, а хорошего, свободного, старомодного белого шейного платка, в котором человек может лечь спать и не почувствовать ни малейшего неудобства. Но особенно привлекли внимание Николаса глаза старого джентльмена: не бывало еще на свете таких ясных, искрящихся, честных, веселых глаз. Он стоял, глядя вверх, одну руку засунув в вырез фрака, а другою перебирая старомодную золотую цепочку от часов, голову слегка склонив набок, — причем шляпа склонилась чуточку ниже, чем голова (но, очевидно, это была случайность, а не обычная его манера носить шляпу), — с такой приятной улыбкой, мелькавшей на губах, и с таким забавным выражением лукавства, наивности, мягкосердечия и добродушия, освещавшим его веселое старое лицо, что Николас охотно стоял бы тут и смотрел на него до вечера, забыв на время, что на свете можно встретить озлобленный ум или сердитую физиономию.

Но даже сколько-нибудь удовлетворить это желание было невозможно, ибо, хотя старик как будто, и не подозревал, что является объектом наблюдения, он случайно взглянул на Николаса, и тот, опасаясь вызвать неудовольствие, немедленно вернулся к изучению окна.

Однако старый джентльмен продолжал стоять, переводя взгляд с одного объявления на другое, и Николас не мог удержаться, чтобы снова не посмотреть ему в лицо. В этом странном и своеобразном лице было что-то невыразимо привлекательное, и такие лучезарные морщинки собирались у уголков его рта и глаз, что смотреть на него было не только развлечением, но подлинным удовольствием и наслаждением.

И потому не чудо, что старик не один раз ловил Николаса за этим занятием. В таких случаях Николас краснел и смущался, потому что, сказать по правде, он начал подумывать, не ищет ли незнакомец клерка или секретаря, и, когда у него мелькнула эта мысль, он почувствовал себя так, будто старый джентльмен должен был ее угадать.

Рассказывать обо всем этом приходится долго, но в действительности прошло не больше двух минут. Когда незнакомец собрался уходить, Николас снова встретил его взгляд и в замешательстве пробормотал какое-то извинение.

— Вы меня ничуть не обидели... Ничуть! — сказал старик.

Это было сказано таким дружеским тоном, — и голос был как раз такой, какой должен быть у подобного человека, и столько было сердечности в обращении, что Николас расхрабрился а снова заговорил.

— Как много прекрасных возможностей, сэр! — сказал он с полуулыбкой, указывая на окно.

— Полагаю, многие, желающие и жаждущие получить место, очень часто это думали, — отозвался старик. — Бедные, бедные!

С этими словами он отошел, но видя, что Николас с намеревается еще что-то сказать, добродушно замедлил шаги, словно ему не хотелось его обрывать. После недолгого колебания, какое случается наблюдать, когда два человека обменялись кивком на улице и оба не знают, разойтись им или остаться и поговорить, Николас очутился рядом со стариком.

— Вы собирались заговорить, молодой джентльмен. Что вы хотели сказать?

— Я почти надеялся... Я хочу сказать-думал, что вы преследовали какую-то цель, знакомясь с этими объявлениями, — ответил Николас.

— Так, так. Какую же цель, какую цель? — подхватил старик, хитро посматривая на Николаса. — Вы подумали, что я ищу место? А? Вы это подумали?

Николас покачал головой.

— Ха-ха! — засмеялся старый джентльмен, потирая руки, словно он мыл их. — Мысль натуральная во всяком случае, раз вы видели, как я глазею на эти объявления. Я то же самое подумал сначала о вас. Честное слово, подумал.

— Если бы вы и сейчас так думали, сэр, вы бы недалеко ушли от истины, отозвался Николас.

— Как? — воскликнул старик, осматривая его с головы до ног. — Что? Ах, боже мой! Нет, нет. Благовоспитанный молодой человек дошел до такой крайности! Нет, нет, нет, нет!

Николас поклонился и, пожелав ему доброго утра, повернул назад.

— Пойдите, — сказал старик, поманив его в боковую улицу, где они могли беседовать более спокойно. — Что вы имеете в виду? Что вы имеете в виду?

— Только то, что ваше доброе лицо и обращение, столь не похожие на все, что мне доводилось до сих пор видеть, толкнули меня к признанию, которое мне бы и в голову не пришло сделать кому бы то ни было еще в этих дебрях Лондона, — ответил Николас.

— Дебри! Да, верно, верно! Это действительно дебри, — с большим оживлением сказал старик. — Когда-то и для меня это были дебри. Я пришел сюда босиком... Я этого никогда не забываю. Слава богу!

И он приподнял шляпу и принял очень серьезный вид.

— В чем дело?... Что такое?... Как это все произошло? — спросил старик, положив руку на плечо Николасу и идя с ним по улице. — Вы... э? — Он коснулся пальцем рукава его черной одежды. — Вы это по ком, а?

— По отцу, — ответил Николас.

— А! — быстро подхватил старый джентльмен. — Плохо для молодого человека лишиться отца. Овдовевшая мать, быть может?

Николас вздохнул.

— Братья и сестры, а?

— Одна сестра, — отозвался Николас.

— Бедняжка, бедняжка! И вы, должно быть, ученый? — сказал старик, пристально всматриваясь в лицо молодого человека.

— Я получил довольно приличное образование, — сказал Николас.

— Дело хорошее, — сказал старый джентльмен. — Образование — великое дело, величайшее дело!.. Я никогда никакого не получал. Тем больше я восхищаюсь им у других. Прекрасное дело... Да, да. Расскажите еще что-нибудь о себе. Дайте мне послушать всю вашу историю. Это не назойливое любопытство — нет, нет, нет!

Было что-то столь искреннее и простодушное в тоне, каким все это было сказано, и такое полное пренебрежение всеми условными правилами сдержанности и холодности, что Николас не мог ничего возразить. На людей, у которых есть какие-нибудь подлинно хорошие качества, ничто не действует столь заразительно, как сердечная целомудренная откровенность. Николас заразился мгновенно и без умолчаний рассказал обо всех основных событиях своей жизни, скрыв только имена и, по возможности, вскользь коснувшись поведения дяди по отношению к Кэт. Старик слушал с величайшим вниманием и, когда он кончил, нетерпеливо продел его руку под свою.

— Ни слова больше! Ни слова! — сказал, он. — Идемте со мной. Мы не должны терять ни минуты.

Говоря это, старый джентльмен потащил его назад на Оксфорд-стрит и, остановив омнибус, ехавший в Сити, впихнул туда Николаса и сам последовал за ним. Казалось, он был в крайнем возбуждении и беспокойстве, и каждый раз, когда Николас пробовал что-то сказать, перебивал его:

— Ни слова, ни слова! Ни под каким видом! Ни слова!

Поэтому молодой человек счел наилучшим больше ему не перечить. Итак, они отправились в Сити, сохраняя молчание, и чем дальше они ехали, тем больше недоумевал Николас, каков может быть исход этого приключения.

Когда они подъехали к Банку⁶⁹, старый джентльмен вышел очень проворно и, снова взяв под руку Николаса, повлек его по Треднидл-стрит и какими-то переулками и проходами направо, пока они, наконец, не вышли на тихую и тенистую маленькую площадь. Он повел его к самому старому и самому чистенькому на вид торговому дому. Единственная надпись на двери гласила: «Чирибл, братья», но, бросив быстрый взгляд на лежавшие вокруг тюки, Николас предположил, что братья Чирибд — купцы, ведущие торговлю с Германией.

Пройдя через склад, где все указывало на процветающую торговлю, мистер Чирибл (ибо таковым считал его Николас, судя по тому уважению, какое ему свидетельствовали кладовщики и грузчики, когда он проходил мимо них) повел его в маленькую, разделенную перегородкой контору, похожую на большой стеклянный ящик, а в конторе сидел — без единой пылинки и пятнышка, словно его поместили в стеклянный ящик, накрыли крышкой и с той поры он оттуда не выходил — дородный пожилой широколицый клерк в серебряных очках и с напудренной головой.

— Мой брат у себя, Тим? — спросил мистер Чирибл так же приветливо, как он обращался к Николасу.

— Да, сэр, — ответил дородный клерк, поднимая очки на своего патрона, а глаза на Николаса, — но у него мистер Триммерс.

— А! По какому делу он пришел, Тим? — спросил мистер Чирибл.

— Он собирает по подписке на вдову и детей человека, который погиб сегодня утром в ост-индских доках⁷⁰, сэр, — ответил Тим. — Его придавил бочонок с сахаром, сэр.

— Триммерс хороший человек, — с жаром сказал мистер Чирибл. — Он добрая душа. Я очень признателен Триммерсу. Триммерс один из наших лучших друзей. Он сообщает нам о тысяче случаев, о которых мы сами никогда бы не узнали. Я очень признателен Триммерсу.

Говоря это, мистер Чирибл с наслаждением потер руки, и, так как в этот момент в дверях показался мистер Триммерс, направлявшийся к выходу, он бросился вслед за ним и схватил его за руку.

— Тысяча благодарностей, Триммерс, десять тысяч благодарностей! Я это рассматриваю как дружескую услугу с вашей стороны, да, как дружескую услугу, — сказал мистер Чирибл, увлекая его в угол, чтобы не было слышно. Сколько детей осталось и что дал мой брат Нэд, Триммерс?

— Детей осталось шестеро, а ваш брат дал нам двадцать фунтов, — ответил джентльмен.

— Мой брат Нэд хороший человек, и вы тоже хороший человек, Триммерс, сказал старик, с горячностью пожимая ему обе руки. — Запишите и меня на двадцать... или... подождите минутку, подождите минутку! Не следует выставять себя напоказ: запишите меня на десять фунтов и Тима Линкинуотера на десять фунтов. Чек на двадцать фунтов для мистера Триммерса, Тим. Да благословит вас бог, Триммерс... Заходите на этой неделе пообедать с нами; для вас всегда найдется прибор, а мы будем очень рады. Так-то, дорогой мой сэр... Чек от мистера Линкинуотера, Тим. Придавило бочонком с сахаром, и шестеро ребятишек! Ах, боже мой, боже мой!

Продолжая говорить в том же духе со всей живостью, на какую он был способен, чтобы предотвратить дружеские возражения сборщика против такой крупной суммы пожертвования, мистер Чирибл повел Николаса, удивленного и растроганного тем, что он видел и слышал за это короткое время, к полуоткрытой двери, ведущей в смежную комнату.

— Брат Нэд! — окликнул мистер Чирибл, постучав согнутым пальцем, и остановился, прислушиваясь. — Ты занят, дорогой брат, или у тебя найдется время перемолвиться со мной двумя словами?

— Брат Чарльз, дорогой мой, — отозвался из комнаты голос, столь похожий на только что прозвучавший, что Николас вздрогнул и готов был подумать, что это тот же самый голос, — не задавай мне никаких вопросов и входи немедленно.

Они вошли без дальнейших разговоров. Каково же было изумление Николаса, когда его спутник шагнул вперед и обменялся горячими приветствиями с другим старым джентльменом, точной копией его самого: то же лицо, та же фигура, тот же фрак, жилет и галстук, те же брюки и гетры, мало того — та же белая шляпа висела на стене!

Когда они пожимали друг другу руку — у обоих при этом лица просияли любовью,

которая восхитительна у маленьких детей и невыразимо трогательна у людей таких старых, — Николас мог заметить, что второй старый джентльмен был немного полнее, чем его брат; эта черта и что-то слегка неуклюжее в его походке и манере составляли единственную уловимую разницу между ними. Никто не мог сомневаться в том, что они близнецы.

— Брат Нэд, — сказал новый знакомый Николаса, Закрывая дверь, — это мой молодой друг, которому мы должны помочь. Мы должны надлежащим образом проверить его слова как ради него, так и ради нас, и, если они подтвердятся, — а я уверен, что они подтвердятся, — мы должны ему помочь, мы должны ему помочь, брат Нэд.

— Достаточно, если ты говоришь, что мы должны помочь, дорогой брат, ответил тот. — Раз ты это говоришь, никакие справки не нужны. Он получит помощь. В чем он нуждается, и чего он хочет? Где Тим Линкинуотер? Позовем его сюда.

Следует здесь отметить, что речь обоих братьев отличалась большой живостью и жаром. Оба потеряли чуть ли не одни и те же зубы, что делало их произношение одинаково своеобразным; и оба говорили так, как будто, обладая ясностью духа, какой наделены самые добродушные и доверчивые люди, они вдобавок выбрали изюминки из наилучшего пудинга Фортуны и, припрятав несколько изюминок впрок, держали их теперь во рту.

— Где Тим Линкинуотер? — спросил брат Нэд.

— Пой! Пой! — сказал брат Чарльз, отводя его в сторону. — У меня есть план, дорогой брат, у меня есть план. Тим стареет, а Тим был верным слугой, брат Нэд, и я не думаю, чтобы пенсия матери и сестре Тима и покупка маленького семейного склепа, когда умер его бедный брат, были достаточным вознаграждением за его верную службу.

— Ну, разумеется, нет! — ответил тот. — Конечно, нет. Совсем недостаточным.

— Если бы мы могли облегчить труд Тима, — сказал старый джентльмен, — и заставили бы его уезжать время от времени за город и спать раза два-три в неделю на свежем воздухе (а он мог бы это делать, если бы по утрам начинал работу на час позже), старый Тим Линкинуотер снова помолодел бы со временем, а сейчас он старше нас на добрых три года. Старый Тим Линкинуотер помолодеет! А, брат Нэд? Да ведь я помню старого Тима Линкинуотера совсем маленьким мальчиком. А ты? Ха-ха-ха! Бедный Тим, бедный Тим!

Славные старики посмеялись, у обоих выступили на глазах слезы любви к старому Тиму Линкинуотеру.

— Но послушай сначала, послушай сначала, брат Нэд, — быстро заговорил старик, поставив по стулу справа и слева от Николаса. Я сам расскажу, брат Нэд, потому что молодой джентльмен скромн, и он ученый, Нэд, и было бы нехорошо, если бы он должен был снова рассказывать нам свою историю, как будто он нищий или как будто мы в нем сомневаемся. Нет, нет, нет!

— Нет, нет, нет! — подхватил тот, серьезно кивая головой. — Совершенно верно, дорогой брат, совершенно верно.

— Он меня остановит, если я ошибусь, — сказал новый друг Николаса. — Но ошибусь я или нет, ты будешь очень растроган, брат Нэд, вспомнив то время, когда мы были, совсем юны и одиноки и заработали наш первый шиллинг в этом огромном городе.

Близнецы молча пожали друг другу руку, и брат Чарльз со свойственной ему простодушной манерой рассказал подробности, услышанные им от Николаса. Последовавший за сим разговор был длинный, и почти такое же длительное секретное совещание имело место между братом Нэдом и Тимом Линкинуотером в другой комнате. К чести Николаса следует сказать, что не провел он и десяти минут с братьями, как уже мог отвечать только жестами на каждое новое выражение сочувствия и доброты и всхлипывал, как ребенок.

Наконец брат Нэд и Тим Линкинуотер вернулись вместе, и Тим тотчас подошел к Николасу и сообщил ему на ухо одной короткой фразой (ибо Тим обычно был немногословен), что он записал адрес и зайдет к нему вечером в восемь часов. Покончив с этим, Тим протер очки и надел их, приготавливаясь слушать, что еще имеют сказать братья

Чирибл.

— Тим, — сказал брат Чарльз, — вы поняли, что мы намерены принять этого молодого джентльмена в контору?

Брат Нэд заявил, что Тим знает об этом намерении и вполне одобряет его; Тим кивнул, сказал, что одобряет, выпрямился и стал как будто еще более дородным и очень важным. Затем наступило глубокое молчание.

— Я, знаете ли, не буду приходить на час позже по утрам, — сказал Тим, вдруг прорвавшись и принимая очень решительный вид. — Я не буду спать на свежем воздухе, да и за город я не буду ездить. Хорошенькое дело — в эту пору дня! Тьфу!

— Будь проклято ваше упрямство, Тим Линкинуотер, — сказал брат Чарльз, смотря на него без малейших признаков гнева и с лицом, сияющим любовью к старому клерку. — Будь проклято ваше упрямство, Тим Линкинуотер! Что вы хотите сказать, сэр?

— Сорок четыре года, — сказал Тим, делая в воздухе вычисления пером и проводя воображаемую черту, прежде чем подвести итог, — сорок четыре года исполнится в мае с тех пор, как я начал вести книги «Чирибл, братья». Все это время я открывал несгораемый шкаф каждое утро (кроме воскресенья), когда часы били девять, и совершал обход дома каждый вечер в половине одиннадцатого (за исключением дней прибытия иностранной почты, а в те вечера — без двадцати двенадцать), чтобы удостовериться, заперты ли двери и погашены ли огни. Ни одной ночи я не ночевал за пределами задней мансарды. Там все тот же ящик с резедой на окне и те же четыре цветочных горшка, по два с каждой стороны, которые я принес с собой, когда только что сюда поступил. Нет в мире — я это повторяю снова и снова, и я это утверждаю, — нет в мире второй такой площади, как эта. Знаю, что нет! — сказал Тим с неожиданной энергией, насупил брови и огляделся по сторонам. — Нет такого! И для дела и для развлечения, летом или зимой — все равно когда, — нет ничего похожего на нее. Нет такого источника в Англии, как насос в подворотне. Нет такого вида в Англии, как вид из моего окна. Я на него смотрю каждое утро, когда еще не начал бриться, значит о нем я кое-что должен знать. Я спал в этой комнате, — добавил Тим, слегка понизив голос, — сорок четыре года, и если бы это не представляло неудобств и не мешало интересам дела, я бы просил разрешения там и умереть.

— Проклятье, Тим Линкинуотер! Как вы смеете говорить о том, что умрете?! — вскричали близнецы в один голос, энергически прочищая свои старые носы.

— Вот что я хотел вам сказать, мистер Эдвин и мистер Чарльз, — произнес Тим, снова расправляя плечи. — Уже не в первый раз вы говорите о том, чтобы перевести меня по старости лет на пенсию, но, с вашего разрешения, пусть это будет в последний раз, и больше мы к Этому вопросу не вернемся.

С этими словами Тим Линкинуотер гордо вышел и заперся в стеклянном ящике с видом человека, сказавшего то, что имел сказать, и твердо решившего не подчиняться.

Братья переглянулись и, не говоря ни слова, кашлянули раз шесть.

— Нужно что-то с ним сделать, брат Нэд! — с жаром сказал другой брат. Мы должны пренебречь его старческой щепетильностью, ее нельзя терпеть и сносить. Его нужно сделать компаньоном, брат Нэд, а если он этому не подчинится мирно, мы должны будем прибегнуть к насилию.

— Совершенно верно! — ответил брат Нэд, кивая головой с видом человека, принявшего твердое решение. — Совершенно верно, дорогой брат. Если он не желает слушать разумные доводы, мы должны сделать это помимо его воли и показать ему, что мы решили проявить власть. Мы должны с ним поссориться, брат Чарльз.

— Должны. Разумеется, мы должны поссориться с Тимом Линкинуотером, подтвердил тот. — Но пока что, дорогой брат, мы задерживаем нашего молодого друга, а старая леди и ее дочь будут беспокоиться, ожидая его возвращения. Итак, мы сейчас распрощаемся, и — так, так... не ударьтесь об этот ящик, дорогой сэр... нет, нет, нет, ни слова больше... будьте осторожны на перекрестках и...

И, произнося бессвязные и отрывистые слова, чтобы удержать Николаса от изъяснения

благодарности, братья поспешно его выпроводили, всю дорогу пожимая ему руку и весьма неудачно делая вид, — они были плохими притворщиками, — будто совсем не замечают, какие чувства им овладели.

У Николаса сердце было слишком переполнено, чтобы он мог показаться на улице прежде, чем овладеет собой. Выскользнув, наконец, из темного уголка у двери, где принужден был задержаться, он мельком увидел, как близнецы украдкой заглядывают в стеклянный ящик, видимо не зная, что делать: продолжать ли начатую атаку безотлагательно, или на время отложить наступление на неумолимого Тима Линкинуотера.

Рассказывать о том восторге и удивлении, какие были вызваны в доме мисс Ла-Криви только что изложенными обстоятельствами, и обо всем, что было сделано, сказано, передумано, чего ждали, на что надеялись и что в результате предвещали, — не отвечает цели этого повествования. Достаточно будет сообщить, что мистер Тимоти Линкинуотер явился пунктуально в назначенный час, что, хотя он и был чудаком и хотя он ревностно заботился, как и следовало ему заботиться, о том, чтобы всеобъемлющая щедрость его хозяев получала надлежащее применение, он высказался энергически и горячо в пользу Николаса и что на следующий день Николай был определен на вакантный табурет в конторе «Чирибл, братья» на жалование в сто двадцать фунтов в год.

— И я думаю, дорогой брат, — сказал новый друг Николаса, — что, если бы мы сдали им тот маленький коттедж в Боу, который сейчас пустует, за плату ниже обычной арендной платы?.. А, брат Нэд?

— Совсем бесплатно! — сказал брат Нэд. — Мы богаты, и нам стыдно брать при таких обстоятельствах арендную плату. Где Тим Линкинуотер? Бесплатно, дорогой брат, бесплатно.

— Пожалуй, лучше было бы назначить что-нибудь, брат Нэд, — кротко возразил другой брат. — Это, знаете ли, помогло бы сохранить привычку к бережливости и избавило бы от мучительного чувства чрезмерной благодарности. Мы могли бы назначить пятнадцать или двадцать фунтов и, если бы эта сумма уплачивалась аккуратно, возместить им ее как-нибудь иначе. И я мог бы тайно предложить маленькую ссуду на обзаведение кое-какою мебелью, а ты мог бы тайно предложить другую маленькую ссуду, брат Нэд, и если мы увидим, что у них все идет хорошо, — а мы это увидим, опасаться не приходится, опасаться не приходится, — мы можем превратить эту ссуду в подарок. Осторожно, брат Нэд, и постепенно и не слишком их принуждая. Что ты на это скажешь, брат?

Брат Нэд дал согласие и не только сказал, что это будет сделано, но и сделал; и на протяжении одной короткой недели Николай вступил во владение табуретом, а миссис Никльби и Кэт вступили во владение домом; и так много было связано с этим суеты, так много веселья и упований!

Право, никогда еще не бывало такой недели открытий и неожиданностей, как первая неделя в этом коттедже. Каждый вечер, к возвращению Николаса домой, обнаруживалось что-нибудь новое. Сегодня это была виноградная лоза, завтра — кипятильник, а на следующий день — ключ от стенного шкафа в гостиной, найденный на дне кадки, и сотни других вещей. Затем одна комната украсилась муслиновыми занавесками, а другая стала совсем элегантной благодаря шторе, и такие были сделаны улучшения, каких никто и вообразить не мог. Потом приехала в омнибусе денка на два погостить и помочь мисс Ла-Криви, которая вечно теряла очень маленький пакет с тонкими гвоздиками и очень большой молоток, и бегала повсюду с засученными рукавами, и падала с лестницы, и очень больно ушибалась; и была здесь миссис Никльби, говорившая без умолку и редко-редко что-либо делавшая; и была здесь Кэт, потихоньку работавшая повсюду, и Смайк, превративший сад в чудеснейший уголок, и Николай, помогавший всем и всех подбадривавший. Уют и безмятежность домашнего очага были восстановлены, но лишь перенесенные несчастья и разлука могли дать ту радость, какую давали скромные удовольствия, и то наслаждение, которое приносил каждый час, проведенный вместе.

Короче говоря, бедные Никльби были окружены людьми и счастливы, а богатый

Никльби был одинок и несчастен.

Глава XXXVI,

интимная и конфиденциальная, имеющая отношение к семейным делам, повествующая о том, как мистер Кенуигс перенес жестокое потрясение, и о том, что миссис Кенуигс чувствовала себя хорошо, насколько это было возможно

Было часов семь вечера, и в узких улицах близ Гольдн-сквера начинало темнеть, когда мистер Кенуигс послал за парой самых дешевых лайковых перчаток — те, что по четырнадцати пенсов, — и, выбрав более прочную перчатку, каковой оказалась приходившаяся на правую руку, спустился по лестнице с видом торжественным и весьма возбужденным и принялся обертывать перчаткой кольцо у входной двери. Исполнив эту работу с большой аккуратностью, мистер Кенуигс захлопнул за собой дверь и перешел через дорогу, чтобы полюбоваться эффектом с противоположного тротуара. Убедившись, что лучшего и представить себе нельзя, мистер Кенуигс вернулся и, крикнув в замочную скважину Морлине, чтобы она открыла дверь, скрылся в доме и больше не показывался.

Если рассматривать это обстоятельство как нечто абстрактное, то не было никаких явных поводов или причин, почему мистер Кенуигс взял на себя труд обернуть именно это кольцо, а не кольцо у двери какого-нибудь аристократа или джентльмена, проживавшего на расстоянии десяти миль отсюда, ибо для наибольшего удобства многочисленных жильцов входная дверь всегда была раскрыта настежь и дверным кольцом никогда не пользовались. Второй, третий и четвертый этажи имели особые звонки. Что до мансард, то туда никто никогда не приходил. Если кому-нибудь нужны были первые этажи, то они были тут же, и оставалось только войти в них, а в кухню вел отдельный ход вниз по лестнице из нижнего двора⁷¹. Поэтому, если исходить из соображений необходимости и пользы, это обертывание перчаткой дверного кольца было совершенно непостижимо.

Но дверные кольца можно обертывать не только из соображений утилитарных, что и было ясно доказано в данном случае. Есть некоторые утонченные формальности и церемонии, которые надлежит соблюдать в цивилизованной жизни, иначе человечество вернется к первобытному варварскому состоянию. Ни одна элегантная леди никогда не разрешалась от бремени — да и ни одно элегантное разрешение от бремени не могло иметь место — без символического обертывания дверного кольца. Миссис Кенуигс была леди с некоторыми претензиями на элегантность; миссис Кенуигс разрешилась от бремени.

И посему мистер Кенуигс обернул безмолвствующее дверное кольцо в своих владениях белой лайковой перчаткой.

— Право, не знаю, — сказал мистер Кенуигс, поправляя воротничок сорочки и медленно поднимаясь по лестнице, — не поместить ли объявление в газете, раз это мальчик.

Размышляя о целесообразности такого шага и о сенсации, которую он должен произвести в округе, мистер Кенуигс отправился в гостиную, где на подставке перед камином сушились чрезвычайно миниатюрные принадлежности туалета, а мистер Ломби, доктор, нянчил на руках младенца, то есть прошлогоднего младенца, не нового.

— Это чудесный малыш, мистер Кенуигс, — сказал мистер Ломби, доктор.

— Вы считаете его чудесным мальчиком, сэр? — отозвался мистер Кенуигс.

— Самый чудесный мальчик, какого мне случалось видеть. Никогда еще не видывал такого младенца.

Утешительный предмет для размышлений и дающий исчерпывающий ответ тем, кто твердит о дегенерации человеческого рода: каждый рождающийся в мир младенец лучше, чем предыдущий.

— Никогда не видывал такого младенца, — повторил дистер Ломби, доктор.

— Морлина была чудесным младенцем, — возразил мистер Кенуигс, словно нападали на его семейство.

— Все они были чудесными младенцами, — сказал мистер Ломби.

И мистер Ломби с задумчивым видом продолжал баюкать младенца. Если он размышлял о том, в какую статью счета вписать баюканье, то об этом должно было быть известно лучше всех ему самому.

На протяжении этого короткого разговора мисс Морлина, как старшая в семье и, натурально, представительница своей матери во время нездоровья последней, без устали тормошила и шлепала трех младших мисс Кенуигс; такая заботливость и нежность вызвали слезы на глазах мистера Кенуигса и побудили его заявить, что по уму и поведению это дитя — женщина.

— Она будет сокровищем для человека, за которого выйдет замуж, сэр, сказал вполголоса мистер Кенуигс. — Я думаю, она сделает выгодную партию, мистер Ломби.

— Меня это отнюдь бы не удивило, — отозвался доктор.

— Вы никогда не видели, как она танцует, сэр? — осведомился мистер Кенуигс.

Доктор покачал головой.

— Ах! — сказал мистер Кенуигс так, словно жалел его от всего сердца. — В таком случае вы не знаете, на что она способна.

Все это время в соседнюю комнату быстро входили и выходили оттуда, дверь очень тихо открывалась и закрывалась (ибо необходимо было охранять покой миссис Кенуигс), и младенца показывали трем-четырем десяткам депутатов от избранных друзей женского пола, которые собрались в коридоре и у подъезда обсудить событие со всех сторон. Действительно, волнение охватило всю улицу, и можно было видеть, как леди группами стоят у двери (некоторые в таком же интересном положении, в каком миссис Кенуигс в последний раз появлялась в обществе), повествуя о своих испытаниях при подобных же обстоятельствах. Иные даже завоевали себе славу, еще за день в точности предсказав, когда это должно произойти, а другие говорили о том, что они сразу угадали, в чем тут дело, когда мистер Кенуигс, весь бледный, изо всех сил пустился бежать по улице. Одни утверждали одно, а другие другое, но все говорили вместе, и все соглашались по двум пунктам: во-первых, в высшей степени достойно и весьма похвально сделать то, что сделала миссис Кенуигс, и, во-вторых, никогда еще не бывало такого искусного и ученого доктора, как доктор Ломби.

В разгар этой сумятицы доктор Ломби, как было сообщено выше, сидел в комнате второго этажа окнами на улицу, нянча на руках смещенного с должности младенца и беседуя с мистером Кенуигсом. Доктор Ломби был толстый, грубоватый джентльмен без воротничка и с бородой, отросшей со вчерашнего утра, ибо он был популярен, а округа плодovита и обернуто было еще три дверных кольца, одно за другим, в течение последних сорока восьми часов.

— Итак, мистер Кенуигс, — сказал доктор Ломби, — получается шесть. Со временем у вас будет славное семейство, сэр.

— Мне кажется, шестерых почти достаточно, сэр, — отозвался мистер Кенуигс.

— Ну-ну! — сказал доктор. — Вздор! Должно быть вдвое больше!

Тут доктор захохотал, но еще больше хохотала замужняя приятельница миссис Кенуигс, которая только что вышла из комнаты больной доложить о положении дел и хлебнуть немного бренди с водой; она как будто считала, что никогда еще не преподносили обществу такой прекрасной шутки.

— Им не приходится полагаться только на удачу, — сказал мистер Кенуигс, посадив к себе на колени вторую дочь, — у них есть виды на наследство.

— О, вот как! — сказал мистер Ломби, доктор.

— И, кажется, очень неплохие виды? — осведомилась замужняя леди.

— Видите ли, сударыня, — сказал мистер Кенуигс, — в сущности не мне говорить о том, каковы могут быть эти виды. Не мне хвастаться семейством, с которым я имею честь

состоять в родстве... В то же время миссис Кенуигс... Я бы сказал, — неожиданно объявил мистер Кенуигс, повысив при этом голос, — что моим детям, быть может, придется по сто фунтов на каждого. Быть может, больше, но уж столько-то несомненно.

— А это очень приличное маленькое состояние, — сказала замужняя леди.

— У миссис Кенуигс есть родственники, — продолжал мистер Кенуигс, беря понюшку табаку из табакерки доктора и затем чихая очень громко, так как не привык к нему, — родственники, которые могли, бы десятерым оставить по сто фунтов и после этого все-таки не просить подаяния.

— Я знаю, кого вы имеете в виду, — заметила замужняя леди, кивая головой.

— Я никаких имен не называл и не хочу называть никаких имен, — с величественным видом сказал мистер Кенуигс. — Многие из моих друзей встречали в этой самой комнате родственника миссис Кенуигс, который мог бы оказать честь любому обществу, вот и все.

— Я его встречала, — сказала замужняя леди, бросив взгляд на доктора Ломби.

— Разумеется, весьма лестно для отца видеть, что такой человек целует его детей и интересуется ими, — продолжал мистер Кенуигс. — Натурально, мои чувства человека убаглотворяет знакомство с таким человеком. И, натурально, мои чувства супруга будут еще более убаглотворены, если об этом событии доведут до сведения такого человека.

Выразив подобным образом свои мысли, мистер Кенуигс привел в порядок льняную косичку своей второй дочери и попросил ее быть хорошей девочкой и слушаться сестры Морлины.

— Эта девочка с каждым днем все больше-походит на мать, — сказал мистер Ломби, с восторгом взирая на Морлину.

— Ну вот! — подхватила замужняя леди. — А что я всегда говорила, что я всегда говорила? Она вылитый ее портрет!

Обратив таким образом всеобщее внимание на упомянутую юную леди, замужняя леди воспользовалась случаем, чтобы хлебнуть снова бренди с водой — и хлебнуть основательно.

— Да, сходство есть, — подумав, сказал мистер Кенуигс. — Но что за женщина была миссис Кенуигс до своего замужества! Боже милостивый, что за женщина!

Мистер Ломби покачал головой с большой торжественностью, как бы давая понять, что, по его мнению, она была ослепительна.

— А говорят о феях! — воскликнул мистер Кенуигс. — Я никогда не видел на свете ничего более эфирного. Никогда! И какое обращение! Игривое и в то же время строгое и пристойное! А фигура! Это не всем известно, — понизив голос, добавил мистер Кенуигс, — но в то время фигура ее была такова, что с нее писали Британию на Холлоуэй-роуд⁷².

— Да вы только посмотрите, какова она сейчас! — сказала замужняя леди. Разве походит она на мать шестерых детей?

— Просто смешно! — воскликнул доктор.

— Она гораздо больше похожа на свою собственную дочь, — заявила замужняя леди.

— Совершенно верно, — согласился мистер Ломби. — Значительно больше.

Мистер Кенуигс собирался сделать какое-то замечание, по всей вероятности подтверждающее это мнение, но тут другая замужняя леди, которая зашла подбодрить миссис Кенуигс и помочь прибрать все, что могло иметь отношение к закуске и выпивке, просунула голову и доложила, что она секунду назад спустилась вниз, услышав колокольчик, и что у двери ждет какой-то джентльмен, который во что бы то ни стало хочет видеть мистера Кенуигса.

Туманный образ знатного родственника промелькнул в голове мистера Кенуигса, когда было сделано это сообщение, и под влиянием этого образа он немедленно приказал Морлине привести джентльмена.

— Смотрите-ка! — воскликнул мистер Кенуигс, остаившись против двери, чтобы как можно скорее увидеть поднимавшегося по лестнице посетителя. — Да ведь это мистер

Джонсон! Как поживаете, сэр?

Николас пожал ему руку, перецеловал своих бывших учениц всех по очереди, вручил Морлине большой сверток с игрушками, поклонился доктору и замужней леди и осведомился о здоровье миссис Кенуигс тоном крайне заинтересованным, который проник в самое сердце и душу леди, пришедшей разогреть над огнем какую-то таинственную смесь.

— Я должен принести сотни извинений, что явился в такое время, — сказал Николас, — но я об этом не знал, пока не позвонил, а занят я теперь так, что боюсь — может пройти несколько дней, прежде чем мне удастся заглянуть еще раз.

— Лучшего времени не найти, сэр, — сказал мистер Кенуигс. — Надеюсь, положение миссис Кенуигс не является препятствием к нашей беседе, сэр.

— Вы очень любезны, — сказал Николас.

В этот момент еще одна замужняя леди провозгласила, что младенец начал сосать вовсю, после чего две замужние леди, уже упомянутые, шумно устремились в спальню созерцать его во время этого процесса.

— Дело в том, — начал Николас, — что перед отъездом из провинции, где я жил последнее время, я взялся передать вам одно поручение.

— Ну? — сказал мистер Кенуигс.

— И я уже несколько дней в Лондоне, — добавил Николас, — но не имел возможности его исполнить.

— Неважно, сэр, — сказал мистер Кенуигс. — Полагаю, оно не станет хуже оттого, что остынет. Поручение из провинции... — задумчиво повторил мистер Кенуигс. — Это любопытно. Я никого не знаю в провинции.

— Мисс Питоукер, — подсказал Николас.

— О, так это от нее? — сказал мистер Кенуигс. — О боже, ну, конечно! Миссис Кенуигс рада будет услышать о ней. Генриетта Питоукер, а? Как странно все складывается! Вдруг вы встречаете ее в провинции! Ну-ну!

Услышав имя старой приятельницы, четыре мисс Кенуигс собрались вокруг Николаса, широко раскрыв глаза и рты, чтобы лучше слышать. Мистер Кенуигс тоже как будто любопытствовал, но был совершенно безмятежен, никаких подозрений у него не мелькало.

— Это поручение касается семейных дел, — нерешительно сказал Николас.

— О, это не имеет значения, — сказал Кенуигс, взглянув на мистера Ломби, который, опрометчиво взяв на свое попечение маленького Лиливика, обнаружил, что никто не расположен освободить его от этой драгоценной обузы. — Здесь все друзья.

Николас раза два кашлянул и как будто затруднялся приступить к делу.

— Генриетта Питоукер в Портсмуте, — заметил мистер Кенуигс.

— Да, — сказал Николас. — И мистер Лидивик там.

Мистер Кенуигс побледнел, но оправился и сказал, что и это тоже странное совпадение.

— Поручение от него, — сказал Николас.

Мистер Кенуигс, казалось, ожил. Мистер Лиливик знал, что племянница находится в деликатном положении, и несомненно просил передать, чтобы ему сообщили все подробности. Это было очень любезно с его стороны и так на него похоже!

— Он просил меня передать его нежнейший привет, — сказал Николас.

— Уверяю вас, я чрезвычайно ему признателен. Вашему двоюродному дедушке Лидивику, дорогие мои, — вставил мистер Кенуигс, снисходительно давая объяснение детям.

— Его нежнейший привет, — повторил Николас. — И передал, что писать ему было некогда, но что он женился на мисс Питоукер.

Мистер Кенуигс, выпучив глаза, сорвался с места, схватил свою вторую дочь за льянную косичку и закрыл лицо носовым платком. Морлина, вся оцепенев, упала в детское креслице, как падала на ее глазах в обморок ее мать, а две другие маленькие Кенуигс в испуге завизжали.

— Дети мои, мои обманутые, одураченные малютки! — завопил мистер Кенуигс, с

такой силой дернув в неистовстве своем вторую дочь за льняную косичку, что та приподнялась на цыпочки и несколько секунд простояла в такой позе. — Злодей, осел, предатель!

— Черт бы побрал этого человека! — крикнула сиделка, сердито оглянувшись. — Чего ради он поднимает здесь такой шум?

— Молчать, женщина! — свирепо сказал мистер Кенуигс.

— Не хочу я молчать, — возразила сиделка. — Замолчите сами, несчастный! Или у вас нет никаких чувств к вашему младенцу?

— Никаких! — ответил мистер Кенуигс.

— Какой стыд! — заявила сиделка! — Уф! Изверг!

— Пусть он умрет! — вскричал мистер Кенуигс, обуянный гневом. — Пусть умрет! Никаких видов на наследство у него нет! Нам здесь младенцы не нужны, — безрассудно сказал мистер Кенуигс. — Унесите их, унесите их в приют для подкидышей!

С такими ужасными словами мистер Кенуигс сел на стул и бросил вызов сиделке, которая поспешила в смежную комнату и, вернувшись с вереницей матрон, заявила, что мистер Кенуигс говорит кощунственно о своей семье и что у него, должно быть, буйное помешательство.

Внешний вид мистера Кенуигса несомненно свидетельствовал не в его пользу, ибо от усилий разглагольствовать с таким жаром и в то же время таким тоном, чтобы его сетования не коснулись слуха миссис Кенуигс, лицо у него почернело. Помимо сего, волнение, вызванное событием, и чрезмерное потребление крепких возбуждающих напитков в ознаменование этого события привели к тому, что физиономия мистера Кенуигса чрезвычайно раздулась и опухла. Но когда Николас и доктор, которые сначала оставались безучастными, весьма сомневаясь в том, чтобы мистер Кенуигс мог говорить всерьез, вмешались и объяснили непосредственную причину его состояния, негодование матрон сменилось жалостью, и они с большим чувством стали умолять его, чтобы он успокоился и лег спать.

— Внимание, внимание, какое я оказывал этому человеку! — сказал мистер Кенуигс, озираясь с жалостным видом. — Устрицы, которые он съел, и пинты эля, которые он выпил в этом доме!..

— Это очень мучительно и очень тяжело, мы понимаем, — сказала одна из замужних леди, — но подумайте о вашей жене, дорогой любимой жене.

— О да, и о том, что она испытала сегодня! — подхватило множество голосов. — Будьте мужчиной.

— Подарки, которые ему преподносились! — сказал мистер Кенуигс, возвращаясь к своей беде. — Трубки, табакерки... пара резиновых калош, — они стоили шесть шиллингов, шесть...

— О, конечно, нет сил об этом думать! — хором воскликнули матроны. — Но будьте спокойны, за все это ему воздается.

Мистер Кенуигс мрачно посмотрел на леди, словно предпочитая, чтобы за все это воздалось ему, раз уж ничего другого не получишь, но не произнес ни слова и, опустив голову на руку, как бы погрузился в дремоту.

Затем матроны снова распространились о том, насколько было бы целесообразно отвести доброго джентльмена спать, заметив, что завтра он будет чувствовать себя лучше и что они знают, какую пытку претерпевают иные мужчины, когда с их женами приключается то, что приключилось сегодня с миссис Кенуигс, и что это делает ему честь и стыдиться тут нечего, решительно нечего: им приятно было это видеть, потому что это свидетельствует о доброте сердечной. А одна леди привела в пример своего собственного мужа, который в подобных случаях часто лишался рассудка, и однажды, когда родился ее маленький Джонни, прошла почти неделя, пока он опомнился, и все это время он только и делал, что кричал: «Это мальчик? Это мальчик?» — и голос его проникал в сердца всех слышавших.

Наконец Морлина (которая совсем забыла о том, что упала в обморок, когда

обнаружила, что на нее не обращают внимания) доложила, что постель для ее удрученного родителя готова, и мистер Кенуигс, едва не задушив в тесных объятиях своих четырех дочерей, принял руку доктора с одной стороны и поддержку Николаса с другой и был препровожден наверх в спальню, отведенную для этого случая.

Убедившись, что он крепко заснул, услышав, что он храпит весьма удовлетворительно, и присмотрев за распределением игрушек к полному удовольствию всех маленьких Кенуигс, Николас удалился. Матроны ушли одна за другой, за исключением шести или восьми самых близких друзей, которые решили остаться на всю ночь; огни в домах постепенно погасли; последний бюллетень гласил, что миссис Кенуигс чувствует себя хорошо, насколько это возможно, и семейству предоставили расположиться на отдых.

Глава XXXVII,

Николас завоевывает еще большее расположение братьев Чирибл и, мистера Тимоти Линкинуотера. Братья устраивают банкет по случаю великой годовщины. Вернувшись домой с банкета, Николас выслушивает таинственное и важное сообщение миссис Никльби

Площадь, где была расположена контора братьев Чирибл, хотя, быть может, и не вполне оправдывала весьма радужные ожидания, какие могли возникнуть у человека, слышавшего пламенные хвалы, воспеваемые ей Тимом Линкинуотером, была тем не менее довольно привлекательным уголком в сердце такого суетливого города, как Лондон, — уголком, который занимал почетное место в благодарной памяти многих степенных особ, проживавших по соседству, чьи воспоминания, однако, относились к значительно более раннему периоду и чья привязанность к площади была гораздо менее захватывающей, чем воспоминания и привязанность восторженного Тима.

И пусть те лондонцы, которые привыкли к аристократической важности Гровенор-сквера и Ганновер-сквера, к вдовствующему бесплодию и холоду Фицрой-сквера или к усыпанным гравием дорожкам и садовым скамьям на Рассел-сквере и Юстон-сквере, — пусть эти лондонцы не думают, что привязанность Тима Линкинуотера или других менее солидных почитателей этого места зародилась и поддерживалась благодаря какой-нибудь освежающей ассоциации мыслей, имеющих отношение к листве, хотя бы тусклой, или к траве, хотя бы редкой и чахлой. На Сити-сквере нет никакой ограды, кроме загородки вокруг фонарного столба посередине, и никакой травы, кроме сорной, пробивающейся у его основания. Это тихое, мало посещаемое, уединенное место, благоприятствующее меланхолии, созерцанию и свиданиям, требующим ожидания. И ожидающий назначенного свидания лениво прохаживается здесь взад и вперед, пробуждая эхо монотонным шумом шагов по гладким истертым плитам и пересчитывая сначала окна, а потом даже кирпичи в стенах высоких безмолвных домов. В зимнюю пору снег задерживается здесь, хотя давно уже растаял на оживленных улицах и проезжих дорогах. Летнее солнце питает некоторое уважение к площади и, бережливо посылая сюда свои веселые лучи, сохраняет палящий жар и блеск для более шумных, и нарядных окрестных мест.

На площади так тихо, что вы можете услышать тиканье ваших карманных часов, если остановитесь отдохнуть. Издалека доносится гудение — экипажей, не насекомых, — но никакие другие звуки не нарушают тишины площади. Рассыльный лениво прислонился к тумбе на углу, чувствуя приятное тепло, но не зной, хотя день очень жаркий. Его белый передник вяло развевается, голова постепенно опускается на грудь, глаза то и дело закрываются; даже он не способен противостоять усыпляющему действию этого места и в конце концов погружается в дремоту. Но вот он встрепенулся, отступил шага на два и смотрит перед собой напряженным, странным взглядом. Что это — надежда получить работу или он увидел мальчика, играющего в мраморные шарики? Увидел ли он привидение, или

услышал шарманку? Нет, ему открылось зрелище более непривычное: в сквере бабочка, настоящая живая бабочка! Заблудилась, покинув цветы и ароматы, и порхает над железными острями пыльной решетки.

Но если за пределами конторы «Чирибл, братья» мало что могло привлечь внимание или рассеять мысли молодого клерка, то в конторе многое должно было заинтересовать его и позабавить. Вряд ли был там хоть один предмет, одушевленный или неодушевленный, который бы в какой-то мере не участвовал в добросовестной пунктуальности мистера Тимоти Линкинуотера. Пунктуальный, как конторские часы, которые, по его утверждению, были лучшими в Лондоне, за исключением часов на какой-то старой неведомой церкви, скрывавшейся по соседству (ибо баснословную добропорядочность часов Конной гвардии⁷³ Тим считал милым вымыслом завистливых обитателей Вест-Энда), старый клерк исполнял мельчайшие повседневные обязанности и размещал мельчайшие предметы в маленькой комнатке с такой точностью и аккуратностью, какие остались бы непревзойденными, даже если бы комнатка и в самом деле была стеклянным ящиком, наполненным диковинками.

Бумага, перья, чернила, линейка, сургуч, облатки, коробка с сандараком⁷⁴, коробка с нитками, коробка спичек, шляпа Тима, тщательно сложенные перчатки Тима, второй фрак Тима — он висел на стене и, казалось, облакал Тима, — всему были отведены привычные дюймы пространства. За исключением стенных часов, не существовало на свете такого аккуратного и непогрешимого инструмента, как маленький термометр, висевший за дверью. Не было во всем мире птицы с такими методическими и деловыми привычками, как слепой черный дрозд, который дни напролет мечтал и дремал в большой уютной клетке и потерял голос от старости задолго до того, как его купил Тим. В целой серии анекдотов не было такой богатой событиями истории, как та, какую мог рассказать Тим о приобретении этой птицы: о том, как, сочувствуя его голодному и несчастному существованию, он купил дрозда с гуманной целью пресечь его жалкую жизнь; о том, как он решил подождать три дня и посмотреть, не оживет ли птица; о том, как не прошло и половины этого срока, а дрозд ожил, и как он продолжал оживать и обретать аппетит и здоровый вид, пока постепенно не стал таким, «каким вы его теперь видите, сэр!» — говаривал Тим, с гордостью поглядывая на клетку. А затем Тим мелодично чирикал и кричал: «Дик!» — и Дик, который до сей поры не проявлял никаких признаков жизни, словно был кое-как сделанным деревянным изображением или чучелом черного дрозда, приближался в три маленьких прыжка к краю клетки и, просунув клюв между прутьями, поворачивал слепую голову к своему старому хозяину. И в этот момент очень трудно было решить, кто из них счастливее, птица или Тим Линкинуотер.

Но этого мало. На всем лежал отпечаток доброты обоих братьев. Кладовщики и грузчики были такими здоровыми, веселыми ребятами, что приятно было смотреть на них. Рядом с объявлениями пароходных компаний и пароходными расписаниями, украшавшими стены конторы, висели планы богаделен, отчеты благотворительных обществ и проекты новых больниц. Над камином красовались мушкет и две сабли для устрашения злодеев, но мушкет был заржавленный и разбитый, а сабли сломанные и тупые. Во всяком другом месте демонстрация их в таком виде вызвала бы улыбку, но здесь казалось, будто даже орудия насилия и нападения поддались господствующему влиянию и превратились в эмблему милосердия и терпения.

Такие мысли захватили Николаса, когда он впервые вступил во владение пустующим табуретом и осмотрелся вокруг более свободно и непринужденно, чем имел возможность сделать это раньше. Быть может, эти мысли его подбадривали и придавали ему усердия, ибо в течение следующих двух недель все его свободные часы до поздней ночи и с раннего утра были целиком посвящены овладению тайнами бухгалтерии и другими видами торговых

73

74

расчетов. Ими он занялся с таким упорством и настойчивостью, что хотя никаких предварительных сведений об этом у него не было, кроме смутного воспоминания о нескольких длинных арифметических задачах, записанных в школьную тетрадь и украшенных для родительского ока изображением жирного лебедя, которого нарисовал сам учитель, — однако к концу второй недели он оказался в состоянии доложить о своих успехах мистеру Линкинуотеру; а вслед за этим он потребовал, чтобы тот выполнил обещание и разрешил ему помогать в более серьезных трудах.

Нужно было видеть, как Тим Линкинуотер, медленно достав объемистый гроссбух и журнал, повертев их в руках и любовно смахнув пыль с корешков и обреза, раскрывал их в разных местах и с гордостью и вместе с тем печально пробежал глазами красивые, без помарок записи.

— Сорок четыре года исполнится в мае, — сказал Тим. — Много было с тех пор новых гроссбухов. Сорок четыре года!

Тим захлопнул книгу.

— Скорей, скорей! — сказал Николас. — Я горю нетерпением начать.

Тим Линкинуотер покачал головой с кроткой укоризной: на мистера Никльби недостаточно сильное впечатление произвели важность и устрашающий характер его нового занятия. Что, если вкрадется ошибка? Придется соскабливать!

Молодые люди отважны. Удивительно, как они иногда торопятся. Не позаботившись даже о том, чтобы усестись на табурет, но спокойно стоя у конторки и улыбаясь, ошибки тут никакой не было, мистер Линкинуотер часто упоминал впоследствии об этой улыбке, — Николас окунул перо в стоявшую перед ним чернильницу и погрузился в книгу «Чирибл, братья».

Тим Линкинуотер побледнел и, удерживая свой табурет в равновесии на двух ножках, ближайших к Николасу, смотрел из-за его плеча, задыхаясь от волнения. Брат Чарльз и брат Нэд вместе вошли в контору, но Тим Линкинуотер, не оглянувшись, махнул им рукой, предупреждая, что надлежит соблюдать глубокую тишину, и продолжал следить напряженным и беспокойным взглядом за кончиком неопытного пера.

Братья смотрели, улыбаясь, но Тим Линкинуотер не улыбался и не двигался в течение нескольких минут. Наконец он медленно и глубоко вздохнул и, сохраняя свою позу на накренившемся табурете, взглянул на брата Чарльза, украдкой указал концом пера на Николаса и кивнул головой с торжественным и решительным видом, явно говорившим: «Он справится». Брат Чарльз тоже кивнул и, усмехнувшись, переглянулся с братом: но тут Николас приостановился, чтобы перейти к следующей странице, и Тим Линкинуотер, не в силах сдерживать долее свою радость, слез с табурета и восторженно схватил его за руку.

— Какой молодец! — сказал Тим, оглянувшись на своих хозяев и торжествуя кивая головой. — Прописные В и D у него точь-в-точь, как у меня, во время письма он ставит точки над всеми i и перечеркивает все t. Другого такого юноши, как этот, нет во всем Лондоне! — Говоря это, Тим хлопнул Николаса по спине. — Ни одного! Не возражайте мне! Сити не может выставить равного ему. Я бросаю вызов Сити!

Швырнув перчатку Сити, Тим Линкинуотер нанес конторке такой удар кулаком, что старый черный дрозд, вздрогнув, свалился с жердочки и даже хрипло каркнул от крайнего изумления.

— Хорошо сказано, Тим! Хорошо сказано, Тим Линкинуотер! — воскликнул брат Чарльз, едва ли менее обрадованный, чем сам Тим, тихонько хлопая при этом в ладоши. — Я знал, что наш молодой друг приложит большие старания, и был совершенно уверен, что он быстро преуспеет. Разве не говорил я этого, брат Нэд?

— Говорил, дорогой брат; конечно, дорогой брат, ты это говорил, и ты был совершенно прав, — ответил Нэд. — Совершенно прав. Тим Линкинуотер взволнован, но его волнение законно, вполне законно. Тим прекрасный парень. Тим Линкинуотер, сэр, вы прекрасный парень!

— Вот о чем приятно подумать! — сказал Тим, не слушая этого обращения к нему и

переводя очки с гроссбуха на братьев. — Вот что приятно! Как вы полагаете, мало я думал о том, какова будет судьба этих книг, когда меня не станет? Как вы полагаете, мало я думал о том, что дела здесь могут пойти беспорядочно и неаккуратно, когда меня не будет? Но теперь, — продолжал Тим, вытягивая указательный палец в сторону Николаса, — теперь, еще после нескольких моих уроков, я буду удовлетворен. Когда я умру, дело будет идти так же хорошо, как при жизни моей, — точно так же, — и я буду иметь удовольствие знать, что никогда еще не бывало таких книг — никогда не бывало таких книг, да, и никогда не будет таких книг! — как книги «Чирибл, братья»!

Выразив таким образом свои чувства, мистер Линкинуотер усмехнулся в знак презрения к Лондону и Вестминстеру и, снова повернувшись к конторке, спокойно выписал из последнего столбца итог — семьдесят шесть — и продолжал свою работу.

— Тим Линкинуотер, сэр, — сказал брат Чарльз, — дайте мне вашу руку, сэр. Сегодня ваш день рождения. Как осмеливаетесь вы, Тим Линкинуотер, говорить о чем бы то ни было другом, пока не выслушали пожеланий еще много раз счастливо встретить этот день? Да благословит вас бог, Тим!

— Дорогой брат, — сказал брат Нэд, схватив свободную руку Тима, — Тим Линкинуотер кажется моложе на десять лет, чем был в прошлый день рождения.

— Брат Нэд, дорогой мой друг, — отозвался другой старик, — я думаю, что Тиму Линкинуотеру было сто пятьдесят лет, когда он родился, и постепенно он спустился до двадцати пяти, потому что всякий раз в день своего рождения он становится моложе, чем был год назад.

— Это верно, брат Чарльз, это верно! — ответил брат Нэд. — Никаких сомнений быть не может.

— Помните, Тим, — сказал брат Чарльз, — что сегодня мы обедаем не в два часа, а в половине шестого. Как вам прекрасно известно, Тим Линкинуотер, в эту годовщину мы всегда отступаем от правила. Мистер Никльби, дорогой сэр, вы будете нашим гостем. Тим Линкинуотер, дайте вашу табакерку на память брату Нэду и мне о верном и преданном человеке, а взамен возьмите вот эту как слабый знак нашего почтения и уважения и не раскрывайте ее, пока не ляжете спать, и никогда ни слова об этом не говорите, а не то я убью черного дрозда. Разбойник! Он еще шесть лет назад получил бы золотую клетку, если бы это сделало хоть чуточку счастливее его самого или его хозяина. Брат Нэд, дорогой мой, я готов. В половине шестого, не забудьте, мистер Никльби! Тим Линкинуотер, сэр, позаботьтесь в половине шестого о мистере Никльби. Идем, брат Нэд.

Болтая таким образом, в согласии с обычаем, чтобы лишить другую сторону возможности выразить благодарность и признательность, близнецы удалились вместе, рука об руку, наградив Тима Линкинуотера драгоценной золотой табакеркой со вложенным в нее банкнотом, ценность которого в десять раз превышала стоимость самой табакерки.

В четверть шестого, минута в минуту, согласно установленному для этой годовщины правилу, прибыла сестра Тима Линкинуотера; и страшную суету подняли сестра Тима Линкинуотера и старая экономка, а причиной суеты послужила шляпка сестры Тима Линкинуотера, посланная с мальчиком из семейного пансиона, где жила сестра Тима Линкинуотера; эта шляпка еще не была доставлена, несмотря на то, что ее положили в картонку, а картонку обвязали платком, а платок привязали к руке мальчика, и несмотря на то, что место назначения было пространно указано на обратной стороне старого письма, а мальчику под угрозой жесточайших кар, которые едва мог постигнуть ум человеческий, приказали доставить картонку как можно скорее и по дороге не мешкать.

Сестра Тима Линкинуотера волновалась, экономка выражала соболезнование, и обе высовывались из окна третьего этажа посмотреть, не видно ли мальчика, — что было бы весьма отраднo и в сущности равносильно его приходу, так как до угла было меньше пяти ярдов, — но, когда его совсем не ждали, мальчик-посыльный, неся с преувеличенной осторожностью картонку, появился как раз с противоположной стороны, пыхтя и отдуваясь и раскрасневшись от недавнего моциона, что было не удивительно, так как сначала он

совершил прогулку, прицепившись сзади к наемной карете, ехавшей в Кемберуэл, а затем следовал за двумя Панчами и проводил людей на ходулях до двери их дома. Впрочем, шляпка оказалась в хорошем состоянии — это было утешительно, и не имело смысла его бранить — это тоже было утешительно. Итак, мальчик весело отправился восвояси, а сестра Тима Линкинуотера сошла вниз представиться обществу ровно через пять минут после того, как непогрешимые стенные часы Тима Линкинуотера пробили половину шестого.

Общество состояло из братьев Чирибл, Тима Линкинуотера, краснолицего седовласого приятеля Тима (который был банковским клерком, вышедшим на пенсию) и Николаса, представленного с большою важностью и торжественностью сестре Тима Линкинуотера. Так как все были в сборе, брат Нэд позвонил, чтобы подавали обед, и, когда обед вскоре после этого был подан, повел сестру Тима Линкинуотера в соседнюю комнату, где были сделаны великолепные приготовления. Затем брат Нэд сел во главе стола, а брат Чарльз в другом конце, а сестра Тима Линкинуотера села по левую руку брата Нэда, а сам Тим Линкинуотер по правую его руку, а престарелый дворецкий, с апоплексической наружностью и очень короткими ногами, занял позицию за спинкой кресла брата Нэда, простер правую руку, готовясь красивым жестом снять крышку с блюда, и застыл, прямой и неподвижный.

— Брат Чарльз, за эти и все другие блага... — начал Нэд.

— ...возблагодарим господ, брат Нэд! — сказал Чарльз.

После чего апоплексический дворецкий быстро снял крышку с суповой миски и мгновенно развил необычайную энергию.

Много было разговоров, и не приходилось опасаться пауз, так как благодушие славных старых близнецов расшевелило всех, и сейчас же после первого бокала шампанского сестра Тима Линкинуотера начала пространное и обстоятельное повествование о младенческих годах Тима Линкинуотера, не забыв предварить, что она гораздо моложе Тима и знакома с этими фактами только благодаря тому, что о них помнили и рассказывали в семье. По окончании этой истории брат Нэд рассказал, как ровно тридцать пять лет назад Тим Линкинуотер был заподозрен в том, что получил любовное письмо, и как в контору поступили туманные сведения, будто его видели прогуливающимся в Чипсайде с необыкновенно красивой старой девой; это было встречено взрывом смеха, а Тим Линкинуотер, которого уличили в том, что он покраснел, и потребовали объяснений, отрицал справедливость упреков и заявил, что никакой беды в этом нет, даже если бы это была правда. Последние слова заставили престарелого банковского клерка и оглушительно захохотать и объявить, что такого прекрасного ответа он никогда еще не слышал и что, сколько бы ни говорил Тим Линкинуотер, не скоро удастся ему сказать нечто подобное.

Одна маленькая церемония, связанная с этим днем, и по существу своему и по характеру произвела очень сильное впечатление на Николаса. Когда сняли скатерть и графины в первый раз пошли по кругу, спустилось глубокое молчание и на веселых лицах братьев появилось выражение если и не меланхолическое, то серьезное и задумчивое, весьма необычное за праздничным столом. Пока Николай, пораженный этой внезапной переменой, недоумевал, что может она предвещать, оба брата вместе поднялись, и стоявший во главе стола наклонился вперед к другому и, говоря тихим голосом, словно обращаясь только к нему, сказал:

— Брат Чарльз, дорогой мой друг, еще одно событие связано с этим днем, которое никогда не должно быть предано забвению и никогда не может быть предано забвению тобою и мной. Этот день, который дал миру самого верного, превосходного и примерного человека, отнял у мира добрейшую и лучшую из матерей, лучшую из матерей для нас обоих. Хотел бы я, чтобы она могла видеть наше благополучие и разделять его и была счастлива, зная, что сейчас мы ее любим так же, как любили, когда были бедными мальчиками. Но этому не суждено свершиться. Мой дорогой брат, почтим память нашей матери.

«Боже мой! — подумал Николай. — А ведь есть десятки людей, равных им по положению, которые, зная все это и еще в двадцать тысяч раз больше, не пригласят их к обеду, потому что они едят с ножа и никогда не ходили в школу!»

Но сейчас не время было философствовать, потому что веселье снова вступило в свои права, и, когда графин портвейна был почти осушен, брат Нэд позвонил в колокольчик, после чего немедленно явился апоплексический дворецкий.

— Дэвид! — сказал брат Нэд.

— Сэр! — ответил дворецкий.

— Большую бутылку токайского, Дэвид! Выпьем за здоровье мистера Линкинуотера.

Показав чудо ловкости, которое привело в восторг всю компанию и ежегодно приводило ее в восторг уже много лет, апоплексический дворецкий мгновенно предъявил спрятанную за спиной бутылку с ввинченным штопором, сразу откупорил ее и поместил бутылку и пробку перед своим хозяином с важностью человека, знающего цену своему мастерству.

— Ха! — сказал брат Нэд, сначала осмотрев пробку, а затем наполнив свою рюмку, в то время как старый дворецкий взирал самодовольно и благосклонно, словно все это принадлежало лично ему, но гостям предлагалось угощаться в свое удовольствие. — На вид неплохо, Дэвид.

— Так оно и должно быть, сэр, — отозвался Дэвид. — Вам пришлось бы потрудиться, чтобы найти стакан такого вина, как наше токайское, и мистеру Линкинуотеру это хорошо известно. Это вино было разлито в бутылки, когда мистер Линкинуотер в первый раз обедал здесь, джентльмены.

— Нет, Дэвид, нет, — вмешался брат Чарльз.

— Прошу прощения, сэр, я сам сделал запись в книге вин, — сказал Дэвид тоном человека, вполне уверенного в приводимых им фактах. — Мистер Линкинуотер служил здесь только двадцать лет, сэр, когда было разлито токайское.

— Дэвид совершенно прав, совершенно прав, брат Чарльз, — заметил Нэд. Все собрались, Дэвид?

— Они за дверью, сэр, — ответил дворецкий.

— Пусть войдут, Дэвид, пусть войдут.

Получив такое приказание, старый дворецкий поставил перед своим хозяином небольшой поднос с чистыми рюмками и, открыв дверь, впустил веселых грузчиков и кладовщиков, которых Николас видел внизу. Их было четверо. Они вошли, кланяясь, ухмыляясь и краснея; экономка, кухарка и горничная составляли арьергард.

— Семеро, — сказал брат Нэд, наполняя соответствующее количество рюмок, — и Дэвид восьмой. Так! Теперь все вы должны выпить за здоровье вашего лучшего друга мистера Тимоти Линкинуотера и пожелайте ему быть здоровым, жить долго и еще много раз счастливо праздновать этот день — праздновать ради самого мистера Линкинуотера и ради ваших старых хозяев, которые считают его бесценным сокровищем. Тим Линкинуотер, сэр, за ваше здоровье! Черт бы вас побрал, Тим Линкинуотер, сэр, да благословит вас бог!

После этих весьма противоречивых восклицаний брат Нэд угостил Тима Линкинуотера тумачком по спине, от чего Тим на момент стал походить на апоплексического дворецкого, а затем брат Нэд мгновенно осушил свою рюмку.

Как только была оказана честь этому тосту за Тима Линкинуотера, один из самых дюжих и веселых подчиненных, растолкав своих товарищей, шагнул вперед, очень красный и разгоряченный, дернул себя за единственную прядь седых волос, спускавшуюся на лоб, как бы почтительно приветствуя компанию, и произнес следующую речь, энергически вытирая при этом ладони синим бумажным носовым платком:

— Раз в год нам дается это право, джентльмены, и, с вашего разрешения, мы им сейчас воспользуемся. Нет времени лучше, чем настоящее, и, как всем известно, две птицы в руке не стоят одной в кустах — или наоборот, но смысл от этого не меняется. (Пауза — дворецкий в этом не уверен.) Мы хотим сказать, что никогда не бывало (смотрит на дворецкого) таких (смотрит на кухарку) благородных, превосходных (смотрит на всех и не видит никого), щедрых, великодушных хозяев, как те, которые так прекрасно угостили нас сегодня. И вот поблагодарим их за всю доброту, которая постоянно разливается ими

повсюду, и пожелаем им жить долго и помереть счастливо.

По окончании сего спича — а он мог быть гораздо более изящным и значительно менее отвечать цели — все служащие под командой апоплексического дворецкого трижды прокричали «ура», каковое, к величайшему негодованию этого джентльмена, оказалось не совсем стройным, ибо женщины упорно выкрикивали множество раз короткие пронзительные «ура». После этого служащие удалились; вскоре после них удалилась сестра Тима Линкинуотера, а спустя некоторое время все встали из-за стола, чтобы заняться чаем, кофе и игрой в карты.

В половине одиннадцатого — поздний час для площади — появился поднос с сэндвичами и чаша бишоп⁷⁵, который, завершая действие токайского и других возбуждающих средств, произвел сильнейшее впечатление на Тима Линкинуотера; он отвел Николаса в сторону и конфиденциально дал ему понять, что все сказанное о необыкновенно красивой старой деве совершенно правильно и что она была действительно так хороша, как ее изобразили, даже еще лучше, но что она слишком торопилась изменить свое положение и в результате, пока Тим ухаживал за ней и подумывал о перемене своего положения, вышла замуж за кого-то другого.

— Полагаю, что все-таки это была моя вина, — сказал Тим. — В один из ближайших дней я вам покажу эстамп, который висит у меня наверху. Он мне стоил двадцать пять шиллингов. Я его купил вскоре после того, как мы охладели друг к другу. Вы никому не говорите, но это самое поразительное случайное сходство, какое только можно себе представить, вылитый ее портрет, сэръ!

Был уже двенадцатый час, и, когда сестра Тима Линкинуотера заявила, что ей следовало быть дома по крайней мере час назад, послали за каретой, в которую ее усадил с большими церемониями брат Нэд, тогда как брат Чарльз давал подробнейшие указания кучеру и, вручив ему шиллинг сверх полагающейся платы, дабы он с величайшей заботливостью отнесся к леди, едва не задушил его рюмкой спиртного необычайной крепости, а затем едва не вышиб дух из его тела энергическими усилиями снова привести его в чувство.

Наконец, когда карета отъехала и сестра Тима Линкинуокера благополучно отправилась восвояси, Николас и друг Тима Линкинуотера попрощались и предоставили старому Тиму и достойным братьям располагаться на отдых.

Так как Николасу пришлось пройти некоторое расстояние пешком, было далеко за полночь, когда он вернулся домой, где мать и Смайк не ложились в ожидании его прихода. Давно уже настала пора, когда они обычно укладывались спать, и они поджидали его по крайней мере два часа, но для них время не тянулось медленно, так как миссис Никльби развлекала Смайка генеалогическим отчетом о своей родне с материнской стороны, включавшим краткие биографии основных ее членов, а Смайк сидел и недоумевал, о чем это идет речь и заучено ли это из книги, или почерпнуто из головы миссис Никльби; так что они провели время очень приятно.

Николас не мог лечь спать, не распространившись о высоких достоинствах и щедрости братьев Чирибл и не поведав о блестящем успехе, которым увенчались в тот день его труды. Но не успел он сказать и десяти слов, как миссис Никльби после многочисленных лукавых подмигиваний и кивков заметила, что мистер Смайк изнемогает от усталости и она вынуждена настаивать, чтобы он не сидел ни минуты дольше.

— Право же, он на редкость покорное создание, — сказала миссис Никльби, когда Смайк пожелал им спокойной ночи и вышел из комнаты. — Я знаю, ты меня извинишь, Николас, дорогой мой, но я не люблю это делать при постороннем человеке, в особенности при молодом — это было бы не совсем прилично, хотя я, право, не понимаю, что тут плохого, разве что это, конечно, не очень мне к лицу, хотя иные утверждают, что чрезвычайно к лицу, и я, право, не знаю, почему бы это было не к лицу, если он изящно сшит и края собраны в

мелкие складочки; конечно, от этого зависит очень многое.

С таким предисловием миссис Никльби вынула ночной чепец из очень большого молитвенника, где он лежал, аккуратно сложенный, между страницами, и принялась его завязывать, не переставая болтать и, по своему обыкновению, перескакивая с одной темы на другую.

— Пусть говорят, что хотят, — заметила миссис Никльби, — но ночной чепец — вещь очень удобная, и я уверена, ты бы в этом признался, Николас, дорогой мой, если бы у тебя был колпак с тесемками и ты носил бы его по-человечески, а не надевал на самую макушку, как приютский мальчик. Ты не думай, что нелепо и недостойно мужчины уделять внимание своему ночному колпаку; я часто слышала, как твой бедный дорогой папа и преподобный мистер... как его там звали... он, бывало, говорил проповедь в той старой церкви с забавным шпилем, с которого ночью слетел флюгер через неделю после твоего рождения... я часто слышала, как они говорили, что в колледже молодые люди очень заботятся о своем ночном колпаке⁷⁶, и оксфордские ночные колпаки даже прославились, такие они крепкие и добротные. И там молодому человеку и в голову не придет лечь спать без ночного колпака, а я думаю, всеми признано, что эти молодые люди знают, что хорошо, что плохо, и они отнюдь не неженки.

Николас засмеялся и, не распространяясь на тему этого длинного разглагольствования, вернулся к приятному разговору о маленькой вечеринке по случаю дня рождения. А так как миссис Никльби тотчас же очень заинтересовалась ею и задала множество вопросов касательно того, что подавали на обед, и кто там был, и что сказали «мистеры Чириблы», и что сказал Николас, и что сказали «мистеры Чириблы», когда он это сказал, Николас со всеми подробностями описал празднество, а также события этого утра.

— Сейчас уже поздно, — сказал Николас, — но я такой эгоист, что мне бы хотелось, чтобы Кэт не спала и слышала это. Когда я шел сюда, я только о том и думал, чтобы ей обо всем рассказать.

— О, Кэт легла спать, — сказала миссис Никльби, положив ноги на решетку камина и ближе придвинув к нему кресло, словно приготовляясь к длинному разговору. — Да, вот уже часа два тому назад, и я очень рада, Николас, дорогой мой, прости, что уговорила ее не дожидаться тебя, потому что мне очень хотелось воспользоваться случаем и сказать тебе несколько слов. Я, натурально, беспокоюсь, и, конечно, это чудесно и утешительно иметь взрослого сына, которому можно довериться и с которым можно посоветоваться. Право, не знаю, какой смысл иметь сыновей, если им нельзя довериться!

Николас подавил зевок, как только его мать заговорила, и посмотрел на нее с напряженным вниманием.

— Была одна леди по соседству с нами, — сказала миссис Никльби, — я ее вспомнила, заговорив о сыновьях, — была одна леди по соседству с нами, когда мы жили в Даулише, кажется ее фамилия была Роджерс... да, я уверена, что Роджерс... если только не Морфи, я в этом не уверена...

— Так вы о ней хотели поговорить со мной, мама? — спокойно спросил Николас.

— О ней?! — вскричала миссис Никльби. — Боже милостивый, Николас, дорогой мой, какой ты странный! Но так всегда бывало и с твоим бедным дорогим папой, точь-в-точь так же: всегда рассеянный, ни на минуту не мог сосредоточиться на чем-нибудь одном. Я его как сейчас вижу! — сказала миссис Никльби, вытирая глаза. — Он смотрел на меня, когда я говорила ему о делах, как будто у него все мысли в голове перепутались. Всякий, кто нагрязнул бы к нам в такую минуту, подумал бы, что я его смущаю и сбиваю с толку, а не разъясняю ему дело. Честное слово, подумал бы!

— Мне очень жаль, мама, что я унаследовал это печальное свойство тугο соображать, — ласково сказал Николас, — но я изо всех сил постараюсь понять вас, если только вы приступите прямо к делу.

— Бедный твой папа! — призадумавшись, сказала миссис Никльби. — Он так и не узнал никогда, чего я от него добивалась, а потом было уже слишком поздно.

Несомненно, так именно обстояло дело, ибо мистер Никльби до самой смерти не обрел этого знания. Не обрела его и миссис Никльби, что до известной степени многое объясняет.

— А впрочем, — продолжала миссис Никльби, осушив слезы, — это не имеет никакого отношения, ровно никакого отношения к джентльмену из соседнего дома.

— Я бы сказал, что и джентльмен из соседнего дома не имеет никакого отношения к нам, — заметил Николас.

— Не может быть никаких сомнений в том, что он джентльмен, — сказала миссис Никльби. — У него и манеры джентльмена и наружность джентльмена, хотя он ходит в коротких штанах и серых шерстяных чулках. Может быть, это эксцентричность, а может быть, он гордится своими ногами. Не вижу причины, почему бы ему не гордиться. Принц-регент⁷⁷ гордился своими ногами, и Дэниел Лемберт, тоже дородный человек⁷⁸, гордился своими ногами. А также и мисс Бифин⁷⁹, она... нет, поправились миссис Никльби, — кажется, у нее были только пальцы на ногах, но это одно и то же...

Николас посмотрел на нее, изумленный таким введением к новой теме. Этого-то как будто и ждала от него миссис Никльби.

— Как тебе не удивляться, Николас, дорогой мой! — сказала она. — Я сама была удивлена. Меня это как огнем обожгло, и вся кровь во мне застыла. Его сад примыкает к нашему, и, конечно, я несколько раз его видела, когда он сидел в маленькой беседке среди красных бобов или трудился над своими маленькими грядками. Я даже заметила, что он смотрит очень пристально, но особого внимания не обратила, потому что мы здесь люди новые, и, может быть, он любопытствовал узнать, кто мы такие. Но когда он начал бросать огурцы через стену: нашего сада...

— Бросать огурцы через нашу стену?! — с изумлением повторил Николас.

— Да, Николас, дорогой мой, — очень серьезным тоном подтвердила миссис Никльби, — огурцы через нашу стену. А также тыквы.

— Возмутительная наглость! — воскликнул Николас, мгновенно вспыхнув. Что он хочет этим сказать?

— Не думаю, чтобы у него были какие-нибудь дерзкие намерения, отозвалась миссис Никльби.

— Как! — вскричал Николас. — Швырять огурцы и тыквы в голову людям, прогуливающимся в своем собственном саду, — это ли не дерзость? Право же, мама...

Николас запнулся, потому что неопишное выражение безмятежного торжества и целомудренного смущения появилось на лице миссис Никльби между оборками ночного чепца и внезапно приковало его внимание.

— Должно быть, он очень слабохарактерный, нелепый и неосмотрительный человек, — сказала миссис Никльби, — конечно, достойный порицания — по крайней мере, я думаю, другие нашли бы его достойным порицания; разумеется, я никакого мнения по этому вопросу высказать не могу, в особенности после того, как я всегда защищала твоего бедного дорогого папу, когда другие его порицали за то, что он сделал мне предложение. И несомненно он придумал очень странный способ выражать свои чувства. Но тем не менее его ухаживанье, — разумеется, до сих пор и в определенных пределах, — его ухаживанье лестно. И, хотя я и думать никогда не стала бы о том, чтобы снова выйти замуж, раз моя милая Кэт еще не пристроена...

— Да разве такая мысль могла хоть на секунду прийти вам в голову, мама? — спросил Николас.

— Ах, боже мой, Николас, дорогой мой! — капризным тоном отозвалась мать. — Разве

77

78

79

не то же самое хотела я сказать, если бы ты мне только дал договорить? Конечно, я ни секунды об этом не помышляла, и я изумлена и поражена, что ты считаешь меня способной на подобную вещь, Я хочу спросить только об одном: какое средство будет наилучшим, чтобы отклонить эти авансы вежливо и деликатно, не слишком оскорбить его чувства и не довести его до отчаяния или до чего-нибудь еще в этом роде? Боже милостивый! — воскликнула миссис Никльби. — Что, если бы он что-нибудь над собой сделал? Разве могла бы я тогда жить счастливо, Николас?

Несмотря на свое раздражение и досаду, Николас с трудом удержался от улыбки, когда ответил:

— Неужели вы думаете, мама, что самый жестокий отказ может повлечь за собой такие последствия?

— Честное слово, не знаю, дорогой мой, — отозвалась миссис Никльби. Право, не знаю. Как раз в газете от третьего дня была помещена заметка из какой-то французской газеты об одном сапожнике, который стал ревновать девушку из соседней деревни, потому что она не захотела запереться с ним на третьем этаже и вместе умереть от угара; тогда он пошел и, взяв острый нож, спрятался в лесу и выскочил оттуда, когда она проходила мимо с подругами, и убил сначала себя, потом всех подруг, а потом ее... нет, сначала всех подруг, а потом ее, а потом себя, — и об этом даже подумать страшно. Судя по газетам, — добавила миссис Никльби, — почему-то такие вещи всегда проделывают во Франции сапожники. Не знаю, почему это так — вероятно, есть что-то такое в коже.

— Но ведь этот человек не сапожник; что же он делал, мама, что говорил? — осведомился Николас, раздраженный до крайности, но старавшийся казаться таким же спокойным и уравновешенным, как сама миссис Никльби. — Как вам известно, нет языка овощей, который превращал бы огурец в формальное объяснение в любви.

— Дорогой мой, — ответила миссис Никльби, качая головой и глядя на золу в камине, — он делал и говорил всевозможные вещи.

— С вашей стороны никакой ошибки быть не могло? — спросил Николас.

— Ошибки! — воскликнула миссис Никльби. — Боже мой, Николас, дорогой мой, неужели ты думаешь я не донимаю, когда человек говорит серьезно?

— Ну-ну! — пробормотал Николас.

— Каждый раз, когда я подхожу к окну, — сказала миссис Никльби, — он одной рукой посылает воздушный поцелуй, а другую прикладывает к сердцу, конечно, очень глупо так делать, и, вероятно, ты скажешь, что это очень нехорошо, но он это делает чрезвычайно почтительно — да, чрезвычайно почтительно и очень нежно, в высшей степени нежно. Пока он заслуживает полного доверия, в этом не может быть никаких сомнений. А потом эти подарки, которые каждый день летят через стену, и, конечно, подарки очень хорошие, очень хорошие; один огурец мы съели вчера за обедом, а остальные думаем замариновать на зиму. А вчера вечером, — добавила миссис Никльби, приходя в еще большее смущение, — когда я гуляла в саду, он тихо окликнул меня из-за стены и предложил сочетаться браком и бежать. Голос у него чистый, как колокольчик или как хрусталь, да, очень похож на хрусталь, но, конечно, я к нему не прислушивалась. Теперь, Николас, дорогой мой, вопрос заключается в том, что мне делать?

— Кэт об этом знает? — спросил Николас.

— Я ей еще ни слова не говорила, — ответила мать.

— И, ради бога, не говорите, — сказал Николас, вставая, — потому что это ее очень огорчит. А относительно того, что вам делать, дорогая мама, делайте то, что вам подскажут ваш здравый смысл, доброе сердце и уважение к памяти моего отца. Есть тысячи способов показать, что вам неприятно это дурацкое и нелепое ухаживание. Если вы будете действовать решительно, как и надлежит действовать, и если это ухаживание будет продолжаться и докучать вам, я могу быстро положить ему конец. Но я предпочел бы не вмешиваться в такую смешную историю и не придавать ей значения, пока вы сами можете постоять за себя. Большинство умеет это делать, В особенности женщины ваших лет и в

вашем положении, когда с ними случается нечто подобное, не заслуживающее в сущности серьезного внимания. Я не хочу вас смущать, делая вид, будто принимаю это близко к сердцу или придаю этому серьезное значение. Безмозглый старый идиот!

С этими словами Николас поцеловал мать, пожелал ей спокойной ночи, и они разошлись по своим комнатам.

Нужно отдать справедливость миссис Никльби: привязанность к детям помешала бы ей раздумывать о втором браке, даже если бы она склонялась к нему, покончив с воспоминаниями о покойном муже. Но, хотя сердце миссис Никльби не ведало злых чувств и в нем было мало подлинного эгоизма, однако голова у нее была слабая и пустая; и столь лестны были ей, в ее возрасте, домогательства ее руки (и притом тщетные домогательства), что она не могла отвергнуть страсть неизвестного джентльмена с такой легкостью и решительностью, какие, по-видимому, почитал уместными Николас.

«Я решительно не понимаю, — рассуждала сама с собой миссис Никльби в своей спальне, — что тут дурацкого, нелепого и смешного? Разумеется, никаких надежд у него быть не может, но почему он „безмозглый старый идиот“, признаюсь, я не понимаю. Ведь он не знает, что это безнадежно. Бедняга! По-моему, он достоин сожаления!»

После таких размышлений миссис Никльби посмотрела на себя в маленькое зеркало и, отступив от него на несколько шагов, постаралась припомнить, кто это, бывало, говорил, что, когда Николасу исполнится двадцать один год, его будут принимать скорее за ее брата, чем за сына. Не воскресив в памяти фамилии этого авторитетного лица, она погасила свечу и подняла штору, чтобы впустить дневной свет, так как к тому времени начал загораться день. — Недостаточно светло, чтобы различать предметы, прошептала миссис Никльби, выглядывая в сад, — и зрение у меня не очень хорошее, я с детства близорука, — но, честное слово, мне кажется, еще одна большая тыква торчит на осколках бутылок наверху стены.

Глава XXXVIII,

заключает кое-какие обстоятельства, вызванные визитом с выражением соболезнования, которые могут оказаться существенными в дальнейшем. Смайк неожиданно встречает очень старого друга, который приглашает его к себе к не принимает никаких возражений

Совершенно не подозревая о выходках влюбленного соседа и о том, какое впечатление производили они на чувствительное сердце ее матушки, Кэт Никльби начала к тому времени наслаждаться ощущением прочного покоя и счастья, которое она давно уже не знала, даже случайно и мимолетно. Она жила под одним кровом с любимым братом, с которым ее так внезапно и жестоко разлучили, успокоилась и избавилась от всяких преследований, какие могли вызвать краску на ее лице, и для все как будто наступила новая пора жизни. Прежняя беззаботность вернулась к ней, походка снова стала упругой и легкой, угасший румянец вновь заиграл на щеках, и никогда еще Кэт Никльби не была так очаровательна.

К такому выводу привели мисс Ла-Криви ее наблюдения и размышления, когда коттедж, как энергически выразилась она, «был окончательно приведен в порядок, начиная с дымовой трубы и кончая железной скобой у двери», и деятельная маленькая женщина улучила, наконец, минутку подумать о его обитателях.

— И уверяю вас, этой минутки у меня не было с тех пор, как я в первый раз пришла сюда, — сказала мисс Ла-Криви, — потому что я ни о чем не думала, кроме молотков, гвоздей, отверток и буравов утром, днем и вечером.

— О себе у вас, конечно, ни одной мысли не мелькнуло, — улыбаясь, отозвалась Кэт.

— Честное слово, дорогая моя, когда есть столько гораздо более приятных вещей, о которых стоит подумать, — я была бы гусыней, если бы думала о себе, — сказала мисс Ла-Криви. — Кстати, кое о ком я подумала. Знаете ли, я замечаю большую перемену в одном

из членов семьи, чрезвычайную перемену.

— В ком? — с беспокойством спросила Кэт. — Не в...

— Не в вашем брате, дорогая моя, — перебила мисс Ла-Криви, угадав конец фразы, — потому что он все тот же любящий, добрый, умный человек с примесью... не скажу, чего!.. каким он был, когда я только что познакомилась с вами. Нет! Смайк, — он, бедняга, настаивает, чтобы его так называли, и слышать не хочет о «мистере» перед своей фамилией, — вот он очень изменился даже за такое короткое время.

— Как? — спросила Кэт. — Разве ухудшилось его здоровье?

— Н-нет, пожалуй, тут дело не в здоровье, — призадумавшись, сказала мисс Ла-Криви, — хотя он слабое, измученное создание и в лице у него есть что-то такое, от чего у меня сердце надорвалось бы, если бы я заметила это у вас. Нет, дело не в здоровье.

— В чем же?

— Хорошенько не знаю, — сказала миниатюристка. — Но я за ним следила, и часто у меня слезы навертывались на глазах. Их, конечно, не очень трудно вызвать, потому что я быстро могу расчувствоваться, но все-таки я думаю, что на этот раз для них были причины и основания. Я уверена, что он по каким-то веским мотивам стал сильнее ощущать скудость своего ума. Он глубже это чувствует. Ему мучительнее стало сознавать, что иной раз он заговаривается и не понимает самых простых вещей. Я следила за ним, когда вас не было поблизости, дорогая моя, и видела, как он задумчиво сидел в сторонке с таким печальным видом, что я едва могла смотреть на него, а потом вставал и уходил из комнаты такой грустный и в таком унынии, что я и рассказать вам не могу, как мне было больно. Не больше трех недель назад это был беззаботный работающий юноша, радовавшийся суете и веселившийся с утра до ночи. Теперь это другой человек — все то же услужливое, безобидное, преданное, любящее создание, но во всем остальном другой человек.

— Конечно, все это пройдет, — сказала Кэт. — Бедняга!

— Надеюсь, это пройдет, — отозвалась ее маленькая приятельница с необычной для нее серьезностью. — Надеюсь и хочу ради бедного мальчика, чтобы все это прошло. А впрочем, — продолжала мисс Ла-Криви, возвращаясь к свойственной ей беззаботной болтливости, — я сказала то, что собиралась сказать, и сказала очень длинно и ничуть не удивлюсь, если совсем неверно. Сегодня вечером я его во всяком случае развеселю, потому что, если он будет моим кавалером до самого Стрэнда, я буду болтать, и болтать, и болтать, и не уймуся, пока чем-нибудь его не рассмешу. Стало быть, чем раньше он со мной пойдет, тем лучше для него, и, разумеется, чем раньше я пойду, тем лучше для меня, а не то моя служанка начнет кокетничать с кем-нибудь, кто может ограбить дом, хотя что можно оттуда вынести, кроме столов в стульев, я не знаю, разве что миниатюры, — и ловок будет тот вор, который продаст их выгодно, потому что я этого не могу сделать, и это сушая правда.

С такими словами мисс Ла-Криви скрыла свое лицо полями очень плоской шляпки, а себя самое закутала в очень большую шаль и, туго затянув ее на себе и заколов большой булавкой, заявила, что теперь пусть омнибус приезжает когда ему угодно, так как она совсем готова.

Но оставалось еще попрощаться с миссис Никльби, и задолго до того, как славная леди закончила воспоминания, имевшие отношение к данному случаю, омнибус прибыл. Это заставило всполошиться мисс Ла-Криви, в результате чего, когда она за парадной дверью потихоньку награждала служанку восемнадцатью пенсами, у нее из ридикюля высыпалось на десять пенсов полупенни, которые закатились во все углы коридора, и понадобилось немало времени, чтобы их собрать. За этой церемонией, разумеется, снова последовали поцелуи при расставании с Кэт и миссис Никльби и поиски маленькой корзиночки и пакета в оберточной бумаге, а во время этой процедуры «омнибус, — как выразилась мисс Ла-Криви, — так отчаянно ругался, что слушать было страшно». Наконец он притворился, будто уезжает, а тогда мисс Ла-Криви вырвалась на улицу и ворвалась в него, принося многословные извинения всем пассажирам и уверяя, что умышленно она ни за что не заставила бы их ждать. Пока она выбирала удобное местечко, кондуктор впихнул Смэйка и

крикнул, что все в порядке, хотя это было и не так, и громоздкий экипаж отъехал, гремя по крайней мере как полдюжины телег с пивными бочками.

Мы предоставим ему продолжать путешествие по воле вышеупомянутого кондуктора, который грациозно развалился на своей маленькой скамейке сзади, покуривая вонючую сигару, и предоставим ему останавливаться или подвигаться вперед галопом или ползком, в зависимости от того, что покажется уместным или целесообразным сему джентльмену, — а тем временем воспользуемся случаем и удостоверимся, каково состояние сэра Мальбери Хоука и в какой мере он к этому времени оправился от повреждений, полученных им, когда он был выброшен из кабриолета при обстоятельствах, изложенных выше.

Со сломанной ногой, с тяжелыми ушибами, с лицом, обезображенным еще не затянувшимися рубцами, бледный и изнуренный недавними страданиями и лихорадкой, сэр Мальбери Хоук лежал простертый на кровати, к которой ему суждено было остаться прикованным еще несколько недель. Мистер Пайк и мистер Плак занимались обильными возлияниями в смежной комнате, время от времени прерывая монотонный гул разговора приглушенным смехом, тогда как молодой лорд, — единственный член этой компании, еще подававший надежды на исправление и несомненно имевший доброе сердце, — сидел подле своего ментора с сигарой во рту и читал ему при свете лампы те сообщения из сегодняшней газеты, какие могли его заинтересовать или позабавить.

— Проклятые собаки! — сказал больной, нетерпеливо повернув голову в сторону соседней комнаты. — Неужели ничем нельзя заткнуть их чертовы глотки?

Мистеры Пайк и Плак услышали это восклицание и мгновенно притихли, подмигнув друг другу и наполнив до краев стаканы в виде вознаграждения за вынужденное молчание.

— Черт возьми! — сквозь зубы пробормотал больной, нетерпеливо ерзая на кровати, — Мало того что матрац жесткий, комната дурацкая и боль несносная, нет, еще они должны меня мучить! Который час?

— Половина девятого, — ответил его друг.

— Придвиньте стол ближе, и возьмемся снова за карты, — сказал сэр Мальбери. — Опять в пикет. Начали...

Любопытно было наблюдать, с каким интересом больной, лишенный возможности двигаться, поворачивал голову, следя во время игры за каждым ходом своего друга, с каким пылом и страстью он играл — и, однако, с какой осторожностью и хладнокровием! Его умение и ловкость раз в двадцать превышали способности его противника, которому не по плечу было бороться с ним, даже если судьба посылала хорошие карты, что случалось не часто. Сэр Мальбери выигрывал все партии, а когда его приятель бросил карты и отказался продолжать игру, он протянул исхудавшую руку и сгреб ставки с хвастливым ругательством и с тем же хриплым хохотом, хотя далеко не таким громким, какой звучал несколько месяцев назад в столовой Ральфа Никльби.

Когда он был занят этим, вошел его слуга и доложил, что мистер Ральф Никльби ждет внизу и желает узнать, как он себя сегодня чувствует.

— Лучше, — нетерпеливо отозвался сэр Мальбери.

— Мистер Никльби желает знать, сэр...

— Говорю вам — лучше! — повторил сэр Мальбери, хлопнув рукой по столу.

Слуга колебался секунду, а затем сказал, что мистер Никльби просит разрешения повидать сэра Мальбери Хоука, если это его не стеснит.

— Стеснит. Я не могу его принять. Я никого не принимаю, — сказал его хозяин с еще большим раздражением. — Вы это знаете, болван!

— Прошу прощенья, сэр, — ответил слуга, — но мистер Никльби так настаивал, сэр...

Дело в том, что Ральф Никльби подкупил слугу, который надеялся также и на будущие милости и потому придерживал дверь рукой и не торопился уходить.

— Он сказал, что пришел поговорить по делу? — осведомился сэр Мальбери после досадливого раздумья.

— Нет, сэр. Он сказал, что хочет вас видеть, сэр. Мистер Никльби очень настаивал, сэр.

— Скажите ему, чтобы поднялся сюда. Пойдите! — крикнул сэр Мальбери, останавливая слугу и проводя рукой по своему обезображенному лицу. — Возьмите эту лампу и поставьте ее на подставку за моей спиной. Отодвиньте стол и переставьте туда кресло, подальше. Вот так!

Слуга исполнил эти приказания, по-видимому прекрасно понимая мотивы, которыми они были продиктованы, и вышел из комнаты. Лорд Фредерик Верисофт, сказав, что скоро вернется, перешел в смежную комнату и закрыл за собой двустворчатую дверь.

Послышались тихие шаги на лестнице, и Ральф Никльби со шляпой в руке бесшумно пробрался в комнату, наклонившись всем туловищем вперед, как бы с глубоким почтением, и пристально всматриваясь в лицо своего достойного клиента.

— Как видите, Никльби, — сказал сэр Мальбери, указав ему на кресло у кровати и с напускной беспечностью махнув рукой, — со мной произошел несчастный случай.

— Вижу, — отозвался Ральф, все так же пристально смотря на него. Ужасно. Я бы вас не узнал, сэр Мальбери. Ах, боже мой! Ужасно...

Вид у Ральфа был чрезвычайно смиренный и почтительный, а голос приглушенный — именно такой, каким учит говорить посетителя деликатнейшее внимание к больному. Но выражение его лица, когда сэр Мальбери отворачивался, являло поразительный контраст. И, когда он стоял в обычной своей позе, спокойно глядя на простертую перед ним фигуру, те черты лица, которые не были затенены нависшими и сдвинутыми бровями, складывались в саркастическую улыбку.

— Садитесь, — сказал сэр Мальбери, повернувшись к нему, по-видимому, с величайшим усилием. — Я не картина, чтобы стоять и глазеть на меня:

Когда он повернулся, Ральф отступил шага на два и, притворяясь, будто ему нестерпимо хочется выразить свое изумление, но он решил не делать этого, сел с прекрасно разыгранным смущением.

— Я ежедневно справлялся внизу, сэр Мальбери, — сказал Ральф, — первое время даже по два раза в день, а сегодня вечером ввиду старого знакомства и деловых операций, которые мы проводили вместе к обоюдному удовлетворению, я не устоял перед желанием проникнуть в вашу спальню. Вы очень... вы очень страдаете? — спросил Ральф, наклоняясь и позволяя себе улыбнуться той же жестокой улыбкой, когда больной закрыл глаза.

— Больше, чем мне бы хотелось, и меньше, чем хотелось бы иным разорившимся клячам, которых мы с вами знаем и которые винят нас в своем разорении, — отозвался сэр Мальбери, беспокоило проводя рукой по одеялу.

Ральф пожал плечами, протестуя против крайнего раздражения, с каким были сказаны эти слова, — раздражения, вызванного оскорбительным, холодным тоном, который так раздосадовал больного, что тот едва мог его вынести.

— А что это за «деловые операции», которые привели вас сюда? — спросил сэр Мальбери.

— Пустяки, — ответил Ральф. — Есть несколько векседей милорда, которые нужно переписать, но это можно отложить до вашего выздоровления. Я... я... пришел, — продолжал Ральф, говоря медленно и с более резкими ударениями, — я пришел сказать вам о том, как я огорчен, что какой-то мой родственник — правда, я от него отрекся — подверг вас такому наказанию, как...

— Наказанию! — перебил сэр Мальбери.

— Я знаю, что оно было жестоко, — сказал Ральф, умышленно истолковав это восклицание превратно, — тем больше хотелось мне заверить вас, что я отрекаюсь от этого негодяя, что я не признаю его моим родственником, в пусть он подучит по заслугам от вас или от кого угодно. Можете, если хотите, свернуть ему шею. Я вмешиваться не буду.

— Так, значит, эта басня, которую мне здесь передовали, ходит по городу? — спросил сэр Мальбери, стискивая кулаки и зубы.

— Всюду об этом кричат, — ответил Ральф. — Разошлось по всем клубам и игорным залам. Говорят, об этом сложили славную песенку, — добавил Ральф, жадно всматриваясь в

своего собеседника. — Я-то ее не слышал, — такие вещи меня не касаются, — но мне говорили, что она даже напечатана и, разумеется, о ней всем известно.

— Это ложь! — крикнул сэр Мальбери. — Говорю вам, что это ложь! Кобыла испугалась.

— *Говорят*, он ее испугал, — заметил Ральф тем же спокойным невозмутимым тоном. — Кое-кто говорит, что он *вас* испугал, но это ложь, я знаю. Я так прямо и сказал, — о, я десятки раз говорил! Я человек миролюбивый, но я не могу слышать, когда в вас говорят такие вещи. Нет, нет!

Когда сэр Мальбери вновь обрел способность внятно выговаривать слова, Ральф наклонился вперед, приставив руку к уху, и при этом лицо его было так спокойно, словно каждая его суровая черта была отлита из чугуна.

— Когда я встану с этой проклятой кровати, — сказал больной, в припадке бешенства ударив себя по сломанной ноге, — я отомщу так, как никогда еще не мстил ни один человек. Клянусь богом, отомщу! Случай помог ему положить мне метку на лицо недели на две, но я ему оставлю такую метку, что он донесет ее до могилы. Я искромсаю ему нос и уши, высеку его, искалечу на всю жизнь! Мало того: этот образец целомудрия, это чудо стыдливости — его нежную сестрицу — я ее протащу через...

Возможно, что в этот момент даже холодная кровь Ральфа обожгла ему щеки. Возможно, сэр Мальбери вспомнил, что хотя Ральф и был негодяем и ростовщиком, но когда-то, в раннем детстве, он обвинял руками шею отца Кэт. Он запнулся и, потрясая кулаком, скрепил недосказанную угрозу страшным проклятьем.

— Невыносимо думать, — сказал Ральф после короткого молчания, зорко всматриваясь в пострадавшего, что светский человек, повеса, *goûte*⁸⁰, опытейший хитрец очутился в таком неприятном положении по милости какого-то мальчишки!

Сэр Мальбери метнул на него злобный взгляд, но глаза Ральфа были опущены, а лицо не выражало ничего, кроме раздумья.

— Неотесанный жалкий юнец, — продолжал Ральф, — против человека, который одной своей тяжестью мог раздавить его, не говоря уже об умении. Мне кажется, я не ошибаюсь, — сказал Ральф, поднимая глаза, — когда-то вы покровительствовали боксерам?

Больной сделал нетерпеливый жест, который Ральф пожелал истолковать как выражение согласия.

— А! — воскликнул он. — Я так и думал. Это было еще до нашего знакомства, но я был уверен, что не ошибаюсь. Должно быть, он легкий и вертлявый. Но это ничтожные преимущества по сравнению с вашими. Удача, удача! Этим презренным париям везет.

— Она ему понадобится, когда я поправлюсь, — сказал сэр Мальбери Хоук. Пусть удирает куда хочет.

— О! — быстро подхватил Ральф. — Он об этом и не помышляет. Он здесь, дорогой сэр, здесь, в Лондоне, разгуливает по улицам в полдень, веселится, посматривает, не видно ли вас, — продолжал Ральф с потемневшим лицом; и в первый раз ненависть одержала над ним верх, когда он представил себе ликующего Николаса. — Будь мы гражданами страны, где такие вещи можно было бы делать, ничем не рискуя, я бы хорошо заплатил за то, чтобы ему вонзили нож в сердце и швырнули собакам на растерзание!

Когда Ральф, к некоторому изумлению своего старого клиента, излил эти здравые родственные чувства и взялся за шляпу, собираясь уйти, в комнату заглянул лорд Фредерик Верисофт.

— Черт возьми, Хоук, о чем это вы тут толкуете с Никльби? — спросил молодой человек. — Никогда еще я не слышал такого шума. Кар-кар-кар! Гав-гав-гав! В чем дело?

— Сэр Мальбери рассердился, милорд, — сказал Ральф, бросив взгляд в сторону кровати.

— Уж не из-за денег ли? С делами что-нибудь не ладится, Никльби?

— Нет, милорд, нет, — отозвался Ральф. — В этом пункте мы всегда согласны. Сэр Мальбери случилось припомнить причину...

Не было необходимости и не было у Ральфа возможности продолжать, ибо сэр Мальбери подхватил эту тему и разразился угрозами и проклятиями, направленными против Николаса, почти с такой же злобой, как и раньше.

Ральф, отличавшийся незаурядной наблюдательностью, с удивлением заметил, что во время этой тирады в поведении лорда Фредерика Верисофта, который вначале крутил усы с самым фачовским и равнодушным видом, произошла полная перемена. Еще больше удивился он, когда сэр Мальбери умолк, а молодой лорд сердито и почти без всякой аффектации потребовал, чтобы этот разговор никогда не возобновляли в его присутствии.

— Запомните это, Хоук! — прибавил он с несвойственной ему энергией. — Я никогда не приму участия к подлому нападению на молодого человека и не допущу его, если это будет в моих силах...

— В подлом? — перебил его друг.

— Да-а, — сказал тот, повернувшись к нему лицом. — Если бы вы сказали ему, кто вы, если бы дали ему вашу визитную карточку, а затем узнали, что его общественное положение или репутация препятствует вам драться с ним, и тогда это было бы достаточно плохо, клянусь честью, достаточно плохо. А теперь получилось еще хуже, и поступили скверно вы. И я поступил скверно, потому что не вмешался, и в этом я раскаиваюсь. То, что с вами затем произошло, было несчастным случаем, а не результатом злого умысла, и вина скорее ваша, чем его. И с моего ведома он кары за это не понесет, да, не понесет!

Выразительно повторив эти последние слова, молодой лорд повернулся на каблуках, но, прежде чем удалиться в смежную комнату, снова повернулся и добавил с еще большим жаром:

— Теперь я верю, клянусь честью, верю, что эта молодая леди, его сестра, не только красива, но и добродетельна и скромна, а ее брат... я скажу только, что он поступил так, как должен был поступить ее брат: мужественно и смело. От всего сердца и от всей души желал бы я, чтобы любой из нас выпутался из подобной истории с таким достоинством, как он!

С этими словами лорд Фредерик Верисофт вышел из комнаты, оставив Ральфа Никльби и сэра Мальбери пребывающими в самом неприятном изумлении.

— И это ваш ученик? — вкрадчиво спросил Ральф. — Или он только что вышел из рук какого-нибудь деревенского священника?

— У глупых молокососов бывают иной раз такие причуды, — отозвался сэр Мальбери Хоук, кусая губы и указывая на дверь. — Предоставьте его мне.

Ральф обменялся фамильярным взглядом со своим старым знакомым, интимность их отношений внезапно восстановилась благодаря этой неожиданности, внушавшей опасения, — и отправился домой, в раздумье и не спеша.

Пока происходила эта сцена и задолго до ее окончания, омнибус извергнул мисс Ла-Криви и ее провожатого, и они прибыли к двери ее дома. Добродушная маленькая миниатюристка не могла допустить, чтобы Смайк отправился в обратный путь, не подкрепившись предварительно хотя бы глоточком чего-нибудь усадительного и печеньем, и так как Смайк не имел никаких возражений против глоточка чего-нибудь усадительного или печенья, а напротив, считал их весьма приятной подготовкой к путешествию в Боу, то случилось так, что он замешкался гораздо дольше, чем первоначально предполагал, и прошло не меньше получаса после наступления темноты, когда он тронулся в обратный путь.

Казалось невероятным, чтобы он заблудился, раз дорога была прямая и он почти каждый день проходил здесь с Николасом и домой возвращался один. И вот с полным взаимным доверием мисс Ла-Криви и он пожали друг другу руку, и, получив поручение передать нежные приветствия миссис и мисс Никльби, Смайк удалился.

У подножия Ладгет-Хилла он свернул немного в сторону, любопытствуя взглянуть на Ньюгет. В течение нескольких минут он очень внимательно и со страхом смотрел с

противоположной стороны улицы на мрачные стены, после чего возвратился назад и быстро зашагал по городу, время от времени останавливаясь, чтобы поглазеть на витрину какого-нибудь особенно притягательного магазина, затем пускаясь бегом, затем снова останавливаясь, как поступал бы на его месте любой деревенский подросток.

Он долго глазел на витрину ювелира, жалея, что не может принести домой в подарок какие-нибудь красивые безделушки, и мечтая о том, какую радость они бы доставили, если бы он мог это сделать, но вот часы пробили три четверги девятого. Встрепенувшись, он очень быстрым шагом пустился дальше и переходил через боковую улицу, как вдруг почувствовал, что его остановили таким рывком, что он принужден был ухватиться за фонарный столб, чтобы не упасть. В ту же секунду какой-то мальчик крепко обхватил его ногу, и пронзительный крик: «Вот он, отец! Ура!» — зазвенел в его ушах.

Смайк слишком хорошо знал этот голос. Он с отчаянием посмотрел вниз на того, чей голос услышал, и, задрожав с головы до ног, оглянулся. Мистер Сквирс зацепил его ручкой зонта за шиворот и, собрав все силы, повис на другом конце. Торжествующий крик исходил от юного Сквирса, который, невзирая на все пинки и сопротивление, цеплялся за него с упорством бульдога.

Одного взгляда было достаточно, и от этого одного взгляда запуганное создание стало совершенно беспомощным и лишилось способности издать хотя бы звук.

— Вот это удача! — вскричал мистер Сквирс, постепенно перебирая руками зонт и отцепив его не раньше, чем крепко ухватил жертву за воротник. Восхитительная удача! Уэкфорд, мой мальчик, позови одну из этих карет.

— Карету, отец? — воскликнул маленький Уэкфорд.

— Да, сэр, карету, — ответил Сквирс, упиваясь созерцанием Смайка. Плевать на расходы! Повезем его в карете.

— Что он такое сделал? — спросил рабочий с лотком кирпичей; на него и на его товарища налетел, пятась, мистер Сквирс, когда в первый раз дернул зонт.

— Все! — ответил мистер Сквирс в каком-то экстазе, пристально смотря на своего бывшего ученика. — Все!.. Сбежал, сэр... участвовал в кровожадном нападении на своего учителя... Нет такой гадости, которой бы он не сделал. О, бог мой, какая восхитительная удача!

Рабочий перевел взгляд со Сквирса на Смайка, но бедняга окончательно утратил последние умственные способности, какие у него были. Подъехала карета, юный Уэкфорд влез в нее, Сквирс впихнул свою добычу, последовал за нею и поднял окна. Кучер взобрался на козлы и медленно отъехал, оставив размышлять на досуге о том, что случилось, единственных свидетелей этой сцены — двух каменщиков, старую торговку яблоками и мальчика, возвращавшегося из вечерней школы.

Мистер Сквирс занял место против несчастного Смайка и, плотно опершись руками о колени, смотрел на него минут пять, после чего, как будто очнувшись от экстаза, громко захохотал и угостил своего бывшего ученика несколькими пощечинами, ударяя по очереди то по правой щеке, то по левой.

— Это не сон! — воскликнул Сквирс. — Это плоть и кровь! Я узнаю на ощупь!

И, благодаря этим экспериментам совершенно уверившись в своей удаче, мистер Сквирс закатил ему несколько затрещин, чтобы развлечение не показалось однообразным, и при каждой новой затрещине хохотал все громче и громче.

— Твоя мать с ума сойдет от радости, мой мальчик, когда услышит об этом, — сказал Сквирс сыну.

— Да неужели сойдет, отец? — отозвался юный Уэкфорд.

— Подумать только! — продолжал Сквирс. — Как это мы с тобой вовремя завернули за угол и наткнулись на него, и я его поймал ручкой зонта, как будто зацепил железным крюком! Ха-ха!

— А я разве не ухватил его за ногу, отец? — сказал маленький Уэкфорд.

— Ухватил! Ты молодец, мой мальчик! — сказал мистер Сквирс, погладив сына по

голове. — В награду получишь самую лучшую двухбортную куртку и жилет, из тех, что привезет с собой первый же новый мальчик. Запомни это! Никогда не сворачивай с этой тропы и делай то, что делает твой отец, и когда ты умрешь, то попадешь прямехонько на небо, и никаких вопросов тебе задавать не будут.

Воспользовавшись удобным случаем для поучения, мистер Сквирс снова погладил сына по голове, а затем погладил Смайка, но посильнее и шутливым тоном осведомился, как он себя сейчас чувствует.

— Мне нужно домой, — ответил Смайк, дико озираясь.

— Разумеется, нужно. В этом ты прав, — отозвался мистер Сквирс. — И очень скоро ты будешь дома. Не пройдет и недели, как ты очутишься, мой юный друг, в мирной деревушке Дотбойс в Йоркшире, а в следующий раз, когда ты оттуда удерешь, я тебе дам разрешение не возвращаться. Где платье, в котором ты убежал, неблагодарный ты разбойник?

Смайк бросил взгляд на новый костюм, о котором позаботился Николас, и стал ломать руки.

— А знаешь ли ты, что я могу тебя повесить перед Олд-Бейли за то, что ты удрал с этим имуществом? — сказал Сквирс. — Знаешь ли ты, что тут дело пахнет виселицей и — не совсем-то я уверен — может быть, и анатомией⁸¹, потому что ты ушел из дому и унес с собой добра больше чем на пять фунтов? А? Ты это знаешь? Как по-твоему, сколько стоила одежда, которая на тебе была? Зиабшь ли ты, что на тебе был веллингтоновский сапог из той пары, которая стоила двадцать восемь шиллингов, и башмак, а пара башмаков стоила семь шиллингов шесть пенсов? Но, попав ко мне, ты попал как раз в ту лавочку, где торгуют милосердием, и благодари свою звезду, что именно я буду отпускать тебе этот товар!

Те, кто не был посвящен в тайны мистера Сквирса, могли бы предположить, что он не только не имеет под рукой большого запаса упомянутого товара для всех желающих, но и вовсе не располагает им; и мнение особ скептических не изменилось бы, когда он вслед за этим замечанием начал тыкать Смайка в грудь наконечником зонта и ловко осыпать градом ударов его голову и плечи, пользуясь спицами того же орудия.

— Никогда еще не случалось мне колотить мальчика в наемной карете, сказал мистер Сквирс, дав себе передышку. — Есть некоторые неудобства, но новизна доставляет удовольствие!

Бедный Смайк! Он по мере сил отражал удары, а потом забился в угол кареты, опустив голову на руки и упершись локтями в колени. Он был оглушен, ошеломлен, и рядом уже не было друга, чтобы поговорить с ним и посоветоваться; Смайк не мог даже представить себе, что поможет ему спастись от всемогущего Сквирса, как не представлял себе этого на протяжении томительных лет жизни в Йоркшире, предшествовавших приезду Николаса.

Путешествие казалось бесконечным, они проезжали одну улицу за другой, оставляли их позади и продолжали рысцой двигаться дальше. Наконец мистер Сквирс начал через каждые полминуты высовываться из окна и орать, давая всевозможные указания кучеру; когда они не без затруднений проехали несколько жалких улиц, недавно проложенных, о чем свидетельствовал вид домов и плохие, мостовые, мистер Сквирс вдруг изо всех сил дернул за шнурок и крикнул:

— Стойте!

— Чего вы отрываете человеку руку? — сказал кучер, сердито посмотрев вниз.

— Вон этот дом, — ответил Сквирс. — Второй из тех четырех маленьких домиков, двухэтажный, с зелеными ставнями. На двери медная табличка с фамилией Снаули.

— Не могли вы, что ли, сказать это, не отрывая человеку руку от туловища? — осведомился кучер.

— Нет! — заорал мистер Сквирс. — Попробуйте сказать еще слово — и я на вас в суд подам за то, что у вас стекло разбито. Стойте!

Повинуясь приказу, кучер остановил карету у двери мистера Снаули. Припомним, что мистер Снаули был тот самый елейный ханжа, который доверил двух своих пасынков отеческим заботам мистера Сквирса, о чем было рассказано в четвертой главе этой повести. Дом мистера Снаули находился на самой окраине нового поселка, примыкавшего к Сомерс-Тауну; мистер Сквирс снял у него на короткое время помещение, так как задержался в Лондоне на более долгий срок, чем обычно, а «Сарацин», зная по опыту аппетит юного Уэкфорда, соглашался принять его только на равных условиях с любым взрослым постояльцем.

— Вот и мы! — сказал Сквирс, быстро вталкивая Смайку в маленькую гостиную, где мистер Снаули и его жена сидели за ужином, угощаясь омаром. Вот он, бродяга, преступник, бунтовщик, чудовище неблагодарности!

— Как! Тот самый мальчишка, который сбежал! — вскричал Снаули, опустив на стол руки с торчавшими вверх ножом и вилок и широко раскрыв глаза.

— Он самый! — сказал Сквирс, поднеся кулак к носу Смайку, опустив его и со злобным видом повторив этот жест несколько раз. — Если бы здесь не присутствовала леди, я бы ему закатил такую... Не беда, за мной не пропадет.

И мистер Сквирс поведал о том, как и каким путем, когда и где он поймал беглеца.

— Ясно, что на то была воля провидения, — сказал мистер Снаули, со смиренным видом опустив глаза и подняв к потолку вилку с насаженным на нее куском омара.

— Несомненно, провидение против него, — отозвался мистер Сквирс, почесывая нос. — Конечно! Этого следовало ожидать. Всякий мог бы догадаться.

— Жестокосердие и злодейство никогда не преуспевают, сэр, — сказал мистер Снаули.

— Об этом никогда никто не слышал, — подхватил Сквирс, доставая из бумажника тоненькую пачку банкйогов, дабы удостовериться, все ли они целы.

— Миссис Снаули, — сказал мистер Сквирс, успокоившись относительно сего предмета, — я был благодетелем этого мальчишки, я его кормил, обучал и одевал. Я был классическим, коммерческим, математическим, философическим и тригонометрическим другом этого мальчик. Мой сын — мой единственный сын Уэкфорд — был ему братом, миссис Сквирс была ему матерью, бабушкой, теткой. Да, и могу сказать — также и дядей, всем сразу. Ни к кому она не была так привязана, кроме ваших двух прелестных и очаровательных сынков, как к этому мальчишке. А какова награда? Что случилось с моим млеком человеческой доброты? Оно свертывается и скисает, когда я смотрю на этого мальчишку.

— Это и не удивительно, сэр, — сказала миссис Снаули. — О, это не удивительно!

— Где он был все это время? — осведомился Снаули, — Или он жил с этим...

— А, сэр! — перебил Сквирс, снова поворачиваясь к Смайку. — Вы жили с этим чертом Никльби, сэр?

Но ни угрозы, ни кулаки не могли вырвать у Смайку ни единого слова в ответ на этот вопрос, потому что он решил скорее погибнуть в ужасной тюрьме, куда ему предстояло вернуться, чем произнести хоть один слог, который мог впутать в это дело его первого и истинного друга. Он уже припомнил строгий приказ хранить тайну относительно своей прошлой жизни, данный ему Николасом, когда они покидали Йоркшир, а смутное и запутанное представление, что его благодетель, уведя его с собой, совершил какое-то ужасное преступление, за которое, если оно будет открыто, его могут подвергнуть тяжелой каре, отчасти содействовало тому, что он пришел в ужас.

Таковы были мысли, — если столь туманные представления, бродившие в слабом мозгу, можно назвать этим словом, — таковы были мысли, которые возникли у Смайку и сделали его нечувствительным к запугиванию и к уговорам. Убедившись, что все усилия бесполезны, мистер Сквирс отвел его в каморку наверху, где ему предстояло провести ночь. Забрав из предосторожности его обувь, куртку и жилет, а также заперев дверь снаружи из опасения, как бы он не собрался с духом и не сделал попытки бежать, достойный джентльмен оставил его наедине с его размышлениями.

О чем он размышлял и как сжималось сердце бедняги, когда он думал — а разве переставал он хоть на секунду об этом думать! — о бывшем своем доме, и дорогих друзьях, и о знакомых, с которыми он был связан, — рассказать нельзя. Для того чтобы остановить умственное развитие и обречь рассудок на такой глубокий сон, надо было применять суровые и жестокие меры еще с детства. Должны были пройти годы мук и страданий, не озаренные ни единым лучом надежды; струны сердца, отзывавшиеся на нежность и ласку, должны были где-то заржаветь и порваться, чтобы уже больше не отвечать на ласковые слова любви. Да, мрачен должен быть короткий день и тусклы длинные-длинные сумерки, которые предшествуют ночи, окутавшей его рассудок.

Были голоса, которые заставили бы его встрепнуться даже теперь. Но их приветные звуки не могли проникнуть сюда. И он лег на кровать — вялое, несчастное, больное существо, каким впервые увидел его Николас в йоркширской школе.

Глава XXXIX,

в которой еще одим старый друг встречается Смайка весьма кстати и не без последствий

Ночь, исполненная такой горечи для одной бедной души, уступила место ясному и безоблачному летнему утру, когда почтовая карета с севера проезжала с веселым грохотом по еще молчаливым улицам Излингтона и, бойко возвестив о своем приближении бодрими звуками кондукторского рожка, подкатила, гремя, к остановке около почтовой конторы.

Единственным наружным пассажиром был дюжий, честный на вид деревенский житель, который, впившись глазами в купол собора св. Павла, казалось, пребывал в таком восхищении и изумлении, что вовсе не замечал суеты, когда выгружали мешки и свертки, пока не опустилось с шумом одно из окон кареты, после чего он оглянулся и увидел миловидное женское личико, только что оттуда выглянувшее.

— Посмотри-ка, моя девочка! — заорал деревенский житель, указывая на предмет своего восхищения. — Это церковь Павла. Ну и громадина!

— Ах, боже мой, Джон! Я не думала, что она может быть даже наполовину такой большой. Вот так чудовище!

— Чудовище! Это, мне кажется, вы правильно сказали, миссис Брауди, добродушно отозвался деревенский житель, медленно спускаясь вниз в своем широченном пальто. — А как ты думаешь, вот это что такое — вон там, через дорогу? Хотя бы целый год думала, все равно не угадаешь. Это всего-навсего почтовая контора! Хо-хо! Им надо брать двойную плату за письма! Почтовая контора! Ну, что ты скажешь? Ей-богу, если это почтовая контора, то хотелось бы мне посмотреть, где живет лондонский лорд-мэр!

С этими словами Джон Брауди — ибо это был он — открыл дверцу кареты, заглянул в нее и, похлопав миссис Брауди, бывшую мисс Прайс, по щеке, разразился неудержимым хохотом.

— Здорово! — сказал Джон. — Пусть черт поберет мои пуговицы, если она не заснула снова!

— Она всю ночь спала и весь вчерашний день, только изредка просыпалась минутки на две, — ответила избранница Джона Брауди, — и я очень жалела, когда она просыпалась, потому что она такая злюка.

Объектом этих замечаний была спящая фигура, так старательно закутанная в шаль и плащ, что было бы немисливо определить ее пол, если бы не коричневая касторовая шляпка с зеленой вуалью, которая украшала ее голову и на протяжении двухсот пятидесяти миль сплющивалась в том самом углу, откуда доносился сейчас храп леди, и имела вид достаточно нелепый, чтобы растянуть и менее расположенные к смеху мышцы, чем мышцы красного лица Джона Брауди.

— Эй! — крикнул Джон, дергая за кончик обвисшей вуали. — Ну-ка, просыпайтесь, живо!

После нескольких попыток снова забиться в угол и досадливых восклицаний спросонок фигура с трудом приняла сидячее положение, и тогда под смятой в комок касторовой шляпкой показалось нежное личико мисс Фанни Сквирс, обведенное полукругом синих папильоток.

— О Тильда, как ты меня толкала всю ночь! — воскликнула мисс Сквирс.

— Вот это мне нравится! — со смехом отозвалась ее подруга. — Да ведь ты одна заняла чуть ли не всю карету!

— Не спорь, Тильда, — внушительно сказала мисс Сквире, — ты толкалась, и не имеет смысла утверждать, будто ты не толкалась. Быть может, ты этого не замечала во сне, Тильда, но я всю ночь не сомкнула глаз и потому думаю, что мне можно верить.

Дав такой ответ, мисс Сквирс привела в порядок шляпку и вуаль, которым ничто, кроме сверхъестественного вмешательства и нарушения законов природы, не могло вернуть прежний фасон или форму; явно обольщаясь мыслью, что шляпка на редкость мила, она смахнула с колен крошки сандвичей и печенья и, опираясь на предложенную Джоном Брауди руку, вышла из кареты.

— Эй, — сказал Джон, подозвав наемную карету и поспешно погрузив в нее обеих леди и багаж, — поезжайте в «Голову Сары»!

— Куда? — вскричал кучер.

— Ах, бог мой, мистер Брауди, — вмешалась мисс Сквирс. — Что за ерунда! В «Голову Сарацина».

— Верно, — сказал Джон, — я знал, что это что-то вроде «Головы Саринового сына». Ты знаешь, где это?

— О да! Это я знаю, — проворчал кучер, захлопнув дверцу.

— Тильда, дорогая, — запротестовала мисс Сквирс, — вас примут бог знает за кого.

— Пусь принимают за кого хотят, — сказал Джон Брауди. — Мы приехали в Лондон для того, чтобы веселиться, не так ли?

— Надеюсь, мистер Брауди, — ответила мисс Сквирс с удивительно мрачным видом.

— Ну, а все остальное неважно, — сказал Джон. — Я всего несколько дней как женился, потому что бедный старик отец помер и пришлось это дело отложить. У нас свадебное путешествие — новобрачная, подружка и новобрачный, и когда же человеку повеселиться, если не теперь?

И вот, чтобы начать веселиться сейчас же и не терять времени, мистер Брауди влепил сочный поцелуй своей жене и ухитрился сорвать поцелуй у мисс Сквирс после девического сопротивления, царапанья и борьбы со стороны этой молодой леди, продолжавшихся до тех пор, пока они не прибыли в «Голову Сарацина».

Здесь компания немедленно отправилась на отдых — освежающий сон был необходим после такого длинного путешествия, и здесь они встретились снова около полудня за плотным завтраком, поданным по приказанию мистера Джона Брауди в отдельной маленькой комнатке наверху, откуда можно было беспрепятственно любоваться конюшнями.

Увидеть теперь мисс Сквирс, избавившуюся от коричневой касторовой шляпки, зеленой вуали и синих папильоток и облеченную, во всей своей девственной прелести, в белое платье и жакет, надевшую белый муслиновый чепчик с пышно распустившейся искусственной алой розой, увидеть ее роскошную копну волос, уложенных локончиками, такими тугими, что немыслимым казалось, чтобы они могли как-нибудь случайно растрепаться, и шляпку, отороченную маленькими алыми розочками, которые можно было принять за многообещающие отпрыски большой розы, — увидеть все это, а также широкий алый пояс — под стать розе-родоначальнице и маленьким розочкам, — который охватывал стройную талию и благодаря счастливой изобретательности скрывал недостаточную длину жакета сзади, — узреть все это и затем уделить должное внимание коралловым браслетам (бусинок было маловато и очень заметен черный шнурок), обвившим ее запястья, и

коралловому ожерелью, покоившемуся на шее, поддерживая поверх платья одинокое сердце из темно-красного халцедона — символ ее еще никому не отданной любви, — созерцать все эти немые, но выразительные соблазны, вызывающие к самым чистым чувствам нашей природы, значило растопить лед старости и подбросить новое, неиссякаемое топливо в огонь юности.

Официант не остался неуязвимым. Хотя он и был официантом, но человеческие чувства и страсти не были ему чужды, и он очень пристально смотрел на мисс Сквирс, подавая горячие булочки.

— Вы не знаете, мой папа здесь? — с достоинством спросила мисс Сквирс.

— Что прикажете, мисс?

— Мой папа, — повторила мисс Сквирс, — он здесь?

— Где — здесь, мисс?

— Здесь, в доме! — ответила мисс Сквирс. — Мой папа — мистер Уэкфорд Сквирс, он здесь остановился. Он дома?

— Я не знаю, есть ли здесь такой джентльмен, мисс, — ответил официант. Может быть, он в кофейне.

«Может быть!» Вот это недурно! Мисс Сквирс всю дорогу до самого Лондона мечтала доказать своим друзьям, что она чувствует себя здесь как дома, мечтала о том, с каким почтительным вниманием будут встречены ее имя и упоминание о родне, а ей говорят, что ее отец, может быть, здесь!

— Как будто он первый встречный! — с великим негодованием заметила мисс Сквирс.

— Вы бы пошли узнать, — сказал Джон Брауди. И тащите еще один пирог с голубями, слышите? Черт бы побрал этого парня, — пробормотал Джон, глядя на пустое блюдо, когда официант удалился. — И это он называет пирогом — три маленьких голубя, фарша почти не видно, и корка такая легкая, что вы не знаете, когда она у вас во рту и когда ее уже нет. Интересно, сколько пирогов полагается на завтрак?

После короткого перерыва, который Джон Брауди употребил на ветчину и холодную говядину, официант вернулся с другим пирогом и с сообщением, что мистер Сквирс здесь не остановился, но что он заходит сюда ежедневно и, когда он придет, его проводят наверх.

С этими словами он вышел, отсутствовал не больше двух минут, а затем вернулся с мистером Сквирсом и его многообещающим сынком.

— Ну кто бы мог подумать! — сказал Сквирс, после того как приветствовал компанию и узнал домашние новости от своей дочери.

— В самом деле, кто, папа? — с раздражением сказала эта молодая леди. Но, как видите. Тильда наконец-то вышла замуж.

— А я устроил увеселительную поездку, осматриваю Лондон, учитель, объявил Джон, энергически атакуя пирог.

— Так поступают все молодые люди, когда женятся, отозвался Сквирс, — а деньги от этого улетучиваются! Насколько было бы лучше отложить их хотя бы на обучение ребятишек! А они на вас посыплются, не успеете вы оглянуться, нравоучительным тоном продолжал мистер Сквирс. — Мои на меня посыпались.

— Не хотите ли кусочек? — предложил Джон.

— Я-то не хочу, — ответил Сквирс, — но если вы дадите кусок пожирнее маленькому Уэкфорду, я вам буду признателен. Суньте ему прямо в руку, а не то официант возьмет лишнюю плату, а они и без того наживаются. Если услышите, что идет официант, сэр, спрячьте кусок в карман и выглядывайте из окна, слышите?

— Понимаю, отец, — ответил послушный Уэкфорд.

— Ну, — сказал Сквирс, обращаясь к дочери, — теперь твоя очередь выйти замуж.

— О, мне не к спеху, — очень резко сказала мисс Сквирс.

— Неужели, Фаини? — не без лукавства воскликнула ее старая подруга.

— Да, Тильда, — ответила мисс Сквирс, энергически качая головой. — Я могу подождать.

— По-видимому, и молодые люди тоже могут подождать, — заметила миссис Брауди.

— Уж я-то их не увлекаю, Тильда, — заявила мисс Сквирс.

— Верно! — подхватила ее подруга. — Вот это сущая правда.

Саркастический тон этого замечания мог вызвать довольно резкую реплику мисс Сквирс, которая, будучи от природы злобного нрава — каковой стал еще злее после путешествия и недавней тряски, — была вдобавок раздражена старыми воспоминаниями и крушением надежд, связанных с мистером Брауди. А резкая реплика могла привести к многочисленным другим резким репликам, которые могли привести бог весть к чему, если бы в этот момент сам мистер Сквирс случайно не переменял тему разговора.

— Как вы думаете, — сказал этот джентльмен, — как вы полагаете, кого мы с Уэкфордом сегодня изловили?

— Папа! Неужели мистера...

Мисс Сквирс была не в силах закончить фразу, но миссис Брауди сделала это за нее и добавила:

— Никльби?

— Нет, — сказал Сквирс, — но почти что его.

— Как? Вы имеете в виду Смайка? — воскликнула мисс Сквирс, захлопав в ладоши.

— Вот именно! — ответил ее отец. — Ох, и здоровея его поймал.

— Как! — вскричал Джон Брауди, отодвигая тарелку. — Поймали этого бедного... проклятого негодяя? Где он?

— Да у меня на квартире, в задней комнате наверху, — ответил Сквирс. — Он сидит взаперти.

— У тебя на квартире? Ты его держишь у себя ва квартире? Хо-хо! Школьный учитель против всей Англии! Дай руку, приятель! Будь я проклят, за это я должен пожать тебе руку! Держишь его у себя на квартире?

— Да, — ответил Сквирс, покачнувшись на стуле от поздравительного удара в грудь, которым угостил его дюжий йоркширец, — благодарю вас. Больше этого не делайте. Я знаю — намерение у вас было доброе, но это немножко больно. Да, он там. Что, не так уж плохо?

— Плохо! — повторил Джон Брауди. — Да этим можно сразить человека!

— Я так и думал, что это вас слегка, удивит, — сказал Сквирс, потирая руки. — Это было аккуратно обделано и очень быстро.

— Как было дело? — осведомился Джон, подсаживаясь к нему. — Расскажите нам все, приятель. Ну-ка поживее!

Хотя мистер Сквирс и не мог угнаться за нетерпением Джона Брауди, однако он поведал о счастливой случайности, благодаря которой Смайк попался ему в руки, так живо, как только мог, и, когда его не перебивали восхищенные восклицания слушателей, не прерывал рассказа, пока не довел его до конца.

— Из боязни, как бы он от меня случайно не удрал, — с хитрой миной заметил Сквирс, закончив рассказ, — я заказал на завтра, на утро, три наружных места — для Уэкфорда, для него и для себя — и договорился с агентом, поручив ему счета и новых мальчиков, понимаете? Стало быть, очень удачно вышло, что вы приехали сегодня, иначе вы бы нас не застали; и если вы не зайдете вечером выпить со мной чаю, мы вас не увидим до отъезда.

— Ни слова больше, — подхватил йоркширец, пожимая ему руку. — Мы придем, хотя бы вы жили за двадцать миль отсюда.

— Да неужели придете? — отозвался мистер Сквирс, который не ждал, что его приглашение будет принято с такой готовностью, иначе он очень бы призадумался, прежде чем приглашать.

Единственным ответом Джона Брауди было новое рукопожатие и заверение, что осмотр Лондона они начнут только завтра, чтобы непременно быть у мистера Снаули к шести часам. Обменявшись с йоркширцем еще несколькими словами, мистер Сквирс удалился со своим сынком.

В течение целого дня мистер Брауди был в очень странном возбужденном состоянии:

то и дело разражался смехом, а затем хватал свою шляпу и выбегал во двор, чтобы нахохотаться вволю. Он никак не мог усидеть на месте, все время входил и выходил, прищелкивал пальцами, выделял какие-то па из неуклюжих деревенских танцев — короче говоря, вел себя так удивительно, что у мисс Сквирс мелькнула мысль, не помешался ли он, и, попросив свою дорогую Тильду не расстраиваться, она сообщила ей напрямик свои подозрения. Однако миссис Брауди, не обнаруживая особых признаков тревоги, заметила, что один раз она уже видела его таким и хотя он после этого почти наверно заболел, но ничего серьезного с ним не случится, а потому лучше оставить его в покое.

Последствия показали, что она была совершенно права: когда все они сидели в тот вечер в гостиной мистера Снаули, как только начало смеркаться, Джону Брауди стало вдруг так плохо и он почувствовал такое головокружение, что все присутствующие пришли в панический ужас. Его славная супруга оказалась единственной особой, сохранившей присутствие духа; она заявила, что, если бы ему разрешили полежать часок на кровати мистера Сквирса и оставили в полном одиночестве, его болезнь несомненно прошла бы так же быстро, как и приключилась с ним. Никто не отказался последовать этому разумному совету, прежде чем посылать за врачом. И вот Джона с великим трудом отвели, поддерживая, наверх (он был чудовищно тяжел, и, спотыкаясь, спускался на две ступени каждый раз, когда его втаскивали на три) и, уложив на кровать, оставили на попечение его жены, которая после недолгого отсутствия вернулась в гостиную с приятной вестью, что он крепко заснул.

А в этот самый момент Джон Брауди сидел на кровати, раскрасневшись, как никогда, запихивая в рот угол подушки, чтобы не захохотать во все горло. Как только удалось ему подавить это желание, он снял башмаки, прокрался к смежной комнате, где был заключен пленник, повернул ключ, торчавший в замочной скважине, и, вбежав, зажал Смайку рот своей большущей рукой, прежде чем тот успел вскрикнуть.

— Черт подери, ты меня не узнаешь, парень? — шепнул йоркширец ошеломленному мальчику. — Я — Брауди! Я тебя встретил, когда избили школьного учителя.

— Да, да! — воскликнул Смайк. — О, помогите мне!

— Помочь тебе? — переспросил Джон, снова зажав ему рот, как только он это сказал. — Ты бы не нуждался в помощи, если бы не был самым глупым мальчишкой, какой только есть на свете. Чего ради ты пришел сюда?

— Он меня привел, о, это он меня привел! — вскричал Смайк.

— Привел! — повторил Джои. — Так почему же ты не ударил его по голове, не лег на землю и не начал брыкаться, почему не позвал полицию? Я бы расправился с дюжиной таких, как он, когда был в твоих летах. Но ты жалкий, забитый парень, — грустно сказал Джон, — и пусть бог меня простит, что я похвалялся перед одним из его слабых созданий!

Смайк раскрыл рот, собираясь что-то сказать, но Джон Брауди остановил его.

— Стой смирно и ни словечка не говори, пока я тебе не разрешу, — сказал йоркширец.

После такого предостережения Джон Брауди многозначительно покачал головой и, достав из кармана отвертку, очень искусно и неторопливо вывинтил дверной замок и положил его вместе с инструментом на пол.

— Видишь? — сказал Джон. — Это твоих рук дело. А теперь удирай!

Смайк тупо посмотрел на него, как будто не понимая.

— Я тебе говорю — удирай! — быстро повторил Джон. — Ты знаешь, где живешь? Знаешь? Ладно. Это твой сюртучишко или учительский?

— Мой, — ответил Смайк, когда йоркширец увлек его в соседнюю комнату и указал ему на башмаки и сюртук, лежавшие на стуле.

— Одевайся! — сказал Джон, засовывая его руку не в тот рукав и обматывая ему шею полой сюртука. — Теперь ступай за мной, а когда будешь на улице, поверни направо, и они не увидят, как ты пройдешь мимо.

— Но... но... он услышит, когда я буду закрывать дверь, — ответил Смайк, дрожа с головы до пят.

— Так ты ее совсем не закрывай, — заявил Джон Брауди. — Черт подери, надеюсь, ты

не боишься, что школьный учитель схватит простуду?

— Не-ет, — сказал Смайк, у которого зуб на зуб не попадал. — Но он уже один раз привел меня обратно и опять приведет. Да, конечно, приведет...

— Приведет? — нетерпеливо перебил Джон. — Нет, не приведет. Слушай! Я хочу это сделать по-добрососедски, и пусть они думают, что ты сам убежал, но если он выйдет из гостиной, когда ты будешь удирать, пусть он лучше пожалеет свои кости, потому что я их не пожалею. Если он сразу обнаружит твой побег, я его направлю по ложному следу, предупреждаю тебя. Но если ты не будешь робеть, ты доберешься до дому раньше, чем они узнают, что ты сбежал. Идем!

Смайк, который понял только, что все это говорилось с целью подбодрить его, двинулся за Джоном нетвердыми шагами, а тот зашептал ему на ухо:

— Ты скажешь молодому мистеру, что я сочетался браком с Тилли Прайс, и мне можно писать в «Голову Сарацина», и что я к нему не ревную. Черт возьми, я чуть не лопаюсь от смеха, когда вспоминаю о том вечере! Ей-богу, я будто сейчас вижу, как он уплетал хлеб с маслом!

В данный момент это было рискованное воспоминание для Джона, так как он был на волосок от того, чтобы громко не захохотать. Однако, удержавшись с большим трудом как раз вовремя, он шмыгнул вниз по лестнице, увлекая за собой Смайка; затем, поместившись у самой двери в гостиную, чтобы встретить лицом к лицу первого, кто оттуда выйдет, он дал знак Смайку удирать.

Зайдя так далеко, Смайк не нуждался в новом понуканье. Открыв потихоньку дверь и бросив на своего избавителя взгляд и благодарный и испуганный, он повернулся и как вихрь помчался в указанном направлении.

Йоркширец оставался на своем посту в течение нескольких минут, но убедившись, что разговор в гостиной не смолкает, бесшумно прокрался назад и с добрый час стоял, прислушиваясь, у перил лестницы. Так как спокойствие ничем не нарушалось, он снова забрался в постель мистера Сквирса и, натянув на голову одеяло, принялся хохотать так, что чуть не задохся.

Если бы кто-нибудь мог видеть, как вздрагивает одеяло, а широкое красное лицо и большая голова йоркширца то и дело высовываются из-под простыни, напоминая некое веселое чудище, которое выбирается на поверхность подышать воздухом и опять ныряет, корчась от приступов смеха, если бы кто-нибудь мог это видеть, тот позабавился бы не меньше, чем забавлялся сам Джон Брауди.

Глава XL,

в которой Николас влюбляется. Он прибегает к посреднику, чьи старания увенчиваются неожиданным успехом, если не придавать значения одной детали

Вырвавшись еще раз из когтей своего старого преследователя, Смайк не нуждался в новых поощрениях, чтобы приложить всю свою энергию и усилия, на какие только был способен. Не останавливаясь ни на секунду для размышлений о том, в какую сторону он бежит и ведет ли эта дорога к дому или прочь от него, он мчался с изумительной быстротой и упорством; он летел, словно на крыльях, какие дает только страх, понукаемый воображаемыми криками, хорошо знакомым голосом Сквирса, бежавшего — так чудилось расстроенному воображению бедняги — за ним по пятам с толпой преследователей, которые то отставали, то быстро его нагоняли, по мере того как им овладевали по очереди страх и надежда. И, когда через некоторое время он начал убеждать себя, что эти звуки порождены его возбужденным мозгом, он еще долго не замедлял шага, который вряд ли могли замедлить даже усталость и истощение. Когда мрак и тишина проселочной дороги вернули его к действительности, а звездное небо над ним напомнило о быстром ходе времени, тогда только,

покрытый пылью и задыхающийся, он остановился, чтобы прислушаться и осмотреться вокруг.

Все было тихо и безмолвно. Зарево вдали, бросая на небо теплый отблеск, указывало место, где раскинулся гигантский город. Пустынные поля, разделенные живыми изгородями и канавами, через которые он пробирался и перелезал во время своего бегства, окаймляли дорогу и с той стороны, откуда он пришел, и с противоположной. Было уже поздно. Вряд ли могли они выследить его по тем тропам, какими он шел, и если мог он надеяться на возвращение домой, то, конечно, оно должно было совершиться теперь и под покровом темноты.

Мало-помалу это начал понимать даже Смайк. Сначала он следовал какой-то туманной ребяческой фантазии: отойти на десять — двенадцать миль, а затем направиться домой, описав широкий круг, чтобы не пересекать Лондона, — до такой степени боялся он идти по улицам, где снова мог встретить своего грозного врага; но, уступая убеждению, внушенному новыми мыслями, он повернул назад и, со страхом и трепетом выйдя на дорогу, зашагал по направлению к Лондону почти с такою же быстротой, с какой покинул свое временное пристанище у мистера Сквирса.

К тому времени, когда он вновь вошел в город с западной его окраины, большая часть магазинов была закрыта. Из людских толп, соблазненных выйти после жаркого дня, лишь немногие прохожие оставались на улицах, да и те брели домой. И у них он время от времени справлялся о дороге и, повторяя свои вопросы, добрался, наконец, до жилища Ньюмена Ногса.

Весь вечер Ньюмен рыскал по переулкам и закоулкам, отыскивая того самого человека, который стучал сейчас в его дверь, тогда как Николас вел поиски в другой части города. Ньюмен сидел с меланхолическим видом за своим скудным ужином, когда робкий и неуверенный стук Смайка долетел до его слуха. В тревоге и ожидании жадно прислушиваясь к каждому звуку, Ньюмен сбежал вниз и, вскрикнув в радостном изумлении, потащил желанного гостя в коридор и вверх по лестнице и не проронил ни слова, пока благополучно не водворил его у себя в мансарде и не закрыл за собой дверь, после чего наполнил доверху большую кружку джином с водой и, поднеся ее ко рту Смайка, словно чашу с лекарством к губам строптивого ребенка, приказал ему выпить все до последней капли.

У Ньюмена был чрезвычайно смущенный вид, когда он увидел, что Смайк только пригубил драгоценную смесь. Он уже собирался поднести кружку к своему рту со вздохом сострадания к слабости бедного друга, но Смайк, — начав рассказывать о выпавших на его долю приключениях, заставил его остановиться на на полдороге, и он застыл, слушая, с кружкой в руке.

Странно было наблюдать перемену, происходившую с Ньюменом, по мере того как повествовал Смайк. Сначала он стоял, вытирая губы тыльной стороной руки, словно совершая какой-то обряд, прежде чем приступить к выпивке, затем при упоминании о Сквирсе он зажал кружку под мышкой и очень широко раскрыл глаза в крайнем изумлении. Когда Смайк перешел к избиению в наемной карете, он быстро поставил кружку на стол и, прихрамывая, зашагал по комнате в состоянии величайшего возбуждения, то и дело останавливаясь, словно для того, чтобы слушать еще внимательнее. Когда речь зашла о Джоне Брауди, он медленно и постепенно опустился на стул и, растирая руками колени, — все быстрее и быстрее по мере того как рассказ приближался к кульминационной точке, — разразился, наконец, смехом, прозвучавшим как одно громкое, раскатистое «ха-ха». Когда вырвался этот смех, физиономия его мгновенно вытянулась снова, и он осведомился с величайшим беспокойством, можно ли предположить, что у Джона Брауди и Сквирса дело дошло до драки.

— Нет, не думаю, — ответил Смайк. — Думаю, что он хватил меня, когда я уже был далеко.

Ньюмен почесал голову с видом весьма разочарованным и, снова подняв кружку, занялся ее содержимым, досматривая поверх ее краев на Смайка с мрачной и зловещей

улыбкой.

— Вы останетесь здесь, — сказал Ньюмен. — Вы устали... выбились из сил. Я сообщу им, что вы вернулись. Они чуть с ума не сошли из-за вас. Мистер Николас...

— Да благословит его бог! — воскликнул Смайк.

— Аминь! — сказал Ньюмен. — У него не было ни минуты отдыха и покоя, а также и у старой леди и у мисс Никльби.

— Не может быть! Неужели она обо мне думала? — воскликнул Смайк. Неужели думала? Думала, да? О, не говорите мне, что она думала, если это не так!

— Она думала! — крикнул Ньюмен. — Она так же великодушна, как и прекрасна.

— Да, да, — подхватил Смайк. — Правильно!

— Такая нежная и кроткая, — сказал Ньюмен.

— Да, да! — с еще большим жаром вскричал Смайк.

— И в то же время такая преданная и мужественная, — сказал Ньюмен.

Он продолжал говорить, охваченный энтузиазмом, как вдруг, взглянув на своего собеседника, заметил, что тот закрыл лицо руками и слезы просачиваются между его пальцев.

За секунду до этого глаза подростка сверкали необычным огнем, лицо его разгорелось от волнения, и он казался совсем иным существом.

— Ну-ну! — пробормотал Ньюмен, как бы с некоторым недоумением. — Я сам не раз бывал растроган, думая о том, что на долю такой девушки выпали такие испытания; этот бедный мальчик... да, да... он тоже это чувствует... это его трогает... заставляет вспомнить о его прошлых несчастьях. Ха! Так ли это? Да, это... Гм!

Отнюдь не ясно было, судя по тону этих отрывистых замечаний, считает ли Ньюмен Ногс, что они удовлетворительно разъясняют эмоции, вызвавшие их. Некоторое время он сидел в задумчивой позе, изредка бросая на Смайка тревожный и недоверчивый взгляд, ясно показывавший, что Смайк имеет близкое отношение к его мыслям.

Наконец он повторил свое предложение, чтобы Смайк остался у него на ночь, тогда как он (Ногс) немедленно отправится в коттедж успокоить семью. Но так как Смайк не слышать об этом не хотел, ссылаясь на нетерпеливое желание снова увидеть своих друзей, то в конце концов они пустились в путь вместе; ночь была уже на исходе, у Смайка так сильно болели ноги, что он едва мог плестись, а потому до восхода солнца оставалось не больше часа, когда они достигли цели своего путешествия.

При звуке их голосов у двери дома Николас, который провел бессонную ночь, придумывая способы отыскать своего пропавшего питомца, вскочил с постели и радостно впустил их. Столько было громких разговоров, поздравлений, негодующих восклицаний, что остальные члены семьи быстро проснулись, и Смайк был тепло и сердечно принят не только Кэт, но и миссис Никльби, которая заверила его в своей благосклонности. Она была столь любезна, что рассказала для увеселенья его и собравшегося кружка изумительнейшую историю, извлеченную из книги, названия которой она не знала, о чудесном побеге из тюрьмы — какая тюрьма и какой побег, она позабыла, совершенном одним офицером, чье имя она не могла припомнить, коего заключили в тюрьму за какое-то преступление, о котором она сохранила неясное воспоминание.

Сначала Николас склонен был приписывать своему дяде долю участия в этой дерзкой (и едва не увенчавшейся успехом) попытке похитить Смайка, но по зрелом размышлении пришел к выводу, что эта честь принадлежит исключительно мистеру Сквирсу. Решив, по возможности, удостовериться через Джона Брауди, как в действительности обстояло дело, он приступил к повседневным своим занятиям и, отправившись в путь, обдумывал всевозможные способы наказать йоркширского школьного учителя. Все эти проекты были основаны на строжайшем принципе возмездия и отличались только одним недостатком — они были совершенно неосуществимы.

— Чудесное утро, мистер Линкинуотер, — сказал Николас, входя в контору.

— Да! — согласился Тим. — А еще толкуют о деревне! Как вам нравится такая погода

в Лондоне?

— За городом день светлее, — сказал Николас.

— Светлее! — повторил Тим Линкинуотер. — Вы бы досмотрели из окна моей спальни!

— А вы бы посмотрели из моего окна, — с улыбкой ответил Николас.

— Вздор, вздор! — сказал Тим Линкинуотер. — И не говорите! Деревня! (Боу был для Тима сельской местностью.) Глупости! Что вы можете достать в деревне, кроме свежих яиц и цветов? Каждое утро перед завтраком я могу покупать свежие яйца на Леднхоллском рынке. А что касается цветов, то стоит сбегать наверх понюхать мою резеду или посмотреть со двора на махровую желтофиоль в окне мансарды в номере шестом.

— В номере шестом есть махровая желтофиоль? — спросил Николас.

— Да, есть, — ответил Тим. — И посажена в треснувший кувшин без носика. Этой весной там были гиацинты, цвели в... Но вы будете смеяться над этим.

— Над чем?

— Над тем, что они цвели в старых банках из-под ваксы.

— Право же, не буду, — возразил Николас.

Секунду Тим смотрел на него серьезно, как будто тон этого ответа поощрял его к дальнейшим сообщениям. Заложив за ухо перо, которое чинил, и закрыв перочинный нож, он сказал:

— Мистер Никльби, это цветы одного больного, прикованного к постели горбатого мальчика, и, по-видимому, они — единственная радость в его печальной жизни. Сколько лет прошло, — призадумавшись, сказал Тим, — с тех пор как я в первый раз его заметил — совсем малютка, тащившегося на крохотных костылях? Ну-ну! Не так уж много, но хотя они показались бы пустяком, если бы я думал о других вещах, это очень долгий срок, когда я думаю о нем. Грустно видеть, как маленький ребенок-калека сидит в стороне от других детей, резвых я веселых, и следит за играми, в которых ему не дано принять участие. Я очень часто болел за него душой.

— Доброй должна быть душа, — сказал Николас, — которая отвлекается от повседневных дел и замечает такие вещи. Вы говорили о том...

— ...о том, что цветы принадлежат этому бедному мальчику, — сказал Тим, — вот и все. Когда погода хорошая и он может сползти с кровати, он придвигает стул к самому окну и целый день сидит и смотрит на цветы и ухаживает за ними. Сначала мы кивали друг другу, а потом стали разговаривать. Прежде, когда я окликал его по утрам и спрашивал, как он себя чувствует, он улыбался и говорил: «Лучше!» Но теперь он только качает головой и еще ниже наклоняется к своим цветам. Скучно, должно быть, смотреть в течение стольких месяцев на темные крыши и плывущие облака, но он очень терпелив.

— Разве никого нет в доме, кто бы развлекал его или ухаживал за ним? — спросил Николас.

— Кажется, там живет его отец, — ответил Тим, — и еще какие-то люди, но как будто никто хорошенько не заботится о бедном калеке. Я часто спрашивал его, не могу ли я что-нибудь для него сделать. Он неизменно отвечал: «Ничего». За последнее время голос у него ослабел, но я вижу, что он дает все тот же ответ. Теперь он уже не может встать с кровати, поэтому ее придвигают к окну, и там он и лежит целый день — смотрит то на небо, то на свои цветы, которые все еще ухитряется подрезать и поливать своими худыми руками. По вечерам, когда он видит мою свечу, он отодвигает занавеску и не задерживает ее, пока я не лягу в постель. Он как будто не так одинок, зная, что я тут, и я часто просиживаю у окна часом дольше, чтобы он мог видеть, что я не сплю. А ночью я иногда встаю посмотреть на тусклый печальный свет в его комнате и спрашиваю себя, спит он или бодрствует. Скоро настанет ночь, продолжал Тим, когда он заснет и больше никогда уже не проснется на земле. Ни разу в жизни мы не пожали друг другу руку, но мне будет не хватать его, как старого друга. Как вы думаете, есть ли такие полевые цветы, которые могли бы заинтересовать меня так, как эти? Или вы полагаете, что, если бы увяли сотни видов наилучших цветов с

труднейшими латинскими названиями, я бы испытал такую боль, какую почувствую, когда эти кружки и банки будут выброшены как хлам? Деревня! — презрительно воскликнул Тим. — Разве вы не знаете, что нигде не может быть у меня такого двора под окном спальни, нигде, кроме Лондона?

Задав такой вопрос, Тим повернулся спиной и, притворившись, будто погружен в свои счета, воспользовался случаем поспешно вытереть глаза, когда, по его предположениям, Николас смотрел в другую сторону.

Оказались ли в то утро счета Тима более запутанными, чем обычно, или же привычное его спокойствие было слегка нарушено этими воспоминаниями, но случилось так, что, когда Николас, исполнив какое-то поручение, вернулся и спросил, один ли у себя в кабинете мистер Чарльз Чирибл, Тим быстро и без малейших колебаний ответил утвердительно, хотя всего десять минут назад кто-то вошел в кабинет, а Тим с особой вишительностью запрещал вторгаться к обоим братьям, если они были заняты с каким-нибудь посетителем.

— В таком случае я сейчас же отнесу ему это письмо, — сказал Николас.

И с этими словами он подошел к двери и постучал.

Никакого ответа.

Снова стук, и опять никакого ответа.

«Его там нет, — подумал Николас. — Положу письмо ему на стол».

Николас, открыв дверь, вошел и очень быстро повернулся снова к двери, когда увидел, к великому своему изумлению и смущению, молодую леди на коленях перед мистером Чириблом и мистера Чирибла, умоляющего ее встать и заклинающего третью особу, которая, по-видимому, была служанкой леди, присоединиться к нему и уговорить ее подняться.

Николас пробормотал неловкое извинение и бросился к двери, когда молодая леди слегка повернула голову, и он узнал черты той прелестной девушки, которую видел очень давно, во время своего первого визита в контору по найму. Переведя взгляд с нее на ее спутницу, он признал в ней ту самую неуклюжую служанку, которая сопровождала ее в тот раз. Восторг, вызванный красотой молодой леди, смятение и изумление при этой неожиданной встрече привели к тому, что он остановился как вкопанный, в таком смущении и недоумении, что на секунду потерял способность говорить или двигаться.

— Сударыня, дорогая моя... моя дорогая юная леди, — в сильном волнении восклицал брат Чарльз, — пожалуйста, не надо... ни слова больше, прошу и умоляю вас! Заклинаю вас... пожалуйста... встаньте. Мы... мы... не одни.

С этими словами он поднял молодую леди, которая, пошатнувшись, опустилась на стул и лишилась чувств.

— С ней обморок, сэр! — сказал Николас, рванувшись вперед.

— Бедняжка, бедняжка! — воскликнул брат Чарльз. — Где мой брат Нэд? Дорогой мой брат, прошу тебя, пойдی сюда!

— Брат Чарльз, дорогой мой, — отозвался его брат, вбегая в комнату, — что это?.. Ах!.. что...

— Тише, тише! Ради бога, ни слова, брат Нэд! — воскликнул тот. — Позвони экономке, дорогой брат... позови Тима Линкинуотера! Сюда, Тим Линкинуотер, сэр... Мистер Никльби, дорогой мой, сэр, уйдите отсюда, прошу и умоляю вас.

— Мне кажется, ей лучше, — сказал Николас, который с таким рвением следил за больной, что не расслышал этой просьбы.

— Бедная птичка! — воскликнул брат Чарльз, нежно взяв ее за руку и прислонив ее голову к своему плечу. Брат Нэд, дорогой мой, ты удивлеи, я знаю, увидев это в рабочие часы, но...

Тут он снова вспомнил о Николасе и, пожимая ему руку, убедительно попросил его выйти из комнаты и, не медля ни секунды, прислать Тима Линкинуотера.

Николас тотчас же удалился и по дороге в контору встретил и старую экономку и Тима Линкинуотера, со всех ног спешивших по коридору на место происшествия. Не слушая Николаса, Тим Линкинуотер ворвался в комнату, и вскоре Николас услышал, что дверь

захлопнули и заперли на ключ.

У него было немало времени поразмыслить о своем открытии, так как Тим Линкинуотер отсутствовал почти час, в течение коего Николас думал только о молодой леди, и о ее поразительной красоте, и о том, что могло привести ее сюда и почему из этого делали такую тайну. Чем больше он обо всем этом думал, тем в большее приходил недоумение и тем сильнее хотелось ему знать, кто она. «Я узнал бы ее из десяти тысяч», — думал Николас. В таком состоянии он шагал взад и вперед по комнате и, вызывая в памяти ее лицо и фигуру (о которых у него осталось очень живое воспоминание), отметал все другие мысли и думал только об одном.

Наконец вернулся Тим Линкинуотер — раздражающе хладнокровный, с бумагами в руке и с пером во рту, словно ничего не случилось.

— Она совсем оправилась? — порывисто спросил Николас.

— Кто? — отозвался Тим Линкинуотер.

— Кто? — повторил Николас. — Молодая леди.

— Сколько у вас получится, мистер Никльби, — сказал Тим, вынимая перо изо рта, — сколько у вас получится четыреста двадцать семь умножить на три тысячи двести тридцать восемь?

— Сначала какой у вас ответ получится на мой вопрос? Я вас спросил...

— О молодой леди, — сказал Тим Линкинуотер, надевая очки. — Совершенно верно. О! Она совсем здорова.

— Совсем здорова? — переспросил Николас.

— Да, совсем здорова, — важно ответил мистер Линкинуотер.

— Она в состоянии будет вернуться сегодня домой? — осведомился Николас.

— Она ушла, — сказал Тим.

— Ушла?

— Да.

— Надеюсь, ей недалеко идти? — сказал Николас, испытующе глядя на него.

— Да, — отозвался невозмутимый Тим. — Надеюсь, недалеко.

Николас рискнул сделать еще два-три замечания, но было ясно, что у Тима Линкинуотера имеются основания уклоняться от этого разговора и что он решил не сообщать больше никаких сведений о прекрасной незнакомке, которая пробудила такой горячий интерес в сердце его молодого друга. Не уstraшенный этим отпором, Николас возобновил атаку на следующий день, набравшись храбрости благодаря тому, что мистер Линкинуотер был в очень разговорчивом и общительном расположении духа; но стоило ему затронуть эту тему, как Тим погрузился в самое раздражающее молчание, отвечал односложно, а затем и вовсе перестал давать ответы, предоставляя истолковывать как угодно торжественные кивки и пожиманье плечами, чем только разжигал в Николасе жажду что-нибудь узнать, и без того непомерно великую.

Потерпев неудачу, он поневоле удовольствовался тем, что стал поджидать следующего визита молодой леди, но и тут его подстерегало разочарование. День проходил за днем, а она не появлялась. Он жадно просматривал адреса на всех записках и письмах, но не было среди них ни одного, который, по его мнению, мог быть написан ее рукой. Раза два или три ему поручали дела, которые отрывали его от конторы и прежде выполнялись Тимом Линкинуотером. Николас невольно заподозрил, что по той или иной причине его отсылали умышленно и что молодая леди приходила в его отсутствие. Однако ничто не оправдывало таких подозрений, а от Тима нельзя было добиться хитростью признания, которое бы их укрепило.

Таинственность и разочарование не безусловно необходимы для расцвета любви, но очень часто они бывают ее могущественными пособниками. «С глаз долой-из сердца вон» — эта пословица применима к дружбе, хотя разлука не всегда опустошает даже сердца друзей, и истину и честность, подобно драгоценным камням, пожалуй, легче имитировать на расстоянии, когда подделка часто может сойти за настоящую драгоценность. Любви, однако,

весьма существенно помогает пылкое и живое воображение, которое отличается хорошей памятью и может долгое время питаться очень легкой и скудной пищей. Вот почему она часто достигает самого пышного расцвета в разлуке и при обстоятельствах чрезвычайно затруднительных; вот почему Николас, день за днем и час за часом не думая ни о чем, кроме незнакомой молодой леди, начал, наконец, убеждаться, что он безумно влюблен в нее и что не бывало еще на свете такого злосчастливого и гонимого влюбленного, как он.

Но хотя он любил и томился по всем правилам установившейся традиции и даже подумывал сделать своей поверенной Кэт, если бы его не останавливало такое пустячное соображение, что за всю жизнь он ни разу не говорил с предметом своей любви и видел ее только два раза, когда она мелькнула и исчезла, как молния (так выражался Николас в бесконечных разговорах с самим собой), словно образ юности и красоты, слишком ослепительный, чтобы помедлить здесь, — его пыл и преданность, несмотря на это, оставались не вознагражденными. Молодая леди больше не появлялась. Таким образом, очень много любви было растрачено зря (по нынешним временам ею можно было бы прилично снабдить с полдюжины молодых джентльменов), и никто ничего от этого не выиграл — даже сам Николас, который, напротив, с каждым днем все больше тосковал и становился все более сентиментальным и томным.

Таково было положение дел, когда банкротство одного из корреспондентов фирмы «Чирибл, братья» в Германии вызвало необходимость для Тима Линкинуотера и Николаса просмотреть очень длинные и запутанные счета, охватывавшие значительный промежуток времени. Желая как можно скорее проверить их, Тим Линкинуотер предложил оставаться в конторе в течение ближайшей недели до десяти часов вечера; на это Николас согласился с великой охотой, так как ничто, не исключая его романтической любви, не могло охладить пыл, с каким он служил своим добрым патронам. В первый же вечер, ровно в девять часов, пришла не сама молодая леди, а ее служанка, которая, проведя некоторое время с глазу на глаз с братом Чарльзом, ушла и вернулась на следующий вечер в том же часу, и на следующий, и еще на следующий.

Эти повторные визиты разожгли любопытство Николаса до величайшего напряжения. Терзаемый муками Тантала и нестерпимым возбуждением, лишенный возможности проникнуть в тайну, не пренебрегая своими обязанностями, он открыл секрет Ньюмену Ногсу, умоляя его провести следующий вечер на страже, проследить девушку до дому, собрать все сведения касательно фамилии, положения и истории ее хозяйки, какие только удастся ему получить, не вызывая подозрений, и сообщить ему о результатах без промедления.

Гордясь свыше меры этим поручением, Ньюмен Ногс расположился на следующий вечер на своем посту в сквере за час до положенного времени и, поместившись позади насоса и надвинув на глаза шляпу, принялся караулить с чрезвычайно таинственным видом, превосходно рассчитанным на то, чтобы вызвать подозрения у всех прохожих. И в самом деле, служанки, пришедшие за водой, и несколько мальчуганов, остановившихся здесь, чтобы напиться из ковша, испугались до полусмерти при виде Ньюмена Ногса, который выглянул украдкой из-за насоса, причем показалось только его лицо, выражением своим напоминавшее физиономию задумавшегося людоеда.

Минута в минуту вестница явилась и после свидания, затянувшегося дольше, чем обычно, ушла. Ньюмен Ногс сговорился с Николасом о двух встречах: первая была назначена на завтра в зависимости от его успеха, вторая — которая должна была состояться при любых обстоятельствах — через день вечером. В первый вечер он не явился на место свидания (в некую таверну на полдороге между Сити и Гольдн-сквером), но на второй вечер пришел раньше Николаса и встретил его с распростертыми объятиями.

— Все в порядке, — прошептал Ньюмен. — Садитесь. Садитесь, мой славный молодой человек, и сейчас я расскажу вам все.

Николас не нуждался во вторичном приглашении и нетерпеливо осведомился, какие у него новости.

— Новостей очень много, — сказал Ньюмен, крайне возбужденный. — Все в порядке. Не волнуйтесь. Не знаю, с чего начать. Неважно. Не падайте духом. Все в порядке.

— Ну? — нетерпеливо сказал Николас. — Да?

— Да, — ответил Ньюмен. — Так.

— Что так? — воскликнул Николас. — Как фамилия, как фамилия, дорогой мой?

— Фамилия Бобстер, — ответил Ньюмен.

— Бобстер! — с негодованием повторил Николас.

— Да, такая фамилия, — сказал Ньюмен. — Я ее запомнил по ассоциации с «лобстер»⁸².

— Бобстер! — повторил Николас еще более выразительно, чем раньше. Должно быть, это фамилия служанки.

— Нет, не служанки, — возразил Ньюмен, решительно покачав головой. — Мисс Сесилия Бобстер.

— Сесилия? — переспросил Николас, повторяя на все лады имя и фамилию, чтобы убедиться, как они звучат. — Ну что ж, Сесилия — красивое имя.

— Очень. И она сама — красивое создание, — сказал Ньюмен.

— Кто? — спросил Николас.

— Мисс Бобстер.

— Где вы ее видели? — осведомился Николас.

— Неважно, мой дорогой мальчик, — ответил Ньюмен, похлопывая его по плечу. — Я видел ее. Вы увидите ее. Я все устроил.

— Дорогой мой Ньюмен, вы не шутите? — вскричал Николас, схватив его за руку.

— Не шучу, — ответил Ньюмен. — Говорю серьезно. От начала до конца. Вы ее увидите завтра вечером. Она согласна выслушать то, что вы хотите ей сказать. Я ее уговорил. Она — воплощение любезности, кротости и красоты.

— Я это знаю, знаю, что она должна быть такой, Ньюмен! — сказал Николас, пожимая ему руку.

— Вы правы, — ответил Ньюмен.

— Где она живет? — воскликнул Николас. — Что вы о ней узнали? Есть у нее отец, мать, братья, сестры? Что она сказала? Как вам удалось ее увидеть? Она не очень была удивлена? Вы ей сказали, как страстно желал я поговорить с ней? Вы ей сказали, где я ее видел? Вы ей сказали, как, когда, и где, и как давно, и как часто я думал об этом милом лице, которое являлось мне в мигу самой горькой печали, точно видение иного, лучшего мира, — вы ей сказали, Ньюмен, сказали?

Бедный Ньюмен буквально захлебнулся, когда на него обрушился этот поток вопросов, и судорожно корчился на стуле при каждом новом восклицании, и таращил при этом глаза с видом весьма нелепым и недоумевающим.

— Нет, — ответил Ньюмен, — этого я ей не сказал.

— Чего вы ей не сказали? — осведомился Николас.

— О видении из лучшего мира, — ответил Ньюмен. — И я не сказал ей, кто вы и где вы ее видели. Я сказал, что вы любите ее до безумия.

— Это правда, Ньюмен! — продолжал Николас со свойственной ему горячностью. — Небу известно, что это правда!

— Еще я сказал, что вы давно восхищались ею втайне, — сообщил Ньюмен.

— Да, да! А она что? — спросил Николас. — Покраснела, — ответил Ньюмен.

— Ну, конечно. Разумеется, она покраснела, — одобрительно заметил Николас.

Далее Ньюмен сообщил, что молодая леди единственная дочь, что мать ее умерла, что она живет с отцом и что она согласилась на тайное свидание со своим поклонником благодаря вмешательству служанки, которая имеет на нее большое влияние. Затем он рассказал о том, сколько понадобилось усилий и красноречия, чтобы склонить молодую леди

к этой уступке; как было дано понять, что она только предоставляет Николасу возможность объясниться в любви и отнюдь не берет на себя обязательства принять благосклонно его ухаживание. Тайна ее визитов к «Чирибл, братья» осталась неразъясненной, ибо Ньюмен не упоминал о них ни в предварительном разговоре со служанкой, ни при последовавшем за ним свидании с госпожой, заявив только, что ему было поручено проследить девушку до дому и защищать дело его молодого друга, и не сказав, долго ли он за ней следил и начиная с какого места. Ньюмен, судя по словам, вырвавшимся у наперсницы, склонен был заподозрить, что молодая леди вела очень печальную и несчастливую жизнь под суровым надзором родителя, отличавшегося вспыльчивым и жестоким нравом, — обстоятельство, которым, по его мнению, объяснялось до известной степени ее обращение к покровительству братьев, а также и тот факт, что она позволила себя уговорить и согласилась на свидание. Последнее он считал весьма логичным выводом из своих посылок, ибо вполне естественно было предположить, что молодая леди, чье настоящее положение было столь незавидно, чрезвычайно стремилась изменить его.

Выяснилось путем дальнейших расспросов, — так как только благодаря долгим и тяжким усилиям удалось вытянуть все это из Ньюмена Ногса, — что Ньюмен, объясняя, почему у него такой обтрепанный костюм, настаивал на том, что это переодевание вызвано необходимыми мерами предосторожности, связанными с этой интригой. На вопрос, каким образом он превысил свои полномочия и добился свидания, Ньюмен заявил, что раз леди, видимо, склонялась к этому, долг и галантность побудили его воспользоваться таким превосходным способом, дававшим Николасу возможность продолжать ухаживание. После всевозможных вопросов и ответов, повторенных раз двадцать, они расстались, сговорившись встретиться на следующий вечер в половине одиннадцатого, чтобы отправиться на свидание, которое было назначено на одиннадцать часов.

«Дело складывается очень странно, — размышлял Николае, возвращаясь домой. — Мне это и в голову не приходило, я не мечтал о такой возможности. Знать что-нибудь о жизни той, которой я так интересуюсь, видеть ее на улице, проходить мимо дома, где она живет, встречать ее иногда на прогулке, мечтать, что настанет день, когда я буду в состоянии сказать ей о моей любви, это был предел моих надежд. Тогда как теперь... Но я был бы дураком, если бы досадовал на свою удачу».

Однако Николас не был удовлетворен, и это недовольство не было беспричинным. Он сердился на молодую леди за то, что она так легко уступила, «потому что, — рассуждал Николас, — она ведь не знала, что это я, это мог быть кто угодно», а сие, разумеется, было неприятно. Через секунду он уже сердился на себя за такие мысли, говорил, что ничто, кроме доброты, не может обитать в подобном храме и что поведение братьев в достаточной мере свидетельствует о том, с каким уважением они к ней относятся. «Дело в том, что вся она — тайна», — сказал Николас. Это доставило ему не больше удовлетворения, чем прежние его мысли, и он погрузился в новую пучину догадок, где метался и барахтался, охваченный душевной тревогой, пока не пробило десять и не приблизился час свидания.

Николас очень тщательно занялся своим туалетом, и даже Ньюмен Ногс приоделся: на костюме его красовались — что было редким явлением — по две пуговицы подряд и дополнительные булавки были вколоты через сравнительно правильные промежутки. И шляпу он надел на новый лад — засунув в тулью носовой платок, измятый конец которого торчал сзади, как хвостик; впрочем, Ньюмен вряд ли мог предъявить права изобретателя на это последнее украшение, так как не имел о нем понятия, находясь в нервическом и возбужденном состоянии, которое делало его совершенно бесчувственным ко всему, кроме великой цели их экспедиции.

Они шли по улицам в глубоком молчании и, пройдя быстрым шагом порядочное расстояние, свернули в хмурую и очень редко посещаемую улицу около Эджуэр-роуд.

— Номер двенадцатый, — сказал Ньюмен.

— Вот как! — отозвался Николас, озираясь.

— Хорошая улица? — осведомился Ньюмен.

— Да, — сказал Николас. — Немного скучная. Ньюмен не дал никакого ответа на это замечание, но, внезапно остановившись, поместил Николаса спиной к перилам нижнего дворика и внушил ему, что он должен ждать здесь, не шевеля ни рукой, ни ногой, пока не будет твердо установлено, что путь свободен. После этого Ногс с большим проворством заковылял прочь, каждую секунду оглядываясь через плечо, дабы удостовериться, что Николас исполняет его указания. Миновав примерно пять-шесть домов, он поднялся по ступенькам подъезда и вошел в дом.

Вскоре он появился снова и, заковыляв назад, остановился на полпути и поманил Николаса, предлагая следовать за ним.

— Ну, как? — спросил Николас, подходя к нему на цыпочках.

— Все в порядке, — с Восторгом ответил Ньюмен. — Все готово. Дома никого нет. Лучше и быть не может. Ха-ха!

С таким успокоительным заверением он прокрался мимо парадной двери, на которой Николас мельком увидел медную табличку с начертанной очень крупными буквами фамилией «Бобстер», и, остановившись у дверцы, которая вела в нижний дворик и подвал, знаком предложил своему молодому другу спуститься по ступенькам.

— Черт возьми! — воскликнул Николас, попятившись. — Неужели мы должны пробираться в кухню, словно пришли красть вилки?

— Тише! — ответил Ньюмен. — Старик Бобстер — лютый турок. Он их всех убьет... надает пощечин молодой леди... Он это часто делает...

— Как! — вскричал Николас вне себя от гнева. Неужели вы серьезно говорите, неужели кто-то осмеливается давать пощечины такой...

В ту минуту он не успел допеть хвалу своей владычице, ибо Ньюмен подтолкнул его так «осторожно», что он чуть не слетел с лестницы. Правильно оценив этот намек, Николас спустился без дальнейших рассуждений, но с физиономией, выражавшей что угодно, только не надежду и восторг страстно влюбленного. Ньюмен последовал за ним — он последовал бы головой вперед, если бы не своевременная поддержка Николаса — и, взяв его за руку, повел по каменным плитам совершенно темного коридора в заднюю кухню или погреб, погруженный в самый черный и непроглядный мрак, где они и остановились.

— Ну? — недовольным шепотом спросил Николас. — Конечно, это еще не все, а?

— Нет, нет, — ответил Ньюмен, — сейчас они будут Здесь. Все в порядке.

— Рад это слышать, — сказал Николас. — Признаюсь, я бы этого не подумал.

Больше они не обменялись ни одним словом, и Николас стоял, прислушиваясь к громкому сопению Ньюмена Ногса, и представлял себе, что нос у него должен светиться, как раскаленный уголь, в окутывавшей их темноте. Вдруг ухо его уловило осторожные шаги, и сейчас же вслед за этим женский голос осведомился, здесь ли джентльмен.

— Да, — отозвался Николас, поворачиваясь к тому углу, откуда доносился голос. — Кто там?

— Это только я, сэр, — ответил голос. — Теперь пожалуйста, сударыня.

Слабый свет проник в подвал, и вскоре появилась служанка со свечой и вслед за ней ее молодая госпожа, которая казалась подавленной стыдом и смущением.

При виде молодой леди Николас вздрогнул и изменился в лице; сердце его неистово забилося, и он стоял как пригвожденный к месту. В эту минуту и почти одновременно с появлением леди и свечи послышался громкий и яростный стук в дверь, заставивший Ньюмена Ногса прыгнуть с бочки, на которую он уселся верхом, и воскликнуть отрывисто, причем его физиономия стала землистосерой.

— Бобстер, клянусь богом!

Молодая леди взвизгнула, служанка начала ломать руки, Николас в остоленности переводил взгляд с одной на другую, а Ньюмен метался, засовывая руки во все свои карманы по очереди и в полной растерянности выворачивая их наизнанку. Все это продолжалось не больше мгновения, но в течение этого одного мгновения смятение было невообразимое.

— Ради бога, уходите! Мы поступили нехорошо, мы Это заслужили! — воскликнула

молодая леди. — Уходите, иначе я погибла навеки!

— Выслушайте одно только слово! — вскричал Николас. — Только одно. Я не буду вас удерживать. Выслушайте одно только слово в объяснение этого недоразумения.

Но Николас мог с таким же успехом бросать слова на ветер, потому что молодая леди с безумным видом бросилась вверх по лестнице. Он хотел последовать за ней, но Ньюмен, схватив его за шиворот, потащил к коридору, которым они вошли.

— Отпустите меня, Ньюмен, черт возьми! — крикнул Николас. — Я должен поговорить с ней... Должен! Без этого я не уйду отсюда.

— Репутация... доброе имя... насилие... подумайте, — бормотал Ньюмен, обхватывая его обеими руками и увлекая прочь. — Пусть они откроют двери. Мы уйдем так же, как и пришли, как только захлопнется дверь. Идите! Сюда! Здесь!

Побежденный доводами Ньюмена, слезами и просьбами служанки и оглушительным стуком наверху, который не стихал, Николас дал увлечь себя, и как раз в тот момент, когда мистер Бобстер вошел с улицы, он и Ногс вышли из подвала.

Быстро пробежали они несколько улиц, не останавливаясь и не разговаривая. Наконец они приостановились и повернулись друг к другу с растерянными и печальными лицами.

— Не беда! — сказал Ньюмен, ловя воздух ртом. — Не падайте духом. Все в порядке. Посчастливится в следующий раз. Невозможно было предотвратить. Я свое дело сделал.

— Превосходно! — согласился Николас, взяв его за руку. — Превосходно сделали, как преданный и ревностный друг. Но только, — помните, я не огорчен, Ньюмен, я признательность моя ничуть не меньше, — только это не та леди.

— Как? — вскричал Ньюмен Ногс. — Служанка меня обманула?

— Ньюмен, Ньюмен! — сказал Николас, положив руку ему на плечо. — И служанка не та.

У Ньюмена отвисла челюсть, и он впился в Николаса здоровым глазом, застывшим и неподвижным.

— Не огорчайтесь, — сказал Николас. — Это не имеет никакого значения. Вы видите, меня это не волнует. Вы пошли не за той служанкой, вот и все!

Действительно, это было все. Либо Ньюмен Ногс, склонив голову набок, так долго выглядывал из-за насоса, что зрение его от этого пострадало, либо, улучив свободную минутку, он проглотил несколько капель напитка более крепкого, чем поставляемый насосом, — как бы там ни было, но он ошибся. И Николас отправился домой размышлять об этом и мечтать о прелести неизвестной молодой леди, такой же недоступной сейчас, как я раньше.

Глава XLI,

содержащая несколько романтических эпизодов, имеющих отношение к миссис Никльби и к соседу — джентльмену в коротких штанах

Начиная с последнего памятного разговора с сыном миссис Никльби стала особенно принаряжаться, постепенно добавляя к тому скромному наряду, приличествующему матроне, какой был повседневным ее костюмом, всевозможные украшения, которые, быть может, сами по себе и были несущественны, но в совокупности своей и в связи с ее сделанным ею открытием приобретали немалое значение. Даже ее черное платье имело какой-то траурно-жизнерадостный вид благодаря той веселой манере, с какой она его носила. А так как оно утратило прежнюю свежесть, то искусная рука разместила там и сям девические украшения, очень мало или ровно ничего не стоившие, почему они и спаслись при всеобщем крушении; им было разрешено мирно почивать в разных уголках старого комода и шкапулок, куда редко проникал дневной свет, а теперь траурные одежды благодаря им приобрели совсем иной вид. Прежде эти одежды выражали почтение к умершему и скорбь о нем, а

теперь свидетельствовали о самых убийственных и смертоносных замыслах, направленных против живых.

Может быть, к ним приводило миссис Никльби высокое сознание долга и побуждения бесспорно превосходные. Может быть, она начала к тому времени постигать греховность длительного пребывания в бесплодной печали и необходимость служить примером изящества и благопристойности для своей расцветающей дочери. Если оставить в стороне соображения, продиктованные долгом и чувством ответственности, перемена могла быть вызвана чистейшим и бескорыстнейшим чувством милосердия. Джентльмен из соседнего дома был унижен Николасом, грубо заклеямен как безмозглый идиот, и за эти нападки на его здравый смысл несла в какой-то мере ответственность миссис Никльби. Может быть, она почувствовала, что добрая христианка должна была опровергнуть мнение, будто обиженный джентльмен выжил из ума или от рождения был идиотом. А какие лучшие средства могла она применить для достижения столь добродетельной и похвальной цели, как не доказать всем, что его страсть была в высшей степени здоровой и являлась как раз тем самым результатом, какой могли предугадать благоразумные и мыслящие люди и который вытекал из того, что она по неосторожности выставляла напоказ свою зрелую красоту, так сказать, перед самыми глазами пылкого и слишком чувствительного человека.

— Ах! — сказала миссис Никльби, серьезно покачивая головой. — Если бы Николас знал, как страдал его бедный папа, когда я делала вид, что ненавижу его, прежде чем мы обручились, он бы проявил больше понимания! Разве забуду я когда-нибудь то утро, когда он предложил понести мой зонтик, и я посмотрела на него с презрением? Или тот вечер, когда я бросила на него хмурый взгляд? Счастье, что он не уехал в дальние страны. Я чуть было не довела его до этого.

Не лучше ли было бы покойному, если бы он уехал в дальние страны в дни своей холостой жизни — на этом вопросе его вдова не остановилась, так как в эту минуту раздумья в комнату вошла Кэт с рабочей шкатулкой, а значительно менее серьезная помеха или даже отсутствие всякой помехи могли в любое время направить мысли миссис Никльби по новому руслу.

— Кэт, дорогая моя, — сказала миссис Никльби, — не знаю почему это, но такой чудный теплый летний день, как сегодня, когда птицы поют со всех сторон, всегда напоминает о жареном поросенке с шалфейным и луковым соусом и подливкой.

— Странная ассоциация идей, не правда ли, мама?

— Честное слово, не знаю, дорогая моя, — отозвалась миссис Никльби. Жареный поросенок... Позволька... Через пять недель после того, как тебя крестили, у нас был жареный... нет, это не мог быть поросенок, потому что, я припоминаю, разрезать пришлось две штуки, а твоему бедному папе и мне не пришлось бы в голову заказать на обед двух поросят... должно быть, это были куропатки. Жареный поросенок... Теперь я припоминаю — вряд ли у нас вообще мог быть когда-нибудь поросенок, потому что твой папа видеть их не мог в лавках и, бывало, говорил, что они ему напоминают крохотных младенцев, только у поросят цвет лица гораздо лучше, а младенцы приводили его в ужас, потому что он никак не мог себе позволить прибавление семейства, и питал к ним вполне естественное отвращение. Как странно, почему мне это пришло в голову? Помню, мы однажды пообедали у миссис Бивен на той широкой улице за углом, рядом с каретным мастером, где пьяница провалился в отдушину погреба в пустом доме почти за неделю до конца квартала, и его нашли только тогда, когда въехал новый жилец... И там мы ели жареного поросенка. Я думаю, вот это-то и напоминает мне о нем, тем более что там в комнате была маленькая птичка, которая все время пела за обедом... Впрочем, птичка не маленькая, потому что это был попугай, и он, собственно, не пел, а разговаривал и ужасно ругался, но я думаю, что должно быть так. Да, я уверена, что так. А как ты думаешь, дорогая моя?

— Я бы сказала, что никаких сомнений быть не может, мама, — с веселой улыбкой отозвалась Кэт.

— Но ты действительно так думаешь, Кэт? — осведомилась миссис Никльби с большой

серьезностью, как будто речь шла о чрезвычайно важном и животрепещущем предмете. — Если не думаешь, то ты так сразу и скажи, потому что следует избегать ошибок в вопросах такого рода, очень любопытных, которые стоит разрешить, если уж начнешь о них думать.

— Кэт, смеясь, ответила, что она в этом совершенно убеждена, а так как ее матушка все еще как будто колебалась, не является ли абсолютной необходимостью продолжить этот разговор, Кэт предложила пойти с рукоделием в беседку и насладиться чудесным днем. Миссис Никльби охотно согласилась, и они без дальнейших рассуждений отправились в беседку.

— Право же, я должна сказать, что не бывало еще на свете такого доброго создания, как Смайк, — заметила миссис Никльби, усаживаясь на свое место. Честное слово, труды, какие он прилагает, чтобы содержать в порядке эту маленькую беседку и разводить прелестные цветы вокруг, превосходят все, что я могла бы... но мне бы хотелось, чтобы он не сгребал весь песок к твоей стороне, Кэт, дорогая моя, а мне вставлял одну землю.

— Милая мама, — быстро отозвалась Кэт, — пересядьте сюда... пожалуйста... доставьте мне удовольствие, мама.

— Нет, нет, дорогая моя. Я останусь на своем месте, — сказала миссис Никльби. — Ах, что это?

Кэт вопросительно посмотрела на нее.

— Да ведь он достал где-то два-три черенка тех цветов, о которых я на днях сказала, что очень люблю их, и спросила, любишь ли ты, — нет, это ты сказала на днях, что очень их любишь и спросила меня, люблю ли я, — это одно и то же. Честное слово, я нахожу, что это очень любезно и внимательно с его стороны. Я не вижу, — добавила миссис Никльби, зорко осматриваясь вокруг, этих цветов с моей стороны, но, должно быть, они лучше растут около песка. Можешь быть уверена, что это так, Кэт, и вот почему они посажены около тебя, а песком он посыпал там, потому что это солнечная сторона. Честное слово, это очень умно! Мне самой никогда не пришло бы это в голову!

— Мама! — сказала Кэт, так низко наклоняясь над рукоделием, что лица ее почти не было видно. — До вашего замужества...

— Ах, боже мой, Кэт! — перебила миссис Никльби. — Объясни мне, ради господ бога, почему ты перескакиваешь к тому, что было до моего замужества, когда я говорю о его заботливости и внимании ко мне? Ты как будто ничуть не интересуешься садом.

— О мама, вы знаете, что интересуюсь! — сказала Кэт, снова подняв голову.

— В таком случае почему же ты никогда его не похвалишь за то, что он содержит сад в таком порядке? — сказала миссис Никльби. — Какая ты странная, Кэт?

— Я хвалю, мама, — кротко отозвалась Кэт. — Бедняга!

— Редко приходится слышать это от тебя, дорогая моя, — возразила миссис Никльби, — вот все, что я могу сказать.

Славная леди достаточно времени уделила этому предмету, а посему тотчас попала в маленькую ловушку, расставленную ее дочерью, — если это была ловушка, — и осведомилась, о чем та начала говорить.

— О чем, мама? — спросила Кэт, которая, по-видимому, совершенно забыла свой вопрос, уводящий в сторону.

— Ах, Кэт, дорогая моя, — сказала ее мать. — Ты спишь или поглупела! О том, что было до моего замужества.

— Ах, да! — подхватила Кэт. — Помню. Я хотела спросить, мама, много ли у вас было поклонников до замужества.

— Поклонников, дорогая моя! — воскликнула миссис Никльби с удивительно самодовольной улыбкой. — В общем, Кэт, у меня их было не меньше дюжины.

— Мама! — запротестовала Кэт.

— Да, не меньше, дорогая моя, — сказала миссис Никльби, — не считая твоего бедного папы и того молодого джентльмена, который, бывало, ходил в тот же танцевальный класс и непременно хотел посылать нам домой золотые часы и браслеты в бумаге с золотым обрезом

(их всегда отсылали обратно) и который потом имел несчастье отправиться к берегам Ботани-Бей⁸³ на кадетском судне, то есть я хочу сказать — на каторжном, и скрылся в зарослях кустарника, и убивал овец (не знаю, как они туда попали), и его собирались повесить, только он сам случайно удавился, и правительство его помиловало. Затем был еще молодой Лакин, — сказала миссис Никльби, начав с большого пальца левой руки и отсчитывая имена по пальцам, — Могли, Типсларк, Кеббери, Смифсер...

Добравшись до мизинца, миссис Никльби хотела перенести счет на другую руку, как вдруг громкое «гм!», прозвучавшее как будто у самого основания садовой стены, заставило и ее и дочь сильно вздрогнуть.

— Мама, что это? — тихо спросила Кэт.

— Честное слово, дорогая моя, — отозвалась миссис Никльби, испугавшись не на шутку, — если это не джентльмен из соседнего дома, я не знаю, что бы это могло быть...

— Э-хм! — раздался тот же голос, и это было не обычное откашливание, но нечто вроде рева, который разбудил эхо в округе и звучал так долго, что несомненно заставил почернеть невидимого ревуна.

— Теперь я понимаю, — сказала миссис Никльби, положив руку на руку Кэт. — Не пугайся, милочка, это относится не к тебе, у него и в помыслах нет кого-нибудь пугать... Будем справедливы ко всем, Кэт, я считаю, что это необходимо.

С этими словами миссис Никльби закивала головой, несколько раз погладила руку дочери и приняла такой вид, как будто могла бы сказать нечто весьма важное, если бы захотела, но ей, слава богу, ведомо самоотречение и она ничего не скажет.

— О чем вы говорите, мама? — с нескрываемым изумлением спросила Кэт.

— Не волнуйся, дорогая моя, — ответила миссис Никльби, поглядывая на садовую стену, — ты видишь, я не волнуюсь, а уж если кому-нибудь простительно было бы волноваться, то, разумеется, принимая во внимание все обстоятельства, это было бы простительно мне, но я не волнуюсь, Кэт... ничуть...

— Этим звуком как будто хотели привлечь наше внимание, мама, — сказала Кэт.

— Да, хотели привлечь наше внимание, дорогая моя, — ответила миссис Никльби, выпрямившись и еще ласковее поглаживая руку дочери, — во всяком случае, привлечь внимание одной из нас. Гм! У тебя решительно нет оснований беспокоиться, дорогая моя.

Кэт была в полном недоумении и, видимо, собиралась обратиться за новыми объяснениями, когда послышались с той же стороны крик и шарканье, словно какой-то пожилой джентльмен весьма энергически кашлял и елозил ногами по рыхлому песку. А когда эти звуки утихли, большой огурец со скоростью ракеты взлетел к небу, откуда опустился, вращаясь, и упал к ногам миссис Никльби.

За этим поразительным феноменом последовал второй, точь-в-точь такой же, затем взмыла в воздух прекрасная тыква грандиозных размеров и плюхнулась вниз; затем взлетели одновременно несколько огурцов; наконец небо потемнело от града луковиц, редисок и других мелких овощей, которые падали, раскатываясь, подпрыгивая и рассыпаясь во все стороны.

Когда Кэт в тревоге встала и схватила за руку мать, чтобы бежать с ней в дом, она почувствовала, что мать не только этого не хочет, но даже удерживает ее; проследив за взглядом миссис Никльби, она была уstraшена появлением старой черной бархатной шапки, которая медленно, словно ее владелец взбирался по приставной лестнице, поднялась над стеной, отделявшей их сад от сада при соседнем коттедже (стоявшем, как и их коттедж, особняком), а за нею последовала очень большая голова и очень старое лицо с поразительными серыми глазами — глаза были дикие, широко раскрытые и вращались в орбитах, томно подмигивая, что отвратительно было наблюдать.

— Мама! — закричала Кэт, придя на сей раз в ужас. — Почему вы стоите, почему медлите? Мама, прошу вас, бежим в дом!

— Кэт, дорогая моя, — возразила мать, все еще упираясь, — можно ли так глупить? Мне стыдно за тебя. Как ты думаешь, можешь ты прожить жизнь, если будешь такой трусихой? Что вам угодно, сэр? — сказала миссис Никльби, с притворным неудовольствием обращаясь к непрошенному гостю. — Как вы смеете заглядывать в этот сад?

— Королева души моей, — ответил незнакомец, складывая руки, — отпейте из этого кубка!

— Глупости, сэр! — сказала миссис Никльби. — Кэт, милочка, пожалуйста, успокойся.

— Вы не хотите отпить из кубка? — настаивал незнакомец, умоляюще склонив голову к плечу и прижав правую руку к груди. — Отпейте из этого кубка!

— Никогда я не соглашусь сделать что-нибудь в этом роде, сэр, — сказала миссис Никльби. — Пожалуйста, уйдите.

— Почему? — спросил старый джентльмен, поднимаясь еще на одну перекладину и облокачиваясь на стену с такой непринужденностью, словно выглядывал из окна. — Почему красота всегда упряма, даже если восхищение так благородно и почтительно, как мое? — Тут он улыбнулся, послал воздушный поцелуй и отвесил несколько низких поклонов. — Или виной тому пчелы, которые, когда проходит пора медосбора и их якобы убивают серой, на самом деле улетают в страну варваров и убаюкивают пленных мавров своими снотворными песнями? Или... — прибавил он, понизив голос почти до шепота, — или это находится в связи с тем, что не так давно видели, как статуя с Чаринг-Кросса прогуливалась на Бирже в полночь рука об руку с насосом из Олдгет в костюме для верховой езды?

— Мама, — прошептала Кэт, — вы слышите?

— Тише, дорогая моя, — так же шепотом ответила миссис Никльби, — он очень учтив, и я думаю, что это цитата из поэтов. Пожалуйста, не приставай ко мне, ты мне исщиплешь руку до синяков... Уйдите, сэр!

— Совсем уйти? — сказал джентльмен, бросая томный взгляд. — О! Уйти совсем?

— Да, — подтвердила миссис Никльби, — разумеется. Вам здесь нечего делать. Это частное владение, сэр. Вам бы следовало это знать.

— Я знаю, — сказал старый джентльмен, приложив палец к носу с фамильярностью, в высшей степени предосудительной, — я знаю, что это священное и волшебное место, где божественнейшие чары (тут он снова послал воздушный поцелуй и поклонился) источают сладость на соседские сады и вызывают преждевременное произрастание плодов и овощей. Этот факт мне известен. Но разрешите ли вы мне, прелестнейшее создание, задать вам один вопрос в отсутствие планеты Венеры, которая пошла по делу в штаб Конной гвардии, а в противном случае, ревнуя к превосходству ваших чар, помешала бы нам?

— Кэт, — промолвила миссис Никльби, повернувшись к дочери, — право же, мне очень неловко. Я просто не знаю, что сказать этому джентльмену. Нужно, знаешь ли, быть вежливой.

— Милая мама, — отозвалась Кэт, — не говорите ему ни слова. Лучше убежим поскорее и запремся в доме, пока не вернется Николас.

Миссис Никльби приняла величественный, чтобы не сказать высокомерный, вид, услышав это смиренное предложение, и, повернувшись к старому джентльмену, который с напряженным вниманием следил за ними, пока они перешептывались, сказала:

— Если вы будете держать себя, сэр, как подобает джентльмену, каким я склонна вас считать, судя по вашим речам... и... наружности (копия твоего дедушки, Кэт, дорогая моя, в лучшие его дни), и зададите ваш вопрос, изъясняясь простыми словами, я отвечу на него.

Если превосходный папаша миссис Никльби имел в лучшие свои дни сходство с соседом, выглядывавшим сейчас из-за стены, то, должно быть, во цвете лет он был дряхлым джентльменом весьма странного вида, чтобы не сказать больше. Быть может, эта мысль мелькнула у Кэт, ибо она рискнула посмотреть с некоторым вниманием на вылитый его портрет, который снял свою черную бархатную шапку и, обнаружив совершенно лысую голову, отвесил длинную серию поклонов, сопровождая каждый новым воздушным поцелуем. Явно истощив все силы в этих утомительных упражнениях, он снова накрыл

голову шапкой, очень старательно натянув ее на кончики ушей, и, приняв прежнюю позу, сказал:

— Вопрос заключается в том...

Тут он оборвал фразу, чтобы осмотреться по сторож нам и окончательно удостовериться, что никто не подслушивает. Убедившись, что никого нет, он несколько раз постучал себя по носу, сопровождая этот жест лукавым взглядом, словно хваля себя за осторожность, и, вытянув шею, сказал громким шепотом:

— Вы принцесса?

— Вы смеетесь надо мной, сэр? — отозвалась миссис Никльби, делая вид, будто отступает к дому.

— Нет, но вы принцесса? — повторил старый джентльмен.

— Вы знаете, что нет, сэр, — ответила миссис Никльби.

— В таком случае, не в родстве ли вы с архиепископом Кентерберийским? — с величайшим беспокойством осведомился старый джентльмен. — Или с папой римским? Или со спикером палаты общин? Простите меня, если я ошибаюсь, но мне говорили, что вы племянница Уполномоченных по замощению улиц и невестка лорд-мэра и Суда Общих Тяжб, чем и объясняется ваше родство со всеми тремя.

— Тот, кто распустил такие слухи, сэр, — с жаром возразила миссис Никльби, — позволил себе величайшую вольность, которой ни секунды не потерпел бы мой сын Николас, если бы он о ней знал. Вот выдумки! — приосанившись, сказала миссис Никльби. — Племянница Уполномоченных по замощению улиц!

— Прошу вас, мама, уйдем! — прошептала Кэт.

— «Прошу вас, мама!» Глупости, Кэт! — сердито отозвалась миссис Никльби. — Вот всегда так! Даже если бы про меня сказали, что я племянница писклявого снегиря, тебе было бы безразлично. Нет, я не вижу сочувствия, захныкала миссис Никльби, — да и не жду его.

— Слезы! — вскричал старый джентльмен, столь энергически подпрыгнув, что опустился на две-три перекладыны и оцарапал подбородок о стену. — Ловите прозрачные шарики! Собирайте их в бутылку! Закупорьте их плотно! Припечатайте сверху сургучом! Положите печать Купидона! Наклейте этикетку «Высшее качество»! Спрячьте в четырнадцатый ящик с железным засовом сверху, чтобы отвести громовой удар!

Отдавая такие приказы, как будто дюжина слуг ревностно занималась их исполнением, он вывернул наизнанку свою бархатную шапку, с великим достоинством надел ее так, чтобы она закрыла правый его глаз и три четверти носа, и, подбоченившись, свирепо взирал на воробья, пока эта птица не улетела.

Затем он с весьма удовлетворенным видом спрятал в карман шапку и с почтительной миной обратился к миссис Никльби.

— Прекрасная госпожа, — таковы были его слова, — если я допустил какую-нибудь ошибку касательно вашей семьи или родни, я смиренно прошу простить меня. Если я предположил, что вы связаны с иностранными властями или национальными департаментами, то лишь потому, что — простите мне эти слова — такими манерами, осанкой и достоинством обладаете только вы (может быть, единственное исключение — та трагическая муза, которая импровизирует на шарманке перед Ост-Индской компанией). Я, сударыня, как видите, не юноша, и, хотя такие создания, как вы, никогда не могут состариться, я смею надеяться, что мы созданы друг для друга.

— Ах, право же, Кэт, моя милая! — сказала миссис Никльби слабым голосом и глядя в сторону.

— У меня есть поместья, сударыня! — сказал старый джентльмен, небрежно помахивая правой рукой, как будто он очень легкомысленно относится к таким вещам. И быстро продолжал: — У меня есть драгоценные камни, маяки, заповедные пруды, собственные китобойни в Северном море и много устричных отмелей, приносящих большие барыши, в Тихом океане. Если вы будете столь любезны, пойдете на Королевскую биржу и снимете треуголку с головы самого толстого швейцара, вы найдете в подкладке тульи мою визитную

карточку, завернутую в синюю бумагу. Можно увидеть также и мою трость, если обратиться к капеллану палаты общин, которому строжайше запрещено показывать ее за плату. Я окружен врагами, сударыня, — он посмотрел в сторону своего дома и заговорил очень тихо, — которые при каждом удобном случае нападают на меня и хотят завладеть моим имуществом. Если вы осчастливите меня вашей рукой и сердцем, вы можете обратиться к лордудканцлеру или в случае необходимости вызвать военные силы — достаточно будет послать мою зубочистку главнокомандующему — и таким образом очистить от них дом перед совершением обряда. А затем — любовь, блаженство и восторг! Восторг, любовь и блаженство! Будьте моей, будьте моей!

Повторив эти последние слова с величайшим восхищением и энтузиазмом, старый джентльмен снова надел свою черную бархатную шапку и сказал, устремив взгляд в небо, нечто не совсем вразумительное, имеющее отношение к воздушному шару, которого он ждет и который слегка запоздал.

— Будьте моей, будьте моей! — снова завопил старый джентльмен.

— Кэт, дорогая моя, — сказала миссис Никльби, — у меня почти нет сил говорить, но для счастья всех заинтересованных сторон необходимо, чтобы с этим делом было покончено раз навсегда.

— Право же, мама, нет никакой необходимости, чтобы вы хоть слово проронили! — убеждала Кэт.

— Будь добра, дорогая моя, разреши мне судить об этом самой, — сказала миссис Никльби.

— Будьте моей, будьте моей! — возопил старый джентльмен.

— Вряд ли можно ожидать, сэр, — произнесла миссис Никльби, скромно потупившись, — чтобы я сказала незнакомому человеку, польщена ли я и благодарна ли за такое предложение, или нет. Несомненно, оно сделано при весьма странных обстоятельствах; однако в то же время постольку-поскольку и до известных пределов (обычный оборот речи миссис Никльби) оно должно быть лестно и приятно.

— Будьте моей, будьте моей! — закричал старый джентльмен. — Гог и Магог, Гог и Магог! Будьте моей, будьте моей!

— Достаточно будет мне сказать, сэр, — продолжала миссис Никльби с полной серьезностью, — и, я уверена, вы поймете необходимость принять этот ответ и удалиться, — что я решила остаться вдовой и посвятить себя моим детям. Быть может, вам не пришло бы в голову, что я мать двух детей, действительно, многие в этом сомневались и говорили, что ни за что на свеге не могли бы этому поверить, — но это правда, и оба они взрослые. Мы будем очень рады принимать вас как соседа, — очень рады, в восторге, уверяю вас, но в любой другой роли это совершенно невозможно, совершенно! Что же касается того, что я еще достаточно молода, чтобы снова выйти замуж, то, может быть, это так, а может быть, и не так, но я ни на секунду не могу об этом подумать, ни под каким видом. Я сказала, что не выйду, — и не выйду! Очень мучительно отклонять предложения, и я бы предпочла, чтобы их совсем не делали. Тем не менее я давно уже решила дать такой ответ, и так я буду отвечать всегда.

Эти замечания были обращены отчасти к старому джентльмену, отчасти к Кэт, а отчасти к себе самой. К концу их поклонник стал проявлять к ним весьма непочтительное невнимание, и едва миссис Никльби умолкла, как, к великому ужасу и этой леди и ее дочери, он сорвал с себя сюртук и, вспрыгнув на стену, принял позу, выставившую напоказ в наивыгоднейшем свете короткие штаны и серые шерстяные чулки, а в заключение застыл на одной ноге и с особенным рвением испустил свой излюбленный рев.

Пока он еще тянул последнюю ноту, украшая ее длинной фиоритурой, показалась грязная рука, которая украдкой и быстро скользнула по верху стены, как бы преследуя муху, и затем очень ловко ухватила одну из лодыжек старого джентльмена. Когда это было сделано, появилась вторая рука и ухватила другую лодыжку.

Попав в такое затруднительное положение, старый джентльмен раза два неловко

приподнял ноги, словно они были очень неуклюжей и несовершенной частью какого-то механизма, а затем, бросив взгляд на свой участок за стеной, громко расхохотался.

— Это вы? — осведомился старый джентльмен.

— Да, это я. — ответил грубый голос.

— Как поживает император Татарии? — спросил старый джентльмен.

— О, так же, как всегда, — последовал ответ. — Не лучше и не хуже.

— А молодой принц китайский, — с большим интересом продолжал старый джентльмен, — примирился ли он со своим тестем, великим продавцом картошки?

— Нет, — ответил ворчливый голос, — и мало того; он говорит, что никогда не примирится.

— В таком случае, — заметил старый джентльмен-пожалуй, лучше мне слезть.

— Да, — сказал человек по ту сторону стены, — я думаю, так будет лучше.

Когда одна рука осторожно разжалась, старый джентльмен принял сидячее положение и оглянулся, чтобы улыбнуться и поклониться миссис Никльби, после чего исчез довольно стремительно, как будто снизу его потянули за ноги.

Успокоенная его исчезновением, Кэт повернулась, чтобы заговорить со своей матушкой, как снова показались грязные руки и сейчас же вслед за ними грубоватая физиономия толстого человека, поднявшегося по приставной лестнице, которую только что занимал их странный сосед.

— Прошу прощения, леди, — сказало это новое лицо, ухмыльнувшись и притронувшись к шляпе, — не объяснился ли он в любви одной из вас?

— Да, — ответила Кэт.

— А! — сказал тот, вынув из шляпы носовой платок и вытирая лицо. — Он, знаете ли, всегда это делает. Никак его не удержишь, чтобы он не объяснялся в любви.

— Бедняга не в своем уме, разумеется? — спросила Кэт.

— Ну, конечно, — ответил тот, заглянув в свою шляпу, бросил в нее носовой платок и снова надел ее. — Это сразу видно.

— Давно это с ним? — спросила Кэт.

— Давненько.

— И нет никакой надежды? — участливо спросила Кэт.

— Ни малейшей, да так ему и надо! — ответил сторож. — Без ума он куда приятней. Он был самым жестоким, злым, черствым старым кремнем, какого только можно встретить.

— Неужели? — сказала Кэт.

— Ей-богу! — ответил сторож, столь энергически покачав головой, что ему пришлось сдвинуть брови, чтобы не слетела шляпа. — Никогда еще я не видывал такого негодяя, и мой помощник говорит то же самое. Разбил сердце своей бедной жены, дочерей выставил за дверь, сыновей выгнал на улицу, счастье, что он в конце концов рехнулся от злости, от жадности, от эгоизма, от обжорства и пьянства, иначе он бы многих свел с ума. Есть ли надежда у него, старого распутника? Не очень-то много на свете надежды, и готов прозакладывать крону, что та, какая есть, приберегается для более достойных, чем он.

После такого исповедания веры сторож снова покачал головой, как бы желая сказать, что пока свет стоит, иначе и быть не может. Хмуро притронувшись к шляпе, — не потому, что был в дурном расположении духа, но потому, что эта тема его расстроила, — он спустился и убрал лестницу.

Во время этого разговора миссис Никльби не спускала со сторожа сурового и пристального взгляда. Теперь она глубоко вздохнула и, поджав губы, покачала головой медленно и недоверчиво.

— Бедняга! — сказала Кэт.

— В самом деле, бедняга! — подхватила миссис Никльби. — Позор, что допускают подобные вещи. Позор!

— Что же можно поделать, мама? — грустно сказала Кэт. — Немоги человеческой природы...

— Природы! — повторила миссис Никльби. — Как? Неужели ты считаешь, что тот бедный джентльмен не в своем уме?

— Кто же может, увидев его, быть другого мнения, мама?

— Так вот что я тебе скажу, Кэт, — возразила миссис Никльби. — Он отнюдь не сумасшедший, и меня удивляет, как ты позволила себя одурачить. Тут какой-то заговор, составленный с целью завладеть его имуществом, — разве он сам этого не сказал? Может быть, он немножко чудаковат и неуравновешен — многие из нас таковы, — но сумасшедший?.. И притом выражаться так почтительно, таким поэтическим языком и делать предложение столь обдуманно, деликатно и умно — ведь не выбегает же он на улицу и не бросается на колени перед первой встречной девчонкой, как поступил бы сумасшедший! Нет, нет, Кэт, в его безумии слишком много благоразумия, можешь в этом не сомневаться, дорогая моя.

Глава XLII,

подтверждающая приятную истину, что лучшим друзьям приходится иногда расставаться

Мостовая Сноу-Хилла весь день поджаривалась и припекалась на солнце, и головы близнецов-сарацинов, охранявшие вход в гостиницу, для которой они служат и названием и вывеской, смотрели — или это только казалось усталым и с трудом волочившим ноги прохожим — более злобно, чем обычно, опаленные и обожженные зноем, когда в одной из самых маленьких столовых гостиницы, куда осязаемым облаком врываются через открытое окно испарения потных лошадей, был накрыт в примерном порядке стол для чаепития, защищенный с флангов вареным мясом, жарким, языком, пирогом с голубями, холодной птицей, большой кружкой эля и другими мелочами такого же рода, которые в наших вырождающихся городах и городишках рассматриваются скорее как принадлежность плотного завтрака, обеда для пассажиров почтовых карет или весьма основательной утренней закуски.

Мистер Джон Брауди, засунув руки в карманы, беспокойно бродил вокруг этих деликатесов, время от времени останавливаясь, чтобы отогнать мух от сахарницы носовым платком жены, или опустить чайную ложку в молочник и препроводить ее в рот, или отрезать краешек корки и кусочек мяса и проглотить их в два глотка, словно две пилюли. После каждого из таких заигрываний со съестными припасами он вынимал часы и заявлял с серьезностью, поистине патетической, что больше двух минут ему не выдержать.

— Тилли! — сказал Джон своей леди, которая полудремала, развалившись на диване.

— Что, Джон?

— «Что, Джон!» — нетерпеливо передразнил супруг. — Ты разве не голодна, девочка?

— Не очень, — сказала миссис Брауди.

— «Не очень!» — повторил Джон, возведя глаза к потолку. — Вы только послушайте — ие очень! А обедали мы в три часа, а на завтрак было какое-то пирожное, которое только раздражает, а не успокаивает человека. «Не очень!»

— К вам джентльмен, сэр, — сказал официант, заглянув в комнату.

— Ко мне что? — воскликнул Джон так, словно решил, что речь идет о письме или пакете.

— Джентльмен, сэр.

— Черт побери! — вскричал Джон. — Чего ради ты мне это сообщаем. Веди его сюда.

— Вы дома, сэр?

— Дома! — воскликнул Джон. — Хотел бы я быть дома! Я бы уже часа два как напился чаю. Да ведь я сказал тому, другому парню, чтобы он смотрел в оба у входной двери и предупредил его, как только он придет, что мы изнемогли от голода. Веди его сюда. Ага.

Твою руку, мистер Никльби. Это счастливейший день в моей жизни, сэр. Как поживаете? Здорово! Как я рад!

Забыв даже о голоде при этой дружеской встрече, Джон Брауди снова и снова пожимал руку Николасу, после каждого пожатия похлопывая его весьма энергически по ладони, чтобы сделать приветствие более теплым.

— Вот и она, — сказал Джон, заметив взгляд, брошенный Николасом в сторону его жены. — Вот и она, теперь мы из-за нее не поссоримся, а? Ей-богу, когда я подумаю о том... Но ты должен чего-нибудь поесть. Приступай к делу, приятель, приступай, и за блага, которые мы получаем...

Несомненно, молитва перед едой была должным образом закончена, но больше ничего не было слышно, потому что Джон уже заработал ножом и вилкой так, что его речь на время оборвалась.

— Я воспользуюсь обычной привилегией, мистер Брауди, — сказал Николас, придвигая стул для новобрачной.

— Пользуйся чем хочешь, — сказал Джон, — а когда воспользуешься, требуй еще.

Не потрудившись дать объяснение, Николас поцеловал зарумянившуюся миссис Брауди и повел ее к столу.

— Послушай, — сказал Джон, на секунду ошарашенный, — устраиваешься, как дома, так, что ли?

— Можете в этом не сомневаться, — отозвался Николас, — но с одним условием.

— А что это за условие? — спросил Джон.

— Вы пригласите меня крестным отцом, как только явится в нем необходимость.

— Вы слышите?! — воскликнул Джон, положив нож и вилку. — Крестным отцом! Ха-ха-ха! Тилди, ты слышишь — крестным отцом! Ни слова больше — лучше все равно не скажешь. Крестный отец! Ха-ха-ха!

Никогда еще не потешали людей почтенные старые шутки так, как распотешила эта шутка Джона Брауди. Он клохтал, ревел, задыхался от смеха, когда большие куски мяса застревали в горле, снова ревел, при этом он ве переставал есть, лицо у него покраснело, лоб почернел, он закашлялся, закричал, оправился, снова засмеялся сдавленным смехом, опять ему стало хуже, его колотили по спине, он топал ногами, испугал жену и в конце концов, совершенно ослабев, пришел в себя; слеза катилась у него из глаз, но он все еще слабым голосом восклицал: «Крестный отец, крестный отец, Тилли!» — и тон его свидетельствовал о том, что слова Николаса доставили ему величайшее наслаждение, которого не уменьшат никакие страдания.

— Помните вечер нашего первого чаепития? — спросил Николас.

— Да разве я его когда-нибудь забуду, приятель? — отозвался Джон Брауди.

— Отчаянный он был тогда парень, не правда ли, миссис Брауди? — сказал Николас. — Просто чудовище!

— Вот это вы бы могли сказать, если бы только послушали его, когда мы возвращались домой, — ответила новобрачная. — Никогда еще мне не бывало так страшно.

— Полно, полно, — с широкой улыбкой сказал Джон. — Ты должна лучше знать меня, Тилли.

— Я и знала, — отозвалась миссис Брауди. — Я почти что решила никогда больше с тобой не разговаривать.

— Почти! — повторил Джон, улыбаясь еще шире. — Она почти решила! А всю дорогу она ко мне ласкалась и ластилась, ласкалась и ластилась. «Чего ради ты позволила этому парню ухаживать за тобой?» — говорю я. «Я не позволяла, Джон», — говорит она и жмет мне руку. «Ты не позволяла?» — говорю я. «Нет», — говорит она и опять жмется ко мне.

— Боже мой, Джон! — перебила его хорошенькая жена, очень сильно покраснев. — Как можешь ты говорить такие глупости? Да мне бы это и во сне не приснилось!

— Не знаю, снилось это тебе или нет, хотя заметь — я думаю, что могло бы присниться, — возразил Джон, — но ты это делала. «Ты изменчивая, непостоянная вертушка,

моя девочка», — говорю я. «Нет, Джон, не изменчивая», — говорит она. «Нет, говорю, изменчивая, чертовски изменчивая! Не отпирайся после того, что было с тем парнем в доме школьного учителя», — говорю я. «Ах, он?» — как взвизгнет она. «Да, он!» — говорю я. «Ах, Джон, — говорит она, а сама подходит ближе и прижимается еще крепче, — да неужели это, по-твоему, возможно, чтобы я, когда со мной водит компанию такой мужчина, как ты, стала обращать внимание на этого жалкого хвастунишку?» Ха-ха-ха! Она так и сказала — хвастунишка. «Ладно! — говорю я. — А теперь назначай день, и делу конец». Ха-ха-ха!

Николас от души посмеялся над этим рассказом, который выставлял его самого в невыгодном свете; да к тому же, он не хотел, чтобы краснела миссис Брауди, чьи протесты потонули во взрывах смеха ее супруга.

Благодушие Николаса вскоре помогло ей успокоиться, и, отрицая обвинение, она так весело смеялась над ним, что Николас имел удовольствие убедиться в правдивости рассказа.

— Всего только второй раз, — сказал Николас, — мы сидим с вами вместе за столом, а вижу-то я вас в третий раз, но, право, мне кажется, что я среди друзей.

— Верно! — заметил йоркширец. — И я то же самое скажу.

— И я, — добавила его молодая жена.

— Заметьте, у меня есть все основания для такого чувства, — сказал Николас, — потому что, если бы не ваша сердечная доброта, мой славный друг, на которую у меня не было ни права, ни повода рассчитывать, я не знаю, что случилось бы со мной и в каком тяжелом положении мог бы я очутиться.

— Поговорим о чем-нибудь другом, — проворчал Джон, — а об этом не стоит.

— В таком случае песня будет новая, но на старый мотив, — улыбаясь, сказал Николас. — Я писал вам в письме, как я благодарен и как восхищаюсь вашим сочувствием к бедному мальчику, которого вы вызволили, хотя сами рисковали очутиться в неприятном и затруднительном положении, но мне никогда не удастся рассказать, как признательны вам он, я и те, кого вы не знаете, за то, что вы над ним сжалились.

— Ого! — сказал Джон Брауди, придвигая стул. — А мне никогда не удастся рассказать, как были бы признательны иные люди, нам с вами известные, если бы они знали, что я над ним сжалился.

— Ах! — воскликнула миссис Брауди. — В каком я была состоянии в тот вечер!

— Им не пришло в голову, что вы могли принимать участие в его побеге? — спросил Николас Джона Брауди.

— Нисколько, — ответил йоркширец, растянув рот до ушей. — Я нежился в постели школьного учителя еще долго после того, как стемнело, и никто даже не подходил к двери. «Ну, — думаю я, — теперь он далеко ушел и если еще не добрался до дому, значит никогда ему там не бывать; стало быть, можете теперь приходить, когда угодно, мы готовы». Это, понимаете ли, школьный учитель мог прийти.

— Понимаю, — сказал Николас.

— Тут он и пришел, — продолжал Джон. — Я услышал, что дверь захлопнулась внизу и он поднимается в темноте. «Не торопитесь, — думаю я, — идите потихоньку, сэр, не к спеху». Он подходит к двери, поворачивает ключ — ключ поворачивается, а замка-то нет! — и кричит: «Эй, ты, там!» — «Да, — думаю я, можете еще покричать, никого не разбудите, сэр». — «Эй! — кричит он и вдруг останавливается. — Ты бы лучше меня не раздражал, — говорит школьный учитель, помолчав. — Я тебе все кости переломаяю, Смайк», — говорит он, опять помолчав. Потом вдруг кричит, чтобы принесли свечу, а когда принесли свечу — боже ты мой, какой поднялся переполох! «Что случилось?» — спрашиваю я. «Он удрал! — кричит он, взбесившись от злости. — Вы ничего не слышали?» — «Слышал, — говорю я, — слышал, что не так давно хлопнула парадная дверь. Слышал, как кто-то побежал вон туда!» И указываю в противоположную сторону. Каково? «На помощь!» — кричит он. «Я вам помогу», — говорю я. И пустились мы с ним — не в ту сторону! Хо-хо-хо!

— И далеко вы ходили? — спросил Николас.

— Далеко! — ответил Джон. — Через четверть часа он у меня с ног валился. Стоило

посмотреть, как старый школьный учитель, без шапки, бежит по колено в грязи и в воде, перелезает через изгороди, скатывается в канавы и орет, как сумасшедший, своим единственным глазом высматривая мальчишку. Полы сюртука развеваются, и весь он забрызган грязью — и лицо и все! Я думал, что упаду и помру со смеху!

При одном этом воспоминании Джон захохотал так весело, что заразил обоих слушателей, и все трое разразились смехом и все хохотали и хохотали, пока не выбились из сил.

— Нехороший он человек, — сказал Джон, вытирая глаза, — очень нехороший человек школьный учитель.

— Я его видеть не могу, Джон, — сказала его жена.

— Полно, — возразил Джон, — нечего сказать, хорошо это с твоей стороны! Если бы не ты, мы бы ничего о нем и не знали. Ты первая с ним познакомилась. — Я не могла не знаясь с Фанни Сквирс, Джон, сказала его жена, — ведь тебе известно, что она моя старинная подруга.

— Да я это самое и говорю, девочка, — ответил Джон. — Лучше жить по-соседски и поддерживать старое знакомство. И еще я говорю — не ссорься, если можно этого избежать. Вы тоже так думаете, мистер Никльби?

— Разумеется, — отозвался Николас. — И вы были верны этому правилу, когда я встретил вас верхом на лошади после того памятного вечера.

— Правильно, — подтвердил Джон. — Что сказал, за то держусь.

— Так и следует поступать мужчине, — сказал Николае, — хотя в Лондоне и говорят: «Йоркшир нас околпачит»... Вы написали в вашей записке, что мисс Сквирс остановилась с вами.

— Да, — сказал Дают, — она подружка Тилли — и пресмешная подружка. Думаю я, не скоро ей быть новобрачной!

— Стыдись, Джон! — сказала миссис Брауди, которая, впрочем, живо отозвалась на шутку, потому что сама была новобрачной.

— Счастлив будет ее жених, — сказал Джон, у которого глаза засверкали при этой мысли. — Что уж говорить, ему повезет!

— Видите ли, мистер Никльби, — сказала его жена, — она здесь, вот потому-то Джон и написал вам и назначил сегодняшний вечер: мы решили, что вам неприятно будет встретиться с ней после всего происшедшего...

— Бесспорно, — перебил Николас. — Вы были совершенно правы.

— В особенности, — с очень лукавым видом продолжала миссис Брауди, после всего, что нам известно о прошлых любовных делах.

— О да, известно! — покачивая головой, сказал Николас. — Подозреваю, что вы тогда вели себя не очень-то по-дружески.

— Верно! — сказал Джон Брауди, продевая большущий указательный палец в один из изящных локончиков жены и явно гордясь ею. — Она всегда была игрива и проказлива, как...

— Как кто? — подхватила жена.

— Как женщина! — ответил Джон. — Ей-богу, никто не сравнится с ней по этой части.

— Мы хотели поговорить о мисс Сквирс, — сказал Николас с целью прекратить супружеские шуточки, начавшиеся между мистером и миссис Брауди, каковые делали положение третьего лица до известной степени затруднительным, так как оно чувствовало себя лишним.

— Джон, перестань, — сказала миссис Брауди. — Сегодняшний вечер Джон назначил потому, что она решила войти пить чай к своему отцу. А чтобы все было в порядке и вы провели вечер наедине с нами, Джон сговорился зайти туда и отвести ее домой.

— Это было очень умно придумано, — отозвался Николас, — хотя я сожалею, что пришлось столько хлопотать из-за меня.

— Ну, какие там хлопоты! — возразила миссис Брауди. — Ведь мы так хотели вас

повидать — и Джон и я. Для нас это такое удовольствие! Знаете ли, мистер Никльби, — продолжала миссис Брауди с самой лукавой улыбкой, — я серьезно думаю, что Фанни Сквирс была очень равнодушна к вам.

— Я ей чрезвычайно признателен, — сказал Николас, — но, честное слово, я никогда не стремился произвести впечатление на ее девичье сердце.

— Ах, что это вы говорите! — захихикала миссис Брауди. — А известно ли вам — теперь уж я говорю серьезно и без всяких шуток, — что сама Фанни дала мне понять, будто вы сделали ей предложение и будто вы собираетесь обручиться с ней торжественно и по всем правилам?

— Вот как, сударыня, вот как! — раздался пронзительный женский голос. Вам дали понять, что я... я... собираюсь обручиться с убийцей и вором, который пролил кровь моего папы? И вы думаете... вы думаете, сударыня, что я была очень равнодушна к этой грязи под моими ногами, до которой не согласилась бы дотронуться кухонными щипцами из боязни запачкаться и рассыпаться от одного прикосновения? Вы это думаете, сударыня? Думаете? О, низкая и подлая Тильда!

С такими укоризненными словами мисс Сквирс широко распахнула дверь, и перед глазами пораженных Брауди и Николаса предстала не только ее собственная симметрическая фигура, облаченная в целомудренное белое платье, описанное выше (немножко загрознившееся), но и фигуры ее брата и отца — пары Уэкфордов.

— Так вот каков конец? — продолжала мисс Сквирс, которая, будучи в волнении, говорила с сильным придыханием. — Так вот к чему привела вся моя снисходительность, мои дружеские чувства к этой двуличной особе — к этой гадюке, к этой... этой... сирене! — Мисс Сквирс долго подыскивала последнее слово и, наконец, произнесла его с торжеством, как будто оно решало все дело. — Так вот чем это кончилось! А я-то мирилась с ее лживостью, низостью, лукавством, приманивавшим грубых людей, с такими уловками, что мне приходилось краснеть за мой... за мой...

— Пол! — подсказал мистер Сквирс, взирая на присутствующих злобным глазом — именно одним злобным глазом.

— Да, — сказала мисс Сквирс, — но я благодарю мою счастливую звезду, что моя мать принадлежит к этому полу...

— Слушайте, слушайте! — воскликнул Сквирс. — Хотел бы я, чтобы она была здесь и сцепилась с этой компанией!

— Теперь кончено! — сказала мисс Сквирс, мотнув головой и презрительно уставившись в пол. — Больше смотреть не стану на эту дрянную особу и унижаться, покровительствуя ей.

— Ах, полно! — сказала миссис Брауди, не обращая внимания на попытки супруга удержать ее и пробиваясь вперед. — Зачем говорить такой вздор?

— Разве я вам не покровительствовала, сударыня? — спросила мисс Сквирс.

— Нисколько! — ответила миссис Брауди.

— Я не жду, чтобы вы покраснели от стыда, — высокомерно сказала мисс Сквирс, — так как вашей физиономии чуждо все, кроме неприкрытой дерзости и наглости.

— Послушайте, — вмешался Джон Брауди, задетый этими повторными нападками на жену. — Полегче, полегче!

— Вас, мистер Брауди, — сказала мисс Сквирс, не дав ему договорить, — я жалею! К вам, сэр, я ничего не витаю, кроме чувства неподдельной жалости.

— О! — сказал Джон.

— Да, — сказала мисс Сквирс, искоса посмотрев на своего родителя, — хотя я и «пресмешная подружка» и не так-то скоро буду новобрачной и хотя моему мужу «повезет», — я не питаю к вам, сэр, никаких чувств, кроме чувства жалости.

Тут мисс Сквирс снова посмотрела искоса на отца, который посмотрел искоса на нее, как бы желая заявить: «Вот тут-то ты его поддела!»

— Я-то знаю, через что вам предстоит пройти, — сказала мисс Сквирс, энергически

тряхнув кудряшками, — я-то знаю, какая вас ждет жизнь, и, будь вы моим злейшим и смертельным врагом, ничего худшего я не могла бы вам пожелать.

— А если так, то, может быть, вы пожелаете сами выйти за него замуж? — с величайшей кротостью осведомилась миссис Брауди.

— О сударыня, как вы остроумны! — с низким реверансом отвечала мисс Сквирс. — Почти так же остроумны, как и хитры, сударыня! Как хитро было с вашей стороны, сударыня, выбрать время, когда я пошла пить чай к моему папе! Вы были уверены, что я не вернусь, пока за мной не придут. Какая жалость! Вы не подумали, что и другие могут быть так же хитры, как вы, и расстроят ваши планы.

— Вы меня не выведете из терпения, дитя мое, вашей заносчивостью, сказала бывшая мисс Прайс, принимая вид матроны.

— Пожалуйста, не разыгрывайте со мной «миссис», сударыня! — резко возразила мисс Сквирс. — Я этого не потерплю! Так вот каков конец...

— Черт побери! — нетерпеливо перебил Джон Брауди. — Выскажи все, что хочешь сказать, Фанни, и пусть это впрямь будет конец и никого не спрашивай, конец это или нет.

— Благодарю за совет, которого у вас не просили, мистер Брауди, — с преувеличенной вежливостью отозвалась мисс Сквирс, — и будьте добры, потрудитесь не называть меня по имени. Даже мое жалостливое сердце никогда не заставит меня забыть о том, чего я должна требовать по отношению к себе, мистер Брауди. Тильда! — сказала мисс Сквирс с такой неожиданной запальчивостью, что Джон вздрогнул. — Я навеки отступаюсь от вас, миссис! Я вас покидаю. Я от вас отрекаюсь! Я бы не назвала ребенка именем Тильда, торжественно провозгласила мисс Сквирс, — хотя бы это могло спасти его от могилы.

— Что касается ребенка, — заметил Джон, — то будет время подумать о том, как его назвать, когда он появится.

— Джон! — вмешалась его жена. — Не дразни ее.

— О да, не дразни! — воскликнула мисс Сквирс, вскинув голову. — Не дразни! Хи-хи! Конечно! Не дразни ее! Пощади ее чувства!

— Если уж так суждено, что, подслушивая, никогда ничего хорошего о себе не услышишь, — сказала миссис Брауди, — то я тут ни при чем, и тут ничего не поделаешь. Но вот что я скажу, Фанни: прямо не счесть, сколько раз я говорила о вас за вашей спиной так хорошо, что даже вы ни в чем не могли бы меня упрекнуть.

— О, разумеется, сударыня! — вскричала мисс Сквирс, снова делая реверанс. — Приношу вам глубочайшую благодарность за вашу доброту и прошу и умоляю вас быть и впредь милостивой ко мне!

— И не думаю, чтобы сейчас я сказала что-нибудь очень дурное, продолжала миссис Брауди. — Во всяком случае, я говорила только правду, а если я и сказала что-нибудь дурное, то мне очень жаль, и я прошу у вас прощения. Вы часто говорили обо мне дурно, но я никогда не помнила зла и надеюсь, что и вы не затаите злобы.

Вместо прямого ответа мисс Сквирс окинула взглядом свою бывшую подругу с ног до головы и с невыразимым презрением задрала нос. При этом у нее вырвались такие иезвятные замечания, как «вертушка», «кокетка», «презренное создание», и эти замечания, а также закусывание губ, спазмы при глотанье и быстрое, прерывистое дыхание указывали на то, что чувства, не поддающиеся выражению, переполняли грудь мисс Сквирс.

Пока шел этот разговор, юный Уэкфорд, видя, что на него не обращают внимания, и находясь во власти своих преобладающих наклонностей, бочком пробрался к столу и совершил маленький набег на закуску: он занукал пальцы в тарелки и затем обсасывал их с бесконечным удовольствием, хватал куски хлеба, подцепляя ими масло, прятал в карман сахар, все время притворяясь погруженным в раздумье. Убедившись, что никто не пытается препятствовать этим маленьким вольностям, он постепенно перешел к более серьезным и, покончив с солидной порцией холодных яств, набросился на пирог.

Все это не осталось незамеченным мистером Сквирсом, который, пока внимание присутствующих было сосредоточено на других предметах, поздравлял себя с тем, что его

сын и наследник толстеет за счет врага. Но когда наступило временное затишье, в течение коего действия юного Уэкфорда не могли пройти незамеченными, он притворился, будто сам только что их обнаружил, и закатил молодому джентльмену пощечину, от которой зазвенели чайные чашки.

— Поедать объедки, оставленные врагами его отца! — воскликнул мистер Сквирс. — Они способны на то, чтобы отравить тебя, скверный мальчишка!

— Ничего, ничего, — сказал Джон, явно радуясь перспективе иметь дело с мужчиной. — Пусть ест. Хотел бы я, чтобы вся школа была здесь. Я бы им набил чем-нибудь их несчастные желудки, хотя бы мне пришлось истратить последний пенни.

Сквирс хмуро посмотрел на него с таким злобным выражением, какое только мог придать своему лицу, а оно легко принимало такое выражение, — и укладкой погрозил кулаком.

— Полно, учитель! — сказал Джон. — Без глупостей! Если я хоть разок погрожу тебе кулаком, так ты от одного ветерка с ног свалишься!

— Это вы... — начал Сквирс, — вы помогли сбежать мальчишке? Вы? — Я! — громко объявил Джон. — Да, я! Ну, так что же? Это я. А дальше что?

— Ты слышишь, дитя мое, он признается, что это сделал, — воскликнул Сквирс, обращаясь к дочери. — Слышишь, он признается, что это сделал!

— Да, сделал! — вскричал Джон. — И я тебе больше скажу, слушай: если ты поймаешь еще какого-нибудь сбежавшего мальчика, я опять это сделаю. И, если ты поймаешь двадцать сбежавших мальчиков, я двадцать раз это сделаю и еще двадцать. И я тебе еще больше скажу теперь, когда ты довел меня до бешенства: ты — старый негодяй! И счастье твое, что старый, не то я бы тебя в порошок истолок, когда ты рассказывал честному человеку о том, как ты колотил этого бедного мальчишку в карете!

— Честному человеку! — насмешливо подхватил Сквирс.

— Да, честному человеку, — повторил Джон, — который замаран лишь тем, что сиживал за одним столом с таким, как ты.

— Оскорбление! — заликовал Сквирс. — И при двух свидетелях: Уэкфорд знает, что такое присяга; мы вас за это притянем, сэр! Негодяй, да? — Мистер Сквирс достал Записную книжку и сделал пометку. — Прекрасно. Думаю, что это мне принесет добрых двадцать фунтов на следующей судебной сессии, сэр, а на честь наплевать.

— Судебная сессия! — воскликнул Джон. — Ты бы мне лучше не говорил о судебной сессии! Об йоркширских школах уже заходила речь на судебных сессиях, и должен тебе сказать, что такой щекотливый вопрос лучше не поднимать.

Побелев от злости, мистер Сквирс с угрожающим видом покачал головой и, взяв под руку дочь и потащив за руку юного Уэкфорда, отступил к двери.

— А что касается вас, — сказал Сквирс, поворачиваясь и обращаясь к Николасу, который умышленно воздерживался от участия в дискуссии, потому что один раз уже основательно посчитался с учителем, — то скоро вам придется иметь дело со мной. Вы похищаете детей, не так ли? Берегитесь, как бы не появились откуда-нибудь их отцы, — запомните это, — берегитесь, как бы не явились их отцы и не отослали их обратно ко мне, чтобы я с ними расправлялся по своему желанию, невзирая на вас!

— Этого я не боюсь, — отозвался Николас, пренебрежительно пожав плечами и отвернувшись.

— Не боитесь? — повторил Сквирс, бросая злобный взгляд. — Ну, идем!

— Я с моим папашей покидаю это общество навеки! — воскликнула мисс Сквире, оглянувшись презрительно и надменно. — Я оскверняю себя, дыша одним воздухом с подобными созданиями. Бедный мистер Брауди! Хи-хи-хи! Мне жаль его, да, жаль. Его так обманули! Хи-хи-хи!.. Хитрая и коварная Тильда!

После этой новой и внезапной вспышки самого мрачного и величественного гнева мисс Сквире важно удалилась, сохраняя до последней минуты свое достоинство, но слышно было, как, очутившись в коридоре, она начала рыдать и визжать.

Джон Брауди остался стоять у стола, переводя взгляд с жены на Николаса и обратно и широко раскрыв рот, пока рука его случайно не опустилась на кружку эля. Он поднял ее, уткнулся в нее лицом, а затем перевел дыхание, протянул кружку Николасу и позвонил.

— Эй, слуга! — весело сказал Джон. — Живо! Уберите все это, и пусть нам что-нибудь зажарят на ужин, чтобы было очень вкусно и побольше, к десяти часам, Принесите бренди и воды и пару ночных туфель — самую большую, какая есть в доме. И поживей! Черт побери! — воскликнул Джон, потирая руки. Сегодня мне незачем уходить из дому, чтобы за кем-то заходить, и, ей-богу, мы здорово проведем этот вечер!

Глава XLIII,

исполняет обязанности джентльмена-распорядителя, знакомящего друг с другом различных людей

Буря давно сменилась самым глубоким затишьем, и час был довольно поздний; уже отужинали, и процесс пищеварения протекал так благоприятно, как только могут почитать желательным при полном спокойствии, веселой беседе и умеренном, употреблении бренди и воды мудрейшие люди, хорошо знакомые с анатомией и функциями человеческого организма, но вдруг трое друзей, или, вернее, как можно было бы сказать и в гражданском и в религиозном смысле и с надлежащим уважением к священным супружеским узам, двое друзей (считая мистера и миссис Брауди только за одного), были потревожены громкими и сердитыми угрожающими криками внизу у лестницы. Крики вскоре зазвучали столь отчетливо и вдобавок сопровождались словечками, столь выразительными, кровожадными и свирепыми, что вряд ли что-нибудь могло с ними сравниться, даже если бы в доме действительно присутствовала голова сарацина, опирающаяся на плечи и возвышающаяся над туловищем настоящего, живого, взбешенного и самого неукротимого сарацина.

Вместо того чтобы быстро стихнуть после первой вспышки и перейти в бормотанье и ворчливые попреки (как обычно бывает в тавернах, на собраниях и в других местах), крик усиливался с каждой секундой; хотя он вырывался, по-видимому, только из одной пары легких, однако эти легкие отличались такой мощностью, а словечки, вроде «негодяй», «мерзавец», «бессовестный щенок», и другие выражения, не менее лестные для заинтересованной стороны, произносились столь смачно и с такой энергией, что при обычных обстоятельствах десять голосов, заоравших одновременно, звучали бы гораздо тише и вызвали бы значительно меньшее смятение.

— Что бы это могло быть? — воскликнул Николас, бросаясь к двери.

Джон Брауди устремился в том же направлении, но миссис Брауди побледнела и, откинувшись на спинку стула, слабым голосом попросила его принять во внимание, что, если он ринется навстречу какой бы то ни было опасности, она намерена впасть немедленно в истерику и что последствия могут быть гораздо серьезнее, чем он предполагает. Джон был слегка ошеломлен таким сообщением, хотя в то же время на лице его мелькнула улыбка; но не видеть перепалки было выше его сил, и он пошел на компромисс, просунув руку жены под свою и вместе с ней побежав вниз по лестнице вслед за Николасом.

Ареной беспорядка был коридор перед дверью в кофейню, и здесь собрались завсегдатаи кофейни и официанты, а также два-три кучера и конюхи со двора. Они окружили молодого человека, который, судя по виду, был года на два старше Николаса, а кроме брошенных им вызывающих возгласов, только что описанных, казалось, он зашел в своем негодовании значительно дальше, так как на ногах у него были только чулки, а пара туфель валялась в противоположном углу, по соседству с головой простертого на полу человека, которого, по-видимому, пинком отшвырнули в это местечко, после чего запустили в него туфлями.

Завсегдатаи кофейни и лакеи, кучера и конюхи, не говоря о буфетчице, выглядывавшей

из открытого окошечка, были в тот момент, насколько можно судить по их перемигиванию, кивкам и бормотанию, явно не на стороне молодого джентльмена в чулках. Заметив это, а также и то, что молодой джентльмен был почти одних лет с ним и отнюдь не производил впечатления забияки, Николас, побуждаемый чувствами, какие иной раз влияют на молодых людей, решил заступиться за более слабого, а посему немедленно очутился в центре группы и, быть может, более внушительным тоном, чем того требовали обстоятельства, спросил, из-за чего поднялся весь этот шум.

— Эге! — воскликнул один из приведших со двора. — Это еще кто так вырядился?

— Дорогу старшему сыну русского императора, джентльмены? — крикнул другой.

Не обращая внимания на эти шуточки, которые были чрезвычайно хорошо приняты, как обычно бывают приняты шуточки, направленные против наиболее прилично одетого человека в толпе, Николас небрежно осмотрелся вокруг и, обращаясь к молодому джентльмену, который к тому времени подобрал свои туфли к сунул в них ноги, учтивым тоном повторил свой вопрос.

— Ах, пустяки! — ответил тот.

Тут зрители подняли ропот, и те, что были похрабрее, закричали: «О, вот как!», «Да неужели! Пустяки?», «Он это называет пустяками? Счастье для него, если это окажется пустяком». Когда эти и многие другие замечания, выражавшие ироническое неодобрение, истощились, двое-трое из пришедших со двора начали теснить Николаса и молодого джентльмена, виновника шума, толкали их как бы случайно и наступали им на ноги. Но так как это была игра и число игроков не было строго ограничено тремя или четырьмя, то в ней мог принять участие и Джон Брауди. Ворвавшись в кучу людей, к великому ужасу своей жены, и бросаясь во все стороны, то направо, то налево, то вперед, то назад, и въехав случайно локтем в шляпу самого высокого конюха, проявлявшего особенную энергию, он быстро добился того, что дело приняло совсем иной оборот, и не один дюжий парень отошел, прихрамывая, на почтительное расстояние, со слезами на глазах проклиная тяжелую поступь в могучие ноги дородного йоркширца.

— Посмотрю-ка я, как он еще раз это сделает! — сказал тот, кого отшвырнули пинком в угол, приподнимаясь, видимо скорее из боязни, как бы Джон Брауди нечаянно не наступил на него, чем из желания встретиться в честном бою с противником. — Посмотрю-ка я, как он еще раз это сделает! Вот и все.

— Повторите-ка свои слова, и ваша голова отлетит вон к тем рюмкам, за вашей спиной, — сказал молодой человек.

Тут официант, который потирал руки, от души наслаждаясь этой сценой, пока речь шла только о разбитых головах, начал с жаром умолять зрителей, чтобы позвали полицию, уверяя, что в противном случае несомненно будет совершено убийство и что он несет ответственность за всю стеклянную и фарфоровую посуду в гостинице.

— Пусть никто не трудится идти, — сказал джентльмен. — Я останусь в этом доме на всю ночь, и здесь меня найдут утром, если придется отвечать за какое-нибудь преступление.

— За что вы его ударили? — спросил один из свидетелей. — Да, за что вы его ударили? — подхватили остальные.

Не пользующийся популярностью джентльмен хладнокровно осмотрелся вокруг и, обратившись к Николасу, сказал:

— Вы только что спросили, в чем тут дело. Дело очень простое. Вон тот человек, который выпивал с приятелем в кофейне, где я расположился на полчаса перед тем как лечь спать (потому что я только что вернулся из путешествия и предпочел переночевать здесь, чем возвращаться в такой поздний час домой, где меня ждут только завтра), вздумал упомянуть в крайне непочтительных и дерзко фамильярных выражениях об одной молодой леди, которую я узнал по его описанию и некоторым другим данным и с которой имею честь быть знакомым. Так как говорил он достаточно громко, чтобы его могли слышать другие посетители, находившиеся там, я очень вежливо сказал ему, что он ошибается в своих заключениях, и предложил ему замолчать сначала он так и поступил, но, поскольку ему

угодно было, когда он уходил из комнаты, возобновить этот разговор в еще более оскорбительном тоне, чем раньше, я не мог удержаться, чтобы не последовать за ним и не ускорить его отбытие пинком, который и привел его в то положение, в каком вы его только что видели. Полагаю, я лучше всех могу судить о моих делах, — добавил молодой человек, явно не остывший еще после вспышки, — а если кто-нибудь считает нужным ввязаться в эту ссору, то могу его уверить, что у меня нет ни малейших возражений.

Из всех возможных линий поведения при обстоятельствах, изложенных выше, разумеется, не было ни одной, которая показалась бы Николасу в его тогдашнем расположении духа более похвальной. В тот момент мало было предметов спора, которые могли бы затронуть его сильнее, ибо незнакомка занимала первое место в его мыслях, и ему, натурально, пришло в голову, что он сам поступил бы точно так же, если бы какой-нибудь дерзкий болтун осмелился в его присутствии заговорить о ней неуважительно. Из этих соображений он с жаром принял сторону молодого джентльмена, заявив, что тот поступил совершенно правильно и что он его за это уважает. Немедленно и с не меньшей страстью заявил то же самое и Джон Брауди (хотя он не совсем уяснил себе сущность дела).

— Пусть он поостережется! — сказала потерпевшая поражение сторона, которую после недавнего падения на пыльный пол чистил щеткой официант. — Он поплатится за то, что сбил меня с ног! Это говорю ему я! Недурное положение, когда человек не может восхищаться хорошенькой девушкой, не боясь, что его исколотят!

Это соображение, по-видимому, показалось весьма веским молодой леди за стойкой, которая (поправив при этом свой чепчик и посмотрев в зеркало) заявила, что действительно это было бы недурное положение и что если бы людей наказывали за поступки, столь невинные и естественные, как этот, то больше было бы побитых, чем тех, кто бьет, и она удивляется, что хотел этим доказать джентльмен, да, удивляется!

— Милая моя, — тихим голосом сказал молодой джентльмен, подходя к окошечку.

— Ах, оставьте, сэр! — резко сказала молодая леди, отворачиваясь, но улыбаясь и закусывая губу (в то время как миссис Брауди, которая все еще стояла на лестнице, посмотрела на нее с презрением и крикнула своему супругу, чтобы он ушел).

— Выслушайте меня, — продолжал молодой человек. — Если бы восхищение хорошеньким личиком было преступно, я оказался бы самым неисправимым человеком в мире, потому что не могу перед этим устоять. Хорошенькое личико производит на меня необычайное впечатление, сдерживает и обуздывает меня, когда я бываю в самом упрямом и злобном расположении духа. Вы видите, какое впечатление уже произвело на меня ваше лицо.

— О, все это очень мило! — отозвалась молодая леди тряхнув головой, но...

— Да, я знаю, что оно очень хорошенькое, — сказал молодой человек, с восхищенным видом всматриваясь в лицо буфетчицы, — вы слышали, я только что это сказал. Но о красоте нужно говорить почтительно — почтительно, и в пристойных выражениях, и с надлежащим пониманием ее достоинства и превосходства, тогда как этот парень имеет такое же представление о...

На этом месте молодая леди прервала разговор, высунув голову из окошка и пронзительным голосом осведомившись у лакея, намеревается ли молодой человек, которого приколотили, загораживать коридор всю ночь или же вход свободен и для других. Лакей, поняв намек в передав его конюхам, тоже не замедлил переменить огонь, и в результате злополучную жертву вытолкали во мгновение ока.

— Я уверен, что видел раньше этого пария, — сказал Николас.

— Неужели? — отозвался его новый знакомый.

— Я в этом не сомневаюсь, — подтвердил Николас, призадумавшись. — Где я мог... постойте... ну, конечно... он служит в конторе по найму, в западной части города. Я знал, что видел где-то это лицо.

Действительно, это был Том, безобразный клерк.

— Странно! — сказал Николас, размышляя о том, каким удивительным образом эта контора по найму время от времени как будто выскакивает из-под земли и напоминает ему о себе, когда он меньше всего этого ждет.

— Я вам очень признателен за ту доброту, с какой вы выступили в защиту моего дела, когда оно больше всего нуждалось в защитнике, — сказал молодой джентльмен, смеясь и доставая из кармана визитную карточку. — Быть может, вы будете так любезны и скажете мне, где я могу вас поблагодарить?

Николас взял карточку и, взглянув на нее в то время, как отвечал на благодарность, выразил величайшее изумление.

— Мистер Фрэнк Чирибл! — воскликнул Николас. — Неужели племянник «Чирибл, братья», которого ждут завтра?

— Обычно я не называю себя племянником фирмы, — добродушно ответил мистер Фрэнк, — но с гордостью скажу, что я действительно племянник тех двух превосходных братьев, которые ее возглавляют. А вы, конечно, мистер Никльби, о котором я столько слышал? Это в высшей степени неожиданная встреча и столь же приятная, уверяю вас.

Николас ответил на эти любезные слова не менее любезно, и они горячо пожали друг другу руку. Затем он представил Джона Брауди, который пребывал в величайшем восторге с тех пор, как удалось столь искусно перетянуть на сторону справедливости молодую леди за стойкой. Затем была представлена миссис Джон Брауди, и, наконец, они отправились все вместе наверх и провели полчаса очень весело и ко всеобщему удовольствию; миссис Брауди начала разговор заявлением, что из всех нарумяненных особ, каких ей случалось видеть, молодая женщина внизу самая тщеславная и самая некрасивая.

Этот мистер Фрэнк Чирибл, — судя по тому, что недавно произошло, юноша вспыльчивый (а это отнюдь не редкость и не чудо), — был тем не менее веселым, добродушным, приятным человеком, в наружности и характере которого было что-то сильно напоминавшее Николасу мягкосердечных братьев-близнецов. Держал он себя так же непринужденно, и в обращении его была та же сердечность, которая особенно располагает к себе людей, чьей натуре не чуждо великодушие. Прибавим к этому, что он был красив и умен, отличался живостью, был чрезвычайно жизнерадостен и в пять минут приноровился ко всем чудачествам Джона Брауди с такой легкостью, как будто знал его с детства; поэтому не придется особенно удивляться, что к тому времени, когда они расстались поздно вечером, он произвел самое благоприятное впечатление не только на достойного йоркширца и его жену, но и на Николаса, который, спеша домой и размышляя обо всем происшедшем, пришел к заключению, что положено начало весьма приятному и желательному знакомству.

«Но какая странная история с этим клерком из конторы по найму! — думал Николас. — Может ли быть, чтобы этот племянник знал что-нибудь о той красивой девушке? Когда Тим Линкинуотер объявил мне на днях что он приезжает и вступит компаньоном в дело, Тим добавил, что Фрэнк Чирибл четыре года руководил делами фирмы в Германии, а последние полгода занимался учреждением агентства на севере Англии. Получается четыре с половиной года — четыре с половиной года. Ей не может быть больше семнадцати лет — скажем, восемнадцать самое большее. Значит, она была совсем ребенком, когда он уехал. Полагаю, что он ничего о ней не знает и никогда ее не видел, и, стало быть, он не может дать мне никаких сведений. Во всяком случае, — подумал Николас, коснувшись основного пункта, занимавшего его мысли, — нет никакой опасности, что чувства ее уже устремлены в эту сторону: это совершенно ясно».

Является ли эгоизм неотъемлемой частью, входящей в состав чувства, именуемого любовью, или же любовь заслуживает все те прекрасные слова, какие говорили о ней поэты, отдаваясь своему бесспорному призванию? Случается, что джентльмен уступает леди достойному сопернику и так же поступает леди с джентльменом, проявляя при этом чрезвычайное великодушие; но точно ли установлено, что в большинстве случаев эти леди и джентльмены не превращали необходимость в добродетель и не отказывались благородно от того, что было им недоступно? Так солдат может поклясться, что никогда не примет ордена

Подвязки⁸⁴, а бедный приходский священник, весьма благочестивый и ученый, но не имеющий связей и обремененный большой семьей, может отказаться от епископства.

И вот Николас Никльби, который с презрением отринул бы всякие соображения о том, каковы его шансы раслужить новые милости или улучшить свое положение в фирме «Чирибл, братья», теперь, когда вернулся их племянник, с головой погрузился в размышления, может ли тот самый племянник стать его соперником, добивающимся расположения прекрасной незнакомки; сей вопрос он обсуждал с такой серьезностью, словно за этим одним исключением все остальное было решено, возвращался к нему снова и снова и чувствовал негодование и обиду при мысли, что кто-то другой может ухаживать за той, с кем он за всю свою жизнь не обменялся ни единым словом. Правда, он скорее преувеличивал, чем недооценивал достоинства молодого Чирибда, но все-таки считал чуть ли не оскорблением, ему лично нанесенным, что у того вообще могут быть какие бы то ни было достоинства в глазах именно этой молодой леди, хотя в любых других глазах ему разрешалось иметь их сколько угодно. Во всем этом сказывался несомненный эгоизм, и тем не менее Николас по натуре своей был человек в высшей степени открытый и великодушный и в низких и неблагородных мыслях повинен был, пожалуй, меньше, чем кто бы то ни было, однако нет оснований предполагать, что он, влюбившись, думал и чувствовал иначе, чем другие люди, находящиеся в этом возвышенном состоянии духа.

Впрочем, он не стал анализировать ход своих мыслей и свои чувства, но продолжал думать все об одном и том же по дороге домой и грезил об этом всю ночь. Когда он убедил себя в том, что Фрэнк Чирибл не может знать таинственную молодую леди, ему пришло в голову, что сам он, пожалуй, никогда ее больше не увидит. Из этой гипотезы он хитроумно извлек немало мучительных мыслей, которые отвечали его цели даже лучше, чем призрак мистера Фрэнка Чирибда, и осаждали и терзали его во сне и наяву.

Несмотря на все, что сказано прозой и стихами, нам ничего не известно о том, чтобы утро хотя бы на час замедлило или ускорило свой приход, руководствуясь досадливым чувством к какому-нибудь безобидному влюбленному. Судя по книгам, рассказывающим о прошлом, солнце, исполняя свой общественный долг, неизменно всходило по календарю и не допускало, чтобы на него влияли какие-либо соображения частного порядка. Итак, утро настало, как обычно, а с ним начались рабочие часы, а с ними явился мистер Фрэнк Чирибл, а с ним — длинная вереница улыбок и приветствий, расточаемых достойными братьями, и более степенный и подобающий клерку, но вряд ли менее сердечный прием со стороны мистера Тимоти Линкинуотера.

— Что мистер Фрэнк и мистер Никльби встретились вчера вечером, — сказал Тим Линкинуотер, медленно слезая с табурета, обводя взглядом комнату и прислоняясь спиной к конторке, а это он имел обыкновение делать, когда собирался сказать нечто особенно важное, — что эти два молодых человека встретились вчера вечером, я считаю совпадением, поразительным совпадением. Я не допускаю мысли, — добавил Тим, снимая очки и улыбаясь с какой-то трогательной гордостью, — чтобы для таких совпадений нашлось в мире место лучше, чем Лондон.

— Насчет этого я ничего не знаю, — сказал мистер Фрэнк, — но...

— Насчет этого вы ничего не знаете, мистер Фрэнк, — с упрямым видом перебил Тим. — Но мы это сейчас узнаем. Если есть для этого лучшее место, то где оно? В Европе? Нет, не там. В Азии? Конечно, нет. В Африке? Ничуть не бывало. В Америке? Вы прекрасно знаете, что нет. В таком случае, — сказал Тим, решительно скрестив руки, — где оно?

— Я не собирался оспаривать этот пункт, Тим, — со смехом отозвался молодой Чирибл, — не такой уж я еретик. Я хотел только сказать, что я рад такому совпадению.

— О, если вы этого не оспариваете, тогда другое дело, — сказал Тим, совершенно удовлетворенный. — Но вот что я вам скажу: я бы хотел, чтобы вы оспаривали. Я бы этого хотел. Я бы хотел, чтобы вы или кто другой это сделали. Я бы так сокрушил этого

человека, — продолжал Тим, выразительно постукивая указательным пальцем левой руки по очкам, — я бы так сокрушил его доводами... — Невозможно было выразить словами степень духовной немощности, до которой был бы доведен столь дерзкий смертный в остроумном поединке с Тимом Линкинуотером; поэтому Тим только за недостатком слов не закончил своей речи и снова взобрался на табурет.

— Мы можем почитать себя счастливыми, брат Нэд, — сказал брат Чарльз, одобрительно похлопав Тима Линкинуотера по спине, — что при нас находятся два таких молодых человека, как наш племянник Фрэнк и мистер Никльби. Это должно быть источником великого удовлетворения и радости для нас.

— Разумеется, Чарльз, разумеется, — ответил тот.

— О Тиме, — добавил брат Нэд, — я ничего не скажу, потому что Тим — ребенок... младенец... никто... о нем мы никогда не думаем и в расчет его не принимаем. Тим, разбойник, что вы на это скажете, сэр?

— Я ревную к ним обоим, — сказал Тим, — и думаю подыскивать другое место; так что и вы, со своей стороны, джентльмены, будьте любезны, примите меры.

Тиму это показалось такой превосходной, ни с чем не сравнимой и изумительной шуткой, что он положил перо на чернильницу и, скорее свалившись с табурета, чем спустившись с него с обычной своей осторожностью, принялся хохотать, пока не ослабел, все время потряхивая при этом головой, так что пудра разлеталась по конторе. Да и братья не отставали и также от души смеялись при мысли о добровольной разлуке со старым Тимом. Николас и мистер Фрэнк неудержимо хохотали, быть может, чтобы скрыть какое-то иное чувство, пробужденное этим инцидентом (так было после первого взрыва смеха и с тремя стариками); и вот, пожалуй, почему этот смех доставил не меньше удовольствия и радости, чем самая острая шутка по адресу какой-либо особы доставляла учтивейшему собранию.

— Мистер Никльби, — сказал брат Чарльз, отзывая его в сторонку и ласково беря за руку, — мне... мне очень бы хотелось, дорогой мой сэр, посмотреть, хорошо ли и удобно вы устроились в коттедже. Мы не можем допустить, чтобы те, кто усердно нам служит, испытывали какие-нибудь лишения или неудобства, которые в нашей власти устранить. Я хочу также повидать вашу мать и сестру, познакомиться с ними, мистер Никльби, и воспользоваться случаем успокоить их заверением, что за те мелкие услуги, какие мы были в состоянии им оказать, вы уплатили с лихвой вашим старанием и рвением... Ни слова, дорогой мой сэр, прошу вас! В воскресенье. Я беру на себя смелость заглянуть в час вечернего чая в надежде застать вас дома; если вас, знаете ли, не будет дома или мой визит затруднит леди, ну что ж, я могу зайти в другой раз. Любой день мне подходит. На этом мы и порешим. Брат Нэд, дорогой мой, пойдем-ка, я хочу сказать тебе два слова.

Близнецы вышли из конторы рука об руку, а Николас, считая, что братья в день приезда своего племянника хотят этими ласковыми словами и многими другими, обращенными к нему в то утро, снова деликатно заверить в своем расположении, как заверяли раньше, был преисполнен благодарности к ним, восхищаясь таким исключительным вниманием.

Сообщение, что на следующий день у них будет гость — и какой гость! — пробудило в груди миссис Никльби смешанное чувство восторга и сожаления: если она, с одной стороны, приветствовала это посещение как залог близкого возвращения в хорошее общество и к почти забытым удовольствиям утренних визитов и вечерних чаепитий, то, с другой стороны, не могла не задумываться с горечью об отсутствии серебряного чайника с шишечкой из слоновой кости на крышке и молочника ему под пару, которые были гордостью ее сердца в минувшие дни и хранились из года в год, завернутые в замшу, на хорошо ей известной верхней полке, которую ее опечаленное воображение рисовало сейчас в ярких красках.

— Интересно, кому достался этот ящик для пряностей, — сказала миссис Никльби, покачивая головой. — Бывало, он стоял в левом углу, по соседству с маринованным луком. Ты помнишь тот ящик для пряностей, Кэт?

— Прекрасно помню, мама.

— Не думаю, чтобы ты помнила, Кэт, раз ты о нем говоришь таким холодным и

бесчувственным тоном, — с суровым видом возразила миссис Никльби. — Меня огорчает больше, чем сами потери, то, что люди, меня окружающие, относятся к ним с таким возмутительным равнодушием.

— Дорогая мама, — сказала Кэт, обвив рукой шею матери, — зачем вы говорите то, что, я знаю, вы не хотите сказать и чего всерьез не думаете, и зачем сердиться на меня за то, что я довольна и счастлива? У меня остались вы и Николас, мы снова вместе, и могу ли я жалеть о каких-то вещах, в которых мы никогда не чувствуем нужды? Ведь я узнала, какое горе и отчаяние может принести смерть; я испытала чувство одиночества и заброшенности в толпе и мучительную разлуку, когда в бедности и печали мы больше всего нуждались в утешении и взаимной поддержке... Можете ли вы удивляться теперь, что для меня этот дом — место чудесного покоя и отдыха и, когда вы около меня, мне больше нечего желать и не о чем сожалеть. Было время — и не так давно оно миновало, — когда, сознаюсь, уют нашего старого дома очень часто мне вспоминался — быть может, чаще, чем вы думаете. Но я притворялась, будто мне никакого дела до него нет, в надежде, что тогда и вы будете меньше сожалеть о нем. Право же, мне не было безразлично. Иначе я, быть может, чувствовала бы себя счастливой. Дорогая мама, — в сильном волнении продолжала Кэт, — я не знаю никакой разницы между этим домом и тем, где все мы были так счастливы столько лет; разница только в том, что самое кроткое и нежное сердце, когда-либо страдавшее на земле, мирно отошло на небо.

— Кэт, дорогая моя Кэт! — обнимая ее, воскликнула миссис Никльби.

— Я так часто думала, — всхлипывая, продолжала Кэт, — обо всех его ласковых словах, о том, как он в последний раз заглянул в маленькую комнатку и сказал: «Да благословит тебя бог, моя милая!» Лицо у него было бледное, мама, — сердце его было разбито... я это знаю... я этого не подозревала... тогда...

Хлынувшие слезы принесли ей облегчение, и Кэт положила голову на грудь матери и плакала, как дитя.

Восхитительное и прекрасное свойство нашей природы: когда мирное счастье или нежные чувства растрогали и смягчили сердце, память об умерших овладевает им неудержимо и властно. Кажется, будто лучшие наши мысли и побуждения наделены волшебной силой, которая дает возможность душе войти в какие-то смутные и таинственные сношения с душами тех, кого мы горячо любили при жизни. Увы! Как часто и как долго витают над нами эти кроткие ангелы в ожидании магического слова, которое мы так редко произносим и так быстро забываем!

Бедная миссис Никльби, привыкшая тотчас же высказывать все свои мысли, никогда не задумывалась о том, что ее дочь может тайком предаваться таким размышлениям, — не задумывалась еще и потому, что никакие суровые испытания или ворчливые упреки никогда не могли вырвать у нее подобного признания. Но теперь, когда радость, доставленная им сообщением Николаса, и их новая мирная жизнь воскресили эти воспоминания с такой силой, что Кэт не могла с ними совладать, миссис Никльби начала сомневаться, не бывала ли она иной раз неразумна, и ощутила нечто похожее на угрызения совести, обнимая дочь и отдаваясь чувствам, естественно вызванным таким разговором.

Много было суеты в тот вечер и великое множество приготовлений к приему гостя, и очень большой букет был доставлен от жившего по соседству садовника и разделен на множество очень маленьких букетов, которыми миссис Никльби хотела разукрасить свою гостиную в таком стиле, какой не преминул бы привлечь внимание всякого, если бы Кэт не вызвалась избавить ее от труда и не расставила их так мило и изящно, как только можно себе представить. Никогда еще коттедж не казался таким красивым, как на следующий день, который выдался яркий и солнечный. Но если Смайк гордился садом, а миссис Никльби — мебелью, а Кэт — решительно всем, их гордость была ничто по сравнению с той гордостью, с какой смотрел Николас на Кэт. Несомненно, в богатейшем доме Англии ее прекрасное лицо и грациозная фигура были бы самым восхитительным и бесценным украшением.

Вечером, часов в шесть, миссис Никльби была приведена в великое смятение давно

ожидаемым стуком в дверь, и это смятение отнюдь не улеглось, когда послышались шаги двух людей в коридоре, что, как предрекла задыхающаяся миссис Никльби, должно было возвещать прибытие «двух мистеров Чирибл». Так несомненно оно и было, хотя и не тех двух, кого ждала миссис Никльби, ибо это пришли мистер Чарльз Чирибл и его племянник мистер Фрэнк, который принес за свое вторжение тысячу извинений, принятых миссис Никльби (чайных ложек у нее было на всех с избытком) весьма милостиво. Появление неожиданного гостя не вызвало ни малейшего замешательства (разве что у Кэт, да и та только раза два покраснела вначале); старый джентльмен был так любезен и сердечен, а молодой джентльмен так искусно подражал ему в этом отношении, что не было никаких признаков натянутости и церемонности, обычных при первом визите, и Кэт не раз ловила себя на мысли о том, почему эти признаки не дают о себе знать.

За чаем много болтали, и не было недостатка в темах для веселых споров; когда случайно заговорили о недавнем пребывании молодого мистера Чирибла в Германии, старый мистер Чирибл уведомил компанию, что упомянутый молодой мистер Чирибл заподозрен в том, что страстно влюбился в дочь некоего немецкого бургомистра. Это обвинение молодой мистер Чирибл с величайшим негодованием отверг, после чего миссис Никльби лукаво заметила, что сама пылкость возражений заставляет ее сомневаться, все ли тут ладно. Тогда молодой мистер Чирибл стал горячо умолять старого мистера Чирибла сознаться, что все это шутка; в конце концов старый мистер Чирибл так и сделал, раз молодой мистер Чирибл отнесся к этому с такой серьезностью и даже, как тысячу раз говорила впоследствии миссис Никльби, вспоминая эту сцену, — даже «весь покраснел», каковое обстоятельство она правильно сочла знаменательным и достойным внимания, потому что молодые люди отнюдь не отличаются скромностью и сдержанностью, в особенности когда дело касается леди, и если им и не чужда краска, то скорее они подбавят яркой краски в рассказ, чем покраснеют сами.

После чая гуляли в саду, и так как вечер был чудесный, вышли побродить по тропинкам и прогуливались, пока совсем не стемнело. Время быстро летело для всей компании. Кэт шла впереди, опираясь на руку брата и беседуя с ним и с мистером Фрэнком Чириблом, а миссис Никльби и старый джентльмен следовали на небольшом расстоянии, и доброта славного негоцианта, его участливое отношение к благополучию Николаса и его восхищение Кэт так воздействовали на чувства достойной леди, что обычный ее поток слов был ограничен очень узкими, тесными рамками. Смайк (который если бывал когда-нибудь в своей жизни объектом внимания, то именно в тот день) сопровождал их, присоединяясь то к одной, то к другой группе, когда брат Чарльз, положив ему руку на плечо, просил его пройти с ним или Николас, с улыбкой оглянувшись, манил его, предлагая подойти и поболтать со старым другом, который понимал его лучше всех и мог вызвать улыбку на его измученном лице, даже если никто другой не мог этого сделать.

Гордость — один из семи смертных грехов, но это не может относиться к чувству матери, гордящейся своими детьми, потому что такая гордость состоит из двух основных добродетелей: веры и надежды. И эта гордость переполнила в тот вечер сердце миссис Никльби, и, когда они вернулись домой, на лице ее блеснули следы самых благодарных слез, какие случалось ей когда-либо проливать.

Тихое веселье царило за ужином, который вполне гармонировал с таким расположением духа, и, наконец, оба джентльмена распрощались. Одно обстоятельство при прощании вызвало много улыбок и шуток, а заключалось оно в том, что мистер Фрэнк Чирибл дважды протянул руку Кэт, совершенно забыв о том, что уже, сказал ей «до свидания». Это было принято старым мистером Чириблом как разительное доказательство, что он думает о своей немецкой возлюбленной, и шутка вызвала неудержимый смех. Как легко рассмешить тех, у кого весело на сердце! Короче говоря, это был день ясного и безмятежного счастья. У всех у нас был когда-нибудь такой счастливый день (и будем надеяться, что у многих из нас этот день занимает место в веренице ему подобных), к которому мы возвращаемся мысленно с особенной радостью; так и об этом дне они часто

вспоминали впоследствии, и он был отмечен в их календаре.

Но не являлся ли исключением один человек, и как раз тот, кто должен был чувствовать себя самым счастливым?

Кто был он — тот, кто в безмолвии своей комнаты упал на колени, чтобы молиться, как учил его первый его друг, и, сложив руки и в отчаянии воздев их, рухнул ничком в горькой тоске?

Глава XLIV,

Мистер Ральф Никльби, порывает, со старым знакомым. Из содержания этой главы выясняется также, что шутка даже между мужем и женой может иной раз зайти слишком далеко

Есть люди, которые, преследуя в жизни одну лишь цель — разбогатеть во что бы то ни стало — и прекрасно сознавая низость и подлость средств, которыми они ежедневно для этого пользуются, тем не менее притворяются, даже наедине с собой, высоконравственными и честными и качают головой и вздыхают над развращенностью света. Кое-кто из самых отъявленных негодяев, когда-либо ходивших по земле, или, вернее, ползавших по самым грязным и узким тропам (ибо ходьба требует вертикального положения и человеческой осанки), — кое-кто из них важно отмечает в дневнике события каждого дня и аккуратно ведет бухгалтерскую книгу по расчетам с небесами, причем баланс всегда бывает в его пользу. Быть может, это — бесцельная (единственная бесцельная) ложь и хитрость в жизни подобных людей, или же они и в самом деле надеются обмануть даже небо и накопить сокровища в мире грядущем тем же способом, каким накапливали его в мире земном; не будем допытываться, как это происходит, но это так. И несомненно такая бухгалтерия (подобно иным автобиографиям, просвещающим общество) не преминет сослужить службу хотя бы в том отношении, что избавит ангела, ведущего запись деяний, от излишней траты времени и сил.

Не таков был Ральф Никльби. Суровый, непреклонный, упрямый и непроницаемый, Ральф был равнодушен ко всему в жизни и за пределами ее, кроме удовлетворения двух страстей: скупости, первой и преобладающей черты его натуры, и ненависти — второй. Желая почитать себя типичным представителем всего человечества, он почти не трудился скрывать от мира свое подлинное лицо и в глубине души радовался каждому своему дурному замыслу и лелеял его с момента зарождения. Единственным священным правилом, какому Ральф следовал буквально, было «познай самого себя». Он знал себя хорошо и, предпочитая думать, что все люди сделаны по одному образцу, ненавидел их; ибо, хотя ни один человек не питает ненависти к самому себе — для этого самый бесчувственный среди нас наделен слишком большим себялюбием, — большинство людей судит о мире по себе, и очень часто можно обнаружить, что те, кто обычно издевается над человеческой природой и делает вид, будто презирает ее, являются наихудшими и наименее приятными ее образцами.

Итак, сейчас это повествование имеет дело с самим Ральфом, который стоял, хмуро созерцая Ньюмена Ногса, тогда как сей почтенный человек снял свои перчатки без пальцев и, старательно уложив их на ладони деовой руки и придавив правой, чтобы разгладить морщинки, принялся их свертывать с рассеянным видом, как будто ровно ничего другого не замечал, будучи глубоко заинтересован этой процедурой.

— Уехал из города! — медленно еказал Ральф. — Вы ошиблись. Пойдите туда еще раз.

— Не ошибся, — возразил Ньюмен. — Даже не уезжает. Уже уехал.

— В девчонку или в младенца он превратился, что ли? — с досадливым жестом пробормотал Ральф.

— Не знаю, — сказал Ньюмен, — но он уехал.

Казалось, повторение слова «уехал» доставляло Ньюмену Ногсу невыразимое

удовольствие, в такой же мере, в какой оно раздражало Ральфа Никльби. Он произносил это слово раздельно и выразительно, растягивая его, насколько возможно, а когда дольше уже нельзя было тянуть, не привлекая внимания, он твердил его беззвучно самому себе, словно даже в этом находил удовлетворение.

— А куда уехал? — спросил Ральф.

— Во Францию, — ответил Ньюмен. — Опасность второго, более серьезного рожистого воспаления головы. Поэтому доктора предписали уехать. И он уехал.

— А лорд Фредерик?.. — начал Ральф.

— Тоже уехал, — ответил Ньюмен.

— И он увозит с собой полученные им побои! — воскликнул Ральф, отвернувшись. — Прячет в карман ушибы и удирает, не сказав ни слова в отместку, не ища никакого возмещения!

— Он слишком болен, — сказал Ньюмен.

— Слишком болен! — повторил Ральф. — Да я бы потребовал возмещения, даже если бы умирал! В таком случае я бы еще решительнее добивался его, и без отсрочек... я хочу сказать: будь я на его месте. Но он слишком болен! Бедный сэр Мальбери! Слишком болен!

Произнеся эти слова с величайшим презрением и крайне раздраженным тоном, Ральф дал знак Ньюмену немедленно уйти и, бросившись в кресло, начал нетерпеливо постукивать ногой по полу.

— На этом мальчишке какое-то заклятье, — сказал Ральф, скрежеща зубами. — Обстоятельства сговорились помогать ему. Толкуют о милостях фортуны! Даже деньги бессильны перед таким дьявольским счастьем!

Он нетерпеливо засунул руки в карманы, но тем не менее в его размышлениях было что-то утешительное, потому что лицо его слегка прояснилось, и хотя на лбу залегла глубокая морщина, она говорила скорее о каких-то расчетах, чем о разочаровании.

— Этот Хоук в конце концов вернется, — пробормотал Ральф, — и, если только я этого человека знаю (а пора бы мне его знать), его гнев отнюдь не утратит за это время своей остроты. Вынужденное одиночество... однообразная жизнь больного... никаких развлечений... никаких выпивок... никакой игры... отсутствие всего, что он любит и чем живет... Вряд ли он забудет свои обязательства перед виновником всего этого! Мало кто мог бы забыть, а в особенности он... Нет, нет!

Он улыбнулся, покачал головой и, подперев рукой подбородок, задумался и снова улыбнулся. Немного погодя он встал и позвонил.

— Этот мистер Сквирс... заходил он сюда? — спросил Ральф.

— Заходил вчера вечером. Он здесь остался, когда я пошел домой, ответил Ньюмен.

— Знаю, болван. Разве мне это неизвестно? — раздражительно сказал Ральф. — Был он здесь с тех пор? Приходил сегодня утром?

— Нет! — рявкнул Ньюмен, сильно повысив голос.

— Если он придет, когда меня не будет, — он почти, наверно придет сегодня вечером часам к девяти, — пусть подождет. И если с ним придет еще один человек, а он придет... вероятно, — поправился Ральф, — пусть он тоже подождет.

— Пусть оба подождут? — спросил Ньюмен.

— Да, — ответил Ральф, бросив на него сердитый взгляд. — Помогите мне надеть спенсер и не повторяйте за мной, как попутай..

— Хотел бы я быть попугаем, — хмуро сказал Ньюмен.

— И я бы этого хотел, — отозвался Ральф, натягивая спенсер. — Я бы уже давно свернул вам шею.

Ньюмен не дал никакого ответа на эти любезные слова, но секунду смотрел через плечо Ральфа (в это время он поправлял ему воротник спенсера сзади) с таким видом, будто был весьма расположен ущипнуть его за нос. Встретив взгляд Ральфа, он быстро призвал к порядку свои блуждающие пальцы и потер свой собственный красный нос с энергией, поистине поразительной.

Не уделяя больше внимания эксцентрическому помощнику и ограничившись грозным взглядом и предостережением быть внимательным и не допускать ошибок, Ральф взял шляпу и перчатки и вышел.

По-видимому, у него были весьма необычные и разнообразные связи, ибо делал он весьма странные визиты: иные — в знатные богатые дома, а иные — в бедные домишки, но все они преследовали одну цель: деньги. Лицо Ральфа служило талисманом для привратников и слуг его благоденствующих клиентов и обеспечивало ему свободный доступ, хотя он приходил пешком, тогда как другие, подкатывавшие к дверям в экипажах, встречали отказ. Здесь он был воплощением вкрадчивости и раболепной учтивости: поступь была такой легкой, что ее почти заглушали толстые ковры, голос таким мягким, что его слышал лишь тот, к кому он обращался. Но в домах победнее Ральф был другим человеком: сапоги его скрипели в коридоре, когда он решительно входил; голос был грубым и громким, когда он требовал денег по просроченным счетам; угрозы резки и гневны. С третьей категорией клиентов он снова становился другим человеком. Это были ходатаи по делам с более чем сомнительной репутацией, которые помогали ему при новых сделках или извлекали свеженькую прибыль из старых. С ними Ральф был фамильярен и шутив, острлил на злободневные темы и с особым удовольствием говорил о банкротствах и денежных затруднениях, благоприятствовавших его делам. Короче, трудно было узнать того же самого человека под разными личинами, если бы не объемистый кожаный бумажник, набитый счетами и векселями, который он вытаскивал из кармана в каждом доме, и не однообразное повторение все той же жалобы (менялся только тон и стиль выражений), что все считают его богатым и, возможно, так бы и было, если бы ему платили долги, но что денег назад не получишь, раз они выпущены из рук, — ни основного капитала, ни процентов, — и жить трудно, трудно даже перебиваться со дня на день.

Настал вечер, прежде чем длительное это хождение (прерванное только для скудного обеда в ресторане) закончилось в Пимлико, и Ральф отправился домой через Сент-Джеймс-парк.

Какие-то хитроумные планы теснились в его голове, о чем могли бы свидетельствовать крепко сжатые губы и наморщенный лоб, даже если бы Ральф не оставался равнодушным к окружающим его предметам и зорко смотрел по сторонам. Так глубоко было раздумье Ральфа, что он, человек с нормальным зрением, не заметил какого-то субъекта, который то крался за его спиной, волоча ноги и бесшумно ступая, то опережал его на несколько шагов, то скользил рядом с ним и все время смотрел на него таким зорким взглядом и с такой настойчивостью и вниманием, что казалось, это лицо возникло в ярком сноовидении или назойливо глядит на него с какой-нибудь превосходной картины.

В течение некоторого времени небо хмурилось и темнело, и начинающийся ливень заставил Ральфа искать убежища под деревом. Сложив руки, он стоял, прислонившись к стволу, все еще погруженный в мысли, и вдруг, случайно подняв глаза, встретился взглядом с человеком, который, обойдя дерево, испытующе засматривал ему в лицо. Как видно, в эту минуту выражение лица ростовщика напомнило незнакомцу о прошлом, потому что он решился и, подойдя вплотную к Ральфу, назвал себя.

В первый момент Ральф, удивившись, отступил шага на два и окинул его взглядом с ног до головы. Сухощавый, смуглый, истощенный человек, примерно одних лет с ним, сутулый, с очень мрачным лицом, которого отнюдь не красили запавшие от голода и сильно загоревшие щеки и густые черные брови, казавшиеся еще чернее по контрасту с совершенно белыми волосами, одетый в грубый поношенный костюм странного и уродливого покроя, придававший ему вид приниженный и опустившийся, — вот все, что увидел Ральф в первую секунду. Но он взглянул еще раз, и лицо и фигура постепенно пробудили какое-то воспоминание, словно изменялись у него на глазах, уступая место чертам знакомым, пока, наконец, не превратились, как будто благодаря странному оптическому обману, в лицо и фигуру того, кого он знал в течение многих лет, потом забыл и потерял из виду почти столько же лет назад.

Человек понял, что его узнали, и, знаком предложив Ральфу снова вернуться под дерево и не стоять под дождем, которого тот вначале от изумления даже не заметил, заговорил хрипло и тихо.

— Я думаю, мистер Никльби, вряд ли вы меня узнали бы по голосу? — спросил он.

— Да, — сказал Ральф, устремив на него хмурый взгляд. — Хотя есть что-то в нем, что я сейчас припоминаю.

— Должно быть, мало осталось во мне такого, что вы могли бы припомнить по прошествии восьми лет... — заметил тот.

— Вполне достаточно, — небрежно ответил Ральф и отвернулся. — Более чем достаточно.

— Если бы я не совсем признал вас, мистер Никльби, — сказал тот, — этот прием и ваши манеры быстро рассеяли бы мои колебания.

— Вы ждали чего-то другого? — резко спросил Ральф.

— Нет! — сказал человек.

— Вы были правы, — заявил Ральф, — и раз вас это не удивляет, то к чему выражать удивление?

— Мистер Никльби! — решительно сказал человек после короткой паузы, в течение которой он как будто боролся с желанием ответить каким-нибудь упреком. — Согласны вы выслушать несколько слов, которые я хочу вам сказать?

— Я вынужден ждать здесь, пока дождь не утихнет, — сказал Ральф, посмотрев на небо. — Если вы намерены говорить, сэр, я не буду затыкать уши, хотя ваша речь может произвести на меня такое же впечатление, как если бы я их заткнул.

— Когда-то я пользовался вашим доверием... — начал его собеседник.

Ральф посмотрел на него и невольно улыбнулся.

— Да, — сказал тот, — вашим доверием, поскольку вам вообще угодно было дарить его кому бы то ни было.

— А! — подхватил Ральф, скрестив руки. — Это другое дело, совсем другое дело.

— Во имя гуманности не будем играть словами, мистер Никльби.

— Во имя чего? — переспросил Ральф.

— Во имя гуманности, — нахмурившись, повторил тот. — Я голоден и очень нуждаюсь. Если перемена, которую вы должны видеть во мне после такого долгого отсутствия, — должны, раз я, с кем она происходила медленно и постепенно, вижу ее и хорошо знаю, — если эта перемена не вызывает у вас жалости, то знайте, что хлеб — о! не хлеб насущный из молитвы господней, под которым, когда просят о нем в таких городах, как этот, подразумевается добрая половина всех предметов роскоши для богача и ровно столько грубой пищи, сколько нужно для поддержания жизни бедняка, — нет, но корка черствого хлеба недоступна мне сегодня! Пусть хоть это произведет на вас какое-то впечатление, если ничто другое не производит.

— Если это обычная форма, какою вы пользуетесь, когда просите милостыню, сэр, — сказал Ральф, — вы хорошо разучили свою роль! Но если вы прислушаетесь к совету того, кто знает кое-что о жизни и ее обычаях, я бы рекомендовал говорить тише, немного тише, иначе вам грозит опасность и в самом деле умереть с голоду.

С этими словами Ральф крепко сжал правой рукой запястье левой и, слегка наклонив голову набок и опустив подбородок на грудь, повернул к тому, с кем говорил, угрюмое, нахмуренное лицо — поистине лицо человека, которого ничто не может растрогать или смягчить!

— Вчера был мой первый день в Лондоне, — сказал старик, взглянув на свое загрязнившееся в дороге платье и стоптанные башмаки.

— Я думаю, лучше было бы для вас, если бы он был также и последним, отозвался Ральф.

— Эти два дня я искал вас там, где, казалось мне, больше всего вероятности было вас найти, — более смиренным тоном продолжал тот, — и, наконец, я увидел вас здесь, когда

уже почти потерял надежду встретиться с вами, мистер Никльби.

Казалось, он ждал ответа, но, так как Ральф никакого ответа не дал, он снова заговорил:

— Я самый несчастный и жалкий отверженный. Мне под шестьдесят, а у меня ничего нет — и я беспомощен, как шестилетний ребенок.

— Мне тоже шестьдесят лет, — сказал Ральф, а у меня есть все — и я не беспомощен. Работайте. Не произносите пышных театральных тирад о хлебе, но зарабатывайте его.

— Как? — вскричал тот. — Где? Укажите мне средство. Вы мне предоставите его?

— Однажды я это сделал, — спокойно ответил Ральф. — Вряд ли имеет смысл спрашивать, сделаю ли я это еще раз.

— Двадцать лет, если не больше, — продолжал тот приглушенным голосом, прошло с тех пор, как мы с вами разошлись. Вы это помните? Я потребовал, свою долю барыша от сделки, которую для вас устроил, и так как я настаивал, вы добились моего ареста за старую непогашенную ссуду в десять фунтов и сколько-то шиллингов, включая пятьдесят процентов с суммы займа.

— Припоминаю что-то в этом роде, — небрежно ответил Ральф. — И что же?

— Мы из-за этого не разошлись, — продолжал тот, я подчинился, будучи за решеткой и под замком, а так как вы не были тогда богачом, каким стали теперь, вы рады были принять обратно клерка, который не слишком щепетилен и кое-что знает о вашем ремесле.

— Вы просили и молили, и я согласился, — возразил Ральф. — Это было милостью с моей стороны. Быть может, вы были мне нужны... Не помню. Полагаю, что так, иначе вы просили бы тщетно. Вы были полезны: не слишком честны, не слишком разборчивы, не слишком чисты на руку или чистосердечны, но полезны.

— Полезен! Еще бы! — воскликнул тот. — Слушайте: вы унижали меня и угнетали, но я верно вам служил вплоть до того времени, хоть вы и обращались со мной, как с собакой. Так ли это?

Ральф ничего не ответил.

— Так ли это? — повторил тот.

— Вам платили жалованье, — сказал Ральф, — а вы исполняли свои обязанности. Мы были в расчете и могли объявить, что мы квиты.

— Тогда, но не после, — возразил тот.

— Разумеется, не после, и даже и не тогда, потому что, как вы сами только что сказали, вы были должны мне деньги и остаетесь моим должником, ответил Ральф.

— Это еще не все! — с жаром продолжал тот. — Это еще не все! Заметьте! Я не забыл той старой раны, можете мне поверить! Отчасти памятуя о ней, а отчасти в надежде заработать когда-нибудь на этой затее, я воспользовался моим положением у вас и обрел тайную власть над вами, и вы отдали бы половину своего состояния, чтобы узнать секрет, но узнать его вы могли только от меня. Я ушел от вас, если помните, много времени спустя и за какое-то мелкое мошенничество которое подлежало суду, но было пустяком по сравнению с тем, что ежедневно продельваете в пределах закона вы, ростовщики, был приговорен к семи годам каторги. Я вернулся таким, каким вы меня видите. А теперь, мистер Никльби, — продолжал он с сознанием своей власти, странно соединявшимся со смирением, — какую помощь и поддержку окажете вы мне, говоря яснее сколько дадите отступного? Мои претензии не очень велики, но я должен жить, а чтобы жить, я должен есть и пить. На вашей стороне деньги, на моей — голод и жажда. Покупка может обойтись вам дешево.

— Это все? — спросил Ральф, смотря на своего со» беседника все тем же неподвижным взглядом и шевеля одними губами.

— От вас зависит, мистер Никльби, все это или не все, — последовал ответ.

— Так слушайте же, мистер... не знаю, какой фамилией вас называть, начал Ральф.

— Прежней моей, если вам угодно.

— Так слушайте, мистер Брукер, — сказал Ральф самым резким тоном, — и не рассчитывайте добиться от меня других речей. Слушайте, сэр! Я вас знаю с давних пор и как законченного негодяя, но мужества у вас никогда не было, а тяжелая работа, быть может с

кандалами на ногах, и еда похуже, чем в те времена, когда я вас «унижал» и «угнетал», притупили ваш ум, иначе вы не стали бы занимать меня такими сказками. У вас власть надо мной! Храните свою тайну или разгласите ее, как вам угодно...

— Этого я сделать не могу, — перебил Брукер. — Эта мне ни к чему бы не послужило.

— Да? — сказал Ральф. — Послужит так же, как и ваше теперешнее появление, ручаюсь вам. Буду говорить с вами напрямик: я человек осторожный и дела свои знаю досконально. Я знаю свет, и свет меня знает. Что бы вы ни подсмотрели, ни подслушали и ни увидели, когда служили мне, свет это знает и даже преувеличивает. Вы не можете сообщить ничего такого, что бы его удивило, разве что в похвалу мне или к чести моей, а тогда он отвергнет вас, как лжеца. И, однако, я не нахожу, чтобы дела мои шли туго или клиенты были слишком разборчивы. Как раз напротив. То один, то другой ежедневно поносит меня или мне угрожает, — сказал Ральф, — но все идет по-старому, и я не становлюсь беднее.

— Я не поношу и не угрожаю, — возразил тот. — Я могу вам сказать, что вы потеряли вследствие моего поступка, что я могу вам вернуть и что, если умру, не вернув, умрет со мною и никогда не может быть обречено.

— Я довольно аккуратно считаю мои деньги и обычно охраняю их сам, сказал Ральф. — Я зорко слежу почти за всеми людьми, и особенно зорко я следил за вами. Вы можете пользоваться всем, что от меня утаили.

— Те, кто носит ваше имя, дороги они вам? — настойчиво спросил человек. — Если дороги...

— Нет! — перебил Ральф, раздраженный таким упорством и воспоминанием о Николасе, которое оживил этот последний вопрос. — Не дороги. Если бы вы пришли как простой нищий, может быть я бросил бы вам шесть пенсов в память того ловкого мошенника, каким вы были, но раз вы пытаетесь испробовать всем известные уловки на том, кого могли бы лучше знать, я не расстанусь и с полупенни — и не расстался бы даже, чтобы спасти вас от гибели! И помните, висельник! — продолжал Ральф, грозя ему пальцем. — Если мы еще раз встретимся и вы станете попрошайничать, вы снова очутитесь в стенах тюрьмы и будете укреплять эту вашу власть надо мной в промежутках между каторжными работами, для которых используют бродяг. Вот мой ответ на вашу болтовню. Получайте его!

Посмотрев презрительно и хмуро на предмет своего гнева, который выдержал его взгляд, но не произнес ни слова, Ральф отошел обычным своим шагом, нисколько не любопытствуя узнать, что делает недавний его собеседник, и даже ни разу не оглянувшись. Последний остался стоять на том же месте, не спуская глаз с удаляющейся фигуры, пока она не скрылась из виду, а затем, скрестив на груди руки, словно ему стало зябко от сырости и голода, побрел, волоча ноги, по аллее и стал просить милостыню у прохожих.

Ральф, взволнованный только что происшедшим лишь в той мере, в какой он это обнаружил, спокойно продолжал путь и, выйдя из парка и оставив по правую руку Гольдн-сквер, прошел по нескольким улицам в западном конце города, пока не свернул на ту, где находилась резиденция мадам Мантанини. Фамилия этой леди уже не красовалась на ослепительно сверкавшей дощечке у двери; ее место заняла фамилия мисс Нэг, но в угасающем свете летнего вечера шляпки и платья были попрежнему смутно видны в окнах первого этажа, и, не считая очевидной перемены владельца, заведение сохраняло прежнюю свою физиономию.

— Гм! — пробормотал Ральф с видом знатока, проводя рукой по губам и осматривая дом сверху донизу. — Эти люди на вид преуспевают. Долго они не протянут, но раз я заблаговременно узнал об их делах, опасность мне не грозит, а прибыль недурна. Я должен не упускать их из виду, вот и все.

Самодовольно качнув головой, Ральф собрался уйти, как вдруг тонкий его слух уловил какой-то шум и гуд голосов, а также беготню вверх и вниз по лестницам в том самом доме, который являлся предметом его наблюдений; и пока он колебался, постучать ли в дверь, или еще послушать у замочной скважины, служанка мадам Мантанини (которую он часто видел) внезапно распахнула дверь и стремительно выбежала, а голубые ленты ее чепчика

развевались в воздухе.

— Эй? вы! Стойте! — крикнул Ральф. — Что случилось? Я пришел. Вы не слышали, как я стучал?

— О мистер Никльби, сэр! — воскликнула девушка. — Ради господ бога, поднимитесь наверх! Хозяин взял да и опять это сделал.

— Что сделал? — резко спросил Ральф. — О чем вы говорите?

— Я знала, что так и будет, если его до этого доведут! — вскричала девушка. — Я давно это говорила.

— Идите сюда, глупая девчонка, — сказал Ральф, схватив ее за руку, — и не разносите семейных дел по соседям, не подрывайте репутации заведения. Идите сюда! Слышите?

Без дальнейших увещаний он повел, или, вернее, втолкнул, испуганную девушку в дом и захлопнул дверь, затем, приказав ей идти впереди, последовал за ней наверх.

Руководствуясь гулом множества голосов, говоривших одновременно, и обогнав в нетерпении свою девушку, едва они поднялись на несколько ступеней, Ральф быстро достиг маленькой гостиной, где был несколько поражен весьма странною сценой, которую неожиданно увидел.

Здесь находились все молодые леди-работницы, иные в шляпках, иные без шляпок, в разнообразных позах, выражающих смутнение и ужас; одни собрались вокруг мадам Манталини, которая заливалась слезами на одном стуле, другие вокруг мисс Нэг, которая заливалась слезами на другом, а иные вокруг мистера Манталини, который был, пожалуй, самой поразительной фигурой во всей группе, ибо ноги мистера Манталини были вытянуты во всю длину на полу, а голову его и плечи поддерживал рослый лакей, который как будто не знал, что с ними делать; глаза мистера Манталини были закрыты, лицо очень бледно, волосы плохо завиты, бакенбарды и усы обвисли, зубы стиснуты, и в правой руке он держал маленькую бутылочку, а в левой чайную ложечку, руки, ноги и плечи у него одеревенели и были неподвижны. И, однако, мадам Манталини не рыдала над его телом, но энергически ругалась, сидя на стуле; и всему этому сопутствовали громкие крики, которые буквально оглушали и, казалось, довели злосчастного лакея до грани сумасшествия.

— Что тут случилось? — спросил Ральф, проталкиваясь вперед.

При этом вопросе гул усилился в двадцать раз, и бурный поток пронзительных и противоречивых замечаний: «Он отравился» — «Нет, не отравился», «Пошлите за доктором» — «Не посылайте», «Он умирает» — «Не умирает, только притворяется!» — соединился с другими возгласами и полился с ошеломляющей быстротой, пока не было замечено, что мадам Манталини обращается к Ральфу, после чего женская жажда узнать, что она скажет, одержала верх, и, словно по взаимному соглашению, мгновенно спустилось мертвое молчание, не нарушаемое даже шепотом.

Мистер Никльби, — сказала мадам Манталини, я не знаю, какой случай привел вас сюда...

Тут услышали, как булькающий голос произнес, будто в бреду: «Дьявольская красота!» — но никто не обратил на это внимания, кроме лакея, который, испугавшись столь зловещих звуков, исходивших словно из-под самых его пальцев, уронил с довольно громким стуком голову своего хозяина на пол, а затем, не пытаясь ее поднять, посмотрел на окружающих с таким видом, будто совершил нечто замечательное.

— Но я хочу, — продолжала мадам Манталини, вытирая глаза и говоря с величайшим негодованием, — хочу сказать раз и навсегда при вас и при всех здесь присутствующих, что больше я не буду потворствовать расточительности и порокам этого человека. Долго я была глупа, и он меня дурачил! В будущем пусть он сам себя содержит, если может, и пусть тратит сколько ему угодно денег и на кого угодно. Но деньги эти будут не мои, а потому вы лучше подумайте, прежде чем оказывать ему доверие.

Затем мадам Манталини, не обращая внимания на весьма патетические жадобы своего супруга, что аптекарь приготовил недостаточно крепкий раствор синильной кислоты и что ему придется выпить еще одну-две бутылочки, чтобы закончить начатое дело, — принялась

перечислять галантные похождения этого приятного джентльмена, обманы, расточительность и измены (в особенности эти последние). В заключение она запротестовала против предположения, будто еще питает к нему хоть какую-нибудь склонность, и сослалась в доказательство этой перемены в своих чувствах на то, что за последние две недели он по крайней мере раз шесть пытался отравиться и ни разу она ни словом, ни делом не старалась спасти его жизнь.

— И я настаиваю на том, чтобы мы развелись и мне предоставили свободу, — всхлипывая, сказала мадам Манталини. — Если он посмеет отказать мне в разводе, я получу его по суду... Я могу его получить!.. И надеюсь, это послужит предостережением всем девушкам — свидетелям этой позорной сцены.

Мисс Нэг, будучи бесспорно старейшей девушкой из всех присутствовавших, сказала очень торжественно, что ей это послужит предостережением; то же сказали все молодые леди, за исключением двух или трех, которые как будто сомневались, могут ли такие бакенбарды провиниться.

— Зачем вы говорите все это перед столькими слушателями? — тихо сказал Ральф. — Вы знаете, что не думаете этого всерьез.

— Нет, всерьез! — громко возразила мадам Манталини, попятившись к мисс Нэг.

— Но подумайте, — увещевал Ральф, который был кровно заинтересован в этом деле. — Следовало бы здраво поразмыслить. У замужней женщины нет никакой собственности.

— Это вам не дьявольски одинокая особа, душа моя! — сказал мистер Манталини, приподнимаясь на локте.

— Я это прекрасно знаю, — заявила мадам Манталини, тряхнув головой, — и у меня собственности нет. Заведение, инвентарь, дом и все, что в нем находится, — все принадлежит мисс Нэг.

— Совершенно верно, мадам Манталини! — отозвалась мисс Нэг, с которой бывшая ее хозяйка тайком заключила дружеское соглашение по этому пункту. Сущая правда, мадам Манталини... гм!.. сущая правда! И никогда еще я не радовалась больше, чем теперь, что у меня хватило силы духа устоять перед брачными предложениями, как бы ни были они выгодны, когда я думаю о сегодняшнем моем положении, сравнивая его с вашим весьма печальным и весьма незаслуженным, мадам Манталини.

— Черт возьми! — вскричал мистер Манталини, поворачивая голову к жене. — Неужели она не ударит и не ущипнет завистливую старую вдовицу, которая осмеливается осуждать ее сокровище?

Но дни льстивых речей мистера Манталини миновали. — Мисс Нэг, сэр, закадычная моя подруга, — сказала его жена. И, хотя мистер Манталини закатывал глаза так, что им, казалось, грозила опасность никогда уже не вернуться на прежнее место, мадам Манталини не обнаружила ни малейшего желания смягчиться.

Следует отдать справедливость превосходной мисс Нэг: она-то и была повинна в этом изменившемся положении дел. Убедившись на повседневном опыте, что нет никакой надежды на процветание фирмы и даже на дальнейшее ее существование, пока в расходах участвует мистер Манталини, и будучи теперь весьма заинтересована в ее благополучии, мисс Нэг принялась усердно расследовать некоторые незначительные обстоятельства, связанные с частной жизнью этого джентльмена; она так хорошо осветила их и так искусно преподнесла мадам Манталини, что раскрыла этой последней глаза лучше, чем могли бы это сделать на протяжении многих лет самые глубокие и философические рассуждения. Достижению этой цели весьма способствовала случайно обнаруженная мисс Нэг нежная записка, в которой мадам Манталини называли «старой» и «вульгарной».

Однако, несмотря на свою стойкость, мадам Манталини очень горестно плакала, и, так как она оперлась на мисс Нэг и махнула рукой в сторону двери, сия молодая леди и все прочие молодые леди с соболезующими лицами повели ее из комнаты.

— Никльби! — воскликнул весь в слезах мистер Манталини. — Вы были призваны в

свидетели этой дьявольской жестокости со стороны самой дьявольской очаровательницы и поработительницы, когда-либо жившей на свете. О, проклятье! Я прощаю эту женщину.

— Прощаете?! — сердито повторила мадам Манталини.

— Я прощаю ее, Никльби, — сказал мистер Манталини. — Вы будете осуждать меня, свет будет осуждать меня, женщины будут осуждать меня. Все будут смеяться, и издеваться, и улыбаться, и ухмыляться дьявольски. Все будут говорить: «Ей было даровано счастье. Она его не познала. Он был слишком слаб. Он был слишком добр. Он был дьявольски хороший парень, но он любил слишком сильно. Он не может вынести ее гнева и брани! Дьявольский случай! Не бывало еще положения столь дьявольского!..» Но я ее прощаю.

После такой трогательной речи мистер Манталини снова упал навзничь и лежал, по всей видимости, без чувств и без движения, пока все женщины не вышли из комнаты, а тогда он осторожно принял сидячее положение и обратился к Ральфу весьма озадаченное лицо, все еще держа в одной руке бутылочку, а в другой-чайную ложку.

— Можете отложить теперь в сторону эти дурачества и снова промышлять своим умом, — сказал Ральф, хладнокровно берясь за шляпу.

— Черт возьми, Никльби, вы это всерьез?

— Я редко шучу, — холодно сказал Ральф. — Прощайте.

— Нет, право же, Никльби... — сказал Манталини.

— Быть может, я ошибаюсь, — отозвался Ральф. — Надеюсь, что так. Вам лучше знать. Прощайте.

Притворяясь, будто не слышит просьб подождать и дать совет, Ральф оставил павшего духом мистера Манталини наедине с его размышлениями и спокойно покинул дом.

— Ого! — сказал он. — Так скоро ветер подул в другую сторону? Наполовину мошенник и наполовину дурак, и все это обнаружилось. Думаю, ваши денечки миновали, сэр.

С этими словами он сделал какие-то пометки в записной книжке, где явно значилось имя мистера Манталини, взглянул на часы и, убедившись, что было между девятью и десятью, поспешил домой.

— Они здесь? — был первый вопрос, какой он задал Ньюмену.

Ньюмен кивнул.

— Уже полчаса.

— Вдвоем? Один толстый, елейный?

— Да, — сказал Ньюмен. — Сейчас в вашей комнате.

— Хорошо, — сказал Ральф. — Наймите мне карету.

— Карету! Как, вы... хотите... э?» — заикаясь, выговорил Ньюмен.

Ральф сердито повторил распоряжение, и Ногс, изумление которого было вполне извинительно ввиду такого необычайного и исключительного обстоятельства (он никогда в жизни не видел Ральфа в карете), отправился исполнять приказание и вскоре вернулся с экипажем.

В него уселись мистер Сквирс, Ральф и третий человек, которого Ньюмен Ногс видел впервые. Ньюмен стоял на пороге, провожая их и не трудясь любопытствовать, куда и по какому делу они едут, пока случайно не услышал, как Ральф назвал улицу, куда кучер должен был их отвезти.

С быстротой молнии и в величайшем недоумении Ньюмен бросился в свою комнатнушку за шляпой и, прихрамывая побежал за каретой, словно намереваясь вскочить на запятки, но эта затея ему не удалась: карета слишком опередила его и вскоре была уже безнадежно далеко, оставив его, задыхающегося, посреди пустынной улицы.

— А впрочем, не знаю, — сказал Ньюмен, останавливаясь, чтобы отдышаться, — какой был бы от меня толк, если бы я тоже поехал. Он бы меня увидел. Поехали туда! Что может из этого выйти? Если бы я знал вчера, я мог бы предупредить... Поехали туда! Тут какой-то злой умысел. Несомненно.

Его размышления были прерваны седым человеком с весьма примечательной, хотя

отнюдь не располагающей внешностью, который, тихо подойдя к нему, попросил милостыни.

Ньюмен, все еще в глубокой задумчивости, пошел прочь, но тот последовал за ним и рассказал ему такую жалкую историю, что Ньюмен (у него, казалось, безнадежно было просить, так как он имел слишком мало, чтобы давать) заглянул в свою шляпу в поисках нескольких полупенни, которые обычно завязывал в уголок носового платка, если они у него были.

Пока он усердно развязывал узел зубами, человек сказал что-то, остановившее его внимание, затем добавил еще что-то, а затем незнакомец и Ньюмен зашагали бок о бок: незнакомец с жаром говорил, а Ньюмен слушал.

Глава XLV,

повествующая об удивительном событии

— Раз мы завтра вечером уезжаем из Лондона и раз я не знаю, бывал ли я когда-нибудь так счастлив, мистер Никльби, то, ей-богу, я выпью еще стаканчик за следующую нашу радостную встречу!

Так говорил Джон Брауди, с величайшим удовольствием потирая руки и поворачивая во все стороны свое красное сияющее лицо, вполне подтверждавшее это заявление.

Когда Джон находился в этом завидном состоянии духа, был тот самый вечер, о котором шла речь в последней главе; местом действия являлся уже упоминавшийся нами коттедж, а собравшаяся компания состояла из Николаса, миссис Никльби, миссис Брауди, Кэт Никльби и Смайка.

Очень веселое было общество! После некоторых колебаний миссис Никльби, зная, чем обязан ее сын честному йоркширцу, дала согласие на то, чтобы мистер и миссис Брауди были приглашены к чаю. По случаю этой затеи возникли сначала всевозможные трудности и препятствия, вызванные тем, что она не имела возможности сначала «нанести визит» миссис Брауди, ибо, хотя миссис Никльби частенько замечала с большим самодовольством (как это свойственно особенно щепетильным людям), что у нее нет ни тени гордыни и чопорности, она была ярой сторонницей этикета и церемоний. А так как было очевидно, что пока визит не нанесен, она не может (выражаясь изысканно и согласно законам света) даже подозревать о факте существования миссис Брауди, она находила свое положение крайне деликатным и затруднительным.

— Первый визит должна сделать я, дорогой мой, — сказала миссис Никльби, — это необходимо. Дело в том, дорогой мой, что я должна оказать как бы некоторое снисхождение и дать понять этой молодой особе, что готова обратить на нее внимание. Очень респектабельный на вид молодой человек, — добавила миссис Никльби после короткого раздумья, — служит кондуктором одного из omnibuses, которые здесь проезжают, и носит клеенчатую шляпу — мы с твоей сестрой часто его замечали, — ты знаешь, Кэт, у него бородавка на носу, он похож на слугу джентльмена.

— Разве у всех слуг джентльменов бородавки на носу, мама? — осведомился Николас.

— Николас, дорогой мой, какие глупости ты говоришь! — возразила его мать. — Конечно, я хочу сказать, что он похож на слугу джентльмена своей клеенчатой шляпой, а не бородавкой на носу, хотя и это не так уж. странно, как тебе может показаться, потому что когда-то у нас был лакей, у которого была не только бородавка, но еще и жировая шишка, и вдобавок очень большая, и он потребовал, чтобы ему по этому случаю прибавили жалованья, так как он находил, что она обходится ему очень дорого. Позвольте-ка, о чем это я? Ах, да, помню! Самое лучшее, что я могу придумать, это отправить визитную карточку и мой привет с этим молодым человеком (я уверена, за кружку портера он согласится), к «Сарацину с двумя шеями». Если официант примет его за слугу джентльмена, тем лучше.

Затем все, что остается сделать миссис Брауди, это послать с ним же свою визитную карточку, и дело с концом.

— Дорогая мама, — сказал Николас, — я не думаю, чтобы у таких бесхитростных людей, как они, были визитные карточки, и вряд ли они у них когда-нибудь будут.

— О, в таком случае, Николас, дорогой мой, — отозвалась миссис Никльби, — это другое дело. Если ты так ставишь вопрос, тогда, конечно, мне больше нечего сказать, и я не сомневаюсь, что они очень хорошие люди, и отнюдь не возражаю, чтобы они пришли к чаю, и постараюсь быть очень вежливой с ними, если они придут.

Когда дело было таким образом благополучно улажено и миссис Никльби взяла на себя роль покровительственную и кротко снисходительную, подобающую ее общественному положению и супружескому опыту, мистер и миссис Брауди получили приглашение и явились. И так как они были очень почтительны к миссис Никльби и, казалось, надлежащим образом оценили ее величие и были чрезвычайно всем довольны, славная леди не раз сообщала шепотом Кэт, что, по ее мнению, они самые добропорядочные люди, каких ей случалось видеть, и держат себя безупречно.

Вот так-то и случилось, что Джон Брауди заявил в гостиной после ужина, а именно вечером без двадцати; минут одиннадцать, что никогда еще он не бывал так счастлив.

Да и миссис Брауди почти не отставала в этом отношении от мужа: эта молодая матрона, чья деревенская красота составляла очень милый контраст с более тонким очарованием Кэт, нисколько от этого контраста не страдая, так как обе они только оттеняли и дополняли одна другую, не уставала восхищаться изящными и обаятельными манерами молодой леди и очаровательной приветливостью пожилой. Кэт обнаружила умение наводить разговор на предметы, близкие сердцу деревенской девушки, сначала оробевшей в чуждом ей обществе. И если миссис Никльби иной раз бывала не столь удачлива в выборе темы разговора или, по выражению миссис Брауди, «говорила ужасно возвышенно», тем не менее любезность ее была безгранична, а чрезвычайный интерес к молодой чете выразился в очень длинных лекциях о домашнем хозяйстве, которыми она услужливо развлекала миссис Брауди. Они были иллюстрированы различными ссылками на экономное ведение домашнего хозяйства в коттедже (эти обязанности несла одна Кэт), в котором славная леди, пожалуй, участвовала теоретически практически не больше, чем любая из статуй двенадцати апостолов, украшающих снаружи собор св. Павла.

— Мистер Брауди, — сказала Кэт, обращаясь к его жене, — самый добродушный, сердечный и веселый человек, какого мне случалось видеть. Будь я угнетена несчетными заботами, я бы почувствовала себя снова счастливой, только взглянув на него.

— Честное слово, Кэт, он и в самом деле кажется превосходнейшим человеком, — сказала миссис Никльби, — превосходнейшим! И, право же, мне в любое время доставит удовольствие — да, удовольствие — видеть вас у себя, миссис Брауди, вот так, запросто, без церемоний. Мы ничего не выставяем напоказ, — сказала миссис Никльби тоном, казалось дающим понять, что они многое могли бы выставить напоказ, если бы были к тому расположены. — Никакой суеты, никаких приготовлений — я бы этого не допустила. Я сказала: «Кэт, дорогая моя, ты только приведешь в смущение миссис Брауди, и это было бы нелепо и необдуманно с нашей стороны!»

— Уверю вас, я вам очень признательна, сударыня, — с благодарностью ответила миссис Брауди. — Джон, уже скоро одиннадцать. Боюсь, что мы засиделись до позднего часа.

— До позднего часа! — повторила миссис Никльби с отрывистым смешком, который закончился коротким покашливанием в виде восклицательного знака. Для нас это совсем ранний час. Мы привыкли ложиться так поздно! Двенадцать, час, два, три часа для нас пустяки. Балы, обеды, карты! Нигде еще не бывало таких повес, как люди в тех краях, где мы жили. Право же, теперь я часто изумляюсь, как мы могли все это вынести, и какое это несчастье, когда имеешь такой большой круг знакомых и все тебя приглашают! Я бы не посоветовала молодоженам увлекаться этим. Но, разумеется, — и это вполне понятно, — я

думаю, это только к лучшему, что мало кого из молодоженов могут подстергать подобные соблазны. Была там одна семья, жившая примерно на расстоянии мили от нас — не по прямой дороге, но если круто повернуть влево у заставы, где плимутская почтовая карета переехала осли. Это были удивительные люди, они устраивали самые экстравагантные празднества с искусственными цветами, шампанским и разноцветными фонарями — короче говоря, со всевозможными деликатесами по части еды и питья, какие только может пожелать самый привередливый эпикуреец. Не думаю, чтобы нашлись еще такие люди, как эти Пелтирогез. Ты помнишь Пелтирогез, Кэт?

Кэт понимала, что для удобства и спокойствия гостей давно пора прервать этот поток воспоминаний, и потому ответила, что она необычайно живо и отчетливо помнит Пелтирогез, а затем добавила, что в начале вечера мистер Брауди обещал спеть йоркширскую песню и ей не терпится, чтобы он свое обещание исполнил, ибо это развлечет ее матушку и доставит всем удовольствие, которого не выразишь словами.

Когда миссис Никльби подтвердила замечание своей дочери с величайшей любезностью, — ибо и в этом было нечто покровительственное и как бы намек, что она обладает разборчивым вкусом и является чем-то вроде критика в такого рода вещах, — Джон Брауди принялся восстанавливать в памяти слова какой-то северной песенки и обратился за помощью к своей жене. Когда с этим было покончено, он проделал несколько неуклюжих движений на своем стуле и, выбрав одну муху на потолке среди других спавших там мух, устремил на нее взгляд и заревел громовым голосом чувствительный романс (предполагалось, что его поет нежный пастушок, готовый зачахнуть от любви и отчаяния).

К концу первого куплета, словно кто-то на улице ждал этого момента, чтобы дать о себе знать, послышался громкий и настойчивый стук в парадную дверь — такой громкий и такой настойчивый, что леди дружно вздрогнули, а Джон Брауди умолк.

— Должно быть, это по ошибке, — беззаботно сказал Николас. — Мы не знаем никого, кто бы мог прийти в этот час.

Однако миссис Никльби высказала опасение, не сгорела ли контора, или, быть может, «мистеры Чириблы» послали за Николасом, чтобы пригласить его в компаньоны (что несомненно казалось весьма правдоподобным в этот поздний час), или мистер Линкинуотер сбежал с кассой, или мисс Ла-Криви заболела, или, быть может...

Но вдруг восклицание Кэт резко оборвало ее догадки, и в комнату вошел Ральф Никльби.

— Пойдите! — сказал Ральф, когда Николас встал, а Кэт, подойдя к нему, оперлась на его руку. — Прежде чем этот юнец скажет слово, выслушайте меня.

Николас закусил губу и грозно потрянул головой, но, казалось, в тот момент не в силах был выговорить ни слова. Кэт теснее прижалась к нему, Смайк спрятался за их спинами, а Джон Брауди, который слышал о Ральфе и как будто узнал его без особого труда, занял позицию между стариком и своим молодым другом, как бы с целью помешать тому и другому сделать еще хоть шаг вперед.

— Слушайте меня, говорю я! — сказал Ральф. — Меня, а не его!

— Ну, так говори то, что хочешь сказать, сэр! — сказал Джон. — И смотри не распали гневом кровь, которую лучше бы ты постарался охладить.

— Вас я узнал бы по языку, — сказал Ральф, — а его (он указал на Смайка) — по виду.

— Не говорите с ним! — воскликнул Николас, вновь обретя голос. — Я этого не допущу. Я не желаю его слушать. Я этого человека не знаю. Я не могу дышать воздухом, который он отравляет. Его присутствие — оскорбление для моей сестры. Видеть его — позор! Я этого не потерплю!

— Стой! — крикнул Джон, положив свою тяжелую руку ему на плечо.

— Тогда пусть он немедленно уйдет! — вырываясь, воскликнул Николас. — Я не подниму на него руки, но он должен уйти. Я не потерплю его здесь. Джон, Джон Брауди, мой это дом? Ребенок я, что ли? Если он будет стоять здесь, вскричал Николас в бешенстве, — и смотреть с таким спокойствием на тех, кто знает его черное и подлое сердце, он доведет

меня до сумасшествия!

На все эти восклицания Джон Брауди не отвечал ни слова, но по-прежнему удерживал Николаса и, когда тот замолчал, стал говорить.

— Тут придется поговорить и послушать больше, чем ты думаешь, — сказал Джон Брауди. — Говорю тебе, я это уже почувал. Что это за тень там за дверью? Ну-ка, школьный учитель, покажись, приятель, нечего стыдиться. Ну-ка, старый джентльмен, подавайте сюда школьного учителя!

Услыхав такое приглашение, мистер Сквирс, который топтался в коридоре в ожидании минуты, когда ему целесообразно будет эффектно появиться, поневоле съежился и вошел без всякой помпы, причем Джон Брауди захохотал так заразительно и с таким удовольствием, что даже Кэт, несмотря на все огорчение, тревогу и изумление, вызванные этой сценой, и несмотря на слезы, выступившие у нее на глазах, почувствовала желание присоединиться к нему.

— Кончили веселиться, сэр? — спросил, наконец, Ральф.

— В настоящее время почти что кончил, сэр, — ответил Джон.

— Я могу подождать, — сказал Ральф. — Располагайте временем, прошу вас.

Ральф выждал, пока не наступило полное молчание, а затем, повернувшись к миссис Никльби, но не спуская настороженного взгляда с Кэт, словно больше интересуясь тем, какое впечатление это произведет на нее, сказал:

— Теперь, сударыня, выслушайте меня. Я не допускаю мысли, чтобы вы имели хоть какое-нибудь отношение к великолепной тираде, с какой обратился ко мне ваш мальчишка, ибо не верю, что, находясь в зависимости от него, вы сохранили хоть крупицу своей воли или что ваш совет, ваше мнение, ваши нужды, ваши желания, все то, что в силу вашего благоразумия (иначе какая была бы польза от вашего огромного жизненного опыта?) должно на него воздействовать, — не верю, что все это оказывает хоть малейшее влияние или водействие или хоть на секунду принимается им во внимание.

Миссис Никльби покачала головой и вздохнула, словно все это было в самом деле справедливо.

— По этой причине, — продолжал Ральф, — я обращаюсь к вам, сударыня. Отчасти по этой причине, а отчасти потому, что не хочу быть опозоренным поведением злобного юнца, от которого я принужден был отречься и который затем с мальчишеским величием сделал вид, будто — ха-ха! — отрекается от меня, я пришел сюда сегодня. Есть и другой мотив моего прихода — мотив, продиктованный человеколюбием. Я пришел сюда, — сказал Ральф, озираясь с ядовитой и торжествующей улыбкой и злорадно растягивая слова (как будто он ни за что не лишил бы себя удовольствия произнести их), — с целью вернуть отцу его ребенка. Да, сэр, — продолжал он, нетерпеливо наклоняясь вперед и обращаясь к Николасу, когда заметил, что тот изменился в лице, — вернуть отцу его ребенка, его сына, сэр, похищенного, обманутого ребенка, которого вы не отпускаете ни на шаг с гнусной целью отнять у него те жалкие деньги, какие он может когда-нибудь получить.

— Что касается этого, те вам известно, что вы лжете, — гордо сказал Николас.

— Что касается этого, то мне известно, что я говорю правду. Здесь со мной его отец, — возразил Ральф.

— Здесь! — с усмешкой подхватил Сквирс, выступая вперед. — Вы это слышите? Здесь! Не предостерегал ли я вас, что его отец может вернуться и отправить его назад во мие? Да, ведь его отец — мой друг, мальчик немедленно должен вернуться ко мне, немедленно! Ну-ка, что вы на это скажете, а? Ну-ка, что вы на это скажете? Не жалеете, что столько труда потратили даром, не жалеете, а?

— Вы носите на своей шкуре следы, оставленные мною, — сказал Николас, спокойно отворачиваясь, — и, в благодарность за них, можете говорить сколько вам угодно. Долго вам придется говорить, мистер Сквирс, прежде чем вы их сотрете.

Упомянутый достойный джентльмен бросил быстрый; взгляд на стол, словно эта реплика вызвала у него желание швырнуть в голову Николаса бутылку или кружку; но этому

замыслу (если таковой у него был) помешал Ральф, который, тронув его за локоть, попросил сообщить отцу, что он может явиться и потребовать сына.

Так как это было делом милосердия, мистер Сквирс охотно повиновался и, выйдя с этой целью из комнаты, почти немедленно вернулся, поддерживая елейного на вид человека с масленным лицом, который, вырвавшись от него и показав присутствующим физиономию и облик мистера Снаули, направился прямо к Смайку, заключил беднягу в неуклюжие объятия, зажав его голову под мышкой, и поднял в вытянутой руке свою широкополую шляпу в знак благочестивой благодарности, восклицая при этом:

— Я и не помышлял о такой радостной встрече, когда видел его в последний раз! О, я и не помышлял о ней!

— Успокойтесь, сэр, — с грубоватым сочувствием сказал Ральф, — теперь вы его обрели.

— Да, обрел! О, обрел ли я его? Обрел ли я его? — вскричал мистер Снаули, едва смея этому поверить. — Да, он здесь, во плоти!

— Плоти очень мало, — сказал Джон Брауди.

Мистер Снаули был слишком занят своими родительскими чувствами, чтобы обратить внимание на это замечание, и с целью окончательно удостовериться, что его дитя возвращено ему, снова засунул его голову себе под мышку и там ее и оставил.

— Что побудило меня почувствовать такой живой интерес к нему, когда этот достойный наставник юношества привел его в мой дом? Что побудило меня загореться желанием жестоко покарать его за то, что он убежал от лучших своих друзей, своих пастырей и наставников? — спросил Снаули.

— Это был родительский инстинкт, сэр, — заметил Сквирс.

— Да, это был он, сэр! — подхватил Снаули. — Возвышенное чувство, чувство древних римлян и греков, зверей полевых и птиц небесных, за исключением кроликов и котов, которые иной раз пожирают своих отпрысков. Сердце мое устремилось к нему. Я бы мог... не знаю, чего бы не мог я с ним сделать, обуянный гневом отца!

— Это только показывает, что значит природа, сэр, — сказал мистер Сквирс. — Чудная штука — природа.

— Она священна, сэр, — заметил Снаули.

— Я вам верю, — заявил мистер Сквирс с добродетельным вздохом. — Хотел бы я знать, как бы могли мы без нее обходиться. Природу, — торжественно сказал мистер Сквирс, — легче постигнуть, чем описать. О, какое блаженство пребывать в состоянии, близком к природе!

Во время эгой философической тирады присутствующие остолбенели от изумления, а Николас переводил зоркий взгляд со Снаули на Сквирса и со Сквирса на Ральфа, раздраемый чувством отвращения, сомнения и удивления. В этот момент Смайк, ускользнув от своего отца, бросился к Никодасу и в самых трогательных выражениях умолял не отдавать его и позволить ему жить и умереть около него.

— Если вы отец этого мальчика, — начал Николас, посмотрите, в каком он жалком состоянии, и подтвердите, что вы действительно намерены отослать его обратно в это отвратительное логово, откуда я его увел.

— Опять оскорбление! — закричал Сквирс. — Опомнитесь! Вы не стоите пороха и пули, но так или иначе я сведу с вами счеты.

— Стойте! — вмешался Ральф, когда Снаули хотел заговорить. — Давайте покончим с этим делом, не будем перебрасываться словами с безмозглым повесой. Это ваш сын, что вы можете доказать. А вы, мистер Сквирс, знаете, что это тот самый мальчик, который жил с вами столько лет под фамилией Смайк. Знаете вы это?

— Знаю ли я?! — подхватил Сквирс. — Еще бы мне не знать!

— Прекрасно, — сказал Ральф. — Несколько слов будет достаточно. У вас был сын от первой жены, мистер Снаули?

— Был, — ответил тот, — и вот он стоит.

— Сейчас мы это докажем, — сказал Ральф. — Вы разошлись с вашей женой, и она взяла мальчика к себе, когда ему был год. Вы получили от нее сообщение после того, как года два прожили врозь, что мальчик умер? И вы ему поверили?

— Конечно, поверил, — ответил Снаули. — О, радость...

— Будьте рассудительны, прошу вас, сэр! — сказал Ральф. — Это деловой вопрос, и восторги неуместны. Жена умерла примерно через полтора года, не позднее, в каком-то глухом местечке, где она служила экономкой. Так ли было дело?

— Дело было именно так, — ответил Снаули.

— И на смертном одре написала вам письмо или признание, касавшееся этого самого мальчика, которое дошло до вас несколько дней назад, да и то окольным путем, так как на нем не было никакого адреса, только ваша фамилия?

— Вот именно, — сказал Снаули. — Правильно до мельчайших подробностей, сэр!

— И это признание, — продолжал Ральф, — заключалось в том, что смерть его была ее измышлением с целью причинить вам боль, — короче говоря, являлась звеном в системе досаждать друг другу, которую вы оба, по-видимому, применяли, — что мальчик жив, но слабоумен и неразвит, что она поместила его через доверенное лицо в дешевую школу в Йоркшире, что несколько лет она платила за его обучение, а затем, терпя нужду и собираясь уехать из Англии, постепенно забросила его и просит простить ей это?

Снаули кивнул головой и потер глаза, — кивнул слегка, глаза же потер энергически. — Это была школа мистера Сквирса, снова заговорил Ральф. Мальчика доставили туда под фамилией Смайк, все подробности были сообщены полностью, даты в точности совпадают с записями в книгах мистера Сквирса. В настоящее время мистер Сквирс живет у вас; два других ваших мальчика находятся у него в школе. Вы сообщили ему о сделанном вами открытии, он привел вас ко мне, как к человеку, порекомендовавшему ему того, кто похитил вашего ребенка, а я привел вас сюда. Так ли это?

— Вы говорите, как хорошая книга, сэр, в которой нет ничего, кроме правды, — заявил Снаули.

— Вот ваш бумажник, — сказал Ральф, доставая его из кармана, — здесь свидетельства о вашем браке и о рождении мальчика, два письма вашей жены и все прочие документы, которые могут подтвердить эти факты прямо или косвенно, здесь они?

— Все до единого, сэр.

— И вы не возражаете против того, чтобы с ними здесь ознакомились, и пусть эти люди убедятся, что вы имеете возможность немедленно обосновать ваши требования перед коронным судом и судом разума и можете взять на себя надзор над вашим родным сыном безотлагательно. Так ли я вас понимаю?

— Я сам не мог бы понять себя лучше, сэр.

— Ну так вот! — сказал Ральф, швырнув бумажник на стол. — Пусть они просмотрят их, если угодно, а так как это подлинные документы, то я бы вам советовал стоять поближе, пока их будут изучать, иначе вы рискуете лишиться нескольких бумаг.

С этими словами Ральф сел, не дожидаясь приглашения, и, сжав губы, на секунду слетка раздвинувшиеся в улыбке, скрестил руки и в первый раз посмотрел на своего племянника.

Николас в ответ на это последнее оскорбление, метнул негодующий взгляд, но, овладев собой по мере сил, занялся пристальным изучением документов, в чем оказал ему помощь Джон Брауди. В них не было ничего, что могло бы быть оспорено. Свидетельства были по всем правилам заверены и представляли собою выписки из приходских книг; первое письмо действительно имело такой вид, словно было написано давно и хранилось уже много лет, почерк второго в точности ему соответствовал (если принять в рассуждение, что его писала особа, находившаяся в крайне тяжелом положении), и было еще несколько заметок и записей, которые не менее трудно было подвергнуть сомнению.

— Дорогой Николас, — прошептала Кэт, с беспокойством смотревшая через его плечо, — может ли быть, что это так? Он сказал правду?

— Боюсь, что да, — ответил Николас. — А вы что скажете, Джон?

Джон почесал голову, покачал ею, но ровно ничего не сказал.

— Заметьте, сударыня, — сказал Ральф, обращаясь к миссис Никльби, — что поскольку этот мальчик несовершеннолетний и слаб умом, мы могли прийти сюда сегодня, опираясь на власть закона и в сопровождении отряда полиции. Бесспорно, я так бы и поступил, сударыня, если бы не принял во внимание чувств ваших и вашей дочери.

— Вы уже принимали во внимание ее чувства, — сказал Николас, привлекая к себе сестру.

— Благодарю вас, — отозвался Ральф. — Ваша похвала, сэр, стоит многого.

— Как мы теперь поступим? — спросил Сквирс. — Эти извозчичьи лошади схватят насморк, если мы не тронемся в путь: вот одна из них уже чихает так, что распахнулась парадная дверь. Каков порядок дня? Едет ли с нами юный Снаули?

— Нет, нет, нет! — воскликнул Смайк, пятась и цепляясь за Николаса. Нет! Пожалуйста, не надо. Я не хочу уходить с ним от вас. Нет, нет!

— Это жестоко, — сказал Снаули, обращаясь за поддержкой к своим друзьям. — Для того ли родители производят на свет детей?

— А разве родители производят на свет детей вот этого? — напрямик сказал Джон Брауди, указывая на Сквирса?

— Не на ваше дело! — ответил этот джентльмен, насмешливо постукивая себя по носу.

— Не мое дело?! — повторил Джон. — Вот как! И по твоим словам, школьный учитель, никому не должно быть дела до этого. Вот потому, что никому нет дела, такие как ты и держаться на поверхности. Ну, куда ты лезешь? Черт побери, не вздумай наступать мне на ноги, приятель!

Переходя от слов к делу, Джон Брауди ткнул локтем в грудь мистера Сквирса, который двинулся к Смайку, ткнул с такой ловкостью, что владелец школы зашатался, попятился, налетел на Ральфа Никльби и, потеряв равновесие, свалил этого джентльмена со стула и сам тяжело рухнул на него.

Это случайное обстоятельство послужило сигналом для весьма решительных действий. В разгар шума, вызванного просьбами и мольбами Смайка, воплями и восклицаниями женщин и бурными пререканиями мужчин, сделаны были попытки насильно увести блудного сына. Сквирс уже потащил его к порогу, но Николас (который до сей поры явно колебался, как поступить) схватил Сквирса за шиворот и, встряхнув так, что зубы, еще оставшиеся у того во рту, зашатались, вежливо проводил его до двери и, вышвырнув в коридор, захлопнул за ним дверь.

— А теперь, — сказал Николас двум другим, — будьте добры последовать за вашим другом.

— Мне нужен мой сын, — сказал Снаули.

— Ваш сын выбирает сам, — ответил Николас. — Он предпочитает остаться здесь, и он здесь останется.

— Вы его не отдадите? — спросил Снаули.

— Я его не отдам против его воли, чтобы он стал жертвою той жестокости, на какую вы его обрекаете, словно он собака или крыса, — ответил Николас.

— Стукните этого Никльби подсвечником! — крикнул в замочную скважину мистер Сквирс. — И пусть кто-нибудь принесет мне мою шляпу, пока ему не вздумалось украсть ее.

— Право же, мне очень жаль, — сказала миссис Никльби, которая вместе с миссис Брауди стояла в углу, плача и кусая пальцы, тогда как Кэт (очень бледная, но совершенно спокойная) старалась держаться поближе к брату, право же, мне очень жаль, что все это случилось. Я не знаю, как следовало бы поступить, и это сущая правда. Николас должен лучше знать, и я надеюсь, что он знает. Конечно, трудно содержать чужих детей, хотя молодой мистер Снаули, право же, такой старательный и услужливый! Но если бы это уладилось по-хорошему, если бы, например, старый мистер Снаули согласился платить

некоторую сумму за стол и квартиру и порешили бы на том, чтобы два раза в неделю подавали рыбу и два раза пудинг, или яблоки, запеченные в тесте, или что-нибудь в этом роде, я думаю, все были бы вполне удовлетворены.

На это предложение, сопровождавшееся обильными слезами и вздохами и не совсем соответствовавшее сути дела, никто не обратил ни малейшего внимания. Поэтому бедная миссис Никльби принялась объяснять миссис Брауди преимущества такого плана и печальные последствия, неизбежно вытекавшие из невнимания к ней в тех случаях, когда она давала советы.

— Вы, сэр, — сказал Снаули, обращаясь к уstraшенному Смайку, чудовищный, неблагодарный, бессердечный мальчишка! Вы не хотите, чтобы я вас полюбил, когда я этого хочу. Пойдете вы домой или нет?

— Нет, нет, нет! — отпрянув, закричал Смайк.

— Он никогда никого не любил! — заорал в замочную скважину Сквирс. — Он никогда не любил меня, он никогда не любил Уэкфорда, а уж тот — прямо настоящий херувим. Как же вы после этого хотите, чтобы он полюбил своего отца? Он никогда не полюбит своего отца, никогда! Он не знает, что такое иметь отца. Он этого не понимает. Ему не дано понять.

С добрую минуту мистер Снаули пристально смотрел на своего сына, а затем, прикрыв глаза рукой и снова подняв вверх шляпу, как будто стал оплакивать черную его неблагодарность. Затем, проведя рукавом по глазам, он подхватил шляпу мистера Сквирса и, забрав ее под одну руку, а свою собственную под другую, медленно и грустно вышел из комнаты.

— Вижу, что ваш романический вымысел потерпел крах, сэр, — сказал Ральф, задержавшись на секунду. — Исчез неизвестный, исчез преследуемый отпрыск человека высокого звания, остался жалкий слабоумный сын бедного мелкого торговца. Посмотрим, устоит ли ваша симпатия перед этим простым фактом.

— Посмотрим! — сказал Николас, указывая на дверь.

— И поверьте, сэр, — добавил Ральф, — я отнюдь не ожидал, что вы — откажетесь от него сегодня вечером. Гордость, упрямство, репутация прекрасного человека — все было против этого. Но они будут раздавлены, сэр; растоптаны! И это случится скоро. Долгое и томительное беспокойство, расходы по судебному процессу в его самой удручающей форме, ежечасная пытка, мучительные дни и бессонные ночи — вот чем испытаю я вас и сломя ваш надменный дух, каким бы сильным вы его сейчас ни почитали. А когда вы превратите этот дом в ад и сделаете жертвою бедствий вон того несчастного (а вы иначе не поступите, я вас знаю) и тех, кто считает вас сейчас юным героем, — вот тогда мы с вами сведем старые счеты и увидим, за кем последнее слово и кто в конце концов лучше выпутался даже в глазах людей!

Ральф Никльби удалился. Но мистер Сквирс, который слышал часть заключительной речи и успел к тому времени раздуть свою бессильную злобу до неслыханных пределов, не удержался, чтобы не вернуться к двери гостиной и не проделать с дюжину антраша, сопровождая их отвратительными гримасами, выражавшими торжествующую его уверенность в падении и поражении Николаса.

Закончив военную пляску, во время которой весьма на виду были его короткие штаны и большие сапоги, мистер Сквирс последовал за своими друзьями, а семья осталась размышлять о происшедших событиях.

Глава XLVI,

отчасти проливает свет на любовь Николаса, но к добру или к худу — пусть решает читатель

После тревожных размышлений о тягостном и затруднительном положении, в каком он очутился, Николас решил, что должен не теряя времени обо всем откровенно рассказать добрым братьям.

Воспользовавшись первой же возможностью, когда он остался к концу следующего дня наедине с мистером Чарльзом Чириблом, он кратко изложил историю Смайка и скромно, но уверенно выразил надежду, что добрый старый джентльмен, приняв во внимание описанные Николасом обстоятельства, оправдает занятую им необычную позицию между отцом и сыном, а также и поддержку, оказанную Смайку в его неповиновении, — несомненно оправдает, хотя ужас и страх Смайка перед отцом могут показаться отталкивающими и противоестественными и в таком виде будут изображены, а люди, пришедшие на помощь Смайку, рискуют вызвать у всех отвращение.

— Ужас, испытываемый Смайком перед этим человеком, кажется столь глубоким, — сказал Николас, — что я едва могу поверить, что он действительно его сын. Природа не вложила ему в сердце ни малейшего чувства привязанности к отцу, а она, конечно, никогда не заблуждается.

— Дорогой мой сэр, — отозвался брат Чарльз, — здесь вы допускаете ошибку, весьма обычную, вменяя в вину природе дела, за которые она ни в какой мере не ответственна. Люди толкуют о природе как о чем-то отвлеченном и при этом упускают из виду то, что в самом деле свойственно природе. Этого бедного мальчика, никогда не знавшего родительской ласки, не изведавшего за всю свою жизнь ничего, кроме страданий и горя, представляют человеку, которого называют его отцом и который первым делом заявляет о своем намерении положить конец его короткому счастью, обречь его на прежнюю участь и разлучить с единственным другом, какой когда-либо у него был, — с вами. Если бы природа в данном случае вложила в грудь этого мальчика хоть одно затаенное побуждение, влекущее его к отцу и отрывающее от вас, она была бы лгуньей и идиоткой!

Николас пришел в восторг, видя, что старый джентльмен говорит с таким жаром, и, ожидая, что он еще что-нибудь добавит, ничего не ответил.

— Ту же ошибку я встречаю в той или иной форме на каждом шагу, — сказал брат Чарльз. — Родители, которые никогда не проявляли своей любви, жалуются на отсутствие естественной привязанности у детей; дети, никогда не исполнявшие своего долга, жалуются на отсутствие естественной привязанности у родителей; законодатели почитают жалкими и тех и других, хотя в жизни у них не было достаточно солнечного света для развития взаимной привязанности, читают высокопарные нравоучения и родителям и детям и кричат о том, что даже узы, налагаемые самой природой, находятся в пренебрежении. Природные склонности и инстинкты, дорогой сэр, являются прекраснейшими дарами всемогущего, но их нужно развивать и лелеять, как и другие прекрасные его дары, чтобы они не зачахли и чтобы новые чувства не заняли их места, подобно тому как сорная трава и вереск заглушают лучшие плоды земли, оставленные без присмотра. Я бы хотел, чтобы мы над этим задумались и, почаще вспоминая вовремя о налагаемых на нас природой обязательствах, поменьше говорили о них не вовремя.

Затем брат Чарльз, который на протяжении этой речи сильно разгорячился, приумолк, чтобы немного остыть, после чего продолжал:

— Вероятно, вы удивляетесь, дорогой мой сэр, что я почти без всякого изумления выслушал ваш рассказ. Это объясняется просто: ваш дядя был здесь сегодня утром.

Николас покраснел и отступил шага на два.

— Да, — сказал старый джентльмен, энергически ударив по столу, — здесь, в этой комнате. Он не хотел слушать доводы рассудка, чувства и справедливости. Но брат Нэд не щадил его. Брат Нэд, сэр, мог бы растопить булыжник.

— Он пришел... — начал Николас.

— Чтобы пожаловаться на вас, — ответил брат Чарльз, — отравить наш слух клеветой и ложью, но цели своей он не достиг и ушел, унося с собой несколько здравых истин. Брат Нэд, дорогой мой мистер Никльби, брат Нэд, сэр, настоящий лев! И Тим Линкинуотер, Тим

— настоящий лев. Сначала мы позвали Тима, чтобы Тим сразился с ним, и вы бы не успели вымолвить «Джек Робинсон»⁸⁵, сэр, как Тим уже напал на него.

— Чем отблагодарить мне вас за все, что вы ежедневно для меня делаете? — сказал Николас.

— Храните молчание и этим отблагодарите, дорогой мой сэр, — ответил брат Чарльз. — С вами поступят справедливо. Во всяком случае, вам не причинят зла. И зла не причинят никому из ваших близких. Они волоска не тренут на вашей голове, и на голове этого мальчика, и вашей матери, и вашей сестры. Я это сказал, брат Нэд это сказал, Тим Линкинуотер это сказал. Мы все это сказали, и мы все об этом позаботимся. Я видел отца — если это отец, а я думаю, что отец, — он варвар и лицемер, мистер Никльби. Я ему сказал: «Вы варвар, сэр». Да! Сказал: «Вы варвар, сэр». И я этому рад, я очень рад, что сказал ему «вы варвар», да, очень рад!

Брат Чарльз пришел в такое пылкое негодование, что Николас нашел уместным вставить слово, но в тот момент, когда он попытался это сделать, мистер Чирибд ласково положил руку ему на плечо и жестом предложил сесть.

— В данную минуту этот вопрос исчерпан, — сказал старый джентльмен, вытирая лицо. — Не затрагивайте его больше. Я хочу поговорить на другую тему, тему конфиденциальную, мистер Никльби. Мы должны успокоиться, мы должны успокоиться.

Пройдясь раза два-три по комнате, он снова уселся и, придвинув свой стул ближе к стулу Николаса, сказал:

— Я собираюсь дать вам конфиденциальное и деликатное поручение, дорогой мой сэр.

— Вы можете найти для этого много людей, более способных, сэр, — сказал Николас, — но смею сказать, более надежного и ревностного вам не найти.

— В этом я совершенно уверен, — отозвался брат Чарльз, — совершенно уверен. Вы не будете сомневаться в том, что я так думаю, если я вам скажу, что поручение это касается одной молодой леди.

— Молодой леди, сэр! — воскликнул Николас, дрожа от нетерпения услышать больше.

— Очень красивой молодой леди, — серьезно сказал мистер Чирибл.

— Пожалуйста, продолжайте, сэр, — попросил Николас.

— Я думаю о том, как это сделать, — сказал брат Чарльз грустно, как показалось его молодому другу, выражение его лица было страдальческое. Однажды утром, дорогой мой сэр, вы случайно увидели в этой комнате молодую леди в обмороке. Вы помните? Быть может, вы забыли...

— О нет! — быстро ответил Николас. — Я... я... очень хорошо помню.

— Это та самая леди, о которой я говорю, — сказал брат Чарльз.

Подобно пресловутому попугаю, Николас думал очень много, но не мог произнести ни слова.

— Она дочь одной леди, — сказал мистер Чирибл, которую я... когда она сама была красивой девушкой, а я на много-много лет моложе, чем теперь... которую я... кажется странным мне произносить сейчас это слово... я горячо любил. Пожалуй, вы улыбнетесь, слыша эти признания из уст седовласого человека. Вы меня не обидите, потому что, когда я был так же молод, как вы, я бы сам улыбнулся.

— Право же, у меня нет этого желания, — сказал Николас.

— Мой дорогой брат Нэд, — продолжал мистер Чирибл, — должен был жениться на ее сестре, но она умерла. И этой леди нет теперь в живых уже много лет. Она вышла замуж за своего избранника, и я был бы рад, если бы мог добавить, что последующая ее жизнь была такой счастливой, какую я, богу известно, всегда просил для нее в молитвах.

Наступило короткое молчание, которое Николас не пытался прервать.

— Если бы он мог переносить испытания так легко, как я надеялся в сокровенных глубинах моего сердца (надеялся ради нее), их жизнь была бы мирной и счастливой, —

спокойно произнес старый джентльмен. — Достаточно будет сказать, что случилось не так... Она не была счастлива... они столкнулись с тяжелыми разочарованиями и затруднениями, и за год до смерти она обратилась ко мне за помощью в память старой дружбы, глубоко изменившаяся, павшая духом от страданий и дурного обращения, с разбитым сердцем. Он охотно воспользовался деньгами, которые я, чтобы доставить ей хоть час покоя, готов был сыпать без счета; и мало того, он часто посылал ее снова за деньгами... и, однако, проматывая их, даже эти ее обращения ко мне за помощью, не оставшиеся без ответа, сделал предметом жестоких насмешек и острот, утверждая, будто ему известно, что она горько раскаивается в сделанном выборе, что она вышла за него из корыстных и тщеславных побуждений (он был веселым молодым человеком, имевшим знатных друзей, когда она избрала его своим мужем). Короче, он изливал на нее, пользуясь всеми недобросовестными и дурными средствами, всю горечь разорения и всю свою досаду, которые были вызваны только его распутством... В то время эта молодая девушка была маленькой девочкой. С тех пор я ни разу ее не видел до того утра, когда и вы ее увидели, но мой племянник Фрэнк...

Николас вздрогнул и, невнятно пробормотав извинение, попросил своего патрона продолжать.

— ...мой племянник Фрэнк, говорю я, — снова повел речь мистер Чирибл, через два дня по приезде в Англию встретил ее случайно и чуть ли не тотчас же потерял снова из виду. Ее отец прятался где-то, чтобы ускользнуть от кредиторов, доведенный болезнью и бедностью до края могилы, а она... если бы мы не верили в премудрость провидения, мы могли бы сказать, что это дитя было достойно лучшего отца... она стойко переносила лишения, унижения и испытания, самые ужасные для сердца такого юного и нежного создания, чтобы добывать для отца средства к жизни. В это тяжелое время, сэр, — продолжал брат Чарльз, — ей прислуживала одна преданная женщина, которая в прошлом служила в семье судомойкой, а теперь стала их единственной служанкой, но благодаря своему честному и верному сердцу она достойна — да! — достойна быть женой самого Тима Линкинуотера, сэр!

Произнеся эту похвалу бедной служанке с такой энергией и с таким удовлетворением, какие не поддаются описанию, брат Чарльз откинулся на спинку стула и с большим спокойствием изложил последнюю часть своего повествования.

Сущность ее заключалась в следующем: девушка гордо отвергла все предложения постоянной помощи и поддержки со стороны друзей своей покойной матери, ибо они ставили условием ее разлуку с этим жалким человеком, ее отцом, у которого никаких друзей не осталось; отказываясь из врожденной деликатности воззвать о помощи к тому честному и благородному сердцу, которое отец ее ненавидел и именно потому, что оно было исполнено великой доброты, жестоко оскорбил клеветой, молодая девушка боролась одна и без всякой поддержки, чтобы прокормить отца трудами своих рук. В крайней бедности и в горе она трудилась без устали, не тяготясь мрачным раздражением больного человека, которого не подкрепляли никакие утешительные воспоминания о прошлом или надежды на будущее, никогда не сокрушаясь о том благополучии, которое она отвергла, и не оплакивая печальной доли, какую она добровольно избрала. Все маленькие познания, приобретенные ею в дни более счастливые, были использованы ею и направлены к достижению одной цели. В течение двух долгих лет, трудясь днем, а часто и ночью, с иглой, карандашом или пером в руке, она терпела в качестве приходящей гувернантки все капризы и все те оскорбления, какие женщины (и женщины, имеющие дочерей) слишком часто любят наносить особам их же пола, словно завидуя уму более развитому, к услугам которого они вынуждены прибегать; она терпела оскорбления, в девяносто девяти случаях из ста обрушивающиеся на тех, кто неизмеримо и несравнимо лучше этих женщин, и превышающие все, что позволяет себе самый бессердечный шулер с ипподрома по отношению к своему груму. В течение двух долгих лет, исполняя все свои обязанности и не тяготясь ни одной, она тем не менее не достигла единственной цели своей жизни и, побежденная нарастающими трудностями и разочарованиями, принуждена была разыскать старого друга своей матери и, с

надрывающимся сердцем, довериться, наконец, ему.

— Будь я беден, — сверкая глазами, сказал брат Чарльз, — будь я беден, мистер Никльби, дорогой мой сэр, — но, слава богу, я не беден, — я отказывал бы себе (разумеется, это сделал бы всякий при таких обстоятельствах) в самом необходимом, чтобы помочь ей. Однако даже теперь эта задача трудна. Если бы ее отец умер, то все было бы очень просто, ибо тогда она жила бы с нами, словно наше дитя или сестра, и благодаря ее присутствию наш дом стал бы самым счастливым. Но он еще жив. Никто не может ему помочь: это было испытано тысячу раз; не без причины он всеми покинут, я это знаю.

— Нельзя ли убедить ее... — тут Николас запнулся.

— Уйти от него? — спросил брат Чарльз. — Кто решился бы уговаривать дочь покинуть отца? С такими мольбами, при условии, что время от времени она будет с ним видаться, к ней обращались не раз (я, правда, не обращался), но всегда безуспешно.

— Добр ли он к ней? — спросил Николас. — Заслуживает ли он ее привязанности?

— Подлинная доброта, доброта, выражающаяся во внимании к другому и в самоотречении, чужда его натуре, — ответил мистер Чирибл. — Думаю, он к ней относится с той добротой, на какую способен. Мать была нежным, любящим, доверчивым созданием, и, хотя он терзал ее со дня свадьбы и вплоть до ее смерти так жестоко и бессмысленно, как только может терзать человек, она не переставала любить его. На смертном одре она поручила его заботам дочери. Ее дочь этого не забыла и никогда не забудет.

— Вы не имеете на него никакого влияния? — спросил Николас.

— Я, дорогой мой сэр?! Меньше, чем кто бы то ни было. Его ревность и ненависть ко мне велики; знай он, что его дочь открыла мне свое сердце, он отравил бы ей жизнь упреками, а вместе с этим — таковы его непоследовательность и себялюбие, — если бы он знал, что каждый ее пенни получен от меня, он не отказался бы ни от одной своей прихоти, какую можно удовлетворить при самом безрассудном расточении ее скудных средств.

— Бессердечный негодяй! — с возмущением воскликнул Николас.

— Не будем прибегать к грубым словам, — мягко сказал брат Чарльз, — лучше приноровимся к тем условиям, в каких находится эта молодая леди. То пособие, какое я заставил ее принять, я принужден, по горячей ее просьбе, выдавать самыми небольшими суммами, иначе, узнав, как легко достались деньги, он растратил бы их с еще большим легкомыслием, чем привык это делать. Даже за ними она приходила сюда потихоньку и по вечерам, а я не могу терпеть, чтобы так продолжалось впредь, мистер Никльби, право же, не могу.

И тогда обнаружилось мало-помалу, как добрые старые близнецы обдумывали всевозможные планы и проекты помочь этой молодой леди наивозможно деликатней и осторожней, чтоб ее отец не заподозрил, из какого источника поступают средства; и как они пришли, наконец, к заключению, что лучше всего будет сделать вид, будто у нее покупают по высокой цене маленькие ее рисунки и вышивки, и позаботиться о том, чтобы на них был постоянный спрос. Для осуществления такого намерения необходимо было, чтобы кто-нибудь играл роль торговца этими предметами, и после глубоких размышлений они избрали исполнителем этой роли Николаса.

— Он меня знает, — сказал брат Чарльз, — и моего брата Нэда он знает. Ни один из вас не подойдет. Фрэнк превосходный мальчик, превосходный, но мы опасаемся, что он может оказаться немножко легкомысленным и опрометчивым для такого деликатного дела и что, пожалуй, он... что, короче говоря, он, быть может, слишком впечатлителен (она красивая девушка, сэр, вылитый портрет своей бедной матери). Влюбившись в нее, прежде чем хорошенько разберется в своих чувствах, он принесет страдания и печаль невинному сердцу, тогда как мы бы хотели быть смиренным орудием, постепенно возвращающим ему счастье. Фрэнк чрезвычайно заинтересовался ее судьбой, когда в первый раз случайно ее встретил. А расспросив его, мы вывели заключение, что из-за нее он затеял ту ссору, которая привела к вашему с ним знакомству.

Николас пробормотал, что он и раньше допускал такую возможность, а в объяснение

своей догадки рассказал, когда и где впервые увидел молодую леди.

— В таком случае, — продолжал брат Чарльз, — вы понимаете, что он для этой цели не подходит. О Тиме Линкинуотере не может быть и речи, потому что Тим, сэр, такой ужасный человек, что ему никак не удастся обуздать себя и он вступит в пререкания с отцом, пяти минут не пробыв в доме. Вы не знаете, каков Тим, сэр, когда его взволнует что-нибудь, чрезвычайно задевающее его чувства; тогда он страшен, сэр, да, Тим Линкинуотер просто страшен! А к вам мы можем отнестись с полным доверием. В вас мы нашли — во всяком случае, я нашел, но это одно и то же, потому что между мной и моим братом Нэдом никакой разницы нет, разве что он добрейшее создание в мире и нет и никогда не будет на свете человека, равного ему, — в вас мы нашли добродетели и наклонности семьянина и ту деликатность чувства, которая делает вас подходящим для этого поручения. Вы тот, кто нам нужен, сэр.

— Молодая леди, сэр, — начал Николас, который пришел в такое смущение, что ему немалого труда стоило сказать хоть что-нибудь, — она... она принимает участие в этой невинной хитрости?

— Да, — ответил мистер Чирибл. — Во всяком случае, она знает, что вы явитесь от нас; однако ей неизвестно, как мы будем распоряжаться теми вещами, какие вы будете время от времени покупать, и быть может, если вы очень искусно поведете дело (вот именно — очень искусно), быть может, удастся заставить ее поверить, что мы... извлекаем из них прибыль. Ну как? Ну как?

Это невинное и простодушнейшее предположение делало брата Чарльза таким счастливым, а надежда, что молодой леди удастся внушить мысль, будто она ему ничем не обязана, доставляла ему такую радость и такое утешение, что Николас отнюдь не захотел бы выразить свои сомнения касательно этого вопроса.

Но все это время с языка его готово было сорваться признание в том, что те самые возражения, какие изложил мистер Чирибл против привлечения к этой миссии своего племянника, относились, во всяком случае в равной мере и с такими же основаниями, к нему самому, и сотню раз он собирался признаться в подлинных своих чувствах и просить, чтобы его избавили от такого поручения. Но столько же раз по пятам за этим побуждением следовало другое, заставлявшее его молчать и хранить тайну в своем сердце. «Зачем буду я сеять затруднения на пути к осуществлению этого благого и великодушного замысла? — думал Николас. — Что за беда, если я люблю и почитаю это доброе и великодушное создание? Разве не показался бы я самым дерзким и пустым фатом, если бы серьезно заявил, что ей грозит какая-то опасность влюбиться в меня? А помимо этого, разве я себе ничуть не доверяю? Разве этот превосходный человек не имеет нрава на мою самую безупречную и преданную службу и неужели какие бы то ни было личные соображения помешают мне оказать ему эту услугу?»

Задавая себе такие вопросы, Николас мысленно отвечал на них весьма энергическим «нет», убеждал себя в том, что он — самый совестливый и славный мученик, и благородно решил исполнить то, что показалось бы ему невыполнимым, если бы он с большим вниманием исследовал свои чувства. Такова ловкость рук, когда мы плутуем сами с собой и даже наши слабости превращаем в великолепные добродетели!

Мистер Чирибл, разумеется, отнюдь не подозревавший, что такого рода мысли приходили на ум его молодому другу, принялся давать ему необходимые указания для первого его визита, который был назначен на следующее утро. Когда все предварительные переговоры были закончены и было предписано строго хранить тайну, Николас отправился вечером домой, погруженный в глубокое раздумье.

Место, куда направил его мистер Чирибл, было застроено неприглядными и грязными домами, расположенными в пределах «тюремных границ» тюрьмы Королевской Скамьи⁸⁶ и в нескольких сотнях шагов от обелиска на Сент-Джордж-Филдс. «Границы» являются своего

рода привилегированным районом, примыкающим к тюрьме и включающим примерно двенадцать улиц; должникам, имеющим возможность добыть деньги для уплаты тюремному начальству больших взносов, на которые их кредиторы не могут посягнуть, разрешается проживать там благодаря мудрой предусмотрительности тех самых просвещенных законов, какие оставляют должника, не имеющего возможности добыть никаких денег, умирать с голоду в тюрьме, без пищи, одежды, жилища и тепла, а ведь все это предоставляется злодеям, совершившим самые ужасные преступления, позорящие человечество. Много есть приятных фикций, сопровождающих проведение закона в жизнь, но самой приятной и в сущности самой юмористической является та, что полагает всех людей равными перед беспристрастным его оком, а благие плоды всех законов равно достижимыми для всех людей, независимо от содержимого их карманов.

К этим домам, указанным ему мистером Чарльзом Чириблом, направил стопы Николас, не утруждая себя размышлениями о таких предметах, и к этим домам подошел он, наконец, с трепещущим сердцем, миновав сначала очень грязный и пыльный пригород, основными и отличительными чертами которого являлись маленькие театрики, моллюски разных видов, имбирное пиво, рессорные повозки и лавки зеленщиков и старьевщиков. Перед домами были маленькие палисадники, которые, находясь в полном пренебрежении, служили хранилищами, где собиралась пыль, пока не налетал из-за угла ветер и не гнал ее вдоль по дороге. Открыв расшатанную калитку перед одним из этих домов, — болтаясь на сломанных петлях она впускала и вместе с тем отталкивала посетителя, Николас дрожащей рукой постучал в парадную дверь.

Снаружи это был очень жалкий дом с тусклыми окнами в гостиной и с очень неприглядными шторами и очень грязными муслиновыми занавесками в нижней половине окон, висевшими на очень слабо натянутых шнурках. И внутреннее убранство дома, когда запахнулась дверь, по-видимому, не противоречило наружному его виду, ибо на лестнице лежал выцветший ковер, а в коридоре выцветшая вошанка. В довершение этих удобств некий джентльмен, пользующийся привилегиями тюрьмы Королевской Скамьи, ожесточенно курил (хотя полдень еще не настал) в гостиной, выходявшей окнами на улицу, а у двери задней гостиной хозяйка дома старательно смазывала скипидаром разобрannую на части кровать с пологом, по-видимому готовясь к приему нового постояльца, которому посчастливится ее занять.

У Николаса было достаточно времени сделать эти наблюдения, пока мальчик, исполнявший поручения жильцов, сбежал с грохотом по кухонной лестнице и пронзительно, словно из какого-то отдаленного погреба, позвал служанку мисс Брэй. Вскоре появившись и предложив Николасу следовать за ней, служанка вызвала у него более серьезные симптомы нервности и смятения, чем те, какие были бы оправданы его естественным вопросом, можно ли видеть молодую леди.

Однако он пошел наверх, и его ввели в комнату окнами на улицу, и здесь у окна за столиком с разложенными на нем принадлежностями для рисования, работала красивая девушка, которая владела его мыслями и которая в силу нового и глубокого интереса, вызванного у Николаса ее историей, показалась ему сейчас в тысячу раз красивее, чем он когда-либо предполагал.

Но как растрогали сердце Николаса грация и изящество, с какими она украсила убого меблированную комнату! Цветы, растения, птицы, арфа, старое фортепьяно, чьи струны звучали гораздо нежнее в былые времена, — каких усилий стоило ей сохранить эти два последних звена порванной цепи, еще связывавшей ее с родным домом! Какое терпенье и какая нежная любовь были вложены в каждое маленькое украшение, сделанное ею в часы досуга и полное того очарования, какое связано с каждой изящной вещицей, созданной женскими руками! Николасу казалось, что небо улыбается этой комнатке, что прекрасное самопожертвование такой юной и слабой девушки проливает лучи на все неодушевленные предметы вокруг и делает их такими же прекрасными, как она; ему казалось, что нимб, каким окружают старые художники головы ангелов безгрешного мира, светится над

существом, родственным им по духу, и это сияние видимо ему.

Однако Николас находился в «тюремных границах» тюрьмы Королевской Скамьи! Другое дело, если бы он был в Италии, а временем действия был час заката солнца, а местом действия — великолепная терраса! Но единое широкое небо раскинулось над всем миром, и, синее оно или пасмурное, за ним есть иное небо, одинаковое для всех. Вот почему Николасу, пожалуй, незачем было упрекать себя за такие мысли.

Не следует предполагать, что он с первого же взгляда заметил все окружающее: сначала он и не подозревал о присутствии больного, сидевшего в кресле и обложенного подушками, который, беспокойно и нетерпеливо зашевелившись, привлек, наконец, его внимание.

Вряд ли ему было больше пятидесяти лет, но он был так изможден, что казался значительно старше. Его лицо сохранило остатки былой красоты, но в нем легче было заметить следы сильных и бурных страстей, чем отпечаток тех чувств, которые придают значительно большую привлекательность лицу, далеко не столь красивому. Вид у него был изнуренный, тело истаяло буквально до костей, но в больших запавших глазах еще осталось что-то от бывшего огня, и этот огонь как будто разгорелся с новой силой, когда он нетерпеливо ударил раза два или три по полу своей толстой тростью, на которую опирался, сидя в кресле, и окликнул дочь по имени.

— Маделайн, кто это? У кого может быть здесь какое-то дело? Кто сказал чужому человеку, что нас можно видеть? Что это значит?

— Мне кажется... — начала молодая леди, с некоторым смущением наклонив голову в ответ на поклон Николаса.

— Тебе всегда кажется! — с раздражением перебил отец. — Что это значит?

К тому времени Николас обрел присутствие духа настолько, что мог объяснить сам, и потому сказал (как было условлено заранее), что он пришел заказать два ручных экрана и бархатное покрывало для оттоманки; и то и другое должно отличаться самым изящным рисунком, причем срок исполнения и цена не имеют ни малейшего значения. Он должен также заплатить за два рисунка и, подойдя к маленькому столику, положил на него банкнот в запечатанном конверте.

— Маделайн, посмотри, верен ли счет, — сказал ее отец. — Распечатай конверт, дорогая моя.

— Я уверена, что все в порядке, папа.

— Дай! — сказал мистер Брэй, протягивая руку и нетерпеливо, с раздражением сжимая и разжимая пальцы. — Дай, я посмотрю. О чем это ты толкуешь, Маделайн? Ты уверена! Как можешь ты быть уверена в таких вещах? Пять фунтов — ну что, правильно?

— Совершенно правильно, — сказала Маделайн, наклоняясь к нему.

Она с таким усердием оправляла подушки, что Николас не видел ее лица, но, когда она нагнулась, ему показалось, что упала слезинка.

— Позвони, позвони! — сказал больной все с тем же нервным возбуждением, указывая на колокольчик, и рука его так дрожала, что банкнот зашелестел в воздухе. — Скажи ей, чтобы она его разменяла, принесла мне газету, купила мне винограду, еще бутылку того вина, какое у меня было на прошлой неделе, и... и... сейчас я забыл половину того, что мне нужно, но она может сходить еще раз. Сначала пусть принесет все это, сначала все это, Маделайн, милая моя, скорее, скорее. Боже мой, какая ты неповоротливая!

«Он не подумал ни о чем, что может быть нужно ей!» — мелькнуло у Николаса.

Быть может, некоторые его размышления отразились на его лице, потому что больной, очень резко повернувшись к нему, пожелал узнать, не ждет ли он расписки.

— Это не имеет никакого значения, — сказал Николас.

— Никакого значения! Что вы хотите этим сказать, сэр? — последовала гневная реплика. — Никакого значения! Вы думаете, что принесли ваши жалкие деньги из милости, как подарок? Разве это не коммерческая сделка и не плата за приобретенные ценности? Черт побери, сэр! Если вы не умеете ценить время и вкус, потраченные на товары, которыми вы

торгуете, значит, по-вашему, вы зря выбрасываете деньги? Известно ли вам, сэр, что вы имеете дело с джентльменом, который в былое время мог купить пятьдесят таких субъектов, как вы, со всем вашим имуществом в придачу? Что вы хотите этим сказать?

— Я хочу только сказать, что так как я желал бы поддерживать деловые отношения с этой леди, то не стоит затруднять ее такими формальностями, ответил Николас.

— А я, если вам угодно, скажу, что у нас будет как можно больше формальностей, — возразил ее отец. — Моя дочь не просит одолжений ни у вас, ни у кого бы то ни было. Будьте добры строго придерживаться деловой стороны и не преступать границ. Каждый мелкий торговец будет ее жалеть? Честное слово, очень недурно! Маделайн, дорогая моя, дай ему расписку и впредь не забывай об этом.

Пока она делала вид, будто пишет расписку, Николас раздумывал об этом странном, но довольно часто встречающемся характере; который ему представилась возможность наблюдать, а калека, испытывавший, казалось, по временам сильную физическую боль, поник в своем кресле и слабо застонал, жалуясь, что служанка ходит целый час и что все сговорились досаждать ему.

— Когда мне зайти в следующий раз? — спросил Николас, беря клочок бумаги.

Вопрос был обращен к дочери, но ответил немедленно ее отец:

— Когда вам предложат зайти, сэр, но не раньше. Не надоедайте и не понукайте. Маделайн, дорогая моя, когда может зайти этот человек?

— О, не скоро, не раньше чем через три-четыре недели. Право же, раньше нет никакой необходимости, я могу обойтись, — с живостью отозвалась молодая леди.

— Но как же мы можем обойтись? — возразил ее отец, заговорив шепотом. Три-четыре недели, Маделайн! Три-четыре недели!

— В таком случае, пожалуйста, раньше, — сказала молодая леди, повернувшись к Николасу.

— Три-четыре недели, — бормотал отец. — Маделайя, как же это... ничего не делать три-четыре недели?

— Это долгий срок, сударыня, — сказал Николас.

— Вы так думаете? — сердито отозвался отец. — Если бы я, сэр, пожелал унижаться и просить помощи у тех, кого я презираю, три-четыре месяца не было бы долгим сроком. Поймите, сэр, — в том случае, если бы я пожелал от кого-нибудь зависеть! Но раз я этого не желаю, вы можете зайти через неделю.

Николас низко поклонился молодой леди и вышел, размышляя о понятиях мистера Брэя касательно независимости и от всей души надеясь, что такой независимый дух не часто обитает в тленной человеческой оболочке.

Спускаясь по лестнице, он услышал за собой легкие шаги. Оглянувшись, он увидел, что молодая леди стоит на площадке и, робко глядя ему вслед, как будто колеблется, окликнуть ей его или нет. Наилучшим разрешением вопроса было вернуться немедленно, что Николас и сделал.

— Не знаю, правильно ли я поступаю, обращаясь к вам с просьбой, сэр, быстро сказала Маделайн, — но пожалуйста, пожалуйста, не рассказывайте дорогим друзьям моей бедной матери о том, что здесь сегодня произошло. Он очень страдал, и сегодня ему хуже. Я вас об этом прошу, сэр, как о милости, как об услуге мне!

— Вам достаточно намекнуть о своем желании, — пылко ответил Николас, — и я готов поставить на карту свою жизнь, чтобы удовлетворить его.

— Вы говорите опрометчиво, сэр.

— Так правдиво и искренне, как только может говорить человек! — возразил Николас, у которого дрожали губы, когда он произносил эти слова. — Я не мастер скрывать свои чувства, да если бы и мог это сделать, я бы не мог скрыть от вас мое сердце. Сударыня! Я знаю вашу историю и чувствую то, что должны чувствовать люди и ангелы, слыша и видя подобные вещи, а потому я умоляю вас верить в мою готовность умереть, служа вам!

Молодая леди отвернулась, и было видно, что она плачет.

— Простите меня, — почтительно и страстно воскликнул Николас, — если я сказал слишком много или злоупотребил тайной, которую мне доверили! Но я не мог уйти от вас так, словно мой интерес и участие угасли, раз сегодняшнее поручение исполнено. Я — ваш покорный слуга с этой минуты, смиренно вам преданный слуга, чья преданность зиждется на чести и верности тому, кто послал меня сюда, слуга, сохраняющий чистоту сердца и почтительнейшее уважение к вам. Если бы я хотел сказать больше или меньше того, что сказал, я был бы недостоин его внимания и оскорбил бы ложью природу, которая побуждает меня произнести эти правдивые слова.

Она махнула рукой, умоляя его уйти, но не ответила ни слова. Николас больше ничего не мог сказать и молча удалился. Так закончилось первое его свидание с Маделайн Брэй.

Глава XLVII,

Мистер Ральф Никльби ведет конфиденциальный разговор с одним старым другом. Вдвоем они составляют проект, который сулит выгоду обоим

— Вот уже три четверти пробило, — пробормотал Ньюмен Ногс, прислушиваясь к бою часов на соседней церкви, — а я обедаю в два часа. Он это делает нарочно. Он этого добивается. Это как раз на него похоже.

Такой монолог Ньюмен вел, восседая на конторском табурете в своей маленькой берлоге, служившей конторой; и монолог имел отношение к Ральфу Никльби, как Это обычно бывало с ворчливыми монологами Ногса.

— Думаю, что у него никогда нет аппетита, — сказал Ньюмен, — разве что на фунты, шиллинги и пенсы, а на них он жаден, как волк. Хотелось бы мне, чтобы его заставили проглотить по одному образцу всех английских монет. Пенни был бы неприятным кусочком, ну а крона — ха-ха!

Когда образ Ральфа Никльби, глотающего по принуждению пятишиллинговую монету, до известной степени восстановил его доброе расположение духа, Ньюмен медленно извлек из конторки одну из тех удобоносимых бутылок, которые в обиходе называются «карманными пистолетами», и, потрясая ею у самого уха, чтобы вызвать журчащий звук, очень прохладительный и приятный на слух, позволил чертам своего лица смягчиться и глотнул журчащей жидкости, отчего черты его еще больше смягчились. Заткнув бутылку пробкой, он с величайшим наслаждением причмокнул раза два или три губами, но так как аромат напитка к тому времени испарился, снова вернулся к своей обиде.

— Без пяти минут три, никак не меньше! — проворчал Ньюмен. — А завтракал я в восемь часов, да и что это был за завтрак. А обедать мне полагается в два часа! А у меня дома, может быть, пережаривается в это время славный ростбиф — откуда он знает, что у меня его нет? «Не уходите, пока я не вернусь»!, «Не уходите, пока я не вернусь»! — день за днем. А зачем вы всегда уходите в мой обеденный час, а? Разве вы не знаете, как это раздражает?

Эти слова, хотя и произнесенные очень громко, были обращены в пустоту. Но перечень обид как будто довел Ньюмена Ногса до отчаянья: он приплюснул на голове старую шляпу и, натягивая вечные свои перчатки, заявил с большой горячностью, что будь что будет, а он сию же минуту идет обедать.

Немедленно приведя это решение в исполнение, он уже добрался до коридора, но щелканье ключа во входной двери заставило его стремительно ретироваться и себе в контору.

— Вот и он, и с ним еще кто-то, — буркнул Ньюмен. — Теперь я услышу: «Подождите, пока уйдет этот джентльмен». Но я не хочу ждать. И все!

С такими словами Ньюмен забрался в высокий пустой стенной шкаф с двумя створками и захлопнул их за собой, намереваясь улизнуть, как только Ральф пройдет к себе в

кабинет.

— Ногс! — крикнул Ральф, — Где этот Ногс? Но Ньюмен не отозвался.

— Разбойник пошел обедать, хотя я и запретил ему, — пробормотал Ральф, заглядывая в контору и вынимая часы. — Гм! Зайдите-ка лучше сюда, Грайд. Клерк ушел, а мой кабинет на солнечной стороне. Здесь прохладно и теневая сторона, если вы не возражаете против скромной обстановки.

— Нисколько, мистер Никльби, о, нисколько. Для меня все комнаты одинаковы. А здесь очень мило, да, очень мило!

Тот, кто дал этот ответ, был старичком лет семидесяти или семидесяти пяти, очень тощим, сильно сгорбленным и слегка кривобоким. На нем был серый фрак с очень узким воротником, старомодный жилет из черного рубчатого шелка и такие узкие брюки, что его высохшие журавлиные ноги представляли во всем их безобразии. Единственными украшениями, дополнявшими его костюм, являлись стальная цепочка от часов, с прикрепленными к ней большими золотыми печатками, и черная лента, которою были подвязаны сзади его седые волосы по старинной моде, какую вряд ли случается где-нибудь наблюдать в настоящее время. Нос и подбородок у него были острые и выдавались вперед, рот запал из-за отсутствия зубов, лицо было морщинистое и желтое, и только на щеках виднелись прожилки цвета сухого зимнего яблока, а там, где когда-то росла борода, еще оставалось несколько серых пучков; они словно указывали — равно как и клочковатые брови — на скудость почвы, на которой произрастали. Весь вид его и фигура говорили о вкрадчивом, кошащем подобострастье, в подмигивающих глазах на морщинистом лице можно было увидеть только хитрость, распутство, лукавство и скаредность.

Таков был старый Артур Грайд, на чьем лице не было ни одной морщинки и на чьем платье ни одной складки, которые бы не выражали самой алчной скупости и явно не указывали на его принадлежность к тому же разряду людей, что и Ральф Никльби. Таков был Артур Грайд, сидевший на низком стуле, глядя снизу вверх в лицо Ральфу Никльби, который, расположившись на высоком конторском табурете и опершись руками о колени, смотрел сверху вниз в его лицо — в лицо достойного соперника, по какому бы делу Грайд ни пришел.

— Как же вы себя чувствуете? — осведомился Грайд, притворяясь живо заинтересованным состоянием здоровья Ральфа. — Я вас не видел столько... о, столько...

— Много времени, — сказал Ральф со странной улыбкой, дававшей понять, что, как ему хорошо известно, приятель его явился не просто засвидетельствовать свое почтение. — Вы сейчас увидели меня случайно, потому что я только что подошел к двери, когда вы завернули за угол.

— Мне всегда везет, — заметил Грайд.

— Да, говорят, — сухо отозвался Ральф. Ростовщик — тот, который был постарше, — задвигал подбородком и улыбнулся, но больше ничего не сказал, и некоторое время они сидели молча. Каждый подстерегал момент, чтобы заманить другого в ловушку.

— Ну-с, Грайд, откуда сегодня ветер дует? — спросил, наконец, Ральф.

— Эге! Вы смелый человек, мистер Никльби! — воскликнул тот, явно почувствовав большое облегчение, когда Ральф вступил на путь деловых разговоров. — Ах, боже мой, боже мой, какой вы смелый человек!

— Ваши вкрадчивые и елейные манеры заставляют меня казаться смелым по сравнению с вами, — возразил Ральф. — Не знаю, может быть, ваши манеры более отвечают цели, но у меня для них не хватает терпения.

— Вы прирожденный гений, мистер Никльби, — сказал старый Артур. — Проницательный, ах, какой проницательный!

— Достаточно проницательный, — отозвался Ральф, — чтобы понимать, что мне понадобится вся моя проницательность, когда такие люди, как вы, начинают с комплиментов. Как вам известно, я находился поблизости, когда вы пресмыкались и льстили другим, и хорошо помню, к чему это всегда приводило.

— Ха-ха-ха! — откликнулся Артур, потирая руки. — Конечно, конечно, вы помните. Кому и помнить, как не вам! Да, приятно подумать, что вы помните старые времена. Ах, боже мой!

— Ну, так вот, — сдержанно сказал Ральф, — я еще раз спрашиваю, откуда ветер дует? Какое у вас дело?

— Вы только послушайте! — воскликнул тот. — Он не может отвлечься от дела, даже когда мы болтаем о былых временах. О боже, боже, что за человек!

— Что именно из былых времен хотите вы воскресить? — осведомился Ральф. — Знаю, что хотите, иначе вы бы о них не говорили.

— Он подозревает даже меня! — вскричал старый Артур, воздев руки. — Даже меня! О боже, даже меня! Что за человек! Ха-ха-ха! Что за человек! Мистер Никльби против всего мира. Нет никого равного ему. Гигант среди пигмеев, гигант, гигант!

Ральф со спокойной улыбкой смотрел на старого мошенника, продолжавшего хихикать, а Ньюмен Ногс в стенном шкафу почувствовал, что у него замирает сердце, по мере того как надежда на обед становится все слабее и слабее.

— Но я должен ему потакать! — воскликнул старый Артур. — Он должен поступать по-своему — своевольный человек, как говорят шотландцы. Ну что ж, умный народ шотландцы... Он желает говорить о делах и не хочет терять время даром. Он совершенно прав. Время — деньги, время — деньги.

— Я бы сказал, что эту поговорку сложил один из нас, — заметил Ральф. Время — деньги! И вдобавок большие деньги для тех, кто начисляет проценты благодаря ему. Действительно, время — деньги. Да, и время стоит денег, это не дешевый предмет для иных людей, которых мы могли бы назвать, если я не забыл своего ремесла.

В ответ на эту остроту старый Артур снова воздел руки, снова захихикал и снова воскликнул: «Что за человек!» — после чего придвинул низенький стул ближе к высокому табурету Ральфа и, глядя вверх, на его неподвижное лицо, сказал:

— Что бы вы мне сказали, если бы я вам сообщил, что я... что я... собираюсь жениться?

— Я бы вам сказал, — ответил Ральф, холодно глядя на него сверху вниз, — что для каких-то ваших целей вы солгали, что это не в первый раз и не в последний, что я не удивлен и что меня не проведешь.

— В таком случае я вам серьезно заявляю, что это так, — сказал старый Артур.

— А я вам серьезно заявляю, — отозвался Ральф, — то, что сказал секунду назад. Пойдите! Дайте мне посмотреть на вас. У вас что-то чертовски приторное в лице. В чем тут дело?

— Вас я бы не стал обманывать, — захныкал Артур Грайд, — я бы и не мог обмануть, я был бы сумасшедшим, если бы попытался. Чтобы я, я обманул мистера Никльби! Пигмей обманывает гиганта! Я еще раз спрашиваю, — хи-хи-хи! — что бы вы мне сказали, если бы я вам сообщил, что собираюсь жениться?

— На какой-нибудь старой карге? — осведомился Ральф.

— О нет! — воскликнул Артур, перебивая его и в восторге потирая руки. — Неверно, опять неверно! Мистер Никльби на сей раз промахнулся, и как промахнулся! На молодой и прекрасной девушке, свеженькой, миловидной, очаровательной, ей нет еще и двадцати лет. Темные глаза, длинные ресницы, пухлые алые губки — достаточно посмотреть на них, чтобы захотелось поцеловать, прекрасные кудри — пальцы так и просятся поиграть ими, — талия такая, что человек невольно обнимает рукой воздух, воображая, будто обвивает эту талию, маленькие ножки, которые ступают так легко, будто почти не касаются земли... Жениться на всем этом, сэр... О-о!

— Это что-то более серьезное, чем пустая болтовня, — сказал Ральф, выслушав, кривя губы, восторженную речь старика. — Как зовут девушку?

— О, какая пронизательность, какая пронизательность! — воскликнул старый Артур. — Вы только посмотрите, как это пронизательно! Он знает, что я нуждаюсь в его

помощи, он знает, что может оказать мне ее, он знает, что все это обернется ему на пользу, он уже видит все. Ее зовут... нас никто не услышит?

— Да кто же, черт возьми, может здесь быть? — с раздражением отозвался Ральф.

— Не знаю, может быть, кто-нибудь поднимается или спускается по лестнице, — сказал Артур Грайд, выглянув за дверь, а затем старательно притворив ее. — Или ваш клерк мог вернуться и теперь подслушивает у двери. Клерки и слуги имеют обыкновение подслушивать, а мне было бы очень неприятно, если бы мистер Ногс...

— К черту мистера Ногса! — резко перебил Ральф. — Договаривайте!

— Разумеется, к черту мистера Ногса, — подхватил старый Артур. — Против этого я отнюдь не возражаю. Ее зовут...

— Ну! — торопил Ральф, чрезвычайно раздосадованной новой паузой старого Артура. — Как?

— Маделайн Брэй.

Если и были основания предполагать — а у Артура Грайда, по-видимому, они были, — что упоминание этого имени произведет впечатление на Ральфа, и какое бы впечатление оно действительно на него ни произвело, он ничем себя не выдал и спокойно повторил имя несколько раз, словно припоминая, когда и где слышал его раньше.

— Брэй, — повторил Ральф. — Брэй... был молодой... из... Нет, у того никогда не было дочери.

— Вы не помните Брэя? — спросил Артур Грайд.

— Нет, — сказал Ральф, бросив на него равнодушный взгляд.

— Не домните Уолтера Брэя? Бойкого субъекта, который так плохо обращался со своей красавицей женой?

— Если вы пытаетесь напомнить о каком-нибудь бойцом субъекте и приводите такую отличительную черту, — пожимая плечами, сказал Ральф, — я могу его смешать с девятью из десяти бойких субъектов, каких мне случалось встречать.

— Полно, полно! Этот Брэй живет сейчас в «тюремных границах» Королевской Скамьи, — сказал старый Артур. — Вы не могли забыть Брэя. Мы оба имели с ним дело. Да ведь он ваш должник!

— Ах, этот! — отозвался Ральф. — Да, да. Теперь вы говорите ясно. О! Так речь идет о его дочери?

Это было сказано самым естественным тоном, но не настолько естественным, чтобы родственник ему по духу старый Артур Грайд не мог бы уловить намерения Ральфа принудить его к более подробному изложению дела и более подробным объяснениям, чем хотелось бы дать Артуру или чем удалось бы самому Ральфу получить каким-либо иным способом. Однако старый Артур был поглощен своими собственными планами и дал себя провести, отнюдь не заподозрив, что его добрый друг не без умысла говорит небрежно.

— Я знал, что вы вспомните, стоит вам минутку подумать. — сказал он.

— Вы правы, — ответил Ральф. — Но старый Артур Грайд и брак — самое противоестественное сочетание слов. Старый Артур Грайд и темные глаза, ресницы и губки, на которые достаточно посмотреть, чтобы захотелось их поцеловать, и кудри, которыми он хочет играть, и талия, которую он хочет обнимать, и ножки, которые не касаются земли, — старый Артур Грайд и подобные вещи — это нечто совсем чудовищное! А старый Артур Грайд, намеревающийся жениться на дочери разорившегося бойкого субъекта, проживающего в «тюремных границах» Королевской Скамьи, — это самое чудовищное и невероятное! Короче, друг мой Артур Грайд, если вам нужна моя помощь в этом деле (а она, конечно, вам нужна, иначе вас бы здесь не было), говорите ясно и не уклоняйтесь в сторону. И прежде всего не толкуйте мне о том, что это обернется к моей выгоде: мне известно, что это обернется также и к вашей выгоде, и очень немалой, иначе вы бы не засунули пальцы в этот пирог.

В тоне, каким Ральф произнес эти слова, и во взглядах, какими он их сопровождал, было достаточно едкого сарказма, чтобы распалить даже холодную кровь дряхлого

ростовщика и зажечь румянец даже на его увядших щеках. Но он ничем не проявил своего гнева, довольствуясь, как и раньше, восклицаниями: «Что за человек!» — и раскачиваясь из стороны в сторону, как бы в неудержимом восторге от развязности и остроумия своего собеседника. Заметив, однако, по выражению лица Ральфа, что лучше всего будет перейти как можно скорее к делу, он приготовился к более серьезной беседе и приступил к самой сути переговоров.

Во-первых, он остановился на том факте, что Маделайн Брэй жертвовала собой, чтобы поддерживать и содержать своего отца, у которого больше никаких друзей не осталось, и была рабой всех его желаний.

Ральф ответил, что об этом он и раньше слышал и что если бы она немножко больше знала свет, то не была бы такой душой.

Во-вторых, он распространился о характере ее отца, доказывая, что даже если признать несомненным, будто тот отвечает на ее любовь всею любовью, на какую только способен, себя он любит гораздо больше. На это Ральф ответил, что не к чему еще что-нибудь добавлять, ибо это весьма естественно и довольно правдоподобно.

И, в-третьих, старый Артур заявил, что эта девушка — нежное и прелестное создание и он в самом деле страстно желает сделать ее своей женой. На это Ральф не соблаговолил дать никакого ответа, кроме грубой усмешки и взгляда, брошенного на сморщенное старое существо, каковые были, однако, достаточно выразительны.

— А теперь, — сказал Грайд, — перейдем к маленькому плану, который я обдумал, чтобы достигнуть цели, потому что я еще не обращался даже к ее отцу, это вам следует знать. Но вы уже догадались? Ах, боже мой, боже мой, какой острый у вас ум!

— А стало быть, не шутите со мной! — с раздражением сказал Ральф. — Вы ведь знаете пословицу?

— Ответ у него всегда на кончике языка! — вскричал старый Артур, с восторгом вздев руки и закатив глаза. — Он всегда наготове! О боже, какое счастье иметь такой живой ум и столько денег в придачу!

Затем, внезапно изменив тон, он продолжал:

— За последние полгода я несколько раз заходил к Брэю. Прошло ровно полгода с тех пор, как я впервые увидел этот лакомый кусочек, и... ах, боже мой, какой лакомый кусочек!.. Но это к делу не относится. Я — тот кредитор, который держит его под арестом, а сумма долга — тысяча семьсот фунтов.

— Вы говорите так, будто вы единственный кредитор, держащий его под арестом, — сказал Ральф, вытаскивая бумажник. — Я являюсь вторым кредитором, на девятьсот семьдесят пять фунтов четыре шиллинга и три пенса.

— Вторым, и больше никого нет! — с жаром подхватил старый Артур. — Больше нет никого! Больше никто не пошел на расходы по содержанию должника⁸⁷, веря, что мы его держим достаточно крепко, можете на меня положиться. Мы оба попали в одни силки; ах, боже мой, какая это была ловушка! Она меня едва не разорила! И мы давали ему деньги под векселя, на которых, кроме его фамилии, стояла еще только одна, и все были уверены, что она благонадежна не меньше, чем деньги, но она оказалась сами знаете какой. Как раз, когда мы собрались взяться за того, он оказался несостоятельным. Ах, меня эта потеря чуть было не разорила.

— Продолжайте развивать ваш план, — сказал Ральф. — Сейчас не имеет никакого смысла жаловаться на наше ремесло: здесь нет никого, кто бы нас слышал.

— Никогда не мешает об этом поговорить, — захихикав, отозвался старый Артур, — даже если никто нас не слышит. Упражнения, знаете ли, способствуют совершенству. Так вот, если я предложу себя Брэю в качестве зятя на том простом условии, что, как только я женюсь, он без всякого шума получит свободу и средства, чтобы жить по ту сторону

Канала⁸⁸ как джентльмен (долго он не проживет: я справлялся у его доктора, и тот уверяет, что к у него болезнь сердца и о многих годах не может быть и речи), и если все преимущества его положения будут ему надлежащим образом изложены и разъяснены, как вы думаете, сможет ли он со мной бороться? А если он не сможет бороться со мной, думаете ли вы, что его дочь будет в состоянии бороться с ним? Разве не получу я возможность назвать ее миссис Артур Грайд — прелестной миссис Артур Грайд... лакомым кусочком... вкусным цыпленочком... разве не получу я возможность назвать ее миссис Артур Грайд через неделю, через месяц, — в любой день, какой мне вздумается назначить?

— Продолжайте, — сказал Ральф, спокойно покачивая головой и говоря заученно-холодным тоном, представлявшим странный контраст с тем восторженным писком, до которого постепенно дошел его друг. — Продолжайте! Вы пришли сюда не для того, чтобы задавать мне эти вопросы.

— Ах, боже мой, как вы умеете говорить! — воскликнул старый Артур, ближе придвигаясь к Ральфу. — Конечно, я пришел не для этого, я и не думаю притворяться. Я пришел спросить, сколько вы с меня возьмете, если мне посчастливится с отцом, в уплату за этот долг. Пять шиллингов за фунт, шесть шиллингов восемь пенсов, десять шиллингов? Я бы дошел до десяти для такого друга, как вы, мы всегда были в хороших отношениях, но со мной вы не будете так прижимисты, я это знаю. Ну как же?

— Остается еще кое-что добавить, — сказал Ральфа все такой же окаменевший и неподвижный.

— Да, да, остается, но вы меня торопите, — ответил Артур Грайд. — Мне в этом деле нужен помощник — человек, умеющий говорить, настаивать и добиваться своего, а вы умеете это делать, как никто. Я на это не способен, потому что я бедное, робкое нервное существо. Если вы получите приличное возмещение в уплату за этот долг, который давно считали безнадежным, вы будете мне другом и окажете помощь. Не правда ли?

— Остается еще кое-что добавить, — повторил Ральф.

— Право же, ничего, — возразил Артур Грайд.

— Право же, есть что. Говорю вам — есть, — сказал Ральф.

— О! — воскликнул старый Артур, делая вид, будто его внезапно осенило. — Вы имеете в виду еще кое-что, касающееся меня и моих намерений. Да, разумеется, разумеется. Рассказать вам об этом?

— Думаю, что так будет лучше, — сухо ответил Ральф.

— Я не хотел утруждать вас, полагая, что вы интересуетесь этим делом лишь постольку, поскольку оно касается лично вас, — сказал Артур Грайд. — Очень любезно с вашей стороны, что вы меня об этом спрашиваете. Ах, боже мой, как это любезно! Допустим, что мне известно о некоем состоянии — маленьком состоянии, очень маленьком, на которое имеет право эта прелестная малютка и о котором в настоящее время никто не знает и знать не может, но которое ее супруг мог бы препроводить в свой кошелек, если бы знал столько, сколько знаю я, — объяснило ли бы это обстоятельство...

— Оно объяснило бы все! — резко перебил Ральф. — Теперь дайте мне обдумать это дело и сообразить, сколько следует мне получить, если я помогу вам добиться успеха.

— Но не будьте жестоки! — дрожащим голосом воскликнул старый Артур, умоляюще воздев руки. — Не будьте слишком жестоки со мной! Состояние очень маленькое, право же, очень маленькое. Назначим десять шиллингов — и по рукам. Это больше, чем следовало бы дать, но вы так любезны... Так, значит, десять? Соглашайтесь, соглашайтесь!

Ральф не обратил ни малейшего внимания на эти мольбы и минуты три-четыре сидел погруженный в глубокие размышления, сосредоточенно глядя на человека, его умолявшего. После продолжительного раздумья он нарушил молчание, и, конечно, нельзя было обвинить его в том, что он ведет уклончивые речи или отказывается говорить по существу дела.

— Если бы вы женились на этой девушке без моей помощи, — сказал Ральф, вы

должны были бы уплатить мне долг целиком, ибо иначе вы не можете вернуть свободу ее отцу. Стало быть, ясно, что я должен получить всю сумму без всяких вычетов и издержек, иначе я потерял бы на том, что вы меня почтили своим доверием, вместо того чтобы на этом выиграть. Таков первый пункт договора. Что касается второго пункта, то я ставлю условие: я получаю пятьсот фунтов за труд, который положу, ведя переговоры, прибегая к убеждениям и помогая вам завладеть состоянием. Это очень мало, ибо вы получаете в полную свою собственность пухлые губки, кудри и мало ли что еще. Что касается третьего и последнего пункта, то я требую, чтобы вы сегодня же подписали обязательство уплатить мне обе эти суммы до полудня того дня, когда будет заключен ваш брак с Маделайн Брэй. Вы мне сказали, что я умею настаивать и добиваться своего. Я на этом настаиваю и ни на какие другие условия не пойду. Принимайте их, если хотите. А нет — так женитесь на ней без моей помощи, если можете. Все равно я получу следуемые мне деньги.

Ко всем просьбам, уговорам и предложениям компромисса между его собственными условиями и теми, какие выдвинул сначала Артур Грайд, Ральф оставался глух, как уж. Он отказался от дальнейшего обсуждения этого вопроса, и, пока старый Артур толковал о непомерных его требованиях и предлагал внести изменения, мало-помалу приближаясь к условиям, от которых вначале отказался, — Ральф сидел в глубоком молчании, внимательно просматривая записки и документы, которые находились в его бумажнике.

Убедившись, что немыслимо произвести хотя бы малейшее впечатление на непоколебимого друга, Артур Грайд, который еще до прихода своего приготовился к такому результату, согласился с тяжелым сердцем на предложенный договор и тут же заполнил требуемое обязательство (все необходимое для этого Ральф имел под рукой); предварительно он поставил условием, чтобы мистер Никльби сейчас же отправился вместе с ним к Брэю и начал переговоры немедленно, если обстоятельства окажутся благоприятными и сулящими удачу их замыслам.

Во исполнение этого последнего соглашения достойные джентльмены вскоре вышли вместе, а Ньюмен Ногс с бутылкой в руке вылез из шкафа, из верхней дверцы коего, под страшной угрозой быть открытым, он несколько раз высовывал свой красный нос, когда обсуждению подлежали пункты, больше всего его интересовавшие.

— Теперь у меня нет никакого аппетита, — сказал Ньюмен, пряча фляжку в карман. — Я пообедал.

Проговорив это жалобным и грустным тоном, прихрамывающий Ньюмен одним прыжком очутился у двери, а второй такой же прыжок вернул его обратно.

— Я не знаю, кто она и что она, — сказал он, — но я жалею ее всем сердцем и всей душой. И не могу ей помочь и не могу помочь никому из тех, против кого каждый день затевается сотня заговоров, хотя не было ни одного такого подлого, как этот. Ну что ж! От этого мне еще больнее, но не им. Дело не становится хуже оттого, что я о нем что-то знаю, и оно мучит меня так же, как и самих жертв. Грайд и Никльби! Прекрасная упряжка! О, мерзость, мерзость, мерзость!

Предаваясь таким размышлениям и нанося при каждом восклицании жестокие удары по тулье своей злосчастной шляпы, Ньюмен Ногс, слегка опьяневший от содержимого «карманного пистолета», к которому он прикладывался во время своего пребывания в шкафу, отправился на поиски того утешения, какое могут доставить говядина и овощи в дешевом ресторане.

Тем временем два заговорщика вошли в тот самый дом, где всего несколько дней назад впервые побывал Николас, и, получив доступ к мистеру Брэю и убедившись, что его дочери нет дома, приступили наконец, после искуснейшего вступления, на какое только было способно величайшее мастерство Ральфа, к подлинной цели своего посещения.

— Вот он сидит перед вами, мистер Брэй, — сказал Ральф, в то время как больной, еще не пришедший в себя от изумления, полулежал в кресле, переводя взгляд с него на Артура Грайда. — Что ж тут такого, если он имея несчастье быть одним из виновников вашего пребывания в этом месте? Я был вторым виновником. Люди должны жить. Вы настолько

знаете жизнь, что не можете не видеть этого в настоящем свете. Мы предлагаем наилучшее возмещение, какое только можем предложить. Возмещение? Предложение вступить в брак, за которое ухватился бы не один титулованный отец. Мистер Артур Грайд богат, как принц. Подумайте, какая это находка.

— Моя дочь, сэр, — надменно возразил Брэй, — такая, какой я ее воспитал, явилась бы щедрым вознаграждением за самое большое состояние, которое может предложить человек в обмен на ее руку.

— Это как раз то, что я вам говорил, — сказал хитрый Ральф, обращаясь к своему другу, старому Артуру.

— Как раз то, что заставило меня почитать это дело таким легким и пристойным. Обе стороны ничем не обязаны одна другой. У вас деньги, у мисс Маделайн красота и прекрасные качества. У нее молодость, у вас деньги. У нее нет денег, у вас нет молодости. Одно стоит другого, вы квиты... Брак, поистине заключенный на небесах.

— Говорят, браки заключаются на небесах, — добавил старый Артур, отвратительно подмигивая тому, кого он пожелал сделать своим тестем. — Стало быть, если мы сочетаемся браком, это предназначено судьбой.

— Подумайте также, мистер Брэй, — сказал Ральф, поспешно заменяя этот довод соображениями, теснее связанными с землей, — подумайте о том, что ставится на карту в зависимости от того, будет принято или отвергнуто предложение моего друга...

— Как могу я принять его или отвергнуть? — перебил мистер Брэй, с раздражением сознавая, что в сущности решать должен он сам. — От моей дочери зависит принимать или отвергать, от моей дочери! Вы это знаете.

— Совершенно верно, — энергически подтвердил Ральф, — но у вас остается право дать совет, изложить доводы за и против, намекнуть о своем желании.

— Намекнуть о желании, сэр! — воскликнул должник, то надменный, то угодливый, но всегда соблюдающий свою выгоду. — Я отец ее? Зачем бы я стал намекать и действовать украдкой? Или вы полагаете, как друзья ее матери и мои враги, — будь они прокляты все! — что по отношению ко мне она исполняет больше чем свой долг, сэр, больше чем свой долг? Или вы думаете, что мои несчастья являются достаточным основанием для того, чтобы наши отношения изменились и чтобы она приказывала, а я повиновался? Намекнуть о желании! Быть может, видя меня вот в этих стенах, почти лишенного возможности подняться с кресла без посторонней помощи, вы полагаете, что я — какое-то разбитое, ни на что не способное существо и у меня нет ни мужества, ни права делать то, что я считаю необходимым для блага моей дочери? Осталось ли у меня право намекнуть о своем желании?! Надеюсь!

— Простите, вы меня не выслушали, — сказал Ральф, который досконально знал этого человека и соответствующим образом вел свою игру. — Я хотел сказать, что, если бы вы намекнули о своем желании — только намекнули, — это, конечно, было бы равносильно приказанию.

— Да, разумеется, так бы оно и было! — сердито подхватил мистер Брэй. — Если вы случайно не слышали о тех временах, сэр, то я вам скажу, что было время, когда я всегда торжествовал над всеми родственниками ее матери, хотя на их стороне были власть и богатство, а на моей только воля.

— Но вы меня не выслушали, — продолжал Ральф со всею кротостью, на какую был способен. — У вас еще есть все качества, чтобы блистать в обществе, и перед вами долгая жизнь, конечно, если... вы будете дышать более свежим воздухом, и под более ясными небесами, и среди избранных друзей. Развлечения — ваша стихия, в ней вы блистали прежде. Светское общество и свобода — вот что вам нужно. Франция и ежегодная рента, — которая обеспечила бы вам возможность жить там в роскоши, которая снова дала бы вам власть над жизнью, которая возродила бы вас к новому существованию... Когда-то город гремел молвой о ваших расточительных увеселениях, и вы могли бы снова засверкать на сцене, извлекая пользу из опыта и живя на счет других, вместо того чтобы давать другим жить на ваш счет. Какова оборотная сторона картины? Что там? Я не знаю, какое кладбище

ближайшее, но вижу могильную плиту на нем, где бы оно ни было, и вижу дату — быть может, отделенную от наших дней двумя годами, быть может, двадцатью. Это все!

Мистер Брэй облокотился на ручку кресла и заслонил лицо рукой.

— Я говорю ясно, — сказал Ральф, — потому что чувствую глубоко. В моих интересах, чтобы вы выдали свою дочь за моего друга Грайда, ибо тогда он позаботится о том, чтобы мне заплатили — по крайней мере часть. Я этого не скрываю. Я это открыто признаю. Но какую пользу извлечете вы, направив ее на этот путь? Не упускайте эту пользу из виду. Ваша дочь может возражать, протестовать, плакать, говорить, что он слишком стар, уверять, что ее жизнь будет несчастной; А какова сейчас ее жизнь?

Жестикуляция больного показала, что эти доводы не были оставлены им без внимания, так же как ничто в его поведении не ускользнуло от внимания Ральфа.

— Какова она сейчас, говорю я? — продолжал коварный ростовщик. — И какие могут быть у нее перспективы? Если вы умрете, люди, которых вы ненавидите, сделают ее счастливой. Можете вы перенести такую мысль?

— Нет! — воскликнул Брэй под влиянием мстительного чувства, которого не мог подавить.

— Я так и думал, — спокойно сказал Ральф. — Если извлечет она пользу из чьей-нибудь смерти, то пусть это будет смерть ее мужа (это было сказано более тихим голосом). Пусть не вспоминает она о вашей смерти как о событии, которое нужно считать началом более счастливой жизни. Каково же возражение? Обсудим его. Ее поклонник — старик. Ну что ж! Как часто люди знатные и состоятельные, у которых нет ваших оправданий, потому что им доступны все радости жизни, как часто, говорю я, они выдают своих дочерей за стариков или (что еще хуже) за молодых людей, безголовых и бессердечных, чтобы подразнить праздное свое тщеславие, укрепить фамильные связи или обеспечить себе место в парламенте! Решайте за нее, сэр, решайте за нее. Вы должны лучше знать, и впоследствии она будет вам благодарна.

— Тише, тише! — воскликнул мистер Брэй, внезапно восторженно и дрожащей рукой зажав рот Ральфу. — Я слышу, она у двери.

В этом быстром движении, говорившем о стыде и страхе, был проблеск совести, который на одно короткое мгновение сорвал тонкое покрывало лицемерия с гнусного замысла и показал всю его подлость и отвратительную жестокость.

Отец упал в кресло, бледный и трепещущий; Артур Грайд схватил и принялся мять свою шляпу, не смея поднять глаз; даже Ральф на секунду съежился, как побитая собака, уstraшенный появлением молодой невинной девушки.

Эффект был почти таким же кратковременным, как и внезапным. Ральф первый пришел в себя и, заметив встревоженный вид Маделайн, попросил бедную девушку успокоиться, заверив ее, что нет никаких оснований пугаться.

— Внезапный спазм, — сказал Ральф, бросив взгляд на мистера Брэя. — Сейчас он уже оправился.

Самое жестокое и искушенное сердце не осталось бы бесчувственным при виде юного и прекрасного существа, чью верную гибель они обсуждали всего лишь минуту тому назад; девушка обвила руками шею своего отца и расточала ему слова ласкового участия и любви — самые нежные слова, какие могут коснуться слуха отца или сорваться с уст ребенка. Но Ральф холодно наблюдал, а Артур Грайд, пожирая слезящимися глазами внешнюю красоту и оставаясь слепым к красоте духа, оживлявшего телесную оболочку, несомненно проявил какие-то пылкие чувства, однако это были не те теплые чувства, какие обычно вызывает созерцание добродетели.

— Маделайн, — сказал отец, мягко освобождаясь из объятий, — это пустяки.

— Но такая же спазма была у вас вчера. Ужасно видеть, как вы страдаете. Не могу ли я чем-нибудь помочь?

— Сейчас ничем. Здесь два джентльмена, Маделайн, одного из них ты видела раньше. Она говорила, — добавил мистер Брэй, обращаясь к Артуру Грайду, — что я всегда

чувствую себя хуже, стоит мне посмотреть на вас. Ну-ну! Быть может, она изменит свое мнение; девушкам, знаете ли, разрешается изменять свои мнения. Ты очень устала, дорогая?

— Право же, нет.

— Несомненно устала. Ты слишком много работаешь.

— Ах, если бы я могла работать еще больше!

— Я знаю, что ты этого хочешь, но ты переоцениваешь свои силы. Эта жалкая жизнь, моя милочка, с повседневной работой и утомлением тебе не под силу. Я в этом уверен. Бедная Маделайн!

Говоря эти ласковые слова, мистер Брэй привлек к себе дочь и нежно поцеловал ее в щеку. Ральф, зорко и внимательно присматривавшийся к нему, направился к двери и поманил Грайда.

— Вы дадите нам знать? — спросил Ральф.

— Да, да, — отозвался мистер Брэй, поспешно отстраняя дочь. — Через неделю. Дайте мне неделю.

— Через неделю, — сказал Ральф, поворачиваясь к своему спутнику, — считая с сегодняшнего дня. До свиданья! Мисс Маделайн, целую вашу руку.

— Обменяемся рукопожатием, Грайд, — сказал мистер Брэй, протягивая руку, когда старый Артур отвесил поклон. — Несомненно, намерения у вас хорошие. Теперь я поневоле это признаю. Если я был должен вам деньги, это не ваша вина. Маделайн, моя милая, дай ему руку.

— Ах, боже мой, если бы молодая леди снизошла! Хотя бы кончики пальцев! — сказал Артур в нерешительности, готовый отступить.

Маделайн невольно отшатнулась от этого уродца, но все-таки вложила концы пальцев в его руку и тотчас же отняла их. После неудачной попытки сжать их, чтобы удержать и поднести к губам, старый Артур с причмокиванием поцеловал свои собственные пальцы и с разнообразными, выражающими влюбленность гримасами отправился за своим другом, который к тому времени был уже на улице.

— Ну, что он скажет? Что он скажет? Что скажет гигант пигмею? — осведомился Артур Грайд, ковыляя к Ральфу.

— А что скажет пигмей гиганту? — отозвался Ральф, подняв брови и глядя сверху вниз на вопрошающего.

— Он не знает, что сказать, — ответил Артур Грайд. — Он надеется и боится. Но не правда ли, она лакомый кусочек?

— Я не большой ценитель красоты, — проворчал Ральф.

— Но я ценитель! — заявил Артур, потирая руки. — Ах, боже мой, какие красивые были у нее глаза, когда она склонилась над ним! Такие ресницы... нежная бахрома! Она... она посмотрела на меня так ласково.

— Я думаю, не слишком уж влюбленным взглядом, а? — сказал Ральф.

— Вы так думаете? — отозвался старый Артур. — Не кажется ли вам, что этого можно добиться? Не кажется ли вам, что можно?

Ральф бросил на него презрительный и хмурый взгляд и процедил насмешливо сквозь зубы:

— Вы обратили внимание: он говорил ей что она устала и слишком много работает и переоценивает свои силы?

— Да, да. Так что же?

— Как вы думаете, говорил ли он ей это когда-нибудь раньше? И что такая жизнь ей не под силу?! Да, да. Он ее изменит, эту жизнь.

— Вы думаете, дело сделано? — осведомился старый Артур, всматриваясь из-под полуопущенных век в лицо своего собеседника.

— Уверен, что сделано, — сказал Ральф. — Он уже пытается обмануть себя даже перед нами. Он делает вид, будто думает о ее благополучии, а не о своем. Он разыгрывает добродетельную роль и так заботлив и ласков, сэр, что дочь с трудом могла узнать его. Я

заметил у нее на глазах слезы изумления. В скором времени прольется еще больше слез, тоже вызванных изумлением, хотя и иного рода. О, мы можем спокойно ждать будущей недели!..

Глава XLVIII,

посвященная бенефису мистера Винсента Крамльса и «решиительно последнему» его выступлению на сей сцене

С очень печальным и тяжелым сердцем, угнетаемый мучительными мыслями, Николас пошел обратно в восточную часть города, направляясь в контору «Чирибл, братья». Те необоснованные надежды, какие он позволил себе питать, те приятные видения, какие возникали перед его умственным взором и группировались вокруг прелестного образа Маделайн Брэй, — все они теперь рассеялись и ни следа не осталось от их радужности и блеска.

Для лучших чувств Николаса было бы оскорблением, вовсе не заслуженным, предполагать, будто раскрытие — и какое раскрытие! — тайны, окутывавшей Маделайн Брэй, в то время как он даже не знал ее имени, угасило его пыл или охладило его пламенное восхищение. Если раньше она внушала ему ту страсть, какую могут питать юноши, привлеченные одною лишь красотой и грацией, то теперь он испытывал чувства, гораздо более глубокие и сильные. Но благоговение перед ее невинным и целомудренным сердцем, уважение к ее беспомощности и одиночеству, сочувствие, вызванное страданиями такого юного и прекрасного существа, и восхищение ее возвышенной и благородной душой — все это как будто поднимало ее на высоту, где она была для него недостижимой, и хотя усугубляло его любовь, но, однако, нашептывало, что эта любовь безнадежна.

— Я сдержу слово, данное ей, — мужественно сказал Николас. — Не простое доверительное поручение я взял на себя. Двойной долг, на меня возложенный, я исполню неукоснительно и с величайшей добросовестностью. В том положении, в котором я нахожусь, сокровенные мои чувства не заслуживают никакого внимания, и никакого внимания я им уделять не буду.

Однако эти сокровенные чувства были по-прежнему живы, и втайне Николас, пожалуй, даже потворствовал им, рассуждая так (если он вообще рассуждал): они не могут причинить никакого вреда никому, кроме него самого, и если он хранит их в тайне из сознания долга, то тем более прав он имеет питать их в награду за свой героизм.

Все эти мысли в сочетании с тем, что он видел в то утро, и с предвкушением следующего визита сделали его очень скучным и рассеянным собеседником — в такой мере, что Тим Линкинуотер заподозрил, не ошибся ли он где-нибудь, написав не ту цифру. И Тим Линкинуотер серьезно умолял его, если это действительно случилось, лучше чистосердечно покаяться и соскоблить ее, чем отравить себе всю жизнь угрызениями совести.

Но в ответ на эти заботливые увещания и многие другие, исходившие и от Тима и от мистера Фрэнка, Николас мог только заявить, что никогда в жизни не бывал веселее; в таком расположении духа он провел день и в таком же расположении духа отправился вечером домой, по-прежнему передумывая снова и снова все те же думы, размышляя снова и снова все о том же и приходя снова и снова все к тем же выводам.

В таком мечтательном и смутном состоянии люди склонны слоняться неизвестно зачем, читать объявления на стенах с величайшим вниманием, но не усваивая ни единого слова из их содержания, и смотреть в витрины на вещи, которых они не видят. Таким-то образом случилось, что Николас поймал себя на том, что с чрезвычайным интересом изучает большую театральную афишу, висящую перед второразрядным театром, мимо которого он должен был пройти по дороге домой, и читает список актеров и актрис, обещавших оказать честь какому-то предстоящему бенефису, — читает с такой серьезностью, словно то был

перечень имен леди и джентльменов, занимавших первые места в Книге судьбы, а сам он с беспокойством отыскивал свое собственное имя. Улыбнувшись своей рассеянности, он бросил взгляд на верхнюю строку афиши, собираясь продолжать путь, и увидел, что она возвещает крупными буквами, с большими промежутками между ними: «Решительно последнее выступление мистера Винсента Крамльса, знаменитого провинциального актера!!!»

— Вздор! — сказал Николас, снова обращаясь к афише. — Не может быть.

Но это было так. Одна строка возвещала особо о первом представлении новой мелодрамы; другая строка особо возвещала о последних шести представлениях старой; третья строка была посвящена продлению ангажемента несравненного африканского шпагоглотателя, который любезно дал себя убедить и согласился отложить на неделю свои выступления в провинции; четвертая строка возвещала, что мистер Снитл Тимбери, оправившись после недавнего тяжелого недомогания, будет иметь честь выступать сегодня вечером; пятая строка сообщала, что каждое представление будет сопровождаться «Рукоплесканиями, Слезами и Смехом», шестая — что это выступление мистера Винсента Крамльса, знаменитого провинциального актера «решительно последнее».

«Право же, это должен быть тот самый, — подумал Николас. — Не может быть двух Винсентов Крамльсов».

Для наилучшего разрешения этого вопроса он вновь обратился к афише, и, убедившись, что в первой пьесе участвует Барон и что Роберта (его сына) играет некий Крамльс Младший, а Спалетро (его племянника) некий юный Перси Крамльс (их последнее выступление!) и что характерный танец в пьесе будет исполнен действующими лицами, а *pas seui*⁸⁹с кастаньетами исполнит дитя-феномен (ее последнее выступление!), он уже больше не сомневался. Подойдя к входу для актеров, Николас послал клочок бумаги, на котором написал карандашом: «Мистер Джонсон», — и вскоре был отведен «разбойником» в очень широком поясе с пряжкой и в очень просторных кожаных рукавицах к бывшему своему директору.

Мистер Крамльс был непритворно рад его видеть. Он отпрянул от маленького зеркальца и, с одной очень косматой, криво наклеенной бровью над левым глазом, держа в руке другую бровь и икру одной ноги, горячо его обнял, заявив при этом, что для миссис Крамльс утешением будет попрощаться с ним перед отъездом.

— Вы всегда были ее любимцем, Джонсон, — сказал Крамльс, — всегда, с самого начала! Я был совершенно спокоен за вас с того первого дня, когда вы с нами обедали. Из человека, который пришелся по вкусу миссис Крамльс, несомненно должен был выйти толк. Ах, Джонсон, что это за женщина!

— Я искренне признателен ей за ее доброту ко мне и в данном случае и во всех остальных, — сказал Николас. — Но куда же вы уезжаете, если говорите о прощании?

— Разве вы не читали в газетах? — не без достоинства осведомился Крамльс.

— Нет, — ответил Николас.

— Меня это удивляет, — сказал директор. — Это было в отделе смеси. Заметка где-то здесь у меня... не знаю... ах, вот она!

С этими словами мистер Крамльс, сделав сначала вид, будто потерял ее, извлек газетную вырезку размерами в квадратный дюйм из кармана панталон, которые носил в частной жизни (наряду с повседневным платьем других джентльменов, разбросанным по комнате, они валялись на чем-то вроде комода), и подал ее Николасу для прочтения.

«Талантливый Винсент Крамльс, давно прославившийся в качестве незаурядного провинциального режиссера и актера, собирается пересечь Атлантический океан, отправляясь в театральную экспедицию. Как мы слышали, Крамльса сопровождает его супруга и даровитое семейство. Мы не знаем ни одного актера, превосходящего Крамльса в ролях его репертуара, равно как не

известен нам ни один общественный деятель и ни одно частное лицо, которые могли бы увезти с собой наилучшие пожелания более широкого круга друзей. Крамльса несомненно ждет успех».

— Вот другая заметка, — сказал мистер Крамльс, протягивая вырезку еще меньших размеров. — Это из отдела «Ответы читателям».

Николас прочел ее вслух:

— «Фило-драматикусу. Крамльсу, провинциальному режиссеру и актеру, не больше сорока трех — сорока четырех лет. Крамльс — не пруссак, так как он родился в Челси». Гм! — сказал Николас. — Странная заметка.

— Очень, — отозвался Крамльс, почесывая нос и посматривая на Николааса с видом в высшей степени беспечным. — Понять не могу, кто помещает такие вещи. Я во всяком случае не помещал.

По-прежнему не спуская глаз с Николааса, мистер Крамльс раза два или три с глубокой серьезностью покачал головой и, заметив, что он даже вообразить не может, каким образом газеты разужнают такие факты, сложил вырезки и снова спрятал их в карман.

— Я поражен этой новостью, — сказал Николас. — Уезжаете в Америку! Когда я был с вами, вы об этом и не думали.

— Да, — ответил Крамльс, — тогда не думал. Дело в том, что миссис Крамльс... изумительнейшая женщина, Джонсон!

Тут он запнулся и шепнул ему что-то на ухо.

— О! — с улыбкой сказал Николас. — В перспективе прибавление семейства?

— Седьмое прибавление, Джонсон, — торжественно заявил мистер Крамльс. — Я полагал, что такое дитя, как феномен, закончит серию. Но, видимо, нам предстоит иметь еще одно. Она замечательнейшая женщина.

— Поздравляю вас, — сказал Николас, — и надеюсь, что и это дитя окажется феноменом.

— Почти несомненно, это будет нечто необыкновенное! — подхватил мистер Крамльс. — Талант трех других выражается преимущественно в поединке и серьезной пантомиме. Я бы хотел, чтобы это дитя отличалось способностью к трагедии для юношества, я слышал, что в Америке очень большой спрос на нечто подобное. Однако мы должны принять это дитя таким, каким оно будет. Быть может, оно будет гением в хождении по канату. Короче говоря, оно может оказаться гением любого рода, если пойдет в свою мать, Джонсон, потому что мать — гений универсальный, но в чем бы ни проявилась гениальность дитяти, она получит надлежащее развитие!

Выразив в таких словах свои чувства, мистер Крамльс налепил другую бровь, прикрепил икры к ногам, а затем надел штаны желтовато-телесного цвета, слегка запачканные на коленках вследствие того, что часто приходилось опускаться на них в минуты проклятий, молитв, последней борьбы и в других патетических сценах.

Заканчивая свой туалет, бывший директор Николааса поведал ему, что так как в Америке его ждуг прекрасные перспективы благодаря приличному ангажементу, который ему посчастливилось получить, и так как он и миссис Крамльс вряд ли могут надеяться играть на сцене вечно (будучи бессмертны лишь в сиянии славы, то есть в иносказательном смысле), он принял решение обосноваться там навсегда в надежде приобрести собственный участок земли, который прокормил бы их на старости лет и который они могли бы оставить в конце концов в наследство детям. Когда Николас горячо одобрил это решение, мистер Крамльс стал сообщать об их общих друзьях те сведения, какие могли, по его мнению, показаться интересными. Между прочим, он уведомил Николааса, что мисс Сневелличчи удачно вышла замуж за преуспевающего молодого торговца воском, поставлявшего в театр свечи, а мистер Лиливик не смеет собственную душу назвать своею — такова тирания миссис Лиливик, которая пользуется верховной и неограниченной властью.

Николас в ответ на эти доверительные сообщения мистера Крамльса поведал ему настоящее свое имя и рассказал о своем положении и перспективах и — в общих словах — о

тех обстоятельствах, какие привели к их знакомству. Поздравив его очень сердечно с таким счастливым поворотом в делах, мистер Крамльс объявил ему, что завтра утром он со своим семейством отбывает в Ливерпуль, где находится судно, которому предстоит увезти их от берегов Англии, и что если Николас желает попрощаться с миссис Крамльс, то должен отправиться сегодня с ним на прощальный ужин, даваемый в честь семьи в соседней таверне, на котором председательствует мистер Снитл??? Тимбери, а обязанности вице-председателя исполняет африканский шпагоглотатель.

В комнате стало к тому времени очень жарко и, пожалуй, слишком тесно ввиду прибытия четырех джентльменов, которые только что убили друг друга в очередной пьесе, и поэтому Николас принял приглашение и обещал вернуться к концу спектакля, предпочитая прохладу и сумерки улицы смешанному запаху газа, апельсиновой корки и пороха, преобладавшему в душном и ярко освещенном театре.

Он воспользовался этим промежутком времени, чтобы купить серебряную табакерку — лучшую, какая была ему по средствам, — для мистера Крамльса, и затем, приобретя серьги для миссис Крамльс, ожерелье для феномена и по ослепительной булавке для галстука обоим молодым джентльменам, он прогулялся, чтобы освежиться; вернувшись немного позже условленного часа, и увидел, что огни погашены, театр пуст, занавес поднят на ночь, а мистер Крамльс прохаживается по сцене в ожидании его прихода.

— Тимбери не замедлит прийти, — сказал мистер Крамльс. — Сегодня он играл, пока не опустили занавес. В последней пьесе он выступает в роли верного негра, и ему приходится мыться немного дольше обычного.

— Очень неприятная роль, мне кажется, — заметил Николас.

— Нет, ее нахожу, — ответил мистер Крамльс, — смывается довольно легко — он красит только лицо и злею. Когда-то у нас в труппе был первый трагик — тот, играя Отелло, бывало, красил себя черной краской с головы, до пят! Вот что значит чувствовать роль и входить в нее всерьез! К сожалению, это редко бывает.

Появился мистер Снитл??? Тимбери рука об руку с африканским шпагоглотателем, и, когда его представили Николасу, он приподнял шляпу на полфута и сказала что гордится знакомством с ним. Шпагоглотатель сказал то же самое, и он удивительно походил на ирландка и говорил совсем как ирландец.

— Я узнал из афиши, что вы были больны, сэр, — сказал Николас мистеру Тимбери. — Надеюсь, вам не стало хуже после сегодняшнего утомительного выступления?

В ответ мистер Тимбери с мрачным видом покачал головой, весьма многозначительно ударил себя несколько раз в грудь и, плотнее закутавшись в плащ, сказал:

— Ну неважно, неважно. Идемте!

Следует заметить, что, когда действующие лица на сцене находятся в тяжелом положении, сопровождающемся слабостью и истощением, они неизменно совершают чудеса выносливости, требующие большой изобретательности и мускульной силы. Так, например, раненый; принц или главарь разбойничьей шайки, который истекает кровью и может двигаться (да и то на четвереньках) только под нежнейшие звуки музыки, приближаясь в поисках помощи к двери коттеджа, вертится, извивается, сплетает ноги узлом, перекачивается с боку на бок, встает, снова падает и проделывает такие телодвижения, которые не доступны никому, кроме очень сильного человека, изучившего ремесло акробата. И столь естественным казалось такого рода представление мистеру Снитлу??? Тимбери, что по пути из театра в таверну, где предстояло ужинать, он доказал серьезный характер своего недавнего заболевания и разрушительное его действие на нервную систему серией гимнастических упражнений, которые привели в восторг всех зрителей.

— Вот это действительно радость, которой я не ждала! — воскликнула миссис Крамльс, когда к ней подвели Николаса.

— Так же, как и я, — ответил Николас. — Только благодаря случаю я имею возможность видеть вас сегодня, хотя ради этой возможности я готов был бы немало потрудиться.

— С нею вы знакомы, — сказала миссис Крамльс, выдвигая вперед феномена в голубом газовом платье со множеством оборок и в таких же панталончиках. — А вот и еще знакомые, — представила она юных Крамльсов. — Как же поживает ваш друг, верный Дигби?

— Дигби? — повторил Николас, забыв, что это был театральный псевдоним Смайка. — Ах, да! Он здоров... Что это я говорю!.. Он очень нездоров.

— Как! — вскричала миссис Крамльс, трагически отшатнувшись.

— Боюсь, — сказал Николас, покачивая головой и пытаясь улыбнуться, — что ваш супруг был бы поражен теперь его видом больше, чем когда бы то ни было.

— Что вы хотите сказать? — спросила миссис Крамльс тоном, всегда вызывавшим всеобщее восхищение. — Почему же он так изменился?

— Я хочу сказать, что мой подлый враг нанес мне удар через него и, желая мне отомстить, доводит его до такого мучительного страха и напряжения, что... Вы меня простите! — оборвал себя Николас. — Мне не следовало говорить об этом... И я никогда не говорю ни с кем, кроме тех, кому известны обстоятельства дела, но на секунду я забылся.

После этого торопливого извинения Николас нагнулся, чтобы поцеловать феномена, и переменял тему, мысленно проклиная свою порывистость и пребывая в величайшем недоумении, что должна думать миссис Крамльс о столь внезапной вспышке.

Леди, казалось, думала о ней очень мало, и так как ужин был к тому времени на столе, она подала руку Николасу и проследовала величественной поступью, имея по правую руку мистера Снитла??? Тимбери. Николасу выпала честь сесть рядом с ней, а мистера Крамльса поместили справа от председателя. Феномен и юные Крамльсы расположились около вице-председателя.

Компания, человек двадцать пять — тридцать, состояла из тех представителей театральной профессии, выступавших или не выступавших в ту пору в Лондоне, какие считались в числе самых близких друзей мистера и миссис Крамльс. Леди было примерно столько же, сколько джентльменов; расходы, связанные с увеселением, покрывали эти последние, причем каждый джентльмен имел право пригласить одну леди в качестве своей гостьи.

В общем, это было весьма изысканное общество, ибо, помимо малых театральных светил, сгруппировавшихся вокруг мистера Снитла Тимбери, здесь присутствовал джентльмен-литератор, который на своем веку переделал в драмы двести сорок семь романов, едва только они выходили в свет, а иногда и быстрее, чем они выходили, и который, стало быть, по праву именовался джентльменом-литератором.

Этот джентльмен сидел по левую руку от Николаса, которому был представлен с конца стола своим другом, африканским шпагоглотателем, воспевающим панегирик его славе и репутации.

— Я счастлив познакомиться с таким достойным джентльменом, — вежливо сказал Николас.

— К вашим услугам, сэр, — сказал остроумец. — Честь обоюдная, сэр, как обычно говорю я, когда переделываю роман в драму. Слыхали вы когда-нибудь, что есть слава, сэр?

— Слыхал немало определений, — с улыбкой ответил Николас. — А каково ваше, сэр?

— Когда я переделываю роман в драму, сэр, — сказал джентльмен-литератор, — это и есть слава. Для его автора.

— Вот как! — отозвался Николас.

— Да, это слава, сэр, — повторил джентльмен-литератор.

— Значит, Ричард Терпин, Том Кинг и Джерри Эбершоу⁹⁰ прославили имена тех, кого они самым бессовестным образом ограбили? — осведомился Николас.

— Об этом я ничего не знаю, сэр, — ответил джентльмен-литератор.

— Правда, Шекспир переделывал для сцены вещи, уже опубликованные, — заметил

Николас.

— Вы имеете в виду Билла⁹¹, сэр? — спросил джентльмен-литератор. — Совершенно верно! Билл, разумеется, занимался переделкой! И переделывал очень неплохо — сравнительно неплохо.

— Я хотел сказать, — возразил Николас, — что Шекспир брал сюжеты для некоторых своих пьес из старинных сказаний и легенд, пользующихся всеобщей известностью. Но мне кажется, что в наши дни иные джентльмены вашей профессии шагнули значительно дальше...

— Вы совершенно правы, сэр, — перебил джентльмен-литератор, откидываясь на спинку стула и пуская в ход зубочистку. — Человеческий разум, сэр, прогрессирует со времен Шекспира. Он прогрессирует, и он будет прогрессировать.

— Я хочу сказать, — продолжал Николас, — шагнули значительно дальше совсем в другом смысле, ибо, в то время как он вовлекал в магический круг своего гения предания, необходимые ему для его замыслов, и знакомые вещи превращал в яркие созвездия, которые должны светить миру на протяжении веков, — вы втягиваете в магический круг вашей тупости сюжеты, отнюдь не пригодные для целей театра, и принижаете все, тогда как он все возвышал. Так, например, вы тащите незаконченные книги ныне живущих авторов у них из рук, еще сырые, прямо из-под пресса, режете, терзаете, кромсаете их, применяясь к силам и способностям ваших актеров и возможностям ваших театров, доделываете недоделанные вещи, второпях и кое-как перекраиваете идеи, еще не разработанные их творцом, но которые несомненно стоили ему многих дней раздумья и бессонных ночей. Выхватывая эпизоды и отдельные фразы диалогов, вплоть до последнего слова, которое он, быть может, написал всего две недели назад, вы делаете все возможное, чтобы предвосхитить развитие интриги — и все это без его согласия и против его воли. А затем в довершение всего вы публикуете в жалкой брошюре бессмысленный набор искаженных выдержек из его произведения, причем вместо фамилии автора ставите свою фамилию, а в примечании с гордостью сообщаете, что вы уже сотню раз совершали подобное нарушение прав. Объясните мне, в чем разница между такой кражей⁹² и преступлением воришки, очищающего карманы на улице, если не в том, что законодатели берут на себя заботу о носовых платках, а человеческому мозгу предлагают самому о себе заботиться (за исключением тех случаев, когда человеку размозжат голову)?

— Людям нужно как-то жить, сэр, — сказал джентльмен-литератор, пожимая плечами.

— Такое объяснение имело бы равную силу в обоих случаях, — возразил Николас, — но если вы рассматриваете вопрос с этой точки зрения, то мне остается сказать одно: будь я писателем, а вы алчущим драматургом, я бы предпочел оплачивать в течение шести месяцев ваш счет в таверне, как бы ни был он велик, чем украшать вместе с вами ниши в Храме Славы на протяжении шестисот поколений, даже если бы вы занимали самый скромный уголок моего пьедестала!

Беседа, как видно, грозила не совсем приятными осложнениями, но миссис Крамльс, с целью воспрепятствовать ее переходу в бурную ссору, вовремя вмешалась, обратившись к джентльмену-литератору с вопросом касательно интриги шести новых пьес, которые он написал по договору, дабы ввести африканского шпаголотателя с его разнообразными и непревзойденными номерами. Поэтому он тотчас вступил с этой леди в оживленный разговор, очень быстро рассеявший всякое воспоминание о размовке с Николасом.

Когда со стола исчезли более существенные блюда и были пущены вкруговую пунш, вино и более крепкие спиртные напитки, гости, которые раньше беседовали, разбившись на маленькие группы по три-четыре человека, постепенно погрузились в мертвое молчание, причем большинство присутствующих взидало время от времени на мистера Снитла Тимбери, а те, что похрабрее, осмелились даже постукивать согнутым пальцем по столу и

91

92

открыто заявлять о своих ожиданиях, делая такие поощрительные замечания, как, например: «Ну-ка, Тим!», «Проснитесь, мистер председатель!», «Бокалы полны, сэр, ждем тоста», и т. д.

В ответ на эти увещания мистер Тимбери только хлопал себя по груди, ловил ртом воздух и многими иными способами намекал, что он еще продолжает быть жертвой недуга — ибо человек должен знать себе цену и на подмостках и в ином месте, — а мистер Крамльс, прекрасно понимая, что он будет виновником предстоящего тоста, грациозно развалился на стуле; он небрежно закинул руку за спинку стула и время от времени подносил к губам стакан и прихлебывал пунш с тем самым видом, с каким привык пить большими глотками воздух из картонных кубков в пиришествнных сценах.

Наконец мистер Снитл Тимбери встал, приняв позу, которая всегда вызывала всеобщее одобрение — одна рука лежала на груди, а другая на ближайшей табакерке, — и, будучи встречен с великим восторгом, провозгласил со множеством цитат тост в честь своего друга мистера Винсента Крамльса. Закончил он довольно длинный спич, простерев правую руку в одну сторону, а левую в другую и многократно призвав мистера и миссис Крамльс пожать их. Когда с этим было покончено, мистер Винсент Крамльс ответил благодарственной речью, а когда и с этим было покончено, африканский шпагоглотатель в трогательных выражениях провозгласил тост в честь миссис Винсент Крамльс. Тогда послышались громкие стечения миссис Винсент Крамльс и остальных леди, но, несмотря на это, сия героическая женщина настоятельно пожелала ответить изъявлением благодарности, что она и сделала — с такой осанкой и в таком спиче, какие никогда не бывали превзойдены и с коими мало что могло сравняться. После этого мистер Снитл Тимбери провозгласил тост в честь юных Крамльсов, а тогда мистер Винсент Крамльс, в качестве их отца, обратился к собранию с речью, распространившись об их добродетелях, приятных качествах и достоинствах и пожелав, чтобы они были сыновьями и дочерью каждой леди и каждого джентльмена, здесь присутствующих. За этими торжественными церемониями последовал благопристойный антракт, заполненный музыкальными и другими увеселительными номерами. А затем мистер Крамльс предложил выпить за здоровье «гордости нашей профессии» — мистера Снитла Тимбери, и спустя некоторое время — за здоровье другой «гордости профессии» — африканского шпагоглотателя, дражайшего его друга, да будет позволено ему так его называть. Такую вольность африканский шпагоглотатель милостиво разрешил (у него не было никаких оснований не дать разрешения). После этого собирались выпить за здоровье джентльмена-литератора, но обнаружив, что к тому времени он сам за себя выпил с некоторым излишком и теперь спал на лестнице, намерение это оставили и воздали честь леди. Наконец после весьма длительного председательствования мистер Снитл Тимбери покинул свой пост, и гости разошлись, расточая многочисленные прощальные пожелания и поцелуи.

Николас остался последним, чтобы раздать свои маленькие подарки. Попрощавшись со всем семейством и подойдя к мистеру Крамльсу, он не мог не заметить разницы между этим расставанием и их прощанием в Портсмуте. От театральных манер мистера Крамльса не осталось и следа: он протянул руку с таким видом, который свидетельствовал, что в свое время его ожидала бы слава в пьесах из семейной жизни, если бы он мог принимать этот вид по собственной воле. А когда Николас пожал ее с искренним чувством, тот, казалось, совершенно растаял.

— Наша маленькая труппа жила очень дружно, Джонсон, — сказал бедняга Крамльс. — Мы с вами никогда не ссорились. Завтра утром я буду с радостью думать о том, что повидал вас еще раз, но сейчас я почти жалею, что вы пришли.

Николас собирался сказать в ответ какие-нибудь ободряющие слова, но был приведен в крайнее замешательство внезапным появлением миссис Граден, которая, как оказалось, уклонилась принять участие в ужине, чтобы пораньше встать на следующий день; сейчас она выбежала из смежной комнаты, облаченная в очень странные белые одеяния, и, обхватив руками его шею, нежно обняла его.

— Как! И вы уезжаете? — воскликнул Николас, принимая это объятие с такой

любезностью, словно она была прелестнейшим юным созданием.

— Уезжаю ли я? — отозвалась миссис Граден. — Господи помилуй, а как вы думаете, что бы они делали без меня?

Николас уступил еще одному объятию, еще более любезно, если только это было возможно, и, помахав шляпой со всей бодростью, на какую был способен, распрощался с Винсентом Крамльсом и его семейством.

Глава XLIX,

повествует о дальнейших событиях в семье Крамльса и о приключениях джентльмена в коротких штанах

В то время как Николас, поглощенный одним предметом, представлявшим с некоторых пор для него захватывающий интерес, занимался в часы досуга размышлениями о Маделайн Брэй и исполнением поручений, возлагаемых на него заботой о ней брата Чарльза, и видел ее снова и снова, подвергая все большей опасности спокойствие своего духа и стойкость принятых им возвышенных решений, миссис Никльби и Кэт жили по-прежнему в мире и покое. Они не знали никаких забот, кроме тех, что были связаны с тревожившими их шагами, предпринятыми мистером Снаули с целью вернуть сына, и беспокоились только о самом Смайке, на чьем здоровье, давно уже ослабевшем, начали столь сильно отражаться боязнь и неуверенность в будущем, что оно серьезно волновало их обеих и Николаса и даже внушало опасения.

Не жалобы и не ропот бедного юноши заставляли их тревожиться. Он неизменно стремился оказывать те маленькие услуги, какие были ему по силам, всегда горячо желал своим счастливым и беззаботным видом отблагодарить своих благодетелей и, быть может, не дал бы человеку, менее к нему расположенному, никаких поводов для беспокойства. Но часто случалось, что запавшие глаза слишком блестели, на ввалившихся щеках горел слишком яркий румянец, дыхание было слишком хриплым и тяжелым, тело слишком обессиленным и истощенным, чтобы это могло ускользнуть от внимания его друзей.

Есть страшный недуг, который таким путем как бы готовит свою жертву к смерти; он утончает грубую ее оболочку и на знакомые черты налагает неземную печать надвигающейся перемены. Страшный недуг, когда борьба между душой и телом ведется медленно, спокойно и торжественно и исход столь неминуем, что день за днем, нить за нитью смертная оболочка изнашивается и чахнет, а дух светлеет и оживает, когда легче становится его ноша и на пороге бессмертия он почитает этот недуг лишь новым этапом в жизни преходящей; недуг, при котором смерть и жизнь так странно сплетены, что смерть маскируется в горячие и яркие тона жизни, а жизнь надевает сухую страшную маску смерти; недуг, который никогда не могла исцелить медицина, никогда не могло отвратить от себя богатство, а бедность не могла бы похвастать, что от него защищена; недуг, который иногда подвигается гигантскими шагами, а иногда ленивыми и вялыми, но, медлительный или быстрый, всегда достигает своей цели.

Смутно подозревая об этом заболевании, в чем он, однако, ни за что не признался бы даже себе самому, Николас уже водил своего верного друга к врачу, пользовавшемуся большой известностью. Нет еще никаких оснований тревожиться, сказал тот. Налицо нет симптомов, которые можно было бы считать резко и определенно выраженными. Организм был сильно истощен в детстве, но все же печального исхода, может быть, удастся избежать, — и это было все.

Но Смайку как будто не становилось хуже, а так как нетрудно было найти причину этих болезненных симптомов в потрясении и волнениях, какие он недавно перенес, Николас утешал себя надеждой, что его бедный друг скоро выздоровеет. Эту надежду разделяли его мать и сестра, а раз сам объект их общих опасений, казалось, ничуть не унывал и не

беспокоился о себе, но каждый день отвечал с тихой улыбкой, что чувствует себя лучше, страх их рассеялся, и мало-помалу ко всем возвратилось счастливое расположение духа.

Много-много раз в последующие годы оглядывался Николас на этот период своей жизни и перебирал в памяти скромные, тихие семейные картины, живо встававшие перед ним. Много-много раз в сумерках летнего вечера или у трепещущего зимнего огня — но зимой не так часто и не с такою грустью — возвращались его мысли к прошедшим дням и медлили со сладостной печалью на каждом воспоминании, связанном с этими днями. Маленькая комнатка, где они так часто сиживали подолгу, когда, бывало, уже стемнеет, и рисовали себе такое счастливое будущее; веселый голос Кэт и ее беззаботный смех; часы, когда ее не бывало дома, а они сидели и ждали ее возвращения, нарушая молчание только для того, чтобы сказать, как скучно без нее; радость, с какою бедный Смайк бросался из своего темного угла, где обычно сидел, и спешил отворить ей дверь; и слезы, которые они часто видели на его лице, не понимая в чем дело, — ведь он был так доволен и счастлив, все маленькие события этих прошедших дней и даже случайные слова и взгляды, на которые в ту пору мало обращали внимания, но которые запомнились глубоко, хотя деловые заботы и испытания были совсем забыты, — все это ярко и живо возникало перед ним много и много раз, и над пыльной порослью годов вновь шелестели зеленые ветви вчерашнего дня.

Но были и другие лица, связанные с этими воспоминаниями, и немало происходило перемен. Об этом необходимо подумать в интересах нашего повествования, которое сразу вступает в свое привычное русло и, избегая предварять события или уклоняться в сторону, продолжает свой неуклонный равномерный ход.

Если братья Чирибл, убедившись, что Николас достоин их доверия и уважения, каждый день дарили его каким-нибудь новым и существенным знаком своего расположения, то не менее внимательны были они к тем, кто от него зависел. Всевозможные маленькие подарки для миссис Никльби — всегда те самые вещи, в каких она больше всего нуждалась, — немало способствовали украшению коттеджа. Небольшая коллекция безделушек Кэт стала просто ослепительной. Ну, а что касается гостей — если не было брата Чарльза или брата Нэда, заглядывавших хоть на несколько минут каждое воскресенье или вечером в будни, то мистер Тим Линкинуотер (который за всю свою жизнь не завязал и полдюжины знакомств и которому новые его друзья доставляли невыразимую радость) заходил постоянно во время своих вечерних прогулок и присаживался отдохнуть, а мистер Фрэнк Чирибл благодаря странному стечению обстоятельств случайно проходил по вечерам мимо их дома якобы по делу по крайней мере три раза в неделю.

— Это самый внимательный молодой человек, какого мне случалось видеть, Кэт, — сказала миссис Никльби однажды вечером своей дочери, после того как упомянутый выше джентльмен в течение некоторого времени служил предметом хвалебной речи достойной леди, а Кэт сидела, не нарушая молчания.

— Внимательный, мама? — повторила Кэт.

— Ах, боже мой, Кэт, — воскликнула миссис Никльби со свойственной ей порывистостью, — какой у тебя румянец! Да ты вся красная!

— Ах, мама, какие странные вещи вам чудятся!

— Мне не почудилось, Кэт, дорогая моя, я в этом уверена, — возразила мать. — Впрочем, румянец уже сбежал, а стало быть, неважно, был он или его не было. О чем это мы говорили? Ах, да! О мистере Фрэнке. Никогда в жизни не видела я такого внимательного отношения, никогда.

— Конечно, вы это не серьезно говорите, — сказала Кэт, снова покраснев и на этот раз уже бесспорно.

— Не серьезно! Почему бы мне не говорить серьезно? — возразила миссис Никльби. — Право же, я никогда не говорила более серьезно. Я повторяю, что его учтивость и внимание ко мне — одна из самых привлекательных, лестных и приятных черт, какие я наблюдала за долгое время. Вы не часто встретите такое обхождение у молодых людей, и тем больше оно изумляет, когда его встречаешь.

— Ах, внимание к вам, мама! — быстро сказала Кэт. — О да!

— Боже мой, Кэт, — воскликнула миссис Никльби, — какая ты странная девушка! С какой бы стати я заговорила о его внимании к кому-то другому? Уверяю тебя, я очень сожалею о том, что он был влюблен в немецкую леди, очень сожалею.

— Он решительно заявил, что ничего похожего на это не было, мама, — возразила Кэт. — Разве вы не помните, что он это сказал в первый же вечер, когда пришел сюда? А впрочем, — добавила она более мягким тоном, — почему мы должны сожалеть, если это и было? Какое нам до этого дела, мама?

— Нам, быть может, и никакого, — выразительно произнесла миссис Никльби, — но, признаюсь, мне кое-какое дело до этого есть. Я хочу, чтобы англичанин был англичанином до мозга костей, а то получается так: одна его половина — англичанин, а другая — невесть кто. В следующий раз, когда он придет, я ему напрямик скажу, чтобы он женился на одной из своих соотечественниц. И посмотрим, что он ответит.

— Пожалуйста, и не думайте об этом, мама! — быстро заговорила Кэт. — Не надо! Ни за что на свете! Подумайте, как бы это было...

— Ну что же, дорогая моя, как бы это было? — переспросила миссис Никльби, широко раскрыв глаза от изумления.

Не успела Кэт ответить, как особый отрывистый двойной удар в дверь возвестил, что мисс Ла-Криви пришла их навестить, а когда появилась мисс Ла-Криви, миссис Никльби, хотя и весьма расположенная обсудить затронутый вопрос, совершенно забыла о нем, так как нахлынули предположения касательно кареты, в которой приехала мисс Ла-Криви; эти предположения сводились к тому, что кондуктором был либо человек в блузе, либо человек с подбитым глазом, что он не нашел зонтика, который она оставила в карете на прошлой неделе, что несомненно они сделали длительную остановку у «Дома на полдороге» или проехали не останавливаясь, если все места были заняты, и наконец, что они должны были обогнать по дороге Николаса.

— Его я не заметила, — ответила мисс Ла-Криви, — но зато я видела этого милого старика мистера Линкинуотера.

— Ручаюсь, что он вышел на свою обычную вечернюю прогулку и хочет отдохнуть у нас, прежде чем вернуться назад в Сити, — сказала миссис Никльби.

— Думаю, что так, — отозвалась мисс Ла-Криви, — тем более что с ним был молодой мистер Чирибл.

— Но ведь это не основание, почему мистер Линкинуотер должен зайти сюда, — сказала Кэт.

— А я, дорогая моя, думаю, что основание, — сказала мисс Ла-Криви. — Для молодого человека мистер Фрэнк не очень-то хороший ходок, и я заметила, что он обычно устает и нуждается в продолжительном отдыхе, как только доходит до этого места. Но где же мой приятель? — озираясь, спросила маленькая женщина, бросив сначала лукавый взгляд на Кэт. — Уж не сбежал ли он опять?

— Да, да, где же мистер Смайк? — подхватила миссис Никльби. — Он только что был здесь.

Наведя справки, выяснили, к безграничному изумлению славной леди, что Смайк только-только ушел наверх спать.

— Ну, не странное ли он создание! — сказала миссис Никльби. — В прошлый вторник... Кажется, это было во вторник? Да, конечно. Помнишь, Кэт, дорогая моя, в последний раз, когда здесь был молодой мистер Чирибл?.. В прошлый вторник вечером он ушел точь-в-точь так же странно в ту самую минуту, — когда раздался стук в дверь. Быть не может, чтобы ему не нравилось общество, потому что он любит всех, кто любит Николаса, а молодой мистер Чирибл, конечно, его любит. И самое странное то, что он не ложится спать, значит уходит он не потому, что устал. Я знаю, он не ложится: моя комната смежная, и, когда я в прошлый вторник поднялась наверх спустя несколько часов, я обнаружила, что он даже башмаков еще не снял, а свеча у него не горела, стало быть, он все время сидел и

хандрил в темноте. Как подумаешь об этом, честное слово, это просто поразительно!

Так как слушатели не откликнулись на эти слова и продолжали хранить глубокое молчание, либо не зная, что сказать, либо не желая перебивать миссис Никльби, та, по привычке своей, продолжала рассуждать.

— Надеюсь, — сказала эта леди, — такое непонятное поведение не приведет к тому, что он сляжет в постель и пролежит в ней всю жизнь, как Жажущая Женщина из Тэтбери, или Привидение на Кок-лейн⁹³, или еще какое-нибудь из этих удивительных созданий. Одно из них имело какое-то отношение к нашей семье. Не могу вспомнить, пока не просмотрю старых писем, которые у меня наверху, прадед ли мой учился в одной школе с Привидением на Кок-лейн, или Жажущая Женщина из Тэтбери училась в одной школе с моей прабабкой. Мисс Ла-Криви, вы, конечно, знаете: кто из них не обращал никакого внимания на слова священника? Привидение на Кок-лейн или Жажущая Женщина из Тэтбери?

— Кажется, Привидение на Кок-лейн.

— В таком случае я не сомневаюсь, — сказала миссис Никльби, — это с ним мой прадед учился в одной школе, потому что я знаю, учителем там был диссидент, и этим должно до известной степени объясняться столь неподобающее отношение Кок-лейновского привидения к священнику, когда оно подросло. Ах, воспитывать привидение — то есть ребенка...

Все дальнейшие рассуждения на эту многообещающую тему были резко прерваны прибытием Тима Линкинуотера и мистера Фрэнка Чирибла, суетливо встречая коих миссис Никльби мгновенно забыла обо всем остальном.

— Мне так жаль, что Николаса нет дома, — сказала миссис Никльби. — Кэт, дорогая моя, ты должна быть и Николасом и собой.

— Мисс Никльби достаточно быть собой, — сказал Фрэнк.

— Тогда она во всяком случае должна настаивать, чтобы вы посидели, — отвечала миссис Никльби. — Мистер Линкинуотер говорит — десять минут, но так скоро я не могу вас отпустить; я уверена, что Николас был бы очень огорчен. Кэт, дорогая моя!

Повинуясь кивкам, подмигиваниям и многозначительному сдвиганию бровей, Кэт присовокупила и свои просьбы, чтобы гости остались; но можно было заметить, что она просила исключительно Тима Линкинуотера; и вдобавок в манерах ее чувствовалось какое-то смущение, которое (отнюдь не уменьшая ее грации, так же как румянец, вызванный им на ее щеках, отнюдь не вредил ее красоте) было подмечено с первого взгляда даже миссис Никльби. Не отличаясь особой склонностью к размышлениям, за исключением тех случаев, когда эти размышления можно было выразить словами и произнести вслух, рассудительная матрона приписала волнение дочери тому обстоятельству, что та не надела лучшего своего платья, «хотя, право же, я никогда еще не видела ее такой хорошенькой», подумала она при этом. Разрешив этот вопрос и будучи, к полному своему удовлетворению, убеждена, что в данном случае, как и во всех остальных, ее заключение правильно, миссис Никльби перестала об этом думать и мысленно поздравила себя с такой проницательностью и смекалкой.

Николас не возвращался, не появлялся и Смайк, но, по правде сказать, оба эти обстоятельства не произведя особого впечатления на маленькое общество, находившееся в наилучшем расположении духа. Начался даже настоящий флирт между мисс Ла-Криви и Тимом Линкинуотером, который говорил тысячу шутливых и пресмешных вещей и мало-помалу стал прямо-таки галантным, чтобы не сказать нежным. Маленькая мисс Ла-Криви в свою очередь была очень весела и удачно подшучивала над тем, что Тим остался на всю жизнь холостяком; в ответ на то Тим не удержался и заявил, что, если бы мог найти особу, которая дала бы свое согласие, он не знает, не изменил ли бы он даже и теперь своего положения. Мисс Ла-Криви серьезно порекомендовала одну знакомую леди, которая как раз подошла бы мистеру Линкинуотеру и имела очень недурное состояние. Но это последнее

обстоятельство произвело весьма малое впечатление на Тима, который мужественно заявил, что состояние не явилось бы для него приманкой, но что мужчина должен найти в жене истинные достоинства и веселый нрав, и если бы он их нашел, у него хватило бы средств для удовлетворения скромных потребностей обоих. Это признание Тима показалось столь почтенным, что и миссис Никльби и мисс Ла-Криви без усталости превозносили его, и, окрыленный их похвалами, Тим сделал еще ряд других заявлений, также свидетельствовавших о бескорыстии его сердца и о великой его преданности прекрасному полу, каковые были приняты с не меньшим одобрением. Все это разыгрывалось в комическом тоне, и шутливым и серьезным одновременно, и чрезвычайно всех развеселило.

Обычно Кэт бывала дома душой разговора, но на этот раз она была молчаливее, чем всегда (быть может, потому, что им до такой степени завладели Тим и мисс Ла-Криви), и, держась поодаль от собеседников, сидела у окна, следя за надвигающимися вечерними тенями и любуясь безмятежной красотой вечера, который, казалось, представлял не меньшее очарование и для Фрэнка, сначала стоявшего подле нее, а затем усевшегося рядом. Несомненно, много можно сказать слов приличествующих летнему вечеру, и несомненно лучше всего говорить их тихим голосом — наиболее соответствующим этому мирному и безмятежному часу; и длинные паузы по временам, а потом два-три серьезных слова, и снова молчание, которое почему-то не кажется молчанием, и иной раз быстро отворачивающаяся головка или потупленные глаза (обстоятельства, имеющие второстепенное значение), равно как и нежелание, чтобы внесли свечи, и склонность смешивать часы с минутами — все это, разумеется, объясняется лишь влиянием этого часа, что могут твердо засвидетельствовать много прелестных губок. Не было также у миссис Никльби ни малейших оснований выражать изумление, когда блестящие глаза Кэт, после того как появились, наконец, свечи, не могли вынести их света, что принудило ее отвернуться и даже на короткое время выйти из комнаты; если человек так долго сидел в потемках, свечи и в самом деле ослепляют, и нет ничего более естественного, чем такого рода последствия, о чем известно всем хорошо осведомленным молодым людям. Впрочем, известно и старым или когда-то было известно, но такие вещи они иной раз забывают, и очень жаль.

Однако изумление славной леди еще не достигло своего предела. Оно чрезвычайно возросло, когда выяснилось за ужином, что у Кэт нет ни малейшего аппетита, — открытие столь волнующее, что неизвестно, в каких красноречивых фразах излились бы опасения миссис Никльби, если бы всеобщее внимание не было привлечено в тот момент очень странным и необычным шумом, исходившим, как утверждала бледная и дрожащая служанка и как казалось всем присутствующим, «прямо» из дымохода камина в соседней комнате.

Так как всеми было установлено, что сколь бы это ни казалось необычным и невероятным, тем не менее шум действительно исходил из упомянутого дымохода, и так как шум (это было странное смешение всевозможных приглушенных дымоходом звуков — шуршанья, шорохов, бурчанья и брыканья) не прекращался, Фрэнк Чирибл схватил свечу, а Тим Линкинуотер — каминные щипцы. Вдвоем они очень быстро определили бы причину переполоха, если бы миссис Никльби не почувствовала дурноты и не запротестовала решительно против того, чтобы ее оставили одну. Это вызвало недолгие пререкания, закончившиеся тем, что в комнату, откуда доносился шум, отправились все, за исключением одной мисс Ла-Криви: служанка сделала добровольное признание, что в младенчестве страдала припадками, и мисс Ла-Криви осталась с ней, чтобы в крайнем случае позвать на помощь и применить необходимые средства.

Приблизившись к двери таинственного помещения, они немало удивились, услышав человеческий голос. Этот голос распевал с преувеличенно меланхолическим выражением и в придушенных тонах, какие можно ждать от человеческого голоса, исходящего из-под пяти или шести пуховиков наилучшего качества, некогда популярную песенку «Неужели она неверна мне, красотка, любимая мной?». И удивление их отнюдь не уменьшилось, когда, не вступая в переговоры и ворвавшись в комнату, они обнаружили, что эта любовная песенка несомненно исходит из глотки находящегося в дымоходе субъекта, представленного только

парой ног, болтавшихся над каминной решеткой и явно нащупывавших в крайнем беспокойстве верхний прут, дабы стать на него.

Зрелище, столь необычайное и чуждое деловому духу, совершенно парализовало Тима Линкинуотера, который, раза два осторожно ущипнув незнакомца за лодыжки, что не произвело на того никакого впечатления, стоял, сжимая и разжимая щипцы, словно оттачивая их перед новой атакой, и больше ровно ничего не делал.

— Должно быть, это пьяный, — сказал Фрэнк. — Ни один вор не стал бы возвещать таким образом о своем присутствии.

Сказав это с большим негодованием, он приподнял свечу, чтобы лучше обозреть ноги, и рванулся вперед, собираясь бесцеремонно дернуть их вниз. Вдруг миссис Никльби, сжав руки, испустила пронзительный звук — нечто среднее между возгласом и воплем — и пожелала узнать, облечены ли таинственные конечности в короткие штаны и серые шерстяные чулки или зрение ей изменяет.

— Вот-вот, — присмотревшись, воскликнул Фрэнк, — несомненно короткие штаны и... и... грубые серые чулки. Вы его знаете, сударыня?

— Кэт, дорогая моя, — сказала миссис Никльби, медленно опускаясь на стул с той безнадежной покорностью, которая как будто говорила, что теперь дело дошло до кризиса и всякое притворство бесполезно, — будь добра, милочка, объясни подробно, что здесь происходит. С моей стороны он не видел никакого поощрения, решительно никакого, ни малейшего! Ты это знаешь, дорогая моя, прекрасно знаешь! Он был очень почтителен, чрезвычайно почтителен, когда объяснялся в своих чувствах, чему ты была свидетельницей. Но тем не менее, если меня преследуют таким образом, если эти овощи... как они там называются?... и всевозможные огородные продукты будут сыпаться мне под ноги у меня в саду и джентльмены будут задыхаться у меня в камине, я, право, не знаю, честное слово, не знаю, что со мной будет! Это очень тяжелое положение. В такое тяжелое положение я никогда не попадала, в ту пору, когда еще не вышла замуж за твоего бедного дорогого папу, хотя тогда я претерпела много неприятностей, но этого я, разумеется, ждала и к этому была подготовлена. Когда я была гораздо моложе тебя, дорогая моя, один молодой джентльмен, сидевший рядом с нами в церкви, бывало, почти каждое воскресенье во время проповеди вырезывал мое имя крупными буквами на спинке перед своей скамьей. Конечно, это было лестно, но все-таки раздражало, потому что скамья была на очень видном месте и церковный сторож несколько раз публично выводил его за это из церкви. Но то было ничто по сравнению с этим! Сейчас гораздо хуже и положение гораздо более затруднительное. Кэт, дорогая моя, — продолжала миссис Никльби с большой торжественностью, проливая обильные слезы, — право же, я бы предпочла быть самой безобразной женщиной, чем терпеть такую жизнь!

Фрэнк Чирибл и Тим Линкинуотер с невыразимым изумлением посмотрели друг на друга, а потом на Кэт, которая чувствовала, что необходимо дать какое-то объяснение. Но ужас, вызванный появлением ног, страх, как бы владелец их не задохнулся, и тревожное желание найти из этой таинственной истории наименее нелепый выход, какой только было возможно, помешали ей выговорить хотя бы слово.

— Он причиняет мне большие страдания, — продолжала миссис Никльби, вытирая слезы, — большие страдания! Но не повредите ни одного волоска на его голове, прошу вас! Ни под каким видом не повредите волоска на его голове!

При данных обстоятельствах повредить волосок на голове джентльмена было не так легко, как, по-видимому, воображала миссис Никльби, ибо эта часть его особы находилась на несколько футов выше, в дымоходе, который был отнюдь не широким. Но так как все это время он не переставал распевать о преступлении красотки, нарушившей верность, и теперь уже не только слабо хрипел, но и неистово брыкался, как будто дыхание стало трудным делом, Фрэнк Чирибл без дальнейших размышлений потянул за короткие штаны и шерстяные чулки с таким усердием, что втащил барахтающегося джентльмена в комнату более стремительно, чем сам рассчитывал.

— О да! — воскликнула Кэт, как только странная особа появилась вся целиком столь неожиданно. — Я знаю, кто это. Пожалуйста, не обращайтесь с ним грубо. Он не ушибся? Надеюсь, нет. О, пожалуйста, посмотрите, не ушибся ли он.

— Уверяю вас, нет, — отозвался Фрэнк, ощупывая после этой просьбы с внезапной нежностью и уважением объект своего изумления. — Он ничуть не ушибся.

— Пусть он не подходит близко, — сказала Кэт, отступая как можно дальше.

— Он не подойдет, — отозвался Фрэнк. — Вы видите — я его держу. Но разрешите вас спросить, что это Значит? Вы ожидали этого старого джентльмена?

— О нет, — сказала Кэт. — Конечно, нет! Но он... мама, кажется, думает иначе... но этот джентльмен сумасшедший, который убежал из соседнего дома и, должно быть, улучил удобный момент, чтобы спрятаться здесь!

— Кэт! — с суровым достоинством вмешалась миссис Никльби, — ты меня удивляешь.

— Милая мама... — кротко начала Кэт.

— Ты меня удивляешь, — повторила миссис Никльби. — Меня поражает, Кэт, что ты становишься на сторону преследователей этого несчастного джентльмена, когда ты прекрасно знаешь, что они составили гнусный план завладеть его имуществом и что в этом-то и заключается весь секрет. Было бы гораздо милосерднее, Кэт, попросить мистера Линкинуотера или мистера Чирибла заступиться за него и позаботиться о том, чтобы он был восстановлен в правах. Ты не должна допускать, чтобы твои чувства на тебя влияли. Это нехорошо, совсем нехорошо! Как ты думаешь, каковы должны быть мои чувства? Кто, собственно, должен прийти в негодование? Разумеется, я, и на это есть причины. Но тем не менее я ни за что на свете не допустила бы такой несправедливости. Нет! — продолжала миссис Никльби, выпрямившись и со стыдливym достоинством глядя в другую сторону. — Этот джентльмен поймет меня, если я скажу, что повторяю тот же ответ, какой дала ему на днях, и всегда буду это повторять, хотя я верю в его искренность, когда вижу, в какое ужасное положение ставит он себя ради меня. И я прошу его быть столь любезным и удалиться немедленно, в противном случае немыслимо будет сохранить его поведение в тайне от моего сына Николаса. Я ему признательна, я чрезвычайно ему признательна, но я ни секунды не могу слушать его признания. Это невозможно!

Пока произносилась эта речь, старый джентльмен, нос и щеки которого были разукрашены большими пятнами сажки, сидел на полу, сложив руки, созерцая присутствующих в глубоком молчании и с величественной миной. Казалось, он ни малейшего внимания не обращал на то, что говорит миссис Никльби, но, когда она замолчала, он наградил ее пристальным взглядом и осведомился, кончила ли она.

— Мне больше нечего добавить, — скромно ответила Эта леди. — Право же, ничего другого я не могу сказать.

— Прекрасно! — сказал старый джентльмен, повысив голос. — В таком случае пусть принесут молнию в бутылке, чистый стакан и пробочник.

Так как никто не исполнил этого приказания, старый джентльмен после короткой паузы снова повысил голос и потребовал громовой сандвич. Когда и сандвич не появился, он пожелал, чтобы ему подали фрикассе из голенища и соус из золотых рыбок, а затем, от души расхохотавшись, угостил слушателей очень протяжным, очень громким и весьма мелодическим ревом.

Но миссис Никльби в ответ на многозначительные взгляды людей, окружавших ее, по-прежнему покачивала головой, как бы уверяя их, что во всем этом она ничего особенного не видит, кроме легких признаков эксцентричности. До последней минуты жизни она могла бы оставаться непоколебимой в этом убеждении, если бы кое-какие пустячные обстоятельства не изменили существа дела.

Случилось так, что мисс Ла-Криви, не находя состояние своей пациентки угрожающим и чрезвычайно любопытствуя узнать, что происходит, вбежала в комнату как раз в то время, когда старый джентльмен разразился ревом. И случилось так, что, едва ее увидев, старый джентльмен мгновенно перестал реветь, внезапно вскочил и начал с увлечением посылать

воздушные поцелуи перемена в поведении, испугавшая маленькую портретистку чуть ли не до обморока и заставившая ее с величайшей поспешностью спрятаться за Тима Линкинуотера.

— Ага! — воскликнул старый джентльмен, складывая руки и сжимая их изо всех сил. — Я ее вижу, я ее вижу! Любовь моя, жизнь моя, невеста моя, несравненная моя красавица! Наконец-то она пришла!

На секунду миссис Никльби была как будто сбита с толку, но, тотчас оправившись, закивала мисс Ла-Криви и прочим зрителям, нахмурилась и с важностью улыбнулась, давая им понять, что она понимает, в чем тут дело, и через минутку-другую все уладит.

— Она пришла, — сказал старый джентльмен, приложив руку к сердцу. — Она пришла! Все богатства мои принадлежат ей, если она согласна взять меня в рабство! Где вы найдете такую грацию, красоту и нежность? У императрицы Мадагаскара? Нет! У бубновой дамы? Нет! У миссис Роулэнд, которая каждое утро купается бесплатно в Калидоре? Нет! Смешайте их всех вместе, прибавьте три грации, девять муз и четырнадцать дочерей пирожников с Оксфорд-стрит, и вы не сделаете женщины, наполовину столь прекрасной. Ого! Попробуйте-ка!

После этой рапсодии старый джентльмен раз двадцать или тридцать щелкнул пальцами и затем погрузился в созерцание чар мисс Ла-Криви. Получив таким образом возможность дать объяснение, миссис Никльби немедленно приступила к нему.

— Разумеется, — сказала эта достойная леди, предварительно кашлянув, — это великое облегчение, что при столь тягостных обстоятельствах за меня приняли кого-то другого. Величайшее облегчение! И этого никогда еще не случалось. Впрочем, нет, меня несколько раз принимали за мою дочь Кэт. Несомненно, эти люди поступали нелепо и следовало бы им быть более осведомленными, но тем не менее они принимали меня за нее, и, конечно, моей вины тут нет, и было бы очень тяжело, если бы меня считали ответственной за это. Однако в данном случае я сознаю, что поступила бы очень нехорошо, если бы позволила кому бы то ни было — тем более особе, которой я столь обязана, — испытывать неудобства из-за меня. А потому я почитаю своим долгом сказать этому джентльмену, что он ошибается, и я являюсь именно той леди, которую кто-то имел дерзость назвать племянницей Уполномоченных по замощению улиц. И я прошу и умоляю его удалиться спокойно, хотя бы только, — тут миссис Никльби захихикала и замялась, — ради меня.

Можно было ожидать, что старый, джентльмен будет пронзен в самое сердце деликатностью такого обращения и что он даст по крайней мере учтивый и подобающий ответ. Каково же было потрясение, испытанное миссис Никльби, когда, обращаясь бесспорно к ней, он произнес громким и звучным голосом:

— Брысь — кошка!

— Сэр! — слабым голосом воскликнула миссис Никльби.

— Кошка! — повторил старый джентльмен. — Старая кошка! Серая! Пестрая! Пшш!

С шипением процевив этот последний звук сквозь зубы, старый джентльмен начал энергически размахивать руками и то наступал на миссис Никльби, то отступал от нее, исполняя тот самый дикарский танец, каким мальчишки в базарные дни пугают свиней, овец и других животных, когда те упрямо хотят свернуть не в ту улицу. Миссис Никльби не тратила лишних слов, но вскрикнула от ужаса и неожиданности и мгновенно упала в обморок.

— Я позабочусь о маме, — быстро сказала Кэт. Я совсем не испугалась. Но, пожалуйста, уведите его. Пожалуйста, уведите его.

Фрэнк был далеко не уверен, окажется ли он в силах исполнить эту просьбу, пока его не осенила мысль послать мисс Ла-Криви на несколько шагов вперед и предложить старому джентльмену следовать за ней. Успех был поразительный. Старый джентльмен удалился в восторге и восхищении под бдительной охраной Тима Линкинуотера с одной стороны и Фрэнка с другой.

— Кэт! — прошептала миссис Никльби, ожив, когда комната опустела. — Он ушел?

Она получила успокоительный ответ.

— Я никогда не прошу себе этого, Кэт, — сказала миссис Никльби, — никогда! Этот джентльмен лишился рассудка из-за меня, несчастной.

— Из-за вас? — с величайшим изумлением воскликнула Кэт.

— Из-за меня, моя милая, — ответила миссис Никльби со спокойствием отчаяния. — Ты видела, каким он был тогда, ты видишь, каков он сейчас. Я говорила твоему брату, Кэт, несколько недель назад, что опасаясь, как бы разочарование не оказалось ему не по силам. Ты видишь, какой он стал развалиной. Если отнестись снисходительно к некоторой его ветрености, ты знаешь, как разумно, рассудительно и благородно он говорил, когда мы видели его в саду. Ты слышала, какой ужасный вздор болтал он сегодня вечером и как он себя держал по отношению к этой бедной маленькой несчастной старой деве. Может ли кто-нибудь сомневаться в том, что произошло?

— Думаю, что никто не может, — мягко отозвалась Кэт.

— Я тоже так думаю, — подтвердила ее мать. И, если это произошло из-за меня, несчастной, у меня остается утешение сознавать, что винить меня нельзя. Я говорила Николасу. Я сказала ему: «Николас, дорогой мой, мы должны действовать очень осторожно». Он меня едва слушал. Если бы с самого начала взяться за это дело по-настоящему, так, как я хотела! Но вы оба похожи на вашего бедного папу. Все-таки одно утешение у меня остается, и этого должно быть для меня достаточно.

Сняв с себя таким образом всякую ответственность по этому пункту за прошлое, настоящее и будущее, миссис Никльби кротко выразила надежду, что у детей ее никогда не будет более серьезных оснований упрекать себя, чем у нее; затем она приготовилась встречать провожатых, которые вскоре вернулись с сообщением, что старый джентльмен благополучно доставлен домой и что они отыскиали его сторожей, которые веселились с какими-то приятелями, не ведая об его отлучке.

После того как спокойствие было восстановлено, восхитительные полчаса — так выразился Фрэнк в последующем разговоре с Тимом Линкинуотером по дороге домой — прошли в беседе, а когда часы Тима уведомили его, что давно пора уходить, леди остались в одиночестве, хотя со стороны Фрэнка последовало немало предложений побыть с ними до возвращения Николаса, в котором бы часу ночи он ни вернулся, если после недавнего соседского вторжения они хоть сколько-нибудь опасаются остаться вдвоем. Но так как они не опасались и он не мог настаивать на занятии сторожевого поста, то и принужден был покинуть цитадель и удалиться вместе с верным Тимом.

Почти три часа прошли в тишине. Когда вернулся Николас, Кэт покраснела, узнав, как долго сидела она одна, занятая своими мыслями.

— Право же, я думала, что не прошло и получаса, сказала она.

— Должно быть, мысли были приятные, Кэт, — весело отозвался Николас, — если время пролетело так быстро. Что же это за мысли?

Кэт была смущена; она переставила какую-то вещь на столе, подняла глаза и улыбнулась, потупилась и уронила слезинку.

— Ну-ка, Кэт, — сказал Николас, притягивая к себе сестру и целуя ее, — дай я посмотрю тебе в лицо. А! Но я и взглянуть не успел, так не годится. Дай посмотреть подольше, Кэт! Тогда я прочту все твои мысли.

В этом предложении, хотя оно и было сделано без всякого умысла и Николас не выразил никаких подозрений, было что-то так сильно встревожившее его сестру, что Николас со смехом перевел разговор на домашние дела и мало-помалу выяснил, когда они вышли из комнаты и вместе поднялись наверх, в каком одиночестве провел Смайк весь вечер, — выяснил далеко не сразу, потому что и на эту тему Кэт как будто говорила неохотно.

— Бедняга, — сказал Николас, тихо постучав ему в дверь. — Какая может быть этому причина?

Кэт держала под руку брата. Дверь распахнулась так быстро, что она не успела

освободить руку, когда Смайк, очень бледный, измученный и совсем одетый, предстал перед ними.

— Так вы еще не легли спать? — спросил Николас.

— Н-н-нет, — ответил тот.

Николас мягко удержал сестру, которая хотела уйти, и спросил:

— Почему же?

— Я не мог спать, — сказал Смайк, схватив руку, протянутую ему другом.

— Вам нездоровится? — продолжал Николас.

— Право же, мне лучше. Гораздо лучше! — быстро сказал Смайк.

— Но почему же тогда вы поддаетесь этим приступам меланхолии? — самым ласковым тоном осведомился Николас. — И почему не скажете нам, в чем дело? Вы стали другим человеком, Смайк.

— Да, я это знаю, — ответил он. — Когда-нибудь я вам скажу, в чем дело, но не сейчас. Я ненавижу себя за это — вы все такие добрые и ласковые. Но я ничего не мог поделать. Так много у меня на сердце... Вы не знаете, как много у меня на сердце!

Он сжал руку Николаса, прежде чем ее выпустить, и, бросив взгляд на стоявших рядом брата и сестру, словно в их крепкой любви было что-то глубоко его трогавшее, ушел к себе в спальню, и вскоре он один бодрствовал под мирной кровлей.

Глава L,

повествует о серьезной катастрофе

На маленьком ипподроме в Хэмптоне было многолюдно и весело; день был такой ослепительный, каким только может быть день; солнце стояло высоко в безоблачном небе и сияло во всем своем великолепии. Каждый цветной вымпел, дрожавший в воздухе над сиденьем экипажа или над палаткой, казался особенно ярким. Старые грязные флаги стали новыми, потускневшая позолота обновилась, грязная, прогнившая парусина казалась белоснежной, даже лохмотья нищих посвежели, и милосердие отступило перед горячим восхищением столь живописной нищеты.

Это была одна из тех живых сцен, захваченная в самый яркий и трепетный момент, которая неизбежно должна понравиться, ибо если зрение устало от пышности и блеска, а слух утомлен непрерывным шумом, зрение может отдохнуть на оживленных, счастливых и радостно настороженных лицах, а слух — заглушить восприятие более раздражающих звуков, звуками веселыми и радостными. Даже загорелые лица маленьких полуголых цыганят приносят каплю утешения. Приятно видеть, что на них светит солнце, знать, что воздух и свет окутывают их каждый день, чувствовать, что они дети и ведут жизнь детей, что если подушки их и бывают влажными, то это небесная роса, а не слезы, что девочки не искалечены неестественными жестокими пытками, на которые обречен их пол, что жизнь их протекает день за днем среди колеблемых ветром деревьев, а не между страшными машинами, которые детей делают стариками прежде, чем они узнали, что такое детство, и несут им истощение и недуги старости, не давая старческой привилегии умереть. Дай бог, чтобы старые сказки были правдой и чтобы цыгане воровали детей десятками!

Только что закончились великолепные заезды этого дня, и сомкнутые ряды людей по обеим сторонам беговой дорожки, внезапно разорвавшись и хлынув на нее, придали новую жизнь ипподрому, где все теперь снова пришло в движение. Одни нетерпеливо бежали взглянуть на лошадь-победительницу, другие с не меньшим нетерпением метались во все стороны, не находя своих экипажей, которые они оставили в поисках более удобного места. Вот кучка людей собралась вокруг стола, где идет игра в «горошину и наперсток»⁹⁴, и

наблюдает, как надувают какого-нибудь злополучного джентльмена; а там владелец другого стола, со своими сообщниками, соответствующим образом переодетыми (один в очках, другой с моноклем и в модной шляпе, третий в костюме зажиточного фермера — в пальто, переброшенном через руку, и с фальшивыми банкнотами в большом кожаном бумажнике, и все вооруженные кнутах с тяжелой рукояткой, чтобы их принимали за невиннейших деревенских жителей, приехавших сюда верхом), пытается громким и шумным разговором и притворным участием в игре заманить какого-нибудь неосмотрительного клиента, а тем временем джентльмены-сообщники (в чистом белье и хороших костюмах, а потому еще более гнусные на вид) невольно выдают свой живейший интерес к делу, бросая исподтишка беспокойные взгляды на всех подходящих к столу. Многие вертелись в задних рядах толпы, окружавшей кольцом бродячего фокусника, который соперничал с шумным оркестром, а чревовещатели, ведшие диалоги с деревянными куклами, и гадалки, заглушавшие крики реальных младенцев, также привлекали внимание публики. Палатки с напитками были переполнены; в экипажах звенели стаканы, распаковывались корзины, извлекались соблазнительные яства: застучали ножи и вилки, взлетели пробки от шампанского, засверкали глаза, которые и раньше не были тусклыми, и карманные воришки стали подсчитывать деньги, которыми они разжились во время последнего заезда. Внимание, только что сосредоточенное на одном интересном зрелище, теперь разделилось между сотней, и куда бы вы ни посмотрели, всюду было ликование, слышался смех, разговоры, всюду просили милостыню, вели азартную игру, разыгрывали пантомимы.

Бесчисленные игорные павильоны были представлены во всем их великолепии, с коврами, полосатыми занавесками, алым сукном, остроконечными крышами, ливрейными слугами и горшками с геранью. Здесь был Клуб иностранцев, клуб «Атенеум», клуб «Хэмптон», клуб «Сент-Джеймс» — клубы, растянувшиеся на полмили, где можно было играть во всевозможные игры и в *rouge-et-noir*⁹⁵. В один из таких павильонов нас и приводит это повествование. В этом павильоне, битком набитом игроками и зрителями, хотя он и был самым большим на ипподроме, с тремя столами для игры, было нестерпимо жарко, несмотря на то, что часть брезентовой крыши была откинута для доступа воздуха и две двери пропускали сквозной ветерок. За исключением двух-трех человек, которые, держа в левой руке длинный столбик полукрон с несколькими случайно затесавшимися соверенами, ставили деньги при каждом пуске шарика с деловитой степенностью, свидетельствовавшей, что они к этому привыкли и играли весь день, не было среди игроков никого особо примечательного. Большей частью это были молодые люди, явно пришедшие сюда из любопытства или игравшие по маленькой, видя в этом развлечение, входившее в программу дня, и мало интересуясь, выиграют они или проиграют. Однако среди присутствующих находились двое, которые, как превосходные представители своей профессии, заслуживают мимолетного внимания.

Один из них, лет пятидесяти шести или восьми, сидел на стуле у одного из входов в павильон, сложив руки на набалдашнике палки и опустив на них подбородок. Это был высокий толстый человек с длинным туловищем, в наглухо застегнутом светло-зеленом сюртуке, отчего его туловище казалось еще длиннее. На нем были темные короткие брюки, гетры, белый галстук и широкополая белая шляпа. Среди жужжанья и гула за игорными столами, среди непрерывно снующих людей он казался совершенно спокойным и отчужденным, его лицо не выражало ни малейшего возбуждения. Он не проявлял никаких признаков усталости и, на взгляд поверхностного наблюдателя, не представлял никакого интереса. Он сидел неподвижный и сдержанный. Иногда, но очень редко, он кивал головой кому-нибудь из проходивших мимо или давал знак лакею подойти к одному из столиков, куда его подзывали. Через секунду он погружался в прежнее свое состояние. То ли он был совершенно глухим старым джентльменом, зашедшим сюда отдохнуть, то ли терпеливо ждал приятеля, не замечая присутствия других людей, а быть может, пребывал в трансе или

накурился опиума. Люди оглядывались и посматривали на него, он же не делал ни одного жеста, не ловил их взглядов; входили все новые и новые посетители, а он не обращал на них никакого внимания. Когда он двигался, казалось чудом, как он мог заметить нечто такое, что потребовало сделать движение. Да это и в самом деле было чудом. Но не было ни одного человека, входившего или выходившего, которого бы он не видел; ни один жест за любым из трех столов не ускользал от него; ни одно слово, произнесенное крупье, не пролетало мимо его ушей; ни один игрок, проигрывавший или выигрывавший, не оставался незамеченным им. Он был владельцем павильона.

Другой председательствовал за столом rouge-et-noir. Он был, вероятно, лет на десять моложе, пухлый, коренастый человек с брюшком, с поджатой нижней губой — вследствие привычки считать про себя деньги, когда он их выплачивал; лицо у него не было отталкивающее, скорее даже приятное и честное. Он снял сюртук, так как было жарко, и стоял за столом перед грудой крон и полукрон и ящиком для банкнотов. Игра велась без перерывов. Быть может, игроков двадцать ставили одновременно. Этот человек должен был пускать шарик, следить за ставками, когда их клали на стол, собирать их с того цветного поля, которому не повезло, платить тем, кто выиграл, и все время держать игроков в напряжении. Все это он проделывал с быстротой, поистине чудесной, не ошибаясь, не останавливаясь и не переставая повторять нижеследующие не связанные между собою фразы, которые — отчасти по привычке, а отчасти вследствие необходимости говорить что-то соответствующее случаю и деловое — он неустанно изливал все с тою же монотонной выразительностью и чуть ли не в одном и том же порядке с утра до вечера:

— Руж-и-нор⁹⁶из Парижа! Ставьте, джентльмены, и удваивайте ставки все время, пока шарик крутится! Руж-и-нор из Парижа, джентльмены! Это французская игра, джентльмены, я сам ее привез, да! Руж-и-нор из Парижа! Черное выигрывает — черное... Минутку, сэр, сейчас я вам заплачу: два там, полфунта вон там, три здесь и один туда... Джентльмены, шарик крутится! ...Все время, сэр, пока шарик крутится... Вся прелесть этой игры заключается в том, что вы можете ставить или удваивать ставки, джентльмены, все время, пока шарик крутится... Опять черное-черное выигрывает. Никогда еще я не видывал такой штуки, честное слово, такой штуки я не видывал никогда в жизни! Если последние пять минут кто-нибудь из джентльменов ставил на черное, он должен был выиграть сорок пять фунтов за четыре оборота шарика, это несомненно. Джентльмены, у нас есть портвейн, херес, сигары и превосходнейшее шампанское. Официант, подайте бутылку шампанского и принесите-ка сюда штук двенадцать — пятнадцать сигар — не будем ни в чем себе отказывать, джентльмены! — и подайте чистые стаканы все время, пока шарик крутится. Вчера вечером, джентльмены, я потерял сто тридцать семь фунтов сразу, честное слово, потерял!.. Как поживаете, сэр? (узнав знакомого джентльмена, не делая паузы, не изменяя тона и только подмигивая слегка, так что это могло быть и случайностью.) Не угодно ли рюмку хереса, сэр! Лакей, сюда! Чистую рюмку и хересу этому джентльмену — и предложите херес всем, слышите, лакей? Это руж и-нор из Парижа, джентльмены, — все время, пока крутится шарик!.. Джентльмены, ставьте и удваивайте ставки! Это руж-и-нор из Парижа, новая игра — я сам ее привез, сам! Джентльмены, шарик крутится!

Этот служака рьяно исполнял свои обязанности, когда в павильон вошли человек шесть, которым он, не прерывая ни речи своей, ни работы, поклонился почтительно и в то же время указал глазами своему соседу на самого высокого в группе, узнав коего, владелец снял шляпу. Это был сэр Мальбери Хоук со своим другом и учеником и маленькой свитой, состоявшей из людей, одетых как джентльмены, с репутацией скорее сомнительной, чем неопределенной.

Владелец тихо приветствовал сэра Мальбери. Сэр Мальбери так же тихо послал его к черту и, отвернувшись, заговорил со своими друзьями.

Он был явно раздражен сознанием, что является объектом любопытства в этот день,

когда он впервые появился в обществе после происшедшего с ним несчастного случая. Нетрудно было заметить, что на скачках он появился не столько с целью насладиться спортом, сколько в надежде встретить великое множество знакомых и таким образом сразу покончить с наибольшим количеством неприятностей. На лице его еще заметен был шрам, и, когда его узнавали люди, входившие и выходившие из павильона — а это случалось чуть ли не каждую минуту, — он нервно пытался прикрыть его перчаткой, тем самым обнаруживая, как остро он чувствует нанесенное оскорбление.

— А, Хоук! — произнес весьма элегантно одетый субъект в нью-маркетском пальто, отменном галстуке и со всеми прочими аксессуарами самого безупречного качества. — Как поживаете, старина?

Это был соперник — тренер молодых аристократов и джентльменов, человек, которого сэр Мальбери ненавидел и боялся встретить больше, чем кого бы то ни было. Они обменялись чрезвычайно дружеским рукопожатием.

— Ну, как вы себя теперь чувствуете, старина? А?

— Прекрасно, прекрасно, — отвечал сэр Мальбери.

— Очень рад, — сказал тот. — Как поживаете, лорд Фредерик? А наш друг немножко осунулся. Не совсем еще пришел в себя? А?

Надлежит отметить, что у джентльмена были очень белые зубы и, когда не бывало повода для смеха, он имел обыкновение заканчивать фразу этим междометием и произносить его так, чтобы выставить их напоказ.

— Он в превосходном состоянии, все в порядке, — небрежно ответил молодой человек.

— Клянусь честью, рад это слышать, — сказал тот. — Вы вернулись из Брюсселя?

— Только вчера поздно вечером приехали в Лондон, — отозвался лорд Фредерик.

Сэр Мальбери, отвернувшись, заговорил с одним из своих спутников и притворился, будто не слушает.

— Честное слово, — продолжал джентльмен громким шепотом, — необычайно мужественно со стороны Хоука так скоро показаться на людях. Я это говорю не без умысла, в этом много смелости. Видите ли, он пробыл в уединении достаточно долго, чтобы разжечь любопытство, но недостаточно долго, чтобы публика забыла эту дьявольски неприятную... Кстати, вам, конечно, известно истинное положение дел? Почему же вы не изобличили эти проклятые газеты во лжи? Я редко читаю газеты, но я в них заглянул специально, и если бы я мог...

— Загляните в газеты, — сказал сэр Мальбери, внезапно обернувшись, — загляните завтра... нет, послезавтра!

— Честное слово, дорогой мой, я никогда не читаю газет или читаю их очень редко, — сказал тот, пожимая плечами. — Но я последую вашему совету. Что же я там увижу?

— До свидания, — сказал сэр Мальбери, круто повернувшись на каблуках и увлекая за собой своего ученика.

Тою же медлительной небрежной походкой, какою они вошли в павильон, они вышли рука об руку.

— Я не доставлю ему случая прочесть об убийстве, — с проклятьем пробормотал сэр Мальбери, — но это будет почти убийство, если хлыст рассекает, а дубинка бьет.

Его спутник ничего не ответил, но было нечто в его поведении, что подстрекнуло сэра Мальбери добавить почти с такой же яростью, как если бы его друг был самим Николасом:

— Еще не было восьми часов утра, когда я послал сегодня Дженкинса к старому Никльби. Он человек надежный: пришел ко мне раньше, чем вернулся посланный. За пять минут я получил от него все сведения. Я знаю, где можно встретить этого мерзавца, знаю и время и место. Но говорить об этом незачем. Завтра не за горами...

— А что та-а-кое произойдет завтра? — осведомился лорд Фредерик.

Сэр Мальбери бросил на него гневный взгляд, но не снизошел до ответа на вопрос. Оба хмуро пошли дальше, по-видимому занятые своими мыслями, пока не выбрались из толпы и не остались почти с глазу на глаз, как вдруг сэр Мальбери круто повернул назад.

— Подождите! — сказал его спутник. — Я хочу поговорить с вами серьезно. Не возвращайтесь туда. Походим несколько минут здесь.

— Что такое хотите вы мне сообщить, чего нельзя с таким же успехом сказать там, как и здесь? — возразил его ментор, освободив свою руку.

— Хоук, — начал тот, — ответьте мне, я должен знать...

— Должен знать! — презрительно повторил тот. — Фью! Продолжайте. Раз вы должны знать, значит, мне, конечно, от вас не ускользнуть. Должен знать!

— Скажем — должен спросить, — отозвался лорд Фредерик, — и должен настаивать на ясном и прямом ответе. Было ли то, что вы сейчас сказали, мимолетной фантазией, вызванной вашим дурным расположением духа и раздражением, или же таково ваше серьезное намерение — намерение, которое вы действительно обдумали?

— А разве вы не помните, что было сказано по этому поводу в один из вечеров, когда я лежал со сломанной ногой? — со злобной усмешкой спросил сэр Мальбери.

— Прекрасно помню.

— Ну, так во имя всех чертей примите это как ответ! — заявил сэр Мальбери. — И не требуйте от меня другого!

Таково было его влияние на одураченного им человека и такова была привычка последнего повиноваться, что в первую минуту лорд Фредерик как будто опасался продолжать разговор на эту тему. Впрочем, он скоро преодолел это чувство, если оно действительно его удерживало, и сердито возразил:

— Насколько я припоминаю, в тот день, о котором вы говорите, я энергически возражал по этому вопросу и заявил, что с моего ведома и согласия вы никогда не сделаете того, чем угрожаете сейчас.

— Вы мне помешаете? — со смехом спросил сэр Мальбери.

— Да-а, если это в моих силах, — быстро ответил тот.

— Весьма уместная спасительная оговорка, — сказал сэр Мальбери, — и она вам пригодится. Занимайтесь своим делом и предоставьте мне заниматься моим.

— Это мое дело, — возразил лорд Фредерик. — Я его делаю моим, оно будет моим. Оно уже мое. Я и так скомпрометирован больше, чем мне бы этого хотелось.

— Ради себя делайте, что вам угодно и как вам угодно, — сказал сэр Мальбери с притворным добродушием и непринужденностью. — Право же, этого должно быть для вас достаточно. Но ради меня не делайте ничего, вот и все. Никому не советую вмешиваться в то, что я намерен предпринять. Вы меня знаете. Вижу, что вы хотите дать мне совет. Намерение у вас хорошее, в этом я уверен, но совет я отвергаю. А теперь, будьте добры, вернемся к нашему экипажу. Здесь ничто меня не развлекает, скорее наоборот. Если мы продолжим этот разговор, мы можем поссориться, что отнюдь не явилось бы доказательством рассудительности ни с вашей, ни с моей стороны.

Дав этот ответ и не дожидаясь дальнейших возражений, сэр Мальбери Хоук зевнул и не спеша повернул назад.

В такой манере обращения было и много такта и знание характера молодого лорда. Сэр Мальбери ясно видел, что для сохранения своей власти над ним следует утвердить ее сейчас же. Он знал, что стоит ему выйти из терпения — и молодой человек в свою очередь выйдет из терпения. Много раз ему удавалось укрепить свое влияние, когда какое-либо обстоятельство его ослабляло, с помощью этой холодной сдержанности, и теперь он полагался на нее, почти не сомневаясь в полном успехе.

Но, пока он вел эту игру и сохранял самую беззаботную и равнодушную мину, какую помогли ему принять его хитрость и опыт, он мысленно решил не только отомстить Николасу с сугубой жестокостью за унижение, вызванное необходимостью обуздать свои чувства, но так или иначе заставить и молодого лорда дорого заплатить за это когда-нибудь. Пока тот был пассивным орудием в его руках, сэр Мальбери не питал к нему никаких чувств, кроме презрения, но теперь, когда он дерзнул признаться в убеждениях, противоречивших его собственным, и даже говорить высокомерным тоном и с видом превосходства, он начал

его ненавидеть. Сознавая, что он находится в зависимости — в самом гнусном и недостойном смысле этого слова — от слабовольного молодого лорда, сэр Мальбери тем меньше мог примириться с нанесенным ему оскорблением; почувствовав неприязнь к молодому лорду, он соразмерял ее, как это частенько делается, со своими провинностями по отношению к объекту этой неприязни. Если вспомнить, что сэр Мальбери грабил, дурачил, обманывал и водил за нос своего ученика всеми возможными способами, то не приходится удивляться, что, начав его ненавидеть, он возненавидел его от всей души.

С другой стороны, молодой лорд, поразмыслив, — а это с ним случалось очень редко, — и к тому же поразмыслив серьезно, об истории с Николасом и обстоятельствах, ей предшествовавших, пришел к мужественному и честному выводу. Грубое и возмутительное поведение сэра Мальбери во время этого инцидента произвело на него глубокое впечатление; сильное подозрение, что тот подстрекнул его преследовать мисс Никльби, имея в виду какие-то свои цели, уже мелькало у него в течение некоторого времени; он искренне стыдился своего участия во всем этом деле и был удручен опасением, что его одурачили. Последнее время, когда они жили вдаль от света, он мог на досуге подумать об этих вещах, и он воспользовался благоприятным случаем в той мере, в какой этому не препятствовали его природная беззаботность и лень. К тому же, некоторые незначительные обстоятельства усилили его подозрения. Недоставало лишь пустяка, чтобы разжечь его гнев против сэра Мальбери. Это было достигнуто пренебрежительным и наглым тоном последнего во время приведенного разговора (единственного, какой был у них на эту тему с того дня, о котором упомянул сэр Мальбери).

Итак, они присоединились к своим друзьям; у каждого были причины питать затаенную неприязнь к другому; вдобавок молодого человека преследовали мысли о мести, угрожавшей Николасу, и он обдумывал энергические меры, которые могли бы этому воспрепятствовать. Но это было еще не все. Сэр Мальбери, воображая, что заставил его окончательно замолчать, не мог скрыть свое торжество и не удержался, чтобы не воспользоваться тем, что считал своим преимуществом. Здесь был мистер Пайк, и здесь был мистер Плак, и здесь был полковник Чоусер и другие джентльмены такого же сорта, и сэру Мальбери важно было показать им, что он не утратил своего влияния. Сначала молодой лорд довольствовался молчаливым решением принять меры к тому, чтобы немедленно порвать дружеские отношения. Мало-помалу он начал раздражаться и пришел в негодование от шуточек и фамильярных замечаний, которые несколько часов назад только позабавили бы его. От этого он ничего не выиграл, ибо не мог состязаться с сэром Мальбери, когда дело доходило до насмешек и остроумных реплик, имевших успех в подобной компании. Однако резкого разрыва еще не было. Они вернулись в город. На обратном пути мистеры Пайк и Плак и другие джентльмены много раз заявляли, что никогда в жизни сэр Мальбери не бывал в таком чудесном расположении духа.

Они превосходно пообедали вместе. Вино лилось рекой, как, впрочем, лилось оно целый день. Сэр Мальбери пил, чтобы вознаградить себя за недавнее воздержание; молодой лорд — чтобы утопить свой гнев; остальные члены компании — потому что вино подавалось наилучшее и им не надо было за него платить. Было около полуночи, когда они, неистовые, разгоряченные вином, с бурлящей кровью и воспаленным мозгом, бросились к игорному столу.

Здесь они встретили другую компанию, безумствовавшую так же, как они. Возбуждение, вызванное игрой, жара в комнатах, ослепительный свет не были рассчитаны на то, чтобы остудить лихорадочный жар. В этом головокружительном шуме и сумятице люди пришли в исступление. Кто в диком опьянении минутой думал о деньгах, разорении или завтрашнем дне? Потребовали еще вина, осушали стакан за стаканом. Пересохшие, обожженные глотки изнывали от жажды; вино лилось в них, как масло в пылающий огонь. А оргия все продолжалась. Разгул достиг высшей своей точки; стаканы падали на пол из рук, которые не могли донести их до рта; проклятья срывались с уст, которые едва могли складывать слова, чтобы их извергнуть; пьяные проигравшиеся игроки ругались и орали;

иные вскакивали на стол, размахивая над головой бутылками и бросая вызов остальным; другие танцевали; многие пели, а кое кто разрывал карты и бесновался. Буйство и безумие правили самовластно, когда поднялся шум, в котором потонули все другие звуки, и два человека, схватив друг друга за горло, пробились на середину комнаты.

Десяток голосов, до сих пор молчавших, громко закричал, что нужно их разнять. Те, кто сохранял хладнокровие, чтобы выигрывать, и те, кто зарабатывал себе на жизнь при такого рода сценах, бросились к дерущимся и, оторвав их друг от друга, оттащили на несколько шагов.

— Пустите меня! — крикнул сэр Мальбери глухим, охрипшим голосом. — Он меня ударил! Слышите вы? Я говорю, он меня ударил! Есть у меня здесь друг? Кто это? Вествуд? Вы слышите, я говорю, что он меня ударил!

— Слышу, слышу, — ответил один из тех, кто его держал. — Уйдите, уйдите сейчас!

— Не уйду! — крикнул тот. — Десять человек, бывших поблизости, видели, как он ударил.

— Завтра времени будет сколько угодно, — сказал его приятель.

— Нет, не будет! — закричал сэр Мальбери. — Сегодня, немедленно, здесь!

Бешенство его было так велико, что он не мог говорить членораздельно, сжимал кулаки, рвал на себе волосы и топал ногами.

— Что случилось, милорд? — спросил кто-то из толпы. — Были нанесены удары?

— Один удар. — тяжело дыша, ответил молодой лорд. — Я его ударил. Я объявляю об этом всем. Я его ударил, и он знает, за что. Я тоже хочу, чтобы с этим делом было покончено. Капитан Адамс, — продолжал молодой лорд, быстро оглянувшись и обращаясь к одному из вмешавшихся, — прошу вас, разрешите поговорить с вами.

Тот, к кому он обратился, выступил вперед и, взяв молодого человека под руку, вышел с ним вместе; вскоре за ними последовал сэр Мальбери со своим приятелем.

Это был притон распутников, пользовавшийся дурной славой, и отнюдь не такое место, где бы подобная история могла пробудить симпатии к той или другой стороне и вызвать новое вмешательство. Где-нибудь в другом месте, но не здесь, дальнейшее развитие столкновения было бы немедленно приостановлено и повздорившим предоставлено время для трезвого и хладнокровного раздумья. Потревоженная в своем разгуле компания распалась; одни ушли, покачиваясь с пьяной важностью; другие удалились, шумно обсуждая происшествие; благородные джентльмены, жившие на свои выигрыши, уходя, говорили друг другу, что Хоук — прекрасный стрелок, а те, кто шумел больше всех, крепко заснули на диванах и больше ни о чем не думали.

Между тем два секунданта, как можно называть их теперь, после долгого совещания со своими принципалами встретились в другой комнате. Оба — люди совершенно бессердечные, оба светские бездельники, оба искушенные во всех пороках города, оба увязшие в долгах, оба занимавшие прежде более высокое положение, оба приверженные всем распутным привычкам, для которых общество умеет подыскать какое-нибудь элегантно название, выдвигая в виде оправдания самые порочные свои условности, — они были, разумеется, джентльменами с незапятнанной честью и весьма взыскательны, когда дело касалось чести других людей.

Сейчас эти два джентльмена были необычайно оживлены, ибо эта история не могла не наделать шуму и должна была оказаться полезной для их репутации.

— Дело щекотливое, Адамс, — приосанившись, сказал мистер Вествуд.

— Чрезвычайно, — отозвался капитан. — Удар был нанесен, и, разумеется, остается только один выход.

— Полагаю, никаких извинений? — осведомился мистер Вествуд.

— Ни звука, сэр со стороны моего приятеля, хотя бы мы говорили до Судного дня, — ответил капитан. — Первоначальной причиной спора, насколько мне известно, была какая-то девушка; о ней ваш приятель отзывался в таких выражениях, которые лорд Фредерик, защищая девушку, не пожелал слушать. Но это привело к долгим пререканиям по

всевозможным деликатным вопросам, со взаимными обвинениями. Сэр Мальбери был саркастичен, лорд Фредерик возбужден и, выведенный из терпения, ударил его в пылу спора при отягчающих дело обстоятельствах. Если сэр Мальбери не откажется полностью от своих слов, лорд Фредерик готов считать этот удар заслуженным.

— Больше говорить не о чем, — заявил мистер Вествуд, — остается назначить время и место. Ответственность велика, но тем не менее надо покончить с этим. Вы не возражаете, если мы назначим час восхода солнца?

— Времени в обрез, — отозвался капитан, взглянув на часы. — Но поскольку все это, по-видимому, назревало давно и переговоры являются пустой тратой слов, я не возражаю.

— После инцидента в той комнате, может быть, сказано было на открытом воздухе нечто такое, что принуждает нас, не откладывая, выехать из Лондона, — сказал мистер Вествуд. — Что вы скажете, если мы выберем одну из лужаек у реки против Туикенхема?

Капитан не имел никаких возражений.

— Не соберется ли нам в аллее, которая ведет от Питерсхема к Хэм-Хаусу, и там точно определить место? — предложил мистер Вествуд.

На это капитан также согласился. Сделав еще несколько предварительных замечаний, не менее лаконических, и установив, какой дорогой поедет каждый из дуэлянтов, чтобы избежать подозрений, они расстались.

— У нас как раз хватит времени, милорд, — сказал капитан, сообщив молодому лорду о соглашении, — заглянуть ко мне за ящиком с пистолетами, а затем, не торопясь, поехать туда. Если вы разрешите мне отпустить вашего слугу, мы отправимся в моем кэбе, потому что ваш, пожалуй, могут узнать.

Они вышли на улицу — какой резкий контраст с тем местом, которое они только что покинули! Уже рассвело. Вместо ослепительного желтого света в комнатах — ясное, чистое чудесное утро; вместо нагретой душной атмосферы, пропитанной чадом гаснущих ламп и зловонными испарениями распутства и кутежа, — свежий, здоровый воздух. Разгоряченной голове, которую обвевал этот прохладный ветерок, он, казалось, приносил раскаяние в том, что время растрчено зря и бесчисленные возможности упущены. Лорд Верисофт, у которого набухли вены и горела кожа, глаза, налитые кровью, казались безумными, а мысли сменяли друг друга в диком беге, воспринимал дневной свет как укори́зну и невольно ежился, встречая рассвет, словно был какой-то нечистой и мерзкой тварью.

— Знобит? — сказал капитан. — Вам холодно?

— Немножко.

— Действительно свежо после этой жары в комнатах. Завернитесь-ка в плащ. Вот так. А теперь в путь.

Они с грохотом проехали по тихим улицам, побывали на квартире у капитана, оставили позади город и выехали на открытую дорогу, не встретив никаких препятствий и помех.

Поля, деревья, сады, живые изгороди — все казалось прекрасным. Прежде молодой человек как будто едва замечал их, хотя проезжал мимо тысячу раз. Мир и покой почили на них в странном противоречии со смятением и путаницей его полутрезвых мыслей, но притягивали к себе и были так желанны. Он не чувствовал никакого страха; покуда он смотрел по сторонам, гнев его утих, и, хотя все старые иллюзии, связанные с бывшим его недостойным приятелем, рассеялись, он больше сожалел о том, что вообще знал его, нежели думал о том, к чему это привело.

Последняя ночь, вчерашний день и многие другие дни и ночи — все закружилось в бессмысленном и непонятном вихре; он не мог расчлени́ть события, происшедшие в разное время. То узнавал он в шуме колес, переходившем в какую-то безумную музыку, знакомые обрывки мелодий, то не слышал ничего, кроме ошеломляющих и странных звуков, подобных гулу потока. Но спутник его начал подшучивать над его молчанием, и они принялись громко болтать и смеяться. Когда они приехали, он немного удивился, заметив, что курит, но, подумав, вспомнил, когда и где он закурил сигару.

Они остановились у въезда в аллею и вышли из экипажа, оставив его на попечении

слуги, который был сметливым малым и привык к такого рода делам почти так же, как и его хозяин. Сэр Мальбери и его друг были уже здесь. Все четверо в глубоком молчании пошли аллеей величественных вязов, которые, переплетаясь высоко над их головами, образовали длинную зеленую перспективу готических арок, упиравшихся, словно старые руины, в открытое небо.

После остановки и недолгого совещания между секундантами они, наконец, свернули направо, пересекли небольшой луг и, миновав Хэм-Хаус, вышли в поля. В поле они и остановились. Шаги были отсчитаны, обычные формальности соблюдены, дуэлянты поставлены друг против друга на условленном расстоянии, и сэр Мальбери в первый раз повернулся лицом к своему молодому противнику. Он был очень бледен, глаза налиты кровью, одежда в беспорядке, и волосы растрепаны. Лицо же его не выражало ничего, кроме неистовой злобы. Он заслонил глаза рукой, несколько секунд смотрел в упор на своего противника, а затем, взяв протянутое ему оружие, устремил на него взгляд и больше не поднимал глаз, пока не раздался сигнал, после чего тотчас же выстрелил.

Два выстрела раздалось чуть ли не одновременно. И в тот же момент молодой лорд резко повернул голову, бросил ужасный взгляд на противника и, не застояв, не покачнувшись, упал мертвый.

— Убит! — закричал Вествуд, который вместе с другим секундантом подбежал к телу и опустился перед ним на одно колено.

— Пусть кровь его падет на его голову! — сказал сэр Мальбери. — Он сам навлек это на себя и принудил меня к этому.

— Капитан Адамс, — быстро заговорил Вествуд, — призываю вас в свидетели, что все произошло по правилам. Хоук, нам нельзя терять ни минуты! Мы должны немедленно бежать, спешить в Брайтон и как можно скорее переправиться во Францию. Это — скверная история и может обернуться еще хуже, если мы помедлим хоть секунду. Адамс, позаботьтесь о своей безопасности и не оставайтесь здесь: теперь надо думать о живых, а не о мертвых... Прощайте!

С этими словами он схватил под руку сэра Мальбери и увлек его за собой. Капитан Адамс, задержавшись только для того, чтобы окончательно убедиться в роковом исходе, поспешил в том же направлении, желая обсудить со своим слугой, какие принять меры, чтобы убрать тело и обеспечить собственную безопасность.

Так умер лорд Фредерик Верисофт от руки, которую он отягощал многими дарами и пожимал тысячу раз, умер по воле человека, не будь которого и ему подобных, он мог бы жить счастливо и умереть, видя вокруг своего ложа лица детей.

Солнце взошло горделиво во всем своем великолепии, благородная река текла извилистым руслом, листья дрожали и шелестели в воздухе, птицы заливались веселыми песнями на каждом дереве, недолговечная бабочка трепетала крылышками; настал день, принесся свет и жизнь; а здесь, приминая траву, где на каждой былинке приютились десятки крохотных жизней, лежал мертвец, обратив к небу неподвижное и застывшее лицо.

Глава LI,

Проект мистера Ральфа Никльби и его друга, приближаясь к успешному завершению, неожиданно становится известен противной стороне, не пользующейся их доверием

В старом доме, унылом, темном и пыльном, который, казалось, увял, как его хозяин, и пожелтел и сморщился, оберегая его от дневного света, как пожелтел и сморщился хозяин, оберегая свои деньги, жил Артур Грайд. Старые, расшатанные стулья и столы, жесткие и холодные, как сердце скряги, выстроились угрюмыми рядами вдоль хмурых стен; изнуренные, отощавшие шкафы, которые, охраняя запертые в них сокровища, пошатывались, как бы вечно опасаясь воров, забились в темные углы, откуда не отбрасывали теней на пол, и

скрывались и прятались от взглядов. На лестнице высокие угрюмые часы с длинными, тощими стрелками и голодным циферблатом тикали осторожным шепотом, а когда раздавался их бой, тонкий и писклявый, как старческий голос, они потрескивали, словно их донимал голод.

Не было кушетки у камина, сулящей покой и уют. Кресла здесь были, но они как будто чувствовали себя тревожно: робко и подозрительно изгибали ручки и стояли настороженные. Одни казались фантастически мрачными и изможденными, они как бы вытянулись во весь рост и приняли самый свирепый вид, чтобы приводить в смущение посетителей; другие навалились на своих соседей и искали опоры у стены — иной раз так, чтобы это бросалось в глаза, словно призывали всех в свидетели, что не стоит на них садиться. Темные квадратные громоздкие кровати, казалось, были сооружены для беспокойных снов. Покрытые плесенью портьеры, казалось, съезжились, собираясь в складки, и, когда по ним пробегал ветерок, боязливо перешептывались, сообщая друг другу о соблазнительных товарах, таившихся в темных и крепко-накрепко запертых стенных шкафах.

Из самой жалкой и унылой комнаты во всем этом жалком и унылом доме доносился однажды утром дребезжащий голос старого Грайда, слабо чирикавшего обрывок какой-то всеми забытой песни, припев которой звучал так:

Та-ран-так-так,
Брось старый башмак⁹⁷.
Пусть будет сей брак счастливым!

Он повторял этот припев все тем же пронзительным дрожащим голосом снова и снова, пока страшный припадок кашля не заставил его прекратить пенье и молча продолжать работу, которой он занимался.

Эта работа заключалась в том, что он доставал с полок источенного червями гардероба различные заплесневелые костюмы, подвергал каждый тщательному и детальному осмотру, держа костюм против света, а затем, сложив его с величайшей аккуратностью, присоединял к одной из двух небольших кучек одежды подле себя. Двух костюмов сразу он не вытаскивал, но доставал их по одному и неизменно закрывал дверцу и запирали шкаф на ключ после каждого своего визита к полкам.

— Костюм табачного цвета, — сказал Артур Грайд, обозревая потертый фрак. — К лицу ли мне был табачный цвет? Подумаем.

По-видимому, результат его размышлений оказался неблагоприятным, ибо он снова сложил фрак, отложил его в сторону и взобрался на стул, чтобы достать другой, чирикавая при этом:

Юности пыл
Радость сулил!
Брак их будет счастливым!

— Всегда они вставляют слово «юность»! — сказал старый Артур. — Но ведь песни пишутся только для рифмы, и эта песня глупая, ее пели деревенские бедняки, когда я был маленьким мальчиком. А впрочем... юность здесь подходит — это относится к невесте. Хи-хи-хи! Это относится к невесте. Ах, боже мой, это хорошо! Это очень хорошо. И вдобавок это правда, сущая правда!

Удовлетворенный таким открытием, он повторил куплет с сугубой выразительностью и с двумя-тремя трелями. Затем он вернулся к прежнему занятию.

— Бутылочно-зеленый, — сказал старый Артур. — Бутылочный был славным костюмом, и я его купил по дешевке у старьевщика, и там в жилетном кармане оказался —

хи-хи-хи! — потертый шиллинг. Подумать только, старьевщик не знал, что там был шиллинг! Я-то знал! Я его нащупал, когда исследовал качество материи. Ох, и дурак же этот старьевщик. А бутылочно-зеленый фрак принес мне счастье. В тот самый день, когда я в первый раз его надел, старый лорд Малоуфорд сгорел в своей постели и его наследники должны были уплатить по всем своим долговым обязательствам. Я женюсь в бутылочно-зеленом! Пэг Слайдерскую, я надену фрак бутылочного цвета!

Этот возглас, громко повторенный раза два или три у самой двери, привел в комнату низенькую, худую, высохшую, трясущуюся старуху со слезящимися глазами и отталкивающе уродливую; вытирая морщинистое лицо грязным передником, она осведомилась тихим голосом, каким обычно говорят глухие:

— Это вы меня звали или это часы били? Ничего не слышу, никак не отличу, кто, но, когда я слышу шум, я знаю, что это либо вы, либо часы, потому что в доме больше никто не шевелится.

— Это я, Пэг, я! — сказал Артур Грайд, похлопав себя по груди, чтобы сделать ответ более вразумительным.

— Вы? — отозвалась Пэг. — А что вам нужно?

— Я женюсь в бутылочно-зеленом! — крикнул Артур Грайд.

— Он слишком хорош, чтобы жениться в нем, хозяин, — возразила Пэг, осмотрев костюм. — Нет ли чего-нибудь похуже?

— Ничего подходящего нет, — ответил старый Артур.

— Как это так — ничего подходящего? — спросила Пэг. — Почему вам не надеть тот костюм, который вы каждый день носите?

— Он недостаточно хорош, Пэг, — ответил ее хозяин.

— Что недостаточно?

— Недостаточно хорош.

— Что недостаточно? — громко переспросила Пэг. — Недостаточно стар, чтобы надеть?

Артур Грайд вполголоса послал к черту глухоту своей экономки и заорал ей в ухо:

— Недостаточно наряден! Я хочу предстать в наилучшем виде!

— В наилучшем виде! — воскликнула Пэг. — Если она такая хорошенькая, как вы говорите, то можете поверить мне на слово, хозяин, не очень-то она будет на вас смотреть. И какой бы костюм вы ни надели, — цвета перца с солью, бутылочного цвета, небесно-голубого или в клетку, все равно вы от этого нисколько не изменитесь.

С таким утешительным замечанием Пэг Слайдерскую взяла костюм, на который пал выбор, и, скрестив поверх узелка костлявые руки, пожевала губами, ухмыльнулась и заморгала водянистыми глазами, напоминая странную фигуру в какой-то чудовищной скульптурной группе.

— Вы как будто в смешливом расположении духа, Пэг, — не особенно любезным тоном сказал Артур.

— Да и есть над чем посмеяться, — заявила старуха. — Но я очень скоро приду в дурное расположение, если кто-нибудь вздумает мной командовать. Так что я вас заранее предупреждаю, хозяин. Никто не сядет на голову Пэг Слайдерскую после стольких-то лет! Вы это знаете, значит незачем и говорить! Мне это не подходит. Не подходит! Да и вам тоже. Вы только попробуйте разок, и вы разоритесь — разоритесь, разоритесь!

— Ах, боже мой, боже мой, я и пробовать никогда не буду, — сказал Артур Грайд, придя в ужас при одном этом слове. — Ни за что на свете! Очень легко было бы меня разорить. Мы должны быть очень осмотрительны и более экономны, чем раньше, теперь, когда появится лишний рот. Но только... только не нужно, чтобы она потеряла свою миловидность, Пэг, потому что мне приятно смотреть на нее.

— Берегитесь, как бы эта миловидность не обошлась вам очень дорого, — возразила Пэг, грозя указательным пальцем.

— Но она сама может зарабатывать деньги, Пэг, — сказал Артур Грайд, жадно

всматриваясь в лицо старухи, чтобы узнать, как подействует на нее это сообщение. — Она умеет рисовать карандашом, писать красками, мастерить всевозможные хорошенькие вещицы для украшения табуретов и стульев; и туфли, Пэг, цепочки для часов, цепочки из волос и тысячу изящных безделушек, которые я даже назвать вам не могу. Потом она умеет играть на фортепьяно (и, что еще лучше, оно у нее есть) и поет, как птичка. Очень дешево будет стоять, Пэг, одевать ее и кормить. Разве вы со мной не согласны?

— Да, пожалуй, если вы позаботитесь о том, чтобы она вас не одурачила, — отозвалась Пэг.

— Одурачить меня! — воскликнул Артур. — Положитесь на вашего старого хозяина, Пэг, хорошенькое личико его не одурачит. Нет, нет, нет! Да и безобразное тоже, миссис Слайдерскую, — тихо буркнул он себе под нос.

— Вы что-то говорите и не желаете, чтобы я слышала, — сказала Пэг. — Я знаю, что вы говорите!

— Ах, боже мой, черт сидит в этой старухе! — пробормотал Артур и добавил, отвратительно подмигнув: — Я сказал, что всецело доверяю вам, Пэг, вот и все.

— Так и делайте, хозяин, и никаких забот у вас не будет, — одобрительно сказала Пэг.

«Они у меня будут, Пэг Слайдерскую, если я вам доверюсь», — подумал Артур Грайд.

Хотя он и думал об этом очень отчетливо, однако не смел даже прошептать беззвучно, опасаясь, как бы старуха не изобличила его. Казалось, он даже побаивался, что она прочтет его мысли, и лстиво подмигнул ей, когда заговорил вслух:

— На бутыльно-зеленом нужно обметать все петли лучшим черным шелком. Возьмите самый лучший моток и новые пуговицы для фрака. А вот мне пришла в голову хорошая мысль, Пэг, и вам, я знаю, она понравится: так как я до сих пор ничего ей не дарил, а девушки любят такие знаки внимания, вы почистите то блестящее ожерелье, которое лежит у меня наверху, и я ей подарю его в день свадьбы — сам обовью его вокруг ее прелестной шейки. А на следующий день отберу назад. Хи-хи-хи! Я его спрячу под замок, Пэг, а потом потеряю. Хотел бы я знать, кто тогда останется в дураках, Пэг?

По-видимому, миссис Слайдерскую весьма одобрила этот остроумный план и выразила свое удовольствие всевозможными конвульсивными подергиваниями головы и туловища, что отнюдь не способствовало ее очарованию. Эти подергивания продолжались, пока она не дошла, ковыляя, до двери, где заменила их кислым и злобным взглядом и, двигая из стороны в сторону нижней челюстью, принялась осыпать жаркими проклятиями будущую миссис Грайд, пока медленно ползла вниз по лестнице, останавливаясь чуть ли не на каждой ступеньке, чтобы отдышаться.

— Мне кажется, она наполовину ведьма, — сказал Артур Грайд, когда снова остался один. — Но она очень бережлива и очень глуха. Мне почти ничего не стоит кормить ее, и ей незачем подслушивать у замочных скважин, потому что она все равно ничего не услышит. В этом смысле она — превосходная женщина, в высшей степени благоразумная старая экономка... и должна цениться на вес... меди.

Воздав хвалу служанке, старый Артур снова стал напевать свою песенку.

Так как костюм, предназначенный украсить приближающееся его бракосочетание, был выбран, Артур спрятал остальные с такою же заботливостью, с какою вытаскивал их из покрытых плесенью уголков, где они покоились в безмолвии в течение многих лет.

Встрепенувшись от звонка у двери, он торопливо закончил эту операцию и запер гардероб; но спешить не было никакой необходимости, так как благоразумная Пэг редко замечала, что звонит колокольчик, если ей не случалось поднять мутные глаза и увидеть, что он раскачивается под потолком кухни. Впрочем, Пэг приковыляла довольно скоро, а вслед за ней вошел Ньюмен Ногс.

— А, мистер Ногс! — воскликнул Артур Грайд, потирая руки. — Мой добрый друг мистер Ногс, какие новости вы мне принесли?

Ньюмен с бесстрастным и неподвижным лицом ответил, сопровождая слово делом:

— Письмо. От мистера Никльби. Податель ждет.

— Не хотите ли вы... э...»

Ньюмен поднял глаза и причмокнул губами.

— ...присесть?

— Нет, — ответил Ньюмен, — благодарю вас. Артур дрожащими руками вскрыл письмо и с невероятной жадностью стал пожирать глазами его содержание, восторженно над ним захихикал и прочел несколько раз, прежде чем смог оторвать от него взгляд. Столько раз он его читал и перечитывал, что Ньюмен счел уместным напомнить ему о своем присутствии.

— Ответ! — сказал Ньюмен. — Податель ждет.

— Да, правда, — отозвался старый Артур. — Да, да. Уверяю вас, я почти забыл об этом.

— Я так и думал, что вы забыли, — сказал Ньюмен.

— Хорошо сделали, что напомнили мне, мистер Ногс. Очень хорошо! — сказал Артур. — Да. Я напишу одну строчку. Я... я немножко взволнован, мистер Ногс. Это известие...

— Плохое? — перебил Ньюмен.

— Нет, мистер Ногс, благодарю вас. Хорошее, хорошее. Лучшее из известий. Садитесь. Я принесу перо и чернила и напишу одну строчку в ответ. Я вас долго не задержу. Я знаю, какое вы сокровище для вашего хозяина, мистер Ногс. Иногда он о вас говорит в таких выражениях, мистер Ногс, что... ах, боже мой, вы бы изумились! Могу сказать, что я тоже так говорю и всегда говорил. О вас я всегда говорю одно и то же.

«Ну, значит вы говорите: „От всей души желаю, чтобы мистер Ногс убрался к черту“, — подумал Ньюмен, когда Грайд поспешно вышел.

Письмо упало на пол. Осторожно осмотревшись вокруг, Ньюмен, подстрекаемый желанием узнать результаты заговора, о котором он услышал, сидя в стенном шкафу, поднял его и быстро прочел следующее:

«Грайд!

Сегодня утром я опять видел Брэя и предложил (согласно вашему желанию) назначить свадьбу на послезавтра. С его стороны нет никаких возражений, а для его дочери все дни одинаковы. Мы отправимся вместе, вы должны быть у меня к семи часам утра. Мне незачем говорить вам, чтобы вы были пунктуальны.

Пока не делайте больше визитов девушке. Последнее время вы бывали там гораздо чаще, чем следовало. Она по вас не томится, и это может оказаться опасным. Сдерживайте ваш юношеский пыл в течение сорока восьми часов, а ее предоставьте отцу. Вы только губите то, что он делает — и делает хорошо.

Ваш Ральф Никльби».

За дверью слышались шаги. Ньюмен бросил письмо на прежнее место, придавил ногой, чтобы оно тут и осталось, одним прыжком вернулся к своему стулу и принял такой рассеянный и тупой вид, какой только может быть у смертного. Артур Грайд, нервно осмотревшись, увидел на полу письмо, поднял его и, усевшись писать ответ, взглянул на Ньюмена Ногса, который созерцал стену столь внимательно, что Артур встревожился не на шутку.

— Вы увидели там что-нибудь особенное, мистер Ногс? — спросил Артур, стараясь проследить за взглядом Ньюмена, а это было совершенно невозможно и до сих пор никому еще не удавалось.

— Только паутину, — ответил Ньюмен.

— О! И это все?

— Нет, — сказал Ньюмен. — В ней муха.

— Здесь очень мною паутины, — заметил Артур Грайд.

— И у нас много, — отозвался Ньюмен. — И мух тоже.

Казалось, эта реплика доставила большое удовольствие Ньюмену, и, к великому

потрясению нервов Артура Грайда, он извлек из суставов своих пальцев серию резких потрескиваний, напоминавших по звуку отдаленные залпы мелких орудий. Тем не менее Артуру удалось дописать ответ Ральфу, и, наконец, он протянул записку эксцентрическому посланцу для передачи.

— Вот она, мистер Ногс, — сказал Г्राйд. Ньюмен кивнул, спрятал ее в свою шляпу и, волоча ноги, пошел к двери, но Г्राйд, чей любовный восторг не знал пределов, поманил его и сказал пронзительным шепотом и с усмешкой, от которой все лицо его собралось в складки, а глаза почти закрылись:

— Не хотите ли... не хотите ли выпить капельку чего-нибудь — так только, отведать?

В дружеском согласии (если Артур Г्राйд был на это способен) Ньюмен не выпил бы с ним ни капли наилучшего вина, какое только есть на свете, но, желая посмотреть, каков он при этом будет, и по мере сил наказать его, он немедленно принял предложение.

И вот Артур Г्राйд снова отправился к гардеробу и с полки, нагруженной высокими фламандскими рюмками и причудливыми бутылками — одни были с горлышками, похожими на шею аиста, а другие с квадратным голландским туловищем и короткой толстой, апоплексической шеей, — снял покрытую пылью, многообещающую на вид бутылку и две рюмочки, на редкость маленькие.

— Такого вы никогда не пробовали, — сказал Артур. — Это eau d'or — золотая вода. Мне это вино нравится из за названия. Чудесное название. Вода из золота, золотая вода! Ах, боже мой, прямо-таки грешно пить ее!

Так как мужество, казалось, быстро ему изменяло и он играл пробкой с таким видом, что можно было опасаться возвращения бутылки на старое место, Ньюмен взял одну из рюмочек и раза два-три постучал ею о бутылку, деликатно напоминая, что ему еще не налили. С глубоким вздохом Артур Г्राйд медленно наполнил рюмку, хотя и не до краев, а потом налил себе.

— Пойдите, пойдите, не пейте еще, — сказал он, положив руку на руку Ньюмена. — Мне это подарили двадцать лет тому назад, и, когда я выпиваю глоточек, что бывает очень редко, я люблю раньше подумать и раззадорить себя. Мы за кого-нибудь выпьем. Давайте выпьем за кого-нибудь, мистер Ногс!

— А! — сказал Ньюмен, нетерпеливо посматривая на свою рюмочку. — Пошевеливайтесь. Податель ждет.

— Так вот что я вам скажу, — захихикал Артур. — Мы выпьем — хи-хи-хи! — мы выпьем за здоровье леди.

— Вообще всех леди? — осведомился Ньюмен.

— О нет, мистер Ногс! — ответил Г्राйд, удерживая его руку. — Одной леди. Вы удивляетесь, когда я говорю — одной леди? Знаю, что удивляетесь. Знаю. За здоровье маленькой Маделайн. Вот за кого, мистер Ногс. За маленькую Маделайн!

— За Маделайн! — сказал Ньюмен и мысленно добавил: «И да поможет ей бог!»

Быстрота и беспечность, с какою Ньюмен проглотил свою порцию золотой воды, произвели сильное впечатление на старика, который сидел, выпрямившись, на стуле и смотрел на него, разинув рот, словно от этого зрелища у него прервалось дыхание. Ничуть не смущаясь, Ньюмен оставил его допивать не спеша свою рюмку или, если ему угодно, вылить ее обратно в бутылку и удалился, нанеся сначала тяжкое оскорбление достоинству Пэг Слайдерскую, когда прошмыгнул мимо нее в коридоре без всяких извинений или приветствий.

Оставшись наедине, мистер Г्राйд и его экономка немедленно образовали комитет по изысканию путей и средств и приступили к обсуждению мер, какие следовало принять для встречи молодой жены. Как и в некоторых других комитетах, дебаты были чрезвычайно скучны и многословны, и потому мы в нашем повествовании можем отправиться по стопам Ньюмена Ногса, соединяя необходимое с полезным, ибо это было бы необходимо при любых обстоятельствах, а для необходимого не существует никаких законов, о чем известно всему миру.

— Вы очень замешкались, — сказал Ральф, когда Ньюмен вернулся.

— Это он мешкал, — возразил Ньюмен.

— Эх! — нетерпеливо воскликнул Ральф. — Дайте мне его записку, если он вам ее дал, а если нет, так передайте ответ на словах. И не уходите. Я хочу сказать вам два слова, сэр.

Ньюмен протянул записку и принял весьма добродетельный и невинный вид, пока Ральф распечатывал ее и просматривал.

— Он не преминет прийти, — пробормотал Ральф, разрывая записку на мелкие кусочки. — Разумеется, я знал, что он не преминет прийти. Зачем было это сообщать? Ногс! Послушай же, сэр, что это за человек, с которым я вас видел вчера вечером на улице?

— Не знаю, — ответил Ногс.

— Ну-ка освежите свою память, сэр! — грозно взглянув на него, сказал Ральф.

— Говорю же вам, что не знаю, — смело возразил Ньюмен. — Он приходил сюда два раза и спрашивал вас. И вас не было. Он пришел опять. Вы сами его прогнали. Он сказал, что его фамилия Брукер.

— Знаю, — заметил Ральф. — А потом что?

— А потом что? Потом он шнырял здесь вокруг и ходил за мной по пятам на улице. Он идет за мной следом каждый вечер и пристает, чтобы я ему устроил встречу с вами. По его словам, такая встреча один раз уже была, и не так давно. Ему нужно увидеть вас лицом к лицу, говорит он, и он ручается, что скоро вы согласитесь выслушать его до конца.

— А вы что на это говорите? — осведомился Ральф, зорко глядя на своего раба.

— Что это не мое дело и что я не хочу. Я ему посоветовал поймать вас на улице, если это все, что ему нужно. Так нет же, этого он не хочет! Он сказал, что на улице вы ни слова не пожелаете слушать. Он должен остаться с вами с глазу на глаз в комнате с запертой дверью, где может говорить без опаски, и тогда вы скоро измените тон и выслушаете его терпеливо.

— Наглец! — пробормотал Ральф.

— Вот все, что мне известно, — сказал Ньюмен. — Повторяю, я не знаю, что это за человек. Не думаю, чтобы он сам это знал. Вы его видели. Может быть, вы знаете.

— Думаю, что знаю, — ответил Ральф.

— Ну, так вот, — угрюмо продолжал Ньюмен, — не думайте, что я тоже его знаю. Теперь вы меня спросите, почему я вам раньше об этом не сообщил. А что бы вы сказали, если бы я передавал вам все, что о вас говорят? Как вы меня называете, если я иной раз это делаю? «Скотина! Осел!» И огрызаетесь, как дракон.

Это была правда. Что же касается вопроса, который предвосхитил Ньюмен, то он и в самом деле готов был сорваться с языка Ральфа.

— Это бездельник и мошенник! — сказал Ральф. — Бродяга, вернувшийся из-за океана, куда отправился за свои преступления; преступник, выпущенный на свободу, чтобы окончить жизнь в петле; негодяй, имевший дерзость испробовать свои плутни на мне, невзирая на то, что я его хорошо знаю. В следующий раз, когда он будет к вам приставать, передайте его в руки полиции за попытку вымогать деньги угрозами и ложью!.. Слышите?.. А остальное предоставьте мне. Пусть он посидит в тюрьме, и, ручаясь, по выходе оттуда он поищет других людей, которых мог бы стричь. Вы слышите, что я говорю?

— Слышу, — подтвердил Ньюмен.

— Так и сделайте, — сказал Ральф, — а я вас награжу. Теперь можете идти.

Ньюмен охотно воспользовался этим разрешением, заперся в своей маленькой конторе и провел там весь день в очень серьезных размышлениях. Вечером, когда его отпустили, он отправился во всю прыть в Сити и занял прежний свой пост за насосом, чтобы подстеречь Николаса. Ибо Ньюмен Ногс был по-своему горд и в качестве друга Николаса не мог появиться перед братьями Чирибл таким оборванцем и в таком жалком состоянии, до какого его довели.

Он не провел на этом посту и нескольких минут, когда с радостью увидел приближавшегося Николаса и выскочил из своей засады ему навстречу. Николас, со своей стороны, был не менее обрадован появлению друга, которого последнее время не видел;

поэтому встретились они сердечно.

— Я только что о вас думал, — сказал Николас.

— Это хорошо, — отозвался Ньюмен, — а я о вас. Сегодня я не мог не прийти. Слушайте: мне кажется, я на пути к какому-то открытию.

— Какое же это может быть открытие? — спросил Николас, улыбаясь такому странному сообщению.

— Не знаю какое, не знаю какое, — сказал Ньюмен. — Это какая-то тайна, в сохранении которой заинтересован ваш дядя, но что это такое, мне еще не удалось выяснить, хотя у меня есть серьезные подозрения. Сейчас не буду о них говорить, чтобы вам не пришлось разочароваться.

— Разочароваться мне? — воскликнул Николас. — Разве я в этом замешан?

— Думаю, что да, — ответил Ньюмен. — Мне запало в голову, что это именно так. Я нашел человека, который явно знает больше, чем хочет сказать. И он уже бросал мне такие намеки, которые поставили меня в тупик. Я говорю — поставили меня в тупик, — повторил Ньюмен, яростно растирая свой красный нос; при этом он изо всех сил таращил глаза на Николаса.

Недоумевая, что побудило его друга принять столь таинственный вид, Николас попытался выяснить причину с помощью ряда вопросов, но безуспешно. Из Ньюмена нельзя было вытянуть более вразумительного ответа, чем повторение туманных замечаний, уже брошенных им раньше, и запутанной речи на тему о том, что необходимо соблюдать величайшую осторожность, что зоркий Ральф уже видел его в обществе незнакомца и что он, Ньюмен, сбил с толку упомянутого Ральфа крайней своей сдержанностью и хитроумными ответами, ибо с самого начала подготовился к этому.

Вспомнив слабость своего собеседника, — о ней его нос, подобно маяку, постоянно извещал всех зрителей, — Николас увлек его в уединенную таверну. Здесь они принялись обсуждать начало и развитие их знакомства; припоминая мелкие события, они добрались, наконец, до мисс Сесилии Бобстер.

— Кстати, — заметил Ньюмен, — вы мне так и не сказали настоящего имени молодой леди.

— Маделайн, — сообщил Николас.

— Маделайн? — воскликнул Ньюмен. — Какая Маделайн? Как ее фамилия? Скажите мне ее фамилию!

— Брэй, — с величайшим изумлением отвегил Николас.

— Та самая! — вскричал Ньюмен. — Плохо дело! И вы можете сложа руки смотреть, как этот чудовищный брак будет заключен, не делая ни единой попытки спасти ее?

— Что это значит? — встрепенувшись, воскликнул Николас. — Брак! Вы с ума сошли?

— А вы? А она? Или вы слепы, глухи, бесчувственны, мертвы? — сказал Ньюмен. — Да знаете ли вы, что через день благодаря вашему дяде Ральфу она выйдет замуж за человека такого же дурного, как он? Даже еще хуже, если это только возможно! Знаете ли вы, что через день она будет принесена в жертву — и это так же верно, как то, что вы стоите здесь, — старому негодю, дьяволу во плоти, искушенному во всех дьявольских кознях...

— Думайте о том, что вы говорите! — перебил Николас. — Ради бога! Я один здесь остался, а те, кто мог бы протянуть руку, чтобы спасти ее, сейчас далеко. Что вы хотите сказать?

— Я никогда не слышал ее имени, — сказал Ньюмен, задыхаясь от волнения. — Почему вы мне не сказали? Как я мог знать? По крайней мере у нас было бы время подумать!

— Что вы хотите сказать? — закричал Николас. Нелегкое было дело вырвать у Ньюмена это сообщение, но после бесконечной и странной пантомимы, которая ничего не разъясняла, Николас, придя почти в такое же неистовство, как и сам Ньюмен Ногс, насильно усадил его на стул и придерживал, пока тот не начал рассказывать.

Бешенство, изумление, негодование захлестнули сердце слушателя, когда перед ним раскрылся заговор. Едва успел он уразуметь, в чем дело, как, дрожа всем телом и с

землисто-серым лицом, выбежал из комнаты.

— Держите его! — закричал Ньюмен, бросившись вдогонку. — Он выкинет что-нибудь отчаянное! Он убьет кого-нибудь! Эй! Держи его! Держи вора, держи вора!

Глава LII,

Николас отчаивается спасти Маделайн Брэй, но вновь обретает мужество и решает сделать попытку. Сведения о делах семейных Кенуигсов и Лиливиков

Видя, что Ньюмен решил во что бы то ни стало остановить его, и опасаясь, что какой-нибудь благонамеренный прохожий, привлеченный криком: «Держи вора!», немедленно схватит его и тогда ему не так-то легко будет выпутаться из этого неприятного положения, Николас вскоре замедлил шаги и позволил Ньюмену Ногсу присоединиться к нему; тот это сделал, задыхаясь так, что казалось, еще минута — и он не выдержит.

— Я иду прямо к Брэю! — сказал Николас. — Я увижу этого человека. Если осталось у него в груди хоть какое-нибудь человеческое чувство, хоть искра любви к родной дочери, не имеющей ни матери, ни друзей, я эту искру раздую!

— Не раздуете, — возразил Ньюмен. — Право же, не раздуете.

— В таком случае, — сказал Николас, шагая вперед, — я последую первому своему побуждению и пойду прямо к Ральфу Никльби.

— К тому времени, когда вы туда доберетесь, он будет в постели, — сказал Ньюмен.

— Я его оттуда вытащу! — крикнул Николас.

— Ну-ну! — сказал Ногс. — Опомнитесь.

— Вы лучший из друзей, Ньюмен, — помолчав, начал Николас и с этими словами взял его за руку. — Много испытаний выпало на мою долю, и я не терял голову, но с этим испытанием связано несчастье другого человека — такое несчастье, что я прихожу в отчаяние и не знаю, как быть!

Действительно, положение казалось безнадежным. Немыслимо было извлечь какую-нибудь пользу из тех сведений, какие почерпнул Ньюмен Ногс, когда прятался в шкафу. Самый факт соглашения между Ральфом Никльби и Грайдом не мог служить законным препятствием к браку и не заставил бы возражать против него Брэя, который если и не знал точно о существовании какого-то договора, то несомненно подозревал об этом. Упоминание о мошенничестве, жертвой которого должна была стать Маделайн, было сделано Артуром Грайдом в достаточной мере туманно, а в передаче Ньюмена Ногса, окутанного вдобавок парами из «карманного пистолета», оно стало совсем невразумительным.

— Я не вижу ни проблеска надежды, — сказал Николас.

— Тем больше оснований сохранять хладнокровие, рассудок, сообразительность, — сказал Ньюмен, делая паузу после каждого слова, чтобы с тревогой заглянуть в лицо друга. — Где братья?

— Уехали по неотложным делам и вернутся не раньше чем через неделю.

— Нельзя ли дать им знать? Сделать так, чтобы один из них был здесь завтра к вечеру?

— Невозможно! — сказал Николас. — Нас разделяет море. При самом попутном ветре, какой только может быть, потребовалось бы три дня и три ночи, чтобы съездить туда и вернуться.

— А их племянник? — спросил Ньюмен. — Их старый клерк?

— Могут ли они сделать больше, чем я? — возразил Николас. — Что касается их обоих, мне предписано хранить полное молчание об этом предмете. Какое право имею я обмануть доверие, мне оказанное, если ничто, кроме чуда, не может предотвратить этой жертвы?

— Подумайте, — понукал Ньюмен. — Нет ли какого-нибудь средства?

— Нет, — в глубоком унынии сказал Николас. — Никакого. Отец настаивает, дочь

соглашается. Эти дьяволы держат ее в своих сетях; на их стороне закон, сила, власть, деньги, положение. Могу ли я надеяться спасти ее?

— Надеемся до конца! — воскликнул Ньюмен, похлопав его по спине. — Всегда надейтесь, мой мальчик! Никогда не переставайте надеяться! Вы меня слышите, Ник? Испробуйте все. Это кое-что значит — увериться в том, что вы сделали все возможное. Но главное — не переставайте надеяться, иначе нет никакого смысла делать что бы то ни было. Надеемся, надеемся до конца!

Николас нуждался в ободрении. Внезапность, с какой открылись ему планы обоих ростовщиков, короткий срок, оставшийся ему, чтобы им помешать, вероятность, почти граничившая с уверенностью, что через несколько часов Маделайн станет для него навеки недостижимой, будет обречена на невыразимые страдания и, быть может, на безвременную смерть, — все это совершенно оглушило и ошеломило его. Все надежды, связанные с нею, какие он позволял себе лелеять или питал бессознательно, казалось, лежали у его ног, увядшие и мертвые. Все обаятельные ее черты, какие хранила его память или воображение, представлялись ему, и это только усиливало его тревогу, и отчаяние его становилось еще более горьким. Глубокое сострадание, вызванное ее беспомощностью, и восхищение ее героизмом и стойкостью разжигали негодование, сотрясавшее его тело и переполнявшее сердце, готовое разорваться.

Но если сердце Николаса было для него бременем, то сердце Ньюмена пришло ему на помощь. Столько настойчивости было в его уговорах и столько искренности и горячности в его манерах, как всегда странных и нелепых, что Николас обрел новые силы; некоторое время он шел молча и, наконец, сказал:

— Вы дали мне хороший урок, Ньюмен, и я им воспользуюсь. Один шаг я во всяком случае могу сделать, нет, должен сделать. И этим я займусь завтра.

— Какой шаг? — пытливо спросил Ногс. — Пригрозить Ральфу? Увидеть отца?

— Увидеть дочь, Ньюмен, — ответил Николас. — Сделать то, больше чего не мог бы сделать брат, если бы он у нее был, если бы небо его послало. Привести ей доводы против этого отвратительного союза, нарисовать ей те ужасы, навстречу которым она стремится, — быть может, опрометчиво и не подумав как следует. Умолять ее, чтобы она хотя бы повременила! Ведь у нее не было и нет никого, кто бы заботился о ее благе. Может быть, я еще могу повлиять на нее, хотя близится последний час и она на краю гибели!

— Мужественные слова! — отозвался Ньюмен. — Прекрасно сказано, прекрасно сказано! Очень хорошо.

— И я заявляю, — воскликнул восторженно Николас, — что, если я делаю это усилие, мною руководят не эгоистические соображения, но только жалость к ней и омерзение и отвращение к этому замыслу! Я сделал бы то же самое, если бы рядом стояли двадцать соперников и среди них я был бы последним и пользовался наименьшей благосклонностью!

— Верю, что вы бы это сделали, — сказал Ньюмен. — Но куда вы сейчас спешите?

— Домой, — ответил Николас. — Вы пойдете со мной, или мы попрощаемся?

— Я вас провожу немного, если вы будете идти, а не бежать, — сказал Ногс.

— Сегодня я не могу идти медленно, Ньюмен, — возразил Николас. — Я должен двигаться быстро, иначе я задохнусь. Завтра я вам расскажу все, что я говорил и делал.

Не дожидаясь ответа, он пошел быстрым шагом и, нырнув в толпу, запрудившую улицу, тотчас скрылся из виду.

— Этот юноша иногда собой не владеет, — сказал Ньюмен, глядя ему вслед, — но таким я еще больше люблю его. На это у него есть основания, ведь сам черт вмешался в дело. Надежда! И я еще говорил о надежде, когда Ральф Никльби и Грайд столкнулись! Надежда для их противника! Хо-хо!

Очень меланхолический был смех, которым Ньюмен Ногс закончил свой монолог; и, очень меланхолически покачивая головой и с очень унылой физиономией, он повернулся и побрел своей дорогой.

При обычных обстоятельствах эта дорога привела бы его к какой-нибудь маленькой

таверне или кабачку; таков был его обычный путь. Но Ньюмен был слишком взволнован и обеспокоен, чтобы прибегнуть даже к этому средству, и после долгих печальных и гнетущих размышлений пошел прямо домой.

Случилось так, что в этот день мисс Морлина Кенуигс получила приглашение сестры завтра на пароход у Вестминстерского моста и отправиться на Ил-Пай-Айленд у Туикенхема — угощаться холодными закусками, пивом, наливками, креветками и танцевать на вольном воздухе под музыку бродячих музыкантов, доставленных туда для этой цели; пароход был специально нанят для удобства многочисленных учеников учителем танцев с обширными связями, а ученики оценили старания учителя танцев, купив — и заставив своих друзей сделать то же самое — множество голубых билетов, дающих право участвовать в экскурсии. Из этих голубых билетов один был преподнесен тщеславной соседкой мисс Морлине Кенуигс с предложением присоединиться к ее дочерям. И миссис Кенуигс, правильно рассудив, что честь семьи зависит от того, чтобы за такое короткое время придать мисс Морлине наиболее ослепительный вид и доказать учителю танцев, что существуют и другие учителя танцев, кроме него, а всем присутствующим отцам и матерям — что не только их дети, но и дети других родителей могут быть обучены элегантным манерам, — миссис Кенуигс дважды падала в обморок, подавленная грандиозностью своих приготовлений. Но, подкрепленная решимостью оправдать семейную репутацию или погибнуть, она все еще трудилась не покладая рук, когда Ньюмен Ногс вернулся домой.

Гофрируя воротничок, обшивая оборками панталончики, отделявая платице и, между прочим, падая в обморок и снова приходя в чувство, миссис Кенуигс была слишком занята и потому всего полчаса назад заметила, что льняные косички мисс Морлины, так сказать, отбились от рук и если не поручить ее заботам искусного парикмахера, то ей никак не восторжествовать над дочерьми всех остальных родителей, а что-либо меньшее, чем грандиозное торжество, было равносильно поражению. Это открытие повергло миссис Кенуигс в отчаяние, так как парикмахер жил за три квартала и по дороге к нему было восемь опасных перекрестков. Морлину нельзя было отпустить туда одну, даже если бы такой шаг отвечал всем правилам приличия, в чем миссис Кенуигс сомневалась; мистер Кенуигс еще не вернулся с работы, и отвести ее было некому. И вот миссис Кенуигс сначала шлепнула мисс Кенуигс как виновницу ее раздражения, а затем залилась слезами.

— Неблагодарное дитя! — воскликнула миссис Кенуигс. — И это после всего того, что я сегодня претерпела ради тебя!

— Я ничего не могу поделать, мама, — отозвалась Морлина, тоже в слезах. — Волосы растут и растут.

— Не возражай мне, дрянная девчонка! — сказала миссис Кенуигс. — Не возражай мне! Даже если бы я тебе доверяла и отпустила одну и тебя бы не переехали, я знаю — ты бы забежала к Лоре Чопкинс (это была дочь тщеславной соседки) и рассказала бы ей, какое платье ты завтра наденешь. Знаю, что рассказала бы. У тебя нет настоящей гордости, и тебя ни на секунду нельзя оставить без присмотра.

Сетуя в таких выражениях на дурные наклонности своей старшей дочери, миссис Кенуигс снова пролила слезы, вызванные досадой, и заявила о своей уверенности в том, что ни один человек на свете не выносил таких испытаний, как она. Тут Морлина Кенуигс опять разрыдалась, и вдвоем они принялись себя оплакивать.

Таково было положение дел, когда они услышали, как Ньюмен Ногс проковылял мимо их двери к себе наверх, после чего миссис Кенуигс, обретя надежду при звуке его шагов, поспешила удалить со своей физиономии те следы недавнего волнения, какие можно было стереть за такое короткое время; представ перед Ньюменом Ногсом и поведав об их затруднениях, она стала умолять, чтобы он проводил Морлину в парикмахерскую.

— Я бы не просила вас, мистер Ногс, — сказала миссис Кенуигс, — если бы не знала, какой вы добрый, сердечный человек. Ни за что на свете я бы вас не попросила! Я слабое существо, мистер Ногс, но дух мой не позволил бы мне просить об одолжении, если бы в нем могло быть отказано, так же как не позволил бы он мне подчиниться и спокойно наблюдать,

как зависть и низость топчут и попирают ногами моих детей!

Ньюмен был слишком добродушен, чтобы ответить отказом, даже если бы не было этого конфиденциального признания со стороны миссис Кенуигс. Поэтому не прошло и нескольких минут, как он и мисс Морлина были на пути к парикмахерской.

Это была в сущности не парикмахерская, — иными словами, умы более грубые и вульгарные могли бы назвать ее цирюльней, так как здесь не только подстригали и завивали дам элегантно, а детей аккуратно, но и мягко брили джентльменов. Все-таки это было чрезвычайно изысканное заведение, — собственно говоря, первоклассное, — и в окне, помимо других изящных вещей, были выставлены восковые бюсты белокурой леди и темноволосого джентльмена, которые вызывали восхищение всех окрестных жителей. Иные леди даже дошли до того, что утверждали, будто темноволосый джентльмен является копией вдохновенного молодого владельца парикмахерской, а большое сходство между их прическами (у обоих были очень глянцевитые волосы, узкий пробор посередине и множество плоских круглых завитушек по бокам) укрепляло это мнение. Однако леди, более осведомленные, не принимали этого утверждения всерьез; как бы ни хотелось им (а им очень хотелось) воздать должное красивому лицу и фигуре владельца парикмахерской, они считали физиономию темноволосого джентльмена в витрине воплощением восхитительной и отвлеченной идеи мужской красоты, каковая, пожалуй, наблюдается иногда у ангелов и военных, но очень редко услаждает взоры смертных.

В это заведение Ньюмен Ногс благополучно привел мисс Кенуигс. Владелец парикмахерской, зная, что у мисс Кенуигс есть три сестры и у каждой две льняные косички, что давало по шесть пенсов с головы по крайней мере раз в месяц, тотчас бросил старого джентльмена, которого только что намылил и, передав его своему помощнику (который не пользовался большой популярностью у дам, ввиду своей тучности и солидного возраста), сам занялся молодой леди.

Как только произошел этот обмен местами, явился, чтобы побриться, дюжий, дородный, добродушный грузчик угля с трубкой во рту; проведя рукой по подбородку, он пожелал узнать, когда освободится брадобрей.

Помощник, которому был задан этот вопрос, нерешительно посмотрел на молодого хозяина, а молодой хозяин презрительно посмотрел на грузчика и заметил:

— Вас здесь брить не будут, приятель.

— А почему? — спросил грузчик.

— Мы не бреем джентльменов вашей профессии, — объявил молодой хозяин.

— Да я сам видел на прошлой неделе, заглянув в окно, как вы брили булочника, — сказал грузчик.

— Необходимо где-то провести черту, любезный, — ответил хозяин. — Мы проводим черту здесь. Мы не можем идти дальше булочников. Если мы спустимся ниже булочников, наши клиенты уйдут от нас, и придется закрывать лавочку. Поищите какое-нибудь другое заведение, сэр. Здесь мы не можем вас брить.

Посетитель вытаращил глаза, ухмыльнулся Ньюмену Ногсу, казалось, веселившемуся от души, затем пренебрежительно окинул взглядом парикмахерскую, как бы снижая цену баночкам с помадой и прочим товарам, вынул изо рта трубку и очень громко свистнул, а потом снова сунул ее в рот и вышел.

Старый джентльмен, которого только что намылили и который сидел в меланхолической позе, обратив лицо к стене, казалось, даже не заметил этого инцидента и оставался бесчувственным ко всему, вокруг него происходящему, погруженный в глубокое раздумье, весьма печальное, если судить по вздохам, вырывавшимся у него время от времени. Вдохновленный эпизодом с посетителем, хозяин начал подстригать мисс Кенуигс, помощник — скрести старого джентльмена, а Ньюмен Ногс — читать последний номер воскресной газеты. — все трое в глубоком молчании; вдруг мисс Кенуигс пронзительно взвизгнула, и Ньюмен, подняв глаза, увидел, что этот визг вызван тем обстоятельством, что старый джентльмен повернул голову и обнаружили черты лица мистера Лиливика, сборщика.

Да, это были черты лица мистера Лиливика, но странно изменившиеся. Если какой-либо пожилой джентльмен почитал существенно важным появляться в обществе чисто и гладко выбритым, то таким пожилым джентльменом был мистер Лиливик. Если какой-либо сборщик держал себя, как подобает сборщику, и всегда сохранял вид торжественный и исполненный достоинства, словно весь мир был записан у него в книгах и еще не заплатил за последние два квартала, то таким сборщиком был мистер Лиливик. А теперь он сидел здесь с обременяющими его подбородок остатками бороды, отросшей по крайней мере за неделю, сидел в запачканных и измятых брыжах, которые прижимались к его груди, вместо того чтобы смело торчать вперед, и с видом таким смущенным и прибитым, таким безнадежным и выражающим такое унижение, скорбь и стыд, что, если бы души сорока несостоятельных квартирохозяев, у которых выключили воду за невзнос платы, воплотились в одном теле, это одно тело вряд ли могло бы выразить такое отчаяние и разочарование, какие выражала сейчас особа мистера Лиливика, сборщика.

Ньюмен Ногс окликнул его по имени, и мистер Лиливик застонал, потом кашлянул, чтобы заглушить стон. Но стон был полноценным стоном, а покашливание только хрипением.

— Что-нибудь неладно? — спросил Ньюмен Ногс.

— Неладно, сэр! — повторил мистер Лиливик. — Водопроводный кран жизни высох, сэр, и осталась только грязь.

Так как эта реплика, стиль которой Ньюмен приписал недавнему общению мистера Лиливика с драматическими актерами, не вполне разъяснила дело, Ньюмен хотел задать еще вопрос, но мистер Лиливик предупредил его, горестно протянув руку для рукопожатия, а затем махнув этой рукой.

— Пусть меня побреют, — сказал мистер Лиливик. — Это будет сделано раньше, чем кончат с Морлиной. Ведь Это Морлина, не так ли?

— Да, — сказал Ньюмен.

— У Кенуигсов родился мальчик, не правда ли? — осведомился сборщик. Ньюмен снова сказал:

— Да.

— Хорошенький мальчик? — спросил сборщик.

— На вид не очень противный, — ответил Ньюмен, приведенный в некоторое замешательство этим вопросом.

— Бывало, Сьюзен Кенуигс говорила, что, если когда-нибудь будет еще мальчик, — заметил сборщик, — она надеется, он будет похож на меня. А этот похож, мистер Ногс?

Вопрос был затруднительный, но Ньюмен ответил мистеру Лиливику уклончиво, что, по его мнению, со временем малютка может оказаться на него похожим.

— Почему-то мне было бы приятно увидеть кого-нибудь похожего на меня, прежде чем я умру, — сказал мистер Лиливик.

— Но пока вы еще не собираетесь это сделать? — осведомился Ньюмен.

На что мистер Лиливик ответил торжественно:

— Пусть меня побреют!

И, снова отдав себя в руки помощника, не проронил больше ни слова.

Такое поведение было удивительно. Мисс Морлина, рискуя, что ей, того гляди, отхватят ухо, не могла удержаться и раз двадцать оглядывалась в продолжение вышеупомянутого разговора. Однако на нее мистер Лиливик не обращал ни малейшего внимания, даже старался (по крайней мере так показалось Ньюмену Ногсу) ускользнуть от ее наблюдения и ежился всякий раз, когда привлекал к себе ее взгляды. Ньюмен недоумевал, чем могла быть вызвана такая перемена в манерах сборщика. Но, рассудив философически, что, по всей вероятности, он рано или поздно об этом узнает, а до той поры прекрасно может подождать, он не испытывал особенного беспокойства по случаю странного поведения старого джентльмена.

Когда с подстриганьем и завивкой было покончено, старый джентльмен, который сидел

в ожидании, встал и, выйдя с Ньюменом и его опекаемой, взял Ньюмена под руку и некоторое время шествовал, не делая никаких замечаний. Ньюмен, которого мало кто мог превзойти в умении безмолвствовать, не пытался нарушить молчание, и так продолжали они идти, пока почти не поравнялись с домом мисс Морлины, а тогда мистер Лиливик задал вопрос:

— Мистер Ногс, Кенуигсы были очень потрясены этим известием?

— Каким известием? — спросил в свою очередь Ньюмен.

— Что я... я...

— Женились? — подсказал Ньюмен.

— Да! — ответил мистер Лиливик опять со стоном, который на этот раз не был замаскирован даже сопеньем.

— Мама расплакалась, когда узнала, — вмешалась мисс Морлина, — но мы долго от нее скрывали, а папа был очень удручен, но теперь ему лучше, а я была очень больна, но мне тоже лучше.

— Ты бы поцеловала твоего двоюродного дедушку Лиливика, если бы он тебя попросил об этом, Морлина? — нерешительно осведомился сборщик.

— Да, поцеловала бы, дядя Лиливик, — ответила Морлина с такой же энергией, какая была свойственна ее матери и отцу, — но не тетю Лиливик. Она мне не тетя, и я никогда не буду называть ее тетей.

Едва были произнесены эти слова, как мистер Лиливик схватил мисс Морлину на руки и поцеловал ее. Находясь к тому времени у двери дома, где жил мистер Кенуигс (дверь, как упоминалось выше, обычно была открыта настежь), он вошел прямо в гостиную мистера Кенуигса и поставил мисс Морлину посреди комнаты. Мистер и миссис Кенуигс сидели за ужином. При виде вероломного родственника миссис Кенуигс побледнела и почувствовала дурноту, а мистер Кенуигс величественно поднялся.

— Кенуигс, — сказал сборщик, — пожмем друг другу руку!

— Сэр! — сказал мистер Кенуигс. — Было время, когда я с гордостью пожимал руку такому человеку, как тот, который сейчас меня созерцает. Было время, сэр, — сказал мистер Кенуигс, — когда посещение этого человека пробуждало в груди моей и моего семейства чувства натуральные и бодрящие. Но теперь я смотрю на этого человека с волнением, превосходящим решительно все, и я спрашиваю себя: где его честь, где его прямота и где его человеческая природа?

— Сьюзен Кенуигс! — проговорил мистер Лиливик, смиренно обращаясь к племяннице. — Ты мне ничего не скажешь?

— Ей это не по силам, сэр! — сказал мистер Кенуигс, энергически ударив кулаком по столу. — Когда она кормит здорового младенца и размышляет о вашем жестоком поведении, четыре пинты пива едва могут поддержать ее.

— Я рад, что младенец здоров. Я этому очень рад, — кротко сказал бедный сборщик.

Он коснулся самой чувствительной струны Кенуигсов.

Миссис Кенуигс мгновенно залилась слезами, а мистер Кенуигс обнаружил чрезвычайное волнение.

— Приятнейшим моим чувством на протяжении всего того времени, когда ожидалось это дитя, — горестно сказал мистер Кенуигс, — было такое чувство: «Если родится мальчик, на что я надеюсь, ибо слышал, как дядя Лиливик повторял снова и снова, что предпочел бы в следующий раз мальчика, — если родится мальчик, что скажет его дядя Лиливик? Как пожелает он назвать его? Будет ли он Питер, или Александр, или Помпей, или Диоргин⁹⁸, или кем он будет?» И теперь, когда я смотрю на него, драгоценное, наивное, беспомощное дитя, которому его ручонки служат только для того, чтобы срывать крошечный чепчик, а ножонки — чтобы лягать собственное тельце, — когда я вижу его, лежащего на коленях матери, воркующего и в невинности своей едва не удушающего себя своим собственным

маленьким кулачком, — когда я вижу его в этом младенческом состоянии и думаю о том, что тот самый дядя Лиливик, который должен был так его полюбить, улетучился, — такая жажда мести овладевает мной, что никакими словами ее не описать! И я чувствую себя так, словно даже этот святой младенец повелевает мне ненавидеть его!

Эта трогательная картина глубоко взволновала миссис Кенуигс. После неудачных попыток произнести несколько слов, которые тщетно пытались выбраться на поверхность, но захлебнулись и были смыты неудержимым потоком слез, она заговорила.

— Дядя! — сказала миссис Кенуигс. — Подумать только, что вы повернулись спиной ко мне, и к моим дорогим детям, и к Кенуигсу, виновнику их существования, вы, когда то такой нежный и любящий! Мы испепелили бы презрением, как молнией, всякого, кто намекнул бы нам о чем-либо подобном... Вы, в честь которого был наречен у алтаря маленький Лиливик, наш первенец, наш славный первый мальчик! О боже милостивый!

— Разве мы интересовались когда-нибудь деньгами? — осведомился мистер Кенуигс. — Разве думали мы когда-нибудь о богатстве?

— Нет! — воскликнула миссис Кенуигс. — Я его презираю!

— Я тоже презираю, — сказал мистер Кенуигс. — И всегда презирал.

— Чувства мои были растерзаны, — продолжала миссис Кенуигс, — сердце мое разорвалось на части от тоски, роды начались с опозданием, мое невинное дитя от этого страдало, и, боюсь, Морлина совсем зачахла. И все это я прощаю и забываю, и с вами, дядя, я никогда не ссорилась. Но не просите меня принять ее, никогда не просите об этом, дядя! Потому что я этого не сделаю! Не сделаю! Я не хочу, не хочу, не хочу!

— Сьюзен, дорогая моя, подумай о твоём ребенке! — сказал мистер Кенуигс.

— Да! — взвизгнула миссис Кенуигс. — Я подумаю о моем ребенке, я подумаю о моем ребенке! О родном моем ребенке, которого никакие дяди не могут у меня отнять! О моем ненавидимом, презираемом, заброшенном, отвергнутом ребеночке...

И тут волнение миссис Кенуигс стало столь неудержимым, что мистер Кенуигс поневоле должен был прибегнуть к нюхательной соли, как к внутреннему средству, и к уксусу, как к средству наружному, и погубить шнурок от корсета, четыре тесемки от юбки и несколько пуговиц.

Ньюмен был молчаливым свидетелем этой сцены, так как мистер Лиливик дал ему знак не уходить, а мистер Кенуигс кивком пригласил его остаться. Когда миссис Кенуигс немножко оправилась и Ньюмен, как человек имеющий на нее некоторое влияние, принялся утешать ее и успокаивать, мистер Лиливик сказал, запинаясь:

— Никогда не буду просить я никого из присутствующих принимать мою... мне незачем произносить это слово, вы знаете... что я хочу сказать. Кенуигс и Сьюзен! Вчера... ровно неделя, как она... сбежала с капитаном в отставку!

Мистер и миссис Кенуигс содрогнулись одновременно.

— Сбежала с капитаном в отставку! — повторил мистер Лиливик. — Гнусно и предательски сбежала с капитаном в отставку. С капитаном, обладателем толстого и распухшего носа, с капитаном, которого каждый почитал бы безопасным. В этой комнате, — сказал мистер, сурово озираясь вокруг, — я впервые увидел Генриетту Питоукер! В этой комнате я отрекаюсь от нее навеки!

Это заявление совершенно изменило положение дел. Миссис Кенуигс бросилась на шею старому джентльмену, горько упрекая себя за недавнюю жестокость и восклицая, что если она страдала, то каковы же были его страдания! Мистер Кенуигс схватил его руку и поклялся в вечной дружбе и в раскаянии. Миссис Кенуигс пришла в ужас при мысли, что она пригрела у себя на груди такую змею, ехидну, гадюку и гнусного крокодила, как Генриетта Питоукер. Мистер Кенуигс заявил, что она, должно быть, и в самом деле ужасна, если ей не пошло на пользу столь длительное созерцание добродетелей миссис Кенуигс. Миссис Кенуигс припомнила, как мистер Кенуигс частенько говорил, что его не вполне удовлетворяет поведение мисс Питоукер, и выразила удивление, как это могло случиться, что ее ввела в заблуждение эта мерзкая особа. Мистер Кенуигс припомнил, что у него

мелькали подозрения, но его не удивляет, если они не мелькали у миссис Кенуигс, ибо миссис Кенуигс — воплощенное целомудрие, чистота и правда, а Генриетта — это гнусность, фальшь и обман. И мистер и миссис Кенуигс сказали оба со слезами сострадания, что все случилось к лучшему, и умоляли доброго сборщика не предаваться бесплодной тоске, но искать утешения в обществе тех любящих родственников, чьи объятия и сердца всегда для него раскрыты!

— Из любви и уважения к вам, Сьюзен и Кенуигс, — сказал мистер Лиливик, — отнюдь не из мстительного и злобного чувства к ней, ибо этого она недостойна, я завтра же утром переведу на ваших детей, с тем чтобы им выплатили в день их совершеннолетия или бракосочетания, те деньги, которые я когда-то намерен был оставить им по завещанию. Акт составим завтра, и одним из свидетелей будет мистер Ногс. Сейчас он слышит мое обещание, и он убедится, что оно будет исполнено.

Потрясенные этим благородным и великодушным предложением, мистер Кенуигс, миссис Кенуигс и мисс Морлина Кенуигс принялись рыдать все вместе, а когда их рыдания донеслись до смежной комнаты, где спали дети, те тоже заплакали, и мистер Кенуигс бросился туда как сумасшедший, принес их на руках, по двое в каждой руке, опустил их в их ночных чепчиках и рубашонках к ногам мистера Лиливика и предложил им возблагодарить и благословить его.

— А теперь, — сказал мистер Лиливик, когда душераздирающая сцена пришла к концу и детей убрали, — дайте мне поужинать. Все это произошло в двадцати милях от Лондона. Я приехал сегодня утром и слонялся целый день, не решаясь прийти и повидать вас. Я потакал ей во всем, она поступала по-своему, она делала все, что ей угодно, а теперь вот она что сделала! У меня было двенадцать чайных ложек и двадцать четыре фунта соверенами... Сначала я обнаружил их пропажу... Это было испытание... Я чувствую, что впредь уже не в силах буду стучать двойным ударом в дверь во время моих обходов... Пожалуйста, не будем больше говорить об этом... Ложки стоили... но все равно... все равно!

Изливая свои чувства в таком бормотании, старый джентльмен проронил несколько слезинок, но его усадили в кресло и заставили — особых уговоров не потребовалось — плотно поужинать, а когда он выкурил первую трубку и осушил с полдюжины стаканчиков, наполненных из чаши пунша, заказанной мистером Кенуигсом, чтобы ознаменовать возвращение сборщика в лоно семьи, он хотя и пребывал в подавленном состоянии, но, казалось, совершенно примирился со своей судьбой и был, пожалуй, даже рад бегству своей супруги.

— Когда я смотрю на этого человека, — сказал мистер Кенуигс, одной рукой обвивая талию миссис Кенуигс, другой придерживая трубку (которая заставляла его часто моргать и сильно кашлять, так как он не был курильщиком) и не спуская глаз с Морлины, сидевшей на коленях у дяди, — когда я смотрю на этого человека, снова вращающегося в сфере, которую он украшает, и вижу, как привязанность его развивается в законном направлении, я чувствую, что природа его столь же возвышенна, сколь безупречно его положение общественного деятеля, и мне слышится тихий шепот моих малолетних детей, отныне обеспеченных: «Это такое событие, на которое взирает само небо!»

Глава LIII,

содержащая дальнейшее развитие заговора, составленного мистером Ральфом Никльби и мистером Артуром Грайдом

С той твердой решимостью и устремленностью к цели, которые критические обстоятельства столь часто порождают даже у людей с темпераментом, значительно менее возбудимым и более вялым, чем тот, каким был наделен поклонник Маделайн Брэй, Николас вскочил на рассвете со своего беспокойного ложа, где истекшей ночью не посещал его сон, и

приготовился сделать последнюю попытку, от которой зависела единственная слабая и хрупкая надежда спасти Маделайн.

Хотя у натур беспокойных и пылких утро, быть может, и является самой подходящей порой дня для деятельных трудов, но не всегда в этот час надежда бывает особенно крепкой, а дух особенно бодрым и жизнерадостным. В рискованных и тяжелых положениях молодость, привычка, упорные размышления о трудностях, нас окружающих, и знакомство с ними незаметно уменьшают наши опасения и порождают относительное равнодушие, если не туманную и безотчетную уверенность в том, что придет какое-то облегчение, характер которого мы не стараемся предугадать. Но когда, отдохнув, мы останавливаемся на этих мыслях поутру, когда темная и безмолвная пропасть отделяет нас от вчерашнего дня, когда каждое звено хрупкой цепи надежды нужно ковать заново, когда пыл энтузиазма угас и уступил место холодному, спокойному рассудку, — тогда оживают сомнения и опасения.

Подобно тому как путник видит дальше при свете дня и обнаруживает крутые горы и непроходимые равнины, скрытые ласковой темнотой от его глаз и от его сознания, так странник, идущий по тернистой тропе человеческой жизни, видит с каждым восходом солнца какое-нибудь новое препятствие, которое нужно преодолеть, какую-нибудь новую вершину, которой нужно достигнуть. Перед ним тянется пространство, на которое он едва обратил внимание накануне вечером, и свет, золотящий веселыми лучами всю природу, как будто озаряет одни только тягостные препятствия, еще отделяющие его от могилы.

Так размышлял Николас, когда с нетерпением, естественным в его положении, тихо вышел из дому. Чувствуя себя так, словно оставаться в постели значило терять драгоценнейшее время, а встать и двигаться значило как-то приблизиться к цели, к которой он стремился, он стал бродить по Лондону, прекрасно зная, что пройдет несколько часов, прежде чем он получит возможность поговорить с Маделайн, а сейчас он может только желать, чтобы скорее пролетело это время.

И даже теперь, когда он шагал по улицам и безучастно смотрел на увеличивающуюся сутолоку и приготовления к наступающему дню, все словно давало ему новый повод для уныния. Накануне вечером принесение в жертву юного, любящего, прекрасного создания такому негодяю и ради такой цели казалось делом слишком чудовищным, чтобы свершиться. И чем больше он горячился, тем крепче верил, что чье-то вмешательство должно вырвать ее из когтей этого негодяя. Но теперь он думал о том, как размерен ход событий — изо дня в день, все по тому же неизменному кругу, о том, как умирают юность и красота, а безобразная цепкая старость продолжает жить; думал о том, как обогащается лукавая скупость, а мужественные, честные сердца остаются бедными и печальными, как мало людей живет в великолепных домах, и сколько таких, что населяют вонючие логова или встают поутру и ложатся вечером, и живут и умирают, — отец и сын, мать и дитя, род за родом, поколение за поколением, — не имея своего угла и не находя ни одного человека, который пришел бы им на помощь; думал о том, сколько женщин и детей ищут не роскоши и великолепия, но скудных средств к самому жалкому существованию и разделены в этом городе на классы, переписаны и разнесены по рубрикам так же аккуратно, как высшая знать, и с младенческих лет воспитываются для занятия ремеслом самым преступным и отвратительным; думал о том, как невежество всегда карают и никогда не просвещают, как раскрываются тюремные двери и воздвигаются виселицы для многих тысяч людей, гонимых обстоятельствами, омрачавшими их путь с колыбели, для людей, которые, не будь этих обстоятельств, могли бы честно зарабатывать свой хлеб и жить мирно; о том, сколько людей умирает духовно и лишены надежды на жизнь; о том, сколь многие, поставленные в такие условия, что, несмотря на порочность натуры, вряд ли могли бы свернуть с прямого пути, высокомерно отворачиваются от сломленных и раздавленных бедняков, которые не могли не свернуть с него, а поступая хорошо, удивили бы нас больше, чем счастливыцы, поступающие плохо; думал о том, сколько в мире несправедливости, горя и зла, и, однако, жизнь течет из года в год, невозмутимая и равнодушная, и ни один человек не пытается исправить или изменить мир, — Николас думал обо всем этом и, из бесчисленных примеров выбрав единственный,

на котором были сосредоточены его мысли, почувствовал, что нет места надежде и нет оснований полагать, что судьба Маделайн не явится новой бесконечно малой частицей в океане отчаяния и горя и к гигантской сумме не прибавится еще одна крохотная, ничтожная единица.

Но юность не склонна созерцать самую темную сторону картины, которую может перемещать по своей воде. Подумав о том, что ему предстояло сделать, и воскресив в памяти ход мыслей, который прервала ночь, Николас постепенно призвал на помощь всю свою энергию и, когда настал ожидаемый час, помышлял только о том, чтобы использовать его как можно лучше. Позавтракав на скорую руку и покончив с теми делами, которые требовали немедленного исполнения, он направил стопы к дому Маделайн Брэй, куда и не замедлил прибыть.

Ему пришло в голову, что, весьма возможно, его не допустят к молодой леди, хотя его всегда принимали, и он все еще придумывал самый верный способ получить доступ к ней, когда, подойдя к дому, увидел, что дверь оставлена полуоткрытой, — вероятно, тем, кто последним оттуда вышел. Положение было не из тех, когда можно соблюдать церемонии; поэтому, воспользовавшись счастливой случайностью, Николас тихо поднялся по лестнице и постучал в дверь комнаты, где его обычно принимали. Получив разрешение войти от человека, находившегося в комнате, он открыл дверь и вошел.

Брэй и его дочь сидели одни. Трех недель не прошло с тех пор, как он в последний раз ее видел, но с прелестной девушкой, сидевшей перед ним, произошла перемена, которая потрясла Николаса. Он понял, сколько душевных страданий было испытано за такое короткое время. Нет слов, чтобы изобразить, нет ничего, с чем можно было бы сравнить эту бледность, эту чистую прозрачную белизну прекрасного лица, которое обратилось к нему, когда он вошел. Волосы у нее были темно-каштановые, но, оттеняя лицо и ниспадая на шею, соперничавшую с ним в белизне, они казались, по контрасту, иссиня-черными. Что-то пугливое и беспокойное было во взгляде, но он оставался таким же терпеливым, выражение лица таким же кротким и печальным, каким он его хорошо помнил, и не было в глазах ни следа слез. Было нечто в этом прекрасном лице — пожалуй, еще более прекрасном, чем всегда, — что лишило Николаса мужества и показалось ему гораздо более трогательным, чем самое страшное горе. Ее лицо было не только спокойным и невозмутимым, но неподвижным и застывшим. Благодаря непомерным усилиям эта невозмутимость в присутствии отца, победившая все ее мысли, воспрепятствовала даже мимолетному отражению горя на ее лице и застыла в его чертах, как знак торжества.

Отец сидел против нее, не глядя ей в глаза и разговаривая с веселым видом, который плохо скрывал его тревожные мысли... Принадлежностей для рисования не было на обычном их месте на столе, не видно было и других свидетелей ее обычной работы. Вазочки, которые Николас всегда видел со свежими цветами, были пусты или в них торчали только увядшие стебли и листья. Птица не пела. Платок, которым покрывали на ночь ее клетку, не был снят. Ее хозяйка забыла о ней.

Бывают минуты, когда душа болезненно восприимчива к впечатлениям и многое можно заметить с первого взгляда. Так было сейчас, ибо Николас успел только осмотреться вокруг, когда мистер Брэй его узнал и нетерпеливо сказал:

— Ну, сэр, что вам нужно? Передайте, пожалуйста, поскорей поручение, потому что моя дочь и я заняты другими и более важными делами, чем то, по которому вы сюда пришли. Немедленно приступайте к делу, сэр!

Николас прекрасно понял, что раздражительность и нетерпение, с какими были сказаны эти слова, притворны и что Брэй в глубине души рад любой помехе, которая может отвлечь внимание его дочери. Он невольно посмотрел на отца, когда тот говорил, и заметил его замешательство: Брэй покраснел и отвернулся.

Но Николас хотел, чтобы Маделайн вмешалась, и цель его была достигнута. Она встала и, направившись к Николасу, остановилась на полдороге, как бы в ожидании письма.

— Маделайн, дорогая моя, куда ты? — нетерпеливо сказал отец.

— Может быть, мисс Брэй ждет чека, — сказал Николас очень отчетливо и с ударением, которое она вряд ли могла истолковать неправильно. — Моего патрона нет в Англии, иначе я принес бы письмо. Я надеюсь, что она даст мне отсрочку, небольшую отсрочку. Я очень прошу — небольшую отсрочку.

— Если вы только для этого пришли, сэр, то можете не беспокоиться, — сказал мистер Брэй. — Маделайн, дорогая моя, я не знал, что этот человек остался тебе должен.

— Кажется, какую-то мелочь, — слабым голосом ответила Маделайн.

— Должно быть, вы полагаете, — сказал Брэй, подвинув свое кресло и повернувшись лицом к Николасу, — что мы умерли бы с голоду, если бы не жалкие суммы, которые вы сюда приносите только потому, что моей дочери вздумалось проводить время так, как она его проводила?

— Я об этом не думал, — заметил Николас.

— Вы об этом не думали! — с усмешкой воскликнул больной. — Вы знаете, что думали об этом, и думали именно так, и думаете каждый раз, когда сюда приходите! Вы полагаете, молодой человек, что мне неизвестно, каковы мелкие торговцы, которые кичатся своим богатством, когда благодаря счастливым обстоятельствам получают — или думают, что получили, — на короткий срок власть над джентльменом?

— Я имею дело с леди, — вежливо сказал Николас.

— С дочерью джентльмена, сэр, — возразил больной. — А у дочери джентльмена гордость та же, что у мужчины. Но, может быть, вы принесли заказ? У вас есть какие-нибудь новые заказы для моей дочери, сэр?

Николас уловил торжествующий тон, каким был задан этот вопрос, но, памятуя о необходимости играть роль, за которую он взялся, достал бумажку со списком тем для рисунков, которые его патрон якобы хотел получить; на всякий случай он захватил листок с собой.

— О! — сказал мистер Брэй. — Это заказ?

— Да, если вы настаиваете на этом слове, сэр, — ответил Николас.

— В таком случае, можете сказать вашему хозяину, — с торжествующей улыбкой произнес Брэй, швыряя ему назад бумагу, — что моя дочь мисс Маделайн Брэй больше не снисходит до того, чтобы заниматься подобной работой! Можете сказать ему, что вопреки его предположениям она не находится в зависимости от него и что мы не живем на его деньги, хотя он и льстит себя этой мыслью, и что он может отдать, сколько бы ни был нам должен, первому нищему, который пройдет мимо его лавки, иди прибавить эти деньги к своим барышам в следующий раз, когда будет их подсчитывать. И что он может убираться к черту! Вот мой ответ на его заказы, сэр!

«Вот как понимает независимость человек, продающий свою дочь так, как была продана эта плачущая девушка!» — подумал Николас.

Отец был слишком упоен своим торжеством, чтобы заметить презрительное выражение лица, которого Николас не мог скрыть, даже если бы его в эту минуту пытали.

— Ну вот, — продолжал Брэй после короткой паузы, — вы получили ответ и можете удалиться. Если вы не имеете еще каких-нибудь — ха! — еще каких-нибудь заказов.

— У меня нет больше заказов, — сказал Николас, — и из внимания к положению, которое вы прежде занимали, я никогда не произнес ни одного слова, даже самого безобидного, которое можно было бы истолковать как напоминание о моей власти или вашей зависимости. Заказов у меня нет никаких, но у меня есть опасения, которые я выскажу, как бы вы ни горячились, — опасения, что вы, быть может, обрекаете эту молодую леди на нечто худшее, чем содержать вас трудами рук своих, хотя бы эта работа ее убивала. Таковы мои опасения, и эти опасения я основываю на вашем собственном поведении. Ваша совесть скажет вам, сэр, правильно я рассуждаю или нет!

— Ради бога! — воскликнула Маделайн, в тревоге бросаясь между ними. — Вспомните, сэр, что он болен!

— Болен! — вскричал инвалид, задыхаясь и ловя воздух ртом. — Болен! Болен! Мне

грубит, меня запугивает мальчишка из лавки, а она умоляет его пожалеть меня и вспомнить, что я болен!

С ним сделался припадок такой сильный, что с минуту Николас боялся за его жизнь. Но Брэй начал приходить в себя, и Николас удалился, жестом дав понять молодой леди, что должен сообщить ей нечто важное и будет ждать ее за дверью. Там ему было слышно, как больному постепенно становилось лучше; без единого упоминания о происшедшем, словно он лишь смутно об этом помнил, Брэй пожелал, чтобы его оставили одного.

«О, только бы мне удалось воспользоваться этим случаем, — подумал Николас, — и добиться отсрочки хотя бы на неделю, чтобы у нее было время подумать!»

— Вам поручено что-то передать мне, сэр, — сказала Маделайн, выйдя к нему в страшном волнении. — Не настаивайте на этом сейчас, умоляю вас! Послезавтра, приходите сюда послезавтра!

— Тогда будет слишком поздно — слишком поздно для того, что я должен вам сказать, — возразил Николас, — и вас здесь не будет. О сударыня, если вы хотя бы немного думаете о том, кто послал меня сюда, если еще хоть немного заботитесь о спокойствии вашей души и сердца, я богом заклинаю вас выслушать меня!

Она сделала попытку уйти, но Николас мягко удержал ее.

— Выслушайте! — сказал Николас. — Я прошу вас только выслушать меня — не меня одного, но того, от чьего имени я говорю, кто сейчас далеко и не знает об угрожающей вам опасности. Во имя неба выслушайте меня!

Бедная служанка, с глазами, распухшими и красными от слез, стояла рядом; к ней обратился Николас с такими страстными мольбами, что она открыла боковую дверь, повела, поддерживая, свою хозяйку в смежную комнату и знаком предложила Николасу следовать за ними.

— Оставьте меня, сэр, прошу вас, — сказала молодая леди.

— Не могу и не хочу вас оставить! У меня есть долг, который я обязан исполнить. Либо здесь, либо в той комнате, откуда вы только что вышли, я буду умолять вас, какой бы опасностью это ни угрожало мистеру Брэю, подумать еще раз о том ужасном шаге, к которому вас принудили!

— О каком шаге вы говорите и кто меня принудил, сэр? — спросила молодая леди, делая попытку принять горделивый вид.

— Я говорю об этой свадьбе! — ответил Николас. — Об этой свадьбе, назначенной на завтра тем, кто никогда не колебался в преследовании дурной цели и никогда не содействовал ни одному доброму замыслу. Об этой свадьбе, история которой мне известна лучше, гораздо лучше, чем вам. Я знаю, какою паутиной вы опутаны. Я знаю, что это за люди, которые задумали этот план. Вы преданы и проданы за деньги, за золото, и каждая монета заржавела от слез, если не обагрена кровью разоренных людей, которые в своем отчаянии и безумии наложили на себя руки!

— Вы говорили о долге, который обязаны исполнить, — сказала Маделайн. — И у меня тоже есть долг. И с божьей помощью я его исполню.

— Скажите лучше — с помощью дьявола! С помощью людей — из них один ваш будущий муж, — которые...

— Я не должна вас слушать! — воскликнула молодая леди, стараясь подавить дрожь, вызванную, по-видимому, даже этим мимолетным упоминанием об Артуре Грайде. — Если это зло, я его сама искала. К этому шагу меня не принуждал никто, я его делаю по своей воле. Вы видите, мне никто не приказывает. Передайте это моему дорогому другу и благодетелю. И, унося с собой мою благодарность и молитвы за него и за вас, оставьте меня навсегда!

— Нет! Я буду умолять вас со всем жаром и пылом, какие меня одушевляют, отложить эту свадьбу на одну короткую неделю! — воскликнул Николас. — Я умоляю вас подумать более серьезно, чем могли вы думать, находясь под чужим влиянием, о решении, к которому вы склоняетесь. Хотя вы не можете знать до конца гнусность этого человека, которому собираетесь отдать свою руку, кое-какие его дела вам известны. Вы слышали его речи, вы

видели его лицо. Подумайте, подумайте, пока не поздно, какой насмешкой прозвучат клятвы, данные ему пред алтарем! Клятвы, которым не может верить ваше сердце, торжественные слова, против которых должны восстать природа и разум, падение ваше в ваших же глазах, которое неизбежно и которое вы будете все мучительнее ощущать, по мере того как будет раскрываться перед вами гнусное его лицо! Остерегайтесь отвратительного общения с этим негодяем, как остерегались бы вы заразы и болезни. Изнемогайте под тяжестью труда, если хотите, но бегите его, бегите его, и вы будете счастливы! Ибо, верьте мне, я говорю правду! Самая жестокая бедность, самые ужасные условия человеческого существования, если душа остается чистой и честной, — счастье по сравнению с тем, что вы должны претерпеть, будучи женой такого человека!

Задолго до того, как Николас умолк, молодая леди закрыла лицо руками и дала волю слезам. Голосом, сначала невнятным от волнения, но обретавшим силу по мере того, как она говорила, она ответила ему:

— Не буду скрывать от вас, сэр, хотя, быть может, и должна была бы скрыть, что я терпела тяжкие душевные муки и сердце мое едва не разорвалось с тех пор как я в последний раз вас видела. Я не люблю этого джентльмена. Этому препятствует разница в возрасте, во вкусах и привычках. Он это знает и, зная, все-таки предлагает мне свою руку. Приняв ее и сделав один только этот шаг, я могу вернуть свободу моему отцу, который здесь умирает, быть может продлить его жизнь на многие годы, вернуть ему комфорт — пожалуй, я могла бы даже сказать богатство — и освободить великодушного человека от заботы помогать тому, кто — говорю это со скорбью — плохо понимает его благородное сердце. Не считайте меня такой испорченной и не думайте, будто я притворяюсь любящей, когда не чувствую любви! Не говорите так плохо обо мне, потому что этого я бы не вынесла. Если рассудок или природа не позволяют мне любить человека, который платит такую цену за мою бедную руку, то я могу исполнять обязанности жены. Я могу дать все, чего он от меня ждет, и я это сделаю. Он согласен взять меня такой, какая я есть. Я дала ему слово и должна радоваться, а не плакать. Я радуюсь. За интерес, какой вы проявляете ко мне, одинокой и беспомощной, за деликатность, с какою вы исполнили доверенное вам поручение, за вашу веру в меня я признательна вам от всей души и, как видите, растрогана до слез, принося вам в последний раз мою благодарность. Но я не раскаиваюсь, и я не несчастна. Я счастлива, думая о том, чего могу достигнуть так легко. Я буду еще счастливее, вспоминая об этом, когда все будет кончено. Я это знаю.

— Ваши слезы текут быстрее, когда вы говорите о счастье, — сказал Николас, — и вы боитесь заглянуть в темное будущее, которое должно принести вам столько горя. Отложите эту свадьбу на неделю! Только на неделю!

— Когда вы к нам вошли, он говорил с такой улыбкой — я ее помню с прежних времен и не видела много-много дней, — говорил о свободе, которая придет завтра, — сказала Маделайн, на секунду обретя твердость, — о благотворной перемене, о свежем воздухе, о новых местах и обстановке, которые в новой жизни будут спасением для его истощенного тела. Глаза у него заблестели и лицо просияло при этой мысли. Я не отложу свадьбы ни на час.

— Это только уловки и хитрость, чтобы заставить вас решиться! — вскричал Николас.

— Больше я не стану слушать, — быстро сказала Маделайн. — Я и так слушала слишком долго — дольше, чем должна была. Сэр, говоря с вами, я словно говорила с тем дорогим другом, которому — в этом я уверена — вы честно передадите мои слова. Спустя некоторое время, когда я немного успокоюсь и примирюсь с моим новым образом жизни, — если я доживу до той поры, — я напишу ему. А пока пусть все святые ангелы ниспосллют ему свое благословение и хранят его.

Она хотела пробежать мимо Николаса, но он бросился к ней и умолял ее еще один только раз подумать о той судьбе, навстречу которой она рвалась так стремительно.

— Возврата нет, нет отступления! — сказал Николас со страстной мольбой. — Все сожаления будут тщетны, а они должны быть глубокими и горькими. Что мне сказать, чтобы

заставить вас помедлить в эту последнюю минуту? Что мне сделать, чтобы спасти вас?

— Ничего, — невнятно ответила она. — Это самое тяжелое испытание из всех, какие у меня были. Сжальтесь надо мной, сэр, заклинаю вас, и не терзайте мне сердце такими мольбами! Я... я слышу, он зовет. Я... я... не должна, не хочу оставаться здесь ни секунды дольше.

— Если это заговор, — сказал Николас так же быстро, как говорила она, — заговор, мною еще не открытый, но который со временем я бы обнаружил, и если вы имеете право, сами того не зная, получить свое собственное состояние, вернув которое вам удалось бы сделать все, что может быть достигнуто этим браком, вы бы не изменили решения?

— Нет, нет, нет! Это немыслимо. Это детские сказки. Отсрочка принесет ему смерть. Он опять зовет!

— Быть может, мы в последний раз встречаемся на земле, — сказал Николас, — быть может, лучше было бы для меня, чтобы мы больше никогда не встретились.

— Для обоих, для обоих! — ответила Маделайн, не сознавая, что говорит. — Настанет время, когда воспоминание об этом одном свидании сведет меня с ума. Непременно скажите им, что вы оставили меня спокойной и счастливой. Да пребудет с вами бог, сэр, и моя благодарность и благословение!

Она ушла. Николас, шатаясь, вышел из дому, думая о сцене, над которой только что опустился занавес, словно это было какое-то тревожное, безумное сновидение. Прошел день. Вечером, когда ему удалось до какой-то степени собраться с мыслями, он снова вышел.

Этот вечер — последний вечер холостой жизни Артура Грайда — застал его в превосходнейшем расположении духа и в превеликом восторге. Бутылочного цвета костюм был вычищен, приготовлен к завтрашнему дню. Пэг Слайдерскую дала отчет о последних хозяйственных расходах: точный отчет был дан в восемнадцати пенсах (ей никогда не доверяли большую сумму, а счета сводились обычно не чаще двух раз в день). Все приготовления к предстоящему празднеству были сделаны, и Артур Грайд мог бы сесть и подумать о близком счастье, но он предпочитал сесть и подумать о записях на веленевых листах грязной старой книги с заржавленными застешками.

— Ну-ну! — хихикая, сказал он и, опустившись на колени перед крепким, привинченным к полу сундуком, засунул туда руку по самое плечо и медленно вытащил засаленный том. — Это вся моя библиотека, но это одна из самых занимательных книг, какие были написаны! Это чудесная книга, надежная книга, чистопробная — надежна, как Английский банк, и такая же чистопробная, как золото и серебро в этом банке. Написана Артуром Грайдом. Хи-хи-хи! Ручаюсь, что ни одному из ваших романистов никогда не написать такой хорошей книги, как эта. Она написана только для одного человека — для меня одного и больше ни для кого. Хи-хи-хи!

Бормоча сей монолог, Артур взял свой драгоценный том и, примостив его на пыльном столе, надел очки и начал сосредоточенно всматриваться в страницы.

— Ах, какая большая сумма для уплаты мистеру Никльби, — сказал он с сокрушением. — Долг уплатить полностью — девятьсот семьдесят пять фунтов четыре шиллинга три пенса. Дополнительная сумма по обязательству — пятьсот. Тысяча четыреста семьдесят пять фунтов четыре шиллинга три пенса завтра в двенадцать часов. Но, с другой стороны, я получу возмещение благодаря этому хорошенькому цыпленочку. Однако возникает вопрос: неужели я не мог обделать это дело самостоятельно? «Трус не победить красотки»⁹⁹. Почему я такой трус? Почему я смело не открылся Брэю и не сберег тысячи четырехсот семидесяти пяти фунтов четырех шиллингов трех пенсов?

Эти размышления столь угнетающе действовали на ростовщика, что вырвали из груди его слабые стенания и заставили его объявить, воздев руки, что он умрет в рабочем доме. Вспомнив, однако, что при любых обстоятельствах ему пришлось бы уплатить долг Ральфу или дать какое-нибудь другое щедрое возмещение, он после раздумья усомнился в

том, добился ли бы он успеха, если бы взялся один за это предприятие, после чего он вновь обрел спокойствие духа и начал бормотать и гримасничать над другими, более отрадными записями, пока ему не помешало появление Пэг Слайдерскью.

— Эге, Пэг! — сказал Артур. — Что это? Что это такое, Пэг?

— Это курица, — ответила Пэг, поднимая тарелку с маленькой, очень маленькой курицей. — Чудо, а не курица. Такая крохотная и жилистая.

— Прекрасная птица! — сказал Артур, осведомившись сначала о цене и найдя ее соответствующей размерам. — Ломтик ветчины залить одним яичком, картофель, зелень, яблочный пудинг, Пэг, маленький кусочек сыра — вот вам и королевский обед. Ведь будут только она да я — и вы, Пэг... после нас.

— Не жалуйтесь потом на расходы, — хмуро сказала миссис Слайдерскью.

— Боюсь, что первую неделю нам придется жить широко, — со стоном отозвался Артур, — но потом мы это возместим. Я буду есть в самую меру, и я знаю, вы слишком любите вашего старого хозяина, чтобы есть не в меру, не правда ли, Пэг?

— Что — не правда ли? — спросила Пэг.

— Слишком любите вашего старого хозяина...

— Нет, не слишком, — сказала Пэг.

— О господи, хоть бы черт побрал эту женщину! — воскликнул Артур. — Слишком его любите, чтобы есть не в меру на его счет.

— На его что? — сказала Пэг.

— О боже! Никогда она не может расслышать самое важное слово, а все остальное слышит! — захныкал Грайд. — На его счет, старая вы карга!

Так как эта хвала очарованию миссис Слайдерскью была произнесена шепотом, леди выразила согласие по основному вопросу глухим ворчаньем, которому сопутствовал звонок у входной двери.

— Звонят, — сказал Артур.

— Да, да, я знаю, — отозвалась Пэг.

— Так почему же вы не идете? — заорал Артур.

— Куда мне идти? — возразила Пэг. — Я тут ничего плохого не делаю, верно?

Артур Грайд в ответ повторил слово «звонят», гаркнув во всю мочь, и так как притупленному слуху миссис Слайдерскью смысл этого слова стал еще более понятен благодаря пантомиме, изображающей, как звонят у двери, Пэг заковыляла из комнаты, резко спросив сначала, почему он сразу не сказал, что звонят, вместо того чтобы толковать о всякой всячине, которая никакого отношения к этому не имеет, в то время как ее ждет полпинты пива на ступеньках лестницы.

— С вами произошла перемена, миссис Пэг, — сказал Артур, провожая ее глазами. — Что она означает, я хорошенько не знаю, но если так будет продолжаться, я вижу, мы недолго проживем в согласии. Мне кажется, вы вот-вот рехнетесь. Если это так, придется вам убираться, миссис Пэг, или вас уберут. Мне все равно.

Бормоча и перелистывая страницы своей книги, оп вскоре попал на какую-то запись, остановившую его внимание, и позабыл о Пэг Слайдерскью и обо всем на свете, поглощенный интересными страницами.

Комнату освещала только тусклая и грязная лампа; тощий фитиль, заслоненный темным абажуром, отбрасывал бледные лучи на очень ограниченное пространство, а все за пределами его оставлял в густой тени. Эту лампу ростовщик придвинул к себе так близко, что между нею и ним оставалось место только для книги, над которой оп склонился. Он сидел, облокотившись на стол и подперев руками острые скулы, и лампа рельефно освещала его уродливые черты над маленьким столом, а остальная комната была погружена во мрак. Делая в уме какие-то вычисления и подняв глаза, Артур Грайд рассеянно посмотрел в этот мрак и внезапно встретил пристальный взгляд человека.

— Воры! Воры! — завизжал ростовщик, вскакивая и прижимая к груди книгу. — Грабят! Убивают!

— Что случилось? — спросила фигура, приближаясь.

— Не подходите! — дрожа, закричал негодяй. — Человек это или... или...

— За кого вы меня принимаете, если не за человека? — последовал вопрос.

— Да, да, — крикнул Артур Грайд, заслоняя глаза рукой, — это человек, а не привидение. Это человек! Грабят! Грабят!

— Зачем так кричать? Разве вы меня знаете и подумали что-нибудь дурное? — спросил незнакомец, близко подойдя к нему. — Я не вор.

— А тогда зачем и как вы сюда попали? — воскликнул Грайд, немного успокоившись, но все еще птясь от посетителя. — Как вас зовут и что вам нужно?

— Имя мое вам незачем знать, — был ответ. — Я вошел сюда, потому что мне показала дорогу ваша служанка. Я окликал вас раза два или три, но вы были так поглощены вашей книгой, что не слышали меня, и я молча ждал, когда вы от нее оторветесь. Что мне нужно, я вам скажу, когда вы оправитесь настолько, чтобы слушать меня и понимать.

Решив взглянуть на посетителя повнимательнее и увидев, что это молодой человек с приятным лицом и осанкой, Артур Грайд вернулся на свое место и, пробормотав, что вокруг бродят дурные люди, а покушения на его дом, имевшие раньше место, сделали его пугливым, предложил посетителю сесть. Однако тот отказался.

— О боже! Я остался стоять не для того, чтобы иметь преимущество перед вами, — сказал Николас (ибо это был Николас), заметив испуганный жест Грайда. — Выслушайте меня. Завтра утром ваша свадьба.

— Н-н-нет, — пробормотал Грайд. — Кто сказал, что завтра моя свадьба? Откуда вы знаете?

— Неважно, откуда, — ответил Николас. — Я это знаю. Молодая леди, которая отдает вам свою руку, ненавидит и презирает вас. У нее кровь холодеет при одном упоминании вашего имени. Ястреб и ягненок, крыса и голубь больше были бы под парю, чем вы и она. Как видите, я ее знаю.

Грайд смотрел на него, остолбенев от изумления, но не произнес ни слова — быть может, был не в силах.

— Вы и еще один человек, по имени Ральф Никльби, вдвоем составили этот заговор, — продолжал Николас. — Вы платите ему за его участие в том, чтобы совершилась эта продажа Маделайн Брэй. Вы ему платите. Вижу — лживые слова готовы сорваться с ваших губ!

Он остановился, но, так как Артур не дал никакого ответа, снова заговорил:

— Вы платите самому себе, грабя ее! Каким образом и с помощью каких средств — я не хочу осквернять защиту ее деда ложью и обманом, — мне неизвестно. В настоящее время мне неизвестно, но я действую не один, у меня есть помощники. Если человеческой энергии хватит на то, чтобы разоблачить ваше мошенничество и вероломство до вашей смерти, если деньги, месть и праведная ненависть могут выследить вас на ваших извилистых путях, вам еще предстоит дорого заплатить за все. Мы уже напали на след. Вам, знающему то, чего не знаем мы, вам лучше судить о том, когда мы вас разоблачим.

Снова он приостановился, и по-прежнему Артур Грайд молча смотрел на него.

— Если бы вы были человеком, к которому я бы мог обратиться в надежде пробудить его сострадание или человеколюбие, — продолжал Николас, — я бы просил вас вспомнить о беспомощности, невинности, молодости этой леди, о ее достоинствах и красоте, о ее дочерней преданности и, наконец — и это особенно важно, ибо ближе всего касается вас, — о том, как она взывала к вашему милосердию и человеческому чувству. Но я избираю тот путь, какой только и можно избрать с людьми, подобными вам, и спрашиваю, сколько вам нужно заплатить, чтобы возместить ваши убытки. Не забывайте, какой опасности вы подвергаетесь! Вы видите, я знаю столько, что без особого труда могу узнать гораздо больше. Согласитесь на меньшую прибыль, чтобы не рисковать, и назовите вашу цену!

Старый Артур Грайд зашевелил губами, но они только сложились в отвратительную улыбку и снова застыли.

— Вы думаете, что деньги не будут уплачены? — продолжал Николас. — Но у мисс

Брэй есть богатые друзья, которые отдали бы на чеканку монеты свои сердца, чтобы спасти ее от такой беды. Назовите вашу цену, отложите свадьбу всего на несколько дней, и вы увидите, уклонятся ли от уплаты те, о ком я говорю. Вы меня слышите?

Когда Николас начал говорить, Артур Грайд подумал, что Ральф Никльби его предал; но, по мере того как он продолжал, Грайд убедился, что, каким бы путем Николас ни получил эти сведения, он действует совершенно открыто и с Ральфом дела не имеет. По-видимому, незнакомец достоверно знал только то, что он, Грайд, уплатит долг Ральфу, но этот факт должен был быть превосходно известен всем, кто знал обстоятельства, сопутствовавшие задержанию Брэя, — по словам Ральфа, даже самому Брэю. Что же касается мошенничества, жертвой которого была сама Маделайн, то посетитель знал о характере его так мало, что это могло быть счастливой догадкой или случайным обвинением. Так или иначе, но у него не было ключа к тайне, и он не мог повредить тому, кто хранил ее в своем сердце. Упоминание о друзьях и предложение денег Грайд считал пустой похвалой, чтобы протянуть время. «А если бы даже деньги и можно было получить, — подумал Артур Грайд, бросив взгляд на Николаса и задрожав от бешенства, вызванного его мужеством и дерзостью, — зато этот лакомый кусочек будет моей женой, и тебя, молокосос, я проведу за нос!»

Долгая привычка отмечать все, что говорят клиенты, мысленно взвешивать все шансы за и против и подсчитывать их на глазах у клиентов, ничем не выдавая своих мыслей, научила Грайда быстро принимать решение и делать хитроумнейшие выводы из туманных, запутанных и часто противоречивых посылок. Вот почему сейчас, пока говорил Николас, Грайд строил параллельно свои умозаключения и, когда тот замолчал, был готов к ответу, как будто размышлял две недели.

— Я вас слышу! — крикнул он, вскочив с места, и, отодвинув задвижки ставня, поднял оконную раму. — На помощь! На помощь!

— Что вы делаете?! — воскликнул Николас, схватив его за руку.

— Я буду кричать, что здесь грабят, воруют, убивают! Подниму на ноги всех соседей, буду бороться с вами, сделаю себе маленькое кровопускание и покажу под присягой, что вы пришли меня ограбить, — если вы не уйдете из моего дома. — ответил Грайд, с гнусной усмешкой отвернувшись от окна. — Вот что я сделаю!

— Негодай! — вскричал Николас.

— Вы приходите сюда с угрозами? — сказал Грайд, который от ревности к Николасу и от сознания собственного торжества превратился в сущего дьявола. — Отвергнутый возлюбленный! О боже! Хи-хи-хи! Но ни вы ее не получите, ни она вас. Она моя жена, моя любящая маленькая женушка. Вы думаете, она будет жалеть о вас? Думаете, будет плакать? Я с удовольствием посмотрю, как она плачет, мне от этого худо не будет. В слезах она еще красивее.

— Мерзавец! — крикнул Николас, задыхаясь от бешенства.

— Еще минута — и я всполошу всю улицу такими воплями, что, если бы их испускал кто-нибудь другой, они разбудили бы меня даже в объятиях хорошенькой Маделайн! — воскликнул Грайд.

— Подлец! — закричал Николас. — Будь вы помоложе...

— О да! — ухмыльнулся Артур Грайд. — Будь я помоложе, было бы еще не так плохо, но ради меня, такого старого и безобразного, — ради меня быть отвергнутым малюткой Маделайн!

— Слушайте меня, — сказал Николас, — и будьте благодарны, что я владею собой и не выбрасываю вас из окна, чему никто не мог бы помешать, если бы я вас схватил за горло. Я не был возлюбленным этой леди. Никогда не было ни соглашения, ни помолвки, не было сказано ни одного любовного слова. Даже имени моего она не знает.

— А все-таки я у нее спрошу. Я поцелуюми буду вымаливать. И она мне его скажет и ответит поцелуюми, и мы вместе посмеемся и будем обниматься и веселиться, думая о бедном юноше, который жаждал получить ее, но не мог, потому что она была обещана мне!

После нового издевательства выражение лица Николаса вызвало у Артура Грайда явные опасения, не является ли оно предвестником того, что посетитель немедленно приведет в исполнение свою угрозу вышвырнуть его на улицу. Артур Грайд высунулся из окна и, крепко держась обеими руками, заорал не на шутку. Не считая нужным дожидаться результатов этих криков, Николас с презрением вышел из комнаты и из дома. Артур Грайд следил, как он перешел через улицу, а затем втянул голову, снова закрыл ставнем окно и сел, чтобы отдышаться.

— Если она окажется сварливой или злой, я не дам ей покоя, напоминая об этом щеголе! — сказал он, когда пришел в себя. — Она и не подозревает, что я о нем знаю, и если я умело поведу дело, я таким путем сломя ее и заберу в руки. Хорошо, что никто не пришел. Я кричал не слишком громко. Какая дерзость — войти ко мне в дом и так со мной говорить! Но завтра я буду торжествовать, а он будет грызть себе пальцы — может быть, утонится или перережет себе горло! Я бы не удивился. Тогда торжество мое будет полным, о да, полным!

Когда Артур Грайд пришел в обычное свое состояние благодаря этим размышлениям о грядущем торжестве, он спрятал книгу и, очень тщательно заперев сундук, спустился в кухню, чтобы послать спать Пэг и выбрать ее за то, что она с такой легкостью впускает незнакомых людей.

Ничего не ведавшая Пэг не могла уразуметь, в чем она провинилась, и он приказал ей посветить ему, пока он совершит осмотр всех запоров и собственноручно закроет парадную дверь.

— Верхняя задвижка, — бормотал Артур, задвигая ее, — нижняя задвижка, цепочка, засов, дважды повернуть ключ и спрятать под подушку. Если придут еще какие-нибудь влюбленные, пусть пролезают в замочную скважину. Теперь пойду спать, а в половине шестого встану, чтобы подготовиться к свадьбе, Пэг!

С этими словами он шуточно потрепал миссис Слайдерскую по подбородку, и была минута, когда он, казалось, не прочь был отпраздновать конец своей холостой жизни поцелуем в сморщенные губы служанки. Но, одумавшись, он снова потрепал ее по подбородку, заменив этим более теплую ласку, и крадучись пошел спать.

Глава LIV,

Решающий момент заговора и его последствия

Мало найдется людей, которые слишком долго лежат в постели или просыпаются слишком поздно в день своей свадьбы. Существует легенда о том, как один человек, славившийся своей рассеянностью, продрал глаза утром того дня, который должен был подарить ему молодую жену, и, совершенно забыв об этом, принялся бранить слуг, приготовивших ему прекрасный костюм, предназначенный для праздника. Существует другая легенда о том, как молодой джентльмен, не страшась канонов церкви, придуманных для такого рода случаев, воспылал страстной любовью к своей бабушке. Оба эти случая странны и своеобразны, и весьма сомнительно, чтобы их можно было рассматривать как прецеденты, которыми будут широко пользоваться грядущие поколения.

Артур Грайд облачился в свои свадебные одеяния бутылочного цвета за добрый час до того момента, как миссис Слайдерскую, стряхнув с себя свой более тяжелый сон, постучала в дверь его спальни. И он уже проковылял вниз и причмокивал, смакуя скудную порцию своего любимого бодрящего напитка, прежде чем этот изящный обломок древности украсил своим присутствием кухню.

— Тьфу! — сказала Пэг, исполняя свои домашние обязанности и ворча над жалкой кучкой золы и заржавленной каминной решеткой. — Тоже еще свадьба! Чудесная свадьба! Ему нужно, чтобы о нем заботился кто-то получше его старой Пэг. А что он мне говорил

многомного раз, желая, чтобы я смирилась с скверной пищей, маленьким жалованьем и чуть тлеющим огнем? «Мое завещание, Пэг, мое завещание! — говорил он. — Я холостяк — ни родственников, ни друзей, Пэг». Вранье! А теперь он приводит в дом новую хозяйку, девчонку с детским личиком. Если ему, дураку, нужна была жена, почему он не мог выбрать себе подходящую по возрасту и такую, которая знает его привычки? Он говорит, что мне поперек дороги она не станет. Да, не станет. Но вам и невдомек, почему не станет, дружок Артур!

Пока миссис Слайдерскую под влиянием, быть может, томительных чувств разочарования и обиды, вызванных тем, что старый хозяин предпочел ей другую, предавалась сетованиям под лестницей, Артур Грайд размышлял в гостиной о том, что произошло накануне вечером.

— Понять не могу, где он мог раздобыть эти сведения! — сказал Артур. — Разве что я сам себе повредил — сболтнул что-нибудь у Брэя, и меня подслушали. Это могло случиться. Я бы не удивился, если так оно и было. Мистер Никльби часто сердился, что я начинаю говорить с ним раньше, чем мы вышли за дверь. Лучше я не стану ему рассказывать об этой стороне дела, а то он меня расстроит, и весь день я буду в нервическом состоянии.

Ральфа в его кругу все почитали неким гением, а на Артура Грайда его суровый, неуступчивый характер и непревзойденное мастерство производили столь глубокое впечатление, что он не на шутку его побаивался. От природы раболепный и трусливый, Артур Грайд пресмыкался в пыли перед Ральфом Никльби, и даже не будь у них сейчас общих интересов, он предпочел бы лизать ему башмаки и ползать перед ним, чем возражать или изменить свое отношение к нему, самое угодливое и льстивое.

К Ральфу Никльби отправился теперь Артур Грайд, как было условлено; и Ральфу Никльби поведал он о том, как накануне вечером какой-то молодой буян, которого он никогда не видел, ворвался к нему в дом и старался угрозами заставить его отказаться от свадьбы.

— А дальше что? — сказал Ральф.

— О! Больше ничего, — ответил Грайд.

— Он старался вас запугать, и, полагаю, запугал, не так ли? — осведомился Ральф.

— Это я его запугал, закричав: «Грабят, убивают!» — возразил Грайд. — Уверяю вас, я не шутил, потому что почти готов был показать под присягой, что он мне угрожал и требовал кошелек или жизнь.

— Ого! — сказал Ральф, искоса поглядывая на него. — Он ревнует!

— Ах, боже мой, вы только послушайте! — воскликнул Артур, потирая руки и делая вид, будто смеется.

— Зачем вы корчите эти гримасы, сударь? — сказал Ральф. — Вы ревнуете — и не без оснований, полагаю я.

— Нет, нет, никаких оснований! Вы не думаете, чтобы были... э... основания? — заикаясь, спросил Артур. — Как вы думаете?

— А каковы обстоятельства дела? — возразил Ральф. — Старика навязывают в мужья девушке, и к этому старику приходит красивый молодой человек — вы, кажется, сказали, что он красив?

— Нет! — огрызнулся Артур Грайд.

— О, — сказал Ральф, — мне слышалось, что сказали. Ну-с, красивый или некрасивый, но к этому старику приходит молодой человек, который бросает ему в зубы — в десны, следовало бы мне сказать — всевозможные дерзкие угрозы и открыто заявляет, что его любовница ненавидит старика. Ради чего он это делает? Из человеколюбия?

— Не из любви к леди. Он сказал, что ни одним любовным словом (собственное его выражение) они ни разу не обменялись.

— Он сказал! — презрительно повторил Ральф. — Но одно мне в нем нравится, а именно — он честно предостерег вас: теперь-то вы должны держать вашу... как это... малютку или лакомый кусочек?... под замком. Будьте осторожны, Грайд, будьте осторожны.

А какое торжество — отнять ее у галантного молодого соперника! Великое торжество для старика! Остается только сохранить ее в целости, когда вы ее получите, вот и все.

— Что за человек! — воскликнул Артур Грайд, притворяясь во время этой пытки, будто веселится от всей души. А затем с беспокойством добавил: — Да, сохранить ее, вот и все. И ведь это нетрудно, не правда ли?

— Нетрудно! — насмешливо повторил Ральф. — Всем известно, как легко понять женщину и следить за нею. Но послушайте, приближается час, когда вас осчастливят. Полагаю, вы теперь же уплатите по обязательству, чтобы в дальнейшем избавить нас от хлопот.

— О, что за человек! — проворчал Артур.

— Почему бы нет? — осведомился Ральф. — Полагаю, никто не заплатит вам процентов с этой суммы за время с настоящего момента до двенадцати часов, не так ли?

— Но и вам, знаете ли, никто их не заплатит, — возразил Грайд, подмигнув Ральфу с таким лукавым и хитрым выражением, какое только мог придать своему лицу.

— Кроме того, — сказал Ральф, позволив своим губам скривиться в улыбку, — при вас нет денег и вы не ожидали моей просьбы, иначе вы захватили бы их с собой. И никому вы бы так не хотели оказать услугу, как мне. Понимаю. Доверяем мы друг другу приблизительно одинаково. Вы готовы?

Грайд, который только и делал, что усмехался, кивал и бормотал во время этой последней тирады Ральфа, ответил утвердительно и, вынув из шляпы два больших белых банта, приколот один к груди и с большим трудом заставил Ральфа сделать то же самое. Принарядившись таким образом, они сели в карету, которую заранее нанял Ральф, и поехали к дому прекрасной и несчастнейшей невесты.

Грайд, которому бодрость и мужество постепенно изменяли, по мере того как они все ближе и ближе подъезжали к дому, был совершенно удручен и запуган мрачным молчанием, окутывавшим этот дом. Заплаканное лицо бедной девушки-служанки, единственного живого существа, которое они увидели, носило следы бессонницы. Не было никого, кто бы их встретил и приветствовал, и они прокрались наверх в гостиную скорее как два грабителя, чем как жених и его друг.

— Можно подумать, — сказал Ральф, невольно говоря тихим и приглушенным голосом, — что здесь похороны, а не свадьба.

— Хи-хи! — хихикнул его приятель. — Какой вы шутник!

— Приходится шутить, — сухо заметил Ральф, — потому что здесь довольно тоскливо и холодно. Приободритесь, сударь, и не будьте похожи на висельника!

— Да, да, я постараюсь, — сказал Грайд. — Но... но... разве вы не думаете, что она сейчас выйдет?

— Полагаю, что она не выйдет, пока не будет принуждена выйти, — ответил Ральф, посмотрев на часы, а у нее есть еще добрых полчаса. Укротите ваше нетерпение.

— Я... я... постараюсь быть терпеливым, — запинаясь, выговорил Артур. Ни за что на свете не хотел бы я быть резким с ней. Боже мой, ни за что! Пусть она приходит, когда хочет, когда ей угодно. Мы ее торопить не будем.

Когда Ральф устремил на своего трепещущего друга острый взгляд, показывавший, что он прекрасно понимает причину этой чрезвычайной предупредительности и внимания, на лестнице послышались шаги и в комнату вошел сам Брэй, на цыпочках и предостерегающе подняв руку, словно где-то поблизости лежал больной, которого нельзя беспокоить.

— Тише! — прошептал он. — Вечером ей было очень плохо. Я думал, что сердце ее разобьется; сейчас она одета и горько плачет у себя в комнате; но ей лучше, и она совсем спокойна. Это главное!

— Она готова, не так ли? — спросил Ральф.

— Совсем готова, — ответил отец.

— И нас не задержит слабость, свойственная молодым леди, — обморок или что-нибудь в этом роде? — продолжал Ральф.

— Теперь на нее можно вполне положиться, — заявил Брэй. — Послушайте, пойдете-ка сюда.

Он увлек Ральфа в дальний конец комнаты и указал на Грайда, который сидел, съежившись в углу, нервно теребя пуговицы фрака и выставя напоказ лицо, в котором беспокойство заострило и подчеркнуло все, что было в нем гнусного и подлого.

— Посмотрите на этого человека! — выразительно прошептал Брэй. — В конце концов это кажется жестоким.

— Что кажется вам жестоким? — осведомился Ральф с таким тупым видом, как будто и в самом деле его не понял.

— Эта свадьба! — ответил Брэй. — Не спрашивайте — что. Вы знаете не хуже меня.

Ральф пожал плечами, выражая немое порицание раздражению Брэя, поднял брови и сжал губы, как это делают люди, когда у них готов исчерпывающий ответ на какое-нибудь замечание, но они ждут более благоприятного случая, чтобы дать его, или же не считают нужным отвечать тому, кто им возражает.

— Взгляните на него! Разве это не жестоко? — сказал Брэй.

— Нет! — смело ответил Ральф.

— А я говорю, что жестоко! — с чрезвычайным раздражением возразил Брэй. — Это жестоко, клянусь всем, что есть подлого и предательского!

Когда люди готовы совершить какое-нибудь несправедливое дело или дать на него свое согласие, им свойственно выражать жалость к жертве и в то же время сознавать, что сами они высокодобродетельны, нравственны и стоят бесконечно выше тех, кто этой жалости не выражает. Таково своеобразное утверждение превосходства веры над делами; и оно весьма утешительно. Нужно отдать справедливость Ральфу: он редко прибегал к такого рода лицемерию, но понимал тех, кто это делал, а потому позволил Брэю несколько раз повторить весьма энергически, что они сообща совершают очень жестокое дело, после чего снова решил вставить словечко.

— Посмотрите, какой это высохший, сморщенный, бессильный старик, — сказал Ральф, когда Брэй, наконец, замолчал. — Будь он помоложе, это было бы жестоко, но в данном случае... Слушайте, мистер Брэй, он скоро умрет и оставит ее богатой молодой вдовой! На этот раз мисс Мадедайн считается с вашим выбором, в следующий раз пусть она сама сделает выбор.

— Правда, правда, — отозвался Брэй, грызя ногти и явно чувствуя себя неважно. — Ничего лучшего я не мог для нее сделать, чем посоветовать ей принять это предложение, не правда ли? Я спрашиваю вас, Никльби, как человека, знающего свет, так ли это?

— Конечно, — ответил Ральф. — Вот что я вам скажу, сэр: в округе на пять миль от этого места найдется сотня отцов — зажиточных, добрых, богатых, надежных людей, — которые рады были бы отдать своих дочерей и собственные уши в придачу вот этому самому человеку, хоть он и похож на обезьяну и мумию.

— Это верно! — воскликнул Брэй, жадно хватаясь за все, в чем видел оправдание себе. — Я это ей говорил и вчера вечером и сегодня.

— Вы ей говорили правду, — сказал Ральф, — и хорошо сделали, что так поступили, хотя в то же время должен вам сказать, что, если бы у меня была дочь и если бы моя свобода, развлечения и, больше того, здоровье мое и жизнь зависели от того, возьмет ли она мужа, мною избранного, я бы надеялся, что не представится необходимости приводить еще какие-нибудь доводы, чтобы заставить ее подчиниться моим желаниям.

Брэй взглянул на Ральфа, как бы проверяя, серьезно ли тот говорит, и, выразив двумя-тремя кивками безоговорочное согласие с его словами, сказал:

— На несколько минут я должен пойти наверх закончить свой туалет. Когда я вернусь, я приведу с собой Маделайн. Знаете, какой странный сон приснился мне сегодня ночью? Я только что его вспомнил. Мне снилось, что утро уже настало и мы с вами беседуем, как беседовали сию минуту, что я собираюсь идти наверх, как собираюсь пойти сейчас, и что, когда я протянул руку, чтобы взять за руку Маделайн и повести ее вниз, пол провалился

подо мной, и, упав с такой невероятной, потрясающей высоты, какую можно увидеть только во сне, я опустился в могилу.

— И вы проснулись и обнаружили, что лежите на спине, или голова свесилась с кровати, или у вас боли от несварения желудка? — осведомился Ральф. — Вздор, мистер Брэй! Берите пример с меня (теперь, когда вам представляется возможность предаваться удовольствиям и развлечениям): найдите себе днем занятие, и у вас не останется времени думать о том, что вам снилось ночью.

Пристальным взглядом Ральф проводил его до двери; когда они снова остались одни, он сказал, повернувшись к жениху:

— Запомните мои слова, Грайд: ему вам недолго придется платить пенсию. Вам всегда чертовски везет при сделках. Если ему не предстоит отправиться в далекое путешествие в течение ближайших месяцев, я готов носить на плечах апельсин вместо головы.

На это пророчество, столь приятное его слуху, Артур не дал никакого ответа, кроме радостного кудяхтанья. Ральф бросился в кресло, оба стали ждать в глубоком молчании. Ральф с усмешкой думал об изменившемся в тот день поведении Брэя и о том, сколь быстро их сообщничество в подлом заговоре сбило с него спесь и установило между ними фамиллярные отношения, как вдруг настороженный его слух уловил шорох женского платья на лестнице и шаги мужчины.

— Проснитесь! — сказал он, нетерпеливо топнув ногой. — И немножко расшевелитесь, сударь! Они идут. Перетащите ваши старые сухие кости вот сюда. Двигайтесь, сударь, двигайтесь!

Грайд, волоча ноги, поплелся вперед и остановился, подмигивая и кланяясь, рядом с Ральфом, как вдруг дверь открылась и быстро вошли — не Брэй и его дочь, а Николас и его сестра Кэт.

Если бы какое-нибудь устрашающее видение из мира теней внезапно предстало перед ним, Ральф Никльби не мог быть ошеломлен сильнее, чем был он ошеломлен этим сюрпризом. Руки его беспомощно повисли, он отшатнулся и с открытым ртом и землисто-серым лицом стоял, глядя на них в безмолвной ярости. Глаза чуть не вылезли из орбит, и лицо, искаженное судорогами гнева, бушевавшего в нем, изменилось до такой степени, что трудно было признать в Ральфе того сурового, сдержанного, невозмутимого человека, каким он был минуту назад.

— Это тот самый человек, который приходил ко мне вчера вечером! — прошептал Грайд, теребя его за локоть. — Человек, который приходил ко мне вечером!

— Вижу! — пробормотал Ральф. — Знаю! Я бы мог догадаться раньше. На моем пути, на каждом повороте, куда бы я ни пошел, что бы я ни делал, — появляется он!

Бледное лицо, раздувшиеся ноздри, дрожащие губы, которые, хотя и были крепко сжаты, продолжали подергиваться, свидетельствовали о том, с какими чувствами боролся Николас. Но он их обуздывал и, мягко прижимая руку Кэт, чтобы ее успокоить, стоял, прямой и бесстрашный, лицом к лицу со своим недостойным родственником.

Когда брат и сестра стояли бок о бок, большое сходство между ними бросалось в глаза, хотя многие, быть может, его бы и не заметили, если бы не видели их вместе. Облик, осанка, даже взгляд и выражение лица брата как бы нашли свое отражение в образе сестры, но благодаря женской хрупкости и привлекательности обрели мягкость и тонкость. Более странным было какое-то неуловимое сходство между ними обоими и Ральфом. Никогда еще они не были столь привлекательны, а он — столь безобразен, никогда еще не держались они столь горделиво, а он — не был так низок, и, однако, никогда сходство не было столь заметно и никогда наихудшие характерные черты лица Ральфа, подчеркнутые недобрыми мыслями, не казались такими грубыми и жестокими.

— Прочь! — было первое слово, какое ему удалось выговорить, так как он буквально скрежетал зубами. — Прочь! Что привело вас сюда? Лгун, негодяй, подлец, вор!

— Я пришел сюда, — сказал Николас тихим, глухим голосом, — чтобы спасти вашу жертву, если это в моих силах. Лгун и негодяй — вы, и вы всюду и везде остаетесь лгуном и

негодяем! Воровство — это ваша профессия, и вы должны быть сугубым подлецом, иначе не было бы вас здесь сегодня. Оскорбления меня не тронут, как не тронут и удары. Здесь я стою и буду стоять, пока не исполню своего долга.

— Уйдите, мисс! — сказал Ральф. — С ним мы можем свести счеты, но я бы не хотел трогать вас, если удастся этого избежать. Уйдите, слабая и глупенькая девчонка, и оставьте этого мальчишку, чтобы с ним расправились так, как он того заслуживает!

— Я не уйду! — сказала Кэт, сверкая глазами, и яркий румянец залил ее щеки. — Какой бы вред вы ему ни причинили, он сумеет расквитаться. Расправляйтесь со мной! Я думаю, вы это сделаете, потому что я девушка, и это вам как раз на руку. Но если я слаба по-девичьи, то у меня сердце женщины, и не в таком деле, как это, вы можете заставить мое сердце изменить решение.

— А каково это решение, гордая леди? — спросил Ральф.

— В этот последний момент предложить несчастной жертве вашего предательства приют и кров! — ответил Николас. — Если перспектива иметь такого мужа, какого вы припасли, не испугает ее, я надеюсь, ее растрогают просьбы и мольбы существа ее же пола. Во всяком случае, это средство будет испытано. Я же, признавшись ее отцу, кем я послан и чьим представителем являюсь, докажу ему, что его поступок еще более низок, гнусен и жесток, если он все-таки осмелится настаивать на этой свадьбе. Здесь я буду ждать его с дочерью. Для этого я пришел и привел мою сестру, невзирая даже на ваше присутствие. Мы пришли не для того, чтобы видеть вас или вызывать к вам. Поэтому больше мы не будем унижаться до разговора с вами.

— Вот как! — сказал Ральф. — Вы настаиваете на том, чтобы остаться здесь, сударыня?

Грудь его племянницы вздымалась от негодования, но она ему ничего не ответила.

— Посмотрите-ка, Грайд, — сказал Ральф, — этот мальчишка (признаюсь с горестью, сын моего брата, распутник и мерзавец, запятнавший себя всеми корыстными и гнусными преступлениями), этот мальчишка пришел сегодня сюда с целью расстроить торжественную церемонию, зная, что в результате его появления в чужом доме в такое время он будет вышиблен пинками и его поволокут по улице, как бродягу, — а он и есть бродяга, — этот мальчишка, заметьте, приводит с собой сестру в виде защитницы. Он думает, что мы избавим глупую девушку от унижений и оскорблений, которые для него не новость. И даже после того, как я предупредил ее о неизбежных последствиях, он, как видите, все еще удерживает ее при себе и цепляется за ее юбку, как трусливый ребенок за юбку матери. Ну, не превосходный ли это человек, который говорит такие громкие слова, какие вы сейчас от него слышали?

— И какие слышал от него вчера вечером! — подхватил Артур Грайд. — Какие слышал от него вчера вечером, когда он пробрался ко мне в дом и — хи-хи-хи! — очень скоро оттуда выбрался, когда я запугал его чуть не до смерти. И он еще хочет жениться на мисс Маделайн! О боже! Может быть, он еще чего-нибудь хочет? Хочет, чтобы мы не только отказались от нее, но и еще что-то для него сделали? Заплатили его долги, омеблировали ему дом, дали ему несколько банкнотов на бритье, — если он уже бреется? Хи-хи-хи!

— Вы остаетесь, мисс? — сказал Ральф, снова обращаясь к Кэт. — Чтобы вас поволокли по лестнице, как пьяную девку? Клянусь, вас поволокут, если вы здесь останетесь! Никакого ответа! Поблагодарите вашего брата за последствия. Грайд, позовите сюда Брэя, но одного, без дочери. Пусть ее задержат наверху.

— Если вы дорожите своей головой, — сказал Николас, занимая позицию перед дверью, говоря тем же тихим голосом, каким говорил раньше, и выдавая свое волнение не больше, чем раньше, — стойте там, где стоите!

— Слушайте меня, а не его и позовите Брэя! — сказал Ральф.

— Слушайте лучше себя самого, чем меня или его! И стойте там, где стоите! — сказал Николас.

— Позовете вы сюда Брэя? — крикнул Ральф.

— Помните, вам небезопасно подходить ко мне, — сказал Николас.

Грайд колебался. Ральф, как разъяренный тигр, шагнул к двери и, пытаясь пройти мимо Кэт, грубо взял ее за руку. Николас, сверкая глазами, схватил его за шиворот. В этот момент что-то тяжелое с грохотом упало на пол наверху, и сейчас же вслед за этим послышался отчаянный и ужасный вопль.

Все замерли и переглянулись. Вопль следовал за воплем, раздавался топот ног, слышны были пронзительные крики: «Он умер!»

— Назад! — крикнул Николас, давая волю гневу, который так долго сдерживал. — Если произошло то, на что я едва смею надеяться, вы попались, негодяи, в свои же собственные сети!

Он выбежал из комнаты и, бросившись наверх, в ту сторону, откуда доносился шум, прорвался сквозь толпу людей, заполнивших маленькую спальню, и увидел, что Брэй лежит мертвый на полу. Дочь прильнула к нему.

— Как это случилось? — крикнул Николас, дико озираясь.

Несколько голосов ответили сразу: в полуоткрытую дверь заметили, что он сидит на стуле в странной и неудобной позе; несколько раз к нему обращались и, не получая ответа, подумали, не заснул ли он, тогда кто-то вошел в комнату и потряс его за плечо, после чего он тяжело рухнул на пол, и тогда увидели, что он мертв.

— Кто хозяин этого дома? — быстро спросил Николас.

Ему указали на пожилую женщину, и ей он сказал, стоя на коленях и осторожно отрывая руки Маделайн от безжизненного тела, вокруг которого они обвилились:

— Я послан самыми близкими друзьями этой леди, о чем известно ее служанке, и должен избавить ее от этого ужасного зрелища. Это моя сестра, заботам которой вы ее поручите. Мое имя и адрес на этой карточке, и вы получите от меня все необходимые указания относительно того, что должно быть сделано. Отойдите все и, ради бога, дайте больше простора и воздуха!

Все отступили, удивляясь только что происшедшему вряд ли больше, чем возбуждению и горячности того, кто говорил. Николас, взяв на руки бесчувственную девушку, вынес ее из спальни, спустился вниз и внес в комнату, откуда только что выбежал; за ним следовали его сестра и верная служанка, которой он поручил нанять карету, тогда как сам он и Кэт склонились над Маделайн и тщетно пытались привести ее в чувство. Служанка так быстро исполнила поручение, что через несколько минут карета была подана.

Ральф Никльби и Грайд, ошеломленные и парализованные ужасным событием, которое столь неожиданно разрушило их планы (в противном случае, оно, пожалуй, не произвело бы на них большого впечатления), и отброшенные в сторону необычайной энергией и стремительностью Николаса, который сметал все на своем пути, взирали на происходящее, словно люди, пребывающие во сне или в трансе. Лишь после того как сделаны были все приготовления, чтобы немедленно увезти Маделайн, Ральф нарушил молчание, заявив, что ее отсюда не увезут.

— Кто это говорит? — крикнул Николас, поднимаясь с колен, но удерживая в своей руке безжизненную руку Маделайн.

— Я! — хрипло ответил Ральф.

— Тише, тише! — воскликнул устрешенный Грайд, уцепившийся за его руку. — Послушаем, что он скажет.

— Да! — сказал Николас, простирая вперед свободную руку. — Послушайте! Он скажет, что долг вам обоим уплачен вместе с этим великим долгом природе! Что обязательство, срок которого истекает сегодня в полдень, является теперь пустой бумажкой! Что мошеннический план, вами задуманный, еще будет раскрыт! Что ваши замыслы известны человеку и разрушены небом! Негодяй, попробуйте сделать наихудшее, на что вы способны!

— Этот человек, — сказал Ральф едва внятным голосом, — требует свою жену и получит ее.

— Этот человек требует то, что ему не принадлежит, и он не получил бы ее, если бы в нем была сила пятидесяти человек и еще пятьдесят стояли за его спиной, — сказал Николас.

— Кто ему воспрепятствует?

— Я!

— По какому праву, хотел бы я знать? — спросил Ральф. — По какому праву, спрашиваю я?

— Вот по какому праву: благодаря тому, что я знаю, вы не осмелитесь доводить меня до крайности. И еще вот по какому: те, кому я служу и в чьих глазах вы хотели гнусно очернить меня и повредить мне, являются ее самыми близкими и дорогими друзьями. Действуя от их имени, я увожу ее отсюда. Дайте дорогу!

— Одно слово! — с пеной у рта крикнул Ральф.

— Ни одного, не буду слушать ни одного, но скажу: берегитесь и запомните мое предостережение! Для ваших дел день миновал и спускается ночь.

— Проклятье на твою голову, мальчишка! Вечное проклятье!

— Откуда возьмутся проклятья по вашему повелению? И чего стоит проклятье или благословенье такого человека, как вы? Я вам говорю, что разоблачение и беда нависли над вашей головой, что здания, сооруженные вами на протяжении всей вашей недоброй жизни, обращаются в прах, что вы окружены соглядатаями, что как раз сегодня десять тысяч фунтов из денег, попавших в ваши руки, погибли во время великого краха!

— Это ложь! — отпрянув, крикнул Ральф.

— Это правда, и вы в этом убедитесь. Больше я не буду тратить слов. Отойдите от двери! Кэт, выходи первая. Не прикасайтесь ни к ней, ни к этой женщине, ни ко мне. Даже одежды их не касайтесь, когда они проходят мимо вас... Как! Вы их пропустили, а он опять загораживает дверь!

Артур Грайд очутился в дверях, но умышленно или от растерянности, было не совсем ясно. Николас отшвырнул его с такой силой, что тот закружился по комнате, пока не налетел на острый выступ стены и упал, после чего Николас, схватив на руки свою прекрасную ношу, выбежал из комнаты. Никто не пытался его остановить, даже если у кого-нибудь и было такое желание. Пробившись сквозь толпу, которую привлек к дому слух о происшедшем, и неся Маделайн с такой легкостью, словно она была ребенком, он добрался до кареты, где уже ждали Кэт и служанка, и, поручив им Маделайн, вскочил на козлы рядом с кучером и приказал ему ехать.

Глава LV,

О семейных делах, заботах, надеждах, разочарованиях и горестях

Хотя и сын и дочь познакомили миссис Никльби со всеми известными им фактами, относившимися к истории Брэй, хотя ответственное положение, в каком очутился Николас, было ей старательно разъяснено и ее даже подготовили на всякий случай к тому, что может возникнуть необходимость принять молодую леди у себя в доме, сколь маловероятным ни казался такой результат всего за несколько минут до печального события, однако миссис Никльби с того момента, как накануне поздно вечером было ей сделано это сообщение, оставалась неудовлетворенной и крайне заинтригованной, и тут не могли помочь никакие объяснения или доводы: любопытство только усиливалось после каждого монолога и раздумья.

— Ах, боже мой, Кэт, — так рассуждала эта славная леди, — если мистеры Чириблы не хотят, чтобы молодая леди вышла замуж, почему они не предъявят иск к лордканцлеру, не сделают ее арестанткой Канцлерского суда и не посадят для безопасности в тюрьму Флит? Сотни раз я читала о таких случаях в газете. Если же они ее любят так, как утверждает Николас, почему они сами на ней не женятся — один из них, хочу я сказать. И даже если

допустить, что они не хотят, чтобы она вышла замуж и сами не хотят на ней жениться, то почему должен Николас бегать по свету, препятствуя церковному оглашению других людей?

— Мне кажется, вы не совсем поняли, — кротко сказала Кэт.

— Право же, Кэт, дорогая моя, ты удивительно вежлива! — отозвалась миссис Никльби. — Как-никак, я сама была замужем и видела, как другие выходят замуж. Не поняла, вот еще!

— Я знаю, что у вас большой опыт, милая мама, — промолвила Кэт. — Я хочу сказать, что в данном случае вы, может быть, не совсем поняли все обстоятельства. Вероятно, мы их плохо объяснили.

— Полагаю, что плохо! — с живостью подхватила ее мать. — Это весьма возможно. И за это я не несу ответственности. Хотя в то же время, поскольку обстоятельства говорят сами за себя, я беру на себя смелость сказать, дорогая моя, что я их понимаю, и понимаю очень хорошо, что бы там ни думали вы с Николасом. Зачем поднимать такой шум из-за того, что мисс Магдален собирается выйти замуж за кого-то, кто старше ее? Ваш бедный папа был старше меня на четыре с половиной года. Джейн Дибабс... Дибабсы жили в красивом белом одноэтажном домике с тростниковой крышей, сплошь покрытом ползучими растениями и плющом, с прелестным крытым крылечком, обвитым жимолостью и всякой всячиной; в летние вечера ухвертки падали, бывало, в чай и всегда опрокидывались на спину и ужасно дрыгали ножками, а лягушки забирались в колпачки на тростниковых свечах¹⁰⁰, если кто-нибудь оставался ночевать в доме, и сидели и смотрели в дырочки, совсем как люди... Так вот, Джейн Дибабс вышла замуж за человека, который был гораздо старше ее, и хотела за него выйти, несмотря на все возражения, какие можно было привести, и она его так любила, что сильнее и любить нельзя. Никакого шума из-за Джейн Дибабс не поднимали, и ее муж был превосходным и достойнейшим человеком, и все говорили о нем одно хорошее. Так зачем же тогда поднимать шум из-за этой Магдален?

— Ее жених значительно старше, он ей не нравится, по натуре он совершенно противоположен тому, кого вы только что описали. Неужели вы не видите большой разницы между этими двумя случаями? — спросила Кэт.

На это миссис Никльби отвечала, что, должно быть, она очень глупа, да, она не сомневается, что это так, раз ее собственные дети чуть ли не говорят это ей каждый день; разумеется, она немножко старше их, и, быть может, какие-нибудь нелепые люди, пожалуй, решат, что, естественно, она должна лучше знать. Но несомненно она неправа, она всегда была неправа, она не могла быть права, этого нельзя было ожидать от нее; поэтому лучше ей не высказывать своего мнения. И на все примирительные замечания Кэт славная леди в течение часа не давала другого ответа, кроме: о, разумеется... зачем они ее спрашивают?... ее мнение не имеет ни малейшего значения... неважно, что она говорит... — и много других реплик в том же духе.

В таком расположении (выражавшемся, когда она предалась смирению, не допуская речей, в кивках, закрывании глаз и в тихих стенаниях, которые переходили, если они привлекали внимание, в отрывистое покашливание) миссис Никльби пребывала до возвращения Николаса и Кэт с предметом их забот. После этого, вновь обретя к тому времени сознание собственной важности и вдобавок заинтересовавшись испытаниями такого юного и прекрасного существа, она не только проявила величайшее рвение и заботливость, но и поздравила себя с тем, что посоветовала такой образ действий, который был принят ее сыном; при этом она не раз замечала с многозначительным видом, что дело обернулось весьма счастливо, и намекала, что если бы не ее внушения и рассудительность, оно никогда не приняло бы такого оборота.

Не останавливаясь на вопросе, оказала или не оказала миссис Никльби серьезную помощь при улаживании этого дела, остается бесспорным, что у нее были веские основания ликовать. Братья по возвращении так хвалили Николаса за роль, которую он сыграл, и были

так обрадованы изменившимся положением дел и избавлением их юной приятельницы от испытаний, столь тяжелых, и опасностей, столь грозных, что — как не раз говорила миссис Никльби своей дочери — она считала благосостояние их семейства «все равно что достигнутым». По категорическому утверждению миссис Никльби, мистер Чарльз Чирибл в первом порыве изумления и восторга «так прямо и сказал». Не объясняя подробно, что означают эти слова, она, заговаривая на эту тему, неизменно принимала такой таинственный и важный вид и ей мерещилось такое богатство и влияние в будущем, что (как бы ни были эти видения туманны и расплывчаты) она была в такие минуты счастлива не меньше, чем если бы ей навсегда обеспечили блистательное существование.

Неожиданное и страшное потрясение, перенесенное Маделайн, наряду с великой печалью и тревогой, которые она долго испытывала, оказались ей не по силам. Выйдя из состояния оцепенения, вызванного, к счастью для нее, внезапной смертью отца, она опасно заболела. Когда слабые физические силы, которые поддерживало неестественное напряжение душевной энергии и твердая решимость не сдаваться, в конце концов иссякают, степень упадка обычно бывает пропорциональна усилиям, ранее приложенным. Вот почему болезнь, постигшая Маделайн, была не легкой и не кратковременной, но угрожала ее рассудку и — что не более страшно — самой жизни.

Кто, медленно оправляясь после столь жестокой болезни, мог остаться нечувствительным к неусыпным заботам такой сиделки, как нежная, кроткая, внимательная Кэт? На кого могли произвести более глубокое впечатление милый, мягкий голос, легкая поступь, ласковая рука, тысяча мелких услуг, оказанных спокойно, бесшумно и приносящих облегчение, которое мы так глубоко чувствуем, когда больны, и так легко забываем, когда здоровы, — на кого могли они произвести более глубокое впечатление, чем на юное сердце, преисполненное самыми чистыми, самыми искренними чувствами, какие лелеют женщины, на сердце, знакомое лишь с той женской нежностью, какую оно само питало, на сердце, изведавшее превратности судьбы и страдания и жадно впитывающее сочувствие, которого оно так долго не знало и тщетно искало? Можно ли почитать чудом, если, выздоравливая, Маделайн с каждым часом глубже и нежнее откликалась на похвалы, которые Кэт расточала своему брату, когда они воскрешали в памяти давние события, теперь они казались давними, случившимися много лет назад. Какое чудо в том, что эти похвалы пробуждали живейший отклик в сердце Маделайн, и облик Николаса непрестанно вставал перед нею в чертах лица его сестры, и она не могла разделить два этих облика и иногда не могла разобраться в тех чувствах, какие брат и сестра сначала ей внушали! И незаметно к ее благодарности к Николасу начало примешиваться более теплое чувство, которое она предназначала Кэт.

— Дорогая моя, — говорила миссис Никльби, входя в комнату с преувеличенной осторожностью, рассчитанной на то, чтобы расстроить нервы больного сильнее, чем прибытие кавалериста полным галопом, — как вы себя чувствуете сегодня? Надеюсь, вам лучше?

— Почти здорова, мама, — отвечала Кэт, откладывая в сторону работу и беря за руку Маделайн.

— Кэт, — укоризненно говорила миссис Никльби, — тише, тише! (Достойная леди говорила шепотом, от которого кровь могла застыть в жилах самого стойкого человека.)

Кэт принимала этот упрек очень спокойно, и миссис Никльби, снуя потихоньку по комнате, от чего каждая доска скрипела и каждая ниточка шелестела, добавляла:

— Мой сын Николас только что пришел домой, и я, дорогая моя, зашла, по обыкновению, узнать прямо из ваших уст, как вы себя чувствуете, потому что он ни за что не захочет и не будет слушать меня.

— Сегодня он вернулся позже, чем всегда, — отвечала иногда Маделайн, — почти на полчаса.

— Никогда в жизни не видела я людей, которые бы так следили за часами, как вы! — с величайшим изумлением восклицала миссис Никльби. — Право же, никогда в жизни! Я понятия не имела, что Николас запоздал, ни малейшего понятия. Мистер Никльби

говаривал, — я говорю о твоём бедном папе, Кэт, дорогая моя, — что аппетит — лучшие часы в мире, но у вас нет никакого аппетита, дорогая моя мисс Брэй... Я бы так хотела, чтобы он у вас был, и, честное слово, я думаю, вы должны съесть что-нибудь такое для возбуждения аппетита. Конечно, я не знаю, но я слыхала, что две-три дюжины английских омаров возбуждают аппетит, хотя в конце концов это сводится к тому же, потому что, мне кажется, нужно почувствовать аппетит, прежде чем вы сможете съесть их. Я сказала — омары, а хотела сказать — устрицы, но разницы никакой нет. Но все-таки, как вы могли угадать, что Николас...

— Мы только что говорили о нём, мама, вот в чём дело.

— Мне кажется, вы никогда ни о чём другом не говорите, Кэт, и, честное слово, меня удивляет твоя неосмотрительность. Иногда ты умеешь находить предметы для разговора, а теперь, когда тебе известно, как важно подбадривать мисс Брэй и развлекать её, меня просто поражает, что заставляет тебя долбить, долбить, долбить, жевать, жевать, жевать вечно одно и то же. Ты очень приятная сиделка, Кэт, и очень хорошая, и я знаю, что ты хочешь добра, но вот что я должна сказать: не будь меня, я, право, не знаю, что было бы с расположением духа мисс Брэй. Так я и говорю каждый день доктору. Он говорит, что удивляется, как это у меня хватает сил, и, право же, я сама частенько удивляюсь, как это я ухитрюсь держаться. Конечно, нужны особые усилия, но раз я знаю, сколь многое зависит от меня в этом доме, я обязана делать эти усилия. Хвастаться тут нечем, но оно необходимо, и я его делаю!

С этими словами миссис Никльби придвигала стул и в течение трех четвертей часа перебирала самые разнообразные увлекательные темы самым увлекательным образом, после чего удалялась, наконец, под тем предлогом, что должна теперь пойти развлечь Николаса, пока тот ужинает. Подбодрив его сначала сообщением, что, по ее разумению, больной значительно хуже, она продолжала увеселять его, рассказывая о том, какая мисс Брэй печальная, вялая и удрученная, потому что Кэт имеет глупость говорить только о нём и о домашних делах. Окончательно успокоив Николаса этими и другими ободряющими замечаниями, она начинала подробно рассказывать о тяжелых трудах, выпавших ей на долю в этот день, и порой бывала растрогана до слез размышлениями о том, как будет обходиться без нее семья, если с ней что-нибудь случится.

Иногда Николас возвращался домой вместе с мистером Фрэнком Чириблом, которому братья поручали узнать, как себя чувствует сегодня вечером Маделайн. В таких случаях (а они бывали отнюдь не редки) миссис Никльби считала особенно важным быть начеку, ибо по некоторым признакам и приметам, привлечшим ее внимание, она проницательно угадала, что мистер Фрэнк — как бы его дяди ни были заинтересованы Маделайн — приходит столько же для того, чтобы справиться о ней, сколько и для того, чтобы увидеть Кэт, тем более что братья все время поддерживали связь с врачом, частенько наведывались сами и каждое утро получали подробный отчет от Николаса. То было славное время для миссис Никльби: никогда еще не бывало человека столь осмотрительного и мудрого, как она, или столь хитроумного; и никогда еще не применялись столь искусная стратегия и такие непостижимые уловки, какие испробовала она на мистере Фрэнке с целью установить, основательны ли ее подозрения, и, если они основательны, терзать его до тех пор, пока он не подарит ей свое доверие и не поручит себя ее милосердным заботам. Могуча была артиллерия, тяжелая и легкая, какую пустила в ход миссис Никльби ради осуществления этого великого замысла; разнообразны и противоречивы были средства, которыми она пользовалась для достижения поставленной ею цели. То она бывала воплощением сердечности и непринужденности, то чопорности и холодности. Иной раз она как будто раскрывала сердце перед своей несчастной жертвой; в следующую их встречу она принимала его с холодной и обдуманной сдержанностью, словно новый свет озарил ее и, угадав его стремления, она решила сразу их пресечь, считая своим долгом действовать со спартанской твердостью и раз и навсегда уничтожить надежды, которые не могли сбыться.

Когда Николаса не было и он не мог ее услышать, а Кэт заботливо ухаживала наверху за больной подругой, достойная леди бросала мрачные намеки о своем намерении отправить

дочь во Францию на три-четыре года, или в Шотландию для поправки здоровья, подорванного недавним переутомлением, или погостить в Америку, или еще куда-нибудь, что грозило долгой и тягостной разлукой. Она зашла так далеко, что даже туманно намекнула на чувства, питаемые к ее дочери сыном одного из их прежних соседей, неким Горацио Пелтирогесом (молодым джентльменом, которому в ту пору могло быть года четыре), изобразив это как дело, почти решенное между двумя семьями, — ожидалось только окончательное согласие ее дочери, чтобы затем все завершилось благословением церкви, к невыразимому счастью и удовлетворению всех заинтересованных лиц.

Опьяненная гордостью и славой, когда однажды вечером эта последняя мина была взорвана с необычайным успехом, миссис Никльби, оставшись перед сном наедине с сыном, воспользовалась удобным случаем, чтобы вывести его точку зрения относительно предмета, столь занимавшего ее мысли, не сомневаясь, что двух мнений по этому вопросу быть не может. С этой целью она приступила к делу, начав с различных хвalebных и уместных замечаний о приятных качествах мистера Фрэнка Чирибла.

— Вы совершенно правы, мама, — сказал Николас, совершенно правы. Он прекрасный малый.

— И хорош собой, — сказала миссис Никльби.

— Несомненно, хорош собой, — отозвался Николас.

— А что бы ты сказал о его носе, дорогой мой? — продолжала миссис Никльби, желая хорошенько заинтересовать Николаса этим разговором.

— Что бы я сказал? — повторил Николас.

— Да, — ответила его мать. — Какого стиля у него нос? Какого архитектурного ордена, кажется это так называется? Я не очень сведуща в носах. Ты бы его назвал римским или греческим?

— Насколько я могу припомнить, — со смехом сказал Николас, — я бы его назвал композицией, или носом смешанного стиля. Но я не очень-то хорошо представляю себе его нос. Если это вам доставит удовольствие, я присмотрюсь к нему поближе и сообщу вам.

— Я бы хотела, чтобы ты это сделал, дорогой мой, — с очень серьезным видом сказала миссис Никльби.

— Прекрасно, — ответил Николас, — я посмотрю. Когда диалог достиг этой стадии, Николас вернулся к книге, которую читал. Миссис Никльби после недолгого молчания, посвященного раздумью, снова заговорила:

— Он к тебе очень привязан, дорогой Николас.

Закрыв книгу, Николас со смехом сказал, что он рад это слышать, и заметил, что, по-видимому, его мать уже пользуется полным доверием их нового друга.

— Гм! — отозвалась миссис Никльби. — Этого я не знаю, дорогой мой, но я считаю необходимым, крайне необходимым, чтобы кто-нибудь пользовался его доверием.

Ободренная взглядом сына и сознанием, что ей одной ведома великая тайна, миссис Никльби продолжала с большим оживлением:

— Право же, дорогой Николас, меня изумляет, как ты мог не заметить этого, а впрочем, не знаю, почему я это говорю. Конечно, до известной степени такого рода вещи — в особенности вначале — могут быть очевидны для женщины, но остаются незамеченными мужчиной. Я не утверждаю, что отличаюсь особой проницательностью в таких делах. Может быть, и отличаюсь. Об этом должны знать люди, меня окружающие, и, может быть, они знают. По этому вопросу я не выскажу своего мнения, мне не подобает это делать, об этом и речи быть не может.

Николас снял нагар со свечей, засунул руки в карманы и, откинувшись на спинку стула, принял вид страдальчески терпеливый и меланхолически покорный.

— Я считаю своим долгом, дорогой Николас, — продолжала мать, — сообщить тебе то, что я знаю, — не только потому, что ты имеешь право знать все происходящее в нашей семье, но и потому, что в твоей власти подвинуть вперед это дело и чрезвычайно способствовать ему. И, разумеется, чем скорее приходят к полной ясности в таких вопросах, тем лучше во

всех отношениях. Сделать ты можешь очень многое. Например, прогуляться иногда по саду, или посидеть немножко наверху у себя в комнате, или притвориться, будто ты задремал, иди притвориться, будто вспомнил о каком-нибудь деле, и уйти на часок и увести с собой мистера Смайка. Все это кажется пустяками, и, вероятно, тебя позабавит, что я придаю им такое значение, но, право же, дорогой (и ты сам убедишься в этом, Николас, когда влюбишься в кого-нибудь, а я верю и надеюсь, что ты влюбишься, только бы она была приличной и благовоспитанной особой, но, разумеется, тебе и в голову не придет влюбиться в какую-нибудь другую), так вот, я уверяю тебя, что от этих мелочей зависит гораздо больше, чем ты, быть может, предполагаешь. Если бы твой бедный папа был жив, он бы тебе сказал, жак много зависит от того, чтобы заинтересованные стороны оставались наедине. Конечно, ты не должен выходить из комнаты так, как будто делаешь это умышленно, с определенной целью; надо это делать как бы случайно и таким же образом возвращаться. Если ты кашлянешь в коридоре, прежде чем открыть дверь, или будешь беззаботно насвистывать или напевать какую-нибудь песенку или еще что-нибудь в этом роде, чтобы предупредить их, что ты идешь, так будет лучше. Хотя это не только натурально, но и вполне прилично и уместно в таком деле, но все-таки молодые люди очень смущаются, если их застают, когда они сидят рядом на диване и... и тому подобное. Может быть, это очень нелепо, но тем не менее это так.

Глубокое изумление, с каким сын смотрел на нее во время этой длинной речи, усиливавшееся по мере того, как она приближалась к кульминационной точке, ничуть не смутило миссис Никльби, но скорее повысило ее мнение о собственной проницательности; поэтому, заметив только с большим самодовольством, что его изумления она ждала, миссис Никльби привела великое множество косвенных улик, чрезвычайно запутанных и сбивчивых, в результате чего было установлено что мистер Фрэнк Чирибд вне всяких сомнений влюблен в Кэт.

— В кого? — воскликнул Николас. Миссис Никльби повторила:

— В Кэт.

— Как? В нашу Кэт? В мою сестру?!

— Ах, боже мой, Николас! — сказала миссис Никльби. — Чья же может быть Кэт, если не наша? И разве стала бы я беспокоиться или хоть сколько-нибудь интересоваться этим, если бы это была не твоя сестра, а кто-нибудь другой?

— Дорогая мама, — сказал Николас, — не может этого быть!

— Прекрасно, дорогой мой, — с большой твердостью ответила миссис Никльби. — Подожди и увидишь.

До этой минуты Николас ни разу не задумывался даже об отдаленной возможности события, о котором ему сейчас сообщили. Помимо того, что последнее время он мало бывал дома и усердно занимался другими делами, ревнивые опасения внушили ему мысль, что тайное чувство к Маделайн, родственное тому, какое питал он сам, вызвало эти визиты Фрэнка Чирибда, с недавних пор столь участвовавшие. Даже теперь, хотя он знал, что в данном случае наблюдения бдительной матери должны быть более правильны, чем его собственные, и хотя она напомнила ему о многих мелких обстоятельствах, которые в совокупности несомненно оправдывали то истолкование поведения Фрэнка, какое она с торжеством предлагала, он все еще сомневался, полагая, что они были вызваны добродушной, легкомысленной галантностью человека, который вел бы, себя точно так же по отношению к любой другой девушке, молодой и привлекательной. Во всяком случае, он на это надеялся и потому старался этому верить.

— Я очень встревожен тем, что вы мне сказали, — заметил Николас после недолгого раздумья, — хотя я еще надеюсь, что, быть может, вы ошибаетесь.

— Признаюсь, не понимаю, зачем тебе на это надеяться, — сказала миссис Никльби, — но можешь не сомневаться, что я не ошибаюсь.

— А что Кэт? — осведомился Николас.

— Видишь ли, дорогой мой, тут у меня еще нет полвой уверенности, — отозвалась

миссис Никльби. — За время этой болезни она постоянно сидела у постели Маделайн — никогда еще два человека не бывали так привязаны друг к другу, как они. И, сказать по правде, Николас, я иногда отсылала ее к Маделайн, потому что, мне кажется, это прекрасное средство и подстрекает молодого человека. У него, знаешь ли, исчезает полная уверенность.

Она сказала это с таким восторгом и в то же время с таким самодовольством, что Николасу невыразимо тяжело было разбить ее надежды; но он чувствовал, что перед ним лежит только один достойный путь и этот путь он должен избрать.

— Дорогая мама, — ласково сказал он, — разве вы не видите, что, если бы со стороны мистера Фрэнка было действительно серьезное чувство к Кэт и мы хоть на секунду позволили себе поощрять его, мы совершили бы очень недостойный и неблагоприятный поступок? Я вас спрашиваю: разве вы не видите? Но о чем говорить, когда я знаю, что вы не видите, иначе вы были бы более осторожны. Позвольте мне объяснить вам, что я имею в виду: вспомните, как мы бедны.

Миссис Никльби покачала головой и промолвила сквозь слезы, что бедность не преступление.

— Да, — сказал Николас, — и по этой причине бедность должна порождать честную гордость, чтобы не послужить соблазном и не привести нас к каким-нибудь низким поступкам и чтобы мы не потеряли того самоуважения, какое могут сохранить и дровосек и водонос лучше, чем сохраняет его монарх. Подумайте, чем мы обязаны этим двум братьям, вспомните, что они для нас сделали и делают каждый день с таким великодушием и деликатностью, за которые преданность наша в течение всей жизни явилась бы отнюдь недостаточной и несовершенной благодарностью. Как отплатили бы мы им, если бы позволили их племяннику, единственному их родственнику, к которому они относятся, как к сыну, ребячеством было бы предполагать, что они не составили планов, соответствующих полученному им образованию и богатству, какое он унаследует, — если бы мы позволили ему жениться на девушке-бесприданнице, связанной с нами такими узами, что нас троих неизбежно заподозрили бы в интриге и в желании поймать его в ловушку! Подумайте об этом, мама. Что почувствовали бы вы, если бы они поженились, а братья пришли, как всегда, с добрыми намерениями, какие так часто их сюда приводят, и вы должны были бы открыть им правду? Могли бы вы быть спокойной и сознавать, что вели честную игру?

Бедная миссис Никльби, плача все сильнее и сильнее, пробормотала, что, конечно, мистер Фрэнк испросил бы сначала согласие своих родственников.

— Да, конечно, но это улучшило бы его отношение с ними, — сказал Николас, — а мы по-прежнему могли бы навлечь на себя все те же подозрения; расстояние между ними не уменьшилось бы: все равно каждый считал бы, что у нас есть свои расчеты. Но, быть может, мы обманываемся в наших предположениях? — добавил он более веселым юном. — Я надеюсь и почти верю, что это так! Если же нет, то я питаю доверие к Кэт и знаю, что она будет чувствовать то же, что я. И к вам, дорогая мама! Я не сомневаюсь, что, немного подумав, вы почувствуете то же самое.

После долгих уговоров и просьб Николас добился от миссис Никльби обещания, что она по мере сил постарается думать так же, как он, и что, если мистер Фрэнк будет упорствовать в своем ухаживании, она попытается воспрепятствовать этому или по крайней мере не будет оказывать ему ни поддержки, ни помощи. Он решил не заговаривать об этом с Кэт, пока окончательно не убедится, что сделать это действительно необходимо. Он также решил пристально наблюдать и удостовериться в подлинном положении дел. Это было очень разумное решение, но осуществить его помешал новый повод для беспокойства и тревоги.

Смайк опасно заболел; он стал таким слабым, что без посторонней помощи едва мог переходить из комнаты в комнату, таким худым и изнуренным, что больно было смотреть на него. Николаса предупредил тот самый пользующийся авторитетом врач, к которому он уже обращался, что единственная надежда спасти жизнь Смайка заключается в том, чтобы немедленно увезти его из Лондона. Тот уголок Девоншира, где родился Николас, был указан как наиболее подходящее место. Но этот совет сопровождался осторожным

предупреждением, что кто бы ни поехал с ним туда, должен быть готов к худшему, так как появились все признаки скоротечной чахотки, и Смайк может оттуда не вернуться.

Добрые братья, которым была известна история бедного мальчика, уполномочили старого Тима присутствовать при консультации. В то же утро брат Чарльз призвал Николаса к себе в кабинет и обратился к нему с такими словами:

— Дорогой сэр, времени терять нельзя. Этот мальчик не должен умереть, если средства, какие находятся в распоряжении человека, могут спасти ему жизнь; и он не должен умереть один в чужом месте. Увезите его завтра утром, позаботьтесь о том, чтобы у него было все необходимое, и не оставляйте его. Не оставляйте его, дорогой сэр, пока не узнаете, что непосредственная опасность больше ему не угрожает. Было бы жестокостью разлучить вас теперь. Да, да, да! Тим зайдет к вам сегодня вечером, сэр, Тим зайдет к вам сегодня вечером сказать два-три слова на прощание. Брат Нэд, дорогой мой! Мистер Никльби ждет, чтобы пожать тебе руку и попрощаться. Мистер Никльби недолго будет в отсутствии: этот бедный мальчик скоро почувствует облегчение, он очень скоро почувствует облегчение, а тогда мистер Никльби найдет какое-нибудь хорошее простое деревенское семейство, поместит его в этом семействе и время от времени будет наведываться туда и возвращаться — понимаешь, Нэд, наведываться и возвращаться. И нет никаких оснований падать духом, потому что ему очень скоро станет лучше, очень скоро. Не правда ли, не правда ли, Нэд?

Нет нужды говорить, что сказал Тим Линкинуотер и что принес он в тот вечер. На следующее утро Николас и его ослабевший спутник отправились в дорогу.

И кто, кроме одного человека — того, кто до встречи с друзьями, окружавшими его сейчас, не видел ни единого ласкового взгляда и не слышал ни единого сочувственного слова, — кто мог бы рассказать, какие душевные муки, какие горькие мысли, какая безнадежная скорбь были связаны с этой разлукой!

— Смотрите! — с живостью воскликнул Николас, выглядывая из окна кареты. — Они все еще стоят у поворота дороги! А вот Кэт, бедная Кэт, машет носовым платком — вы сказали, что у вас не хватит сил попрощаться с нею! Не уезжайте, не помахав на прощанье Кэт!

— Я не могу! — дрожа, воскликнул его спутник, откидываясь назад и закрывая глаза рукой. — Вы ее видите сейчас? Она еще стоит?

— Да, да! — с жаром сказал Николас. — Вот! Она опять машет рукой! Я ей ответил за вас. А теперь они скрылись из виду. Не надо так горевать, дорогой друг, не надо. Вы еще увидите их всех.

Тот, кого он ободрял, поднял иссохшие руки и лихорадочно сжал их.

— На небе... Смиренно прошу бога: на небе! Это прозвучало как молитва разбитого сердца.

Глава LVI,

Ральф Никльби, чей последний заговор был расстроен его племянником, замышляет план мести, подсказанный ему случаем, и посвящает испытанного помощника в свои замыслы

Ход этих событий, развивающихся по своим законам и властно призывающих историка следовать за ними, требует теперь вернуться к тому моменту перед началом последней главы, когда Ральф Никльби и Артур Грайд остались вдвоем в доме, где смерть так неожиданно воздвигла свой мрачный и тяжелый стяг.

Сжав кулаки и стиснув зубы так плотно и крепко, что никакая судорога не могла бы прочнее сковать ему челюсти, Ральф несколько минут стоял в той позе, какую принял, обращаясь с последними словами к своему племяннику, — он тяжело дышал, но застыл неподвижно, как бронзовая статуя. Спустя немного он начал, как человек, пробуждающийся

от тяжелого сна, ослаблять напряженные мышцы. Он погрозил кулаком в сторону двери, за которой исчез Николас, а потом, спрятав руку за пазуху, словно хотел побороть даже это проявление страсти, повернулся и посмотрел на менее отважного ростовщика, который еще не поднялся с пола.

Съежившийся негодяй, все еще дрожа всем телом — у него даже редкие седые волосы трепетали и топорщились на голове от страха, — встал, шатаясь, когда встретил взгляд Ральфа, и, закрыв лицо обеими руками, объявил, пробираясь к двери, что это не его вина.

— А кто сказал, что ваша? — возразил Ральф приглушенным голосом. — Кто это сказал?

— Вы посмотрели так, как будто хотели сказать, что я виноват, — робко сказал Грайд.

— Вздор! — пробормотал Ральф, пытаясь засмеяться. — Я виню его за то, что он не прожил еще час. Одного часа было бы достаточно. Больше я никого не виню.

— Больше н-н-никого? — спросил Грайд.

— В этом несчастном случае — никого, — ответил Ральф. — С тем молодым человеком, который унес вашу возлюбленную, у меня старые счеты, но это не имеет никакого отношения к тому, что он сейчас буянил, потому что вы скоро бы от него отделались, если бы не эта проклятая случайность.

Было что-то столь неестественное в спокойствии, с каким говорил Ральф Никльби, и наряду с этим спокойствием было что-то столь неестественное и жуткое в контрасте между его жестким, медлительным, твердым голосом (изменившимся только от прерывистого дыхания, что заставляло его останавливаться почти после каждого слова, как пьяницу, который старается говорить внятно) и его лицом, выражавшим напряженный и неистовый гнев и усилия обуздать его, что, если бы мертвец, лежавший наверху, стоял здесь вместо него перед дрожащим Грайдом, это зрелище вряд ли могло бы сильнее устроить ростовщика.

— Карета! — сказал Ральф после паузы, в течение которой он боролся с обморочным состоянием, как умеют бороться только сильные люди. — Мы приехали в карете. Она ждет?

Грайд с радостью воспользовался предложением подойти к окну и посмотреть. Ральф, упорно отворачиваясь и не вынимая руки из-за пазухи, рвал на груди рубашку и хрипло шептал:

— Десять тысяч фунтов! Он сказал — десять тысяч! Сумма, уплаченная вчера за две закладные, которая должна была завтра снова пойти в оборот под большие проценты. Что, если эта фирма потерпела банкротство и он первый принес эту новость?! Карета ждет?

— Да, да! — ответил Грайд, вздрогнув от резкого тона, каким был задан вопрос. — Она здесь. Ах, боже мой, какой вы вспыльчивый!

— Идите сюда! — поманив его, сказал Ральф. — Мы и виду не должны показывать, что расстроены. Мы спустимся вниз рука об руку.

— Но вы меня щиплете до синяков! — взмолился Грайд.

Ральф нетерпеливо отпустил его и, спустившись по лестнице своим обычным твердым и тяжелым шагом, сел в карету. Грайд последовал за ним. Посмотрев нерешительно на Ральфа, когда кучер спросил, куда ехать, и убедившись, что он молчит и не выражает ни малейшего желания ответить, Грайд назвал свой адрес, и они отправились туда.

Дорогой Ральф сидел в своем углу, скрестив руки, и не проронил ни слова. Подбородок его покоился на груди, опущенных глаз не видно было из-под нахмуренных бровей, он не подавал никаких признаков жизни и казался спящим, пока карета не остановилась, после чего он поднял голову и, посмотрев в окно, осведомился, что это за место.

— Мой дом, — ответил безутешный Грайд, быть может удрученный его заброшенным видом. — О боже, мой дом!

— Верно, — сказал Ральф. — Я не заметил, какой дорогой мы ехали. Я бы хотел стакан воды. Надеюсь, вода у вас в доме найдется?

— Вы получите стакан воды... или... или чего пожелаете, — со стоном отозвался Грайд. — Кучер, стучать не имеет смысла. Позвоните в колокольчик!

Тот звонил, звонил и звонил, потом стучал, пока стук не разнесся по всей улице, потом стал прислушиваться у замочной скважины. Никто не вышел. Дом был безмолвен, как могила.

— Что это значит? — нетерпеливо спросил Ральф.

— Пэг так ужасно глуха, — ответил Грайд со смущенным и обеспокоенным видом. — Ах, боже мой! Позвоните еще раз, кучер. Она видит колокольчик.

Снова тот стал звонить и стучать, стучать и звонить. Соседи открыли окна и кричали друг другу через улицу, что, должно быть, эконожка старого Грайда лежит мертвая. Иные столпились вокруг кареты и высказывали всевозможные догадки: одни утверждали, что она заснула, другие — что она напилась, а один толстяк — что она увидела что-нибудь съестное и это ее так испугало (с непривычки), что она упала в обморок. Эта последняя догадка особенно восхитила зрителей, которые встретили ее ревом, и стоило труда помешать им прыгнуть в нижний дворик и взломать дверь кухни, чтобы убедиться в правильности предположения. Но это было еще не все. Так как по соседству разнесся слух, что в то утро Артур Грайд должен жениться, посыпались нескромные вопросы касательно невесты, которая, по мнению большинства, была переодета и приняла облик мистера Ральфа Никльби; это привело к шутливо-негодующим замечаниям по поводу появления на людях невесты в сапогах и штанах и вызвало вопли и гиканье. Наконец оба ростовщика нашли приют в соседнем доме и, раздобыв лестницу, взобрались на стену заднего двора, которая была невысока, и благополучно спустились по другую сторону.

— Уверяю вас, я боюсь войти, — сказал Артур, повернувшись к Ральфу, когда они остались одни. — Что, если ее убили? Лежит, а голова пробита кочергой, а?

— Допустим, что так, — сказал Ральф. — Я бы хотел, чтобы такие вещи были делом более обычным, чем теперь, и более легким. Можете таращить глаза и дрожать... Я бы этого хотел!

Он подошел к насосу во дворе и, напившись воды и хорошенько смочив себе голову и лицо, вновь обрел свой обычный вид и первым вошел в дом. Грайд следовал за ним по пятам.

В доме было так же мрачно, как и всегда: все комнаты так же унылы и безмолвны, все страшные, как привидения, предметы обстановки на обычном своем месте. Железное сердце хмурых старых часов, не тревожимое шумом, доносившимся снаружи, по-прежнему тяжело билось в своем пыльном ящике; шаткие шкафы, как всегда, прятались в меланхолических углах, подальше от глаз; все то же печальное эхо отзывалось на шум шагов; длинноногий паук остановился в проворном беге и, испугавшись людей в своем скучном жилище, повис неподвижно на стене, притворяясь мертвым, пока они проходили мимо него.

От погреба до чердака прошли ростовщики, открывая каждую скрипучую дверь и заглядывая в каждую заброшенную комнату. Но не было ни следа Пэг. Наконец они уселись в той комнате, где большей частью проводил время Артур Грайд, отдохнуть после поисков.

— Должно быть, старая карга вышла из дому, чтобы сделать какие-нибудь приготовления к вашему свадебному празднеству, — сказал Ральф, собираясь уходить, смотрите: я уничтожаю обязательство. Больше оно нам никогда не понадобится.

В эту минуту Грайд, зорко обводивший глазами комнату, упал на колени перед поместительным сундуком и испустил отчаянный вопль.

— Что случилось? — спросил Ральф, сердито оглянувшись.

— Ограбили! Ограбили! — завизжал Артур Грайд.

— Ограбили? Украдены деньги?

— Нет, нет, нет! Хуже! Гораздо хуже!

— Что же? — спросил Ральф.

— Хуже, чем деньги, хуже, чем деньги! — кричал старик, — выбрасывая из сундука бумаги, словно дикий зверь, роющий землю. — Лучше бы она украдала деньги... все мои деньги... у меня их немного! Лучше бы она оставила меня нищим, чем сделала такое дело!

— Что сделала? — спросил Ральф. — Что сделала, проклятый, выживший из ума старик?

По-прежнему Грайд не дал никакого ответа, но, роясь и копошась в бумагах, продолжал выть и визжать, словно его пытали.

— Вы говорите — что-то пропало! — крикнул Ральф, в бешенстве схватив его за шиворот. — Что именно?!

— Бумаги, документы. Я разорен!.. Погиб, погиб! Меня ограбили, разорили. Она видела, как я их читал, читал в последнее время — я это очень часто делал. Она за мной следила... видела, как я спрятал их в шкатулку, находившуюся в этом сундуке... Шкатулка исчезла... она ее украла... Будь она проклята, она меня ограбила!

— Что украдено? — крикнул Ральф, которого как будто осенило, потому что глаза у него сверкали и он дрожал от возбуждения, когда схватил Грайда за костлявую руку. — Что?

— Она не знает, что это, она не умеет читать! — взвизгнул Грайд, не слушая вопроса. — Есть только один способ добыть таким путем деньги — отнести шкатулку к той. Кто-нибудь прочтет ей и объяснит, что нужно делать. Она и ее сообщник получают деньги за эту шкатулку и останутся безнаказанными. Они это поставят себе в заслугу, скажут, что нашли документ... узнали о нем... и выступят свидетелями против меня. Единственным человеком, который от этого пострадает, буду я, я, я!

— Терпенье! — сказал Ральф, стискивая еще крепче его руку и глядя на него искоса напряженным и горящим взглядом, который ясно показывал, что, собираясь что-то сказать, он преследует тайную цель. — Прислушайтесь к доводам рассудка. Она не могла далеко уйти. Я позову полицию. Дайте только указания, что именно она украла, и ее задержат, поверьте мне. На помощь! На помощь!

— Нет, нет, нет! — запищал старик, зажимая Ральфу рот рукой. — Я не могу, не смею!

— На помощь! На помощь! — крикнул Ральф.

— Нет, нет, нет! — завизжал тот, неистово, как сумасшедший, топая ногами. — Говорю же вам — нет! Я не смею, не смею!

— Не смеете заявить публично об этом грабеже? — выкрикнул Ральф.

— Да! — ответил Грайд, ломая руки. — Тише, тише! Ни слова об этом, ни слова не нужно говорить об этом. Я погиб. В какую бы сторону я ни обратился, я погиб. Меня предали. Меня выдадут. Я умру в Ньюгете!

Выкрикивая эти безумные слова и многие другие, в которых странно сливались страх, отчаяние и бешенство, старый негодяй постепенно понижал голос и перешел к тихим душераздирающим стонам, чередовавшимся с завываниями, когда, перебирая оставшиеся в сундуке бумаги, он обнаруживал новые потери. Почти не трудясь приносить извинения за внезапный уход, Ральф оставил его и, весьма разочаровав зевак, шатавшихся перед домом, заявлением, что ничего не случилось, сел в карету и поехал домой.

У него на столе лежало письмо. Некоторое время он не прикасался к письму, словно ему не хватало мужества вскрыть его, но, наконец, он это сделал и побледнел, как смерть.

— Случилось худшее, — сказал он, — фирма обанкротилась. Понимаю. Вчера вечером слух распространился в Сити и дошел до этих купцов. Так, так!

Он быстро зашагал взад и вперед по комнате и снова остановился.

— Десять тысяч фунтов! И пролежали там всего день — только один день! Сколько беспокойных лет, сколько голодных дней и бессонных ночей, прежде чем я наскреб эти десять тысяч фунтов!.. Десять тысяч фунтов! Сколько надменных нарумяненных леди пресмыкались бы и улыбались, сколько безмозглых расточителей лестили бы мне в лицо и проклинали меня в сердце своем, пока я превращал бы эти десять тысяч в двадцать! Пока я ради собственного удовольствия и пользы притеснял бы и ущемлял этих нуждающихся должников, какими сладкими речами, любезными взглядами и учтивыми письмами угощали бы они меня! В этом ханжеском лживом мире говорят, что люди, подобные мне, накапливают богатство благодаря лицемерию и предательству, низкопоклонничая и пресмыкаясь. Да останься у меня эти десять тысяч фунтов, как бы мне лгали, как бы подло ползали и унижались передо мной те выскочки, которые, если бы не мои деньги, отшвырнули бы меня с презрением, как отшвыривают они ежедневно тех, кто лучше, чем

они! Допустим, я бы эту сумму удвоил, заработал сто на сто, на каждый соверен еще один, — не нашлось бы ни одной монеты во всей этой груде, которая не представляла бы десяти тысяч низких и презренных лживых слов, сказанных не ростовщиком — о нет! — а должниками... Этими вашими щедрыми, великодушными, смелыми людьми, для которых бесчестьем было бы отложить про запас шесть пенсов!

Словно стараясь утопить горечь своих сожалений в горечи других мыслей, Ральф продолжал шагать по комнате. Но все менее твердой становилась его поступь, по мере того как мысли возвращались к понесенной потере; наконец, упав в кресло и стиснув его ручки так крепко, что они заскрипели, он сказал:

— Было время, когда ничто не могло бы расстроить меня так, как потеря такой крупной суммы. Ничто! Ибо рождения, смерти, свадьбы и все события, представляющие интерес для большинства людей, никакого интереса для меня не представляют (если они не связаны с наживой или убытками). Но, клянусь, с этой потерей я соединяю его торжество в тот миг, когда он о ней возвестил! Если бы он был виновником ее, — у меня такое чувство, как будто виновник он, — я бы не мог ненавидеть его сильнее! Только бы отомстить ему! Пусть не сразу, пусть постепенно, только бы мне начать одерживать верх над ним, только бы чаша весов наклонилась в мою сторону — и у меня хватит сил устоять!

Его раздумье было длительным и глубоким. Оно закончилось тем, что он отправил с Ньюменом письмо, адресованное мистеру Сквирсу в «Голову Сарацина», распорядившись узнать, в Лондоне ли он, и, если в Лондоне, подождать ответа. Ньюмен принес известие, что мистер Сквирс прибыл сегодня утром с почтовой каретой и получил письмо в постели; он посылает почтительный привет и просит передать, что немедленно встанет и явится к мистеру Никльби.

Промежуток между получением этого сообщения и приходом мистера Сквирса был очень коротким, но до его прибытия Ральф подавил все признаки волнения и вновь обрел суровый, невозмутимый, непреклонный вид, который был ему свойственен и которому, быть может, следовало в значительной мере приписать то влияние, какое он имел, стоило ему того пожелать, на многих людей, не склонных к предрассудкам в вопросах морали.

— Ну-с, мистер Сквирс, — сказал он, встречая этого почтенного человека привычной улыбкой, которой неизменно сопутствовали зоркий взгляд и задумчиво нахмуренные брови, — как вы поживаете?

— Очень недурно, сэр, — ответил Сквирс. — А также и семейство, а также и мальчишки, если не считать какой-то сыпи, распространившейся в школе и лишаящей их аппетита. Но плох тот ветер, который никому не приносит добра, вот что я всегда говорю, когда мальчишек посещает божья кара. Божья кара, сэр, есть удел смертных. Сама смерть, сэр, есть божья кара. Мир битком набит божьими карами, и, если мальчик досадует на божью кару и надоедает вам своими жалобами, нужно треснуть его по голове. Это согласуется со священным писанием.

— Мистер Сквирс! — сухо сказал Ральф.

— Сэр?

— Оставим в стороне эти драгоценные правила морали и поговорим о деле.

— С величайшим удовольствием, сэр, — отозвался Сквирс. — И прежде всего разрешите мне сказать...

— Прежде всего разрешите сказать мне. Ногс!

После двукратного призыва явился Ньюмен и спросил, звал ли его хозяин.

— Звал. Идите обедать. И ступайте немедленно. Слышите?

— Сейчас не время, — упрямо сказал Ньюмен.

— Мое время должно быть и вашим, а я говорю, что сейчас время, — возразил Ральф.

— Вы его меняете каждый день, — сказал Ньюмен. — Это нечестно.

— Кухарок у вас немного, и вы легко можете принести им извинения за беспокойство, — заявил Ральф. — Ступайте, сэр!

Ральф не только отдал этот приказ самым повелительным тоном, но, сделав вид, будто

хочет принести какие-то бумаги из каморки Ньюмена, проследил за его исполнением; а когда Ньюмен вышел из дому, он заложил дверную цепочку, чтобы лишить его возможности вернуться тайком с помощью ключа.

— У меня есть основания подозревать этого субъекта, — сказал Ральф, вернувшись в свой кабинет. — Поэтому, пока я не придумал простейшего и наиболее удобного способа известить его, я предпочитаю держать его на расстоянии.

— Я бы сказал, что известить его — дело нетрудное, — с усмешкой заметил Сквирс.

— Пожалуй, — ответил Ральф. — Так же, как известить великое множество людей, которых я знаю. Вы хотели сказать...

Лаконическая и деловая манера, с какою Ральф упомянул о Ньюмене и бросил последующий намек, явно произвела впечатление (каковую цель этот намек несомненно преследовал) на мистера Сквирса, который сказал после некоторого колебания, значительно понизив тон:

— Вот что я хотел сказать, сэр: это самое дело, касающееся неблагодарного и жестокосердного парня, Снаули-старшего, выбивает меня из колеи и вызывает неудобства, ни с чем не сравнимые, и вдобавок, если можно так выразиться, на целые недели делает миссис Сквирс настоящей вдовой. Разумеется, для меня удовольствие иметь дело с вами...

— Разумеется, — сухо сказал Ральф.

— Я и говорю — разумеется, — продолжал мистер Сквирс, потирая колени, — но в то же время, когда человек приезжает, как приехал сейчас я за двести пятьдесят с лишком миль, чтобы дать письменное показание под присягой, это для него нешуточное дело, не говоря уже о риске.

— А какой может быть риск, мистер Сквирс? — осведомился Ральф.

— Я сказал — не говоря уже о риске, — уклонился от ответа Сквирс.

— А я сказал — какой риск?

— Мистер Никльби, я, знаете ли, не жаловался, — заметил Сквирс. — Честное слово, я никогда не видывал такого...

— Я спрашиваю: какой риск? — энергически повторил Ральф.

— Какой риск? — отозвался Сквирс, еще сильнее растирая колени. — Ну, о нем нет надобности говорить. Некоторых вопросов лучше не касаться. О, вы знаете, какой риск я имею в виду.

— Сколько раз я вам говорил и сколько раз еще придется вам повторять, что вы ничем не рискуете! — сказал Ральф. — В чем принесли вы присягу или в чем вы должны присягнуть, как не в том, что в такое-то и такое-то время вам был оставлен мальчик по фамилии Смайк, что определенное число лет он был у вас в школе, пропал при таких-то и таких-то обстоятельствах и был опознан вами такого-то лица? Все это правда, не так ли?

— Да, — ответил Сквирс, — все это правда.

— В таком случае, чем вы рискуете? — сказал Ральф. — Кто приносит ложную присягу, кроме Снаули — человека, которому я заплатил гораздо меньше, чем вам?

— Да, Снаули, конечно, дешево за это взял, — заметил Сквирс.

— Дешево взял! — с раздражением воскликнул Ральф. — И хорошо сделал, сохранив при этом свой лицемерный ханжеский вид. Но вы!.. Риск! Что вы под этим подразумеваете? Бумаги все подлинные. У Снаули был еще один сын, Снаули женился второй раз, первая его жена умерла; никто, кроме ее призрака, не мог бы сказать, что она не написала того письма, никто, кроме самого Снаули, не может сказать, что это не его сын, что его сын — пища червей! Единственный, кто приносит ложную присягу, это Снаули, и я думаю, что к этому он привык. Чем же вы рискуете?

— Ну, знаете ли, — сказал Сквирс, ерзая на стуле, — уж раз вы об этом заговорили, то я мог бы спросить, чем рискуете вы?

— Вы могли бы спросить, чем рискую я! — повторил Ральф. — Чем рискую я! Я в этом деле не замешан, равно как и вы. Снаули должен помнить одно — твердо держаться рассказанной им истории. Единственный риск — отступить от нее хоть на волос. А вы

говорите о том, чем рискуете вы, участвуя в заговоре!

— Позвольте, — запротестовал Сквирс, тревожно озираясь, — не называйте этого таким словом! Сделайте милость.

— Называйте как хотите, но слушайте меня, — с раздражением сказал Ральф. — Первоначально эта история была придумана как средство досадить тому, кто повредил вашему торговому делу и избил вас до полусмерти, и дать вам возможность вновь завладеть полумертвым работником, которого вы хотели вернуть, так как, мстя ему за его участие в этом деле, вы понимали: сознание, что мальчишка снова в вашей власти, явится наилучшим наказанием, какому вы можете подвергнуть вашего врага. Так ли было дело, мистер Сквирс?

— Видите ли, сэр, до известной степени это верно, — отозвался Сквирс, сбитый с толку той решимостью, с какой Ральф повернул дело так, что оно говорило против него, и суровым, непреклонным тоном Ральфа.

— Что это значит? — спросил Ральф.

— Это значит, — ответил Сквирс, — что все это было сделано не для меня одного, потому что ведь и вам нужно было свести старые счета.

— А если бы этого не было, как вы думаете, стал бы я вам помогать? — сказал Ральф, отнюдь не смущенный таким напоминанием.

— Пожалуй, не стали бы, — ответил Сквирс. — Я только хотел, чтобы между нами было все ясно.

— Может ли быть иначе? — возразил Ральф. — Но выгода не на моей стороне, потому что я трачу деньги, чтобы удовлетворить мою ненависть, а вы их прикарманиваете и в то же время удовлетворяете свою. Вы по меньшей мере так же скупы, как и мстительны. Таков и я. Кто же из нас в лучшем положении? Вы, который добиваетесь денег и отмщения одновременно и при всех обстоятельствах уверены если не в отмщении, то в деньгах, или я, который уверен лишь в том, что истрачу деньги и в лучшем случае не добьюсь ничего, кроме отмщения?

Так как мистер Сквирс мог ответить на этот вопрос только пожатием плеч и улыбками, Ральф предложил ему помолчать и быть благодарным, что дела его так хороши. И начал говорить:

Во-первых, о том, что Николас расстроил задуманный им план относительно замужества одной молодой леди и в суматохе, вызванной внезапной смертью ее отца, сам завладел этой леди и увез ее с торжеством.

Во-вторых, что по завещанию или дарственной записи, — несомненно, по какому-то письменному документу, в котором должна значиться фамилия молодой леди, и посему он может быть легко найден среди других бумаг, если удастся проникнуть туда, где он хранится, — молодая леди имеет право на состояние, которое, если существование этой бумаги станет ей когда-либо известно, сделает ее мужа (Ральф изобразил дело так, что Николас непременно на ней женится) богатым и преуспевающим человеком и очень опасным врагом.

В-третьих, что этот документ был, наряду с прочими, похищен у человека, который сам завладел им или скрыл его мошенническим путем и теперь боится предпринять какие бы то ни было шаги, чтобы его вернуть, и что он, Ральф, знает вора.

Ко всему этому мистер Сквирс прислушивался с жадностью, проглатывал каждый слог и широко раскрыл рот и единственный глаз, дивясь, по каким особым причинам почтен он таким доверием Ральфа и к чему все это клонится.

— Теперь, — сказал Ральф, наклонясь и кладя руку на плечо Сквирса, выслушайте план, который я задумал и который должен — повторяю, должен, если он у меня созреет — привести в исполнение! Никаких выгод из этого документа никто извлечь не может, кроме самой девушки или ее мужа, а для того, чтобы один из них извлек выгоду, им необходимо обладать этим документом. Это я установил вне всяких сомнений. Я хочу, чтобы документ был доставлен сюда, после чего я уплачу человеку, который его принесет, пятьдесят фунтов золотом и превращу бумагу в пепел у него на глазах.

— Да, но кто ее принесет?

— Быть может, никто, потому что много нужно сделать, чтобы ее добыть, — сказал Ральф. — Но если кто может это сделать, так только вы!

Ужас мистера Сквирса и его решительный отказ от такого поручения поколебали бы большинство людей или заставили бы их немедленно и окончательно отвергнуть этот проект. На Ральфа они не произвели ни малейшего впечатления. Когда школьный учитель договорился до того, что чуть не задохся, Ральф хладнокровно, словно его не перебивали, начал распространяться о тех сторонах дела, какие почитал уместным подчеркнуть.

Вот на какие темы он распространялся: возраст, дряхлость и слабость миссис Слайдерскую, отсутствие у нее сообщника или даже знакомого, если принять во внимание ее привычку к уединенной жизни и долгое пребывание в таком доме, как дом Грайда; серьезные основания предполагать, что кража не являлась результатом обдуманного плана, иначе старуха воспользовалась бы случаем и унесла бы деньги; трудности, с какими она должна была столкнуться, когда начала размышлять о содеянном и поняла, что у нее на руках документы, смысл которых ей совершенно непонятен; сравнительная легкость, с какою кто-нибудь, прекрасно знающий ее положение, получив доступ к ней, может запугать ее, вкрасься в доверие и под тем или иным предлогом добиться добровольной передачи документа. Далее было указано на такие факты, как постоянное местожительство мистера Сквирса вдали от Лондона, что заставило бы думать, будто кто-то, замаскировавшись им, вошел в сношения с миссис Слайдерскую, и никто не мог бы его узнать ни теперь, ни впоследствии; на невозможность для Ральфа взяться за это дело, раз она знает его в лицо; добавлены были также различные похвалы необычайному такту и опытности мистера Сквирса, благодаря чему одурачить старуху было бы для него детской забавой и развлечением. В добавление к этим веским доводам и убеждениям Ральф с величайшим мастерством и ловкостью нарисовал яркую картину поражения, какое потерпит Николас (если они добьются успеха), связав себя с нищей, тогда как надеялся жениться на богатой наследнице; указал на неизмеримую важность для человека в положении Сквирса сохранить такого друга, как он, Ральф; остановился на длинном перечне услуг, оказанных ему за время их знакомства, когда он, Ральф, благоприятно отзывался о его обращении с больным мальчиком, умершим на глазах Сквирса (чья смерть была в интересах Ральфа и его клиентов, но об этом он не упомянул); и, наконец, намекнул, что сумма в пятьдесят фунтов может быть повышена до семидесяти пяти, а в случае особенного успеха — даже до ста.

Когда все эти доводы были, наконец, приведены, мистер Сквирс положил ногу на ногу, снова вытянул ноги, почесал в голове, потер глаз, посмотрел на свои ладони, погрыз ногти и, проявив ряд других признаков беспокойства и нерешительности, спросил, «является ли сотня фунтов самой большой суммой, какую может дать мистер Никльби». Получив утвердительный ответ, он снова заерзал и после раздумья и бесплодного вопроса, «не прибавит ли он еще пятьдесят», сказал, что, пожалуй, он должен попытаться и сделать все, что может, для друга — это всегда было его правилом, — а потому он берется за эту работу.

— Но как вы разыщете эту женщину? — осведомился он. — Вот что меня смущает.

— Может быть, я и не разыщу ее, — ответил Ральф, но я попытаюсь. Мне случалось откапывать в этом городе людей, которые были спрятаны лучше, чем она, и я знаю такие места, где одна-две гиней, толково истраченные, частенько разрешают загадки потруднее этой. Да, и все сохраняется в тайне! Я слышу — мой клерк звонит у двери. Лучше нам сейчас расстаться. И лучше вам не заходить сюда, а подождать, пока я дам вам знать.

— Ладно! — отзывался Сквирс. — Послушайте, если вы ее найдете, оплатите вы мой счет у «Сарацина» и дадите что-нибудь за потерю времени?

— Оплачу, — сердито сказал Ральф. — Вам больше нечего сказать?

Когда Сквирс покачал головой, Ральф проводил его до двери и, выразив вслух — в назидание Ньюмену — удивление по поводу того, что дверь заперта, как будто сейчас ночь, впустил его, выпроводил Сквирса и вернулся к себе в комнату.

— Так! — пробормотал он. — Будь что будет! Теперь я тверд и непоколебим. Только

бы мне получить это маленькое возмещение за мою потерю и мой позор, только бы мне разбить эту надежду, дорогую его сердцу, — а я знаю, что она должна быть ему дорога. Только бы мне этого добиться, и это явится первым звеном в такой цепи, какой не ковал еще человек, — в цепи, которой я его опутаю!

Глава LVII,

Как помощник Ральфа Никльби принялся за работу и как он в ней преуспел

Был темный, сырой и мрачный осенний вечер, когда в комнате верхнего этажа в жалком доме, расположенном на уединенной улице, или, вернее, во дворе близ Лембета¹⁰¹, сидел в полном одиночестве одноглазый человек, странно одетый — либо у него не было лучшего костюма, либо он переоделся с умыслом: на нем было просторное пальто с рукавами, в полтора раза длиннее его рук; ширина и длина пальто позволили бы ему завернуться в него с головы до пят без всякого труда и без малейшего риска растянуть старую, засаленную материю, из которой оно было сшито.

В таком наряде и в этом квартале, столь далеком от тех мест, где он бывал по делам, и столь бедном и жалком, быть может сама миссис Сквирс не без труда узнала бы своего повелителя, хотя природной ее зоркости несомненно способствовали бы нежные чувства любящей жены. Но тем не менее это был повелитель миссис Сквирс; и в довольно безутешном расположении духа пребывал, по-видимому, повелитель миссис Сквирс, когда, наливая себе из черной бутылки, стоявшей перед ним на столе, окидывал комнату взглядом, в котором весьма слабое внимание к находившимся в поле зрения предметам явно сочеталось с каким-то полным сожаления и нетерпения воспоминанием о далеких сценах и лицах.

Не было ничего особенно привлекательного и в комнате, по которой столь безутешно блуждал взгляд мистера Сквирса, и на узкой улице, куда его взгляд мог проникнуть, если бы ему вздумалось подойти к окну. Мансарда, где он сидел, была пустой и безобразной, кровать и другие необходимые предметы обстановки — самыми дешевыми, ветхими и отвратительными на вид. Улица была хмурой, грязной и пустынной. Так как это был тупик, то мало кто проходил здесь, кроме ее обитателей, а так как в вечерние часы большинство радовалось возможности укрыться в домах, то сейчас здесь не видно было никаких признаков жизни, кроме тусклого мерцания жалких свечей в грязных окнах, и не слышно никаких звуков, кроме стука дождя и грохота захлопывающихся скрипучих дверей.

Мистер Сквирс продолжал безутешно озираясь и прислушиваться к этим звукам в глубокой тишине, нарушаемой только шуршанием его широкого пальто, когда он время от времени поднимал руку, чтобы поднести к губам рюмку. Мистер Сквирс продолжал этим заниматься, пока сгущающийся мрак не напомнил ему о том, что надо сиять нагар со свечи. Слегка оживившись от этого упражнения, он поднял глаза к потолку и, устремив их на какие-то странные и фантастические фигуры, начертанные на нем сыростью, проникшей сквозь крышу, разразился следующим монологом:

— Нечего сказать, недурное положение! Превосходнейшее положение! Вот уже сколько недель — почти что шесть — я преследую эту проклятую старую воровку (последний эпитет мистер Сквирс выговорил с большим трудом), а в Дотбойс-Холле тем временем все идет прахом. Вот что хуже всего, когда имеешь дело с таким наглецом, как старый Никльби. Никогда не знаешь, на что он решится, и, рискуя на пенни, можешь потерять фунт.

Может быть, это замечание напомнило мистеру Сквирсу, что для него во всяком случае речь идет о ста фунтах. Физиономия его прояснилась, и он поднес ко рту рюмку, смакуя ее

содержимое с большим удовольствием, чем раньше.

— Никогда я не видывал, — продолжал монолог мистер Сквирс, — никогда я не видывал такого плута, как старый Никльби. Никогда! Его никто не раскусит. Ну и пройдоха этот Никльби! Нужно было видеть, как он трудился изо дня в день, и рылся, и копался, и крутился, и вертелся, пока не узнал, где прячется эта драгоценная миссис Пэг, и не расчистил мне дорогу для работы. Как он ползал, и извивался, и пролезал, словно безобразная гадюка с блестящими глазами и ледяной кровью! Как бы он преуспел на нашем поприще! Но оно для него слишком тесно. Его талант сломал бы все преграды, преодолел все препятствия, поверг перед собой все, пока не воздвигся бы, как монумент... Ну, конец я потом придумаю и скажу при случае...

Прервав на этом месте свои размышления, мистер Сквирс снова поднес к губам рюмку и, достав из кармана грязное письмо, начал изучать его с видом человека, который читал его очень часто и теперь хочет освежить в памяти скорее ввиду отсутствия лучшего развлечения, чем в поисках особых новостей.

— Свиньи здоровы, — сказал мистер Сквирс, — коровы здоровы, и мальчишки живехоньки. «Молодой Спраутер подмигивал». Вот как? Я ему подмигну, когда приеду. «Кобби все время сопел, пока ел свой обед, и сказал, что говядина такая старая, что он от этого сопит». Очень хорошо, Кобби, посмотрим, не заставим ли мы вас сопеть и без говядины. «Питчер опять заболел лихорадкой». Ну, конечно! «За ним приехали его друзья, и он умер на следующий день по приезде домой». Конечно, умер, и все назло, хитро задумано! Нет второго такого мальчишки в школе, который бы умер как раз к концу четверти; вытянул из меня все до последнего и от злости околел. «Памер-младший сказал, что ему хочется на небо». Не знаю, положительно не знаю, что делать с этим мальчишкой! Он всегда хочет чего-то ужасного. Однажды он сказал, что ему хочется быть ослом, потому что тогда бы у него не было бы отца, который его не любит. Какая злость у шестилетнего ребенка!

Мистер Сквирс был так расстроен размышлениями о черствой природе столь юного существа, что сердито спрятал письмо и стал искать утешения в других размышлениях.

— Долгонько придется оставаться в Лондоне, — сказал он, — а в этой ужасной дыре и неделю трудно прожить. А все же сотня фунтов — это пять мальчишек, и надо ждать целый год, пока получишь сто фунтов с пяти мальчишек, да еще нужно вычесть за их содержание. Ничто не потеряно, пока я сижу здесь, потому что плата за мальчишек поступает точно так же, как если бы я был дома, а миссис Сквирс держит их в руках. Конечно, придется наверстать потерянное время. Придется заняться поркой, чтобы возместить упущенное; но дня через два все будет налажено, а никто не станет возражать против небольшой дополнительной работы за сто фунтов. Пора уже навестить старуху. Судя по ее вчерашним словам, если суждено мне добиться успеха, кажется, я его добьюсь сегодня, а потому выпью еще полрюмочки, чтобы пожелать себе успеха и придать бодрости. Миссис Сквирс, дорогая моя, за ваше здоровье!

Подмигнув единственным глазом, как будто леди, за которую он пил, и в самом деле здесь присутствовала, мистер Сквирс — несомненно в порыве восторга — налил полную рюмку и осушил ее. А так как напиток разбавлен водой не был и Сквирс уже не раз прикладывался к бутылке, то не удивительно, что он пришел в чрезвычайно веселое расположение духа и был в достаточной мере возбужден для исполнения своей миссии.

Какова была эта миссия, обнаружилось скоро. Пройдясь несколько раз по комнате, чтобы установить равновесие, он взял бутылку под мышку, а рюмку в руку и, задув свечу, вышел потихоньку на лестницу и, прокравшись к двери напротив, осторожно постучал.

— Да что толку стучать! — сказал он. — Все равно она не услышит. Ничего особенного она не делает, а если и делает, не беда, если я увижу.

После такого короткого предисловия мистер Сквирс взялся за щеколду и, просунув голову на чердак, гораздо более убогий, чем тот, откуда он только что вышел, увидел, что там никого нет, кроме старухи, которая склонилась над жалким огнем (хотя погода стояла теплая, вечер был прохладный), вошел и похлопал ее по плечу.

— Как дела, моя Слайдер? — шутливо сказал мистер Сквирс.

— Это вы? — осведомилась Пэг.

— Да, это я; «я» — первое лицо, единственное число, именительный падеж, согласуется с местоимением «это» и управляется Сквирсом, а не Сквирсам — пишется «о», а произносится «а», все равно как в слове «голова» — не «галава», а «голова», — отозвался мистер Сквирс, наобум приводя примеры из учебника грамматики. — Во всяком случае, если это неверно, то все равно вы ничего не понимаете. А если верно, то я это сказал случайно.

Говорил он, не повышая голоса, так что Пэг, разумеется, его не слышала; затем мистер Сквирс придвинул стул к огню, уселся против старухи и, поставив перед собой на пол бутылку и рюмку, заорал очень громко:

— Как дела, моя Слайдер?

— Я вас слышу, — сказала Пэг, принимая его милостиво.

— Я обещал прийти — и пришел! — заорал Сквирс.

— Так говаривали в тех краях, откуда я родом, — самодовольно заметила Пэг, — но я нахожу, что масло лучше.

— Лучше, чем что? — гаркнул Сквирс, добавив вполголоса несколько довольно крепких словечек.

— Нет, — сказала Пэг, — конечно, нет.

— Никогда не видывал такого чудовища! — пробормотал Сквирс, стараясь принять самый любезный вид, потому что взгляд Пэг был устремлен на него и она отвратительно хихикала, словно радуясь своей прекрасной реплике. — Вы это видите? Это бутылка!

— Вижу, — ответила Пэг.

— Ну, а это вы видите? — заорал Сквирс. — Это рюмка!

Пэг увидела и рюмку.

— Теперь смотрите, — сказал Сквирс, сопровождая свои замечания соответствующими действиями, — я наполняю рюмку из этой бутылки, я говорю: «За ваше здоровье, Слайдер», — и я ее осушаю. Потом я деликатно споласкиваю ее одной капелькой, которую принужден выплеснуть в камин, — эх, придется опять раздувать огонь! — наполняю ее снова и подаю вам!

— За ваше здоровье, — сказала Пэг.

— Это она во всяком случае понимает, — пробормотал Сквирс, следя, как миссис Слайдерскую справилась со своей порцией, но при этом захлебнулась и закашлялась самым устрашающим образом. — А теперь давайте потолкуем. Как ревматизм?

Миссис Слайдерскую, подмигивая, кудахча и бросая взгляды, выражавшие величайшее восхищение мистером Сквирсом, его особой, манерами и разговором, ответила, что ревматизм лучше.

— Какова причина, — сказал мистер Сквирс, черпая шутливость из бутылки, — какова причина ревматизма? Что он означает? Почему он бывает у людей, а?

Миссис Слайдерскую не знала, но высказала предположение, что, должно быть, это потому, что они ничего не могут с ним поделать.

— Корь, ревматизм, коклюш, лихорадка и прострел, — сказал мистер Сквирс, — все это философия, вот что это такое. Небесные тела — это философия, и земные тела — это философия. Если какой-нибудь винтик развинтился в небесном теле — это философия, а если какой-нибудь винтик развинтился в земном теле — это тоже философия, иногда бывает еще немножко метафизики, но это случается не часто. Я стою за философию. Если какой-нибудь родитель задает вопрос из классической, коммерческой или математической области, я с важностью говорю: «Прежде всего, сэр, философ ли вы?» — «Нет, мистер Сквирс, — говорит он, — я не философ». — «В таком случае, сэр, — говорю я, — мне вас жаль, но я не могу вам это объяснить». Натурально, родитель уходит и жалеет о том, что он не философ, и, опять-таки натурально, думает, что я философ.

Изрекая это и еще многое другое с пьяным глубокомыслием и комически-серьезным видом и все время не спуская глаз с миссис Слайдерскую, которая не могла расслышать ни

слова, мистер Сквирс кончил тем, что налил себе и передал бутылку Пэг, которой та оказала подобающее внимание.

— Таковы-то дела! — сказал мистер Сквирс. — У вас вид на двадцать фунтов десять шиллингов лучше, чем был.

Снова миссис Слайдерскую захихикала, но скромность не позволила ей согласиться вслух с этим комплиментом.

— На двадцать фунтов десять шиллингов лучше, чем в тот день, когда я с вами познакомился. Не так ли?

— А! — сказала Пэг, покачивая головой. — Но вы меня в тот день испугали.

— Испугал! — повторил Сквирс. — Да, пожалуй, можно удивиться, когда незнакомый человек входит и рекомендует, говоря, что ему все о вас известно — как вас зовут, и почему вы живете здесь так уединенно, и что вы стянули, и у кого вы стянули, не правда ли?

В знак согласия Пэг энергически кивнула головой.

— Но мне, знаете ли, все такие дела известны, — продолжал Сквирс. — Ничто не случается в этой области, во что я бы не был посвящен. Я как бы юрист, Слайдер, высшего качества. Я ближайший друг и доверительный советник каждого мужчины, женщины и ребенка, которые попадают в беду из-за того, что руки у них слишком проворные. Я...

Перечень заслуг и талантов мистера Сквирса, который отчасти входил в план, составленный им самим и Ральфом Никльби, а отчасти вытекал из черной бутылки, был в этом месте прерван миссис Слайдерскую.

— Ха-ха-ха! — захохотала она, складывая руки и мотая головой. — Так, значит, он в конце концов так и не женился? Так и не женился?

— Да, — ответил Сквирс. — Не женился.

— А молодой кавалер пришел и похитил невесту, а? — спросила Пэг.

— Из-под самого носа! — ответил Сквирс. — И мне говорили, что молодчик стал вдобавок буянить, побил стекла в окнах и заставил его проглотить свадебный бант, которым он чуть не подавился.

— Расскажите мне все еще раз! — воскликнула Пэг, злобно наслаждаясь поражением своего старого хозяина, отчего природное ее безобразие стало просто чудовищным. — Послушаем все еще раз, начиная с самого начала, как будто вы ничего мне не рассказывали. Послушаем от слова до слова, с самого начала, знаете — когда он отправился туда в то утро!

Мистер Сквирс, щедро угощая миссис Слайдерскую крепким напитком и частенько прибегая к нему сам, чтобы поддержать себя в своих усилиях говорить громко, исполнил эту просьбу и описал поражение Артура Грайда с теми прикрасами, какие приходили ему в голову и хитроумное измышление коих оказалось весьма полезно, когда нужно было заслужить расположение старухи в начале их знакомства. Миссис Слайдерскую была в экстазе: вертела головой, пожимала костлявыми плечами и собирала в складки кожу на страшном, как у мертвеца, лице, делая такие сложные и уродливые гримасы, что вызвала беспредельное изумление и отвращение даже у мистера Сквирса.

— Он старый козел и предатель! — воскликнула Пэг. — Он дурачил меня хитрыми уловками и лживыми обещаниями. Ну, да все равно. Я свела с ним счеты. Я свела с ним счеты!

— Больше того, Слайдер, — сказал Сквирс, — вы были бы с ним квиты, даже если бы он женился, а когда его еще постигло такое разочарование, вы его совсем обскакали. Так обскакали, Слайдер, что его и не видать! Кстати, я вспомнил, — добавил он, протягивая ей рюмку, — если вы хотите знать мое мнение об этих документах и услышать от меня, что нужно сохранить, а что сжечь, так теперь самое подходящее время, Слайдер.

— Спешить некуда, — сказала Пэг, бросая многозначительные взгляды и подмигивая.

— О, прекрасно! — отозвался Сквирс. — Мне-то все равно. Вы сами меня просили. Я бы ничего с вас не взял, раз мы друзья. Конечно, вам лучше знать. Но вы храбрая женщина, Слайдер.

— Что вы хотите этим сказать? Почему я храбрая? — спросила Пэг.

— На вашем месте ни за что бы не хранил я бумаг, которые могут довести меня до виселицы! И не оставил бы их валяться зря, если их можно превратить в деньги. Ненужные я бы уничтожил, а нужные положил бы куда-нибудь в безопасное место. Вот и все! Но каждый сам лучший судья в своих делах. Я хочу только сказать, Слайдер, что я бы этого не делал.

— Хорошо, вы их увидите, — сказала Пэг.

— Не хочу я их видеть, — возразил Сквирс, притворяясь раздосадованным. — Вы говорите так, как будто это какое-то редкое удовольствие. Покажите их кому-нибудь другому и спросите у него совета.

Быть может, мистер Сквирс еще растянул бы эту комедию, притворяясь обиженным, если бы миссис Слайдерскью, горя желанием вновь обрести его милостивое расположение, не проявила столь безграничной нежности, что ему грозила опасность быть задушенным ее ласками. Как можно деликатнее положив конец такому фамильярному обращению (есть основания предполагать, что черная бутылка была в нем повинна не меньше, чем природные склонности миссис Слайдерскью), он заявил, что хотел только пошутить и в доказательство своего неизменного расположения готов немедленно изучить бумаги, если таким путем может доставить удовольствие или успокоение своей прекрасной подруге.

— А теперь, раз уж вы встали, моя Слайдер, — заорал Сквирс, когда она поднялась со стула, чтобы принести бумаги, — закройте дверь.

Пэг рысцой побежала к двери, потом, повозившись с задвижкой, прокралась в другой конец комнаты и изпод угла, сваленного в нижнем отделении буфета, вытащила маленькую сосновую шкатулку. Поставив ее на пол у ног Сквирса, она вынула из-под подушки небольшой ключ и знаком предложила этому джентльмену отпереть шкатулку. Мистер Сквирс, жадно следивший за каждым ее движением, повиновался этому жесту, не теряя времени, и, откинув крышку, с восторгом воззрился на хранившиеся здесь документы.

— А теперь, — сказала Пэг, опускаясь около него на колени и удерживая его нетерпеливую руку, — то, от чего никакой пользы нет, мы сожжем, а то, что может принести нам деньги, сохраним. А если есть здесь какие-нибудь бумаги, которые помогут нам истомить и растерзать в клочья его сердце, о них мы особенно позаботимся, потому что этого-то я и хочу и на это я надеялась, когда ушла от него.

— Я так и полагал, что вы не очень-то желали ему добра, — сказал Сквирс. — Но послушайте, почему вы не прихватили немножко денег?

— Немножко чего? — спросила Пэг.

— Денег! — заорал Сквирс. — Право же, я думаю, что эта женщина меня слышит и хочет, чтобы у меня лопнула какая-нибудь жида, а тогда она будет иметь удовольствие ухаживать за мной. Денег, Слайдер, денег!

— Что за вопросы вы задаете! — с презрением воскликнула Пэг. — Если бы я взяла у Артура Грайда деньги, он обрыскал бы весь свет, чтобы отыскать меня, — нюхом бы их почуял и откопал бы их, даже если бы я их зарыла на дне самого глубокого колодца в Англии. Нет, нет! Я знала, что делаю. Я взяла то, в чем были заключены его секреты. Их он не мог разгласить, сколько бы денег они ни стоили. Он старый пес, хитрый, старый, лукавый, неблагодарный пес! Сначала он морил меня голодом, а потом обманул, и я бы его убила, если бы могла!

— Правильно и весьма похвально, — сказал Сквирс. — Но первым делом, Слайдер, сожгите эту шкатулку. Никогда не следует хранить вещи, которые могут вас выдать. Помните это всегда. А пока вы будете ее ломать (сделать это нетрудно, потому что она очень старая и трухлявая) и сжигать по кусочкам, я просмотрю бумаги и расскажу вам, в чем тут дело.

Когда Пэг согласилась на такое предложение, мистер Сквирс перевернул шкатулку вверх дном и, вытряхнув содержимое на пол, вручил шкатулку ей; уничтожение шкатулки было тут же придуманной уловкой, чтобы занять Пэг в случае, если окажется желательным отвлечь ее внимание от его собственных операций.

— Вот так! — сказал Сквирс. — Вы будете просовывать эти куски между прутьями, а я

тем временем буду читать. Посмотрим, посмотрим!

И, поставив подле себя свечу, мистер Сквирс с величайшим нетерпением и с хитрой улыбкой, расплывшейся по лицу, приступил к осмотру.

Если бы старуха не была так глуха, она должна была бы услышать, когда подходила к двери, дыхание двух человек у самого порога; и если бы эти два человека не были осведомлены о ее немощи, они должны были бы воспользоваться этим моментом либо чтобы войти, либо чтобы обратиться в бегство. Но, зная, с кем имеют дело, они не двинулись с места и теперь не только появились незамеченными в двери (которая осталась незапертой, так как задвижка была без гнезда), но и вошли в комнату, осторожно и неслышно ступая.

Пока они крались вперед, медленно, едва заметно подвигаясь, и с такой осторожностью, что, казалось, не дышали, старая карга и Сквирс, отнюдь не помышляя о подобном вторжении и не подозревая, что еще кто-то находится здесь, кроме них, усердно занимались своей работой. Старуха, приблизившая морщинистое лицо к прутьям очага, раздувала тускло тлевшие угли, еще не нагретые дерева. Сквирс наклонился к свече, при свете которой отчетливо вырисовывалась его физиономия во всем ее безобразии, так же как физиономия его приятельницы при свете очага. Оба были увлечены своим занятием, и их возбуждение являло резкий контраст с настороженностью людей у них за спиной: они подкрадывались, пользуясь малейшим шорохом, который мог заглушить их шаги, и, едва подвинувшись на дюйм, замирали на месте. Все это вместе взятое и большая пустая комната, сырые стены и трепещущий, неверный свет создавали картину, которая захватила бы самого беззаботного и равнодушного зрителя (если бы он здесь присутствовал) и надолго осталась бы в памяти.

Из двух пришельцев один был Фрэнк Чирибл, а другой — Ньюмен Ногс. Ньюмен держал за заржавленное рыльце старые раздувательные мехи, которые только что сделали росчерк в воздухе, готовясь опуститься на голову мистера Сквирса, но Фрэнк схватил его за руку и, сделав еще один шаг вперед, остановился так близко за спиной школьного учителя, что, слегка наклонившись, мог свободно прочесть бумагу, которую тот поднес к глазам.

Не отличаясь большой ученостью, мистер Сквирс был явно сбит с толку своей первой находкой, документом, написанным крупными буквами и понятным только для искушенного глаза. Попытавшись прочесть его слева направо и справа налево и убедившись, что от этого бумага не становится ясней, он перевернул его вверх ногами, но успеха не добился.

— Ха-ха-ха! — засмеялась Пэг, которая, стоя на коленях перед огнем, подбрасывала в него обломки шкатулки и ухмылялась в сатанинском восторге. — Что там такое написано, а?

— Ничего особенного, — ответил Сквирс, швырнув ей бумагу. — Насколько я могу понять, это всего-навсего старый арендный договор. Бросьте его в огонь.

Миссис Слайдерскую повиновалась и пожелала узнать, какие там еще бумаги.

— Это пачка просроченных квитанций и переписанных векселей семи-восьми молодых джентльменов, но все они — Ч. П.¹⁰², стало быть, никакого толку от этого нет. Бросьте ее в огонь! — сказал Сквирс.

Пэг сделала, как было ей приказано, и ждала продолжения.

— А вот это договор о продаже права назначения кандидата на должность настоятеля прихода¹⁰³ Пьюрчерч в долине Кешоп. Ради бога, припрячьте эту бумагу, Слайдер. Она принесет вам деньги на аукционе.

— А что это? — осведомилась Пэг.

— А это, судя по двум приложенным письмам, обязательство деревенского священника уплатить полугодовое жалованье — сорок фунтов — за взятые в долг двадцать, — сказал Сквирс. — Бумагу вы поберегите, потому что, если он не заплатит, его епископ очень скоро за него возьмется. Мы знаем, что значит верблюд и игольное ушко: ни один человек, если он не довольствуется своими доходами, не имеет никакой надежды попасть на небо... Очень странно: ничего похожего я все еще не нахожу.

102

103

— Что такое? — осведомилась Пэг.

— Ничего, — ответил Сквирс. — Просто-напросто я ищу...

Ньюмен снова поднял мехи. И снова Фрэнк быстрым движением руки, не сопровождавшимся ни малейшим шумом, помешал его намерению.

— Вот здесь у вас закладные, — сказал Сквирс, — сохраните их. Доверенность юристу — сохраните ее. Два признания долга ответчиком — сохраните. Арендный и субарендный договоры — сожгите. А! «Маделайн Брэй по достижении совершеннолетия или по выходе замуж... упомянутая Маделайн...» Вот, это сожгите.

Торопливо швырнув старухе какой-то пергамент, вы хватенный им из стопки для этой цели, Сквирс, как только она отвернулась, сунул за борт своего широкого пальто документ, в котором приведенные выше слова привлекли его внимание, и испустил торжествующий крик.

— Он у меня! — воскликнул Сквирс. — Он у меня! Ура! План был хорош, хотя шансов не было почти никаких, и наконец-то победа за нами!

Пэг спросила, почему он смеется, но ответа не последовало. Удержать руку Ньюмена было невозможно. Мехи, опустившись тяжело и метко на самую макушку мистера Сквирса, повалили его на пол и простерли плашмя и без чувств.

Глава LVIII,

в которой заканчивается один из эпизодов этой истории

Разбив путешествие на два дня, чтобы больной меньше страдал от изнеможения и усталости, связанных с дальней дорогой, Николас к концу второго дня после отъезда находился на расстоянии очень немногих миль от того места, где прошли самые счастливые годы его жизни. Это место, пробудив приятные мысли, вызывало в то же время много мучительных и ярких воспоминаний о тех обстоятельствах, при которых он и его близкие покинули родной дом, брошенные в суровый мир и на милость чужих людей.

Не было необходимости в тех размышлениях, какие память о прошедших днях и скитания по местам, где протекало наше детство, обычно вызывают в самых бесчувственных сердцах, чтобы растрогать сердце Николаса и вызвать у него еще большее сострадание к угасающему другу. Днем и ночью, во всякое время и во всякий час, неизменно бдительный, внимательный и заботливый, неустанно исполняющий принятый на себя долг перед тем, кто был так одинок и беспомощен и чей жизненный путь так быстро приближался к концу, Николас был всегда подле него. Он от него не отходил. Теперь его постоянной и неизменной заботой было ободрять его, удовлетворять его желания, поддерживать и развлекать его по мере сил.

Они заняли скромное помещение на маленькой ферме, окруженной лугами, где Николас в детстве часто резвился с толпой веселых школьников. И здесь расположились они на отдых.

Сначала у Смайка хватало сил прогуливаться понемногу, не нуждаясь в другой поддержке или помощи, кроме той, какую мог оказать ему Николас. В это время его ничто, казалось, не занимало так сильно, как посещение мест, которые были особенно близки его другу в былые дни. Уступая этому желанию и радуясь, что исполнение его помогает больному юноше коротать тягостные часы, а потом неизменно доставляет тему для размышлений и разговора, Николас избрал эти места для ежедневных прогулок. Он перевозил Смайка в маленькой повозке и поддерживал его под руку, когда они медленно брели по этим любимым местам или останавливались, залитые лучами солнца, чтобы бросить последний долгий взгляд на уголки самые мирные и красивые.

В такие минуты Николас, почти бессознательно поддаваясь власти старых воспоминаний, показывал какое-нибудь дерево, на которое он сотни раз взбирался, чтобы

взглянуть на птенцов в гнезде, и сук, с которого окликал, бывало, маленькую Кэт, стоявшую внизу, испуганную высотой, на какую он поднялся, но самым своим восхищением побуждавшую его лезть еще выше. Был здесь и старый дом, мимо которого они проходили ежедневно, поглядывая на маленькое оконце, куда врывались, бывало, солнечные лучи и будили его в летнее утро — тогда каждое утро было летним, — а взбираясь на садовую ограду и глядя вниз, Николас видел тот самый розовый куст, который был преподнесен Кэт каким-то влюбленным мальчуганом, и она посадила его собственноручно. Здесь были живые изгороди, подле которых брат и сестра часто срывали цветы, и зеленые поля и тенистые тропинки, где они часто бродили. Не было здесь ни одного проселка, ни одного ручья, рощи или коттеджа, с которыми не связывалось бы какое-нибудь детское воспоминание (и оно воскресало, как всегда воскресают воспоминания детства), какой-нибудь пустяк: слово, смех, взгляд, легкое огорчение, мимолетная мысль или страх; но ярче и отчетливее запечатлелись они и живее припоминались, чем самые суровые испытания и тяжкие горести истекшего года.

Во время одной из таких прогулок они прошли по кладбищу, где была могила отца Николаса.

— Даже здесь мы, бывало, бродили, когда еще не знали, что такое смерть, и не ведали о том, чей прах будет здесь покоиться, и, дивясь тишине, присаживались отдохнуть и разговаривали шепотом, — тихо сказал Николас. — Однажды Кэт заблудилась, и через час, проведенный в бесплодных поисках, ее нашли спящей под этим деревом, которое теперь осеняет могилу моего отца. Отец очень любил ее и, взяв на руки, все еще спящую, сказал, что, когда он умрет, пусть его похоронят там, где покоилась головка его маленькой любимой девочки. Как видите, его желание не забыто.

Больше ничего не было тогда сказано, но вечером, когда Николас сидел у его кровати, Смайк встрепнулся, словно пробудился ото сна, и, вложив свою руку в его, со слезами, струившимися по лицу, стал просить, чтобы он дал ему торжественное обещание.

— Какое? — ласково спросил Николас. — Если я могу исполнить обещание, вы знаете, что я его дам.

— Я уверен, что вы это сделаете, — был ответ. — Обещайте мне, что, когда я умру, меня похоронят совсем близко от того дерева, которое мы видели сегодня.

Николас дал это обещание. В немногих словах он его дал, но они были торжественными и шли от самого сердца. Его бедный друг удержал его руку в своей и отвернулся, словно хотел заснуть. Но были слышны приглушенные рыдания, и не один раз пожимал он руку Николаса, прежде чем погрузился в сон и постепенно разжал свою руку.

Недели через две ему стало так плохо, что он не мог больше ходить. Раз два Николас возил его в экипаже, обложенного подушками, но езда в экипаже причиняла ему боль и вызывала обмороки, которые при его слабости были опасны. В доме была кушетка, которая в дневные часы служила ему любимым местом отдыха; когда светило соянце и погода стояла теплая, кушетку выносили в маленький фруктовый сад, находившийся в двух шагах; больного хорошенько закутывали и переносили туда, и, бывало, они вдвоем сживали здесь часами.

В один из таких дней произошел случай, который в то время Николас твердо считал плодом воображения, пораженного болезнью, но впоследствии по веским основаниям признал подлинной действительностью.

Он вынес Смайка на руках, — бедняжка! в то время его мог бы поднять ребенок, — вынес посмотреть закат солнца и, уложив его на кушетку, сел рядом с ним. Прошлую ночь он бодрствовал около него и теперь, устав, незаметно заснул.

Прошло не больше пяти минут, как он сомкнул глаза, и вдруг чей-то вопль заставил его очнуться. Вскочив в испуге, какой охватывает человека, если его внезапно разбудят, он, к великому своему изумлению, увидел, что больной с усилием приподнялся, глаза его чуть не выскакивают из орбит, холодный пот выступил на лбу и, охваченный дрожью, сотрясающей все его тело, он зовет па помощь.

— Боже мой, что случилось?! — воскликнул Николас, наклоняясь к нему. — Успокойтесь! Вам что-то приснилось.

— Нет, нет, нет! — крикнул Смайк, цепляясь за него. — Держите меня крепко. Не отпускайте меня. Там, там!

Николас проследил за его взглядом, устремленным куда-то в сторону, за то кресло, с которого он сам только что поднялся. Но там никого не было.

— Это только игра воображения, — сказал он, стараясь его успокоить. — Больше ничего.

— Мне лучше знать. Я видел так же ясно, как вижу сейчас вас, — был ответ. — О, скажите мне, что я останусь с вами! Поклянитесь, что вы меня не покинете ни на секунду!

— Разве я когда-нибудь покидал вас? — отозвался Николас. — Лягте. Вот так! Вы видите, я здесь. Теперь скажите мне, что это было?

— Вы помните, — тихим голосом сказал Смайк, пугливо озираясь, — помните, я вам рассказывал о человеке, который отдал меня в школу?

— Да, конечно.

— Я только что посмотрел вон на то дерево с толстым стволом, и там, устремив на меня взгляд, стоял он!

— Вы подумайте минутку, — сказал Николас, — даже если он еще жив и бродит в таких уединенных местах, находящихся так далеко от проезжей дороги, неужели вы полагаете, что по прошествии стольких лет вы могли бы узнать этого человека?

— В любом месте, в любой одежде! — ответил Смайк. — Но сейчас, когда он стоял, опираясь на палку, и смотрел на меня, он был точь-в-точь таким, каким я его запомнил. Он был покрыт дорожной пылью и плохо одет, — мне кажется, на нем были лохмотья, — но как только я его увидел, дождливая ночь, его лицо, когда он уходил, комната, где он меня оставил, люди, которые там были, — все это как будто вернулось снова. Когда он понял, что я его вижу, он словно испугался, потому что задрожал и отпрянул. Днем я о нем думал, ночью он мне снился. Я видел его во сне, когда был маленьким, и видел его во сне в последующие годы таким, каким он был сейчас.

Николас привел все доводы, какие мог придумать, чтобы убедить запуганное существо, что воображение обмануло его и что доказательством этого и является поразительное сходство между образом его сновидений и человеком, которого он якобы видел. Но все было тщетно. Уговорив Смайка остаться ненадолго на попечении хозяев дома, он принялся тщательно расследовать, видел ли кто-нибудь незнакомца. Он обыскал фруктовые сады, и примыкающий участок земли, и все места по соседству, где мог спрятаться человек, но все было безуспешно.

У достоверившись, что первоначальные его выводы правильны, он принялся успокаивать испуганного Смайка, и спустя некоторое время это ему удалось до известной степени, хотя Смайк снова и снова повторял с большим жаром и очень торжественно, что он видел человека, которого описал, и никто его в этом не разуверит.

И тут Николас начал понимать, что надежды нет и что скоро все будет кончено для спутника, разделявшего с ним бедность, и друга его более счастливых дней. Смайк мало страдал и тревожился мало, но не заметно было никакого улучшения, никаких усилий, никакой борьбы за жизнь. Он был окончательно истощен; голос стал таким тихим, что его едва можно было расслышать. Природа исчерпала все силы, и он был обречен.

В ясный, мягкий осенний день, когда все вокруг было безмятежно и мирно, когда теплый, нежный ветерок залетал украдкой в открытое окно тихой комнаты и ни звука не было слышно, кроме легкого шелеста листьев, Николас сидел на обычном своем месте у постели больного, зная, что час близок. Такая была тишина, что он часто наклонялся, прислушиваясь к дыханию спящего, словно хотел увериться, что жизнь еще теплится и Смайк не погрузился в тот глубокий сон, от которого нет на Земле пробуждения.

Когда он прислушивался, закрытые глаза открылись, и на бледном лице Смайка появилась спокойная улыбка.

— Вот и прекрасно, — сказал Николас. — Сон принес вам пользу.
— Мне снились такие приятные сны. Такие приятные, счастливые сны!
— Что вам снилось? — спросил Николас. Умирающий юноша повернулся к нему и, обвив рукой его шею, ответил:

— Скоро я буду там!

После короткого молчания он снова заговорил.

— Я не боюсь умереть, — сказал он. — Я рад. Мне кажется, если бы я мог встать с этой постели совсем здоровым, сейчас я бы этого не хотел. Вы так часто говорили мне, что мы встретимся снова, и теперь я так глубоко чувствую правду этих слов, что могу вынести даже разлуку с вами.

Дрожащий голос, и слезы на глазах, и рука, обвившаяся крепче, показывали, как переполнено этими последними словами сердце говорившего, и не менее ясно было видно, как глубоко тронули они сердце того, к кому были обращены.

— Вы говорите хорошо, — ответил, наконец, Николас, — и очень утешаете меня, дорогой мой. Если можете, скажите мне, что вы счастливы.

— Сначала я должен вам кое-что открыть. У меня не должно быть от вас тайн. Я знаю, в такую минуту, как эта, вы не будете меня упрекать.

— Я — упрекать вас! — воскликнул Николас.

— Я уверен, что не будете. Вы меня спрашивали, почему я так изменился и... и так часто оставался один. Сказать вам, почему?

— Нет, если это причиняет вам боль, — сказал Николас. — Я спрашивал только потому, что хотел сделать вас счастливее, по мере моих сил.

— Знаю. Я это чувствовал тогда. — Он ближе притянул к себе своего друга. — Вы меня простите, я ничего не мог поделать, но, хотя я готов был умереть, чтобы сделать ее счастливой, у меня разрывалось сердце, когда я видел... Я знаю, он горячо ее любит... О, кто бы мог понять это раньше меня!

Следующие слова были произнесены слабым и тихим голосом и разделены длинными паузами, но Николас понял, что умирающий мальчик со всем пылом души, сосредоточившись на одном всепоглощающем, безнадежном, тайном чувстве, любил его сестру Кэт.

Он раздобыл ее локон и спрятал у себя на груди, завернув в узкую ленту, которую она носила. Он умолял, чтобы после его смерти Николас снял этот локон, — чужие глаза не должны его увидеть, — а потом снова спрятал у него на груди. Пусть локон лежит вместе с ним в Земле, когда его уже положат в гроб и опустят в могилу.

Николас обещал ему это, стоя на коленях, и повторил обещание, что он будет покоиться в том месте, которое указал. Они обнялись и поцеловали друг друга.

— Теперь я счастлив, — прошептал Смайк.

Он погрузился в легкую дремоту, а проснувшись, улыбнулся, как и раньше. Потом заговорил о прекрасных садах, которые, по словам его, раскинулись перед ним; там были мужчины и женщины и много детей, и все лица озарены светом, потом прошептал, что это рай, и скончался.

Глава LIX,

Планы рушатся, а заговорщиком овладевают сомнения и страхи

Ральф сидел один в уединенной комнате, где имел обыкновение обедать, ужинать и сидеть по вечерам, когда никакое выгодное дело не влекло его на улицу. Перед ним был нетронутый завтрак, а там, где он беспокойно постукивал пальцами по столу, лежали часы. Давно уже прошел тот час, когда, на протяжении многих лет, он прятал их в карман и размеренными шагами спускался по лестнице, чтобы заняться своими повседневными

делами, но на монотонное их напоминание он обращал не больше внимания, чем на завтрак, и продолжал сидеть, подперев голову рукой и хмуро уставившись в пол.

Одно это отступление от неизменной и прочно укоренившейся привычки у человека, такого неизменного и пунктуального во всем связанном с повседневной погоней за богатством, могло дать понять, что ростовщику было не по себе. Что он страдал от какого-то душевного или физического недомогания и оно было не из легких, если так повлияло на такого человека, как он, — об этом явно свидетельствовало его измученное лицо, удрученный вид и ввалившиеся, усталые глаза; наконец он поднял их, вздрогнув и быстро оглянувшись, словно его внезапно разбудили и он не может сразу узнать место, где находится.

— Что это нависло надо мной, чего я не могу стряхнуть? — сказал он. — Я никогда не был неженкой, и не следовало бы мне болеть. Я никогда не унывал, не охал и не уступал причудам, но что может сделать человек, если нет покоя?

Он прижал руку ко лбу.

— Ночь за ночью приходит и уходит, а покоя у меня нет. Если я сплю, какой это отдых, когда его неустанно тревожат сновидения все о тех же ненавистных лицах вокруг меня — о тех же ненавистных людях, занимающихся всевозможными делами и вмешивающихся во все, что я говорю и делаю, и всегда во вред мне? Когда я пробуждаюсь, какой может быть отдых, если меня неустанно преследует этот злой призрак, — не знаю, чей, — призрак самый жестокий? Я должен отдохнуть. Одна ночь полного отдыха — и я бы снова стал человеком.

Отодвинув от себя при этих словах стол, как будто ему ненавистен был вид пищи, он случайно заметил часы, стрелки которых указывали почти полдень.

— Странно! — сказал он. — Полдень, а Ногса нет! Какая пьяная драка могла задержать его! Я бы кое-что дал — даже денег дал бы, несмотря на эту ужасную потерю, — если бы он зарезал человека во время потасовки в таверне, или забрался в чей-нибудь дом, или очистил карман, или сделал что-нибудь такое, чтобы его с железным кольцом на ноге отправили за море и избавили меня от него. А еще лучше, если бы я мог подстроить ему ловушку и как-нибудь его соблазнить, чтобы он меня обокрал. Пусть берет что хочет, только бы я мог отдать его под суд, потому что, клянусь, он предатель! Как он предает, когда и где, я не знаю, хотя подозрения у меня есть.

Подождав еще полчаса, он отправил к Ньюмену женщину, которая ведала хозяйством, узнать, не заболел ли он и почему не пришел или не прислал кого-нибудь. Она принесла ответ, что он не ночевал дома и никто ничего не мог сказать ей о нем.

— Но там внизу какой-то джентльмен, сэр, — сказала она. — Он стоял у двери, когда я входила, и он говорит...

— Что он говорит? — спросил Ральф, сердито повернувшись к ней. — Я вам сказал, что никого не желаю видеть.

— Он говорит, что пришел по очень важному делу, которое не терпит отлагательств, — сказала женщина, оробев от его резкого тона. — И я подумала, что, может быть, это касается...

— Кого касается, черт возьми? — воскликнул Ральф. — Вы шпионите и следите за моими сделками, так, что ли?

— Ах, боже мой, нет, сэр! Я видела, что вы обеспокоены, и подумала, что, может быть, это из-за мистера Ногса, вот и все.

— Видели, что я обеспокоен! — пробормотал Ральф. — Теперь они все следят за мной. Где этот человек? Надеюсь, вы ему не сказали, что я еще у себя наверху?

Женщина ответила, что он в маленькой конторе и она ему сказала, что ее хозяин занят, но она передаст его просьбу.

— Хорошо, я его приму, — сказал Ральф. — Ступайте в кухню и оставайтесь там. Понимаете?

Обрадованная тем, что ее отпустили, женщина быстро скрылась. Собравшись с духом и приложив все силы, чтобы принять свой обычный вид, Ральф спустился вниз. Держась за

ручку двери, он помедлил несколько секунд, после чего вошел в каморку Ньюмена и очутился лицом к лицу с мистером Чарльзом Чириблом.

Из всех людей в мире он меньше всего хотел бы встретить этого человека в любое время, а сейчас, когда видел в нем только патрона и защитника Николаса, он предпочел бы столкнуться с привидением. Однако эта встреча оказала на него благотворное воздействие: она мгновенно пробудила всю его дремлющую энергию; снова разожгла в его груди страсти, какие в течение многих лет находили в ней приют; оживила весь его гнев, ненависть и злобу; вернула его губам насмешливую улыбку и его лбу грозные морщины и снова сделала его по внешнему виду тем самым Ральфом Никльби, которого столь многие имели горькие основания помнить.

— Гм! — сказал Ральф, остановившись в дверях. — Неожиданная честь, сэр.

— И нежелательная, знаю, что нежелательная, — сказал брат Чарльз.

— Говорят, вы — сама правда, сэр, — отозвался Ральф. — Сейчас во всяком случае вы сказали правду, и я не буду вам противоречить. Честь эта по меньшей мере столь же нежелательна, сколь неожиданна. Вряд ли я могу сказать больше!

— Короче говоря, сэр... — начал брат Чарльз.

— Короче говоря, сэр, — перебил Ральф, — я хочу, чтобы наша беседа была короткой и закончилась не начавшись. Я догадываюсь, о каком предмете вы собираетесь говорить, и слушать вас я не буду. Кажется, вы любите откровенность, так вот она. Как видите, вот дверь. Наши дороги расходятся. Прошу вас, ступайте своей дорогой, а мне предоставьте идти спокойно моей.

— Спокойно! — кротко повторил брат Чарльз, глядя на него скорее с жалостью, чем с упреком. — Идти спокойно его дорогой!

— Полагаю, сэр, вы не останетесь у меня в доме против моего желания, — сказал Ральф, — и вряд ли у вас может быть надежда произвести впечатление на человека, который глух ко всему, что вы можете сказать, и твердо решил не слушать вас.

— Мистер Никльби, сэр, — возразил брат Чарльз не менее кротко, чем раньше, но в то же время твердо, — я пришел сюда против моей воли, с тоскою и болью, против моей воли. Никогда не бывал я в этом доме, и, если говорить откровенно, сэр, мне здесь тревожно и не по себе, и я не имею ни малейшего желания когда бы то ни было прийти сюда опять. Вы не догадываетесь, о каком предмете пришел я поговорить с вами, да, не догадываетесь. Я в этом уверен, иначе ваш тон был бы совсем иным.

Ральф зорко посмотрел на него, но ясные глаза и открытое лицо честного старого негодяя сохраняли прежнее выражение, и он спокойно встретил его взгляд.

— Продолжать ли мне? — спросил мистер Чирибл.

— О, пожалуйста! — сухо ответил Ральф. — Вот стены, к которым вы можете обращаться, сэр, конторка и два табурета — внимательнейшие слушатели, они, конечно, не будут вас перебивать. Продолжайте, прошу вас; пусть мой дом будет вашим, а к тому времени, когда я вернусь с прогулки, вы, быть может, договорите то, что имеете сказать, и разрешите мне вновь вступить во владение им.

С этими словами он застегнул сюртук и, выйдя в коридор, взял шляпу. Старый джентльмен последовал за ним и хотел заговорить, но Ральф нетерпеливо отмахнулся от него и сказал:

— Ни слова! Говорю вам — ни слова, сэр. Сколь вы ни добродетельны, все-таки вы не ангел, чтобы являться к людям в дом, хотя бы они того или не хотят, и обращаться с поучением к нежелающим слушать. Говорю вам, проповедуйте стенам, не мне!

— Небу известно, что я не ангел, но заблуждающийся и слабый человек! — покачивая головой, сказал брат Чарльз. — Однако есть одна добродетель, которую все люди наравне с ангелами могут проявить, если захотят: милосердие. Дело милосердия привело меня сюда. Прошу вас, дайте мне его исполнить.

— Мне чуждо милосердие, — с торжествующей улыбкой сказал Ральф, — и я не прошу о нем. Не ждите никакого милосердия от меня, сэр, по отношению к этому мальчишке,

который воспользовался вашей ребяческой доверчивостью, но пусть он ждет наихудшего, что я способен сделать.

— Ему просить о милосердии вас! — с жаром воскликнул старый негодяй. — Просите о нем его, сэр, просите о нем его! Вы не хотите выслушать меня теперь, когда это возможно, но вы меня выслушаете, когда это будет неизбежно, если не предугадаете, что я хочу сказать, и не примете мер, чтобы навсегда предотвратить новую нашу встречу. Ваш племянник — благородный юноша, сэр, честный, благородный юноша! Кто такой вы, мистер Никльби, я говорить не хочу, но что вы сделали, я знаю. Теперь, сэр, когда вы отправитесь по делу, которым недавно занялись, и убедитесь, что вести его трудно, приходите ко мне и к моему брату Нэду и к Тиму Линкинуотеру, сэр, и мы вам все объясним. И приходите поскорее, иначе будет поздно и тогда вам объяснят с большею грубостью и меньшей деликатностью... И всегда помните, сэр, что сегодня я пришел сюда из милосердия и по-прежнему готов беседовать с вами в духе милосердия.

С этими словами, произнесенными с большой серьезностью и волнением, брат Чарльз надел свою широкополую шляпу и, без дальнейших слов пройдя мимо Ральфа Никльби, быстро вышел на улицу. Ральф посмотрел ему вслед, но некоторое время не двигался и не произносил ни слова, потом нарушил молчание, походившее на оцепенение, презрительным смехом.

— Это так дико, что могло быть одним из тех сновидений, которые последнее время нарушают мой покой, — сказал он. — Из милосердия! Фу! Старый дурак сошел с ума!

Хотя Ральф и высказался в таком насмешливом и презрительном тоне, но было ясно, что чем больше он размышлял, тем больше становилось ему не по себе и тем сильнее томили его какое-то смутное беспокойство и тревога, которые нарастали по мере того, как шло время, а о Ньюмене Ногсе не было никаких известий. Прождав до позднего часа, терзаемый всевозможными предчувствиями, опасениями и воспоминанием о том предостережении, какое сделал ему племянник во время их последней встречи, он вышел из дому и, вряд ли понимая почему (если не считать причиной волнение), направился к дому Снаули. Вышла его жена, и у нее Ральф осведомился, дома ли ее муж.

— Нет! — резко ответила она. — Нет дома, и думаю, что еще очень долго не будет, вот оно как!

— Вы знаете, кто я? — спросил Ральф.

— О да, я вас очень хорошо знаю!.. Пожалуй, слишком хорошо, да и он тоже слишком хорошо знает, и жаль, что приходится это говорить.

— Скажите ему — я только что его видел сквозь жалюзи наверху, когда переходил через дорогу, — что я хотел бы поговорить с ним по делу, — сказал Ральф. — Слышите?

— Слышу, — отозвалась миссис Снаули, оставляя без внимания эту просьбу.

— Я знал, что эта женщина — лицемерка, со всеми ее псалмами и цитатами из библии, — сказал Ральф, спокойно проходя мимо нее, — но раньше я никогда не замечал, что она пьет.

— Стойте! Вы сюда не войдете! — крикнула лучшая половина мистера Снаули, загораживая дверь своей особой, достаточно внушительной. — По делу вы уже говорили с ним более чем достаточно. Я всегда ему твердила о том, чем кончатся его дела с вами и исполнение ваших распоряжений. Или вы, или школьный учитель — один из вас или вы вместе — подделали письмо, запомните это! Не он это делал, стало быть нечего на него сваливать!

— Придержите язык, мегера! — сказал Ральф, пугливо озираясь.

— Я знаю, когда мне придерживать язык, а когда говорить, мистер Никльби, — возразила леди. — Позаботьтесь о том, чтобы другие тоже знали, когда нужно придерживать язык!

— Слушайте вы, старая шельма! — крикнул Ральф. — Если ваш муж такой идиот, что поверяет вам свои тайны, так вы по крайней мере храните их, чертовка!

— Может быть, не столько свои, сколько чужие тайны! — воскликнула женщина. —

Не столько свои, сколько ваши! Нечего бросать на меня грозные взгляды! Может быть, они вам еще пригодятся в другой раз. Приберегитека их!

— Пойдете вы к своему мужу, — начал Ральф, стараясь по мере сил сдерживать бешенство и крепко сжимал ей руку, — пойдете вы к нему и скажете, что я сейчас видел его и должен с ним поговорить? И скажете вы мне, почему это вы и он переменили манеру обращения?

— Нет! — ответила женщина, резко освобождаясь. — Ни того, ни другого я не сделаю.

— Значит, вы мне бросаете вызов? — сказал Ральф.

— Да, бросаю вызов, — был ответ.

Ральф поднял было руку, словно хотел ее ударить, но сдержался, тряхнул головой и, пробормотав, что он ей этого не забудет, ушел.

Он пошел прямо в гостиницу, где останавливался мистер Сквирс, и спросил, когда тот был там в последний раз, смутно надеясь, что Сквирс, плохо ли, хорошо ли исполнив свою миссию, вернулся и может его успокоить. Но мистера Сквирса не видели там десять дней и сообщили, что он оставил свои вещи и не уплатил по счету.

Волнуемый тысячей опасений и догадок и желая установить, пронюхал ли Сквирс что-нибудь о Снаули, или же сам в какой-то мере повинен в этой перемене, Ральф решил прибегнуть к рискованному средству — справиться о нем на квартире в Ламбете и повидать его хотя бы там. Находясь в том состоянии, когда промедление невыносимо, он сейчас же отправился туда и, хорошо зная по описанию расположение комнат, крадучись поднялся по лестнице и тихо постучал в дверь.

Ни первый, ни второй, ни третий, ни даже двенадцатый удар не могли убедить Ральфа, что в комнате никого нет. Быть может, Сквирс спит, решил он и, прислушиваясь, почти внушил себе, что слышит его дыхание. Когда уже нельзя было сомневаться в отсутствии Сквирса, он присел на поломанную ступеньку и стал терпеливо ждать, убеждая себя, что тот вышел по какому-нибудь пустячному делу и скоро вернется.

Много людей поднималось по скрипучей лестнице, и иные шаги казались настороженному слуху Ральфа столь похожими на шаги человека, которого он ждал, что он часто вставал, собираясь заговорить. Но люди, один за другим, сворачивали в какую-нибудь комнату, не доходя до того места, где он расположился, и после каждого такого разочарования его охватывал озноб и чувство одиночества.

Наконец он понял, что оставаться долее бесполезно и, спустившись снова вниз, спросил у одного из жильцов, известно ли ему что-нибудь о мистере Сквирсе, назвав этого достойного человека вымышленным именем, как было между ними условлено. Этот жилец отослал его к другому жильцу, а тот еще к кому-то, от кого он узнал, что накануне, поздно вечером, Сквирс торопливо вышел из дому с двумя людьми, которые вскоре вернулись за старухой, жившей в том же этаже, и что хотя это обстоятельство и привлекло внимание жильца, он в то время с ними не разговаривал, да и потом не наводил справок.

Это навело Ральфа на мысль, что, быть может, Пэг Слайдерскую арестовали за кражу и что мистер Сквирс, находившийся в тот момент с ней, был арестован по подозрению в соучастии. Если таково положение дел, об этом факте должен знать Грайд; к дому Грайда он и направился. Теперь он уже встревожился не на шутку и испугался, не задуманы ли в самом деле какие-то планы, несущие ему поражение и гибель.

Подойдя к дому ростовщика, он увидел плотно закрытые окна, спущенные грязные шторы: везде безмолвно, уныло и пустынно. Но таков был обычный вид дома. Он постучал — сначала тихо, потом громко и настойчиво. Никто не вышел. Он написал несколько слов карандашом на карточке и, подсунув под дверь, отошел, как вдруг шум наверху, словно кто-то украдкой поднял оконную раму, коснулся его слуха. Посмотрев вверх, он едва успел увидеть лицо самого Грайда, осторожно выглядывавшего поверх парапета из окна чердака. Увидев Ральфа, Грайд втянул голову, но недостаточно быстро, и Ральф дал ему понять, что он замечен, и крикнул, чтобы тот спустился вниз.

На вторичный окрик Грайд выглянул снова с такой осторожностью, что туловище

старика осталось невидимым. Только лицо с заостренными чертами и седые волосы появились над парапетом, словно отрубленная голова, украшавшая стену.

— Тише! — крикнул он. — Уходите, уходите!

— Спускайтесь, — сказал Ральф, поманив его.

— Уходите! — взвизгнул Грайд, с каким-то судорожным нетерпением тряс головой. — Не говорите со мной, не стучите, не привлекайте внимания к этому дому, уходите!

— Клянусь, я буду стучать, пока ващи соседи не сбегутся, если вы мне не скажете, почему вы там прячетесь, скулящая вы дворняжка!

— Я не хочу слушать вас... не разговаривайте со мной... это небезопасно... Уходите... уходите! — ответил Грайд.

— Спускайтесь, говорю вам! Спуститесь вы или нет? — злобно крикнул Ральф.

— Нет! — огрызнулся Грайд.

Он втянул голову, и Ральф, стоя на тротуаре, слышал, что окно закрылось так же тихо и осторожно, как и открылось.

— Что это? — сказал он. — Почему все они отшатываются, бегут от меня, как от чумы, эти люди, которые лизали пыль на моих сапогах? Или мой день миновал и сейчас в самом деле спускается ночь? Я узнаю, что это значит! Узнаю любой ценой. Сейчас я тверже и больше похож на самого себя, чем все эти дни.

Отвернувшись от двери, в которую он в порыве бешенства намеревался колотить до тех пор, пока страх не заставит Грайда открыть ему, он пошел к Сити и, настойчиво пробиваясь сквозь толпу, валившую оттуда (было уже между пятью и шестью часами вечера), направился прямо к торговому дому братьев Чирибл. Просунув голову в стеклянный ящик, он увидел там одного Тима Линкинуотера.

— Меня зовут Никльби, — сказал Ральф.

— Я это знаю, — ответил Тим, созерцая его сквозь очки.

— Кто из вашей фирмы заходил ко мне сегодня утром? — спросил Ральф.

— Мистер Чарльз.

— В таком случае, скажите мистеру Чарльзу, что я хочу его видеть.

— Вы увидите, — сказал Тим, проворно слезая с табурета, — вы увидите не только мистера Чарльза, но и мистера Нэда.

Тим замолчал, посмотрел пристально и сурово на Ральфа, резко кивнул головой, как бы говоря, что за этими словами скрывается еще нечто, и вышел. Вскоре он вернулся и, введя Ральфа к обоим братьям, остался в комнате.

— Я хочу поговорить с вами — с тем, кто говорил со мной сегодня утром, — сказал Ральф, указывая пальцем на того, к кому обращался.

— У меня нет тайн ни от брата Нэда, ни от Тима Линкинуотера, — спокойно заметил брат Чарльз.

— У меня есть, — сказал Ральф.

— Мистер Никльби, сэр, — сказал брат Нэд, — дело, по которому заходил к вам сегодня мой брат Чарльз, прекрасно известно нам троим и еще кое-кому. И, к несчастью, скоро будет известно многим. Сэр, он пришел к вам сегодня один из деликатности. Теперь мы чувствуем, что в дальнейшем деликатность была бы неуместна, и если беседовать нам, то всем вместе или вовсе не беседовать.

— Ну что ж, джентльмены, — сказал Ральф, презрительно скривив рот, — по-видимому, говорить загадками — ваше общее свойство. Полагаю также, что ваш клерк, как человек благоразумный, неплохо изучил это искусство, чтобы попасть к вам в милость. Ну что ж, джентльмены, будем беседовать все вместе. Я готов считаться с вашей слабостью.

— Считаться со слабостью! — воскликнул Тим Линкинуотер и густо покраснел. — Он готов считаться с нашей слабостью! Со слабостью «Чирибл, братья»! Вы это слышите? Вы его слышите? Вы слышите: он говорит, что будет считаться со слабостью «Чирибл, братья»!

— Тим! — сказали в один голос Чарльз и Нэд. — Пожалуйста, Тим... ну, пожалуйста...

не надо.

Тим, вняв просьбе, приглушил, насколько мог, свое негодование и позволил ему прорываться лишь сквозь очки. пользуясь время от времени добавочным предохранительным клапаном в виде отрывистого истерического смешка, казалось приносившего ему большое облегчение.

— Раз никто не приглашает меня сесть, — сказал Ральф, осмотревшись вокруг, — я сяду без приглашения, потому что устал от ходьбы. А теперь, джентльмены, я желаю знать — я требую, у меня есть на это право, — что имеете вы мне сказать и как оправдаете подобное обращение со мной и вмешательство исподтишка в мои дела, которыми вы занимаетесь, как я имею основания предполагать. Говорю вам откровенно, джентльмены: хоть я и мало считаюсь с мнением света (как принято выражаться), однако я не намерен спокойно примириться с клеветой и злословьем! Или вы сами стали легковверной жертвой обмана, или умышленно принимаете в нем участие, впрочем, для меня это безразлично: и в том и в другом случае вы не можете ждать от заурядного человека вроде меня особой снисходительности или терпения.

Так хладнокровно и рассудительно было это сказано, что девять человек из десяти, не знающие обстоятельств дела, сочли бы Ральфа обиженным незаслуженно. Он сидел, скрестив руки, был, правда, бледнее, чем обычно, и угрюм, но совершенно спокоен — куда спокойнее, чем братья или взволнованный Тим — и был готов смело встретить наихудшее.

— Очень хорошо, сэр, — сказал брат Чарльз. — Очень хорошо. Брат Нэд, пожалуйста, позвоните.

— Чарльз, дорогой мой, одну секунду! — возразил тот. — Лучше будет для мистера Никльби, а также и для наших целей, чтобы он помолчал, если может, пока мы не выскажем того, что имеем сказать. Я бы хотел, чтобы он это понял.

— Совершенно верно, совершенно верно, — согласился брат Чарльз.

Ральф улыбнулся, но ничего не ответил. Позвонили. Открылась дверь, вошел, прихрамывая, человек, и, оглянувшись, Ральф встретился глазами с Ньюменом Ногсом. С этой секунды мужество начало ему изменять.

— Хорошее начало! — сказал он с горечью. — Очень хорошее начало! Искренние, честные, откровенные, прямодушные люди! Я всегда знал цену таким, как вы! Подкупать подобного рода субъекта, который готов продать душу (если она у него есть), чтобы напиться, и каждое слово которого — ложь! Кто же может почитать себя в безопасности, если это возможно? О, превосходное начало!

— Я буду говорить! — крикнул Ньюмен, встав на цыпочки, чтобы смотреть поверх головы Тима, который вмешался, стараясь его остановить. — Эй, вы, сэр! Старый Никльби! Что вы имеете в виду, когда говорите о «подобного рода субъекте»? Кто меня сделал «подобного рода субъектом»? Если я готов душу продать, чтобы напиться, почему я не стал вором, мошенником, взломщиком, карманщиком, почему не таскал пенсов с блюда у собаки слепца, вместо того чтобы быть вашим рабом и вьючной лошадью? Если каждое мое слово — ложь, почему не был я вашим любимцем и фаворитом? Ложь! Разве я когда-нибудь низкопоклонничал и пресмыкался перед вами? Отвечайте мне. Я служил вам верно. Я исполнял больше работы и выслушивал от вас больше оскорблений, чем любой человек, которого вы могли бы взять из приходского рабочего дома, потому что я был беден и потому что я презирал и вас и эти оскорбления. Я вам служил, потому что я был горд, потому что у вас я был одинок и не было других рабов, которые бы видели мое унижение. Никто не знал лучше, чем вы, что я — разорившийся человек, что не всегда я был таким, каков я теперь, и что мне жилось бы лучше, если бы я не был дураком и не попал в лапы ваши и других негодяев. Вы это отрицаете?

— Тише, — урезонивал Тим. — Ведь вы сказали, что не будете...

— Сказал, что не буду! — крикнул Ньюмен, отстраняя его и отодвигаясь по мере того, как Тим придвигался, чтобы не подпустить его ближе, чем на расстояние вытянутой руки. — Не говорите мне этого! Эй, вы, Никльби! Ничего притворяться, будто вы не обращаете

внимания на мои слова, меня не обманете, я-то вас знаю! Вы только что говорили о подкупе. А кто подкупил йоркширского школьного учителя и, отослав раба, чтобы он не подслушивал, позабыл о том, что такая чрезмерная осторожность может показаться ему подозрительной и он будет следить за своим хозяином по вечерам и поручит другим следить за школьным учителем? Кто подкупил отца-эгоиста, чтобы он продал свою дочь старому Артуру Грайду? Кто подкупил Грайда — в маленькой конторе, в комнате со стенным шкафом?

Ральф крепко держал себя в руках, но он не мог не вздрогнуть, хотя бы его через секунду должны были за это обезглавить.

— Ага! — крикнул Ньюмен. — Теперь вы обращаете на меня внимание? А что заставило этого слугу шпионить за хозяином? Что заставило его понять, что, если он при случае не пойдет ему наперекор, он станет таким же негодяем, если не хуже? Жестокость хозяина к родным и гнусный замысел, направленный против молодой девушки — девушки, которая вызвала сочувствие даже у его разорившегося, пьяного, жалкого слуги и заставила его остаться на службе в надежде чем-нибудь ей помочь, как уже случалось ему раза два помогать другим. Не будь этого, он облегчил бы свои чувства — здорово отколотил бы хозяина, а потом отправился бы к черту. Он бы это сделал, заметьте! И заметьте еще одно: я нахожусь сейчас здесь, потому что эти джентльмены сочли это нужным. Отыскав их (я сам это сделал, меня никто не подкупал), я им сказал, что мне нужна помощь, чтобы вывести вас на чистую воду, выследить вас, довести до конца начатое дело, добиться справедливости. И я сказал, что, совершив это, я ворвусь в вашу комнату и скажу вам все в лицо, по-мужски, как мужчина мужчине! Теперь я кончил, пусть говорят другие! Начинайте!

После этой заключительной фразы Ньюмен Ногс, который то садился, то вскакивал на протяжении всей своей отрывистой речи и от этих энергических упражнений и волнения пришел в состояние крайне напряженное и возбужденное, внезапно, минуя все промежуточные стадии, застыл, прямой и неподвижный, да так и остался стоять, глядя во все глаза на Ральфа Никльби.

Ральф смотрел на него секунду, только секунду, потом махнул рукой и, постукивая ногой по полу, сказал сдавленным голосом:

— Продолжайте, джентльмены, продолжайте! Как видите, я терпелив. Есть на свете закон, есть закон. Я вас привлеку к ответу. Думайте о том, что говорите. Я вас заставлю привести доказательства.

— Доказательства есть, — возразил брат Чарльз, — доказательства в наших руках. Вчера вечером этот Снаули сделал признание.

— Кто такой «этот Снаули», — сказал Ральф, — и какое отношение к моим делам имеет его «признание»?

На этот вопрос, заданный с невозмутимым видом, старый джентльмен не дал никакого ответа и заявил, что с целью показать, сколь серьезно отнеслись они к делу, необходимо сообщить ему не только об обвинениях, выдвинутых против него, но и о доказательствах, имеющихся у них, и о способе, каким они были получены. Когда вопрос был таким образом поставлен открыто, вмешались брат Нэд, Тим Линкинуотер и Ньюмен Ногс — все трое сразу, — долго и путано говорили наперебой, после чего изложили Ральфу в ясных выражениях следующее.

Ньюмен получил торжественное заверение от одного лица, которое в данный момент здесь не присутствует, что Смайк не был сыном Снаули, и этот факт в случае необходимости может быть подтвержден под присягой; после этого заверения они впервые начали сомневаться в справедливости притязаний Снаули, которые в противном случае у них не было бы никаких оснований оспаривать, поскольку они подкреплялись свидетельскими показаниями, оставшимися несопровергнутыми. Раз заподозрив наличие заговора, они без труда открыли его первоисточник — злобу Ральфа и мстительность и алчность Сквирса. Но подозрение и доказательство — вещи разные, и вот один юрист, весьма проницательный и ловкий в такого рода делах, посоветовал им сопротивляться притязаниям стороны, требующей возвращения юноши; он посоветовал им действовать медленно и осторожно и в

то же время осаждают Снаули (на его участии, это было ясно, строился весь заговор), довести его, если возможно, до противоречивых показаний, тревожить его всеми доступными способами и использовать его страх и заботу о собственной безопасности так, чтобы побудить его открыть весь план и выдать своего нанимателя и всех, кто был замешан. Все это было проделано весьма успешно, но Снаули, искушенный в науке хитростей и интриг, противился всем их попыткам, пока неожиданное стечение обстоятельств не повергло его вчера вечером на колени.

Случилось это так. Когда Ньюмен Ногс доложил, что Сквирс опять в Лондоне и между ним и Ральфом состоялось совещание столь секретное, что Ньюмена услали из дому, чтобы он ни слова не подслушал, — за школьным учителем начали следить в надежде обнаружить что-нибудь такое, что пролило бы свет на предполагаемый заговор. Но Сквирс не поддерживал никаких сношений ни с Ральфом, ни со Снаули, и это совершенно сбивало с толку; слежка была прекращена, и они отказались бы от дальнейшего наблюдения за ним, если бы однажды вечером Ньюмен, оставаясь незамеченным, не наткнулся случайно на улице на Сквирса и Ральфа. Следуя за ними, он, к изумлению своему, обнаружил, что они заходят в жалкие меблированные комнаты и таверны, содержащиеся разорившимися игроками, где Ральф почти повсюду был известен; Ньюмен установил также, что они разыскивают старуху, приметы которой в точности соответствовали приметам глухой миссис Слайдерскую. Теперь, когда дела приняли более серьезный оборот, слежку возобновили с удвоенным рвением. Был приглашен полицейский агент, который поселился в той же гостинице, что и Сквирс; он и Фрэнк Чирибл следили за каждым шагом школьного учителя, пока тот не обосновался в комнате в Лембете. Когда мистер Сквирс переехал в эту комнату, агент переехал в дом, расположенный напротив, и скоро обнаружил, что мистер Сквирс к миссис Слайдерскую постоянно встречаются.

Тогда обратились к Артуру Грайду. О краже давно уже стало известно отчасти благодаря любопытству соседей, а отчасти благодаря его отчаянию и бешенству; но Грайд категорически отказался дать согласие на арест старухи или способствовать ему и пришел в такой ужас при мысли о вызове в суд для дачи показаний против нее, что заперся у себя в доме и не желал общаться ни с кем. Тогда они собрались на совет и пришли, в поисках истины, к заключению, что Грайд и Ральф, пользуясь Сквирсом как орудием, договариваются о возвращении тех украденных бумаг, какие не могли быть преданы огласке и, возможно, разъясняли намеки касательно Маделайн, подслушанные Ньюменом; и тогда они решили, что миссис Слайдерскую должна быть арестована, прежде чем она с этими бумагами расстанется, а также и Сквирс, если можно будет его обвинить в каких-нибудь подозрительных действиях. Итак, получив ордер на обыск и сделав все приготовления, стали наблюдать за окном мистера Сквирса, пока в окне не потух свет и не настал час, когда он, как было предварительно установлено, имел обыкновение навещать миссис Слайдерскую.

Тогда Фрэнк Чирибл и Ньюмен прокрались наверх, чтобы подслушать их разговор и в благоприятный момент дать сигнал агенту. В какой благоприятный момент они явились, как они подслушивали и что услышали, читателю уже известно. Мистера Сквирса, все еще оглушенного, с находившейся у него украденной бумагой быстро увели, а миссис Слайдерскую также была арестована, Снаули был тотчас уведомлен об аресте Сквирса (ему не сообщили причины), после чего этот достойный человек, добившись обещания, что не подвергнется каре, признал всю историю со Смайком мошенничеством, в котором замешан Ральф Никльби. Что до мистера Сквирса, то он был в то утро подвергнут судьей допросу, и так как не мог удовлетворительным образом объяснить, почему в его руках находится бумага и почему он поддерживал сношения с миссис Слайдерскую, то и был посажен вместе с нею под арест на неделю.

Теперь обо всем этом было рассказано Ральфу обстоятельно и подробно. Как бы ни повлиял на него рассказ, но он не проявил ни малейших признаков волнения. Он сидел совершенно неподвижно, не отрывая хмурого взгляда от пола и прикрывая рот рукой. Когда рассказ был окончен, он быстро поднял голову, словно собираясь что-то сказать, но брат

Чарльз снова заговорил, и он принял прежнюю позу.

— Я вам сказал сегодня утром, что меня привело к вам дело милосердия, — начал старый джентльмен, положив руку на плечо брата. — В какой мере вы замешаны в этой последней сделке и какие серьезные обвинения может выдвинуть против вас человек, находящийся сейчас под арестом, вам лучше знать. Но правосудие должно принять меры относительно лиц, замешанных в заговоре против бедного, беспомощного, несчастного юноши. Не в моей власти и не во власти моего брата Нэда спасти вас от последствий. Все, что мы можем сделать, — это предостеречь вас вовремя и дать вам возможность избежать их. Мы бы не хотели, чтобы такой пожилой человек, как вы, был опозорен и наказан своим ближайшим родственником. И мы бы не хотели, чтобы он забыл об узах крови, как забыли о них вы. Мы умоляем вас, — брат Нэд, я знаю, ты присоединишься к этой мольбе, а также и вы, Тим Линкинуотер, хотя вы сейчас и притворяетесь упрямым, сэр, и сидите нахмурившись, как будто вы с нами не согласны, — мы умоляем вас уехать из Лондона, найти пристанище в таком месте, где бы вам не грозили последствия этих преступных замыслов и где у вас было бы время, сэр, искупить их и исправиться.

— И вы полагаете, — сказал Ральф, вставая, — и вы полагаете, что вам так легко раздавить меня? Вы полагаете, что сотни прекрасных обдуманных планов, сотни подкупленных свидетелей, сотни ищек, выслеживающих меня, или сотни ханжеских проповедей, составленных из елейных слов, могут на меня повлиять? Благодарю вас за то, что вы мне открыли ваши планы: теперь я ко всему подготовлен. Вы имеете дело с человеком, которого не знаете. Ну что ж, попробуйте. И помните, что я плюю на ваши громкие слова и лицемерные поступки, не боюсь вас и бросаю вам вызов: делайте самое худшее, что только можете сделать!

Так расстались они на этот раз. Но худшее было еще впереди.

Глава LX,

Опасность надвинулась, и совершается наихудшее

Вместо того чтобы идти домой, Ральф бросился в первый попавшийся ему на улице кабриолет и, приказав кучеру ехать по направлению к полицейскому участку того района, где стряслась беда с мистером Сквирсом, вышел из кэба недалеко от участка и, расплатившись с кучером, прошел остальную часть пути пешком. Осведомившись о предмете своих забот, он узнал, что удачно выбрал время для визита, ибо мистер Сквирс как раз в этот момент поджидал заказанную им карету, в которой намеревался отправиться, как подобает джентльмену, в предназначенное ему на неделю жилище.

Попросив разрешения поговорить с арестованным, Ральф вошел в комнату вроде приемной, где мистеру Сквирсу благодаря его ученой профессии и чрезвычайной респектабельности разрешено было провести день. Здесь при свете оплывавшей и закопченной свечи он с трудом мог разглядеть владельца школы, крепко спавшего на скамье в дальнем углу. Перед ним на столе стоял пустой стакан, который наряду с сонным состоянием мистера Сквирса и очень сильным запахом бренди возвестил посетителю, что мистер Сквирс в бедственном своем положении искал временного забвения в этой житейской утехе.

Не очень-то легко было его разбудить — таким летаргическим и глубоким был его сон. Медленно и постепенно придя в себя, Сквирс, наконец, сел и, показывая посетителю очень желтое лицо, очень красный нос и очень колючую бороду (общее впечатление усиливалось благодаря грязному носовому платку, запятнанному кровью, который прикрывал макушку и был завязан под подбородком), горестно посмотрел на Ральфа, а затем чувства его излились в следующей выразительной фразе:

— Ну, приятель, теперь вы свое дело сделали!

— Что у вас с головой? — спросил Ральф.

— Это ваш слуга, ваш шпион и похититель детей проломил ее, — хмуро ответил Сквирс, — вот что такое с ней. Значит, вы, наконец, пришли?

— Почему вы за мной не послали? — спросил Ральф. — Как я мог прийти, пока не узнал, что случилось с вами?

— Мое семейство, — икнув, воскликнул мистер Сквирс, поднимая глаза к потолку. Моя дочь, которая достигла того возраста, когда чувствительность в полном расцвете... Мой сын, юный Норвал¹⁰⁴ в частной жизни, гордость и украшение обожающей его деревни... Какой удар для моего семейства! Гербовый щит Сквирсов разломан на куски, и солнце их закатилось в волны скеана!

— Вы пили и еще не проспались, — сказал Ральф.

— За ваше здоровье, старикашка, я не пил, стало быть вас это не касается, — отозвался мистер Сквирс.

Ральф поборол негодование, вызванное наглым тоном владельца школы, и снова спросил, почему он за ним не послал.

— А что бы я выиграл, если бы послал за вами? — возразил Сквирс. — Невелика для меня польза, если бы узнали, что я с вами заодно, а выпустить меня на поруки они не хотят, пока не соберут дополнительных сведений об этом деле... И вот я сижу здесь прочно и крепко, а вы благополучно разгуливаете на свободе.

— Так будет и с вами через несколько дней, — с притворным добродушием отозвался Ральф. — Вам они повредить не могут, приятель.

— Думаю, что ничего особенного они мне не могут сделать, если я объясню, каким образом я завязал добрые отношения с этим трупом, старухой Слайдер, — злобно ответил Сквирс. — Хотел бы я, чтобы она околела, и чтобы ее похоронили, и выкопали из могилы, и рассекли на части, и повесили на проволоке в анатомическом музее еще до того, как я о ней услышал. А вот что сказал мне сегодня утром, слово в слово, этот человек с напудренной головой: «Подсудимый! Так как вас застали в обществе этой женщины, так как у вас был обнаружен этот документ, так как вы вместе с нею были заняты мошенническим уничтожением других документов и не можете дать никакого удовлетворительного объяснения, я вас задерживаю под арестом на неделю, пока не будет произведено дознание и мы не получим свидетельских показаний. И в настоящее время я не могу отпустить вас на поруки». Так вот теперь я говорю, что могу дать удовлетворительное объяснение. Я могу предъявить проспект моего заведения и сказать: «Я — Уэкфорд Сквирс, как здесь указано, сэр. Я — человек, высокая нравственность которого и честность правил гарантируются безупречными рекомендациями. Просто-напросто моими услугами воспользовался друг, мой друг мистер Ральф Никльби, Гольднсквер. Пошлите за ним, сэр, и спросите его, что он имеет вам сообщить. Вам нужен он, а не я».

— Что это за документ был у вас? — спросил Ральф, уклоняясь от затронутой темы.

— Что за документ? Да тот самый документ, — ответил Сквирс. — Об этой Маделайн... как там ее фамилия... Завещание, вот что это было.

— Какого характера? Чье завещание? Какого числа подписано? Что ей оставлено? Сколько? — быстро спросил Ральф.

— Завещание в ее пользу, вот все, что я знаю, — ответил Сквирс, — и это больше, чем знали бы вы, если бы вас треснули мехами по голове. Ваша проклятая осторожность виной тому, что они завладели им. Если бы вы мне позволили сжечь его и поверили на слово, что оно уничтожено, оно превратилось бы в кучку золы под углями, а не осталось бы целым и невредимым во внутреннем кармане моего пальто.

— Разбит по всей линии! — пробормотал Ральф.

— Ах! — вздохнул Сквирс, у которого после бренди с водой и удара по голове странно путались мысли. — В очаровательной деревне Дотбойс, близ Грета-Бридж, в Йоркшире,

юношей принимают на пансион, одевают, обстирывают, снабжают книгами и карманными деньгами, доставляют им все необходимое, обучают всем языкам, живым и мертвым, математике, правописанию, геометрии, астрономии, тригонометрии, каковая является видоизмененной тригономикой! В-с-е значит: все без исключения. К-о-н-ч-е-н-о — наречие, значит: ни о чем другом уж и речи нет. С-к-в-и-р-с — Сквирс, имя существительное, воспитатель юношества. А в целом — все кончено со Сквирсом.

Его болтовня позволила Ральфу вновь обрести присутствие духа, и рассудок немедленно подсказал ему необходимость рассеять опасения владельца школы и уверить его, что ради безопасности следует хранить полное молчание.

— Повторяю, вам они повредить не могут, — сказал он. — Вы возбудите дело о незаконном аресте и еще извлечете из этого пользу. Мы придумаем для вас историю, которая помогла бы вам двадцать раз выпутаться из такого пустячного затруднения, как это. А если им нужен залог в тысячу фунтов в обеспечение того, что вы явитесь, в случае если вас вызовут в суд, вы эту тысячу получите. Все, что вы должны делать, — это скрывать правду. Сейчас вы под хмельком, и может быть, не способны понять дело так ясно, как поняли бы в другое время, но вам нужно действовать именно так и владеть собой, потому что промах может привести к неприятностям.

— О! — сказал Сквирс, который хитро смотрел на него, склонив голову набок, словно старый ворон. — Так вот что я должен делать, да? А теперь послушайте и вы словечко-другое. Я не хочу, чтобы для меня придумывали какие-то истории и не хочу их повторять. Если увижу, что дело оборачивается против меня, позабочусь, чтобы вы получили свою долю, можете не сомневаться. Вы никогда ни слова не говорили об опасности! У нас с вами речи не было о том, что меня могут втянуть в такую беду. И так спокойно, как вы полагаете, я к этому относиться не намерен! Когда вы меня впутывали все больше в это дело, я не возражал, потому что мы с вами были связаны, и если бы вы разозлились то, пожалуй, могли бы повредить моему заведению, а если бы вам вздумалось быть милостивым, вы могли бы немало для меня сделать. Ну что ж! Если сейчас дело обернется хорошо, значит вес в порядке! Но если что-нибудь пойдет неладно, значит — времена переменялись, и я буду говорить и делать только то, что мне выгодно, и ни у кого не буду спрашивать совета. Мое нравственное влияние на этих мальчишек, — добавил мистер Сквирс с сугубой важностью, — пошатнулось до самого фундамента. Образы миссис Сквирс, моей дочери и моего сына Уэкфорда, страдающих от недоедания, вечно передо мной! Рядом с ними тают и исчезают все прочие соображения. При таком роковом положении дел единственное число во всей арифметике, какое известно мне как супругу и отцу, это число один!

Долго ли еще декламировал бы мистер Сквирс и к какому бурному спору могла бы привести его декламация, никто не знает. На этом месте его прервало прибытие кареты и полицейского агента, который должен был составить ему компанию. С большим достоинством он водрузил шляпу поверх платка, обмотанного вокруг головы, и, сунув одну руку в карман и просунув другую под руку агента, позволил себя увести.

«Я так и предполагал, раз он не послал за мной! — подумал Ральф. — Этот субъект — вижу ясно по всем его пьяным выходкам — решил пойти против меня. Я окружен таким тесным кольцом, что они, подобно зверям в басне, набрасываются теперь на меня, хотя было время, и не дальше чем вчера, когда эти люди были вежливы и угодливы. Но они не сдвинут меня с места. Я не сойду с дороги. Я не отступлю ни на дюйм!»

Он вернулся домой и обрадовался, узнав, что его экономка жалуется на нездоровье: теперь у него был предлог остаться одному и отослать ее туда, где она жила, а жила она поблизости. Затем при свете одной свечи он сел и в первый раз начал думать обо всем, что произошло в тот день.

Он не ел и не пил со вчерашнего вечера и в добавление к перенесенным душевным страданиям бродил в течение многих часов. Он чувствовал дурноту и изнеможение, но ничего не мог есть, выпил только стакан воды и продолжал сидеть, поддерживая голову рукой — не отдыхая и не думая, но мучительно стараясь и отдохнуть и подумать, сознавая

только, что все его чувства временно оцепенели, кроме чувства усталости и опустошенности.

Было около десяти часов, когда он услышал стук в дверь, но продолжал сидеть неподвижно, как и раньше, словно не в силах был сосредоточиться. Стук повторялся снова и снова, и несколько раз он услышал, как на улице говорили, что в окне свет (он знал, что говорят о его свече), прежде чем заставил себя встать и спуститься вниз.

— Мистер Никльби, получено ужасное известие, и меня прислали за вами — просить, чтобы вы сейчас же отправились со мной, — произнес голос, показавшийся ему Знакомым.

Поднеся руку к глазам и выглянув, он увидел стоявшего на ступеньках Тима Линкинуотера.

— Куда? — спросил Ральф.

— К нам, где вы были сегодня утром. Меня ждет карета.

— Зачем мне туда ехать? — спросил Ральф.

— Не спрашивайте — зачем, но, прошу вас, поедem.

— Второе издание сегодняшнего дня! — произнес Ральф, делая вид, будто хочет закрыть дверь.

— Нет, нет! — воскликнул Тим, схватив его за руку. — Вы должны услышать, что произошло. Нечто ужасное, мистер Никльби! И близко вас касается. Неужели вы думаете, что я стал бы это говорить или приехал бы к вам, если бы дело обстояло иначе?

Ральф посмотрел на него пристальнее. Видя, что тот в самом деле очень взволнован, он заколебался и не знал, что сказать, что подумать.

— Вам лучше выслушать это сейчас, а не в другой раз, — сказал Тим. — Это может оказать на вас какое-то воздействие. Ради бога, идемте!

Быть может, в другое время упрямство и ненависть Ральфа устояли бы перед зовом этих людей, но теперь, после минутного колебания, он вернулся в переднюю за шляпой и, выйдя, сел в карету, не говоря ни слова.

Тим хорошо запомнил и впоследствии часто говорил, что, когда Ральф Никльби пошел за шляпой, он увидел при свете свечи, которую Ральф поставил на стул, что тот пошатывается и спотыкается, как пьяный. Ступив на подножку кареты, — Тим и это хорошо запомнил, — Ральф оглянулся и обратил к нему лицо такое пепельно-серое, такое странное и безучастное, что Тим содрогнулся, был момент, когда он почти боялся следовать за ним. Многим хотелось думать, что в то мгновение Ральфом овладели мрачные предчувствия, но, пожалуй, с большим основанием можно объяснить его волнение тем, что он перенес в тот день.

Глубокое молчание не нарушалось во время поездки. Прибыв к месту назначения, Ральф вошел вслед за своим проводником в дом — в комнату, где находились оба брата. Он был так изумлен, чтобы не сказать устрaшен, каким-то безмолвным сочувствием к нему, сквозившим и в их обращении и в обращении старого клерка, что едва мог говорить.

Однако он сел и ухитрился произнести отрывисто:

— Что... что вы еще... имеете мне сказать, кроме того... что было уже сказано?

Комната была старинная, большая, очень скудно освещенная и заканчивающаяся нишей с окном, где висели тяжелые драпри. Заговорив, он бросил взгляд в ту сторону, и ему почудилось, будто он смутно различает фигуру человека. Это впечатление подтвердилось, когда он увидел, что фигура шевельнулась, как будто смущенная его пристальным взглядом.

— Кто это там? — спросил он.

— Тот, кто доставил нам два часа назад сведения, побудившие нас послать за вами, — ответил брат Чарльз. — Пусть он побудет там, сэр, пусть он пока побудет там.

— Опять загадки! — дрогнувшим голосом произнес Ральф. — Ну-с, сэр?

Обратив лицо к братьям, он принужден был отвернуться от окна, но, прежде чем те успели заговорить, он снова оглянулся. Было ясно, что присутствие невидимого человека вызывает у него беспокойство и замешательство, так как он оглядывался несколько раз и, наконец, придя в нервическое состояние, буквально лишавшее его сил отвести глаза от того места, сел так, чтобы находиться лицом к нему, пробормотав в виде оправдания, что его

раздражает свет.

Братья некоторое время совещались в сторонке. Было заметно по тону их, что они взволнованы. Раза два или три Ральф бросил на них взгляд и в конце концов сказал, сохраняя с большим усилием самообладание:

— Ну, в чем дело? Если меля в такой поздний час увозят из дому, пусть это будет хотя бы не попусту. Что вы хотели мне сказать? — После короткой паузы он добавил: — Умерла моя племянница?

Он коснулся темы, которая облегчила возможность начать разговор. Брат Чарльз повернулся и сказал, что действительно они должны сообщить ему о смерти, но что его племянница здорова.

— Уж не хотите ли вы мне сказать, что ее брат умер? — воскликнул Ральф, сверкнув глазами. — Нет, это было бы слишком хорошо! Я бы не поверил, если бы вы это мне сказали. Это слишком желанная весть, чтобы она оказалась правдой.

— Стыдитесь, жестокий, бессердечный человек! — с жаром вскричал другой брат. — Приготовьтесь выслушать сообщение, которое даже вас заставит отпрянуть и содрогнуться, если остались у вас в груди хоть какие-то человеческие чувства! А если мы вам скажем, что бедный, несчастный мальчик, поистине дитя, но дитя, никогда не знавшее ни одной из тех нежных ласк и ни одного из тех веселых часов, какие на протяжении всей нашей жизни заставляют нас вспоминать о детстве, как о счастливом сне, — доброе, безобидное, любящее создание, которое никогда не оскорбляло вас и не причиняло вам зла, но на которое вы излили злобу и ненависть, питаемые вами к вашему племяннику, и которым вы воспользовались, чтобы дать волю вашим низким чувствам к Николасу, — если мы скажем вам, что сломленный вашим преследованием, сэр, и нуждой, и жестоким обращением на протяжении всей жизни, короткой по годам, но долгой по числу страданий, этот несчастный отправился поведать свою грустную повесть туда, где вам, конечно, придется дать ответ за вашу долю участия в ней?

— Если вы хотите сказать, — начал Ральф, — если вы хотите сказать, что он умер, я вам прощаю все остальное. Если вы хотите сказать, что он умер, я в долгу у вас, ваш должник на всю жизнь. Он умер! Я это вижу по вашим лицам. Кто торжествует теперь? Так вот оно, ваше ужасное известие, ваша страшная новость! Вы видите, как она подействовала на меня. Вы хорошо сделали, что послали за мной. Я бы прошел пешком сто миль по грязи, в слякоть, в темноте, чтобы именно теперь услышать эту весть!

Даже сейчас, как ни был он охвачен этой жестокой радостью, Ральф увидел на лицах обоих братьев наряду с отвращением и ужасом какую-то непонятную жалость к нему, которую заметил раньше.

— И эти сведения принес вам он, — сказал Ральф, указывая пальцем в сторону упомянутой ниши. — И ждал здесь, чтобы увидеть меня поверженным и разбитым! Ха-ха-ха! Но я говорю ему, что еще много дней я буду острым шипом в его боку, а вам обоим я повторяю, что вы его еще не знаете и будете оплакивать тот день, когда пожалели этого бродягу!

— Вы меня принимаете за вашего племянника, — раздался глухой голос. — Лучше было бы и для вас и для меня, если бы я и в самом деле был им.

Фигура, которую он видел так смутно, встала и медленно приблизилась. Он отпрянул. Он увидел, что перед ним стоит не Николас, как он предполагал, — перед ним стоял Брукер.

У Ральфа, казалось ему, не было никаких оснований бояться этого человека. Но бледность, замеченная у него в этот вечер, когда он вышел из дому, снова разлилась по его лицу. Видно было, что он задрожал, и голос его изменился, когда он сказал, устремив взгляд на Брукера:

— Что делает здесь этот человек? Знаете ли вы, что он — каторжник, преступник, просто вор?

— Выслушайте его! О мистер Никльби, выслушайте его, кем бы он ни был! — воскликнули братья с таким жаром, что Ральф с изумлением повернулся к ним.

Они указали на Брукера. Ральф снова взглянул на него — казалось, машинально.

— Этот мальчик, — сказал тот, — о котором говорили джентльмены...

— ...Этот мальчик... — повторил Ральф, тупо глядя на него.

— ...которого я видел мертвым и окоченевшим на его ложе и который теперь в могиле...

— ...который теперь в могиле... — как эхо, повторил Ральф, словно во сне.

Человек поднял глаза и торжественно сложил руки:

— ...был вашим единственным сыном, да поможет мне бог!

Среди мертвого молчания Ральф сел, прижимая руки к вискам. Через минуту он их опустил, и никогда еще не видели такого страшного лица, какое он открыл, не видели ни у кого — разве только у тех, кого обезобразила рана. Он посмотрел на Брукера, стоявшего теперь близко от него, но не произнес ни слова, не издал ни звука, не сделал ни одного жеста.

— Джентльмены! — сказал Брукер. — Я ничего не скажу в свое оправдание. Уже давно нет для меня оправдания. Если, рассказывая, как все это случилось, я говорю, что со мной поступили жестоко и, быть может, исказили подлинную мою природу, — я это делаю не для своей защиты, но только потому, что это необходимо для моего рассказа. Я — преступник.

Он остановился, словно припоминая, и, отведя взгляд от Ральфа и обращаясь к обоим братьям, продолжал приглушенным и смиренным голосом:

— Джентльмены! Среди тех, кто имел некогда дело с этим человеком — то есть лет двадцать или двадцать пять тому назад, — был один неотесанный джентльмен, охотник на лисиц, пьяница, который спустил свое состояние и намеревался промотать состояние своей сестры. Родители у них умерли, и она жила с ним и вела его хозяйство. Не знаю, задумал ли он, — Брукер показал на Ральфа, — воспользоваться силой своей натуры и воздействовать на молодую женщину, но он довольно часто бывал у них в доме в Лейстершире и иногда жила там по нескольку дней. Прежде их связывали тесные деловые отношения, и, быть может, он приезжал из соображений деловых или же с целью поправить дела клиента, которые шли очень плохо. Во всяком случае, он приезжал ради наживы. Сестра джентльмена была девушка не очень молоденькая, но, как я слышал, красивая и располагала большим состоянием. С течением времени он на ней женился. Та же любовь к наживе, которая привела его к этому браку, побудила его окружить брак глубокой тайной, так как завещание ее отца гласило, что, если она выйдет замуж против воли брата, ее состояние, на которое она имела только пожизненное право пользования, пока остается в девицах, должно перейти к другой ветви семьи. Брат не давал согласия, если она не купит его и не заплатит дорого. На такую жертву не соглашался мистер Никльби. Итак, они продолжали хранить брак в тайне и ждали, чтобы брат сломал себе шею или умер от горячки. Этого с ним не случилось, а тем временем у них родился сын. Ребенка отослали к кормилице, подальше от тех мест. Мать видела его только раз или два, да и то тайком, а отец — так жадно домогался он денег, которые теперь были у него, казалось, почти в руках, потому что его шурин был очень болен и с каждым днем ему становилось хуже, — отец ни разу не навещал ребенка, чтобы не возбуждать подозрений. Болезнь брата затягивалась; жена мистера Никльби упорно настаивала, чтобы он объявил о их браке; он решительно отказал. Она осталась одна в скучном деревенском доме, не видя никого или почти никого, кроме разгульных, пьяных охотников. Мистер Никльби жил в Лондоне и вел свои дела. Происходили бурные ссоры, и примерно через семь лет после свадьбы, когда оставалось несколько недель до смерти брата, которая разрешила бы все, она покинула мужа и убежала с более молодым.

Он сделал паузу, но Ральф не шелохнулся, и братья дали знак продолжать.

— Вот тогда-то я услышал об этих обстоятельствах от него самого. Тогда они перестали быть тайной — о них узнали и брат и другие, но мне было сообщено о них не по этой причине, а потому, что я был нужен. Он преследовал беглецов. Кое-кто говорил — чтобы нажиться на позоре своей жены, но я думаю, он преследовал их, чтобы жестоко отомстить, потому что мстительность была свойственна его натуре в той же мере, что и

алчность, если не в большей. Он их не нашел, и вскоре она умерла. Не знаю, показалось ли ему, что он может полюбить ребенка, или он хотел увериться, что ребенок никогда не достанется матери, но только перед отъездом он поручил мне привезти его домой. И я это сделал.

Дальше он продолжал еще более смиренным тоном и говорил очень тихо, указывая при этом на Ральфа:

— Он поступил по отношению ко мне плохо. Жестоко. Об этом я ему напомнил недавно, когда встретил его на улице. И я его ненавижу. Я привез ребенка домой, в его собственный дом, и поместил на чердаке. От плохого ухода ребенок стал болеть, и мне пришлось позвать доктора, который сказал, что мальчик нуждается в перемене климата, иначе он умрет. Я думаю, это-то и навело меня на мысль... И тогда же я ее выполнил. Мистер Никльби отсутствовал полтора месяца, а когда он вернулся, я сказал ему — все подробности были обдуманы и подкреплены доказательствами, никто не мог ни в чем меня заподозрить, — что ребенок умер и похоронен. Может быть, это разрушило какие-то его планы или в нем могло говорить естественное чувство привязанности, но он был огорчен, а я утвердился в своем намерении открыть ему когда-нибудь тайну и превратить ее в орудие вымогательства. Как и многие другие, я слышал об йоркширских школах. Я отвез ребенка в одну из этих школ, которую содержал некий Сквирс, и оставил его там. Я дал ему фамилию Смайк. На протяжении шести лет я платил за него по двадцать фунтов в год, все это время не заикаясь о моей тайне, потому что после новых жестоких обид я бросил службу у его отца и снова с ним поссорился. Меня выслали из этой страны. Я был в отсутствии почти восемь лет. Немедленно по возвращении на родину я поехал в Йоркшир и, бродя вечером по деревне, наводил справки о мальчиках в школе и скоро узнал, что тот, кого я там поместил, убежал с молодым человеком, носившим ту же фамилию, что и отец мальчика. Я разыскал его отца в Лондоне и намекнул, что могу ему кое-что сообщить. Я попытался добыть денег на жизнь, но он оттолкнул меня с угрозами. Тогда я отыскал его клерка и, действуя осторожно и внушив ему необходимость вступить в сношения со мной, узнал о том, что происходит. И это я сказал ему, что мальчик — не сын того человека, который выдает себя за его отца. За все это время я ни разу не видел мальчика. Наконец из того же источника я получил сведения, что он очень болен и где он находится. Я поехал туда, чтобы, если возможно, воскресить в его памяти воспоминание обо мне и этим подтвердить то, что я рассказываю. Я появился перед ним неожиданно, но не успел я заговорить, как он узнал меня (у бедняги были все основания меня помнить!), а я мог бы поклясться, что это он, даже если бы встретил его в Индии. Я узнал это жалобное выражение лица, которое видел у маленького ребенка. После нескольких дней колебаний я обратился к молодому джентльмену, на чьем попечении он находился, и услышал, что юноша умер. Молодой джентльмен знает, что Смайк узнал меня сразу, он часто описывал ему меня, рассказывая о том, как я оставил его в школе. Смайк помнил и чердак — о нем я упоминал, — он есть и по сей день в доме его отца. Вот моя история. Я хочу, чтобы меня свели лицом к лицу с владельцем школы и проверили любую часть моего рассказа, и я докажу, что все в нем — правда и на моей душе этот грех.

— Несчастный! — воскликнули братья. — Чем можете вы его искупить?

— Ничем, джентльмены, ничем! Ничем не могу искупить, и нет у меня теперь никакой надежды. Я стар годами, а горе и невзгоды делают меня еще старше. Это признание не может принести мне ничего, кроме новых страданий и кары, но я не отрекусь от него, что бы ни случилось! Я стал орудием страшного возмездия, настигшего этого человека, который, жадно стремясь к своей низкой цели, преследовал свое родное дитя и привел его к смерти. Это возмездие должно настигнуть и меня. Да, я знаю, оно должно обрушиться на меня! Слишком поздно мне искупать вину и ни в этом мире, ни в будущем не может быть у меня никакой надежды!

Едва он кончил говорить, как лампа, стоявшая на столе неподалеку от Ральфа, была сброшена на пол, и они остались в темноте. После недолгого замешательства зажгли другую. Все это произошло очень быстро, но когда загорелся свет, Ральф Никльби уже исчез.

Некоторое время добрые братья и Тим Линкинуотер ждали его возвращения; когда же стало очевидно, что он не вернется, они заколебались, посылать или не посылать за ним. Наконец, припомнив, как безмолвно и странно сидел он, не меняя позы, во время свидания, и опасаясь, не болен ли он, они решили, невзирая на поздний час, послать за ним на дом под каким-нибудь предлогом. Найдя оправдание в присутствии Брукера, с которым они не знали, как поступить, не справившись с желаниями Ральфа, они постановили выполнить это решение, прежде чем лечь спать.

Глава LXI,

в которой Николас и его сестра роняют себя в глазах всех светских и благоразумных людей

На следующее утро после исповеди Брукера Николас вернулся домой. При встрече были очень взволнованы и он и его домашние, так как из его писем они знали о случившемся, и, помимо того, что его горе было их горем, они вместе с ним оплакивали смерть того, чье жалкое положение и беспомощность завоевали право на их сострадание и чье правдивое сердце и благородная пылкая натура вызывали с каждым днем все большую их любовь.

— Разумеется, — говорила миссис Никльби, утирая глаза и горько всхлипывая, — я потеряла самое лучшее, самое усердное, самое внимательное существо, которое было при мне когда-либо в моей жизни — конечно, за исключением тебя, мой дорогой Николас, и Кэт, и вашего бедного папы, и той примерной няни, которая ушла от нас, захватив с собой белье и дюжину вилок. Мне кажется, он был самым сговорчивым, самым тихим, преданным и верным созданием, когда-либо жившим на свете. Смотреть теперь на этот сад, которым он так гордился, или зайти в его комнату и увидеть, сколько там этих маленьких вещиц, изобретенных для нашего удобства, которые он так любил мастерить и так хорошо мастерил, даже не помышляя о том, что они останутся недоделанными, — нет, этого я не могу вынести, право же, не могу! Ах! Это великое испытание для меня, великое испытание! Утешительно будет для тебя, дорогой мой Николас, до конца жизни вспоминать о том, как ты был всегда ласков и добр к нему, да и для меня утешительно думать, в каких мы были с ним превосходных отношениях и как он любил меня, бедняжка! Вполне естественно, что ты, дорогой мой, был привязан к нему, вполне естественно, и конечно, ты очень потрясен случившимся. Право же, чтобы заметить это, достаточно посмотреть на тебя и увидеть, как ты изменился. Но никто не знает, что чувствую я, никто не может знать, это невозможно!

В то время как миссис Никльби весьма искренне изливала свою печаль со свойственной ей привычкой выдвигать себя на первое место, Кэт, хотя она и забывала о себе, когда нужно было думать о других, испытывала такие же чувства. Маделайн была опечалена вряд ли меньше, чем она; а бедная отзывчивая честная маленькая мисс Ла-Криви, которая во время отсутствия Николаса явилась с очередным визитом и, узнав о печальном событии, только и делала, что утешала и подбадривала их всех, теперь, едва увидев входившего в дом Николаса, опустила на ступеньки лестницы и, залившись потоком слез, долго не хотела слушать никаких увещаний.

— Мне так горько видеть, что он вернулся один! — воскликнула бедняжка. — Я не могу не думать о том, как пришлось ему самому страдать. Я была бы спокойнее, если бы он дал больше воли своим чувствам, но он переносит это так мужественно.

— Но ведь так я и должен себя держать, — сказал Николас, — не правда ли?

— Да, да! — ответила маленькая женщина. — Какой вы хороший человек! Но сейчас такой простой душе, как я, кажется, что... я знаю, нехорошо так говорить, и скоро пожалею об этом... мне кажется, это такая жалкая награда за все, что вы сделали.

— О нет! — ласково сказал Николас. — Какую же лучшую награду мог бы я получить, чем сознание, что последние его дни протекли мирно и счастливо и что я был постоянным

его спутником и оставался при нем, хотя этому могли помешать сотни обстоятельств?

— Конечно, — всхлипывая, сказала мисс Ла-Криви, — это сущая правда, а я — неблагодарное, нечестивое, злое, глупое создание! Я это знаю!

С этими словами добрая душа разрыдалась снова и, стараясь овладеть собой, попробовала засмеяться. Смех и плач, столь резко столкнувшись друг с другом, вступили в борьбу; в результате произошел бой, силы противников были равны, и у мисс Ла-Криви началась истерика.

Дождавшись, когда все более или менее успокоились и пришли в себя, Николас, нуждавшийся в отдыхе после долгого путешествия, ушел к себе в комнату, бросился, не раздеваясь, на постель и крепко заснул. Проснувшись, он увидел сидевшую у кровати Кэт, которая, заметив, что он открыл глаза, наклонилась поцеловать его.

— Я пришла сказать тебе о том, как я рада, что ты опять дома.

— А я и сказать тебе не могу, как я рад тебя видеть, Кэт.

— Мы так томились, ожидая твоего возвращения, — сказала Кэт, — и мама, и я, и... и Маделайн.

— В последнем письме ты писала, что она совсем здорова, — быстро перебил Николас и при этом покраснел. — С тех пор как я уехал, ничего не было сказано о том, что предполагают братья сделать для нее?

— О, ни слова! — ответила Кэт. — Я не могу подумать без горечи о разлуке с ней, и, конечно, ты, Николас, не хочешь этого!

Николас снова покраснел и, усевшись рядом с сестрой на маленькую кушетку у окна, сказал:

— Да, Кэт, не хочу! Я могу пытаться скрыть подлинные мои чувства от всех, кроме тебя, но тебе я скажу, что... одним словом, Кэт, я ее люблю.

Глаза Кэт загорелись, и она хотела что-то ответить, но Николас взял ее руку в свою и продолжал:

— Никто не должен об этом знать, кроме тебя. Меньше всех она.

— Дорогой Николас!

— Меньше всех она. Иной раз я стараюсь думать о том, что, быть может, настанет день, когда я смогу честно сказать ей все; но этот день так далек, в такой туманной дали, столько лет пройдет, прежде чем он настанет! А когда он настанет (если это случится), я буду так непохож на того, каков я сейчас, и так далеко позади останутся дни юности и романтики, — но не дни моей любви к ней, в этом я уверен! — что даже я понимаю, как призрачны такие надежды, и сам стараюсь безжалостно их разрушить и покончить с этой мукой, а не ждать, чтобы они увяли с годами, и не обрекать себя на разочарование. Кэт! Со дня моего отъезда у меня постоянно был перед глазами этот бедный юноша, ушедший от нас, — еще один пример великодушной щедрости благородных братьев. Поскольку это в моих силах, я хочу быть достойным их, и если раньше, исполняя свой долг по отношению к ним, я колебался, то теперь я решил исполнять его неуклонно и без дальнейших промедлений отстранить от себя все соблазны.

— Прежде чем продолжать, дорогой Николас, выслушай, что я должна тебе сказать, — поблуднев, произнесла Кэт. — Для этого я пришла сюда, но у меня не хватило мужества. То, что сказал ты сейчас, придает мне храбрости.

Она запнулась и расплакалась.

Ее поведение подготовило Николаса к тому, что должно было последовать. Кэт пыталась говорить, но слезы ей мешали.

— Полно, глупенькая! — сказал Николас. — Кэт, Кэт, будь настоящей женщиной! Мне кажется, я знаю, что ты хочешь мне сказать. Это касается мистера Фрэнка, не правда ли?

Кэт опустила голову ему на плечо и, всхлипывая, ответила:

— Да.

— Может быть, он тебе сделал предложение, пока меня не было, — продолжал Николас, — не так ли? Полно, полно! Ты видишь, в конце концов не так уж трудно было

признаться. Он сделал тебе предложение?

— На которое я ответила отказом, — сказала Кэт.

— Так. А почему?

— Я сказала ему все, что, как я потом узнала, ты говорил маме, — дрожащим голосом отвечала она. — И хотя я не могла скрыть от него, — и от тебя не могу, — что для меня это горе и большое испытание, однако я это сказала ему твердо и просила его больше не видаться со мной.

— Кэт, ты прямо молодец! — воскликнул Николас, прижимая ее к груди. — Я знал, что ты так поступишь.

— Он убеждал меня изменить решение, — сказала Кэт. — Он заявил, что, каково бы оно ни было, он не только уведомит обоих братьев о сделанном им шаге, но и сообщит о нем тебе, как только ты вернешься. Боюсь, — добавила она, теряя самообладание, на минуту обретенное ею, — боюсь, что я, пожалуй, недостаточно ясно сказала ему о том, как глубоко тронута я такой бескорыстной любовью и как горячо молюсь о его счастье. Если ты будешь с ним говорить, я бы хотела... я бы хотела, чтобы он это знал.

— Неужели ты думала, Кэт, когда приносила эту жертву долгу и чести, что я уклонюсь от исполнения моего долга? — ласково спросил Николас.

— О нет! Если бы твое положение было такое же, как мое, но...

— Но оно такое же! — перебил Николас. — Мадelayн не является близкой родственницей наших благодетелей, но она с ними связана не менее крепкими узами. Историю ее жизни я узнал от них благодаря безграничному доверию, какое они ко мне питают, полагая, что я человек надежный. Как низко было бы с моей стороны воспользоваться обстоятельствами, которые привели ее сюда, или оказанной мною ничтожной услугой и добиваться ее любви, если в случае моего успеха не сбылось бы самое горячее желание братьев позаботиться о ней, как о своей родной дочери! Могло бы показаться, что я надеюсь построить свое благополучие на их сострадании к юному существу, которое я так гнусно и недостойно заманил в свои сети, пользуясь даже благодарностью ее и горячим ее сердцем для собственной выгоды и играя на ее несчастье! Я тоже, Кэт. — я, который почитает своим долгом, гордостью и счастьем признавать права на меня других людей, права, о которых мне никогда не забыть, — я, имеющий средства к благополучной и счастливой жизни и не смеющий посягать на большее, я решил снять эту тяжесть с моей души! Не знаю, не причинил ли я уже зла. И сегодня я без всяких оговорок и умолчаний открою истинные мои побуждения мистеру Чнриблу и буду умолять его, чтобы он немедленно принял меры и предоставил этой молодой леди убежище под чьим-нибудь другим кровом.

— Сегодня? Так скоро!

— Я думал об этом в течение нескольких недель, зачем же откладывать? Если картины, только что развернувшиеся перед моими глазами, научили меня размышлять и пробудили во мне глубокое сознание долга, зачем мне ждать, пока впечатление потускнеет? Ведь ты бы не стала отговаривать меня, Кэт, не так ли?

— Но ты можешь разбогатеть... — сказала Кэт.

— Могу разбогатеть! — с грустной улыбкой повторил Николас. — И состариться я тоже могу! Но богатые или бедные, старые или молодые, мы друг для друга всегда будем теми же, что теперь, и в этом наше утешение. Что за беда, если у нас с тобой останется общий домашний очаг? И ты и я никогда не будем одиноки. Что за беда, если мы не изменим этим первым чувствам ради других? Это лишь еще одно звено в той крепкой цепи, которая нас связывает. Кажется, не дальше чем вчера мы играли вместе в наши детские игры, и когда мы станем стариками и вспомним нынешние заботы, как вспоминаем мы сейчас заботы детских дней, нам так же будет казаться, что это были детские игры, и с меланхолической улыбкой мы воскресим в памяти то время, когда эти заботы могли нас огорчать. Мы станем чудаковатыми стариками и заговорим о тех временах, когда наша поступь была легче и волосы не тронуты сединой, и вот тогда, быть может, мы будем благодарны за те испытания,

какие укрепили нашу взаимную привязанность и направили нашу жизнь по тому руслу, по какому она протекала так тихо и безмятежно. И, угадав кое-что из нашей повести, молодые люди, окружающие нас, — такие же молодые, как молоды сейчас мы с тобой, Кэт, — быть может, придут к нам за сочувствием. Они будут изливать свои горести, для которых у людей, полных надежд и неопытных, вряд ли найдется достаточно сострадания, изливать отзывчивым слушателям — старому холостяку-брату и его сестре, старой девушке.

Кэт улыбалась сквозь слезы, пока Николас рисовал эту картину, но то не были слезы скорби, хотя они и продолжали струиться, когда он замолчал.

— Разве я не прав, Кэт? — спросил он после короткой паузы.

— Ты совершенно прав, дорогой брат. Я и рассказать не могу, как я счастлива, что поступила именно так, как бы ты хотел.

— Ты не жалеешь?

— Н-н-нет, — нерешительно сказала Кэт, рисуя маленькой ножкой какие-то узоры на полу. — Конечно, я не жалею, что поступила так, как требует честь и долг. Но я жалею, что этому суждено было случиться... во всяком случае, иногда я об этом жалею, и иногда я... Я не знаю, что говорю... Я всего только слабая девушка, Николас, и меня это очень взволновало.

Можно, не преувеличивая, сказать, что, будь в эту минуту у Николаса десять тысяч фунтов, он в порыве великодушной любви к обладательнице этих зарумянившихся щек и потупленных глаз отдал бы все до последнего фартинга, совершенно забывая о себе, чтобы обеспечить ее счастье. Но он мог только утешать и успокаивать ее ласковыми словами, и столько было любви, нежности и бодрости в этих словах, что бедная Кэт обвила руками его шею и обещала больше не плакать.

«Какой человек, — с гордостью думал вскоре после этого Николас, направляясь к дому братьев, — какой человек не был бы достаточно вознагражден за любую денежную жертву, если ему принадлежит сердце такой девушки, как Кэт! Бесценное сердце! Но сердца весят так мало, а золото и серебро — много!.. У Фрэнка есть деньги, и больше ему не нужно. Но где мог бы он купить такое сокровище, как Кэт? И, однако, полагают, что в неравных браках богатый всегда приносит великую жертву, а бедный заключает выгодную сделку! Впрочем, я рассуждаю, как влюбленный или как осел; думаю, что это почти одно и то же».

Заглушив такими самообвинениями мысли, столь мало располагавшие к тому делу, по какому он шел, Николас продолжал путь и скоро предстал перед Тимом Линкинуотером.

— Мистер Никльби! — воскликнул Тим. — Да благословит вас бог! Как поживаете? Хорошо? Скажите же мне, что вы совсем здоровы и никогда не чувствовали себя лучше. Скажите!

— Я совсем здоров, — сказал Николас, пожимая ему обе руки.

— Вот как! — сказал Тим. — Но теперь, присмотревшись, я замечаю, что вид у вас усталый. Послушайте! Это он, слышите? Это Дик, черный дрозд. Он был сам не свой, с тех пор как вы уехали. Теперь он не может обойтись без вас. Он привязан к вам не меньше, чем ко мне.

— Дик далеко не такой сметливый малый, каким я его считал, если он полагает, что я заслуживаю его внимания не меньше, чем вы, — ответил Николас.

— Вот что я вам скажу, сэр, — начал Тим, принимая свою излюбленную позу и указывая кончиком гусиного пера на клетку, — разве не изумительно, что единственные люди, на которых эта птица обращает внимание, это мистер Чарльз, мистер Нэд, вы и я?..

Тут Тим остановился и с тревогой посмотрел на Николаса, затем, поймав его взгляд, повторил: «Вы и я, сэр, вы и я». А затем он снова посмотрел на Николаса и, сжав его руку, сказал:

— Плохо я умею откладывать разговор о том, что меня беспокоит. Я решил вас не расспрашивать, но мне хотелось бы знать кое-какие подробности об этом бедном мальчике. Вспоминал ли он о братьях Чирпбл?

— Да, — отозвался Николас, — много-много раз.

— Это он хорошо сделал, — сказал Тим, вытирая глаза, — это он очень хорошо сделал!

— И десятки раз он говорил о вас, — продолжал Николас, — и часто просил меня передать от него горячий привет мистеру Линкинуотеру.

— Как? Неужели? — сказал Тим, громко всхлипывая. — Бедняга! Жаль, что мы не могли похоронить его в городе. Во всем Лондоне нет лучше кладбища, чем то маленькое, за площадью, — там вокруг него одни торговые конторы, и если вы пойдете туда в ясную погоду, то можете увидеть в открытые окна бухгалтерские книги и несгораемые шкафы. И он передавал мне горячий привет? Да? Я не думал, что он обо мне вспомнит. Бедный мальчик, бедный мальчик!.. Горячий привет!

Тим был так растроган этим маленьким знаком внимания, что в данный момент решительно не мог продолжать разговор. Поэтому Николас потихоньку выскользнул за дверь и отправился в комнату брата Чарльза.

Если до сих пор он и сохранял твердость и самообладание, то это стоило ему усилий, причинявших немалую боль; но теплый прием, сердечное обращение, простодушное, непритворное сострадание доброго старика проникли в его сердце, и никакая борьба с собой не помогла ему Это скрыть.

— Полно, полно, дорогой мой сэр, — сказал благодущный купец, — не следует падать духом. Нет, нет! Мы должны учиться переносить несчастья, и мы должны помнить, что много есть источников утешения даже в смерти. С каждым прожитым днем этот бедный мальчик становился бы все менее и менее приспособленным к жизни и все больше и больше чувствовал бы, чего ему недостает. Это случилось к лучшему, дорогой мой сэр. Да, да, да, это к лучшему.

— Обо всем этом я думал, сэр, — откашлявшись, ответил Николас. — Уверяю вас, я это понимаю.

— Вот и прекрасно! — отозвался мистер Чирибл, который, произнося все эти утешительные слова, был расстроен не меньше, чем честный старый Тим. — Вот и прекрасно! Где мой брат Нэд? Тим Линкинуотер, сэр, где мой брат Нэд?

— Ушел с мистером Триммерсом распорядиться, чтобы этого несчастного человека перевезли в больницу и прислали няню к его детям, — ответил Тим.

— Мой брат Нэд хороший человек, превосходный человек! — воскликнул брат Чарльз, закрыв дверь и вернувшись к Николасу. — Он будет чрезвычайно рад вас видеть, дорогой мой сэр! Мы говорили о вас каждый день.

— По правде сказать, сэр, я рад, что застал вас одного, потому что я хочу кое-что сообщить вам, — проговорил Николас с понятной нерешительностью. — Можете ли вы уделить мне несколько минут?

— Конечно, конечно! — ответил брат Чарльз, посмотрев на него с беспокойством. — Говорите, дорогой мой сэр, говорите.

— Право, не знаю, как и с чего начать, — сказал Николас. — Если были когда-нибудь у человека основания проникнуться любовью и уважением к другому человеку, испытывать к нему такую привязанность, что самая тяжелая служба приносит радость и наслаждение, хранить такую благодарную память, что она должна пробудить величайшее рвение и преданность, то такие чувства должен питать к вам я, и питаю их всем сердцем и душой, поверьте мне!

— Я вам верю и счастлив этим, — ответил старый джентльмен. — Я в этом никогда не сомневался и не буду сомневаться. Уверен, что не буду.

— Доброта, с какою вы это говорите, дает мне смелость продолжать, — сказал Николас. — Когда вы оказали мне доверие и послали с теми поручениями к мисс Брэй, я должен был бы вам сказать, что видел ее задолго до этого и что ее красота произвела на меня впечатление, которого я не мог забыть, и что я бесплодно старался найти ее и узнать историю ее жизни. Я вам об этом не сказал, потому что тщетно надеялся побороть более слабые мои чувства и подчинить все прочие соображения чувству долга перед вами.

— Мистер Никльби, — сказал брат Чарльз, — вы не обманули доверия, которое я вам

оказал, и не воспользовались им недостойно. Я уверен, что вы этого не сделали.

— Я этого не сделал, — твердо заявил Николас. — Хотя я убедился, что необходимость владеть собой и обуздывать себя возрастает с каждым днем и трудности увеличиваются, я никогда не позволял себе ни слова, ни взгляда, каких не позволил бы себе в вашем присутствии. Я никогда не нарушал оказанного мне доверия, не нарушаю его и теперь. Но я вижу, что постоянное общение с этой прелестной девушкой пагубно для спокойствия моего духа и может губительно повлиять на принятые мною вначале решения, которым я до сих пор не изменял. Короче говоря, сэр, я не могу доверять самому себе и прошу и заклинаю вас незамедлительно увезти эту молодую леди, порученную заботам моей матери и сестры. Я знаю, что для всех, кроме меня, — для вас, видящих неизмеримое расстояние между мной и этой молодой леди, которая является теперь вашей опекаемой и предметом вашего особого внимания, — моя любовь к ней, мои мечты о ней должны казаться верхом безрассудства и дерзости. Я знаю, что это так! Но, наблюдая ее, как наблюдал я, зная, какова была ее жизнь, кто может ее не любить? У меня есть только это одно оправдание. А так как я не могу бежать от соблазна и не могу побороть эту страсть, постоянно видя предмет страсти перед собою, что остается мне делать, как не просить вас, чтобы вы его удалили и дали мне возможность забыть ее!

— Мистер Никльби, — сказал старик после короткого молчания, — большего вы не можете сделать. Я был неправ, подвергая этому испытанию такого молодого человека, как вы. Я мог бы предвидеть, что должно случиться. Благодарю вас, сэр, благодарю вас. Маделайн переедет.

— Если бы вы оказали мне милость, сэр, и никогда не сообщали ей об этом признании, чтобы она могла вспоминать обо мне с уважением...

— Я об этом позабочусь, — сказал мистер Чирибл. — Итак, это все, что вы имеете мне сказать?

— Нет! — возразил Николас, встретив его взгляд. — Это не все.

— Остальное мне известно, — сказал мистер Чирибл, которому такой быстрый ответ доставил, по-видимому, большое облегчение. — Когда это дошло до вашего сведения?

— Сегодня утром, когда я приехал домой.

— Вы считали своим долгом немедленно прийти ко мне и сообщить то, что несомненно сказала вам ваша сестра?

— Да, — ответил Николас, — хотя я бы предпочел поговорить сначала с мистером Фрэнком.

— Фрэнк был у меня вчера вечером, — сказал старый джентльмен. — Вы поступили хорошо, мистер Никльби, очень хорошо, сэр! И я благодарю вас еще раз.

Николас попросил разрешения добавить несколько слов. Он выразил надежду, что все им сказанное не поведет к разрыву между Кэт и Маделайн, которые привязались друг к другу, а конец этой дружбы причинит, как он знал, страдание им и принесет еще больше страданий ему, как злосчастному виновнику всего происшедшего. Когда все это забудется, он надеется, что Фрэнк и он смогут быть по-прежнему добрыми друзьями и ни одно слово, ни одна мысль о его скромном доме и о сестре, которая готова остаться с ним и жить его тихой жизнью, никогда не нарушат впредь установившегося между ними согласия. Он рассказал, по возможности точно, обо всем происшедшем в то утро между ним и Кэт, говорил о ней с такой гордостью и любовью и так бодро упомянул об их уверенности в победе над эгоистическими сожалениями, что мало кто мог слушать его не растрогавшись. Он сам, растроганный больше, чем раньше, выразил в нескольких торопливых словах — быть может, не менее выразительных, чем самые красноречивые тирады, — свою преданность братьям и надежду жить и умереть на службе у них.

Все это брат Чарльз выслушал в глубоком молчании, повернув свое кресло так, чтобы Николасу не видно было его лица. И заговорил он не обычным своим тоном, но как-то принужденно и с некоторым замешательством, совершенно ему чуждым. Николас боялся, что обидел его. Тот сказал: «Нет, нет, вы поступили совершенно правильно»; но больше

ничего не добавил.

— Фрэнк — глупый сорванец, — сказал он, наконец, когда Николас замолчал, — очень глупый сорванец. Я позабочусь о том, чтобы немедленно это прекратить. Не будем больше говорить на эту тему, меня это очень огорчает. Придите ко мне через полчаса. Я имею вам сообщить странные вещи, дорогой мой сэр, а ваш дядя просит, чтобы вы вместе со мной посетили его сегодня под вечер.

— Посетить его! Вместе с вами, сэр! — воскликнул Николас.

— Да, со мной, — ответил старый джентльмен. — Вернитесь ко мне через полчаса, и я расскажу вам еще кое-что.

Николас явился в указанное время и тогда узнал обо всем, что произошло накануне, и о назначенном на этот вечер свидании, о котором условился Ральф с братьями. А для того, чтобы все это было более понятно, необходимо вернуться назад и пойти по стопам самого Ральфа, вышедшего из дома близнецов. Поэтому мы оставляем Николаса, которого слегка успокоило их расположение к нему, снова заметное в их обращении; но Николас чувствовал, что их отношение отличается от прежнего (хотя вряд ли он знал, чем именно), вот почему он испытывал смущение, неуверенность и беспокойство.

Глава LXII,

Ральф назначает последнее свидание и не отказывается от него

Крадучись, как вор, шаря руками, словно слепец, Ральф Никльби потихоньку выбрался из дому и бросился бежать, часто оглядываясь через плечо, как будто его преследовал некто, стремившийся допросить его или задержать; оставив позади Сити, он направился к своему жилищу.

Ночь была темная, и дул холодный ветер, яростно и стремительно гоня перед собой тучи. Черное, мрачное облако как будто преследовало Ральфа — оно не мчалось вместе с другими в диком беге, но медлило сзади и надвигалось угрюмо и исподтишка. Он часто оглядывался на это облако и не раз останавливался, чтобы пропустить его вперед; но почему-то, когда он снова пускался в путь, оно по-прежнему было позади, приближаясь уныло и медленно, как призрачная похоронная процессия.

Он должен был миновать бедное, жалкое кладбище — печальное место, поднимавшееся на несколько футов над уровнем улицы и отделенное от нее низким парапетом и железной решеткой — заросший травой нездоровый, грязный участок земли, где даже дерн и сорняки, разросшиеся в беспорядке, как будто говорили о том, что они поднялись из плоти бедняков и пробились корнями в могилы людей, которые при жизни гнили в сырых дворах и пьяных, голодных притонах. И здесь они лежали, отделенные от живых тонким слоем земли и двумя-тремя досками, лежали вплотную — разлагающиеся телесно, как при жизни разложились духовно, — густая и убогая толпа. Здесь они лежали бок о бок с жизнью, почти под самыми ногами людей, ежедневно тут проходивших. Здесь они лежали, страшная семья, все эти дорогие отошедшие братья и сестры румяного священника, который так быстро сделал свое дело, когда их зарывали в землю!

Проходя мимо, Ральф припомнил, что когда-то он был одним из присяжных по делу о самоубийстве¹⁰⁵ человека, перерезавшего себе горло, и что этот человек похоронен здесь. Он не мог бы сказать, почему это вспомнилось ему сейчас, ведь он так часто проходил здесь и никогда об этом человеке не думал, и почему это обстоятельство вызвало у него интерес; но теперь он вспомнил и, остановившись, сжал руками железную решетку и стал жадно всматриваться, размышляя, где может находиться его могила.

Когда он стоял, поглощенный этим занятием, к нему приблизились с громкими

криками и пением какие-то пьяные парни; другие, следуя за ними, услаивали их и уговаривали спокойно вернуться домой. Они были в превосходнейшем расположении духа, а один из них, маленький сморщенный горбун, пустился в пляс. Вид у него был странный и фантастический, и немногочисленные зрители захохотали. Сам Ральф развеселился и засмеялся вместе со стоявшим поблизости человеком, который оглянулся и посмотрел ему в лицо. Когда компания двинулась дальше и Ральф снова остался один, с каким-то новым интересом вернулся он к своим мыслям, ибо ему припомнилось, что последний, кто видел самоубийцу при жизни, оставил его очень веселым; и Ральф вспомнил, что тогда это показалось странным и ему и другим присяжным.

Он не мог установить, где это место, среди такого скопления могил, но он вызвал в памяти отчетливый и яркий образ человека, его внешность и подумал о том, что толкнуло его на этот шаг; все припомнил он без труда. Сосредоточившись на этих мыслях, он унес с собой этот образ, когда пошел дальше, и вспомнилось ему, что в детстве перед ним часто вставал облик какого-то нарисованного мелом на двери гнома, которого он однажды увидел. Но, приближаясь к своему жилищу, он снова забыл о нем и стал думать о том, какая тоска и одиночество ждут его дома.

Это чувство усиливалось, и, дойдя до своей двери, он еле заставил себя повернуть ключ и открыть ее. Вступив в коридор, он почувствовал, что, закрывая ее, он как бы оставит за нею мир. Но он дал ей закрыться, и она захлопнулась с громким шумом. Света не было. Как было мрачно, холодно и безмолвно!

Дрожа с головы до ног, он прошел наверх, в комнату, где в последний раз нарушили его одиночество. Он словно заключил договор с самим собой, что не будет размышлять о случившемся, пока не вернется домой. Теперь он был дома и позволил себе задуматься об этом.

Его родное дитя, его родное дитя! Он ни разу не усомнился в правдивости рассказа; он чувствовал, что это не ложь, знал это так же твердо, словно всегда был в это посвящен. Его ребенок. И он умер. Умирал около Николаса, любил его и смотрел на него, как на какого-то ангела! Это было самое худшее.

Все отвернулись от него и покинули его при первой же беде. Даже за деньги никого нельзя было купить теперь; все должно обнаружиться, и все должны узнать обо всем. Молодой лорд умер, его приятель за границей и недосыгаем, десять тысяч фунтов потеряны, план его и Грайда рухнул в тот момент, когда можно было торжествовать победу, дальнейшие его планы раскрыты, сам он в опасности, мальчик, затравленный им и любимый Николасом, оказался его несчастным сыном; все рассыпалось и обрушилось на него, и он лежит, придавленный развалинами, и пресмыкается в пыли.

Если бы он знал, что его ребенок жив, если бы не было этого обмана и ребенок вырос под его надзором, быть может он был бы небрежным, равнодушным, грубым, жестоким отцом, — весьма вероятно, и он это признавал; но мелькала мысль, что могло бы случиться иначе, что его сын мог служить ему утешением и они были бы счастливы вдвоем. Теперь он начал думать, что предполагаемая смерть сына и бегство жены в какой-то мере способствовали его превращению в того угрюмого, жестокого человека, каким он был. Он, казалось, припоминал те времена, когда был не таким суровым и ожесточенным, и он почти признавал, что впервые возненавидел Николаса потому, что Николас был молод и красив и, пожалуй, походил на того юношу, который был повинен в его бесчестье и потере состояния.

Но в этом вихре страстей и угрызений совести одна добрая мысль или одно инстинктивное сожаление были подобны капле воды, бесшумно упавшей в бурное, беснующееся море. Его ненависть к Николасу возросла на почве его собственного поражения, питалась вмешательством Николаса в его интриги, тучнела благодаря давнему вызову, брошенному Николасом, и его победе. Были причины для ее усиления; она росла и крепла постепенно. Теперь эта ненависть стала безумной и переходила, казалось, в буйное помешательство. Как! Именно Николас протянул руку, чтобы спасти его несчастного ребенка; он был его защитником и верным другом; он подарил ему любовь и нежность,

каких тот не знал со злосчастной минуты своего рождения; он научил его ненавидеть родного отца и даже имя его проклинать; он знал теперь об этом и торжествовал, вспоминая... вот почему горечь и бешенство захлестнули сердце ростовщика. Любовь умершего мальчика к Николасу и привязанность Николаса к нему были нестерпимой мукой. Смертное его ложе, и Николас подле него, ухаживает за ним, а он шепчет слова благодарности и умирает у него на руках, — а ведь Ральф хотел бы их видеть смертельными врагами, ненавидящими друг друга, — эта картина привела его в бешенство. Он заскрежетал зубами, ударил кулаком в пустоту и, дико озираясь, сверкая глазами во тьме, громко воскликнул:

— Я растоптан и погиб! Правду сказал мне негодяй: спустилась ночь! Неужели нет средства лишить их нового торжества и презреть их милосердие и сострадание? Неужели нет дьявола, который помог бы мне?

Перед его духовным взором вновь быстро пронеслось видение, которое он уже вызвал к жизни в ту ночь. Казалось, тот человек лежал перед ним. Теперь голова его была прикрыта. Так было, когда он в первый раз его увидел. И окоченевшие, сведенные судорогой мраморные ноги он помнил хорошо. Потом предстали перед ним бледные родственники, которые рассказывали во время следствия о том, что было им известно... Вопли женщин... немой ужас мужчин... страх и тревога... победа, одержанная этой горсткой праха, который одним движением руки покончил с жизнью и вызвал среди них смятение...

Больше он не произнес ни слова, но, помедлив немного, вышел потихоньку из комнаты и поднялся по гулкой лестнице на самый верх — на чердак. Там он закрыл за собой дверь, и там он остался.

Теперь здесь был свален всякий хлам, еще стояла старая ветхая кровать, на которой спал его сын, ибо другой кровати здесь никогда не бывало. Он быстро отошел и сел как можно дальше от нее.

Тусклого света фонарей на улице внизу, пробивавшегося в окно без занавески, было достаточно, чтобы рассеять мрак в комнате, хотя при таком свете нельзя было рассмотреть старые, перевязанные веревкой сундуки, поломанную мебель и всевозможный хлам, валявшийся повсюду. Потолок был скошен: высокий с одной стороны, он спускался с другой чуть ли не до пола. И к самой высокой его точке Ральф устремил взгляд и пристально смотрел на нее в течение нескольких минут. Потом он встал и передвинув старый ящик, на котором сидел, влез на него и обеими руками стал шарить по стене над головой. Наконец руки его коснулись большого железного крюка, крепко вбитого в балку.

В этот момент ему помешал громкий стук в дверь внизу. После недолгого колебания он открыл окно и спросил, кто там.

— Мне нужно мистера Никльби, — раздался ответ.

— Что вам от него нужно?

— Но ведь говорит не мистер Никльби? — последовало возражение.

Верно, голос отвечавшего был непохож на голос Ральфа, однако говорил Ральф, что он и сказал.

Послышался ответ, что братья-близнецы желают знать, задержать ли человека, которого он видел в тот вечер, и что, хотя сейчас уже полночь, они послали узнать, как следует с ним поступить.

— Задержать, — крикнул Ральф. — Пусть задержат его до завтра! Потом пусть приведут его сюда — его и моего племянника — и сами пусть придут и удостоверятся, что я готов их принять.

— В котором часу? — осведомился голос.

— Когда угодно, — злобно ответил Ральф. — Скажите им — после полудня. В любой час, в любую минуту. Когда угодно. Во всякое время — мне все равно!

Он прислушивался к удаляющимся шагам человека, пока шум не затих, а потом, подняв взор вверх, к небу, увидел — или это ему показалось — все то же черное облако, которое словно следовало за ним до дому и теперь как будто нависло над самым домом.

— Теперь мне понятно, что означает оно, — пробормотал он, — что означают тревожные ночи и сны и почему я терзался последнее время. Все на это указывало. О, если бы люди, продавая душу свою, могли торжествовать хотя бы недолго, как охотно продал бы я мою душу сегодня!

Низкий звук колокола донесся с ветром. Один удар.

— Лги железным своим языком! — крикнул ростовщик. — Возвещай радостным звоном о рождениях, которые заставляют корчиться ожидающих наследства, и о браках, которые заключаются в аду, и горестно звони об усопшем, чей путь уже пройден! Призывай к молитве людей, которые благочестивы, потому что не разоблачены, и каждый раз встречай мелодическим звоном наступление нового года, который приближает этот проклятый мир к концу. Никаких колоколов, никаких священных книг для меня! Бросьте меня на кучу навоза и оставьте там гнить, отравляя воздух!

Окинув все вокруг диким взором, в котором сочетались бешенство и отчаяние, он погрозил кулаком небу, по-прежнему темному и зловещему, и закрыл окно.

Дождь и град били по стеклам; дымовые трубы дрожали и шатались; ветхая оконная рама дребезжала под порывами ветра, словно нетерпеливая рука пыталась распахнуть ее. Но не было там никакой руки, и окно не открылось.

— Как же это так? — воскликнул кто-то. — Джентльмены говорят, что никак не могут достучаться, вот уже два часа как они здесь.

— Но ведь он вернулся домой вчера вечером, — сказал другой, — он с кем-то говорил, высунувшись из того окна наверху.

Собралась кучка людей, и, когда речь зашла об окне, они вышли на середину улицы, чтобы посмотреть на него. Тут они заметили, что наружная дверь все еще заперта, — а заперла ее накануне вечером экономка, о чем она и сказала, — и это привело к бесконечным переговорам, закончившимся тем, что двое-трое смельчаков обошли дом и влезли в окно, в то время как остальные стояли в нетерпеливом ожидании.

Они осмотрели все комнаты внизу — мимоходом открывали ставни, чтобы впустить угасающий свет, и, никого не найдя и убедившись, что все спокойно и все в порядке, не знали, идти ли дальше. Но когда кто-то заметил, что они еще не побывали на чердаке и что там видели его в последний раз, они согласились заглянуть туда и потихоньку пошли наверх, потому что таинственная тишина вселила в них робость.

Секунду они постояли на площадке, посматривая друг на друга, после чего тот, кто предложил не прекращать поисков, повернул ручку, приоткрыл дверь и, посмотрев в щелку, тотчас отшатнулся.

— Очень странно, — прошептал он, — он прячется за дверью! Смотрите!

Люди подались вперед, чтобы заглянуть туда, но один из них, с криком отстранив других, вынул из кармана складной нож и, вбежав в комнату, перерезал веревку.

Ральф оторвал ее от одного из старых сундуков и повесился на железном крюке как раз под самым люком в потолке — под тем самым люком, на который четырнадцать лет назад так часто устремлялся в ребяческом страхе взор его сына, одинокого, заброшенного маленького существа.

Глава LXIII,

Братья Чирибл делают всевозможные декларации от своего имени и от имени других; Тим Линкинуотер делает декларацию от своего имени

Прошло несколько недель, и первое потрясение, вызванное этими событиями, начало забываться. Маделайн увезли; Фрэнк не появлялся; Николас и Кэт добросовестно старались

заглушить свои сожаления и жить друг для друга и для матери, которая — бедная леди! — никак не могла примириться с этим новым и таким скучным образом жизни, но вот однажды вечером было получено через мистера Линкинуотера приглашение от братьев на обед послезавтра — приглашение, относившееся не только к миссис Никльби, Кэт и Николасу, но и к маленькой мисс Ла-Криви, о которой было упомянуто особо.

— Дорогие мои, — сказала миссис Никльби, когда приглашение было принято должным образом и Тим распрощался, — что под этим подразумевается?

— Что вы имеете в виду, мама? — улыбаясь, спросил Николас.

— Я говорю, дорогой мой, — сказала эта леди с видом непроницаемым и таинственным, — что подразумевается под этим приглашением на обед? Какова его цель и смысл?

— Я думаю, смысл его заключается в том, что в такой-то день мы будем есть и пить у них в доме, а цель — доставить нам удовольствие, — ответил Николас.

— Других выводов ты не делаешь, дорогой мой?

— К более глубоким выводам я еще не пришел, мама.

— В таком случае, я тебе скажу одно, — заявила миссис Никльби. — Ты будешь удивлен, вот и все. Можешь быть уверен, что под этим подразумевается не один обед.

— Может быть, чай и ужин? — предположил Николас.

— Будь я на твоём месте, дорогой мой, я бы таких глупостей не говорила, — с важностью ответила миссис Никльби, — потому что они совершенно неуместны и тебе не подобает их говорить. Я хотела только сказать, что мистеры Чириблы не зря приглашают нас на обед. Хорошо, хорошо! Поживем — увидим. Конечно, ты мне не поверишь, что бы я ни сказала. Лучше подождать, гораздо лучше — все будут удовлетворены, и не о чем будет спорить. Я повторяю одно: запомните то, что я сейчас сказала, и, когда я вам скажу, что я это говорила, не разубеждайте меня.

Поставив такое условие, миссис Никльби, которую днем и ночью преследовало видение — разгоряченный вестник врывается в дом и объявляет, что Николас принят компаньоном в фирму, — перешла от этой темы к другой.

— В высшей степени странно, — сказала она, — в высшей степени странно, что они пригласили мисс Ла-Криви. Меня это изумляет, честное слово изумляет. Разумеется, очень приятно, что ее пригласили, очень приятно, и я не сомневаюсь, что она будет держать себя прекрасно, она всегда держит себя прекрасно. Радостно думать, что мы доставили ей возможность попасть в такое общество, я этому очень рада, я в восторге, потому что она и в самом деле в высшей степени благовоспитанная и добродушная особа. Я бы только хотела, чтобы кто-нибудь дружески намекнул ей, какая у нее плохая отделка на шляпе и какие ужасные банты, но, разумеется, об этом не может быть и речи, и, если ей угодно походить на пугало, она несомненно имеет на это полное право. Мы никогда не видим себя со стороны, никогда! И никогда не видели и, полагаю, никогда не увидим.

Так как это нравоучительное размышление напомнило ей о необходимости быть особенно элегантной, в противовес мисс Ла-Криви, и явиться во всей своей красе, миссис Никльби начала совещаться с дочерью касательно ленточек, перчаток и украшений, а эта тема, будучи сложной и крайне важной, вскоре оттеснила тему предыдущую и обратила ее в бегство.

Когда настал знаменательный день, славная леди отдала себя в руки Кэт примерно через час после завтрака, одевалась не спеша и закончила свой туалет как раз вовремя, чтобы и дочь успела заняться своим туалетом, который был очень прост и не отнял много времени, хотя оказался столь изящен, что никогда еще не бывала она очаровательнее и милее. Явилась и мисс Ла-Криви с двумя картонками (у обеих вывалилось дно, когда их вынимали из кареты) и еще с чем-то, завернутым в газету; некий джентльмен в карете уселся на этот предмет, который пришлось снова разглаживать, дабы привести в надлежащий вид. Наконец все были одеты, включая и Николаса, вернувшегося домой, чтобы их отвезти, и они отбыли в карете, присланной для этой цели братьями. Миссис Никльби очень интересовалась, что подадут на

обед, допрашивала Николаса, какие он сделал за это утро открытия, не почуял ли доносившийся из кухни запах черепахи или какие-нибудь другие запахи. и оживляла беседу воспоминаниями об обедах, на которых бывала лет двадцать назад, сообщая подробности не только о кушаньях, но и о гостях, к коим ее слушатели не проявили особого интереса, так как до сей поры никто ни разу об этих людях не слыхивал.

Старый дворецкий встретил их с глубоким почтением, расплываясь в улыбке, и провел в гостиную, где они были так сердечно и ласково приняты братьями, что миссис Никльби пришла в волнение и у нее едва хватило присутствия духа оказывать покровительство мисс Ла-Криви. Еще больше была растрогана этим приемом Кэт: зная, что братьям известно все происшедшее между нею и Фрэнком, она понимала деликатность и трудность своего положения и трепетала, стоя рука об руку с Николасом, но вот мистер Чарльз подал ей руку и повел в другой конец комнаты.

— Дорогая моя, вы видели Маделайн, с тех пор как она от вас уехала? — спросил он.

— Нет, сэр, ни разу, — ответила Кэт.

— И ничего о ней не слышали, а? Ничего не слышали?

— Я получила только одно письмо. — тихо сказала Крт. — Я не думала, что она меня так скоро забудет.

— Вот как! — отозвался старик, поглаживая ее по голове и говоря так ласково, как будто она была его любимой дочерью. — Бедняжка! Что ты на это скажешь, брат Нэд? Маделайн только один раз написала ей, только один раз, Нэд, а она не думала, что Маделайн так скоро ее забудет, Нэд!

— О, печально, печально! Очень печально! — сказал Нэд.

Братья переглянулись, молча посмотрели на Кэт, обменялись рукопожатием и закивали головой, словно поздравляя друг друга с чем-то весьма приятным.

— Так, так, — сказал брат Чарльз. — Пойдите-ка в соседнюю комнату, дорогая моя... дверь вон там... и посмотрите, нет ли вам письма от нее. Кажется, оно лежит там на столе. Не спешите возвращаться сюда, милочка, если найдете письмо, потому что мы еще не садимся обедать и времени сколько угодно... Времени сколько угодно.

Кэт послушно удалилась. Проводив взглядом ее изящную фигуру, брат Чарльз повернулся к миссис Никльби и сказал:

— Мы взяли на себя смелость пригласить вас на час раньше, чем сядем за обед, сударыня, потому что нам нужно обсудить одно дело и это займет некоторое время. Нэд, дорогой мой, ты потрудишься рассказать все, как мы условились? Мистер Никльби, сэр, будьте так любезны пойти со мной.

Не получив дальнейших объяснений, миссис Никльби, мисс Ла-Криви остались одни с братом Нэдом, а Николас последовал за братом Чарльзом в его кабинет, где, к великому своему изумлению, увидел Фрэнка, который, по его предположениям, должен был находиться за границей.

— Молодые люди, — сказал мистер Чирибл, — пожмите друг другу руку.

— Я не заставляю себя просить! — воскликнул Николас, протягивая руку.

— Я тоже, — подхватил Фрэнк, крепко пожимая ее. Старый джентльмен, смотревший на них с восторгом, подумал, что никогда еще не стояли рядом два таких красивых и изящных молодых человека. Сначала взгляд его отдыхал на них, потом он сказал, усевшись за стол:

— Я хочу, чтобы вы были друзьями, близкими и верными друзьями, и не будь у меня этой надежды, я бы колебался, сказать ли вам то, что я намерен сказать. Фрэнк, подойди сюда! Мистер Никльби, встаньте по другую сторону.

Молодые люди заняли места справа и слева от брата Чарльза, который достал из ящика бумагу и развернул ее.

— Это копия завещания деда Маделайн с материнской стороны, который оставил ей двенадцать тысяч фунтов, каковая сумма должна быть уплачена, когда Маделайн достигнет совершеннолетия или выйдет замуж. Выяснилось, что этот джентльмен, разгневавшись на

нее (его единственную родственницу) за то, что она, несмотря на неоднократные его предложения, не пожелала отдать себя под его защиту и расстаться с отцом, написал завещание, по которому эта сумма (все, что он имел) переходила к благотворительному учреждению. По-видимому, он раскаялся в своем решении, потому что в том же месяце, спустя три недели, составил вот это, второе завещание. С помощью какого-то мошенничества оно было похищено сейчас же после его смерти, а первое — единственное, какое было найдено, — было утверждено и вступило в силу. Дружеские переговоры, только на днях закончившиеся, велись с тех пор, как документ попал в наши руки, и, так как не было никаких сомнений в подлинности его и разысканы (не без труда) свидетели, деньги были возвращены. В результате Маделайн восстановлена в правах и является или явится при условиях, мною упомянутых, обладательницей этого состояния. Вы меня понимаете?

Фрэнк отвечал утвердительно. Николас, который не решался говорить, опасаясь, что голос его дрогнет, наклонил голову.

— Фрэнк, — продолжал старый джентльмен, — ты принимал непосредственное участие в отыскании этого документа. Состояние невелико, но мы любим Маделайн и предпочитаем видеть тебя связанным узами брака с нею, чем с какой-нибудь другой девушкой, хотя бы она была втрое богаче. Намерен ли ты просить ее руки?

— Нет, сэр. Я был заинтересован в поисках этого документа, думая, что ее рука уже обещана человеку, который имеет в тысячу раз больше прав на ее благодарность и, если не ошибаюсь, на ее сердце, чем я или кто бы то ни было другой. Кажется, я поторопился с моими заключениями.

— Вы всегда торопитесь, сэр, — воскликнул брат Чарльз, совершенно забыв о принятой им важной осанке, — вы всегда торопитесь! Как смеешь ты думать, Фрэнк, что мы хотели бы женить тебя ради денег, если юность, красоту, все добродетели и превосходные качества можно получить, женившись по любви! Как посмел ты, Фрэнк, ухаживать за сестрой мистера Никльби, не предупредив нас о твоём намерении и не позволив нам замолвить за тебя словечко!

— Я не смел надеяться...

— Не смел надеяться! Тем больше было оснований прибегнуть к нашей помощи! Мистер Никльби, сэр, Фрэнк, хоть он и поторопился, на сей раз не ошибся в своих заключениях. Сердце Маделайн занято. Дайте мне вашу руку, сэр. Оно занято вами, сэр, и это вполне натурально и так и должно быть. Ее состояние будет вашим, сэр, но в ней вы найдете сокровище, более драгоценное, чем деньги, будь их в сорок раз больше. Она выбирает вас, мистер Никльби. Она делает выбор, который сделали бы за нее мы, ее ближайшие друзья. И Фрэнк делает выбор, который сделали бы за него мы. Он должен получить ручку вашей сестры, хотя бы она двадцать раз ему отказала, сэр, да, должен, и получит! Вы поступили благородно, не зная наших чувств, сэр, но теперь, когда вы их знаете, вы должны делать то, что вам говорят. Как! Разве вы не дети достойного джентльмена? Было время, сэр, когда мой дорогой брат Нэд и я были бедными, простодушными мальчиками, чуть ли не босиком отправившимися искать счастья. Разве с той поры мы изменились, если не говорить о летах и положении в обществе? Нет, боже избави! О Нэд, Нэд, Нэд, какой для нас с тобой счастливый день! Если бы наша бедная мать была жива и увидела нас сейчас, Нэд, какою гордостью преисполнилось бы ее любящее сердце!

Услыхав такое обращение, брат Нэд, который вошел с миссис Никльби и оставался незамеченным молодыми людьми, рванулся вперед и крепко обнял брата Чарльза.

— Приведите мою маленькую Кэт, — сказал брат Чарльз после короткого молчания. — Приведи ее, Нэд. Дайте мне посмотреть на Кэт, поцеловать ее — теперь я имею на это право. Я чуть было не поцеловал ее, когда она сюда пришла, я часто бывал очень близок к этому. А! Вы нашли письмо, моя птичка? Вы нашли Маделайн, которая вас ждала и надеялась увидеть? Вы убедились, что она не совсем забыла свою подругу, сиделку и милую собеседницу? Право же, вот это, пожалуй, лучше всего!

— Полно, полно, — сказал Нэд. — Фрэнк будет ревновать, и вы тут перережете друг

другу горло перед обедом.

— Так пусть он ее уведет, Нэд, пусть он ее уведет. Маделайн в соседней комнате. Пусть все влюбленные уйдут отсюда и беседуют между собой, если им есть что сказать друг другу. Прогони их, Нэд, прогони их всех!

Брат Чарльз начал очищать комнату, проводив зарумянившуюся девушку до двери и отпустив ее с поцелуем. Фрэнк не замедлил последовать за нею, а Николас исчез первый. Остались только миссис Никльби и мисс Ла-Криви, обе в слезах, два брата и Тим Линкинуотер, который вошел, чтобы позвать всем руку. Его круглое лицо сияло улыбкой.

— Ну-с, Тим Линкинуотер, сэр, — сказал брат Чарльз, который всегда брал слово от имени двоих, — теперь молодые люди счастливы, сэр.

— Однако вы не так долго оставляли их в неизвестности, как предполагали раньше, — лукаво заметил Тим. — Да ведь мистер Никльби и мистер Фрэнк должны были уж и не знаю сколько времени пробыть у вас в кабинете, и уж не знаю, что вы должны были им сказать, прежде чем открыть всю правду.

— Ну, встречал ли ты когда-нибудь такого разбойника, Нэд? — воскликнул старый джентльмен. — Встречал ли ты такого разбойника, как Тим Линкинуотер? Он обвиняет меня в том, что я нетерпелив, а сам надоедал нам утром, днем и вечером и терзал нас, добиваясь разрешения пойти и рассказать им обо всем, что тут готовится, хотя наши планы не были еще и наполовину выполнены и мы еще ничего не устроили. Предатель!

— Совершенно верно, брат Чарльз, — отозвался Нэд. — Тим — предатель. Тиму нельзя доверять. Тим — безрассудный юноша. Ему недостает стойкости и солидности. Он переберется и тогда, быть может со временем, будет почтенным членом общества.

Так как эта шутка была в ходу у стариков и Тима, то все трое от души посмеялись и, быть может, смеялись бы гораздо дольше, если бы братья, заметив, что миссис Никльби силится выразить свои чувства и буквально ошеломлена таким счастьем, не подхватили ее под руки и не вывели из комнаты под предлогом, будто хотят посоветоваться с ней по какому-то весьма важному вопросу.

Тим и мисс Ла-Криви встречались очень часто и всегда очень мило и оживленно беседовали, всегда были большими друзьями, а стало быть, вполне естественно, что Тим, видя, как она продолжает всхлипывать, сделал попытку ее успокоить. Так как мисс Ла-Криви сидела на широком старомодном диване у окна, на котором прекрасно могли усесться двое, то столь же естественно, что Тим сел рядом с ней. А если Тим был одет необычайно изящно и щеголевато, то раз это был великий праздник и знаменательный день, что могло быть более естественным?

Тим уселся рядом с мисс Ла-Криви и, положив ногу на ногу — ноги у него были очень красивой формы, и он как раз надел самые элегантные башмаки и черные шелковые чулки, — положив ногу на ногу так, чтобы они попали в поле ее зрения, сказал успокоительным тоном:

— Не плачьте!

— Не могу, — возразила мисс Ла-Криви.

— Нет, не плачьте, — сказал Тим. — Пожалуйста, не плачьте, прошу вас.

— Я так счастлива! — всхлипнула маленькая женщина.

— В таком случае, засмейтесь, — сказал Тим. — Ну, засмейтесь же.

Что такое проделывал Тим со своей рукой, установить немислимо, но он ударил локтем в ту часть оконного стекла, которая находилась как раз за спиной мисс Ла-Криви, а между тем ясно, что его руке совершенно нечего было там делать.

— Засмейтесь, — сказал Тим, — а то я заплачу.

— Почему вы заплачете? — улыбаясь, сказала мисс Ла-Криви.

— Потому что я тоже счастлив, — сказал Тим. — Мы оба счастливы, и мне хочется делать то, что делаете вы.

Право же, не было на свете человека, который бы так ерзал на месте, как ерзал Тим: он снова ударил локтем в стекло — чуть ли не в то же самое место, — и мисс Ла-Криви сказала,

что он, конечно, разобьет его.

— Я знал, что вам эта сценка понравится, — сказал Тим.

— Как они были добры и внимательны, вспомнив обо мне! — сказала мисс Ла-Криви. — Ничто не доставило бы мне большего удовольствия.

Но зачем было мисс Ла-Криви и Тиму Линкинуотеру говорить обо всем этом шепотом? Это была отнюдь не тайна. И зачем было Тиму Линкинуотеру так пристально смотреть на мисс Ла-Криви, и зачем было мисс Ла-Криви так пристально смотреть на пол?

— Таким, как мы, — сказал Тим, — которые прожили всю жизнь одиноко на свете, приятно видеть, когда молодые люди соединяются, чтобы провести вместе многие счастливые годы.

— Ах, это правда! — от всей души согласилась маленькая женщина.

— Хотя, — продолжал Тим, — это заставляет некоторых чувствовать себя совсем одинокими и отверженными. Не так ли?

Мисс Ла-Криви сказала, что этого она не знает. Но почему она сказала, что не знает? Она должна была знать, так это или не так.

— Этого довода почти достаточно, чтобы мы поженились, не правда ли? — сказал Тим.

— Ах, какой вздор! — смеясь, воскликнула мисс Ла-Криви. — Мы слишком стары.

— Нисколько, — сказал Тим. — Мы слишком стары, чтобы оставаться одинокими. Почему нам не пожениться, вместо того чтобы проводить долгие зимние вечера в одиночестве у своего камелька? Почему нам не иметь общего камелька и не вступить в брак?

— О мистер Линкинуотер, вы шутите!

— Нет, не шучу. Право же, не шучу, — сказал Тим. — Я этого хочу, если вы хотите. Согласитесь, дорогая моя!

— Над нами будут смеяться.

— Пусть смеются, — невозмутимо ответил Тим, — я знаю, у нас обоих характер хороший, и мы тоже будем смеяться. А как мы весело смеемся с той поры, как познакомились друг с другом!

— Вот это верно! — воскликнула мисс Ла-Криви, готовая уступить, как подумал Тим.

— Это было счастливейшее время в моей жизни, если не говорить о тех часах, какие я проводил в конторе «Чирибл, братья», — сказал Тим. — Соглашайтесь, дорогая моя! Скажите, что вы согласны.

— Нет, нет, мы и думать об этом не должны, — возразила мисс Ла-Криви, — что скажут братья?

— Господь с вами! — простодушно воскликнул Тим. — Неужели вы думаете, что я мог затеять такое дело, а они о нем не знают? Да сейчас они нарочно оставили нас здесь вдвоем!

— Теперь я никогда не в силах буду смотреть им в глаза! — слабым голосом воскликнула мисс Ла-Криви.

— Полно! — сказал Тим. — Мы будем с вами счастливой супружеской четой. Будем жить здесь, в этом старом доме, где я прожил сорок четыре года; будем ходить в старую церковь, куда я хожу каждое утро по воскресеньям; нас будут окружать все наши старые друзья — Дик, ворота, насос, цветочные горшки, и дети мистера Фрэнка, и дети мистера Никльби, для которых мы будем все равно что дедушка и бабушка. Будем счастливой четой и будем заботиться друг о друге! А если мы оглохнем, охроем, ослепнем или болезнь прикует нас к постели, как рады мы будем, что кто-то посидит и поговорит с нами! Так будем же счастливой четой! Прошу вас, дорогая моя!

Через пять минут после этой откровенной и искренней речи маленькая мисс Ла-Криви и Тим беседовали так мило, как будто были женаты уже лет двадцать и за все эти годы ни разу не поссорились. А еще через пять минут, когда мисс Ла-Криви выбежала посмотреть, не покраснели ли у нее глаза, и поправить прическу, Тим величественным шагом направился в гостиную, восклицая при этом:

— Нет другой такой женщины, как она во всем Лондоне! Право же, нет!

Тем временем с апоплексическим дворцовым чуть было не случился припадок из-за

того, что так неслыханно долго не садились за стол. Николас, увлекшийся занятием, которое легко могут угадать каждый читатель и каждая читательница, быстро сбежал по лестнице, повинаясь сердитому призыву дворецкого, но его ждал новый сюрприз.

На лестнице, на одном из маршей, он нагнал какого-то незнакомого человека в приличном черном костюме, также направлявшегося в столовую. Так как человек этот прихрамывал и шел медленно, Николас, не обгоняя его, замедлил шаги и последовал за ним, недоумевая, кто бы это мог быть, как вдруг тот обернулся и схватил его за обе руки.

— Ньюмен Ногс! — радостно вскричал Николас.

— Да, Ньюмен, ваш Ньюмен, ваш верный старый Ньюмен! Мой дорогой мальчик, мой милый Ник, поздравляю вас, желаю здоровья, счастья, всех благ! Мне это не по силам... для меня это слишком много, мой дорогой мальчик... Я превращаюсь в ребенка!

— Где вы были? — осведомился Николас. — Что вы делали? Сколько раз я расспрашивал, а мне говорили, что скоро я о вас услышу!

— Знаю, знаю! — отозвался Ньюмен. — Они хотели, чтобы все радостные события случились в один день. Я им помогал. Я... я... Посмотрите на меня, Ник, посмотрите же на меня!

— Раньше вы не позволяли мне смотреть на вас, — с ласковой укоризной сказал Николас.

— Тогда я не обращал внимания, какой у меня вид. У меня не хватало мужества одеться, как подобает джентльмену. Это напомнило бы мне былые времена и сделало бы меня несчастным. Теперь я другой человек, Ник. Дорогой мой мальчик, я не в силах говорить. И вы не говорите мне ничего. Не осуждайте меня за эти слезы. Вы не знаете, что я сегодня чувствую, вы не можете знать и никогда не узнаете!

Они вошли в столовую рука об руку и уселись рядом.

Никогда еще, с тех пор как существует мир, не бывало такого обеда. Был здесь престарелый банковский клерк, приятель Тима Линкинуотера, и была здесь круглолицая старая леди, сестра Тима Линкинуотера, и так внимательна была сестра Тима Линкинуотера к мисс Ла-Криви, и так много острил престарелый банковский клерк, и сам Тим Линкинуотер был так весел, а маленькая мисс Ла-Криви так забавна, что они одни могли бы составить приятнейшую компанию. Затем здесь была миссис Никльби, такая величественная и самодовольная, Маделайн и Кэт, такие развратившиеся и прелестные, Николас и Фрэнк, такие преданные и гордые, и все четверо были так трепетно счастливы. Здесь был Ньюмен, такой притихший и в то же время не помнивший себя от радости, и здесь были братья-близнецы, пришедшие в такое восхищение и обменивавшиеся такими взглядами, что старый слуга замер за стулом своего хозяина и, обводя взором стол, чувствовал, как слезы затуманивают ему глаза.

Когда улеглось первое волнение, вызванное свиданием, и они поняли, как они счастливы, разговор стал общим, и гармоническое и приятное расположение духа еще более укрепилось, если это только было возможно. Братья были в полном восторге, и их настоящее желание перецеловать всех леди, прежде чем разрешить им удалиться наверх, дало повод престарелому банковскому клерку сделать столько шуточных замечаний, что он перецеголял самого себя и был признан чудом остроумия.

— Кэт, дорогая моя, — сказала миссис Никльби, отводя дочь в сторону, как только они поднялись наверх, — неужели правду говорят о мисс Ла-Криви и мистере Линкинуотере?

— Конечно, правду, мама.

— Никогда в жизни я такого не слыхивала! — воскликнула миссис Никльби.

— Мистер Линкинуотер превосходнейший человек, — возразила Кэт, — и он моложав для своих лет.

— Для своих лет, дорогая моя! — повторила миссис Никльби. — Да, конечно, против него никто ничего не говорит, хотя я и считаю, что он самый слабохарактерный и нелепый человек, какого я только знала. Я говорю о ее летах. Как он мог сделать предложение женщине, которая... да, разумеется, чуть ли не вдвое старше меня, и как она решилась его

принять! Ну, все равно, Кэт. Я в ней горько разочаровалась.

Очень внушительно покачивая головой, миссис Никльби удалилась. И весь вечер в самый разгар веселья, которое она охотно разделяла, миссис Никльби держала себя по отношению к мисс Ла-Криви величественно и холодно, желая этим указать на непристойность ее поведения и выразить величайшее и резкое неодобрение столь открыто совершенному ею проступку.

Глава LXIV,

Старого знакомого узнают при меланхолических обстоятельствах, а Дотбойс-Холл закрывается навсегда

Николас был одним из тех людей, чья радость неполна, пока ее не разделяют друзья былых дней, беспокойных и менее счастливых. Среди всех сладких обольщений любви и надежды его сердце тосковало по простодушному Джону Брауди. Он вспоминал их первую встречу с улыбкой, а вторую со слезами; снова видел бедного Смайка с узелком на плече, терпеливо шагающего рядом, и слышал грубоватые ободряющие слова честного йоркширца, когда тот распрощался с ними на дороге, ведущей в Лондон.

Много раз Маделайн и он собирались вместе написать письмо, чтобы познакомить Джона со всеми переменами в судьбе Николаса и заверить его в своей дружбе и благодарности. Однако случилось так, что письмо осталось ненаписанным. Хотя они брались за перо с наилучшими намерениями, но почему-то всегда начинали беседовать о чем-нибудь другом, а если Николас принимался за дело один, он убеждался в невозможности выразить и половину того, что ему хотелось сказать, или написать хоть что-нибудь, что по прочтении не показалось бы холодным и не выдерживающим сравнения с его чувствами. Так повторялось изо дня в день, и он упрекал себя все сильнее и сильнее, пока, наконец, не решил (тем охотнее, что Маделайн настойчиво его уговаривала) проехаться в Йоркшир и предстать перед мистером и миссис Брауди без всяких предупреждений.

И вот однажды вечером, в восьмом часу, он и Кэт очутились в конторе гостиницы «Голова Сарацина», чтобы заказать одно место в карете, отправлявшейся на следующее утро в Грета-Бридж. Затем они должны были побывать в западной части города и купить кое-какие необходимые для путешествия вещи, а так как вечер был прекрасный, они решили пойти пешком, а домой вернуться в экипаже.

«Голова Сарацина», где они только что побывали, вызвала столько воспоминаний, а Кэт столько могла порассказать о Маделайн, и Николас столько мог порассказать о Фрэнке, и каждый был так заинтересован тем, что говорит другой, и оба были так счастливы и говорили так откровенно, и о стольких вещах хотелось им потолковать, что они добрых полчаса блуждали в лабиринте переулков между Сэвен-Дайелс и Сохо, ни разу не выйдя на какую-нибудь широкую людную улицу, прежде чем Николас начал допускать возможность, что они заблудились.

Вскоре предположение превратилось и уверенность: осмотревшись по сторонам и пройдя до конца удины и обратно, он не нашел никаких указаний, которые помогли бы определить, где они находятся, и поневоле должен был вернуться и поискать какое-нибудь место, где бы ему указали дорогу.

Улица была глухая, безлюдная, и в нескольких жалких лавчонках, мимо которых они проходили, не было ни души. Привлеченный слабым лучом света, просачивавшимся из какого-то подвала на мостовую, Николас хотел спуститься на две-три ступеньки, чтобы заглянуть в подвал и разузнать дорогу у людей, находившихся там, как вдруг его остановил громкий сварливый женский голос.

— Ах, уйдем! — сказала Кэт. — Там ссорятся. Тебя могут ударить.

— Подождем минутку, Кэт, — возразил брат. — Послушаем, в чем тут дело. Тише!

— Мерзавец, бездельник, злодей, негодная тварь! — кричала женщина, топая ногами. — Почему ты не вертишь каток для белья?

— Я верчу, жизнь души моей! — ответил мужской голос. — Я только и делаю, что верчу. Я все время верчу, как проклятая старая лошадь. Вся моя жизнь — чертовский, ужасный мельничный жернов!

— Так почему же ты не завербуешься в солдаты? — продолжала женщина. — Никто тебе не мешает.

— В солдаты! — вскричал мужчина. — В солдаты! Неужели его радость и счастье хотела бы видеть его в грубой красной куртке с короткими фалдами? Неужели она хотела бы, чтобы его дьявольски били барабанщики? Хотела бы она, чтобы он стрелял из настоящего ружья, чтобы ему остригли волосы и сбрили бакенбарды и чтобы он вращал глазами направо и налево и штаны у него были запачканы трубочной глиной¹⁰⁶?

— Дорогой Николас, — прошептала Кэт, — ты не знаешь, кто это. Но я уверена, что это мистер Манталини.

— Посмотри, он ли это. Взгляни на него разок, пока я буду узнавать дорогу, — сказал Николас. — Спустись на одну-две ступеньки.

Увлекая ее за собой, Николас пробрался вниз и заглянул в маленький погреб с дощатым настилом. Здесь, среди белья и корзин стоял без сюртука, но все еще в прежних — теперь заплатанных — брюках превосходнейшего покроя, в некогда ослепительном жилете и украшенный, как в былые времена, усами и бакенбардами, ныне утратившими искусственный глянец, — здесь стоял, пытаясь утишить гнев бойкой особы — не своей законной супруги, мадам Манталини, но хозяйки прачечного заведения, — изо всех сил вертя при этом ручку катка, скрип которого, сливаясь с ее пронзительным голосом, казалось, почти оглушал его, — здесь стоял грациозный, элегантный, обаятельный и некогда неукротимый Манталини.

— Обманщик, предатель! — кричала леди, угрожая неприкосновенности физиономии мистера Манталини.

— Обманщик? Проклятье! Послушай, душа моя, мой нежный, очаровательный и дьявольски пленительный цыпленочек, успокойся, — смиренно сказал мистер Манталини.

— Не желаю! — взвизгнула женщина. — Я тебе глаза выцарапаю!

— О, какая разъяренная овечка! — вскричал мистер Манталини.

— Тебе нельзя доверять! — визжала женщина. — Вчера тебя весь день не было дома, я знаю, где ты шлся. Ты-то знаешь, что я говорю правду! Мало тебе того, что я заплатила за тебя два фунта четырнадцать шиллингов, вытащила тебя из тюрьмы и позволила жить здесь, как джентльмену? Так нет, ты принялся за старое, хочешь разбить мне сердце!

— Я никогда не разобью ей сердца, я буду пай-мальчиком, я больше никогда не буду этого делать, я исправлюсь, я прошу у нее прощения, — сказал мистер Манталини, выпуская ручку катка и складывая ладони. — Все кончено с ее красивым дружком. Он отправляется ко всем чертям. Она его пожалеет? Она не будет царапаться, а приласкает его и утешит? О черт!

Отнюдь не растроганная, если судить по ее поведению, этой нежной мольбой леди готовилась дать гневно отповедь красивому дружку, когда Николас, повысив голос, спросил, как выйти на Пикадилли.

Мистер Манталини обернулся, увидел Кэт и, не говоря ни слова, одним прыжком очутился на кровати, которая стояла за дверью, и натянул на голову одеяло, судорожно дрыгая при этом ногами.

— Проклятье! — приглушенным голосом крикнул он. — Это малютка Никльби! Закройте дверь, погасите свечу, спрячьте меня в постели! О черт, черт, черт!

Женщина посмотрела сначала на Николаса, а потом на мистера Манталини, как будто не была уверена, кого нужно покарать за столь странное поведение; но так как мистер Манталини, горя желанием удостовериться, ушли ли посетители, на свою беду высунул нос

из-под одеяла, она внезапно и с большой ловкостью, какая могла быть приобретена только благодаря долгой практике, швырнула в него довольно тяжелую корзину для белья, так метко прицелившись, что он еще ожесточеннее задрогал ногами, не делая, однако, никаких попыток высвободить голову, накрытую корзиной. Считая, что настал благоприятный момент удалиться, прежде чем на него обрушится поток гнева, Николас поспешно увел Кэт и предоставил злополучному мистеру Манталини, столь неожиданно опознанному, объяснять свое поведение, как ему заблагорассудится.

На следующее утро Николас отправился в путь. Стояла холодная зимняя погода, что, разумеется, напоминало ему о том, при каких обстоятельствах он впервые ехал по этой дороге и сколько событий и перемен произошло с тех пор. Большую часть пути он был один в карете, задремывал, и когда просыпался и, выглянув из окна, узнавал какое-нибудь место, хорошо запомнившееся ему со времени первой поездки или на обратном пути, пройденном пешком вместе с бедным Смайком, — он почти готов был верить, что все случившееся с тех пор было сном и они все еще бредут, усталые, по направлению к Лондону, а перед ними — целый мир.

Словно для того, чтобы оживить эти воспоминания, к ночи пошел снег, и, когда они проезжали через Стэмфорд и Грентем и мимо маленького трактира, где он слышал рассказ о храбром бароне из Грогзвига, ему казалось, что все это он видел не дальше чем вчера и ни одна снежинка белого покрова на дорогах не растаяла.

Отдаваясь веренице мыслей, нахлынувших на него, он готов был убедить себя в том, что снова занимает наружное место на крыше кареты вместе со Сквирсом и мальчиками, слышит их голоса и снова чувствует — но теперь это чувство и мучительно и приятно — замирание сердца и тоску по родном доме. Занимаясь такими фантастическими размышлениями, он заснул и, грезя о Маделайн, забыл о них.

Ночь по приезде он провел в гостинице в Грета-Бридж и, проснувшись очень рано, отправился в город, чтобы узнать, где дом Джона Брауди. Теперь, став человеком семейным, Джон поселился на окраине, и, так как все его знали, Николас без труда нашел мальчика, который согласился проводить его до самого дома.

Отпустив своего проводника у калитки и даже не остановившись, чтобы полюбоваться преуспевающим видом коттеджа и сада, Николас, охваченный нетерпением, подошел к двери кухни и громко постучал палкой.

— Эй! — раздался голос. — Что случилось? Город, что ли, горит! Ну и шум же ты поднял!

С этими словами сам Джон Брауди открыл дверь и, раскрыв также и глаза во всю ширь, вскрикнул, хлопнул в ладоши и радостно заревел:

— Это крестный отец, ей-богу, крестный отец! Тилли, Это мистер Никльби. Твою руку, приятель! Сюда, сюда! Входи, садись к огню, выпей стаканчик. Ни слова не говори, пока не выпьешь! Пей, приятель! Как же я рад тебя видеть!

Сопровождая слово делом, Джон втащил Николаса в кухню, заставил его сесть на широкую скамью перед пылающим огнем, налил из огромной бутылки около четверти пинты виски, сунул ему в руку стакан, а сам открыл рот и запрокинул голову, приглашая его немедленно выпить, а потом остановился перед ним, радостно улыбаясь всем своим широким красным лицом, словно весельчак-великан.

— Я бы должен был догадаться, что, кроме тебя, никто не будет так стучать, — сказал Джон. — Ты так же стучал школьному учителю в дверь, а? Ха-ха-ха! Но послушай, что это толкуют о школьном учителе?

— Значит, вам уже известно? — спросил Николас.

— Вчера вечером в городе поговаривали, — ответил Джон, — но как будто толком никто ничего не понимает.

— После разных уверток и долгих проволочек он был приговорен к ссылке на каторгу на семь лет за незаконное присвоение украденного завещания. А затем ему еще придется отвечать за участие в заговоре.

— Ого! — воскликнул Джон. — В заговоре! Что-нибудь вроде порохового заговора, а? Что-нибудь вроде Гая Фокса?

— Нет, нет, этот заговор имеет отношение к его школе. Я потом объясню.

— Правильно! — сказал Джон. — Объяснишь не сейчас, а после завтрака, потому что ты голоден и я тоже. Да и Тилли должна послушать объяснения, она это называет взаимным доверием. Ха-ха-ха! Ей-богу, забавная штука это взаимное доверие!

Приход миссис Брауди в изящном чепчике, приносящей извинения в том, что они сегодня завтракают в кухне, пресек рассуждения Джона об этом серьезном предмете и ускорил появление завтрака, каковой состоял из больших холмов гренок, из свежих яиц, из ветчины, йоркширского пирога и других холодных яств (одна перемена следовала за другой, доставляемая из второй кухни под наблюдением очень дородной служанки). Это было весьма уместно в холодное, промозглое утро, и все присутствующие воздали должное завтраку. Наконец завтрак был окончен; дрова в камине, затопленном в парадной комнате, разгорелись, и они перешли туда послушать, что расскажет Николас.

Николас рассказал им все, и ни один рассказ никогда еще не пробуждал такого волнения в сердцах двух любопытствующих слушателей. Честный Джон то стонал сочувственно, то ревел от восторга, то давал обет съездить в Лондон поглядеть на братьев Чирибл, то клялся, что Тим Линкинуотер получит с почтовой каретой (доставка оплачена!) такой окорок, какого никогда еще не разрезал нож смертного. Когда Николас начал рисовать портрет Мадelayн, Джон сидел, разинув рот, время от времени подталкивал локтем миссис Брауди и восклицал вполголоса: «Видно, красотка». А когда он услышал, что его молодой друг приехал сюда только для того, чтобы поведать о своей счастливой судьбе и заверить его в своих дружеских чувствах, которые он не мог с достаточной теплотой выразить в письме, что он предпринял это путешествие с единственной целью поделиться с ними своей радостью и сказать им, что, когда он женится, они должны приехать навестить его и на этом настаивает Мадelayн так же, как и он, — Джон дольше не мог выдержать: посмотрев с негодованием на жену и пожелав узнать, почему она хнычет, он провел рукавом по глазам и разревелся не на шутку.

— Я тебе вот что скажу, если уж говорить о школьном учителе, — серьезно произнес Джон, когда они обо всем переговорили, — если эту новость узнали сегодня в школе, у старухи ни одной целой кости не останется, да и у Фанни тоже.

— Ах, Джон! — воскликнула миссис Брауди.

— Вот тебе и «ах, Джон», — отозвался йоркширец. — Мало ли что могут наделать эти мальчишки! Как только заговорили о том, что школьный учитель попал в беду, кое-кто из отцов и матерей забрал своих мальчуганов. Если оставшиеся узнают, что произошло, у нас будет настоящее восстание и бунт! Ей-богу, они закусят удила, и кровь польется, как вода!

Опасения Джона Брауди были столь сильны, что он решил немедленно поехать верхом в школу и предложил Николасу сопровождать его; однако тот отклонил это приглашение, заметив, что его присутствие может усугубить горечь постигшего семью несчастья.

— Верно! — воскликнул Джон. — Мне это и в голову не пришло.

— Завтра я должен отправиться в обратный путь, — сказал Николас, — а сегодня хочу пообедать с вами, и если миссис Брауди может предоставить мне кровать на ночь...

— Кровать! — воскликнул Джон. — Я бы хотел, чтобы ты мог спать сразу на четырех кроватях. Ей-богу, ты бы их получил — все четыре! Ты только подожди, пока я вернусь, ты только подожди, а уж тогда мы отпразднуем этот день!

Крепко поцеловав жену и не менее крепко пожав руку Николасу, Джон вскочил в седло и отправился в путь, предоставив жене заниматься гостеприимными приготовлениями, пока его молодой друг бродит по окрестностям и посещает места, с которыми было связано столько печальных воспоминаний.

Джон ускакал легким галопом и, прибыв в Дотбойс-Холл, привязал лошадь и направился к двери классной комнаты, которая оказалась запертой изнутри. Оглушительный шум и гул доносились оттуда, и, прильнув к широкой щели в стене, он недолго оставался в

неведение относительно того, что это значит.

Весть о падении мистера Сквирса донеслась до Дотбойса, это было совершенно ясно. По всей вероятности, молодые джентльмены узнали об этом совсем недавно, так как мятеж только что вспыхнул.

Это было утро серы и потоки, и миссис Сквирс, по обыкновению, вошла в классную комнату с большой миской и ложкой в сопровождении мисс Сквирс и любезного Уэкфорда, который в отсутствие отца принял на себя исполнение некоторых второстепенных — обязанностей — лягал учеников ногой в подбитом гвоздями башмаке, дергал за волосы младших мальчиков, других щипал за чувствительные места и многими подобными же выходками доставлял радость и утешение своей матери. Их появление в классе — то ли по сговору, то ли непреднамеренно — послужило сигналом к восстанию. В то время как один отряд ринулся к двери и запер ее, а другой взобрался на столы и скамьи, самый здоровый мальчик (то есть — принятый в школу последним) схватил палку и, с суровым видом подступив к миссис Сквирс, сорвал с нее чепец и касторовую шляпу, напялил их себе на голову, вооружился деревянной ложкой и приказал миссис Сквирс под страхом смерти опуститься на колени и немедленно принять дозу лекарства. Не успела достойная леди опомниться и оказать сопротивление, как толпа учителей уже поставила ее на колени и принудила проглотить полную ложку отвратительной смеси, оказавшейся более пикантной, чем обычно, благодаря тому, что в миску погрузили голову юного Уэкфорда, каковая процедура была поручена еще одному мятежнику. Успех этой первой выходки побудил озлобленную толпу мальчишек, худые, голодные лица которых были одно безобразнее другого, перейти к дальнейшим противозаконным действиям. Вожак настаивал на том, чтобы миссис Сквирс приняла вторую дозу, а юный Сквирс подвергся вторичному погружению в патоку, и мальчики уже начали яростно штурмовать мисс Сквирс, когда Джон Брауди, энергическим пинком вышиб дверь и бросился на помощь. Крики, вопли, стоны, гиканье, хлопанье в ладоши мгновенно стихли, и спустилось мертвое молчание.

— Молодцы, мальчуганы! — сказал Джон, солидно осматриваясь по сторонам. — Что это вы тут затеяли, щенята?

— Сквирс в тюрьме, и мы отсюда убежим! — раздались десятки пронзительных голосов. — Мы здесь не останемся! Не останемся!

— И не оставайтесь, — отозвался Джон. — Никто вас не просит оставаться. Удирайте, как настоящие мужчины, но женщин не обижайте.

— Ура! — еще пронзительнее крикнули пронзительные голоса.

— Ура? — вопросительно повторил Джон. — Ну, что ж, и «ура» кричите, как мужчины. Ну-ка, все разом: гип, гип, гип — ура!

— Ура! — подхватили голоса.

— Ура! Еще раз, — сказал Джон. — Громче! Мальчики повиновались.

— Еще раз! — предложил Джон. — Не бойтесь! Гаркнем вовсю!

— Ура-а!..

— А теперь, — сказал Джон, — крикнем еще разок напоследок, а потом бегите во всю прыть, если вам этого хочется. Сначала передохнем... Сквирс в тюрьме... школа закрылась... все кончено... было и прошло. Подумайте об этом, и дружно крикнем «ура».

Такой радостный крик раздался в стенах Дотбойс-Холла, какого они никогда не слыхали и не суждено им было услышать еще раз. Когда замер последний звук, школа опустела, и из суетливой шумной толпы мальчиков, заполнявшей ее всего пять минут назад, не осталось ни одного.

— Прекрасно, мистер Брауди! — воскликнула мисс Сквирс, красная и разгоряченная после недавней стычки, но до последней минуты злобствующая. — Вы пришли, чтобы подговорить наших мальчиков к бегству. Посмотрим, не придется ли вам заплатить за это, сэр! Если моему папаше не повезло и враги попрали его ногами, мы все-таки не допустим, чтобы над нами гнусно издевались и топтали нас такие люди, как вы и Тильда!

— Брось! — оборвал ее Джон. — Никто тебя не топчет, можешь мне поверить. Будь о

нас лучшего мнения, Фанни. Я вам обеим скажу: я рад, что старик, наконец, попался, чертовски рад. Но вы и без того пострадаете, и нечего мне над вами издеваться, да и не таковский я, чтобы издеваться, и Тилли не таковская, это я тебе напрямик говорю. И вот что я еще тебе скажу: если тебе понадобятся друзья, которые помогли бы вам убраться из этих мест, — не задирай нос, Фанни, это может случиться, — ты увидишь, что и Тилли и я помним старые времена и охотно протянем тебе руку. Но хоть я это и говорю сейчас, ты не думай, будто я раскаиваюсь в том, что сделал. Я еще раз крикну: «ура!». И будь проклят школьный учитель!.. Вот оно как!

Закончив свою прощальную речь, Джон Брауди вышел, тяжело ступая, сел на лошадь, снова пустил ее легким галопом и, громко распевая отрывки из какой-то старой песни, которой весело аккомпанировал топот лошадиных копыт, поспешил к своей хорошенькой жене и к Николасу.

В течение нескольких дней окрестности были наводнены мальчишками, которые, по слухам, тайком получали от мистера и миссис Брауди не только щедрые порции хлеба и мяса, но и шиллинги и шестипенсовики на дорогу. Этот слух Джон всегда стойко отрицал, сопровождая, однако, свои слова чуть заметной усмешкой, преисполнявшей сомнениями людей недоверчивых и укреплявшей уверенность тех, кто и раньше готов был верить.

Осталось несколько робких ребят, которые, как ни были они несчастны и сколько слез ни пролили в ужасной школе, не знали другого дома и даже привязались к ней, что вызывало у них слезы и заставляло лгнуть к Дотбойс-Холлу, как к пристанищу, тогда как более смелые духом бежали. Кое-кого из этих ребят нашли под живыми изгородями — плачущих, испуганных одиночеством. У одного была клетка с мертвой птицей: он прошел почти двадцать миль, но, когда его бедная любимица умерла, потерял мужество и улегся рядом с ней. Другого нашли во дворе, подле самой школы, заснувшего рядом с собакой, которая огрызалась на тех, кто хотел унести его, и лизала бледное личико спящего ребенка.

Детей отвели обратно и подобрали еще нескольких замешкавшихся беглецов, но постепенно их вытребовали домой или они пропали без вести. И мало-помалу соседи начали забывать о Дотбойс-Холле и закрытии школы или говорили об этом как о чем-то давно минувшем.

Глава LXV,

Заключение

Когда срок траура истек, Маделайн отдала свою руку и состояние Николасу, и в тот же день и в тот же час Кэт стала миссис Фрэнк Чирибл. Думали, что по этому случаю третьей четой будут Тим Линкинуотер и мисс Ла-Криви, но они уклонились. Однажды утром, две-три недели спустя, они вышли перед завтраком из дому, вернулись с веселыми лицами, и оказалось, что в тот день они скромно сочетались браком.

Деньги, принесенные Николасу его женой, были им вложены в фирму «Чирибл, братья», компаньоном которой стал Фрэнк. По прошествии немногих лет фирма начала вести дела под вывеской «Чирибл и Никльби». Таким образом, пророчество миссис Никльби, наконец, сбылось.

Братья-близнецы ушли от дел. Нужно ли говорить, что они были счастливы? Их окружали люди, счастье которых было делом их рук, и братья жили только заботами о нем.

После долгих уговоров и угроз Тим Линкинуотер согласился стать пайщиком фирмы, но так и не пошел на то, чтобы его имя, как компаньона фирмы, было оглашено, и упорно настаивал на аккуратном и неукоснительном исполнении своих обязанностей клерка.

Он с женой остался жить в старом доме и занимал ту самую спальню, в которой спал в течение сорока четырех лет. С годами его жена стала еще более веселым беззаботным маленьким существом, и их друзья имели обыкновение задавать себе вопрос, кто счастливее

— Тим, когда он спокойно сидит, улыбаясь, в своем кресле по одну сторону камина, или его бойкая маленькая жена, которая болтает и смеется и то вскакивает с кресла, то снова опускается в него по другую сторону камина.

Черный дрозд Дик был вынесен из конторы и, получив повышение, поселился в теплом уголке в общей гостиной. Под его клеткой висели две миниатюры, писанные рукою миссис Линкинуотер: на одной была изображена она сама, на другой Тим, и оба очень усердно улыбались всем посетителям. Голова Тима была напудрена, как крещенский пирог, а очки тщательно выписаны, поэтому посетители с первого взгляда обнаруживали величайшее сходство, а так как оно помогало им угадывать, что вторая миниатюра является портретом его жены, и придавало храбрости заявить об этом без всяких колебаний, миссис Линкинуотер с течением времени начала очень гордиться своими успехами и почитать эти портреты самыми удачными из всех когда-либо писанных ею. Да и Тим преисполнился глубоким уважением к ним, ибо по этому вопросу, как и по всякому другому, они придерживались одного мнения. И если жила когда-либо на свете «утешительная чета», то такой четой были мистер и миссис Линкинуотер.

Так как Ральф умер, не оставив завещания и никаких родственников, кроме тех, с которыми жил в такой вражде, последние были признаны его законными наследниками. Но им претила мысль воспользоваться деньгами, таким путем приобретенными, и они чувствовали, что не может быть надежды на преуспевание с помощью этих денег. Они не заявили прав на наследство. И сокровища, ради которых он трудился всю свою жизнь, перешли в конце концов в сундуки казны, и ни один человек не стал благодаря им ни лучше, ни счастливее.

Артура Грайда судили за незаконное сокрытие завещания, которое он получил, прибегнув к краже, или бесчестным образом приобрел и оставил у себя, обратившись к иным средствам, не менее преступным. Благодаря хитроумному адвокату и подделке документов он ускользнул от правосудия, но лишь для того, чтобы подвергнуться более суровой каре: спустя несколько лет в его дом проникли ночью грабители, соблазненные слухами о его несметном богатстве, и утром его нашли убитым в постели.

Миссис Слайдерскую отправились за океан почти одновременно с мистером Сквирсом и, согласно законам природы, оттуда не вернулась. Брукер умер, раскаявшись. Сэр Мальбери Хоук прожил несколько лет за границей, окруженный лестью, пользуясь завидной репутацией изящного и бесстрашного джентльмена. В конце концов он вернулся на родину, был брошен в тюрьму за долги и там погиб самым жалким образом, как обычно погибают такие удалцы.

Когда Николас стал богатым и преуспевающим негоциантом, он первым делом купил старый дом своего отца. По мере того как шло время и подрастали вокруг Николаса прелестные дети, дом перестраивался и расширялся; но ни одной старой комнаты не разрушили, ни одного старого дерева не выкорчевали: сохранилось все, с чем были связаны воспоминания о былых временах.

Неподалеку стоял другой уединенный дом, в котором также звенели милые детские голоса. Здесь жила Кэт, окруженная многочисленными новыми заботами и хлопотами и многочисленными новыми лицами, ожидающими ее улыбки (и одно лицо было так похоже на лицо Кэт, что миссис Никльби видела свою дочь снова ребенком), все та же кроткая, преданная Кэт, все та же нежная сестра, любящая своих близких так же, как в девические дни.

Миссис Никльби жила то с дочерью, то с сыном, сопровождая то ее, то его в Лондон, когда дела заставляли обе семьи переезжать туда, и неизменно сохраняла чувство собственного достоинства и делилась своим опытом (в особенности по вопросам, связанным с уходом за детьми и их воспитанием) весьма торжественно и важно. Немало времени прошло, прежде чем ее уговорили вернуть свое расположение миссис Линкинуотер, и до сих пор еще неизвестно, окончательно ли она ей простила. Был здесь еще некий седовласый, тихий, безобидный джентльмен, который жил и зимой и летом в маленьком коттедже в двух

шагах от дома Николаса и в его отсутствие присматривал за его делами. Радость его и счастье заключались в детях, с которыми он сам превращался в ребенка и руководил всеми их буйными играми. Малыши никак не могли обойтись без своего милого Ньюмена Ногса.

Трава зеленела на могиле мальчика, и такие маленькие и легкие ножки ступали по ней, что ни одна маргаритка не поникла головкой. Весной и летом гирлянды свежих цветов, сплетенные детскими руками, покоились на могильной плите, а когда дети приходили, чтобы заменить их другими, опасаясь, что старые увянут и перестанут его радовать, глаза их наполнялись слезами, и они тихо и нежно беседовали о своем бедном умершем дяде.